This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

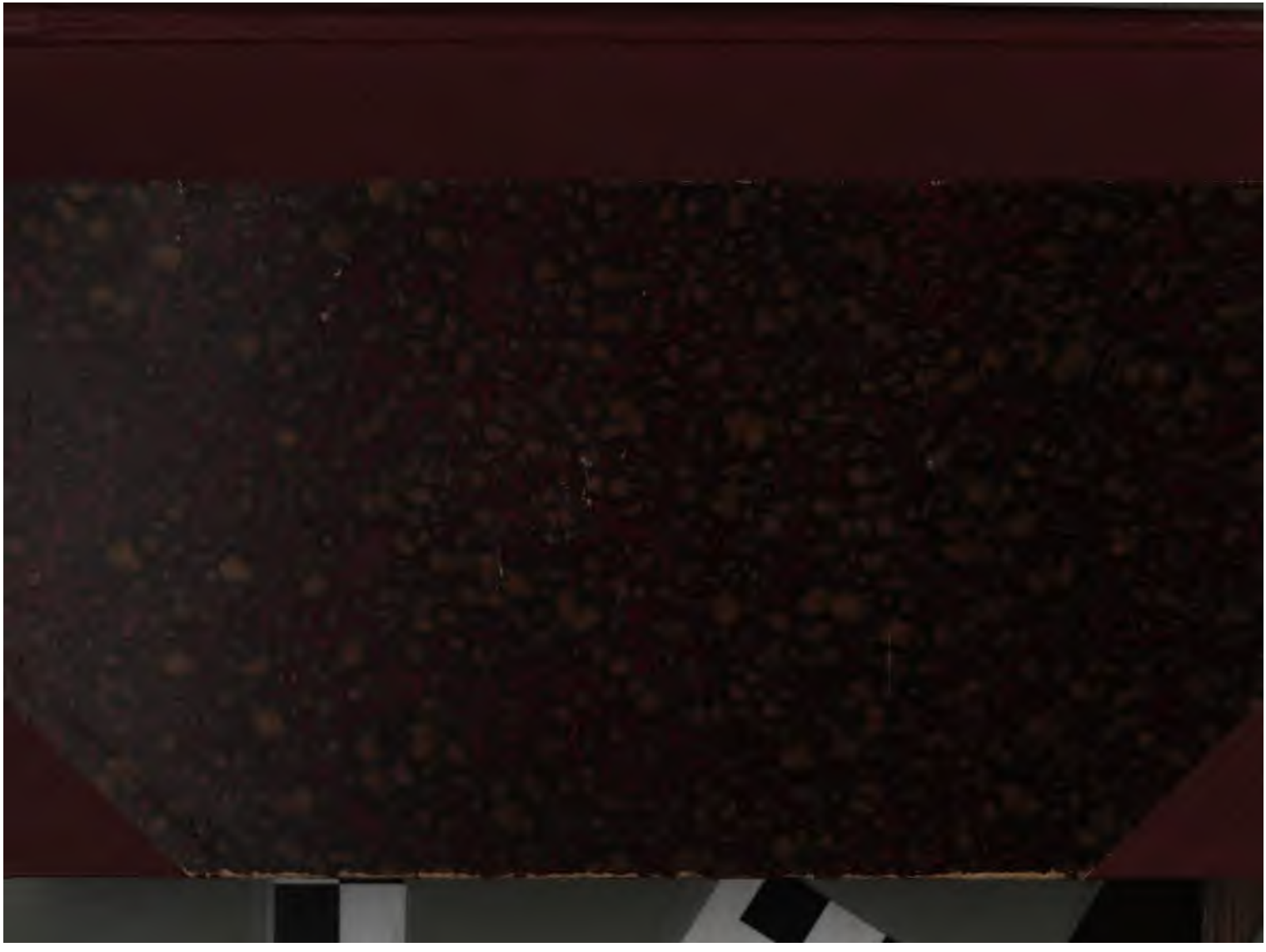
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

Lieskov, N. S.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

891.73
L711
ed.3a
v.21-24

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

РАЗСКАЗЫ КСТАТИ.

(Изъ литературныхъ воспоминаній).

ДАМА И ФЕФЁЛА.

«Ученикъ вопросилъ мудраго: не знаю, жениться мнѣ или нѣтъ?

«Мудрецъ ему отвѣтствовалъ: поступай какъ знаешь,—все равно будешь раскаиваться».

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Весною 1894 г. одинъ изъ извѣстныхъ русскихъ писателей высказалъ нѣсколько смѣлыхъ мыслей о томъ, какія «подруги жизни» лучше для литератора,—образованныя или необразованныя. Разбиралось и то, какія удобства и неудобства представляются литератору въ сожительствѣ съ женщиною образованною, и что онъ можетъ встрѣтить съ простою женщиной малаго развитія. Предложенные вопросы, можетъ-быть, и не серьезны, но они не лишены своего интереса. Къ сожалѣнію, возбудившій ихъ авторъ, почему-то, однако, не развилъ своихъ положеній и не доказалъ ихъ основательности. Въ другомъ бойкомъ органѣ ему возражали и смѣшно, и ехидно, но тоже не сказали ничего выясняющаго дѣло. Вѣрно это такъ и должно быть, «чтобы всегда оставалось сказать о женщинахъ нѣчто новое» (Boufflers). Я тоже не имѣю ни малѣйшей претензіи свести любопытный споръ къ какому-нибудь рѣшительному заключенію, но я хочу дать кстати подходящія иллюстраціи, которыя беру изъ моихъ воспоминаній о литераторской жизни.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Незадолго передъ переходомъ *Отечественныхъ Записокъ* изъ рукъ Дудышкина и Краевскаго подъ редакцію Некрасова и Салтыкова, въ этомъ журналѣ работалъ одинъ писатель, котораго въ нынѣшнемъ случаѣ неудобно было бы называть по имени. Въ данномъ случаѣ его имя и не важно, такъ какъ интересъ представляетъ само положеніе лица и характеръ двухъ его подругъ, изъ которыхъ одна была «дама», а другая «фефёла». Дама была его «законная половина», а фефёла—его «беззаконница». Обѣ онѣ имѣли для упоминаемаго писателя очень серьезное значеніе во время его жизни и различно исполнили свое призваніе къ его потомству.

Я зазналъ этого человѣка въ 1865 году, когда Дудышкинъ напечаталъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* одну его статью, которая въ публикѣ многимъ понравилась и привлекла автору благорасположеніе обоихъ редакторовъ, т.-е. Ст. Сем. Дудышкина и А. А. Краевскаго. Писателю назначили плату по 80 рублей «за статью», и это его повело къ худу: онъ былъ совершенно счастливъ и до того увлекся литературнымъ успѣхомъ, что сталъ пренебрегать своими служебными обязанностями. Служба у него по его спеціальности была довольно сносная, и хотя она оплачивалась не щедро, а все-таки она обезпечивала его вѣрнѣе, чѣмъ литература. Но съ этихъ поръ онъ службою не дорожилъ, а занятіямъ литературою предавался съ неудержимою страстью. Къ деньгамъ вообще онъ былъ не только не жаденъ, но даже почти равнодушенъ, и въ употребленіи ихъ безразсчетливъ. Къ тому же, онъ былъ очень нетребователенъ и спартански простъ въ своихъ привычкахъ. Какъ ни ѣсть и гдѣ ни жить—это для него было все равно, лишь бы только у него не была отнята возможность высказывать то, о чемъ онъ думалъ и что признавалъ за нужное и полезное для общества. Каковъ бы онъ ни былъ по его значенію въ литературѣ, но по *характеру* это былъ настоящій литераторъ, которому, кромѣ того, что дѣлается въ литературѣ, все трынъ-трава. И его нельзя было ни отманить, ни отбить отъ литературы, хотя бы ему при ней пришлось умереть съ голода. Такіе люди тогда между писателями встрѣчались не въ рѣдкость: нѣкоторые изъ

нихъ такъ вѣрили въ высокое значеніе своего литературнаго призванія, что не считали за важное потерпѣть ради идеи не только лишенія, но даже и муки... Вдобавокъ къ этому настроенію писателя, его осѣнило еще другое искушеніе, къ нему начали писать сочувственныя письма разныя незнакомки, и женскія письма расшевелили въ немъ влюбчивость и фантазію. Словомъ, успѣхъ совсѣмъ вскружилъ ему голову, а дамскія письма даже начали портить его характеръ и мѣшали ему исполнять всѣ его обязанности,—служебныя, литературныя и супружескія, такъ какъ писатель, на его несчастіе, тогда уже былъ женатъ, и супруга у него была съ характеромъ. Женился онъ, кажется, еще студентомъ и, во всякомъ случаѣ, гораздо ранѣе, чѣмъ прославился въ писательствѣ, а поставилъ онъ себя дома такъ неудачно, что жена считала себя очень умною, а его называла «глупымъ» и никакъ не хотѣла вѣрить тому, что онъ можетъ «сочинить» что-нибудь стоящее вниманія. Это его сердило и оскорбляло, и онъ старался измѣнить въ женѣ такой неблагопріятный для него взглядъ, но достичь этого не могъ. Болѣе всего женѣ писателя казалось невѣроятнымъ, что онъ можетъ что-нибудь понимать о супружескихъ обязанностяхъ, а вниманіе постороннихъ дамъ къ ея мужу ее раздражало и довело ее до такой ярости, что она отъ оскорбленій на словахъ перешла къ обиднымъ дѣйствіямъ и явилась къ А. А. Краевскому возвѣстить ему свою побѣду и выразить журналу порицаніе за то, что черезъ его посредство у ея мужа «начались шашни съ дамами».

А. А. Краевскій выслушалъ ее, помычалъ и направилъ ее къ Дудышкину, но самъ встревожился, пробурчалъ нѣсколько разъ «Богъ съ ней» и распорядился, чтобъ ее къ нему впередъ не пускали.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Писатель былъ человѣкъ лѣтъ тридцати или тридцати двухъ, бѣлокурый, маленькаго роста, очень слабый и первный, съ небольшими голубыми глазками и вихрястою шевелюрой. Нравъ онъ имѣлъ добрый, но мелочный, раздражительный и, что называется, «пѣтушливый». Бракосочетался онъ «по состраданію». Тогда такія благородныя вещи тоже были въ модѣ и на нихъ очень многіе попались.

Пріятель мой былъ изъ числа этихъ счастливцевъ и очень горько расплачивался за свое великодушіе. Супруга его имѣла надъ нимъ самыя разносторонніе преимущества: по ея словамъ, она была старше его только на пять лѣтъ, но по виду надо было думать, что разница была гораздо серьезнѣе, а притомъ она была крѣпкая, сильная, очень предпріимчивая и обладала счастливѣйшимъ женскимъ талантомъ—не бояться никакихъ скандаловъ. Обладая такими боевыми свойствами, дама, притомъ, была также чрезвычайно неутомима какъ въ натискѣ, такъ и въ преслѣдованіи. Мужъ съ женою едва ли не съ первыхъ же дней брака не поладили, и съ тѣхъ поръ они постоянно жили очень дурно, а по переѣздѣ ихъ въ Петербургъ жена постаралась устроить такъ, что это скоро сдѣлалось извѣстно всѣмъ въ редакціи. Пріемъ, для этого употреблявшійся, былъ простой: дама, съ виду очень образованная, сама приходила въ редакцію или въ контору и жаловалась на мужа всѣмъ: Дудышкину, Краевскому и т. д. до конторщика Боголюбова, который выдавалъ деньги. Дама дѣлала это не только безъ малѣйшей застѣнчивости, но и безъ всякой нужды, просто какъ бы по влеченію души. Впрочемъ, можетъ-быть, она имѣла какую-нибудь цѣль понизить акціи своего мужа, представляя его смѣшнымъ и пошлымъ. Скромность она не уважала и безъ всякаго стыда разсказывала самыя ужасныя вещи о томъ, какъ грубо и безцеремонно она обращается съ мужемъ.

— Онъ хочетъ меня остановить жалкими словами,—говорила она.—Mais c'est drôle! Какъ же онъ можетъ на это надѣяться, когда я ему уже давно сказала, что я никакого скандала не боюсь? Je sais ce que j'ai faire!

Она, однакоже, скоро всѣмъ надоѣла, и Дудышкинъ пересталъ ее принимать, такъ же какъ и Краевскій; но въ контору она еще являлась и срамила мужа какъ только находила возможнымъ. Ей, конечно, не вѣрили, но, однако, все-таки она повредила мужу ужъ однимъ тѣмъ, что сдѣлала его смѣшнымъ. Вдобавокъ, она возстановила противъ него Краевскаго, котораго она подстерегла разъ на его пути отъ дома къ Гимнастическому павильону и засыпала его претензіями, а когда онъ сталъ отъ нея убѣгать, повторяя: «Ей-Богу, ей-Богу, я боленъ и ничего не могу!»— она, не получивъ отъ него желаемаго сочувствія сказала

ему вслухъ: «Quel vieux idiot!»—и бросилась въ открытыя двери Симеоновской церкви, закричавъ съ крыльца, что «проклянетъ его передъ образомъ». Краевскій, впрочемъ, на нее не сердился и не обробѣлъ отъ проклятія, а говорилъ вечеромъ: «Бабы! я ихъ знаю!» И онъ, кажется, дѣйствительно «зналъ бабъ», и потому въ редакціи дѣло писателя облаживалось хорошо, но не такъ это выходило въ очахъ служебнаго начальства, къ которому предпріимчивая супруга тоже являлась и говорила тамъ, что ея «piqueassietes» не вѣритъ въ Бога и непочтительно говоритъ о такихъ и такихъ особахъ, чего-де она, какъ институтка, не можетъ сносить, и «доведетъ до свѣдѣнія», потому что у нея есть дитя, которое надо воспитывать въ добрыхъ правилахъ.

— Да! Je ne suis pas seul!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Чего хотѣла достичь эта супруга, того она, кажется, и сама не знала. Опредѣленно, она стремилась только «получать его жалованье». Это она заимствовала гдѣ-то у женъ фабричныхъ рабочихъ, у которыхъ мужья пропиваютъ заработки. Хорошій примѣръ понравился ей: тогда любили «народное». Правда, ея мужъ не пропивалъ заработка, ну, а все-таки...

— Je ne suis pas seul! Сдѣлайте милость!

Краевскій приказалъ:

— Отдайте, отдайте!

Онъ зналъ женщинъ.

Мужъ какъ услыхалъ объ этихъ извѣтахъ, такъ и заболѣлъ; больной онъ остался совершенно безпомощенъ при своей безпощадной тиранкѣ. Мы жили тогда неподалеку другъ отъ друга у Таврическаго сада, гдѣ я живу тридцать лѣтъ, и я два раза навѣстилъ больного и видѣлъ его въ ужасной обстановкѣ: разъ я засталъ его въ комнатѣ, напитанной самымъ невыносимымъ зловоніемъ, а въ другой разъ въ комнатѣ было открыто окно и на больного страшно дуло.

Я спросилъ его, для чего открыто окно въ такой холодный день?

А онъ покачалъ головою и отвѣчалъ мнѣ:

— Ахъ, знаете, я боюсь отгадать, что для того, чтобъ я скорѣе умеръ!

Я всталъ и закрылъ окно, а какъ это произвело соотвѣтственный звукъ, который былъ слышенъ за стѣною, то оттуда изъ другой комнаты послышался гадкій сдержанный смѣхъ. Затѣмъ я ушелъ, а больной вскорѣ поправился и, какъ ни въ чемъ не бывало, пришелъ на редакціонный вечеръ, который мнѣ остался памятнымъ по дебатированнымъ тогда роковымъ вопросамъ о русскомъ искусствѣ. Это было вскорѣ послѣ достопамятной лекціи, прочитанной въ бывшемъ художественномъ клубѣ г-жею Якоби, которая тогда только-что возвратилась въ отечество и много сообщала о гарибальдійскомъ движеніи, въ которомъ она принимала живое участіе и пользовалась пріязнью итальянскаго героя. Теперь, когда послѣ этого прошло около тридцати пяти лѣтъ, очень трудно передать то оживленіе и симпатіи, которыя вызвала эта лекція, произнесенная женщиной, о которой тогда говорили очень много интереснаго. Художники не только аплодировали г-жѣ Якоби, какъ дамѣ, но и выражали настоящее удовольствіе по поводу ея сужденій о художественныхъ вопросахъ. Тогда помощи для русскаго искусства искали повсюду и говорили то о профессорѣ Якоби, то о Микѣшинѣ, которые тогда были въ модѣ и навѣрняка могли «спасти русское искусство», а заурядъ вспоминали и Петра Соколова, и Зичи, и Сверчкова, и Клевера. И, несмотря на то, что всѣ эти уважаемыя лица были напоены однимъ духомъ художниковъ Александра и Дмитрія, о которыхъ упоминается въ книгѣ «Дѣяній Апостольскихъ», тогда, однако, находились удивительные люди, которые умѣли что-то различать въ нихъ. Но нашлись, впрочемъ, и такіе, которымъ лекція г-жи Якоби не понравилась,—не нравилась она и нашему писателю, которому было противно видѣть вызванное ею возбужденіе, и онъ захотѣлъ подвергнуть и лекцію, и восторгъ слушателей критикѣ. Статья о лекціи въ Троицкомъ переулкѣ должна была явиться въ той книжкѣ, которая уже набиралась, но она не явилась вовсе, и авторъ ея едва уцѣлѣлъ.

Въ семействѣ критика произошли ужасныя событія.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Черезъ два или три дня послѣ лекціи, поздно вечеромъ, когда въ Таврическомъ саду свистали соловьи и у частокола, ограждавшаго садъ, стояли въ молчаніи и слушали

пѣвцовъ нѣсколько любителей соловьинаго пѣнія, я увидалъ здѣсь воспоминаемаго литератора. Онъ былъ чрезвычайно унылъ и, вдобавокъ, все его изнеможенное болѣзнью лицо было исцарапано и испачкано, а платье его было въ сору и въ пуху: очевидно, онъ былъ въ большой передѣлкѣ.

Я его тогда все-таки еще мало зналъ и заподозрилъ, не выпивши ли онъ, но это было напрасно. Жалостливый видъ, въ которомъ онъ слушалъ соловьевъ у частокола, былъ результатомъ того, что онъ въ это время особенно сильно пострадалъ за свое пристрастіе къ литературнымъ занятіямъ, и, притомъ, все въ этотъ разъ имъ написанное *было уничтожено*, а именно, статья о лекціи въ Троицкомъ переулкѣ была изорвана супругою писателя въ клочки, а самъ онъ оцарапанъ, облитъ чернилами, отлученъ отъ домашняго очага и изгнанъ изъ дома съ отобраніемъ отъ него часовъ и денегъ. Затѣмъ жена пригрозила ему, что она поѣдетъ къ институтскому начальству и разскажетъ, какія у ея мужа дурныя понятія о самыхъ священныхъ предметахъ... А ужъ затѣмъ, разумѣется, «ему покажутъ!»

Я пригласилъ его къ себѣ переночевать, и онъ это принялъ, такъ какъ ему рѣшительно нельзя было иначе устроиться. Онъ прозябъ и былъ голоденъ, и потому съ аппетитомъ кушалъ мой чай съ булками и при этомъ разсказалъ мнѣ длинную исторію своихъ многостороннихъ страданій отъ жены, и въ этотъ разъ онъ сообщилъ мнѣ и нѣкоторыя подробности о ея происхожденіи: она была дворянка изъ южнаго края и окончила курсъ въ одномъ изъ институтовъ, потомъ поссорилась съ матерью и жила въ Швейцаріи и чему-то училась; послѣ была гувернанткою, потомъ переводчицею и актрисою,—нигдѣ не прижилась. На несчастіе моего товарища, она показалась ему очень несчастною, и онъ на ней женился, а она потомъ въ минуту нѣжности призналась ему, что «хотѣла въ его лицѣ отмстить всѣмъ мужчинамъ за угнетеніе женщинъ». А въ доказательство того, что это было серьезно, она немедленно же начала исполнять свою программу съ такою послѣдовательностью, что у бѣдняка отшибло память на очень важные случаи ихъ семейной жизни. Она его такъ огорошила, что онъ все позабылъ и пренаивно говорилъ о своемъ ребенкѣ:

— Знаете, откуда онъ у насъ взялся,—я этого, право, даже не могу себѣ представить.

Но возвратимся къ порядку событій.

Пострадавшій въ эту пору былъ очень разстроенъ и не хотѣлъ возвращаться къ своей мучительницѣ, а собирался жить отъ нея особо. Я по его просьбѣ ходилъ на слѣдующій день къ его женѣ для переговоровъ, не согласится ли она облегчить ему его домашнее положеніе, или не признаетъ ли за лучшее отпустить его на свободу за посильное вознагражденіе? Въ особѣ этой я увидѣлъ женщину очень некрасивую и пожилую, но смѣлую и бойкую и, безъ сомнѣнія, способную на большія нахальства. Въ пріемахъ у нея оставался какой-то слѣдъ «гостинности», но перемѣшанный съ самою рѣзкою вульгарностью или, лучше сказать, хамствомъ. Художникъ могъ бы взять ее за модель для изображенія русской ассамблейной боярыни, которую культивируетъ императоръ Петръ Первый и съ образовательною цѣлью напоилъ вполпьяна и пустилъ срамословить. Кое-какъ, хоть клочками, я припоминаю нашу бесѣду.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Дама встрѣтила меня очень веселая, безъ малѣйшей застѣнчивости, и сама заговорила со мной, пересыпая русскія слова французскими:

— Пожалуйста, пожалуйста! Dieu vous bénisse: я очень рада примирителю. Вы вѣдь пришли насъ мирить? Садитесь, но помирить со мною кого бы то ни было очень трудно: я не изъ добрыхъ и особенно — извините! — я не люблю мужчинъ.

И, заявивъ о своей ненависти къ мужчинамъ, она сейчасъ же упомянула и о томъ, что «передъ нею за всѣхъ за нихъ отвѣчаетъ ея мужъ». Она весело расхохоталась и затѣмъ все время потѣшалась надъ своимъ мужемъ, разсказывая о немъ дрянной и неприличный вздоръ, послѣ чего тотчасъ же начинала злословить дамъ, писавшихъ ему литературныя письма, и называла ихъ именами своего изобрѣтенія, какъ-то: «маркиза Дешкурансъ», «баронесса Шлюхманъ» и леди «Кис-ме-квикъ», да двѣ русскія помѣщицы «Обнимайкина» и «Цѣловалкина», которыхъ она «всѣхъ презирала», а сводила она все это къ тому, что «всѣ онѣ дуры, и мужъ ея смѣшонъ и рѣшительно ни на что не годенъ, особливо vis-à-vis d'une femme». Для нея это, впрочемъ, tant mieux, потому что у нея другая натура

и она находитъ, что женщина должна быть выше природы, потому что «природа—свинья».

— Кто любитъ свинство, тотъ и можетъ признавать надъ собою власть природы, но для меня все это противно. Вы понимаете?

Я не понималъ и она поясняла:

— Всѣ эти взгляды, и мины, и вздохи, и положенія... словомъ, все это, и прочее, что воспѣваютъ поэты,—это отвратъ, все это c'est archibête!

Поэтому я надѣялся, что она довольно легко согласится разъѣхаться со своимъ супругомъ; но она, однако, требовала, чтобъ ей за это дать какъ можно больше денегъ.

— Потому что у меня есть дитя. Вы понимаете? Je ne suis pas sein!

Мы поторговались, и она согласилась «получить» *и после того*, не иначе, она поѣдетъ на югъ,—на милый, теплый югъ съ этого противнаго, холоднаго сѣвера.

— Le diable! я даже давно этого хотѣла и теперь очень этому рада.

Казалось, все было улажено, и дама даже сказала мнѣ: «le bon Dieu vous bénisse», и сейчасъ же перемѣнилась: окончивъ дѣловой разговоръ, она призвала своего двухлѣтняго сына, много разъ его повернула передо мною и начала его снаряжать на прогулку.

Тутъ я могъ его разглядѣть: это былъ болѣзненный, рахитическій мальчикъ, съ большими, почти безцвѣтными глазами, въ которыхъ выражался постоянный испугъ, возбуждавшій къ нему сожалѣніе. Его держала на рукахъ свѣжая, бѣлолиценькая и румяная дѣвушка, лѣтъ восемнадцати, съ очень большими, какъ-будто даже непропорціонально большими сѣрыми глазами и пристальнымъ и добрымъ, но очень твердымъ взглядомъ (я описываю эту молодую «фефёлу» потому, что она не пройдетъ передъ нами мелькомъ, а у нея есть роль въ моемъ воспоминаніи). Дѣвушка, вѣроятно, недавно пришла изъ села и была очень застѣнчива, а дама находила удовольствіе смущать ея стыдливость. Она подсмѣивалась надъ ея свѣжестью и при мнѣ нашла случай назвать ее нѣсколько разъ то «орлеанскою дѣвственницей», то деревенскою «фефёлой», при чемъ дама такъ разрѣзвилась, что повернула дѣвушку передъ собою

и стала ее рекомендовать тономъ французскаго панорамщика:

— Voilà Jeanne Darc, surnomée la Pucelle d'Orleans, héroïne. Extrêmement pieuse, il lui semblait entendre des voix, qui lui ordonnaient d'aller sauver... son maître.—Дама разсмѣялась и продолжала:—Безъ шутокъ, безъ шутокъ, эта дѣвица очень одухотворена и она видитъ вѣщіе сны... да, да, да! И она часто плачетъ и даже иногда рыдаетъ во снѣ... о моемъ супругѣ, а я ее бужу и посылаю на вѣтеръ... C'est bien comique! Потомъ я высылаю туда же этого дурака, которому данъ дивный даръ трогать и располагать къ себѣ сердца дуръ, изъ коихъ вотъ первая... La voilà, фефёла и Pucelle!

Названіе, выраженное по-французски, очевидно, очень обижало дѣвушку, и она, зардѣвшись, какъ вишня на солнцѣ, сказала:

— Фефёла я—это точно, я простая дѣвушка и никакихъ примѣровъ не получила, а что другое вы меня называете, то это я совсѣмъ не понимаю.

Дама расхохоталась и передразнила:

— «Примѣровъ не получи-ла», такъ иди съ Богомъ.

И, перекрестивъ нѣсколько разъ своего ребенка, сидѣвшаго на лѣвой рукѣ дѣвушки, дама подала ей въ правую руку дождевой зонтикъ и пропѣла:

«Voici qu'à bien tourne la guerre
Quand Pucelle porte bannière!»

Затѣмъ она взяла дѣвушку за плечи, повернула и, воскликнувъ: «Peste!»—выставила ее за дверь.

Дѣвушка эта на видъ была ни хороша, ни дурна и не казалась ни умною, ни глупою, а какова она была на самомъ дѣлѣ, это увидимъ нижс.

Звали ее Прашею.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Супруги «разъѣхались». Совершилось это почти такъ, какъ часто дѣлается, т. е. «не безъ непріятностевъ»,—ни смиренство мужа, ни французскіе ритурнели жены не устранили ссоры, и при самомъ послѣднемъ «adieu» дѣло не обошлось безъ участія «народныхъ представителей» въ лицѣ двухъ дворниковъ, которые при этомъ обнаружили непосредственное народное міросозерцаніе. «Непріятность» под-

нялась-было изъ-за маленькой книжной этажерки, которую тянули въ двѣ противоположныя стороны до тѣхъ поръ, пока она съ трескомъ распалась на свои составныя части, и тогда тѣ части, которыя остались въ рукахъ дамы, полетѣли въ лицо мужу.

Одинъ изъ народныхъ представителей былъ противъ этого и говорилъ, что «не надо шкандалить, а надо разойтись чинно и благородно»; но другой, напротивъ, находилъ, что это такъ и слѣдуетъ, и сказалъ: «Если не ссориться, такъ тогда зачѣмъ и расходиться?» Мнѣ это показалось оригинально, и я послѣ побесѣдовалъ съ этимъ мыслителемъ, по выводамъ котораго «въ развратъ идти» (т. е. разлучаться) можно только «до того поругамшись, когда уже терпѣть нельзя. Тогда и разводись. И тогда— поскандалить очень пріятно, потому что впередъ лучше и знаться не захочешь».

Это разсужденіе осталось у меня въ памяти, и я не разъ въ жизни видѣлъ, что въ немъ есть основательность.

Но, какъ бы то ни было, супруги разлучились такимъ образомъ, что взволнованный и огорченный мужъ прошипѣлъ на порогѣ:

— Желаю вамъ всего лучшаго!

А жена ему отвѣтила:

— Diable t'emporte—и заперла за нимъ дверь.

Ребенокъ остался при матери и съ ними же осталась и Праша. Съ недѣлю ее всякій день можно было встрѣчать въ Таврическомъ саду, гдѣ она возила въ колясочкѣ писательское дитя. Она хорошо берегла ребенка и очень сожалительно говорила объ изгнанномъ хозяинѣ.

— Очень простой и смирнóй, добрый баринъ!—говорила она и сама краснѣла, задумывалась и однажды даже заплакала.

— Вотъ это хорошо, что вы такая добрая дѣвушка,—сказалъ я.—Хорошо, что вы жалѣете человѣка. Но, впрочемъ, надо жалѣть и барыню. У нея какой-то несчастный характеръ.

— Ахъ, это точно, что жалѣть надо всякаго, но она смѣлищая, а онъ ужасно какой смирнóй. Ему и на волѣ тоже мало будетъ хорошаго.

И вскорѣ послѣ этого такой пассажъ, что съ дѣтскою

колясочкой въ Таврическомъ саду появилась сама мать, съ зонтикомъ и съ книгой въ рукахъ, а Праши уже не было. Что у нихъ случилось?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Помню сѣрый, холодноватый день. Мать сидитъ и держитъ въ рукѣ волюмчикъ Таухницкаго изданія. Но чтеніе, повидимому, плохо ее занимаетъ: она роняетъ книгу и опять ее поднимаетъ, кладетъ ее на колѣни и хочетъ рѣзать листы головною шпилькой, но листы рвутся, и книга падаетъ. Она хочетъ ее поймать и попадаетъ себѣ въ лицо зонтикомъ, который держитъ въ рукѣ, вмѣсто того, чтобы положить его возлѣ себя и сдѣлать что нужно обѣими руками. Ребенку наскучило смотрѣть на это неуклюжество, и онъ сталъ плакать. Тогда дама бросила книгу и стала поправлять дитя, но у нея ничего не выходило. Она нагнулась пребезобразно надъ коляской ребенка и оцарапала ему булавкой лицо; онъ заревѣлъ. Она ему погрозила, потомъ выхватила его и перевернула, опустивъ его внизъ головою, и, разсердясь на себя, прибила его рукой справа и слѣва. Ребенокъ вытянулся и зашелся въ рыданіяхъ. Двѣ близко сидѣвшія дамы, въ самыхъ мягкихъ выраженіяхъ, замѣтили матери, что ребенокъ испугался и что отъ этого можетъ случиться припадокъ. Она отвѣчала имъ, что это «не ихъ дѣло», что она «сама мать», и, быстро вставъ съ мѣста, она повезла колясочку къ выходу изъ сада, но на виду у всѣхъ попала въ колесо зонтикомъ и за одинъ пріемъ переломила въ зонтикѣ ручку и опрокинула коляску. Это ее такъ взбѣсило, что она бросила и коляску, и ребенка, и со всѣхъ ногъ упала ницъ въ траву куртины и истерически зарыдала.

Дитя, видя безуміе матери, стихло.

Нѣсколько дамъ кинулись къ ней, чтобъ ей помогать, но она на нихъ нанесла ужасъ своими судорогами, и дамы отступились.

Пришли садовый сторожъ и солдатъ и стали ее поднимать; но она вскрикнула: «Peste!»—и ударила ихъ обоихъ по рукамъ обломкомъ зонтика, а потомъ встала сама, посадила дитя и повезла сбоченившуюся коляску, не обращая ни малѣйшаго вниманія на ребенка, который, теперь, однако, молчалъ, какъ-будто онъ понялъ, что его дѣло не шутка.

Произошло вотъ что: Праша узнала, что ея «смирный» и «простой» баринъ заболѣлъ и валяется безъ присмотра и безъ помощи, такъ что и «воды подать некому». Внутренній жаръ и истома недуга ей были знакомы, и она знала, что тутъ нужна помощь. Больше ей соображать было нечего, и она сейчасъ же бросила ребенка матери на руки и ушла служить больному. Какъ простолюдинка, она начала съ того, что она его «убрала», т. е. освѣжила его постель, вытерла самого его водой съ уксусомъ, обласкала утѣшительными словами и сварила ему бульонъ, а потомъ, когда онъ «пошелъ на поправку», онъ ощутилъ близость ея женственнаго присутствія и отблагодарилъ ее своимъ мужскимъ вниманіемъ. Это вѣдь такъ обыкновенно... Но, можетъ-быть, это ему надо поставить въ вину, особенно если онъ не придавалъ этому серьезнаго значенія; но *она*... она «вся ему предалась» и ни о чемъ болѣе вовсе и не разсуждала.

— Я,—разсказывала она:—только и хотѣла, чтобъ онъ зналъ, что онъ теперь не одинъ, а у него есть *раба*.

Такое сердце и такія понятія!

Но не пренебрегите пока этимъ рабскимъ сердцемъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Изъ своихъ новыхъ отношеній къ «господину» Праша не дѣлала никакого секрета, но и не бравировала ими, что со стороны «фефёлы»—рѣдкость. Все въ домѣ у нихъ шло такъ тихо и благопристойно, какъ будто связи и не существуетъ. Пріятельскому кружку, однако, скоро стало извѣстно, что между ними установилась любовь. Узнала это и его жена, и оттого-то она и каталась по травѣ, оттого у нея все падало изъ рукъ и ломалось. И какъ она его ни порицала, «особенно vis-à-vis d'une femme», но измѣны она ни мужу, ни Прашѣ не подарила и вызывала ихъ обоихъ къ мировому, гдѣ былъ какой-то инцидентъ съ истерикой, и потомъ все успокоилось. Супруга взяла еще, что могла, съ оброчнаго мужа и сникла съ нашихъ глазъ, а у Праши къ году родился ребенокъ, котораго она сама кормила, а при этомъ, конечно, все мыла, шила и варила. Жили они на очень маленькія средства, и Праша тряслась за всякій грошъ, чтобы было изъ чего жить и «*посылать барынѣ*». Скучать ей было некогда, а если ей случалось оставаться одной и поджидать поздно ночью своего господина, то она

чувствовала «жуть» и тоже нашла чѣмъ себѣ помочь въ этомъ горѣ: она брала изъ пачки писательскихъ фотографій карточку Александра Дюма съ его страшно кучерявою шевелюрой и начинала ее разсматривать: «тогда ей тотчасъ же становилось смѣшно» и жуткость проходила.

Съ переходомъ *Отечественныхъ Записокъ* къ Некрасову писатель остался безъ работы, и у нихъ было худо; но потомъ онъ скоро былъ приглашенъ во *Всемірный Трудъ* къ доктору Хану, гдѣ работы было много, и дѣла поправились. Праша близко въ это вникала и отлично поняла, что̀ нужно человѣку при «спѣшкѣ». Она ему все приспособила для занятій въ ихъ маленькой квартиркѣ, состоявшей всего изъ двухъ крошечныхъ комнатокъ въ надворномъ деревянномъ флигелѣ.

Она сдѣлала все, что̀ позволяла ей возможность, а онъ былъ такъ не избалованъ и такъ не требователенъ, что не желалъ бо̀льшаго.

— Чего же-съ мнѣ еще надобно?—говорилъ онъ, чрезвычайно довольный своимъ положеніемъ.—Я теперь могу работать спокойно и дни, и ночи: мнѣ никто не мѣшаетъ, и я докажу, что̀ значитъ эстетика!

У него «былъ задуманъ рядъ статей», но онѣ написаны не были. Не прошло полугода послѣ этого, какъ Гр. П. Данилевскій навѣстилъ его и нашелъ «заработавшимся до безчувствія». Данилевскій уговорилъ его немножко прогуляться,—провезъ его въ коляскѣ по островамъ, угостилъ на воздухѣ ужиномъ и отвезъ домой, сдавъ на руки ожидавшей его Прашѣ. Данилевскій былъ пораженъ худобою и усталымъ видомъ писателя и тѣмъ, что онъ какъ будто не замѣчалъ ничего окружающаго и могъ говорить только о рядѣ задуманныхъ имъ статей. Прашѣ сказали, чтобы она его непремѣнно выпроваживала гулять, и она объ этомъ очень заботилась: звала его «въ садъ, смотрѣть звѣрушекъ», которыхъ ей будто очень хочется видѣть, но онъ не слушался и даже сердился. Зимой, продолжая такой же «безотходительный» образъ жизни, онъ ослабѣлъ, закашлялъ и расхворался, а великимъ постомъ умеръ. Праша испытала неожиданный ужасъ: она оставалась одна, съ ребенкомъ и безъ всякихъ средствъ. «Законная вдова» усопшаго сближала случай смерти мужа съ тѣмъ, что Данилевскій передъ этимъ угостилъ его ужиномъ, и добивалась узнать, какъ

онъ возвратился домой: «sur les deux pattes ou sur toutes les quatre?»—и въ то же время она вступила во всѣ свои законныя права и получила все, что̀ могло быть усвоено ей и ея законному ребенку. А «беззаконницѣ» Прашѣ и ея ребенку не досталось *ничего*. Власть, обезпечивавшая имущество покойнаго, т. е. его дрянную мебелишку и черняки недописанныхъ статей, опечатала помѣщеніе, гдѣ жилъ литераторъ, а Прашу, какъ прислугу, «вывели» и никому до нея не было никакого дѣла. О бѣдной Прашѣ рѣшительно никто не подумалъ; но она и въ изгнаніи не оробѣла, а провожала гробъ и показалась у могилы съ твердымъ видомъ.

Такъ, пусть мертвые хоронятъ своихъ мертвецовъ: мать, имѣющая дитя, *должна жить*... и она должна хорошо жить, *честно*!

Посмотримъ, какъ она это выполнитъ?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

На другой же день послѣ похоронъ литератора Праша пришла ко мнѣ, съ ребенкомъ на рукахъ, и сказала:

— Не обижайтесь на меня, что я съ ребенкомъ пришла. Не на кого его оставить. Посовѣтуйте: какъ мнѣ быть?

Она меня сконфузила: я видѣлъ, что мы не сдѣлали послѣ смерти товарища самаго важнаго дѣла: мы не подумали объ этой женщинѣ и объ ея ребенкѣ, и къ этой оплошности я прибавилъ другую, еще худшую и даже достойную строгаго осужденія: я заговорилъ о томъ, чтобъ отдать ребенка, а Праша, которая стояла передо мною, отъ этого такъ страшно поблѣднѣла, что я упросилъ ее сѣсть, и тогда она сейчасъ же заговорила:

— Отдать дитя навсегда... ни за что!.. Словъ нѣтъ, я сама виновата,—ну, все же я могу о немъ и обдумать. Въ этомъ домѣ, гдѣ я вчера уголъ взяла, и мы тамъ ночевали, тамъ бабы живутъ и ходятъ шить мѣшки. И я могу шить мѣшки, но его туда съ собой нельзя брать.

Она прижала къ себѣ ребенка и залилась слезами.

У меня въ тогдашнее время не было никакихъ запасовъ, которыми я могъ бы подѣлиться, и все, что̀ я могъ дать бѣдной Прашѣ, это было пять рублей. Я просилъ ее взять это пособіе и идти пожить на квартирѣ два-три дня, пока я испробую, нѣтъ ли возможности устроить для нея съ ре-

бенкомъ какую-нибудь новую складчину. Она, не ломаясь, взяла деньги, шопотомъ сказала:

— Благодарю васъ, постарайтесь!—и ушла.

Но стараться тогда было мудрено, и многаго въ нашемъ положеніи сдѣлать было невозможно. Тогда еще не было такихъ хорошихъ литературныхъ заработковъ, какими нынче похваляются нынѣшніе молодые писатели, между которыми есть уже и капиталисты, и даже сибариты. Мы тогда работали очень много и очень старательно, но получали мы мало, а часто и вовсе ничего не получали. Сами бѣдняки, мы нерѣдко сотрудничали «изъ чести» у очень необезпеченныхъ издателей, которымъ, однако, мы считали за обязанность помогать «по сочувствію къ хорошему направленію». Нѣкоторые изъ этихъ благородныхъ предпринимателей скоро сообразили, что изъ наивнаго настроенія искреннихъ писателей можно извлечь выгоды, и они этимъ воспользовались (кто хочетъ лучше съ этимъ познакомиться, пусть прочтетъ переписку Д. И. Писарева съ Г. Е. Благосвѣтловымъ).

Гончаровъ называлъ это время «грубымъ періодомъ въ литературѣ». Оно и дѣйствительно было грубовато и очень несправедливо; но тогда въ литературной средѣ встрѣчались характеры до такой степени цѣльные и строго относившіеся къ призванію писателя, что теперь даже не вѣрится, вправду ли это было, а если было, то отчего же это такъ скоро прошло? А это было! Люди бѣдствовали при своихъ ничтожнѣйшихъ заработкахъ, которыхъ, притомъ, еще часто нельзя было получить изъ тощихъ кассъ редакцій, и частенько эти люди другъ съ другомъ ссорились, но выгодъ отъ перехода къ «чужому направленію» они не искали. Измѣнить своему знамени и перейти подъ чужое тогда почиталось за дѣло вполнѣ безчестное, и то, что теперь въ этомъ родѣ дѣлается безпрестанно, тогда происходило чрезвычайно рѣдко.

Благородная строгость стала ослабѣвать послѣ того, какъ «софисты XIX вѣка» замололи о томъ, что все на свѣтѣ можно защищать безъ стѣсненія, и сами стали показывать примѣръ слишкомъ «широкой жизни». Литераторы не захотѣли отстать и стали манкировать литературною независимостью.

(Тогда же начали пренебрегать и внѣшнимъ времяпро-

рожденіемъ, и въ литературныхъ домахъ стали раскрывать ломберные столы и начали играть въ карты, чего ранѣе почти всѣ стыдились).

Но возвратимся къ осиротѣлой Прашѣ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Съ огромнымъ усиліемъ собралъ я для этихъ сиротъ двѣсти рублей. Послѣ смерти А. И. Пальма я собралъ и передалъ въ литературный фондъ слишкомъ двѣ тысячи рублей, но это было легче сдѣлать, чѣмъ въ прежнее время собрать двѣ сотни. Зато дамы даромъ дали совѣтъ помѣстить ребенка «на молоко» къ почтамтскимъ сторожамъ, а матери идти служить въ прачки или въ горничныя.

Дамы обѣщали также похлопотать о ней, и такъ какъ имъ хотѣлось видѣть Прашу, то онѣ просили прислать ее на смотръ къ нимъ.

Я позвалъ Прашу и сказалъ ей, что въ моихъ рукахъ есть для ея ребенка двѣсти рублей и что ей остается теперь помѣстить дитя въ почтамтъ, а самой идти на мѣсто, о которомъ для нея постараются дамы. Я это объявилъ ей съ аплombомъ, потому что мнѣ представлялось, будто мы съ дамами превосходно обдумали ея положеніе. Праша выслушала меня со вниманіемъ и не противорѣчила, а немедленно же пошла въ почтамтъ. Но только мнѣ показалось, что она «собирала лобъ» и какъ-будто была чѣмъ-то недовольна, когда я ей изъяснялъ свои соображенія.

Вечеромъ въ этотъ же день она возвратилась и спокойно объявила, что въ почтамтѣ дѣйствительно дѣтей берутъ по пяти рублей въ мѣсяцъ и что, можетъ-быть, между тѣми, которые берутъ, есть люди и очень добрые.

— Кого же вы выбрали?

— Пока никого... Есть тамъ двое,—отвѣчала она, глядя внизъ и покалывая по полу кончикомъ зонтика, и вдругъ заплакала.

Я ее укорилъ за то, что она отнимаетъ у себя бодрость.

— Именно,—сказала она:—но только какъ я этихъ примѣровъ еще не видала, то... я дура, фефёла...—и она хотѣла улыбнуться, но вмѣсто того еще горче заплакала.

— Ну, и довольно!.. Больше не буду!

— И прекрасно!

— Да, не буду!

— Вотъ же вамъ десять рублей за первые два мѣсяца, а остальныя ваши деньги я положу въ сохранную казну, и вы будете ихъ брать и платить за ребенка.

Тогда она взяла десять рублей и завязала ихъ въ уголокъ платка, а мнѣ отвѣтила:

— Очень вамъ благодарна, и словъ нѣтъ, что такъ насъ устроили, но позвольте, притомъ, вамъ сказать, что изъ этого очень хорошаго ничего быть не можетъ.

Мнѣ показалось, что у нея перемѣнился тонъ и голосъ, и даже самая манера говорить стала иная: дѣвочки Праши уже не было, а была молодая мать, которая увидала себя въ самыхъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ и вся насторожилась, чтобы найти выходъ.

— Не обижайтесь, что̀ я скажу,—продолжала она:—я вѣдь никакихъ примѣровъ воспитанія не получила, но я не безъ понятіевъ. Позвольте сказать вамъ: два дня назадъ я думала, что я съ дитемъ совсѣмъ пропала и очень хотѣла кинуться съ нимъ за одинъ разъ въ рѣку, а теперь, когда добрые люди намъ помогли, я уже какъ оса ожила и начинаю думать, какъ неблагодарная... Дамы, конечно, очень добры, но онѣ тоже всѣ примѣры не постигаютъ.

— Пожалуйста, объясните, Праша, что̀ вы хотите?

— Вотъ, я за ребенка буду платить пять рублей въ мѣсяцъ. Это, скажемъ, шестьдесятъ рублей въ годъ?

— Да, шестьдесятъ въ годъ.

— Въ два года сто двадцать рублей, въ четыре—двѣсти сорокъ, ну, вотъ и всѣ... А ему будетъ всего еще пятый годъ...

— Да, вашъ расчетъ вѣренъ.

— И тогда я могу его взять къ себѣ?

— Да, можете взять.

— А кто же тогда меня съ нимъ вмѣстѣ возьметъ?

Вопросъ этотъ мнѣ показался несерьезнымъ, и я далъ ей почувствовать, что я понимаю дѣло: я сказалъ, что съ грудным ребенкомъ ей трудно было бы устроиться, а когда онъ будетъ по пятому году, тогда это не трудно: съ такими дѣтьми берутъ.

— Да, берутъ,—отвѣчала Праша:—словъ нѣтъ, берутъ, только за самую дешевую цѣну. Вотъ и выйдетъ такой примѣръ, что черезъ пять лѣтъ у меня не будетъ ни копейки

денегъ и будетъ ребенокъ на рукахъ, съ которымъ мнѣ нельзя будетъ найти мѣсто съ цѣною. И я его ни во что настоящее не произведу.

— Такъ что же, какой примѣръ надо сдѣлать, по-вашему?

— Это примѣръ вовсе не глупый. Конечно, я еще молода и уже такой вредный поступокъ сдѣлала... Но я еще раньше, чѣмъ сюда въ городъ пріѣхала, я съ дяденькой на пароходѣ по Волгѣ плавала... Дяденька содержали буфетъ, а я у нихъ салфетки стирала... И я это очень хорошо умѣю и вамъ вѣрно говорю, что я отличная прачка. Противъ меня даже не всякая потрафитъ отмыть красное вино или вредный соусъ, а я умѣю, и если бы деньги, которыя вы собирали, вы бы мнѣ бы довѣрили,—вотъ вы бы тогда увидали, что̀ я сдѣлаю!

— А что̀ бы вы сдѣлали?

— А вотъ у меня здѣсь другой мой дяденька въ трактирѣ вторымъ поваромъ служитъ и у нихъ салфеточная часть огромная. И я у него уже была и поговорила, и онъ съ буфетчикомъ поговорилъ и говоритъ: «Старайся, отдадимъ тебѣ».

— Что же надо постараться?

— Квартиренку надо изъ мусорныхъ и посуду... Я зашла уже и посмотрѣла: квартира есть въ подвальномъ этажѣ и съ большою комнатой. Самое чудесное для прачечной, а въ другой, маленькой, можно жить съ дѣвушкой и съ ребенкомъ. Я бы взяла двухъ дѣвчонокъ, да сама третья стала, и всѣ бы мы пропитались, и ребенку путь показала бы.

— Не ошибитесь-ка вы, Праша!

— Нѣтъ-съ. Я вѣдь какихъ примѣровъ не знаю, о тѣхъ не говорю, а это я вѣрно знаю, да еще я, вѣдь, секретъ умѣю, какъ красное вино можно отмыть безъ фиміи... И я свое дитя тогда никому бы за глаза не отдала, а сама бы его возрастила и произвела къ дѣлу. Отчего же не такъ?.. Но, впрочемъ, я это такъ говорю, а вамъ какъ угодно.

И она показалась мнѣ такою искреннею и честною, такою толковою, серьезною и надежною, что я сдѣлалъ такъ, какъ она хотѣла, то-есть я отдалъ ей всѣ деньги и сказалъ ей съ шуткою:

— Нате, Праша, и дѣлайте свои хорошіе примѣры!

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ

Черезъ мѣсяцъ Праша пришла звать меня къ себѣ на новоселье. Я пошелъ съ другимъ моимъ, литературнымъ товарищемъ, теперь уже умершимъ (изъ всей нашей тогдашней компаніи теперь въ живыхъ остаются только трое: Тимирязевъ, Всев. Крестовскій и я). Праша устроилась хорошо: у нея была одна дѣйствительно очень большая комната, въ которой у нея стояла ея кровать и деревянная колыбелька писательскаго сына.

Въ большой комнатѣ была прачечная съ новымъ инвентаремъ, пріобрѣтеннымъ и разставленнымъ съ несомнѣннымъ знаніемъ дѣла.

Тутъ, какъ слѣдуетъ, было сыро и пахло мокрою еловою клепкой и мыломъ. Въ прачечной ужъ, разумѣется, какъ въ прачечной, но въ жилой комнаткѣ было и сухо, и пріютно. Мы пили чай съ тремя мастерицами и Прашинымъ дяденькой, вторымъ палкинскимъ поваромъ, который привелъ съ собою еще другого второго повара изъ Балабинскаго трактира, памятнаго тѣмъ, что тамъ въ вспоминаемое время былъ особенный «литературный столикъ», за которымъ ежедневно садились пить чай Н. И. Костомаровъ, книгопродавецъ Кожанчиковъ и другіе солидные и дѣловитые литературные люди, при которыхъ мы, тогдашняя молодежь, держали себя почтительно и скромно.

Повара пришли къ Прашѣ раньше насъ и выпили все имъ предложенное разсчетливою хозяйкой, надымили скверными папиросами и ушли. Праша была ими очень недовольна, потому что балабинскій поваръ, узнавъ, что Праша завела свое хозяйство, нашелъ это достойнымъ своего вниманія и пришелъ съ дяденькою не просто, а съ тѣмъ, чтобы Прашу смотрѣть и потомъ ее посватать и на ней жениться. Это Прашу обидѣло, и она сразу отказалась отъ жениха и очень обрадовалась, когда повара ушли, оставивъ насъ съ однѣми фефёлами. А изъ этихъ фефёлъ одна была, въ своемъ родѣ, прелюбопытная. Это была женщина лѣтъ тридцати двухъ, которая, что называется, *всѣмъ взяла*: ростомъ, дородствомъ и красотою, а также и простотою, которою одною только и можно было объяснить полунищенское положеніе этой женщины, обладавшей большою и яркою красотой. Сообразно великолѣпной наружности, у

нея было и великолѣпное имя: звали ее Зинаида Павловна, а по фамиліи она была Потемкина. Знатностью породы она, впрочемъ, не отличалась: Зинаида Павловна была мѣщанка изъ подгородней слободы того самаго города, откуда была родомъ и Праша, которой Зинаида Павловна приходилась теткой и была старше ея лѣтъ на двѣнадцать, такъ что въ это время, когда Прашѣ было лѣтъ двадцать, Зинаидѣ Павловнѣ уже перевалило за тридцать. «Природы» онѣ были различной: Праша была кругленькая, боченочкомъ и поспѣшливая, а Зинаида Павловна—медлительная, величественная и авантажная; фигура у нея была чрезвычайно стройная и мощная, а лицо тонкой и яркой, но замѣчательно скромной красоты, напоминающей нѣсколько обликъ Поппеи-Сабины. По уму и душевнымъ своимъ свойствамъ обѣ женщины тоже совсѣмъ были не похожи одна на другую: Праша еще не созрѣла умомъ, но все замѣчала и во все вдумывалась, тогда какъ Зинаида Павловна ни о чемъ не думала. На красивомъ лицѣ всегда отражалось самое полное и самое невинное дѣтское простодушіе, граничащее даже съ умственною бѣдностью. При этомъ Праша была скромница, а Зинаида Павловна—болтушка, которая всегда неудержимо стремилась говорить какъ можно болѣе и въ молчаньи скучала. Словоохотливость ея была такъ велика, что она не ограничивалась произнесеніемъ одного только настоящаго имени даннаго лица, а еще сама присочиняла всякому еще нѣсколько именъ. Такъ, напримѣръ, она звала: «Праша—Пахита-Пашенція! Пашокъ—мой дружокъ!» Въ другой разъ она еще варьировала и говорила: «Прасковья Пахитосовна! Прашенька! Заинька бѣленькій, хвостикъ горѣленькій! Сядь, обопрись на меня лапочкой, закроемся тряпочкой, да пошепчемся!» И во всѣхъ ея словахъ, во всей манерѣ и во всей окружающей ее атмосферѣ вѣялось что-то ласковое и несчастное, доброе и безпутное.

Въ этой исторіи Зинаида Павловна должна имѣть свое мѣсто съ своею вводною исторіей, которая интересна и сама по себѣ, и по тому вліянію, какое она могла имѣть на Прашу.

Введемъ къ одной фефёлѣ еще другую, иного склада и иного лада: ея краткая исторія представляетъ въ своемъ родѣ бытовую картинку.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Я выше сказалъ, что Зинаида Павловна была уроженка подгородной слободы. Мать ея была солдатка и занималась плетеніемъ кружевъ на клюшкахъ, а отцомъ случилось быть усатому поляку, офицеру гусарскаго полка, стоявшаго въ городѣ постоемъ. Отъ этого случайнаго союза родилась писаная и несчастная красавица Зинка, которую пятнадцати лѣтъ, въ ужасный голодный годъ, тяжкая домашняя нужда, а, можетъ-быть, и материнская подлость, продали купцу-мукомолу. Купецъ, заплативъ за дѣвчонку деньги, взялъ съ нея, что̀ хотѣлъ, а «остальную часть» бросилъ. Остальное это было вся ея душа и все тѣло, доставшіяся теперь на посмѣяніе людямъ.

Такъ Зинка начала страдать и пряталась отъ всѣхъ и покрывала платкомъ косу, боясь, чтобы нравственные сосѣди не вымазали ночью дегтемъ воротъ у ея матери. Ея почти никто не видалъ; но если кто видѣлъ, тотъ замѣчалъ, что она «ужасно красива», и почиталъ себя въ правѣ мануть ее на грѣхъ. И въ самомъ дѣлѣ, какъ ни глодало ее горе, она все хорошѣла и, наконецъ, попала на глаза пожилому сапожнику, который такъ ею плѣнился, что прямо спросилъ ее:

— Пойдешь или нѣтъ за меня, если посватаю?

Дѣвушка отвѣчала:

— На мнѣ былъ грѣхъ.

— Знаю, да ничего не сдѣлать: надо помиловать. Если ты согласна, я посватаю.

Она отвѣчала:

— Я пойду.

Ей было все равно, лишь бы перестать косой трепать; но сапожникъ былъ парень смѣтливый, онъ любилъ женскую красоту, да умѣлъ и дѣла дѣлать; онъ явился къ купцу и сказалъ:

— Ваше степенство! Такъ и такъ, былъ такой грѣхъ, разумѣется, не въ укоръ вашей чести, потому она дѣвушка бѣднаго званія, но я теперь хочу ее за себя взять, съ жалости, чтобы покрыть ея грѣхъ, такъ какъ ей отъ людей проходу нѣтъ, то вотъ она меня послала къ вамъ — благословить ее проситъ. Не обезсудьте, ваше степенство!

Купецъ былъ въ хорошемъ расположеніи и отвѣчалъ, что

«ликъ Божій» ему надъ Зинаидой «держать зазорно», а онъ такъ просто даетъ ей сто рублей на приданое.

Сапожникъ поклонился въ ноги и, получая деньги, поцѣловалъ руку, а затѣмъ женился на Зинаидѣ, разумѣется, ни слова не сказавъ ей о подаренномъ ей отъ купца приданомъ. Въ бракѣ съ сапожникомъ Зинаида пробыла три года. Родила трехъ дѣтей, сначала дочь, а потомъ двухъ мальчиковъ. Мужъ ея былъ человѣкъ аккуратный и чудесный мастеръ, и прошлымъ ее не урекалъ, но до того былъ ревнивъ, что даже не позволялъ ей разговаривать ни съ однимъ мужчиной. По словамъ Зинаиды Павловны, онъ ее ревновалъ даже «къ деревянной ногѣ» и много разъ этою же самою ногой ее билъ. Разъ она претерпѣла отъ него такое наставленіе, что ее даже сочли мертвою, и это ей досталось за то, что она похристосовалась съ своимъ роднымъ дядей.

— Но, однако,—говорила Зинаида Павловна:—билъ онъ меня не даромъ, потому что я ужасно его ненавидѣла.

Когда же этотъ самый драчунъ-мужъ заболѣлъ и приступилъ умирать, то онъ сталъ такъ ужасно тосковать, что Зинаида Павловна надъ нимъ разжалобилась, и когда онъ сталъ ее просить, чтобъ она «сняла образъ Курской Заступницы и поклялась, что послѣ него не пойдетъ ни за кого замужъ», то она сняла Заступницу и заклялась.

Сапожникъ умеръ, а оставшаяся подъ клятвою бѣдная красавица его вдова начала оберегать свои обѣты, и хотя ее сватали нѣсколько человѣкъ, но она ни за кого замужъ не пошла, а какъ покойникъ ей ничего на дѣтей своихъ не оставилъ, то она для ихъ воспитанія «*три раза въ мамкахъ служила*».

Каждый изъ этихъ трехъ эпизодовъ былъ неотвратимъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Начались эти приключенія у самой могилы сапожника. Прежде чѣмъ гробъ успѣли засыпать, тутъ случился французъ-живописецъ, который видѣлъ, какъ молодая вдова стояла и плакала, держа въ растерянности одного ребенка у груди, а двухъ прижимала къ себѣ другою рукой. Французъ имѣлъ живое воображеніе и доброе сердце: онъ подалъ женщинѣ десять рублей и велѣлъ ей придти къ себѣ вмѣстѣ съ дѣтьми, и чтобы всѣ они были въ этомъ же

самомъ платьѣ. Они такъ и пошли, да у нихъ и не было ничего другого, чтобы надѣть на себя. Такъ французъ ихъ и «отрисовалъ» на картинѣ, совсѣмъ какъ живыхъ, и велѣлъ еще и еще приходить, и всякій разъ давалъ за это по три рубля. Зинаида Павловна этимъ очень понравилась, и боялась только, что доходъ ея прекратится, какъ только кончится «рисовка». Однако, опасеніе ея было напрасно,— «рисовка» кончилась, а благополучное соотношеніе не прекратилось, но только лишь перемѣнилось. Какъ скоро французъ кончилъ одну картину, онъ «дѣтей отставилъ», а матери сказалъ: «Теперь, chère ami, мы будемъ дѣлать другую фигуру». И онъ велѣлъ ей приходить одной и переодѣваться у него въ очень нарядный крестьянскій уборъ, послѣ чего она должна была брать въ руки снопъ соломы, путаные васильки и серпъ, и такъ она стояла, пока онъ произвелъ еще одну картину, которая стояла на одной изъ парижскихъ художественныхъ выставокъ съ надписью: «Devouschka krapivouscon jala». Но и послѣ этого французъ продолжалъ ее поддерживать и доставлялъ ей съ дѣтьми, что имъ было нужно, но зато она была беременна... и Богъ вѣсть для какой надобности. Къ счастію, однако, Богъ далъ, что это вышло прекрасно: у живописца ее часто видѣлъ одинъ генералъ, большой любитель всего хорошаго, и онъ уже давно сталъ ей подмигивать глазки, но тогда французъ его остановилъ и сказалъ:

— Chacun à son tour, mon général! Chacun à son tour!

И когда пришелъ его «tour», генералъ сказалъ Зинаидѣ Павловнѣ, чтобы она не робѣла, что его жена тоже въ такомъ же положеніи, и если Зинаида пожелаетъ, ее охотно могутъ взять въ мамки, при чемъ генералъ обѣщалъ тоже размѣстить въ пріюты ея дѣтей, которыхъ теперь было уже четверо.

Зинаида Павловна пошла въ генеральскій домъ мамкою, а французъ пошелъ съ свободными руками.

— En attendant vive l'amour et vive la bagatelle!

Генералъ по добротѣ и простотѣ тоже былъ не хуже француза, но, кромѣ того, онъ былъ и человѣкъ могущественный и устроилъ всѣхъ четырехъ ребятишекъ Зинаиды Павловны, а зато и его дитя было прекрасно выкормлено, но незадолго передъ тѣмъ временемъ, когда ребенка надо

было отнимать отъ груди, генеральша уѣхала въ Ниццу къ больному отцу, а генералъ самъ наблюдалъ за порядкомъ въ дѣтской, и результатомъ этого вышло, что бѣдная Зинаида Павловна опять пострадала, подпавъ своей ужасной судьбѣ, которая не хотѣла дозволить, чтобы ей хоть что-нибудь сошло безъ послѣдствій. Генералъ, впрочемъ, тоже ее «не оставлялъ», а она, дождавшись своего времени, поступила въ мамки на третье мѣсто, гдѣ опять, на ея несчастіе, по субботамъ брали въ отпускъ кадетика. И тогда Зинаида Павловна на себя разсердилась и въ четвертый разъ въ мамки уже не пошла, потому что, по ея соображеніямъ, «въ семейныхъ домахъ жить невозможно». А въ это самое время осиротѣла ея племянница Прана и стала заводить себѣ прачечную. Зинаида Павловна приняла къ ней и предложила жить вмѣстѣ.

— А то со мною просто ужасти что случается!

Прана ей отвѣтила:

— И лучше!

И вотъ мы увидали ихъ вмѣстѣ, бокастенькую, дѣловитую Прашу хозяйкою, а вальяжную и величественную Зинаиду Павловну ея правою рукой.

Что эти женщины могутъ управить «прачечное заведеніе», въ этомъ можно было не сомнѣваться, но какъ онѣ станутъ управлять сами собой — объ этомъ можно было гадать надвое. Но, однако, прошелъ годъ, и онѣ обѣ держали себя въ порядкѣ. Изрѣдка я встрѣчалъ Прашу на улицѣ, но чаще видѣлъ ее въ окно, какъ она гладила съ мокрымъ отъ пота лбомъ и простиралась по гладильной доскѣ не только обѣими руками, но даже взбиралась на нее и колѣномъ. Видъ она всегда имѣла дѣловой, бодрый и озабоченный.

Зинаида Павловна работала спрохвала: она не любила каленаго утюга, а больше «прыскала да складывала».

Одинъ разъ въ теченіе перваго года ихъ хозяйства я заходилъ посмотрѣть на литераторскаго наслѣдника и засталъ его въ отличномъ положеніи: онъ ползалъ по полу настоящимъ санкюлотомъ, съ заткнутымъ за поясъ подоломъ, и махалъ деревянною ложкой, а неподалеку отъ него катался горнюкъ съ пшенною кашей. Всякъ ли еще имѣлъ въ дѣтствѣ такое благополучіе!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Прошло два и три года. Дѣло у Праши приняло значительные размѣры и жилось имъ всѣмъ хорошо: стирали и «салфеточное», и всякое другое бѣлье уже на нѣсколько гостиницъ, и всѣ ими были довольны. Особенно славилась ихъ блестящая выводка пятенъ «безъ фиміи». Секрета своего противъ пятенъ краснаго вина Праша никому не открывала. Онъ, очевидно, былъ очень важенъ, хотя, по ея словамъ, онъ состоялъ «изъ самыхъ послѣднихъ пустяковъ».

Хорошо или дурно быть такою секретницей, объ этомъ она не думала, да ей это «съ тѣмъ было и открыто, чтобы другимъ не говорить». Это надо соблюсти, иначе никому не будетъ дѣйствовать.

Упомянутое достопримѣчательное средство «показала» ей одна бѣдная барынька на пароходѣ: она была изъ бѣдныхъ полячекъ и ѣхала къ мужу въ Сибирь, а мужъ у нея, до ссылки его, содержалъ трактиръ, и удивительно въ чемъ провинился: къ нему пришли бунтари и говорятъ:

— Мы, братъ, голодны, давай ѣсть, а то повѣсимъ.

Онъ имъ не сталъ подавать, а они сами взяли, поѣли и ушли. Тогда пришли наши и спрашиваютъ:

— У тебя ѣли?

Онъ говоритъ:

— Да,—все взяли и съѣли!

Наши его побили и посудили, и въ Сибирь сослали. Ему и тамъ хорошо.

Полячка на пароходной палубѣ стыла съ своими ребятами. Праша надъ нею сжалилась и услужила ей кипяткомъ, просушила ихъ обувь и платьишко и «простирнула» дѣтское бѣльишко, а полячка ей за это и сказала секретъ. Вотъ онъ ей теперь и пригодился.

Одно одолѣвало Прашу, что она безграмотна; за это она укоряла своихъ родителей:

— Зародятъ насъ, да такъ безграмотными фефёлами и пустятъ: вотъ мнѣ теперь надо много счетовъ, а писать не кому.

Появился какой-то писарь, человѣкъ среднихъ лѣтъ, по имени Апрѣль Иванычъ. Онъ былъ полякъ, но состоялъ счетчикомъ въ русской артели, гдѣ его имя «Аврелій» передѣлали по-русски въ «Апрѣль». Онъ былъ человѣкъ трез-

вый, разсудительный и чрезвычайно учтивый. Держалъ онъ себя съ большимъ достоинствомъ: не унижался и не лѣзъ на фамильярность. Праша его приговорила приходить къ ней и писать ей «счета», а онъ былъ тронутъ ея скромностью и не хотѣлъ съ нея ничего брать за эти занятія, но Праша этого не приняла. Она знала, что женщинамъ даромъ ничего не дѣлаютъ, и примѣръ въ этомъ была у нея Зинаида Павловна, которую теперь безпокоили дѣти, начавшія выходить изъ пріютовъ. Француза и генерала уже и слѣдъ простылъ.

Черезъ годъ ея старшую дѣвочку шестнадцати лѣтъ уже выдали замужъ за молодого артельщика, съ которымъ ихъ сосваталъ Апрѣль Иванычъ. Что за милый человѣкъ! Зинаида Павловна была очень ему благодарна и называла его Апрѣль Мартычемъ, а дочери своей дала въ благословеніе всѣ образа, какіе у нея были, оставивъ себѣ всего только одну Курскую Заступницу. Кромѣ того, она сдѣлала ей нѣсколько соотвѣтствующихъ случаю совѣтовъ и особенно велѣла ей первой ступить на подножье и топнуть ногой, когда будетъ идти «Павла чтеніе». Собирала невѣсту и выдавала ее Праша, которая тоже хвалила Апрѣля Иваныча за его «учливость» и особенно за то, что онъ «о сиротѣ позаботился». Такъ нравился онъ и другимъ женщинамъ, съ которыми ласково говорилъ и въ свободное время читалъ всѣмъ *Телемака*.

Праша думала, что онъ «къ нимъ привьется», и именно насчетъ Зинаиды Павловны, которая всѣмъ нравилась. Правда, что она не работница, но, вѣдь, зато какъ хороша! Пусть женится: она имъ поможетъ, вмѣстѣ жить будутъ. Но вдругъ все это повернулось иначе, и Праша пришла ко мнѣ въ неодолимомъ смущеніи и истерическимъ тономъ заговорила:

— Я, право, не знаю... такое обрѣтеніе... Апрѣль Иванычъ меня замужъ проситъ.

И какъ это сказала, такъ сѣла и заплакала.

— Что же вы, идете или нѣтъ?

— Да я и не знаю.

— Стало-быть, идете.

— Нѣтъ, не знаю, а, во-первыхъ, онъ такой учливый, и сироту-дѣвушку устроилъ, а, во-вторыхъ, моего мальчика любитъ и имъ *Пеленака* читаетъ, да, подите-ка, еще сколько

у него и другихъ книжекъ, и самъ онъ безсчастный, потому что, вѣдь, никакой у него близкой души нѣтъ. Это же правда истинная! Я долго не вѣрила и другія мнѣ тоже говорили: «Повѣрь, это онъ къ тебѣ подлещается, потому что у тебя свое хозяйство, а всѣ поляки льстивые»; но это же, вѣдь, глупость, и я этому никогда ни за что не повѣрю, потому что есть всякіе люди въ каждомъ народѣ; но когда по веснѣ мой мальчикъ заболѣлъ при смерти, такъ Апрѣль Иванычъ надъ нимъ ночей не спалъ, и теперь дитя его, можно сказать, больше меня любитъ.

— Это васъ къ нему и расположило?

Прасна хотѣла сказать что-то коротко и откровенно, но вмѣсто того опять заморгала со слезами и истерично отвѣчала:

— Я этого не понимаю... не знаю, что̀ именно! А только онъ же одинъ понялъ, что дитя такого отца, что надо ему открыть всѣ понятія. Вотъ я его за это... не знаю, какъ уважаю!

И она хотѣла еще что-то изъяснить, но опять заплакала.

— Такъ и прекрасно,—говорю,—вы, Прасенька, и выходите.

— Вы совѣтуете?

— Да что же! Отчего нѣтъ?

Она помолчала, потупивъ глаза внизъ, и, покраснѣвши, прошептала:

— Отчего же мнѣ это... какъ будто стыдно?

— Вы развѣ обѣщали не выходить?

Она покачала головою и отвѣчала:

— Покойникъ объ этомъ никогда не говорилъ.

Она остановилась, вздохнула и добавила:

— Вѣдь это тогда... все только я его обожала и себя не помнила за это счастіе, а онъ только такъ...

— И Курской Заступницѣ вы не клялись?

— Нѣтъ,—отвѣчала она съ тихою улыбкой и сейчасъ же опять вздохнула и еще сквозь слезы добавила:—Я вѣдь ничего не утаила, я сказала: «Апрѣль Иванычъ! словъ нѣтъ, что я очень вами за все благодарна и могу слѣдовать; но только съ кѣмъ я это дитя получила, то у меня тотъ человѣкъ посейчасъ въ сердцѣ, и я послѣ него ни для кого уже особенныхъ чувствъ не нахожу». А онъ мнѣ отвѣтилъ: «Значитъ, если и я помру, хорошо дѣлавши, то

вы и обо мнѣ хорошо вспомните». Тутъ ужъ я взволновалась и говорю: «Что же вы это такъ себя сокрушаете: сами сватаетесь и сами себя хороните?» А онъ говоритъ: «Смерти никогда забывать не слѣдуетъ». А я говорю: «Ну, ужъ это нѣтъ... Послушайте, это такъ вовсе не надо... Станьте рядомъ, да давайте скорѣе лучше помолимся, вы по своей вѣрѣ, а я по своей: пусть что намъ Богъ дастъ, то и будетъ».

И когда они помолились, то Богъ имъ далъ то, что они сдѣлались мужемъ и женою.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Апрѣль Иванычъ оказался прекраснымъ человѣкомъ: онъ нѣжно любилъ скромненькую Прашу и удивительно заботился о «писательскомъ сынѣ». Онъ завелъ въ домѣ вечерній кружокъ у чайнаго стола и всѣмъ здѣсь читалъ *Телемака*, поясняя изъ него, что люди живутъ вовсе не такъ, какъ бы надобно жить. Къ этому же у него служили *Павелъ и Виргинія*, а самъ для себя онъ читалъ еще болѣе забористыя вещи, какъ-то: *Оправданіе Сократово* и *Слово похвальное Марку Аврелію*. А затѣмъ въ жизни со всѣми былъ ласковъ, и простъ, и любезенъ.

У Праши съ Апрѣлемъ родилось еще двое дѣтей: мальчикъ Абрамчикъ и дѣвочка Пелагеичка. Зато изъ домашняго штата Праши стала выбиваться Зинаида Павловна, съ которою опять начались «туры», и причиною ихъ были дѣти и жасмины. Выше было сказано, что дѣти удивили Зинаиду Павловну тѣмъ, что они начали подрастать одно вслѣдъ за другимъ, чего мать ихъ совсѣмъ не ожидала и совершенно растерялась отъ этой неожиданности. Она дѣлала все, что могла: плакала и молилась на колѣняхъ, но дѣти все-таки оставались «безъ предѣла», а у самой Зинаиды на заплаканныхъ глазахъ, которымъ, кажется, надо бы померкнуть и ввалиться, вмѣсто того выскакивали ужасные ячмени или, какъ она ихъ называла, «жасмины». Чтобъ избавиться разомъ отъ жасминовъ и отъ дѣтей, Зинаида Павловна готова была выпить самую злую отраву и даже разъ выпила пузырекъ нашатырнаго спирта и произвела въ домѣ дворовый скандалъ: въ прачечную набѣжали жильцы, въ числѣ которыхъ былъ длинный нѣмецъ «Аплетонъ», занимавшійся починкою плетеной мебели, и гимназистъ, кото-

рый занимался передъ окномъ выпиловкою и потому назывался «Пропилей». Они оба приняли участіе и бѣгали въ аптеку, а потомъ все стали попадаться Прашѣ на глаза и, наконецъ, подрались на лѣстницѣ. На другой день сухая и жилистая жена «Аплетона» нагло заглянула въ окна прачечной и сказала: «шлюхи!» А бабушка «Пропилея», встрѣтивъ Прашу, сообщила ей, что она «своего» будетъ запирать, а вы-де «свою» обуздайте.

Апрѣль Иванычъ не вмѣшивался, но его стали тревожить ночами движенія у двери, и разъ онъ тамъ нашелъ Зинаиду Павловну, которая ему прямо, но странно сказала:

— Что, Апрѣль Мартычъ? Очень мнѣ, другъ милый, чего-то скучно!

И она такъ сжала ему руку, что точно хотѣла его куда-то увлечь за собою.

Отъ Праши это осталось скрытымъ, и Зинаида Павловна изрѣдка только посматривала за двери и говорила, что ей какъ-то все «кошкой пахнетъ».

Праша смотрѣла на нее и отвѣчала:

— Смотри, у тебя это болѣзнь.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Задавались чрезвычайно безпокойныя ночи, когда коты совсѣмъ не знали покоя сами и не хотѣли позволять спать людямъ: они мяукали, скреблись, прыгали, падали съ высотъ внизъ и опять царапались вверхъ и, настигая другъ друга, дрались такъ, что сыпалась шерсть, и затѣмъ вновь паденіе и вновь бѣготня. Эта возня такъ безпокоила жильцовъ, обитавшихъ въ квартирахъ, имѣвшихъ одинъ выходъ, что то изъ одного, то изъ другого жилья среди ночи отворялись двери и оттуда или кто-нибудь манулъ домой своего кота, или же чья-нибудь негодующая рука швыряла что попало, чтобы испугать и разогнать полунощниковъ. Такъ было и въ тотъ разъ, когда Апрѣль Иванычъ, придя изъ бани, легъ поранѣе и хотѣлъ уснуть покрѣпче, а вмѣсто того онъ и совсѣмъ не могъ заснуть отъ повторявшагося за дверями шума. Онъ всталъ и при свѣтѣ лампадки увидѣлъ, что былъ второй часъ ночи, но на лѣстницѣ за дверью нѣтъ-нѣтъ и опять раздавалось движеніе.

«Что̀ за наглые негодяи!»—подумалъ Апрѣль и, сунувъ ноги въ туфли, схватилъ лучинную корзинку съ остатками

мелкихъ углей и подкрался къ двери съ тѣмъ, чтобы быстро ее растворить и швырнуть корзинкой въ котовъ, какъ только они зашевелятся ближе.

Ему и не пришлось долго ждать, потому что немедленно же учинился шумъ и съ лѣстницы внизъ что-то слетѣло и замѣшалось у двери. Апрѣль Иванычъ сію же секунду быстро толкнулъ дверь, но какъ она оказалась едва притворенною, то онъ не соразмѣрилъ силы съ сопротивленіемъ, самъ выпалъ наружу и очутился съ своею корзинкой на грязномъ полу въ кучѣ съ «Пропилеемъ» и «Аплетономъ», которые извивались, тормоша одинъ другого за кудри, между тѣмъ какъ чья-то свободная нога наступила на самого Апрѣля и въ открытую дверь его квартиры скользнула женская фигура.

Апрѣль Иванычъ догадался, что это была Зинаида, и возвратился домой очень сконфуженный, испачканный углемъ и съ порядочнымъ ушибомъ въ колѣнѣ.

Онъ покачалъ головою, вздохнулъ, обтерся и легъ, не сказавъ ни слова женѣ ни въ первую минуту, ни тогда, когда Праша черезъ полчаса встала съ кровати, надѣла юбку и кофту и прилегла на коротенькомъ диванчикѣ. Еще черезъ нѣкоторое время она тихонько встала и неслышными шагами пошла къ той же двери, отъ которой отошелъ ея мужъ. Но Праша была осторожнѣе Апрѣля Иваныча: она ощупала крючокъ двери и нашла, что онъ откинутъ, тогда она тихо отодвинула дверь и сейчасъ же ухватила своею рукою руку Зинаиды Павловны и потащила ее къ себѣ, но та сдѣлала движеніе, чтобъ освободиться, и на этотъ шумъ съ верхней площадки сразу слетѣли двѣ фигуры и сразу схватились другъ съ другомъ. Это опять были они: Аплетонъ и Пропилей.

Праша отлично ихъ узнала и еще рѣшительнѣе вцѣпилась въ Зинаиду и втащила ее назадъ, а на дверь наложила крючокъ.

Теперь Зинаида шла безъ сопротивленія и, придя въ свою комнатку, тихо сѣла на кровать и закрыла лицо руками.

Праша хотѣла тотчасъ же выйти, но Зинаида Павловна сама ее удержала.

— Что же ты уходишь?—спросила она.—Лучше теперь и ругай, ужъ кстати!

— Да какъ ты это выходишь, что тебя даже вовсе не слышно?.. Этакъ насъ обокрадутъ.

— Ну, и что жъ дѣлать?

Зинаида ткнулась лицомъ въ подушку и заплакала.

— О чемъ же ты плачешь?

— О томъ, что мнѣ тебя стыдно.

— Что жъ, я тебѣ не мать и не сестра, а племянница...

— Это все равно... Зачѣмъ ты замужъ пошла? Пока ты не выходила, и я жила прелестно, а теперь вотъ... поползло и поѣхало.

— Что же, я тебѣ помѣшала жить?

— Скучно стало.

— Отчего?

— Сама не знаю: погляжу на васъ—и скучно, а лягу—спать не могу.

— Отчего же это?

— Не знаю. Сначала дремота, и спать хочу, а потомъ вдругъ какъ котъ... и отъ кота буркота...

— Молилась бы на ночь.

— Извольте!.. Еще какъ и молюсь! И батюшкѣ все говорила, и онъ все, все, все мнѣ разъяснилъ, какъ это и называется, что блюдъ и что преблюдѣніе, но все это ничего не значитъ! Встань, пожалуйста, на стулъ—задерни занавѣской Заступницу.

— Не хочу.

— Нѣтъ, сдѣлай милость, закрой Ее!

Праша встала и задернула образъ ситцевой занавѣской.

Тогда Зинаида Павловна ее попросила:

— Возьми, пожалуйста, достань тамъ стклянечку...

— Неужели еще пить станешь?

— Да нѣтъ, что за глупости!.. Тамъ богоявленская вода... Сбрызни меня скорѣе, сбрызни!

— Не хочу!—отвѣчала Праша и, махнувъ рукой, спрыгнула со стула, чтобы уйти, но Зинаида Павловна схватила своею рукою ея руку и удержала.

— Что это съ тобой?—спросила сконфуженно Праша.

— Вотъ сдѣлала такъ и ничего болѣе... Не пущу!

— А я съ тобой говорить не хочу.

— Отчего? Послушай!.. Отчего?

— Для чего ты двухъ держишь!

— Кто ихъ держитъ! Проклятые!.. одинъ другому шагу ступить не даютъ.

— Да ужъ остановись на чемъ-нибудь!

— Да какъ же я могу на одномъ остановиться, когда я ихъ только и вижу, какъ они вдвоемъ другъ съ дружкой сражаются!

— За что сражаются?

— Ну, что разспрашивать!

— Нѣтъ, окромя всякихъ шутковъ?

Но Зинаида плакала и, вмѣсто разъясняющаго отвѣта, поцѣловала племянницыну руку и опять проговорила:

— Вотъ и ничего болѣе!

— Ну, и прощай!

— Да, и прощай, Пахита, прощай!

А когда Праша подошла къ двери, она ее окликнула и еще разъ сказала:

— Прощай же, Пахита, прощай!

Праша не придала этому прощанію никакого особеннаго значенія, а такое значеніе здѣсь было, потому что на другой день Зинаида Павловна, никѣмъ не замѣченная, исчезла изъ дома племянницы и уже никогда болѣе къ ней не возвратилась.

Дѣтей своихъ она поручала Апрѣлю Иванычу, который и въ самомъ дѣлѣ устроилъ, что требовалось. Зинаида Павловна отозвалась Прашѣ изъ Кіева: «Не думай, будто я отъ своихъ дѣтей убѣжала,—писала она,—это несправедливо; но меня обидѣлъ фершелъ, который давалъ не того лѣкарства отъ жасминовъ, и я не захотѣла оказать себя при замужней дочери, чтобъ ей не было стыдно».

Прашу и замужнюю дочь Зинаиды Павловны это извѣстіе очень разсердило. Дочь говорила: «пусть къ намъ и не возвращается»; но Апрѣль Иванычъ заступался за «слабую женщину», и это познакомило Прашу съ подозрительностью и ревностью, подъ вліяніемъ которыхъ она находила большое утѣшеніе въ томъ, что такая «слабая женщина» отъ нихъ отъѣхала.

Съ этихъ поръ прошло пять лѣтъ жизни тихой и совершенно счастливой, и когда писательскій сынъ былъ уже въ третьемъ классѣ гимназіи, Апрѣль Иванычъ вдругъ сталъ сбираться къ роднымъ въ свою «поляцкую сторону» и, несмотря на многія неудобства, уѣхалъ туда грустный, а воз-

вратился еще грустнѣе, и какъ разъ въ это самое время пришло ужасное письмо отъ Зинаиды Павловны, возвѣщавшей Прашѣ, что она живетъ тѣмъ, что чиститъ ягоды для варенья, и что Богъ тогда же давно далъ ей «двойку заразъ, мальчика и дѣвочку».

Прашѣ показалось, что это что-то сверхъестественное и не къ добру.

— Какъ это... женщина уже за сорокъ лѣтъ, и столько уже было дѣтей, и потомъ еще вдругъ сразу рождается пара! Это къ несчастью!

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Праша поскорѣе послала въ Кіевъ «на зубокъ» десять рублей, но не написала родственницѣ никакого письма. Ей было не до того: Апрѣль Иванычъ возвратился въ Петербургъ изъ своей стороны какой-то разстроенный и съ такою скрытною скорбью, что Праша въ этомъ не могла разобраться и понять: въ чемъ дѣло зависитъ. Одно время она подумала, не получилъ ли онъ какихъ-нибудь невыгодныхъ для нея сравненій, и сейчасъ же подумала, чего ей можетъ въ его глазахъ недоставать, и нашла это. Разъ, утромъ, когда Апрѣль Иванычъ, по своему обычаю, внимательно осмотрѣлъ и пристегнулъ ранецъ къ плечамъ уходившаго въ гимназію писательскаго сына, Праша походила за мужемъ съ мѣста на мѣсто и, наконецъ, сказала:

— Апрѣль Иванычъ! вы не думайте, что я другой вѣры... я за вами послѣдую.

Онъ растрогался и поцѣловалъ у нея руку, и сказалъ, что ничто такое не нужно, и ничего безпокойнаго нѣтъ.

— Ну, а на всякій случай,—продолжала Праша:—вы это знайте... Мы нигдѣ не пропадемъ.

Но Апрѣль Иванычъ опять увѣрилъ ее, что ничего нѣтъ. Праша успокоилась и отвѣчала:

— Значитъ и слава Богу. Только руки моей, пожалуйста, никогда не цѣлуйте.

— Отчего?

— Я этого не стою.

— Не стоите!.. Вы сами не знаете, чего вы стоите!

— Ну, оставимъ это!.. Я не привыкла... Право, голубчикъ, не надобно... Я устыждаюсь... Я лучше васъ просто такъ поцѣлую... потому что я васъ теперь вѣдь люблю...

Что вы съ недовѣріемъ смотрите?! Нѣтъ, это вѣрно, вѣрно! Я не солгу, ни за что не солгу... Вотъ, когда вы со мною женились, я васъ тогда еще не любила, я вамъ такъ и сказала, что «уважать васъ я уважаю, но особенно не люблю», потому что тогда еще другой человѣкъ у меня всѣмъ моимъ сердцемъ командовалъ, а теперь...

— Неужли вы его позабыли?

— Нѣтъ!.. Ахъ, нѣтъ, другъ мой! Нѣтъ! А только, извините жъ меня, вѣдь если мы объ этомъ заговорили, то я должна правду сказать: теперь я ни о немъ, ни о васъ порознь не думаю, а оба вы вмѣстѣ для меня какъ будто въ одно слились... Право, это правда, правда, истинная правда! Онъ, вы, я—это будто совсѣмъ все одно, и это что было тогда, и что сейчасъ есть, и что дѣти рождаются— это какъ-то какъ будто мимо уплываетъ.

Апрѣль все ее благодарилъ и успокаивалъ, но она видѣла, что онъ самъ не спокоенъ, и она спрашивала его про родину: гдѣ живетъ его сестра? Нельзя ли послать ей пять фунтовъ кофею? Правда ли это была, будто у нихъ наши взыскивали съ тѣхъ, кто своихъ покормитъ?

Апрѣль Иванычъ отвѣчалъ женѣ «будто какъ изъ-подъ неволи», и вдругъ забредилъ о какой-то огромной артельной растратѣ, которую будто онъ сдѣлалъ не по своей волѣ. Но никакой артельной растраты не было, а Апрѣля Иваныча пришлось отвезти въ сумасшедшій домъ. Пасынокъ о немъ страшно скорбѣлъ, и скорбь его перешла въ страданіе, когда его превосходный вотчимъ вскорѣ же умеръ, истерзанный мучительною тревогой.

Вотъ вамъ и Зинаида Павловна и ея «двоешка»!

И съ какой стати, и для чего ей было нужно писать о всѣхъ такихъ происшествіяхъ въ Петербургѣ? Чистила бы себѣ въ Кіевѣ ягоды — и кончено! Да и Прашѣ некогда и нѣтъ никакой надобности разсуждать о пустякахъ. У нея теперь уже не одинъ сынъ, а *трое дѣтей*, а кормилица у нихъ опять одна она, безграмотная фефёла, и начальство ей не поможетъ.

Въ тотъ же день, какъ схоронили Апрѣля Иваныча, литераторскій сынъ сталъ писать для матери ея прачечные счета и наблюдалъ, какъ читаютъ мальчикъ Абрамчикъ и дѣвочка Пелагеичка.

Дѣла у Праши были опять по-старому: черезъ годъ еще

пошли въ школу и Абрамчикъ съ Пелагеичкой, а когда они тамъ подучились, ихъ отвели: Абрамчика къ дядѣ повару, а дѣвочку Пелагеичку поставили крахмалить и гладить. Другой карьеры имъ не намѣчалось, но старшій ихъ братъ, «литераторскій сынъ», все еще учился и достигъ того, что «вышелъ на лѣкаря». Мать преисполнилась восторгомъ, что это *она вывела*, и не знала, что бы такое сдѣлать, чтобы дать ходъ своему сердцу. Она вспомнила о Зинаидѣ и рѣшила съѣздить въ Кіевъ «отблагодарить Бога» и посмотрѣть, что тамъ дѣлаетъ Зинаида. Можетъ-быть, ей худо и она стыдится придти назадъ. Надо ее обласкать и увезти къ себѣ и жить съ нею вмѣстѣ... И надо это поскорѣе: нельзя откладывать примиренія, — смерть такъ и ходитъ.

Праша отправилась въ Кіевъ, ощущая въ себѣ приливъ теплаго и нѣжнаго чувства; переѣзжая Днѣпръ, она любовалась видомъ и плакала, а на другой день пошла въ пещеры и, какъ прачка, замѣтила, что вездѣ бы все надо помыть. Въ тотъ же день она пошла искать по Кіеву Зинаиду Павловну, но не могла ее найти: ни въ одномъ конфетномъ заведеніи ее не знали. Прашѣ только случайно удалось напасть на слѣдъ Зинаиды Павловны черезъ посредство послушниковъ монастырской гостиницы, которые всѣ ее знали; но путь къ ней былъ не простъ. Послушники указали Прашѣ на двухъ лицъ, имѣвшихъ въ томъ мѣстѣ значительное положеніе. Это были два такъ-называемые старца, которые сидѣли на сходахъ лѣстницы съ чашками, прося подаянія. Одинъ изъ нихъ былъ слѣпецъ Ереней, а другой кривоустый Игнаша. Они просили милостыню, но были люди очень достаточные и даже имѣли въ городѣ домъ. Зинаида была у нихъ «за хозяйку».

Праша своимъ ушамъ не вѣрила, но это была правда: она пошла разыскивать Зинаиду и нашла ее, ибо она дѣйствительно находилась въ хозяйкахъ у двухъ старцевъ, изъ которыхъ только одинъ могъ видѣть благообразіе ея лица, именно Игнатъ «кривоустый», а «слѣпецъ» Ереней могъ цѣнить лишь другія ея достоинства.

На хлѣбахъ у старцевъ Зинаида Павловна еще раздобрѣла и потерпѣла отъ лѣтъ только въ томъ отношеніи, что у нея выпало много волосъ и она облысѣла; но зато она теперь обвязала себѣ голову яркимъ, полосатымъ плат-

комъ и ходила, какъ святочная туркиня, что опять ей было очень къ лицу и дѣлало ее интересною.

Если бъ ее увидалъ въ этомъ уборѣ давній ея обожатель, французъ, то въ немъ, навѣрное, опять могла бы заиграть его художественная фантазія, и онъ могъ бы выпустить новое произведеніе, достойное и его, и Зинаиды Павловны.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Обѣ феѳёлы встрѣтились на порогѣ и были такъ изумлены, что обѣ сначала молчали дольше, чѣмъ было пристойно друзьямъ, а потомъ хотя и заговорили, но ихъ разговоръ оказался безъ толка.

Хозяйка спросила гостью:

— Ахъ, это ты?.. Ну, скажите, пожалуйста! Праша, Прашенція!.. Всходи же скорѣе!

Праша вошла и тотчасъ же сѣла. «Туркиня», повязанная фуляромъ, ей не нравилась. А та продолжала спрашивать:

— Какъ же ты поживаешь? Апрѣль Иванычъ померъ... Что, братъ, подѣлаешь! Я за него подавала на часточку. Хотя онъ и не нашей вѣры, но это можно. Раздѣвайся, Прашенція!

А Праша слушала Зинаиду Павловну и смотрѣла на нее, а сама удивлялась, отчего у нея до сихъ поръ все такая же пышная и бѣлая шея, и Праша сказала:

— А что у тебя теперь твои ячмени уже не бываютъ?

— Бываютъ!—отвѣчала Зинаида Павловна.—А ты стала совсѣмъ пожилая!

— Еще бы! Сынъ уже на лѣкаря вышелъ. Твои дѣти тебѣ кланяются.

— Охъ, не говори мнѣ про дѣтей!

— Отчего?.. Все хорошо.

— Все равно... Какая я мать!

— Ничего. Богъ дастъ, будетъ иначе.

— Нѣтъ, ужъ поздно!

Праша очень хотѣла продолжать разговоръ, но имъ не о чемъ было болѣе говорить и никакого примѣненія для тѣхъ нѣжныхъ чувствъ, съ которыми ѣхала Праша, не оказывалось. Зинаида Павловна потчивала Прашу тѣмъ и другимъ и водила ее по дому, показывала, гдѣ спитъ слѣ-

пой и гдѣ кривоустый. Домъ былъ не маленькій, и у всѣхъ свои помѣщенія. У слѣпого было немножко грязновато, но онъ вѣдь ничего не видитъ, а у кривоустаго все было совсѣмъ какъ у хорошаго купца: и образникъ, и конторка. Спальня Зинаиды Павловны была вся застлана тюменьскимъ ковромъ и въ ней стоялъ пребольшой образникъ, въ которомъ серединное мѣсто занимала ея Курская Заступница. Передъ этою образницей горѣли три лампады, а напротивъ въ углу за пологомъ взбита большущая перина, уложенная на такой высокой двуспальной кровати, что для входа на нее приставлена была у ногъ скамейка. Кровать была крѣпкая, но оляповато выкрашенная темно-зеленою масляною краской съ розами на столбикахъ.

Зинаида Павловна стала показывать гостьѣ свое мастерство, котораго она прежде не знала.

Праша увидала глубокія тростниковыя корзины, полныя разноцвѣтныхъ лоскутьевъ плису, манчестеру и иныхъ матерій. Изъ всего этого Зинаида Павловна съ дѣвочкой шили шапочки, которыя старцы продавали. Зинаида Павловна стала перечислять, какъ это выгодно. «Мнѣ, — говорила она, — лоскутки носятъ жидовки, а онѣ берутъ отъ шитвицъ, а гдѣ тѣ достаютъ, я ужъ того дѣла не знаю».

— Крадутъ,—сказала Праша.

— Не знаю; но только я у нихъ по полтину куплю, а нашью шапочекъ на пятьдесятъ рублей...

Разговаривая такимъ образомъ, Зинаида Павловна водила Прашу по дому, показывая ей то за одною, то за другою дверью боковуши, чуланцы и кладовушечки, а сама участливо ее разспрашивала:

— Ну, а какъ же ты сама, моя милая Пашенція, въ разсужденіи того прочаго?.. Или еще въ самомъ дѣлѣ до сихъ поръ все вдовѣешь по-настоящему?

— Ну, а то какъ же еще!.. Разумѣется, вдовѣю.

— Ахъ, мой другъ, въ «разумѣется» еще иногда что-нибудь «под»—разумѣвается.

Праша услыхала въ этихъ словахъ что-то «несвойственное» и застѣнчиво сказала: «Еще что выдумай побезстыжѣе!»

А какъ Зинаида Павловна въ отвѣтъ на это захохотала, то Праша метнулась отъ нея въ сторону и налегла рукою

на какую-то дверь, которая легко растворилась и открыла небольшую свѣтлую комнату съ широкимъ мягкимъ диваномъ, на которомъ сидѣлъ по-турецки, заложивъ нога на ногу, здоровеннѣйшій мужчина съ косматою головою, въ длинномъ, черномъ одѣяніи, перетянутомъ широкимъ ремнемъ по здоровому чреву.

Передъ нимъ на столѣ стояли графины, бутылки, тарелки, табакъ и папиросныя гильзы, а въ рукѣ у него была гитара, и когда Праша его увидала, ей показалось, что онъ одновременно, заразъ пользовался всѣми своими способностями, т.-е. пилъ, жевалъ, курилъ и игралъ на гитарѣ, а вдобавокъ, увидавъ обѣихъ женщинъ, простеръ къ нимъ свои радушныя объятія и весело крикнулъ:

— Ходите обѣ до купы!

Праша метнулась назадъ и съ гнѣвомъ отшвырнула Зинаиду Павловну, которая какъ будто хотѣла отрѣзать ей отступленіе, — и она задрожала и спутала у себя въ головѣ всѣ соображенія, кромѣ того, что тутъ ужасно и опасно. А Зинаида Павловна, какъ всегда равнодушная къ тому, что къ массѣ ея грѣховъ обнаружился еще одинъ грѣхъ, доброжелательно убѣждала свою вдовствующую племянницу:

— Брось-ка ты свои лоханки, Прашенція, и оставайся здѣсь, я тебя съ душеполезнымъ монахомъ познакомлю.

Но этого Праша такъ испугалась, что сейчасъ же начала прощаться, а когда Зинаида еще хотѣла ей что-то показывать, она отвѣтила:

— Нѣтъ, пусти скорѣй, мнѣ у тебя страшно.

— Да чего-о?

— Не знаю... я испугалась, — и она ушла, такъ нелѣпо простившись, что ничего не сказала о дѣтяхъ и не жалѣла, что не говорила ни о чемъ дѣльномъ.

— Я почему-то вдругъ поняла, — говорила она: — что чѣмъ говорить о томъ, о чемъ нельзя говорить, лучше молчать.

Она осталась только еще на одинъ день, чтобы посмотрѣть, «какъ Владиміра памятнику церемонію дѣлаютъ», и, увидавъ, какъ въ престрашный жаръ нѣсколько солдатъ въ мундирахъ упали замертво на мостовую, совсѣмъ разстроилась и уѣхала на сѣверъ. По дорогѣ въ вагонахъ успокоилась и стала размышлять, что ей еще нельзя

быть въ толпѣ, что она человѣкъ тихій и ей нужна тишина. Дѣти ея на ногахъ и у всѣхъ у нихъ есть свой умъ и рукомесло; ей уже можно теперь пожить для себя.

— А какъ для себя хорошо пожить! Я этого, вообразите, во всю жизнь никогда не думала, а тутъ вдругъ какъ будто кто-то точно стоитъ въ потемочкахъ въ уголкѣ вагона и мнѣ напоминаетъ, что хотя я прожила въ большомъ счастьи, но я вѣдь мужа съ женой разлучила, что объ этомъ забывать худо, а лучше думать объ этомъ!

И это ей сдѣлало пользу.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Одинъ великій человѣкъ сравниваетъ нашу жизнь на землѣ съ положеніемъ пассажировъ, ѣдущихъ на кораблѣ, который совершаетъ далекое плаваніе. Кормчій пускаетъ ихъ погулять по острову, къ которому пристало судно, но даетъ всѣмъ наставленіе не отходить далеко и спѣшить назадъ на корабль по первому звуку призывной трубы. Кто ходитъ недалеко и помнитъ о своемъ кормчемъ, тотъ не прозѣваетъ его сигнала и поспѣетъ въ свое время, и поплыветъ далѣе, а кто заберется далеко и тамъ расположится, какъ дома, тотъ или совсѣмъ сигнала не услышитъ, или если и услышитъ, то не успѣетъ прибѣжать на корабль, а останется на этапномъ островѣ, гдѣ ему казалось, что тутъ его настоящее жительство, и тогда такъ и придется ему оставаться на островѣ съ дикарями, которые готовы поѣсть другъ друга.

Праша, очевидно, ходила не дальше того, откуда она могла услыхать то, что̀ ей надо было услышать, чтобы не жить съ дикарями.

Первою примѣтой, что до слуха Праши долетѣлъ отзывающій звукъ, было то, что она стала равнодушна къ такимъ вещамъ, на которыя ранѣе всегда обращала вниманіе. Она всегда любила быть въ аккуратѣ, и вдругъ начала выходить на улицу въ пальто, надѣтомъ въ одинъ рукавъ, или вовсе въ накидку, «по-генеральски».

Это замѣтили лавочники и дворники и говорили:

— Преудивительно, никогда такъ не ходила; всегда, бывало, идетъ въ аккуратѣ, а теперь одну руку въ одинъ рукавъ всунетъ, а другую забудетъ и еще локоть подопретъ, — совершенно старый генералъ ползетъ.

Ей объ этомъ шутя говорили, но она какъ будто не понимала даже, о чемъ рѣчь, и продолжала «ходить по-генеральски», а потомъ стали замѣчать, что она перестала возражать и спорить, и на многое старалась «смотрѣть мимо», и потомъ вдругъ перестала бояться крысъ, мертвыхъ и грозы и ничего рѣшительно не желала, кромѣ тихаго уединенія, котораго ищутъ околѣвающія животныя.

Она сдала свое заведеніе и на вырученныя маленькія деньги купила себѣ маленькое хозяйство въ Финляндіи, гдѣ обмывала и обшивала выкармливаемыхъ крестьянами подкидышей воспитательнаго дома.

Отъ здѣшней ли тишины, или отъ чего другого, въ умѣ Праши стали проявляться понятія, какихъ прежде не было: сообразно перемѣнѣ понятій, она измѣняла и свои отношенія къ тому, до чего это касалось. Такъ, напримѣръ, она не только не хотѣла говорить что-либо во вредъ людей того края, гдѣ стала жить, — это дѣлаютъ и другіе, кому законность и порядокъ пріятнѣе произвола и безпорядка,— но она утратила всякій вкусъ къ похвальбѣ и неохотно пріѣзжала изъ своей избы въ Петербургъ. Зато она имѣла то, чего разумно искала: покой.

Одной неугомонной Зинаидѣ Павловнѣ суждено было дѣлать послѣднія испытанія духовнаго и умственнаго роста Праши. Престарѣлая красавица была угнетаема потребностью дѣлиться своими успѣхами въ свѣтѣ и неожиданно прислала неграмотной Прашѣ письмо, въ которомъ извѣщала ее, что изъ двухъ кіевскихъ старцевъ Зинаиды Павловны одинъ, слѣпой, вышелъ изъ ихъ компаніи и, найдя себѣ въ Кіевѣ племянницу, уѣхалъ съ нею жить въ Воронежъ, а зато другой старецъ, «кривоустый», такъ Зинаидѣ покорился, что «поженился на ней законнымъ бракомъ». Зинаида Павловна, съ одной стороны, была очень рада, что теперь она опять замужняя, а съ другой — она боится, какъ бы ей не было наказанія отъ Бога за то, что она поклялась не выходить замужъ послѣ своего перваго мужа.

Праша не хотѣла ей отвѣчать на это.

— Если бъ я сама умѣла писать, я бы ей написала, что уже какъ мнѣ теперь сорокъ лѣтъ, то мнѣ въ это время всѣ источники жизни должны затвориться.

Сосѣднія сироты-дѣти и чухны Прашу скоро узнали и полюбили, и она ихъ тоже.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Изъ чухонъ у Праши даже завелся одинъ пріятель: это былъ бѣднѣйшій старикъ Авель. Онъ жилъ, какъ гномъ, въ какой-то земляной норѣ, и Праша его спервоначалу даже немножко пугалась. Низенькій кривоногій и косматый и, притомъ, очень старый, но черноволосый, безъ сѣдины; одѣтъ всегда въ овечьей куркѣ черной шерстью вверхъ, а штаны изъ кожи. Днемъ онъ сидѣлъ надъ своею ямкой и плелъ кошели, а самъ пѣлъ, все что-то пѣлъ, а ночью опять выползалъ и долго-долго бродилъ между большими каменьями, а потомъ взлѣзалъ на камень и дремалъ. Праша скоро узнала, что старый Авель человѣкъ не страшный, и перестала его бояться. А потомъ спросила его: что онъ поетъ?

Онъ отвѣчалъ:

— Сальми.

— А зачѣмъ сидишь наружѣ ночью?

— Лушаю.

— Что же ты слушаешь?

— Чехо усами услыхать нельзя.

«Должно-быть, онъ помѣшанный», — подумала Праша, а выходить изъ избушки и сидѣть наружѣ и ей понравилось.—«Сидишь въ тишинѣ и до того утихнешь, что вдругъ что-то слышишь: точно какъ-будто Апрѣль Ивановичъ *Пеленака* читаетъ».

— Авель! — говоритъ Праша: — я у васъ научилась сидѣть на дворѣ ночью.

— Хоросо... сити!

— А для чего вы, Авель, вокругъ камня ходите?

Авель не понялъ и замоталъ головою.

— Для чего вы на другую сторону все смотрите?

Авель понялъ, какъ хотѣлъ, и отвѣчалъ:

— И ты смотри на другую сторону!

И Прашѣ понравилось, что Авель говоритъ о небесномъ: какъ смотрѣть «на другую сторону жизни».

Ей стало пріятно смотрѣть, какъ чухонскій лохматый Авель старается услыхать слухомъ неслышное и заглянуть на сторону невидимую, и она стала выходить ночью и подолгу сидѣть съ Авелемъ здѣсь между камнями. Сурово, строго и свѣжо какъ въ воздухѣ, такъ и на душѣ. И ка-

питанская труба съ судна нѣтъ-нѣтъ да и раздастся разъ отъ разу зычнѣе.

Наконецъ, была даже Прашѣ наивысшая радость: отъ нея совсѣмъ отступилъ блѣднолицый страхъ смерти. Но жизнь иногда еще трогала.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Разъ Праша получила письмо; она отгадала, что это отъ Зинаиды Павловны, и спрятала его до свиданія со мною. Письма Зинаиды Павловны Праша понимала за небезопасное по своему содержанію, соблазнительное чтеніе, которое могло смущать неопытныя души. И то, которое находилось теперь въ ея рукахъ, было такое же: отцвѣтшая красавица начала его привѣтомъ «Пашѣ-Прашѣ-Пашенціи», а потомъ извѣщала, что, Богъ далъ, она овдовѣла, и теперь уже «по батюшкиному благословенію опредѣлилась въ монастырь», гдѣ начальницею та самая дама, у которой Праша «мужа отбила».

Праша поблѣднѣла и вздрогнула. Я хотѣлъ прочесть далѣе про себя, но она оправилась и просила читать вслухъ.

Зинаида описывала, какъ эта дама стала теперь «жизни высокой» и можетъ обо всемъ говорить по-христіански, и сынъ у нея грубіянъ, живетъ съ актерами, но она его простила и Прашу простила. Но тутъ Праша перебила и сказала:

— Ну, вотъ, и я ее простила.

— Это хорошо.

— Я ее давно простила. Она тогда мнѣ за три мѣсяца жалованья не отдала. Это бы намъ на хлѣбъ годилось, но я это-то ей и простила, но только не стоило бы намъ съ нею объ этомъ вспоминать нынче.

Кромѣ начальницы, Зинаида писала, что «есть у нихъ въ обители много разныхъ святынь, но много и искушеній», такъ что Зинаида Павловна «днемъ молится, а ночью иногда котомку шьетъ и бѣжать хочетъ; но какъ только ударяютъ къ заутренѣ, дьяволъ отъ нея отлетаетъ», а «скоро она уже приметъ ангельскій чинъ, и тогда ей уже нѣтъ и не будетъ возврата въ міръ земной, гдѣ все искушеніе». Но хотя сама Зинаида и спаслась, но она еще не спокойна за нее, Прашу, и по любви своей къ ней увѣщаетъ ее, чтобы она скорѣе одумалась и, отложивъ всѣ заботы, укры-

лась въ обитель. «Здѣсь станемъ жить съ тобою въ одной кельѣ и вмѣстѣ умолять Всевышняго за весь грѣшный родъ человѣческій».

— Ня! — воскликнула Праша и еще сильнѣе поблѣднѣла.

— Что вы хотите сказать?

— Не читайте больше.

Но тутъ старушка Праша живо взяла изъ моей руки письмо красавицы, разорвала его на мельчайшія части и бросила ихъ въ топившуюся печку. Потомъ мы просидѣли нѣсколько минутъ тихо, и послѣ я ей сказалъ:

— Не надо сердиться.

— Я и не сержусь, — отвѣчала Праша: — а то она мнѣ совѣтуетъ замужъ, то къ монаху, то самой въ монахини. Какой безпокой! А мнѣ хорошо.

И она сама разсказала мнѣ, какъ она ходитъ въ темнотѣ между камнями и говоритъ съ Авелемъ или читаетъ одна «Отче нашъ». Теперь уже она вовсе не боится смерти и всегда чувствуетъ одну радость.

Авель ей натолковалъ:

— Ты нецего-та не пойса-та!.. Онъ-то тебя посоветъта!.. Дѣ тэбѣ нато-то, ты тамъ-то и будесъ!

— И знаете, — закончила Праша: — я такъ и чувствую, что я тамъ, гдѣ мнѣ надо.

Она ласково улыбалась и какъ бы ждала, чтобы я ей что-нибудь возразилъ, но я молчалъ.

Вскорѣ послѣ этого Праша и совсѣмъ «ушла въ другое мѣсто». Разъ утромъ нашли дверь ея избушки широко открытою, а тѣло хозяйки лежало на камнѣ, и на устахъ у нея было нѣсколько капель крови, съ которою жизнь улетала изъ ея разорвавшагося сердца.

Такъ кончила свой воспитательный курсъ на землѣ эта фефёла, которая мнѣ кажется довольно обыкновенною русскою женщиной, которая никого не погубила и себя усовершила въ земной жизни, но въ этомъ ей ничего не помогъ ни литераторъ, котораго *она любила*, ни простой человѣкъ, который *ее любилъ*. Но она была хороша для всѣхъ, ибо каждому могла подать сокровища своего благого сердца. Если бы писатель жилъ долго, я думаю, что онъ бы ею наскучилъ, и она окончила бы свою жизнь гораздо хуже.

ГОЛОСЪ ПРИРОДЫ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Извѣстный военный писатель генералъ Ростиславъ Андреевичъ Ѳаддеевъ, долго сопутствовавшій покойному фельдмаршалу Барятинскому, разсказывалъ мнѣ слѣдующій забавный случай.

Проѣзжая съ Кавказа въ Петербургъ, князь однажды почувствовалъ себя въ дорогѣ нездоровымъ и позвалъ доктора. Было это, если я не ошибаюсь, кажется, въ Темиръ-Ханъ-Шурѣ. Докторъ осмотрѣлъ больного и нашелъ, что опаснаго въ его состояніи ничего нѣтъ, а что онъ просто утомился и ему необходимо отдохнуть одинъ день безъ дорожной качки и тряски въ экипажѣ.

Фельдмаршалъ послушался доктора и согласился остановиться въ городѣ: но станціонный домъ былъ здѣсь прескверный, а частнаго помѣщенія, по непредвидѣнности такого случая, приготовлено не было. — Явились неожиданныя хлопоты: куда помѣстить на сутки такого именитаго гостя.

Пошла суета да бѣганье, а нездоровый фельдмаршалъ тѣмъ временемъ помѣстился въ почтовой станціи и улегся на грязномъ диванѣ, который для него только чистою простынею покрыли. Между тѣмъ вѣсть объ этомъ событіи, разумѣется, скоро облетѣла весь городъ и всѣ военные побѣжали поскорѣе чиститься и парадиться, а штатскіе—сапоги наваксили, виски припомадили и столпились противъ станціи на другомъ тротуарѣ. Стоятъ и фельдмаршала высматриваютъ, — не покажется ли въ окно?

Вдругъ, ни для кого неожиданно и негаданно, одинъ

человѣкъ всѣхъ сзади распихалъ, выскочилъ и побѣжалъ прямо на станцію, гдѣ фельдмаршалъ на простынѣ, на грязномъ диванѣ лежалъ, и началъ кричать:

— Я этого не могу, во мнѣ голосъ природы воздымается!

Посмотрѣли на него всѣ и подивилися: что за нахалъ такой! Мѣстные обыватели всѣ этого человѣка знали, и знали, что санъ у него не великъ — такъ какъ онъ былъ не штатскій, не военный, а просто смотрителишка при какомъ-то мѣстномъ маленькомъ интендантскомъ или комиссаріатскомъ запасѣ, и грызъ вмѣстѣ съ крысами казенные сухари да подошвы, и такимъ манеромъ себѣ какъ разъ черезъ дорогу противъ станціи хорошенькій деревянный домикъ съ мезониномъ нагрызъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Прибѣжалъ этотъ смотритель на станцію и проситъ Ѳаддеева, чтобы непремѣнно о немъ доложить фельдмаршалу.

Ѳаддеевъ и всѣ другіе стали его отговаривать.

— Зачѣмъ вамъ,—это совсѣмъ не требуется и никакого пріема чиновъ тутъ не будетъ, — фельдмаршалъ здѣсь только для временнаго отдыха отъ своей усталости и, какъ отдохнетъ, опять уѣдетъ.

А интендантскій смотритель на своемъ стоитъ и еще больше воспламенился, — проситъ, чтобы непремѣнно о немъ князю доложили.

— Потому что я, говоритъ, — не славы ищу и не почестей, а въ томъ самомъ видѣ именно и предстою, какъ вамъ сказано: не по службѣ, а по усердію моей ему благодарности, такъ какъ я всѣмъ на свѣтѣ князю обязанъ и теперь во всемъ моемъ благоденствіи, голосомъ природы возбуждаемъ, желаю ему благодарно долгъ отдать.

Его спросили: — а въ чемъ вашъ долгъ природы заключается?

А онъ отвѣчаетъ:

— Таковъ мой долгъ благодарной природы, что князю здѣсь въ казенной неопрятности нехорошо отдыхать, а у меня какъ разъ отсюда визави домъ, свой домъ съ мезониномъ, и жена у меня изъ нѣмокъ, домъ нашъ содержится въ чистотѣ и опрятности, то у меня для князя и для васъ есть на мезонинѣ комнаты свѣтлыя, чистыя, вездѣ на всѣхъ окнахъ занавѣски бѣлыя съ кружевами и на чистыхъ по-

стеляхъ тонкое бѣлье полотняное. Я желаю съ большимъ радушіемъ принять у себя князя, какъ отца родного, потому что я всѣмъ въ жизни ему обязанъ и безъ того отсюда не пойду, чтобы ему не было доложено.

Такъ онъ настойчиво на этомъ стоялъ и не хотѣлъ уходить, что фельдмаршалъ изъ другой комнаты услыхалъ и спрашиваетъ:

— Какой это шумъ? Нельзя ли мнѣ доложить: о чемъ такой разговоръ слышно?

Тогда Ѳаддеевъ все доложилъ, а князь пожалъ плечами и говоритъ:

— Рѣшительно не помню, какой-такой это человѣкъ и чѣмъ онъ мнѣ обязанъ; а, впрочемъ, посмотрите его комнаты, которыя онъ предлагаетъ, и если онѣ лучше этой лачуги, то я приглашеніе его принимаю и за безпокойство ему заплачу. Узнать — сколько хочетъ?

Ѳаддеевъ пошелъ мезонинъ у интенданта осмотрѣлъ и докладываетъ:

— Помѣщеніе очень спокойное и чистота необыкновенная, а про плату хозяинъ и слышать не хочетъ.

— Какъ такъ, и отчего? — спросилъ фельдмаршалъ.

— Говоритъ, что онъ много вамъ обязанъ и голосъ природы его побуждаетъ за счастье выразить вамъ долгъ благодарности. А иначе, говоритъ, — если платить хотите, то я и дверей своихъ открыть не могу.

Князь Барятинскій засмѣялся и этого чиновника похвалилъ.

— Однако, я замѣчаю, говоритъ, — онъ молодецъ и съ характеромъ — это въ нашей сторонѣ стало рѣдко, и я такихъ людей люблю: вспомнить, чѣмъ онъ мнѣ обязанъ, я не могу, но къ нему перейду. Давайте вашу руку и идемъ отсюда.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Перешли улицу и... во дворъ; а у калитки уже фельдмаршала встрѣчаетъ самъ смотритель,—припомаженъ, приглаженъ, на всѣ пуговицы застегнутъ и съ лицомъ самымъ радостнымъ.

Князь какъ оглянулся вокругъ — видитъ все чисто, свѣтло сіяетъ, за палисадникомъ зелень веселая и розы въ цвѣту. Князь и самъ развеселился.

Спросилъ: — какъ хозяина зовутъ?

Тотъ отвѣчалъ, что въ родѣ Филипп Филипповъ Филипповъ.

Князь продолжаетъ съ нимъ разговоръ и говоритъ:

— Очень у тебя хорошо, Филиппъ Филиппычъ, — и мнѣ нравится; только одного я никакъ припомнить не могу: гдѣ и когда я тебя встрѣчалъ или видѣлъ, и какое я тебѣ могъ одолженіе сдѣлать?

А смотритель отвѣчаетъ:

— Ваша свѣтлость меня очень видѣли, а когда, — это если забыли, — то послѣ объяснится.

— Зачѣмъ же послѣ, когда я сейчасъ тебя хочу вспомнить.

Но смотритель не сказалъ.

— Прошу, говоритъ, — у вашей свѣтлости прощенія: если вы сами этого не вспомнили, то я сказать не смѣю, но голосъ природы вамъ скажетъ.

— Что за вздоръ! какой «голосъ природы», и отчего ты самъ сказать не смѣешь?

Смотритель отвѣчаетъ: «такъ, не смѣю», и глазами потупился.

А тѣмъ временемъ они пришли на мезонинъ, и здѣсь еще лучше чистота и порядокъ: полъ весь мыломъ вымытъ и хвощомъ натертъ такъ, что свѣтится, по серединѣ и вдоль всей чистенькой лѣстницы постланы бѣлыя дорожки, въ гостиной диванъ и на кругломъ передданномъ столѣ большой поливанный кувшинъ съ водою и въ немъ букетъ изъ розъ и фіалокъ, а дальше—спальная комната съ турецкимъ ковромъ надъ кроватью, и опять столикъ и графинъ съ чистой водой и стаканъ, и снова другой букетъ цвѣтовъ, а еще на особомъ столикѣ перо, и чернильница, и бумага съ конвертами, и сургучъ съ печатью.

Фельдмаршалъ сразу окинулъ все это глазомъ и очень ему понравилось.

— Видно, говоритъ, — что ты, Филиппъ Филиппычъ, человѣкъ полированный, знаешь, что какъ слѣдуетъ, и я тебя, дѣйствительно, какъ будто гдѣ-то видѣлъ, но не могу вспомнить.

А смотритель только улыбается и говоритъ:

— Не извольте безпокоиться: черезъ голосъ природы это все объясни

Барятинскій разсмѣялся:

— Ты, говоритъ,—братецъ, послѣ этого и самъ не Филиппъ Филипповичъ, а «голосъ природы»,—и очень этимъ человѣкомъ заинтересовался.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Легъ князь въ чистую постель — ноги и руки вытянулъ, и такъ хорошо ему стало, что онъ сразу же задремалъ: проснулся черезъ часъ въ прекрасномъ расположеніи, а передъ нимъ уже стоитъ прохладный шербетъ вишневый и этотъ самый хозяинъ проситъ его выкушать.

— Вы, говоритъ,—на лѣкарства медиковъ, ваша свѣтлость, не полагайтесь, а у насъ природа и вдыханіе атмосферы пользуютъ.

Князь весело ему отвѣчаетъ, что все это, говоритъ, очень хорошо, но я тебѣ долженъ признаться—я у тебя прекрасно спалъ, но, чортъ меня возьми, и во снѣ все думалъ: гдѣ же я тебя видѣлъ, или никогда не видалъ?

А тотъ отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, говоритъ,—вы изволили очень хорошо меня видѣть, но только совершенно въ другомъ видѣ природы и потому теперь не признасте.

Князь говоритъ:

— Хорошо, пусть такъ: но теперь здѣсь, кромѣ меня и тебя, никого нѣтъ, если же тамъ въ сосѣдней комнатѣ кто есть—то вышли всѣхъ ихъ вонъ, пусть на лѣстницѣ постоятъ, а ты мнѣ откровенно скажи безъ всякой секретности: кто ты такой былъ и въ чемъ твоя преступная тайна,—я могу тебѣ обѣщать выпросить прощеніе и обѣщаніе свое исполню, какъ есть я истинный князь Барятинскій.

Но чиновникъ даже улыбнулся и отвѣчалъ, что за нимъ ровно никакой провинной тайности нѣтъ и никогда не было, а онъ не смѣетъ только «сконфузить» князя за его непамятливость.

— Такъ и такъ, говоритъ,—я вашу свѣтлость за ваше добро постоянно помню и на всѣхъ молитвахъ поминаю; а нашъ государь и вся царская фамилія постоянно кого разъ видѣли и замѣтили—того ужъ цѣлый вѣкъ помнятъ. Потому дозвольте, говоритъ,—мнѣ вамъ словесно о себѣ ничего не вспоминать, а въ свое время я все это вамъ въ ясныхъ примѣтахъ голосомъ природы обнаружу—и тогда вы вспомните.

— А какое же ты къ этому средство имѣешь голосомъ природы все обнаруживать?

— Въ голосѣ природы, отвѣчаетъ,—всѣ средства есть.

Князь улыбнулся чудаку и говоритъ:

— Это твоя правда,—сказалъ князь:—забывать скверно, и нашъ государь и царская фамилія, дѣйствительно, удивительно какіе памятливые; но у меня память слабая. Не снимаю съ тебя воли, дѣлай какъ знаешь, только я желаю знать: когда же это ты будешь мнѣ свой голосъ природы обнаруживать, потому что я себя теперь въ твоемъ домѣ уже очень хорошо почувствовалъ и послѣ полуночи, холодкомъ, хочу выѣхать. А ты мнѣ долженъ сказать: чѣмъ тебя наградить за мой покой, который я у тебя имѣлъ,—потому что на это уже таковъ есть мой обычай.

Смотритель отвѣчаетъ:

— Я до полуночи успѣю вашей свѣтлости вполнѣ весь голосъ природы открыть, если только вы въ разсужденіи моей награды не откажете мнѣ то, что я составляю себѣ за драгоцѣннѣйшее.

— Хорошо,—отвѣчаетъ князь:—даю тебѣ свое слово, что все, о чемъ попросишь, я тебѣ сдѣлаю, но только не проси невозможнаго.

Смотритель отвѣчаетъ:

— Я невозможнаго просить не стану, а у меня такое желаніе больше всего на свѣтѣ, чтобы вы явили мнѣ протекцію,—сошли ко мнѣ въ нижніе покои и сѣли съ нами за столъ и что-нибудь скушали, или даже хоть просто такъ посидѣли, потому что я нынче справляю мою серебряную свадьбу послѣ двадцати пяти лѣтъ, какъ я на Амаліи Ивановнѣ женился по вашему милосердію. А будетъ это къ вечеру въ одиннадцатомъ часу; въ полночь же, какъ вамъ угодно, вы можете благопристойно холодкомъ выѣхать.

Князь согласился и слово далъ, но только все-таки опять никакъ не могъ вспомнить: что это и откуда этотъ человѣкъ, и отчего онъ двадцать пять лѣтъ тому назадъ женился на Амаліи Ивановнѣ по его милосердію?

— Я даже съ удовольствіемъ пойду на ужинъ къ этому чудаку,—сказалъ князь:—потому что онъ меня очень занимаетъ; да и по правдѣ сказать: мнѣ самому что-то помнится, не то насчетъ его, не то насчетъ Амаліи Ивановны, а что

именно такое — припомнить не могу. Подождемъ голоса природы!

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Къ вечеру фельдмаршалъ совсѣмъ поправился и даже ходилъ гулять съ Ѳаддеевымъ,—городъ посмотрѣлъ и закатомъ солнца полюбовался, а потомъ, какъ возвратился домой въ десять часовъ, хозяинъ уже его ждетъ и къ столу проситъ.

Князь говоритъ:

— Очень радъ, сейчасъ приду.

Ѳаддеевъ пошутилъ, что это даже и кстати, потому что онъ послѣ прогулки почувствовалъ аппетитъ и очень хотѣлъ съѣсть, что тамъ Амалія Ивановна наготовила.

Барятинскій опасался только того: не посадилъ бы его хозяинъ на первомъ мѣстѣ и не сталъ бы подавать много шампанскаго да потчивать. Но всѣ эти опасенія были совершенно напрасны: смотритель и за столомъ показалъ столько же пріятнаго такта, какъ и во всѣ предыдущіе часы, которые князь провелъ въ его домѣ.

Столъ былъ накрытъ щеголевато, но просто; въ зальцѣ, очень просторномъ, сервировка опрятная, но скромная, и зажжены два черные чугунные канделябра прекрасной французской работы, въ каждомъ по семи свѣчей. А вино стоитъ хорошихъ сортовъ, но все мѣстное,—но между ними толстопузенькія бутылочки съ ручными надписями.

Это — наливки и водицы разныхъ сортовъ и превосходнаго вкуса, и малиновыя, и вишневыя, и изъ крыжовника.

Сталъ смотритель гостей разсаживать, и тоже опять показалъ свою ловкость: не повелъ князя въ конецъ стола къ хозяйскому мѣсту, а усадилъ его гдѣ тотъ самъ хотѣлъ— между адъютантомъ князя и прехорошенькой дамочкой, чтобы было фельдмаршалу съ кѣмъ сказать и короткое слово, и любезностями къ пріятному полу заняться. Князь съ дамочкой сразу же очень разговорился: онъ интересовался, откуда она и гдѣ воспиталась и какое въ такомъ далекомъ уѣздномъ городѣ находитъ для себя развлеченіе?

Она ему на всѣ его вопросы отвѣчала очень смѣло и безъ всякаго жеманства, и открыла, что больше всего, будто, чтеніемъ книгъ занимается.

Князь спрашиваетъ: какія она книги читаетъ?

Она отвѣчаетъ: Поль-де-Кока романы.

Князь засмѣялся:

— Это, говоритъ,—веселый писатель, и спрашиваетъ:— Что же вы именно читали: какіе романы?

Она отвѣчаетъ:

— «Кондитеръ», «Мусташъ», «Сестра Анна» и прочіе.

— А своихъ русскихъ писателей не читаете?

— Нѣтъ, говоритъ,—не читаю.

— А почему такъ?

— У нихъ мало свѣтскаго.

— А вы любите свѣтское?

— Да.

— Почему же это такъ?

— Потому, что мы о своей жизни сами все знаемъ, а то интереснѣе.

И тутъ говоритъ, что у нея есть братъ, который сочиняетъ романъ изъ свѣтской жизни.

— Вотъ это любопытно!—сказалъ князь.—Нельзя ли хоть немножко видѣть, что онъ тамъ пишетъ?

— Можно,—отвѣчала дама, и на минуточку встала и принесла небольшую тетрадку, въ которой Барятинскій, взглянувъ только на первую страницу, и весь развеселился и подалъ ее Ѳаддееву, сказавши:

— Посмотрите, какъ бойко начато!

Ѳаддеевъ посмотрѣлъ на первыя строки свѣтскаго романа, и ему стало весело.

Романъ начинался словами: «Я, какъ свѣтскій человѣкъ, встаю въ двѣнадцать часовъ и утренняго чаю дома не пью, а ѣзжу по ресторанамъ».

— Чудесно?—спросилъ Барятинскій.

— Очень хорошо,—отвѣчалъ Ѳаддеевъ.

Въ это время всѣ развеселились, а хозяинъ всталъ, поднялъ вверхъ бокалъ съ шипучимъ цимлянскимъ и говоритъ:

— Ваша свѣтлость, прошу вашего позволенія, ко всеобщему и моему удовольствію, въ сей драгоцѣнный для меня день, дозволить мнѣ изъяснить: кто я такой и откуда и кому всѣмъ, что имѣю къ своему благодѣнствію, обязанъ. Но не могу я этого изложить въ хладномъ словѣ человѣческаго голоса, такъ какъ я ученъ на самыя мелкія деньги,

а разрѣшите мнѣ во всемъ законѣ моего естества при всѣхъ торжественно испустить гласъ природы!

Тутъ уже настало время самому фельдмаршалу сконфузиться, и онъ до того смѣшался, что нагнулся внизъ, будто хотѣлъ салфетку поднять, а самъ шепчетъ:

— Ей-Богу, не знаю, что̀ ему сказать: что̀ это онъ такое спрашиваетъ?

А дамочка, его сосѣдка, щебечетъ:

— Не бойтесь, разрѣшайте: ужъ Филиппъ Филипповичъ дурного не выдумаетъ.

Князь думаетъ: «Э, была—не была,—пусть испущаетъ голосъ!»

— Я такой же гость, говоритъ,—какъ и всѣ прочіе, а вы хозяинъ—дѣлайте, что̀ вы хотите.

— Благодарю всѣхъ и васъ,—отвѣчаетъ смотритель и, махнувъ головой Амаліи Ивановнѣ, говоритъ:—иди, жена, принеси что̀ ты сама знаешь собственными твоими руками.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Амалія Ивановна вышла и идетъ назадъ съ большою, ярко отполированною мѣдною валторною, и подала ее мужу; а онъ взялъ, приложилъ трубу къ устамъ и весь въ одно мгновеніе перемѣнился. Только-что надулъ щеки и издалъ одинъ трескучій раскатъ, какъ фельдмаршалъ закричалъ:

— Узнаю, братъ, тебя, сейчасъ узнаю: ты егерскаго полка музыкантъ, котораго я за честность надъ плутомъ интендантомъ присматривать посылалъ.

— Точно такъ, ваша свѣтлость,—отвѣчалъ хозяинъ.—Я вамъ этого напоминать и не хотѣлъ, а сама природа напомнила.

Князь обнялъ его и говоритъ:

— Выпьемте, господа, всѣ вдругъ тостъ за честнаго человѣка!

И изрядно-таки выпили, а фельдмаршалъ совсѣмъ выздоровѣлъ и уѣхалъ чрезвычайно какой веселый.

СИБИРСКІЯ КАРТИНКИ
XVIII-го ВѢКА.

Изъ дѣлъ сибирской старины.

РАЗСКАЗЪ.

«Наше историческое развитіе шло по-своему».
Н. Данилевскій.

Отъ автора.

Настоящему разсказу о дѣлахъ, происходившихъ въ Сибири въ XVIII вѣкѣ, необходимо предпослать нѣсколько строкъ вмѣсто предисловія.

Болѣе десяти лѣтъ тому назадъ, въ первой книжкѣ «Русскаго Вѣстника» за 1882 годъ на первомъ мѣстѣ было начато печатаніемъ изслѣдованіе Вакха Гурьева, подъ заглавіемъ: «Исповѣдный штрафъ въ Сибири въ теченіе прошлаго XVIII-го вѣка». Авторъ этого изслѣдованія, Вакхъ Гурьевъ, былъ православный священникъ и происходилъ изъ сибирскихъ уроженцевъ, близко знавъ дѣла этого обширнаго азіатскаго края, онъ сдѣлалъ себѣ въ литературѣ извѣстность нѣсколькими достойными вниманія изслѣдованіями о сибирской старинѣ. Изслѣдованіе Гурьева объ «исповѣдномъ штрафѣ» тоже обѣщало представить очень живой историческій и этнографическій интересъ; любопытство, возбужденное появленіемъ статьи въ московскомъ журналѣ, не было, однако, вполнѣ удовлетворено, потому что изъ всего изслѣдованія въ «Русскомъ Вѣстникѣ» напечатано только три главы, а остальное обѣщано впредь,

но продолженія не было. Не было продолженія этой статьи и ни въ какомъ другомъ изданіи, а въ законченномъ въ 1892 году трудѣ В. И. Межова: «Сибирская библіографія» (№ 6972), «Исповѣдный штрафъ» Вакха Гурьева прямо показанъ неоконченнымъ *).

Свѣдѣніе это надо считать наиобстоятельнѣйшимъ, для котораго излишни были бы повѣрки, но и онѣ были сдѣланы и принесли тѣ же самые результаты: большая исторія, описаніе коей было начато по документамъ и живымъ, устнымъ разсказамъ и повѣстямъ, остается въ зачаточномъ положеніи, безъ развитія и безъ конца, а потому и не приводитъ читателя ни къ какому опредѣлительному выводу и заключенію.

Была ли рукопись этого изслѣдованія доведена Вакхомъ Гурьевымъ до конца — неизвѣстно, равно какъ неизвѣстна и причина, по которой печатаніе «Исповѣднаго штрафа» было въ «Русскомъ Вѣстникѣ» прервано и не окончено. Можетъ-быть, это зависѣло отъ неблагопріятныхъ для литературной работы условій въ положеніи самого автора, который въ это время перемѣнилъ мѣсто и, перейдя на службу въ Царство Польское, умеръ въ Калишѣ 24 іюля 1890 г.

Случай даетъ теперь возможность изложить это дѣло во всей его полнотѣ и законченности, хотя и безъ тѣхъ частностей, которыми располагалъ Вакхъ Гурьевъ, знавшій Сибирь по личнымъ наблюденіямъ и пользовавшійся разсказами другихъ старожиловъ.

Случай же этотъ заключается въ слѣдующемъ. Въ С.-Петербургѣ жилъ и здѣсь же не такъ давно скончался извѣстный сибирскій золотопромышленникъ, генералъ-маіоръ Веніам. Ив. Асташевъ, съ которымъ я былъ знакомъ и отъ котораго подарены мнѣ нѣсколько копій съ дѣловыхъ бумагъ, касающихся сибирской жизни. Довольно долгое время бумаги эти лежали у меня неразобранными, а когда я сталъ ихъ просматривать лѣтомъ прошедшаго года, то увидалъ, что въ нихъ есть очень значительная доля того матеріала, который встрѣчается въ обработанномъ видѣ въ изслѣдованіи Вакха Гурьева объ «исповѣдномъ штрафѣ

*) «Сибирская Библіографія», Вл. Изм. Межова (Изданіе И. М. Сибирякова, Спб. 1892 г.), содержащая въ себѣ «Указатель книгъ и статей о Сибири».

XVIII-го вѣка», и что матеріалъ этотъ не ограничивается тѣмъ, что попалъ уже въ начало изслѣдованія Гурьева, а идетъ далѣе сплошною и неразрывною цѣпью событій до тѣхъ поръ, пока дѣло кончается въ тридцатыхъ годахъ истекающаго нынѣшняго столѣтія. Матеріалъ даетъ возможность закончить недоконченное изслѣдованіе объ «исковѣдномъ штрафѣ», который находчивостью сибирскихъ дѣятелей переходитъ въ другое дѣло—«о небытіи», потомъ въ дѣло «о скверноядствѣ», и наконецъ—«о простотѣ», въ которой все и «тонетъ въ тундрахъ Сибири».

Крайне заинтересованный этимъ оригинальнымъ дѣломъ, я рѣшился изложить его въ нижеслѣдующемъ разсказѣ, причемъ — дабы сохранить изложенію цѣльность — долженъ былъ вкратцѣ сказать опять и о томъ, что уже разсказано въ трехъ главахъ повѣствованія В. Гурьева въ «Русскомъ Вѣстникѣ», съ тою, однако, разницею, что какъ я не знаю мѣстныхъ преданій о всей этой исторіи, то я ихъ и не касаюсь, а веду весь разсказъ гораздо кратче и уже, чѣмъ разсказъ Гурьева, пущенный въ первыхъ трехъ главахъ широко—до чрезвычайности.

Я держусь въ моемъ изложеніи дѣла однѣхъ бумагъ, и притомъ,—какъ я имѣю основаніе думать, — именно тѣхъ самыхъ бумагъ, которыми пользовался для своего начатаго и недоконченнаго труда Вакхъ Гурьевъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Среди явленій русской жизни въ Сибири чрезвычайно характернымъ и любопытнымъ представляется борьба свѣтскихъ и духовныхъ властей съ крещеными сибирскими инородцами и другими людьми, которые не понимали важности принятыхъ ими на себя обязанностей. Особенно много заботъ было о томъ, чтобы они не уклонялись отъ исповѣди.

Архивы сибирскихъ консисторій, духовныхъ правленій и губернскихъ и воеводскихъ канцелярій хранятъ до сихъ поръ множество дѣлъ «о небытіи», «о скверноядствѣ» и «о злоупотребленіи простотою», изъ которыхъ рачителемъ сибирской старины сдѣланы были нѣкоторыя выписки, приведенныя здѣсь нами въ порядокъ.

Дѣло, о которомъ будетъ рѣчь, спачала получило названіе «о небытіи», подъ которымъ и упоминалось въ бумагахъ. Началось оно при Петрѣ Великомъ и, какъ думаютъ

нѣкоторые, — по его мысли, а во всякомъ случаѣ по его указу 14-го февраля 1716 года (т.-е. за девять лѣтъ до его кончины). Въ указѣ томъ «великій государь велѣлъ всякаго чина людямъ у отцовъ духовныхъ повсегодно исповѣдываться, а ежели кто не исповѣдуется, на таковыхъ попамъ подавать росписи архіереямъ, а имъ тѣ росписи отсылать губернаторамъ, а губернаторамъ и лантратамъ класть на тѣхъ людей штрафъ, противъ дохода съ него втрое, а потомъ имъ ту исповѣдь исполнять. А которые прежде податей не платили и явятся виновными, тѣхъ обложить, примѣняясь къ тому же, а съ дѣвокъ и вдовъ противъ онаго вполы. Раскольниковъ же положить противъ настоящаго платежа».

Такимъ образомъ, денежный штрафъ за «небытіе» (т.-е. у исповѣди) былъ наложенъ этимъ указомъ одновременно какъ на раскольниковъ, такъ и на церковныхъ людей, которые въ очень большомъ количествѣ не являлись для исповѣди къ своимъ духовнымъ отцамъ.

Отсюда началось это дѣло; а далѣе сейчасъ мы будемъ видѣть, какъ этотъ источникъ потёкъ по азіатской окраинѣ, гдѣ рѣдкое и бѣдное кочевое населеніе живетъ въ обширномъ разсѣяніи и притомъ «пребываетъ въ состояніи природной простоты и совершенной дикости».

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Наложеніе штрафа за неявку къ исповѣди сначала поручалось *свѣтскимъ властямъ*, «губернаторамъ и лантратамъ», а по сколыку налагать на каждаго человѣка, неявившагося къ исповѣди — на это искали опредѣленія въ указѣ, гдѣ сказано, что надо «класть штрафъ противъ доходовъ съ него (отбѣгальщика) *втрое*». Лантраты поняли такъ, что раскольниковъ нужно «записать въ *двойной* окладъ (платимыхъ ими податей)», а церковныхъ, не явившихся къ исповѣди, слѣдуетъ оштрафовать *втрое*. И многіе такъ и сдѣлали, а чрезъ это вышло, что раскольники, заплатившіе двойной окладъ, «отводили исповѣдную повинность» дешевле, чѣмъ православные, которыхъ лантраты обложили штрафомъ «втрое противъ доходовъ съ нихъ». Православные, увидавъ изъ этого, что имъ гораздо выгоднѣе совсѣмъ «записаться по двойному окладу», объявили себя раскольниками. Они стали являться къ свѣтскимъ властямъ и про-

сили «записать ихъ въ двойной окладъ», а тѣ это исполняли, и расколъ возрасталъ въ своей численности.

Другіе же люди, которые не хотѣли зачислять себя въ раскольники, «по двойному окладу», стали обращаться къ «приходскимъ попамъ» съ подкупами, чтобы «попы показывали ихъ *бывшими*». Попы брали за это «посулы» и показывали небытейщиковъ «бывшими», и такимъ образомъ реестрація вмѣсто того, чтобы выяснить дѣло, повела къ усиленной лжи. А какъ «посулы» за фальшивыя отмѣтки небытейщиковъ «бывшими» брали одни попы и не дѣлились этими доходами съ причетниками, то среди сихъ послѣднихъ запылала всеобщая зависть противъ настоятелей и пошли на нихъ доносы.

Доносовъ было множество, а представители духовной власти ихъ не скрывали, а напротивъ, охотно направляли ихъ на видъ высшаго начальства, чтобы показать, что свѣтскіе чины не могутъ хорошо вести это дѣло и только портятъ духовенство, предоставляя ему возможность покрывать виновныхъ въ уклоненіи отъ исповѣди.

Изъ-за этого между свѣтскими чиновниками и приходскимъ духовенствомъ начались споры и «подвохи». Духовное вѣдомство, по убѣжденію, что свѣтскіе неподлежаще записали въ раскольничій окладъ не-раскольниковъ, «посылало *своихъ фискаловъ* для розыска, а свѣтскія власти, потакавшія раскольщикамъ, схватывали посланцевъ духовнаго вѣдомства и сажали ихъ скованныхъ въ тюрьму и держали подъ крѣпкимъ карауломъ и оному изслѣдованію о раскольникахъ и духовныхъ дѣлахъ чинили тѣмъ сущую остановку» *). Свѣтскія же власти въ отпоръ этимъ укоризнамъ со стороны лицъ духовныхъ вывели на видъ, что «многіе священники въ поданныхъ ими духовныхъ росписяхъ за 1716 и 1717 годы (самые первые послѣ указа) многихъ дѣтей своихъ духовныхъ неисповѣдавшихся написали исповѣдавшимися, *а дѣйствительно бывшихъ у исповѣди* по злобѣ своей на нихъ *записали небывшими*».

О злоупотребленіяхъ въ подобномъ родѣ завелось множество дѣлъ, шли безконечные допросы, сыски и очныя ставки, а между духовными и свѣтскими чиновниками поднялась такая ожесточенная распря, что высшее правитель-

*) Указъ св. Синода 29-го марта 1721 года.

ство увидало необходимость быстро и энергично вмѣшаться въ это дѣло и дать ему другое направленіе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Десятаго и семнадцатаго марта 1718 года послѣдовали высочайшіе указы, которыми (10 марта 1718) категорически опредѣлялось: «по сколько именно надлежитъ брать штрафа съ разнаго званія людей, отбѣгающихъ исповѣди». Назначено брать «съ разночинцевъ и посадскихъ въ первый годъ по одному рублю, во второй — по два, а въ третій—по три, а съ поселянъ въ первый разъ по десяти денегъ, во второй — по гривнѣ, а въ третій — по пяти алтынъ». А чтобы штрафъ за небытіе взыскивался безъ попустительства и безъ пререканій между особами свѣтскаго и духовнаго чина,—все это дѣло передавалось въ завѣдываніе лицъ одного духовнаго вѣдомства,—а прежнимъ взимателямъ штрафа изъ особъ свѣтскаго званія настоящими указами предоставлялось только наказаніе виновныхъ. Заниматься взысканіемъ было, разумѣется, гораздо прибыльнѣе, чѣмъ наказывать несостоятельныхъ плательщиковъ, и потому свѣтскія власти описанною перемѣною были недовольны и стали дѣлать духовенству помѣхи.

Духовенству же съ «набытіемъ правъ» по сбору штрафовъ за небытіе прибыло и «страхованія», и «страхованія» эти были не шуточныя. Въ указѣ читаемъ: «А буде о тѣхъ, кто у исповѣди не будетъ, а священникъ о томъ не донесетъ и за такую его манў (sic) взять на немъ штрафъ первое пять рублевъ, второй — десять, а третій— пятнадцать рублевъ. А ежели по тѣмъ (т.-е. и послѣ третьяго штрафа) явится въ такой же манѣ и за то изверженъ будетъ священства».

И еще это «страхованіе» было усилено тѣмъ, что повелѣно было «по изверженіи» священниковъ «взять ихъ имѣніе», а самихъ ихъ «отсылать для наказанія къ гражданскому суду и въ каторжную работу».

Извѣстясь о такихъ указахъ, особы духовнаго чина не сразу разобрали: «пришло ли къ нимъ торжество или горечь». Дѣло оштрафованія «небытейщиковъ» обѣщало, конечно, хорошія выгоды, но и «страхованія» со изверженіемъ и отъятіемъ, а наипаче съ преданіемъ въ руки свѣтскихъ приказныхъ наводило на духовныхъ ужасъ, который

тѣмъ легче понять, что «свѣтскіе» питали зло на духовенство за передачу въ ихъ руки самой выгодной части дѣла, и теперь приказные, по всѣмъ вѣроятіямъ, не дадутъ спуску тѣмъ изъ духовныхъ, которые попадутся въ ихъ руки.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Особы свѣтскаго чина и дѣйствительно начали держать себя гордо и не уступали духовенству ни одного шага безъ непріятностей. Даже въ самомъ началѣ приказные манкировали требованіемъ духовенства. Съ 1718 по 1721 годъ духовное вѣдомство даже не добилось еще, чтобы свѣтскіе сообщили ему списки небытейцевъ. Губернаторы, камериры и лантраты относились столь небрежно къ требованіямъ представителей церковной власти, что часто вовсе не отвѣчали на бумаги архіереевъ и тѣ только «съ безнадежностью» доносили объ этомъ московскому приказу церковныхъ дѣлъ. Однообразія въ дѣйствіяхъ не было, а повсемѣстно дѣло шло гдѣ какъ попало: въ одномъ мѣстѣ «небытейщиковъ» штрафовали священники, въ другомъ—приказные, и тѣ и другіе по своему безсудили однихъ и мирволили другимъ, а взысканныя деньги «представляли по своей командѣ», или даже вовсе не представляли. Шла вообще полная безурядица, съ которою московскій церковный приказъ уже не могъ найти никакого толку, и тогда за дѣло это взялось новое высшее церковное учрежденіе — св. правительствующій синодъ.

Только-что учрежденный тогда синодъ тотчасъ же оцѣнилъ значеніе дѣла о «небытейщикахъ» и указами отъ 20-го и 21-го чиселъ марта 1721 года сообщилъ въ сенатъ «вѣденіе», а епархіальнымъ архіереямъ послалъ указы, «чтобы впредь собираемые съ раскольниковъ и съ небывшихъ у исповѣди штрафы, опричь онаго святѣйшаго правительств. синода, въ другія мѣста не отсылать и опредѣленному въ Москвѣ камерру тѣхъ штрафныхъ денегъ и объ нихъ вѣдомостей не отдавать *)».

Такимъ энергическимъ и твердымъ мѣропріятіемъ св. синода былъ положенъ конецъ нахальному непослушанію приказныхъ свѣтскаго званія, но зато возникли теперь недоразумѣнія въ самомъ московскомъ приказѣ церковныхъ дѣлъ,

*) Указы св. синода 20-го и 29-го марта 1721 года.

которыми въ это время управлялъ архимандритъ Златоустовскаго монастыря Антоній.

ЛАВА ПЯТАЯ.

Подъ пригрозою св. синода свѣтскіе приказные сдали въ духовныя правленія «свѣденія и отписки» о небытейцахъ, но дѣла эти были въ такомъ видѣ, что въ нихъ нельзя было доискаться толку.

Златоустовскому архимандриту Антонію поручено было разобрать и привести въ ясность всѣ безпорядочно сунутыя съ рукъ приказными бумаги, а когда онъ разобрался, то увидалъ, что сами правительственныя указанія о тѣхъ, кого надо штрафовать, до сихъ поръ еще не ясны. Такъ, наприм., архимандритъ недоумѣвалъ: «какой штрафъ наложить и требовать съ людей, которые не подходили ни къ купеческому, ни къ крестьянскому сословію, и изъ числа коихъ являлись *многіе сирые и убогіе*, именно: солдаты, драгуны, ямщики и жены ихъ, зеленщики, каменщики, ученики латинской и математической школы, оружейники, столяры, *сторожа церковные*, *звонари соборные*, приказные сторожа и *приставы*, люди боярскіе, сокольники и ихъ работники и работницы, шляпнаго и суконнаго дворовъ ученики и работники, *дому государева нижніе чины и дворовые люди*, хлѣбники, калашники, блинники, харчевники, масленники, печатнаго двора батыйщики и тередорщики и работные люди, кожевенники, портные мастеры, сапожники, канатчики, свѣчники, плотники, швальчики, пивовары и богадѣленные нищіе мужеска и женска полу».

Внимательный златоустовскій архимандритъ основательнымъ изученіемъ дѣла обнаружилъ такое положеніе, которое еще не было въ виду правительства, но которое, однако, вполнѣ соотвѣтствовало живописанію Посошкова, въ его «изъявленіи очевидности лицемудрія», гдѣ онъ писалъ, что у насъ «аще подкрѣпленія (указами) не будетъ, то и впредь вси по прежнему въ церковь ходить не будутъ» *). Небытейщиковъ приходилось забирать и штрафовать не въ отдаленныхъ дебряхъ и пустыняхъ, а въ покровительствуемыхъ императоромъ новоучрежденныхъ школахъ, при собственномъ государевомъ дворѣ и, наконецъ, даже при са-

*) См. «Сочиненія Посошкова», стр. 10.

мыхъ приходскихъ церквахъ и соборахъ, гдѣ сторожа и звонари упрямо не хотѣли «отбывать исповѣдь», а въ то же время эти упрямцы были такъ «сиры и бѣдны», что въ штрафъ съ нихъ нечего было взять ни въ первый разъ, ни во второй, ни въ третій.

Архимандритъ, обнаруживъ такое удивительное состояніе въ церковномъ благоустройствѣ, не испрашивалъ въ виду этого новыхъ попечительныхъ мѣропріятій, которыя, можетъ-быть, теперь были бы умѣстны, а только представилъ вопросъ: «съ вышеозначенныхъ разночинцовъ скудныхъ и бѣдныхъ рублевый ли штрафъ или за скудость *по усмотрѣнію или обыску* умалять — поселенскій ли или противо купечества штрафъ имать?» Далѣе онъ спрашивалъ: «какъ поступать съ тѣми, которые въ податныхъ книгахъ написаны неисповѣдавшимися, а послѣ той переписи и поданія книгъ померли?» Или—«съ тѣми, кои временно проживали въ домахъ на квартирѣ или въ работникахъ и при переписке записаны въ этихъ домахъ, а когда наступило время взысканія съ нихъ штрафа, они въ тѣхъ домахъ уже не оказались». Архимандритъ Антоній спрашивалъ у св. синода разрѣшенія, съ кого въ таковыхъ случаяхъ взыскивать штрафъ: «съ хозяевъ ли тѣхъ домовъ, или велѣть имъ тѣхъ людей отыскивать».

Такихъ осмотрительныхъ и осторожныхъ людей, какъ глава московскаго приказа церковныхъ дѣлъ, архимандритъ Антоній, оказалось довольно много. Въ виду «страхованія» и «пригрозъ», послѣдовавшихъ изъ синода, исполнительныя лица духовнаго вѣдомства старались дѣйствовать какъ можно осмотрительнѣе и, не принимая на себя ничего, что имъ могло казаться хотя мало-мальски сомнительнымъ, съ разныхъ сторонъ слали въ синодъ свои многочисленные вопросы и «ожидали на нихъ въ разъясненіе указовъ».

Въ синодѣ скоро образовалось огромное скопленіе бумагъ этого рода, изъ которыхъ каждая требовала «наставленій, указаній и точныхъ и явныхъ опредѣленій». Синодъ былъ обремененъ этими бумагами и по многимъ изъ нихъ сносился съ сенатомъ, а сенатъ требовалъ свѣдѣній отъ губернаторовъ,—синодъ дѣлалъ замѣчанія архіереямъ, а архіереи—своимъ подначальнымъ администраторамъ, и все это при медлительности тогдашнихъ сношеній и при умышленномъ «препирательствѣ» и «отпискахъ» со стороны пред-

ставителей разныхъ вѣдомствъ страшно увеличивало громадность дѣлъ, заведенныхъ о «небытіи», изъ котораго въ результатѣ не выходило *ничего*!

Но здѣсь, въ Европейской Россіи, съ розысками «небытейщиковъ» все-таки не встрѣчалось такихъ достойныхъ памяти затрудненій, какія обнаружились въ Сибири, гдѣ разстоянія огромны, полу-кочевое народонаселеніе рѣдко и дико, а духовенство было въ тогдашнее время совершенно необразованно и имѣло за себя такихъ «крѣпкихъ» представителей, какъ Арсеній Мацѣевичъ, Павелъ Конюшкевичъ и другіе, любившіе постоять за свою власть. Тутъ нашлись настоящіе борцы для борьбы съ «свѣтскими властителями», и раченія ихъ достойны долгой памяти въ исторіи нашего духовнаго просвѣщенія.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Въ Сибирь вопросъ о сыскѣ людей, не бывающихъ у исповѣди, пришелъ не сразу, но зато здѣсь онъ получилъ серьезную постановку. Первые «строжайшіе указы» о сыскѣ виновныхъ въ небытіи и о взысканіи съ нихъ штрафа пришли при митрополитѣ сибирскомъ Филоѳеѣ Лещинскомъ, который былъ настроенія аскетическаго и шумныхъ дѣлъ мірского характера не любилъ *), и потому, несмотря на всю строгость указовъ, повелѣвавшихъ немедленно начать безконечное дѣло «о небытіи», онъ не обратилъ на эти указы никакого вниманія. Или онъ былъ добръ и не хотѣлъ тѣснить людей, или, хорошо зная условія жизни сибирскихъ дикарей и полудикарей, онъ понималъ, что тамъ требуемое дѣло сдѣлать нельзя, а что отъ возни съ нимъ придетъ только порча на тѣхъ, кто начнетъ съ нимъ справляться. Дѣло тронулось только послѣ того, какъ Филоѳей отошелъ, въ 1721 году, на покой и на мѣсто его былъ сдѣланъ сибирскимъ митрополитомъ черниговскій архіерей Антоній Стаховскій. Съ этихъ поръ дѣло «о небытейцахъ» получаетъ движеніе и все возвышается строгая о немъ тре-

*) Сибирскій митрополитъ Филоѳей Лещинскій правилъ митрополіею *будучи въ схимѣ*. Онъ былъ на митрополіи съ 1702 года. и въ 1711 году принялъ въ тюменьскомъ монастырѣ схиму съ именемъ Ѳеодора; но «по указу» въ 1715 году опять былъ назначенъ къ управленію каѳедрою, и какъ разъ попалъ подъ нетерпѣливыя настоянія о взысканіяхъ за «небытіе». Отошелъ на покой въ 1721 г. и почилъ 1727 г.

бовательность, а съ тѣмъ вмѣстѣ разыгрывается и полнѣйшая невозможность выполнить надъ небытейщиками все то, что̀ требовалось. Новый сибирскій іерархъ *) распорядился, чтобы сибирскіе священники въ концѣ церковныхъ богослуженій по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ «читали бы *всѣ преждесостоявшіеся* высочайшіе указы о хожденіи къ церквамъ и *о бытіи наипаче* (курсивъ подлин.) у исповѣди», но на этой почвѣ дѣло не шло, и новый іерархъ (третій послѣ полученія указовъ «о небытіи») **) Варлаамъ Петровъ (другъ губернатора), черезъ пятнадцать лѣтъ повелѣлъ сибирскому духовенству смотрѣть на «взысканіе штрафа за небытіе» какъ на «самонужнѣйшее *государственное дѣло*» ***). И съ этихъ поръ въ нисходящихъ и восходящихъ бумагахъ по духовному вѣдомству въ Сибири начинаютъ писать объ «исповѣдной повинности» и объ «исповѣдныхъ недоимкахъ».

Дѣло стало трактоваться не какъ религіозное, а какъ *государственная повинность*, которую духовенство должно собирать и доставлять казнѣ. «А наипаче не запускать недоимокъ».

Интересы высшаго и правящаго духовенства въ дѣлѣ этомъ расходились съ интересомъ приходскаго духовенства, которое представляло тутъ изъ себя инстанцію исполнительную, функціи которой на мѣстахъ «скитанія небытейщиковъ» были, однако, очень затруднительны. Для архіереевъ и ихъ консисторій было интересно, чтобы «оклады» за «небытіе» достигали цифръ какъ можно болѣе значительныхъ, а приходскіе іереи, которымъ надо было ѣздить да «сыскивать», встрѣчались съ такими практическими трудностями, которыя преодолѣвать было очень трудно, и поэтому священникамъ хотѣлось, чтобы «сыску» было какъ можно менѣе. Поэтому священники находили для себя удобнѣе и выгоднѣе не умножать числа «небытейцевъ», но чтобы это не сходило «небытейцамъ» съ рукъ даромъ,—съ нихъ брали «поминки», которыми и откупались отъ требовательности консисторскихъ приказныхъ, и такимъ образомъ

*) Митрополитъ сибирскій Антоній Стаховскій съ 1721 года.—† 7-го марта 1740 г. (изъ малороссіянъ). См. указъ его отъ 29-го апрѣля 1737 года.

**) Варлаамъ Петровъ (хирот. 1768, † 1802), архіепископъ тобольскій.

***) 10-го іюля 1786 г. (Дѣл. арх. томск. дух. консист.).

завели по Сибири въ огромныхъ размѣрахъ правильно организованное «попустительство».

Объ этомъ узнали архіереи, и противъ поповъ призваны были дѣйствовать мѣстные агенты духовной администраціи и такъ-называемые «закащики» *), «десятильники» и «члены духовныхъ правленій», которые всѣ должны были наблюдать, чтобы «сыскъ виновныхъ въ небытіи производился неослабно, какъ самонужнѣйшее государственное дѣло», и чтобы приходское духовенство не мирволило небытейцамъ.

Но когда епископы пригрозили «закащикамъ» — эти послѣдніе напугались и въ огражденіе себя отъ отвѣтственности стали увѣрять, что «самонужнѣйшаго дѣла» въ Сибири совсѣмъ невозможно исполнить, и на этотъ счетъ были представлены объясненія.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Закащики объясняли, что многимъ крещенымъ людямъ въ Сибири «невозможно отбыть исповѣдную повинность, потому что вблизи ихъ жительства на весьма далекое разстояніе нѣтъ вовсе церквей, а нѣкоторыя церкви хотя постройками и окончены, но еще не освящены и не снабжены утварью, а при другихъ, находящихся въ зѣло бѣдственномъ состояніи, издавна нѣтъ священниковъ, а гдѣ есть и священники, то у тѣхъ въ говѣйной порѣ не бываетъ ладану и вина, и совершать евхаристію не на чемъ и невозможно». «А люди хотя и окрещены, но остались въ первобытной дикости, и кочуютъ и скитаются въ мѣстахъ недоступныхъ **).

Донесенія «закащиковъ» были, конечно, не голословныя, а подкрѣплялись точными указаніями, которыхъ невозможно да и нѣтъ никакой нужды воспроизводить здѣсь во всей подробности, но для образца можно отмѣтить, что въ самой тобольской епархіи, которою управлялъ еп. Варлаамъ (Петровъ), сдѣлавшій штрафъ за небытіе «государственнымъ дѣломъ», прихожане «цѣлыхъ многолюдныхъ селеній и деревень оставались безъ исповѣди въ теченіе 1758, 1759, 1760 и другихъ годовъ *единственно за неосвященіемъ цер-*

*) «Закащиками» въ Сибири называли «благочинныхъ».

**) См. дѣла и духовныя росписи за обозначенные годы, хранимыя въ архивѣ, помѣщающемся въ колокольнѣ томскаго Алексѣевскаго монастыря.

квей». А сколь эти села и деревни были многолюдны—открывается изъ подробныхъ росписей *), изъ коихъ видно, напримѣръ, что въ слободѣ Бѣлоярской, въ томскомъ и барнаульскомъ заказахъ не исповѣдывались 2 тыс. человѣкъ, въ берскомъ острогѣ — 3.155 человѣкъ, въ селѣ Тальменскомъ—1.645 чел., въ селѣ Легостаевскомъ—1.306 чел., въ селѣ Чингисскомъ—1.300, въ селѣ Кособоковскомъ—1.805, въ с. Космалинскомъ—1.874, а всего въ этой одной мѣстности тобольской епархіи 13.170 человѣкъ, и хотя всѣ они «не отбыли исповѣдной повинности *единственно* за неосвященіемъ церквей», и стало-быть отнюдь не по уклончивости, а безъ всякой съ ихъ стороны вины, но, тѣмъ не менѣе, «всѣ эти 13.170 человѣкъ *подверглись штрафу за небытіе* **). И въ такомъ положеніи были застигнуты жители многихъ мѣстностей сибирскаго края, и вездѣ съ нихъ точно такъ же взыскивали штрафы и *повторяли* эти взысканія во второй разъ и въ третій, и напрасно штрафуемые хотя «не видали своей вины», но «свыклись и обошлись съ положеніемъ, пріемля оное какъ бы за переводъ натуральной повинности въ денежную».

Если бы кому-нибудь похотѣлось избавить себя отъ платежа денегъ и отбыть исповѣдную повинность натурою, то ему для этого оставалось одно средство: ѣхать въ городъ или въ такое село чужого прихода, гдѣ все церковное благочиніе было въ порядкѣ, т. е. гдѣ былъ освященный храмъ, и при немъ священникъ и причтъ, церковная утварь, ладанъ и вино, и тутъ надо было стать постоемъ на постояломъ дворѣ и ходить къ службамъ церковнымъ, а потомъ отъисповѣдываться и взять въ томъ отписку для предъявленія своему закащику; но это было сопряжено съ такими большими хлопотами и съ такою затратою времени и денегъ, что не представляло крестьянину никакихъ выгодъ, а, напротивъ, большіе убытки въ сравненіи съ уплатою штрафа.

Притомъ же еще и нельзя было разсчитывать, что если поѣдешь исповѣдаться въ отдаленный чужой приходъ, то все это тамъ и отбудешь. Это не всегда удавалось. Изъ дѣлъ видно, что люди, пытавшіеся запастись исповѣдными

---

*) При тѣхъ же дѣлахъ подъ колокольнею.

**) Дѣло въ архивѣ колокольни томскаго монастыря.

отписками отъ священниковъ чужихъ селъ, «ѣздили въ эти отдаленные приходы напрасно, ибо когда они пріѣзжали туда во время великаго поста, то не заставали тамъ поповъ при своей должности, поелику они были въ то время вытребованы въ заказы и содержались тамъ для объясненій въ теченіе нѣсколькихъ недѣль».

Вызовы же священниковъ въ заказы, какъ видно изъ тѣхъ же дѣлъ, даже «нарочито совпадали со днями постовъ» и были обыкновенно «послѣдствіемъ доносовъ, посылаемыхъ въ заказы отъ дьяконовъ и причетниковъ, съ очевиднымъ расчетомъ сдѣлать зло священнику, оторвавъ его отъ прихода въ говѣйные дни, когда люди отбываютъ исповѣдную повинность».

Слѣдовательно, сибирякамъ платить штрафъ за небытіе было удобнѣе и выгоднѣе, чѣмъ исполнять требу, и это получило развитіе, а начальство начало смотрѣть на это не только снисходительно, но даже и благосклонно, какъ на оборотъ весьма небезвыгодный для государства.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

При такомъ взглядѣ народились и умерли три поколѣнія, и приростъ небытейщиковъ былъ, конечно, огромнымъ. Такъ, напримѣръ, по духовнымъ росписямъ барнаульскаго заказа за 1758 годъ, въ слободѣ Малышевской всѣхъ жителей считалось 3.191, а когда стали вмѣсто исповѣди брать деньги, то вдругъ, черезъ четыре только года, тамъ объявилось уже 6.949 душъ (увеличилось на 3.758), въ с. Чингисскомъ было 1.307, а въ 1762 г. стало уже 3.901 (болѣе на 2.594). Въ Змѣиногорскомъ рудникѣ въ 1758 г. было всего 715 чел., а въ 1762 показано уже 2.294 (болѣе на 1.579) и т. д.

Естественнымъ образомъ такой приростъ населенія въ четыре года, конечно, былъ невозможенъ; но такъ какъ онъ фактически былъ налицо, то его остается объяснить тѣмъ, что при денежной повинности явились тѣ люди, которые ранѣе, при требованіи отъ нихъ натуральной исповѣди, укрывались.

Такимъ образомъ, какъ финансовое мѣропріятіе, обложеніе «небытія» денежнымъ штрафомъ въ самомъ дѣлѣ принесло пользу. Надо только было умѣть собирать съ этихъ людей доходы, отъ платежа которыхъ они не отбѣ-

гали, но сборы, однако, производились неаккуратно и правительство стало обезпокоиваться огромною недоимкою. Въ дѣлахъ есть указъ тобольской духовной консисторіи, отъ 10-го іюля 1786 года, изъ котораго видно, что «въ одномъ заказѣ черезъ пять лѣтъ небывшихъ накоплено 75.102 души, съ коихъ и запущено сбору 100.000 рублей». А какъ священники и закащики не имѣли средствъ какъ «донять» небытейцевъ, то дѣло опять стало клониться къ тому, чтобы раздѣлить операцію между агентами свѣтскаго и духовнаго чина, такъ что духовное вѣдомство должно было «доставлять своевременно самыя вѣрныя свѣдѣнія о числѣ небывшихъ у исповѣди, а свѣтскія власти—распоряжаться наложеніемъ и взысканіемъ штрафа».

Съ этимъ распоряженіемъ ни одинъ энергическій дѣятель въ духовной средѣ сначала не хотѣлъ помириться: духовнымъ вовсе не интересно было исполнять подготовительныя работы для «приказныхъ» и предавать имъ живыхъ людей, которые умѣли цѣнить оказываемыя имъ благодѣянія и выгоды, но практика показала, что духовенство не теряло своего значенія для мірянъ, такъ какъ отъ нихъ зависѣло: выдать небытейца или покрыть его небытіе.

Услѣдить за тѣмъ, что̀ станутъ дѣлать теперь въ Сибири съ небытейцами, было невозможно; а чтобы понять эту невозможность, припомнимъ себѣ на-скоро и вкратцѣ: что̀ такое представляло въ тѣ годы церковное благоустройство въ Сибири и какого духа она имѣла тогда іерарховъ и свѣтскихъ сановниковъ, бывшихъ съ тѣми іерархами въ ладахъ или въ контрахъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Въ началѣ XVIII вѣка, когда начался сыскъ небывающихъ у исповѣди людей, въ Сибири была одна епархія, которая именовалась (до 1768 года) «Сибирскою и Тобольскою». Пространство, занимаемое этою епархіею, было такъ велико, что одному архіерею, какъ бы онъ ни былъ энергиченъ, хорошо править ею было невозможно. Область этой епархіи обнимала собою все пространство отъ Уральскаго хребта до Берингова пролива и отъ Ледовитаго океана до сѣверной границы Китая и степей, гдѣ кочуютъ киргизы. Вдоль епархія простиралась на десять тысячъ

верстъ, а поперекъ—болѣе чѣмъ на три съ половиною тысячи. И на всемъ этомъ страшномъ пространствѣ архіерей долженъ былъ все окинуть своимъ административнымъ взглядомъ и все въ церковномъ управленіи упорядочить, и «небытейщиковъ сыскать», и обложить ихъ «за небытіе» штрафомъ, и даже произвести самое взысканіе.

Трудность этого управленія увеличивалась еще тѣмъ, что число крещеныхъ людей, подлежащихъ архіерейскому попеченію на всемъ огромномъ пространствѣ Сибири, было не велико, и они не сидѣли на землѣ всплошь къ одному мѣсту, а разметались по обширной странѣ враздробь, гдѣ кому казалось сподручнѣе и выгоднѣе. По ревизіи 1709 года въ Сибири насчитано, кромѣ инородцевъ, немного болѣе 230.000 душъ *), и эти христіане жили по городамъ и селеніямъ, а въ Сибири и города, и селенія разметаны другъ отъ друга на большія разстоянія, начиная отъ 200 и доходя до 500 верстъ и даже болѣе. Пути сообщенія, соединявшіе эти удаленные одинъ отъ другого пункты заселенія, ужасны и понынѣ **). Тогда они были «непроѣздными дорогами» въ настоящемъ, а не фигуральномъ смыслѣ этого слова; а притомъ и эти отчаянныя дороги пролегали главнымъ образомъ по теченію огромныхъ сибирскихъ рѣкъ: Оби, Иртыша, Енисея и Лены; а вдаль отъ береговъ этихъ рѣкъ и такихъ дорогъ не было.

Церквей на всю Сибирь было тогда числомъ 160, и изъ нихъ *половина* приходилась на городъ Тобольскъ и на селенія, ближайшія къ этому городу, въ которомъ жилъ іерархъ Сибири. Здѣсь онъ и могъ видѣть на извѣстное разстояніе вокругъ своего каѳедральнаго города нѣкоторое церковное благоустройство. Другая же половина всего числа сибирскихъ церквей (составлявшая число около 80-ти) приходилась на всю остальную Сибирь, съ ея разстояніемъ около 10 т. верстъ въ длину и болѣе 3 т. в. въ ширину,— т.-е. онѣ были разбросаны отъ Оби до Амура, и значительнѣйшее число ихъ опять и здѣсь приходилось на города, а въ селеніяхъ церкви были такъ рѣдки, что приходы, къ нимъ приписанные, тянулись отъ 200 до 500 верстъ ***).

*) См. «Историческое обозрѣніе Сибири», Словцова, стр. 323.
**) См. письма Антона Чехова.
***) Журналъ Мин. Народн. Просвѣщ. 1854 г., м. мартъ, отдѣлъ V, стр. 40.

Отсюда ясно, что церковному причту «сыскать» всѣхъ своихъ прихожанъ и объѣхать ихъ во благовременіи съ требами было *невозможно!* Церкви же въ сибирскихъ селеніяхъ того времени всѣ были деревянныя, холодныя и бѣдныя, нерѣдко безъ утвари, а иногда и безъ богослужебныхъ книгъ, а также въ нихъ не было ни ладану, ни краснаго вина, ни муки для просфоръ. А безъ этихъ вещей православной обѣдни служить нельзя и причащать людей нечѣмъ. Запасы всего нужнаго для служенія литургіи приходили сначала «въ каѳедру», т.-е. въ Тобольскъ, а отсюда уже неспѣшно развозились по непроѣзднымъ путямъ отдаленныхъ пунктовъ, достигая къ мѣстамъ назначенія очень нескоро. А потому нерѣдко бывало, что во многихъ церквахъ не служили по полугоду и болѣе, а иныя и вовсе стояли безъ служителей. Такъ, напр., томскаго округа въ селѣ Тутольскомъ храмъ оставался безъ священника съ 1779 года по 1801, т.-е. слишкомъ въ теченіе двадцати лѣтъ *), а въ чардатской волости того же округа священника не было съ 1725 г. по 1784, т.-е. въ продолженіе шестидесяти лѣтъ!!.. Здѣсь даже причетники перевелись, такъ что между здѣшними обывателями успѣли народиться и свѣковать люди, совсѣмъ не видавшіе лицъ духовнаго сана... **).

И это не было явленіемъ исключительнымъ: «закащики» и изъ другихъ мѣстъ доносили о такихъ же положеніяхъ, а въ 1801 году одинъ «закащикъ» рапортовалъ архіерею Варлааму, что «уѣздныя церкви почти всѣ находятся въ самомъ бѣдственномъ состояніи, а индѣ и вовсе службу божію оставляютъ».

Духовныя правленія представляли, что въ такомъ положеніи «дѣло о небытіи» нельзя справить такъ, какъ хочетъ начальство; но духовенству поблажки не дано: приходы, въ которыхъ не было священниковъ, приписали на бумагѣ къ сосѣднимъ храмамъ, имѣвшимъ священниковъ, и велѣли продолжать исправлять «небытейцевъ».

А приходы, «соединенные» такимъ образомъ на бумагѣ, въ натурѣ представляли цѣлыя области, «раскидывавшіяся на *нѣсколько сотъ верстъ*». Для образца можно указать,

*) Указъ тобольск. д. консист. 9-го ноября 1779 г. и журн. томск. дух. правл. на 12 генв. 1801 г.

**) Указъ тоб. д. консисторіи 11-го мая 1784 года.

что, напримѣръ, въ приходѣ Ирменской церкви томскаго округа деревня Крутихина отстояла отъ церкви на 105 верстъ въ одну сторону, а деревня Панкрушихина — 157 верстъ въ другую *).

О книжномъ наученіи или о духовномъ назиданіи прихожанъ, конечно, нечего было и думать: «Люди оставались въ первобытной дикости».

Священникъ села Зыряновскаго *въ теченіе 20 лѣтъ* завѣдывалъ приходомъ села Тутомскаго, до котораго отъ его храма было 180 верстъ, а до самой отдаленной деревни этого «соединеннаго прихода» было 300 верстъ.

Понятно, что жители селеній, находившихся въ такихъ отношеніяхъ къ своему приходу, были очень затруднены «исполненіемъ исповѣдной повинности» натурою и имъ было гораздо удобнѣе платить штрафъ за свое «небытіе», къ чему они и стремились.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Но и въ тѣхъ сибирскихъ селеніяхъ, въ приходѣ у которыхъ были налицо священники и облаченія, и богослужебныя книги съ ладаномъ, виномъ и мукой для просфоръ и воскомъ, положеніе поселянъ въ отношеніи къ «отбыванію требъ» было не лучше, чѣмъ то, какое выше описано. Такъ, напримѣръ, въ самомъ концѣ XVIII в. жители Мелецкаго острога жаловались архіерею, что «хотя они усердіе ко святой церкви имѣютъ и святыхъ таинъ причащаться желаютъ, но священникъ ихъ, Василій Хавовъ, мертвыхъ не погребаетъ, младенцевъ не креститъ, родильницамъ молитвъ не читаетъ и св. таинъ не пріобщаетъ, а когда жъ прибудетъ въ годъ однажды черезъ почты съ колокольцемъ, съ мертвыхъ тѣлъ за погребеніе беретъ *сполна деньгами* и случится *коньми,* а погребенія нѣтъ **)».

Изъ жалобы этой трудно понять: какъ при такомъ священникѣ жители обходились съ мертвыми, т.-е. сберегали ли они трупы до пріѣзда священника, или хоронили безъ него, а онъ по прибытіи своемъ только «бралъ за погребеніе сполна деньги», или «коньми», а самаго погребенія не пѣлъ и опять отъѣзжалъ съ почтою?

Исканіе лучшихъ людей, болѣе соотвѣтствующихъ испол-

*) Ук. тоб. консист., 1766 г.

**) Указъ тобольск. д. консист., 5-го мая 1785 г.

ненію священническихъ должностей, не представляло никакого успѣха. Священники въ Сибири были столь необразованны, что «отъ простого мужика-поселянина отличались только одною букварною грамотою». Большею частію они «только умѣли *читать* церковно-славянскую грамоту, и *умѣнье писать признавалось высшею степенью образованія*». (Обстоятельство это надлежитъ особенно замѣтить, такъ какъ «умѣнье священника писать» имѣетъ большое значеніе въ достовѣрности отмѣтокъ о «небытіи», до которыхъ сейчасъ дойдетъ дѣло). Когда въ концѣ XVIII в. въ г. Красноярскѣ основывалась школа, для которой потребовался законоучитель, то во всемъ составѣ духовенства этого города не оказалось ни одного священника, который могъ бы учить дѣтей священной исторіи и начаткамъ православнаго ученія вѣры. Тогда стали искать такого способнаго человѣка въ духовенствѣ «енисейскаго и другихъ округовъ», но результатъ былъ тотъ же. Тогда, нужды ради, «съ разрѣшенія духовнаго и свѣтскаго начальства учителемъ былъ опредѣленъ сосланный на заводы поселенецъ изъ россійскихъ діаконовъ, нѣкто Полянскій»... Это былъ какой-то отчаянный гуляка, которому «нужды ради» выпала доля положить начало русской школѣ въ краѣ, но порочныя привычки ссыльнаго дьякона были причиною, что «черезъ годъ онъ оказался совершенно неспособнымъ по неумѣренному винопитію», и тогда онъ отъ учительства былъ устраненъ, а на его мѣсто опредѣленъ способный человѣкъ, разысканный въ томскомъ заказѣ. Это былъ понамарь Сусловъ, котораго красноярское духовное правленіе аттестовало такъ: «онъ, Сусловъ, въ чтеніи исправенъ, и письмоумѣющъ, и ариѳметики первую часть нынѣ доучиваетъ въ твердости, — чему и священно-церковно-служительскихъ дѣтей обучать со временемъ можетъ» *). Изъ всѣхъ учителей того времени въ Сибири никакой другой не былъ такъ хорошо аттестованъ, какъ этотъ Сусловъ, а объ остальныхъ учителяхъ духовныхъ школъ тобольская духовная консисторія сдѣлала общій отзывъ, что «изъ нихъ не всѣ и писать умѣютъ, или умножать по ариѳметикѣ» **).

Такія трудности приходилось преодолѣвать сибирскимъ

*) Ук. тобольск. консист. 15-го іюля 1790 г., № 118, и донесеніе красноярск. дух. правленія 14-го іюня 1791 г.

**) Ук. тобольск. консист. 5-го апр. 1791 г.

архіереямъ съ обученіемъ нарождавшагося въ XVIII вѣкѣ поколѣнія молодыхъ духовныхъ, но еще труднѣе было сладить съ замѣчательною безнравственностью взрослыхъ, при содѣйствіи которыхъ надлежало немедленно привлечь къ церкви упорныхъ въ своихъ заблужденіяхъ раскольниковъ и содѣйствовать «самонужнѣйшему государственному дѣлу».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Митрополитъ сибирскій Павелъ Конюскевичъ *) прибылъ на каѳедру съ обязательствомъ энергически вести дѣло «о небытіи», и онъ имѣлъ уже передъ собою всю описанную нами старую практику этого дѣла, и могъ видѣть, что исполнить все то, что̀ отъ него требовалось, здѣсь не съ кѣмъ. И вмѣсто того, чтобы скрывать настоящее положеніе и проводить время въ «страхованіяхъ» да въ отпискахъ, онъ далъ дѣлу *новое,* довольно смѣлое направленіе: послѣ многихъ безплодныхъ усилій (съ 1758 года по 1764 г.) онъ разослалъ по Сибири слѣдующій любопытный «циркуляръ», который современники почитали за «наилучшее изображеніе состоянія сибирскаго духовенства». Въ этомъ митрополичьемъ циркулярѣ изображено слѣдующее:

«Понеже по производимымъ въ канцеляріи тобольской духовной консисторіи дѣламъ оказуется, что здѣшней тобольской епархіи разныхъ мѣстъ священно-церковно-служители *безмѣрно въ пьянственныхъ случаяхъ* и въ *противонеблагообразныхъ* и не приличныхъ званію своему поступкахъ, въ противность свв. отецъ правилъ и духовнаго регламента житіе свое препровождаютъ, и въ *ярыжствахъ* обращаются, и *валяются* и *спятъ по улицамъ пьяны,* и въ *воровствахъ*, и въ *ложныхъ* подзаводскими крестьянами, яко бы объ отказѣ ихъ отъ заводовъ, *указовъ объявленіяхъ* обличаются, — отчего *въ народѣ чинятъ не малое смущеніе и соблазнъ раскольникамъ,* изъ коихъ,—какъ по дѣламъ значитъ, хотя бы нѣкоторые отъ раскольническаго своего злопагубнаго заблужденія и обратиться желали, но что означенные священники *безмѣрно упиваются* и въ пьянствѣ своемъ многія чинятъ — между людьми и *въ церквахъ сквернословныя ругательства*

*) Павелъ Конюскевичъ, изъ малороссіянъ, хиротонисанъ 23-го мая 1758 г. изъ архимандритовъ Юрьева монастыря. Уволенъ въ 1768 г. изъ Сибири «по обѣщанію» въ Кіево-Печ. лавру, гдѣ и теперь тѣло его находится подъ правымъ придѣломъ «Великой церкви».

и драки, и тому подобныя безчинія, тѣмъ претыкаясь отъ того своего проклятаго раскола не отстаютъ, и въ томъ они, священники, отъ нихъ, раскольниковъ, не малое поврежденіе и укоризненное посмѣяніе на себя и *всему духовному сану поношеніе наводятъ*»...

Выводъ получался такой, что люди, которые должны были исправить мірянъ, сами «наводятъ всему духовному сану поношеніе»...

Митрополитъ Павелъ это сказалъ, и, по замѣчанію одного изъ нашихъ церковныхъ историковъ, «убоялся вести свой корабль съ *пьяными матросами*». Онъ сталъ просить синодъ отпустить его для поклоненія святынямъ Кіева, и отправился туда на богомолье въ 1764 году и тамъ и умеръ *).

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Понять «обѣщаніе» митроп. Павла весьма легко, такъ какъ переносить жизнь среди такихъ людей, какіе описаны въ приведенномъ циркулярѣ, было ужасно. А если такова была «соль», которою должна была земля осоляться, то что же представляла собою вся страна? Нравственное состояніе Сибири въ XVIII в. дѣйствительно представляетъ какой-то адъ! Всѣ ученые и путешественники, побывавшіе въ XVIII вѣкѣ въ Сибири (Мюллеръ, Фишеръ, Гмелинъ и др.), въ одномъ духѣ описывали въ сибирскихъ жителяхъ страшную и отвратительную безнравственность. Духовные іерархи должны были объ этомъ знать, да и не могли не знать, потому что свѣтскія власти имъ на это указывали. Генералъ-губернаторъ Кашкинъ «неоднократно вынужденъ былъ обращаться къ еп. Варлааму (Петрову), **) прося побудить сибирское духовенство къ принятію надлежащихъ духовныхъ мѣръ къ истребленію въ народѣ *жестокости* и дерзновенія ко вчиненію *звѣроподобнаго свирѣпства и скотоподражательнаго разврата*».

Но сибирскіе іерархи не имѣли средствъ подѣйствовать такъ, какъ просилъ ихъ генералъ-губернаторъ. Лучшимъ средствомъ въ тогдашнее время считалось «личное воздѣйствіе на пасомыхъ». Тогда думали, будто «велелѣпіе архі-

*) Тѣло Павла тобольскаго, лежащее во гробѣ подъ церковью Кіево-Печерской лавры, до недавняго времени можно было видѣть.

**) Ук. тоб. д. конс. 26-го іюля 1782 г. Варлаамъ Петровъ тогда былъ еще епископомъ. Въ архіеп. произвед. въ 1792 г.

ерейскаго сана» производило на народъ благотворнѣйшее вліяніе; но паства сибирскихъ архіереевъ жила въ такомъ разсѣяніи, что іерархамъ очень трудно было навѣстить всѣхъ своихъ «пасомыхъ» и почти совсѣмъ невозможно показать большинству изъ нихъ велелѣпіе архіерейскаго служенія. Притомъ же обстоятельства показали, что даже и результатъ полезности архіерейскихъ объѣздовъ сомнителенъ, ибо пока архіерей кочевалъ для нравственнаго оздоровленія своихъ пасомыхъ, которые отличались «жестокостью и звѣроподобнымъ свирѣпствомъ и скотоподобнымъ развратомъ», безъ него въ его каѳедральномъ управленіи начинались ужасающіе безпорядки. Онъ не помогалъ одному и губилъ другое. Такъ, напримѣръ, когда упоминаемый въ началѣ этого разсказа сибирскій митрополитъ Филоѳей (Лещинскій) *первый* изъ всѣхъ сибирскихъ іерарховъ тронулся изъ своего каѳедральнаго города въ объѣздъ своей епархіи, то онъ провелъ въ этомъ путешествіи кряду *два года* (1718 и 1719), и хотя онъ окрестилъ въ это время 40.000 инородцевъ, но зато, лично посмотрѣвъ на своихъ подчиненныхъ, пришелъ къ такимъ взглядамъ, что по возвращеніи въ Тобольскъ не сталъ исполнять указовъ о штрафованіи за «небытіе», а «отошелъ на покой» и вскорѣ умеръ (1727 г., мая 31-го). А въ то время, пока онъ былъ въ отлучкѣ и крестилъ 40.000 инородцевъ, у него въ управленіи старокрещенными людьми завелись такіе непорядки, что это пошло въ примѣръ и пословицу. «Духовенство укрѣпилось въ мысляхъ, что надъ нимъ нѣтъ начальства, а надъ его дѣйствіями нѣтъ контроля, и при невѣжествѣ своемъ развило въ себѣ духъ своеволія, непокорства, самаго грубаго и безчестнаго произвола; даже тѣ, кому была поручена часть архіерейской власти и попеченіе и надзоръ за другими — игумены, закащики, десятинники — явились по своему безстрашію архіерейскія воли ослушниками, огурниками (sic) и продерзателями». А главное — за это время накопилось огромное количество нерѣшенныхъ дѣлъ и очень большое число «ставленниковъ» и «просителей», которые два года ожидали возвращенія архіерея. А епархіальный судъ въ это время совершилъ рядъ такихъ чудесъ, что схимнику Филоѳею показалось «нелѣпо и слышать».

Таковы были результаты долговременной отлучки архіерея «въ объѣздѣ», а скорѣе совершить «объѣздъ» было не-

возможно, и вотъ то, что̀ съ одной стороны представлялось желательнымъ и «благополезнымъ», то съ другихъ сторонъ оказывалось неудобнымъ и даже совершенно вреднымъ. Сорокъ тысячъ дикарей, не разумѣвшихъ языка крестителя, были окрещены, но зато среди паствы, составлявшей коренную основу епархіи, все само себя позабыло...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

«Свѣтскія власти» видѣли, какъ многостороннее дѣло проповѣди, назиданій и взысканій за небытіе и особенно судъ у «духовныхъ властей», что называется, «ни въ коробъ не лѣзетъ, ни изъ короба не идетъ», и иронически относились къ умѣнью духовныхъ дѣятелей вести эти дѣла.

Особенно сильный поводъ къ критикѣ подавали судебные приговоры духовныхъ властей, на которые свѣтскіе должностные люди указывали какъ на очевидные образчики неспособности судей.

Духовный судъ, въ самомъ дѣлѣ, постановлялъ приговоры невѣроятные. Былъ, напримѣръ, въ Сибири нѣкто мичманъ Хмѣлевскій и онъ жилъ въ связи съ «крестьянскою женкою Екатериною». По какому-то случаю это открылось и дошло до митрополита Сильвестра *), и тотъ опредѣлилъ мичману такую эпитимію: «въ праздничный день стоять ему среди церкви во время литургіи на колѣняхъ съ возженною свѣчею, а когда время выходу изъ церкви народу приспѣетъ, тогда положить его (мичмана) на прагъ въ трапезѣ ницъ и лежать (ему) потолѣ, пока черезъ его весь народъ изъ церкви пройдетъ, въ которое время просить ему проходящихъ черезъ него, да помолятся Господу Богу о отпущеніи грѣховъ его; а по исполненіи сего отослать въ воинскую команду для наказанія, чему достоинъ по воинскимъ артикуламъ. А женку *Екатерину, кромѣ такой же эпитиміи, на страхъ другимъ, наказать кошками*» **).

Другой случай: въ Сибирь слѣдовала изъ Россіи по этапу женщина Ефросинья Михайлова, которая до высылки ея была уже замужемъ за тремя мужьями. По дорогѣ она

*) Сильвестръ Гловатскій, митрополитъ сибирскій, изъ архимандритовъ свіяжскаго монастыря, 1749, іюля 6-го. Перевед. въ Суздаль 9-го окт. 1755 г.

**) Указъ тоб. д. консист. 3-го сент. 1752 г.

имѣла несчастіе понравиться отбывавшему вмѣстѣ съ нек путину ссыльному Захару Ѳедорову, но Захаръ Ѳедоровъ Ефросиньѣ не понравился и она не хотѣла отвѣчать его любовнымъ искательствамъ. Да притомъ же Ефросинья была богобоязлива и уважала церковный бракъ, а «прелюбодѣянія не хотѣла». Тогда ссыльный Захаръ обратился съ своею незадачею къ партіонному сержанту Логгинову, и тотъ за небольшую мзду уладилъ дѣло. Онъ, во-первыхъ, нѣсколько разъ «нещадно» билъ Ефросинью Михайлову «батожьемъ», чтобы она была сговорчивѣе, и когда та, изнурясь отъ жестокаго боя, стала подаваться и отпиралась уже только тѣмъ, что «боится блуднаго грѣха», то сержантъ сказалъ, что «за этимъ дѣло не станетъ», и, приведя партію въ село Абалацкое, близъ Тобольска, обвѣнчалъ ее «по принужденію *четвертымъ* бракомъ».

Нещадно избитая батожьемъ, Ефросинья покорилась «принужденію» и сдѣлалась женою ненавистнаго ей поселенца Ѳедорова, и пока шла въ партіи, она, подъ страхомъ батожья, исполняла для его желанія супружескія обязанности; но, придя на мѣсто поселенія—въ Колыванскую волость Томскаго округа, подала жалобу въ томское духовное правленіе, и въ той жалобѣ разъясняла всю свою нестерпимую обиду и доводила, что «какъ бракъ ея съ поселенцемъ Ѳедоровымъ есть *насильственный* и *четвертый* (для нея), а потому, стало-быть, очевидно незаконный, то онъ по существу своему совсѣмъ не есть бракъ, а прелюбодѣйная связь, и она этого прелюбодѣянія продолжать не допуститъ».

Духовное правленіе разлучило временно этихъ супруговъ и донесло о событіи тобольской духовной консисторіи, которая «съ докладу его преосвященству *) опредѣлила: женку Ефросинью Михайлову *оставить въ замужествѣ* при поселенцѣ Захарѣ Ѳедоровѣ, *впредь до разсмотрѣнія*, а о состояніи ея *взять отъ онаго мужа ея извѣстіе*» **)... Какъ должна была чувствовать себя эта несчастная женщина, опять насильно отданная консисторіею поселенцу на подер-

*) По книгѣ Юрія Толстого въ сибирской епархіи съ 1768 значится Варлаамъ Петровъ, а съ 1803 — Антоній Знаменскій. Варлаамъ — это тотъ, который постановилъ дѣло о «небытіи» на степень «самонужнѣйшаго и государственнаго».

**) Ук. тоб. дух. к. 3-го сент. 1752 г.

жаніе, да еще «съ докладу его преосвященству»!... И въ чемъ отъ этого поселенца «о состояніи ея» требовалось «извѣстіе» — изъ дѣла этого не видно; но что Ефросинья была призвана исполнять супружескія обязанности и въ четвертомъ бракѣ, обвѣнчанномъ подъ батогами, это закрѣплено самымъ документальнымъ образомъ.

И эта женщина жила и терпѣла!

Въ самомъ распорядкѣ съ духовенствомъ одна крайность переходила въ другую чрезвычайность: при митрополитѣ Варлаамѣ въ Амышевской крѣпости священникъ Сѣдачевъ былъ изобличенъ «въ пьянствѣ и шумствѣ, и въ дракахъ, и въ прочихъ чинимыхъ мірскими людями соблазнахъ». Митрополитъ Варлаамъ опредѣлилъ за все это «перевесть Сѣдачева въ Уртамскій острогъ, съ подпискою объ исправленіи (себя)» *). А митрополитъ Павелъ такимъ «исправленіямъ себя» не вѣрилъ, и когда при немъ былъ «обличенъ многажды въ пьянствѣ и дракахъ священникъ градотобольской Срѣтенской церкви Топорковъ», то навели о немъ справку, и оказалось, что онъ уже имѣлъ время и случай для «исправленія», ибо «не единожды битіемъ плетьми былъ наказанъ и для памяти въ работахъ содержанъ, но по ожесточенію своему во исправленіе не пришелъ, а еще въ горшая падалъ», и потому митроп. Павелъ (указъ 27-го апр. 1764 г.) опредѣлилъ: «дабы священникъ Топорковъ впредь никакихъ продерзостей чинить не могъ, отъ священнослуженія его удержать, а для лучшей ему памяти и страха Божія при собраніи всѣхъ священнослужителей градо-тобольскихъ *каждый изъ нихъ* по десяти ударовъ шелепомъ ему, Топоркову, *и себѣ въ наставленіе* отправилъ».

И священнослужители привлекались къ тому, чтобы бить собственноручно своихъ товарищей не въ этомъ только единственно случаѣ, а и въ другихъ таковыхъ же. Указомъ отъ 27-го апр. митрополитъ Павелъ разрѣшалъ и всѣмъ закащикамъ (т.-е. благочиннымъ) поступать съ провинившимися точно такъ же, но только съ такимъ «разсмотрѣніемъ», что «гдѣ число священнослужителей», участвующихъ въ наказаніи собрата своего шелепами — «не велико, то тамъ (число ударовъ отъ каждаго) и пріумножить можно» **).

*) Ук. тоб. дух. к. 18-го ноября 1777 г., № 1044.

**) Ук. тоб. дух. к. 27-го апр. 1764 г.

Дѣло же о «небытіи» во все это время «волоклось» и взысканіе денежныхъ штрафовъ съ небытейщиковъ производилось съ такою неаккуратностью и медленностью, которыя, наконецъ, возбудили въ Петербургѣ негодованіе какъ разъ послѣ того, какъ 14-го апрѣля 1763 года былъ лишенъ сана и сосланъ въ Ревель митрополитъ Арсеній Мацѣевичъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Извѣстный своею добротою и религіозностью московскій сенаторъ И. В. Лопухинъ въ одномъ мѣстѣ своихъ интересныхъ записокъ говоритъ: «Дивенъ Богъ во святыхъ своихъ», но ежели осмѣлиться сказать, то Онъ еще дивнѣе въ грѣшникахъ *). Это замѣчаніе получитъ себѣ не одно подтвержденіе въ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ дальнѣйшее теченіе дѣла «о небытіи», которое развивалось давно и закончилось еще давнѣе.

«Фаворъ», которымъ духовенство пользовалось при Елизаветѣ Петровнѣ, прекратился съ воцареніемъ Екатерины II, и тогда же рѣзко перемѣнилась «долго сдерживаемая политика свѣтскихъ правителей».

Бывшій въ то время въ Сибири губернаторомъ Денисъ Ивановичъ Чичеринъ, «пылкій грѣшникъ, пользовавшійся неограниченною властью», рѣзче всѣхъ обнаружилъ «нетерпѣливое самовластіе» и началъ усмирять распущенное сибирское духовенство. Для того, чтобы взяться за это, Денисъ Ивановичъ имѣлъ поводъ, поданный дѣломъ «о небытіи».

По веснѣ 1767 года онъ получилъ изъ Петербурга «выговоръ» за то, что штрафныя деньги «за небытіе» у исповѣди собираются неуспѣшно. Чичеринъ вникъ въ дѣло и пришелъ въ негодованіе на то, какъ безуспѣшно вело это дѣло духовенство, и сразу же «вынужденнымъ нашелся сдѣлать распоряженіе **), чтобы сельскіе *старосты* и *сотскіе* во время постовъ *сами вели подробные и обстоятельные списки о бывшихъ и небывшихъ у исповѣди и доносили бы въ канцелярію* ***) для того, чтобы по полученіи росписей духовныхъ можно было ихъ повѣрить».

*) См. *Русскій Архивъ*, 1884, № 1, стр. 32. «Записки нѣкоторыхъ обстоятельствъ жизни и службы дѣйств. тайн. совѣтн. сенатора И. В. Лопухина, сочин. имъ самимъ».

**) Указъ 11-го мая 1767 года.

***) Очевидно, «въ канцелярію губернатора».

Такое распоряженіе Чичерина было не только въ высшей степени безцеремонно и грубо, но оно даже и не основывалось ни на какомъ правѣ, такъ какъ дѣло о штрафованіи за «небытіе» лежало на отвѣтственности духовнаго вѣдомства. Арсеній Мацѣевичъ, вѣроятно, отвѣтилъ бы на эту дерзость еще большею дерзостью, но архіерей Варлаамъ (Петровъ) снесъ это.

Сельскіе старосты и сотскіе исполнили порученное имъ губернаторомъ церковное дѣло и представили составленные ими списки Чичерину; но тогда приходскіе священники, увидѣвши, что справа о небытіи ускользаетъ изъ ихъ рукъ, обнаружили свою дѣеспособность и сами тоже составили списки и прислали ихъ въ консисторію. Отъ этого избытка, однако, добра не вышло, а произошла только большая путаница, которую сначала приняли за случайность, а потомъ стали приписывать хитрому и дальнозоркому расчету духовныхъ, доставившихъ отъ себя списки небытейцамъ, кромѣ тѣхъ, которые составили старосты. Когда дошло до наложенія штрафовъ и привелось свѣрять списки, присланные сотскими къ губернатору, со списками, полученными въ консисторіяхъ отъ священниковъ, то оказалось, что между одними и другими огромная разница, которой согласить невозможно. Кто записанъ въ «небытіи» у сотскихъ и старостъ, тотъ отмѣченъ «бывшимъ» у священниковъ — и наоборотъ. Поднялась страшная кутерьма: Чичеринъ принималъ сторону своихъ подчиненныхъ, а архіерей отстаивалъ своихъ, и пока успѣли что-нибудь выяснить, Чичеринъ въ 1771 году получилъ уже «высочайшій выговоръ и страшно ожесточился» *).

Должностныя лица въ Сибири были этимъ очень удивлены, такъ какъ губернаторы до сихъ поръ никогда еще не подвергались отвѣтственности за дѣла церковнаго управленія, а Чичеринъ, «пользовавшійся неограниченною властію», былъ такъ сконфуженъ!.. Всѣ знали, что онъ самолюбивъ безмѣрно, и всѣ сразу сказали, что «Чичеринъ этого не стерпитъ».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Чичеринъ и дѣйствительно не стерпѣлъ, и началъ ожесточенную «войну съ попами»: онъ тотчасъ же самъ «вы-

*) Въ указѣ отъ 15-го сент. 1771 г. сказано, что высочайшій выговоръ послѣдовалъ въ томъ году, 24-го августа.

ѣхалъ въ губернію на ревизію» и самъ ревизовалъ «*почти въ каждомъ селѣ* церковные документы и *неисправныхъ священниковъ бралъ подъ стражу, сажалъ въ холодную*, а нѣкоторыхъ подъ карауломъ отсылалъ въ Тобольскъ, въ свою канцелярію, гдѣ ихъ заставлялъ составлять или исправлять невѣрно ими составленные документы». Но какъ ни энергиченъ былъ Чичеринъ, онъ, однако, немного успѣлъ въ своей «войнѣ съ попами», потому что обревизовать Сибирь такимъ образомъ, какъ онъ началъ, ему не удалось бы даже въ теченіе многихъ лѣтъ, а къ тому же и представители сибирскаго приходскаго духовенства сдѣлали для него успѣхъ ревизіи совсѣмъ невозможнымъ. Священники, слѣдя за маршрутомъ губернатора, устраивали Чичерину такую подготовку, что какъ только онъ наѣзжалъ на одно храмовое селеніе и начиналъ тамъ смотрѣть церковные документы, такъ объ этомъ быстро узнавали духовные сосѣднихъ приходовъ, и сейчасъ же всѣ батюшки «уѣзжали къ боли». Въ домахъ же поповскихъ оставались однѣ попадьи да дѣти, и можетъ-быть еще какой-нибудь безотвѣтный дьячокъ, который ничего не зналъ въ «небытейскихъ книгахъ». На разспросы же губернатора о попѣ—«отвѣчали, что попъ отъѣхалъ въ приходъ, а когда назадъ будетъ—невѣдомо. А послать за нимъ для сыску нельзя, потому что поѣхалъ онъ не въ одно мѣсто, а приходы пространствомъ безмѣрные, во всѣ стороны».

Губернатору оставалось развѣ самому садиться у попа и ждать его возвращенія.

Нетерпѣливый и гнѣвный Чичеринъ увидалъ себя одураченнымъ и возвратился въ Тобольскъ, «скрежеща зубами и искій кого поглотити».

Тѣ попы, которые не успѣли бѣжать «къ боли» и были забраны къ Чичерину въ канцелярію, за всѣхъ пострадали и отвѣтили. Чичеринъ съ ними не церемонился и сорвалъ на нихъ свой пылкій гнѣвъ; но какъ онъ былъ вспыльчивъ и непостояненъ, то ему надоѣло съ ними возиться и лучше показалось свалить опять все на руки епархіальнаго вѣдомства, которое тоже поступилось и не хотѣло болѣе контрировать съ губернаторомъ: теперь архіерей самъ просилъ Чичерина, чтобы полицейскіе агенты помогали духовнымъ.

Такимъ образомъ, архіерей и губернаторъ заключили

унію и взялись вести «государственное дѣло» строго: духовный ли, свѣтскій ли «агентъ» попадется въ винѣ—ни одному не давать поблажки.

Первый попался «нижне-тунгусскій попъ съ причтомъ»*).

Тобольская консисторія предписала туруханскому закащику (благочинному), «истребуя отъ тамошняго городничаго, или земскаго суда, двухъ нарочныхъ сыскать нижнетунгусскаго погоста попа съ причтомъ въ духовное правленіе и тутъ ихъ, доколѣ они за 1789 годъ росписей не исправятъ, *держать безъ выпуску въ цѣпяхъ подъ карауломъ и денно-нощно ихъ къ тому принуждать*».

Однако, и это ни къ чему не повело: и тунгусскій попъ убѣжалъ, да и вообще попы «разбѣгались», а тѣ, которыхъ ловили и сажали на цѣпь, «сидѣли безъ выпуску», но проку отъ этого не выходило, потому что списковъ они составить не могли, ибо неисправность была уже слишкомъ долго запущена.

А какъ «сунодъ требовалъ списка *неотступно*», то несчастная консисторія вынуждена была сознаться, что она «ничего не можетъ сдѣлать, понеже духовныя правленія и священноцерковнослужители *по безстрашію ихъ* о государственномъ дѣлѣ не брегутъ».

Дойдя до откровеній о своей несостоятельности, консисторія уже не стѣснялась и выкладывала всю правду: въ іюлѣ 1786 года она доносила, что у нея совсѣмъ не на кого положиться, потому что и закащики, и члены духовныхъ правленій—всѣ «ослушники, огурники, супротивники и коварники». Вся соль осолилась! Утрата дисциплины и повиновенія была полная, но, однако, во многихъ случаяхъ трудно было и ждать исполнительности и повиновенія. Закащики вытребовали «поповъ» изъ-за сотенъ и даже изъза тысячъ верстъ, «для вчиненія рукоприкладствъ» и другихъ неважныхъ дѣлъ, безъ чего было можно обойтись, и «держали ихъ въ заказахъ долго, по нѣскольку недѣль и даже мѣсяцевъ, а отъ такихъ сыскиваній происходили для сельскихъ причтовъ великіе убытки въ переѣздахъ, поминкахъ и подаркахъ, а въ приходахъ остановка въ исполненіи духовныхъ требъ».

Тобольская консисторія поповъ не жалѣла и стала «про-

*) Указъ консисторіи 20 августа 1790 г.

сить губернаторовъ, чтобы они приказали городничимъ и исправникамъ давать сыщиковъ», которые должны «приводить неисправныхъ священниковъ въ духовныя правленія и держать тамъ подъ карауломъ до окончанія росписей»; но черезъ мѣсяцъ консисторія сдѣлала еще болѣе: она совсѣмъ уже передала «свою команду» мірскимъ командирамъ и «*съ дозволенія губернаторовъ*» прямо сама отъ себя предписала всѣмъ исправникамъ и городничимъ «держать подъ стражею безвыпускно и самихъ закащиковъ (благочинныхъ) и всѣхъ членовъ духовныхъ правленій, поколѣ они всѣхъ росписей не исправятъ и не отошлютъ къ его преосвященству» *).

Такимъ образомъ, все тогдашнее непослушное «безстрашное» и «огурное» духовенство Сибири, выведя изъ терпѣнія свое начальство, было имъ «предано во власть мірскихъ человѣковъ», т.-е. губернаторскихъ чиновниковъ, которые «со дня митрополита Арсенія точили на нихъ зубы, но только не смѣли на оныхъ въ дѣйствіяхъ покуситься», а теперь эти приказные получили право всѣхъ мало-мальски неаккуратныхъ священноцерковнослужителей «хватать яко неблагопокорныхъ», и лишить ихъ свободы, и держать безвыпускно... Чиновники постарались показать свое усердіе и такъ «хватали», что Сибирь во многихъ мѣстахъ осталась безъ требоисправителей, но «батюшка Денисъ Ивановичъ» объ этомъ не безпокоился и «истязалъ поповъ такъ, что даже кожа на нихъ трещала. А объ отвѣтѣ не унывалъ, мня яко въ потребный часъ вся покрыетъ своею орденскою мантіею».

Тутъ сибирскіе требоисправители, лишенные свободы и доходовъ, потеряли свое «огурство» и, «впавъ въ руцѣ Чичерина, явились благопослушны»: они написали списки.

Чичеринъ хвалился: «Я сказалъ, что я свое возьму, и вотъ я взялъ!» А вышколенные имъ попы, отъѣзжая изъ его канцеляріи, говорили себѣ: «Похвальбишка! Ну, взялъ— такъ и взялъ, а подожди хвалиться-то!»

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Въ 1794 году росписи пришли и изъ всѣхъ сибирскихъ заказовъ, ибо «до всѣхъ дошло вѣденіе яко вси преданы Чичерину», и въ Тобольскѣ консисторскіе подьячіе сдѣлали

*) Ук. 17-го апр., № 1414.

изъ тѣхъ росписей «экстрактъ», который и былъ предста вленъ въ сунодъ *). Требованіе начальства этимъ было выполнено: вся «скала небытія» обозначилась на виду, и все оформлено и приведено въ надлежащій порядокъ, такъ что можно было составить смѣту: сколько придетъ дохода отъ небытія; но на мѣстахъ, при самомъ обложеніи денежною платою за «небытіе», начали вновь обнаруживаться невѣроятныя вещи, черезъ которыя опять должна была происходить несусвѣтимая путаница. При повѣркѣ на мѣстахъ оказалось, что «въ числѣ показанныхъ (по спискамъ) небывшими нерѣдко попадали *давно умершіе* или (находившіеся) по нѣскольку лѣтъ въ бѣгахъ, въ ссылкѣ или переселенные куда-нибудь въ Иркутскую или въ Якутскую области. Напротивъ, истые раскольники, записанные свѣтскими властями въ двойной окладъ, оказывались отмѣченными въ числѣ *бывшихъ* у исповѣди и притомъ за нѣсколько лѣтъ кряду»...

Отчего же и какъ могла произойти такая неисправность при всей наличности внѣшняго рачительства и порядка со стороны «тѣсно ущемленнаго Чичеринымъ духовенства», и что̀ еще можно было теперь измыслить: кому еще во второй разъ «предать» духовенство и какъ его «защемить», чтобы добиться отъ него точно обозначенной «скалы небытія»? И вотъ тутъ, въ эту-то пору, въ самой канцеляріи у Чичерина явилось убѣжденіе, что въ такомъ огромномъ и дикомъ краѣ, какъ Сибирь, рѣшительно нельзя услѣдить за всѣми, кто исповѣдуется, а кто не исповѣдуется, и что потому правильное обложеніе налогомъ за «небытіе» есть вещь невозможная. А то, чего сунодъ достигъ послѣ множества усиленныхъ и неотступныхъ требованій, была просто фикція, которую продѣлали надъ Чичеринымъ «преданные ему и имъ тѣсно ущемленные попы», и надъ другимъ начальствомъ «подьячіе духовныхъ правленій и консисторій», которые, будучи «нуждою и страхомъ гонимы и побуждаемы», всѣ писали въ спискахъ «что̀ попало».

Казалось бы, что такой велемощный сановникъ, какъ Денисъ Ив. Чичеринъ, увидавъ дѣло какъ есть, такъ и долженъ былъ донести о немъ въ Петербургъ, чтобы тамъ знали настоящее положеніе и не требовали того, что̀ невозможно исполнить,—но Чичеринъ этого не сдѣлалъ. Мо-

*) Ук. 24-го февр. 1794, № 234.

жетъ-быть, онъ не хотѣлъ понизить статью въ смѣтѣ ожидаемыхъ доходовъ, которую все-таки желали собрать, а можетъ-быть весь его большой будто бы характеръ выходилъ на кипяченіе и озорство, съ кѣмъ это было удобно, а для правдиваго представленія о дѣлахъ ввѣреннаго ему края духа у него недоставало...

Приходскіе же священники кромѣ того, что они не могли, но они и не умѣли составить вѣрныхъ отмѣтокъ «о небытіи» *). И они это поняли и увидали, что̀ имъ надо дѣлать. Такъ какъ не доставлять списковъ стало нельзя, — потому что за это «можно впасть въ руцѣ Чичерина», а если составить «списки сочиненные», то можно попасть въ руки подьячихъ, — то малописьменные попы исхитрились такъ, что стали поручать составленіе отмѣтокъ «о небытіи» самимъ же подьячимъ, служившимъ въ тѣхъ самыхъ духовныхъ правленіяхъ, куда надо было представлять списки, а на то, чтобы вознаградить этихъ подьячихъ за трудъ ихъ, завели со всѣхъ своихъ прихожанъ обоего пола новый «безобидный *сборъ за уволоку* отъ исповѣди по 5 копѣекъ съ души» **).

Устроивши такимъ манеромъ экономическую сторону дѣла, сибирскіе священники еще лучше устроили техническую сторону операціи: они захотѣли сдѣлать такъ, чтобы требовательное начальство получало для своего удовольствія списки о небытейцахъ, но чтобы списковъ этихъ въ приходахъ не писать, такъ какъ отъ этого только двойная работа: пусть кто эти списки ревизуетъ—тотъ самъ же ихъ и *сочиняетъ*. На этомъ священники уговорились съ консисторскими приказными и стали присылать этимъ подьячимъ «бѣлые листы съ своею подписью да хлопотныя деньги по количеству», и подьячіе брали деньги, а на бѣлыхъ листахъ писали въ списки что̀ знали, «по примѣру

*) Въ числѣ сибирскихъ священниковъ того времени было много малограмотныхъ, «едва умѣвшихъ только читать церковное». Религіозная образованность ихъ была такая, что даже одинъ «градскій священникъ» г. Кузнецка, по фамиліи Ломшаковъ, на вопросъ протоіерея Комарова: «какъ читается седьмая заповѣдь?»—отвѣчалъ: «Помилуй мя, Боже», а на вопросъ: «сколько таинствъ и какая ихъ сущность?» далъ отвѣтъ: «таинствъ есть *десять*, а сущность ихъ непостижима» (Указ. тоб. дух. консист. 27-го апр. 1770 г.).

**) Дѣло томск. дух. консистор. въ «Колокольномъ Архивѣ» Алексѣевскаго монастыря.

прошлыхъ лѣтъ», и пригоняли текстъ списковъ «какъ прилично къ сдѣланнымъ заранѣе подписямъ», и, разумѣется, списки, составленные такимъ образомъ, подьячіе уже не браковали и не возвращали, а направляли дѣло выше, гдѣ оно веселило ожидавшихъ результатовъ, которые должны были «оправдать предначертанія». И пошло бы это, вѣроятно, на многія лѣта; но вмѣшался врагъ и все дѣло испортилъ: священники, собирая по пятаку за уволоку, не все отдавали подьячимъ и не хотѣли ничего удѣлять своимъ причетникамъ, которые разсердились и о всемъ донесли и на поповъ, и на приказныхъ. Неумѣренная жадность поповъ разрушила такую удобную организацію, и оба начальства— свѣтское и духовное — явились другъ передъ другомъ въ недостойномъ ихъ, смѣшномъ видѣ.

Но надо было, разумѣется, доказать, что списки небытейщикамъ сочиняютъ приказные, и за этимъ дѣло не стало: не только между причетниками, но даже и между приказными нашелся предатель: одинъ приказный обидѣлся, что попъ, съ которымъ они состояли въ компаніи, прислалъ ему мало денегъ. Подьячій навелъ справку: сколько попъ собралъ, и сравнивъ съ тѣмъ, сколько онъ ему доставилъ, увидалъ, что онъ удержалъ у себя львиную долю; и это приказному не понравилось и показалось обидно. А какъ и другіе подьячіе имѣли подозрѣніе на другихъ поповъ, что они передаютъ не все, что собираютъ «за уволоку», то мстивый подьячій рѣшился наказать всѣхъ поповъ за ихъ жадность и отправилъ въ консисторію, какъ будто бы по ошибкѣ... вмѣсто списковъ—одни пустые листы бумаги, съ поповскими подписями!...

Неопровержимая улика была налицо, и отъ этого людямъ стало не лучше, а еще хуже: теперь, когда консисторскіе подьячіе знали плутню правленскихъ и, посмотрѣвъ многія сохраняемыя росписи, увидали, что всѣ онѣ писаны одною рукою подьячаго,—консисторскіе потребовали себѣ части отъ правленскихъ, а тѣ отъ поповъ, а попы должны были увеличить сборъ съ мірянъ. И такъ дѣло опять уладилось.

Вмѣсто прежняго «повальнаго положенія», при которомъ «попъ собиралъ за уволоку по 5 к. съ души», теперь плата повысилась.

Все это теперь происходило явно, и священникъ непре-

мѣнно долженъ былъ дѣлать эти поборы, потому что иначе онъ своими списками никогда бы подьячимъ не угодилъ и его замучили бы «истязаніями».

Но и въ этомъ усовершенномъ порядкѣ опять обнаружились свои недостатки, которымъ начальство не нашлось какъ помочь, а оборотистое сибирское духовенство опять само изъ нихъ выбилось.

Когда старыми сборами «за уволоку» пришлось дѣлиться съ большимъ числомъ участниковъ, тогда приходскіе священники ввели еще одинъ поборъ «за скверноядство».

Это статья очень любопытная, но она требуетъ отступленія и объясненій.

ГЛАВА СѢМНАДЦАТАЯ.

Еще въ началѣ XVII столѣтія казаки, «простираясь къ сѣвернымъ предѣламъ Сибири, подбивали подъ власть свою вогуловъ, остяковъ, тунгусовъ, юроковъ, якутовъ и другихъ народцевъ, кочевавшихъ въ своихъ сѣверныхъ предѣлахъ Сибири». Когда оканчивалось покореніе или «подбитіе», тотчасъ же начинались заботы о введеніи новыхъ порядковъ: «о сборѣ ясака и о просвѣщеніи свѣтомъ истинной вѣры».

Для этого казаки узнавали пункты, гдѣ «народцы» въ извѣстные сроки сходятся другъ съ дружкою, чтобы обмѣняться добычею своихъ лововъ и иныхъ промысловъ. Тутъ казаки сейчасъ же и завели «постройки», которыя назвались «острожками», или «острогами», или «крѣпостями», а впослѣдствіи «городами».

Такимъ образомъ возникъ Березовъ, Обдорскъ, Сургутъ, Нарымъ, Туруханскъ, Якутскъ и другіе нынѣшніе города. Первоначальное заведеніе здѣшнихъ городовъ обыкновенно шло такъ: сначала строили первую избу для воеводы, вторую для попа и третью, общую, для «служилыхъ людей», а насупротивъ ихъ—ссыпной амбаръ для хлѣба, погребъ для пороху и церковь. Церковь была «та же изба, только съ крестомъ на крышѣ».

Заводили осѣдлости на такихъ мѣстахъ, гдѣ кочевники имѣли обычай сходиться для мѣны; тутъ ихъ разсчитывали «осѣтить и обрать съ нихъ ясакъ». Придумано было хорошо, и казаки, указавъ заводчикамъ, какъ собирать ясакъ,

указали и слѣдовавшимъ за ними священно-церковнослужителямъ средства, какъ «просвѣщать язычниковъ святою вѣрою и чѣмъ отъ нихъ кормиться». «Просвѣщать же язычниковъ»—это было цѣлью прибытія духовныхъ въ сибирскую глушь, а «кормиться» отъ своей паствы имъ было необходимо, такъ какъ отъ казны имъ на все прожитье было «пожаловано въ годъ на попа по 28 руб., а на причетника по 18 рублей на ассигнацію» (=8 р. и 5 руб. 30 к.). «Паства», которую только-что накрестили, вся состояла изъ кочевниковъ, которыхъ цѣлый годъ не увидишь—только разъ въ годъ, въ обычное время они сближаются къ извѣстнымъ мѣстностямъ для взаимнаго торговаго размѣна, и тутъ-то надо около нихъ сдѣлать все, что нужно, т.-е. и «осѣтить, обрать ясакъ и научить святой вѣрѣ». Когда воеводы со своими служилыми людьми хлопочутъ собирать съ народовъ ясакъ въ казну, тутъ же и священнику одно только время научить язычниковъ христіанству и исполнить для нихъ заднимъ числомъ всѣ церковныя требы для живыхъ и мертвыхъ, и получить съ нихъ за это требоисправленіе побольше шкуръ въ свою пользу.

Въ церкви, или какъ сами казаки называли ихъ—«въ церквицѣ»—въ теченіе года бывали только воевода да его служилые люди, а «ясашныхъ» прихожанъ никогда не бывало. Молились ли они, и какъ и кому молились въ теченіе всего года—объ этомъ священникъ не могъ знать, и церкви, и попа они боялись; но зато, когда они сходились, чтобы отдать ясакъ воеводѣ, казаки «имали ихъ и загоняли на требы къ попу», и «народцы» одинаково считали «ясакомъ» какъ то, что они платили воеводскимъ служилымъ людямъ, такъ и то, что платили попу. Такъ они и говорили, что должны платить «два ясака: одинъ воеводѣ, а другой попу» *). Оба ясака взимались съ большимъ произволомъ: служилые люди «донимали» съ дикарей вдвое и болѣе противъ положеннаго, угрожая за недодачу лишеніемъ драгоцѣнной всякому свободы, а духовенство «правило свой ясакъ по количеству», т.-е. по числу душъ, которое дикари сами показывали въ своихъ семействахъ «съ удивительною простотою». Попъ спрашивалъ дикаря: «кто въ семьѣ народился, и кои померли, и кои жить поима-

*) См. «Сибирскій лѣтописецъ» о ясакѣ.

лись на-ново какъ мужъ съ женою», а дикарь, достаточно уже умудренный опытомъ, что ему отъ этихъ разспросовъ выйдетъ вредъ, все-таки всегда давалъ откровенный и справедливый отвѣтъ «съ врожденною простотою». По его же показаніямъ попъ его и «облагалъ, *какъ повелось* по правиламъ: за крещеніе новорожденнаго дитя 10 либо 15 бѣлокъ, за «очищеніе» (?) 5 бѣлокъ, за женитву— 2 соболя или 5 песцовъ». Иногда надъ дикарями заднимъ числомъ исполняли какіе-нибудь обряды, но бо́льшею частію дѣло ограничивалось только сборомъ ясака, а наличностью производилась только одна исповѣдь,—при чемъ за разрѣшеніе грѣховъ всей семьи расплачивался съ попомъ старшій въ родѣ, и тутъ приходилось торговаться. Съ обыкновеннаго грѣшника брали отъ пяти до десяти бѣлокъ, но съ такого, у котораго было больше, священникъ требовалъ и ясакъ побольше, а въ общей сложности для отца семейства или главы рода это составляло расчетъ, противъ котораго онъ спорилъ. Исповѣдный ясакъ иногда доходилъ до двухсотъ бѣлокъ на семейство, и дикари этимъ очень тяготились, но «по простотѣ своей» своихъ грѣховъ все-таки не скрывали, а только спѣшили скорѣе «очиститься и бѣжать». Обыкновенно они «убѣгали» тотчасъ же послѣ исповѣди и не дожидались причастія, о важности котораго не имѣли понятія.

Сибирскіе священники распоряжались наложеніемъ ясака по всей своей волѣ. Свѣтскія власти въ это не вмѣшивались, за исключеніемъ нѣсколькихъ лѣтъ «бироновщины», когда «духовнаго чина людямъ началось отъ свѣтскихъ командировъ и еретиковъ притѣсненіе и ту́га», но они «черезъ это время отстоялись и скоро достигли лучшаго вѣка Елизаветы». Однакоже, какъ и въ Елизаветино время, духовнымъ большого жалованья не дали, то духовные прибавили къ ясаку «*подать за скверноядство*».

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Что́ значитъ «скверноядство»? Это то, если человѣкъ ѣстъ что-нибудь «скверное», т.-е. «непоказанное ему для употребленія въ пищу». Скверное это не у всѣхъ одно и то же: въ старой Руси сквернымъ почиталась телятина и теперь многими почитается за «скверно»—угорь, налимъ, минога, раки и устрицы, мясо козы, зайца, голубя и чере-

унію и взялись вести «государственное дѣло» строго: духовный ли, свѣтскій ли «агентъ» попадется въ винѣ—ни одному не давать поблажки.

Первый попался «нижне-тунгусскій попъ съ причтомъ»*).

Тобольская консисторія предписала туруханскому закащику (благочинному), «истребуя отъ тамошняго городничаго, или земскаго суда, двухъ нарочныхъ сыскать нижнетунгусскаго погоста попа съ причтомъ въ духовное правленіе и тутъ ихъ, доколѣ они за 1789 годъ росписей не исправятъ, *держать безъ выпуску въ цѣпяхъ подъ карауломъ и денно-нощно ихъ къ тому принуждать*».

Однако, и это ни къ чему не повело: и тунгусскій попъ убѣжалъ, да и вообще попы «разбѣгались», а тѣ, которыхъ ловили и сажали на цѣпь, «сидѣли безъ выпуску», но проку отъ этого не выходило, потому что списковъ они составить не могли, ибо неисправность была уже слишкомъ долго запущена.

А какъ «сунодъ требовалъ списка *неотступно*», то несчастная консисторія вынуждена была сознаться, что она «ничего не можетъ сдѣлать, понеже духовныя правленія и священноцерковнослужители *по безстрашію ихъ* о государственномъ дѣлѣ не брегутъ».

Дойдя до откровеній о своей несостоятельности, консисторія уже не стѣснялась и выкладывала всю правду: въ іюлѣ 1786 года она доносила, что у нея совсѣмъ не на кого положиться, потому что и закащики, и члены духовныхъ правленій—всѣ «ослушники, огурники, супротивники и коварники». Вся соль осолилась! Утрата дисциплины и повиновенія была полная, но, однако, во многихъ случаяхъ трудно было и ждать исполнительности и повиновенія. Закащики вытребовали «поповъ» изъ-за сотенъ и даже изъза тысячъ верстъ, «для вчиненія рукоприкладствъ» и другихъ неважныхъ дѣлъ, безъ чего было можно обойтись, и «держали ихъ въ заказахъ долго, по нѣскольку недѣль и даже мѣсяцевъ, а отъ такихъ сыскиваній происходили для сельскихъ причтовъ великіе убытки въ переѣздахъ, поминкахъ и подаркахъ, а въ приходахъ остановка въ исполненіи духовныхъ требъ».

Тобольская консисторія поповъ не жалѣла и стала «про-

*) Указъ консисторіи 20 августа 1790 г.

сить губернаторовъ, чтобы они приказали городничимъ и исправникамъ давать сыщиковъ», которые должны «приводить неисправныхъ священниковъ въ духовныя правленія и держать тамъ подъ карауломъ до окончанія росписей»; но черезъ мѣсяцъ консисторія сдѣлала еще болѣе: она совсѣмъ уже передала «свою команду» мірскимъ командирамъ и «*съ дозволенія губернаторовъ*» прямо сама отъ себя предписала всѣмъ исправникамъ и городничимъ «держать подъ стражею безвыпускно и самихъ закащиковъ (благочинныхъ) и всѣхъ членовъ духовныхъ правленій, поколѣ они всѣхъ росписей не исправятъ и не отошлютъ къ его преосвященству» *).

Такимъ образомъ, все тогдашнее непослушное «безстрашное» и «огурное» духовенство Сибири, выведя изъ терпѣнія свое начальство, было имъ «предано во власть мірскихъ человѣковъ», т.-е. губернаторскихъ чиновниковъ, которые «со дня митрополита Арсенія точили на нихъ зубы, но только не смѣли на оныхъ въ дѣйствіяхъ покуситься», а теперь эти приказные получили право всѣхъ мало-мальски неаккуратныхъ священноцерковнослужителей «хватать яко неблагопокорныхъ», и лишить ихъ свободы, и держать безвыпускно... Чиновники постарались показать свое усердіе и такъ «хватали», что Сибирь во многихъ мѣстахъ осталась безъ требоисправителей, но «батюшка Денисъ Ивановичъ» объ этомъ не безпокоился и «истязалъ поповъ такъ, что даже кожа на нихъ трещала. А объ отвѣтѣ не унывалъ, мня яко въ потребный часъ вся покрыетъ своею орденскою мантіею».

Тутъ сибирскіе требоисправители, лишенные свободы и доходовъ, потеряли свое «огурство» и, «впавъ въ руцѣ Чичерина, явились благопослушны»: они написали списки.

Чичеринъ хвалился: «Я сказалъ, что я свое возьму, и вотъ я взялъ!» А вышколенные имъ попы, отъѣзжая изъ его канцеляріи, говорили себѣ: «Похвальбишка! Ну, взялъ—такъ и взялъ, а подожди хвалиться-то!»

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Въ 1794 году росписи пришли и изъ всѣхъ сибирскихъ заказовъ, ибо «до всѣхъ дошло вѣденіе яко вси преданы Чичерину», и въ Тобольскѣ консисторскіе подьячіе сдѣлали

*) Ук. 17-го апр., № 1414.

изъ тѣхъ росписей «экстрактъ», который и былъ предста вленъ въ сунодъ *). Требованіе начальства этимъ было выполнено: вся «скала небытія» обозначилась на виду, и все оформлено и приведено въ надлежащій порядокъ, такъ что можно было составить смѣту: сколько придетъ дохода отъ небытія; но на мѣстахъ, при самомъ обложеніи денежною платою за «небытіе», начали вновь обнаруживаться невѣроятныя вещи, черезъ которыя опять должна была происходить несусвѣтимая путаница. При повѣркѣ на мѣстахъ оказалось, что «въ числѣ показанныхъ (по спискамъ) небывшими нерѣдко попадали *давно умершіе* или (находившіеся) по нѣскольку лѣтъ въ бѣгахъ, въ ссылкѣ или переселенные куда-нибудь въ Иркутскую или въ Якутскую области. Напротивъ, истые раскольники, записанные свѣтскими властями въ двойной окладъ, оказывались отмѣченными въ числѣ *бывшихъ* у исповѣди и притомъ за нѣсколько лѣтъ кряду»...

Отчего же и какъ могла произойти такая неисправность при всей наличности внѣшняго рачительства и порядка со стороны «тѣсно ущемленнаго Чичериным духовенства», и что еще можно было теперь измыслить: кому еще во второй разъ «предать» духовенство и какъ его «защемить», чтобы добиться отъ него точно обозначенной «скалы небытія»? И вотъ тутъ, въ эту-то пору, въ самой канцеляріи у Чичерина явилось убѣжденіе, что въ такомъ огромномъ и дикомъ краѣ, какъ Сибирь, рѣшительно нельзя услѣдить за всѣми, кто исповѣдуется, а кто не исповѣдуется, и что потому правильное обложеніе налогомъ за «небытіе» есть вещь невозможная. А то, чего сунодъ достигъ послѣ множества усиленныхъ и неотступныхъ требованій, была просто фикція, которую продѣлали надъ Чичеринымъ «преданные ему и имъ тѣсно ущемленные попы», и надъ другимъ начальствомъ «подьячіе духовныхъ правленій и консисторій», которые, будучи «нуждою и страхомъ гонимы и побуждаемы», всѣ писали въ спискахъ «что попало».

Казалось бы, что такой велемощный сановникъ, какъ Денисъ Ив. Чичеринъ, увидавъ дѣло какъ есть, такъ и долженъ былъ донести о немъ въ Петербургъ, чтобы тамъ знали настоящее положеніе и не требовали того, что невозможно исполнить,—но Чичеринъ этого не сдѣлалъ. Мо-

*) Ук. 24-го февр. 1794, № 234.

жетъ-быть, онъ не хотѣлъ понизить статью въ смѣтѣ ожидаемыхъ доходовъ, которую все-таки желали собрать, а можетъ-быть весь его большой будто бы характеръ выходилъ на кипяченіе и озорство, съ кѣмъ это было удобно, а для правдиваго представленія о дѣлахъ ввѣреннаго ему края духа у него недоставало...

Приходскіе же священники кромѣ того, что они не могли, но они и не умѣли составить вѣрныхъ отмѣтокъ «о небытіи» *). И они это поняли и увидали, что имъ надо дѣлать. Такъ какъ не доставлять списковъ стало нельзя, — потому что за это «можно впасть въ руцѣ Чичерина», а если составить «списки сочиненные», то можно попасть въ руки подьячихъ, — то малописьменные попы исхитрились такъ, что стали поручать составленіе отмѣтокъ «о небытіи» самимъ же подьячимъ, служившимъ въ тѣхъ самыхъ духовныхъ правленіяхъ, куда надо было представлять списки, а на то, чтобы вознаградить этихъ подьячихъ за трудъ ихъ, завели со всѣхъ своихъ прихожанъ обоего пола новый «безобидный *сборъ за уволоку* отъ исповѣди по 5 копѣекъ съ души» **).

Устроивши такимъ манеромъ экономическую сторону дѣла, сибирскіе священники еще лучше устроили техническую сторону операціи: они захотѣли сдѣлать такъ, чтобы требовательное начальство получало для своего удовольствія списки о небытейцахъ, но чтобы списковъ этихъ въ приходахъ не писать, такъ какъ отъ этого только двойная работа: пусть кто эти списки ревизуетъ—тотъ самъ же ихъ и *сочиняетъ*. На этомъ священники уговорились съ консисторскими приказными и стали присылать этимъ подьячимъ «бѣлые листы съ своею подписью да хлопотныя деньги по количеству», и подьячіе брали деньги, а на бѣлыхъ листахъ писали въ списки что знали, «по примѣру

*) Въ числѣ сибирскихъ священниковъ того времени было много малограмотныхъ, «едва умѣвшихъ только читать церковное». Религіозная образованность ихъ была такая, что даже одинъ «градскій священникъ» г. Кузнецка, по фамиліи Ломшаковъ, на вопросъ протоіерея Комарова: «какъ читается седьмая заповѣдь?»—отвѣчалъ: «Помилуй мя, Боже», а на вопросъ: «сколько таинствъ и какая ихъ сущность?» далъ отвѣтъ: «таинствъ есть *десять*, а сущность ихъ непостижима» (Указ. тоб. дух. консист. 27-го апр. 1770 г.).

**) Дѣло томск. дух. консистор. въ «Колокольномъ Архивѣ» Алексѣевскаго монастыря.

прошлыхъ лѣтъ», и пригоняли текстъ списковъ «какъ прилично къ сдѣланнымъ заранѣе подписямъ», и, разумѣется, списки, составленные такимъ образомъ, подьячіе уже не браковали и не возвращали, а направляли дѣло выше, гдѣ оно веселило ожидавшихъ результатовъ, которые должны были «оправдать предначертанія». И пошло бы это, вѣроятно, на многія лѣта; но вмѣшался врагъ и все дѣло испортилъ: священники, собирая по пятаку за уволоку, не все отдавали подьячимъ и не хотѣли ничего удѣлять своимъ причетникамъ, которые разсердились и о всемъ донесли и на поповъ, и на приказныхъ. Неумѣренная жадность поповъ разрушила такую удобную организацію, и оба начальства— свѣтское и духовное — явились другъ передъ другомъ въ недостойномъ ихъ, смѣшномъ видѣ.

Но надо было, разумѣется, доказать, что списки небытейщикамъ сочиняютъ приказные, и за этимъ дѣло не стало: не только между причетниками, но даже и между приказными нашелся предатель: одинъ приказный обидѣлся, что попъ, съ которымъ они состояли въ компаніи, прислалъ ему мало денегъ. Подьячій навелъ справку: сколько попъ собралъ, и сравнивъ съ тѣмъ, сколько онъ ему доставилъ, увидалъ, что онъ удержалъ у себя львиную долю; и это приказному не понравилось и показалось обидно. А какъ и другіе подьячіе имѣли подозрѣніе на другихъ поповъ, что они передаютъ не все, что собираютъ «за уволоку», то мстивый подьячій рѣшился наказать всѣхъ поповъ за ихъ жадность и отправилъ въ консисторію, какъ будто бы по ошибкѣ... вмѣсто списковъ—одни пустые листы бумаги, съ поповскими подписями!...

Неопровержимая улика была налицо, и отъ этого людямъ стало не лучше, а еще хуже: теперь, когда консисторскіе подьячіе знали плутню правленскихъ и, посмотрѣвъ многія сохраняемыя росписи, увидали, что всѣ онѣ писаны одною рукою подьячаго,—консисторскіе потребовали себѣ части отъ правленскихъ, а тѣ отъ поповъ, а попы должны были увеличить сборъ съ мірянъ. И такъ дѣло опять уладилось.

Вмѣсто прежняго «повальнаго положенія», при которомъ «попъ собиралъ за уволоку по 5 к. съ души», теперь плата повысилась.

Все это теперь происходило явно, и священникъ непре-

мѣнно долженъ былъ дѣлать эти поборы, потому что иначе онъ своими списками никогда бы подьячимъ не угодилъ и его замучили бы «истязаніями».

Но и въ этомъ усовершенномъ порядкѣ опять обнаружились свои недостатки, которымъ начальство не нашлось какъ помочь, а оборотистое сибирское духовенство опять само изъ нихъ выбилось.

Когда старыми сборами «за уволоку» пришлось дѣлиться съ большимъ числомъ участниковъ, тогда приходскіе священники ввели еще одинъ поборъ «за скверноядство».

Это статья очень любопытная, но она требуетъ отступленія и объясненій.

ГЛАВА СѢМНАДЦАТАЯ.

Еще въ началѣ XVII столѣтія казаки, «простираясь къ сѣвернымъ предѣламъ Сибири, подбивали подъ власть свою вогуловъ, остяковъ, тунгусовъ, юроковъ, якутовъ и другихъ народцевъ, кочевавшихъ въ своихъ сѣверныхъ предѣлахъ Сибири». Когда оканчивалось покореніе или «подбитіе», тотчасъ же начинались заботы о введеніи новыхъ порядковъ: «о сборѣ ясака и о просвѣщеніи свѣтомъ истинной вѣры».

Для этого казаки узнавали пункты, гдѣ «народцы» въ извѣстные сроки сходятся другъ съ дружкою, чтобы обмѣняться добычею своихъ лововъ и иныхъ промысловъ. Тутъ казаки сейчасъ же и завели «постройки», которыя назвались «острожками», или «острогами», или «крѣпостями», а впослѣдствіи «городами».

Такимъ образомъ возникъ Березовъ, Обдорскъ, Сургутъ, Нарымъ, Туруханскъ, Якутскъ и другіе нынѣшніе города. Первоначальное заведеніе здѣшнихъ городовъ обыкновенно шло такъ: сначала строили первую избу для воеводы, вторую для попа и третью, общую, для «служилыхъ людей», а насупротивъ ихъ—ссыпной амбаръ для хлѣба, погребъ для пороху и церковь. Церковь была «та же изба, только съ крестомъ на крышѣ».

Заводили осѣдлости на такихъ мѣстахъ, гдѣ кочевники имѣли обычай сходиться для мѣны; тутъ ихъ разсчитывали «осѣтить и обрать съ нихъ ясакъ». Придумано было хорошо, и казаки, указавъ заводчикамъ, какъ собирать ясакъ,

указали и слѣдовавшимъ за ними священно-церковнослужителямъ средства, какъ «просвѣщать язычниковъ святою вѣрою и чѣмъ отъ нихъ кормиться». «Просвѣщать же язычниковъ»—это было цѣлью прибытія духовныхъ въ сибирскую глушь, а «кормиться» отъ своей паствы имъ было необходимо, такъ какъ отъ казны имъ на все прожитье было «пожаловано въ годъ на попа по 28 руб., а на причетника по 18 рублей на ассигнацію» (=8 р. и 5 руб. 30 к.). «Паства», которую только-что накрестили, вся состояла изъ кочевниковъ, которыхъ цѣлый годъ не увидишь—только разъ въ годъ, въ обычное время они сближаются къ извѣстнымъ мѣстностямъ для взаимнаго торговаго размѣна, и тутъ-то надо около нихъ сдѣлать все, что нужно, т.-е. и «осѣтить, обрать ясакъ и научить святой вѣрѣ». Когда воеводы со своими служилыми людьми хлопочутъ собирать съ народовъ ясакъ въ казну, тутъ же и священнику одно только время научить язычниковъ христіанству и исполнить для нихъ заднимъ числомъ всѣ церковныя требы для живыхъ и мертвыхъ, и получить съ нихъ за это требоисправленіе побольше шкуръ въ свою пользу.

Въ церкви, или какъ сами казаки называли ихъ—«въ церквицѣ»—въ теченіе года бывали только воевода да его служилые люди, а «ясашныхъ» прихожанъ никогда не бывало. Молились ли они, и какъ и кому молились въ теченіе всего года—объ этомъ священникъ не могъ знать, и церкви, и попа они боялись; но зато, когда они сходились, чтобы отдать ясакъ воеводѣ, казаки «имали ихъ и загоняли на требы къ попу», и «народцы» одинаково считали «ясакомъ» какъ то, что они платили воеводскимъ служилымъ людямъ, такъ и то, что платили попу. Такъ они и говорили, что должны платить «два ясака: одинъ воеводѣ, а другой попу» *). Оба ясака взимались съ большимъ произволомъ: служилые люди «донимали» съ дикарей вдвое и болѣе противъ положеннаго, угрожая за недодачу лишеніемъ драгоцѣнной всякому свободы, а духовенство «правило свой ясакъ по количеству», т.-е. по числу душъ, которое дикари сами показывали въ своихъ семействахъ «съ удивительною простотою». Попъ спрашивалъ дикаря: «кто въ семьѣ народился, и кои померли, и кои жить поима-

*) См. «Сибирскій лѣтописецъ» о ясакѣ.

лись на-ново какъ мужъ съ женою», а дикарь, достаточно уже умудренный опытомъ, что ему отъ этихъ разспросовъ выйдетъ вредъ, все-таки всегда давалъ откровенный и справедливый отвѣтъ «съ врожденною простотою». По его же показаніямъ попъ его и «облагалъ, *какъ повелось* по правиламъ: за крещеніе новорожденнаго дитя 10 либо 15 бѣлокъ, за «очищеніе» (?) 5 бѣлокъ, за женитву— 2 соболя или 5 песцовъ». Иногда надъ дикарями заднимъ числомъ исполняли какіе-нибудь обряды, но бо́льшею частію дѣло ограничивалось только сборомъ ясака, а наличностью производилась только одна исповѣдь,—при чемъ за разрѣшеніе грѣховъ всей семьи расплачивался съ попомъ старшій въ родѣ, и тутъ приходилось торговаться. Съ обыкновеннаго грѣшника брали отъ пяти до десяти бѣлокъ, но съ такого, у котораго было больше, священникъ требовалъ и ясакъ побольше, а въ общей сложности для отца семейства или главы рода это составляло расчетъ, противъ котораго онъ спорилъ. Исповѣдный ясакъ иногда доходилъ до двухсотъ бѣлокъ на семейство, и дикари этимъ очень тяготились, но «по простотѣ своей» своихъ грѣховъ все-таки не скрывали, а только спѣшили скорѣе «очиститься и бѣжать». Обыкновенно они «убѣгали» тотчасъ же послѣ исповѣди и не дожидались причастія, о важности котораго не имѣли понятія.

Сибирскіе священники распоряжались наложеніемъ ясака по всей своей волѣ. Свѣтскія власти въ это не вмѣшивались, за исключеніемъ нѣсколькихъ лѣтъ «бироновщины», когда «духовнаго чина людямъ началось отъ свѣтскихъ командировъ и еретиковъ притѣсненіе и ту́га», но они «черезъ это время отстоялись и скоро достигли лучшаго вѣка Елизаветы». Однакоже, какъ и въ Елизаветино время, духовнымъ большого жалованья не дали, то духовные прибавили къ ясаку «*подать за скверноядство*».

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Что́ значитъ «скверноядство»? Это то, если человѣкъ ѣстъ что-нибудь «скверное», т.-е. «непоказанное ему для употребленія въ пищу». Скверное это не у всѣхъ одно и то же: въ старой Руси сквернымъ почиталась телятина и теперь многими почитается за «скверно»—угорь, налимъ, минога, раки и устрицы, мясо козы, зайца, голубя и чере-

пахи и т. д. Въ Сибири на огромныхъ пространствахъ, гдѣ кочуютъ «народцы», нѣтъ ни посѣвовъ, ни убойнаго скота, имѣющаго раздвоенныя копыта и отрыгающаго жвачку, а потому кочевники употребляютъ въ пищу все, что можно съѣсть, и между прочимъ мяса «животныхъ, не показанныхъ» по требнику, а именно: «медвѣжью говядину, соболей и бѣлокъ».

Дикари ѣли эту пищу всегда, съ тѣхъ поръ какъ живутъ, и пока они не были окрещены Иннокентіемъ Кульчицкимъ, имъ и не представлялось, что это «скверно». Впрочемъ, и св. Иннокентій, зная мѣстныя условія жизни, взысканій за эту «скверность» не налагалъ. Но теперь настала пора извлечь изъ этого выгоду.

Сибирскіе духовные положили очищать «скверноядущихъ» дикарей особою молитвою, а за прочтеніе ея наложили «новый ясакъ» съ таксаціею: 1) за яденіе медвѣжьей говядины—одна цѣна, 2) за яденіе лисьяго и собольяго мяса—другая, и 3) за бѣлокъ и иныхъ меньшихъ звѣрковъ—третья.

За все это пошли сборы очень прибыльные, но и хлопотливые, такъ какъ надо было «слѣдить за скверноядцами и настигать ихъ», и тутъ ихъ «обкладывать и очищать молитвою», чтобы они потомъ вновь начинали «скверно ѣсть» на-ново *).

Духовные отъѣзжали въ поля для «настиганія и сбора», при чемъ полевали не всегда тихо, и случалось, что народцы на нихъ плакались, и свѣтскія власти пробовали защищать «народцы»; но тутъ въ сибирскомъ краѣ получилъ могучее значеніе Арсеній Мацѣевичъ, который имѣлъ «не-

*) По требнику, какой нынѣ находится въ употребленіи, нѣтъ раздѣленія разныхъ видовъ «скверноядства». «Молитва о скверноядныхъ» читается такъ: «Владыка Господи Боже нашъ, иже въ вышнихъ живый и на смиренныя призираяй: приклони ухо Твое и услыши насъ, молящихся Тебѣ, и подаждь прощеніе Твоему рабу, имя рекъ, скверно-ядшему, и вкусшему мясъ или каковыхъ-любо (sic) брашенъ нечистыхъ, ихъ же снѣди отреклъ есп въ законѣ святѣмъ Твоемъ,—сихъ же неволю причастившагося прости и сподоби его неосужденно причаститься страшныхъ таинствъ честнаго тѣла же и крове Христа Твоего, яко да избавится прочее всякаго нечистаго воспріятія и дѣянія, яко напитаваяся божественными Твоими таинствы и наслаждаяся святыя Твоя и тайныя трапезы и безсмертныхъ таинствъ и сохраняемый съ нами во св. Твоей церкви восхвалитъ и прославитъ имя Твое вышнее во вся дни живота своего» (Требникъ, гл. 52).

побѣдимую дерзость» и стоялъ горой за духовныхъ *). Онъ выѣхалъ изъ Петербурга въ Сибирь, когда Биронъ и «еретики» были уже «свержены», и могъ знать Сибирь превосходно, такъ какъ въ 1734 году онъ находился въ экспедиціи, посланной для открытія морского пути въ Камчатку, и пробылъ въ Сибири до 1736 года, когда «по секретному дѣлу» былъ привезенъ изъ Пустозерска въ адмиралтействъ-коллегію, «но признанъ невиннымъ». Онъ былъ угрюмъ и дерзокъ отъ природы; питалъ нерасположеніе къ «свѣтскимъ властямъ» и всегда готовъ былъ дать имъ себя почувствовать. А потому, когда онъ достигъ, въ 1741 г., сана сибирскаго митрополита, онъ тотчасъ же издалъ «циркуляръ» **), «чтобы священно-церковнослужители отнюдь не смѣли обращаться въ свѣтскіе суды помимо своего епископа, подъ опасеніемъ низверженія по 11 правилу Антіохійскаго собора», а черезъ четыре мѣсяца совсѣмъ освободилъ духовенство отъ подчиненія свѣтскимъ властямъ и «узаконилъ непослушаніе онымъ». Въ іюлѣ 1742 года митрополитъ Арсеній «повелѣлъ, чтобы никто изъ духовныхъ лицъ безъ позволенія своей духовной команды никакихъ отъ свѣтской команды присылаемыхъ указовъ *не слушали*, и ежели кто отъ свѣтскихъ командировъ безъ сношенія съ духовною командою *дерзнетъ* кого изъ духовныхъ лицъ насильно къ суду своему привлекать, или *въ свидѣтельствѣ какомъ спрашивать*, или указы какіе безъ сношенія съ духовною командою духовнымъ лицамъ отъ себя посылать, то таковымъ присылать обстоятельные письменные протесты въ скорости».

Сибирское духовенство тогдашняго времени, и безъ того дерзкое и непокорное, увидало въ этомъ циркулярѣ Арсенія «законъ непокорности свѣтскимъ властямъ» и, «опираясь на него, упорно отказывалось отъ всякихъ сношеній съ свѣтскими судами и администраторами». Духъ же, возобладавшій тогда въ правительствѣ, заставлялъ администратора «признать мнимую законодательную силу указа митрополита Арсенія».

При такихъ обстоятельствахъ, какія бы жалобы ни доходили отъ обывателей до «свѣтскихъ командировъ» на

*) Изъ «синодальныхъ іеромонаховъ», хирот. 26-го марта 1741 г. во еписк. сибирскаго и тобольскаго; 1742, мая 13, митроп. ростовскій.

**) 28-го февр. 1742 г.

«нестерпимые поборы» со стороны духовенства,—командиры эти никакой защиты «претерпѣвающимъ» оказать не могли.

Арсеній, однако, здѣсь пробылъ не долго: заведя порядки въ Сибири, онъ былъ отозванъ на ростовскую каѳедру, а на мѣсто его стали другіе: Антоній Нарожницкій (1742—1748), а потомъ Селиверстъ Гловатскій (1749—1755). Это были люди не такіе крутые, какъ Мацѣевичъ, но «законъ Арсенія стоялъ въ своей силѣ» и духовенство постоянно оказывало «непокорность» свѣтскимъ правителямъ. Бывали въ этомъ родѣ случаи, которымъ даже трудно вѣрить.

Въ 1751 году (при Селиверстѣ Гловатскомъ) проживавшій въ г. Томскѣ коллежскій асессоръ Костюринъ убилъ принадлежавшую ему крѣпостную дѣвку, а потомъ велѣлъ ее одѣть и «положить подъ святые» и позвать священника, чтобы отправить по ней панихиду. Пришелъ священникъ «градо-богоявленской церкви съ причетомъ», и когда стали пѣть панихиду, то «*причетъ* усмотрѣлъ на покойницѣ боевые знаки и тотчасъ же, по выходѣ изъ дома Костюрина, подалъ о томъ вѣденіе въ воеводскую канцелярію». Воеводская канцелярія сразу же, «немедленно» послала своихъ полицейскихъ или, по-тогдашнему, «дѣтей боярскихъ», чтобы тѣ освидѣтельствовали тѣло усопшей, и по этому осмотру оказалось, что «причетъ» не ошибся: «на тѣлѣ умершей были найдены боевые знаки, которые и были признаны *смертельными*».

Воеводская канцелярія тотчасъ же начала слѣдствіе, но «по силѣ указа митрополита Арсенія, отъ 22 іюля 1742 г.», не сочла себя въ правѣ отобрать формальное показаніе отъ «причета». Надо было испросить на это разрѣшеніе у «закащика» (благочиннаго), а «закащикъ былъ въ отлучкѣ по своему заказу и скораго возвращенія онаго нечаятельно». Томская воеводская канцелярія, 28 ноября 1751 года, донесла о своемъ затрудненіи въ губернскую канцелярію, а та, 8 апрѣля 1752 г. (черезъ пять мѣсяцевъ послѣ убійства), «заглушала» это донесеніе, а 19 августа (черезъ девять мѣсяцевъ) сообщила тобольской духовной консисторіи, которая «свѣтскимъ командирамъ» людей своей команды спрашивать не дала, а ровно черезъ годъ послѣ убійства, въ ноябрѣ 1752 года, послала въ Томскъ указъ своему «закащику», и этимъ указомъ *) «съ резолюціи ми-

*) Указъ тоб. д. консист. 22-го ноября 1752 г.

трополита Селиверста» предписано закащику «самому отобрать нужныя по этому дѣлу показанія отъ причта градобогоявленской церкви и доставить оныя не въ томскую воеводскую канцелярію», которая ожидала этихъ свѣдѣній, а «на архипастырское благоусмотрѣніе его преосвященства».

При такихъ проволочкахъ всѣ слѣды совершеннаго убійства, разумѣется, исчезли, и дѣло «предано волѣ Божіей», а въ новомъ указѣ м. Селиверста (отъ 22 ноября 1752 г.) сибирское духовенство получило еще «наикрѣпчайшее подкрѣпленіе неподчиненности своей, узаконенное м. Арсеніемъ въ указѣ 22 іюля 1742 года». Сибирское духовенство «подкрѣплялось» и заняло такую позицію, что общее правосудіе для него ничего не значило.

Такъ и продолжалось до 1762 года, когда Екатерина II назначила въ Сибирь губернаторомъ бригадира Чичерина, котораго одни съ любовью величали «батюшкой», а другіе съ ужасомъ называли «бѣшенымъ конемъ».

Тутъ пошло другое.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Денисъ Ивановичъ Чичеринъ былъ человѣкъ не злой и даже, можетъ-быть, добрый, но гордый, заносчивый и пылкій: спорить съ нимъ было не легко, да и духъ правительства въ это время перемѣнился и не давалъ болѣе преферанса «духовнымъ командирамъ надъ свѣтскими» *). Чичеринъ могъ остановить дерзость и находилъ въ этомъ свое удовольствіе; онъ пріѣхалъ въ Тобольскъ «съ превеликою пышностію», и засталъ здѣсь на митрополичьей каѳедрѣ Павла Конюскевича **).

О Чичеринѣ въ Сибири, разумѣется, знали, и чиновные люди ожидали его «съ притрепетомъ» и говорили, что онъ «ужасно себя покажетъ»; но духовные «не брегли, уповая

*) Денисъ Ив. Чичеринъ, капитанъ сем. полка; при восшествіи имп. Петра III «отставленъ премьеръ-майоромъ, но недолго находился въ бездѣйствіи: имп. Екатерина II, переименовавъ его въ бригадиры, опредѣлила губернаторомъ въ Сибирь. Пользовался особеннымъ довѣріемъ монархини (Слов. достоп. люд. р. з., т. V).

**) Павелъ Конюскевичъ былъ митрополитомъ въ Тобольскѣ съ 1758 по 1768 г. Вмѣстѣ съ Чичеринымъ служилъ въ Тобольскѣ шесть лѣтъ (съ 1762 по 1768).

на законы Арсеніевы». Знатоки жизни обращали вниманіе на то, что Чичеринъ передъ этимъ былъ въ немилости и «долго находился въ бездѣйствіи», а между тѣмъ очень любилъ властвовать, и потому, какъ бы взалкавъ, теперь «скоро себя вознаградитъ за все терпѣніе». При этомъ увѣряли, будто онъ получилъ отъ монархини безмѣрныя полномочія и «воленъ на всѣхъ въ жизни и смерти». Разсказывали также чудеса о его великомъ богатствѣ и царственной щедрости: «кто ему угодитъ, онъ того въ дворяне произведетъ и золотомъ засыплетъ». А Денисъ Ивановичъ зналъ, что ему предшествуетъ такая выгодная молва, и сдѣлалъ такъ, что превзошелъ всѣ слухи, предшествовавшіе его прибытію въ Тобольскъ. Онъ поразилъ Сибирь своимъ вступленіемъ въ ея предѣлы. Одной прислуги съ нимъ пріѣхало полтораста человѣкъ, въ числѣ которыхъ были гайдуки, скороходы, конюхи и повара. Самъ онъ въѣхалъ въ богатѣйшей каретѣ, за которою слѣдовалъ «штатъ», состоявшій изъ лицъ военныхъ и гражданскихъ, и, вступивъ въ домъ, никого изъ духовныхъ особъ къ себѣ не позвалъ и самъ *къ митрополиту не поѣхалъ* и даже объявилъ, что «не желаетъ имѣть съ нимъ знакомства». Съ перваго же дня своего пріѣзда Чичеринъ сталъ приглашать къ своему столу «ежедневно не менѣе какъ по тридцати стороннихъ особъ изъ разныхъ сословій, а въ нарочитые дни и болѣе», но ни разу не позвалъ митрополита или кого-нибудь изъ духовенства. Въ обхожденіи со всѣми онъ тоже былъ простъ и обо всѣхъ участливо узнавалъ, кому какъ живется, но объ одномъ митрополитѣ ничего не хотѣлъ знать. Митрополитъ Павелъ почувствовалъ обиду отъ этого пренебреженія, но еще не сробѣлъ и надѣялся дать Чичерину урокъ и заставить его понять, что духовное величіе выше плотского: митрополитъ скрылъ обиду на сердцѣ своемъ, терпѣлъ до «торжественнаго именитаго дня Александра Невскаго» и въ тотъ день собрался служить съ великою пышностью, чтобы напомянуть людямъ и о своемъ величіи. Говорили, будто бы онъ намѣревался даже чѣмъ-то «уловить Чичерина въ несоблюденіи» и хотѣлъ произнесть ему обличеніе; но всѣ эти намѣренія митрополита остались невыполненными, а Чичеринъ страшно восторжествовалъ. Дѣло было въ томъ, что это разсчитанное столкновеніе произошло въ *орденскій день* того самаго

ордена, котораго Чичеринъ былъ кавалеромъ и «имѣлъ его одѣяніе». А потому, едва митрополитъ началъ свое торжественное служеніе, незамѣтно чѣмъ превосходящее обыкновенное архіерейское служеніе, какъ на площади Тобольска открылось никогда еще здѣсь невиданное и поразительное зрѣлище: это было шествіе, которое совершалъ самъ Денисъ Ивановичъ Чичеринъ, «облеченный въ орденскую *мантію*» (которую простой народъ называлъ «мантиліей»). Онъ шествовалъ въ соборъ въ семъ величественномъ и никѣмъ до сей поры невиданномъ одѣяніи, сопутствуемый военными и гражданскими чиновниками въ расшитыхъ мундирахъ, а за ними все множество людей, которые успѣли собраться и слѣдовали за великолѣпнымъ выходомъ Чичерина. Въ городѣ всѣ побѣжали смотрѣть на губернатора, и смятеніе, сдѣлавшееся по этому случаю, проникло даже въ храмъ, гдѣ служилъ архіерей, и здѣсь, какъ заслышали, что по улицѣ идетъ губернаторъ «въ мантильѣ», всѣ выскочили изъ церкви и гурьбою повалили встрѣчать и сопровождать Чичерина въ мантіи... Митрополитъ остался въ храмѣ съ одними своими сослужащими, да и изъ тѣхъ нашлись легкомысленники, которые бросились къ окнамъ и всѣ позабыли, смотря на Чичерина, который казался имъ «совсѣмъ какъ карточный король». Зрѣлище это имѣло какое-то ошеломляющее вліяніе на тобольцевъ. Говорятъ, что когда «Чичеринъ въ мантиліи» и со свитою изъ военныхъ и гражданскихъ чиновъ прошелъ уже весь путь отъ своего дома до собора и поднимался на всходы храма, то растерявшіеся звонари, не зная, какъ имъ поступать, подняли трезвонъ, а народъ вопрошалъ: «неужели еще Соломонъ болѣе сего былъ въ славѣ своей?» И въ храмѣ люди будто уже «ни пѣнія, ни молитвъ не слыхали, а единственно только великолѣпію вельможи дивились». По окончаніи же службы, когда Чичеринъ обратился къ выходу, «не удостоивъ говорить со владыкою», то всѣ люди опять и устремились за своимъ пестрымъ «карточнымъ королемъ» и не ожидали владыческаго благословенія. Такъ всѣхъ плѣнило и увлекало показанное Чичеринымъ великолѣпіе, передъ которымъ благочестіе города Тобольска не устояло, и люди обнаружили всю свою суетность!

«Народъ рукоплеща» проводилъ батюшку Діонисія Ивановича до его губернаторскаго дома или «дворца», и по

пути многіе «ловя лобызали его руки, кои онъ простиралъ имъ изъ мантіи» *). Потомъ же Чичеринъ «давалъ обѣдъ при громѣ музыки, брудій и неумолкаемой ружейной стрѣльбѣ».

Митрополитъ Павелъ увидалъ, что ему съ такимъ противникомъ не справиться: онъ болѣе на Чичерина и не пошелъ, а сталъ говорить о своемъ желаніи ѣхать въ Кіевъ на богомолье. Губернаторъ же забиралъ ретиво, и управленіе его многимъ нравилось; это было управленіе во вкусѣ Гарунъ-аль-Рашида: Чичеринъ вставалъ съ постели въ четыре часа утра и допускалъ къ себѣ всѣхъ просителей безъ доклада, и рѣшалъ самъ дѣла всякаго рода безъ исключенія. Такое судбище у насъ до сихъ поръ имѣетъ своихъ приверженцевъ. Чичеринъ выслушивалъ жалобщика и сейчасъ же посылалъ за отвѣтчикомъ, а иногда и прямо сразу опредѣлялъ: кто правъ, а кто виноватъ, и «правымъ оказывалъ скорѣе удовлетвореніе, а ябедниковъ наказывалъ въ то же время». Наказанія онъ часто производилъ «отечески», т. е. собственноручно или черезъ «ближайшую особу». Это тоже нравилось; говорили: «отца родного не надо какъ Діонисъ Иванычъ: поучитъ, а несчастнымъ не сдѣлаетъ». «Такъ поступалъ онъ и съ подчиненными своими, впадавшими въ проступки; но за гнѣвомъ немедленно слѣдовали милости, а если то было напрасно, то и извиненія». «Вспыльчивость и горячность его не долго продолжались», и когда гнѣвъ съ него сходилъ, онъ «старался оказывать каждому услуги» и слылъ за человѣка «добраго сердца». «Въ занятіяхъ былъ *неутомимъ*» и легко переходилъ отъ одного дѣла къ другому. Онъ не только былъ

*) Объ этой «мантіи» или «мантиліи», въ которой Чичеринъ сдѣлалъ «орденское шествіе«, разсчитанное на то, чтобы импонировать тобольскому митрополиту Павлу Конюскевичу, упомянуто у Бантыша-Каменскаго; но указаніе, кажется, не обстоятельно и сбивчиво. Чичеринъ пріѣхалъ въ Сибирь въ 1762 г., а въ 1765 г. получилъ орденъ св. Анны, тогда еще голштинскій; орденъ же Александра Невскаго данъ ему 1785 г. Митрополитъ же Павелъ «спассовалъ» передъ Чичеринымъ и «уволился въ Кіевъ по обѣщанію въ 1768 году». Слѣдовательно, демонстративное «шествіе», въ видѣ короля, Чичеринъ могъ произвесть не ранѣе 1765 года и, вѣроятно, былъ притомъ въ «орденскомъ одѣяніи» или въ мантіи св. Анны, а не Александра Невскаго, красная бархатная мантія котораго на бѣломъ подбоѣ установлена только въ 1797 году императоромъ Павломъ, при «улучшеніи одѣянія» этого ордена. Чичеринъ тогда уже не жилъ († 1785 г.).

высшій правитель «обширнѣйшаго края», но не пренебрегалъ и низшими обязанностями полицеймейстера: вставалъ ночами, бралъ съ собою гусаровъ и вдругъ наѣзжалъ въ такія мѣста, гдѣ могли быть темныя сборища и безпорядки, и сейчасъ же самъ возстановлялъ здѣсь порядки... Даже самое увеселеніе собранныхъ имъ къ себѣ гостей не удаляло Чичерина отъ страсти къ быстрой расправѣ. «Если до него доходили какія-либо происшествія во время съѣздовъ (т. е. при гостяхъ), то онъ безъ малѣйшей перемѣны въ лицѣ переходилъ изъ гостиныхъ покоевъ въ канцелярію, допрашивалъ здѣсь прикосновенныхъ и виновныхъ наказывалъ, а потомъ возвращался къ дамамъ съ пріятностью, не объявляя никому о томъ, что̀ дѣлалъ». Только особенно близкія персоны знали, что̀ значитъ такое удаленіе. Получивъ во время бала извѣстіе о томъ, что у него показались пугачевскія шайки, Чичеринъ вышелъ изъ залы, оставивъ гостей веселиться, а «когда надлежало гостямъ разъѣзжаться, онъ роздалъ повеселѣвшимъ чиновникамъ запечатанные конверты и отдалъ приказъ выступить двумъ ротамъ, съ тѣмъ, чтобы врученныя бумаги были вскрыты не позже, какъ по прибытіи ихъ въ назначенныя мѣста». Отъ этого въ Тобольскѣ получился большой эффектъ; но тамъ, куда выступившіе пришли, ихъ встрѣтили неудачи, зависѣвшія отъ того, что скорое распоряженіе, послѣдовавшее подъ звуки бальной музыки, оказалось очень неудобнымъ при встрѣчахъ съ разбойниками. Впрочемъ, къ удовольствію Чичерина, посланные имъ «экспромту» войска хотя и пострадали и самыхъ важныхъ людей упустили, но все-таки изловили нѣсколько «бунтовщиковъ, вспомоществовавшихъ Пугачеву», и Чичеринъ сейчасъ же четверыхъ изъ нихъ повѣсилъ въ Тобольскѣ. Это почиталось достаточнымъ, въ смыслѣ благопріятнаго впечатлѣнія...

Чичеринъ видѣлъ, конечно, и всѣ дурныя стороны мѣстнаго церковнаго управленія и не прочь былъ сдѣлать что-нибудь лучшее; но, по его мнѣнію, ему «не съ кѣмъ было объ этомъ говорить»; митрополитъ Павелъ, котораго онъ засталъ въ Тобольскѣ, былъ ему неугоденъ, а митрополитъ тоже говорилъ, что «не желаетъ имати въ немъ тивуна или судью духовныхъ дѣлъ, по примѣру тивуна Маноилова, исправлявшаго чинъ церковной оправы» *). На этихъ ихъ

*) Упоминается въ Стоглавѣ, № 525.

«контрахъ» застряли и сборы за «небытіе», и безпрепятственно совершалось «дониманіе за скверноядство». Чтобы улучшить что-нибудь въ церковномъ управленіи, Чичерину казалось необходимымъ сбыть съ рукъ Павла и посадить на его мѣсто другого человѣка, болѣе съ нимъ согласнаго. Но Павелъ просился на богомолье, а пока все-таки не уступалъ и старался платить Чичерину око за око и зубъ за зубъ. Наконецъ, онъ до того разсердилъ Чичерина, что тотъ (какъ повѣствуетъ «Тобольскій Лѣтописецъ») «во время гулянья на масляницѣ приказалъ своимъ прислужникамъ нарядиться въ монашеское платье и въ такомъ видѣ заѣзжать въ городскіе кабаки и развратные дома; а митрополитъ въ свою очередь, въ отплату Чичерину, приказалъ (sic) въ одной градской церкви на картинѣ страшнаго суда изобразить на первомъ планѣ Чичерина, котораго тянутъ крюкомъ за животъ въ пекло рогатые бѣсы» *).

Чичеринъ этого будто не устыдился, а только смѣялся надъ этимъ. Онъ ужъ такъ «усилился», что сталъ «давать около Тобольска чиновникамъ заимки и производить ихъ въ сибирскіе дворяне», и митрополитъ, видя его усиліе, опять началъ проситься у Сунода въ Кіевъ на богомолье, гдѣ и умеръ, а на его мѣсто въ Сибирь былъ назначенъ Варлаамъ (Петровъ), «братъ славнаго новгородскаго митрополита, съ которымъ Чичеринъ находился въ дружескихъ связяхъ» **).

Варлаамъ дѣлалъ все угодное губернатору: онъ назвалъ «сборъ за небытіе» «самонужнѣйшимъ государственнымъ дѣломъ» и не мѣшалъ Чичерину «быть тивуномъ» на самомъ дѣлѣ: при немъ Денисъ Ивановичъ ѣздилъ ревизовать духовенство и забралъ къ себѣ нѣсколько поповъ въ канцелярію, куда имѣлъ обычай заходить иногда по-домашнему—въ бешметѣ и съ арапникомъ въ рукѣ.

Однако, все это сокрушило только тѣхъ, которые попались «тивуну», а остальные продолжали всѣ свои безчинства и «гонялись за очищеніемъ скверноядства». Съ этой послѣдней заботой здѣсь дошли до такого изступленія, что въ постоянныхъ охотахъ «попы даже дни позабыли», что и послужило этому дѣлу *какъ бы* къ закончанію.

---

*) Выписано изъ «Тобольск. Лѣтописца».

**) Слов. дост. люд., т. V, стр. 279.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Въ 1780 году Чичеринъ, произведенный въ чинъ генералъ-поручика, оставилъ Сибирь. Духовенство пріободрилось и повело дѣло по старинѣ, въ духѣ «Арсеніевой независимости». «Народцы» терпѣли въ молчаніи. Надъ Европой пронеслись величайшія событія, именуемыя французскою революціею; въ Москвѣ побывали дванадесять языкъ; облеченные довѣріемъ государя, сенаторы Лопухинъ и Нелединскій, увидавъ расправу съ молоканами въ Харьковѣ, дѣлали представленія въ духѣ терпимости, и всѣмъ было извѣстно желаніе императора «воздержать начальниковъ въ предѣлахъ ихъ власти» («Р. Арх.», стр. 104), а въ сибирскихъ тундрахъ съ крещеными «народцами» дѣлали все, что хотѣли, и это необузданное безчинство дошло до того, что наконецъ сами просвѣтители потеряли память и разучились различать дни въ недѣлѣ.

Въ 1819 году поѣхалъ по Сибири какой-то «именитый путешественникъ». Прибывъ на рѣку Тазъ, онъ пожелалъ присутствовать при богослуженіи въ тамошней церкви, «въ чемъ, однако, не могъ получить себѣ удовлетворенія» *). Почему именно богомольный путешественникъ «не получилъ удовлетворенія»—изъ матеріаловъ, дошедшихъ ко мнѣ отъ генерала Асташева, не видно; видно одно, что «сіе было въ *четвертокъ*, но мѣстный священникъ доказывалъ путешественнику, что *день тотъ былъ пятокъ*, и такимъ образомъ (выходитъ, что) *вмѣсто воскреснаго дня священникъ отправлялъ службу въ субботу*, а воскресный день оставлялъ безъ литургіи».

Путешественникъ написалъ объ этомъ въ Петербургъ князю Александру Николаевичу Голицыну. Князь Голицынъ тогда имѣлъ обширную власть: онъ былъ министромъ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія **), а сверхъ того ***) управлялъ еще министерствомъ внутреннихъ дѣлъ и именовался главноначальствующимъ надъ почтовымъ департаментомъ. Онъ могъ сдѣлать очень много и вообще «эту эпоху дѣятельной жизни своей ознаменовалъ подви-

*) Предложеніе министра духовн. дѣлъ, получ. архіеп. тобольскимъ Амвросіемъ Келембетомъ 16-го апрѣля 1820 г.

**) Съ 16-го ноября 1817 г.

***) Въ 1819 г.

гами, достойными перейти въ потомство» *). Его уже называли: «другъ царя и человѣчества» **), и онъ дѣйствительно нерѣдко успѣвалъ быть «доступенъ голосу обидимыхъ несправедливостью» и «не любилъ нетерпимости, а уважалъ чистое христіанское благочестіе».

Письмо, написанное путешественникомъ съ Таза, пришло къ князю Голицыну одновременно съ «извѣстіемъ изъ Туруханска, что священники тамошняго края заражены корыстолюбіемъ и сильно притѣсняютъ ясашныхъ инородцевъ».

Оба извѣстія, кажется, послѣдовали изъ одного и того же источника, т. е. отъ путешественника, который увидалъ безпорядки и злоупотребленія сибирскаго духовенства и находилъ себя въ благопріятныхъ условіяхъ для того, чтобы обратить на это непосредственное вниманіе «высокомощнаго друга человѣчества» ***).

Голицынъ немедленно же далъ ходъ этому дѣлу, направя его «по вѣдомству духовныхъ дѣлъ». Архіепископъ тобольскій Амвросій (1-й) Келембетъ ****), 16-го апрѣля 1820 г., получилъ отъ князя Голицына «строжайшее предписаніе произвесть немедленное и самострожайшее слѣдствіе», какъ о священникахъ, «сильно притѣсняющихъ ясашныхъ инородцевъ», такъ и о тазовскомъ священникѣ, который помѣшалъ дни.

Дѣла эти, показавшіяся Голицыну за что-то необычайное, въ Тобольскѣ никого не удивили: здѣсь всѣ знали, что ясакъ собирается съ дикарей духовными искони и постоянно и всегда въ произвольномъ размѣрѣ; священники же, странствуя въ отдаленныхъ мѣстахъ, «путаютъ дни», а потому за это даже нельзя было строго и взыски-

---

*) Слов. достопамятн. людей, т. I, стр. 418.

**) Ibidem.

***) Такой образъ дѣйствій тогда не считался за дерзкое вмѣшательство «непризваннаго самозванства», и всѣ знали, что откровенныя мнѣнія сенатора Лопухина о русской набожности были приняты государемъ какъ умное и правдивое слово. а Лопухинъ смотрѣлъ такъ, что «хотя у насъ въ школахъ и на каоедрахъ твердятъ: «люби Бога, люби ближняго», но не воспитываютъ той натуры, коей любовь свойственна; а это все равно какъ бы разслабленнаго больного, не вылѣчивъ и не укрѣпивъ, заставить ходить» («Р. Арх.» 84 г., стр. 17).

****) Еп. тоб. съ 1803 по 1822 г. (уволенъ 21-го дек. 1822 г.). См. Юр. Толстой.

вать, такъ какъ у священниковъ «часовъ численныхъ не было и въ разъѣздахъ ихъ дни у нихъ нерѣдко приходили въ забвеніе».

Архіепископъ Амвросій доставилъ объясненіе, что «на притѣсненія ясашныхъ священниками» жалобы дѣйствительно иногда бывали, но что дѣла эти были несерьезны и «или прекращались сами собою, за давностію времени, или оканчивались взаимнымъ примиреніемъ; а если дикари могли представить несомнѣнныя доказательства, что ихъ «обираютъ», тогда причту «былъ выговоръ».

Князю Голицыну, однако, разсказали, что въ Сибири всѣ изслѣдованія о разорительныхъ поборахъ духовенства производитъ обыкновенно «одинъ сосѣдній священникъ надъ другимъ таковымъ же», и потому они другъ друга покрываютъ и лгутъ, и на ихъ изслѣдованія полагаться нельзя. Голицынъ поблагодарилъ за указаніе и принялъ противъ сибирской поповской взаимщины такія мѣры, которыя, по мнѣнію этого высокопоставленнаго вельможи, должны были положить конецъ злоупотребленію слѣдователей, а вмѣсто того сдѣлали невозможнымъ даже самое начало слѣдствія.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Министръ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія назначилъ слѣдствіе надъ «тазовскимъ забвенникомъ» и надъ притѣснителями дикихъ скверноядцевъ, предписавъ, чтобы слѣдствіе это производилось «съ прикомандированіемъ депутата со свѣтской стороны». Депутатъ съ свѣтской стороны еще могъ быть допущенъ по уголовному дѣлу, въ которомъ вмѣшаны міряне и клирики, но по дѣлу чисто церковному, каково есть по своему существу недоразумѣніе между прихожанами и духовникомъ,—депутатъ съ свѣтской стороны представлялся лицомъ неумѣстнымъ, излишнимъ и крайне нежелательнымъ. А потому въ Тобольскѣ думали, что архіерей Амвросій Келембетъ «не подчинится» и не допуститъ свѣтскаго депутата къ слѣдствію между прихожанами и ихъ духовникомъ, но Амвросій не только подчинился, а даже засуетился и заспѣшилъ. Онъ призвалъ къ себѣ секретаря консисторіи и «повелѣлъ ему въ два дня сдѣлать все, какъ указано». Тобольская консисторія разсудила, что ужъ если спѣшить, такъ спѣшить, и дѣйстви-

тельно въ два дня провела все: докладъ, журналъ, особый протоколъ и исполненіе, — и все въ томъ духѣ, какъ угодно было «другу людей». По предложенію или предписанію, полученному тобольскимъ архіереемъ только 16-го апрѣля, 19-го апрѣля уже былъ посланъ «самонужнѣйшій указъ» консисторіи въ туруханское духовное правленіе «о самонаистрожайшемъ производствѣ слѣдствія, по пунктамъ, указаннымъ въ *предписаніи* министра».

Указъ этотъ скакалъ до Туруханска два мѣсяца, — и зато, какъ только духовное правленіе его распечатало, такъ сейчасъ же отнеслось въ тамошній земскій судъ о «самонемедленнѣйшемъ командированіи депутата».

Тутъ Голицынское строгое предписаніе и стерли въ порошокъ.

Весь личный составъ туруханскаго земскаго суда состоялъ въ эту пору *изъ одного секретаря*, который самъ себя командировать не могъ. Исправникъ же и дворянскій засѣдатель (въ Туруханскѣ!!) были «въ отлучкахъ по обширному краю, и судъ не могъ дать свѣденій: гдѣ они въ данное время находятся».

Ихъ ждали до октября мѣсяца, а въ это время духовное правленіе, чтобы показать свою дѣятельность, «еженедѣльно писало въ земскій судъ повторенія о командированіи депутата, а секретарь земскаго суда тоже еженедѣльно отвѣчалъ, что командировать некого, ибо всѣ члены въ расходѣ».

Наконецъ, секретарю земскаго суда надоѣло, что духовное правленіе такъ щеголяетъ своею исполнительностью и настояніями, и онъ, перейдя изъ оборонительнаго положенія въ наступательное, самъ «запросилъ правленіе: на какія средства долженъ отправиться депутатъ по обширному краю», такъ какъ Сперанскій сдѣлалъ распоряженіе, чтобы и «чиновники даромъ не ѣздили, а тоже платили бы прогоны».

Правленіе не нашлось, что отвѣчать, и сдѣлало представленіе въ консисторію, а консисторія отнеслась въ губернское правленіе, а губернское правленіе потребовало справокъ отъ туруханскаго земскаго суда (вѣроятно, о разстояніяхъ), и *прошелъ годъ*, а слѣдователи изъ Туруханска еще не выѣхали и справы о «небытіи» и о «сквернодѣствѣ» все шли по-старому, своимъ удивительнымъ порядкомъ.

Но вотъ въ декабрѣ 1820 года въ Туруханскъ возвра-

тился изъ долгаго объѣзда исправникъ Воскобойниковъ, и ему сейчасъ же объяснили, что онъ опять долженъ немедленно ѣхать по важному дѣлу, указанному министромъ.

Воскобойниковъ не сталъ ждать разрѣшенія вопроса о прогонахъ и готовъ былъ сейчасъ выѣхать, но въ это самое время пріѣхалъ засѣдатель Монголевъ и сообщилъ, что «ясачные по рѣкамъ Тазу и Туруханy всѣ разъѣхались по своимъ промысламъ и собрать ихъ для слѣдствія теперь нельзя».

Надо было ждать весны 1821 года. Дождались. Депутатъ былъ готовъ и долженъ былъ выѣхать вмѣстѣ съ слѣдователемъ, а слѣдователемъ былъ назначенъ второй членъ туруханскаго духовнаго правленія священникъ Александръ Верещагинъ,—родной братъ того «тазовскаго забвенника», который «перебилъ дни» и надъ которымъ надо было производить строжайшее слѣдствіе. Каково бы ни вышло это слѣдствіе, производимое братомъ надъ братомъ, но и оно, однако, не состоялось, потому что священникъ Александръ Верещагинъ передъ выѣздомъ изъ Туруханска умеръ. Во всемъ городѣ теперь оставался только одинъ священникъ, протоіерей Куртуковъ, но онъ не могъ командировать самого себя, да и не могъ оставить городъ безъ требоисправителя.

Все какъ будто издѣвалось надъ «другомъ людей».

Когда донесли объ этомъ, весною 1820 года, консисторіи, она уже не приняла дѣла съ прежнею горячностью и сама протянула съ отвѣтомъ до осени, а осенью послала въ Туруханскъ такое предписаніе, которое удивило «всѣхъ, какъ духовныхъ, такъ же и свѣтскихъ». А именно: тобольская духовная консисторія, какъ будто на смѣхъ надъ предписаніемъ министра, назначила слѣдователемъ «содержавшагося въ туруханскомъ монастырѣ штрафного попа Чемесова», который былъ присланъ въ туруханскій монастырь изъ Томска «за безмѣрное пьянство и буйство и за неудобьописуемые поступки».

Назначеніе это такъ смутило туруханскаго исправника Воскобойникова, что онъ отмѣнилъ свое намѣреніе—самому ѣхать депутатомъ съ свѣтской стороны, и послалъ къ Чемесову вмѣсто себя смотрителя поселенцевъ Данилова.

Но пока и эти неавантажные слѣдователи собрались вы-

ѣзжать, кочевники ихъ не стали дожидаться и разсѣялись по своимъ промысламъ.

Опять начинаются ожиданія до весны 1822 года, и на этотъ разъ «штрафной попъ» Чемесовъ выѣхалъ «для всчатія дѣла» и, выѣхавши, сдѣлалъ для начала кое-что такъ хорошо, какъ нельзя отъ него было и надѣяться.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Прежде всего Чемесовъ принялся за «тазовскаго забвенника», какъ за лицо, допустившее «анекдотъ», оскорбившій особу именитаго путешественника.

Забвенникъ повинился, что онъ, дѣйствительно, «помѣшался въ счетѣ дней», и что случилось это, вѣроятно, въ ноябрѣ или въ декабрѣ, когда въ ихъ мѣстахъ солнце почти не показывается и весь край освѣщается одними сѣверными сіяніями, а потому не разберешь иногда: когда надо ложиться и когда вставать, и въ это темное время не съ нимъ однимъ бываетъ, что днями ошибаются и путаются.

— «Въ этомъ каюсь».

Слѣдователь донесъ какъ дѣло было, а самъ отправился «сыскивать», какъ обижаютъ «небытейщиковъ и скверноядцевъ»; и опять, кажется, имѣлъ намѣреніе показать правду, — по крайней мѣрѣ то, о чемъ донесъ Чемесовъ, было не противъ обидимыхъ, а *за нихъ*, и противъ обидчиковъ: но тутъ бѣдный Чемесовъ спутался и встрѣтилъ множество препятствій для окончанія слѣдствія.

Между тѣмъ открытія Чемесова все-таки драгоцѣнны: онъ отыскалъ такихъ небытейцевъ, которымъ нельзя было и явиться «бытейцами», такъ какъ это были люди, которые совсѣмъ не считали себя христіанами. Они откровенно и прямо говорили, что не знаютъ, отчего ихъ называютъ крещеными, и что они никогда не бывали у исповѣди, да и родители ихъ и дѣды тоже никогда не бывали, а платить штрафъ за небытіе они согласны, потому что пусть это такъ идетъ, какъ издавна повелось, лишь бы ихъ «не гоняли», но отчего такъ повелось—они тоже не знаютъ. Объ обидахъ, какія потерпѣли «скверноядцы», дознавать было очень трудно, такъ какъ со времени заявленія объ этомъ путешественникомъ уже прошло два года, въ теченіе которыхъ кочевники не разъ перемѣнились мѣстами, а тѣ, которые не измѣнили мѣстъ, все-таки не искали случая сви-

дѣться съ слѣдователемъ, а напротивъ, «удалялись за рѣки». Чемесовъ, однако, все-таки кое-кого изъ этихъ людишекъ настигъ и дозналъ отъ нихъ, что поборы за скверноядство были большіе и никогда не кончались. Приходы ясашные были велики,—верстъ на тысячу и даже на полторы *), и прихожане тутъ осѣдло не живутъ, но Чемесовъ кое-кого достигалъ, и въ Имбацкомъ приходѣ узналъ, что дѣйствительно ихній священникъ, по фамиліи Кайдаловъ, «наложилъ на нихъ ясакъ *за скверноядство*» и бралъ за прочтеніе разрѣшительной молитвы отъ скверноядѣнія за каждаго человѣка въ большой семьѣ по 20 бѣлокъ, а въ маломъ семействѣ по 30 бѣлокъ съ души, и что платежъ этотъ очень тягостенъ, такъ какъ «скверно ѣсть» дикарямъ приходится постоянно и постоянно же надо за это платить духовенству, а «хорошей ѣды» достать негдѣ. Кромѣ того, Чемесовъ разслѣдовалъ, что ясашные Имбацкаго прихода платили священнику Кайдалову по 20 бѣлокъ въ годъ за скверноядство, да по 30 бѣлокъ за житье съ невѣнчанною женою, и по 20 бѣлокъ «за дѣтеныша», а кто «отбѣгалъ» отъ этого ясака, съ тѣхъ Кайдаловъ «донималъ еще дороже: такъ, напримѣръ, остяки Сѣрковъ и Тайковъ не являлись два года очищаться отъ скверноядѣнія», и Кайдаловъ, прослѣдивъ это, требовалъ съ нихъ по два соболя, а когда они не признавались на исповѣди, то онъ тутъ же въ церкви таскалъ ихъ за волосы и ругалъ всячески, а какъ Сѣрковъ еще не зналъ наизусть молитвъ, то Кайдаловъ заперъ его въ холодной церкви и морилъ тамъ въ холодѣ двое сутокъ голодомъ, но тотъ все-таки молитвы не выучилъ, а «подалъ ему двухъ соболей». Съ остяка Ивана Ортюгина, который питался одною медвѣжьей говядиной, священникъ «взялъ ясака за молитву два соболя да тридцать бѣлокъ». И такихъ случаевъ, гдѣ священникъ Кайдаловъ ясно уличался въ злоупотребленіяхъ указаннаго рода, Чемесовъ ввелъ въ дѣло «больше сотни».

Тогда увидали, что на смѣхъ назначенный въ слѣдователи «штрафной попъ» и пропойца Чемесовъ ведетъ дѣло какъ энергическій и справедливый человѣкъ, и попъ Чемесовъ исчезаетъ и о немъ больше не упоминается, а небезуспѣшно начатое имъ дѣло тянулось многіе годы и, до-

*) Напримѣръ, тазовскій приходъ — 900 верстъ, хантайскій—1.200, и хатангскій—1.350 верстъ.

шедши опять до тобольской консисторіи, получило себѣ тамъ очень умиротворяющее заглавіе, а именно, его наименовали здѣсь: «Туруханское дѣло *о злоупотребленіи природною простотою жителей*».

Болѣе удачнаго тона для смягченія некрасивой сущности этого дѣла, кажется, трудно было придумать; но, однако, священникъ Кайдаловъ и этимъ еще остался недоволенъ и когда ему дали «вопросные пункты»,—между прочимъ, не употреблялъ ли онъ во зло простоту мѣстныхъ природныхъ жителей? — то онъ обидѣлся и отвѣчалъ: «я никакой простоты въ ясашныхъ не знаю, и даже никогда не подозрѣвалъ, что они просты».

Такіе наглые отвѣты Кайдаловъ давалъ въ 1824 году, зная, что князь А. Н. Голицынъ уже охладѣлъ къ письму именитаго путешественника и не слѣдилъ за этимъ грубымъ дѣломъ, такъ какъ вниманіемъ его послѣ пользовались иныя дѣла, на которыя «смотрѣла Европа»: въ 1820 г. «въ Одессѣ и Кишиневѣ появилось до десяти тысячъ греческихъ выходцевъ, удалившихся изъ Константинополя, и многіе изъ сихъ несчастныхъ единовѣрцевъ нашихъ были ввержены въ нищету». Голицынъ старался «на нихъ обратить вниманіе императора Александра I-го и исходатайствовалъ позволеніе открыть въ ихъ пользу подписку, которою и собралъ 900.000 рублей», а потомъ сейчасъ же «приступилъ къ сбору для хіосцевъ и критянъ, и умѣлъ и на этотъ предметъ собрать до 750.000», а въ 1824 г., когда Кайдаловъ нахальничалъ, давая отвѣты, Голицынъ былъ уже уволенъ отъ званія министра духовныхъ дѣлъ, и опасаться его было нечего. Такъ это дѣло и протянули; а затѣмъ наступилъ 1825 годъ, — годъ кончины императора Александра I-го и другихъ, послѣдовавшихъ за тѣмъ, событій, измѣнившихъ духъ и направленіе въ управленіи всѣми дѣлами.

Это же повліяло и на судьбу всѣхъ дѣлъ о «небытіи» и о «скверноядствѣ», соединенныхъ въ одно дѣло, получившее общее заглавіе: «о туруханской простотѣ».

Но и теперь это дѣло еще не сразу забросили (что было бы лучше), а пошли «смѣшить имъ людей», и стали «разыскивать и вызывать въ туруханское духовное правленіе къ слѣдствію тунгусовъ и остяковъ, кочевавшихъ въ Сургутскомъ и Обдорскомъ краѣ, около Обской губы, т.-е. слиш-

комъ за двѣ тысячи верстъ». А тѣ «кочевали въ мѣстахъ недоступныхъ за тундрами, зимой уже отходили промышлять звѣря, такъ что и найти ихъ было невозможно». *Нѣсколько лѣтъ* еще ѣздили за ними отъ Оби до Лены, чтобы собрать этихъ прихожанъ, и убѣдились, что «невозможно не только собрать ихъ, но нельзя получить свѣденій: гдѣ ихъ искать». Тогда ужъ не было ни побужденій, ни выгодъ — что-нибудь придумывать еще, а настало время бросить дѣло, которое лучше было бы и не начинать.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Послѣдній актъ величайшей подьяческой продерзости и смѣлости заключался въ томъ, что когда «бумажное дѣлопроизводство» «о злоупотребленіи простотою» сдѣлалось «чрезмѣрно велико» и его неудобно стало ни возить съ собою, ни пересылать по почтѣ, тогда нашли нужнымъ посадить за это дѣло подьячихъ, чтобы они составили изъ него «экстрактъ».

Подьячіе въ туруханскомъ духовномъ правленіи были «лядащіе», малотолковитые, и «въ сочиненіи не искусные», а притомъ «были подавлены тяжкими обстоятельствами при самоничтожнѣйшемъ жалованіи». Они жили «даяніями» и «вымоганіями», которыя могли собирать съ дѣлъ, по которымъ былъ налицо живой проситель, а по необъятному дѣлу «о злоупотребленіи простотою» некому было ни ходить, ни приносить поминки, и потому оно подьячихъ не интересовало. Но и кромѣ того они не могли бы разобраться въ этомъ дѣлѣ при его страшномъ объемѣ и при той путаницѣ, которой оно было преисполнено; однако, они все-таки «экстрактъ» сдѣлали, и притомъ очень замѣчательный; а когда туруханское духовное правленіе захотѣло проредактировать это произведеніе, то оказалось, что въ немъ нельзя ничего понять!.. Довольно бы, кажется, но нѣтъ! — духовное правленіе послало отношеніе въ туруханскій земскій судъ, прося его «*выслать* въ оное правленіе *всѣхъ* прикосновенныхъ къ дѣлу, для подтвержденія ихъ первоначальныхъ показаній и для *рукоприкладства подъ экстрактомъ*».

Такъ какъ это происходило уже въ тридцатыхъ годахъ нынѣ уже истекающаго XIX-го столѣтія, то тутъ только этому дѣлу «о злоупотребленіи простотою» наступилъ ко-

нецъ; туруханскій земскій судъ, увидавъ, что отъ него требуютъ нѣчто чудовищное,—чтобы онъ собралъ и «выслалъ въ Туруханскъ всѣхъ дикарей, кочующихъ по сѣверной Сибири отъ Чукотскаго носа до Урала», то онъ и призналъ за самое лучшее—ничего не дѣлать.

Такимъ образомъ, только черезъ такое благоразумное отношеніе къ этому дѣлу оно и получило конецъ — слишкомъ послѣ столѣтняго производства. Можетъ-быть, что акта о зачисленіи его конченнымъ и о сдачѣ въ архивъ и до сихъ поръ нѣтъ, но, тѣмъ не менѣе, съ тридцатыхъ годовъ истекающаго столѣтія о дѣлѣ этомъ больше нигдѣ не упоминается, и оно теперь не имѣетъ уже никакого значенія для канцелярій, а представляетъ собою только цѣнный матеріалъ лишь для бытовой исторіи Сибири прошедшаго вѣка.

ВДОХНОВЕННЫЕ БРОДЯГИ.

(УДАЛЕЦКІЯ «СКАСКИ»).

«Величіе народа въ томъ,
Что носитъ въ сердцѣ онъ своемъ».
А. Майковъ.

«И ложные слухи въ народѣ показываютъ стремленіе этого народа къ извѣстной цѣли».
Еписк. *Порфирій Успенскій.* (См. «Книга бытія моего», т. I, стр. 357).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

«Скасками» назывались въ Россіи сообщенія, которыя «бывалые» люди, по возвращеніи изъ своихъ удалыхъ прогулокъ, подавали своимъ милостивцамъ или правителямъ, а иногда и самимъ государямъ. Въ «скаскахъ» удальцы обыкновенно повѣствовали о своихъ странствіяхъ и приключеніяхъ, объ удали въ бояхъ и о страданіяхъ въ плѣну у чужеземцевъ, которые всегда старались нашихъ удальцовъ отклонить отъ любви къ родинѣ и привлечь богатыми дарами въ свое подданство; но только наши люди обыкновенно оставались непоколебимо вѣрны своему царю и отечеству и всѣ соблазны чужихъ людей отвергали и постыждали, а потомъ этимъ вдохновенно хвастались. Болѣе или менѣе интересное сочетаніе былей съ небылицами въ этомъ родѣ составляетъ главное содержаніе всѣхъ «скасокъ», а характерныя черты ихъ бродяжныхъ героевъ — это отвага, терпѣньс и вѣрность. За эти добродѣтели скасочники просили себѣ награды, и «скаска» затѣмъ и подавалась. «Скаскамъ», которыя сочиняли о себѣ вдохновенные бродяги, у насъ легко вѣрили, ихъ читали замѣсто путешествій,

и онѣ доставляли удовольствіе высокимъ лицамъ, которыя не читали ничего лучшаго, а составители «скасокъ» получали черезъ это славу отъ соотчичей и награды за удальство отъ правителей и государей.

Разумѣется, до полныхъ результатовъ въ этомъ родѣ достигали не всѣ «скаски», а только такія, которыя были сложены особенно хорошо, то есть любопытно и «лестно» въ патріотическомъ смыслѣ. Такимъ милостивцы давали «высшій ходъ» и сочиненія эти доходили до царскихъ палатъ и теремовъ, откуда вдохновеннымъ сочинителямъ исходило «царское жалованье». И кромѣ того, послѣ къ нимъ уже никто не смѣлъ вязаться съ требованіемъ отвѣта, за «шатательство» и за какія бы то ни было старыя неисправности, такъ какъ «кого царь пожаловалъ, того и Богъ простилъ».

При императорѣ Петрѣ I, съ измѣненіемъ, происшедшимъ въ пониманіи русскихъ людей, «скаски» вдохновенныхъ бродягъ потеряли свое значеніе въ обществѣ: невѣжественные люди ими еще интересовались, но петровскіе грамотеи, ознакомившіеся съ лучшими произведеніями, перестали интересоваться «бродяжными баснями». А главное, дѣловитый царь не любилъ потворствовать глупостямъ, и «скасочниковъ» прямо стали называть неучтиво «бродягами» и бить батогами.

Такая суровость не давала вдохновенію бродягъ простора, и «скаски» ихъ было перевелись или оставались только въ сферѣ преданій, жившихъ въ «мѣстахъ заключенія». Это была устная, «острожная словесность», но нынче вспомнили и о «скаскахъ» и дали недавно русскому обществу любопытный и будто бы послѣдній образчикъ такого произведенія, которое очень понравилось самой сильной современной русской газетѣ, которая указала на это, какъ на прекрасную и достойную вниманія вещь. Но на самомъ дѣлѣ «скаски» въ добросовѣстной литературѣ не могутъ получить похвалы, а должны получить прежде всего *разъясненіе* ихъ достоинствъ.

Настоящій очеркъ долженъ быть опытомъ въ этомъ родѣ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Въ истекающемъ 1894 году, въ «Чтеніяхъ Моск. Общ. Ист. и Древн. Россіи» напечатаны двѣ челобитныя со

«скасками», поданныя въ 1643 г. царю Михаилу Ѳеодоровичу «турскими полонениками», калужскимъ стрѣльцомъ Иваномъ Семеновымъ Мошкинымъ и московскимъ посадскимъ человѣкомъ Якимомъ Васильевичемъ Быковымъ.

Редакція большой и самой вліятельной теперь петербургской газеты заинтересовалась этимъ документомъ и воспроизвела «скаску» съ полнымъ довѣріемъ ко всему, что тамъ сказано. Она прямо назвала «скаску» Мошкина и Быкова «достовѣрнымъ источникомъ, который обстоятельно рисуетъ бытъ чужихъ странъ и предпріимчивость, безкорыстіе и патріотизмъ русскихъ людей».

Думается, что если бы газета знала, какими людьми и съ какими цѣлями составлялись такія «челобитныя со скасками», то она навѣрно предпочла бы просто перепечатать «скаску», какъ любопытный образчикъ этого рода письменности, и не стала бы завѣрять «достовѣрность этого источника», явная лживость котораго до того очевидна, что, несмотря на давность событій и отдаленность мѣста описанныхъ происшествій, а также на полное отсутствіе провѣрочныхъ свѣдѣній—лживость «скаски» все-таки легко доказать изъ нея же самой, что мы сейчасъ же и попробуемъ сдѣлать.

Главнымъ сюжетомъ «скаски», приведенной въ «Чтеніи Общества Исторіи и Древностей», служитъ отважный побѣгъ нѣкоего Мошкина, вмѣстѣ съ 280 русскихъ «полониковъ», томившихся болѣе семи лѣтъ на турецкой каторгѣ. Побѣгъ былъ устроенъ изъ Царьграда по заранѣе обдуманному плану съ судна «каторги», которое принадлежало Апты-пашѣ Марьеву.

На суднѣ, по словамъ Мошкина, было «250» турокъ и «280» русскихъ невольниковъ,—значитъ, почти на каждаго русскаго невольника приходилось по одному турку. Пропорція ужасная для устройства побѣга, но тѣмъ занимательнѣе: какъ это сдѣлается.

Мошкинъ подъ Азовомъ укралъ у турокъ сорокъ фунтовъ пороху и спряталъ ихъ у себя на «каторгѣ», гдѣ ихъ содержали такъ слабо и довѣрчиво, что они никому не попались съ своей кражей. Мошкинъ рѣшился взорвать «каторгу» въ морѣ и, когда произойдетъ взрывъ, уйти съ судна со всѣми своими товарищами, 280 русскими полониками. Съ этою цѣлью одинъ разъ ночью Мошкинъ пробрался въ

капитанскую каюту, захвативъ съ собою весь украденный пудъ пороха, и заложилъ весь этотъ зарядъ цѣликомъ около того мѣста, гдѣ спалъ Апты-паша, и подстроилъ подъ порохъ горящую головню; порохъ вспыхнулъ и произошелъ взрывъ, и «двадцать турокъ побросало въ море»; но и самъ Мошкинъ «обгорѣлъ по поясъ». Паша, однако, остался невредимъ, такъ какъ онъ спалъ на «упокойномъ мѣстѣ», и, проснувшись, поднялъ тревогу. Мошкинъ «учалъ ему говорить спорно», а потомъ бросился на пашу и прокололъ ему «брюхо». Началась схватка, послѣ которой 210 турокъ были побиты, а 40 живыхъ закованы въ желѣзо, а изъ русскихъ 20 ранены и 1 убитъ *). Самъ Мошкинъ былъ раненъ стрѣлой въ голову, правую руку и саблею—въ голову и брюхо. Послѣ побѣды русскіе подъ предводительствомъ Мошкина «пошли на суднѣ». Идучи Средиземнымъ моремъ, они побывали въ «7 земляхъ» и въ Россію вернулись черезъ Римъ, Венецію, Вѣну и Варшаву. Они приставали и высаживались во многихъ городахъ и вездѣ обращали на себя вниманіе и зависть иностранцевъ: вездѣ «королевскіе ближніе люди перезывали ихъ въ свои земли на службу и многіе гроши давали». Такія богатыя дѣлали имъ предложенія, какихъ, они знали, что въ родной землѣ имъ ожидать себѣ невозможно, но они все не соблазнялись и плыли, и, заболтавшись по морю, попали въ испанскій городъ Мессину, гдѣ испанскій генералъ увидалъ Мошкина и сталъ предлагать ему «по 20 р. въ мѣсяцъ», а всѣмъ прочимъ «давалъ гроши и платья, и жалованья». Но Мошкинъ и всѣ другіе русскіе люди не польстились на выгодныя предложенія чужихъ правительствъ и «не подумали остаться въ Европѣ».

Воздержались они отъ этого соблазна, «помня Бога, православную вѣру, свою русскую природу и государеву милость».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Испанскій генералъ и прочіе вельможи, увидавъ, что русскіе люди такъ вѣрны, что не приняли сдѣланныхъ имъ выгодныхъ предложеній, разсердились на нихъ и пере-

*) Турокъ было всего 250 человѣкъ. Изъ нихъ сброшено въ море 20, побито 210 и осталось 40 человѣкъ, что составляетъ всего 270 человѣкъ. Значитъ, послѣ катастрофы на двадцать человѣкъ стало больше. Газета даже и этого не замѣтила.

мѣнили съ ними обхожденіе, и вмѣсто прежнихъ ласкъ и соблазновъ начали ихъ донимать утѣсненіемъ и скорбями. Начали они это съ того, что, по приказанію своего воеводы, «отняли каторгу (судно), со всѣми животы» (т. е. имуществомъ), а также отняли у нихъ и сорокъ человѣкъ турокъ, которыхъ освободившіеся русскіе сами содержали теперь у себя въ плѣну и надѣялись притащить ихъ взаперти къ себѣ «ко дворамъ» или продать гдѣ-нибудь въ неволю, а при опасности, конечно, не затруднились бы сбросить и за бортъ. Но испанцы досмотрѣли, что̀ везли на суднѣ, и все это дѣло разстроили: они не только отобрали турокъ и выпустили ихъ на свободу, но еще изъ самихъ русскихъ взяли семь человѣкъ подъ арестъ, вѣроятно для того, чтобы узнать, что̀ они за люди и по какому праву держали у себя запертыми на «каторгѣ» турецкихъ людей. Въ «скаскѣ» ничего не говорится о причинѣ, для чего ихъ придержали, но видно, что произошло что-то серьезное, послѣ чего русскіе пошли отъ испанцевъ «наги, босы и голодны». И такое бѣдствіе они терпѣли до самаго Рима. Въ Римѣ одинъ изъ товарищей Мошкина, воронежскій крестьянинъ Григорій Карѣевъ, заболѣлъ и лежалъ при смерти 2 мѣсяца. А болѣзнь ему приключилась отъ ранъ, полученныхъ на «каторгѣ» (т. е. при стычкѣ съ турками); въ Римѣ и «копье (т. е. наконечникъ стрѣлы) вынули у него изъ раны у папы римскаго». «У папы они пріимали сакраментъ». (Противъ этого мѣста въ скаскѣ думный дьякъ Иванъ Гавреневъ сдѣлалъ помѣту: «отослать ихъ подначало къ патріарху для исправленія»). Изъ Рима удальцы пошли на Венецію, Вѣну и Варшаву (sic) и вездѣ «разговаривали съ цезарями» и «всѣ имъ были рады» и всѣ ихъ звали къ себѣ на службу, но Мошкинъ и его товарищи чужимъ цезарямъ служить не захотѣли.

Итакъ, во всѣхъ тяжелыхъ и соблазнительныхъ положеніяхъ своего плѣна, Мошкинъ показалъ себя человѣкомъ мужественнымъ, неподкупнымъ и беззавѣтно преданнымъ православной вѣрѣ и русскому царю. Такимъ онъ, нимало не обинуясь, выставляетъ себя самъ въ челобитной со скаскою, и такъ же представляютъ его личность современные комментаторы челобитной; но я опять говорю, что человѣкъ, сохраняющій въ себѣ здравый смыслъ, не можетъ принять все разсказанное въ этой «скаскѣ».

Обратимъ вниманіе на явныя очевидности, которыя кидаются въ глаза и говорятъ, что въ «скаскѣ» Мошкина есть много неправды, послѣ чего трудно вѣрить и остальному.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

1) Возможно ли, чтобы судно, при взрывѣ на немъ цѣлаго пуда пороха, встряхнулось такъ, что нѣкоторыхъ неподходящихъ людей скинуло въ воду, а затѣмъ всѣ свои люди уцѣлѣли и самое судно сейчасъ же было годно для дальнѣйшаго плаванія?

Намъ думается, что это невозможно и что невозможность эта очевидна.

2) Вѣроятно ли, что Мошкинъ, опаленный огнемъ до пояса, сейчасъ же могъ еще «спорно» разговаривать и, вставши, биться на сабляхъ и проколоть брюхо совершенно здоровому пашѣ?

По-нашему это невѣроятно.

3) Отчего изъ 250 человѣкъ турокъ, которые плыли на суднѣ, послѣ взрыва насчитывается 270 турокъ? (20 сброшено въ море, 210 убито русскими и 40 осталось у нихъ, итого 270)?

Если это ошибка, то не странно ли, что она не замѣчена ни дьякомъ Гавреневымъ, ни Московскимъ Обществомъ Истор. и Древн., ни редакціею газеты, которая нашла весь этотъ разсказъ «достовѣрнымъ и обстоятельнымъ»?

4) Какъ могло быть, что Мошкинъ, раненый въ голову и въ животъ, сейчасъ же могъ принять команду судномъ и повелъ его далѣе?

5) Какъ могло случиться, что крестьянинъ Григорій Карѣевъ, получившій тяжелыя раны при взрывѣ судна, продолжалъ длинное путешествіе морями и сушей и удальцы изъ-за него нигдѣ не останавливались, а когда они уже много спустя плыли изъ Испаніи, послѣ того, какъ у нихъ тамъ отобрали полоненныхъ турокъ, то этотъ Григорій Карѣевъ сталъ болѣть отъ ранъ, полученныхъ въ началѣ ихъ одиссеи; а когда они пришли въ Римъ, то Карѣевъ у нихъ такъ разболѣлся, что они дальше не могли плыть и простояли тутъ ради Карѣева цѣлые два мѣсяца, и тогда только «вынули изъ него копье»? Неужто имъ не проще было помѣстить больного въ госпиталь, а самимъ идти далѣе, а не харчиться въ чужомъ мѣстѣ, да еще вдоба-

вокъ въ католической столицѣ, гдѣ ихъ могла настичь и дѣйствительно настигла напасть духовная. Пока одинъ больной исцѣлялся тѣломъ, всѣ ожидавшіе его выздоровленія захирѣли духомъ и «приняли католицкій сакраментъ»?

Что довело этихъ православныхъ людей до такого поступка? Или они не знали постановленія, что лучше умереть безъ всякаго «сакрамента», чѣмъ принять его изъ руки инославной, или не влекла ли ихъ къ этому надежда на папу, что онъ заступится за нихъ, если они будутъ католики, и повелитъ испанцамъ возвратить имъ отобранныхъ у нихъ мусульманскихъ невольниковъ?

Вообще, какой интересъ могли имѣть иностранцы въ томъ, чтобы имъ заманивать къ себѣ: простыхъ, ничему не наученныхъ и ни въ чемъ не искусныхъ русскихъ людей, когда по свѣдѣніямъ, бывшимъ уже тогда въ Россіи, «въ чужихъ земляхъ было весьма многолюдно, а хлѣба не обильно». Что могли отнимать у невольниковъ испанцы? Неужто кому-нибудь нужны были ихъ невольничьи лохмотья?

Нѣтъ! Все это не могло быть такъ, какъ писано въ скаскѣ, а не проще ли думать, что сами русскіе пришли въ Римъ о чемъ-то стараться, и, усердно стараючись, «приняли и римскій сакраментъ», но ошиблись въ соображеніяхъ и это имъ не помогло въ томъ, чего они добивались. Тогда они увидали свою ошибку и разореніе, и поняли, что они въ чужихъ краяхъ никому не надобны. Это сознаніе, безъ сомнѣнія, и привело ихъ на родину, гдѣ Мошкинъ вдохновился и, приложивъ къ былямъ безъ счета небылицъ, сочинилъ свою «скаску» и подалъ ее царю съ просьбою: «пожалуй меня, холопа своего, съ моими товарищи, за наши службишки и за полонское нужное терпѣніе своимъ жалованьемъ, чѣмъ тебѣ объ насъ Богъ извѣститъ...»

Такъ это дѣлалось въ 1643 году, при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, и тогда, судя по помѣтѣ дьяка Гавренева, вся эта несуразная «скаска» была принята за серьезное дѣло. По крайней мѣрѣ ей повѣрили въ томъ, что Мошкинъ говорилъ о сакраментѣ, и за это его наказали. Затѣмъ, черезъ двѣсти пятьдесятъ лѣтъ, редакція современной русской газеты любуется этимъ документомъ и, нимало не стѣсняясь помѣщенными въ ней нелѣпостями, называетъ всю эту чепуху «достовѣрнымъ источникомъ, обстоятельно

рисующимъ бытъ чужихъ странъ и предпріимчивость, безкорыстіе и патріотизмъ русскихъ людей». Тысячи читателей газеты не замѣчаютъ, какую имъ предлагаютъ глупость, и многіе изъ нихъ вѣрятъ, что «скаски» составляли справедливые и отважные патріоты, которымъ надо вѣрить и имъ подражать.

Но, можетъ-быть, указанное стремленіе газеты внушить обществу невѣрное понятіе объ одномъ изъ видовъ нашей «письменности» происходитъ отъ того, что редакція, воспроизведшая «скаску» Мошкина, не знаетъ, что есть «скаска», точно такого же «сложенія», сочиненная сто лѣтъ позже, именно въ 1794 году, и достопримѣчательная тѣмъ, что она получила *народную* оцѣнку, а сочинитель ея признанъ *бродягою*.

Пусть посмотрятъ, какъ это разбираетъ *народъ*.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Въ послѣдней четверти восемнадцатаго столѣтія проживалъ въ Нижнемъ-Новгородѣ мѣщанинъ Василій Баранщиковъ. Онъ былъ человѣкъ маленькій, но предпріимчивый, и трудиться не любилъ, а желалъ разбогатѣть какъ-нибудь сразу. На несчастье это Баранщикову не удавалось: онъ запутался въ долги разнымъ частнымъ людямъ и накопилъ на себѣ недоимку въ общественныхъ платежахъ. Дѣло было худо, но Баранщиковъ не сробѣлъ и съ веселымъ духомъ переписался изъ мѣщанъ въ купцы, чтобы ему болѣе вѣрили; набралъ у людей въ долгъ кожевеннаго товара, выправилъ въ январѣ 1780 года изъ нижегородскаго городового магистрата паспортъ и уѣхалъ на ярмарку, которая собирается на второй недѣлѣ великаго поста въ Ростовѣ. Съ этой ярмарки почтенный Баранщиковъ домой уже не вернулся и оставилъ тамъ на власть Божію и на людское попеченіе свою купеческую жену и дѣтей безъ всякаго пропитанія. И купецъ, и товаръ—все пропало безслѣдно и въ теченіе цѣлыхъ семи лѣтъ не было объ этомъ удальцѣ никакихъ слуховъ, какъ вдругъ на восьмой годъ «нужа пригнала его къ лужѣ» и онъ появился въ Россіи, представляясь различнымъ вельможамъ и всѣхъ ихъ прекрасно обманывалъ, пока попался своимъ общественнымъ людямъ, которые сейчасъ же разобрали дѣла Баранщикова въ тонкость и «Лазарю», котораго онъ распѣвалъ, не повѣрили,

а потянули его къ расправѣ. Тогда Баранщиковъ обратился къ старинному средству «снискать себѣ счастье въ особину» и составилъ о своемъ бродяжествѣ сказку съ тѣмъ, чтобы поднесли ее особамъ и царицѣ въ видѣ печатанной книжки подъ заглавіемъ: «Несчастныя приключенія Василія Баранщикова, мѣщанина Нижняго-Новгорода, въ трехъ частяхъ свѣта: въ Америкѣ, Азіи и Европѣ съ 1780 по 1787 годъ». (С.-Петербургъ, 1787 г.).

Изъ этой рѣдкой нынче книжки, представляющей экземпляръ «сказки» екатерининскаго вѣка, мы возьмемъ только самое существенное, что повѣствовалъ о себѣ Баранщиковъ. Онъ продалъ будто весь «свой товаръ» въ Ростовѣ и выручилъ за него денегъ 175 рублей. Изъ этихъ денегъ онъ хотѣлъ заплатить что слѣдовало за товаръ тѣмъ, кто оказалъ ему довѣріе, но деньги у него сейчасъ же украли ростовскіе мошенники. Баранщиковъ остался безъ всякихъ средствъ, такъ что ему не на что было и лошадей покормить. Тогда онъ, «не желая сидѣть безъ дѣла, продалъ въ Ростовѣ за 40 рублей двухъ своихъ лошадей и отправился попытать счастья въ Петербургъ».

По прибытіи въ Петербургъ, онъ нанялся матросомъ на корабль генерала Михаила Савича Бороздина и коллежскаго совѣтника Василія Петровича Головцына съ платою по 10 рублей въ мѣсяцъ и въ половинѣ сентября вышелъ въ море. Корабль былъ нагруженъ мачтовымъ лѣсомъ, а курсъ они держали «изъ Кронштадта въ Бордо и Гавръ-де-Грасъ». Однако, на этомъ кораблѣ Баранщиковъ дошелъ только до Копенгагена, гдѣ онъ опять сдѣлался жертвою злоумышленниковъ. И отсюда справки о немъ уже стали невозможными, а приходилось вѣрить ему во всемъ на слово. «Сказка» же Баранщикова становится съ этого шага все болѣе интересною и менѣе вѣроятною.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Случилось такъ, что когда корабль Бороздина и Головцына пришелъ въ Копенгагенъ, то Баранщиковъ «былъ спущенъ на берегъ, для покупки нужныхъ припасовъ, и зашелъ въ питейный домъ, *какъ свойственно русскому человѣку, выпить пива*». Тутъ онъ встрѣтилъ датчанъ, которые показались ему очень привѣтливыми и чрезвычайно ему понравились. «Не понимая ихъ языка, по видя ихъ

благорасположеніе, онъ знаками показалъ имъ, что ему надо спѣшить на корабль». А датчане тогда «сейчасъ же догадались, что онъ русскій, и указали ему на водку и пиво».

Баранщиковъ, «какъ свойственно русскому человѣку», не устоялъ противъ водки и пива, и обязанности свои отложилъ, воспользовался приглашеніемъ и началъ съ датчанами пить. «Черезъ полчаса ихъ пріятная компанія увеличилась, и къ нимъ присоединился какой-то «нарядный плутъ». Этотъ внесъ оживленіе въ бесѣду тѣмъ, что сталъ объясняться по-русски въ такомъ родѣ: «здравствуй, братъ! здорово ли ты живешь? откуда и куда плывете?» Себя же этотъ «нарядный плутъ» назвалъ русскимъ изъ Риги, пріѣхавшимъ на галіотѣ рижскаго купца Венедикта Ивановича Хватова, и плутъ угощалъ компанію водкою и пивомъ. Пили усердно всѣ четверо, а «нарядный плутъ» во все время выхвалялъ датчанъ, какіе они хорошіе люди, и какое у нихъ славное житье, а потомъ сталъ склонять Баранщикова, чтобы онъ пошелъ на датскій корабль ночевать. Баранщиковъ никакъ не могъ придумать: для чего это датчанамъ хочется, и онъ сначала ни за что на это не соглашался, но потомъ, «совершенно обласканный внимательными чужестранцами и особенно полагаясь на слова своего земляка, согласился».

И вотъ Баранщиковъ не сопротивляется соблазну и прямо изъ питейнаго дома идетъ съ датчанами на пристань, а здѣсь садятся на лодку и переправляются на датскій корабль. Такъ онъ избѣжалъ объясненій съ лицомъ, которое послало его за покупками, но зато сразу же былъ удивленъ очень непріятною перемѣною въ обращеніи своихъ датскихъ друзей: они «тотчасъ свели гостя въ интрюмъ и приковали за ногу къ стѣнѣ корабля». Тутъ Баранщиковъ смекнулъ, что онъ обманутъ, и сталъ просить датчанъ «угрозами и ласкою» отпустить его на русскій корабль. Но датчане уже не обращали никакого вниманія на его просьбы, а только прислали къ нему того «нарядного плута», который въ кабачкѣ выдавалъ себя за русскаго, а теперь успокоивалъ и «улещалъ» Баранщикова обѣщаніемъ, что его скоро раскуютъ и свезутъ въ Америку, гдѣ «житье доброе и много алмазовъ и яхонтовъ». Онъ, «какъ свойственно русскому человѣку», глупости повѣрилъ и пересталъ хныкать, а датчане, за то, что онъ утихъ, принесли французской водки и

пуншу, накормили Баранщикова кашею и напоили водкой и пуншемъ, и онъ пришелъ въ такое расположеніе, что опять «добровольно захотѣлъ остаться на кораблѣ». Кромѣ Баранщикова, тутъ точно въ такомъ же положеніи оказались еще и другія лица не русской національности, а именно, одинъ шведъ и пятеро нѣмцевъ, и всѣ они были заманены на судно и здѣсь удержаны и закованы.

Утѣшительное обѣщаніе «нарядnаго плута Матіаса», что ихъ раскуютъ, исполнилось вѣрно. Какъ только датскій корабль миновалъ брантъ-вахты Гелсинъ-Нордъ и Гелсинъ-Боръ, Баранщикова и съ нимъ одного шведа и пятерыхъ нѣмцевъ датчане сейчасъ же расковали и велѣли всѣмъ имъ «одѣть матросское платье», и «приставили ихъ къ матросскому дѣлу», которое они и исполняли въ продолженіе пяти мѣсяцевъ, до прибытія въ іюнѣ 1781 г. въ Америку, на богатый островъ св. Ѳомы. На островѣ же св. Ѳомы началось другое: Баранщикова здѣсь высадили, но сейчасъ же «поверстали въ солдаты» и привели къ присягѣ. Такъ какъ онъ былъ вѣренъ православію и чухонскаго Евангелія поцѣловать не могъ, то вмѣсто евангелія онъ цѣловалъ корабельный флагъ Христіана VII съ изображеніемъ Креста Господня. Потомъ ему положили солдатское жалованье, «по 12 штиверовъ въ сутки, т. е. 24 коп., да по фунту печенаго хлѣба изъ банана» и дали ему тутъ новое имя «Мишель Николаевъ»—такъ какъ «слово *Василій* начальники не могли понять».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Солдатъ изъ Баранщикова вышелъ никуда не годный, и штиверы и бананный хлѣбъ отслуживалъ онъ плохо. Онъ «былъ непонятенъ въ ученіи ружьемъ и не могъ пріобыкнуть къ нѣмецкому языку». Датчане, много съ нимъ побившись, нашли болѣе выгоднымъ исключить его изъ строя и промѣнять на двухъ негровъ. Такъ и сдѣлали. По промѣну, Баранщиковъ достался испанскому генералу съ острова Порторико, куда его и отправили. Въ Порторико Баранщикова привели въ присутственное мѣсто и «заклеймили на лѣвой рукѣ». Клеймъ на немъ выставили нѣсколько и всѣ очень характерныя. На лѣвой рукѣ Баранщикова были воспроизведены нижеслѣдующія изображенія: «1) Святая Дѣва Марія, держащая въ правой рукѣ розу, а въ лѣвой тюль-

панъ; 2) корабль съ опущеннымъ якоремъ на канатѣ въ воду; 3) сіяющее солнце; 4) сѣверная звѣзда; 5) полумѣсяцъ; 6) четыре маленькія сѣверныя звѣзды; 7) на кисти той же лѣвой руки былъ изображенъ осьмиугольникъ, а еще ниже 8) «1783 годъ», и еще ниже 9) буквы «М. Н.», т.-е. Мишель Николаевъ (стр. 16 и 17).

Испанскій генералъ, вымѣнявшій себѣ Баранщикова за двухъ негровъ, опредѣлилъ его къ себѣ на кухню и поручилъ ему: рубить дрова, чистить кастрюли и котлы, носить воду и исправлять всякія другія кухонныя работы.

Обязанности кухоннаго мужика показались Баранщикову гораздо больше по душѣ, чѣмъ безпокойная солдатская служба, и притомъ Баранщиковъ былъ у генерала «доволенъ пищею» и обхожденіемъ, и онъ началъ стараться, чтобы не попасть куда-нибудь хуже, и скоро выучился «понимать по-испански», и могъ уже говорить съ генеральшею, которая была очень добра и жалостлива, и вотъ ей стало жалко Баранщикова, что онъ оторванъ отъ семейства и живетъ въ неволѣ, и она черезъ полтора года упросила мужа отпустить Баранщикова на свободу.

Испанскій генералъ выдалъ ему печатный испанскій паспортъ съ наименованіемъ его: «Московитинъ Мишель Николаевъ», наградилъ его десятью песодорами (около 13 рублей) и отпустилъ на волю.

Баранщиковъ сейчасъ же сталъ заботиться, какъ ему возвратиться на родину, и для этого нанялся матросомъ на итальянскій корабль, который долженъ былъ вскорѣ отойти въ Геную; но въ морѣ судно подверглось роковой случайности, которая еще болѣе отягчила участь Баранщикова.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Итальянскій корабль, шедшій въ Геную, въ январѣ 1784 года былъ захваченъ въ плѣнъ «тунизскими разбойниками или мисирскими турками, живущими въ Африкѣ». Баранщиковъ сдѣлался рабомъ разбойниковъ, которые безъ всякихъ разговоровъ «обрѣзали его въ магометанскую вѣру». Было или нѣтъ на это собственное согласіе Баранщикова, онъ умалчиваетъ, но извѣстно, что магометане никакого человѣка безъ согласія его не обрѣзываютъ. Омусульманивъ Баранщикова, дали ему имя Ислямъ, а потомъ стали его клеймить наново, и клеймили его «солнцемъ» на правой

рукѣ и отдали корабельному капитану Магомету. Магометъ его полюбилъ и отвезъ его въ Виѳлеемъ и тамъ «сдѣлалъ своимъ *кафишенкомъ*», т.-е. заставилъ его варить кофе. Баранщиковъ жилъ у Магомета годъ и восемь мѣсяцевъ, и житье ему было не худое, но онъ очень наскучилъ своею должностью кофишенка, потому что ему каждый день приходилось варить кофе разъ до пятнадцати. Это ему очень надоѣло. Кромѣ приготовленія кофе, Баранщиковъ имѣлъ только одно развлеченіе: онъ развеселялъ и смѣшилъ четырехъ Магометовыхъ женъ, которымъ тоже было довольно скучно. Баранщиковъ развлекалъ ихъ «скасками» о перенесенныхъ имъ несчастіяхъ и о своей русской женѣ и о дѣтяхъ, оставленныхъ въ Нижнемъ-Новгородѣ. Турецкія дамы очень всѣмъ интересовались и стали съ Баранщиковымъ «откровенны и жалостливы», а онъ, «примѣтя ихъ слабость», придумывалъ какъ бы еще усерднѣе ихъ утѣшать, и затѣялъ показывать имъ смѣшное и по ихъ пониманію «чудное», т.-е. сверхъестественное дѣло, котораго никто, кромѣ русскаго человѣка, сдѣлать не могъ бы.

Это касалось невѣроятности аппетита и еще болѣе невѣроятной силы и крѣпости желудка.

Однажды, «во небытность Магомета» дома, Баранщиковъ, оставшійся одинъ при четырехъ турецкихъ дамахъ, «насыпалъ цѣлый глиняный» горшокъ сарацинскимъ пшеномъ и, сваривъ изъ этого кашу, положилъ въ нее тюленьяго жиру, отчего «каша разопрѣла и горшокъ треснулъ». Смотрѣвшія на все это турецкія дамы ужаснулись, что̀ это такое состряпано и куда оно годно теперь, послѣ порчи каши отвратительнымъ тюленьимъ жиромъ. Тогда Баранщиковъ, видя ихъ смѣшной ужасъ и непонятливость, сказалъ имъ: «вотъ посмотрите, сударыни, какъ я по-россійски стану кушать кашу!» И онъ преблагополучно съѣлъ весь горшокъ и всталъ будто голоденъ.

Турецкія дамы глазамъ своимъ не хотѣли вѣрить, что «Московъ все это съѣлъ», и какъ только мужъ ихъ возвратился, онѣ всѣ къ нему подлетѣли и наперерывъ другъ передъ дружкою спѣшили разсказать о кашѣ съ тюленьимъ жиромъ, отъ которой горшокъ лопнулъ, а брюхо Баранщикова осталось въ цѣлости.

Магометъ не повѣрилъ женамъ, будто человѣкъ можетъ съѣсть такое количество каши съ тюленьимъ жиромъ и,

призвавъ Баранщикова, сталъ его допрашивать по турецки: «Ислямъ Баша! нероды чокъ Екмель?» то-есть: «какъ ты кашу ѣлъ? Если горшокъ треснулъ—отчего твое брюхо не треснуло?» А Баранщиковъ весело отвѣчалъ паша: «что это не важно, а что онъ еще два горшка съѣстъ». Магометъ совсѣмъ изумился и сказалъ: «Ну, россіяне! Вотъ такъ народъ! Не даромъ они сожгли въ Чесмѣ турецкій флотъ, разбили корабли и умертвили храбрыхъ турецкихъ витязей! Но скажи пожалуйста—отчего вы такіе сильные?» На такое любопытство Магомета, Баранщиковъ отвѣчалъ «хорошую ложь» (sic). Онъ сказалъ такъ:

«— Наши солдаты презираютъ смерть: у насъ есть трава, растущая въ болотахъ, и когда нашъ янычаръ (т.-е. солдатъ) идетъ на войну, лишь бы только ее укусилъ, то не подумайте, чтобы одинъ человѣкъ не напустилъ на двѣсти вашихъ турокъ, т.-е. ики Юсъ Адамъ (sic). Такъ и я такой же, меня не подумай удержать; я тебѣ служу годъ и два мѣсяца, а ты, Магометъ, долженъ, по повелѣнію великаго нашего пророка Магомета, черезъ семь лѣтъ отпустить меня на свободу и дать мнѣ награжденіе и тогда я куда хочу туда и пойду» (стр. 21—23).

«Совѣсть Магомета изобличила» и онъ сдѣлалъ Баранщикова «на нѣкоторое время счастливымъ». Содержалъ его въ родѣ домашняго артиста и началъ часто приглашать къ себѣ гостей, заставляя Баранщикова приготовлять и ѣсть при нихъ разопрѣлую кашу съ тюленьимъ жиромъ, а потомъ разсказывать при всѣхъ «хорошую ложь», т.-е. хвастать про ту траву, растущую въ болотахъ, вкусивши которой, русскіе становятся неодолимо мощны. Гости съ постояннымъ удивленіемъ смотрѣли на обжорство Баранщикова, а потомъ, когда слушали его хвастовство, то качали головами и давали ему «понемножечку денегъ». Баранщиковъ же думалъ, что теперь онъ ужъ сталъ настоящая «душа общества» и не ждалъ конца этому пріятному положенію.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Дурацкія представленія, которыя давалъ Баранщиковъ, разумѣется, скоро наскучили, и публика не съѣзжалась больше смотрѣть на его обжорство, Баранщиковъ лишился артистическаго фавора и опять «почувствовалъ печаль о

своемъ отечествѣ и о христіанской вѣрѣ, о женѣ и о трохъ дѣтяхъ». Тогда онъ рѣшился воспользоваться тѣмъ, что его никто не стерегъ, и онъ убѣжалъ отъ своего господина, но какъ онъ ранѣе не разузналъ дорогу въ Россію, то не зналъ куда идти, и его опять поймали и привели къ Магомету, а Магометъ велѣлъ «бить его по пятамъ палками шамшитоваго дерева до болѣзни».

Послѣ такого наказанія Баранщиковъ долго провалялся, а когда поправился, то сейчасъ же принялся искать средствъ такъ убѣжать, чтобы его уже не поймали и не били. Баранщиковъ пошелъ на корабельную пристань и сталъ тамъ толкаться между корабельщиками, отыскивая «добродѣтельнаго» человѣка христіанской вѣры, который бы его выручилъ изъ плѣна. Судьба ему поблагопріятствовала, и онъ нашелъ грека Христофора и попросился на его корабль. Христофоръ согласился его взять, но предварительно «учинилъ ему увѣщаніе». Онъ сказалъ: «какъ ты живешь у богатаго господина, то смотри, ты ничего изъ его дому не украдь» (стр. 25).

Баранщиковъ далъ слово, что красть не будетъ.

Въ условленный день Баранщиковъ явился на корабль Христофора, и они отправились въ Константинополь. По пути они заходили въ Яффу, Венецію, Микулу и Смирну.

Изъ Яффы Баранщиковъ съ Христофоромъ и двадцатью христіанами ходили въ Іерусалимъ на поклоненіе святынямъ.

Грекъ Христофоръ, придя въ Іерусалимъ, свелъ Баранщикова къ греческимъ священникамъ и разсказалъ имъ о его злополучной участи и о невольномъ (будто бы) магометанствѣ. Іерусалимскіе, греческіе священники отнеслись къ магометанству Баранщикова очень снисходительно, такъ какъ въ ихъ народѣ, при совмѣстномъ житьѣ съ турками, переходы въ магометанство и назадъ бываютъ не рѣдко. Греческіе духовные сейчасъ же разрѣшили Баранщикова и, въ знакъ освобожденія его отъ магометанской вѣры, «приказали сторожу заклеймить его на правой рукѣ образомъ распятія Господня. Клеймо это большое, устроено все изъ иголъ, усаженныхъ въ крѣпкой доскѣ желѣзной, натертой порохомъ» (sic). Баранщикову было очень больно, когда его этимъ заштемпелевали, но зато теперь онъ сталъ опять православный христіанинъ, каковъ былъ ранѣе до плѣненія его разбойниками.

Въ Венеціи Баранщиковъ предъявлялъ свой старый испанскій паспортъ и получилъ отъ мѣстнаго управленія другой печатный паспортъ съ изображеніемъ на ономъ почивающаго въ Венеціи святого апостола и евангелиста Марка.

Въ Микулѣ Баранщиковъ ходилъ къ россійскому консулу изъ славанцевъ Контжуану, который отнесся къ нему очень участливо и велѣлъ ему явиться въ Царьградѣ къ русскому министру Якову Ивановичу Булгакову *).

Когда корабль пришелъ въ *Константинополь*, Христофоръ поблагодарилъ Баранщикова за службу и, снабдивъ его греческой одеждой, разстался съ нимъ, но денегъ ему не далъ ни копейки, и Баранщиковъ всю свою надежду теперь возложилъ на русскаго министра Булгакова.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

На другой же день Баранщиковъ пошелъ въ Перу, гдѣ жилъ россійскій министръ. Самого Булгакова Баранщиковъ не видалъ, потому что, по случаю моровой язвы, свирѣпствовавшей въ Царьградѣ, Булгаковъ выѣхалъ изъ города на мызу. Тогда Баранщиковъ обратился къ домоправителю Булгакова и «изъяснилъ ему всѣ свои обстоятельства». Но «г. домоправитель не подвигнулся примѣромъ добродушнаго грека Христофора»—и мало далъ вѣры разсказамъ Баранщикова и на паспорты его не обратилъ вниманія, а «приказалъ, чтобы онъ никогда въ домъ императорскаго министра не ходилъ, претя отдачею, буди пріидетъ, подъ турецкую стражу, сказавъ при томъ съ негодованіемъ: какъ бы то ни было, что ты магометанскій законъ самовольно или принужденно принялъ, нужды нѣтъ вступаться его превосходительству, *много васъ такихъ бродягъ*, вы всѣ сказываете, что нуждою отурчали» (стр. 36 и 37).

И вотъ Баранщикову при русскихъ стало хуже, чѣмъ у чужаковъ, и пришлось ему добывать себѣ пропитаніе поденной работой на корабельной пристани. Плата была изрядная: по два левка въ день, т.-е. по 1 р. 20 к., но жить было дорого, и денегъ едва хватало. Въ свободное отъ работы время Баранщиковъ не разъ ходилъ въ бѣдномъ греческомъ платьѣ въ россійскій гостиный дворъ и искалъ по-

*) Як. Ив. Булгаковъ былъ назначенъ русскимъ министромъ въ Константинополь въ 1781 г., и занималъ эту должность семь лѣтъ.

кровительства у пріѣзжавшихъ туда русскихъ купцовъ. Но всѣ русскіе купцы были тоже народъ тертый и, какъ Булгаковскій домоправитель, совсѣмъ не вѣрили «скаскамъ» Баранщикова и помощи ему не оказали. Въ этомъ горестномъ положеніи, оставленный неимовѣрными русскими, Баранщиковъ обратился опять къ легковѣрнымъ туркамъ и среди ихъ случайно встрѣтилъ близъ гостинаго россійскаго двора двухъ, съ которыми сошелся и опять надолго отвлекся отъ осуществленія своего страстнаго стремленія возвратиться на родину и соединиться съ любимою семьею и съ истинною святою, православною вѣрою.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Новые знакомые, которыхъ Баранщиковъ встрѣтилъ у гостинаго двора, «весьма изрядно» говорили по-русски и называли себя сапожниками изъ Арзамаса. Одинъ изъ нихъ, по имени Гусманъ, пригласилъ Баранщикова къ себѣ на домъ, «обѣщая счастіе». Баранщиковъ пошелъ и сразу же убѣдился, что опять попалъ къ магометанину. Гусманъ имѣлъ трехъ женъ и увѣщевалъ Баранщикова позабыть про свое отечество и принять магометанство. А когда Баранщиковъ «изъ простодушія» и въ предотвращеніе какой-либо бѣды, открылся, что онъ давно уже магометанинъ и хорошо знаетъ весь законъ Магомета, то Гусманъ пригрозилъ ему и сказалъ: «для чего же ты, будучи въ Магометовомъ законѣ, носишь одежду греческую? Ты знаешь ли, что за сіе смерть опредѣлена?» Баранщиковъ испугался, «палъ ему въ ноги и просилъ пощады». Гусманъ оказался человѣкъ не злой, вмѣсто того, чтобы вызвать противъ Баранщикова свирѣпое турецкое звѣрство за то, что онъ перекидывается то въ христіанскую вѣру, то въ магометанскую, выдумалъ очень благочестивую штуку. Гусманъ наказалъ Баранщикову скрыть, что онъ уже потурченъ, съ тѣмъ, чтобы еще одинъ разъ произвести надъ нимъ воссоединеніе къ магометанству,—за что тамъ набожные магометане подавали новосоединеннымъ пособія и награды. Баранщиковъ видѣлъ, что Гусманъ хочетъ сдѣлать изъ него прибыльную статью, и ему не сопротивлялся. А Гусманъ тотчасъ же побѣжалъ къ имаму, «т.-е. попу» и купилъ у него за 20 левковъ такую записку: «Россіянинъ Василій пришедъ въ Стамбулъ, т.-е. Царьградъ, добровольно при-

нялъ Магометовъ законъ, наученъ молитвамъ и нареченъ именемъ Исляма». При этомъ имамъ Ибрагимъ выучилъ Баранщикова одной Магометовой молитвѣ (42 и 43 стр.).

Гусманъ же строго наказалъ Баранщикову, чтобы онъ дѣлалъ видъ, будто ничего не знаетъ по-турецки, кромѣ одной той молитвы, которой его научилъ имамъ. Такъ Баранщиковъ и началъ выдавать себя за новопріявшаго Магометанскій законъ, а Гусманъ началъ этимъ аферировать.

Этотъ магометанскій пройдоха прежде всего повелъ Баранщикова къ великому визирю, который за принятіе Магометовой вѣры повелѣлъ выдать Баранщикову сто левковъ и опредѣлилъ его въ янычары съ жалованіемъ по 15 паръ ($22^1/_2$ коп.) въ сутки. Отъ визиря оба плута пошли по другимъ турецкимъ господамъ и богатымъ купцамъ, которыхъ Гусманъ зналъ, какъ людей благочестивыхъ и неравнодушныхъ къ вѣрѣ. Всѣхъ ихъ они надули. Гусманъ имъ разсказывалъ, какъ Баранщиковъ проклялъ свою прежнюю вѣру и посвятился магометанству, и теперь его надо поддержать, чтобы онъ могъ жить не боясь своихъ прежнихъ христіанскихъ единовѣрцевъ, а турки-купцы и знатныя особы всѣ повѣрили этимъ разсказамъ и давали имъ деньги. «Такимъ притворствомъ святости и посредствомъ хожденія въ мечети насбирали они черезъ одну недѣлю 400 левковъ (240 руб.)». Сумма для двухъ негодяевъ очень хорошая, но съ раздѣломъ ея вышла непріятность. Баранщиковъ разсчитывалъ всѣ эти деньги взять на молитвы себѣ, такъ какъ онѣ были подарены мусульманами для поддержанія его благочестія, но Гусманъ захотѣлъ получить себѣ долю изъ сбора за то, что водилъ Баранщикова къ благодѣтелямъ, а какъ Баранщиковъ не видѣлъ надобности съ нимъ дѣлиться, то у нихъ изъ-за этого произошла непріятность, и Гусманъ прибѣгъ къ угрозѣ, что онъ разскажетъ о притворствѣ Баранщикова и «добьется для него смертной казни». Тутъ Баранщиковъ увидалъ, что дѣло опасно, и, чтобы развязаться съ дурнымъ товарищемъ, далъ Гусману половину (200 левковъ) изъ того, что они собрали, и Гусманъ этимъ удовольствовался.

Поправивъ свои денежныя обстоятельства, Баранщиковъ опять надолго успокоился насчетъ православія и своего семейства и не спѣшилъ возвращеніемъ на родину, а слу-

жилъ янычаромъ и жилъ въ казармахъ «подъ командой чиновника, по ихъ названію югъ-баши». Ему опять было очень не худо: онъ получалъ полное содержаніе, жалованье и табакъ и, прижившись, задумалъ жениться по-турецки, потому-что «не обшить, не обмыть его было некому». И вотъ, чтобы получить себѣ швачку и прачку, Баранщиковъ обратился за помощью опять къ тому же Гусману, съ которымъ они было поссорились за деньги, собранныя ихъ совмѣстнымъ плутовствомъ. И они сейчасъ же опять сошлись на новое хорошее дѣло.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Гусманъ не только укрѣпилъ Баранщикова въ намѣреніи жениться, но сейчасъ же нашелъ ему и невѣсту: онъ посовѣтовалъ ему взять себѣ въ жены восемнадцатилѣтнюю Ахмедуду, сестру одной изъ трехъ женъ самого Гусмана. Баранщикову было все равно: «кто бы ни была, лишь бы баба», и онъ сразу же согласился жениться на молоденькой Ахмедудѣ—и переселился изъ казармъ въ домъ Гусманова и своего тестя, по имени Магомета. Свадьба его съ Ахмедудою была совершена «по ихъ обрядамъ въ мечети» и положено условіе: въ случаѣ жена будетъ не люба, «заплатить 50 левковъ (30 р.) пени и отпустить ее». Съ полученною такимъ образомъ молодою женою Баранщиковъ жилъ болѣе восьми мѣсяцевъ и жить ему было хорошо. Турки очень довѣрчивы и тесть Баранщикова, Магометъ, такъ его поставилъ, что Баранщиковъ былъ въ его домѣ полнымъ господиномъ и распоряжался всѣмъ хозяйствомъ. Тесть былъ имъ доволенъ и «хвалилъ всѣмъ почтеніе, отдаваемое всякій день зятемъ Ислямомъ».

Но Ахмедудѣ онъ сталъ непріятенъ, и она начала сомнѣваться въ томъ, что онъ истинно держится мусульманской вѣры, «замѣчая въ немъ *неумовеніе*» (48 и 49 стр.), что для нея, какъ для мусульманки, было невыносимо. Черезъ это Ахмедуда стала къ нему не только неласкова, а потомъ даже сдѣлалась «свирѣпая».

Но если Баранщиковъ утратилъ расположеніе у молодой Ахмедуды, то «имамъ (попъ)» сталъ его убѣждать, чтобы онъ взялъ себѣ еще одну жену, кромѣ чистюли Ахмедуды. Однако, «всемогущій Богъ устроилъ жизнь его инако».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Однажды, стоя на часахъ, Баранщиковъ увидалъ голову преступника, выставленную напоказъ и въ поученіе всему народу. Это Баранщикова возмутило. Въ другой разъ онъ встрѣтилъ на улицѣ одного хлѣбника, у котораго недоставало на рукѣ трехъ пальцевъ; Баранщиковъ спросилъ: отчего это у него недостаетъ пальцевъ, а тотъ отвѣчаетъ, что пальцы у него отрѣзаны за обмѣриваніе и обвѣшиваніе покупателей. Баранщиковъ опять ужаснулся, какъ турецкія власти строго за всѣмъ смотрятъ, и узналъ, что полиція даже нерѣдко подсылаетъ такихъ разузнавщиковъ, которые все подсматриваютъ и подслушиваютъ: какъ мусульманинъ ведетъ себя въ людяхъ и дома, и нѣтъ ли въ комъ чего беззаконнаго и утаеннаго, и если что-либо таковое окажется, то тогда тому нѣтъ пощады. И за несоблюденіе себя съ женщиной тоже могутъ наказать очень строго. Баранщикову это показалось ужасно недостойно и придирчиво, и онъ вспомнилъ, какое отвращеніе внушилъ къ себѣ молодой женѣ своей Ахмедудѣ, и опять затосковалъ о родинѣ и сейчасъ же ощутилъ непреодолимое желаніе вернуться въ Россію (53—54 стр.).

Баранщиковъ такъ струсилъ, что не сталъ отлагать своего намѣренія нисколько, а немедленно пошелъ въ Галату и разыскалъ тамъ русскаго казеннаго курьера, пріѣхавшаго изъ Петербурга съ бумагами къ послу. Баранщиковъ разспросилъ у курьера, какъ и черезъ какіе города надо ѣхать до россійской границы. Другого источника онъ для этой справки не придумалъ. Время же тогда приближалось къ магометанскому Рамазану, и Баранщиковъ, какъ турецкій солдатъ, долженъ былъ идти на смотръ къ великому визирю и получить жалованье.

Тесть его, довѣрчивый и добрый старикъ Магометъ, заботясь о немъ, какъ о родномъ сынѣ, принялся его наряжать, и прибралъ зятя очень щеголевато: онъ далъ ему богатый шелковый кушакъ, перетканный золотомъ, кинжалъ, оправленный жемчугомъ, красными и зелеными яхонтами, и два пистолета съ золотою насѣчкою (58 стр.).

Баранщиковъ позволилъ, чтобы добрый старикъ все это на него надѣлъ, а самъ захватилъ съ собою два паспорта и запряталъ ихъ подъ платье. Тесть и жена замѣтили это

и полюбопытствовали, что это за листы, а Баранщиковъ солгалъ имъ, что «это русскія деньги, которыя онъ хочетъ размѣнять». Потомъ онъ явился къ визирю и получилъ отъ него похвалу и 60 левковъ (36 р.) жалованья; а къ тестю и къ женѣ назадъ уже не вернулся.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Вмѣсто того, чтобы возвратиться домой, Баранщиковъ пошелъ со смотра въ Галату къ знакомому греку Спиридону, у котораго переодѣлся въ бѣдный греческій костюмъ, и оставилъ Спиридону турецкую чалму, красные сапоги, кушакъ, кинжалъ и два пистолета. Очевидно, что этому греку онъ всѣ тестевы вещи продалъ, а деньгамъ нашелъ употребленіе, «какъ свойственно русскому человѣку», и затѣмъ, 29 іюня 1785 года, онъ отправился въ свое отечество, «презирая всѣ мученія, даже и самую смерть, если случится, что пойманъ будетъ».

Черезъ пять недѣль, а именно четвертаго августа, Баранщиковъ былъ уже на Дунаѣ и встрѣтилъ тутъ запорожскихъ казаковъ. Они его привѣтили, и онъ проживалъ у нихъ нѣкоторое время, въ разныхъ домахъ, «у кого дни два, три и четыре».

Запорожцы оставляли его у себя совсѣмъ, но Баранщиковъ не захотѣлъ якшаться съ такими буйными и непокорными передъ властью людьми, а наоборотъ, онъ еще имъ внушалъ, чтобы они покорились и вернулись въ Россію. Но огрубѣвшіе казаки его не послушались и отвѣчали: «что мы тамъ (въ Россіи) позабыли? Поди туда ты, если хочешь, а мы не хотимъ, да и ты пойдешь, добра не найдешь» (62 стр.).

Разумѣется, запорожцы не сбили Баранщикова и не уклонили его отъ предначертаннаго имъ себѣ пути: онъ ушелъ отъ нихъ и, питаясь подаяніемъ, прошелъ черезъ Молдавію и черезъ Польшу и пришелъ наконецъ въ Васильковскій форпостъ. Здѣсь съ него русскіе сейчасъ же сняли допросъ, а паспорты отобрали и отослали его въ кіевское намѣстническое правленіе.

Изъ кіевскаго намѣстничества Баранщиковъ получилъ указъ, чтобы явиться въ Нижнемъ-Новгородѣ властямъ, причемъ правитель кіевскаго намѣстничества генералъ-поручикъ и кавалеръ Ширковъ отнесся къ Баранщикову

очень милостиво, пожаловалъ ему пять рублей на дорогу, а два паспорта отправилъ по почтѣ въ нижегородское намѣстническое правленіе. Баранщиковъ же пошелъ черезъ города Нѣжинъ, Глуховъ, Сѣвскъ, Орелъ, Бѣлевъ, Калугу, Москву, Владиміръ и Муромъ и вездѣ разсказывалъ свою «скаску» и находилъ охотниковъ ее слушать, послѣ чего его кое-какъ вознаграждали за его злострадапія.

Наконецъ, 23 февраля 1786 г. Баранщиковъ, послѣ семи лѣтъ отсутствія, вступилъ въ Нижній-Новгородъ, гдѣ положеніе его представляло большія осложненія, такъ какъ Баранщикову дѣло шло не только о томъ, чтобы здѣсь водвориться, но чтобы ему сбросили съ костей всѣ его долги... Да, онъ хотѣлъ, чтобы съ него не взыскивали ни старыхъ долговъ, ни податныхъ недоимокъ, ни денегъ за кожевенный товаръ, который онъ взялъ въ долгъ и не привезъ за него изъ Ростова никакой выручки.

Надо было сдѣлать такъ, чтобы все это ему было «прощено», и онъ на это надѣялся, и въ этомъ-то случаѣ ему и должна была сослужить службу та «скаска», которую онъ о себѣ разскажетъ. Но мы увидимъ, какъ это различно дѣйствовало на тѣхъ, кто можетъ прощать, и на тѣхъ, которымъ надо платить за прощенника.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Нищенствовавшая семь лѣтъ въ Нижнемъ жена Баранщикова не узнала своего мужа, такъ какъ онъ былъ «бритый и въ странномъ платьѣ». Онъ долженъ былъ разсказать своей Пенелопѣ бывшія съ нимъ приключенія, на первый случай, можетъ-быть, умолчавъ только объ Ахмедудѣ. Тогда жена повѣрила, что это ея пропадавшій мужъ, и «обрадовалась». Домъ и все хозяйство Баранщиковъ нашелъ въ полномъ разореніи и узналъ, что семья его уже давно нищенствуетъ, чего какъ будто онъ не ожидалъ, покинувъ ихъ безъ всего и на произволъ судьбы. Но всего хуже было то, что Баранщиковъ многимъ здѣсь долженъ, и что нижегородцамъ не заговоришь зубы, какъ онъ заговаривалъ ихъ довѣрчивымъ туркамъ, а иногда и грекамъ. Баранщиковъ сообразилъ, что самое надежное, на что онъ теперь можетъ разсчитывать — это найти благоволеніе у начальство и самое лучшее имѣть на своей сторонѣ высшаго администратора въ краѣ.

Генералъ-губернаторомъ въ Нижнемъ о ту пору былъ генералъ-поручикъ Иванъ Михайловичъ Ребиндеръ, который слылъ за человѣка очень добраго, но очень недалекаго. Баранщиковъ сейчасъ же ему явился и обошелъ его не хуже, чѣмъ турецкаго пашу.

Ребиндеръ, выслушавъ сказку Баранщикова о его странствованіяхъ и несчастныхъ приключеніяхъ, не разобралъ, сколько тутъ лжи и сколько непохвальныхъ поступковъ есть въ правдѣ, и пожаловалъ проходимцу 15 рублей да сказалъ ему: «я тебѣ во всемъ помощникомъ буду, но не знаю, какъ гражданское общество въ разсужденіи за шесть лѣтъ податей службы и тягости съ тобой поступить; ты прочитай новаго городового положенія статью 7, я городовому магистрату приказать платить за тебя не могу» (66 и 67 стр.).

Это Баранщикову не понравилось: онъ былъ того мнѣнія, что генералъ-губернаторъ можетъ всѣмъ и все приказать, и именно того только и хотѣлъ, чтобы подати за него заплатили міромъ, а частные долги простили ему. Съ «закономъ же положеній гражданскаго общества» онъ не хотѣлъ и справляться. Разъ, что генералъ-губернаторъ толкуетъ свои права такъ ограниченно, Баранщикову нечего копаться въ законахъ, а лучше прямо искать сочувствія и снисхожденія у гражданъ Нижняго-Новгорода, которые его знали и помнили, и платили за него его недоимки.

Но граждане совсѣмъ «не вняли голосу человѣколюбія» и, несмотря на то, что Баранщиковъ показалъ имъ себя всего испещреннаго разными штемпелями и клеймами, а потомъ, стоя передъ членами магистрата, вдругъ залопоталъ на какомъ-то никому непонятномъ языкѣ, они объявили его *бродягою* и предъявили къ нему отъ общества платежныя требованія. Нижегородцы насчитали на него за шесть лѣтъ бродяжничества 120 рублей гильдейныхъ, а какъ Баранщиковъ денегъ этихъ заплатить не хотѣлъ, то они его посадили въ тюрьму.

Добродушный Ребиндеръ оказалъ-было въ защиту Баранщикова какое-то давленіе и бродягу за общественную недоимку изъ-подъ ареста выпустили, но сейчасъ же на него были предъявлены отъ частныхъ лицъ счеты и векселя болѣе чѣмъ на 230 рублей, и Баранщикова, по требованію этихъ кредиторовъ, опять посадили подъ стражу.

Тутъ онъ увидалъ разницу между невѣрными турками и своими единовѣрными нижегородцами и сразу понялъ, что ему отъ этихъ не отвертѣться; сразу же, въ удовлетвореніе его долговъ кредиторамъ, былъ проданъ съ торговъ его домъ, который былъ такъ ничтоженъ, что пошелъ всего за 45 рублей. Послѣ этого Баранщиковъ былъ на время выпущенъ изъ тюрьмы, но теперь семья его лишилась даже пріюта, котораго у нея не отнимали, пока отецъ странствовалъ, ѣлъ кашу, служилъ въ янычарахъ и, опротивѣвъ одной женѣ, подумывалъ взять себѣ еще одну, новую.

Но и этого мало: Баранщиковъ надѣялся, что теперь, когда домъ его уже продали, самъ онъ, какъ ничего болѣе не имѣющій и вполнѣ несостоятельный должникъ, останется на свободѣ. Тогда онъ опять куда-нибудь сойдетъ и что-нибудь для себя промыслитъ; но и это вышло не такъ: къ ужасу Баранщикова, нижегородцы измыслили для него страшное дѣло. Такъ какъ Баранщиковъ былъ еще не старъ и притомъ здоровъ, то магистратъ разсудилъ, что ему не для чего болтаться безъ дѣла, и постановилъ— «взять Баранщикова и за неуплату остальныхъ 305 рублей (185 долговыхъ и 120 гильдейныхъ) отослать его въ казенную работу на соляныя варницы въ г. Балахну по 24 рубля на годъ» (68 стр.).

Вотъ когда Баранщиковъ вспомянулъ предсказаніе, которое ему дѣлали зарубежные запорожцы, которыхъ онъ хотѣлъ исправить, звалъ возвратиться въ Россію, а они ему отвѣчали: «иди ты самъ, а когда и пойдешь, то добра не найдешь...» Вотъ оно все это теперь и сбывалося!.. Что еще могло быть хуже, какъ попасть изъ кофишенковъ да въ соляныя варницы съ отработкою по двадцать четыре рубля въ годъ! За триста пять рублей ему тамъ пришлось бы провести лѣтъ семь...

Отъ этого онъ непремѣнно хотѣлъ увернуться, а какъ генералъ-губернаторъ наблюдаетъ законы и не требуетъ своею властью ихъ нарушенія, то Баранщиковъ въ крайнемъ отчаяніи обратился къ вѣрѣ и къ ея представителямъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Баранщиковъ бросился искать помощи у нижегородскаго духовенства, которое, по его мнѣнію, могло его защитить

и даже обязано было задержать его высылку въ Балахну, потому что его слѣдовало еще исправить, какъ потурченнаго. Онъ хотѣлъ говѣть и исповѣдаться во всемъ на духу и получить прощеніе въ своихъ грѣхахъ; но русское духовенство совсѣмъ не было такъ великодушно, какъ греческое, которое вразъ исправило его въ Іерусалимѣ и приштемпелевало. Нижегородскіе священники или были неопытны въ этой практикѣ, или же держали сторону общества, и совсѣмъ не захотѣли принимать Баранщикова на исповѣдь, потому что онъ былъ обрѣзанъ и жилъ съ женою въ магометанскомъ законѣ. Но все-таки по этому поводу возникъ вопросъ, а пока объ этомъ разсуждали, отправка Баранщикова въ Балахну, на соляныя варницы, замедлилась, а ему это и было нужно.

Священники отослали его къ нижегородскому архіерею, который выслушалъ его милостиво, но вопроса о причащеніи его не рѣшилъ и, въ свою очередь, препроводилъ Баранщикова къ митрополиту новгородскому и с.-петербургскому Гавріилу.

Вотъ это Баранщикову и было нужно: онъ того и хотѣлъ, чтобы попасть въ столицу, гдѣ онъ надѣялся найти жалостливыхъ покровителей, черезъ которыхъ можетъ довести свое дѣло до самой Екатерины. Повели нашего странника въ Петербургъ и представили его тамъ Гавріилу.

Митрополитъ Гавріилъ (Петровъ) былъ мужъ «острый и резонабельный». Такъ по крайней мѣрѣ аттестовала его Екатерина II, посвятившая ему книжку о Велизаріи съ такими словами, что онъ «добродѣтелью съ Велизаріемъ сходенъ». Митрополитъ, сходный съ Велизаріемъ, дѣйствовалъ въ духѣ времени, и безъ затрудненія разрѣшилъ сомнѣніе нижегородскаго духовенства: онъ велѣлъ Баранщикова въ Петербургѣ отъисповѣдывать и причастить. Такимъ образомъ Баранщиковъ, возсоединенный уже съ православіемъ благодатію священниковъ греческихъ, теперь былъ закрѣпленъ въ этомъ русскою благодатію и получилъ въ этомъ доказательство, удостовѣрявшее, что въ столицѣ самыя высшія особы свѣтскаго и духовнаго чина приняли его сторону и отнеслись къ нему совсѣмъ не такъ, какъ нижегородская сѣрость.

Въ удостовѣреніе означенныхъ счастливыхъ событій, Ба-

ранщиковъ выправилъ себѣ изъ с.-петербургской духовной консисторіи «билетъ» и, подъ защитою этого документа, вернулся обратно въ Нижній. Теперь онъ былъ уже не «отурченокъ», а чистый православный христіанинъ и притомъ человѣкъ извѣстный многимъ вельможамъ Екатерины. Послѣ этого можно было надѣяться, что нижегородцы уже не посмѣютъ теперь выбирать съ него свои долги и не погонятъ его въ Балахну на варницы, но нижегородцы ничѣмъ этимъ не прельстились: они продолжали видѣть въ Баранщиковѣ «бродягу», за котораго другіе рабочіе люди должны платить подати, да еще терпѣть его мошенническіе обманы, и потому они остались непреклонными и опять приступили съ своими требованіями, чтобы послать его въ Балахну на варницы. Баранщиковъ этого никакъ не ожидалъ и очень удивился, какъ простые купцы и мѣщане смѣютъ умышлять надъ нимъ этакую грубость! Теперь онъ уже не робѣлъ, какъ было до представленія его митрополиту, а писалъ въ негодующемъ тонѣ: «Какъ! Это то самое общество, которое, по призыву Минина-Сухорукова, готово было заложить женъ и дѣтей и охотно ввѣрило Минину свои имѣнія, чтобы онъ съ Пожарскимъ «очистилъ Москву отъ поляковъ»? (72 стр.). И вотъ это оно-то самое общество, «не слѣдуя ни примѣру благотворительнаго купца Кузьмы Сухорукова, ни указу Ея Императорскаго Величества о банкрутахъ и проторговавшихся купцахъ», безпокоитъ его, Баранщикова, который «остается по претерпѣніи злоключеній и несчастій въ Америкѣ, Азіи и Европѣ, и въ своемъ отечествѣ» (72 стр.).

Ну, такъ онъ имъ себя покажетъ!

Баранщиковъ составилъ о себѣ «скаску» и отпечаталъ ее въ Петербургѣ книжкою, изъ которой мы и взяли большинство поданныхъ имъ о себѣ свѣдѣній. Книжка вышла въ 1787 году, и изданіе ея сдѣлано для тогдашняго времени очень опрятное и должно было стоить значительныхъ денегъ. Слѣдовательно, у Баранщикова были какіе-то состоятельные друзья, которые помогали ему издать его глупую и лживую «скаску», вмѣсто того, чтобы заплатить его долги тѣмъ людямъ, которыхъ онъ разорилъ своимъ безпутствомъ.

Знатныя лица и самый пошлый проныра и плутъ, проштемпелеванный всякими знаками во свидѣтельство его измѣнъ

вѣрѣ, объединяются въ одномъ дѣйствѣ, лишь бы создать положеніе «наперекоръ положенію закона гражданскаго»...

Это говоритъ много.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Литературная выходка Баранщикова до сей поры не обратила на себя вниманія историческихъ обозрѣвателей нашей письменности, а она этого стоитъ, ибо это едва ли не первый опытъ «импонировать» обществу посредствомъ печати. Въ то же время это есть и первый опытъ шантажа книгою. Во всякомъ случаѣ, скаска Баранщикова представляетъ собою очень характерное явленіе, которое показываетъ, какъ русское общество выросло за сто лѣтъ со времени скаски, поданной Мошкинымъ царю Михаилу, а въ симпатіяхъ къ бродягамъ и въ недружелюбіи къ «положеніямъ закона гражданскаго» не измѣнилось. По существу и по цѣлямъ составленія, обѣ показанныя скаски совершенно одинаковы: та же манера бѣдниться, канючить и выставлять на видъ свою удаль, хвалить вѣрность, благочестіе и свои страданія. Даже необдуманность и неискусство въ сочиненіи, и согласованіе очевидной лжи съ такою дѣйствительностью, которой бы надо стыдиться и промолчать о ней хоть изъ скромности, — все одно и то же, какъ въ «скаскѣ», поданной Мошкинымъ въ 1643 году, такъ и въ «скаскѣ» Баранщикова, *напечатанной* въ 1787 году. Баранщиковъ точно такъ же лжетъ о томъ, какъ онъ неумышленно съѣхалъ въ Ростовъ съ чужимъ товаромъ и попалъ ненарокомъ на датскій корабль въ Кронштадтѣ, а потомъ не знаетъ для чего самъ себя клеймилъ то христіанскими символами, то мусульманскими, и наконецъ сдѣлался кофишенкомъ у турка и занималъ общество своимъ обжорствомъ, а потомъ плутовалъ, обиралъ турокъ и обокралъ тестя и ушелъ, и паки воспріялъ свою вѣру, и тѣмъ спасся, и долговъ не заплатилъ, и не попалъ на варницы...

Нравственное достоинство обоихъ этихъ памятниковъ бродяжной письменности одинаково, но изученія «быта чужихъ странъ» у Баранщикова уже больше, чѣмъ у Мошкина, и манера описаній у Баранщикова художественнѣе и вѣроподобнѣе. У Мошкина нѣтъ ни одной такой безстыжей, но яркой подробности, какъ поѣданіе каши съ тюленьимъ жиромъ или негодованіе молодой Ахмедуды на мужниво

неряшество. Тутъ свои и чужіе люди являются въ положеніяхъ очень живыхъ и удобныхъ для сравненія, чего нѣтъ въ скаскѣ Мошкина, но кромѣ того скаска Баранщикова гораздо опредѣлительнѣе скаски Мошкина показываетъ, къ какимъ занятіямъ иностранцы употребляли у себя тѣхъ русскихъ людей, которые къ нимъ приставали. Мошкинъ только хвалился, что его манили, но онъ еще не зналъ, къ чему бы его съ товарищами приставили, а Баранщиковъ уже испыталъ все это на дѣлѣ и убѣдился, что русскими помыкали, и они даже у турокъ употреблялись только на самыя простыя услуги. Даже и въ азіатскомъ Виѳлеемѣ Баранщиковъ не могъ показать ничего умнѣе, какъ только ѣлъ страшное количество каши съ ворванью... Очевидно, что и Мошкину съ товарищами выпало бы что-нибудь не лучше этого, но онъ, какъ человѣкъ необразованный, почиталъ себя за что-то очень рѣдкостное и драгоцѣнное, или же онъ прямо хвасталъ въ надеждѣ, что слушатели его скаски еще невѣжественнѣе, чѣмъ онъ самъ, и не сумѣютъ его хвастни отличить отъ истины. На этомъ его холопью душу можно понять и простить, но какъ быть съ газетою, которая распространяла и нахваливала эту надутую и вредную ложь въ концѣ XIX вѣка?.. Газета не могла же не знать, что люди, писавшіе скаски, всегда хвастали, и что трудолюбивые люди въ народѣ обыкновенно понимали ихъ, *какъ бродягъ*, и ихъ *бродяжнымъ скаскамъ* не вѣрили, чему и служитъ живымъ доказательствомъ отношеніе нижегородскихъ гражданъ къ «скаскѣ», поданной въ 1793 году мѣщаниномъ Баранщиковымъ. Газета, безъ сомнѣнія, могла найти надобность въ воспроизведеніи «скаски» Мошкина, какъ *любопытнаго* документа, но для чего же она стала увѣрять читателей въ томъ, что эта скаска представляетъ «достовѣрный источникъ» и что такіе неосновательные лгуны и хвастуны должны, будто бы, представлять собою «предпріимчивость, безкорыстіе и патріотизмъ русскихъ людей»?..

Пусть сохранитъ Господь всякую страну отъ такихъ патріотовъ и... отъ такой печати, которая ихъ хвалитъ!

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Вмѣсто того, чтобы увѣрять общество въ столь явномъ и очевидномъ вздорѣ и такими увѣреніями портить понятіе

людей о безкорыстіи и патріотизмѣ, вліятельная газета поступила бы гораздо лучше, если бы, при большомъ изобиліи ея средствъ, она произвела сравненія «скаски» 1643 года съ «скаскою» 1793 года, которая сдѣлалась извѣстною раньше мошкинской скаски. Въ этомъ сравненіи газета, безъ сомнѣнія, могла бы указать своимъ многочисленнымъ читателямъ интересное сходство, и еще болѣе интересную разницу въ подходахъ къ тому, какъ получить «жалованье чѣмъ Господь извѣститъ». И всѣ бы видѣли, какъ наивенъ былъ Мошкинъ, который составлялъ свою «скаску» въ 1643 году только съ тѣмъ, чтобы дѣйствовать непосредственно на жалобливость царя Михаила, и какъ дальше мѣтилъ и шире захватывалъ уже Баранщиковъ, жившій столѣтіемъ позже; дрянной человѣкъ задумалъ взять себѣ въ помогу печать и, издавъ книгу, обмануть ею все русское общество и особенно властныхъ людей, которые находили удовольствіе помочь ему идти *«наперекоръ положенія закона гражданскаго»*.

Такимъ раскрытіемъ правды понятія читателей были бы направлены къ тому, чтобы уважать лучшее, а не худшее,— именно трудолюбіе земледѣльцевъ, а не попрошайничество бродягъ, которые указывали примѣръ другимъ, какъ уклоняться отъ исполненія общественныхъ обязанностей, взваливая ихъ на скромныхъ и трудолюбивыхъ людей, не освобождаемыхъ отъ исполненія всѣхъ «положеній закона гражданскаго». А такіе люди стоятъ самаго теплаго участія, которое просвѣщенная и честная печать должна и привлекать къ нимъ.

А что потворства проискамъ проходимцевъ со стороны печати не только увеличиваютъ наглость и дерзость людей этого сорта, но даже прямо накликаютъ ихъ въ страну на ея стыдъ и несчастіе—мы это покажемъ изъ наступающаго третьяго очерка, герой котораго протрубилъ о себѣ скаску черезъ лейбъ-газету, и тѣмъ пріуготовилъ себѣ успѣхъ, какого не могъ бы ожидать никакой иной штукарь, не заручившійся союзничествомъ съ газетчикомъ.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Появленіе Ашинова и вся его блестящая и быстрая карьера въ Россіи съ трескучимъ финаломъ въ Обокѣ есть

дѣло вчерашняго дня, но, тѣмъ не менѣе, все это, однако, настоящая «скаска».

Несмотря на то, что Баранщиковъ появился сто лѣтъ послѣ Мошкина, а Ашиновъ сто лѣтъ послѣ Баранщикова, они всѣ трое, по духу и доблестямъ, люди одного и того же сорта, но въ похожденіяхъ каждаго изъ нихъ духъ времени отражается по-своему и заставляетъ ихъ избирать иные пріемы къ тому, какъ добывать «пессадоры» и «штиверы» въ чужихъ краяхъ, а потомъ у себя дома просить «милостивое жалованье за службишку». Мошкинъ, Баранщиковъ и Ашиновъ всѣ не любятъ «положеній закона гражданскаго» и идутъ къ своимъ цѣлямъ обходами, при чемъ, однако, слѣдятъ за практикуемыми въ данное время пріемами, и сами способны выбирать, что подходитъ по времени. Мошкинъ въ 1643 году едва голосъ поднималъ и канючилъ: «пожалуй меня холопа съ товарищи» и дьякъ Гавреневъ распоряжался надъ нимъ «рукою властною». Пока дѣло дошло до того, чѣмъ этого «холопа помилуютъ», Гавреневъ уже «помѣтилъ» наказать его за то, что принялъ отъ папы сакраментъ. Баранщиковъ, появившійся въ концѣ восемнадцатаго столѣтія, въ литературный вѣкъ Екатерины II, уже начинаетъ прямо съ генералъ-губернаторовъ и доходитъ до митрополита, а свое «гражданское общество» и мѣстное приходское духовенство онъ отстраняетъ и постыждаетъ, и обо всемъ этомъ подаетъ уже не писаную «скаску», которой «вся дорога отъ печи и до порога», а онъ *выпускаетъ печатную книгу* и въ ней шантажируетъ своихъ общественныхъ нижегородскихъ людей, которые, надокучивъ за него платить, сказали ему: «много васъ такихъ бродягъ!» Этотъ уже не боится, что его дьякъ «помѣтитъ» къ отвѣту за «сакраментъ». Несмотря на то, что Баранщиковъ сдѣлалъ гораздо бо́льшую вину, чѣмъ принятіе католическаго сакремента, ибо онъ не только разъ, но нѣсколько разъ принималъ изъ-за выгодъ магометанскую вѣру, собиралъ себѣ за это по дворамъ «ризки» и потомъ женился на турчанкѣ Ахмедудѣ и хотѣлъ взять еще другую жену, но все это не помѣшало Баранщикову поставить себя во мнѣніи властныхъ особъ въ Петербургѣ такъ, что «нижегородскіе попы и граждане ничего ему не смѣли сдѣлать». Но этого еще мало: Баранщиковъ не только отвергъ

обязанность платить свои долги и подати, онъ направилъ въ укоръ нижегородцевъ такой шантажный рожонъ: «Какъ!.. Это то самое общество, которое, по призыву Минина-Сухорукова, готово было заложить женъ и дѣтей и охотно ввѣрило Мининy всѣ имѣнія, чтобы онъ очистилъ съ Пожарскимъ Москву отъ поляковъ» (стр. 72). Издавъ съ чьей-то помощью дрянную книжонку въ Петербургѣ, бродяга Баранщиковъ уже издѣвается надъ обществомъ, озабоченнымъ «исполненіемъ положеній закона гражданскаго», и выводя себя на одну линію съ Мининымъ, набрасываетъ на общественныхъ людей обвиненіе въ патріотической измѣнѣ...

Попы и мѣщане должны были смириться и стерпѣть наглости этого выжиги.

Просіявшій же въ концѣ XIX вѣка Ашиновъ уже и знать не хотѣлъ о такой средѣ, какъ попы или мѣщане, а онъ прямо протянулъ откуда-то свою куцапую, бородавчатую руку Каткову и пошелъ фертомъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Въ одинъ достопамятный день редакторъ Катковъ, находившійся въ оппозиціи ко всѣмъ «положеніямъ закона гражданскаго», за которыя стоялъ ранѣе, возвѣстилъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», что въ какомъ-то царствѣ, не въ нашемъ государствѣ, совокупилась рать, состоящая изъ «вольныхъ казаковъ», и разные державцы, а особенно Англія, манятъ ихъ къ себѣ на службу, но атаманъ новообрѣтенныхъ вольныхъ казаковъ, тоже «вольный казакъ Николай Ивановичъ Ашиновъ», къ счастью для насъ, очень любитъ Россію, и онъ удерживаетъ своихъ товарищей, чтобы они не шли служить никому, кромѣ насъ, за что, конечно, имъ нужно дать жалованье. Катковъ сразу же почувствовалъ къ этому атаману симпатію и довѣріе, рекомендовалъ Россіи этимъ не манкировать, а воспользоваться названнымъ кавалеромъ, такъ какъ онъ можетъ оказать службу въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ русскимъ самимъ появляться неудобно.

Первое катковское заявленіе объ этомъ было встрѣчено съ удивленіемъ и недовѣріемъ: въ Петербургѣ думали, что «злой московскій старикъ» что-то юродствуетъ. Люди говорили: «На кой намъ прахъ еще нужна какая-то шайка

бродячей сволочи!» Но Катковъ продолжалъ свою «лейбъ-агитацію» и печаталъ въ своей «лейбъ-газетѣ» то подлинныя письма сносившагося съ нимъ Ашинова, то сообщенія о томъ, что могутъ сдѣлать въ пользу Россіи вооруженные товарищи этого атамана, укрывавшіеся въ это время гдѣ-то не въ нашемъ государствѣ въ камышахъ и заводяхъ. «Вольные казаки» не знали: идти ли имъ за насъ, или «за англичанку», которая будто бы уже дала имъ заказъ, что имъ надо для нея сдѣлать, и прислала человѣка заплатить имъ деньги за ихъ службишку. Тогда самые простые люди, имѣющіе понятіе объ устройствѣ европейскихъ государствъ и о бытѣ народа, сочли все это за совершенно пустую и глупую выдумку и знали, что ничего такого быть не можетъ, но Катковъ все свое твердилъ, что вольные казаки могутъ уйти у насъ изъ рукъ; что они уже и деньги отъ англичанкинаго посла взяли, но что все-таки ихъ еще можно остановить и направить къ тому, чтобы они пошли и подбили кого-то не подъ англичанку, а подъ насъ.

Это становилось смѣшно и никто не могъ понять: какую надобность можетъ имѣть «англичанка» въ томъ, чтобы разыскивать и нанимать къ себѣ на службу подобную шушеру,—не понимали и кого еще намъ надо подъ себя подбить? Но тогда Катковъ разсерчалъ и объявилъ, что относиться къ Ашинову съ недостаткомъ довѣрія есть измѣна!

Стало даже неудобно и разузнавать: кто онъ такой въ самомъ дѣлѣ и откуда взялся?

Но вдругъ тамъ же, въ Москвѣ, нашелся безстрашный человѣкъ и сталъ спорить съ Катковымъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Отважный московскій гражданинъ былъ другой газетный редакторъ, Алексѣй Алексѣевичъ Гатцукъ, издававшій «Крестный календарь» и своего имени иллюстрированную газету. У Гатцука были въ разныхъ городахъ корреспонденты, и одинъ изъ нихъ зналъ объ Ашиновѣ и сообщилъ въ «Газету Гатцука», что Николай Ивановъ Ашиновъ вовсе не «вольный казакъ», какового нѣтъ и названія, а что онъ пензенскій мѣщанинъ, учился въ тамошней гимназіи и исключенъ оттуда изъ младшихъ классовъ за нехорошіе поступки. Потомъ онъ бродилъ и съякшался съ какими-то темными побродягами и скитался съ

ними гдѣ попало, находясь всегда въ сторонѣ отъ спокойныхъ людей, исполняющихъ положенія гражданскаго закона. Гатцукъ съ радостью напечаталъ это извѣстіе, чтобы «открыть обществу глаза» и не допустить его до глупости носиться съ человѣкомъ, который вовсе не то, за кого онъ себя выдаетъ и кѣмъ онъ *быть не можетъ*, такъ какъ никакихъ «вольныхъ казаковъ» въ Россіи нѣтъ. Но несмотря на точность свѣдѣній Гатцука, которыя ничего не стоило провѣрить въ каждую минуту, и не стѣсняясь тѣмъ, что «вольныхъ казаковъ» въ самомъ дѣлѣ нигдѣ нѣтъ, очевидная ложь, выдуманная какимъ-то выжигою, при поддержкѣ Каткова, стала за истину и заставила людей довольно почтенныхъ играть передъ цѣлымъ свѣтомъ унизительныя и жалкія роли.

Говорили: «—Да!.. чортъ возьми!.. Оно кажется... что-то того... Что-то не чисто пахнетъ, но вѣдь если подумать... Если вспомнить, кто былъ Ермакъ... такъ и надо потерпѣть...

«—Ну да,—возражали имъ:—но вѣдь Ермакъ «поклонился Сибирью», а этотъ чѣмъ же будетъ кланяться?»

«— А вотъ у него ужъ что-то есть!..»

И вдругъ называли Египетъ и Индію.

И что же! «Все повинулось суетѣ», «мудрые объюродѣша» и «за ослушаніе истины вѣрили лжи» (2 Θс. II, 11—12).

И не прошла еще вся эта болтовня, какъ явился персонально самъ Ашиновъ и сразу пошелъ изъ двора во дворъ, съ рукъ на руки, находя вездѣ «преданность и уваженіе и уваженіе и преданность». А про Гатцука Катковъ напечаталъ, что «въ Москвѣ были большіе жары, и съ Ал. Ал. Гатцукомъ что-то сдѣлалось». Этого было довольно, да, пожалуй, можно было обойтись и безъ этого... А Ашиновъ въ это время уже ходилъ по Петербургу и «разбирался» тутъ съ привезенными имъ заморскими птицами, черномазымъ мальчикомъ и неизвѣстною дѣвицею, въ званіи «принцессы» и дочери дружественнаго царя Менелика, которая по пути уже изрядно подучилась по-русски... Ее привѣчали дамы, а Ашиновъ самъ былъ вездѣ нарасхватъ: его всѣ желали видѣть и нѣкоторые редакторы сами за нимъ слѣдовали, а ихъ газеты провозвѣщали о вечерахъ и собраніяхъ, которые Ашиновъ удостоивалъ своимъ посѣщеніемъ. Коренастый, вихрястый, рыжій, съ бѣгающими глазами, онъ ходилъ въ казачьемъ уборѣ и появлялся въ собраніяхъ въ

сопровожденіи такихъ извѣстныхъ лицъ, какъ, напримѣръ, Аристовъ, редакторъ Комаровъ, священникъ Наумовичъ, г. Ределя и одинъ, а иногда даже два поэта, изъ которыхъ одинъ, старикъ Розенгеймъ, обкуривалъ его мариландскою папироскою, а другой нарочито искательный мелодикъ втягивалъ въ себя даже собственныя черевы *). Гдѣ сопровождаемый свитою, гдѣ одинъ, Ашиновъ показывался у людей съ большимъ вѣсомъ, и день-ото-дня все смѣлѣе претендовалъ на предоставленіе ему еще бо̀льшей представительности. И какъ это ему нужно было очень скоро, то онъ торопилъ своихъ покровителей, попугивая ихъ, что промедленіе опасно, такъ какъ оно можетъ вывесть изъ терпѣнія его товарищей, которымъ уже принадоѣло сидѣть въ камышахъ и они могутъ кликнуть «айда», и тогда всѣ наши выгоды предоставятъ «англичанкѣ». Такой несчастный оборотъ могъ случиться ежеминутно (и зачѣмъ онъ не случился!), а Ашиновъ становился нетерпѣливъ и очень дерзокъ. Какъ человѣкъ совсѣмъ невоспитанный и наглый, онъ не стѣснялся бранить кого попало, а иногда смѣло врывался въ дома нѣкоторыхъ сановниковъ, хваталъ ихъ за руки и даже кричалъ угрозы. Генералъ Грессеръ не могъ слышать имени этого претендента, но терпѣлъ его, считая его за своего рода «табу», котораго нельзя призвать къ порядку. А тотъ пользовался этимъ съ безуміемъ настоящаго дикаря и довелъ свою азартность до того, что началъ метаться на своихъ, какъ на чужихъ, и даже на мертвыхъ. Въ семъ послѣднемъ родѣ, напримѣръ, извѣстенъ былъ такой случай, что когда въ одномъ домѣ были вмѣстѣ Ашиновъ и Розенгеймъ, и судьбѣ было угодно, чтобы генералъ Розенгеймъ тутъ же внезапно умеръ, то онъ упалъ со стула прямо къ ногамъ Ашинова, а этотъ вспрыгнулъ съ своего мѣста и, щелкнувъ покойника рукой, вскричалъ:

«— Эхъ, ты! Нашелъ гдѣ умирать, дурашка!..»

И Петербургъ все это слушалъ и смотрѣлъ и... даже ужъ не удивлялся...

*) Въ разсказахъ Ашинова было не мало темъ для поэзіи въ оссіановскомъ родѣ: такъ, я помню, какъ онъ однажды разсказывалъ объ англичанинѣ, который имъ будто привезъ «деньги отъ англичанки» и требовалъ, чтобы они ѣхали *съ нимъ*, а они «деньги приняли», а поѣхали *въ свою сторону*, а англичанина повезли *за собою* и на остановкахъ его «драли», пока онъ «не стерпѣлъ болѣе» и они его «тамъ и закопали».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

То, что здѣсь изложено, — это не только «фактъ», какъ любятъ заключать свои сообщенія газетные репортеры, но это «даже настоящее событіе», какъ говоритъ одинъ изъ значительныхъ петербургскихъ ораторовъ. Ашиновъ достигъ самаго полнаго преобладанія надъ всѣми «исполнителями положеній закона гражданскаго» потому, что его вывелъ въ свѣтъ редакторъ, не уважавшій «гражданскихъ постановленій». Такой соучастникъ такъ важенъ, что Ашиновъ началъ свою карьеру съ того, о чемъ Мошкинъ (XVII в.) не смѣлъ бы и думать, а Баранщиковъ (въ XVIII в.) дошелъ только въ концѣ своихъ подвиговъ, и то въ слабой степени. Ашиновъ прямо сразу пошелъ на разореніе «положеній закона гражданскаго», потому что онъ былъ хорошо освѣдомленъ о томъ, кто въ періодической печати столь ненавидитъ законность, что не погнушается идти противъ нея заодно съ кѣмъ попало... И когда эти два дѣятеля соединили свои имена и свою ярость — вышло то, что унизительный инцидентъ Ашинова никакими клещами не можетъ быть отодранъ отъ исторической фигуры Каткова...

Если соотвѣтственные элементы будутъ въ наличности и въ XX вѣкѣ, то возможно, что явленіе повторится, и тотъ вѣкъ тоже выставитъ своего продолжателя Мошкину, Баранщикову и Ашинову, но вдохновенный таковскимъ духомъ молодецъ въ двадцатомъ вѣкѣ долженъ имѣть бо́льшій успѣхъ, а именно — онъ долженъ начать съ того, чѣмъ кончилъ Ашиновъ, когда сталъ въ гордой позѣ надъ тѣломъ послѣдняго славянофильскаго поэта, лежавшаго у его ногъ въ генеральской униформѣ.

Печать же должна показать, насколько «скасочники» стоятъ ниже людей, «исполняющихъ положенія гражданскаго порядка», такъ какъ только святой трудъ этихъ людей даетъ средства на всѣ дѣйствительныя нужды страны, а также и на удовлетвореніе многихъ ненужностей.

СОШЕСТВІЕ ВО АДЪ.

(АПОКРИФИЧЕСКОЕ СКАЗАНІЕ).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Искусство сберегло намъ полное представленіе о томъ, что, *по свидѣтельству очевидцевъ*, назадъ тому 1860 лѣтъ происходило въ минувшую ночь въ раю и въ преисподней.

Памятникъ, который передаетъ это, есть икона «Воскресенія съ сошествіемъ», древняго, греческаго типа, точно воспроизводимая русскимъ «Строгановскимъ подлинникомъ», о которой лѣтомъ 1893 года писали друзья наши французы, обсуждая изображеніе со стороны «фантазіи художника». Эта икона совсѣмъ не похожа на «живописную» икону, «полагаемую» сегодня на аналои господствующей церкви. На новой иконѣ изображенъ гробъ, какого не знали въ Іудеѣ въ Христово время, — Христосъ представленъ взлетающимъ на воздухъ, съ знаменемъ въ рукѣ, а внизу два спящіе воина. Иногда прибавляется еще ангелъ, отваливающій «крышу» гроба, тогда какъ, держась синоптика, надо бы изображать, что ангелъ отваливаетъ «камень у двери гроба». Въ новой иконѣ нѣтъ никакой археологической вѣрности и никакого указанія на событія, сопровождавшія воскресеніе Христа на небѣ, на землѣ и въ преисподней.

Сюжетъ «полной» иконы очень интересенъ и много говоритъ воображенію: въ немъ мы наглядно видимъ, какъ представляли себѣ событія христіане раннихъ вѣковъ, имѣвшіе о воскресныхъ «дѣяніяхъ» много такихъ свѣдѣній, какихъ мы не имѣемъ и принять ихъ не желаемъ или не можемъ, потому что основательность ихъ не достовѣрна. Однако, по этимъ-то именно представленіямъ и сочиненъ рисунокъ иконъ «Воскресенія съ сошествіемъ во адъ», который и внесенъ въ «Подлинникъ» (установленный образецъ). Только одному невниманію русскихъ къ уясненію своихъ памятниковъ слѣдуетъ приписать то, что многіе до

сихъ поръ видятъ въ «полной» иконѣ «Воскресенія съ сошествіемъ» «*фантазію*». Древній иконописецъ или изографъ не смѣлъ фантазировать, а онъ рабски воспроизводилъ только то, что установлено «Подлинникомъ». Что же такое могъ принимать въ соображеніе первый сочинитель рисунка? Вотъ тутъ и является огромное значеніе апокрифа, безъ котораго совсѣмъ нельзя понять (и никто не понимаетъ), откуда и на какомъ основаніи на многочтимую воскресную икону древне-греческаго типа нанесены такія «дѣянія» въ аду и въ раю, для которыхъ въ каноническихъ книгахъ нѣтъ указанія.

Прежде всего скажемъ вкратцѣ, что̀ представляется на почитаемой «полной иконѣ съ сошествіемъ».

Здѣсь не три лица (Христосъ и два спящіе воина), а тутъ всего изображено около ста тридцати лицъ, и всѣ эти лица въ «дѣяніяхъ», т.-е. они изображены дѣйствующими, при чемъ «дѣянія» идутъ сразу «въ трехъ планахъ»: а) посерединѣ—на землѣ, б) наверху—въ раю и в) внизу—въ преисподней у Сатаны. Христосъ «во единомъ часѣ» является во всѣхъ трехъ планахъ: онъ на землѣ воскресаетъ, во адѣ *) казнитъ Сатану и Смерть и въ раю—вводитъ «содержавшихся связанными отъ Адама». Чтобы понять изображеніе, надо начинать смотрѣть его съ средняго плана, гдѣ Христосъ воскресъ и стоитъ весь «облистанный» лучами сіянія. Подъ ногами его уже упавшія крестъ-на-крестъ «врата адовы». Они сорвались съ петель отъ «сокрушенныхъ верей» (притолокъ) и съ грохотомъ летятъ внизъ въ зіяющую бездну. Преисподняя вся раскрыта и обнажена. Христосъ подаетъ руку Адаму, за которымъ слѣдуетъ Ева, а за ними весь «ликъ прарτцевъ». Праотцы идутъ вереницею въ три оборота, и вереница не оканчивается, а теряется за «полями» изображенія. Въ «разверстомъ» аду уже нѣтъ людей, которые содержались здѣсь цѣлые вѣка въ великомъ множествѣ: всѣ они теперь выведены Христомъ на волю; а на всемъ видимомъ пространствѣ ада, начиная отъ открытаго входа, идетъ сраженіе и расправа надъ Сатаною, надъ Княземъ Тьмы, надъ Смертію и «аггелами Сатаны». Ангелы поражаютъ ихъ копьями,

*) *Адъ* пишется со строчной буквы, гдѣ этимъ словомъ обозначается преисподняя, какъ мѣсто мученія, и съ прописной, гдѣ Адъ трактуется какъ лицо. Такъ же и смерть—какъ умираніе, и Смерть—какъ лицо.

а самого Князя Тьмы заковываютъ молотами въ цѣпи. Движеніе огромное и живое. Христосъ тутъ же во второй разъ. Фигура Ада такъ велика, что отъ нея видна только одна большая голова—вся красная. Сатана—тоже красный, дородствомъ помельче и зато онъ виденъ по поясъ. При немъ неотлученъ Іуда съ его кошелькомъ, въ которомъ тридцать сребренниковъ. Смерть въ «зеленомъ тѣлѣ», Князь Тьмы—синій. У всѣхъ у нихъ волосы дыбомъ отъ страха, который производитъ «блистаніе божества». Въ третьемъ мѣстѣ Христосъ съ «благоразумнымъ разбойникомъ Рахомъ», — даетъ ему красный крестъ и посылаетъ его въ рай. Это происходитъ между раемъ и адомъ. Рай наверху,— «въ огражденіи»—тамъ «древеса» и опять весь «ликъ» праведныхъ, уже вошедшихъ и привѣтствуемыхъ Ильею и Енохомъ, которые до сихъ поръ жили въ раю только вдвоемъ. Послѣднимъ входитъ Іоаннъ Предтеча «въ шерсти», — у дверей «огненный серафимъ» хочетъ ударить «благоразумнаго разбойника», но тотъ ему показываетъ данный Христомъ красный крестъ, и серафимъ оставляетъ Раха у дверей, пока разберутся и станетъ видно, имѣетъ ли онъ право здѣсь оставаться. Представляется вопросъ: откуда все это взято? А взято все это ни больше, ни меньше какъ съ показанія «очевидцевъ», которые самолично были въ аду въ ту ночь, когда туда приходилъ воскресшій Христосъ...

Этого, конечно, нѣтъ въ каноническихъ книгахъ, и вѣрить этому ни для кого не обязательно, но все-таки это живетъ въ народѣ и сохраняется въ иконописи, и потому это интересно.

Начать надо съ того — «какъ старѣйшина жидовская» производили пристрастные допросы надъ своими же евреями, разсказывавшими, что они видѣли Христа послѣ Его смерти.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

«Видѣся же сотникъ еже Іисусъ предаде духъ, прослави Бога, глагола: «во истину человѣкъ сей праведенъ бѣ». И вси пришедшіе на позоръ сей видяще бываемое, бьюще перси своя, возвращахуся во Іерусалимъ. Воинъ же Логгинъ, пріемъ копіе, удари въ ребра Іисуса, и абіе изыде кровь и вода. (Въ каноническихъ евангеліяхъ сказано просто, что «сотникъ ударилъ», но не сказано, что этотъ сотникъ былъ Логгинъ). Тогда сотникъ, пришелъ къ Пилату, возвѣсти ему вся. И оскорбѣ Пилатъ зѣло, и призвавъ Іудеи,

вопроси ихъ, еда зрѣша знаменія, яже въ солнцѣ, и иная бывшая о Іисусѣ умершемъ? (А что: видѣли ли вы знаменія на солнцѣ и другія, которыя явились при смерти Іисуса?). Они же, слышавъ сіе, рекоша: яже омрачися солнце днесь, якоже и иногда (т.-е. Что же такое? Солнце затмилось такъ, какъ это и въ другое время бывало).

«И се Іосифъ, иже отъ Аримаѳеи, сый потаенъ ученикъ Іисусовъ, пріиди къ Игемону, моли его, да повелитъ сняти со креста тѣло Іисусово. И повелѣ Игемонъ ему. Пріяста же тѣло Іисусово и обвиста его ризами и ароматы, положиста Іисуса, и привалише камень *надъ* (sic) двери гроба».

«Іудеи же слышавше, яко Іосифъ съ Никодимомъ испросиста тѣло Іисусово, помышляху какъ убити я (ихъ) и (съ ними) двенадесятихъ (апостоловъ), такожде и другихъ иже свидѣтельствоваху о Іисусѣ предъ Пилатомъ. Вси бо тогда быша вкупѣ, послѣди же скрышася страха ради Іудейска. Единъ Никодимъ токмо ста предъ Іудеи, зане князь бѣ въ нихъ. (Былъ человѣкъ съ вѣсомъ и положеніемъ и могъ ихъ не бояться). Сей рече имъ: чесо ради пріидосте паки въ сонмище нынѣ? Они же рѣша ему: ты же что пришелъ и како вшелъ еси сѣмо причастникъ бо сый Іисусовъ и въ части Его будеши во вѣки. (А ты самъ для чего пришелъ? Да ты еще какъ смѣлъ и войти сюда—ты вѣдь Его сообщникъ! Тебѣ и самому будетъ то самое, что и ему досталось)».

Никодимъ представленъ человѣкомъ горячимъ, простымъ и рѣшительнымъ. «И отвѣщавъ Никодимъ, рече: «ей! буди ми тако». (Т.-е. Что же за важность! Я и не боюсь: пусть будетъ, какъ вы говорите).

«По сихъ же пріиде Іосифъ (этотъ рисуется другого характера), онъ рече: «учители, чесо ради оскорбистеся на мя, яко испросихъ тѣло Іисусово, и погребохъ въ новомъ своемъ гробѣ, и камень возложихъ нань. Мужіе Израильстіи, не добро дѣло сотвористе о праведницѣ семъ, но распясте того,—неповинна суща. И не раскаетеся еще о грѣхѣ своемъ, но и въ ребра прободосте его?»

Но вся эта ласковость и увѣтливость не помогла Іосифу... «Слышавъ сіе Іудеи яша Іосифа и затвориша въ темницу. (Объ этомъ въ канонич. книгахъ нѣтъ никакого упоминанія). Заутра же глаголаху ему: виждь яко днесь злыя пріидутъ на тя, смерти же не имаши вкусити нынѣ, зане суббота настоитъ: по сей же (т.-е. послѣ шабаша) умер-

твимъ тебя и тѣло твое звѣремъ предадимъ. Отвѣщавъ Іосифъ, глагола имъ: Той, Его же вы распясте на крестѣ, силенъ есть изъяти мя отъ рукъ вашихъ. Не бо, яко же Пилатъ буду вамъ. Той бо и безъ обрѣзанія плотскаго, но во обрѣзаніи сердца своего, очистися отъ грѣха, умыся прямо солнцу (передъ солнцемъ), глаголя: чистъ есмь отъ крови праведника сего, вы узрите.» (Это объясненіе умыванія рукъ *передъ солнцемъ*, чтобы оно было свидѣтелемъ непричастности къ дѣлу, очень интересно, и достойно замѣчанія, что о немъ нигдѣ не упоминается съ такимъ истолкованіемъ).

«Слышавше же Іудеи словеса сія, исполнишася ярости зѣло и емше его, всадиша въ темницу, и затворивше утвердиша печатьми и стражу поставиша. На утрій же князи и старцы людстіи собрашеся въ сонмище, совѣтъ сотвориша, яко да лестію убіютъ Іосифа. И шедше, отверзоша темницу и не обрѣтоша Іосифа тамо, печатемъ же цѣлымъ и дверемъ затвореннымъ сущимъ. И уже къ тому не смѣяху на иныхъ возложити рукъ, бояхубося». (Боялись, чтобы такого чуда еще впередъ не повторялось).

Чудо это предшествовало первому извѣстію, которое принесли сторожа, приставленные къ пещерѣ, гдѣ было положено тѣло Іисусово. Но сейчасъ вслѣдъ за симъ приходитъ и это извѣстіе, изложенное опять значительно иначе, чѣмъ въ нашихъ книгахъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

«Еще же сѣдящимъ имъ на сонмищи и судящимъ о Іосифѣ, се воини пріидоша отъ кустодіи, и глаголюще: яко стрегущимъ намъ гробъ, абіе *громъ бысть великъ*, и се ангелъ Господень сниде съ небесе и отвали камень отъ дверей гроба, и сѣде на немъ, бяше лице его яко же молнія и отъ страха его быхомъ яко мертви, и *слышахомъ его глаголюща женамъ*, яже пріидоша помазати тѣло Іисусово и стояху у гроба. (По этому описанію выходитъ, что когда прибѣжали жены, сторожа все еще спали, или дремали въ полуснѣ за пещеркою). Глагола имъ ангелъ: не ужасайтеся, Іисуса ищете Назарянина распятаго; нѣсть здѣ, но возста. Пріидите и видите мѣсто, идѣ же лежаша Господь и шедше рцыте ученикомъ Его и Петрови, отвергшемуся Его, да не въ горшую печаль прійдетъ, зане сей Петръ, внегда отрещися ему отъ Него, плакавъ горько, *не ядый не піяй даже*

доселѣ. Слышавъ же Петръ возрадовася зѣло, тече ко гробу и Іоаннъ съ нимъ. Іоаннъ же тече скорѣе (бѣжалъ рѣзвѣе) Петра. Пришедъ же и Петръ ко гробу и приникъ видѣ ризѣ едины лежаща и сударь».

Какъ только извѣстіе это дошло до іудейскихъ старшинъ, тѣ сейчасъ же распорядились узнать: что это были за женщины, съ которыми, по словамъ сторожей, разговаривалъ ангелъ?

«Рѣша же Іудее: кто суть жены, имъ же глаголаше ангелъ? отвѣща же воины, рѣша, не вѣмы. Глаголаху Іудее, чесо ради не ясте ихъ?» (Для чего вы ихъ не схватили!?)

Сторожа отвѣчаютъ старѣйшинамъ очень рѣзко: «толико знаменіе видѣвше о человѣцѣ семъ, еще ли не увѣровасте Ему? И паки слышахомъ яже о Іосифѣ, яко и того затвористе въ темницѣ и двери утвердисте утвержденіемъ крѣпцѣ, и се не обрѣтосте его въ темницѣ, дайте намъ Іосифа, и дамы вамъ Іисуса». Синедріонъ какъ бы оробѣлъ передъ сторожами и начинаетъ съ ними переторговываться.

«Глагола Іудее: дадите вы первѣе Іисуса намъ. Воины же отвѣщаша, глаголя: ни, но вамъ достоитъ первѣе дати намъ Іосифа, днесь бо истязуете ны о Іисусѣ недовѣдомѣмъ, сами же не вѣсте, како Іосифъ изведе изъ темницы: убо и мы не вѣмы, како Іисусъ воскресе, изыде изъ гроба и невидимъ бысть, такожде и жены невидимы быша: дайте убо Іосифа и дамы вамъ Іисуса».

Старѣйшины не могли сказать—какъ у нихъ ушелъ изъподъ печати Іосифъ, и они начинаютъ лгать сторожамъ: «Глаголаху Іудее, яко отъиде Іосифъ во свояси, во градъ Аримаѳейскій». Отвѣщаху же воины, глагола: «яко и Іисусъ, возставъ, отъиде въ Галилею, яко же ангелъ, отваливый камень отъ двери гроба, глагола женамъ».

«Тогда Іудее, слышавше сія (т.-е., услыхавъ, что упомянута снова Галилея), убояхуся зѣло и глаголаху: аще услышано будетъ слово сіе о Іисусѣ, яко возста отъ мертвыхъ, во всемъ мірѣ вси людіе имутъ вѣру Ему и увѣруютъ въ Онь, и будемъ посрамлены отъ всѣхъ и поношеніе будетъ на насъ отъ сыновъ израилевыхъ во вѣки. И совѣтъ сотворше, собраша сребренники довольны, даша воиномъ и заповѣдаша имъ съ клятвою никому же рещи, яко воскресе Господь, но токмо глаголите: яко намъ, спящимъ, пріидоша ученики Іисусовы и украдоша тѣло Его. *И аще услышано будетъ сіе у Игемона, яко мзду пріясте*

отъ насъ, мы умолимъ его и васъ безпечальны сотворимъ. Они же вземше сребренники отъ Іудей, рекоша, яко жо наущени быша отъ нихъ».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Но едва замолкаютъ сторожа, какъ появляются новые безпокойные разсказчики о новомъ чудѣ, если не больше, то во всякомъ случаѣ никакъ не меньше удивительномъ.

«*Священникъ* нѣкій именемъ *Финеесъ* и *Адда учитель,* и *Исаія Левитъ,* пріидоша отъ Галилеи во Іерусалимъ и повѣдоша архіереомъ и старцемъ и Левитомъ, яко *видѣша Іисуса на горѣ, нарицаемой Елеонъ*, и съ нимъ единадесятихъ ученикъ Его, и учаше ихъ». «По сихъ же отступи Іисусъ отъ нихъ, благослови я и вознесся на небо. И се юноши два, свѣтомъ страшнымъ одѣяна, стали предъ народомъ, глаголюще: мужіе Галилейстіи, что стоите зряще на небо: имже образомъ видѣсте Его грядуща на небо, такожде паки пріидетъ судити міру».

Такимъ будто образомъ дошла въ Іерусалимъ первая вѣсть о вознесеніи, принесенная тремя поименованными еврейскими людьми, священникомъ Финеесомъ, учителемъ Аддою и Левитомъ Исаіею.

Сложилось цѣлое сказаніе, имѣющее начало и конецъ согласный съ началомъ! Іудеи встревожились и сейчасъ же принялись дѣйствовать съ усиленною энергіею. Надо скорѣе сбить или подкупить Адду, Финееса и Исаію Левита, чтобы они отреклись отъ своего разсказа.

«Тогда глаголаху архіерей и старцы: заклинаемъ вы Богомъ живымъ рцыте: аще во истину тако бысть, якоже глаголете? Они же рѣша: живъ Господь Богъ,—яко же видѣхомъ, тако и возвѣстихомъ вамъ. Тогда архіереи и старцы, вземше писанія, закляша ни кому же возвѣстить сего и давше сребренники, повелѣша изыскти ихъ даже до Виѳлеема, въ Галилею (?). И отъидоша кійждо во свояси».

Имъ дали денегъ, пригрозили никому не разсказывать и выслали всѣхъ порознь изъ столицы.

Такъ сбыли съ рукъ эту вторую серію очевидцевъ; но стало безпокойно, что если ужъ священникъ, и левитъ, и учитель разносятъ вредныя синагогѣ вѣсти, да еще присягаютъ, что это правда, и всѣмъ имъ надо «давать сребренники довольны», то до чего же это можетъ дойти? Тратамъ и конца не будетъ!

ГЛАВА ПЯТАЯ.

«Тогда совѣтъ сотвориша, архіереи Анна и Каіафа, утѣшающе ихъ, и глаголаша: что скорбите, сія вся глаголы лжа суть. Ученицы бо Его купиша отъ воинъ тѣло Его и наустиша я рещи: яко ангелъ съ небеси сниде и отвали камень отъ дверей гроба: и сотвориша тако».

«Но Никодимъ, ста посредѣ и рече имъ: право ли глаголете, николи слышаста людей сихъ, пришедшихъ отъ Галилеи и не помниста ли, еже они возвѣстиша намъ? азъ же повѣмъ вамъ, яко праведніи мужіе тіи и возвѣстиша, еже видѣша о Іисусѣ, яко сущу Ему на горѣ Елеонстѣй со ученики своими, *вознесся на небо. Точію не вѣмы, тако ли, яко же и о Исаіи пишется? яко съ плотію взятъ бысть на небо, или духомъ взятся* Іисусъ и отнесенъ на гору тѣмъ же убо подобаетъ намъ послати и поискати о Немъ по всей странѣ».

«Тогда послаша мужей отъ среды своея, и возвращшеся тіи глаголюще: яко нигдѣ же обрѣтохомъ Іисуса; бывшимъ намъ во Аримаѳеи, обрѣтохомъ Іосифа. Іудеи же, слышавше сія, возрадовахуся радостію велію».

Не разыскавъ Христа, о Которомъ говорили чудо, они обрадовались, что могли отыскать Іосифа, освобожденіе котораго изъ темницы молва также представляла чудеснымъ. Теперь представлялась возможность вызвать его въ Іерусалимъ и лично отъ него узнать, какъ онъ ушелъ изъ-подъ камня и печати? Старѣйшины надѣялись, что онъ разъяснитъ это какъ-нибудь просто, и тогда опроверженіемъ одного чудеснаго слуха ослабится вѣроподобность и того, что сказываютъ объ Іисусѣ.

Надо только было вызвать Іосифа въ Іерусалимъ, но пойдетъ ли онъ сюда изъ Аримаѳеи, гдѣ онъ безопасенъ?

Старѣйшины обращаются къ политическимъ пріемамъ, которые очень характерны.

«Іудеи посланіе написаша (къ Іосифу) съ моленіемъ великимъ—глаголюще: миръ ти и дому твоему: согрѣшихомъ предъ Богомъ и предъ тобою, честнѣйшій Іосифе. Злѣ бо въ темницу всадихъ тя. И нынѣ молимтися: потщися и пріиди паки во Іерусалимъ. Се бо раскаяхомся о тебѣ». «Потомъ избравше отъ среды своея седмь мужей честнѣйшихъ, ихъ же и самъ Іосифъ любляше, послаша ихъ, гла-

голюще: идите днесь ко Іосифу, и аще пріемлетъ отъ васъ писаніе наше, вѣдите, яко паки пріидетъ сѣмо, аще ли же ни, вѣдите, яко озлобихъ на ны и уже не ктому возвратится во градъ нашъ. Вы же цѣловавше его возвратитеся съ миромъ, и благословивше отпустиша я въ путь ихъ». «Послы пріидоша ко Іосифу, поклонишася ему и рѣша: миръ ти и всему дому твоему буди во вѣки. И отвѣща Іосифъ, рече: вамъ миръ, пришедшимъ издалеча, и всѣмъ людемъ Израилевымъ».

«Вземшу же посланіе Іосифу и прочетшу е, облобыза написанное и благослови Бога, рече: благословенъ Господь Богъ мой, иже посла ангела Своего и покры мя крылами благости своея».

«Тогда уготова Іосифъ трапезу и ядоша, и пиша, и почиша даже до утра. Возставшимъ же имъ повелѣ Іосифъ уготовати въ путь осла и всѣдъ на не, отъиде въ путь свой въ Іерусалимъ. И бысть, егда вхождаше во Іерусалимъ, изыдоша іудеи во стрѣтеніе его—глаголюще: миръ тебѣ господине Іосифе, Іосифъ же, цѣловавъ ихъ, рече имъ: буди и вамъ миръ». Тогда Іосифа «закляли на книгѣ закона» говорить правду: какъ онъ ушелъ изъ-подъ замка и печати.

«Глагола Іосифъ: мужіе братіе! вѣдомо вамъ буди, яко въ день той, внегда затвористе мя, пребыхъ тамо чрезъ всю нощь и день субботный, даже до другія нощи. О полунощи же (въ часъ воскресенія Христа), стоящи ми на молитвѣ, се верхъ темницы, въ ней же бѣхъ, взятся отъ мѣста своего, и отъятся отъ четырехъ углъ и видѣхъ свѣтъ предъ очима моима, и пристрашенъ быхъ азъ, и падохъ на землю, и воззрѣвъ, видѣхъ предъ собою стояща мужа, и той взятъ мя за руку и постави на нозѣ моя, и изведе изъ темницы. Тогда облобызавъ мя, рече: не бойся Іосифе и возведи очи твоя и виждь, кто есть глаголяй съ тобою. И пристрашенъ быхъ азъ, мняще духъ видѣти, и рѣхъ ему: кто еси Господи; Илія ли, или единъ отъ пророкъ? И отвѣщя ми глаголя: нѣсмь Илія, ни пророкъ, но Іисусъ есмь Христосъ; Его же испросилъ еси у Пилата на погребеніе».

Такимъ образомъ надежды старшинъ услыхать отъ Іосифа опроверженіе тревожныхъ для нихъ слуховъ были разрушены и вмѣсто опроверженія они получили новое свидѣтельство отъ уважаемаго человѣка, что и онъ самъ видѣлъ Іисуса воскресшаго.

Для іудеевъ дѣло принимало самый отчаянный оборотъ, потому что Іосифа Аримаѳейскаго подкупить было невозможно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

«Никодимъ и архіереи, и старцы», услыхавъ то, что сказалъ имъ Іосифъ, такъ испугались, что попадали ницъ, «и быша яко мертвіи, и не ядоша, не пиша даже до вечера». Первый поднялся Никодимъ, и «глаголя имъ: возстаните на нозѣ ваша, помолимся и вкусите отъ брашенъ и укрѣпитеся, яко суббота заутра есть». Старцы «возсташа и возмоша ясти», а перебывъ шабашъ, придумали вызвать изъ Галилеи тѣхъ трехъ человѣкъ, которые говорили, что они Христа видѣли, но, однако, позволили себя подкупить «взявше довольны сребренники». Разсадили ихъ порознь и стали сбивать на переспросахъ, а потомъ начали сводить вмѣстѣ на-очи.

«Они же исповѣдаша истину, яко же и первѣе свидѣтельствоваху о немъ».

Анна и Каіафа не хотятъ и слышать, но встаетъ Іосифъ и дѣлаетъ посылку на новыхъ лицъ, которыя со Христомъ ожили и встали изъ своихъ могилъ и *теперь живутъ снова.* Эти были уже въ аду и тамъ все видѣли.

«Внемлите, еже реку вамъ! говоритъ Іосифъ Аримаѳейскій: вѣсте Симеона, иже срѣте въ церкви и пріятъ Іисуса на руку свою, младенца суща. Сей имѣяше два сына, иже умроста уже (они уже умерли, а между тѣмъ), и видѣхомъ ихъ вси. Тецыте убо нынѣ и видите яко гробы его отворена суть, зане воскресоша (они уже ушли изъ гробовъ, и теперь) во Аримаѳеи суть въ молитвѣ и молчаніи пребывающе. Идемъ убо къ нима молящіе (и упросимъ ихъ), да пріидутъ сѣмо, и вопросимъ ихъ съ клятвою возвѣстите намъ, како воскресоста?» Іудее же, слышавше сія, возрадовашася зѣло и шедше Анна и Каіафа, Никодимъ, Іосифъ и Гамаліилъ ко гробу его (къ фамильной гробницѣ Симеона) и не обрѣтоша (не нашли тѣхъ двухъ его покойныхъ сыновей). Идоша же во Аримаѳеи и обрѣтоша я колѣнопреклоненна молящася, и объемше и цѣловавше, ведоша въ Іерусалимъ въ Церковь. Затвориша же двери, пріемши скрижали Господни, возложиша на ня, и заклявше Господомъ Богомъ Адонаи и Богомъ Израилевымъ (подвели подъ присягу) и рѣша: рцыте нынѣ: аще вѣруете, яко

Іисусъ воскреси вы отъ мертвыхъ, возвѣстите убо намъ: еже видѣста и како воскресоста? Каріинъ же и Лектій (сыны Симеоновы), слышавше сія, трепетна быста, и воздохнувъ и воззрѣвъ на небо, вообразиста персты своими знаменіе креста, на языку своего рекоста: дадите хартію нама и напишемъ еже вѣма. Они же даша има и возсѣдъ писаста».

Отсюда начинается разсказъ о происшествіяхъ во адѣ, списанный Каріиномъ и Лектіемъ, которые сами въ то время были въ аду и все сами, своими глазами видѣли, и своими ушами слышали, и оба собственными руками одно и то же слово въ слово на хартіи написали.

Вотъ это любопытное сказаніе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

«Сѣдящимъ намъ всѣмъ со отцы нашими въ преисподняхъ ада, во тмѣ кромѣшиной, се внезапу свѣтъ, яко свѣтъ солнца и лучъ, яко лучъ огня облиста ны. Адамъ, отецъ земнородныхъ, и патріархи, и праотцы, трепетни быша, и рекоша: се лучъ отъ источника свѣта вѣчнаго. Всѣхъ прежде понялъ явленіе пророкъ Исаія. Онъ воскликнулъ: «сей есть свѣтъ Отца и Сына Божія, якоже предрекохъ, сый на земли въ животѣ моемъ».

Всѣ засуетились.

Приходитъ Сумеонъ и сказалъ «боящимся»: «прославимъ Іисуса Христа, Сына Божія, его же азъ пріяхъ младенца суща, на руку мою». Едва Сумеонъ кончилъ, — выходитъ «мужъ во образѣ пустынножителя, и вси сущіи въ преисподняхъ (бросились къ нему и) вопросиша его глаголюще: рцы намъ, кто еси ты?» Пустынножитель отвѣчалъ: «азъ есмь гласъ вопіющаго въ пустынѣ—Іоаннъ Крститель и пророкъ Вышняго. Азъ видѣхъ Іисуса грядуща ко мнѣ и рекохъ о немъ Духомъ Святымъ: се Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра, тѣмъ же и нынѣ предтекохъ Ему и снидохъ возвѣстити вамъ, яко въ славѣ Сынъ Божій снидетъ съ высоты своея сѣмо».

Тотчасъ началось въ аду чрезвычайное оживленіе, всѣ спѣшили сообщать дошедшую до нихъ радостную новость другъ другу, и стали посылать одинъ другого далѣе по всѣмъ областямъ ада. Такъ радостная вѣсть быстро дошла до самого Адама и тотъ сейчасъ «призва Сиѳа сына своего и глаголя ему: шедъ возвѣсти сыномъ твоимъ патріархомъ

и пророкомъ вся, яже слышалъ еси отъ архангела (sic), всегда болящу ми, послахъ тя ко вратомъ рая испросити помазаніе на главу мою». Сиѳъ пошелъ исполнять волю отца, и «приступи къ патріархомъ и пророкомъ и глагола имъ: азъ есмь Сиѳъ. Егда молихся у вратъ Рая (просилъ отцу лѣкарства), се ангелъ Господенъ явися мнѣ, глаголя: Сиѳе, да не проліеши нынѣ слезъ предъ Господемъ, не дастся бо тебѣ елей милосердія, во еже помазати главу отца твоего, въ болѣзни суща: нѣсть бо возможно сіе, послѣди же имѣетъ быти, внегда скончаются лѣта пять тысячъ и пять сотъ. Тогда возлюбленный Сынъ Божій пріидетъ на землю возвести Адама и воскресити съ нимъ тѣлеса умершихъ».

Тутъ всѣ святые, дожидавшіеся въ аду, обрадовались и, ободрившись духомъ, стали уже наступать на Князя Тьмы и гнать его вонъ изъ ада, чтобы Христу было не скверно сюда спуститься въ его присутствіи.

Сатана, однако, не выходилъ. Пророкъ и царь Давидъ поддержалъ общее движеніе толпившихся въ адѣ, возгласивъ: «не предрекохъ ли въ животѣ моемъ, яко изведе я изъ тьмы и сѣни смертныя, и врата мѣдная сокруши и вереи желѣзныя сломи». Но Сатана и царя Давида не слушался,—тогда отозвался пророкъ Исаія, глаголя: «и азъ предрекохъ въ животѣ моемъ: воскреснутъ мертвыи, востанутъ сущіи во гробѣхъ, и вси земнородніи возрадуются!» Но Сатана и Исаію пророка не послушался.

Тогда въ аду сдѣлалось всеобщее движеніе и противъ Князя Тьмы раздался голосъ изъ иныхъ сферъ, откуда Князь Тьмы и самъ сообразить не можетъ.

«Се услышанъ бысть гласъ шуменъ—яко гласъ грома, глаголющъ: возмите врата князя ваша и возмитеся врата вѣчныя, се бо входитъ Царь славы». Сатана впрочемъ и тутъ все-таки еще продолжалъ упорствовать и обратился къ хитрости. «Князь адскій слышавъ сія, и творяй себѣ не разумѣти слышаннаго (притворился будто не понимаетъ) и рече: Кто есть сей царь славы?»—Давидъ отвѣща ему:—«Господь силенъ въ брани, той есть Царь Славы. Се Онъ пріиде съ высоты святыя своея: услышати воздыханіе окованныхъ и разрѣшити сыны умерщвленныхъ! Отверзай убо врата и внидетъ Царь Славы!»

Услыхавъ это, всѣ святые, патріархи и пророки еще бо-

лѣе обрадовались и заплескали въ восторгѣ ладошами. Шумъ радости и ликованія сдѣлался такъ великъ, что его услыхалъ самъ «Сатана—глава смерти», пришелъ самъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Сатана сталъ говорить съ ласкою: «Се азъ готовъ есмь пріяти Іисуса Назарянина иже непщева себѣ на земли Сыномъ Божіимъ быти». Онъ мнѣ не опасенъ. Онъ боялся смерти и говорилъ: «прискорбна есть душа моя даже до смерти». Правда, что онъ дѣлалъ мнѣ много непріятностей (сотвори пакости мнози) тѣмъ, что исцѣлялъ тѣхъ, кого я поражалъ недугами, и воскресилъ много мертвыхъ, но все это еще не страшно. Выходитъ, что Сатана не понималъ Іисуса Христа и судилъ о немъ не высоко, почитая его за смертнаго, и притомъ еще за такого, который боялся смерти и говорилъ: «прискорбна есть душа моя». Но Князь Тьмы хоть и меньше значитъ въ аду, чѣмъ Сатана, однако онъ оказался благоразумнѣе и осторожнѣе.

«Князь же ада отвѣща Сатанѣ, глаголя: како можетъ сей такову власть имѣти; аще бо человѣкъ простъ былъ? вси бо владыцы міра сего подъ державою моею суть, ихъ же поработилъ ми еси силою твоею; сей же во истину силенъ есть и не токмо за человѣчество, но и за Божество, и никто власти его противостати не можетъ. Еда же и рече сей, яко убояся смерти, не ими вѣры ему (если онъ и сказалъ, что боится смерти — то ты ему не вѣрь), злѣ-бо будетъ намъ отселѣ (худо намъ будетъ)».

Сатана же остался легкомысленникомъ, и «слышавъ сіе, отвѣща: — Онъ не можетъ противостать намъ,—я уже его искусилъ, возмутивъ противъ него ревностію и гнѣвомъ народъ Іудейскій, и Смерть прикоснулась къ нему. Не бойтесь,—я его приведу къ вамъ покорнаго».

Князь Тьмы опять сдерживаетъ пылкость Сатаны.

«Глагола Князь Тьмы: не сей ли, иже Лазаря воздвиже четвородневна, его же азъ держахъ мертва? заклинаю тя силою нашею, да не приведеши его сѣмо: яко се Богъ-Вседержитель есть, и можетъ творити вся яко же хощетъ».

А пока они между собою это переговорили, «се абіе слышанъ гласъ бысть, яко гласъ грома и бури: возмите врата князи ваши, се бо входитъ Царь славы».

Испуганный Князь Тьмы закричалъ Сатанѣ: «бѣжи ско-

рѣй и удались отъ жилищъ адовыхъ, а если ты силенъ, то сразись съ нимъ!»

Но увидавъ, что Сатана все храбрится и хочетъ самъ ввести Христа въ адъ, Князь Тьмы разсердился «и изгна Сатану отъ жилищъ своихъ и глагола клевретомъ своимъ: заключите (заприте скорѣе) врата мѣдная и противостаните». И только-что Князь Тьмы успѣлъ сдѣлать это распоряженіе, какъ «Господь въ велелѣпіи Божества и во образѣ человѣчествѣмъ вниде и осія тьму вѣчную и узы нерѣшимыя расторже».

«Тогда Смерть со клевреты своими объята бысть ужасомъ и возопи: побѣждени есьмы тобою, яко смятеніе вселилъ еси въ насъ!»

«Тогда Господь славы поверже смерть къ ногу своею, и Князя адова обезсили, и возведъ отца земнородныхъ къ свѣту». Что собственно и изображается по «подлиннику» на иконѣ «Воскресенія съ сошествіемъ».

Обезсиленный Князь Тьмы не сопротивлялся, но «начелъ укоряти Сатану: о сатано! Что восхотѣлъ еси распяти Царя славы! Не вѣси ли нынѣ, яко безуменъ еси! (узналъ ли теперь, что ты глупъ)».

Ссора и перекоръ у Князя Тьмы съ Сатаною вышли на виду у всѣхъ, и самого Іисуса Христа, который въ это время отозвался съ словомъ къ Князю Тьмы.

«Глагола Вельзевулу: отнынѣ да будетъ Сатана во власти твоей во вѣкъ, и поработаетъ ти во Адама мѣсто и сыновъ его, иже кровію моею оправдишася».

Этимъ Спаситель кончаетъ съ Сатаною и обращается къ настрадавшимся въ аду праотцамъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

«Простеръ Іисусъ десницу Свою, глаголя: пріидите ко Мнѣ вси святіи, созданныя по образу Моему, иже осуждени бывше преступленіемъ заповѣди, еже о древѣ — оживитеся нынѣ древомъ креста Моего. Князь-бо міра сего осужденъ есть и смерть попрана».

«Тогда вси святіи собрашася подъ-руку Всевышняго: «Господь же держа десницу Адама, глагола ему: миръ ти и чадомъ твоимъ».—Этотъ и послѣдующіе эпизоды изображаются на истовыхъ иконахъ «Воскресенія съ сошествіемъ».

«И припаде Адамъ къ колѣнома Господа Іисуса Христа,

моли Его со слезами, глаголя: вознесу тя Господи, яко подъялъ мя еси и возвелъ еси отъ Ада».

«Такожде и вси святіи, припадше къ ногу Іисусову, Господь же простре десницу, сотвори знаменіе креста надъ Адамомъ и надъ родомъ его и вземъ за руку Адама, изведе отъ ада и вси святіи съ нимъ». Это и есть тотъ ходъ въ нѣсколько разъ обороченною вереницею, которая занимаетъ средній планъ иконы.

«Царь и пророкъ Давидъ» какъ только тронулись, запѣлъ: «Воспойте Господеви пѣснь нову». Святые отвѣчали антифонами: «Слава сія будетъ всѣмъ преподобнымъ Его». «По семъ же пророкъ Аввакумъ возопи: «исшелъ еси во спасеніи людей твоихъ, спасти помазанныя твоя». Святые на отвѣтъ Аввакуму запѣли: «Благословенъ грядый во имя Господне». Итакъ: «вси святіи и пророцы» прослѣдовали изъ ада въ рай съ пѣніемъ «хвалу воздающе и идоша во слѣдъ Господа».

«Держай Господь руку Адама, введе его Архангелу Михаилу и вси идоша съ нимъ, и со славою введени быша въ рай».

Но и въ раю начинается то же недоумѣніе: тамъ тогда было всего только два обитателя, Енохъ и Илія, и они удивились, что это за огромное нашествіе и кто его ведетъ. «Два старца стаста предъ ними (пришельцами изъ ада) и вопросиша ихъ святіи: кто еста, не бо бѣста съ нами во адѣ. Единъ же отъ нихъ отвѣщавъ: азъ есмь Енохъ, а сей Илія Θезвитянинъ».

«Егда же Енохъ и Илія глаголаста сія, прінде мужъ нѣкій страненъ, носяй крестъ на рамѣ своей, и святіи вопросиша его: Кто сей? зракъ разбойника имый, и чесо ради носиши крестъ на рамѣ своей?»

«Онъ же отвѣща: во истину разбойникъ есмь, много бо зла сотворихъ на земли, и со Іисусомъ распятъ бѣхъ, и даде ми крестъ свой—глагола: иди, и аще ангелъ, иже при вратѣхъ рая, воспретитъ ти входъ, яви ему крестъ и рцы: яко Іисусъ Христосъ, днесь распятый, присла мя къ тебѣ».

Этотъ «ст. Рахъ разбойникъ» или по неправильному обозначенію титла «Страхъ разбойникъ», или «Благоразумный разбойникъ» (котораго видимъ на картинѣ Ге) и у самыхъ воротъ рая дожидается съ крестомъ на ладони.

«Скончавшу же разбойнику глаголы сія, вси патріарси

и пророци возопиша гласомъ великимъ: Боже Вседержителю! устрой убо ему милость Твою въ раи, и постави его въ животѣ вѣчнемъ».

Этимъ оканчивается рукописаніе на хартіяхъ, на которыхъ писали сыновья Симеона, бывшіе очевидцами событій въ аду. Рукопись, которую они дали еврейскимъ архіереямъ, заключалась слѣдующимъ заявленіемъ:

«Сія убо суть священная и божественная таинства, яже мы, Каріинъ и Лектій и вси сущіи тамо видѣхомъ; прочее же возбрани намъ возвѣщати (прочаго же что еще видѣли, мы открыть не можемъ), якоже яви намъ архангелъ Михаилъ, повелѣвый намо идти съ братіею нашею во Іерусалимъ». Егда же сконча кійждо писати сія, вдаде Каріи писанное Аннѣ, Каіафѣ и Гамаліи, Лектій же Никодиму и Іосифу, и внезапу преобразистася предъ ними, и бѣста бѣла яко снѣгъ, и невидима бѣста. Писаніе же обою равно бѣ, и *неразличествова ни въ единомъ словеси.* Тогда весь сонмъ Іудейскій, видѣвъ сіе, дивися, и глагола другъ ко другу: во истину Сынъ Божій есть, сотворивый сія. И изыдоша отъ сонмища, плачуще и біяще перси своя, и отъидоша во свояси. Іосифъ же и Никодимъ возвѣстиста Игемону вся бывшая и написа сія Пилатъ и положи въ кивотѣ».

Вотъ почему на нѣкоторыхъ старыхъ лубочныхъ изображеніяхъ «суда» вмѣстѣ съ «старѣйшинами іудейскими» сидитъ Пилатъ въ епанчѣ, въ узкихъ штанцахъ въ обтяжку и въ шляпѣ съ перомъ въ родѣ атаманской. Тамъ же обозначается какой-то сундучокъ, въ которомъ повидимому нѣтъ никакого смысла, если не знать, что онъ спрятанъ въ «кивотѣ».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

«Вниде Пилатъ въ церковь и собравъ архіереи и книжники, повелѣ заключить двери и глагола: увидѣвъ, яко имаше книгохранительницу церковную, сего ради заклинаю вы Богомъ отецъ вашихъ, не сокройте правды отъ мене, рцыте ми, еда-ли въ писаніи обрѣтаете, яко Іисусъ, его же распясте, Сынъ Божій бѣ? Тогда повелѣста Анна и Каіафа изыти изъ церкве всѣмъ, и заключивше двери, рекоста Пилату: егда распяхомъ Іисуса, не вѣдѣхомъ его Сына Божія быти, мняще яко волхвованіи знаменія творяше. Таже по смерти его поискахомъ о еже содѣла; и обрѣтохомъ свидѣтелей мнозѣхъ отъ колѣна нашего, иже видѣша его жива

по страданіи и смерти; и сами видѣхомъ двою свидѣтелю, ихъ же воскреси Іисусъ отъ мертвыхъ. Тіи бо возвѣстиша намъ дивная чудеса, яко сотвори Іисусъ во адѣ; обычай же имамы на всяко лѣто искати отъ писаній свидѣтельства Божія, и обрѣтохомъ въ первой книзѣ толкованій, яко глагола архангелъ третьему сыну Адама, яко по пяти тысящахъ и пятистахъ лѣтѣхъ, имать пріити съ небесе взлюбленный сынъ Божій Христосъ; и разумѣхомъ, яко той есть Богъ Израилевъ».

Такимъ образомъ даже и для помѣщенія Пилата сидящимъ въ собраніи съ архіереями и старѣйшинами іудейскими есть письменное основаніе, къ которому первые компановщики иконы «суда» и «сошествія», конечно, отнеслись съ полнымъ довѣріемъ и критиковать его не могли, да, вѣроятно, и не желали.

Сюжетъ этотъ какъ вошелъ въ иконописный «подлинникъ», такъ и сталъ воспроизводиться, и почитался до церковной реформы за «правильное». Послѣ реформы, когда старое стали почитать за неправильное, новые «фрязьскіе мастера» начали писать икону «Воскресенья» иначе.

Апокрифъ же этотъ, изъ котораго сдѣланы выписки, объясняющія кажущуюся произвольность фантазіи русскихъ иконописцевъ, весьма многимъ изъ простолюдиновъ извѣстенъ, и вотъ что я, напримѣръ, помню о распространеніи его во время всеобщаго безграмотства среди самыхъ темныхъ, крѣпостныхъ крестьянъ въ орловской губерніи.

Въ селѣ Добрыни, гдѣ я проводилъ дѣтство, былъ діаконъ на дьячковской вакансіи. Онъ получилъ свое скромное мѣсто въ приданое за женою, бывшею дочерью уніатскаго попа или распопа, по имени Фока. Отецъ Фока былъ «изъ непокорныхъ уніатовъ». Впрочемъ, всѣ данныя для исторіи Фоки у насъ ограничивались тѣмъ, что онъ «съ митрополитомъ Сѣмашкой былъ въ школѣ товарищъ и вмѣстѣ съ нимъ на православіе подписался, но не захотѣлъ «долгихъ косъ носить», и такъ заспорилъ, что сказалъ: «я тебя переживу». Сѣмашко же будто отвѣчалъ Фокѣ: «а я тебя на высылъ представлю» Каждый и началъ доказывать другъ другу то, чѣмъ грозился. Сѣмашко удалилъ Фоку съ мѣста и «представилъ на высылъ», а Фока пошелъ его «переживать». Высылъ Фокѣ вышелъ изъ виленской губерніи въ

орловскую, гдѣ о ту пору былъ архіерей изъ южныхъ уроженцевъ,—нерасположенный къ Антонію Сѣмашкѣ. Это стеченіе обстоятельствъ послужило въ пользу Фокѣ: архіерей узналъ о бѣдственномъ положеніи голодавшаго «недовѣрка»—и «предоставилъ одной изъ его дочерей дьяческую ваканцію въ селѣ». Но этимъ еще владыка орловскій не окончилъ свою укоризну Сѣмашкѣ, а взялъ да и произвелъ Фокина зятя изъ дьячковъ въ дьяконы. Самъ же Фока какъ-то совсѣмъ отпалъ духовнаго чина, ходилъ въ «сурдутѣ» и обучалъ латинскому языку и другимъ наукамъ дѣтей у нашего предводителя, а потомъ оставался у него «вольнымъ секретаремъ». Что касается духовныхъ правъ отца Фоки, то никто не зналъ, какъ на этотъ счетъ располагать о немъ. Приходскіе батюшки не отчисляли Фоку ни къ приказнымъ, ни къ благороднымъ, но въ отличіе отъ себя называли его «распопомъ», а мужики, слышавшіе, что онъ «уніатъ»—безъ дурной мысли именовали его «тунеядомъ».

У Фоки была изрядная библіотека, въ которой находилось много книгъ почаевской и гродненской славянскихъ типографій и нѣсколько рукописей,—извлеченій и переводовъ, сдѣланныхъ самимъ отцомъ Фокою.

Когда Фока умеръ и библіотека его перешла къ его зятю діакону на дьяческой вакансіи,—тотъ устроилъ литературное сокровище Фоки сообразно своему усмотрѣнію, и только одну рукопись оставилъ себѣ «для душевной пользы», а польза заключалась въ томъ, что въ пасхальную ночь, когда дворяне, ихъ дѣти, дворовые люди и мужики, боясь ночной темноты и распутицы, прибывали изъ деревень къ церкви съ вечера и въ ожиданіи заутрени размѣщались по домамъ на поповкѣ,—тогда каждый годъ въ ригѣ у діакона составлялось прелюбопытное чтеніе, за удовольствіе слушать которое всякій «слухачъ» долженъ былъ дать три копейки на свѣчку.

Тутъ мы и получали о предстоящемъ часѣ воскресенія Христова такія любопытныя свѣдѣнія, какихъ ни въ какомъ другомъ мѣстѣ не получишь. И вотъ зато теперь намъ странно и смѣшно слышать, что чужестранцы толкуютъ, будто самая любимая икона русскаго народа «пишется по фантазіи художника», а бывшіе въ ту пору въ Парижѣ писатели наши не нашлись это поправить. Пусть, однакоже, хоть далѣе не думаютъ такъ ошибочно наши просвѣщенные люди, которымъ не пришлось раньше узнать объ этомъ.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

НЕКРЕЩЕНЫЙ ПОПЪ.

НЕВѢРОЯТНОЕ СОБЫТІЕ.

(Легендарный случай).

Разсказъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ своемъ пріятельскомъ кружкѣ мы остановились надъ слѣдующимъ газетнымъ извѣстіемъ:

«Въ одномъ селѣ священникъ выдавалъ замужъ дочь. Разумѣется, пиръ былъ на славу, всѣ подпили порядкомъ и веселились по-сельскому, по-домашнему. Между прочимъ, мѣстный діаконъ оказался любителемъ хореграфическаго искусства и, празднуя веселье, «веселыми ногами», въ одушевленіи, отхваталъ передъ гостями *трепака*, чѣмъ всѣхъ привелъ въ немалый восторгъ. На бѣду на томъ же пиру былъ благочинный, которому такое дѣяніе діакона показалось весьма оскорбительнымъ, заслуживающимъ высшей мѣры взысканія, и въ ревности своей благочинный настрочилъ доносъ архіерею о томъ, какъ діаконъ на свадьбѣ у священника «ударилъ трепака». Архіепископъ Игнатій, получивъ доносъ, написалъ такую резолюцію:

«Діаконъ N «*ударилъ трепака*»...
Но *трепакъ* не проситъ;
Зачѣмъ же благочинный доноситъ?
Вызвать благочиннаго въ консисторію и допросить».

«Дѣло окончилось тѣмъ, что доноситель, проѣхавъ полтораста верстъ и не мало израсходовавъ денегъ на поѣздку, возвратился домой съ внушеніемъ, что благочинному слѣ-

моли Его со слезами, глаголя: вознесу тя Господи, яко подъялъ мя еси и возвелъ еси отъ Ада».

«Такожде и вси святіи, припадше къ ногу Іисусову, Господь же простре десницу, сотвори знаменіе креста надъ Адамомъ и надъ родомъ его и вземъ за руку Адама, изведе отъ ада и вси святіи съ нимъ». Это и есть тотъ ходъ въ нѣсколько разъ обороченною вереницею, которая занимаетъ средній планъ иконы.

«Царь и пророкъ Давидъ» какъ только тронулись, запѣлъ: «Воспойте Господеви пѣснь нову». Святые отвѣчали антифонами: «Слава сія будетъ всѣмъ преподобнымъ Его». «По семъ же пророкъ Аввакумъ возопи: «исшелъ еси во спасеніи людей твоихъ, спасти помазанныя твоя». Святые на отвѣтъ Аввакуму запѣли: «Благословенъ грядый во имя Господне». Итакъ: «вси святіи и пророцы» прослѣдовали изъ ада въ рай съ пѣніемъ «хвалу воздающе и идоша во слѣдъ Господа».

«Держай Господь руку Адама, введе его Архангелу Михаилу и вси идоша съ нимъ, и со славою введени быша въ рай».

Но и въ раю начинается то же недоумѣніе: тамъ тогда было всего только два обитателя, Енохъ и Илія, и они удивились, что это за огромное нашествіе и кто его ведетъ. «Два старца стаста предъ ними (пришельцами изъ ада) и вопросиша ихъ святіи: кто еста, не бо бѣста съ нами во адѣ. Единъ же отъ нихъ отвѣщавъ: азъ есмь Енохъ, а сей Илія Θезвитянинъ».

«Егда же Енохъ и Илія глаголаста сія, прінде мужъ нѣкій страненъ, носяй крестъ на рамѣ своей, и святіи вопросиша его: Кто сей? зракъ разбойника имый, и чесо ради носиши крестъ на рамѣ своей?»

«Онъ же отвѣща: во истину разбойникъ есмь, много бо зла сотворихъ на земли, и со Іисусомъ распятъ бѣхъ, и даде ми крестъ свой—глагола: иди, и аще ангелъ, ихже при вратѣхъ рая, воспретитъ ти входъ, яви ему крестъ и рцы: яко Іисусъ Христосъ, днесь распятый, присла мя къ тебѣ».

Этотъ «ст. Рахъ разбойникъ» или по неправильному обозначенію титла «Страхъ разбойникъ», или «Благоразумный разбойникъ» (котораго видимъ на картинѣ Ге) и у самыхъ воротъ рая дожидается съ крестомъ на плечи.

«Скончавшу же разбойнику глаголы сія, вси патріарси

и пророци возопиша гласомъ великимъ: Боже Вседержителю! устрой убо ему милость Твою въ раи, и постави его въ животѣ вѣчнемъ».

Этимъ оканчивается рукописаніе на хартіяхъ, на которыхъ писали сыновья Симеона, бывшіе очевидцами событій въ аду. Рукопись, которую они дали еврейскимъ архіереямъ, заключалась слѣдующимъ заявленіемъ:

«Сія убо суть священная и божественная таинства, яже мы, Каріинъ и Лектій и вси сущіи тамо видѣхомъ; прочее же возбрани намъ возвѣщати (прочаго же что еще видѣли, мы открыть не можемъ), якоже яви намъ архангелъ Михаилъ, повелѣвый намо идти съ братіею нашею во Іерусалимъ». Егда же сконча кійждо писати сія, вдаде Каріи писанное Аннѣ, Каіафѣ и Гамаліи, Лектій же Никодиму и Іосифу, и внезапу преобразистася предъ ними, и бѣста бѣла яко снѣгъ, и невидима бѣста. Писаніе же обою равно бѣ, и *неразличествова ни въ единомъ словеси.* Тогда весь сонмъ Іудейскій, видѣвъ сіе, дивися, и глагола другъ ко другу: во истину Сынъ Божій есть, сотворивый сія. И изыдоша отъ сонмища, плачуще и біяще перси своя, и отъидоша во свояси. Іосифъ же и Никодимъ возвѣстиста Игемону вся бывшая и написа сія Пилатъ и положи въ кивотѣ».

Вотъ почему на нѣкоторыхъ старыхъ лубочныхъ изображеніяхъ «суда» вмѣстѣ съ «старѣйшинами іудейскими» сидитъ Пилатъ въ епанчѣ, въ узкихъ штанцахъ въ обтяжку и въ шляпѣ съ перомъ въ родѣ атаманской. Тамъ же обозначается какой-то сундучокъ, въ которомъ повидимому нѣтъ никакого смысла, если не знать, что онъ спрятанъ въ «кивотѣ».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

«Вниде Пилатъ въ церковь и собравъ архіереи и книжники, повелѣ заключить двери и глагола: увидѣвъ, яко имаше книгохранительницу церковную, сего ради заклинаю вы Богомъ отецъ вашихъ, не сокройте правды отъ мене, рцыте ми, еда-ли въ писаніи обрѣтаете, яко Іисусъ, его же распясте, Сынъ Божій бѣ? Тогда повелѣста Анна и Каіафа изыти изъ церкве всѣмъ, и заключивше двери, рекоста Пилату: егда распяхомъ Іисуса, не вѣдѣхомъ его Сына Божія быти, мняще яко волхвованіи знаменія творяше. Таже по смерти его поискахомъ о еже содѣла; и обрѣтохомъ свидѣтелей мнозѣхъ отъ колѣна нашего, иже видѣша его жива

по страданіи и смерти; и сами видѣхомъ двою свидѣтелю, ихъ же воскреси Іисусъ отъ мертвыхъ. Тіи бо возвѣстиша намъ дивная чудеса, яко сотвори Іисусъ во адѣ; обычай же имамы на всяко лѣто искати отъ писаній свидѣтельства Божія, и обрѣтохомъ въ первой книзѣ толкованій, яко глагола архангелъ третьему сыну Адама, яко по пяти тысящахъ и пятистахъ лѣтѣхъ, имать пріити съ небесе взлюбленный сынъ Божій Христосъ; и разумѣхомъ, яко той есть Богъ Израилевъ».

Такимъ образомъ даже и для помѣщенія Пилата сидящимъ въ собраніи съ архіереями и старѣйшинами іудейскими есть письменное основаніе, къ которому первые компановщики иконы «суда» и «сошествія», конечно, отнеслись съ полнымъ довѣріемъ и критиковать его не могли, да, вѣроятно, и не желали.

Сюжетъ этотъ какъ вошелъ въ иконописный «подлинникъ», такъ и сталъ воспроизводиться, и почитался до церковной реформы за «правильное». Послѣ реформы, когда старое стали почитать за неправильное, новые «фрязьскіе мастера» начали писать икону «Воскресенья» иначе.

Апокрифъ же этотъ, изъ котораго сдѣланы выписки, объясняющія кажущуюся произвольность фантазіи русскихъ иконописцевъ, весьма многимъ изъ простолюдиновъ извѣстенъ, и вотъ что я, напримѣръ, помню о распространеніи его во время всеобщаго безграмотства среди самыхъ темныхъ, крѣпостныхъ крестьянъ въ орловской губерніи.

Въ селѣ Добрыни, гдѣ я проводилъ дѣтство, былъ діаконъ на дьячковской вакансіи. Онъ получилъ свое скромное мѣсто въ приданое за женою, бывшею дочерью уніатскаго попа или распопа, по имени Фока. Отецъ Фока былъ «изъ непокорныхъ уніатовъ». Впрочемъ, всѣ данныя для исторіи Фоки у насъ ограничивались тѣмъ, что онъ «съ митрополитомъ Сѣмашкой былъ въ школѣ товарищъ и вмѣстѣ съ нимъ на православіе подписался, но не захотѣлъ «долгихъ косъ носить», и такъ заспорилъ, что сказалъ: «я тебя переживу». Сѣмашко же будто отвѣчалъ Фокѣ: «а я тебя на высылъ представлю» Каждый и началъ доказывать другъ другу то, чѣмъ грозился. Сѣмашко удалилъ Фоку съ мѣста и «представилъ на высылъ», а Фока пошелъ его «переживать». Высылъ Фокѣ вышелъ изъ виленской губерніи въ

орловскую, гдѣ о ту пору былъ архіерей изъ южныхъ уроженцевъ,—нерасположенный къ Антонію Сѣмашкѣ. Это стеченіе обстоятельствъ послужило въ пользу Фокѣ: архіерей узналъ о бѣдственномъ положеніи голодавшаго «недовѣрка»—и «предоставилъ одной изъ его дочерей дьяческую ваканцію въ селѣ». Но этимъ еще владыка орловскій не окончилъ свою укоризну Сѣмашкѣ, а взялъ да и произвелъ Фокина зятя изъ дьячковъ въ дьяконы. Самъ же Фока какъ-то совсѣмъ отпалъ духовнаго чина, ходилъ въ «сурдутѣ» и обучалъ латинскому языку и другимъ наукамъ дѣтей у нашего предводителя, а потомъ оставался у него «вольнымъ секретаремъ». Что касается духовныхъ правъ отца Фоки, то никто не зналъ, какъ на этотъ счетъ располагать о немъ. Приходскіе батюшки не отчисляли Фоку ни къ приказнымъ, ни къ благороднымъ, но въ отличіе отъ себя называли его «распопомъ», а мужики, слышавшіе, что онъ «уніатъ»—безъ дурной мысли именовали его «тунеядомъ».

У Фоки была изрядная библіотека, въ которой находилось много книгъ почаевской и гродненской славянскихъ типографій и нѣсколько рукописей, — извлеченій и переводовъ, сдѣланныхъ самимъ отцомъ Фокою.

Когда Фока умеръ и библіотека его перешла къ его зятю діакону на дьяческой вакансіи,—тотъ устроилъ литературное сокровище Фоки сообразно своему усмотрѣнію, и только одну рукопись оставилъ себѣ «для душевной пользы», а польза заключалась въ томъ, что въ пасхальную ночь, когда дворяне, ихъ дѣти, дворовые люди и мужики, боясь ночной темноты и распутицы, прибывали изъ деревень къ церкви съ вечера и въ ожиданіи заутрени размѣщались по домамъ на поповкѣ,—тогда каждый годъ въ ригѣ у діакона составлялось прелюбопытное чтеніе, за удовольствіе слушать которое всякій «слухачъ» долженъ былъ дать три копейки на свѣчку.

Тутъ мы и получали о предстоящемъ часѣ воскресенія Христова такія любопытныя свѣдѣнія, какихъ ни въ какомъ другомъ мѣстѣ не получишь. И вотъ зато теперь намъ странно и смѣшно слышать, что чужестранцы толкуютъ, будто самая любимая икона русскаго народа «пишется по фантазіи художника», а бывшіе въ ту пору въ Парижѣ писатели наши не нашлись это поправить. Пусть, однакоже, хоть далѣе не думаютъ такъ ошибочно наши просвѣщенные люди, которымъ не пришлось раньше узнать объ этомъ.

моли Его со слезами, глаголя: вознесу тя Господи, яко подъялъ мя еси и возвелъ еси отъ Ада».

«Такожде и вси святіи, припадше къ ногу Іисусову, Господь же простре десницу, сотвори знаменіе креста надъ Адамомъ и надъ родомъ его и вземъ за руку Адама, изведе отъ ада и вси святіи съ нимъ». Это и есть тотъ ходъ въ нѣсколько разъ обороченною вереницею, которая занимаетъ средній планъ иконы.

«Царь и пророкъ Давидъ» какъ только тронулись, запѣлъ: «Воспойте Господеви пѣснь нову». Святые отвѣчали антифонами: «Слава сія будетъ всѣмъ преподобнымъ Его». «По семъ же пророкъ Аввакумъ возопи: «исшелъ еси во спасеніи людей твоихъ, спасти помазанныя твоя». Святые на отвѣтъ Аввакуму запѣли: «Благословенъ грядый во имя Господне». Итакъ: «вси святіи и пророцы» прослѣдовали изъ ада въ рай съ пѣніемъ «хвалу воздающе и идоша во слѣдъ Господа».

«Держай Господь руку Адама, введе его Архангелу Михаилу и вси идоша съ нимъ, и со славою введени быша въ рай».

Но и въ раю начинается то же недоумѣніе: тамъ тогда было всего только два обитателя, Енохъ и Илія, и они удивились, что это за огромное нашествіе и кто его ведетъ. «Два старца стаста предъ ними (пришельцами изъ ада) и вопросиша ихъ святіи: кто еста, не бо бѣста съ нами во адѣ. Единъ же отъ нихъ отвѣщавъ: азъ есмь Енохъ, а сей Илія Θезвитянинъ».

«Егда же Енохъ и Илія глаголаста сія, пріиде мужъ нѣкій страненъ, носяй крестъ на рамѣ своей, и святіи вопросиша его: Кто сей? зракъ разбойника имый, и чесо ради носиши крестъ на рамѣ своей?»

«Онъ же отвѣща: во истину разбойникъ есмь, много бо зла сотворихъ на земли, и со Іисусомъ распятъ бѣхъ, и даде ми крестъ свой—глагола: иди, и аще ангелъ, иже при вратѣхъ рая, воспретитъ ти входъ, яви ему крестъ и рцы: яко Іисусъ Христосъ, днесь распятый, присла мя къ тебѣ».

Этотъ «ст. Рахъ разбойникъ» или по неправильному обозначенію титла «Страхъ разбойникъ», или «Благоразумный разбойникъ» (котораго видимъ на картинѣ Ге) и у самыхъ воротъ рая дожидается съ крестомъ на ладони.

«Скончавшу же разбойнику глаголы сія, вси патріарси

и пророци возопиша гласомъ великимъ: Боже Вседержителю! устрой убо ему милость Твою въ раи, и постави его въ животѣ вѣчнемъ».

Этимъ оканчивается рукописаніе на хартіяхъ, на которыхъ писали сыновья Симеона, бывшіе очевидцами событій въ аду. Рукопись, которую они дали еврейскимъ архіереямъ, заключалась слѣдующимъ заявленіемъ:

«Сія убо суть священная и божественная таинства, яже мы, Каріинъ и Лектій и вси сущіи тамо видѣхомъ; прочее же возбрани намъ возвѣщати (прочаго же что еще видѣли, мы открыть не можемъ), якоже яви намъ архангелъ Михаилъ, повелѣвый намо идти съ братіею нашею во Іерусалимъ». Егда же сконча кійждо писати сія, вдаде Каріи писанное Аннѣ, Каіафѣ и Гамаліи, Лектій же Никодиму и Іосифу, и внезапу преобразистася предъ ними, и бѣста бѣла яко снѣгъ, и невидима бѣста. Писаніе же обою равно бѣ, и *неразличествова ни въ единомъ словеси.* Тогда весь сонмъ Іудейскій, видѣвъ сіе, дивися, и глагола другъ ко другу: во истину Сынъ Божій есть, сотворивый сія. И изыдоша отъ сонмища, плачуще и біяще перси своя, и отъидоша во свояси. Іосифъ же и Никодимъ возвѣстиста Игемону вся бывшая и написа сія Пилатъ и положи въ кивотѣ».

Вотъ почему на нѣкоторыхъ старыхъ лубочныхъ изображеніяхъ «суда» вмѣстѣ съ «старѣйшинами іудейскими» сидитъ Пилатъ въ епанчѣ, въ узкихъ штанцахъ въ обтяжку и въ шляпѣ съ перомъ въ родѣ атаманской. Тамъ же обозначается какой-то сундучокъ, въ которомъ повидимому нѣтъ никакого смысла, если не знать, что онъ спрятанъ въ «кивотѣ».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

«Вниде Пилатъ въ церковь и собравъ архіереи и книжники, повелѣ заключить двери и глагола: увидѣвъ, яко имаше книгохранительницу церковную, сего ради заклинаю вы Богомъ отецъ вашихъ, не сокройте правды отъ мене, рцыте ми, еда-ли въ писаніи обрѣтаете, яко Іисусъ, его же распясте, Сынъ Божій бѣ? Тогда повелѣста Анна и Каіафа изыти изъ церкве всѣмъ, и заключивше двери, рекоста Пилату: егда распяхомъ Іисуса, не вѣдѣхомъ его Сына Божія быти, мняще яко волхвованіи знаменія творяше. Таже по смерти его поискахомъ о еже содѣла; и обрѣтохомъ свидѣтелей мнозѣхъ отъ колѣна нашего, иже видѣша его

по страданіи и смерти; и сами видѣхомъ двою свидѣтелю, ихъ же воскреси Іисусъ отъ мертвыхъ. Тіи бо возвѣстиша намъ дивная чудеса, яко сотвори Іисусъ во адѣ; обычай же имамы на всяко лѣто искати отъ писаній свидѣтельства Божія, и обрѣтохомъ въ первой книзѣ толкованій, яко глагола архангелъ третьему сыну Адама, яко по пяти тысящахъ и пятистахъ лѣтѣхъ, имать пріити съ небесе взлюбленный сынъ Божій Христосъ; и разумѣхомъ, яко той есть Богъ Израилевъ».

Такимъ образомъ даже и для помѣщенія Пилата сидящимъ въ собраніи съ архіереями и старѣйшинами іудейскими есть письменное основаніе, къ которому первые компановщики иконы «суда» и «сошествія», конечно, отнеслись съ полнымъ довѣріемъ и критиковать его не могли, да, вѣроятно, и не желали.

Сюжетъ этотъ какъ вошелъ въ иконописный «подлинникъ», такъ и сталъ воспроизводиться, и почитался до церковной реформы за «правильное». Послѣ реформы, когда старое стали почитать за неправильное, новые «фрязьскіе мастера» начали писать икону «Воскресенья» иначе.

Апокрифъ же этотъ, изъ котораго сдѣланы выписки, объясняющія кажущуюся произвольность фантазіи русскихъ иконописцевъ, весьма многимъ изъ простолюдиновъ извѣстенъ, и вотъ что я, напримѣръ, помню о распространеніи его во время всеобщаго безграмотства среди самыхъ темныхъ, крѣпостныхъ крестьянъ въ орловской губерніи.

Въ селѣ Добрыни, гдѣ я проводилъ дѣтство, былъ діаконъ на дьячковской вакансіи. Онъ получилъ свое скромное мѣсто въ приданое за женою, бывшею дочерью уніатскаго попа или распопа, по имени Фока. Отецъ Фока былъ «изъ непокорныхъ уніатовъ». Впрочемъ, всѣ данныя для исторіи Фоки у насъ ограничивались тѣмъ, что онъ «съ митрополитомъ Сѣмашкой былъ въ школѣ товарищъ и вмѣстѣ съ нимъ на православіе подписался, но не захотѣлъ «долгихъ косъ носить», и такъ заспорилъ, что сказалъ: «я тебя переживу». Сѣмашко же будто отвѣчалъ Фокѣ: «а я тебя на высылъ представлю» Каждый и началъ доказывать другъ другу то, чѣмъ грозился. Сѣмашко удалилъ Фоку съ мѣста и «представилъ на высылъ», а Фока пошелъ его «переживать». Высылъ Фокѣ вышелъ изъ виленской губерніи въ

орловскую, гдѣ о ту пору былъ архіерей изъ южныхъ уроженцевъ,—нерасположенный къ Антонію Сѣмашкѣ. Это стеченіе обстоятельствъ послужило въ пользу Фокѣ: архіерей узналъ о бѣдственномъ положеніи голодавшаго «недовѣрка»—и «предоставилъ одной изъ его дочерей дьяческую ваканцію въ селѣ». Но этимъ еще владыка орловскій не окончилъ свою укоризну Сѣмашкѣ, а взялъ да и произвелъ Фокина зятя изъ дьячковъ въ дьяконы. Самъ же Фока какъ-то совсѣмъ отпалъ духовнаго чина, ходилъ въ «сурдутѣ» и обучалъ латинскому языку и другимъ наукамъ дѣтей у нашего предводителя, а потомъ оставался у него «вольнымъ секретаремъ». Что касается духовныхъ правъ отца Фоки, то никто не зналъ, какъ на этотъ счетъ располагать о немъ. Приходскіе батюшки не отчисляли Фоку ни къ приказнымъ, ни къ благороднымъ, но въ отличіе отъ себя называли его «распопомъ», а мужики, слышавшіе, что онъ «уніатъ»—безъ дурной мысли именовали его «тунеядомъ».

У Фоки была изрядная библіотека, въ которой находилось много книгъ почаевской и гродненской славянскихъ типографій и нѣсколько рукописей, — извлеченій и переводовъ, сдѣланныхъ самимъ отцомъ Фокою.

Когда Фока умеръ и библіотека его перешла къ его зятю діакону на дьяческой вакансіи,—тотъ устроилъ литературное сокровище Фоки сообразно своему усмотрѣнію, и только одну рукопись оставилъ себѣ «для душевной пользы», а польза заключалась въ томъ, что въ пасхальную ночь, когда дворяне, ихъ дѣти, дворовые люди и мужики, боясь ночной темноты и распутицы, прибывали изъ деревень къ церкви съ вечера и въ ожиданіи заутрени размѣщались по домамъ на поповкѣ,—тогда каждый годъ въ ригѣ у діакона составлялось прелюбопытное чтеніе, за удовольствіе слушать которое всякій «слухачъ» долженъ былъ дать три копейки на свѣчку.

Тутъ мы и получали о предстоящемъ часѣ воскресенія Христова такія любопытныя свѣдѣнія, какихъ ни въ какомъ другомъ мѣстѣ не получишь. И вотъ зато теперь намъ странно и смѣшно слышать, что чужестранцы толкуютъ, будто самая любимая икона русскаго народа «пишется по фантазіи художника», а бывшіе въ ту пору въ Парижѣ писатели наши не нашлись это поправить. Пусть, однакоже, хоть далѣе не думаютъ такъ ошибочно наши просвѣщенные люди, которымъ не пришлось раньше узнать объ этомъ.

лѣе обрадовались и заплескали въ восторгѣ ладошами. Шумъ радости и ликованія сдѣлался такъ великъ, что его услыхалъ самъ «Сатана—глава смерти», пришелъ самъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Сатана сталъ говорить съ ласкою: «Се азъ готовъ есмь пріяти Іисуса Назарянина иже непщева себѣ на земли Сыномъ Божіимъ быти». Онъ мнѣ не опасенъ. Онъ боялся смерти и говорилъ: «прискорбна есть душа моя даже до смерти». Правда, что онъ дѣлалъ мнѣ много непріятностей (сотвори пакости мнози) тѣмъ, что исцѣлялъ тѣхъ, кого я поражалъ недугами, и воскресилъ много мертвыхъ, но все это еще не страшно. Выходитъ, что Сатана не понималъ Іисуса Христа и судилъ о немъ не высоко, почитая его за смертнаго, и притомъ еще за такого, который боялся смерти и говорилъ: «прискорбна есть душа моя». Но Князь Тьмы хоть и меньше значитъ въ аду, чѣмъ Сатана, однако онъ оказался благоразумнѣе и осторожнѣе.

«Князь же ада отвѣща Сатанѣ, глаголя: како можетъ сей такову власть имѣти; аще бо человѣкъ простъ былъ? вси бо владыцы міра сего подъ державою моею суть, ихъ же поработилъ ми еси силою твоею; сей же во истину силенъ есть и не токмо за человѣчество, но и за Божество, и никто власти его противостати не можетъ. Еда же и рече сей, яко убояся смерти, не ими вѣры ему (если онъ и сказалъ, что боится смерти — то ты ему не вѣрь), злѣ-бо будетъ намъ отселѣ (худо намъ будетъ)».

Сатана же остался легкомысленникомъ, и «слышавъ сіе, отвѣща: — Онъ не можетъ противостать намъ,—я уже его искусилъ, возмутивъ противъ него ревностію и гнѣвомъ народъ Іудейскій, и Смерть прикоснулась къ нему. Не бойтесь,—я его приведу къ вамъ покорнаго».

Князь Тьмы опять сдерживаетъ пылкость Сатаны.

«Глагола Князь Тьмы: не сей ли, иже Лазаря воздвиже четвородневна, его же азъ держахъ мертва? заклинаю тя силою нашею, да не приведеши его сѣмо: яко се Богъ-Вседержитель есть, и можетъ творити вся яко же хощетъ».

А пока они между собою это переговорили, «се абіе слышанъ гласъ бысть, яко гласъ грома и бури: возмите врата князи ваши, се бо входитъ Царь славы».

Испуганный Князь Тьмы закричалъ Сатанѣ: «бѣжи ско-

рѣй и удались отъ жилищъ адовыхъ, а если ты силенъ, то сразись съ нимъ!»

Но увидавъ, что Сатана все храбрится и хочетъ самъ ввести Христа въ адъ, Князь Тьмы разсердился «и изгна Сатану отъ жилищъ своихъ и глагола клевретомъ своимъ: заключите (заприте скорѣе) врата мѣдная и противостаните». И только-что Князь Тьмы успѣлъ сдѣлать это распоряженіе, какъ «Господь въ велелѣпіи Божества и во образѣ человѣчествѣмъ вниде и осія тьму вѣчную и узы нерѣшимыя расторже».

«Тогда Смерть со клевреты своими объята бысть ужасомъ и возопи: побѣждени есьмы тобою, яко смятеніе вселилъ еси въ насъ!»

«Тогда Господь славы поверже смерть къ ногу своею, и Князя адова обезсили, и возведъ отца земнородныхъ къ свѣту». Что собственно и изображается по «подлиннику» на иконѣ «Воскресенія съ сошествіемъ».

Обезсиленный Князь Тьмы не сопротивлялся, но «начелъ укоряти Сатану: о сатано! Что восхотѣлъ еси распяти Царя славы! Не вѣси ли нынѣ, яко безуменъ еси! (узналъ ли теперь, что ты глупъ)».

Ссора и перекоръ у Князя Тьмы съ Сатаною вышли на виду у всѣхъ, и самого Іисуса Христа, который въ это время отозвался съ словомъ къ Князю Тьмы.

«Глагола Вельзевулу: отнынѣ да будетъ Сатана во власти твоей во вѣкъ, и поработаетъ ти во Адама мѣсто и сыновъ его, иже кровію моею оправдишася».

Этимъ Спаситель кончаетъ съ Сатаною и обращается къ настрадавшимся въ аду праотцамъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

«Простеръ Іисусъ десницу Свою, глаголя: пріидите ко Мнѣ вси святіи, созданныя по образу Моему, иже осуждени бывше преступленіемъ заповѣди, еже о древѣ — оживитеся нынѣ древомъ креста Моего. Князь-бо міра сего осужденъ есть и смерть попрана».

«Тогда вси святіи собрашася подъ-руку Всевышняго: «Господь же держа десницу Адама, глагола ему: миръ ти и чадомъ твоимъ».—Этотъ и послѣдующіе эпизоды изображаются на истовыхъ иконахъ «Воскресенія съ сошествіемъ».

«И припаде Адамъ къ колѣнома Господа Іисуса Христа,

моли Его со слезами, глаголя: вознесу тя Господи, яко подъялъ мя еси и возвелъ еси отъ Ада».

«Такождѐ и вси святіи, припадше къ ногу Іисусову, Господь же простре десницу, сотвори знаменіе креста надъ Адамомъ и надъ родомъ его и вземъ за руку Адама, изведе отъ ада и вси святіи съ нимъ». Это и есть тотъ ходъ въ нѣсколько разъ обороченною вереницею, которая занимаетъ средній планъ иконы.

«Царь и пророкъ Давидъ» какъ только тронулись, запѣлъ: «Воспойте Господеви пѣснь нову». Святые отвѣчали антифонами: «Слава сія будетъ всѣмъ преподобнымъ Его». «По семъ же пророкъ Аввакумъ возопи: «исшелъ еси во спасеніи людей твоихъ, спасти помазанныя твоя». Святые на отвѣтъ Аввакуму запѣли: «Благословенъ грядый во имя Господне». Итакъ: «вси святіи и пророцы» прослѣдовали изъ ада въ рай съ пѣніемъ «хвалу воздающе и идоша во слѣдъ Господа».

«Держай Господь руку Адама, введе его Архангелу Михаилу и вси идоша съ нимъ, и со славою введени быша въ рай».

Но и въ раю начинается то же недоумѣніе: тамъ тогда было всего только два обитателя, Енохъ и Илія, и они удивились, что это за огромное нашествіе и кто его ведетъ. «Два старца стаста предъ ними (пришельцами изъ ада) и вопросиша ихъ святіи: кто еста, не бо бѣста съ нами во адѣ. Единъ же отъ нихъ отвѣщавъ: азъ есмь Енохъ, а сей Илія Θезвитянинъ».

«Егда же Енохъ и Илія глаголаста сія, пріиде мужъ нѣкій страненъ, носяй крестъ на рамѣ своей, и святіи вопросиша его: Кто сей? зракъ разбойника имый, и чесо ради носиши крестъ на рамѣ своей?»

«Онъ же отвѣща: во истину разбойникъ есмь, много бо зла сотворихъ на земли, и со Іисусомъ распятъ бѣхъ, и даде ми крестъ свой—глагола: иди, и аще ангелъ, иже при вратѣхъ рая, воспретитъ ти входъ, яви ему крестъ и рцы: яко Іисусъ Христосъ, днесь распятый, присла мя къ тебѣ».

Этотъ «ст. Рахъ разбойникъ» или по неправильному обозначенію титла «Страхъ разбойникъ», или «Благоразумный разбойникъ» (котораго видимъ на картинѣ Ге) и у самыхъ воротъ рая дожидается съ крестомъ на ладони.

«Скончавшу же разбойнику глаголы сія, вси патріарси

и пророци возопиша гласомъ великимъ: Боже Вседержителю! устрой убо ему милость Твою въ раи, и постави его въ животѣ вѣчнемъ».

Этимъ оканчивается рукописаніе на хартіяхъ, на которыхъ писали сыновья Симеона, бывшіе очевидцами событій въ аду. Рукопись, которую они дали еврейскимъ архіереямъ, заключалась слѣдующимъ заявленіемъ:

«Сія убо суть священная и божественная таинства, яже мы, Каріинъ и Лектій и вси сущіи тамо видѣхомъ; прочее же возбрани намъ возвѣщати (прочаго же что еще видѣли, мы открыть не можемъ), якоже яви намъ архангелъ Михаилъ, повелѣвый намо идти съ братіею нашею во Іерусалимъ». Егда же сконча кійждо писати сія, вдаде Каріи писанное Аннѣ, Каіафѣ и Гамаліи, Лектій же Никодиму и Іосифу, и внезапу преобразистася предъ ними, и бѣста бѣла яко снѣгъ, и невидима бѣста. Писаніе же обою равно бѣ, и *неразличествова ни въ единомъ словеси.* Тогда весь сонмъ Іудейскій, видѣвъ сіе, дивися, и глагола другъ ко другу: во истину Сынъ Божій есть, сотворивый сія. И изыдоша отъ сонмища, плачуще и біяще перси своя, и отъидоша во свояси. Іосифъ же и Никодимъ возвѣстиста Игемону вся бывшая и написа сія Пилатъ и положи въ кивотѣ».

Вотъ почему на нѣкоторыхъ старыхъ лубочныхъ изображеніяхъ «суда» вмѣстѣ съ «старѣйшинами іудейскими» сидитъ Пилатъ въ епанчѣ, въ узкихъ штанцахъ въ обтяжку и въ шляпѣ съ перомъ въ родѣ атаманской. Тамъ же обозначается какой-то сундучокъ, въ которомъ повидимому нѣтъ никакого смысла, если не знать, что онъ спрятанъ въ «кивотѣ».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

«Вниде Пилатъ въ церковь и собравъ архіереи и книжники, повелѣ заключить двери и глагола: увидѣвъ, яко имаше книгохранительницу церковную, сего ради заклинаю вы Богомъ отецъ вашихъ, не сокройте правды отъ мене, рцыте ми, еда-ли въ писаніи обрѣтаете, яко Іисусъ, его же распясте, Сынъ Божій бѣ? Тогда повелѣста Анна и Каіафа изыти изъ церкве всѣмъ, и заключивше двери, рекоста Пилату: егда распяхомъ Іисуса, не вѣдѣхомъ его Сына Божія быти, мняще яко волхвованіи знаменія творяше. Тако по смерти его поискахомъ о еже содѣла; и обрѣтохомъ свидѣтелей мнозѣхъ отъ колѣна нашего, иже видѣша его жива

по страданіи и смерти; и сами видѣхомъ двою свидѣтелю, ихъ же воскреси Іисусъ отъ мертвыхъ. Тіи бо возвѣстиша намъ дивная чудеса, яко сотвори Іисусъ во адѣ; обычай же имамы на всяко лѣто искати отъ писаній свидѣтельства Божія, и обрѣтохомъ въ первой книзѣ толкованій, яко глагола архангелъ третьему сыну Адама, яко по пяти тысящахъ и пятистахъ лѣтѣхъ, имать пріити съ небесе взлюбленный сынъ Божій Христосъ; и разумѣхомъ, яко той есть Богъ Израилевъ».

Такимъ образомъ даже и для помѣщенія Пилата сидящимъ въ собраніи съ архіереями и старѣйшинами іудейскими есть письменное основаніе, къ которому первые компановщики иконы «суда» и «сошествія», конечно, отнеслись съ полнымъ довѣріемъ и критиковать его не могли, да, вѣроятно, и не желали.

Сюжетъ этотъ какъ вошелъ въ иконописный «подлинникъ», такъ и сталъ воспроизводиться, и почитался до церковной реформы за «правильное». Послѣ реформы, когда старое стали почитать за неправильное, новые «фрязьскіе мастера» начали писать икону «Воскресенья» иначе.

Апокрифъ же этотъ, изъ котораго сдѣланы выписки, объясняющія кажущуюся произвольность фантазіи русскихъ иконописцевъ, весьма многимъ изъ простолюдиновъ извѣстенъ, и вотъ что я, напримѣръ, помню о распространеніи его во время всеобщаго безграмотства среди самыхъ темныхъ, крѣпостныхъ крестьянъ въ орловской губерніи.

Въ селѣ Добрыни, гдѣ я проводилъ дѣтство, былъ діаконъ на дьячковской вакансіи. Онъ получилъ свое скромное мѣсто въ приданое за женою, бывшею дочерью уніатскаго попа или расопа, по имени Фока. Отецъ Фока былъ «изъ непокорныхъ уніатовъ». Впрочемъ, всѣ данныя для исторіи Фоки у насъ ограничивались тѣмъ, что онъ «съ митрополитомъ Сѣмашкой былъ въ школѣ товарищъ и вмѣстѣ съ нимъ на православіе подписался, но не захотѣлъ «долгихъ косъ носить», и такъ заспорилъ, что сказалъ: «я тебя переживу». Сѣмашко же будто отвѣчалъ Фокѣ: «а я тебя на высылъ представлю» Каждый и началъ доказывать другъ другу то, чѣмъ грозился. Сѣмашко удалилъ Фоку съ мѣста и «представилъ на высылъ», а Фока пошелъ его «переживать». Высылъ Фокѣ вышелъ изъ виленской губерніи въ

орловскую, гдѣ о ту пору былъ архіерей изъ южныхъ уроженцевъ,—нерасположенный къ Антонію Сѣмашкѣ. Это стеченіе обстоятельствъ послужило въ пользу Фокѣ: архіерей узналъ о бѣдственномъ положеніи голодавшаго «недовѣрка»—и «предоставилъ одной изъ его дочерей дьяческую ваканцію въ селѣ». Но этимъ еще владыка орловскій не окончилъ свою укоризну Сѣмашкѣ, а взялъ да и произвелъ Фокина зятя изъ дьячковъ въ дьяконы. Самъ же Фока какъ-то совсѣмъ отпалъ духовнаго чина, ходилъ въ «сурдутѣ» и обучалъ латинскому языку и другимъ наукамъ дѣтей у нашего предводителя, а потомъ оставался у него «вольнымъ секретаремъ». Что касается духовныхъ правъ отца Фоки, то никто не зналъ, какъ на этотъ счетъ располагать о немъ. Приходскіе батюшки не отчисляли Фоку ни къ приказнымъ, ни къ благороднымъ, но въ отличіе отъ себя называли его «распопомъ», а мужики, слышавшіе, что онъ «уніатъ»—безъ дурной мысли именовали его «тунеядомъ».

У Фоки была изрядная библіотека, въ которой находилось много книгъ почаевской и гродненской славянскихъ типографій и нѣсколько рукописей, — извлеченій и переводовъ, сдѣланныхъ самимъ отцомъ Фокою.

Когда Фока умеръ и библіотека его перешла къ его зятю діакону на дьяческой вакансіи,—тотъ устроилъ литературное сокровище Фоки сообразно своему усмотрѣнію, и только одну рукопись оставилъ себѣ «для душевной пользы», а польза заключалась въ томъ, что въ пасхальную ночь, когда дворяне, ихъ дѣти, дворовые люди и мужики, боясь ночной темноты и распутицы, прибывали изъ деревень къ церкви съ вечера и въ ожиданіи заутрени размѣщались по домамъ на поповкѣ,—тогда каждый годъ въ ригѣ у діакона составлялось прелюбопытное чтеніе, за удовольствіе слушать которое всякій «слухачъ» долженъ былъ дать три копейки на свѣчку.

Тутъ мы и получали о предстоящемъ часѣ воскресенія Христова такія любопытныя свѣдѣнія, какихъ ни въ какомъ другомъ мѣстѣ не получишь. И вотъ зато теперь намъ странно и смѣшно слышать, что чужестранцы толкуютъ, будто самая любимая икона русскаго народа «пишется по фантазіи художника», а бывшіе въ ту пору въ Парижѣ писатели наши не нашлись это поправить. Пусть, однакоже, хоть далѣе не думаютъ такъ ошибочно наши просвѣщенные люди, которымъ не пришлось раньше узнать объ этомъ.

Оглавленіе

XXI ТОМА.

стр.

Разсказы кстати:

Дама и фёфела 3
Голосъ природы. 47
Сибирскія картинки XVIII-го вѣка. (Изъ дѣлъ сибирской старины). 56
Вдохновенные бродяги. (Удалецкія «скаски») 111
Сошествіе во адъ. (Апокрифическое сказаніе) 146

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

НЕКРЕЩЕНЫЙ ПОПЪ.

НЕВѢРОЯТНОЕ СОБЫТІЕ.

(Легендарный случай).

Разсказъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ своемъ пріятельскомъ кружкѣ мы остановились надъ слѣдующимъ газетнымъ извѣстіемъ:

«Въ одномъ селѣ священникъ выдавалъ замужъ дочь. Разумѣется, пиръ былъ на славу, всѣ подпили порядкомъ и веселились по-сельскому, по-домашнему. Между прочимъ, мѣстный діаконъ оказался любителемъ хореграфическаго искусства и, празднуя веселье, «веселыми ногами», въ одушевленіи, отхваталъ передъ гостями *трепака*, чѣмъ всѣхъ привелъ въ немалый восторгъ. На бѣду на томъ же пиру былъ благочинный, которому такое дѣяніе діакона показалось весьма оскорбительнымъ, заслуживающимъ высшей мѣры взысканія, и въ ревности своей благочинный настрочилъ доносъ архіерею о томъ, какъ діаконъ на свадьбѣ у священника «ударилъ трепака». Архіепископъ Игнатій, получивъ доносъ, написалъ такую резолюцію:

«Діаконъ N «*ударилъ трепака*»...
Но *трепакъ* не проситъ;
Зачѣмъ же благочинный доноситъ?
Вызвать благочиннаго въ консисторію и допросить».

«Дѣло окончилось тѣмъ, что доноситель, проѣхавъ полтораста верстъ и не мало израсходовавъ денегъ на поѣздку, возвратился домой съ внушеніемъ, что благочинному слѣ-

довало бы на мѣстѣ, словесно, сдѣлать внушеніе діакону, а не заводить кляузъ изъ-за *одного*—и притомъ исключительнаго случая».

Когда это было прочитано, всѣ единогласно поспѣшили выразить полное сочувствіе оригинальной резолюціи пр. Игнатія, но одинъ изъ насъ, большой знатокъ клироваго быта, имѣющій всегда въ своей памяти богатый запасъ анекдотовъ изъ этой своеобычной среды, вставилъ:

— Хорошо-то это, господа, пускай и хорошо: благочинному дѣйствительно не слѣдовало «заводить кляузъ изъ-за *одного*, и притомъ исключительнаго случая»; но случай случаю рознь, и то, что мы сейчасъ прочитали, приводитъ мнѣ на память другой случай, донося о которомъ благочинный поставилъ своего архіерея въ гораздо бо́льшее затрудненіе, но однако и тамъ дѣло сошло съ рукъ.

Мы, разумѣется, попросили своего собесѣдника разсказать намъ его затруднительный случай, и услыхали отъ него слѣдующее.

Дѣло, о которомъ по вашей просьбѣ надо вамъ разсказывать, началось въ первые годы царствованія императора Николая Павловича, а разыгралось уже при концѣ его царствованія, въ самые суматошные дни нашихъ крымскихъ неудачъ. За тогдашними, большой важности событіями, которыя такъ естественно овладѣли всеобщимъ вниманіемъ въ Россіи, казусное дѣло о «некрещеномъ попѣ» свертѣлось подъ шумокъ и хранится теперь только въ памяти остающихся до сихъ поръ въ живыхъ лицъ этой замысловатой исторіи, получившей уже характеръ занимательной легенды новѣйшаго происхожденія.

Такъ какъ дѣло это въ своемъ мѣстѣ весьма многимъ извѣстно, и главное лицо, въ немъ участвующее, до сихъ поръ благополучно здравствуетъ, то вы должны меня извинить, что я не буду указывать мѣсто дѣйствія съ большою точностію и стану избѣгать называть лица ихъ настоящими именами. Скажу вамъ только, что это было на югѣ Россіи, среди малороссійскаго населенія, и касается некрещенаго попа, отца Саввы, весьма хорошаго, благочестиваго человѣка, который и до сихъ поръ благополучно здравствуетъ и священствуетъ и весьма любимъ и начальствомъ, и своимъ мирнымъ сельскимъ приходомъ.

Кромѣ собственнаго имени отца Саввы, которому я не

вижу нужды давать псевдонимъ, всѣ другія имена лицъ и мѣстъ я буду ставить иныя, а не дѣйствительныя.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Итакъ, въ одномъ малороссійскомъ казачьемъ селѣ, которое мы, пожалуй, назовемъ хоть Парипсами, жилъ богатый казакъ Петро Захаровичъ, по прозвищу Дукачъ. Человѣкъ онъ былъ уже въ лѣтахъ, очень богатый, бездѣтный и грозный-прегрозный. Не былъ онъ *міроѣдомъ*, въ великорусскомъ смыслѣ этого слова, потому что въ малороссійскихъ селахъ міроѣдство на великорусскій ладъ неизвѣстно, а былъ, что называется, *дукачъ* — человѣкъ тяжелый, сварливый и дерзкій. Всѣ его боялись и при встрѣчѣ съ нимъ открещивались, поспѣшно переходили на другую сторону, чтобы Дукачъ не обругалъ, а при случаѣ, если его сила возьметъ, даже и не побилъ. Родовое его имя, какъ это нерѣдко въ селахъ бываетъ, всѣми, самымъ капитальнымъ образомъ, было позабыто и замѣнено уличною кличкою и прозвищемъ — «Дукачъ», что выражало его непріятныя житейскія свойства. Эта обидная кличка, конечно, не содѣйствовала смягченію нрава Петра Захарыча, а напротивъ, еще болѣе его раздражала и доводила до такого состоянія, въ которомъ онъ, будучи отъ природы весьма умнымъ человѣкомъ, терялъ самообладаніе и весь разсудокъ и метался на людей какъ бѣсноватый.

Стоило завидѣвшимъ его гдѣ-нибудь играющимъ дѣтямъ въ перепугѣ броситься врозсыпь, съ крикомъ: «ой, лышенько, старый Дукачъ иде», какъ уже этотъ перепугъ оказывался не напраснымъ: старый Дукачъ бросался въ погоню за разбѣгающимися ребятишками со своею длинною палкою, какую приличествуетъ имѣть въ рукахъ настоящему степенному малороссійскому казаку, или съ случайно сорванною съ дерева хворостиною. Дукача, впрочемъ, боялись и не одни дѣти: его, какъ я сказалъ, старались подальше обходить и взрослые, — «абы до чого не прычепывся». Такой это былъ человѣкъ. Дукача никто не любилъ и никто ему не сулилъ ни въ глаза, ни за глаза никакихъ благожеланій, напротивъ, всѣ думали, что Небо только по непонятному упущенію коснитъ давно разразить сварливаго казака вдребезги такъ, чтобы и потроха его не осталось, и всякій, кто какъ могъ, охотно бы постарался поправить

это упущеніе Промысла, если бы Дукачу, какъ на зло, отвсюду незримо «не перло счастье». Во всемъ ему была удача,—все точно само шло въ его желѣзныя руки: огромныя стада его овецъ плодились какъ стада Лавановы при досмотрѣ Іакова. Для нихъ уже вблизи и степей не доставало; полóвые, крутороrіе волы Дукача сильны, рослы и тоже чуть не сотнями паръ ходили въ новыхъ возахъ то въ Москву, то въ Крымъ, то въ Нѣжинъ; а пчелиная пасѣка въ своемъ липнякѣ, въ теплой запуши была такая, что колодки надо было считать сотнями. Словомъ, богатство по казачьему званію — несмѣтное. И за что все это Богъ далъ Дукачу? Люди только удивлялись и успокоивали себя тѣмъ, что все это не къ добру, что Богъ, навѣрное, этакъ «манитъ» Дукача, чтобы онъ больше возвеличался, а потомъ его и «стукнетъ», да ужъ такъ стукнетъ, что на всю околицу слышно будетъ.

Ждали добрые люди этой расправы надъ лихимъ казакомъ съ нетерпѣніемъ, но годы шли за годами, а Богъ Дукача не стукалъ. Казакъ все богатѣлъ и кичился, и ни откуда ничто ему достойное его лютовства не угрожало. Общественная совѣсть была сильно смущена этимъ. Тѣмъ болѣе, что о Дукачѣ нельзя было сказать, что ему отплатится на дѣтяхъ: дѣтей у него не было. Но вотъ вдругъ старая Дукачиха стала чего-то избѣгать людей, — она конфузилась или, по-мѣстному, «соромылась»,—не выходила на улицу, и вслѣдъ затѣмъ по околицѣ разнеслась новость, что Дукачиха «непорожня».

Умы встрепенулись и языки заговорили: давно утомленная ожиданіемъ общественная совѣсть ждала себѣ близкаго удовлетворенія.

— Що-то буде за дитына! що-то буде за дитына антихристова? И чи воно родыться, чи такъ и пропаде въ жывоти, щобъ ему пе бачыть билаго свиту!

Ждали этого всѣ съ нетерпѣніемъ и, наконецъ, дождались: въ одну морозную декабрьскую ночь, въ просторной хатѣ Дукача, въ священныхъ мукахъ родового страданія, явился ребенокъ.

Новый жилецъ этого міра былъ мальчикъ, и притомъ, безъ всякаго звѣровиднаго уродства, какъ хотѣлось всѣмъ добрымъ людямъ; а напротивъ, необыкновенно чистенькій и красивый, съ черною головкою и большими голубыми глазками.

Бабку Керасиху, которая первая вынесла эту новость на улицу и клялась, что у ребенка нѣтъ ни рожковъ, ни хвостика, оплевали и хотѣли побить, а дитя все-таки осталось хорошенькое - прехорошенькое и къ тому же еще удивительно смирное: дышало себѣ потихонечку, а кричать точно стыдилось.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Когда Богъ даровалъ этого мальчика, Дукачъ, какъ выше сказано, былъ уже близокъ къ своему закату. Лѣтъ ему въ ту пору было, можетъ-быть, болѣе пятидесяти. Извѣстно, что пожилые отцы горячо принимаютъ такую новость, какъ рожденіе перваго ребенка, да еще сына, наслѣдника имени и богатства. И Дукачъ былъ этимъ событіемъ очень обрадованъ,—но выражалъ это, какъ позволяла ему его суровая натура. Прежде всего, онъ призвалъ къ себѣ жившаго у него бездомнаго племянника, по имени Агапа, и объявилъ ему, чтобы онъ теперь уже не дулъ губу на дядино наслѣдство, потому что теперь уже Богъ послалъ къ его «худоби» настоящаго наслѣдника, а потомъ приказалъ этому Агапу, чтобы онъ сейчасъ же снарядился въ новый чепанъ и шапку и готовился, чуть забрезжитъ заря, идти съ посыломъ до заѣзжаго судейскаго паныча и до молодой поповны,—звать ихъ въ кумовья.

Агапу тоже уже было лѣтъ подъ сорокъ, но онъ былъ человѣкъ загнанный и смотрѣлъ съ виду цыпленкомъ съ зачичкавшеюся головенкою, на которой у него сбоку была пресмѣшная лысина, тоже дѣло руки Дукача.

Когда Агапъ въ отрочествѣ осиротѣлъ и былъ взятъ въ Дукачевъ домъ, онъ былъ живой и даже шустрый ребенокъ, и представлялъ для дяди ту выгоду, что зналъ грамотѣ. Чтобы не кормить даромъ племянника, Дукачъ съ перваго же года сталъ посылать его со своими чумаками въ Одессу. И когда Агапъ, одинъ разъ возвратясь домой, сдалъ дядѣ отчетъ и показалъ расходъ на новую шапку, Дукачъ осердился, что тотъ смѣлъ самовольно сдѣлать такую покупку, и такъ жестоко побилъ парня по шеѣ, что она у него очень долго болѣла и потомъ навсегда немножко скособочилась; а шапку Дукачъ отобралъ и повѣсилъ на гвоздь, пока ее моль съѣсть. Кривошей-Агапъ ходилъ годъ безъ шапки и былъ у всѣхъ добрыхъ людей «посміхачемъ». Въ это время

онъ много и горько плакалъ, и имѣлъ досугъ надуматься, какъ помочь своей нуждѣ. Самъ онъ уже давно отупѣлъ отъ гоненій, но люди наговорили ему, что онъ могъ бы съ своимъ дядькомъ справиться, только не такъ просто, черезъ прямоту, а черезъ «полытыку». И именно черезъ такую политику, тонкую, чтобы шапку купить, а расходъ на нее не показывать, а такъ «расписать» тѣ деньги гдѣнибудь понемножечку, по другимъ статьямъ. А ко всему этому, на всякій случай, идучи къ дядѣ, взять самое длинное полотенце, да въ нѣсколько разъ обмотать имъ себѣ шею, чтобы, если Дукачъ станетъ драться, то не было бы очень больно. Агапъ взялъ себѣ на умъ эту науку, и вотъ черезъ годъ, когда дядя погналъ его опять въ Нѣжинъ, онъ ушелъ безъ шапки, а вернулся и съ отчетомъ, и съ шапкою, которой ни въ какихъ расходахъ не значилось. Дукачъ спервоначала этого и не замѣтилъ, и даже было похвалилъ племянника, сказавъ ему: «Треба-бъ тебе побиты, да ни за що». Но тутъ бѣсъ и дернулъ Агапа показать дядьку, какъ несправедлива на свѣтѣ человѣческая правда! Онъ попробовалъ, хорошо ли у него намотано на шеѣ длинное полотенце, которое должно было служить для его политическихъ соображеній, и, найдя его въ добромъ порядкѣ, молвилъ дядѣ:

— Эге, дядьку, добре! ни за що биты! Ось така-то правда на свити!

— А яка-жъ правда?

— А ось яка правда: выбачайте дядьку. — И Агапъ, щелкнувъ по бумажкѣ, сказалъ:—нема тутъ шапки?

— Ну, нема,—отвѣчалъ Дукачъ.

— А отъ же и есть шапка,—похвалился Агапъ и насадилъ набекрень свою новую франтовскую шапку изъ рѣшетиловскихъ смушекъ.

Дукачъ посмотрѣлъ и говоритъ·

— Добра шапка. А ну дай и мени помирять.

Надѣлъ на себя шапку, подошелъ къ осколку зеркальца, вправленному въ досточку, оклеенную яркою пестрою бумажкою, тряхнулъ сѣдою головою и опять говоритъ:

— А до лиха, бачь и справди така добрая шапка, що хочь бы и мени, то було бъ добре въ ии ходыти.

— А ничего соби, добре бъ було.

— И де ты ии, вражій сынъ, украв?

— Що вы, дядьку, на що я буду красты! — отвѣчалъ Агапъ:—нехай отъ сего Богъ бороныть, я зроду не кравъ.

— А де жъ ты іи ухопывъ?

Но Агапъ отвѣтилъ, что онъ совсѣмъ шапки не хапалъ, а такъ себѣ, просто ее досталъ черезъ полытыку.

Дукачу это показалось такъ смѣшно и невѣроятно, что онъ разсмѣялся и сказалъ:

— Да ну годи вже тебѣ дурню: де таки тоби робыть полытыку?

— А отъ же и сробывъ.

— Ну мовчи.

— Ей-Богу удѣлалъ.

Дукачъ только молча погрозилъ ему пальцемъ; но тотъ стоитъ на своемъ, что онъ «полытыку удѣлалъ».

— И де въ чорта, та пыха у тебя взялась въ голови, — заговорилъ Дукачъ: — де же сему дилу буть, щобы ты, такій сельскій квакъ, да въ Нѣжинѣ могъ полытыку дѣлать?

Но Агапъ стоялъ на своемъ, что онъ дѣйствительно удѣлалъ полытыку.

Дукачъ велѣлъ Агапу сѣсть и все какъ есть про сдѣланную имъ политику разсказывать, а самъ налилъ себѣ въ плошку сливяной наливки, запалилъ люльку и приготовился долго слушать. Но долго слушать было нечего. Агапъ повторилъ дядѣ весь свой отчетъ и говоритъ:

— Нэма тутъ шапки?

— Ну, нэма, — отвѣчалъ Дукачъ.

— А вотъ же тутъ и есть шапка!

И онъ открылъ, что̀ именно, сколько копеекъ и къ какой расходной статьѣ имъ присчитано, и говорилъ онъ все это весело, съ открытою душою и съ полною надеждою на туго намотанное на шеѣ полотенце; но тутъ-то и случилась самая непредвидѣнная неожиданность: Дукачъ, вмѣсто того, чтобы побить племянника по шеѣ, сказалъ:

— Ишь ты и справди якый полытыкъ: укравъ, да и шию закрутывъ, щобъ не больно було. Ну, такъ я же тоби дамъ другую полытыку, — и съ этимъ онъ дернулъ клокъ волосъ, замершій у него въ рукѣ.

Такъ кончилась эта политическая игра дяди съ племянникомъ и, сдѣлавшись извѣстной на селѣ, укрѣпила за Дукачемъ еще болѣе твердую репутацію, что этотъ чело-

вѣкъ «якъ каминь» — ничѣмъ его не возьмешь: ни прямотою, ни политикою.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Дукачъ всегда жилъ одиноко: онъ ни къ кому не ходилъ, да и съ нимъ никто не хотѣлъ близко знаться. Но Дукачъ объ этомъ, повидимому, нимало и не скорбѣлъ. Можетъ-быть, ему это даже нравилось. По крайней мѣрѣ, онъ не безъ удовольствія говаривалъ, что въ жизнь свою никому не кланялся и не поклонится,—и случая такого не чаялъ, который могъ бы заставить его поклониться. Да и въ самомъ дѣлѣ и изъ-за чего онъ сталъ бы кого-нибудь заискивать? Воловъ и всякой худобы много; а если этимъ Богъ накажетъ, — волы попадаютъ или что-пожаромъ сгоритъ, такъ у него вволю и земли, и луговъ, — все въ порядкѣ, все опять снова уродится, и онъ снова разбогатѣетъ. А хоть бы и не такъ, то онъ хорошо зналъ въ дальнемъ лѣсу одинъ примѣтный дубъ, подъ которымъ закопанъ добрый казанокъ съ старыми рублевиками. Стоитъ его достать оттуда, такъ и безъ всякихъ хлопотъ можно цѣлый вѣкъ жить, и то не прожить. Что же значили ему люди? Дѣтей, что ли, ему съ ними крестить,—но у него дѣтей не было. Или для того, чтобы утѣшить свою Дукачиху, которая по бабьей прихоти приставала:

— Что, молъ, насъ всѣ боятся, да намъ завидуютъ, — лучше бы сдѣлать, чтобы насъ кто-нибудь любить сталъ.

Но стоило ли это бабье нытье казачьяго вниманія.

И вотъ шли года за годами, пронося надъ головою Дукача безвредно всякія житейскія случайности и невзгоды, а случай, который могъ заставить его поклониться людямъ, все-таки его не облетѣлъ мимо: теперь люди ему понадобились, чтобы дитя крестить.

Всякому иному, не такому гордому человѣку, какъ Дукачъ, это, разумѣется, ничего бы не составляло, но Дукачу ходить, звать, да еще упрашивать было не подъ стать. Да еще кого звать и кого «упрашивать»? — Ужъ разумѣется не кого-нибудь, а самыхъ первыхъ людей: молодую поповну-щеголиху, которая ходила въ деревнѣ въ полтавскихъ шляпкахъ, да судового паныча, что гостилъ объ эту пору у отца дьякона. Положимъ, это компанія хорошая, но что-то страшно: ну какъ они откажутъ? Дукачъ помнилъ,

что вѣдь не обращалъ вниманія онъ не только на простыхъ людей, но не уважалъ и отцу Якову, а съ дьякономъ прямо одинъ разъ на греблѣ «бился» за то, что тотъ, ѣдучи ему навстрѣчу, не хотѣлъ съ дороги въ грязь своротить. Чего добраго, и они этого не позабыли и теперь, — когда гордому казаку пришла въ нихъ нужда, — они ему это, пожалуй, и вспомнятъ. Дѣлать, однако, было нечего. Дукачъ поднялся на хитрость: избѣгая самолично встрѣтить отказъ, онъ послалъ звать кумовьевъ Агапа. А чтобы и тому было повадне, снабдилъ его званными дарами деревенскаго припасенія, которые вынулъ изъ завѣтной скрыни: панночкѣ высокій черепаховый гребень «съ огородомъ», а панычу золоченую склянку цѣтухомъ съ нѣмецкою подписью. Но все это вышло напрасно: кумовья отказались и даровъ не приняли; да еще, по словамъ Агапа, и въ глаза ему насмѣялись: что, дескать, чего Дукачъ и заботится: развѣ дѣтей такихъ злодѣевъ, какъ онъ, можно крестить? А когда Агапъ замѣтилъ, что неужто дитя цѣлую недѣлю останется не крещено, то будто самъ попъ — отецъ Яковъ — прямо пророковалъ: что не недѣлю, а цѣлый вѣкъ ему оставаться некрещенымъ.

Услыхавъ это, Дукачъ сложилъ правою рукою дулю, сунулъ ее племяннику въ носъ и велѣлъ поднести это за пророчество отцу Якову. А чтобы Агапу веселѣе было идти, — повернулъ его другою рукою и выпроводилъ по потылицѣ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Агапъ, разумѣется, не считалъ этого за самый худшій исходъ, какого онъ могъ ожидать за свое неудачное посольство, и, закатясь съ дядиныхъ глазъ въ корчму, успѣлъ разсказать бывшее такъ хорошо, что черезъ полчаса объ этомъ знало все селеніе, и всѣ, отъ мала до велика, радовались тому, что отецъ Яковъ «въ книгахъ вычиталъ, якъ Дукаченку на роду писано остаться некрещенымъ». И если бы теперь старый Дукачъ забылъ всю свою важность и сталъ звать послѣдняго изъ послѣднихъ на селѣ, то онъ навѣрно бы никого не дозвался, но Дукачъ это зналъ; — онъ зналъ, что находился въ положеніи того волка, который всѣмъ чѣмъ-нибудь нагадилъ, и что ему потому некуда дѣться и не отъ кого искать защиты. Онъ пошелъ напро-

ломъ: сунувъ къ носу Агапа дулю, адресованную отцу Якову, онъ рѣшилъ обойтись не только безъ содѣйствія всѣхъ своихъ односельчанъ, но и безъ услугъ самого отца Якова.

На зло всѣмъ, но, можетъ-быть, особенно отцу Якову, Дукачъ рѣшилъ окрестить сына въ чужомъ приходѣ, въ селѣ Перегудахъ, которое отстояло отъ Парипсъ не болѣе какъ на семь или на восемь верстъ. А чтобы не откладывать спѣшнаго дѣла въ долгій ящикъ, — окрестить сына немедленно, а именно нынче же,—чтобы завтра объ этомъ и разговоровъ не было; а напротивъ, чтобы завтра же всѣ знали, что Дукачъ настоящій казакъ, который никому въ насмѣшку не дается и можетъ безъ всѣхъ обойтись. Кумъ у него уже былъ избранъ, — самый неожиданный, — это Агапъ. Правда, что такой выборъ многихъ могъ удивить, но на то у Дукача былъ отводъ: онъ бралъ простыхъ кумовьевъ, — «встрѣчныхъ», какъ на то есть повѣрье, что такихъ Богъ посылаетъ. Агапъ и взаправду былъ первый «встрѣчникъ», на котораго богатый казакъ на перваго взглянулъ при извѣстіи о новорожденномъ; а первая «встрѣчница» была бабка Керасивна. Ее взять въ кумы было немножко неловко, потому что Керасивна имѣла несовсѣмъ стройную репутацію: она была самая несомнѣнная вѣдьма, — столь несомнѣнная, что этого не отрицалъ даже самъ ея мужъ, очень ревнивый казакъ Керасенко, изъ котораго эта хитрая жинка весь духъ и всю его нестерпимую ревность выбила. Обратя его въ самаго битаго дурня, жила она на всей своей вольной волѣ,—немножко шинкуя, немножко промышляя то повитушествомъ, то продажею паляницъ, то, наконецъ, просто «срывая цвѣты удовольствій».

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Вѣдьмовство ея знали и старъ и малъ, — потому что случай, обнаружившій это, былъ самый гласный и скандальный. Керасивна еще въ дивчинахъ была безстрашная самовольница, — жила въ городахъ и имѣла какую-то мудренаго вида скляницу съ рогатымъ чортомъ, которую ей подарилъ рогачевскій дворянинъ съ Покоти, отливавшій такія чертовщины въ сосѣдней гутѣ. И Керасивна пила себѣ на здоровье изъ этой скляницы и была здорова. И, наконецъ, мало всего этого, — она показала самую невоз-

можную отвагу, добровольно согласясь выйти замужъ за Керасенка. Этого никто не могъ сдѣлать кромѣ женщины, которая ничего не боится, потому что Керасенко, завѣдомо, уже уморилъ своею ревностью двухъ женъ, и когда нигдѣ въ окрестности не могъ найти себѣ третьей, то тогда эта окаянная Христя сама ему набилась и вышла за него, только такое условіе сдѣлала, что онъ ей всегда будетъ вѣрить. Керасенко на это согласился, а самъ думалъ:

«Дура баба: такъ я тебѣ и стану вѣрить! — дай женюсь, — я тебя и на шагъ отъ себя не отпущу».

Всякая бы на мѣстѣ Христи это предвидѣла, но эта шустрая дивчина словно оглупѣла: и не только ничего не побоялась и вышла за ревниваго вдовца, да еще взяла и совсѣмъ его передѣлала, такъ что онъ вовсе пересталъ ее ревновать и далъ ей жить на всей ея вольной волѣ. Вотъ это-то и было устроено самымъ коварнымъ вѣдьмовствомъ и при несомнѣнномъ участіи чорта, котораго сосѣдка Керасивны, Пиднебесная, сама видѣла въ образѣ человѣческомъ.

Это было вскорѣ же послѣ того, какъ Керасенко женился на бойкой Христѣ, и хоть тому теперь прошелъ уже добрый десятокъ лѣтъ, однако бѣдный казакъ, конечно, и о сю пору хорошо помнилъ этотъ чертовскій случай. Было это зимою, подъ вечеръ на праздникахъ, когда никакому казаку, хоть бы и самому ревнивому, не вмочь усидѣть дома. А Керасенко и самъ «нудилъ свитомъ» и жену никуда не пускалъ, и произошла у нихъ изъ-за этого баталія, при которой Керасивна сказала мужу:

— Ну, якъ ты выйшовъ на своемъ словѣ невірный, то я же тебѣ зроблю лихо.

— Якъ лихо! якъ ты мени лихо зробишь? — заговорилъ Керасенко.

— А зроблю да и усе тутъ буде.

— А якъ я тебе зъ очей не выпущу?

— А я на тебе мару напущу.

— Якъ мару? — хиба ты видьма?

— А отъ побачишь чи я видьма, чи я ни видьма.

— Добре.

— Отъ побачишь: дивись на мене, держись за мене, а я свое зроблю.

И еще срокъ назначила:

— Три дня, — говоритъ, не пройдетъ, — какъ сдѣлаю.

Казакъ сидитъ день, сидитъ два, просидѣлъ и третій до самаго до вечера и думаетъ: «срокъ кончился, а щобъ мене сто чортіевъ сразу взяли, якъ дома скучно... а Пиднебеснихинъ шинокъ якъ разъ противъ моей хаты, изъ оконъ въ окна: — мині звідтиль все видно будетъ, якъ кто-нибудь пойдетъ ко мнѣ въ хату. А я тѣмъ часомъ тамъ выпью двѣ-три або четыре чвертки... послухаю, що люди гомонятъ, що въ городу чуть... и потанцюю,—позабавлюся».

И онъ пошелъ, — пошелъ и сѣлъ, какъ думалъ, у окна, такъ что ему видно всю свою хату, видно, какъ огонь горитъ; видно, какъ жинка тамъ и сямъ мотается. Чудесно! И Керасенко сѣлъ себѣ, да попиваетъ, а самъ все на свою хату посматриваетъ; но откуда ни возьмись сама вдова Пиднебесная замѣтила эту его продѣлку, да и ну надъ нимъ подтрунивать: эхъ, молъ, такой-сякой, ты глупый казакъ, — чего ты смотришь, — въ жизнь того не усмотришь.

— Ну добре, — ще побачимъ!

— Нічого и бачить, — де за нами, жинками, больше смотрятъ, тамъ намъ жинкамъ самъ бисъ помогае.

— Говори-ка, говори себѣ,—отвѣчалъ казакъ:—а якъ я самъ на жинку дивитимусь, то коло ии и чортъ ничего не зробыть.

Тутъ всѣ и закивали головами.

— Ахъ, нехорошо такъ, Керасенко, ахъ нехорошо!—или ты некрещеный человѣкъ, или ты до того осатанѣлъ, что и въ самого бѣса не вѣруешь.

И всѣ этимъ такъ возмутились, что даже кто-то изъ толпы крикнулъ:

— Да що еще на него смотрѣть: дать ему такого прочухана, щобъ вінъ тричі перевернувся и на добру виру ставъ.

И его дѣйствительно чуть не побили, къ чему, какъ онъ замѣтилъ, особенное стремленіе имѣлъ какой-то чужой человѣкъ, о которомъ Керасенку вдругъ ни съ того, ни съ сего вздумалось, что это не кто иной, какъ тотъ самый рогачевскій дворянинъ, который подарилъ его женѣ склянку съ чортомъ и изъ-за котораго у нихъ съ женою передъ самою свадьбою было объясненіе, окончившееся условіемъ, чтобы объ этомъ человѣкѣ больше уже не разговаривать.

Условіе было заключено страшной клятвой, что если Ке-

расенко хоть разъ вспомнитъ про дворянина, то будетъ онъ тогда за это у чорта въ зубахъ. И Керасенко это условіе помнилъ. Но только теперь онъ былъ пьянъ и не могъ снѣсть своего замѣшательства: зачѣмъ тутъ явился рогачевскій дворянинъ? И онъ поспѣшилъ домой, но дома не засталъ жены, и это ему показалось еще несообразнѣе.

«Не вспоминать-то,—думалъ онъ,—это точно мы условились о немъ не вспоминать, а на что же онъ тутъ вертится, — и зачѣмъ моей жены дома нѣтъ?»

И когда Керасенко находился въ такихъ размышленіяхъ, ему вдругъ показалось, что у него въ сѣняхъ за дверью кто-то поцѣловался. Онъ встрепенулся и сталъ прислушиваться... слышитъ, еще поцѣлуй и еще, и шопотъ, и опять поцѣлуй. И все какъ разъ у самой у двери...

— Э, до ста чертей,—сказалъ себѣ Керасенко:—или это я съ отвычки горилки такъ славно наугощался у Пиднебеснихи, что мнѣ чортъ знаетъ что показывается;—или это моя жинка пронюхала, что я про рогачевскаго шляхтича съ нею хочу спорить и вже успѣла на меня мару напустить? Люди мнѣ уже не разъ прежде говорили, что она у меня вѣдьма, да только я этого доглядѣться не успѣлъ, а теперь... ишь опять цѣлуются, о... о... о... вотъ опять и опять... А, стой же, я тебя подкараулю!

Казакъ спустился съ лавки, подползъ тихо къ двери и, припавъ ухомъ къ пазу, сталъ слушать: цѣлуются, несомнѣнно, цѣлуются, — такъ губами и чмокаютъ... А вотъ и разговоръ, и это живой голосъ его жены; онъ слышитъ, какъ она говоритъ:

— Що тоби мой мужъ, такій-сякій поганецъ: я его прожену, а тебе въ хату пущу.

«Ого! — подумалъ Керасенко, — это она еще меня хвалится выгнать, а въ мою хату кого-то впустить хочетъ... Ну, ужъ этого не будетъ».

И онъ поднялся, чтобы сильнымъ толчкомъ распахнуть дверь, но дверь сама растворилась и на порогѣ предстала Керасивна, — такая хорошая, спокойная, только немножко будто красная, и сразу же принялась ссориться, какъ пристойно настоящей малороссійской жинкѣ. Назвала она его чортовымъ сыномъ, и пьяницей, и собакой, и многими другими именами, а въ заключеніе напомнила ему объ ихъ условіи, чтобы Керасенко и думать не смѣлъ ее ревновать.

А въ доказательство своего къ ней довѣрія сейчасъ же пустилъ бы ее на вечерницы. Иначе она ему такую штуку устроитъ, что онъ будетъ вѣкъ помнить. Но Керасенко былъ малый не промахъ: пустить на вечерницы сейчасъ послѣ того, какъ онъ своими глазами видѣлъ у Пиднебесныхи рогачевскаго дворянина и сейчасъ слышалъ, какъ его жена съ кѣмъ-то цѣловалась и сговаривалась кого-то пустить въ хату... Это ему, разумѣется, представилось уже слишкомъ очевидною глупостью.

— Нѣтъ, — сказалъ онъ: — ты поищи такого дурня въ другомъ мѣстѣ, а я хочу лучше тебя дома припереть да спать лечь. Такъ оно надежнѣе будетъ: тогда я и твоей мары не испугаюсь.

Керасивна, услыхавъ эти слова, даже поблѣднѣла; мужъ съ нею первый разъ заговорилъ въ такомъ тонѣ и она понимала, что это насталъ въ ея супружеской политикѣ самый рѣшительный моментъ, который, во что бы то ни стало, надо выиграть: или все, что она вела до сихъ поръ съ такою ловкостью и настойчивостью,—пропало безслѣдно и, пожалуй, еще обратится на ея же голову.

И она вспрянула,—вспрянула во весь свой ростъ, ткнула казаку въ носъ самую оскорбительную дулю и хотѣла, не долго думая, махнуть за дверь, но тотъ отгадалъ ея намѣреніе и предупредилъ его, замкнувъ дверь на цѣпочку, и, опустивъ ключъ въ безконечный карманъ своихъ широчайшихъ шароваръ, съ возмутительнымъ спокойствіемъ сказалъ:

— Вотъ тебѣ и вся твоя дорога, отъ печи да до порога.

Положеніе Керасивны обозначилось еще рѣшительнѣе: она приняла вызовъ мужа и впала въ такое неописанное и страшное экстатическое состояніе, что Керасенко даже испугался. Христя долго стояла на одномъ мѣстѣ, вся вздрагивая и вытягиваясь какъ змѣя, при чемъ руки ея корчились, кулаки были крѣпко сжаты, а въ горлѣ что-то щелкало и по лицу ходили то бѣлыя, то багровыя пятна, межъ тѣмъ какъ устремленные въ упоръ на мужа глаза становились острѣе ножей и вдругъ заиграли совсѣмъ краснымъ пламенемъ.

Это показалось казаку такъ страшно, что онъ, не желая видѣть жены въ этомъ бѣшенствѣ, крикнулъ:

— Цуръ тоби, проклятая видьма! — и, дунувъ на огонь, сразу погасилъ свѣтло.

Керасивна только топнула впотьмахъ и прошипѣла:

— Такъ будешь же ты знать мене видьму! — И потомъ вдругъ какъ кошка прыгнула къ печкѣ и звонко-презвонко крикнула въ трубу:

— У-г-у-у! души его свинью!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Казакъ, правда, еще больше струсилъ отъ этого новаго неистовства, но чтобы не упустить жену, которая очевидно была вѣдьма и имѣла прямое намѣреніе летѣть въ трубу, онъ изловилъ ее и, сильно обхвативъ ее руками, брюсилъ на кровать къ стѣнкѣ и тотчасъ же самъ прилегъ съ краю.

Керасивна, къ удивленію мужа, нимало не сопротивлялась,—напротивъ, она была тиха какъ смирный ребенокъ и даже не бранилась. Керасенко былъ этому очень радъ и, зажавъ одною рукою спрятанный въ карманъ ключъ, а другою взявъ жену за рукавъ рубахи, заснулъ глубокимъ сномъ.

Но недолго длилось это его блаженное состояніе: только что онъ отхватилъ половину перваго сна, въ которомъ переполненный винныхъ паровъ мозгъ его размякъ и утратилъ ясность представленій, какъ вдругъ онъ получилъ толчокъ въ ребра.

«Что такое?» подумалъ казакъ, и, почувствовавъ еще новые толчки, пробормоталъ: — Чего ты, жинка, толкаешься?

— А то якъ же не толкаться: слухай-ко, что на дворѣ робиться?

— Что тамъ робиться?

— А вотъ ты слухай!

Керасенко поднялъ голову и слышитъ, что у него на дворѣ что-то страшно визгнуло.

— Эге,—сказалъ онъ:—а вѣдь это, пожалуй, кто-то нашу свинью волокетъ.

— А разумѣется, такъ. Пусти меня скорѣе, я пойду посмотрю: хорошо ли она заперта?

— Тебя пустить?.. Гм... гм...

— Ну дай же ключъ, а то украдутъ свинью и будемъ мы сидѣть всѣ святки и безъ ковбасъ, и безъ сала. Всѣ добрые люди будутъ ковбасы ѣсть, а мы будемъ только посматривать... Ого-го-го... слушай, слушай: чуешь, якъ ее

волокутъ... Ажъ мнѣ его жаль, какъ оно, бѣдное порося, завизжало!.. Ну пусти меня скорѣе: я пойду ее отниму.

— Ну да, такъ я тебя и пущу! Гдѣ это видано, чтобы баба на такое дѣло ходила—свинью отнимать? — отвѣчалъ казакъ:—лучше я встану и самъ пойду отниму.

А на самомъ дѣлѣ ему лѣнь было вставать и страхъ не хотѣлось идти на морозъ изъ теплой хаты; но только и свинью ему было жалко, и вотъ онъ всталъ, накинулъ свиту и вышелъ за двери. Но тутъ и произошло то неразгаданное событіе, которое несомнѣннѣйшими доказательствами укрѣпило за Керасивною такую вѣдьмовскую славу, что съ сей поры всякъ боялся Керасивну у себя въ домѣ видѣть, а не только въ кумы ее звать, какъ это сдѣлалъ надменный Дукачъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Не успѣлъ осторожно шагавшій казакъ Керасенко отворить хлѣвъ, гдѣ горестно завывала недовольная причиняемымъ ей безпокойствомъ свинья, какъ на него изъ непроглядной темноты упало что-то широкое да мягкое, точно возовая дерюга, и въ ту же минуту казака что-то стукнуло въ загорбокъ, такъ что онъ упалъ на землю и насилу выпростался. Удостовѣрившись, что свинья цѣла и лежитъ на своемъ мѣстѣ, Керасенко приперъ ее покрѣпче и пошелъ къ хатѣ досыпать ночь.

Но не тутъ-то было: не только самая хата, но и сѣни его оказались заперты. Онъ туда, онъ сюда, — все заперто. Что за лихо? Стучалъ онъ, стучалъ; звалъ, звалъ жинку:

— Жинка! Христя!—отопри скорѣе.

Керасивна не откликалась.

— Тпфу ты, лихая баба: чего это она вздумала запереться и такъ скоро заснула! Христя! ей! жинка! Отчини!

Ничего не было: словно все замерло; даже и свинья спитъ, и та не хрюкаетъ.

«Вотъ такъ штука! — подумалъ Керасенко: — ишь какъ заснула! Ну, да я вылѣзу черезъ тынъ на улицу, да подойду къ окну: она близко у окна спитъ и сейчасъ меня услышитъ».

Онъ такъ и сдѣлалъ: подошелъ къ окну, и ну стучать, но только что же онъ слышитъ?—жена его говоритъ:

— Спи, человиче, спи: не зважай на то, що стучить: — се чертяка у насъ ходытъ!

Казакъ сталъ сильнѣе стучать и покрикивать:

— Сейчасъ отчини, или я окно разобью.

Но тутъ Христя разсердилась и отозвалась:

— Кто это смѣетъ въ такую пору къ честнымъ людямъ стучаться?

— Да это я, твой мужъ.

— Какой мой мужъ?

— Извѣстно какой твой мужъ,—Керасенко.

— Мой мужъ дома, — иди себѣ, иди, кто ты тамъ есть, не буди насъ: мы съ мужемъ вмѣстѣ обнявшись спимъ.

«Что это такое?—подумалъ Керасенко: — неужели я все сплю и во снѣ вижу, или это взаправду дѣется?»

И онъ опять застучалъ и началъ звать:

— Христя, а Христя!—да отопри на Божію милость.

И все пристаетъ, все пристаетъ съ этимъ; а та долго молчитъ,—ничего не отвѣчаетъ, и потомъ опять отзовется:

— Да провались ты совсѣмъ,—кто такой привязался; — говорю тебѣ, мой мужъ дома, со мною рядомъ обнявшись лежитъ,—вотъ онъ.

— Это тебѣ, Христя, може показывается?

— Эге! — спасиби тебѣ на томъ! Що же, хиба я така дурна, чи совсѣмъ нечувствительна, що ни въ чемъ толку не знаю? Нѣтъ, мнѣ это лучше знать що показывается, а що не показывается. Вотъ онъ, вотъ, мой чоловикъ у менѣ совсѣмъ близенько... вотъ я его и перекрещу: Господи Iисусе, а вотъ и поцѣлую: и обниму и опять поцѣлую... Такъ добре намъ вмѣстѣ, а ты, недобрый потаскунъ, иди себѣ самъ до своей жинки,—не мѣшай намъ спать и цѣловаться. Добра-ничь,—иди съ Богомъ.

— Фу ты, сто чортовъ твоему батькови: что это за притча!—пожимая плечами, разсуждалъ Керасенко. — Чего добраго, я, перелѣзши черезъ тынъ, не обознался ли хатою.—Только нѣтъ: это моя хата.

Онъ отошелъ на другую сторону широкой деревенской улицы и сталъ считать отъ колодца съ высокимъ журавлемъ.

— Первая, вторая, третья, пятая, седьмая, девятая... Вотъ это и есть моя девятая.

Пришелъ: опять стучитъ, опять зоветъ, и опять та же

исторія: нѣтъ-нѣтъ, отзовется женскій голосъ и все разъ отъ раза съ бо́льшимъ неудовольствіемъ, и все въ одномъ и томъ же смыслѣ.

— Иди прочь: мой мужъ со мною.

А голосъ Христи,—несомнѣнно ея голосъ.

— А ну, если твой чоловикъ съ тобою, — пусть онъ заговоритъ.

— Чего ему со мною говорить, якъ мы уже все обговорили.

— Да я хочу послушать: есть ли тамъ у тебя чоловикъ?

— А вже же есть: вотъ ты слухай, якъ мы станемъ цѣловаться.

— Тпфу, пропасти на нихъ нѣтъ: въ самомъ дѣлѣ цѣлуются, а меня увѣряютъ, что я — не я и куда-то совсѣмъ прочь домой посылаютъ. Но погоди же: я не совсѣмъ глупый — я пойду соберу людей и пусть люди скажутъ: мой это домъ или нѣтъ, и я или кто другой мужъ моей жинки.— Слушай, Христя: я пойду людей будить.

— Да иди, иди, — отвѣчаетъ голосъ: — только отъ насъ отчѣпысь: мы вотъ двоечко нацѣловались и смирненько обнявшись лежимъ и хорошо намъ. А до другихъ ни до кого и дѣла нѣтъ.

Вдругъ и другой, несомнѣнно мужской, голосъ то же самое утверждаетъ:

— Мы двоечко нацѣловались и теперь смирненько обнявшись лежимъ, а ты ступай къ чорту!

Ничего больше не оставалось дѣлать: Керасенко убѣдился, что въ его званіи подъ бокъ къ Христѣ подкатился кто-то другой, и онъ пошелъ будить сосѣдей.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Долго или коротко это шло, пока очумѣвшій Керасенко успѣлъ добудиться и собрать къ своему дому десятка два казаковъ и добровольно послѣдовавшихъ за мужьями любопытныхъ казачекъ, — а Керасивна оставалась въ своемъ положеніи и все увѣряла всѣхъ, что со всѣми съ ними мара, а что ея мужъ съ нею дома, лежитъ у нея на рукѣ, и въ доказательство не разъ заставляла всѣхъ слушать, какъ она его цѣлуетъ. И всѣ казаки и казачки это внимали и находили, что это никакъ не можетъ быть фальшь, потому что поцѣлуи были настоящіе и притомъ изъ-за окна,

хотя не особенно внятно, а все-таки хорошо слышался мужской голосъ, который, по увѣренію Керасивны, принадлежалъ ея мужу. И всѣ слышали, какъ этотъ голосъ одинъ разъ приблизился къ самому окну и оттуда, всѣхъ ужасая, сказалъ:

— Що вы, дурни, за марою ходите? — я дома лежу со своею жинкою; а это васъ мара водитъ. Дайте ей всякій по одному доброму прочухану наотмашь,—она вразъ и разсыпится.

Казаки перекрестились, и кто изъ нихъ ближе стоялъ къ Керасенку, тотъ первый и съѣздилъ его изо всей силы по потылицѣ,—но самъ тотчасъ же далъ тягу; а его примѣру послѣдовали другіе. И Керасенко, получивъ отъ каждаго по тумаку наотмашь, въ одну минуту былъ жестоко исколоченъ и безжалостно брошенъ у порога своей заколдованной хаты, гдѣ какой-то коварный демонъ такъ усердно замѣщалъ его на супружескомъ ложѣ. Онъ болѣе уже не пытался облегчить своего горя, а только, сидя на снѣжку, горько плакалъ, какъ совсѣмъ бы казаку и не пристало, и все какъ будто слышалъ, что его Керасивна цѣлуется. Но, къ счастью, всѣ мученія человѣческія имѣютъ конецъ, — и это терзаніе Керасенка кончилось, — онъ заснулъ и ему снилось, будто его жена взяла его за шиворотъ и перенесла на хорошо ему знакомую теплую постель, а когда онъ проснулся, въ самомъ дѣлѣ увидѣлъ себя на своей постели, въ своей хатѣ, а передъ нимъ у припечки хлопотала, стряпая клецки съ сыромъ, его молодцоватая Керасивна. Словомъ, все какъ слѣдуетъ, — точно ничего необыкновеннаго и не случилось: ни про поросенка, ни про мару и помина не было. Керасенко же, хотя и очень желалъ объ этомъ заговорить, но не зналъ, какъ за это взяться?

Казакъ на все только рукою махнулъ и съ тѣхъ поръ жилъ съ своею Керасивною въ мирѣ и согласіи, оставляя ее на всей ея волѣ и просторѣ, которыми она и пользовалась, какъ знала. Она и торговала, и ѣздила, куда хотѣла, и домашнее счастье ея отъ этого не страдало, а благосостояніе и опытность увеличивались. Но зато въ общественномъ мнѣніи Керасивна была потеряна: всѣ знали, что она вѣдьма. Хитрая казачка противъ этого никогда не спорила, такъ какъ это давало ей своего рода апломбъ: ея боялись, чествовали и, приходя къ ней за совѣтами, при-

носили ей либо копу яицъ, либо какой другой пригодный въ хозяйствѣ подарокъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Зналъ Керасивну и Дукачъ, и зналъ ее, разумѣется, за женщину ўмную, съ которою, окромя ея вѣдовства, во всякомъ причинномъ случаѣ посовѣтоваться нелишнее. И какъ Дукачъ самъ былъ человѣкъ нелюбимый, то онъ Керасивною не очень-то и брезговалъ. Люди говорили, будто не разъ видали ихъ стоявшими вдвоемъ подъ густою вербою, которая росла заплетенная въ плетень, раздѣлявшій ихъ огороды. Иные даже думали, что тутъ было немножко и какого-то грѣха, но это, разумѣется, были сплетни. Просто Дукачъ и Керасивна, имѣвшіе въ своей репутаціи нѣчто общее, были знакомы и находили о чемъ поговорить другъ съ другомъ.

Такъ и теперь, въ томъ досадительномъ случаѣ, который послѣдовалъ по поводу неудачнаго позыва кумовьевъ, Дукачъ вспомнилъ о Керасивнѣ и, призвавъ ее на совѣтъ, разсказалъ ей причиненную ему всѣми людьми досаду.

Выслушавъ это, Керасивна мало подумала и, тряхнувъ головою, прямо отрѣзала:

— А що же, пане Дукачъ, зовить меня кумою!

— Тебя кумою звать? — повторилъ въ раздумьѣ Дукачъ.

— Да, или вы вѣрите, що я видьма?

— Гм!.. говорятъ, будто ты видьма, а я у тебя хвоста не бачивъ.

— Да и не побачите.

— Гм! тебя кумою... а що на то всѣ люди скажутъ?

— Се якіе люди?.. тѣ, що вамъ въ хату и плюнуть не хотятъ идти?

— Правда, а що моя Дукачиха заговоритъ? Вѣдь она вѣритъ, що ты видьма.

— А вы ея боитесь?

— Боюсь!.. Я не такой дурень, якъ твой мужъ: я бабъ не боюсь, и никого не боюсь: а тилько... ты вправду не видьма?

— Э, да я бачу вы, пане Дукачъ, такій же дурень! Ну, такъ зовите же кого хотите.

— Гм! ну; стой, стой, не сердись: будь ты взаправду кумою. Только смотри, станетъ ли съ тобою перегудинскій попъ крестить?

— А отчего не станетъ?

— Да Богъ его знаетъ: онъ якій-сь такій ученый,—все отъ писанія начинаетъ,—скажетъ: не моего прихода.

— Не бойтесь, — не скажетъ: онъ хоть ученый, а жинокъ добре слухае... Начнетъ отъ писанія, а кончитъ, якъ всѣ люди, — на томъ, що жинка укажетъ. Добре его знаю и была съ нимъ въ компаніи, гдѣ онъ ничего пить не хотѣлъ. Говоритъ: въ писаніи сказано: «не упивайтеся виномъ,—въ немъ бо есть блудъ». А я говорю: «блудъ таки блудомъ, а вы чарочку выпейте»,—онъ и выпилъ.

— Выпилъ?

— Выпилъ.

— Ну, такъ се добре: только смотри, щобы винъ намъ, выпивши, не испортилъ хлопца,— не назвалъ бы его Иваномъ, або Николою.

— Ну, вотъ! такъ я ему и дамъ, щобъ христіанское дитя да Николой назвать! Хиба я не знаю, что это московське имя.

— То-то и есть: Никола самый москаль.

Дѣло стояло еще за тѣмъ, что у Керасивны не было такой теплой и просторной шубы, чтобы везти дитя до Перегудъ, а день былъ очень студеный,—настоящее «варварское время», но зато у Дукачихи была чудная шуба, крытая синею нанкою. Дукачъ ее досталъ и отдалъ безъ спроса жены Керасивнѣ.

— На, — говоритъ: — одѣнь и совсѣмъ ее себѣ возьми, только долго не копайся, щобы люди не говорили, що у Дукача три дня было дитя не хрещено.

Керасивна насчетъ шубы немножко поломалась, но, однако, взяла ее. Она завернула далеко вверхъ подбитые заячьимъ мѣхомъ рукава, и всѣ въ хуторѣ видѣли, какъ вѣдьма, задорно заломивъ на затылокъ пестрый очипокъ, усѣлась рядомъ съ Агапомъ въ сани, запряженныя парою крѣпкихъ Дукачевыхъ коней, и отправилась до попа Еремы въ село Перегуды, до котораго было съ небольшимъ восемь верстъ. Когда Керасивна съ Агапомъ отъѣзжали, любопытные люди видѣли, что и кумъ, и кума были достаточно трезвы. Что хотя у Агапа, который правилъ лошадьми, была видна въ колѣняхъ круглая барилочка съ наливкою, но это, очевидно, назначалось для угощенія причта. У Керасивны же за пазухою просторной синей

заячьей шубы лежало дитя, съ крещеніемъ котораго долженъ былъ произойти самый странный случай,—что, впрочемъ, многіе опытные люди живо предчувствовали. Они знали, что Богъ не допуститъ, чтобы сынъ такого недобраго человѣка, какъ Дукачъ, былъ крещенъ, да еще черезъ извѣстную всѣмъ вѣдьму. Хороша бы послѣ этого вышла и вся крещеная вѣра!

Нѣтъ, Богъ справедливъ: Онъ этого не можетъ допустить и не допуститъ.

Того же самаго мнѣнія была и Дукачиха. Она горько оплакивала ужасное самочинство своего мужа, избравшаго единственному, долгожданному дитяти воспріемницею завѣ домую вѣдьму.

При такихъ обстоятельствахъ и предсказаніяхъ произошелъ отъѣздъ Агапа и Керасивны съ Дукачевымъ ребенкомъ изъ села Парипсъ въ Перегуды, къ попу Еремѣ.

Это происходило въ декабрѣ, за два дня до Николы, часа за два до обѣда, при довольно свѣжей погодѣ съ забористымъ «московьскимъ» вѣтромъ, который тотчасъ же послѣ выѣзда Агапа съ Керасивною изъ хутора началъ разыгрываться и превратился въ жестокую бурю. Небо сверху заволокло свинцомъ; по-низу завѣялась снѣжистая пыль и пошла лютая метель.

Всѣ люди, желавшіе зла Дукачеву ребенку, видя это, набожно перекрестились и чувствовали себя удовлетворенными: теперь уже не было никакого сомнѣнія, что Богъ на ихъ сторонѣ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Предчувствія говорили недоброе и самому Дукачу; какъ онъ ни былъ крѣпокъ, а все-таки былъ доступенъ суевѣрному страху и—трусилъ. Въ самомъ дѣлѣ, съ того ли или не съ того сталося, а буря, угрожавшая теперь кумовьямъ и ребенку, точно съ цѣпи сорвалась, какъ разъ въ то время, когда они выѣзжали за околицу. Но еще досаднѣе было, что Дукачиха, которая весь свой вѣкъ провела въ раболѣпномъ безмолвіи передъ мужемъ, вдругъ разомкнула свои молчаливыя уста и заговорила:

— На старость намъ, въ мое утѣшенье, Богъ намъ дытину далъ, а ты его съѣлъ.

— Это еще що?—остановилъ Дукачъ.—Какъ я съѣлъ дитя?

— А такъ, що отдалъ его видьмѣ. Гдѣ это по всему христіанскому казачеству слыхано, чтобы видьми давали дитя крестить?

— А вотъ же она его и перекреститъ.

— Никогда того не было, да и не будетъ, чтобы Господь припустилъ до своей христіанской купели лиходѣйскую видьму.

— Да кто тебѣ сказалъ, що Керасивна видьма?

— Всѣ это знаютъ.

— Мало чего всѣ говорятъ, да никто у нея хвоста не видѣлъ.

— Хвоста не видѣли, а видѣли, какъ она мужа оборачивала.

— Отчего же такого дурня и не оборачивать?

— И отъ Пиднебеснихи всѣхъ отворотила, чтобы у нея паляницъ не покупали.

— Оттого, что Пиднебесная спитъ мягко и ночью тѣсто не бьетъ, у нея паляницы хуже.

— Да вѣдь съ вами не сговоришь, а вы кого хотите, всѣхъ добрыхъ людей спросите — и всѣ добрые люди вамъ одно скажутъ, что Керасиха видьма.

— На что намъ другихъ добрыхъ людей пытать, когда я самъ добрый человѣкъ.

Дукачиха вскинула на мужа глаза и говоритъ:

— Какъ это... Это вы-то добрый человѣкъ?

— Да; а что же по-твоему, я развѣ не добрый человѣкъ?

— Разумѣется, не добрый.

— Да кто тебѣ это сказалъ?

— А вамъ кто сказалъ, что вы добрый?

— А кто сказалъ, что я не добрый?

— А кому же вы какое-нибудь добро сдѣлали?

— Какое я кому добро сдѣлалъ?

— Да.

«А сто чертей... и правда, что же это я никакъ не могу припомнить: кому я сдѣлалъ какое-нибудь добро?» — подумалъ непривычный къ возраженіямъ Дукачъ, и чтобы не слышать продолженія этого непріятнаго для него разговора, сказалъ:

— Вотъ того только и недоставало, чтобы я съ тобою, съ бабою, сталъ разговаривать.

И съ этимъ, чтобы не быть болѣе съ женою съ-глаза-

па-глазъ въ одной хатѣ, онъ снялъ съ полка отнятую нѣкогда у Агапа смушковую шапку и пошелъ гулять по свѣту.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Вѣроятно на душѣ у Дукача было уже очень тяжело, когда онъ могъ пробыть подъ открытымъ небомъ болѣе двухъ часовъ, потому что на дворѣ стоялъ настоящій адъ: буря сильно бушевала, и въ сплошной снѣжной массѣ, которая тряслась и вѣялась, невозможно было перевести дыханіе.

Если таково было близъ жилья, въ затишьѣ, то что должно было происходить въ открытой степи, въ которой весь этотъ ужасъ долженъ былъ застать кумовьевъ и ребенка? Если это такъ невыносимо взрослому человѣку, то много ли надо было, чтобы задушить этимъ дитя?

Дукачъ все это понималъ и, вѣроятно, не мало объ этомъ думалъ, потому что онъ не для удовольствія же пролѣзъ черезъ страшные сугробы къ тянувшейся за селомъ греблѣ и сидѣлъ тамъ въ сумракѣ метели долго-долго, — очевидно, съ большимъ нетерпѣніемъ поджидая чего-то тамъ, гдѣ ничего нельзя было разсмотрѣть. Сколько Дукачъ ни стоялъ до самой темноты посреднѣ гребли, — его никто не толкнулъ ни спереди, ни сбоку, и онъ никого не видалъ, кромѣ какихъ-то длинныхъ-предлинныхъ привидѣній, которыя точно хороводъ водили вверху надъ его головою и сыпали на него снѣгомъ. Наконецъ, это ему надоѣло, и когда быстро наступившія сумерки увеличили темноту, онъ крякнулъ, выпуталъ ноги изъ засыпавшаго ихъ сугроба и побрелъ домой.

Тяжело и долго путаясь по снѣгу, онъ не разъ останавливался, терялъ дорогу и снова ее находилъ. Опять шелъ-шелъ и на что-то наткнулся, ощупалъ руками и убѣдился, что то былъ деревянный крестъ,—высокій-высокій деревянный крестъ, какіе въ Малороссіи ставятъ при дорогахъ.

«Эге, — это я, значитъ, вышелъ изъ села! Надо же мнѣ взять назадъ»,—подумалъ Дукачъ, и повернулъ въ другую сторону, но не сдѣлалъ онъ и трехъ шаговъ, какъ крестъ былъ опять передъ нимъ.

Казакъ постоялъ, перевелъ духъ и, оправясь, пошелъ на другую руку, но и здѣсь крестъ опять загородилъ ему дорогу.

— Что онъ движется, что ли, передо мною, или еще что творится?—и онъ началъ разводить руками и опять нащупалъ крестъ, и еще одинъ и другой возлѣ.

— Ага! вотъ теперь понимаю гдѣ я: это я попалъ на кладбище. Вотъ и огонекъ у нашего пона. Не хотѣлъ ледачій пустить ко мнѣ свою поповну окрестить дѣтину. Да и не надо; только гдѣ же тутъ, у чорта, долженъ быть сторожъ Матвѣйко?

И Дукачъ было-пошелъ отыскивать сторожку, но вдругъ скатился въ какую-то яму и такъ треснулся обо что-то твердое, что долго оставался безъ чувствъ. Когда же онъ пришелъ въ себя, то увидалъ, что вокругъ него совершенно тихо, а надъ нимъ синѣетъ небо и стоитъ звѣзда.

Дукачъ понялъ, что онъ въ могилѣ, и заработалъ руками и ногами; но выбраться было трудно, и онъ добрый часъ провозился прежде, чѣмъ выкарабкался наружу, и съ ожесточеніемъ плюнулъ.

Времени должно́ быть прошло добрая часина, — буря замѣтно утихла и на небѣ вызвѣздило.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Дукачъ пошелъ домой, и очень удивился, что ни у него, ни у кого изъ сосѣдей, ни въ одной хатѣ уже не было огня. Очевидно, что ночи уже ушло много. Неужели же и о сю пору Агапъ и Керасивна съ ребенкомъ еще не вернулись?

Дукачъ почувствовалъ въ сердцѣ давно ему незнакомое сжатіе и отворилъ дверь нетвердою рукою.

Въ избѣ было темно, но въ глухомъ углу за печкою слышалось жалобное всхлипываніе.

Это плакала Дукачиха. Казалъ понялъ въ чемъ дѣло, но не выдержалъ и таки спросилъ:

— А неужели же до сихъ поръ...

— Да, до сихъ поръ видьма еще ѣстъ мою дытину,—перебила Дукачиха.

— Ты глупая баба,—отрѣзалъ Дукачъ.

— Да, это вы меня такою глупою сдѣлали; а я хоть и глупая, а все-таки не отдавала видьми свою дытину.

— Да провались ты со своею вѣдьмою: я чуть шею не сломалъ, попалъ въ могилу.

— Ага, въ могилу... ну, то она же и васъ навела въ могилу. Идите лучше теперь кого-нибудь убейте.

— Кого убить? Что ты мелешь?

— Подите, хоть овцу убейте,—а то не даромъ на васъ могила зинула, — умрете скоро. Да и дай Богъ: что уже намъ такимъ, про которыхъ всѣ люди будутъ говорить, что мы свое дитя видьми отдали.

И она пошла опять вслухъ мечтать на эту тему, межъ тѣмъ какъ Дукачъ все думалъ: гдѣ же, въ самомъ дѣлѣ, Агапъ? Куда онъ дѣлся? Если они успѣли доѣхать до Перегудъ прежде, чѣмъ разыгралась метель, то, конечно, они тамъ переждали, пока метель улеглась; но, въ такомъ случаѣ, они должны были выѣхать, какъ только разъяснило и до сихъ поръ могли быть дома.

Развѣ не хлебнулъ ли Агапъ лишняго изъ барилочки?

Эта мысль показалась Дукачу статочною, и онъ поспѣшилъ сообщить ее Дукачихѣ, но та еще лише застонала:

— Что̀ тутъ угадывать: не видать намъ свое дитя: заѣла его видьма Керасивна, и она напустила на свѣтъ эту погоду, а сама теперь летаетъ съ нимъ по горамъ и пьетъ его алую кровку.

И досадила этимъ Дукачиха мужу до того, что онъ, обругавъ ее, взялъ опять съ одного полка свою шапку, а съ другого ружье и вышелъ, чтобы убить зайца и бросить его въ ту могилу, въ которую незадолго передъ этимъ свалился, а жена его осталась выплакивать свое горе за припечкомъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Огорченный и, непривычнымъ образомъ, взволнованный, казакъ въ самомъ дѣлѣ не зналъ, куда ему дѣться, но какъ у него уже сорвалось съ языка про зайца, то онъ болѣе машинально, чѣмъ сознательно, очутился на гумнѣ, куда бѣгали шкодливые зайцы; сѣлъ подъ овсянымъ скирдомъ и задумался.

Предчувствія томили его и горе кралось въ его душу, и шевелили въ ней терзающія воспоминанія. Какъ ни непріятны были ему женины слова, но онъ сознавалъ, что она права. Дѣйствительно, онъ во всю свою жизнь не сдѣлалъ никому никакого добра, а между тѣмъ многимъ причинилъ много горя. И вотъ у него, изъ-за его же упрямства, гибнетъ единственное, долго жданое дитя, и самъ онъ падаетъ въ могилу, что̀, по общему повѣрью, неминуе-

чій злой знакъ. Завтра будутъ обо всемъ этомъ знать всѣ люди, а всѣ люди—это его враги... Но... можетъ-быть, дитя еще найдется, а онъ, чтобы не скучать ночью, подсидитъ и убьетъ зайца, и тѣмъ отведетъ отъ своей головы угрожающую ему могилу.

И Дукачъ вздохнулъ и сталъ всматриваться, не прыгаетъ ли гдѣ-нибудь по полю или не теребитъ ли подъ скирдами заяцъ.

Оно такъ и было: заяцъ ждалъ его, какъ баранъ ждалъ Авраама: у крайняго скирда, на занесенномъ снѣгомъ вровень съ вершиною плетнѣ сидѣлъ матерый русакъ. Онъ, очевидно, высматривалъ мѣстность и занималъ самую безподобную позицію для прицѣла.

Дукачъ былъ старый и опытный охотникъ, онъ видалъ много всякихъ охотничьихъ видовъ, но такой ловкой подставки подъ выстрѣлъ не видывалъ и, чтобы не упустить ея, онъ, не долго же думая, приложился и выпалилъ.

Выстрѣлъ покатился и одновременно съ нимъ въ воздухѣ пронесся какой-то слабый стонъ; но Дукачу некогда было раздумывать,— онъ побѣжалъ, чтобы поскорѣй затоптать дымящійся пыжъ, и, наступивъ на него, остановился въ самомъ безпокойномъ изумленіи: заяцъ, до котораго Дукачъ не добѣжалъ нѣсколько шаговъ, продолжалъ сидѣть на своемъ мѣстѣ и не трогался.

Дукачъ опять струхнулъ: вправду нэ шутитъ ли надъ нимъ дьяволъ: не оборотень ли это предъ нимъ? И Дукачъ свалялъ комъ снѣга и бросилъ имъ въ зайца. Комъ попалъ по назначенію и разсыпался, но заяцъ не трогался,— только въ воздухѣ опять что-то простонало. Что за лихо такое? подумалъ Дукачъ, и, перекрестясь, осторожно подошелъ къ тому, что онъ принималъ за зайца, но что никогда зайцемъ не было, а была просто-на-просто смушковая шапка, которая торчала изъ снѣга. Дукачъ схватилъ эту шапку и при свѣтѣ звѣздъ увидалъ мертвенное лицо племянника, облитое чѣмъ-то темнымъ, липкимъ, съ сырымъ запахомъ. Это была кровь.

Дукачъ задрожалъ, бросилъ свою рушницу и пошелъ на село, гдѣ разбудилъ всѣхъ,— всѣмъ разсказалъ свое злочинство; передъ всѣми каялся, говоря, правъ Господь, меня наказуя,—идите, откопайте ихъ всѣхъ изъ-подъ снѣгу, а меня свяжите и везите на судъ.

Просьбу Дукача удовлетворили; его связали и посадили въ чужой хатѣ, а на гуменникъ пошли всѣ міромъ откапывать Агапа.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Подъ бѣлымъ ворохомъ снѣга, покрывавшаго сани, были найдены окровавленный Агапъ и невредимая, хотя застывшая Керасивна, а на груди у нея совершенно благополучно спавшій ребенокъ. Лошади стояли тутъ же, по брюхо въ снѣгу, опустивъ понурыя головы за плетень.

Едва ихъ немножечко поосвободили отъ замета, какъ онѣ тронулись и повезли застывшихъ кумовьевъ и ребенка на хуторъ. Дукачиха не знала, что ей дѣлать: грустить ли о несчастіи мужа или болѣе радоваться о спасеніи ребенка? Взявъ мальчика на руки и поднеся его къ огню, она увидала на немъ крестъ и тотчасъ радостно заплакала, а потомъ подняла его къ иконѣ и съ горячимъ восторгомъ, глубоко растроганнымъ голосомъ сказала:

— Господи! за то, что Ты его спасъ и взялъ подъ Свой крестъ, и я не забуду Твоей ласки, я воскормлю дитя, и отдамъ его Тебѣ: пусть будетъ Твоимъ слугою.

Такъ данъ былъ обѣтъ, который имѣетъ большое значеніе въ нашей исторіи, гдѣ до сихъ поръ еще не видать ничего касающагося «некрещенаго попа», межъ тѣмъ какъ онъ уже есть тутъ точно «шапка», которая была у Агапа, когда казалось, что ея будто и нѣтъ.

Но продолжаю исторію: дитя было здорово; нехитрыми крестьянскими средствами скоро привели въ себя и Керасивну, которая, однако, изъ всего вокругъ нея происходившаго ничего не понимала и твердила только одно:

— Дытина крещена,—и зовите его Савкою.

Этого было довольно для такого суматошнаго случая, да и имя къ тому же было всѣмъ по вкусу. Даже разстроенный Дукачъ и тотъ его одобрилъ и сказалъ:

— Спасибо Перегудинскому попу, що винъ не испортилъ хлопца и не назвалъ его Николою.

Тутъ Керасивна уже совсѣмъ оправилась и заговорила, что попъ было-хотѣлъ назвать дитя Николою;—такъ, говоритъ, по церковной книгѣ идетъ, только она его переспорила: я сказала, да Богъ съ ними, сіи церковныя книги:

на що воны намъ сдалися; а это не можно, чтобы казачье дитя по-московьски Николою звалось.

— Ты умная казачка,—похвалилъ ее Дукачъ, и наказалъ женѣ подарить ей корову, а самъ обѣщалъ, если уцѣлѣетъ, и еще чѣмъ-нибудь не забыть ея услуги.

На этомъ пока и покончилось крестное дѣло, и наступала долгая и мрачная пора похоронная. Агапъ такъ и не пришелъ въ себя: его густымъ столбомъ дроби разстрѣленная голова почернѣла, прежде чѣмъ ее успѣли обмыть, и къ вечеру наступившаго дня онъ отдалъ Богу свою многострадавшую душу. Этимъ же вечеромъ три казака, вооруженные длинными палками, отвели стараго Дукача въ городъ и сдали его тамъ начальству, которое помѣстило его, какъ убійцу, въ острогъ.

Агапа схоронили, Дукачъ судился, дитя росло, а Красивна, хотя и поправилась, но все не «сдужала» и сильно измѣнилась, — все она ходила какъ не своя. — Она стала тиха, грустна и часто задумывалась, и совсѣмъ не ссорилась со своимъ Керасенко, который понять не могъ: что̀ такое подѣялось съ его жинкою? Жизнь его, до сихъ поръ столь зависимая отъ ея настойчивости и своенравія, стала самою безмятежною: онъ не слыхалъ отъ жены ни въ чемъ ни возраженія, ни попрека и, не видя болѣе ни во снѣ, ни на яву Рогачевскаго дворянина, не зналъ какъ своимъ счастьемъ нахвастаться. Эту удивительную перемѣну въ характерѣ Красивны долго и тщетно обсуждали и на торгу въ мѣстечкѣ: сами подруги ея, горластыя перекупки, говорили, что она «вся здобрилась». И впрямь, теперь не только одного, а даже хоть двухъ покупщиковъ отъ ея лотка съ паляницами отбей, она, бывало, даже ни одного чорта не посулитъ ни отцу, ни матери, ни другимъ сродникамъ. Про Рогачевскаго же дворянина былъ даже такой слухъ, что онъ будто два раза показывался въ Парипсахъ; но Красивна на него и смотрѣть не хотѣла. Сама соперница ея, пекарша Пиднебесная, и та, не хотя губить своей души, говорила, что слышала, будто одинъ разъ этотъ панычъ, подойдя къ Красивнѣ купить паляницу, получилъ отъ нея такой отвѣтъ:

— Иди отъ меня, що бы мои очи тебя никогда не бачили. Нѣтъ у меня для тебя больше ничего, ни дарового, ни продажнаго.

А когда панычъ ее спросилъ: что такое ей приключилось? то она отвѣчала:

— Такъ,—тяжко: бо маю тайну велыкую.

Перевернуло это дѣло и стараго Дукача, котораго, при добрыхъ старыхъ порядкахъ, цѣлые три года судили и томили въ тюрьмѣ по подозрѣнію, что онъ умышленно убилъ племянника, а потомъ, какъ неодобреннаго въ поведеніи односельцами, чуть не сослали на поселеніе. Но дѣло кончилось тѣмъ, что односельцы смиловались и согласились его принять, какъ только онъ отбудетъ въ монастырѣ назначенное ему церковное покаяніе.

Дукачъ оставался на родинѣ только по снисхожденію тѣхъ самыхъ людей, которыхъ онъ презиралъ и ненавидѣлъ всю жизнь... Это былъ ему ужасный урокъ, и Дукачъ его отлично принялъ. Отбывъ свое формальное покаяніе, онъ, послѣ пяти лѣтъ отсутствія изъ дому, пришелъ въ Парипсы, очень добрымъ старикомъ, всѣмъ повинился въ своей гордости, у всѣхъ испросилъ себѣ прощеніе и опять ушелъ въ тотъ монастырь, гдѣ каялся по судебному рѣшенію, и туда же снесъ свой казанокъ съ рублевиками на молитвы «за три души». Какія это были три души—того Дукачъ и самъ не зналъ; но такъ говорила ему Керасивна, что чрезъ его ужасный характеръ пропалъ не одинъ Агапъ, а еще двѣ души, про которыя знаетъ Богъ, да она — Керасивна, но только сказать этого никому не можетъ.

Такъ это и осталось загадкою, за которую въ монастырѣ отвѣчалъ казанокъ, полный толстыхъ старинныхъ рублевиковъ.

Межъ тѣмъ, дитя, котораго появленіе на свѣтъ и крещеніе сопровождалось описанными событіями, подросло. Воспитанное матерью, простою, но очень доброю и нѣжною женщиною, оно и само радовало ее нѣжностью и добротою. Напоминаю вамъ, что когда это дитя было подано матерью съ груди Керасивны, то Дукачиха «обрекла его Богу». Такіе «оброки» водились въ Малороссіи относительно еще въ весьма недавнюю пору и исполнялись точно, особенно, если сами «оброчныя дѣти» тому не противились. Впрочемъ, случаи противленія если и бывали, то не часто, вѣроятно, потому, что «оброчныя дѣти» съ самаго измальства уже такъ и воспитывались, чтобы ихъ духъ и характеръ раскрывались въ приспособительномъ настроеніи. Достигая въ

такомъ направленіи извѣстнаго возраста, дитя не только не противорѣчило родительскому «оброку», но даже само стремилось къ выполненію оброка съ тѣмъ благоговѣйнымъ чувствомъ покорности, которое доступно только живой вѣрѣ и любви. Савва Дукачевъ былъ воспитанъ именно по такому рецепту, и рано обнаружилъ склонность къ исполненію данныхъ матерью за него обѣтовъ. Еще въ самомъ дѣтскомъ возрастѣ, при нѣсколько нѣжномъ и слабомъ сложеніи, онъ отличался богобоязненностью. Онъ не только никогда не разорялъ гнѣздъ, не душилъ котятъ, не сѣкъ хворостиной лягушекъ, но всѣ слабыя существа имѣли въ немъ своего защитника. Слово нѣжной матери было для него законъ,—сколько священный, столь же и пріятный,—потому что онъ во всемъ согласовался съ потребностями собственнаго нѣжнаго сердца ребенка. Любить Бога было для него потребностью и высшимъ удовольствіемъ, и онъ любилъ Его во всемъ, что̀ отражаетъ въ себѣ Бога и дѣлаетъ Его и понятнымъ, и неоцѣненнымъ для того, къ кому Онъ пришелъ и у кого сотворилъ Себѣ обитель. Вся обстановка у ребенка была религіозная: мать его была благочестива и богомольна; отецъ его даже жилъ въ монастырѣ и въ чемъ-то каялся. Ребенокъ изъ немногихъ полунамековъ зналъ, что съ его рожденіемъ связано что-то такое, что измѣнило весь ихъ домашній бытъ,—и все это получало въ его глазахъ мистическій характеръ. Онъ росъ подъ кровомъ Бога, и зналъ, что изъ рукъ Его его никто не возьметъ. Въ восемь лѣтъ его отдали учить къ брату Пиднебеснихи, Охриму Пиднебесному, который жилъ въ Парипсахъ, въ закоулочкѣ за сестринымъ шинкомъ, но не имѣлъ къ этому заведенію никакого касательства, а велъ жизнь необыкновенную.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Охримъ Пиднебесный принадлежалъ къ новому, очень интересному малороссійскому типу, который началъ обозначаться и формироваться въ заднѣпровскихъ селеніяхъ едва ли не съ первой четверти текущаго столѣтія. Типъ этотъ къ настоящему времени уже совсѣмъ опредѣлился и отчетливо выразился своимъ сильнымъ вліяніемъ на религіозное настроеніе мѣстнаго населенія. Поистинѣ удивительно, что наши народовѣды и народолюбцы, копавшіеся во всѣхъ мелочахъ народной жизни, просмотрѣли или не сочли достой-

ными своего вниманія малороссійскихъ простолюдиновъ, которые пустили совершенно новую струю въ религіозный обиходъ южно-русскаго народа. Здѣсь это сдѣлать некогда, да и мнѣ не по силамъ; я вамъ только коротко скажу, что это были какіе-то *отшельники въ міру:* они строили себѣ маленькія хаточки при своихъ родныхъ домахъ, гдѣ-нибудь въ закоулочкѣ, жили чисто и опрятно, какъ душевно, такъ и во внѣшности. Они никого не избѣгали и не чуждались,— трудились и работали вмѣстѣ съ семейными и даже были образцами трудолюбія и домовитости, не уклонялись и отъ бесѣды, но во все вносили свой, немножко пуританскій характеръ. Они очень уважали «наученность» и каждый изъ нихъ непремѣнно былъ грамотенъ; а грамотность эта, самымъ главнымъ образомъ, употреблялась для изученія слова Божія, за которое они принимались съ пламенною ревностью и благоговѣніемъ, а также съ предубѣжденіемъ, что оно сохранилось въ чистотѣ только въ одной книгѣ новаго завѣта, а въ «преданіяхъ человѣческихъ», которымъ слѣдуетъ духовенство, — все извращено и перепорчено. Говорятъ, будто такія мысли внушены имъ нѣмецкими колонистами; но, по-моему, все равно, кѣмъ это внушено, я знаю только одно, что изъ этого потомъ вышла такъ-называемая «*штунда*».

Холостой братъ Пиднебеснихи, казакъ Охримъ, былъ изъ людей этого сорта: онъ самъ научился грамотѣ и писанію и считалъ своею обязанностью научить всему этому и другихъ. Училъ онъ кого только могъ, и всегда задаромъ, ожидая за свой трудъ той платы, которая обѣщана каждому, «кто научитъ и наставитъ». Учительство это обыкновенно ослабѣвало лѣтомъ, во время полевыхъ работъ, но зато усиливалось съ осени и шло неослабно во всю зиму, до весенней пашни. Дѣти учились днемъ, а по вечерамъ у Пиднебеснаго собирались «вечерницы»,—рабочія посидѣлки,— такъ, какъ и у прочихъ людей. Только у Охрима не пѣли пустыхъ пѣсенъ и не вели празднословія, и дивчата пряли ленъ и волну, а самъ Охримъ, выставивъ на столъ тарелку меду и тарелку орѣховъ для угощенія «во имя Христово», просилъ за это потчиваніе позволить ему «поговорить о Христѣ». Молодой народъ это ему дозволялъ, и Охримъ услаждалъ добрыя души медомъ, орѣхами и евангельскою бесѣдою и скоро такъ ихъ къ этому пріохотилъ, что ни

одна дѣвица и ни одинъ парень не хотѣли и идти на вечерницы въ другое мѣсто. Бесѣды пошли даже и безъ меду, и безъ орѣховъ.

На Охримовыхъ вечерницахъ также происходили и сближенія, послѣдствіемъ которыхъ являлись браки; но тутъ тоже была замѣчена очень странная особенность, необыкновенно послужившая въ пользу Охримовой репутаціи: всѣ молодые люди, полюбившіеся между собою на вечерницахъ Охрима и потомъ сдѣлавшіеся супругами, были, какъ на отборъ, счастливы другъ другомъ. Конечно, это всего вѣроятнѣе происходило оттого, что ихъ сближеніе происходило въ мирной атмосферѣ духовности, а не въ мятежѣ разгульной страстности, когда выборомъ руководитъ желанье крови, а не чуткое влеченіе сердца. Словомъ, велось по писанію: «Господь вселялъ въ домъ единомысленныя, а не преогорчевающія». Такъ все шло въ пользу репутаціи Пиднебеснаго, который, несмотря на всю простоту и непритязательность, сталъ въ Парипсахъ въ самое почетное положеніе—человѣка богоугоднаго. Къ нему не ходили на судъ только потому, что онъ никого не судилъ, а научиться у него желали всѣ, «ожидавшіе воскресенія».

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Такихъ людей, какъ Охримъ Пиднебесный, въ Малороссіи въ то время обозначилось нѣсколько, но всѣ они крылись безъ шуму и долго оставались незамѣченными для всѣхъ, кромѣ крестьянскаго міра.

Спустя цѣлую четверть столѣтія эти люди сами сказались, явясь въ обширномъ и тѣсно сплоченномъ религіозномъ союзѣ, который называется «штундою». Я очень хорошо зналъ одного изъ такихъ вожаковъ: это былъ привѣтливый, добрый, холостой казакъ-дѣвственникъ. Какъ большинство его товарищей, онъ научился грамотѣ самоучкою и обучилъ одинъ всѣхъ окрестныхъ ребятъ и дѣвушекъ. Послѣднихъ онъ училъ на вечерницахъ, или по великорусскому на «посидѣлкахъ», на которыя онѣ собирались къ нему съ работою. Дѣвушки пряли и шили, а онъ разсказывалъ о Христѣ.

Толкованія его были самыя простыя, совсѣмъ чуждыя всякой догматики и богослужебныхъ установленій, а имѣющія почти исключительно цѣли нравственнаго воспитанія

человѣка по идеямъ Іисуса. Мой знакомый казакъ-проповѣдникъ жилъ, однако, *на лѣвой* сторонѣ Днѣпра, въ мѣстности, гдѣ еще нѣтъ штунды.

Впрочемъ, въ то время, къ которому относится разсказъ, ученіе это еще не имѣло ничего сформированнаго и по правому днѣпровскому берегу.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Хлопца Дукачева Савку отдали учить грамотѣ къ Пиднебесному, а тотъ, замѣтивъ съ одной стороны быстрыя способности ребенка, а съ другой его горячую религіозность, очень его полюбилъ. Савва платилъ своему чистосердечному учителю тѣмъ же. Такъ между ними образовалась связь, которая оказалась до такой степени крѣпкою и нѣжною, что когда старый Дукачъ взялъ сына въ монастырь, чтобы тамъ посвятить его по материнскому обѣту на служеніе Богу, то мальчикъ затосковалъ невыносимо, не столько по матери, сколько о своемъ простодушномъ учителѣ. И эта тоска такъ повліяла на слабую организацію нѣжнаго ребенка, что онъ скоро заболѣлъ, слегъ и навѣрно бы умеръ, если бы его неожиданно не навѣстилъ Пиднебесный.

Онъ понялъ причину недуга своего маленькаго друга и, вернувшись въ Парипсы, сумѣлъ внушить Дукачихѣ, что жертва Богу не должна быть дѣтоубійствомъ. А потому совѣтовалъ не томить болѣе дитя въ монастырѣ, а устроить его въ «*живую жертву*». Пиднебесный указывалъ путь не совсѣмъ чуждый и незнакомый малороссійскому казачеству: онъ совѣтовалъ отдать Савву въ духовное училище, откуда онъ потомъ можетъ перейти въ семинарію, и можетъ сдѣлаться сельскимъ священникомъ, а всякій сельскій священникъ можетъ сдѣлать много добра бѣднымъ и темнымъ людямъ и стать черезъ это другомъ Христовымъ и другомъ Божіимъ.

Дукачиха убѣдилась доводами Охрима, и отрокъ Савка былъ взятъ изъ монастыря и отвезенъ въ духовное училище. Это всѣ одобряли, кромѣ одной Керасивны, въ которую, вѣроятно за ея старые грѣхи, вселился какой-то сумрачный духъ противорѣчія, сказывавшійся весьма неистовыми выходками, когда дѣло касалось ея крестника. Она

его какъ будто и любила, и жалѣла, а между тѣмъ, Богъ знаетъ, какъ на его счетъ смущала.

Это началось еще съ самаго младенчества: понесутъ, бывало, Савку причащать,—Керасивна кричитъ:

— Що вы робите! не надо; — не носить его... се така дытына... неможна его причащать.

Не послушаютъ ея,—она вся позеленѣетъ и либо смѣется, либо проситъ народъ въ церкви:

— Пустите меня скорѣе вонъ, щобъ мои очи не бачили, якъ ему будутъ Христовой крови давать.

На вопросы: что это ее такъ смущаетъ?—она отвѣчала:

— Такъ, мени тяжко! — изъ чего всѣ и заключили, что съ тѣхъ поръ, какъ она поисправилась въ своей жизни и больше не колдуетъ, чортъ нашелъ въ ея душѣ убранную хороминку и вернулся туда, приведя съ собою еще нѣсколько другихъ «*бисовъ*», которые не любятъ ребенка Савку.

И впрямь, «*бисы*» жестоко расхлопотались, когда Савку повезли въ монастырь: они такъ поджигали Керасивну, что та больше трехъ верстъ гналась за санями, крича:

— Не губите свою душу, не везите его въ монастырь, бо оно къ сему не сдатное.

Но ея, разумѣется, не послушали; теперь же, когда пошла рѣчь объ опредѣленіи мальчика въ училище, «откуда въ попы выходятъ», съ Керасивною сдѣлалась бѣда: ее ударилъ параличъ и она надолго потеряла даръ слова, который возвратился къ ней, когда дитя уже было опредѣлено.

Правда, что при опредѣленіи Савки явилось-было и еще одно маленькое препятствіе, которое состояло въ томъ, что никакъ не могли найти его записаннымъ въ метрическія книги Перегудинской церкви; но это ужасное обстоятельство для школъ гражданскихъ, въ духовныхъ училищахъ принимается нѣсколько мягче. Въ духовныхъ училищахъ знаютъ, что духовенство часто позабываетъ вписывать *своихъ* дѣтей въ метрики. Окрестивши, хорошенько подвыпьютъ, — боятся писать, что руки трясутся; назавтра похмеляются; на третій день ходятъ безъ памяти, а потомъ такъ и забудутъ вписать. Случаи такіе извѣстны, и, конечно, такъ это было и здѣсь, а потому хотя смотритель ругнулъ причетъ пьяницами, но мальчика принялъ, какъ онъ записанъ по исповѣднымъ росписямъ. А въ исповѣд-

ныхъ росписяхъ Савва былъ записанъ прекрасно: точно и даже не по одному разу въ годъ.

Этимъ все дѣло и исправили,—и пошелъ хорошій мальчикъ Савва отлично учиться, окончилъ училище, окончилъ семинарію и былъ назначенъ въ академію, но неожиданно для всѣхъ отказался и объявилъ желаніе быть простымъ священникомъ и то непремѣнно въ сельскомъ приходѣ. Отецъ молодого богослова, старый Дукачъ, къ этому времени уже умеръ; но мать его старушка еще жила въ тѣхъ же Парипсахъ, гдѣ какъ разъ объ эту пору скончался священникъ и открылась вакансія. Молодой человѣкъ и попалъ на это мѣсто. Неожиданная вѣсть о такомъ назначеніи очень обрадовала парипсянскихъ казаковъ, но зато совершенно лишила смысла остарѣвшую Керасивну.

Услышавъ, что ея крестникъ Савва становится въ попы, она безъ стыда разорвала на себѣ плахту и намисто, пала на кучу перегноя и выла:

— Ой, земля, земля! возьми насъ обоихъ! Но потомъ, когда этотъ духъ ее немножко поосвободилъ, она встала, начала креститься и ушла къ себѣ въ хату. А черезъ часъ ее видѣли, какъ она вся въ темномъ уборчикѣ и съ палочкой въ рукахъ шла большимъ шляхомъ въ губернскій городъ, гдѣ должно было происходить поставленіе Саввы Дукачева въ священники.

Нѣсколько человѣкъ встрѣтили на этомъ шляхѣ Керасивну и видѣли, что она шла очень поспѣшаючи, — ни отдыхать не садилась и ни о чемъ не разговаривала, а имѣла такой видъ, какъ бы на смерть шла: все вверхъ глядѣла и шопотомъ что-то шептала, вѣрно Богу молилась. Но Богъ и тутъ не внялъ ея молитвѣ. Хотя она и попала въ соборъ въ ту самую минуту, когда дьяконы, наяривая ставленника въ шею, крикнули «повелите», но никто не внялъ тому, что изъ толпы одна сельская баба крикнула: «Ой, не велю жъ, не велю!» Ставленника постригли, а бабу выпхали и отпустили, продержавъ дней десять въ полиціи, пока она перестирала приставу все бѣлье и нарубила двѣ кади капусты. Керасивна объ одномъ только интересовалась: «чи вже Савка попъ?» И узнавъ, что онъ попъ, она пала на колѣни, и такъ *на колѣняхъ* и проползла восемьдесятъ верстъ до своихъ Парипсъ, куда этими днями уже прибылъ и новый «попъ Савка».

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Парипсянскіе казаки, какъ сказано, были очень рады, что имъ назначили пана-отца изъ ихъ же казачьяго рода, и встрѣтили попа Савву съ большимъ радушіемъ. Особенно ихъ расположило къ нему еще то, что онъ былъ очень почтителенъ съ старой матерью, и сейчасъ же, какъ пріѣхалъ, спросилъ про свою «крестную», хотя навѣрно слыхалъ, что она была и такая, и сякая, и вѣдьма. Онъ ничѣмъ этимъ не погнушался. Вообще, всѣмъ показалось, что человѣкъ этотъ обѣщалъ быть очень добрымъ священникомъ, и онъ такимъ и былъ на самомъ дѣлѣ. Всѣ его полюбили, и даже Керасивна ничего противъ него не говорила, а только порою сушила брови да вздыхала, шепча:

— Усе бы добре, да якъ бы въ сей юшкѣ рыбка была.

Но рыбки въ ухѣ, по ея мнѣнію, не было, а безъ рыбы нѣтъ и ухи. Стало-быть, какъ ни хорошъ попъ Савва, а онъ ничего не стоитъ, и это непремѣнно должно обнаружиться.

И впрямь, въ немъ начали замѣчаться странности: во-первыхъ, онъ былъ бѣденъ, но совершенно равнодушенъ къ деньгамъ. Во-вторыхъ, вскорѣ овдовѣвъ, онъ не вылъ и не бралъ себѣ молодой наймычки; въ-третьихъ, когда нѣсколько женщинъ пришли ему сказать, что идутъ по обѣту въ Кіевъ, то онъ совѣтовалъ замѣнить ихъ походъ обѣтомъ послужить больнымъ и бѣднымъ, а прежде всего успокоить семью заботами о доброй жизни; а что касается даннаго обѣта,—онъ оказалъ неслыханную дерзость,—вызвался разрѣшить его и взять отвѣтъ на себя. «Разрѣшить обѣтъ, данный угодникамъ...» Это многимъ показалось такимъ богохульствомъ, которое едва ли возможно для человѣка крещенаго. Но и на этомъ дѣло не остановилось,—попъ Савва вскорѣ же далъ противу себя еще большія сомнѣнія: въ первый же великій постъ, когда всѣ прихожане перебывали у него на духу, оказалось, что онъ ни одному человѣку не запретилъ ѣсть, что ему Богъ послалъ, и никому не назначилъ епитимныхъ поклоновъ, а если и были отъ него кому-нибудь епитимныя назначенія, то они показывали новыя странности. Такъ, напримѣръ, мельнику Гаврилкѣ, который завѣдомо бралъ за помолъ очень глубокимъ ковшомъ, отецъ Савва настоятельно наказалъ сейчасъ же послѣ испо-

вѣди сострогнуть въ этомъ ковшѣ края, чтобы не брать лишняго зерна. Иначе не хотѣлъ дать ему причастія — и привелъ ему на то доводы отъ писанія, что неправая мѣра Бога гнѣваетъ и можетъ навлечь наказаніе. Мельникъ послушался, и всѣ перестали имъ обижаться, и повалилъ на его мельницу помолъ безъ перерыва. Онъ всенародно признался, что такъ съ нимъ Саввина епитимія сдѣлала. Молодая, очень горячая бабенка, бывшая за вторымъ мужемъ, лютовала надъ первобрачными дѣтьми. Отецъ Савва и въ это дѣло вмѣшался, и послѣ перваго же своего говѣнья у него молодая мачиха какъ переродилась и стала добра къ падчерицамъ и къ пасынкамъ. Жертвы за грѣхи онъ хотя и принималъ,—но не на ладанъ и не на свѣчи, а для двухъ бездомныхъ и безпріютныхъ сиротокъ Михалки и Потапки, которые жили у попа Саввы въ землянкѣ подъ колокольней.

— Да,—скажетъ бывало попъ Савва бабѣ или дѣвушкѣ:— дай Богъ, чтобы тебѣ это было прощено и чтобы ты впередъ не согрѣшала, а ты для того поусердствуй: послужи Господу.

— Радымъ-рада, батечку, тильки не знаю: чимъ Ему услуговать... хиба сходить у Кыевъ.

— Нѣтъ, никуда далеко ходить не надо,—дома трудись и не дѣлай того, что дѣлала, а теперь сейчасъ пойди смѣряй Божіихъ дѣтокъ Михалку да Потапку и сшей имъ по порточкамъ, хоть по коротенькимъ, да по сорочкѣ. А то велики стали,—стыдятся голые пузеня людямъ казать.

Грѣшницы охотно несли и эту епитимію, и Михалко съ Потапкой жили подъ опекою отца Саввы, какъ у самого Христа за пазушкой, — и не только «*голыхъ пузеней*» не показывали, но и всего своего сиротства почти не замѣчали.

И подобныя епитиміи о. Саввы были не только всѣмъ подъ силу, но и многимъ очень по сердцу, — даже утѣшительны. Только, наконецъ, о. Савва выкинулъ такую штуку, которая ему обошлась дорого. Стали къ нему, въ его маленькую церковку, ходить окольные люди изъ Перегудинскаго прихода, гдѣ онъ былъ крещенъ, и гдѣ теперь былъ уже другой попъ,—не тотъ, съ которымъ выпивала въ своей молодости Керасивна и къ которому она возила по знакомству крестить Дукачева Савку. Это положило начало недружеству со стороны перегудинскаго попа къ о. Саввѣ, а

тутъ произошелъ другой вредный случай: умеръ перегудинскій прихожанинъ, богатый казакъ Оселедецъ, и, умирая, хотѣлъ завѣщать «копу рублей на велыкій дзвинъ», т.-е. на покупку большого колокола; но вдругъ, поговоривъ передъ самою смертью съ отцомъ Саввою, круто отмѣнилъ свое намѣреніе и ничего не назначилъ на велыкій дзвинъ, а призвалъ трехъ хорошихъ хозяевъ и объявилъ, что отдаетъ имъ эту копу грошей съ завѣщаніемъ употребить ихъ на ту «Божу потребу, яку скаже панъ-отецъ Савва».—Казакъ Оселедецъ умеръ, а панъ-отецъ Савва указалъ построить за его копу грошей свѣтлую хату съ растворчатыми окнами, и сталъ собирать въ нее ребятъ, да учить ихъ грамотѣ и слову Божію.

Казаки думали, что это, пожалуй, дѣло хорошее, но не знали: богоугодное ли оно дѣло; а перегудинскій попъ это имъ вытолковалъ такъ, что дѣло выходитъ не богоугодно. Про то онъ обѣщалъ и доносъ писать, и написалъ. Отца Савву звали къ архіерею, но отпустили съ миромъ, и онъ продолжалъ свое дѣло: служилъ и училъ, и въ школѣ, и дома, и на полѣ, и въ своей малой деревянной церковкѣ. Времени прошло нѣсколько лѣтъ. Перегудинскій попъ, соревнуя отцу Саввѣ, этою порою отстроилъ каменную церковь, не въ примѣръ лучше Парипсянской, и богатый образъ досталъ, отъ котораго людямъ разныя чудеса сказывалъ; но попъ Савва и его чудесамъ не завидовалъ, а все велъ свое тихое дѣло по-своему. Онъ въ той же деревянной, маленькой церкви молился и Божіе слово читалъ, и его маленькая церковка ему съ людьми хоть порою тѣсна была, да зато перегудинскому попу въ его каменномъ храмѣ такъ было просторно, что онъ чуть ли не самъ-другъ съ понамаремъ по всей церкви расхаживалъ и смотрѣлъ, какъ смѣло на амвонъ церковная мышь выбѣгала и опять подъ амвонъ пряталась. И стало это перегудинскому попу, наконецъ, очень досадно; но онъ могъ лютовать на своего парипсянскаго сосѣда, отца Савву, сколько хотѣлъ, а вреда ему никакого сдѣлать не могъ, потому что нечѣмъ ему было подъ отца Савву подкопаться, да и архіерей стоялъ за Савву до того, что оправдалъ его даже въ той великой винѣ, что онъ перемѣнилъ настроеніе казака Оселедца, копа грошей котораго пошла не на дзвинъ, а на школу. Долго перегудинскій попъ это терпѣлъ, довольствуясь только тѣмъ,

что сочинялъ на Савву какія-нибудь нескладицы, въ родѣ того, что онъ чародѣй и его крестная матка была всѣмъ извѣстная въ молодости гулячка, и до сихъ поръ остается вѣдьмой, потому что никому на духу не кается, и не можетъ умереть, ибо въ писаніи сказано: «не хощетъ Богъ смерти грѣшника», но хочетъ, чтобъ онъ обратился. А она не обращается,—говѣетъ, а на духъ не ходитъ.

Это таки и было правда: старая Керасивна, давно оставившая всѣ свои слабости, хоть и жила честно и богобоязненно, но къ исповѣди не ходила. Ну, и возродились опять толки, что она вѣдьма и что, можетъ-быть, и вправду панъ-отецъ Савва хорошъ «за ея помогой».

Сталъ такой говоръ, а тутъ къ дѣлу подоспѣлъ другой пустой случай: стало у коровъ молоко пропадать... Кто этому могъ быть виноватъ, какъ не вѣдьма? а кто еще бо́льшая вѣдьма, какъ не старая Керасивна, которая, всѣмъ извѣстно, на цѣлое село мару напускала, мужа чортомъ оборачивала, и теперь пережила на селѣ всѣхъ своихъ сверстниковъ и ровесниковъ и все живетъ и ни исповѣдываться, ни умирать не хочетъ.

Надо было довести ее до того и до другого, и за это взялись нѣсколько добрыхъ людей, давшихъ себѣ слово: кто первый встрѣтитъ старую Керасивну въ темномъ мѣстѣ,— ударить ее, — какъ надлежитъ настоящему православному христіанину бить вѣдьму,—одинъ разъ чѣмъ попало *наотмашь* и сказать ей:

— Издыхай, а то еще бить буду.

И одному изъ тѣхъ богочтителей, которые взялись за такой подвигъ, посчастливилось: повстрѣчалъ онъ старую Керасивну въ безлюдномъ закоулкѣ и сподобился такъ угостить ее съ одного пріема, что она тутъ же кувыркнулась ничкомъ и простонала:

— Ой, умираю: зовите попа,—исповѣдаться хочу.

Сразу вѣдьма узнала, за что ее ударили!

Но чуть перетащили ее домой и прибѣжалъ къ ней въ перепугѣ отецъ Савва, она опять передумала и начала оттягивать:

— Мнѣ у тебя, — говоритъ, — нельзя исповѣдываться,— твоя исповѣдь не пользуетъ, хочу другого попа!

Добрый отецъ Савва сейчасъ же на своей лошадкѣ послалъ въ Перегуды за своимъ порицателемъ — тамошнимъ

священникомъ, и одного опасался, что тотъ закобенится и не пріѣдетъ; но опасеніе это было напрасно: перегудинскій попъ пріѣхалъ, вошелъ къ умирающей и оставался съ нею долго-долго; а потомъ вышелъ изъ хаты на крылечко, заложилъ дароносицу за пазуху и ну заливаться самымъ непристойнымъ смѣхомъ. Такъ смѣется, такъ смѣется, что и унять его нельзя, и люди смотрятъ на него и понять не могутъ: къ чему это статочно.

— Да ну бо, — годи вамъ, панъ-отче: что-то вы такъ сміетесь, що намъ ажъ страшно,—говорятъ ему люди.

А онъ отвѣчаетъ:

— О то же оно такъ и надлежитъ, щобы вамъ було страшно; да щобы всимъ страшно було,—на весь крещеный міръ, бо у васъ тутъ такое поганство завелось, якого отъ самаго перваго дня, отъ святаго князя Владиміра не було.

— О, да Богъ зъ вами, — не пужайте такъ страшно: идить, будьте ласковы, швидче до отца Саввы, — съ нимъ поговорить: нехай винъ що добре вздумае, — якъ помогты хрыстіянскимъ душамъ.

А перегудинскій попъ еще больше расхохотался, и вдругъ весь позеленѣлъ, глаза выпучилъ и отвѣчаетъ:

— Дурни вы вси,—темны и непросвѣщенные люди: школу себѣ вывели, а ничего не бачите.

— До того же мы васъ и просимъ: идите до нашего отца Саввы,—винъ васъ у себя въ хатѣ дожида: сядьте съ нимъ поговорить: винъ все бачить.

— Бачить!—закричалъ перегудинскій попъ.—Ни; ничего винъ не бачить: винъ и того не зна, кто винъ самъ такій есть на свити!

— Се мы вси знаемо, що винъ нашъ панъ-отецъ,—пипъ.

— Пипъ!

— А вже жъ пипъ.

— А я вамъ кажу, що винъ совсимъ и не пипъ!

— Якъ не пипъ?

— А такъ, не пипъ, да и не христіанинъ.

— Якъ не христіанинъ! годи бо вамъ: що се вы брешете?

— А ни: не брешу,—онъ не христіанинъ.

— А що жъ винъ таке?

— Що винъ таке?

— Да!

— А бисяка его знае що винъ таке!

Люди даже отшатнулись и перекрестились, а перегудинскій попъ сѣлъ въ сани и говоритъ:

— Вотъ я прямо отъ васъ ѣду къ благочинному и везу ему такую вѣсть, що на весь міръ христіанскій будетъ срамъ велыкій, и тогда вы побачите, що и пипъ вашъ—не пипъ и не христіанинъ, и дитки ваши не христіане, и кого онъ изъ васъ вѣнчаетъ,—тѣ все равно, что не вѣнчаны, и тѣ, которыхъ схоронилъ, умерли яко псы, безъ отпущенія и мучатся тамъ въ пеклѣ, и будутъ викъ мучиться, и ни хто ихъ оттуда выратувать не можетъ. Да; и все это, что я говорю, есть великая правда, и съ тѣмъ я до благочиннаго ѣду, а вы, если мнѣ не вѣрите, идите всѣ за-разъ до Керасихи, и пока она еще дышитъ,—я приказалъ ей подъ страшнымъ заклятіемъ, чтобы она вамъ все разсказала: кто есть таковъ сей человикъ, що вы зовете своимъ попомъ Саввою. Да, годи уже ему людей портить: вонъ и сорока сѣла у него на крышѣ и кричитъ: «Савка, скинь кафтанъ!»—Ничего; скоро увидимся. Хлопче! погоняй до благочиннаго, а ты, сорочка, чекочи громче: «Савка, скинь кафтанъ!» А мы съ благочиннымъ сейчасъ назадъ будемъ.

Съ этимъ перегудинскій попъ ускакалъ, а люди, сколько ихъ тутъ было, хотѣли всѣ кучей валить въ хатку Керасивны, чтобы допытать ее: что такое она наговорила про своего крестника, отца Савву; но, мало подумавши, рѣшили сдѣлать еще иначе, послать къ ней двухъ казаковъ, да чтобы съ ними третій былъ самъ попъ Савва.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Пришли казаки и отецъ Савва, и застали Керасивну, что она лежитъ подъ образами и сама горько-прегорько плачетъ.

— Прости меня,—говоритъ,—мое серденько, мое милое да несчастливое,—заговорила она до Саввы,—носила я въ своемъ сердцѣ твою тайную причину, а свою вину больше якъ тридцать лѣтъ и боялась не только на яву ее никому не сказать, но щобъ и во снѣ не сбредила, и оттого столько лѣтъ и на духъ не шла, ну а теперь, когда Всевышнему предстать нужно—все открыла.

Отецъ Савва, можетъ-быть, и струсилъ немножко чего-нибудь, потому что вся эта тайна его слишкомъ сурово дотрогивалась, но виду не показалъ, а спокойно говоритъ:

— Да що таке за дило велыке?

— Грѣхъ велыкій я содѣяла, и именно надъ тобою.

— Надо мною?—переспросилъ отецъ Савва.

— Да, надъ тобою: я тебѣ все въ жизни испортила, потому что хотя ты и писанію наученъ и въ попы поставленъ, а ни къ чему ты къ этому не годишься, потому что ты самъ до сихъ поръ нехрещеный человикъ.

Не мудрено себѣ представить, что̀ долженъ былъ почувствовать при такомъ открытіи кроткій отецъ Савва. Онъ сначала было принялъ это за болѣзненный бредъ умирающей, даже улыбнулся на ея слова, и сказалъ:

— Полно, полно, крестнинькая: какъ же я некрещеный, когда ты моя крестная?

Но Керасивна обнаруживала полную ясность ума и послѣдовательность въ своемъ разсказѣ.

— Оставь про это,—сказала она.—Якая я тебѣ крестная? Никто тебя не крестилъ. И кто во всемъ этомъ виноватъ,—я не знаю и во всю жизнь не могла узнать: зробилось ли это отъ нашихъ грѣховъ или можетъ быть больше отъ Николиной, велыкой московьской хитрости. Но вотъ идетъ перегудинскій панъ-отецъ съ благочиннымъ—сиди и ты здѣсь: я всѣмъ все разскажу.

Благочинный было не хотѣлъ, чтобы отецъ Савва и казаки слушали признанія Керасивны, но она настояла на своемъ, подъ угрозою, что иначе не будетъ разсказывать.

Вотъ ея исповѣдь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

«Попъ Савва, говоритъ,—совсѣмъ и не попъ, и не Савва, а человѣкъ не хрещеный, и это дѣло я одна знаю на свѣтѣ. Пошло это все съ того, что его покойный отецъ, старый Дукачъ, былъ очень лютъ: всѣ его не любили и всѣ боялись, и когда у него родился сынъ, никто не хотѣлъ идти въ кумовья, чтобы хрестить это дытя. Звалъ старый Дукачъ и судейскаго паныча и дочку нашего покойнаго пана-отца, да никто не пошелъ. Тогда старый Дукачъ еще больше разлютовался на весь народъ и на самого пана-отца—и его самого не захотѣлъ крестить просить: «Обойдусь,—го-

воритъ,—безъ всего, безъ ихъ званія». Кликнулъ племянника Агапку, что у него по сиротству въ дурняхъ жилъ, да и велѣлъ пару коней запрячь и меня кумою позвалъ: поѣзжай, говоритъ,—Керасивна съ Агапомъ въ чужое село и нынче же окрестите мою дытину. И онъ мнѣ шубу подарилъ, только Богъ съ нею, я ее послѣ того случая и не надѣвала: вонъ она какъ и теперь черезъ всѣ тридцать лѣтъ цѣла виситъ. И наказалъ мнѣ Дукачъ одно, что смотри, говоритъ,—якъ Агапъ человѣкъ глупый, онъ ничего сдѣлать не сумѣетъ, то ты гляди, добре съ попомъ уладьтесь, щобы онъ, чего Боже борони, по якой ни есть злобѣ не далъ хлопцу якого имени не христіанскаго, труднаго, або московьскаго. На двори у насъ Варваринъ день, а то очень опасно, бо тутъ коло Варвары сряду близко Никола живетъ, а Никола и есть самый первый москаль и онъ намъ, казакамъ, ни въ чемъ не помогаетъ, а все на московьскую руку тянетъ. Що тамъ гдѣ ни случись, хоть и наша правда,—а онъ пойдетъ такъ-сякъ передъ Богомъ наговоритъ и все на московьскую руку сдѣлаетъ, и своихъ москалей выкрутитъ и оправитъ, а казачество обидитъ. Борони Богъ намъ и дѣтей въ его имя называть. А вотъ тутъ же рядомъ съ нимъ живетъ святый Савка. Этотъ изъ казаковъ и до насъ дуже добрый. Якый онъ тамъ ни есть, хоть и не важный, а своего казака не выдастъ.

Я говорю:

— Се такъ: да маломоченъ винъ, святый Савка!

А Дукачъ говоритъ:

— Ничего, что маломоченъ, зато винъ дуже штуковатый: гдѣ его сила не возьметъ, такъ на хитрость подымется и какъ-нибудь да отстоитъ казака. А мы ему въ силѣ сами помочь дадимъ: станемъ свѣчи ставить и молебенъ споемъ: Богъ побачитъ що и святого Савку люди добре почитаютъ и Самъ на его увагу поверне, а винъ тогда и подсилится.

Я все, что Дукачъ просилъ, ему обѣщала. И завернула малого въ шубу, крестъ его себѣ на шею надѣла, а въ ноги барилочку съ сливянкой поставили, и поѣхали. Но только мы съ версту отъѣхали, какъ поднялась метель, просто ѣхать нельзя: зги никакой не видно.

Я говорю Агапу:

— Нельзя намъ ѣхать, воротимся!

А онъ дяди боялся и ни за что не хотѣлъ воротиться.

— Богъ дастъ, говоритъ,—доѣдемъ. А мнѣ чи замерзнуть, чи меня дядько убьѐ,—то все едино.

И все коней погоняетъ, и какъ уперся, такъ на своемъ и стоитъ.

А тѣмъ временемъ стало темнѣть и сдѣлалось не видно и слѣда. Ѣдемъ мы, ѣдемъ, и не знаемъ, куда ѣдемъ. Кони туда-сюда вертятъ, крутятся,—и никуда не пріѣдемъ. Перезябли мы страшно и чтобы не застыть, взяли и сами потянули изъ той барилочки, что перегудинскому попу везли. А я на дитя посмотрѣла: думала—борони Богъ, не задохло бы. Нѣтъ, тепленькое лежитъ и дышитъ такъ, что даже парокъ отъ него валитъ. Я ему дырочку надъ личикомъ прокопала, — пусть дышитъ, и опять поѣхали, и опять ѣздили-ѣздили, видимъ, что мы опять все крутимся, и нѣтъ намъ во тьмѣ никакого просвѣта, а кони куда знаютъ, туда и воротятъ. Теперь уже и домой вернуться, какъ раньше думали, чтобы переждать метель, и того нельзя, — нельзя уже стало и знать, куда ворочаться: гдѣ Парипсы, а гдѣ Перегуды. Я послала Агапа, чтобы всталъ, да коней въ поводу велъ, а онъ говоритъ: «якая ты умная! мнѣ холодно». Обѣщаю ему, какъ домой вернемся, злотъ ему дать, а онъ говоритъ:

— На що мени вашъ и злотъ, якъ мы оба тутъ издохнемъ. А если хотите мнѣ что сдѣлать отъ доброй души, дайте мнѣ еще хорошенько потянуть изъ барила. Я говорю: пей, сколько хочешь,—онъ и попилъ. Попилъ и пошелъ впередъ, чтобы брать коней за узду, да замѣсто того сейчасъ же сразу назадъ: вернулся, и весь трясется.

— Что ты, говорю,—что съ тобой такое?

А онъ отвѣчаетъ:

— Да ишь вы, говоритъ,—якая умная: развѣ я могу противъ Николы перти?

— Что ты глупый человѣкъ говоришь: чего тебѣ противъ Николы перти?

— А кто его знаетъ, говоритъ,—чего онъ тамъ стоитъ?

— Гдѣ, кто стоитъ?

— А вотъ тамъ, говоритъ,—у самаго запряга, впереди коней.

— Да цуръ тобѣ, дурню, говорю: ты пьянъ!

— Эге, хорошо, отвѣчаетъ,—что пьянъ, а вотъ же твой мужъ былъ не пьянъ, да мару видѣлъ, и я вижу.

Ну вотъ, говорю,—ты еще моего мужа вспомнишь: что онъ видѣлъ—это я лучше тебя знаю, что онъ видѣлъ, а ты говори: что тебѣ показывается!

А спитъ то-съ такъ совсѣмъ дуже велике въ московской золотой шапци, ажь съ нее искры сыплятся.

Это, говорю, у тебя у самого изъ пьяныхъ глазъ сыпется.

Нѣтъ, спорить, что Никола въ московьской шапци. Онъ нась и не пуска.

Я и задумала, что это, можетъ-быть, неправда, а можетъ, и вправду за то, что мы не хотѣли хлопца Николою писать, а Савкою, и говорю:

— Не хай же по его буде: не пуска и не надо,—мы ему теперь уступимъ, а завтра по-своему сдѣлаемъ. Пусти коней идти, куда хотятъ,—они насъ домой привезуть; а ты теперь за то хоть всю барилочку выпей.

Смутила я Агапа.

Ты, говорю,—выпей побольше, и только знай помалчивай; а я такое брехать стану, что никому въ умъ не вступить, что мы брешемъ. Скажемъ, что дѣтину охрестили и назвали его, какъ Дукачъ хотѣлъ, добрымъ казачьимъ именемъ, -Савкою,—вотъ и крестикъ пока ему на шейку надѣнемъ; а въ подилю (воскресенье) скажемъ: панъ-отецъ велѣлъ дытину привезти, чтобы его причастить, и какъ повеземъ, тогда за-разъ и окрестимъ, и причастимъ,—и все будетъ тогда, какъ слѣдуетъ по христіанскому.

И открыла опять дытиноча,—оно такое живенькое, спитъ, а само тепленько, даже снѣжокъ у него на лобикѣ таетъ; я ему этой талой водицей на личикѣ крестъ обвела и проговорила: во имя Отца, Сына, и крестикъ надѣла, и пустились на Божію волю, куда кони вывезуть.

Кони все шли да шли,—то идутъ, то остановятся, то опять пойдутъ, а погода все хуже да хуже, стыдь все лютѣе. Агапъ совсѣмъ опьянѣлъ, сначала бормоталъ что-то, а послѣ и голоса не сталъ подавать,—свалился въ сани и захрапѣлъ. А я все стыла, да стыла, и такъ и не пришла въ себя, пока меня у Дукача въ домѣ снѣгомъ стали оттирать. Тутъ я очнулась и вспоминала, что хотѣла сказать, и то самое и сказала, что дитя будто охрещено и что будто дано ему имя Савва. Мнѣ и повѣрили, и я покойна была, потому что думала все это поправить, какъ сказано, въ первое же воскресенье. А того и не знала, что Агапъ

былъ застрѣленный и скоро умеръ, а стараго Дукача въ острогъ берутъ; а когда узнала, я хотѣла во всемъ повиниться хоть старой Дукачихѣ, да никакъ не рѣшалася, потому что въ семьѣ тогда большое горе было. Думала, разскажу все это послѣ, да и послѣ тяжело было это открывать, и такъ все это день ото дня откладывалось. А время шло да шло, а хлопецъ все росъ; и все его Савкой звали, и въ науку его отдали,—я все не собралась открыть тайну и все мучилась, и все собиралась открыть, что онъ не крещеный, а тутъ, когда вдругъ услыхала, что его даже и въ попы ставятъ, побѣжала-было въ городъ, сказать, да меня не допустили и его поставили, и говорить стало не къ чему. Зато съ тѣхъ поръ я уже и минуты покоя не знаю,—мучусь, что черезъ меня все христіанство на моемъ родномъ мѣстѣ съ некрещенымъ попомъ въ посмѣхъ отдается. Потомъ, чѣмъ старѣе становилась и видѣла, что люди его все больше любятъ, тѣмъ хуже мучилась и боялась, что меня земля не приметъ. И вотъ только теперь, въ мой смертный случай, насилу сказала. Пусть проститъ мнѣ все христіанство, чьи души я некрещенымъ попомъ сгубила, а меня хоть живую въ землю заройте, и я ту казнь приму съ радостью».

Благочинный и перегудинскій попъ все это выслушали, все записали и оба къ той записи подписались, прочитали отцу Саввѣ, а потомъ пошли въ церковь, положили вездѣ печати и уѣхали въ губернскій городъ къ архіерею и самого отца Савву съ собой увезли.

А народъ тутъ и зашумѣлъ, пошли переговоры: что это такое, надъ нашимъ паномъ-отцомъ, да откудова и съ какой стати? И можно ли тому быть, какъ говоритъ Керасиха? Статочное ли дѣло вѣдьмѣ вѣрить?

И сгромоздили такую комбинацію, что все это отъ Николы и что теперь надо какъ можно лучше «подсилить» передъ Богомъ святого Савку и идти самимъ до архіерея. Отбили церковь, зажгли передъ святцами всѣ свѣчи, сколько было въ ящикѣ, и послали вслѣдъ за благочиннымъ шесть добрыхъ казаковъ къ архіерею просить, чтобы онъ отца Савву и думать не смѣлъ отъ нихъ трогать, «а то-де мы безъ сего пана-отца никого слухать не хочемъ и пойдемъ до иной вѣры, хоть если не до катылицкой, то до турецькой, а только безъ Саввы не останемся».

Вотъ тутъ-то архіерею и была загвоздка, почище того,

что «дьяконъ ударилъ трепака, а трепакъ не проситъ: зачѣмъ же благочинный доноситъ?»

Керасивна умерла, подтвердивъ въ своемъ порывѣ покаянія всѣмъ то, что мы знаемъ, и выборные казаки пошли къ архіерею и всю ночь все думали о томъ, что они сдѣлаютъ, если архіерей ихъ не послушаетъ и возьметъ у нихъ попа Савву?

И еще тверже рѣшили, что вернутся они тогда на село,—сразу выпьютъ во всѣхъ шинкахъ всю горѣлку, чтобы она никому не досталась, а потомъ возьметъ изъ нихъ каждый по три бабы, а кто богаче, тотъ четыре, и будутъ настоящими турками, но только другого попа не хотятъ, пока живъ ихъ добрый Савва. И какъ это можно допустить, что онъ не крещенъ, когда имъ крещено, исповѣдано, вѣнчано и схоронено такъ много людей по всему христіанству? Неужели теперь должны всѣ эти люди быть въ «поганьскомъ положеніи»? Одно, что казаки соглашались еще уступить архіерею,—это то, что если нельзя отцу Саввѣ попомъ остаться, то пусть архіерей его у себя, гдѣ знаетъ, тихонько окреститъ, а только чтобы все-таки онъ его оставилъ... или иначе они... «удадутся до турецькой вѣры».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Это опять было зимою, и опять было подъ вечеръ, и какъ разъ около того же Николина или Саввина дня, когда Керасивна, тридцать пять лѣтъ тому назадъ, ѣздила изъ Парипсовъ въ Перегуды крестить маленькаго Дукачева сына.

Отъ Парипсъ до губернскаго города, гдѣ жилъ архіерей, было верстъ сорокъ. Отправившаяся на выручку отца Саввы громада считала, что она пройдетъ верстъ пятнадцать до большой корчмы жида Іоселя,—тамъ подкрѣпится, погрѣется и къ утру, какъ разъ, явится къ архіерею.

Вышло немножко не такъ. Обстоятельства, имѣющія прихоть повторяться, сыграли съ казаками ту самую исторію, какая тридцать пять лѣтъ тому назадъ была разыграна съ Агапомъ и Керасивной: поднялась страшная метель, и казаки всею громадою начали плутать по степи, потеряли слѣдъ и, сбившись съ дороги, не знали, гдѣ они находятся, какъ вдругъ, можетъ-быть всего за часъ передъ разсвѣ-

томъ, видятъ стоитъ человѣкъ, и не на простомъ мѣстѣ, а на льду, надъ прорубью и говоритъ весело:

— Здорово, хлопцы!

Тѣ поздоровались.

— Чего, — говоритъ, — это васъ въ такую пору носитъ: видите, вы мало въ воду не попали.

— Такъ, — говорятъ, — горе у насъ большое, мы до архіерея спѣшимъ: хотимъ прежде своихъ враговъ его видѣть, щобы онъ на нашу руку сдѣлалъ.

— А что вамъ надо сдѣлать?

— А щобы онъ намъ нехрещенаго попа оставилъ, а то мы такіе несчастливые, що въ турки пидемо.

— Какъ въ турки пидете! Туркамъ нельзя горѣлки пить.

— А мы ее всю впередъ сразу выпьемъ.

— Ишь вы какіе лукавые.

— Да що же маемъ робить, при такой обидѣ — якъ добраго попа берутъ.

Незнакомый говоритъ:

— Ну, такъ разскажите-ка мнѣ все толкомъ.

Тѣ и разсказали. И такъ ни съ того, ни съ сего, стоя у проруби, умно все по порядку сказали и опять дополнили: что если архіерей имъ не оставитъ того Савву, то они «всей вѣры рѣшатся».

Тутъ имъ этотъ незнакомый и говоритъ:

— Ну, не бойтесь, хлопцы, я надѣюсь, что архіерей хорошо разсудитъ.

— Да воно бъ такъ и намъ, — говорятъ, — сдается, що такій великій чинъ маючи надо добре разсудить, а Богъ его церковный знае...

— Разсудитъ, разсудитъ, а не разсудитъ, такъ я помогу.

— Ты?.. а ты кто такой?

— Скажи: якъ тебя звать?

— Меня, говоритъ, звать Саввою.

Казаки другъ друга и толкнули въ бокъ.

— Чуете, се самъ Савва.

А тотъ Савва имъ потомъ: вотъ, говоритъ, вы пришли куда вамъ слѣдуетъ, — вонъ на горкѣ монастырь, тамъ и архіерей живетъ.

Смотрятъ и точно: виднѣть стало и передъ ними за рѣкою на горкѣ монастырь.

Очень казаки удивились, что подъ такою суровою непогодою, безъ отдыха, прошли сорокъ верстъ, и, взобравшись на горку, сѣли у монастыря, достали изъ сумочекъ у кого что было съѣдобнаго и стали подкрѣпляться, а сами ждутъ, когда къ утренѣ ударятъ и отопрутъ ворота.

Дождались, вошли, утреню отстояли, и потомъ явились на архіерейское крыльцо просить аудіенціи.

Хотя наши архипастыри и не очень охочи до бесѣдъ съ простецами, но этихъ казаковъ сразу пустили въ покои и поставили въ пріемную, гдѣ они долго-долго ждали, пока явились сюда и перегудинскій попъ, и благочинный, и попъ Савва, и много другихъ людей.

Вышелъ архіерей и со всѣми людьми переговорилъ, а съ благочиннымъ и съ казаками ни слова, пока всѣхъ другихъ изъ залы выпустилъ, а потомъ прямо говоритъ казакамъ:

— Ну, что, хлощы, обидно вамъ? Некрещенаго попа себѣ очень желаете?

А тѣ отвѣчаютъ:

— Милуйте—жалуйте, ваше высокопреосвященство: якъ же не обида... такій бувъ пипъ, такій пипъ, що другого такого во всѣмъ хрыстіянствѣ нема...

Архіерей улыбнулся.

— Именно, говоритъ,—такого другого нема, да съ этимъ оборачивается до благочиннаго и говоритъ:

— Поди-ка въ ризницу: возьми, тамъ тебѣ Савва книгу приготовилъ, принеси и читай, гдѣ раскрыта.

А самъ сѣлъ.

Благочинный принесъ книгу и началъ читать: «Не хощу же васъ не вѣдѣти, братіе, яко отцы наши *вси подъ облакомъ быша* и вси сквозь море проидоша и вси въ Моисея *крестишася во облацѣ и въ мори*. И вси тожде брашно духовное ядоша и вси тожде пиво духовное піяху, бо отъ духовнаго послѣдующаго камене: камень же бѣ Христосъ».

На этомъ мѣстѣ архіерей и перебилъ, говоритъ:

— Разумѣеши ли, яже чтеши?

Благочинный отвѣчаетъ:

— Разумѣю.

— И сейчасъ ли только ты это уразумѣлъ?

А благочинный и не знастъ, что̀ отвѣчать, и такъ наоболмашъ сказалъ:

— Слова сіи я и прежде челъ.

— А если челъ, такъ зачѣмъ же ты такую тревогу допустилъ и этихъ добрыхъ людей смутилъ, которымъ онъ добрымъ пастыремъ былъ?

Благочинный отвѣчалъ:

— По правиламъ святыхъ отецъ...

А архіерей перебилъ:

— Стой, говоритъ,—стой: иди опять къ Саввѣ: онъ тебѣ дастъ правило.

Тотъ пошелъ и пришелъ съ новою книгою.

— Читай,—говоритъ архіерей.

— Читаемъ,—началъ благочинный:—у святаго Григорія Богослова писано про Василія Великаго, что онъ «былъ для христіанъ іереемъ до священства».

— Сіе къ чему?—говоритъ архіерей.

А благочинный отвѣчаетъ:

— Я только по долгу службы моей, какъ оказался онъ не крещеный въ такомъ санѣ...

Но тутъ архіерей какъ топнетъ:

— Еще, говоритъ,—и теперь все свое повторяешь! Стало быть, по-твоему сквозь облако пройдя въ Моисея можно окреститься, а во Христа нельзя? Вѣдь тебѣ же сказано, что они, добиваясь крещенія, и влажное облако со страхомъ смертнымъ проникали, и на челѣ расталою водою того облака крестъ младенцу на лицѣ написали во имя святой Троицы. Чего же тебѣ еще надо? Вздорный ты человѣкъ и не годишься къ дѣлу: я ставлю на твое мѣсто попа Савву; а вы, хлопцы, будьте безъ сомнѣнія: попъ вашъ Савва, который вамъ хорошъ, и мнѣ хорошъ и Богу пріятенъ, и идите домой безъ сомнѣнія.

Тѣ ему въ ноги.

— Довольны вы?

— Дуже довольны,—отвѣчаютъ хлопцы.

— Не пойдете теперь въ турки?

— Тпфу! не пидемо, батьку, не пидемо.

— И всю горѣлку сразу не выпьете?

— Не выпьемо отъ разу, не выпьемо, цуръ ій, пекъ!

— Идите же съ Богомъ и живите по-христіански.

И тѣ уже готовы были уходить, но одинъ изъ нихъ для бо́льшаго успокоенія кивнулъ архіерею пальцемъ и говоритъ:

— А будьте, ваша милость, ласковы, отойти со мною до куточка.

Архіерей улыбнулся и говоритъ:

— Ну хорошо, пойдемъ до куточка.

Тутъ казакъ его и спрашиваетъ:

— А звольте ваша милость: звиткиля вы все се узнали, допреже якъ мы вамъ сказали?

— А тебѣ, говоритъ,—что за дѣло?

— Да намъ таке дило, чи се не Савва ли васъ всимъ надоумивъ?

Архіерей, которому все разсказалъ его келейникъ Савва, посмотрѣлъ на хохла и говоритъ:

— Ты отгадалъ,—мнѣ Савва все сказалъ.

А самъ съ этимъ и ушелъ изъ залы.

Ну, тутъ хлопцы и поняли все, какъ хотѣли. И съ той поры живетъ разсказъ, какъ маломочный Савва тихенько да гарненько оборудовалъ дѣло такъ, что московськiй Никола со всей своей силою ни при чемъ остался.

— Такій-то, говорятъ,—нашъ Савкò штуковатый, якъ подсилился, то таке повыдумывалъ, что всѣхъ съ толку сбилъ: то отъ писанія покажетъ, то отъ святыхъ отецъ въ носъ сунетъ, такъ что ажь ничого понять не можно. Богъ его святый знае: чи онъ взаправду попа Савву у Керасивны за пазухою перекрестилъ, чи только такъ ловко все закароголывъ, що и архіерею не разкрутить. А вышло все на добре. На томъ ему и спасыби.

О. Савва, говорятъ, и нынче живъ и вокругъ его села кругомъ штунда, а въ его малой церковкѣ все еще полно народу... И хоть неизвѣстно: «подсиливаютъ» ли тамъ нынче св. Савкà попрежнему, но утверждаютъ, что тамъ, попрежнему, во всемъ приходѣ никакіе Михалки и Потапки «*голые пузеня*» не показываютъ.

ВЛАДЫЧНЫЙ СУДЪ.

БЫЛЬ.

(ИЗЪ НЕДАВНИХЪ ВОСПОМИНАНІЙ).

Pendant къ разсказу „На краю свѣта".

«Не судите по наружности, но судите судомъ праведнымъ». *(Іоан. 7, 24).*
«Судъ безъ милости — не оказавшему милости». *(Іак. 11, 13).*

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ 1876 году я написалъ маленькій разсказъ, который называется «*На краю свѣта*» (изъ воспоминаній архіерея). Онъ имѣлъ, какъ мнѣ кажется, нѣкоторый успѣхъ. По крайней мѣрѣ я обязанъ такъ думать, судя и по довольно быстрой продажѣ книжечки, и по разнообразію вызванныхъ ею толковъ. Литературные органы, удостоившіе ее вниманія (не исключая и одного духовнаго изданія), отозвались о ней чрезвычайно сочувственно и милостиво, но зато частнымъ, негласнымъ путемъ мнѣ довелось слышать иное. Нѣкоторыя весьма почтенныя и довольно извѣстныя въ духовенствѣ лица отнеслись къ этому разсказу неодобрительно. То же самое высказано мнѣ и многими редстокистами. И тѣ, и другіе увидали въ поведеніи описаннаго мною архіерея и миссіонеровъ «*мирволенье невѣрію и даже нерадѣніе о спасеніи душъ святымъ крещеніемъ*».

И экзальтированнымъ мечтателямъ, и положительнымъ ортодоксаламъ одинаково не нравится, что описанный мною архіерей и миссіонеры не спѣшили крестить бродячихъ дикарей, которые нимало не усвоили истинъ христіанской

вѣры и принимали крещеніе или страха ради, или изъ матеріальныхъ расчетовъ.

Я не вижу никакой необходимости оправдываться въ томъ, что я написалъ, хотя и для оправданія моего, мнѣ, можетъ-быть, стоило бы только отослать этихъ критиковъ къ двумъ небольшимъ сочиненіямъ блаженнаго Августина: «De fide et operibus» и «De catechisandis rudibus». Тамъ они могутъ найти у этого великаго христіанскаго философа готовые отвѣты на укоризны, дѣлаемыя ими мнѣ за моихъ «тенденціозно-вымышленныхъ героевъ». Но дѣло-то въ томъ, что въ упомянутомъ небольшомъ моемъ сочиненьицѣ совсѣмъ и нѣтъ никакой тенденціи и даже очень мало вымысла, а почти все—настоящее происшествіе, весьма немного развитое только въ нѣкоторыхъ деталяхъ, и то по готовой канвѣ.

Я не вижу болѣе надобности скрывать, что архіерей, изъ воспоминаній котораго составленъ этотъ разсказъ, есть не кто иной, какъ недавно скончавшійся архіепископъ ярославскій, высокопреосвященный Нилъ, который *самъ* разсказывалъ это *бывшее съ нимъ* происшествіе понынѣ здравствующему и живущему здѣсь въ Петербургѣ почтенному и всякаго довѣрія достойному лицу В. А. К—ву. В. А. К—въ сообщилъ этотъ случай мнѣ, какъ прекрасный матеріалъ для характеристики свѣтлаго и яснаго взгляда усопшаго автора «Буддизма», а я только воспользовался этимъ матеріаломъ. Но, можетъ-быть, не безынтересно будетъ знать, что этотъ, разсказанный мною случай, въ которомъ всего замѣчательнѣе, конечно, взглядъ архіерея, далеко не единиченъ въ своемъ родѣ, и чтобы доказать это, я хочу теперь разсказать другое, близко мнѣ извѣстное происшествіе, всѣхъ участниковъ котораго я уже буду называть ихъ настоящими именами.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Очень молодымъ человѣкомъ, почти мальчикомъ, я началъ мою службу въ Кіевѣ, подъ начальствомъ Алексѣя Кирилловича Ключарева, который впослѣдствіи служилъ директоромъ департамента государственнаго казначейства и былъ извѣстенъ какъ «службистъ» и «чиновникъ съ головы до пятокъ». Его боялись въ Житомирѣ, боялись въ Кіевѣ и только перестали бояться въ Петербургѣ, гдѣ этотъ су-

ровый и сухой формалистъ почувствовалъ, что онъ тутъ не къ масти козырь, и вскорѣ по удаленіи отъ дѣлъ скончался. Онъ происходилъ изъ духовнаго званія, воспитывался въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ и былъ въ натурѣ бурсакъ самаго крѣпкаго закала. Онъ былъ неутомимъ, дѣловитъ, логиченъ, сухъ, любилъ во всемъ точность и не обличалъ слабостей сострадательнаго сердца. Правда, онъ очень любилъ свою комнатную собачонку съ коричневыми ушами; цѣловалъ ее взасосъ въ самую морду; бывалъ въ тревогѣ, когда она казалась ему грустною, и даже собственноручно ставилъ ей промывательное; но я никогда не видалъ, чтобы въ его сухомъ, почти жестокомъ лицѣ дрогнулъ хотя одинъ мускулъ, когда онъ выгонялъ со службы многосемейнаго чиновника или стригъ въ рекруты малолѣтнихъ еврейчиковъ, которыхъ тогда брали на службу въ дѣтскомъ возрастѣ.

Эта пріемка жидовскихъ ребятишекъ, поистинѣ, была ужасная операція. Законъ дозволялъ приводить въ рекруты дѣтей не моложе двѣнадцатилѣтняго возраста, но «по наружному виду» и «на основаніи присяжныхъ розысканій» принимали дѣтей и гораздо моложе, такъ какъ въ этомъ для службы вреда не предвидѣлось, а оказывались даже кое-какія выгоды, — напримѣръ, существовало убѣжденіе, что маленькія дѣти скорѣе обвыкались и легче крестились.

Пользуясь такимъ взглядомъ, евреи-сдатчики вырывали маленькихъ жидочковъ изъ материнскихъ объятій почти безъ разбора, и прямо съ теплыхъ постелей сажали ихъ въ холодные краковскіе брики и тащили къ сдачѣ.

Какими душу разрывающими ужасами все это сопровождалось, объ этомъ не дай Богъ и вспомнить. По всѣмъ еврейскимъ городамъ и мѣстечкамъ буквально возобновлялся «плачъ въ Рамѣ»: Рахиль громко рыдала о дѣтяхъ своихъ и не хотѣла утѣшиться.

Къ самой суровости требованій закона, нынѣ — слава Богу и Государю—уже отмѣненнаго, присоединилась еще къ угнетенію бѣдныхъ вся безпредѣльная жестокость жидовской неправды и плутовства, практиковавшихся на всѣ лады. Очередныхъ рекрутъ почти никогда нельзя было получить, а приводились подочередные, запасные и вовсе неочередные; а такъ какъ наборы были часты и производились съ замѣчательною строгостью, то разбирать было

некогда, и неочередные принимались «во избѣжаніе недоимки», съ условіемъ перемѣны впослѣдствіи очередными; но условіе это, разумѣется, никогда почти не исполнялось. «Записано и съ рукъ долой». Принятое дитя засылали въ далекіе кантонистскіе батальоны, и бѣдные родители не знали, гдѣ его отыскивать, а къ тому же у рачительныхъ партіонныхъ командировъ, *по-своему* радѣвшихъ о христіанствѣ, и вѣроятно тоже *по-своему* его и понимавшихъ, значительная доля такихъ еврейчиковъ оказывалась окрещенными, прежде чѣмъ партія приходила на мѣсто, гдѣ крещеніе производилось еще успѣшнѣе. Словомъ, ребенокъ, разъ взятый отъ евреевъ-родителей, былъ для нихъ почти что навсегда потерянъ.

Очень многихъ изъ этихъ жидочковъ крестили еще и до выступленія партій изъ Кіева, чѣмъ особенно интересовалась и озабочивалась покойная супруга тогдашняго юго-западнаго генералъ-губернатора, княгиня Екатерина Алексѣевна Васильчикова (рожденная кн. Щербатова).

Самая вопіющая несправедливость при сдачѣ дѣтей заключалась въ томъ, что у нихъ почти у всѣхъ безъ исключенія никогда не бывало метрическихъ раввинскихъ выписей, и лѣта приводимаго опредѣлялись, какъ я сказалъ, или наружнымъ видомъ, который можетъ быть обманчивъ, или такъ-называемыми «присяжными розысканіями», которыя всегда были еще обманчивѣе. Что такое были эти присяжныя розысканія,—это весьма интересно и въ своемъ родѣ можетъ быть поучительно для нѣкоторыхъ мечтателей, имѣющихъ высокое понятіе о еврейской религіозности. Шесть или двѣнадцать жидковъ *присягали* гдѣ-то, что они «достаточно знаютъ, что такому-то Шмилику и Мордкѣ уже исполнилось двѣнадцать лѣтъ», и на основаніи этого документа принимались въ рекруты дѣти, которымъ было не болѣе семи или восьми лѣтъ. Случаевъ этихъ было бездна. Бывало и то, что одна дюжина сыновъ Израиля, нанятая присягать сдатчиками, присягала, что Мордкѣ двѣнадцать лѣтъ, а другая, нанятая для того же родителями ребенка, подъ такою же присягою удостовѣряла, что ему только семь лѣтъ! Бывало даже, что и одни и тѣ же люди присягали и за одно, и за другое. Это объяснялось возникновеніемъ при описываемыхъ мною обстоятельствахъ особаго промысла «присягателей»: изъ самаго мерзкаго

отребья жидовскихъ кагаловъ, такъ хорошо описанныхъ принявшимъ христіанство раввиномъ Брафманомъ, составлялись банды безсовѣстныхъ и грубо деморализованныхъ людей, которые такъ и бродили шайками по двѣнадцати человѣкъ, ища работы, т.-е. пытая вездѣ: «чи нема чого присягать?»

И гдѣ было «чого присягать», тамъ, при продажномъ приставѣ и продажномъ «казенномъ раввинѣ», безтрепетно произносилось имя Еговы и Его святымъ именемъ какъ бы покрывалась страшная неправда гнусной совѣсти человѣческой.

Вся кощунственная мерзость этого вопіющаго злоупотребленія именемъ Божіимъ была всѣмъ узрима до очевидности; но... дѣло обставленное съ его формальной стороны не останавливало теченія этого «*порядка*». Ни судить, ни рядить, ни заступиться за слабаго при самомъ очевидномъ его угнетеніи не было ни времени, ни средствъ, ни охоты...

Да; я не обмолвился: не было уже и *охоты*, потому что въ этомъ морѣ стоновъ и слезъ, въ которомъ мнѣ въ моей юности пришлось провести столько тяжкихъ дней, отупѣвало чувство и если порою когда и шевелилось слабое состраданіе, то его тотчасъ же подавляло сознаніе полнѣйшаго безсилія помочь этому ужаснѣйшему, раздирающему горю цѣлой толпы завывавшихъ у стѣнъ палаты матерей и рвавшихъ свои пейсы отцовъ.

Ужасныя картины, повторяясь изо дня въ день, притупляли впечатлительность даже и въ незломъ и въ доступномъ состраданію сердцѣ.

«Привычка—чудовище».

Но какъ нѣтъ правилъ безъ исключенія, то и тутъ, въ этой тягостной полосѣ моихъ раннихъ воспоминаній есть одно исключеніе, съ которымъ для меня соединяется самое свѣтлое воспоминаніе о небольшомъ и конечно неважномъ, но, по моему мнѣнію, въ высшей степени замѣчательномъ и оригинальномъ происшествіи, бросающемъ мягкій и теплый лучъ свѣта на меркнущую въ людской памяти личность благодушнѣйшаго іерарха русской церкви, покойнаго митрополита кіевскаго Филарета Амфитеатрова.

Можетъ статься, что читатель будетъ немножко удивленъ: кое общеніе митрополиту съ жидовскимъ наборомъ?! И впрямь есть чему удивляться; но чѣмъ это кажется удиви-

тельнѣе, тѣмъ должно быть интереснѣе, и ради этого-то интереса я приглашаю читателя терпѣливо послѣдовать за мною до конца моего небольшого разсказа.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

А. К. Ключаревъ, не взирая на мои юные годы, назначилъ меня къ производству набора. Дѣло это, не требующее никакихъ, такъ-называемыхъ, «высшихъ соображеній», требуетъ, однако, много усилій. Цѣлые дни, иногда съ ранняго утра до самыхъ сумерекъ (при огнѣ рекрутъ не осматривали) надо было безвыходно сидѣть въ присутствіи, чтобы разъяснять очередныя положенія приводимыхъ лицъ и представлять объясненія по безчисленнымъ жалобамъ, а также подводить законы, приличествующіе разрѣшенію того или другого случая. А чуть закрылось присутствіе, начиналась самая горячая подготовительная канцелярская работа къ слѣдующему дню. Надо было принять объявленія, сообразить ихъ съ учетами и очередными списками; отослать обмундировочныя и порціонныя деньги; выдать квитанціи и разсмотрѣть цѣлыя горы ежедневно въ великомъ множествѣ поступавшихъ запутаннѣйшихъ жалобъ и каверзнѣйшихъ доносовъ.

Канцелярія, состоящая изъ командированныхъ къ этому времени изъ разныхъ присутственныхъ мѣстъ чиновниковъ, исполняла только то, что составляло механическую работу,—т.-е. ея дѣло вписать и записать, выдать,—все же требующее какой-нибудь сообразительности и знанія законовъ лежало на одномъ лицѣ — на дѣлопроизводителѣ. Поэтому, къ этой мучительной, трудной и отвѣтственной должности выбирались люди служилые и опытные; но А. К. Ключаревъ, по свойственной ему во многихъ отношеніяхъ непосредственности, выбралъ въ эту должность меня,—едва лишь начавшаго службу и имѣвшаго всего 21 годъ отъ роду.

Легко представить: какія усилія я долженъ былъ употреблять, чтобы вести въ порядкѣ такое суматошное и отвѣтственное дѣло при такомъ строгомъ начальникѣ, какъ А. К. Ключаревъ, котораго потомъ смѣнилъ благодушный Н. М. Кобылинъ, тоже удержавшій меня на этой должности. Мученія мои начались мѣсяца за полтора до начала набора по образованію участковъ, выбору очередей и проч.,

продолжались мѣсяца полтора-два во время самаго набора и оканчивались послѣ составленія о немъ отчета. Во все это время я не жилъ никакою человѣческою жизнью, кромѣ службы: я едва имѣлъ часъ, полтора на обѣдъ и не болѣе четырехъ часовъ въ ночь для сна.

Всякій, вѣроятно, легко пойметъ, какъ при такой жизни у меня было мало времени для того, «чтобъ сердцемъ умилиться, о людяхъ плакать и молиться».

Въ это-то время, можетъ-быть даже въ одинъ изъ самыхъ надоѣдныхъ дней, я сидѣлъ разъ вечеромъ за своимъ столикомъ въ присутственной комнатѣ и читалъ одну за другою набросанныя мнѣ жалобы. Ихъ по обыкновенію было очень много, и большинство ихъ—почти тождественнаго содержанія. Всѣ онѣ содержали одни и тѣ же сѣтованія и были написаны по одному очень грустному и очень пошлому шаблону. Но вдругъ мнѣ попалъ въ руки листокъ прескверной, скомканной бумаги, на которомъ невольно остановилось мое вниманіе. Отъ этой бумажонки такъ и несло самымъ безучастнымъ и самымъ непосредственнымъ горемъ, котораго нельзя было не замѣтить, какъ нельзя не замѣтить насквозь промерзшаго окна, потому что отъ него дышитъ холодомъ. Самый видъ этой бумажонки напоминалъ того нищаго, про котораго Гейне сказалъ, что у него:

глядѣла...
Бѣдность въ каждую прорѣху
И изъ очей глядѣла бѣдность.

Я почувствовалъ неотразимую потребность самымъ внимательнымъ образомъ вникнуть въ эту бумагу; но лишь только приступилъ къ ея чтенію, какъ сейчасъ же увидалъ, что это было почти что невозможно. Невозможно было понять, на какомъ это было писано языкѣ и даже какимъ алфавитомъ. Тутъ были буквы и польскія, и русскія, и вдругъ между ними цѣлое слово или одинъ знакъ по-еврейски. Самое надписаніе было что-то въ родѣ надписанія, какое сдѣлали гоголевскіе купцы въ жалобѣ, поданной «господину финансову» Хлестакову: тутъ были и слова изъ высочайшаго титула, и личное имя предсѣдателя, и упоминались «усп генералъ-губернатора и чины и ваши оберъ-преподобіе, увмѣстѣ съ флигерточаковъ *) и увси, кто въ Бога вируе».

*) Флигерточаковъ» это должно было значить «флигель-адъютантъ Чертковъ».

Словомъ, было видно, что проситель жаловался всѣмъ властямъ въ мірѣ и все это устроилъ въ такой формѣ, что можно было принять, пожалуй, за шутку и за насмѣшку, и было полное основаніе все это произведеніе «оставить безъ послѣдствій» и бросить подъ столъ въ корзину. Но, опять повторяю, здѣсь «глядѣла бѣдность въ каждую прорѣху и изъ очей глядѣла бѣдность», и мнѣ ее стало очень жалко.

Вмѣсто того, чтобы отбросить бумажонку за ея неформенность, какъ «неподлежаще поданную», я ее началъ читать и «духомъ возмутился, зачѣмъ читать учился». Нелѣпость въ надписаніи была ничто въ сравненіи съ тѣмъ, что содержалъ самый текстъ, но зато въ этой нелѣпости еще назойливѣе вопіяло отчаяніе.

Проситель въ малопонятныхъ выраженіяхъ, изъ коихъ трудно было добраться до смысла, разсказывалъ слѣдующее: онъ былъ «интролигаторъ», т.-е. переплетчикъ, и обращаясь по своему мастерству съ разными книгами, «посядалъ много науки въ премудрость Божаго слова пообширнаго разсужденія». Такое «обширное разсужденіе» привело его въ опалу и у кагала, который въ противность всѣхъ правилъ напалъ ночью на домишко «интролигатора» и съ его постели увлекъ его десятилѣтняго сына и привезъ его къ сдачѣ въ рекруты. «Интролигаторъ» дѣйствительно не былъ на очереди и представлялъ присяжное разысканіе, что взятый кагаломъ сынъ его имѣетъ всего семь лѣтъ; но очередь въ эти дни передъ концомъ набора не наблюдалась, а кагалъ въ свою очередь представлялъ другое присяжное разысканіе, что мальчику уже исполнилось двѣнадцать лѣтъ.

Интролигаторъ очевидно предчувствовалъ, что мірская кривда одолѣетъ его правду и, не надѣясь восторжествовать надъ этою кривдою, отчаянно молилъ подождать съ принятіемъ его сына «только день одинъ», потому что онъ нанялъ уже вмѣсто своего сына наемщика, двадцатилѣтняго еврея, и везетъ его къ сдачѣ, а просьбу эту посылаетъ «въ увпередъ по почтѣ».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

По обычаямъ, у насъ существовавшимъ, все это ничего не значило, — и такъ какъ самого интролигатора съ его наемщикомъ не было въ Кіевѣ, а его мальчикъ былъ уже

привезёнъ и завтра назначенъ къ осмотру, то было ясно, что если онъ окажется здоровъ и тѣльцемъ крѣпокъ, то мы его «по наружному виду» постримемъ и пустимъ въ ходъ.

Съ этимъ я и отложилъ просьбу интролигатора въ сторону съ подлежащею справкою и помѣтою. Болѣе я ничего не могъ сдѣлать; но прошелъ часъ, другой, а у меня ни съ того, ни съ сего изъ ума не выходилъ этотъ бѣдный начитанный переплетчикъ. Мнѣ все представлялось: какъ онъ прилетитъ завтра сюда съ его «обширнымъ разсужденіемъ», а его дитя будетъ уже въ солдатскихъ казармахъ, куда такъ легко попасть, но откуда выбраться трудно.

И все мнѣ становилось жалче и жалче этого бѣднаго жида, въ просьбѣ котораго такъ неожиданно встрѣчалось его «широкое образованіе», за которымъ мнѣ тутъ чувствовалась цѣлая старая исторія, которая вѣчно нова въ жестоковыйномъ еврействѣ. Не должно ли было это просто значить, что человѣкъ, имѣвшій отъ природы добрую совѣсть, немножко пораздвинулъ свой умственный кругозоръ и, не измѣняя вѣрѣ отцовъ своихъ, попытался имѣть свое мнѣніе о духѣ закона, сокрываемомъ буквою,—сталъ больше заботиться объ очищеніи своего сердца, чѣмъ объ умываніи рукъ и полосканіи скляницъ — и вотъ дѣло готово: онъ «опасный вольнодумецъ», котораго фарисейскій талмудизмъ стремится разорить, уничтожить и стереть съ лица земли. Если бы этотъ человѣкъ былъ богатъ, ѣлъ свиныя колбасы у исправника, совсѣмъ позабылъ Егову и не думалъ о Его заповѣдяхъ, но не вредилъ фарисейской лжеправедности,— это было бы ничего,—его бы терпѣли и даже уважали бы и защищали; но у него явилась какая-то *ширъ*, какая-то свобода духа,—вотъ этого подзаконное жидовство стерпѣть не можетъ.

Восемнадцать столѣтій этой *старой исторіи* еще не измѣнили *); но я, впрочемъ, возвращаюсь къ своей исторіи.

Кому-нибудь, можетъ-быть, покажется страннымъ — по-

*) Русское законодательство имѣло въ виду эту фарисейскую мстительность, и въ IV томѣ Свода Законовъ были положительныя статьи, которыми вмѣнялось въ обязанность, при разсмотрѣніи общественныхъ приговоровъ о сдачѣ евреевъ въ рекруты «за дурное поведеніе», обращать строгое вниманіе, чтобы подъ видомъ обвиненія въ «дурномъ поведеніи» не скрывались козни фанатическаго свойства, мстящія за неисполненіе тѣхъ или другихъ «еврейскихъ обрядовъ»; но евреи это отлично обходили и достигали чего хотѣли.

чему я придавалъ такое значеніе словамъ интролигатора, который, будучи пристигнутъ бѣдою, очень могъ нарочно прикинуться гонимымъ за свободу мнѣній?

Я это понимаю, и конечно случись это теперь, — подозрѣніе, весьма вѣроятно, могло бы закрасться и въ мою голову; но въ ту пору, къ которой относится мой разсказъ, о такихъ вещахъ, какъ «свобода мнѣній», не думали даже люди, находившіеся въ положеніи гораздо болѣе благопріятномъ, чѣмъ бѣдный жидокъ, у котораго похитили съ постели его единственнаго ребенка. Ему не могло придти въ голову пощеголять либерализмомъ, который послужилъ бы ему скорѣе въ напасть, чѣмъ въ пользу, а это отнюдь не свойственно представителю разсчетливой еврейской породы. Слѣдовательно, я имѣлъ основаніе умозаключить, что слово о религіи тутъ употреблено самымъ искреннимъ образомъ.

Повторяю: мнѣ стало жаль бѣднаго интролигатора, и я вздумалъ ему немножко помочь. Я хотѣлъ, возвращаясь ночью домой, заѣхать въ Англійскую гостиницу, гдѣ квартировалъ, находившійся для набора, флигель-адъютантъ, и сказать ему: не пожелаетъ ли онъ вступиться за бѣднаго человѣка,—попросить, чтобы пріемъ рекрутъ этого участка былъ на одинъ день отложенъ.

Флигель-адъютанты, которыхъ присылали къ наборамъ, хотя прямо въ такіе распорядки не вмѣшивались, но ихъ ходатайства всегда болѣе или менѣе уважались. Однако, и эта моя задача не годилась, потому что прежде, чѣмъ я привелъ свое намѣреніе въ исполненіе, несчастное дѣло бѣднаго интролигатора осложнилось такими роковыми случайностями, что спасти его сына могло уже развѣ только одно чудо. И что же? чудо для него совершилось, и притомъ совершилось свободно, просто и легко, наперекоръ всѣмъ видимымъ невозможностямъ, благодаря лишь одному тому кроткому «земному ангелу», за какового многіе въ Кіевѣ почитали митрополита Филарета, привлеченнаго сюда — къ этому жидовскому дѣлу — самымъ неожиданнымъ образомъ и перевершившаго всю жидовскую кривду и неподвижную буквенность закона своимъ живымъ и милостивымъ *владычнымъ судомъ*.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Часу въ двѣнадцатомъ ночи я услыхалъ какой-то виль-

ный шумъ въ огромной канцелярской залѣ, смежной съ присутственною камерою, гдѣ я сидѣлъ одинъ за моимъ дѣлопроизводительскимъ столикомъ.

Подобные безпорядки, какъ шумъ, случались, потому что ко мнѣ, какъ къ слишкомъ молодому начальнику канцеляріи, подчиненные мои страха не питали и особой аттенціи не оказывали. Лучшими изъ нихъ относительно субординаціи были старые титулярные совѣтники, декорированные «безпорочными пряжками» и станиславами. Эти важные люди хотя и не жаловали меня, какъ «мальчишку», котораго, по всѣмъ ихъ соображеніямъ, «въ обиду посадили имъ на шею», но обряда ради солидничали; молодежь же, хотя и была исполнительна въ работѣ, а вела себя дурно. Они, случалось, и рѣзвились, и потѣшались на счетъ тѣхъ же «титулярныхъ», между которыми былъ одинъ, весьма вѣроятно, многимъ до сихъ поръ въ Кіевѣ памятный, Григорій Ивановичъ Салько,—величайшій чудакъ, обучавшійся у «дьяка» и начавшій службу «при дьякѣ» и необыкновенно тѣмъ гордившійся. Онъ имѣлъ совершенно своеобразное пристрастіе къ старому канцелярскому режиму и давалъ всѣмъ оригинальные совѣты изъ дьяковской мудрости. Такъ, напримѣръ, я помню, какъ онъ, замѣтивъ однажды, что я едва преодолѣваю усталость и дремоту, сказалъ мнѣ:

— Сдѣлайте, какъ меня старый дьякъ училъ: возьмите у меня изъ табатерки щепоть табаку да бросьте себѣ въ глаза — сонъ сейчасъ пройдетъ. Мы, въ то время, когда еще настоящая служба была... это когда еще васъ на свѣтѣ не было,—все бывало такъ дѣлали.

Этого и другихъ ему подобныхъ стариковъ легкомысленная молодежь часто дразнила и выводила изъ терпѣнія, при чемъ нерѣдко дѣло отъ шутокъ доходило и до дракъ.

Пора относительно еще весьма не давняя, но ужъ совсѣмъ почти невѣроятная.

Такъ и въ этотъ разъ, разслышавъ шумъ, я полагалъ, что мои молодцы раздразнили кого-нибудь изъ титулярныхъ совѣтниковъ, и произошла обыкновенная свалка, которая должна сейчасъ же разрѣшиться дружнымъ хохотомъ. Но дѣло выходило не такъ: я слышалъ, что вся моя орава куда-то отхлынула, и канцелярія какъ-будто сразу опустѣла.

Я всталъ и вышелъ посмотрѣть, что случилось. Зала дѣйствительно была пуста, свѣчи горѣли на незанятыхъ никѣмъ столахъ, и только въ одномъ углу неподвижно, какъ мумія, сидѣлъ старѣйшій изъ моихъ титулярныхъ совѣтниковъ,—Несторъ кіевскихъ канцелярій,—Платонъ Ивановичъ Долинскій, имѣвшій владимірскій крестъ за тридцатипятилѣтнюю службу.

Этотъ нашъ Несторъ былъ огромный, сухой, давно весь какъ лунь посѣдѣвшій престарѣлый хохолъ, державшій себя очень неприступно и важно.

Онъ обыкновенно никогда безъ крайней надобности не поднимался съ своего мѣста и не разговаривалъ, а если разговаривалъ, то ругался, и непремѣнно по-хохлацки.

Завидѣвъ меня, онъ немедленно взглянулъ сверхъ своихъ мѣдныхъ очковъ и сейчасъ же, сердито задвигавъ челюстями, началъ меня пробирать:

— Що же, хиба вы не бачите, що тутъ роблять: они уси побигли дывиться на скаженаго жидюгу. Це же вамъ стыдно: якій же вы старшій? Идыть-бо гоните ихъ, подлецовъ, назадъ до праци.

— Какой же, спрашиваю,—тамъ взялся сумасшедшій?

— А чортяка его видае, звиткиля винъ взялся! Ось вонъ тамъ, гдѣсь на сходахъ крутиться.

Я взялъ съ одного изъ столовъ свѣчу и пошелъ къ выходу на лѣстницу.

Здѣсь, на просторной, очень тускло освѣщенной террасѣ были всѣ мои чиновники. Густо столпившись сплошною массою, они насѣдали на плечи другъ другу и смотрѣли въ средину образованнаго ими круга, откуда чей-то задыхающійся отчаянный голосъ вопилъ скверными жидовскимъ языкомъ:

— Ай-вай! спустите мене, спустите... Уй, ай, ай, ай-вай, спустите! Ай спустите, бо часу нема, бо онъ вже... тамъ у лавру... утикъ... Ай гашпадинъ митрополитъ, гашпадинъ митрополитъ... ай-вай, гашпадинъ митрополитъ, когда жъ ви же старъ чоловикъ... ай-вай, когда жъ ви у Бога вирусте... ай... што же это такой бу-у-детъ!.. Ай спустить мене ай... ай!

— Куда тебя парха пустить!—остепенялъ его знакомый голосъ солдата Алексѣева.

— Туда... гвальтъ... я не знаю куда... кто въ Бога

виру̀е... спустите... бо я несчастливый бидный жидокъ... що вамъ мине тримать... що мине мучить... я вже замучинъ... спустите ради Бога.

— Да куда тебя лѣшаго пустить: куда ты пойдешь? куда просишься?

— Ай, только спустите... я пиду... ей-Богу пиду... бо я не знаю куда пиду... бо мине треба до самъ гашпадинъ митрополитъ...

— Да развѣ здѣсь, жидъ ты этакой, сидитъ господинъ митрополитъ!—резонировалъ сторожъ.

— Ахъ... кеды жъ... кеды жъ я не знаю, гдѣ сидитъ гашпадинъ митрополитъ, гдѣ къ ёму стукать... Ай, мнѣ же его треба, мнѣ его гвальтъ треба! — отчаянно картавилъ и отчаянно бился еврей.

— Мало чего тебѣ треба: такъ тебя парха и пустятъ до митрополита.

Жидъ еще лише завылъ.

— Ай мине нада митрополитъ... мине... мине не пустятъ до митрополитъ... Пропало, пропало мое дѣтко, мое несчастливое дѣтко!

И онъ вдругъ пустилъ такую ужасающую ноту вопля, что всѣ даже отшатнулись.

Солдатъ зажалъ ему рукою ротъ, но онъ высвободилъ лицо и снова завопилъ съ жидовскою школьною вибраціею:

— Ой Іешу! Іешу Ганоцри! *) Онъ Тебя обмануть хочетъ: не бери *его* лайдака, мишигинера, плута... Ой, Іешу, на що Тебѣ такой поганецъ.

Услыхавъ, что этотъ жидокъ зоветъ уже Іисуса Христа, я раздвинулъ толпу. Передо мною было зрѣлище, которое могло напомнить группу съ бѣсноватымъ на рафаэлевской картинѣ «Преображенія», столь всѣмъ извѣстной по превосходной гравюрѣ г. Іордана. Пожилой, лохматый еврей, неопредѣленныхъ лѣтъ, весь мокрый, въ обмерзлыхъ лохмотьяхъ, но съ потнымъ лицомъ, къ которому прилипли его черныя космы, и съ глазами на выкатѣ, выражавшими и испугъ, и безнадежное отчаяніе, и страстную безграничную любовь, и самоотверженіе, не знающее никакихъ границъ.

Его держали за шиворотъ и за локти два здоровенные солдата, въ рукахъ которыхъ онъ корчился и бился, то весь

*) «Іешу Ганоцри» по еврейскому произношенію значитъ *Іисусъ Назарянинъ*.

сжимаясь, какъ улитка, то извиваясь ужомъ и всячески стараясь вырваться изъ оковавшихъ его желѣзныхъ объятій.

Это ужасающее отчаяніе, и эта фраза: «кто въ Бога вируе», которую я только-что прочелъ въ оригинальной просьбѣ и которую теперь опять слышалъ отъ этого бѣснующагося несчастнаго, явились мнѣ въ общей связи. Мнѣ подумалось:

— Не онъ ли и есть этотъ интролигаторъ? Но только какъ онъ могъ такъ скоро поспѣть вслѣдъ за своимъ прошеніемъ и какъ онъ не замерзъ въ этомъ жалчайшемъ рубищѣ и, наконецъ, что̀ ему надо, что̀ такое онъ лепечетъ въ своемъ ужасномъ отчаяніи то про лавру, то про митрополита, то, наконецъ, про самого Іегошуа Ганоцри *)? И впрямь онъ не помѣшался ли?

И чтобы положить конецъ этой сценѣ, я махнулъ солдатамъ рукою и сказалъ: «пустите его». И лишь только тѣ отняли отъ него свои руки, «сумасшедшій жидъ» метнулся впередъ какъ кошка, которая была заперта въ темномъ шкафѣ и предъ которою вдругъ неожиданно раскрылись дверцы. Чиновники — кто со смѣхомъ, кто въ перепугѣ,— какъ разсыпанный горохъ шарахнулись въ стороны, а жидъ и пошелъ козлякать.

Онъ скакалъ изъ одной открытой двери въ другую, царапался въ закрытую дверь другого отдѣленія, и все это съ воплемъ, съ стонами, съ крикомъ «ай, вай», и все это такъ быстро, что прежде чѣмъ мы успѣли поспѣть за нимъ, онъ уже запрыгнулъ въ присутствіе и гдѣ-то тамъ притаился. Только слышна была откуда-то его дрожь и трепетное дыханіе, но самого его нигдѣ не было видно: словно онъ сквозь землю провалился; трясется и дышитъ и скребётся подъ поломъ, какъ тѣнь Гамлета.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Черезъ минуту онъ былъ открытъ: мы нашли его скорчившимся, на полу у угла стола. Онъ сидѣлъ, крѣпко обхвативъ столовую ножку руками и ногами, а зубами держался за край обшитаго галунами и бахромою краснаго сукна, которымъ былъ покрытъ этотъ столъ.

Можно было подумать, что жидъ считалъ себя здѣсь какъ

*) Имя «Ісусъ» иногда произносится *Іешу*, иногда *Іегошуа*.

«въ градѣ убѣжища» и держался за этотъ уголъ присутственнаго стола, какъ за рогъ жертвенника. Онъ укрѣпился очевидно съ такою рѣшительностью, что скорѣе можно было обрубить его судорожно замерзшіе пальцы, чѣмъ оторвать ихъ отъ этого стола. Солдатъ тормошилъ и тянулъ его совершенно напрасно: весь тяжелый длинный столъ дрожалъ и двигался, но жидъ отъ него не отдирался, и въ то же время оралъ немилосердно.

Мнѣ это стало отвратительно, и я велѣлъ его оставить, и послалъ за городовымъ докторомъ; но во врачебной помощи не оказалось никакой надобности. Чуть еврея оставили въ покоѣ, онъ тотчасъ стихъ и началъ копошиться и шарить у себя за пазухой и черезъ минуту, озираясь на всѣ стороны, какъ волкъ на садкѣ, подкрался ко мнѣ и положилъ на столикъ пачку бумагъ, плотно обернутыхъ въ толстой бибулѣ, насквозь пропитанной какою-то вонючею коричневатою, какъ бы сукровистою влагою, чрезвычайно противною.

Неловко признаться, а грѣхъ потаить, я не безъ гадливости развернулъ эти бумаги, которыя были не что иное, какъ документы найма, совершеннаго интролигаторомъ за своего сына.

Итакъ, не оставалось никакого сомнѣнія, что сей «стеня и трясыйся» есть не кто иной, какъ тотъ самый «широко образованный» израелитъ, котораго просьба меня такъ заняла.

Значитъ, мы были уже немножко знакомы.

Не отсылая его отъ себя, я быстро пробѣжалъ привычнымъ глазомъ его вонючія бумаги, и увидалъ, что всѣ онѣ совершены въ должномъ порядкѣ и его наемщикъ, двадцати-двухъ-лѣтній еврей, по всѣмъ правиламъ непререкаемо долженъ быть допущенъ къ пріему вмѣсто его маленькаго сына,—даже и деньги всѣ — сто рублей — этому наемщику сполна уплачены.

Но тогда въ чемъ же заключается бѣда этого человѣка и чего ради вся эта его страшная, мучительная тревога, доводящая его до такого подавляющаго, безумнаго отчаянія, похожаго на бѣшенство?

А бѣда была страшная и неотразимая, и интролигаторъ понималъ ее, но еще не во всемъ ея роковомъ и неодолимомъ значеніи.

Я долженъ разсказать: въ чемъ было дѣло.

Наемщикъ интролигатора, какъ выше уже сказано, молодой, но совершеннолѣтній еврей (наниматься дозволялось по закону только совершеннолѣтнимъ), былъ, какъ приходилось думать, большой плутъ. Онъ устроилъ съ бѣднымъ жидкомъ самую коварную, разорительную штуку, и притомъ такъ твердо и основательно разсчитанную и построенную на законѣ, что ее не могла разстроить *никакая законная власть на землѣ*. А разумѣется ни мнѣ, ни интролигатору въ эту пору на мысль не приходило подумать о власти добродѣтельнѣйшаго лица, которое могло изречь рѣшеніе не отъ міра сего,—рѣшеніе, послѣ котораго мірскимъ законовѣдамъ оставалось только исполнить правду, водворенную владычнымъ судомъ милосерднаго Филарета надъ каверзною жидовскою кривдою, пытавшеюся обратить въ игрушку и христіанскую купель, и всѣ «предусмотрѣнія закона».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Надо знать, что, по закону, еврея въ рекрутствѣ могъ замѣнить *только еврей*, а ни въ какомъ случаѣ не христіанинъ. Этимъ, конечно, и объяснялось, что случаи замѣны одного еврейскаго рекрута по найму другимъ евреемъ были необыкновенно рѣдки.

Если военной службы боится и не любитъ всякій простолюдинъ, то еврей отбѣгаетъ ее сугубо, и доброю волею или наймомъ его въ солдатство не заманишь. И какой соблазнъ могла представить еврею сумма въ 300—400 рублей, когда каждый жидокъ, если онъ не совсѣмъ обиженъ природою, всегда можетъ самъ добыть себѣ такую сумму безопаснымъ гешефтомъ? А обиженные природою не годились и въ службу.

Слѣдовательно, желающему отыскать наемщика оставалось только найти гдѣ-нибудь какого-нибудь забулдыгу, который бы, отъ некуда дѣться, согласился наняться въ военную службу. Но такіе экземпляры въ еврейской средѣ всегда рѣдки.

Однако интролигаторъ, на свое счастіе и несчастіе, нашелъ эту рѣдкость; но что это былъ за человѣкъ? — Это былъ въ своемъ родѣ замѣчательный традиціонный жидовскій гешефтистъ, который въ актѣ найма усмотрѣлъ превосходный способъ обдѣлывать дѣла, путемъ разоренія ближ-

няго и профанаціи религіи и закона. И что всего интереснѣе, онъ хотѣлъ все это продѣлать у всѣхъ на глазахъ и, такъ-сказать, ввести въ употребленіе новый, до него еще неизвѣстный и чрезвычайно выгодный пріемъ — издѣваться надъ религіею и закономъ.

Этотъ штукарь былъ одинъ изъ подмастерьевъ дамскаго портного «кравца» Давыдки, бывшаго въ то время для Кіева тѣмъ самымъ, что нынѣ парижскій Вортъ для всего, такъ-называемаго, «образованнаго свѣта». Подмастерье этотъ былъ за какія-то художества прогнанъ съ мѣста и высланъ изъ Кіева. Шатаясь безъ занятій, изъ города въ городъ «золотой Украйны», онъ попался интролигатору въ ту горячую пору, когда этотъ послѣдній велъ отчаянную борьбу за взятаго у него ребенка, и наемъ состоялся; но состоялся не спроста, какъ это водилось у всѣхъ крещеныхъ людей, а съ хитрымъ подвохомъ и заднею мыслію, которую кравецъ, разумѣется, тщательно скрывалъ до тѣхъ поръ, пока ему настало время дѣйствовать. Онъ нанялся за интролигаторскаго сына цѣною за четыреста рублей, но съ тѣмъ, чтобы условіе было писано между ними всего только на сто рублей, а триста даны ему впередъ, безъ всякихъ формальностей. Это, впрочемъ, не заключало въ себѣ ничего необычайнаго, такъ какъ сдѣлки безъ законныхъ формальностей, или по крайней мѣрѣ съ нѣкоторымъ ихъ нарушеніемъ и обходомъ—въ натурѣ евреевъ.

Интролигаторъ, нужда котораго была такъ безотложна, не спорилъ съ наемщикомъ и сразу согласился на всѣ его условія. Онъ сейчасъ же продалъ за двѣсти рублей «*домъ* и всю худобу», — словомъ все, что имѣлъ, и за триста закабалился кабальною записью работать какому-то богатому еврею. Словомъ, какъ говорятъ, «обовязался» вокругъ,—и триста рублей «кравцу» были выданы. Затѣмъ наскоро были написаны всѣ бумаги, и интролигаторъ послалъ по почтѣ описанную мною въ началѣ моего разсказа просьбу, а потомъ и самъ поскакалъ вслѣдъ за нею въ Кіевъ со всѣми остальными бумагами и съ своимъ наемщикомъ. Тутъ его и сторожила бѣда: это былъ крайній моментъ, дальше котораго наемщикъ не могъ продолжать своихъ прямыхъ отношеній къ нанимателю и открылъ игру. Дорогою «на покормѣ» въ какомъ-то бѣлоцерковскомъ «заяздѣ», онъ *исчезнулъ со сподома.*

Дойдя до этой точки своего разсказа, мой жидокъ опять взвылъ и опять потерялъ даръ слова и насилу-насилу могъ досказать остальное, что впрочемъ было весьма коротко и просто. Улучивъ минуту, когда наниматель торговался за какіе-то припасы, а сторожъ зазѣвался, кравецъ ударилъ на другой стодолъ къ знакомому «балагулѣ» *), взялъ, не торгуясь или посуливъ щедрую плату, четверку подчегарыхъ, легкихъ и быстрыхъ жидовскихъ коней и укатилъ въ Кіевъ—*креститься.*

Ужаснѣе этого для интролигатора ничего не могло быть, потому что съ этимъ рушилось все его дѣло: онъ былъ ограбленъ, одураченъ и, что называется, безъ ножа зарѣзанъ. У него пропадалъ сынъ и погибло все его состояніе, такъ какъ объявившій желаніе креститься кравецъ сразу квитовалъ этимъ свое обязательство служить за еврея, данное прежде намѣренія, о которомъ одно заявленіе уже ставило его подъ особенное покровительство закона и христіанскихъ властей.

Самое безтолковое изложеніе этого обстоятельства для меня было вполнѣ достаточно, чтобы понять всю горечь отчаянія разсказчика и всю невозможность какой бы то ни было для него надежды на чье бы то ни было заступленіе и помощь. Но въ дѣлѣ этомъ были еще осложненія, силу и значеніе которыхъ могъ настоящимъ образомъ понимать только человѣкъ не совсѣмъ чуждый нѣкоторымъ общественнымъ комбинаціямъ.

Интролигаторъ, всхлипывая и раздирая свой «лапсардакъ» **), сообщилъ мнѣ, что онъ очень долго искалъ своего кравца по Бѣлой-Церкви. Путаясь изъ стодола въ стодолъ съ различными «мишурисами», которые умышленно давали ему фальшивыя свѣдѣнія и водили его изъ двора во дворъ, чтобы схватить «хабара» и проволочь время, онъ истратилъ на это безполезно почти цѣлый день, который у бѣглеца не пропалъ даромъ. Когда интролигаторъ, послѣ долгой суеты и бѣгства по Бѣлой-Церкви и потомъ по Кіеву, напалъ на заметенный лисьимъ хвостомъ волчій слѣдъ сво-

*) Извозчикъ, содержатель брикъ.

**) Лапсардакъ, — коротенькая кофта съ установленнымъ числомъ завязокъ и бахромочекъ. Талмудисты носятъ этотъ «жидовскій мундиръ» подъ верхнимъ платьемъ.

его бѣглеца, тотъ уже спокойно сидѣлъ за лаврской стѣною и готовился къ принятію св. крещенія.

Ясно было, что этотъ плутъ задумалъ разорить своего контрагента посредствомъ профанаціи христіанской купели; но какъ можно было обличить и доказать его неискренность и преступное кощунство? Кто за это возьмется, когда законъ на сторонѣ этого «оглашеннаго» и на его же сторонѣ были силы, которыя мнились тогда еще сильнѣе закона. Хитрый жидъ, проживая годъ тому назадъ у кіевскаго Ворта, усвоилъ себѣ нѣкоторыя свѣдѣнія, какъ о слабостяхъ, такъ и о силѣ и значеніи нѣкоторыхъ лицъ, важныхъ не столько по ихъ собственному офиціальному положенію, сколько по ихъ вліянію на лицъ важнаго офиціальнаго положенія. Такимъ лицомъ тогда по преимуществу была супруга покойнаго генералъ-губернатора князя Иларіона Иларіоновича Васильчикова, княгиня Екатерина Алексѣевна (рожденная княжна Щербатова), о которой я уже упоминалъ выше. Она тогда была въ какомъ-то удивительно напряженномъ христіанскомъ настроеніи, которое было преисполнено благихъ намѣреній; но всѣмъ этимъ намѣреніямъ, какъ большинству всѣхъ благихъ намѣреній великосвѣтскихъ патронессъ, къ сожалѣнію, совсѣмъ недоставало одного: серьезности и практичности, безъ коихъ всѣ эти намѣренія часто приносятъ болѣе вреда, чѣмъ пользы... Это что-то роковое, въ родѣ ироніи судебъ.

Религіозность княгини была совсѣмъ не въ жанрѣ нынѣшней великосвѣтской религіозности, заключающейся преимущественно въ погонѣ за «оправданіемъ вѣрою»; нѣтъ: княгиня Екатерина Алексѣевна искала оправданія «дѣлами» и надѣлала ихъ столько, что авторъ «Опыта изслѣдованія о доходахъ и имуществахъ нашихъ монастырей» долженъ былъ дать ей очень видное мѣсто. Послѣ княгини Анны Алексѣевны Орловой, княгиня Васильчикова оказывается самою крупною изъ титулованныхъ монастырскихъ строительницъ. Она была фундаторкою весьма нынѣ извѣстнаго общежительнаго близъ Кіева монастыря, который, по изслѣдованію г. Ростиславова, владѣетъ, благодаря щедрости княгини, тридцатью шестью верстами земли и угодьями, которыхъ не описалъ г. Ростиславовъ. Но прежде, чѣмъ оказывать такое благодѣяніе вновь устраивавшемуся монастырю «старца Іоны», княгиня была извѣстна въ Кіевѣ,

какъ филантропка. Подъ ея покровительствомъ Кіевъ ознакомился со всѣми пріемами современной общественной благотворительности; при ней тамъ пошли въ ходъ лотереи, концерты, балы, маскарады и спектакли въ пользу бѣдныхъ. Словомъ, при ней и благодаря ей, «широко развилась» вся та sui generis «христіанская» благотворительность, которая во многихъ своихъ чертахъ въ наше время получила уже должную критическую оцѣнку, но однако и до сихъ поръ практикуется обществомъ, потерявшимъ сознаніе о прямыхъ путяхъ истиннаго христіанскаго милосердія.

Одновременно съ заботами о благотвореніи посредствомъ учрежденія различныхъ общественныхъ забавъ, княгиня получила большое влеченіе къ улучшенію нравовъ и распространенію христіанской вѣры. Здѣсь она была даже, кажется, оригинальнѣе и смѣлѣе всѣхъ великосвѣтскихъ патронессъ Петербурга, что, можетъ-быть, слѣдуетъ приписать ея первенствующему и въ нѣкоторомъ отношеніи полновластному значенію въ Кіевѣ, который съ любопытствомъ и съ нѣкотораго рода благоговѣйнымъ недоумѣніемъ смотрѣлъ на затѣи «своей княгини».

Послѣ целибата, царствовавшаго въ генералъ-губернаторскомъ домѣ въ бибиковское время, появленіе тамъ женщины, не отказывавшей себѣ въ удовольствіи дать обществу почувствовать ея присутствіе, вліяніе ея было очень замѣтно, и прежде всего оно вызвало въ дамскомъ кругу довольно сильную ей подражательность.

Съ виду все это, пожалуй, какъ будто походило на что-то живое и даже очень полезное, но потомъ многіе начали понимать и толковать объ этомъ иначе; по не въ этомъ дѣло: благотворенія и морализація были такъ сильны, что даже изъ «магдалинскаго пріюта» для *кающихся* проститутокъ одно время было признано полезнымъ выдавать «магдалинокъ» замужъ за солдатъ. Этимъ путемъ хотѣли «не дозволить псу возвратиться на свою блевотину». Княгиня принимала самое теплое участіе въ устройствѣ этихъ браковъ и даже давала *невѣстамъ* приданое, имѣвшее для солдатиковъ свою притягательную силу. Они женились на «магдалинкахъ», конечно, всего менѣе заботясь о глубинѣ и искренности ихъ раскаянія, «лишь бы получить сто рублей и кой-что изъ одежи». Затѣмъ,

разумѣется, утѣшивъ княгиню актомъ своего бракосочетанія и воспользовавшись тѣмъ, чѣмъ каждый изъ супруговъ считалъ удобнымъ для себя воспользоваться, они сепарировались и расходились «кійждо во свояси»... Анекдоты при этомъ случались самые курьезные. «Псы» опять возвращались на свою блевотину, но только саморазвратъ замѣнялся развратомъ «по согласу», съ мужняго позволенія. Словомъ, по ироніи судьбы надъ аристократическою неумѣлостью и непониманіемъ, «послѣдняя быша горше первыхъ». Бывали случаи, что супругъ-солдатъ съ самаго своего свадебнаго пира самъ отпускалъ свою новобрачную супругу къ одному изъ шаферовъ, въ числѣ коихъ бывали «люди благородные», принимавшіе на себя шаферскія обязанности, чтобы «быть на виду», угождая княгинѣ участіемъ въ ея гуманныхъ затѣяхъ.

Женатыхъ такимъ образомъ солдатиковъ трудно строго и винить за то, что они такъ охотно сбывали съ рукъ полученныхъ ими избалованныхъ женъ. Куда ему, бѣдняку, въ его суровомъ положеніи, *такая жена*, съ ея отвычкою отъ всякаго тяжелаго труда и съ навыкомъ ко всякому «баловству»?

Солдатикъ, женившійся на проституткѣ всего чаще по иниціативѣ начальства, желавшаго доставить субъекта, нужнаго для предположенной княгинею «магдалининой свадьбы», подчинялся своему року и бралъ то, что ему на что-нибудь годилось: а жену, обвыкшую «ѣсть курку съ масломъ и пить сладкое вино», сидя на офицерскихъ колѣняхъ, пускалъ на всѣ четыре стороны, изъ которыхъ та и выбирала любую, т.-е. ту самую, съ которой она была больше освоена, и гдѣ она надѣялась легче заработать сумму, какую обѣщала платить мужу, пустившему ее «по согласу».

Таковы были «ироническіе» результаты этой игрушечной затѣи сентиментальной и мечтательной морализаціи, которая, впрочемъ, довольно скоро надоѣла и съ нею покончили.

Гораздо упорнѣе были заботы о крестительствѣ, но, къ сожалѣнію, и тутъ тоже довольно часто выходили своего рода печальные курьезы. Ревностью княгини въ этомъ родѣ полнѣе всѣхъ злоупотребляли малосовѣстливые люди, являвшіеся съ притворною жаждою крещенія изъ той низменной среды еврейскихъ обществъ, которая больше всѣхъ

терпитъ и страдаетъ отъ ужасной кагальной неправды жидовскихъ обществъ. Нигдѣ не находя защиты отъ царящей здѣсь деморализаціи, эти люди сами деморализуются до того, что, по мѣстному выраженію, «мѣняютъ вѣру, якъ цыганъ коняку». Въ этомъ-то отребіи, къ которому принадлежалъ по своему положенію и наемщикъ нашего интролигатора, и вырабатывалась особая практика для эксплоатаціи крестительскаго рвенія княгини, къ которой, по установившемуся у бѣдныхъ жидковъ повѣрью, «стоило только *удаться*», и уже тогда никто не смѣетъ тронуть, хоть бы «увесь законъ *пенькнулъ*» (треснулъ).

Въ такомъ мнѣніи, возникшемъ у смышленыхъ евреевъ, едва ли все было преувеличеніемъ. По крайней мѣрѣ не одни жидки, а и многіе изъ очень просвѣщенныхъ христіанъ такъ называемаго «высшаго» кіевскаго общества въ то время гораздо менѣе серьезно освѣдомлялись о томъ: какъ хочетъ князь, чѣмъ о томъ,—чего угодно княгинѣ?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Замотавшійся и потомъ попавшій въ рекруты подмастерье портного Давыдки, всеконечно, имѣлъ довольно вѣрныя понятія о генеральномъ положеніи дѣлъ въ Кіевѣ. И вотъ онъ задумалъ воспользоваться и безнаказанно разорить и погубить подвернувшагося ему интролигатора.

Взялся онъ за это превосходно: въ то самое время, когда его наниматель сочинялъ свою извѣстительную бумагу о наймѣ и просилъ подождать съ пріемомъ въ рекруты его ребенка, портной написалъ жалостное письмо къ одной изъ весьма извѣстныхъ тоже въ свое время кіевскихъ патронессъ. Это была баронесса Б., очень носившаяся съ своею внѣшнею религіозностью. Хитрый жидокъ изложилъ ей различныя невзгоды и гоненія отъ общества, терпя которыя онъ дошелъ до такой крайности, что даже рѣшился-было самъ поступить въ рекруты, но тутъ его будто вдругъ внезапно озарилъ новый свѣтъ: онъ вспомнилъ о благодѣяніяхъ, какія являютъ *высокіе христіане* тѣмъ, которые идутъ къ истинной «крещеной вѣрѣ», и хочетъ креститься. А потому, если ему удастся бѣжать отъ сдатчика, то онъ скоро явится въ Кіевъ и проситъ немедленно скрыть его отъ гонителей,—помѣстить въ монастырь и какъ можно скорѣе окрестить. Если же ему не удастся бѣжать, то за-

щитить его какимъ-нибудь другимъ образомъ и привести его «въ крещеную вѣру»,—о чемъ онъ и просилъ довести до свѣдѣнія ея сіятельства, княгини Екатерины Алексѣевны, на апостольскую ревность которой онъ возверзалъ всѣ свои надежды, и молилъ ее утолить его жажду христіанскаго просвѣщенія.

Этого было слишкомъ довольно: получивъ такое послапіе, дававшее баронессѣ поводъ побывать во многихъ мѣстахъ и у многихъ лицъ, къ которымъ она находила отрадное удовольствіе являться съ своими апостольскими хлопотами, она сразу же заручилась самымъ энергическимъ участіемъ княгини и могла дѣйствовать ея именемъ на всѣхъ тѣхъ особъ, которымъ нельзя было давать прямыхъ приказаній. О тѣхъ же, которымъ можно было приказывать, разумѣется нечего было и заботиться.

Словомъ, въ одно утро дѣло этого проходимца было улажено баронессою такъ, что жидку только стоило появиться къ кому-нибудь изъ многихъ лицъ, о немъ предупрежденныхъ,—и онъ спасенъ.

Лучше этого положенія для него ничего нельзя было желать и придумать; а между тѣмъ, какъ мы уже знаемъ, сами обстоятельства такъ благопріятствовали этому затѣйнику, что онъ преблагополучно исполнилъ и вторую часть своей программы, т.-е. самымъ удобнымъ образомъ сбѣжалъ отъ своего контрагента, заставивъ его напрасно провести цѣлый день въ тщетныхъ поискахъ его по разнымъ «заяздамъ» и другимъ угламъ Бѣлой-Церкви, — этого самаго безалабернаго послѣ Бердичева жидовскаго притона.

Пока совсѣмъ потерявшійся и обезумѣвшій интролигаторъ явился въ своихъ растроганныхъ чувствахъ въ Кіевъ, гдѣ вдобавокъ не зналъ, къ кому обратиться и гдѣ искать своего наемщика, тотъ, подъ покровомъ самыхъ лучшихъ рекомендацій, уже кушалъ монастырскую рыбку и отдыхалъ отъ понесенныхъ треволненій въ теплой кельѣ у одного изъ иноковъ лавры, которому было поручено какъ можно неупустительнѣе приготовить его къ святому крещенію.

Интролигаторъ, сообщавшій мнѣ всю эту курьезную исторію, среди прерывавшихъ его воплей и стоновъ, разсказывалъ и о томъ: какъ онъ разузналъ, гдѣ теперь его «злодѣй»; разсказывалъ и о томъ: гдѣ онъ сколько роздалъ

«грошей» мірянамъ и немірянамъ,—какъ онъ разъ «ледви не утопъ на Глыбочицѣ», разъ «ледви не сгорѣлъ» въ лаврской хлѣбопекарнѣ, въ которую проникъ Богъ вѣдаетъ какимъ способомъ. И все это было до крайности образно, живо, интересно и, въ одно и то же время, и невыразимо трогательно и уморительно смѣшно, и даже трудно сказать—болѣе смѣшно, или болѣе трогательно.

Однако, благодаря Бога, ни у меня, сидѣвшаго за столомъ, предъ которымъ жалостно вылъ, метался и рвалъ на себѣ свои лохмотья и волосы этотъ интролигаторъ, ни у глядѣвшихъ на него въ растворенныя двери чиновниковъ не было охоты надъ нимъ смѣяться.

Всѣ мы, при всемъ нашемъ несчастномъ навыкѣ къ подобнаго рода горестямъ и мукамъ, казалось, были поражены страшнымъ ужасомъ этого неистоваго страданія, вызвавшаго у этого бѣдняка даже *кровавый потъ*.

Да, эта вонючая сукровичная влага, которою была пропитана рыхлая обертка поданныхъ имъ мнѣ бумагъ, и которою смердѣли всѣ эти «документы», была не что иное, какъ *кровавый потъ*, который я въ этотъ единственный разъ въ моей жизни видѣлъ своими глазами на человѣкѣ. По мѣрѣ того, какъ этотъ «ледеви не утопшій и ледеви не сгорѣвшій» худой, изнеможенный жидъ размерзался и размокалъ въ теплой комнатѣ, его лобъ, съ прилипшими къ нему мокрыми волосами, его скорченныя, какъ бы судорожно теребившія свои лохмотья, руки и особенно обнажившаяся изъ-подъ разорваннаго лапсардака грудь, — все это было точно покрыто тонкими ссадинами, изъ которыхъ, какъ клюквенный сокъ сквозь частую кисею, проступала и сочилась мелкими росистыми каплями красная влага... Это видѣть ужасно!

Кто никогда не видалъ этого *кроваваго пота*, а такихъ, я думаю, очень много, такъ какъ есть значительная доля людей, которые даже сомнѣваются въ самой возможности такого явленія,—тѣмъ я могу сказать, что я его *самъ* видѣлъ и что это невыразимо *страшно*.

По крайней мѣрѣ это росистое клюквенное пятно на предсердіи до сихъ поръ живо стоитъ въ моихъ глазахъ, и мнѣ кажется, будто я видѣлъ сквозь него отверстое человѣческое сердце, страдающее самою тяжкою мукою,—мукою

отца, стремящагося спасти своего ребенка... О, еще разъ скажу: это ужасно!

Пышные бѣлокурые волосы послѣдней шотландской королевы, мгновенно посѣдѣвшіе въ короткое время, когда «джентельмены дѣлали ея туалетъ» и укладывали страдалицу на плаху въ большой залѣ Фодрайнгенскаго замка, не могли быть страшнѣе этого пота, которымъ потѣлъ этотъ отецъ, бившійся изъ-за спасенія своего ребенка.

Я невольно вспомнилъ кровавый потъ Того, Чья праведная кровь оброкомъ праотцевъ низведена на чадъ отверженнаго рода, и собственная кровь моя прилила къ моему сердцу и потомъ быстро отхлынула и зашумѣла въ ушахъ.

Всѣ мысли, всѣ чувства мои точно что-то понесли, что-то потерпѣли въ одно и то же время и мучительное, и сладкое. Передо мною, казалось, стоялъ не просто человѣкъ, а какой-то кровавый, историческій символъ.

Я тогда былъ не совсѣмъ чуждъ нѣкотораго мистицизма, въ которомъ, впрочемъ, не все склоненъ отвергать и понынѣ (ибо, — да простятъ мнѣ ученые богословы, — я не знаю *впры*, совершенно свободной отъ своего рода мистицизма). И не знаю я, подъ вліяніемъ ли этого «вѣянія» или почему другому, но только въ эти минуты въ моей усталой головѣ, оторванной отъ лучшихъ мыслей, въ которыхъ я прожилъ мое отрочество, и теперь привлеченной къ занятіямъ, которыя были мнѣ не свойственны и противны, произошло что-то, почти могу сказать, таинственное или по крайней мѣрѣ мнѣ совсѣмъ непонятное. Эта исторія, въ которой мелкое и мошенническое такъ перемѣшивалось съ драматизмомъ родительской любви и вопросами религіи; эта суровая казенная обстановка огромной полутемной комнаты, каждый кирпичъ которой навѣрно можно было бы размочить въ пролившихся здѣсь родительскихъ и дѣтскихъ слезахъ; эти двѣ свѣчи, горѣвшія, какъ горѣли тамъ, въ томъ гнусномъ судѣ, гдѣ онѣ замѣняли свидѣтелей; этотъ ветхозавѣтный семитическій типъ искаженнаго муками лица, какъ бы напоминавшій все племя мучителей Праведника, и этотъ зовъ, этотъ вопль «Іешу! Іешу Ганоцри, отдай мнѣ его, парха!»—все это потрясло меня до глубины души... Я, кажется, могъ бы сказать даже, — до своего рода отрѣшенія отъ дѣйствительности и потери сознанія... Вправду,

сколько могу помнить, это было одно изъ тѣхъ неопредѣленныхъ состояній, которыя съ такою ясностью и мастерствомъ описываетъ епископъ Ѳеофанъ въ своихъ превосходныхъ «Письмахъ о духовной жизни». Самыя размышленія мои съ этихъ поръ стали чѣмъ-то въ родѣ тѣхъ «предстояній ума въ сердцѣ», о которыхъ говоритъ приведенный мною достопочтенный авторъ. Отчаянный отецъ въ вырывающимся наружу окровавленнымъ сердцемъ,—человѣкъ изъ племени, принявшаго на себя кровь Того, Котораго онъ зоветъ: «Іешу...» Кто его разберетъ, какой духъ въ немъ качествуетъ, заставляя его звать и жаловаться «Ганоцри»?

Мои наэлектризованные нервы такъ работали, что мнѣ стало казаться, будто въ этой казенной камерѣ дѣлается что-то совсѣмъ не казенное: Уже не услыхалъ ли *Онъ* этотъ вопль сына Своихъ враговъ, не увидалъ ли *Онъ* его растерзанное сердце и... не идетъ ли *Онъ* взять на Свое святое рамо эту несчастную овцу, можетъ-быть невзначай проблеявшую Его имя?

И я вдругъ забылъ, что мой плотской умъ надумалъ было сказать этому еврею; а я хотѣлъ сказать ему вотъ что: чтобы и онъ, и его сынъ сдѣлали то же самое, что сдѣлалъ ихъ коварный наемщикъ, т.-е. чтобы и они просили себѣ крещенія. Взаправду, что имъ мѣшало къ этому обратиться, тѣмъ болѣе, что этотъ отецъ, призывающій и «Іешу Ганоцри», во всякомъ случаѣ ближе ходилъ отъ Сына Божія, чѣмъ тотъ проказникъ, который взялся на глазахъ у всѣхъ сплутовать вѣрою.

Что бы изъ этого вышло, если бы еврей принялъ мою мысль? Какая задача явилась бы административной практикѣ, какой казусъ для законниковъ и... какой соблазнъ для искреннихъ чтителей святой вѣры!

А иного способа я не видѣлъ для ихъ спасенія, конечно потому, что забывалъ о Томъ, Чья мѣра шире вселенной и Чьи всѣ суды благи.

Мнѣ въ голову не приходило, что, можетъ-быть, послѣ словъ моихъ вышло бы совсѣмъ не то, чего могъ ждать я,—можетъ-быть, этотъ жидъ, зовущій теперь «Ганоцри», услышавъ мое слово, ударился бы въ другую крайность отчаянія и сталъ бы порицать имя, теперь имъ призываемое, и издѣваться надъ тѣмъ приспособленіемъ, которое давало вѣрѣ мое ребяческое легкомысліе.

Да, ничего этого не было въ моей головѣ, но зато ее посѣтило забвеніе. Память вдругъ отяжелѣла, какъ окунутая въ воду птица, и не хотѣла летать ни по какимъ верхамъ, а спряталась въ какую-то густую тишь — и я не сказалъ опрометчиваго слова, которое уже шевелилось у меня на устахъ, и всегда радуюсь, что этого не сказалъ. Иначе я поступилъ бы дурно, и это вѣроятно лишило бы меня самаго отраднѣйшаго случая видѣть одно изъ удивительныхъ проявленій Промысла Божія, среди полнѣйшей немощи человѣческой.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

«Умъ въ сердцѣ» велѣлъ мнѣ просто-напросто молчать и отойти отъ этого расщепленнаго грозою страданія пня, которому возвратить жизнь могъ развѣ только самъ Начальникъ жизни.

И какъ Онъ возвратилъ ему ее! Въ какомъ благоухапномъ цвѣту, съ какою дивной силой прелести христіанскаго бытія! Но это все было послѣ, — гораздо, гораздо послѣ, при обстоятельствахъ, о которыхъ и не воображалось въ эту минуту, которую я описываю. Тогда мнѣ стало только сдаваться, что все это, чѣмъ мы здѣсь волновались, будетъ совсѣмъ не такъ, какъ я думаю. «Умъ въ сердцѣ» успокоительно внушалъ, что это уже рѣшено какъ сдѣлать, и что для того, дабы рѣшенное свершилось, всего благопристойнѣе теперь ничего своего не установлять, а дѣлать то, что̀ будетъ указано. Всего болѣе нужно тишины и тишины; чтобы соблюсти эту потребность въ тишинѣ, которая безпрестанно угрожала снова разразиться стономъ, воплями и шумной расправой съ обезумѣвшимъ евреемъ, я, не говоря никому ни слова, всталъ, молча вышелъ въ переднюю, молча надѣлъ свою шубу и поскорѣе уѣхалъ.

Пожалуй, иному это можетъ показаться эгоистической увертkой,—лишь бы не видать расправы съ жидомъ, съ которымъ въ мое отсутствіе навѣрно станутъ расправляться еще безцеремоннѣе; но поистинѣ меня водили совсѣмъ не эти соображенія. Почему мнѣ казалось за наилучшее поступить такимъ образомъ, — я не знаю; но вышло, что это дѣйствительно было самое наилучшее, что̀ только я могъ сдѣлать.

Помню, какъ сейчасъ, эту морозную и ясную ночь, съ

высоко стоявшимъ на кіевскомъ небѣ мѣсяцемъ. Красивый и тогда еще довольно патріархальный городъ, не знавшій, до генералъ-губернаторства Н. Н. Анненкова, ни «шатодефлеровъ», ни другихъ всенощныхъ гульбищъ, уже затихъ и спалъ; съ высокой колокольни лавры гудѣлъ ея пріятный звонъ къ заутренѣ. Значитъ, была полночь. Моя прозябшая рыженькая лошадка неслась быстро, такъ что молодой кучеренокъ Матвѣй, изъ своихъ орловскихъ крѣпостныхъ, едва могъ держать озябшими руками туго-натянутыя вожжи, и тутъ вдругъ на поворотѣ у «царскаго сада» что-то мелькнуло,—человѣкъ не человѣкъ, и собака, какъ будто не собака, а что-то такое, отъ чего моя немного пугливая лошадь шарахнулась въ сторону, и мы съ кучеромъ оба чуть не вылетѣли изъ санокъ.

И съ этихъ поръ, это «что-то» такъ и пошло мелькать и шмыгать то за мною, то передо мною: то исчезнетъ гдѣ-то въ тѣни, то опять неожиданно выскочитъ на поворотѣ, перебѣжитъ освѣщенную луною улицу и опять испугаетъ лошадь, которая уже начала бѣситься и еще нѣсколько разъ насъ чуть не выкинула. Понять нельзя, что это за нежить мечется, и въ заключеніе, только что я остановился у подъѣзда моей квартиры, близъ церкви св. Андрея,—это «*оно*», эта нежить опять словно тутъ и была... Но что же это такое?—А это былъ опять *онъ*, опять мой интролигаторъ, и въ томъ же самомъ растерзанномъ видѣ, и съ тѣмъ же кровавымъ потомъ на голой холодной груди... Ему вѣрно не было холодно, сердце насквозь горѣло.

Онъ теперь не кричалъ и не охалъ, а только не отставалъ отъ меня, точно моя тѣнь, и, какъ вы видите, не уступалъ даже для этого въ быстротѣ моей лошади.

Куда его было дѣть?—Прогнать—жестоко; пустить къ себѣ?.. Но какой въ этомъ смыслъ? Вѣдь уже сказано, что я ему ничего не могъ сдѣлать, а онъ только надоѣстъ... И притомъ я, къ стыду моему, былъ немножечко брезгливъ, а отъ него такъ противно пахло этимъ кровавымъ потомъ.

Я такъ и не рѣшилъ, что сдѣлать,—вошелъ въ переднюю, а онъ за мною; я въ кабинетъ—а онъ сюда по пятамъ за мною... Видно сюда ему былъ указанъ путь, и я ему уже рѣшилъ не мѣшать: мнѣ вздумалось велѣть напоить его чаемъ и потомъ отослать его спать на кухню; но прежде, чѣмъ я успѣлъ сказать объ этомъ моему человѣку, тотъ на-

чалъ мнѣ сообщать, что ко мнѣ заходилъ и оставилъ мнѣ записку Андрей Ивановичъ Друкартъ, одинъ изъ весьма почтенныхъ и дѣловыхъ людей генералъ-губернаторскаго управленія. Онъ состоялъ тогда чиновникомъ особыхъ порученій при князѣ Васильчиковѣ и очень недавно скончался въ должности сѣдлецкаго вице-губернатора, по которой принималъ участіе при окончательномъ уничтоженіи уніи.

Помимо служебной дѣловитости, Друкартъ въ тѣ годы нашей жизни былъ превосходный чтецъ въ драматическомъ родѣ и даровитѣйшій актеръ. Я не слыхалъ никого, кто бы читалъ шекспировскаго Гамлета лучше, какъ читывалъ его Друкартъ, а гоголевскаго городничаго въ Ревизорѣ онъ исполнялъ кажется не хуже покойнаго Ив. Ив. Сосницкаго въ наилучшую пору развитія сценическихъ силъ этого артиста.

Благодаря такого рода талантливости, покойный Друкартъ исполнялъ не только порученія князя, но имѣлъ временныя порученности и отъ всевластной у насъ княгини. А княгинѣ какъ разъ въ эту пору нужны были деньги для какихъ-то ея благотворительныхъ цѣлей, и она поручила Друкарту устроить въ городскомъ театрѣ спектакль въ пользу бѣдныхъ.

Я тоже всегда читалъ, по общему мнѣнію, довольно недурно и былъ удовлетворительнымъ актеромъ, а потому, при смѣтѣ сценическихъ силъ, которыя долженъ былъ сгруппировать и распредѣлить Друкартъ, явился и я на счету.

Друкартъ писалъ мнѣ, что такъ какъ я и, бывшій тогда въ Кіевѣ стряпчимъ, г. Юровъ—оба одного роста и другъ съ другомъ схожи, то мы «непремѣнно должны» играть въ предстоящемъ спектаклѣ Добчинскаго и Бобчинскаго.

При моей тогдашней усталости и недосугѣ это было просто напасть, и я, съ негодованіемъ отбросивъ письмо моего добраго пріятеля, рѣшилъ въ умѣ встать завтра какъ можно пораньше и прежде присутствія заѣхать въ канцелярію генералъ-губернатора къ Друкарту, съ тѣмъ, чтобы урезонить его освободить меня отъ затѣвавшагося спектакля.

Въ этомъ размышленіи, хлебнувъ глотокъ изъ поданнаго мнѣ стакана горячаго чаю, я снова вспомнилъ о своемъ несчастномъ жидѣ, и очень удивился, что его уже не вижу. А онъ, бѣднякъ, тѣмъ временемъ уже спалъ, свернувшись

кольцомъ на раскинутой между шкафомъ и дверью козьей шкурѣ, на которой обыкновенно спала моя охотничья собака. Они лежали оба рядомъ, и довольно строгій песъ, вообще не любившій жидовъ, на этотъ разъ какъ будто нашелъ нужнымъ измѣнить свои отношенія къ этому племени. Онъ какъ будто чувствовалъ своимъ инстинктомъ, что возлѣ него пріютилось самое горемычное горе, которое нельзя отгонять...

Я былъ доволенъ и жидомъ, и собакой, и оставилъ ихъ дѣлить до утра одну подстилку, а самъ легъ въ мою постель въ состояніи усталости отъ впечатлѣній, которыхъ было немилосердно много: жидъ наемщикъ, бѣлоцерковскій стодолъ, лавра, митрополитъ, дикіе стоны и вопли, имя Іешу, молчаливый князь и настойчивая княгиня съ ея всевластнымъ значеніемъ, мой двойникъ стряпчій Юровъ и Бобчинскій съ Добчинскимъ; необходимость и невозможность отъ всего этого отбиться, и вдругъ... какое-то тихое предсонное воспоминаніе о моей старой нянѣ, болгаркѣ Маринѣ, которую всѣ почему-то называли «туркинею»... И она всѣхъ пересиливаетъ: стоитъ надо мною, трясетъ старушечьимъ повойникомъ да ласково шепчетъ: «Спи дитя, спи: — Христосъ пристанетъ и пастыря приставитъ...» И вообразите себѣ, что вѣдь все это было кстати!—Да; все это, что̀ представляло такой пестрый и нескладный сборъ понятій, оказалось нужнымъ,—во всемъ этомъ будничномъ хаосѣ были всѣ необходимые элементы для того, чтобы устроился удивительно праздничный случай, который по его неожиданности и маловѣроятности мнѣ такъ и хочется назвать *чудеснымъ*.

Мы съ интролигаторомъ отсыпались передъ такою неравною и опасною битвою, отъ которой всякій разсудительный человѣкъ непремѣнно бы заранѣе отказался, если бы намъ не было даровано благодѣтельное невѣдѣніе грядущаго.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Утро, которое должно было показать себя мудренѣе вчерашняго вечера, взошло въ свои урочные часы, въ свѣтлости, достойной какого-нибудь болѣе торжественнаго событія. Это было одно изъ тѣхъ прекрасныхъ украинскихъ утръ, когда солнышко съ удивительною и почти неизвѣстною въ сѣверной полосѣ силою пробуетъ власть свою надъ

морозцемъ. Ночь всю держитъ стужа и къ разсвѣту она даже еще болѣе злится и грозитъ днемъ самымъ суровымъ; но чуть лишь Фебъ выкатитъ на небо въ своей яркой колесницѣ,—всѣ страхи и никнутъ: небо горитъ розовыми тонами, въ воздухѣ такъ все и заливаетъ нѣжная, ласкающая мягкость, снѣгъ на освѣщенныхъ сторонахъ кровель подъ угрѣвомъ улетаетъ какъ паръ. Картина тогда напоминаетъ блѣдную двуличневую матерію съ яркимъ отливомъ. Въ то самое время, какъ тѣневая сторона улицъ и зданій вся покрыта оледенѣлою корою, другая, обогрѣтая солнцемъ,—таетъ; кровли блестятъ и дымятся испаряющеюся влагою; звучно стучатъ, падая сверху и снова въ тѣни замерзая внизу капели; и воробьевъ, этихъ проворныхъ, живыхъ и до азарта страстныхъ къ заявленію своего жизнелюбія птичекъ, вдругъ появляется такая бездна, что можно удивляться: откуда они берутся? Еще вчера они совсѣмъ не были замѣтны и вдругъ, точно мошки въ погожій вечеръ, сразу явились повсюду. Ихъ веселымъ крикливымъ чириканьемъ полонъ весь воздухъ; они порхаютъ, гоняясь одинъ за другимъ по оттаявшимъ вѣтвямъ деревьевъ, и сыплютъ внизъ иней съ тѣхъ мерзлыхъ вѣтокъ, которыя остаются въ своемъ серебристомъ зимнемъ уборѣ. Гдѣ ни проталина, тамъ цѣлый клубъ этой крикливой и шумной пернатой дребезги, но всего больше ихъ на обогрѣтыхъ сторонахъ золоченыхъ крышъ храмовъ и колоколенъ, гдѣ всего ярче горитъ и отражается солнце. Тутъ заводится цѣлое интернаціональное птичье собраніе: по карнизамъ, распушивъ хвосты и раскидывая попеременно то одно, то другое крылышко, полулежатъ въ пріятномъ farniente задумчивые голуби, расхаживаютъ степенныя галки и цѣлыми летучими отрядами порхаютъ и носятся съ мѣста на мѣсто воробьи.

Словомъ, оживленіе большое. Начинаясь въ высшихъ, въ воздушныхъ слояхъ, оно не оказывается безсильнымъ и ниже: и животныя, и люди—всѣ подъ этимъ оживляющимъ угрѣвомъ становятся веселѣе: легче дышатъ и вообще лучше себя чувствуютъ. Знаменитый оксфордскій бишовъ Жозефъ Галлъ, имѣвшій усердіе и досугъ выражать «внезапныя размышленія при воззрѣніи на всякій предметъ» и проповѣдывавшій даже «во время лаянія собаки» (изд. 1786 г., стр. 38), совершенно справедливо сказалъ (стр. 35): «пре-

красная вещь свѣтъ,—любезная и свойственная душамъ человѣческимъ: въ немъ все принимаетъ новую жизнь и *мы сами въ немъ перемѣняемся*»,—и конечно къ лучшему.

Теплые лучи, освѣщая и согрѣвая тѣло, какъ будто снимаютъ суровость съ души, даютъ усиленную ясность уму и ту пріуготовительную теплоту сердцу, при которой человѣкъ становится чутче къ призывамъ добра. Согрѣтый и освѣщенный, онъ какъ бы гнушается темноты и холода сердца и самъ готовъ освѣтить и согрѣть въ сумрачной тѣни зимы цѣпенѣющаго брата.

Такихъ очаровательныхъ теплыхъ дней, совершенно неожиданно прорывающихся среди зимней стужи, я нигдѣ не видалъ, кромѣ нашей Украйны, и преимущественно въ самомъ Кіевѣ. Сѣвернѣе, надъ Окою, и вообще, такъ-сказать, въ черноземномъ клину русскаго поля, что-то подобное бываетъ ближе къ веснѣ, около Благовѣщенія, но это совсѣмъ иное.

То — естественное явленіе поворота солнца на лѣто; а это — почти что-то феноменальное, — это какой-то капризъ, шалость, заигрываніе, атмосферная шутка съ землею — и земля очень весело на нее улыбается: въ людяхъ больше мира и благоволенія.

Вставъ въ такое благопріятное утро, я прежде всего освѣдомился у моего слуги о жидѣ и, къ немалому своему удивленію, узналъ, что его уже нѣтъ въ моей квартирѣ,—что онъ еще на самомъ разсвѣтѣ всталъ и началъ царапаться въ коридоръ, гдѣ мой человѣкъ разводилъ самоваръ. Изъ этого самовара онъ нацѣдилъ себѣ стаканъ горячей воды, выпилъ ее съ кусочкомъ сахару, который нашелъ у себя въ карманѣ, и побѣжалъ.

Куда онъ побѣжалъ? — объ этомъ мой слуга ничего не зналъ, а на вопросъ: въ какомъ этотъ бѣднякъ былъ состояніи, отвѣчалъ:

— Ничего, спокойнѣе,—только все потихоньку квохталъ, какъ пчелиная матка, да въ сердкѣ точно у него все нутро на резинѣ дергается.

Я напился чаю и, не теряя времени, поѣхалъ къ Друкарту, который жилъ тогда въ низенькихъ антресоляхъ надъ флигелемъ, гдѣ помѣщалась канцелярія генералъ-губернатора, въ Липкахъ, какъ разъ насупротивъ генералъ-губернаторскаго дома.

У меня и въ мысляхъ не было говорить съ Друкартомъ объ интролигаторѣ, потому что это, казалось, не имѣло никакого смысла и притомъ же покойный Андрей Ивановичъ хотя и отличался прямою добротою, но онъ былъ также человѣкъ очень осторожный и не любилъ вмѣшиваться въ дѣла ему постороннія. А притомъ же я, къ немалому стыду моему, въ это время уже почти позабылъ о жидѣ и больше думалъ о себѣ; но судьбѣ было угодно поправить мою эгоистическую разсѣянность и поставить на точку вида то, о чемъ всего пристойнѣе и всего нужнѣе было думать и заботиться.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Я долженъ былъ проѣхать по переулку, который идетъ къ генералъ-губернаторскому дому отъ городского, или «царскаго» сада; здѣсь тогда былъ очень старый и весьма запущенный (не знаю, существующій ли теперь) домъ, принадлежавшій графамъ Браницкимъ. Домъ этотъ, одноэтажный, длинный, какъ фабрика, и приземистый, какъ старопольскій шляхетскій будинокъ, имѣлъ ту особенность, что онъ былъ выстроенъ по спуску, отчего одинъ его конецъ лежалъ чуть ли не на самой землѣ, тогда какъ другой, выравниваясь по горизонтальной линіи, высоко поднимался на какой-то насыпи, надъ которою было что-то въ родѣ карниза.

Все это, какъ сейчасъ увидимъ, имѣетъ свое мѣсто и значеніе въ нашей исторіи.

Изъ семейства графовъ никто въ этомъ домѣ не жилъ. Были, можетъ-быть, въ немъ какіе-нибудь апартаменты для ихъ пріѣзда, — я этого не знаю; но тамъ, въ одномъ изъ флигелей, жилъ постоянно какой-то «пленипотентъ» Браницкихъ, тоже, разумѣется, «панъ», у котораго была собака, кажется ублюдокъ изъ породы бульдоговъ. Этотъ песъ имѣлъ довольно необыкновенную — пеструю, совершенно тигровую рубашку, и любилъ въ погожіе дни лежать на гребнѣ той высокой завалины, по которой выравнялась надъ косогоромъ линія дома, и любоваться открывавшимся оттуда зрѣлищемъ. Этотъ наблюдатель былъ многимъ извѣстенъ, и кто, бывало, замѣтитъ его издали, тотъ почтительно перейдетъ поскорѣе на другую сторону, а кто идетъ прямо у самаго дома, тотъ этой собаки или вовсе не замѣ-

титъ, а если взглянетъ и увидитъ его надъ самою своею головою, то испугается и пошлетъ его владѣтелю болѣе или менѣе хорошо оснащенное крылатое слово.

Въ тотъ день, который я описываю, пленипотентовъ полосатый песъ былъ на своемъ возвышенномъ мѣстѣ и любовался природою. Я его не замѣтилъ или не обратилъ на него вниманія, во-первыхъ, потому, что зналъ его, а во-вторыхъ, потому, что какъ разъ въ это самое время увидалъ на противуположномъ тротуарѣ Друкарта и сошелъ, чтобы поговорить съ нимъ о моихъ недосугахъ, мѣшавшихъ моему участію въ спектаклѣ.

Андрей Ивановичъ былъ сверхъ обыкновенія веселъ: онъ говорилъ, что обязанъ этимъ расположеніемъ духа необыкновенно хорошей погодѣ, и разсказалъ мнѣ при этомъ анекдотъ—какъ хорошо она дѣйствуетъ на душу.

— Я, говоритъ,—спѣшу кончить слѣдствіе и нынче рано вызвалъ къ допросу убійцу и говорилъ съ нимъ, а самъ въ это время брился, и потомъ шутя спрашиваю его: отчего онъ столько человѣкъ порѣзалъ, а меня не хотѣлъ зарѣзать моею же бритвою?—А онъ отвѣчаетъ: «не знаю: нонче мнѣ что-то рукъ кровянить не хочется».

И только, что мы этакъ переболтнули, какъ вдругъ раздался ужасающій вопль: «Уй-уй... каркадыль!» — и въ ту же самую минуту на насъ бросился и началъ между нами тереться... опять *онъ* же,—мой интролигаторъ.

Откуда онъ несся и куда стремился, попавъ по пути подъ «крокодила», я тогда не зналъ, но видъ его, въ бореньи съ новымъ страхомъ, былъ еще жалостнѣе и еще смѣшнѣе. При всемъ большомъ жидовскомъ чинопочитаніи, онъ въ ужасѣ лѣзъ подъ старую, изношенную енотовую шубу Друкарта, которую тотъ самъ называлъ «шубою изъ енотовыхъ пятокъ», и, вертя ее за подолъ, точно игралъ въ кошку и мышку.

Мы оба расхохотались, а онъ все метался и кричалъ: «каркадыль! каркадыль!» и металъ отчаянные взоры на бульдога, который, нимало не безпокоясь, продолжалъ спокойно взирать на насъ съ своего возвышенія.

Успокоить жида было невозможно, но зато это дало мнѣ поводъ разсказать Друкарту, что̀ это за несчастное созданіе и въ чемъ состоитъ его горе.

Повторяю, Друкартъ былъ человѣкъ чрезвычайно добрый

и чувствительный, хотя это очень многимъ казалось невѣроятнымъ, потому что Друкартъ былъ рыжеволосъ, а рыжеволосыхъ, какъ извѣстно, добрыми не считаютъ. (Это такъ же основательно и неоспоримо, какъ странная примѣта, будто бритвы съ бѣлыми черешками острѣе, чѣмъ съ черными; но возражать противъ этого все-таки напрасно). Притомъ же Друкартъ находился, какъ я сказалъ, въ необычайно хорошемъ расположеніи духа, которое еще усилилось происшествіемъ съ крокодиломъ и перешло въ совершенное благодушіе.

Живая сострадательность взяла верхъ надъ его осторожною системою невмѣшательства, и онъ сказалъ мнѣ потихоньку:

— Ишь, какая мерзость устроена надъ этимъ каркадыломъ.

— Да,—отвѣчаю:—мерзость такая ужасная, что ему нельзя ничѣмъ и помочь.

Друкартъ задвигалъ своимъ умнымъ морщинистымъ лбомъ и говоритъ:

— А давайте попробуемъ.

— Да что же можно сдѣлать?

— А вотъ попробуемъ... Иди за нами, каркадыль!

Но этого не надо было и говорить: интролигаторъ и такъ не отставалъ отъ насъ и все забѣгалъ впередъ, оглядываясь: не оставилъ ли крокодилъ своего забора и не идетъ ли его проглотить, чего жидъ, повидимому, страшно боялся,—не знаю болѣе за себя самого, или за сына, у котораго въ его особѣ крокодилъ могъ взять единственнаго защитника.

Говорятъ: «*чѣмъ* люди оказываются во время испуга, *то* они дѣйствительно и есть», — испугъ, это—*промежутокъ* между навыками человѣка, и въ этомъ промежуткѣ можно видѣть *натуру*, какою она есть. Судя такъ, интролигатора въ этотъ промежутокъ можно бы, пожалуй, почесть болѣе за жизнелюбца, чѣмъ за чадолюбца; но пока еще не изобрѣтенъ способъ утвержденія Момусова стекла въ человѣческой груди, до тѣхъ поръ всѣ подобныя рѣшенія, мнѣ кажется, могутъ быть очень ошибочными, и къ счастью они ни одному изъ насъ не приходили въ голову.

У Андрея Ивановича явился планъ дѣйствовать на князя Иларіона Иларіоновича,—планъ, въ которомъ я не видѣлъ

никакой пользы и старался его отвергнуть, какъ совершенно неудобоисполнимый и безполезный.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Я держался такого взгляда на основаніи общеизвѣстной флегматической вялости характера князя, человѣка натуры весьма благородной и доброй, но, къ сожалѣнію многихъ, не являвшей той энергіи, которой отъ него порою очень хотѣлось. Но Друкартъ зналъ князя лучше и стоялъ на своемъ.

— Не думайте, — настаивалъ онъ: — князь—добрякъ, и ему только надо это какъ должно представить. Онъ не соколъ,—сразу окомъ не прожжетъ, зато и крыломъ не обрѣжетъ, а все начнетъ только у себя въ сердцѣ долбить и какъ разъ выковыряетъ оттуда то, что на потребу, и тогда своего «*добраго мальчика*» пуститъ.

Надо объяснить, что̀ такое у насъ въ Кіевѣ и еще ранѣе здѣсь въ Петербургѣ называли «*добрымъ мальчикомъ*» добрѣйшаго изъ людей, князя Иларіона Иларіоновича, а для этого надо сказать кое-что о всей его физической и духовной природѣ.

Онъ былъ человѣкъ большого роста, съ наружностью сколько представительною, столько же и симпатичною. Преобладающею его чертою была доброта, но какая-то скорѣе пассивная, чѣмъ активная. Казалось, онъ очень бы желалъ, чтобы всѣмъ было хорошо, но только не зналъ, что̀ для этого сдѣлать, и потому болѣе объ этомъ не безпокоился... до случая. Физіономія его хранила тихое спокойствіе его доброй совѣсти и пребывала въ постоянной неподвижности; и эта неподвижность оставалась такою же и тогда, если его что-нибудь особенно брало за сердце, но только въ этихъ послѣднихъ случаяхъ *что-то* начинало поднимать вверхъ и оттопыривать его верхнюю губу и усы. Это *что-то* и называлось «*добрымъ мальчикомъ*», который будто бы являлся къ услугамъ князя для того, чтобы не затруднять его нужными при разговорѣ движеніями.

Рѣчи князя были всегда сколь рѣдки, столь и не многословны, хотя при всемъ этомъ ихъ никакъ нельзя было назвать краткими и лаконическими. Въ нихъ именно почти всегда недоставало законченности и притомъ онѣ отличались совершенно своеобразнымъ построеніемъ. По способу

ихъ изложенія, я могу имъ отыскать нѣкоторое подобіе только въ рѣчахъ, которыя произносилъ незнакомецъ, описанный Диккенсомъ въ «Запискахъ пиквикскаго клуба».

Оригинальный спутникъ нѣжнаго Топмена, какъ извѣстно, говорилъ такъ:

— Случилось... пять человѣкъ дѣтей... мать... высокая женщина... все ѣла селедки... забыла... три... дѣти глядятъ... она безъ головы... осиротѣли... очень жалко.

Какъ надо было имѣть особый навыкъ, чтобы понимать этого оратора, такъ была потребна сноровка, чтобы резюмировать и словесные выводы, и заключенія князя. Но по самому характеру героя Диккенсова, надо полагать, что этотъ путешественникъ говорилъ часто и скороговоркою, между тѣмъ какъ нашъ неспѣшный добросердечный князь всегда говорилъ повадно, съ оттяжкой, такъ чтобы *добрый мальчикъ* успѣвалъ управляться подъ его молодецкими усами. Притомъ же онъ, говоря по-русски, какъ баричъ начала девятнадцатаго вѣка, оснащалъ свою рѣчь избраннымъ простонароднымъ словомъ, которое у него было «стало-быть» или иногда просто «стало». На этомъ «стало» порою все и становилось, но цѣлость впечатлѣнія отъ этого нимало не страдала, а напротивъ, къ всеобщему удивленію, даже какъ будто выигрывала. Это «стало» было въ своемъ родѣ то же, что удивляющая теперь петербургскихъ меломановъ оборванная нота въ новой оперѣ «Маккавеи»: ея внезапный обрывъ красивѣе и понятнѣе, чѣмъ самая широкая законченность по всѣмъ правиламъ искусства.

— «Сдѣлайте... стало...», — говорилъ князь, отмахивая слегка рукою, и искусные въ разумѣніи его люди знали, что имъ дѣлать, и выходило хорошо, хорошо потому, что всѣ знали, что онъ думалъ и чувствовалъ только *хорошо*.

Во множествѣ случаевъ это было прекрасно, но я не могъ себѣ представить—къ чему это поведетъ въ томъ казусномъ случаѣ, о которомъ идетъ дѣло? Противъ интриганта и за его обидчика были, во-первыхъ, прямыя законныя постановленія, а во-вторыхъ—княгиня, значеніе которой было, къ сожалѣнію, слишкомъ неоспоримо. Что же постановитъ противъ этого книжеское «стало», да и что ему тутъ дѣлать?

Извѣстно, что, дабы чего-нибудь достичь, надо прежде всего ясно сознать, чего желаешь и какими путями хочешь

стремиться къ осуществленію этого желанія. Но у насъ ни у одного изъ трехъ, кажется, не было никакого яснаго плана: чего именно мы хотѣли для спасенія нашего интролигатора и въ какой формѣ? Мы только чувствовали желаніе помочь ему, и одинъ изъ насъ двухъ расширилъ свои соображенія настолько, что видѣлъ полезнымъ разжалобить добросердечнаго князя, возлагая надежду на изобрѣтательность его сердца, которое начнетъ что-то «долбить» и что-то «выковыривать», какъ разъ то, что нужно.

Друкартъ былъ въ этомъ увѣренъ, а я нисколько, и зато впослѣдствіи имѣлъ радостный случай воскликнуть: «блаженъ кто вѣруетъ,—тепло ему на свѣтѣ!»

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Оставивъ моего многострадальнаго еврея подъ опекою его новаго покровителя, я отправился къ своему мѣсту и занялся своимъ дѣломъ.

Здѣсь не излишнимъ считаю сказать, что ни въ комъ изъ лицъ, о которыхъ мнѣ здѣсь приходится говорить (разумѣется, кромѣ еврея), не было ни одного вѣроотступника или индифферента по отношенію къ вѣрѣ. Что касается князя Иларіона Иларіоновича, то его религіозныя убѣжденія мнѣ, конечно, близко неизвѣстны, но я думаю, что онъ былъ православенъ не меньше, чѣмъ всякій православный русскій сановникъ,—а можетъ быть даже немножко и больше нѣкоторыхъ. Простая, прямая и теплая душа его искала опоры въ вѣрѣ народной, народнѣе которой для русскаго человѣка нѣтъ, какъ наше родное православіе, во всей неприкосновенной чистотѣ и здравости его ученія. Друкартъ, *русскій уроженецъ* литовскихъ губерній, имѣлъ сугубую страстность къ православію, которое было для него не только вѣрою, но и своего рода духовнымъ знаменемъ русской народности. Я выросъ въ своей родной семьѣ въ г. Орлѣ, при отцѣ, человѣкѣ очень умномъ, много начитанномъ и знатокѣ богословія, и при матери очень богобоязненной и богомольной; научился я религіи у лучшаго и, въ свое время, извѣстнѣйшаго изъ законоучителей, о. Евѳимія Андреевича Остромысленскаго, за добрые уроки котораго всегда ему признателенъ. Шаткости религіозной въ кружкахъ, въ которыхъ я тогда въ Кіевѣ вращался, совсѣмъ не было, и я былъ такимъ, какимъ я былъ, обучаясь пра-

вославно мыслить отъ моего родного отца и отъ моего превосходнаго законоучителя, который до сихъ поръ, слава Богу, живъ и здоровъ. (Да приметъ онъ издали отсюда мною посылаемый ему низкій поклонъ). Словомъ: никого изъ насъ нельзя было заподозрѣвать ни въ малѣйшемъ недоброжелательствѣ Церкви, къ которой мы принадлежали, и по рожденію, и по убѣжденіямъ, и вѣроятно никто изъ насъ не нашелъ бы удовольствія отвести отъ Церкви невѣра, который бы возжелалъ съ нею соединиться; а между тѣмъ всѣ мы это сдѣлали съ полнымъ спокойствіемъ, которое получило на себя санкцію отъ лица, авторитетъ котораго я, какъ православный, считаю непререкаемымъ въ этомъ дѣлѣ.

Теперь я буду продолжать разсказъ, какъ поступили въ этомъ случаѣ люди, имѣвшіе предо мною всѣ несравнимыя преимущества въ старшинствѣ лѣтъ, въ опытѣ, въ познаніяхъ и въ томъ превосходномъ *дерзновеніи вѣры*, которое сѣчетъ и рубитъ мелкій страхъ шаткости маловѣрнаго сомнѣнія.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Я буду кратокъ въ описаніи аудіенціи, которую злополучный интролигаторъ имѣлъ у князя, потому что я самъ тутъ не присутствовалъ и веду разсказъ съ чужихъ словъ.

Благодаря Друкарту, бѣднякъ, разумѣется, былъ поставленъ такъ удобно, что князь, выйдя къ пріему прошеній, могъ обратить на него вниманіе,—что и случилось.

— Что... это... стало... какой человѣкъ... зачѣмъ такъ плачетъ... Узнайте! — сказалъ князь Друкарту, который на этотъ разъ былъ съ нимъ у пріема.

Тотъ взялъ просьбу и, разумѣется, зная уже дѣло, взглянулъ въ нее только для порядка. Въ ней, впрочемъ, и нечего было искать изложенія дѣла, потому что простая и никакой власти неподсудная суть его исчезала въ описаніи страданій самого интролигатора отъ людей, отъ стихій и наконецъ отъ крокодила, который тоже былъ занесенъ въ эту скорбную запись.

Оставалось свернуть это сочиненіе и изложить князю на словахъ, въ чемъ дѣло.

Друкартъ это и исполнилъ и, какъ человѣкъ очень теплый, умный и талантливый, сдѣлалъ вѣроятно такъ хорошо, что князь сразу тронулся: брови его слегка нахмурились и «*добрый мальчикъ*» подъ усами задвигалъ:

— Это что же... это стало-быть... плутовство, — заговорилъ князь.—Это... такъ э... нельзя позволять.

Чиновникъ кратко, но обстоятельно указалъ ему на законъ.

Князь еще болѣе нахмурился, и «*добрый мальчикъ*» былъ ушелъ, но потомъ снова вернулся.

— Да... законъ, такъ... стало-быть... нельзя.

Чиновникъ промолчалъ, — князь продолжалъ принимать другія просьбы,—жидъ вылъ, и когда ему кричали «тссъ!», онъ на минуту умолкалъ и продолжалъ вздрагивать, какъ продернутый на резинку, но черезъ минуту завывалъ заново безъ словъ, безъ просьбъ,—одними звуками.

Князя стало брать за душу.

— Велите... стаю... ему молчать и... вывесть, — сказалъ онъ, какъ будто очень разсердясь, что у него всегда служило превосходнымъ признакомъ, потому что, давъ въ себѣ хотя малѣйшее движеніе гнѣву, онъ, по безподобной добротѣ своей души, непремѣнно сейчасъ же подчинялся реакціи и всемѣрно, какъ могъ, выискивалъ средства задобрить свое нетерпѣливое движеніе.

Здѣсь же этой реакціи надо было ожидать еще скорѣе, потому что и самое приказаніе «молчать и вывесть» онъ очевидно далъ отъ досады, что не видалъ возможности сдѣлать того, что хотѣлъ бы сдѣлать.

Надо было ожидать, что все это у него пока *надалбывается* въ сердцѣ и онъ бурлитъ, пока не досталъ, не добылъ еще того, что нужно; но зато чѣмъ онъ больше этимъ кипитъ и мучится въ превосходной добротѣ своей, тѣмъ скорѣе онъ разыщетъ тамъ у себя что нужно и рѣшится на то, что, можетъ-быть, самъ пока еще считаетъ совершенно невозможнымъ.

Это такъ и вышло: чуть жидъ отъ страха замолкъ и два жандарма повели его за локти изъ пріемной, «*мальчикъ*» подъ усами князя зашевелился.

— Тише... скажите... это...—заговорилъ онъ:—не надо...— Къ чему относилось это «не надо»—осталось неизвѣстнымъ, но понято было хорошо: жида вывели, но не прогнали, и онъ сѣлъ и продолжалъ дергаться на своей внутренней резинкѣ; а князь быстро окончилъ пріемъ и во все это время казался недоволенъ и огорченъ, и, отпустивъ просителей, не пошелъ въ свой кабинетъ, который былъ прямо

противъ входныхъ дверей пріемнаго зала, а вышелъ въ маленькую боковую зеленую комнату, направо.

Комната эта выходила окнами на дворъ и служила князю для особыхъ объясненій съ тѣми лицами, съ которыми онъ считалъ нужнымъ поговорить наединѣ.

Онъ походилъ здѣсь одинъ нѣсколько минутъ и потребовалъ Друкарта.

— Жалко!..—произнесъ онъ, увидя чиновника.

— Очень жалко, ваше сіятельство, — отвѣчалъ, всегда съ отличнымъ спокойствіемъ и достоинствомъ державшій себя, Друкартъ.

— Пфу... какая штука!.. Совсѣмъ плутъ...

— Очевидно бездѣльникъ, — было отвѣтомъ человѣка, который понималъ, къ кому это относится, т. е. къ интролигаторову наемщику, пожелавшему креститься.

— И въ законѣ этого... стало... нѣтъ?

— Нѣтъ, тамъ нѣтъ исключенія — въ какое время объявить желаніе: это все равно.

— Взялъ деньги... плутъ... Это... стало... какая... тутъ вѣра!

— Вѣра—одинъ предлогъ.

— Разумѣется... но я... ничего... стало-быть... не могу... пдите!

И онъ съ очевиднымъ томленіемъ духа выпустилъ Друкарта, но тотъ не успѣлъ еще дойти до передней, какъ князь достукался того, что ему было нужно, и, живо размахнувъ дверь, самъ крикнулъ повеселѣвшимъ голосомъ:

— А... Друкартъ!

Тотъ вернулся.

— Теперь... того... какъ оно... вотъ какъ: и этого жида взять... въ сани... и поѣзжайте... съ нимъ... сейчасъ прямо... къ митрополиту... Онъ добрый старикъ... пусть посмотритъ... все разскажите... И отъ меня... кланяйтесь... и скажите, что жалко... а ничего не могу... какъ законъ... Хорошенько... это понимаете.

— Слушаю-съ.

— Да... что не могу... Очень, стало-быть, хотѣлъ бы... да не могу... а онъ очень добрый... понимаете...

— Очень добрый, ваше сіятельство.

— Такъ ему... я это предоставляю... и самъ не вмѣшиваюсь, а... только очень его... прошу... потому... если ему

тоже жаль... онъ какъ тамъ знаетъ... Можетъ-быть... просите и... потомъ мнѣ скажите.

Князь докончилъ свою рѣчь уже болѣе живымъ и веселымъ тономъ, сдѣлалъ рѣшительный взмахъ рукою, повернулся и, гораздо повеселѣвъ, пошелъ въ свои внутренніе покои, но навѣрно не затѣмъ, чтобы спѣшить разсказать о своемъ распоряженіи въ апартаментахъ княгини.

Командированный княземъ чиновникъ взялъ жида и покатилъ съ нимъ въ лавру, а я получилъ съ разсыльнымъ клочокъ бумажки съ сдѣланною наскоро карандашомъ надписью: «задержите ставку,—ѣдемъ къ митрополиту».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Ставку на два, три часа задержать было возможно, и я это сдѣлалъ; но къ чему все это могло повести?

Наши іерархи и вообще люди «духовнаго чина», какъ называетъ ихъ въ своемъ замѣчательномъ «Словарѣ» покойный митрополитъ кіевскій Евгеній Болховитиновъ, къ несчастію для общества, почти совсѣмъ ему неизвѣстны съ ихъ самыхъ лучшихъ сторонъ. Долженствуя стоять на самомъ свѣту въ виду у всѣхъ, они между тѣмъ почти совершенно «проходятъ въ тѣняхъ»; извѣстные при жизни съ одной чисто офиціальной, служебной своей стороны, они не получаютъ болѣе полнаго и интереснаго освѣщенія даже и послѣ смерти. Ихъ некрологи, какъ недавно справедливо замѣчено по поводу кончины бывшаго архіепископа тобольскаго Варлаама, составляютъ или сухой и жалкій перифразъ ихъ формулярныхъ послужныхъ списковъ, или—что еще хуже,—даютъ жалкій наборъ общихъ фразъ, въ которыхъ пожалуй можно замѣтить много усердія панегиристовъ, но зато и совершенное отсутствіе въ нихъ наблюдательности и пониманія того, что въ жизни человѣка, сотканной изъ ежедневныхъ мелочей, можетъ репрезентовать его умъ, характеръ, взглядъ и образъ мыслей, — словомъ, что можетъ показать человѣка съ его интереснѣйшей, внутренней, духовной стороны, въ простыхъ житейскихъ проявленіяхъ. Насколько превосходятъ насъ въ этомъ протестанты и католики, объ этомъ и говорить стыдно: между тѣмъ какъ тамъ мало-мальски замѣчательнаго духовнаго лица, если не заживо, то тотчасъ послѣ смерти знаютъ во всѣхъ его замѣчательныхъ чертахъ,—мы до сихъ поръ не

имѣемъ живого очерка даже такихъ лицъ, какъ митрополитъ Филаретъ Дроздовъ и архіепископъ Иннокентій Борисовъ.

Можетъ-быть, это такъ нужно,—не знаю; но не въ моей власти не сомнѣваться, чтобы это было для чего-нибудь такъ нужно, — развѣ кромѣ той обособленности пастырей отъ пасомыхъ, которая не служитъ и не можетъ служить въ пользу Церкви.

Если благочестивая мысль весьма видныхъ представителей богословской науки пришла къ сознанію необходимости—знакомить людей съ жизнью Самого нашего Господа Іисуса Христа со стороны *Его человѣчности*, которая такъ высока, поучительна и прекрасна, разсматриваемая въ связи съ Его Божествомъ, и если этому пути слѣдуютъ нынче уже и русскіе ученые (какъ наприм., покойный кіевскій профессоръ К. И. Скворцовъ), то не странно ли чуждаться ознакомленія общества съ его іерархами, какъ съ живыми людьми, имѣвшими свои добродѣтели и свои недостатки, свои подвиги и свои немощи и, въ общемъ, можетъ-быть, представляющими гораздо болѣе утѣшительнаго и хорошаго, чѣмъ распространяютъ о нихъ въ глухой молвѣ, а ей-то и внемлетъ толпа чрезъ свои «Мидасовы уши»...

Одно духовное изданіе недавно откровенно изъяснилось, отчего это происходитъ, — «отъ совершеннаго неумѣнія большинства людей изъ духовенства писать сколько-нибудь живо».

Я думаю, что это правда, и насколько во мнѣ можетъ быть допущено литературнаго пониманія,—я это утверждаю и весьма объ этомъ соболѣзную. Это *скрываетъ* отъ общества много хорошаго изъ нравовъ нашего клира.

Почти мимовольно вырвавшіяся выше строки, которыя я, тѣмъ не менѣе, желаю здѣсь оставить, потому что считаю ихъ сказанными нечаянно, но кстати, не должны, однакоже, быть истолкованы въ такомъ претензіонномъ смыслѣ, какъ будто я хочу или могу пополнить чѣмъ-нибудь замѣченный мною печальный пробѣлъ въ нашей духовной журналистикѣ, — доселѣ еще бѣдной живымъ элементомъ и терпящей вполнѣ достойное и заслуженное ею безучастіе общества за свой сухой, чисто отвлеченный тонъ и *неинтересный* характеръ.

Вышесказанной претензіи у меня нѣтъ, да и она, п

правдѣ сказать, ни на что не нужна мнѣ. Слабому перу моему довольно работы и безъ этого; но доходя въ этомъ разсказѣ до встрѣчи съ покойнымъ митрополитомъ Филаретомъ Амфитеатровымъ, я долженъ сказать — какимъ онъ мнѣ представлялся со стороны *его общечеловѣчности*, до которой мнѣ собственно только и было теперь дѣло.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Еще ребенкомъ, у себя въ орловской губерніи, откуда покойный митрополитъ былъ родомъ и потому въ болѣе тѣсномъ смыслѣ былъ моимъ «землякомъ», я слыхалъ о немъ, какъ о человѣкѣ доброты безконечной. Я зналъ напасти и гоненія, которыя онъ терпѣлъ до занятія митрополичьей каѳедры, — гоненія, которыя могли бы дать превосходнѣйшій матеріалъ для самой живой и интересной характеристики многихъ лицъ и ихъ времени.

Во всѣхъ этихъ разсказахъ митрополитъ Филаретъ являлся скромнымъ и терпѣливымъ, кроткимъ и миролюбивымъ человѣкомъ—не болѣе.

Активной доброты его, о которой говорили въ общихъ чертахъ, я не зналъ ни въ одномъ частномъ проявленіи.

О послѣднемъ выѣздѣ его изъ Петербурга, куда онъ болѣе уже не возвращался, носились слухи тоже самые общіе и то дававшіе во всемъ первое мѣсто и значеніе митрополиту московскому, — да это мнѣ и не нужно было для того, чтобы построить свою догадку о томъ, какъ онъ отнесется къ извѣстному казусу.

Въ Кіевѣ я услыхалъ ему первыя осужденія за его отношенія къ покойному о. Герасиму Павскому и раздѣлялъ мнѣнія осуждавшихъ.

Лично я его увидѣлъ въ первый разъ въ домѣ предсѣдателя казенной палаты Я. И. П., гдѣ онъ мнѣ показался очень страннымъ. Во-первыхъ, когда всѣ мы, хозяева и гости, встрѣтили его въ залѣ (въ домѣ П. на Михайловской улицѣ), онъ благословилъ всѣхъ насъ, подошедшихъ къ нему за благословеніемъ, и потомъ, замѣтивъ остававшуюся у стола молодую дѣвушку, бывшую въ этомъ домѣ гувернанткою, онъ посмотрѣлъ на нее и, не трогаясь ни шагу далѣе, проговорилъ:

— Ну, а вы что же?

Дѣвица сдѣлала ему почтительный глубокій реверансъ и тоже осталась на прежнемъ мѣстѣ.

— Что же... подойдите!—позвалъ митрополитъ.

Но въ это время къ нему подошелъ хозяинъ и тихо шепнулъ:

— Ваше высокопреосвященство,—она протестантка.

— А!.. ну что же такое, что протестантка: вѣдь не жидовка же (sic).

— Нѣтъ, владыка,—протестантка.

— Ну, а протестантка, такъ поди сюда, дитя, поди, дѣвица, поди; вотъ такъ; Господь тебя благослови: во имя Отца, и Сына, и Св. Духа.

И онъ ее благословилъ, и когда она, видимо сильно растрогавшись, хотѣла, по нашему примѣру, поцѣловать его руку, онъ погладилъ ее по головѣ и сказалъ:

— Умница!

Дѣвушка такъ растрогалась отъ этой, вѣроятно, совсѣмъ неожиданной ею ласки, что заплакала и убѣжала во внутренніе покои.

Впослѣдствіи она не разъ ходила къ митрополиту, получала отъ него благословенія, образки и книжечки, и кончила тѣмъ, что перешла въ православіе и, говорятъ, вела въ мірѣ чрезвычайно высокую подвижническую жизнь и всегда горячо любила и уважала Филарета. Но въ этотъ же самый визитъ его къ П. онъ показалъ себя намъ и въ иномъ свѣтѣ: едва онъ усѣлся въ почетномъ мѣстѣ на диванѣ, какъ къ нему подсосѣдилась свояченица хозяина, пожилая дѣвица, и пустилась его «занимать».

Вѣроятно, желая блеснуть своею свѣтскостію, она заговорила съ сладкою улыбкою:

— Какъ, я думаю, вамъ, ваше высокопреосвященство, скучно здѣсь послѣ Петербурга?

Митрополитъ поглядѣлъ на нее и,—Богъ его знаетъ,—связалъ ли онъ этотъ вопросъ съ исторіею своего отбытія изъ Петербурга, или такъ просто,—отвѣтилъ ей:

— Что это такое?.. что мнѣ Петербургъ?..—и, отвернувшись, добавилъ:—глупая,—право, глупая.

Тутъ я замѣтилъ всегда послѣ мною слышанную разницу въ его интонаціи: онъ то говорилъ немножко надтреснутымъ, слабымъ старческимъ голосомъ, какъ бы съ неудо-

вольствіемъ, и потомъ мягко пускалъ добрымъ стариковскимъ баскомъ.

— «Что мнѣ Петербургъ?»—это было въ первой манерѣ, а «глупая»,—баскомъ.

Первое это впечатлѣніе, которое онъ на меня произвелъ, было странное: онъ мнѣ показался и очень добрымъ, и грубоватымъ.

Впослѣдствіи первое все усиливалось, а второе ослабѣвало.

Потомъ, я помню, разъ рабочій-штукатуръ упалъ съ колокольни на плитяной помостъ и расшибся.

Митрополитъ остановился надъ нимъ, посмотрѣлъ ему въ лицо, вздохнулъ и проговорилъ ласково:

— Эхъ ты, глупый какой! — благословилъ его и прошелъ.

Былъ въ Кіевѣ священникъ о. Ботвиновскій,—человѣкъ не безъ обыкновенныхъ слабостей, но съ совершенно необыкновенною добротою. Онъ, напримѣръ, сдѣлалъ разъ такое дѣло: у казначея Т. недоставало что-то около 30,000 рублей и ему грозила тюрьма и погибель. Многіе богатые люди о немъ сожалѣли, но никто ничего не дѣлалъ для его спасенія. Тогда Ботвиновскій, *никогда до того времени не знавшій Т.*, продалъ все, что имѣлъ цѣннаго, заложилъ домъ, бѣгалъ безъ устали, собирая гдѣ что могъ, и... выручилъ несчастную семью.

Владыка, узнавъ объ этомъ, промолвилъ:

— Ишь, какой хорошій!

О. Ботвиновскому за это добро вскорѣ заплатили самою черною неблагодарностью и многими доносами, которые дошли до митрополита. Тотъ призвалъ его и спросилъ: правда ли, что о немъ говорятъ?

— По неосторожности, виноватъ, владыка, — отвѣчалъ Ботвиновскій.

— А!.. зачѣмъ ты трубку изъ длиннаго чубука куришь, а?

— Виноватъ, владыка.

— Что виноватъ... тоже по неосторожности! А! какъ смѣешь! развѣ можно попу изъ длиннаго чубука!..—онъ на него покричалъ и будто сурово прогналъ, сказавъ:

— Не смѣй курить изъ длиннаго чубука!.. сейчасъ сломай свой длинный чубукъ!

О короткомъ—ничего сказано не было; а во всѣхъ другихъ частяхъ доносъ оставленъ безъ послѣдствій.

Тоже помню разъ лѣтомъ въ Кіевъ наѣхало изъ орловской губерніи одно знакомое мнѣ дворянское семейство, состоявшее изъ матери, очень доброй пожилой женщины, и шести взрослыхъ дочерей, которыя всѣ были недурны собою, изрядно, по-тогдашнему, воспитаны и имѣли состояньице, но ни одна изъ нихъ не выходила замужъ. Матери ихъ это обстоятельство было очень непріятно и представлялось верхомъ возмутительнѣйшей несправедливости со стороны всей мужской половины человѣческаго рода. Она сдѣлала по этому случаю такой обобщающій выводъ, что «всѣ мужчины подлецы: обѣдать—обѣдаютъ, а жениться—не женятся».

Высказавшись мнѣ объ этомъ со всею откровенностью, она добавила, что пріѣхала въ Кіевъ спеціально съ тою цѣлію, чтобы помолиться «насчетъ судьбы» дочерей и вопросить о ней жившаго тогда въ Китаевой пустыни старца, который Богъ вѣсть почему слылъ за прозорливца и пророка *).

Патріархальное орловское семейство расположилось въ нѣсколькихъ номерахъ въ лаврской гостиницѣ, гдѣ я получилъ обязанность ихъ навѣщать, а главная услуга, которой отъ меня требовала землячка, заключалась въ томъ, чтобы я сопутствовалъ имъ въ Китаевъ, гдѣ она пылала нетерпѣніемъ увидать прозорливца и вопросить его «о судьбѣ».

Отъ этого я никакъ не могъ отказаться, хотя, признаться, не имѣлъ никакой охоты безпокоить мудренаго анахорета, о прозорливости котораго слыхалъ только, что онъ на привѣтствіе: «*здравствуйте, батюшка*», — всегда, или въ большинствѣ случаевъ, отвѣчалъ: «*здравствуй, окаянный!*»

— Стоитъ ли,—говорю,—для этого его, божьяго старичка, безпокоить?

Но мои дамы встосковались:

— Какъ же это можно, — говорятъ, — такъ разсуждать? Развѣ это не грѣхъ такого случая лишиться? Вы тутъ все по-новому, — сомнѣваетесь, а мы просто вѣримъ и, при-

*) Это никакъ не должно быть относимо къ превосходному старцу Парѳенію, который жилъ въ Голосѣевѣ. *Н. Л.*

знаться, затѣмъ только больше сюда и ѣхали, чтобы его спросить. Молиться-то мы и дома могли бы, потому у насъ и у самихъ есть святыни: въ Мценскѣ—Николай угодникъ, а въ Орлѣ въ женскомъ монастырѣ — Божія Матерь прославилась, а намъ провидящаго старца-то о судьбѣ спросить дорого—что онъ намъ скажетъ?

— Скажетъ,—говорю,—«здравствуйте, окаянныя!»

— Что же такое,—а можетъ-быть,—отвѣчаютъ,—онъ для насъ и еще что-нибудь прибавитъ?

«Что же»,—думаю,—«и впрямь, можетъ-быть, и «прибавитъ».

И онѣ не ошиблись: онъ имъ кое-что прибавилъ. Поѣхали мы въ густые голосѣевскіе и китаевскіе лѣса съ самоваромъ, съ сушеными карасями, арбузами и со всякой иной провизіей; отдохнули, помолились въ храмахъ и пошли искать прозорливца.

Но въ Китаевѣ его не нашли: сказали намъ, что онъ побрелъ лѣсомъ къ Голосѣеву, гдѣ о-ту пору жилъ въ лѣтнее время митрополитъ.

Шли мы, шли, отбирая языковъ у всякаго встрѣчнаго, и, наконецъ, попали въ какой-то садикъ, гдѣ намъ указано было искать провидца.

Нашли, и сразу всѣ мои дамы ему *въ ноги* и запищали:

— Здравствуйте, батюшка!

— Здравствуйте, окаянныя,—отвѣтилъ старецъ.

Дамы немножко опѣшили; но мать, видя, что старецъ повернулъ отъ нихъ [и удаляется, подвигнулась отвагою и завопила ему вслѣдъ:

— А еще-то хоть что-нибудь, батюшка, скажите!

— Ладно,—говоритъ,—прощайте, окаянныя!

И съ этимъ онъ насъ оставилъ, а вмѣсто него тихо изъза кусточка показался другой старецъ, — небольшой, но ласковый, и говоритъ:

— Чего, дурочки, хотите? Э-эхъ, глупыя, глупыя,—ступайте въ свое мѣсто,—и тоже самъ ушелъ.

— Кто этотъ, что второй-то съ нами говорилъ? — спрашивали меня дамы.

— А это,—говорю,—митрополитъ.

— Не можетъ быть!

— Нѣтъ, именно онъ.

— Ахъ, Боже!.. вотъ счастья-то сподобились! будемъ

разсказывать всѣмъ, кто въ Орлѣ,—не повѣрятъ! И какъ голубчикъ ласковъ-то.

— Да вѣдь онъ нашъ, орловскій,—говорю.

— Ахъ, такъ онъ, вѣрно, насъ по разговору-то замѣтилъ и обласкалъ...

И ну плакать отъ полноты счастія...

Этотъ старецъ, дѣйствительно, былъ самъ митрополитъ, который въ сдѣланной моимъ попутчицамъ оцѣнкѣ, по моему убѣжденію, оказалъ гораздо болѣе прозорливости, чѣмъ первый провидецъ. «Окаянными» моихъ добрыхъ и наивныхъ землячекъ назвать было не за что, но глупыми—весьма можно.

Но со всѣми-то съ этими только данными для сужденія о характерѣ покойнаго митрополита—какія можно было вывести соображенія насчетъ того: что онъ сдѣлаетъ въ дѣлѣ интролигатора, гдѣ всѣ мы понемножечку милосердовали, но никто ничего не могъ сдѣлать,—не исключая даже такое, какъ нынѣ говорятъ, «высокопоставленное» и многовластное лицо, какъ главный начальникъ края?.. Какъ тамъ этого ни представляй, а все въ результатѣ выходило, что всѣ походили около печи, а никто оттуда горячаго каштана своими руками не выхватилъ, а трудъ вынуть этотъ каштанъ предоставили престарѣлому митрополиту, которому всего меньше было касательства къ злобѣ нашего дня.

Что же онъ въ самомъ дѣлѣ учинитъ?

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Но въ нетерпѣливомъ ожиданіи результата, который долженъ былъ послѣдовать въ самомъ остромъ моментѣ этого чисто мірского, казеннаго дѣла отъ духовнаго владыки, мнѣ припомнился еще одинъ, довольно общеизвѣстный въ свое время въ Кіевѣ случай, гдѣ митрополитъ Филаретъ своимъ милосердіемъ далъ неожиданный оборотъ одному деликатнѣйшему обстоятельству.

Въ одномъ дружественномъ домѣ Т. случилось ужасное несчастіе: чрезвычайно религіозная, превосходно образованная, возвышеннѣйшей души дама К. Ѳ. окончила жизнь самоубійствомъ и притомъ, какъ нарочно, распорядилась всѣмъ такъ, что не было никакой возможности отнести ея несчастную рѣшимость къ *умопомѣшательству* или какому-нибудь иному мозговому разстройству.

Врачъ М—къ не давалъ такого свидѣтельства, а безъ того полиція не позволяла погребенія съ церковнымъ обрядомъ и на христіанскомъ кладбищѣ.

Все это, разумѣется, еще болѣе увеличивало скорбь и безъ того пораженнаго событіемъ семейства, но дѣлать было нечего...

Тогда одному изъ родственниковъ покойной, Альфреду Юнгу, плохому редактору *Кіевскаго Телеграфа*, но прекраснаго сердца человѣку, пришла мысль броситься къ митрополиту и просить у него разрѣшенія похоронить покойницу какъ слѣдуетъ, по обрядамъ церкви, несмотря на врачебно-полицейскіе акты, которые исключали эту возможность.

Митрополитъ принялъ Юнга (хотя время уже было не урочное, — довольно поздно къ вечеру), выслушалъ о несчастіи Т., покачалъ головой и, вздохнувъ, заговорилъ:

— Ахъ, бѣдная, бѣдная, бѣдная... Зналъ ее, зналъ... бѣдная.

— Владыка! не дозволяютъ ее схоронить по обряду... это для семейства ужасно!

— Ну, зачѣмъ не схоронить? Кто смѣетъ не дозволить?

— Полиція не дозволяетъ.

— Ну, что тамъ полиція, — перебилъ съ милосердымъ нетерпѣніемъ Филаретъ.—Ишь, что выдумали!

— Это потому, ваше высокопреосвященство, что врачъ находитъ, что она въ полномъ умѣ...

— Ну-у, что тамъ врачъ... много онъ знаетъ о полномъ умѣ! Я лучше его знаю... Женщина... слабая... немощный сосудъ,—скудельный: приказываю, чтобы ее схоронили по обряду, да, приказываю.

И какъ онъ приказалъ—разумѣется, такъ и было. Могло то же самое или что-нибудь въ этомъ родѣ случиться и сейчасъ; онъ все вѣдь былъ тотъ же сегодня, какъ и тогда, и нынѣ онъ тоже могъ что-нибудь такое «*лучше*» всѣхъ насъ знать и рѣшить все такъ, чтобы милость и истина встрѣтились и правда и судъ облобызались. Что же дивнаго, когда дѣло пошло не на то, чѣмъ мы руководимся, а на то, что онъ усмотритъ.

Скажетъ: «я лучше ихъ знаю», и конецъ!

И ни на минуту до сей поры не увѣренный въ возможности спасенія интролигатора, я вдругъ сталъ вѣрить, что

неожиданное направленіе, данное дѣлу княземъ Васильчиковымъ, привело это дѣло какъ разъ къ такому судіи, который разрѣшитъ его самымъ наисовершеннѣйшимъ образомъ.

Я тогда не читалъ еще ни сочиненій блаженнаго Августина, о которыхъ упоминаю въ началѣ этого разсказа *), и не зналъ превосходнаго положенія Лаврентія Стерна **), но просто *по-сердцу* думалъ, что не можетъ быть, чтобы митрополитъ счелъ за благопріятное для церкви пріобрѣтеніе такого человѣка, который, по мѣткому выраженію Стерна, дѣлаетъ православію визитъ въ своемъ поганомъ халатѣ! Что за прибыль въ новыхъ прозелитахъ, которые потомъ составляютъ въ христіанствѣ тотъ вредный, но, къ сожалѣнію, постоянный кадръ людей безъ вѣры, безъ чести, безъ убѣжденій,—людей, ради коихъ «имя Божіе хулится во языцѣхъ».

— Нѣтъ,—говорилъ я себѣ,—нѣтъ: митрополитъ рѣшитъ это правильно и прекрасно.

И я не ошибся, и теперь возвращаюсь къ моему разсказу, съ тѣмъ, чтобы на сей разъ уже заключить его концомъ, вѣнчающимъ дѣло.

Приглашаю теперь читателя возвратиться къ тому моменту, когда жидъ и чиновникъ поѣхали къ митрополиту въ лавру.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Жидъ съ утра въ этотъ день не представлялъ того ужасающаго отчаянія, съ какимъ онъ явился вчера вечеромъ. Правда, что онъ и теперь завывалъ, метался и дергался «на резинкѣ», но сравнительно со вчерашнимъ это было спокойнѣе. Это, можетъ-быть, до извѣстной степени объяснялось тѣмъ, что онъ утромъ сбѣгалъ на постоялый дворъ, гдѣ содержались рекруты, и издали посмотрѣлъ на сынишку. Но когда интролигатора посадили въ сани, приступы отчаянія съ нимъ опять возобновились и еще въ

*) «De fide et operibus» и «De catechisandis rudibus».

**) Извѣстный англійскій юмористъ, пасторъ суттонскаго прихода, Лаврентій Стернъ, прославившійся своимъ веселымъ остроуміемъ и нѣжною чувствительностью, говоритъ: «напрасно думаютъ быть христіанами тѣ, которые не постарались сдѣлаться добрыми людьми. Идти ко Христу, имѣя недобрые замыслы противъ человѣка, болѣе несоотвѣтственно, чѣмъ дѣлать визитъ въ халатѣ». (Стернъ, ч. 2, стр. 6 и 7).

сугубомъ ожесточеніи. Онъ, говорятъ, походилъ на сумасшедшаго или на упившагося до безумія: онъ схватывался, вскакивалъ, голосилъ, размахивалъ въ воздухѣ руками и нѣсколько разъ порывался скатиться кубаремъ съ саней и убѣжать. Куда и зачѣмъ?—это онъ едва ли понималъ, но когда они проѣзжали подъ одною изъ арокъ крѣпостныхъ валовъ, ему это наконецъ удалось: онъ выпалъ въ снѣгъ и, вскочивъ, бросился къ стѣнѣ, заломилъ на нее вверхъ руки и завылъ:

— Ой Іешу! Іешу! що Твій пипъ со мной зробыть?

Два услужливые солдатика, которые подоспѣли на этотъ случай, взяли его, погнули, какъ надо, чтобы усадить въ сани, и поѣздъ чрезъ пару секундъ остановился у святыхъ воротъ или, какъ въ Кіевѣ говорятъ, у *святой брамы*.

Тутъ не перомъ описать то, что начало дѣлаться съ евреемъ, пока дошло до конца дѣло: онъ дѣлалъ поклоны и реверансы не только встрѣчнымъ живымъ инокамъ, но даже и стѣннымъ изображеніямъ, которыя, вѣроятно, производили на него свое впечатлѣніе, и все вздыхалъ.

Подслѣповатый инокъ, сидѣвшій подъ брамою съ кропиломъ за чашею святой воды, покропилъ его,—онъ обтерся и пошелъ за своимъ вождемъ далѣе.

Теперь надо было уже получить доступъ къ митрополиту, представиться ему и ждать, чѣмъ онъ обрадуетъ?

Друкартъ все, конечно, обдумалъ, какъ ему исполнить возложенное на него порученіе: онъ хотѣлъ оставить еврея гдѣ будетъ удобно внизу и велѣть доложить митрополиту объ одномъ себѣ и единолично, спокойно и послѣдовательно изложить все дѣло и, насколько возможно, склонить добраго старца къ состраданію несчастному интролигатору, а тамъ, разумѣется,—что будетъ, то будетъ.

Не знаю: вышло бы хорошо или худо, если бы дѣло пошло такимъ образомъ, по объясненному, разсчитанному плану: но все это никуда не годилось, потому что съ верховъ для развязки всей этой исторіи учрежденъ былъ другой планъ.

Напоминаю, что это было въ самый превосходный, погожій день. Покойный владыка Филаретъ тогда уже былъ близокъ къ закату дней и постоянно прихварывалъ, и даже очень мучительно и тяжко. Страданія его облегчалъ профессоръ Вл. Аф. Караваевъ, а еще чаще его помощникъ

г. Заславскій, котораго покойный въ шутку звалъ: «отецъ Заславскій». Промежутки, когда онъ былъ здоровѣе и могъ обходиться безъ визитовъ «отца Заславскаго», были непродолжительны и нечасты, но, однако, бывали — и тогда онъ бодрился и даже выходилъ на воздухъ.

Жидъ и его предстатель какъ разъ попали на такой случай: не успѣли они, обогнувъ колокольню, завернуть вправо къ митрополитскимъ покоямъ, какъ увидали у дверей на помостѣ небольшую группу чернецовъ,—кажется, по разсказу, человѣка три или четыре, и между ними самъ владыка.

Выйдя на короткое, вѣроятно, время вздохнуть мягкимъ воздухомъ прекраснаго дня, митрополитъ былъ безъ клобука и всякихъ другихъ знаковъ своего сана, — по-домашнему, въ теплой шубкѣ и мякенькомъ колпачкѣ, но Друкартъ узналъ его издали и, поклонясь, подошелъ и началъ излагать цѣль своего посольства.

Митрополитъ слушалъ, не обнаруживая никакого вниманія и прищуривая прозрачныя, тогда уже потемнѣвшія вѣки своихъ глазъ, и все смотрѣлъ на крышу одного изъ куполовъ великой церкви, по которому на угрѣвѣ расположились голуби, галки и воробьи. Повидимому, его, какъ будто, очень занимали птицы, но когда Друкартъ досказалъ ему исторію—какъ наемщикъ обманулъ своего нанимателя, онъ тихонько улыбнулся и проговорилъ:

— Ишь ты, воръ у вора дубинку укралъ,—и, покачавъ головою, опять продолжалъ смотрѣть на птичекъ.

— Владыка,—говорилъ ему между тѣмъ Друкартъ:—это дѣло теперь въ такомъ положеніи... — И онъ изложилъ все извѣстное намъ положеніе.

Митрополитъ молчалъ и попрежнему вдыхалъ въ себя воздухъ и смотрѣлъ на птицъ.

Положеніе посла становилось затруднительно, — онъ еще разсказалъ что-то, и умолкъ; владыка тоже молчалъ и смотрѣлъ на птичекъ.

— Что прикажете доложить князю, ваше высокопреосвященство,—снова попытался такъ Друкартъ. — Его сіятельство усердно васъ проситъ, такъ какъ законъ ставитъ его въ невозможность...

— Законъ... въ невозможность... меня проситъ! — какъ бы вслухъ подумалъ митрополитъ, и вдругъ неожиданно перевелъ глаза на интролигатора, который, страшно без-

покоясь, стоялъ немного поодаль передъ нимъ въ согбенной позѣ...

Слабыя вѣки престарѣлаго владыки опустились и опять поднялись и нижняя челюсть задвигалась:

— А? что же мнѣ съ тобою дѣлать, жидъ! — протянулъ онъ и добавилъ вопросительно: — а? Ишь ты какой дуракъ!

Дергавшійся на мѣстѣ интролигаторъ, заслышавъ обращенное къ нему слово, такъ и рухнулся на землю и пошелъ извиваться, рыдая и лепеча опять: «Іешу! Іешу! Ганоцри! Ганоцри!»

— Что ты, глупый, кричишь? — проговорилъ митрополитъ.

— Ой васе... ой васе... васе высокопреосвященство... коли же... коли же никто... никто... якъ ви...

— Неправда; никто, какъ Богъ, а не я,—глупый ты!

— Ой Богъ, ой Богъ... Ой Іешу, Іешу...

— Зачѣмъ говоришь Іешу? — скажи: Господи Іисусе Христе!

— Ой, коли же... Господи ой, Сусе Хриште... Ой, ой, дай мине... дай мине, гошподинъ... гошподи... дай мое дѣтко!

— Ну, вотъ такъ!.. Глупый...

— Онъ до безумія измученъ, владыка, и... удивительно какъ онъ еще держится,—поддержалъ тутъ Друкартъ.

Митрополитъ вздохнулъ и, тихо протянувъ съ задушевностью въ голосѣ:

— Любы николи же ослабѣваетъ,—опять поднялъ глаза къ птичкамъ и вдругъ какъ бы имъ сказалъ:

— Недостоинъ онъ крещенія... отослать его въ пріемъ,— и съ этимъ онъ въ то же самое мгновеніе повернулся и ушелъ въ свои покои.

Апелляціи на этотъ *владычный судъ* не было, и всѣ были довольны, какъ истинно «смиреннѣйшій» первосвятитель сталъ вверху всѣхъ положеній. «Недостойнаго» крещенія хитреца привели въ пріемъ и забрили, а ребенка отдали его отцу. Ихъ счастьемъ и радостью любоваться было некогда; забритый же наемщикъ, сколько мнѣ помнится, послѣ пріема окрестился: онъ не захотѣлъ потерять хорошей крестной матери и тѣхъ тридцати рублей, которые тогда давались каждому новокрещенцу-еврею...

Значитъ, и съ этой стороны потери не было, и я на этомъ могъ бы и окончить свой разсказъ, если бы къ нему не принадлежалъ особый, весьма замѣчательный эпилогъ.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

(Глава вмѣсто эпилога).

Съ прекращеніемъ крымской войны и возникновеніемъ гласности и новыхъ теченій въ литературѣ, не мало молодыхъ людей оставили службу и пустились искать занятій при частныхъ дѣлахъ, которыхъ тогда вдругъ развернулось довольно много. Этимъ движеніемъ былъ увлеченъ и я.

Мнѣ привелось примкнуть къ операціямъ одного англійскаго торговаго дома, по дѣламъ котораго я около трехъ лѣтъ былъ въ безпрестанныхъ разъѣздахъ.

Останавливаясь, какъ требовали дѣла, то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ, иногда довольно подолгу, я въ свободное время много читалъ и покупалъ интересовавшихъ меня старыхъ и новыхъ сочиненій. Такъ, купивъ разъ на ярмаркѣ у воротъ Троице-Сергіевской лавры сочиненія Вольтера, я заинтересовался нападками этого писателя на Библію. Что это въ самомъ дѣлѣ: какъ и *на чемъ* могло быть написано Моусеемъ Пятокнижіе, *какимъ способомъ* могъ быть истолченъ въ порошокъ золотой телецъ, когда золото въ порошокъ не толчется, и тому подобные вопросы меня и заставляли искать на нихъ удовлетворительнаго, резоннаго рѣшенія.

Мнѣ захотѣлось во что бы то ни стало достать и прочесть такъ-называемыя: *Іудейскія письма къ господину Вольтеру*, давно разошедшееся русское изданіе которыхъ составляетъ библіографическую рѣдкость.

За полученіемъ книгъ въ этомъ родѣ тогда обращались въ московскій магазинъ Кольчугина на Никольской, но тамъ на этотъ случай тоже не было этой книги, и мнѣ указали на другую лавку, приказчикъ которой мнѣ обѣщалъ достать *Іудейскія письма* у какого-то знакомаго ему переплетчика.

Я ждалъ и навѣдывался, когда достанутъ, а книги все не доставали: говорили, что переплетчика этого нѣтъ, что онъ гдѣ-то въ отлучкѣ.

Такъ дотянулось время, что мнѣ надо было уже и уѣзжать

изъ Москвы, и вотъ наканунѣ самаго отъѣзда я еще разъ зашелъ въ лавку и мнѣ говорятъ:

— Онъ пріѣхалъ, посидите: долженъ сейчасъ принести.

Я присѣлъ и пересматриваю кое-какое книжное старье, какъ вдругъ, слышу, говорятъ:

— Несетъ!

Съ этимъ, вижу, въ лавку входитъ *старикъ*, — сѣдой, очень смирнаго, покойнаго вида, но съ несомнѣнно еврейскимъ обличьемъ, — одѣтъ въ русскую мѣщанскую чуйку и въ русскомъ суконномъ картузѣ съ большимъ козыремъ, а въ рукахъ связка книгъ въ синемъ бумажномъ платкѣ.

— Ишь какъ ты долго, Григорій Иванычъ, собирался,— говорятъ ему.

— Часу не было, — отвѣчаетъ онъ, спокойно кладя на прилавокъ и вывязывая изъ платка книги.

Ему, не говоря ни слова, заплатили сколько-то денегъ, а мнѣ сказали, что пришлютъ книги вечеромъ вмѣстѣ съ другими и со счетомъ.

Понятно, что это былъ торговый пріемъ, — да и не въ этомъ дѣло; а мнѣ нравился самъ переплетчикъ, и я съ нимъ разговорился. Предметомъ разговора были поначалу эти же принесенныя имъ книги: «Іудейскія письма къ господину Вольтеру».

— Интересныя,—говорю,—эти книги?

— Н...да,—отвѣчаетъ, — разумѣется... кто не читалъ,— интересныя.

— Какъ вамъ кажется: дѣйствительно ли онѣ писаны раввинами?

— Н...н... Богъ знаетъ,—отвѣчалъ онъ словно немножко нехотя, и вдругъ, привѣтно улыбнувшись, добавилъ: — читали, можетъ-быть, про Бубель (въ рѣчи его было много еврейскаго произношенія): она про що нѣмуетъ, якъ онѣмѣвшій Схарія, про що гугнитъ, якъ Моусей... Кто ее во всемъ допытать можетъ? Фай! ничего не разберешь!—вотъ Евангеліумъ—то книжка простая, ясная, а Бубель...

Онъ махнулъ рукою и добавилъ:

— Богъ знаетъ, що тамъ когда и якъ да ещо и на чемъ писано?—съ того съ ума сходили!

Я выразилъ нѣкоторое удивленіе, что онъ знаетъ Евангеліе.

— А що тутъ за удивительно, якъ я христіанинъ?..

— И вы давно приняли христіанство?

— Нѣтъ, не очень давно...

— Кто же васъ убѣдилъ въ христіанствѣ?

— Ну, то же ясно есть и у Бубель: тамъ писано, що Мессія во второмъ храмѣ повиненъ придти, ну я и увидалъ, що Онъ пришелъ... Что же еще шукать али ждать, якъ Онъ уже съ нами?

— Однако, евреи всѣ это мѣсто читали, а не вѣрятъ.

— Не вѣрять, бо они тѣхъ толмудовъ да еще чего-нибудь пустого начитались и Богъ знаетъ якіи себѣ вытребеньки повыдумляли: якій Онъ будетъ Мессія и якъ Онъ ни бы то никому не вѣдомо откуда явится и по земному царевать станетъ, а они станутъ понувать въ мірѣ... Але все то пустое: Онъ пришелъ въ нашемъ, въ рабскомъ тѣлѣ и намъ треба только держати Его учительство. Прощайте!

Онъ поклонился и вышелъ, а я разговорился о немъ съ лавочникомъ, который разсказалъ мнѣ, что это человѣкъ «очень умственный».

— Да какой,—говорю,—въ самомъ дѣлѣ онъ вѣры?

— Да истинно,—отвѣчаетъ,—онъ крещеный,—иные его даже въ родѣ подвижника понимаютъ.

— Онъ,—говорю,—и начитанный, кажется?

— Про это и говорить нечего, но только рѣдко съ кѣмъ о книгахъ говоритъ, и то словцо кинетъ, да рукой махнетъ; а своимъ, жидамъ, такъ толкуетъ и обращаетъ ихъ и много отъ нихъ терпитъ: они его и били, и даже разъ удавить хотѣли, ну, онъ не робѣетъ: «приходилъ,—говоритъ,—Христосъ и другого не ждите,—не будетъ».

— Ну, а они что же?

— Ну, и они тоже руками махаютъ. Такъ и махаютъ: и онъ махнетъ, и они махаютъ, а сами все гыръ-гыръ, какъ звѣрье рычатъ, а потомъ и ничего,—образумятся.

— И семья у него вся христіане?

Купецъ засмѣялся.

— Какая же, — говоритъ, — у него можетъ быть семья, когда онъ этакой суевѣръ?

— Чѣмъ же суевѣръ?

— Да, а какъ его иначе понимать: никакого правила не держитъ и деньги тоже..

— Деньги любить?—перебиваю.

— Какой же любитъ, когда все, что заработаетъ—одною рукою возьметъ, а другою отдастъ.

— Кому же?

— Все равно.

— Только евреямъ или христіанамъ?

— Говорю вамъ: все равно. Онъ вѣдь помѣшанъ.

— Будто!

— Вѣрно вамъ говорю: съ нимъ случай былъ.

— Какой?

Тутъ и самъ этотъ мой собесѣдникъ рукою замахалъ.

— Давно,—говоритъ,—у него гдѣ-то сына, что ли, въ наборъ было взяли, да что-то такое тонулъ онъ, да крокодилъ его кусалъ, а потомъ съ наемщикомъ у него вышло, что принять его не могли, пока кіевскій Филаретъ благословилъ, чтобы ему лобъ забрить; ну, а сынишка-то самъ собою послѣ вскорѣ умеръ, заморили его, говорятъ, ставщики, и жена померла, а самъ онъ—этотъ человѣкъ—подъупавши былъ въ состояніи и... «надо, — говоритъ, — мнѣ больше не о земномъ думать, а о небесномъ, потому самое лучшее,—говоритъ,—разрѣшиться и со Христомъ быть...»

Ну, тутъ мнѣ и вспомнилось, гдѣ я этого человѣка видѣлъ, и вышло по присловію: «привелъ Богъ свидѣться да нечего дать»: онъ былъ уже слишкомъ много меня богаче.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

И еще два слова въ личное мое оправданіе.

Съ нѣкоторыхъ поръ въ Петербургѣ разсказываютъ странную исторію: одинъ извѣстнѣйшій «іерусалимскій баронъ» добивается, чтобы ему дали подрядъ на нашу армію. Опасаясь, что этотъ господинъ все дѣло поведетъ съ жидами и по-жидовски, ему не хотятъ дать этой операціи... И что же: седьмого или восьмого сего февраля читаю объ этомъ уже въ газетахъ, съ дополненіемъ, что «іерусалимскій баронъ» кинулся ко «всемогущимъ патронессамъ», которыя придумали самое благонадежное средство поправить дѣло *въ своемъ вкусѣ: онѣ крестятъ барона, и, кажется, со всею его подрядною свитою!!.*

Газеты называютъ это «новымъ миссіонерскимъ пріемомъ» и говорятъ («Нов. Время» № 340), что «люди, отъ которыхъ зависитъ отдача сукна, подметокъ, овса и сѣна,

у насъ могутъ быть миссіонерами гораздо счастливѣе тѣхъ нашихъ миссіонеровъ, которые такъ неуспѣшно дѣйствуютъ на Дальнемъ Востокѣ». Газета находитъ возможнымъ, что «наши великосвѣтскія старухи воспользуются счастливою мыслью обращать въ православіе за небольшую поставку сапожнаго товара».

Констатируя этотъ фактъ, какъ неоспоримое доказательство, что моя книжка «*На краю свѣта*» ничего въ воззрѣніи великосвѣтскихъ крестителей не измѣнила, я почтительно прошу моихъ высокопросвѣщенныхъ судей—вмѣнить мнѣ это въ облегчающее обстоятельство.

сугубомъ ожесточеніи. Онъ, говорятъ, походилъ на сумасшедшаго или на упившагося до безумія: онъ схватывался, вскакивалъ, голосилъ, размахивалъ въ воздухѣ руками и нѣсколько разъ порывался скатиться кубаремъ съ саней и убѣжать. Куда и зачѣмъ?—это онъ едва ли понималъ, но когда они проѣзжали подъ одною изъ арокъ крѣпостныхъ валовъ, ему это наконецъ удалось: онъ выпалъ въ снѣгъ и, вскочивъ, бросился къ стѣнѣ, заломилъ на нее вверхъ руки и завылъ:

— Ой Іешу! Іешу! що Твій пипъ со мной зробыть?

Два услужливые солдатика, которые подоспѣли на этотъ случай, взяли его, погнули, какъ надо, чтобы усадить въ сани, и поѣздъ чрезъ пару секундъ остановился у святыхъ воротъ или, какъ въ Кіевѣ говорятъ, у *святой брамы*.

Тутъ не перомъ описать то, что̀ начало дѣлаться съ евреемъ, пока дошло до конца дѣло: онъ дѣлалъ поклоны и реверансы не только встрѣчнымъ живымъ инокамъ, но даже и стѣннымъ изображеніямъ, которыя, вѣроятно, производили на него свое впечатлѣніе, и все вздыхалъ.

Подслѣповатый инокъ, сидѣвшій подъ брамою съ кропиломъ за чашею святой воды, покропилъ его,—онъ обтерся и пошелъ за своимъ вождемъ далѣе.

Теперь надо было уже получить доступъ къ митрополиту, представиться ему и ждать, чѣмъ онъ обрадуетъ?

Друкартъ все, конечно, обдумалъ, какъ ему исполнить возложенное на него порученіе: онъ хотѣлъ оставить еврея гдѣ будетъ удобно внизу и велѣть доложить митрополиту объ одномъ себѣ и единолично, спокойно и послѣдовательно изложить все дѣло и, насколько возможно, склонить добраго старца къ состраданію несчастному интролигатору, а тамъ, разумѣется,—что̀ будетъ, то будетъ.

Не знаю: вышло бы хорошо или худо, если бы дѣло пошло такимъ образомъ, по объясненному, разсчитанному плану: но все это никуда не годилось, потому что съ верховъ для развязки всей этой исторіи учрежденъ былъ другой планъ.

Напоминаю, что это было въ самый превосходный, погожій день. Покойный владыка Филаретъ тогда уже былъ близокъ къ закату дней и постоянно прихварывалъ, и даже очень мучительно и тяжко. Страданія его облегчалъ профессоръ Вл. Аф. Караваевъ, а еще чаще его помощникъ

г. Заславскій, котораго покойный въ шутку звалъ: «отецъ Заслáвскій». Промежутки, когда онъ былъ здоровѣе и могъ обходиться безъ визитовъ «отца Заславскаго», были непродолжительны и нечасты, но, однако, бывали — и тогда онъ бодрился и даже выходилъ на воздухъ.

Жидъ и его предстатель какъ разъ попали на такой случай: не успѣли они, обогнувъ колокольню, завернуть вправо къ митрополитскимъ покоямъ, какъ увидали у дверей на помостѣ небольшую группу чернецовъ,—кажется, по разсказу, человѣка три или четыре, и между ними самъ владыка.

Выйдя на короткое, вѣроятно, время вздохнуть мягкимъ воздухомъ прекраснаго дня, митрополитъ былъ безъ клобука и всякихъ другихъ знаковъ своего сана, — по-домашнему, въ теплой шубкѣ и мякенькомъ колпачкѣ, но Друкартъ узналъ его издали и, поклонясь, подошелъ и началъ излагать цѣль своего посольства.

Митрополитъ слушалъ, не обнаруживая никакого вниманія и прищуривая прозрачныя, тогда уже потемнѣвшія вѣки своихъ глазъ, и все смотрѣлъ на крышу одного изъ куполовъ великой церкви, по которому на угрѣвѣ расположились голуби, галки и воробьи. Повидимому, его, какъ будто, очень занимали птицы, но когда Друкартъ досказалъ ему исторію—какъ наемщикъ обманулъ своего нанимателя, онъ тихонько улыбнулся и проговорилъ:

— Ишь ты, воръ у вора дубинку укралъ,—и, покачавъ головою, опять продолжалъ смотрѣть на птичекъ.

— Владыка,—говорилъ ему между тѣмъ Друкартъ:—это дѣло теперь въ такомъ положеніи...— И онъ изложилъ все извѣстное намъ положеніе.

Митрополитъ молчалъ и попрежнему вдыхалъ въ себя воздухъ и смотрѣлъ на птицъ.

Положеніе посла становилось затруднительно, — онъ еще разсказалъ что-то, и умолкъ; владыка тоже молчалъ и смотрѣлъ на птичекъ.

— Что прикажете доложить князю, ваше высокопреосвященство,—снова попытался такъ Друкартъ. — Его сіятельство усердно васъ проситъ, такъ какъ законъ ставитъ его въ невозможность...

— Законъ... въ невозможность... меня просить! — какъ бы вслухъ подумалъ митрополитъ, и вдругъ неожиданно перевелъ глаза на интролигатора, который, страшно без-

покоясь, стоялъ немного поодаль передъ нимъ въ согбенной позѣ...

Слабыя вѣки престарѣлаго владыки опустились и опять поднялись и нижняя челюсть задвигалась:

— А? что же мнѣ съ тобою дѣлать, жидъ! — протянулъ онъ и добавилъ вопросительно: — а? Ишь ты какой дуракъ!

Дергавшійся на мѣстѣ интролигаторъ, заслышавъ обращенное къ нему слово, такъ и рухнулся на землю и пошелъ извиваться, рыдая и лепеча опять: «Іешу! Іешу! Ганоцри! Ганоцри!»

— Что ты, глупый, кричишь? — проговорилъ митрополитъ.

— Ой васе... ой васе... васе высокопреосвященство... коли же... коли же никто... никто... якъ ви...

— Неправда; никто, какъ Богъ, а не я,—глупый ты!

— Ой Богъ, ой Богъ... Ой Іешу, Іешу...

— Зачѣмъ говоришь Іешу? — скажи: Господи Іисусе Христе!

— Ой, коли же... Господи ой, Сусе Хриште... Ой, ой, дай мине... дай мине, гошподинъ... гошподи... дай мое дѣтко!

— Ну, вотъ такъ!.. Глупый...

— Онъ до безумія измученъ, владыка, и... удивительно какъ онъ еще держится,—поддержалъ тутъ Друкартъ.

Митрополитъ вздохнулъ и, тихо протянувъ съ задушевностью въ голосѣ:

— Любы николи же ослабѣваетъ,—опять поднялъ глаза къ птичкамъ и вдругъ какъ бы имъ сказалъ:

— Недостоинъ онъ крещенія... отослать его въ пріемъ,— и съ этимъ онъ въ то же самое мгновеніе повернулся и ушелъ въ свои покои.

Апелляціи на этотъ *владычный судъ* не было, и всѣ были довольны, какъ истинно «смиреннѣйшій» первосвятитель сталъ вверху всѣхъ положеній. «Недостойнаго» крещенія хитреца привели въ пріемъ и забрили, а ребенка отдали его отцу. Ихъ счастьемъ и радостью любоваться было некогда; забритый же наемщикъ, сколько мнѣ помнится, послѣ пріема окрестился: онъ не захотѣлъ потерять хорошей крестной матери и тѣхъ тридцати рублей, которые тогда давались каждому новокрещенцу-еврею...

Значитъ, и съ этой стороны потери не было, и я на этомъ могъ бы и окончить свой разсказъ, если бы къ нему не принадлежалъ особый, весьма замѣчательный эпилогъ.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

(Глава вмѣсто эпилога).

Съ прекращеніемъ крымской войны и возникновеніемъ гласности и новыхъ теченій въ литературѣ, не мало молодыхъ людей оставили службу и пустились искать занятій при частныхъ дѣлахъ, которыхъ тогда вдругъ развернулось довольно много. Этимъ движеніемъ былъ увлеченъ и я.

Мнѣ привелось примкнуть къ операціямъ одного англійскаго торговаго дома, по дѣламъ котораго я около трехъ лѣтъ былъ въ безпрестанныхъ разъѣздахъ.

Останавливаясь, какъ требовали дѣла, то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ, иногда довольно подолгу, я въ свободное время много читалъ и покупалъ интересовавшихъ меня старыхъ и новыхъ сочиненій. Такъ, купивъ разъ на ярмаркѣ у воротъ Троице-Сергіевской лавры сочиненія Вольтера, я заинтересовался нападками этого писателя на Библію. Что это въ самомъ дѣлѣ: какъ и *на чемъ* могло быть написано Моисеемъ Пятокнижіе, *какимъ способомъ* могъ быть истолченъ въ порошокъ золотой телецъ, когда золото въ порошокъ не толчется, и тому подобные вопросы меня и заставляли искать на нихъ удовлетворительнаго, резоннаго рѣшенія.

Мнѣ захотѣлось во что бы то ни стало достать и прочесть такъ-называемыя: *Іудейскія письма къ господину Вольтеру*, давно разошедшееся русское изданіе которыхъ составляетъ библіографическую рѣдкость.

За полученіемъ книгъ въ этомъ родѣ тогда обращались въ московскій магазинъ Кольчугина на Никольской, но тамъ на этотъ случай тоже не было этой книги, и мнѣ указали на другую лавку, приказчикъ которой мнѣ обѣщалъ достать *Іудейскія письма* у какого-то знакомаго ему переплетчика.

Я ждалъ и навѣдывался, когда достанутъ, а книги все не доставали: говорили, что переплетчика этого нѣтъ, что онъ гдѣ-то въ отлучкѣ.

Такъ дотянулось время, что мнѣ надо было уже и уѣзжать

изъ Москвы; и вотъ наканунѣ самаго отъѣзда я еще разъ зашелъ въ лавку и мнѣ говорятъ:

— Онъ пріѣхалъ, посидите: долженъ сейчасъ принести.

Я присѣлъ и пересматриваю кое-какое книжное старье, какъ вдругъ, слышу, говорятъ:

— Несетъ!

Съ этимъ, вижу, въ лавку входитъ *старикъ*, — сѣдой, очень смирнаго, покойнаго вида, но съ несомнѣнно еврейскимъ обличьемъ, — одѣтъ въ русскую мѣщанскую чуйку и въ русскомъ суконномъ картузѣ съ большимъ козыремъ, а въ рукахъ связка книгъ въ синемъ бумажномъ платкѣ.

— Ишь какъ ты долго, Григорій Иванычъ, собирался,— говорятъ ему.

— Часу не было, — отвѣчаетъ онъ, спокойно кладя на прилавокъ и вывязывая изъ платка книги.

Ему, не говоря ни слова, заплатили сколько-то денегъ, а мнѣ сказали, что принлютъ книги вечеромъ вмѣстѣ съ другими и со счетомъ.

Понятно, что это былъ торговый пріемъ, — да и не въ этомъ дѣло; а мнѣ нравился самъ переплетчикъ, и я съ нимъ разговорился. Предметомъ разговора были поначалу эти же принесенныя имъ книги: «Іудейскія письма къ господину Вольтеру».

— Интересныя,—говорю,—эти книги?

— Н...да,—отвѣчаетъ, — разумѣется... кто не читалъ,— интересныя.

— Какъ вамъ кажется: дѣйствительно ли онѣ писаны раввинами?

— Н...н... Богъ знаетъ,—отвѣчалъ онъ словно немножко нехотя, и вдругъ, привѣтно улыбнувшись, добавилъ: — читали, можетъ-быть, про Бубель (въ рѣчи его было много еврейскаго произношенія): она про що нѣмуетъ, якъ онѣмѣвшій Схарія, про що гугнитъ, якъ Моусей... Кто ее во всемъ допытать можетъ? Фай! ничего не разберешь!—вотъ Евангеліумъ—то книжка простая, ясная, а Бубель...

Онъ махнулъ рукою и добавилъ:

— Богъ знаетъ, що тамъ когда и якъ да ещо и на чемъ писано?—съ того съ ума сходили!

Я выразилъ нѣкоторое удивленіе, что онъ знаетъ Евангеліе.

— А що тутъ за удивительно, якъ я христіанинъ?..

— И вы давно приняли христіанство?

— Нѣтъ, не очень давно...

— Кто же васъ убѣдилъ въ христіанствѣ?

— Ну, то же ясно есть и у Бубель: тамъ писано, що Мессія во второмъ храмѣ повиненъ придти, ну я и увидалъ, що Онъ пришелъ... Что же еще шукать али ждать, якъ Онъ уже съ нами?

— Однако, евреи всѣ это мѣсто читали, а не вѣрятъ.

— Не вѣрять, бо они тѣхъ толмудовъ да еще чего-нибудь пустого начитались и Богъ знаетъ якіи себѣ вытребеньки повыдумляли: якій Онъ будетъ Мессія и якъ Онъ ни бы то никому не вѣдомо откуда явится и по земному царевать станетъ, а они станутъ понувать въ мірѣ... Але все то пустое: Онъ пришелъ въ нашемъ, въ рабскомъ тѣлѣ и намъ треба только держати Его учительство. Прощайте!

Онъ поклонился и вышелъ, а я разговорился о немъ съ лавочникомъ, который разсказалъ мнѣ, что это человѣкъ «очень умственный».

— Да какой,—говорю,—въ самомъ дѣлѣ онъ вѣры?

— Да истинно,—отвѣчаетъ,—онъ крещеный,—иные его даже въ родѣ подвижника понимаютъ.

— Онъ,—говорю,—и начитанный, кажется?

— Про это и говорить нечего, но только рѣдко съ кѣмъ о книгахъ говоритъ, и то словцо кинетъ, да рукой махнетъ; а своимъ, жидамъ, такъ толкуетъ и обращаетъ ихъ и много отъ нихъ терпитъ: они его и били, и даже разъ удавить хотѣли, ну, онъ не робѣетъ: «приходилъ,—говоритъ,—Христосъ и другого не ждите,—не будетъ».

— Ну, а они что же?

— Ну, и они тоже руками махаютъ. Такъ и махаютъ: и онъ махнетъ, и они махаютъ, а сами все гыръ-гыръ, какъ звѣрье рычатъ, а потомъ и ничего,—образумятся.

— И семья у него вся христіане?

Купецъ засмѣялся.

— Какая же, — говоритъ, — у него можетъ быть семья, когда онъ этакой суевѣръ?

— Чѣмъ же суевѣръ?

— Да, а какъ его иначе понимать: никакого правила не держитъ и деньги тоже..

— Деньги любитъ?—перебиваю.

— Какой же любитъ, когда все, что заработаетъ—одною рукою возьметъ, а другою отдастъ.

— Кому же?

— Все равно.

— Только евреямъ или христіанамъ?

— Говорю вамъ: все равно. Онъ вѣдь помѣшанъ.

— Будто!

— Вѣрно вамъ говорю: съ нимъ случай былъ.

— Какой?

Тутъ и самъ этотъ мой собесѣдникъ рукою замахалъ.

— Давно,—говоритъ,—у него гдѣ-то сына, что ли, въ наборъ было взяли, да что-то такое тонулъ онъ, да крокодилъ его кусалъ, а потомъ съ наемщикомъ у него вышло, что принять его не могли, пока кіевскій Филаретъ благословилъ, чтобы ему лобъ забрить; ну, а сынишка-то самъ собою послѣ вскорѣ умеръ, заморили его, говорятъ, ставщики, и жена померла, а самъ онъ—этотъ человѣкъ—подъупавши былъ въ состояніи и... «надо, — говоритъ, — мнѣ больше не о земномъ думать, а о небесномъ, потому самое лучшее,—говоритъ,—разрѣшиться и со Христомъ быть...»

Ну, тутъ мнѣ и вспомнилось, гдѣ я этого человѣка видѣлъ, и вышло по присловію: «привелъ Богъ свидѣться да нечего дать»: онъ былъ уже слишкомъ много меня богаче.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

И еще два слова въ личное мое оправданіе.

Съ нѣкоторыхъ поръ въ Петербургѣ разсказываютъ странную исторію: одинъ извѣстнѣйшій «іерусалимскій баронъ» добивается, чтобы ему дали подрядъ на нашу армію. Опасаясь, что этотъ господинъ все дѣло поведетъ съ жидами и по-жидовски, ему не хотятъ дать этой операціи... И что же: седьмого или восьмого сего февраля читаю объ этомъ уже въ газетахъ, съ дополненіемъ, что «іерусалимскій баронъ» кинулся ко «всемогущимъ патронессамъ», которыя придумали самое благонадежное средство поправить дѣло *въ своемъ вкусѣ: онъ крестятъ барона, и, кажется, со всею его подрядною свитою!!.*

Газеты называютъ это «новымъ миссіонерскимъ пріемомъ» и говорятъ («Нов. Время» № 340), что «люди, отъ которыхъ зависитъ отдача сукна, подметокъ, овса и сѣна,

у насъ могутъ быть миссіонерами гораздо счастливѣе тѣхъ нашихъ миссіонеровъ, которые такъ неуспѣшно дѣйствуютъ на Дальнемъ Востокѣ». Газета находитъ возможнымъ, что «наши великосвѣтскія старухи воспользуются счастливою мыслью обращать въ православіе за небольшую поставку сапожнаго товара».

Констатируя этотъ фактъ, какъ неоспоримое доказательство, что моя книжка «*На краю свѣта*» ничего въ воззрѣніи великосвѣтскихъ крестителей не измѣнила, я почтительно прошу моихъ высокопросвѣщенныхъ судей—вмѣнить мнѣ это въ облегчающее обстоятельство.

ЯЗВИТЕЛЬНЫЙ.

Изъ Гостомельскихъ воспоминаній.

Разсказъ чиновника особыхъ порученій.

Капля камень долбитъ.
Пословица.

При прежнемъ губернаторѣ у насъ не позволялось курить въ канцеляріи. Старшіе чиновники обыкновенно куривали въ маленькой комнаткѣ, за правительскимъ кабинетомъ, а младшіе—въ сторожкѣ. Въ этомъ куреніи у нашихъ чиновниковъ уходила большая половина служебнаго времени. Я и мои товарищи, состоявшіе по особымъ порученіямъ, не обязаны были сидѣть въ канцеляріи и потому не нуждались вовсе въ канцелярскихъ курильныхъ закоулкахъ; но все-таки каждый изъ насъ считалъ своею обязанностью придти покоптить папироснымъ дымомъ стѣны комнаты, находившейся за правительскимъ кабинетомъ. Эта комната была для насъ сборнымъ мѣстомъ, въ которое всякій спѣшилъ поболтать, посплетничать, посмѣяться и посовѣтоваться. Засѣданія здѣсь длились иногда до тѣхъ поръ, пока сторожъ Кузмичъ, отворяя двери, возглашалъ: «правитель вышли, ваше высокоблагородіе».

Одинъ разъ, наработавшись вволю надъ пересмотромъ только что оконченнаго мною слѣдствія, я вышелъ прогуляться. День былъ прекрасный, теплый, съ крышъ падали капельки и на перекресткахъ улицъ стояли лужи. Шагъ за шагомъ я дошелъ до Болховской улицы и вздумалъ зайти

покурить въ канцелярію. Правитель былъ съ докладомъ у губернатора. Въ комнатѣ за правительскимъ кабинетомъ я засталъ двухъ помощниковъ правителя, полицмейстера и одного изъ моихъ товарищей, только-что возвратившагося съ слѣдствія изъ дальняго уѣзда. Пожавъ поданныя мнѣ руки, я закурилъ папироску и сѣлъ на окно, ничѣмъ не прерывая бесѣды, начатой до моего прихода. Возвратившійся молодой чиновникъ особыхъ порученій съ жаромъ разсказывалъ объ открытыхъ имъ злоупотребленіяхъ по М—скому полицейскому управленію. Въ разсказѣ собственно не было ничего занимательнаго и имъ болѣе всѣхъ былъ заинтересованъ самъ разсказчикъ, вѣровавшій, что въ нашей административной организаціи обнаружить зло,—значитъ сдѣлать шагъ къ его искорененію. Изъ помощниковъ правителя одинъ-таки слушалъ этотъ разсказъ, но другой безъ церемоніи барабанилъ по окнамъ пальцами, а полицмейстеръ, осѣдлавъ ногами свою кавалерійскую саблю, пускалъ изъ-подъ усовъ колечки изъ дыма и какъ бы собирался сказать: «глупъ еси ты, младый вьюношъ!»

Среди такихъ нашихъ занятій растворилась дверь, соединявшая комнатку съ правительскимъ кабинетомъ, и правитель проговорилъ кому-то:

— Вотъ нашъ клубъ. Прошу васъ здѣсь покурить; а я сейчасъ отдѣлаюсь и буду къ вашимъ услугамъ.

Въ двери показался высокій господинъ, лѣтъ сорока, въ очкахъ, съ небольшою лысиною и ласковымъ выраженіемъ въ лицѣ.

— Господинъ Денъ,—проговорилъ правитель, рекомендуя намъ введеннаго имъ господина.—Господинъ Денъ пріѣхалъ, господа, съ полномочіемъ князя К* на управленіе его имѣніями. Прошу васъ съ нимъ познакомиться. Это мои сотрудники N. X. Y. Z.,—отрекомендовалъ насъ правитель господину Дену. Начались рукожатія и отрывочныя: «очень радъ, весьма пріятно» и т. д. Правитель съ полицмейстеромъ вышли въ кабинетъ, а мы опять начали прерванный кейфъ.

— Вы давно въ нашихъ краяхъ?—спросилъ съ любезной улыбкой мой молодой товарищъ г. Дена.

— Я первый разъ въ о—ской губерніи, и только со вчерашняго дня,—отвѣчалъ г. Денъ, съ не менѣе любезной улыбкой.

— Да; я не то спросилъ. Я хотѣлъ сказать: вы уже знакомы съ нашей губерніей?

— Не знаю, какъ вамъ отвѣтить. И да, и нѣтъ. Я знакомъ съ имѣніями князя по отчетамъ, которые мнѣ предъявляли въ главной конторѣ, и по разсказамъ моего довѣрителя. Но... впрочемъ, я полагаю, что о—ская губернія то же самое, что и воронежская и полтавская, въ которыхъ я управлялъ уже княжескими имѣніями.

— Ну, не совсѣмъ,—отозвался одинъ помощникъ правителя канцеляріи, слывшій у насъ за политико-эконома.

— Въ чемъ же рѣзче всего проявляются особенности о—ской губерніи?—отнесся къ нему Денъ.—Я буду много обязанъ за ваши опытныя указанія.

— Да во многомъ.

— О, я не смѣю спорить; но мнѣ бы хотѣлось узнать, на чемъ именно я могу споткнуться, если буду держаться въ о—ской губерніи системы управленія, принятой мною съ моего пріѣзда въ Россію?

Политико-экономъ не отвѣтилъ на этотъ вопросъ Дену, потому что молодой чиновникъ перебилъ его вопросомъ:

— А вы давно въ Россіи?

— Седьмой годъ,—отвѣчалъ Денъ.

— Вы... если не ошибаюсь...

— Я англичанинъ.

— И такъ хорошо говорите по-русски?

— О, да. Я еще въ Англіи учился по-русски, и теперь опять седьмой годъ изо дня въ день съ крестьянами; что жъ тутъ удивительнаго!

— Вы свыклись и съ нашимъ народомъ, и съ нашими порядками?

— Кажется,—улыбаясь, отвѣтилъ Денъ.

— Имѣнія князя въ нашей губерніи не цвѣтутъ.

— Да, я это слышалъ.

— Вамъ будетъ много труда.

— Какъ вездѣ.

— Можетъ-быть, побольше, какъ въ другомъ мѣстѣ.

— Отчего же?

— Вы знаете, наша губернія по цѣлой Россіи извѣстна.

— Да. Но я ужъ имѣлъ дѣло съ здѣшнимъ народомъ. Я назадъ тому два года принялъ въ Нижнемъ двѣсти семей о—скихъ крестьянъ и сплылъ съ ними по Волгѣ до

самой Сызрани и тамъ разселилъ ихъ на пожалованныхъ князю земляхъ. Ничего-съ. Нужна только система. Не нужно быть ни варваромъ, ни потатчикомъ, а вести дѣло систематически, твердо, настойчиво, но разумно. Во всемъ нужна система.

— Гдѣ же вы намѣрены основать свою резиденцію? — спросилъ политико-экономъ.

— Я думаю, въ Солтыковѣ?

— Отчего же не въ Жижкахъ? Тамъ покойная княгиня жила; тамъ есть и готовый домъ, и прислуга; въ Солтыковѣ, кажется, ничего нѣтъ,—замѣтилъ молодой чиновникъ.

— У меня на это есть нѣкоторыя соображенія.

— Своя система, — смѣясь, вставилъ помощникъ правителя.

— Именно.

Правитель съ шляпой на головѣ отворилъ двери и сказалъ Дену:—«ѣдемъ-съ!»

Мы пожали опять другъ другу руки и разстались.

Солтыки находятся въ сосѣдствѣ съ Гостомельскими хуторами. Между ними всего разстоянія считаютъ верстъ девять, не болѣе, и они всегда на-слуху другъ у друга. Заѣзжая по дѣламъ службы въ К — ской уѣздъ, я обыкновенно всегда заворачивалъ на хутора, чтобы повидаться съ матушкой и взглянуть на ея утлое хозяйство. Мать моя познакомилась съ Стюартомъ Яковлевичемъ Деномъ и съ его женою, и при всякомъ свиданіи со мною все никакъ не могла нахвалиться своими новыми сосѣдями. Особенно она до небесъ превозносила самого Дена.—«Вотъ,—говорила она, — настоящій человѣкъ; умный, разсудительный, аккуратный. Во всемъ у него порядокъ; знаетъ онъ, сколько можно ему издержать, сколько оставить: однимъ словомъ, ужъ видно, что не нашего, дурацкаго, воспитанія. Если бъ наши господа умѣли понимать и цѣнить такихъ людей, такъ давно бы не то было».

Другіе сосѣди тоже были безъ ума отъ Дена. — Денъ говоритъ, такъ-то надо дѣлать; Денъ такъ-то не совѣтуетъ дѣлать; только и словъ. Разсказамъ конца нѣтъ. Повѣствуютъ, какъ все отмѣнилось въ княжескихъ имѣніяхъ съ пріѣзда Стюарта Яковлевича, все, говорятъ, на ноги поднялъ; даже отъявленныхъ воровъ, которыхъ въ нашемъ краѣ урожай, и тѣхъ опредѣлилъ въ дѣло. Да еще такъ:

самыхъ извѣстныхъ лѣнтяевъ подѣлалъ надсмотрщиками по работамъ; а воровъ, по нѣскольку разъ бывшихъ въ острогѣ, назначилъ въ экономы, въ ключники, да въ ларечники, и все идетъ такъ, что цѣлый округъ завидуетъ.— «Вотъ, думаю себѣ,—дока-то на к—скихъ мужиковъ явился!»

Хотѣлось мнѣ самому посмотрѣть на солтыковскія диковины, да все какъ-то не приходилось. А тѣмъ временемъ годочка полтора прошло и опять наступила зима.

Вечеромъ 4-го декабря жандармъ принесъ мнѣ записку, въ которой дежурный чиновникъ звалъ меня вечеромъ въ одиннадцать часовъ къ губернатору..

— Вы, кажется, здѣшній уроженецъ? — спросилъ меня губернаторъ, когда я вошелъ къ нему вечеромъ.

Я отвѣчалъ утвердительно.

— Вы живали въ К—скомъ уѣздѣ?

— Я тамъ провелъ мое дѣтство.

— И у васъ тамъ много знакомыхъ?—продолжалъ спрашивать губернаторъ.

«Что же, — лихо!» подумалъ я, выдерживая этотъ допросъ, и отвѣчалъ, — что я хорошо знаю почти весь уѣздъ.

— У меня къ вамъ есть просьба, — началъ губернаторъ.—Пишетъ мнѣ изъ Парижа князь К*, что послалъ онъ въ свои здѣшнія имѣнія англичанина Дена, человѣка свѣдущаго и давно извѣстнаго князю съ отличной стороны, а между тѣмъ никакъ не огребется отъ жалобъ на него. Сдѣлайте милость,—не въ службу, а въ дружбу:—съѣздите вы въ К—ской уѣздъ, разузнайте это дѣло по совѣсти и дайте мнѣ случай поступить по совѣсти же.

Поѣхалъ я въ *К—мы* въ эту же ночь, а къ утреннему чаю былъ у моей матери. Тамъ о жалобахъ к—скихъ крестьянъ на Дена и слуху нѣтъ. Спрашиваю матушку:— не слыхала ли, какъ живутъ солтыковскіе мужики?

— Нѣтъ, мой другъ, не слыхала,—говоритъ.— А впрочемъ, что имъ при Стюартѣ Яковлевичѣ?

— Можетъ-быть, горячъ онъ.

— Въ порядкѣ, разумѣется, спрашиваетъ.

— Сѣчетъ, можетъ, много?

— Что ты! что ты! Да у него и розогъ въ поминѣ нѣтъ! Кого если сѣкутъ, такъ на сходкѣ: по мірской волѣ.

— Можетъ-быть, онъ...

— Что?

— Чужбинку любить?

— О, дуракъ! право дуракъ! — проговорила мать и плюнула.

— Да вы чего, матушка, сердитесь-то?

— Да что жъ ты глупости говоришь!

— Отчего же глупости? Вѣдь вы, чай, знаете, что это бываетъ.

— Подумай самъ: вѣдь онъ женатый!

— Да вѣдь и вашъ племянникъ Іосафъ Михайловичъ женатъ.

— Э! поди ты! — опять крикнула мать, плохо скрывая свою улыбку.

— Ну, чѣмъ-же-нибудь онъ да не угодилъ на крестьянъ.

— Что, мой другъ, чѣмъ угождать-то! Они голманы были, голманы и есть. Баловство да воровство,—вотъ что имъ нужно.

Объѣхалъ два-три сосѣдніе дома,—то же самое. На Николинъ день въ селѣ ярмарка. Зашелъ на поповку, побесѣдовалъ съ духовными, стараясь между рѣчами узнать что-нибудь о причинахъ неудовольствія крестьянъ на Дена,—но отъ всѣхъ одинъ отвѣтъ, что Стюартъ Яковлевичъ такой управитель, какого и въ свѣтѣ нѣтъ.—«Просто,—говорятъ,—отецъ родной для мужика».—Что тутъ дѣлать? Вѣрно, думаю себѣ, въ самомъ дѣлѣ врутъ мужики. Такъ приходилось ни съ чѣмъ ѣхать въ губернскій городъ.

Въ К—махъ я заѣхалъ, безъ всякой цѣли, къ старому пріятелю моего покойнаго отца, купцу Рукавичникову. Я хотѣлъ только обогрѣться у старика чайкомъ, пока мнѣ приведутъ почтовыхъ лошадей, но онъ ни за что не хотѣлъ отпустить меня безъ обѣда.—«У меня,—говоритъ,—сегодня младшій сынокъ именинникъ; пирогъ въ печи сидитъ, а я тебя пущу! Нѣтъ, баринъ, и не думай. А то вотъ призову старуху съ невѣстками и велю кланяться». — Надо было оставаться.

— Тѣмъ часомъ, пойдемъ, чайку попьемъ,—сказалъ мнѣ Рукавичниковъ.

Намъ подали на мезонинъ брюхастый самоваръ, и мы съ хозяиномъ засѣли за чай.

— Ты, что, парень, былъ у насъ волей, неволей или

своей охотой?—спросилъ меня Рукавичниковъ, когда мы усѣлись и онъ запарилъ чай и покрылъ чайникъ бѣлымъ полотенцемъ.

— Да, и волей, и неволей, и своей охотой, Петръ Ананьичъ,—отвѣчалъ я.

— Небось, опять по расколу что̀ затѣваетъ вашъ большакъ?

— Нѣтъ, слава Богу, не то.

— Какое жъ такое дѣло?

Я зналъ, что Петръ Ананьичъ ко мнѣ очень расположенъ и что онъ человѣкъ умный, скромный и весь уѣздъ знаетъ какъ свои пять пальцевъ.

— Вотъ,—говорю,—какое дѣло, и пустое, да и мудреное,—и разсказалъ ему свое порученіе.

Петръ Ананьичъ слушалъ меня внимательно и во время разсказа нѣсколько разъ улыбался; а когда я кончилъ, проговорилъ только:—«Это, парень, загвоздка».

— А вы знаете Дена?

— Какъ, сударь, не знать!—знаемъ.

— Ну, что̀ вы о немъ скажете?

— Да, что жъ о немъ сказать?..—проговорилъ старикъ, разведя руками.

— Хорошій онъ человѣкъ?

— Надо быть хорошій.

— Честный?

— И въ этомъ покорить грѣхъ.

— Строгъ ужъ, что ли, очень?

— Ничего этого не слышно.

— Что жъ это, съ чего на него жалуются-то?

— А какъ тебѣ сказать... не по нутру онъ мужикамъ, вотъ и жалобы.

— Да отчего не по нутру-то?

— Порядки, говорятъ, очень тяжелы.

— Работой, что ли, отягощаетъ? — все добиваюсь я у Рукавичникова.

— Ну, какое отягощеніе! Вдвое противъ прежняго имъ теперь легче... А! да вотъ постой! Филатъ! Филатъ!—крикнулъ въ форточку Рукавичниковъ. — Вотъ сейчасъ гусли заведемъ,—прибавилъ онъ, закрывъ окно и снова усѣвшись за столикъ.

комнату влѣзъ маленькій подслѣповатый мужичокъ съ гноящимися глазами и началъ креститься на образа.

— Здравствуй, Филатъ Егорычъ!—сказалъ Рукавичниковъ, давъ мужичку окреститься.

— Здравствуйте, батюшка Петръ Ананьичъ.

— Какъ живешь-можешь?

— Ась?

— Какъ, молъ, живешь?

— А! Да все сла-тѣ Богу живемъ.

— Дома все ли здорово?

— Ничего будто.

— Всѣмъ, значитъ, довольны?

— Ась?

— Всѣмъ, молъ, довольны?

— И—и! Чѣмъ довольными-то намъ быть.

— Что жъ худо?

— Да все Богъ его знаетъ; будто какъ невольготно по казывается.

— Управитель, что ль, опять.

— Да, а то кто жъ!

— Аль чѣмъ изобидѣлъ?

— Да такъ будто.

— Что жъ такое?

— Вотъ заводъ затѣялъ строить.

— Ну?

— Ну, и въ заработки на Украйну не пущаетъ.

— Никого?

— Ни одного плотника не пустилъ.

— Это не хорошо.

— Какое жъ хорошство! Барину жалились; два прошенія послали, да все никакой еще лизируціи нѣтъ.

— Поди жъ ты горе какое! — замѣтилъ Рукавичниковъ.

— Да. Такъ вотъ и маемся съ эстакимъ съ ворогомъ.

— Видите, какой мошенникъ вашъ Денъ!—сказалъ, обратясь ко мнѣ, Рукавичниковъ.

Мужикъ въ меня воззрился.

— А вотъ теперь я вамъ разскажу,—продолжалъ мой хозяинъ: — какой мошенникъ вотъ этотъ самый Филатъ Егорычъ.

Мужикъ не обнаружилъ никакого волненія.

— Господинъ Денъ, ихній управляющій. человѣкъ добрѣйшей души и честнѣйшихъ правилъ...

— Это точно,—встрѣлъ мужичокъ.

— Да. Но этотъ г. Денъ съ ними не умѣетъ ладить. Все какіе-то свои порядки тамъ заводитъ; а по-моему, не порядки онъ заводитъ, а просто слабый онъ человѣкъ.

— Это какъ есть слабый, — опять подсказалъ мужичокъ.

— Да. Онъ вотъ у нихъ другой годъ, а спросите: тронулъ ли онъ кого пальцемъ? Что, правду говорю или вру?

— Это такъ.

— Вотъ, изволите видѣть, имъ это не нравится. Наказанія у него все мягкія, да и то гдѣ-гдѣ соберется; работа урочная, но легкая: сдѣлай свое и иди куда хочешь.

— Ступай, значитъ.

— Что?

— Сдѣламши свое,—ступай, говорю, куда хочешь,—повторилъ мужичокъ.

— Да. Ну-съ, а они вотъ на него жалобы строчатъ.

Мужикъ молчалъ.

— Ну, а на заработки-то онъ ихъ зачѣмъ же не пускаетъ?—говорилъ я.

— Не пускаетъ-съ, не пускаетъ. А вы вотъ извольте разспросить Филата Егоровича, много ли ему его сыночекъ за два года изъ работы принесъ. Разскажи-ка, Филатъ Егорычъ.

Мужичокъ молчалъ.

— А принесъ ему, сударь мой, его сыночекъ украинскую сумку, а въ ней сломанную аглицкую рубанку, а молодой хозяйкѣ съ дѣтками французскій подарочекъ, отъ котораго чуть у цѣлой семьи носы не попроваливались. Вру, что ль?—опять обратился Рукавичниковъ къ мужичку.

— Нѣтъ, это было.

— Да, было. Ну-съ, а Стюартъ Яковлевичъ задумалъ заводъ винный построить. Я его за это хвалю, потому-что онъ не махину какую заводитъ, а только для своего хлѣба, чтобъ перекурить свой хлѣбъ, а бардой скотинку воспитать. Приходили къ нему разные рядчики. Брали всю эту постройку на отрядъ за пять тысячъ, опъ не далъ. Зачѣмъ онъ не далъ?

— Мы этого знать не могимъ,—отвѣчалъ Филатъ Егорычъ.

— Нѣтъ, врешь, братъ,—знаешь. Онъ вамъ высчитывалъ, что съ него чужіе просятъ за постройку; выкладалъ, почемъ вамъ обходится мѣсяцъ платою у подрядчика, и далъ вамъ рублемъ на человѣка въ мѣсяцъ дороже, только чтобъ не болтались, а дома работали.

— Это такая говорка точно была.

— То-то, а не немогимъ знать. Ну, а они вотъ теперь, небось, настрочили, что на работу не пущаетъ, все на заводѣ моритъ; а насчетъ платы ни-ни-ни. Такъ, что-ль?

— Не знаю я этого.

— Да ужъ это какъ водится. Вотъ вамъ и Филатъ Егорычъ, старый мой другъ и пріятель! Любите-жалуйте его.

Мужичокъ осклабился.

— А вотъ меня бы вамъ въ управители!—шутливо продолжалъ Рукавичниковъ.—А! Приняли бъ вы меня?

— Да съ чего жъ?

— И не ссорились бы мы никогда; все бы у насъ полюбезному пошло. Потому что порядокъ бы у насъ душевный былъ. Ты, Филатъ Егорычъ, пробаловался—на клинъ тебя; молодой парень какой гдѣ проворовался или что другое—за виски его посмыкалъ; раздобылся чѣмъ такимъ на Украйнѣ, въ родѣ вотъ Филата Егорыча сынка, ну—въ больницу его, а потомъ покропилъ березовымъ кропильцемъ, да и опять пущай. Такъ, что ли, Филатъ Егорычъ?

— По-нашему, такъ.

— Ну, вотъ! Вѣдь я знаю.

Мужичка отпустили.

— Что же это такое однако?—спрашивалъ я Рукавичникова, соображая, что скажетъ о Денѣ.

— А вотъ видишь самъ, сударь мой. Господинъ Денъ человѣкъ хорошій, да не нашъ; мой бы ему совѣтъ уходить отсюда, а не то они ему подведутъ машину.

Разсказалъ я это дѣло губернатору во всей подробности. Губернаторъ просто на стѣну прыгаетъ: доволенъ, что въ его губерніи завелся такой сельскій администраторъ, какъ Стюартъ Яковлевичъ Денъ.

Въ пятницу на масленицѣ у губернатора были званые блины. Весь городъ почти собрался. За столомъ дежур-

ный чиновникъ подалъ губернатору конвертъ. Губернаторъ сорвалъ печать, прочелъ бумагу и отпустилъ дежурнаго со словомъ: «хорошо!» Но видно было, что что-то совсѣмъ не хорошо. Вставши изъ-за стола, губернаторъ поговорилъ кое-съ-кѣмъ изъ гостей и незамѣтно вышелъ съ правителемъ въ кабинетъ, а черезъ четверть часа и меня туда позвали. Губернаторъ стоялъ, облокотясь на свою конторку, а правитель что-то писалъ за его письменнымъ столомъ.

— Скверное дѣло случилось,—сказалъ губернаторъ, обратясь ко мнѣ.—Въ Солтыковѣ бунтъ.

— Какъ бунтъ?

— Да вотъ читайте.

Губернаторъ подалъ мнѣ съ конторки бумагу, полученную имъ за обѣдомъ. Это было донесеніе к—скаго исправника, писавшаго, что вчера солтыковскіе мужики взбунтовались противъ своего управителя, сожгли его домъ, заводъ и мельницы, а самого управляющаго избили и выгнали вонъ.

— Я посылаю васъ въ Солтыково,—сказалъ губернаторъ, когда я пробѣжалъ донесеніе исправника.—Сейчасъ получите открытое предписаніе къ инвалидному начальнику; берите команду; дѣлайте, что нужно, но чтобъ бунта не было и чтобъ виновные были открыты. Собирайтесь скорѣе, чтобъ къ утру быть на мѣстѣ и идти по горячимъ слѣдамъ.

— Позвольте мнѣ не брать команды,—сказалъ я губернатору.—Я тамъ всѣхъ знаю и надѣюсь безъ команды исполнить ваше порученіе: команда мнѣ только помѣшаетъ.

— Это какъ знаете, но про всякій случай возьмите предписаніе къ инвалидному начальнику.

Я поклонился и вышелъ, а черезъ четыре часа уже пилъ чай у к—скаго исправника, съ которымъ долженъ былъ вмѣстѣ ѣхать въ Солтыково. Отъ К—мъ до Солтыкова всего верстъ пятнадцать, и мы пріѣхали туда ночью. Остановиться было негдѣ. Управительскій домъ, контора, людская, прачечная, мастерскія—все было сожжено вмѣстѣ съ заводомъ и мельницами, и по чернымъ грудамъ теплаго пепелища еще кое-гдѣ вились синія струйки дыма отъ тлѣющихъ головней. Помѣстились въ избѣ у старосты Лукьяна Мастакова и послали за становымъ. Утромъ ранехонько

прибѣжалъ становой и привезъ съ собой солтыковскаго мужичка, Николая Данилова, взятаго имъ вчера подъ арестъ по подозрѣнію въ поджогѣ завода и въ возмущеніи крестьянъ къ бунту.

— Что жъ вы узнали?—спрашиваю я станового.

— Поджогъ былъ-съ.

— Отчего вы это думаете?

— Загорѣлись ночью нежилыя строенія и всѣ сразу.

— Кого же вы подозрѣваете въ поджогѣ?

Становой развелъ руками съ выраженіемъ полнѣйшаго недоумѣнія.

— По какому поводу вы арестовали этого мужика?

— Николая Данилова-то-съ?

— Да.

— Да такъ. Онъ былъ наказанъ въ этотъ день Деномъ, грубилъ ему и къ тому же ночью оставался у завода, который почти прежде всего вспыхнулъ.

— И только?

— Да, только-съ. Другихъ указаній нѣтъ. Мужики всѣ запираются.

— Вы допрашивали кого-нибудь?

— Дѣлалъ дознаніе.

— И ничего не узнали?

— Ничего пока.

Вошелъ староста и остановился у порога.

— Что скажешь, Лукьянъ Митричъ?—спросилъ я.

— Къ твоей милости.

— То-то, почто къ моей милости?

— Мужики собрались.

— Кто же тебѣ приказывалъ ихъ собирать?

— Сами собрались; хотятъ съ тобой гуторить.

— Гдѣ же они?

— Да вотъ туточка.—Староста указалъ на окно. Противъ окна стояла огромная толпа крестьянъ. Были и старики, и молодые ребятки, и середовые мужики: всѣ стояли смирно, въ шапкахъ, у нѣкоторыхъ были палки.

— Ого! сколько ихъ,—сказалъ я, сохраняя все спокойствіе.

— Вся отчина,—замѣтилъ староста.

— Ну, поди, Митричъ, скажи имъ, что сейчасъ одѣнусь и выйду

Староста ушелъ.

— Не ходите!—сказалъ мнѣ становой.

— Отчего?

— Долго ль до грѣха.

— Ну, ужъ теперь поздно. Избяная дверь не спасетъ: если пришли не даромъ, такъ и въ избѣ найдутъ.

Надѣлъ я шубу и вмѣстѣ съ исправникомъ и съ становымъ вышелъ на крылечко. Толпа зашаталась, шапки понемногу стали скидываться съ головъ, но нехотя, не разомъ, и нѣсколько человѣкъ въ заднихъ рядахъ вовсе не скинули шапокъ.

— Здравствуйте, ребятушки!—сказалъ я, снявъ шапку.

Мужики поклонились и прогудѣли: «Добраго здоровья!»

— Накройтесь, ребята; холодно.

— Ничего,—опять прогудѣли мужики, и остальныя шапки съ головъ исчезли.

— Пожалуйста покройтесь.

— Мы и такъ постоимъ.

— Наше дѣло привычное.

— Ну, такъ я вамъ велю накрыться.

— Велишь, такое дѣло!

Одинъ-два мужика надѣли шапки, за ними надѣли и остальные.

Успокоился я. Вижу, что не ошибся, не взявъ команды.

У самаго крыльца стояли сани парой и на нихъ сидѣлъ Николай Даниловъ, съ ногами, забитыми въ березовую колодку. Онъ въ черной свитѣ, подпоясанъ и на головѣ мѣховая шапка. На видъ ему лѣтъ тридцать пять, волосы темнорусые, борода клинушкомъ, взглядъ тревожный и робкій. Вообще лицо выражаетъ какую-то задавленность, но спокойно и довольно благообразно, несмотря на разбитую губу и ссадину на лѣвой скулѣ. Онъ сидитъ безъ движенія и смотритъ то на меня, то на толпу.

— Что же вамъ, ребята, отъ меня желается?—спросилъ я сходку.

— Это ты будешь отъ губернатора-то?—спросилъ меня середовой мужикъ изъ передняго ряда.

— Я.

— Ты чиновникъ?

— Чиновникъ.

— Губернаторскій?

— Да.

— Ну-къ мы съ тобой хотимъ побалакать.

— Извольте. Я вотъ слушаю.

— Нѣтъ, ты сойди оттолева, съ крыльца-то. Мы съ тобой съ однимъ хотимъ погуторить.

Я, не задумываясь, вошелъ въ толпу, которая развернулась, приняла меня въ свои нѣдра и тотчасъ же опять замкнулась, отрѣзавъ меня, такимъ образомъ, отъ исправника и станового.

Середовый мужикъ, пригласившій меня сойти, стоялъ передо мною.

— Ну, о чемъ будемъ говорить?—спросилъ я.

— Ты, вѣдь, Марьи Петровны сынокъ, что-ль?—опять началъ допрашивать меня тотъ же мужикъ.

— Ну, да. Развѣ не знаете?

— Нѣтъ, мы знаемъ. Мы потому тебя сюда и истребовали, что ты нашъ, тутошній, притоманный.

— О чемъ же хотѣли говорить?

— Да вотъ по этому дѣлу-то.

Послышалось нѣсколько вздоховъ со всѣхъ сторонъ.

— Это, вѣдь, ваше дѣло, ребята?

— Божье, сударь, Божье, а не наше.

— Зачѣмъ вы выгнали управителя?

— Онъ самъ уѣхалъ.

— Еще бы! коли вы его мало что не убили.

Молчатъ.

— Что теперь будетъ-то?

— Вотъ то-то мы тебя и потребовали, чтобъ ты намъ разсказалъ, что намъ будетъ?

— Каторга будетъ.

— За управителя-то?

— Да, за управителя, за поджогъ, за бунтъ: за все разомъ.

Мужики повѣсили головы.

— Бунта никакого не было,—проговорилъ кто-то.

— Да это что, ребята!—отпираться теперь нечего,—сказалъ я.—Дѣла налицо; сами за себя говорятъ. Будете запираться, пойдутъ допросы да переспросы, разовретесь и понесете такую штуку, что всѣ перепутаетесь. А вы бъ подумали, нельзя ли какъ этому дѣлу поумнѣй пособить.

— Это точно,—буркнули опять нѣсколько голосовъ.

— То-то и есть. А теперь прощайте! Говорить намъ, стало, ужъ не о чемъ.

Я тронулъ рукою одного мужика, онъ посторонился, а за нимъ и другіе дали мнѣ дорогу.

Начались допросы. Перваго стали спрашивать Николая Данилова. Передъ допросомъ я велѣлъ снять съ него колодку. Онъ сѣлъ на лавку и равнодушно смотрѣлъ, какъ расклиняли колодку, а потомъ такъ же равнодушно всталъ и подошелъ къ столу.

— Что, дядя Николай! Экое дѣло вы надъ собой сдѣлали!—сказалъ я арестанту.

Николай Даниловъ утеръ рукавомъ носъ и ни слова не отвѣтилъ.

— Что жъ ты за себя скажешь?

— Что, Михайла Иванычъ, говорить-то?—произнесъ онъ съ сильнымъ дрожаніемъ въ голосѣ.

— Да говори, братъ, какъ дѣло было?

— Я вѣдь этого дѣла не знаю, и ни въ чемъ тутъ непричиненъ.

— Врешь!—крикнулъ становой.

Я посмотрѣлъ на станового и, не перемѣняя тона, спросилъ снова:—«Ну, разскажи, что знаешь?»

— Я только не знаю, что со мной было.

— Ну, что съ тобой было?

— Озорничалъ надо мной управитель, да и только.

— Какъ же онъ озорничалъ?

— Да какъ ему хотѣлось.

— Билъ, что ль?

— Нѣтъ, не билъ.

— Что жъ онъ надъ тобой дѣлалъ?

— Срамилъ меня.

— Какъ такъ срамилъ онъ тебя?

— Онъ вѣдь на это документчикъ у насъ.

— Да ты говори, Николай, толкомъ, а то я и отступлюсь отъ тебя,—сказалъ я, махнувъ рукой.

Николай подумалъ, постоялъ и сказалъ:

— Позвольте сѣсть. У меня ноги болятъ отъ колодки.

— Садись, — сказалъ я, и велѣлъ подать обвиняемому скамейку.

— Просился я въ работу,—началъ Николай Даниловъ.— Просился со всѣми ребятами еще осенью; ну, онъ насъ въ

тѣ поры не пустилъ. А мнѣ безпремѣнно надыть было сходить въ черниговскую губернію.

— Деньги, что ли, остались за кѣмъ_тамъ?

— Нѣтъ.

— Что же?

— Такъ; другое дѣло было.

— Ну!

— Ну, не пустилъ. Заставилъ на заводѣ работать. Я поработалъ недѣлю, да и ушелъ.

— Куда?

— Да туда жъ, куда сказывалъ.

— Въ черниговскую губернію?

— Ну, да.

— Что жъ у тебя за дѣло такое тамъ было?

— Водку дешевую пить,—подсказалъ становой.

Николай ничего не отвѣтилъ.

— Ну, что жъ дальше было?

— А дальше зариштовали меня въ Корилевцѣ, да пригнали по пересылкѣ въ нашъ городъ и, пригнамши, сдали управителю.

— Безъ наказанія?

— Нѣтъ, наказали, а опосля ему отдали. Онъ меня сичасъ опять на работу приставилъ, а я тутъ-то, дёнъ десять назадъ, опять ушелъ, да зашелъ въ свою деревню, въ Жогово. Ну, тамъ меня бурмистръ сцапалъ, да опять къ управителю назадъ.

— Что жъ онъ, какъ привезли тебя къ нему?

— Велѣлъ на углѣ сидѣть!

— Какъ на углѣ?

— А такъ. Ребята, значитъ, работаютъ, а я чтобъ на углѣ, на срубѣ передъ всѣмъ міромъ, сложивши руки, сидѣлъ.

— Ну, ты и сидѣлъ?

— Я опять ушелъ.

— Зачѣмъ же?

— Да я ему молился: говорилъ:—«Позвольте стану работать». Не позволилъ.—«Сиди, говоритъ, всѣмъ напоказъ. Это тебѣ наказаніе».—«Коли, говорю, хотите наказывать, такъ наказывайте чѣмъ вамъ угодно; высѣките, говорю, меня лучше, чѣмъ буду сидѣть всѣмъ на смѣхъ». Не ува-

жилъ. Какъ зазвонили на обѣдъ, ребята пошли обѣдать, и я ушелъ, да за деревней меня нагнали.

— Ну?

— Ну, тутъ-то ужъ онъ меня и обидѣлъ больше.

— Чѣмъ же?

— На нитку привязалъ.

— Какъ на нитку?

— Такъ,—покраснѣвъ до ушей, нараспѣвъ проговорилъ Николай Даниловъ. — Привелъ къ заводу, велѣлъ лакею принести изъ хоромъ кресло, поставилъ это кресло противъ рабочихъ, посадилъ меня на него, а въ спинку булавку застремилъ да меня къ ней и привязалъ, какъ воробья, ниточкой.

Всѣ засмѣялись, да и нельзя было не смѣяться, глядя на рослаго, здороваго мужика, разсказывающаго, какъ его сажали на нитку.

— Ну, и долго ты сидѣлъ на ниткѣ?

Николай Даниловъ вздохнулъ и обтерся. У него даже потъ проступилъ при воспоминаніи о ниткѣ.

— Такъ цѣлый день въ родѣ воробья и сидѣлъ.

— А вечеромъ пожаръ сдѣлался?

— Ночью, а не вечеромъ. Въ третьи пѣтухи, должно, загорѣлось.

— А ты какъ узналъ о пожарѣ?

— Крикъ пошелъ по улицѣ, я услыхалъ; вотъ и все.

— А до тѣхъ поръ, пока крикъ-то пошелъ,—спрашиваю его:—ты гдѣ былъ?

— Дома, спалъ подъ сараемъ.

Говоритъ это покойно, а въ глаза не смотритъ.

— Ну, а управителя какъ выгнали?

— Я этого не знаю ничего.

— Да, вѣдь, чай, видѣлъ, какъ передъ заводомъ на кулаки-то подняли!

Молчитъ.

— Вѣдь тутъ ужъ всѣ были?

— Всѣ.

— И всѣ, должно-быть, били?

— Должно, что такъ.

— И ты поукладилъ?

— Нѣтъ, я не билъ.

— Ну, а кто же билъ?

— Всѣ били.

— А ты никого не запримѣтилъ?

— Никого.

Взяли Николая Данилова въ сторону и начали допрашивать ночныхъ сторожей, десятниковъ, Миколаевыхъ семейныхъ, сосѣдей и разныхъ-разныхъ людей. Въ три дня показаній сто сняли. Если бъ это каждое показаніе записать, то стопу бы цѣлую исписалъ, да хорошо, что не зачѣмъ было ихъ записывать,—всѣ какъ одинъ человѣкъ. Что первый сказалъ, то и другіе. А первый объяснилъ, что причины пожара онъ не знаетъ; что, можетъ, это и заподлинно поджогъ, а можетъ и Господь про то только знаетъ; но что онъ самъ въ поджогѣ не участвовалъ и подозрѣнія ни на кого не имѣетъ, опричь какъ развѣ самого управителя, потому что онъ былъ человѣкъ язвительный, даже мужиковъ на нитку въ родѣ воробьевъ сталъ привязывать. Управителя же никто не выгонялъ, а онъ самъ по доброй волѣ выѣхалъ, такъ какъ непріятность ему была отъ мужиковъ: побили его на пожарѣ.

— Кто жъ билъ-то?

— Всѣ били.

— И ты билъ?

— Нѣтъ, я не билъ.

— Ну, запримѣтилъ кого-нибудь?

— Нѣтъ,—міромъ били.

— А ты, стало, отъ міра отсталъ?

Долгое молчаніе, а потомъ рѣшительный отвѣтъ:—«Я не билъ».

— Кто жъ билъ?

— Міромъ били.

— За что?

— Ужъ очень онъ насъ донялъ: даже на нитку, въ родѣ какъ воробьевъ, сталъ привязывать.

Слѣдующія девяносто девять показаній были дословнымъ повтореніемъ перваго и записывались словами: — «Иванъ Ивановъ Сушкинъ, 43 лѣтъ, женатъ, на исповѣди бываетъ, а подъ судомъ не былъ. Показалъ то же, что и Степанъ Тереховъ».

Вижу: разваляютъ изъ этого дѣло ужасное. Подумалъ-подумалъ, и велѣлъ Николая Данилова содержать подъ присмотромъ, а становому съ исправникомъ сказалъ, что на

три дня ѣду въ О—лъ. Пріѣхалъ, повидался съ правителемъ и пошли вмѣстѣ къ губернатору. Тотъ вечерній чай пилъ и былъ въ духѣ. Я ему разсказалъ дѣло и, придавая всему, сколько могъ, наивный характеръ, я убѣдилъ его, что собственно никакого бунта не было и что если бы князь К. захотѣлъ простить своихъ мужиковъ, то дѣло о поджогѣ можно бы бросить и не было бы ни слѣдствія, ни экзекуціи, ни плетей, ни каторжной работы, а пошелъ бы старый порядокъ и тишина.

Слова: «порядокъ и тишина» такъ понравились губернатору, что онъ походилъ, подумалъ, потянулъ свою нижнюю губу къ носу и сочинилъ телеграмму въ шестьдесятъ словъ къ князю. Вечеромъ же эта телеграмма отправлена, а черезъ два дня пришелъ отвѣтъ изъ Парижа. Князь телеграфировалъ, что онъ даетъ мужикамъ амнистію, съ тѣмъ, чтобы они всѣмъ обществомъ испросили у г. Дена прощенія и впередъ не смѣли на него ни за что жаловаться.

Пріѣхалъ я съ этой амнистіей въ Солтыково, собралъ сходку и говорю:—«Ребята! такъ и такъ, князь васъ прощаетъ. Я просилъ за васъ губернатора, а губернаторъ князя, и вотъ отъ князя вамъ прощеніе, съ тѣмъ, чтобы вы тоже выпросили себѣ прощеніе у управителя и впередъ на него не жаловались понапрасну.

Кланяются, благодарятъ.

— Ну, какъ же? Надо вамъ выбрать ходоковъ и послать въ городъ къ управителю съ повинной.

— Выберемъ.

— Нужно это скоро сдѣлать.

— Нынче пошлемъ.

— Да ужъ потомъ не дурачиться.

— Да мы нѣшъ сами рады? Мы ему ничего; только бы его отъ насъ прочь.

— Какъ же прочь! Князь разумѣетъ, что вы теперь будете жить съ Деномъ въ согласіи.

— Это опять его, значитъ, къ намъ?—спросили разомъ нѣсколько голосовъ.

— Да, а то что жъ я вамъ говорилъ?

— Таакъ-то! Нѣтъ; мы на это не согласны.

— Вы жъ сами хотѣли нынче же послать ходоковъ: просить у него прощенія.

— Да, мы прощенья попросимъ, а ужъ опять его къ себѣ принять не согласны.

— Такъ слѣдствіе будетъ.

— Ну, что̀ будетъ, то нехай будетъ; а намъ съ нимъ никакъ нельзя обиходиться.

— Что вы врете! Одумайтесь: васъ половинку поссылаютъ.

— Нѣтъ! нѣтъ! намъ съ нимъ никакъ невозможно. Намъ такого ворога некуда дѣвать.

— Да чѣмъ онъ вамъ ворогъ?

— Какъ же не ворогъ! Мужика, хозяина на нитку, какъ воробья, привязывалъ, да еще не ворогъ!

— Да забудьте вы эту дурацкую нитку! Эка штука большая! Небось лучше бывало при самомъ князѣ. Не издыхали, садовыя дорожки подчищавши; не глаживали, какъ вороные па конюшнѣ стоятъ?

— Ну, дарма. Онъ господинъ, его была и воля; а ужъ этого, какъ управитель, онъ все жъ не дѣлалъ. Господи помилуй! — на нитку въ родѣ воробья сажать... чего мы надъ собой съ роду родясь не видывали.

— Подумайте, ребята!

— Что думать? думано ужъ. Съ нимъ до грѣха еще хуже дождешься.

— Ну, онъ ужъ не будетъ васъ на нитку привязывать. Я вамъ ручаюсь.

— Онъ другое измыслитъ надъ нами не хуже этого.

— Что ему измыслять?

— Онъ язвительный человѣкъ такой.

— Полноте, ребята. Надо губернатору отвѣтъ дать.

Пауза.

— Что жъ! Мы прощенья просить готовы.

— А управителя примете?

— Этого нельзя сдѣлать.

— Да отчего нельзя-то

— Онъ язвительный.

. . . . . .

. . . . . .

Ничего больше отъ солтыковскихъ мужиковъ не добились и пошло уголовное дѣло.

ПРОДУКТЪ ПРИРОДЫ.

«Сравнительно съ народною толпою мало явленій заслуживаетъ бо́льшаго изученія. Она настоящій продуктъ природы: все прочее только гримасы, а здѣсь искренность и дѣйствительность. Смотри на народную толпу, если хочешь, съ трепетомъ, но смотри внимательно: то, что она сдѣлаетъ, никому неизвѣстно и еще менѣе ей самой».

Карлейль.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ теченіе моей жизни мнѣ привелось видѣть, какъ двигаются съ мѣста на мѣсто переселенцы, и что́ съ ними при этомъ иногда происходитъ. Разскажу здѣсь одинъ маленькій случай, который остался у меня на всю жизнь въ памяти. Дѣло было не задолго до уничтоженія крѣпостного права. Ходили уже надежные слухи объ «освобожденіи», но тѣмъ не менѣе купля и продажа людей еще производилась свободно. Пользуясь этимъ, нѣкоторыя именитыя лица совершали тогда большія заселенія принадлежавшихъ имъ степныхъ мѣстъ крестьянами, купленными на выводъ изъ серединныхъ губерній.

У меня былъ родственникъ, мужъ моей тетки, обрусѣлый англичанинъ. Онъ былъ человѣкъ недюжинный и въ одномъ отношеніи предупредилъ даже на сорокъ лѣтъ этику «Крейцеровой Сонаты». Опасаясь, чтобы на него при выборѣ жены не подѣйствовали подкупающимъ образомъ «луна, джерси и нашлёпка», онъ отважился выбирать себѣ невѣсту въ будничной простотѣ, и для того объѣхалъ сосѣдніе дворян-

скіе дома, нарядившись «молодцомъ» при разносчикѣ. Такимъ образомъ онъ увидалъ всѣхъ барышень въ ихъ будничномъ уборѣ и, собравъ о нихъ свѣдѣнія отъ прислуги, сдѣлалъ брачное предложеніе моей тетушкѣ, которая имѣла прелестный характеръ. Вообще о немъ говорили, что онъ—*практикъ*. Онъ управлялъ огромными имѣніями очень важнаго лица и, между прочимъ, имѣлъ своею обязанностью заселять степи: образовывать на нихъ новыя деревни и заводить тамъ правильное полевое хозяйство. Людей, которыхъ вели сюда, скупали на выводъ у разныхъ помѣщиковъ въ губерніяхъ орловской и курской, отчего «сводные люди» дѣлились на два народа: «народъ орловскій» и «народъ курскій». «Орловскій народъ» считался «пошельмоватѣе», а куряне—«вѣдомые кметы» подразумѣвались яко бы «по-дурасливѣе».

Переселяли людей въ степи тогда большими партіями. Сколько я помню въ мои дѣтскіе годы, въ нашихъ мѣстахъ «сбивали народъ», то-есть совокупляли партіи людей на выводъ два раза и въ оба эти раза по деревнямъ стоялъ стонъ, а на выводныхъ людей жалко было смотрѣть, хотя между ними не мало было и такихъ, которые не унывали, а говорили будто имъ «все равно—хуже не будетъ». Въ сводныхъ дворахъ шла распродажа овецъ, тёлокъ, сохъ, боронъ и саней,—при чемъ между бабами сцены «навѣчной разлуки» были раздирающія.

Одинъ разъ изъ нашего городишка было отправлено на подводахъ, кажется, около двухсотъ душъ, и многіе изъ выведенныхъ мужиковъ вскорѣ же прибѣжали назадъ и стали прятаться въ пустыхъ овинахъ и въ конопляникахъ. Когда ихъ ловили—они разсказывали, что «ушли отъ вши и отъ вредныхъ водъ». Ихъ отсылали въ станъ и сѣкли. Кромѣ отбѣгателей многіе въ дорогѣ заболѣвали: ихъ нѣкоторое время тащили на подводахъ, а потомъ «отставляли», гдѣ попало; худыя заморенныя клячи въ обозахъ падали, сбруя рвалась, колеса ломались и вообще было много несчастья. Второй разъ выводъ людей изъ нашихъ мѣстъ былъ еще неудачнѣе: между ними начался страшный «гнетучій поносъ» или «жиленье животами»,—заболѣвшихъ пришлось держать по дорогѣ на квартирахъ и въ землянкахъ цѣлую зиму. Половина людей перемерла и убытки были большіе, а потому въ третій разъ, о которомъ я буду разсказывать.

придумали отправить партію на судахъ или, какъ тогда говорили, на «стругахъ» по Окѣ и Волгѣ.

Партія была сборная съ разныхъ мѣстъ орловской и курской губерній, все отъ дворянъ мелкопомѣстныхъ. Въ числѣ переселяемыхъ крестьянъ были и дворовые, и деревенскіе мужики. У дворовыхъ не было ни скота, ни собственныхъ телѣгъ. Они были довезены до пристани какимъ-то мнѣ неизвѣстнымъ способомъ и тамъ посажены на барки. Съ нѣкоторыми крестьянами были телѣги и сохи: все это было погружено или, лучше сказать, нагромождено на барки, и семьи помѣщались и на телѣгахъ, и подъ телѣгами. Съ нѣкоторыми, мнѣ помнится, были куры и на одной баркѣ двѣ или три овцы.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Я тогда былъ еще очень молодой мальчикъ и не зналъ, къ чему себя опредѣлить. То мнѣ хотѣлось учиться наукамъ, то живописи, а родные желали, чтобы я шелъ служить. По ихъ мнѣнію, это выходило «всего надежнѣе». Мнѣ и хотѣлось, и не хотѣлось служить: я зналъ, что на службѣ хорошо, но былъ уже немножко подпорченъ фантазіями; я читалъ «Горе отъ ума», и всѣ военные мнѣ представлялись Скалозубами, а штатскіе—Молчалиными, и ни тѣ, ни другіе мнѣ не нравились. По характеру моему мнѣ нравилось какое-нибудь живое дѣло, и я разсказалъ это моей теткѣ, а та передала своему мужу. Англичанинъ сталъ мнѣ совѣтовать, чтобы я не начиналъ никакой казенной службы, а лучше приспособилъ бы себя къ хозяйственнымъ дѣламъ. Для того же, чтобы заохотить меня къ этому, онъ сказалъ мнѣ:

— Вотъ мы теперь переселяемъ партію крестьянъ, а графъ недоволенъ тѣмъ, какъ ихъ водятъ. Люди, которые водятъ нашихъ переселенцевъ, по мнѣнію графа (его принципала), всѣ очень грубы, и я съ нимъ отчасти согласенъ. Это непрактично. Пускай это—*продуктъ природы*, но вѣдь и природа можетъ мстить за себя: ожесточать народъ и доводить его до ужаса и уныніе никогда не надо, хотя однако совсѣмъ добрые и мягкосердые вожди тоже не годятся. Это уже доказано опытомъ: мягкосердому мужикъ сейчасъ на шею сядетъ и лаптемъ его толкать начнетъ. Нужны Пизарро, и у меня есть такой Пизарро, какого

мнѣ надобно. При нихъ командиромъ идетъ очень надежный человѣкъ, изъ здѣшнихъ орловскихъ, называется Петръ Семеновъ: умный мужикъ, но тиранъ. Съ нимъ сынъ его, тоже преспособный, и тоже аспидъ: мужичонки у нихъ пищатъ. Безъ такихъ, какъ Петръ Семеновъ, однако, нельзя: вѣдь идетъ цѣлая орда, а съ ордою и надо мѣры ордынскія; но вѣкъ такой, что надо немножко и цивилизаціи допустить, — надо одною рукою карать, а другою — миловать. Вотъ я и хотѣлъ бы испробовать этакую маленькую конституціонную затѣю, чтобы одинъ казнилъ, а другой миловалъ. Отправляйся-ка ты съ ними и вникай, и Петру распоряжаться не мѣшай, но облегчай, что возможно. Я тебѣ дамъ главную довѣренность съ правомъ дѣлать всякія амнистіи.

Я согласился.

— Вотъ и прекрасно! Офиціальное значеніе твое будетъ высоко надъ Петромъ, но ты, однако, смотри—не испорть дѣло: царствуй, но не управляй. Пусть на Петра жалуются, а ты *только милуй*.

Въ Орлѣ я познакомился съ нашимъ Пизарро. Это былъ черный кудрявый мужикъ, лѣтъ сорока восьми или пятидесяти, мускулистый, сильный, живой, съ черными огненными глазами, черными сросшимися надъ носомъ бровями, курносымъ носомъ и маленькой черной окладистой бородой. Выраженіе лица у него было сильное, смѣлое, рѣшительное и довольно жестокое. При немъ находился въ помощникахъ сынъ его Дороша — молодецъ лѣтъ двадцати двухъ или трехъ, чрезвычайно похожій на своего отца.

Дядя мой отрекомендовалъ меня Петру Семенову и просилъ его учить меня, а мнѣ сказалъ, чтобы я жилъ съ нимъ въ ладахъ и чтобы мы довели благополучно порученный намъ «продуктъ природы».

Дядя былъ въ прекрасномъ настроеніи и говорилъ пріятныя слова, на которыя Пизарро отвѣчалъ въ ласковомъ тонѣ, но съ неуловимымъ букетомъ ироніи и вѣроломства. Дядя разсуждалъ, что русскій мужикъ—самый выносливый продуктъ природы, что онъ не избалованъ и путина его не можетъ замучить.

— Пусть только было бы чѣмъ ему напихать брюхо,

чтобы въ пустомъ брюхѣ не щелкало, а то онъ тысячи верстъ отмахаетъ, какъ котильонъ протанцуетъ.

И Петру Семенову это слово понравилось: онъ улыбнулся одними углами рта и подтвердилъ:

— Такъ-съ точно: котыльономъ и докатимся.

— Катитесь,—отвѣчалъ дядя:—катитесь!

И въ излишнемъ, можетъ-быть, умиленіи онъ не замѣтилъ злобы Пизарро и, внѣ своего обычая, поблагословилъ насъ рукою.

— Оберегайте продуктъ, и катитесь котильономъ!

Перевозимые крестьяне въ это время уже были «посажены на стругa» и самой тяжелой процессіи,—посадки, я не видѣлъ. Разсказывали мнѣ, будто происходили раздирающія сцены,—особенно когда выведенные крестьяне прощались со сватами и сосѣдями: многіе будто бы «хотѣли бунтовать», но Петръ Семеновъ предупредилъ бунтъ: онъ послалъ Дорошу въ полицію и оттуда подоспѣли «три полицейскіе казака съ пикою» и все кончилось: «продуктъ природы» былъ погруженъ и барку тотчасъ же отчалили отъ берега и остановили по серединѣ рѣки.

Тѣмъ прощанье «продукта» и кончилось.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Петръ Семеновъ возилъ меня показывать, какъ «народы помѣщались» на баркахъ. На двухъ были «шельмоватые» народы орловскіе, а на третьей «дурасливые» куряне. Надъ каждымъ изъ этихъ народовъ были приставленные изъ своего народа «старосты». Надъ орловскими старостою былъ телѣжникъ Ѳефёлъ, о которомъ Петръ сообщилъ мнѣ, что онъ былъ человѣкъ дорогой, но не задолго передъ этимъ убилъ оглоблей человѣка, который пришелъ звать его ужинать. Это скрыли, а про всякій случай Ѳефёла поскорѣе дешево продали.

— Надъ орловскими шельмецами такой именно и нуженъ,—говорилъ Пизарро.

Курскими людьми завѣдывалъ орловскій мужикъ Михайло, человѣкъ добрый и степенный.

— Курскій народъ—что цыплята!

Помню, какъ я первый разъ увидалъ эти «народы» и ихъ вождей.

Изъ дома мы отправились къ Окѣ въ телѣжкѣ, кото-

рою правилъ Дороша. Мы съ Петромъ Семеновымъ сидѣли на лавочкѣ. Барки стояли за пять верстъ за городомъ. Когда мы пріѣхали, Петръ Семеновъ сталъ свистѣть и отъ берега отвалила лодочка, въ которой помѣщался Михайло, начальникъ курскихъ народовъ; онъ насъ привезъ на барки, и мы прошли между народомъ, причемъ я не замѣтилъ ничего особенно горькаго или угнетающаго. Сидѣли люди босые, полураздѣтые,—словомъ, такіе жалкіе и обездоленные, какъ ихъ обыкновенно видишь въ русской деревнѣ. Я тогда думалъ еще, что крестьяне и вездѣ должны быть только въ такомъ видѣ, какъ мы ихъ привыкли видѣть въ Россіи. Смиреніе ихъ тоже было обычное въ ихъ положеніи. Петръ Семеновъ обращался съ ними грубо, какъ съ «продуктомъ», не стоящимъ хорошаго обхожденія, а они относились къ нему съ подобострастіемъ: величали его батюшкой Петромъ Семеновичемъ и излагали ему разныя просьбы, на которыя онъ отвѣчалъ рѣзко, скоро, но, по правдѣ сказать, всегда очень дѣловито. Воспользоваться моимъ высокимъ правомъ помилованія я не имѣлъ никакого повода и не торопился съ этимъ; я былъ увѣренъ, что такой случай еще придетъ во время путины,—и вотъ тогда я пущу въ ходъ мои милостивыя полномочія, и народы благословятъ мое милосердіе!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Когда мы перешли съ одной барки на другую, то Петръ Семеновъ показалъ мнѣ въ кормѣ свою каютку. Это была тесовая каморка, въ которой помѣщались двѣ кроватки: его и Дорошина, маленькій шкапикъ съ чайнымъ приборомъ, желтый сундучокъ, деревянные счеты, расходная книга и въ углу образокъ съ лампадой. Комната эта запиралась на замокъ, ключъ отъ котораго держалъ у себя староста Ѳефёлъ. Такую же точно комнату Петръ Семеновичъ предполагалъ сдѣлать и мнѣ на одной изъ барокъ.

О томъ, какъ мы выплыли и какъ шли, я разсказывать не буду, потому что это потребовало бы много времени, да и не все теперь вспомнишь. Вообще же говоря, дни тянулись одинъ за другимъ одинаково скучно, сѣро, безъ всякой дѣятельности. Самымъ любимымъ занятіемъ

у всѣхъ было «*искаться*» *). Это было что-то въ родѣ спорта. Мужики, бабы, дѣти—всѣ постоянно искались, и занятіе это было не только препровожденіемъ времени, но оно было вызвано и настоятельною необходимостью, потому что вошь ѣла «народы» безпощадно.

Я не знаю, что́ такое называютъ вшивой болѣзнью, но думаю, что она не должна быть страшнѣе того, что́ я видѣлъ на переселенческихъ баркахъ. Никакія усилія очиститься отъ насѣкомыхъ не помогали. Несмотря на то, что крестьяне очень не взыскательны насчетъ опрятности, тутъ они взвыли:

— Съѣла вошь!.. Жалуйте — милуйте!.. въ глаза лѣзетъ: зракъ хочетъ выпить!

По баркамъ было непріятно и страшно ходить. Особенно ночью или въ жаркую пору дня, когда истома размаривала людей и они хотѣли спать, но не могли крѣпко заснуть отъ зуда, который производили насѣкомыя. Въ нѣмомъ изступленіи всѣ скреблись ногтями и ерзали на одномъ мѣстѣ или катались на пядь въ одну сторону и на пядь въ другую, и потомъ вдругъ вскакивали, сидѣли, поводя вокругъ осовѣвшими глазами, — иногда плакали и всегда непремѣнно всѣ «чухались». И это какъ только начнется въ одномъ мѣстѣ, такъ и «пойдетъ котильономъ» повсемѣстно.

Своей скверной и ужасающей нечистоты люди не стыдились нимало, да и до того ли имъ было, чтобы стыдиться, когда они отъ этого такъ ужасно страдали! Петра Семенова они боялись, но мнѣ прямо совали покрытыхъ вшами дѣтей съ отвратительными расчесами и кричали:

— Смотри-ка крестьянъ-то грапскихъ, смотри! Отпиши ему: вотъ, молъ, воши-то младенца-то Божьяго совсѣмъ источили.

Средствъ отъ этого не было никакихъ, и ни Петръ, ни его сынъ, ни колесникъ съ Михайлой ничего для облегченія людей не дѣлали.

Бани нѣтъ, прудить (т. е. калить бѣлье) передъ костромъ—нельзя, потому что на баркахъ невозможно раз-

*) Пишутъ, что это же самое составляло главное занятіе русскихъ поселенцевъ, которыхъ перевезли въ 1892 году на океанскомъ пароходѣ изъ Одессы во Владивостокъ. Впрочемъ, этихъ, кромѣ «вшей», занимали еще *карты,* которыхъ у насъ не было.

вести такое обширное пламя, передъ которымъ всѣ народы обнаготились бы, и остается терпѣть. Но этого изо дня въ день *нельзя терпѣть*!

Орловскіе и курскіе мужики моются рѣдко и плохо, потому что бань для этого они и дома не имѣютъ, но дома они хоть парились изрѣдка въ тѣхъ самыхъ печахъ, гдѣ пекли свой хлѣбъ, а на баркахъ и этого сдѣлать невозможно.

— Пропадаемъ! — кричали они съ отчаянными рыданіями:—вошь заточила до смерти!

А мы все-таки ничего не могли для нихъ сдѣлать.

Правда, имъ было дозволено съ барокъ купаться, но «народы» этого не хотѣли.

Крестьяне смотрятъ на купанье такъ, что это хорошо только для «прохлаженья», но мыться въ негрѣтой водѣ нельзя, и это мытье, хотя бы и съ мыломъ, ни къ чему, будто бы, не ведетъ.

— Да и мыться при баркахъ негдѣ: мужики будутъ глядѣть на бабъ... Только стыдъ одинъ; а кромѣ того вошь отъ холодной воды еще пуще множится.

Словомъ, они купаться въ рѣкѣ не хотѣли. Тогда Петръ съ сыномъ рѣшили ихъ «поневолить», но они не захотѣли раздѣваться, и мужики говорили, что ихъ, будто, «лихоманка бьетъ», а бабы сказывали, что онѣ «на себѣ имѣютъ», и тому подобное.

Петръ Семеновъ тотчасъ же обратилъ на это мое вниманіе и сказалъ:

— Вы должны это остановить: развѣ не слышите, что они всѣ въ одно слово кричатъ?.. Въ одно слово кричать нельзя!

Послѣ этого Петръ Семеновъ сталъ употреблять мѣры понужденія въ видѣ толчковъ и затрещинъ, а я положилъ пустить свое заступничество и сдѣлалъ это, всячески охраняя самолюбивый престижъ распорядителя.

Онъ выслушалъ и, поблѣднѣвъ, отвѣтилъ спокойно:

– Ахъ, значитъ, вы желаете, чтобы этотъ «продуктъ» не побуждать больше?

— Не такъ побуждать.

— А какъ же?

А я не зналъ какъ...

ПРОДУКТЪ ПРИРОДЫ.

«Сравнительно съ народною толпою мало явленій заслуживаетъ бо́льшаго изученія. Она настоящій продуктъ природы: все прочее только гримасы, а здѣсь искренность и дѣйствительность. Смотри на народную толпу, если хочешь, съ трепетомъ, но смотри внимательно: то, что она сдѣлаетъ, никому неизвѣстно и еще менѣе ей самой».

Карлейль.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ теченіе моей жизни мнѣ привелось видѣть, какъ двигаются съ мѣста на мѣсто переселенцы, и что̀ съ ними при этомъ иногда происходитъ. Разскажу здѣсь одинъ маленькій случай, который остался у меня на всю жизнь въ памяти. Дѣло было не задолго до уничтоженія крѣпостного права. Ходили уже надежные слухи объ «освобожденіи», но тѣмъ не менѣе купля и продажа людей еще производилась свободно. Пользуясь этимъ, нѣкоторыя именитыя лица совершали тогда большія заселенія принадлежавшихъ имъ степныхъ мѣстъ крестьянами, купленными на выводъ изъ серединныхъ губерній.

У меня былъ родственникъ, мужъ моей тетки, обрусѣлый англичанинъ. Онъ былъ человѣкъ недюжинный и въ одномъ отношеніи предупредилъ даже на сорокъ лѣтъ этику «Крейцеровой Сонаты». Опасаясь, чтобы на него при выборѣ жены не подѣйствовали подкупающимъ образомъ «луна, джерси и нашлёпка», онъ отважился выбирать себѣ невѣсту въ будничной простотѣ, и для того объѣхалъ сосѣдніе дворян-

скіе дома, нарядившись «молодцомъ» при разносчикѣ. Такимъ образомъ онъ увидалъ всѣхъ барышень въ ихъ будничномъ уборѣ и, собравъ о нихъ свѣдѣнія отъ прислуги, сдѣлалъ брачное предложеніе моей тетушкѣ, которая имѣла прелестный характеръ. Вообще о немъ говорили, что онъ—*практикъ*. Онъ управлялъ огромными имѣніями очень важнаго лица и, между прочимъ, имѣлъ своею обязанностью заселять степи: образовывать на нихъ новыя деревни и заводить тамъ правильное полевое хозяйство. Людей, которыхъ вели сюда, скупали на выводъ у разныхъ помѣщиковъ въ губерніяхъ орловской и курской, отчего «сводные люди» дѣлились на два народа: «народъ орловскій» и «народъ курскій». «Орловскій народъ» считался «пошельмоватѣе», а куряне—«вѣдомые кметы» подразумѣвались яко бы «по-дурасливѣе».

Переселяли людей въ степи тогда большими партіями. Сколько я помню въ мои дѣтскіе годы, въ нашихъ мѣстахъ «сбивали народъ», то-есть совокупляли партіи людей на выводъ два раза и въ оба эти раза по деревнямъ стоялъ стонъ, а на выводныхъ людей жалко было смотрѣть, хотя между ними не мало было и такихъ, которые не унывали, а говорили будто имъ «все равно—хуже не будетъ». Въ сводныхъ дворахъ шла распродажа овецъ, тѣлокъ, сохъ, боронъ и саней,—при чемъ между бабами сцены «навѣчной разлуки» были раздирающія.

Одинъ разъ изъ нашего городишка было отправлено на подводахъ, кажется, около двухсотъ душъ, и многіе изъ выведенныхъ мужиковъ вскорѣ же прибѣжали назадъ и стали прятаться въ пустыхъ овинахъ и въ конопляникахъ. Когда ихъ ловили—они разсказывали, что «ушли отъ вши и отъ вредныхъ водъ». Ихъ отсылали въ станъ и сѣкли. Кромѣ отбѣгателей многіе въ дорогѣ заболѣвали: ихъ нѣкоторое время тащили на подводахъ, а потомъ «отставляли», гдѣ попало; худыя заморенныя клячи въ обозахъ падали, сбруя рвалась, колеса ломались и вообще было много несчастья. Второй разъ выводъ людей изъ нашихъ мѣстъ былъ еще неудачнѣе: между ними начался страшный «гнетучій поносъ» или «жилейные животами»,—заболѣвшихъ пришлось держать по дорогѣ на квартирахъ и въ землянкахъ цѣлую зиму. Половина людей перемерла и убытки были большіе. а потому въ третій разъ, о которомъ я буду разсказывать.

придумали отправить партію на судахъ или, какъ тогда говорили, на «стругахъ» по Окѣ и Волгѣ.

Партія была сборная съ разныхъ мѣстъ орловской и курской губерній, все отъ дворянъ мелкопомѣстныхъ. Въ числѣ переселяемыхъ крестьянъ были и дворовые, и деревенскіе мужики. У дворовыхъ не было ни скота, ни собственныхъ телѣгъ. Они были довезены до пристани какимъ-то мнѣ неизвѣстнымъ способомъ и тамъ посажены на барки. Съ нѣкоторыми крестьянами были телѣги и сохи: все это было погружено или, лучше сказать, нагромождено на барки, и семьи помѣщались и на телѣгахъ, и подъ телѣгами. Съ нѣкоторыми, мнѣ помнится, были куры и на одной баркѣ двѣ или три овцы.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Я тогда былъ еще очень молодой мальчикъ и не зналъ, къ чему себя опредѣлить. То мнѣ хотѣлось учиться наукамъ, то живописи, а родные желали, чтобы я шелъ служить. По ихъ мнѣнію, это выходило «всего надежнѣе». Мнѣ и хотѣлось, и не хотѣлось служить: я зналъ, что на службѣ хорошо, но былъ уже немножко подпорченъ фантазіями; я читалъ «Горе отъ ума», и всѣ военные мнѣ представлялись Скалозубами, а штатскіе—Молчалиными, и ни тѣ, ни другіе мнѣ не нравились. По характеру моему мнѣ нравилось какое-нибудь живое дѣло, и я разсказалъ это моей теткѣ, а та передала своему мужу. Англичанинъ сталъ мнѣ совѣтовать, чтобы я не начиналъ никакой казенной службы, а лучше приспособилъ бы себя къ хозяйственнымъ дѣламъ. Для того же, чтобы заохотить меня къ этому, онъ сказалъ мнѣ:

— Вотъ мы теперь переселяемъ партію крестьянъ, а графъ недоволенъ тѣмъ, какъ ихъ водятъ. Люди, которые водятъ нашихъ переселенцевъ, по мнѣнію графа (его принципала), всѣ очень грубы, и я съ нимъ отчасти согласенъ. Это непрактично. Пускай это—*продуктъ природы*, но вѣдь и природа можетъ мстить за себя: ожесточать народъ и доводить его до ужаса и уныніе никогда не надо, хотя однако совсѣмъ добрые и мягкосердые вожди тоже не годятся. Это уже доказано опытомъ: мягкосердому мужикъ сейчасъ на шею сядетъ и лаптемъ его толкать начнетъ. Нужны Пизарро, и у меня есть такой Пизарро, какого

мнѣ надобно. При нихъ командиромъ идетъ очень надежный человѣкъ, изъ здѣшнихъ орловскихъ, называется Петръ Семеновъ: умный мужикъ, но тиранъ. Съ нимъ сынъ его, тоже преспособный, и тоже аспидъ: мужичонки у нихъ пищатъ. Безъ такихъ, какъ Петръ Семеновъ, однако, нельзя: вѣдь идетъ цѣлая орда, а съ ордою и надо мѣры ордынскія; но вѣкъ такой, что надо немножко и цивилизаціи допустить, — надо одною рукою карать, а другою — миловать. Вотъ я и хотѣлъ бы испробовать этакую маленькую конституціонную затѣю, чтобы одинъ казнилъ, а другой миловалъ. Отправляйся-ка ты съ ними и вникай, и Петру распоряжаться не мѣшай, но облегчай, что возможно. Я тебѣ дамъ главную довѣренность съ правомъ дѣлать всякія амнистіи.

Я согласился.

— Вотъ и прекрасно! Офиціальное значеніе твое будетъ высоко надъ Петромъ, но ты, однако, смотри—не испорть дѣло: царствуй, но не управляй. Пусть на Петра жалуются, а ты *только милуй*.

Въ Орлѣ я познакомился съ нашимъ Пизарро. Это былъ черный кудрявый мужикъ, лѣтъ сорока восьми или пятидесяти, мускулистый, сильный, живой, съ черными огненными глазами, черными сросшимися надъ носомъ бровями, курносымъ носомъ и маленькой черной окладистой бородой. Выраженіе лица у него было сильное, смѣлое, рѣшительное и довольно жестокое. При немъ находился въ помощникахъ сынъ его Дороша — молодецъ лѣтъ двадцати двухъ или трехъ, чрезвычайно похожій на своего отца.

Дядя мой отрекомендовалъ меня Петру Семенову и просилъ его учить меня, а мнѣ сказалъ, чтобы я жилъ съ нимъ въ ладахъ и чтобы мы довели благополучно порученный намъ «продуктъ природы».

Дядя былъ въ прекрасномъ настроеніи и говорилъ пріятныя слова, на которыя Пизарро отвѣчалъ въ ласковомъ тонѣ, но съ неуловимымъ букетомъ ироніи и вѣроломства. Дядя разсуждалъ, что русскій мужикъ—самый выносливый продуктъ природы, что онъ не избалованъ и путина его не можетъ замучить.

— Пусть только было бы чѣмъ ему напихать брюхо,

чтобы въ пустомъ брюхѣ не щелкало, а то онъ тысячи верстъ отмахаетъ, какъ котильонъ протанцуетъ.

И Петру Семенову это слово понравилось: онъ улыбнулся одними углами рта и подтвердилъ:

— Такъ-съ точно: котыльономъ и докатимся.

— Катитесь,—отвѣчалъ дядя:—катитесь!

И въ излишнемъ, можетъ-быть, умиленіи онъ не замѣтилъ злобы Пизарро и, внѣ своего обычая, поблагословилъ насъ рукою.

— Оберегайте продуктъ, и катитесь котильономъ!

Перевозимые крестьяне въ это время уже были «посажены на струга» и самой тяжелой процессіи,—посадки, я не видѣлъ. Разсказывали мнѣ, будто происходили раздирающія сцены,—особенно когда выведенные крестьяне прощались со сватами и сосѣдями: многіе будто бы «хотѣли бунтовать», но Петръ Семеновъ предупредилъ бунтъ: онъ послалъ Дорошу въ полицію и оттуда подоспѣли «три полицейскіе казака съ пикою» и все кончилось: «продуктъ природы» былъ погруженъ и барку тотчасъ же отчалили отъ берега и остановили по серединѣ рѣки.

Тѣмъ прощанье «продукта» и кончилось.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Петръ Семеновъ возилъ меня показывать, какъ «народы помѣщались» на баркахъ. На двухъ были «шельмоватые» народы орловскіе, а на третьей «дурасливые» куряне. Надъ каждымъ изъ этихъ народовъ были приставленные изъ своего народа «старосты». Надъ орловскими старостою былъ телѣжникъ Ѳефёлъ, о которомъ Петръ сообщилъ мнѣ, что онъ былъ человѣкъ дорогой, но не задолго передъ этимъ убилъ оглоблей человѣка, который пришелъ звать его ужинать. Это скрыли, а про всякій случай Ѳефёла поскорѣе дешево продали.

— Надъ орловскими шельмецами такой именно и нуженъ,—говорилъ Пизарро.

Курскими людьми завѣдывалъ орловскій мужикъ Михайло, человѣкъ добрый и степенный.

— Курскій народъ—что цыплята!

Помню, какъ я первый разъ увидалъ эти «народы» и ихъ вождей.

Изъ дома мы отправились къ Окѣ въ телѣжкѣ, кото-

рою правилъ Дороша. Мы съ Петромъ Семеновымъ сидѣли на лавочкѣ. Барки стояли за пять верстъ за городомъ. Когда мы пріѣхали, Петръ Семеновъ сталъ свистѣть и отъ берега отвалила лодочка, въ которой помѣщался Михайло, начальникъ курскихъ народовъ; онъ насъ привезъ на барки, и мы прошли между народомъ, причемъ я не замѣтилъ ничего особенно горькаго или угнетающаго. Сидѣли люди босые, полураздѣтые,—словомъ, такіе жалкіе и обездоленные, какъ ихъ обыкновенно видишь въ русской деревнѣ. Я тогда думалъ еще, что крестьяне и вездѣ должны быть только въ такомъ видѣ, какъ мы ихъ привыкли видѣть въ Россіи. Смиреніе ихъ тоже было обычное въ ихъ положеніи. Петръ Семеновъ обращался съ ними грубо, какъ съ «продуктомъ», не стоящимъ хорошаго обхожденія, а они относились къ нему съ подобострастіемъ: величали его батюшкой Петромъ Семеновичемъ и излагали ему разныя просьбы, на которыя онъ отвѣчалъ рѣзко, скоро, но, по правдѣ сказать, всегда очень дѣловито. Воспользоваться моимъ высокимъ правомъ помилованія я не имѣлъ никакого повода и не торопился съ этимъ; я былъ увѣренъ, что такой случай еще придетъ во время путины,—и вотъ тогда я пущу въ ходъ мои милостивыя полномочія, и народы благословятъ мое милосердіе!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Когда мы перешли съ одной барки на другую, то Петръ Семеновъ показалъ мнѣ въ кормѣ свою каютку. Это была тесовая каморка, въ которой помѣщались двѣ кроватки: его и Дорошина, маленькій шкапикъ съ чайнымъ приборомъ, желтый сундучокъ, деревянные счеты, расходная книга и въ углу образокъ съ лампадой. Комната эта запиралась на замокъ, ключъ отъ котораго держалъ у себя староста Ѳефёлъ. Такую же точно комнату Петръ Семеновичъ предполагалъ сдѣлать и мнѣ на одной изъ барокъ.

О томъ, какъ мы выплыли и какъ шли, я разсказывать не буду, потому что это потребовало бы много времени, да и не все теперь вспомнишь. Вообще же говоря, дни тянулись одинъ за другимъ одинаково скучно, сѣро, безъ всякой дѣятельности. Самымъ любимымъ занятіемъ

у всѣхъ было «*искаться*» *). Это было что-то въ родѣ спорта. Мужики, бабы, дѣти—всѣ постоянно искались, и занятіе это было не только препровожденіемъ времени, но оно было вызвано и настоятельною необходимостью, потому что вошь ѣла «народы» безпощадно.

Я не знаю, что́ такое называютъ вшивой болѣзнью, но думаю, что она не должна быть страшнѣе того, что́ я видѣлъ на переселенческихъ баркахъ. Никакія усилія очиститься отъ насѣкомыхъ не помогали. Несмотря на то, что крестьяне очень не взыскательны насчетъ опрятности, тутъ они взвыли:

— Съѣла вошь!.. Жалуйте — милуйте!.. въ глаза лѣзетъ: зракъ хочетъ выпить!

По баркамъ было непріятно и страшно ходить. Особенно ночью или въ жаркую пору дня, когда истома размаривала людей и они хотѣли спать, но не могли крѣпко заснуть отъ зуда, который производили насѣкомыя. Въ нѣмомъ изступленіи всѣ скреблись ногтями и ерзали на одномъ мѣстѣ или катались на пядь въ одну сторону и на пядь въ другую, и потомъ вдругъ вскакивали, сидѣли, поводя вокругъ осовѣвшими глазами, — иногда плакали и всегда непремѣнно всѣ «чухались». И это какъ только начнется въ одномъ мѣстѣ, такъ и «пойдетъ котильономъ» повсемѣстно.

Своей скверной и ужасающей нечистоты люди не стыдились нимало, да и до того ли имъ было, чтобы стыдиться, когда они отъ этого такъ ужасно страдали! Петра Семенова они боялись, но мнѣ прямо совали покрытыхъ вшами дѣтей съ отвратительными расчесами и кричали:

— Смотри-ка крестьянъ-то грапскихъ, смотри! Отпиши ему: вотъ, молъ, воши-то младенца-то Божьяго совсѣмъ источили.

Средствъ отъ этого не было никакихъ, и ни Петръ, ни его сынъ, ни колесникъ съ Михайлой ничего для облегченія людей не дѣлали.

Бани нѣтъ, прудить (т. е. калить бѣлье) передъ костромъ—нельзя, потому что на баркахъ невозможно раз-

*) Пишутъ, что это же самое составляло главное занятіе русскихъ поселенцевъ, которыхъ перевезли въ 1892 году на океанскомъ пароходѣ изъ Одессы во Владивостокъ. Впрочемъ, этихъ, кромѣ «вшей», занимали еще *карты,* которыхъ у насъ не было.

вести такое обширное пламя, передъ которымъ всѣ народы обнаготились бы, и остается терпѣть. Но этого изо дня въ день *нельзя терпѣть*!

Орловскіе и курскіе мужики моются рѣдко и плохо, потому что бань для этого они и дома не имѣютъ, но дома они хоть парились изрѣдка въ тѣхъ самыхъ печахъ, гдѣ пекли свой хлѣбъ, а на баркахъ и этого сдѣлать невозможно.

— Пропадаемъ! — кричали они съ отчаянными рыданіями:—вошь заточила до смерти!

А мы все-таки ничего не могли для нихъ сдѣлать.

Правда, имъ было дозволено съ барокъ купаться, но «народы» этого не хотѣли.

Крестьяне смотрятъ на купанье такъ, что это хорошо только для «прохлаженья», но мыться въ негрѣтой водѣ нельзя, и это мытье, хотя бы и съ мыломъ, ни къ чему, будто бы, не ведетъ.

— Да и мыться при баркахъ негдѣ: мужики будутъ глядѣть на бабъ... Только стыдъ одинъ; а кромѣ того вошь отъ холодной воды еще пуще множится.

Словомъ, они купаться въ рѣкѣ не хотѣли. Тогда Петръ съ сыномъ рѣшили ихъ «поневолить», но они не захотѣли раздѣваться, и мужики говорили, что ихъ, будто, «лихоманка бьетъ», а бабы сказывали, что онѣ «на себѣ имѣютъ», и тому подобное.

Петръ Семеновъ тотчасъ же обратилъ на это мое вниманіе и сказалъ:

— Вы должны это остановить: развѣ не слышите, что они всѣ въ одно слово кричатъ?.. Въ одно слово кричать нельзя!

Послѣ этого Петръ Семеновъ сталъ употреблять мѣры понужденія въ видѣ толчковъ и затрещинъ, а я положилъ пустить свое заступничество и сдѣлалъ это, всячески охраняя самолюбивый престижъ распорядителя.

Онъ выслушалъ и, поблѣднѣвъ, отвѣтилъ спокойно:

– Ахъ, значитъ, вы желаете, чтобы этотъ «продуктъ» не побуждать больше?

— Не такъ побуждать.

— А какъ же?

А я не зналъ какъ...

Но людей я, однако, защитилъ, и они это поняли и оцѣнили.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Такъ мы вышли изъ Оки въ Волгу, и въ Нижнемъ у насъ вшивые народы опять заволновались: они вдругъ приступили къ Петру Семенову съ «неслыханной» просьбой, чтобы онъ сводилъ ихъ въ баню! Онъ, разумѣется, ихъ не повелъ, а тогда оба народа, курскіе и орловскіе, стали кричать, шумѣть, и я опять былъ призванъ для ихъ устрашенія и опять не умѣлъ исполнить этого какъ должно. А когда я сказалъ, что мнѣ людей жалко, то Петръ Семеновъ отвѣтилъ:

— Кому, сударь, людей жалко, тому не нужно браться народъ на сводъ водить.

И онъ отъ меня отвернулся.

Я чувствовалъ, что онъ сказалъ мнѣ правду, и мнѣ въ самомъ дѣлѣ стало совѣстно.

Чтобы облегчить нѣсколько свою душу, я купилъ пудъ мыла, разрѣзалъ его съ Михайлою на кусочки и роздалъ бабамъ-ребятницамъ. Бабы за это мнѣ были очень благодарны и вскорѣ объявили, что «вошь все одно», потому что «надо щелоку», а печей нѣтъ и щелоку нѣтъ!

Въ слѣдующемъ городѣ я купилъ уже два пуда мыла и опять роздалъ его бабамъ съ дѣтьми, но Петръ Семеновъ и за это на меня злился: онъ находилъ, что ежели мыло давать, то надо давать и другое многое, безъ чего обходиться нельзя, а тогда нельзя и конецъ положить надобностямъ.

Я начиналъ чувствовать, что я какъ будто порчу дѣло, и что Петръ Семеновъ, того и гляди, какимъ-то извѣстнымъ ему образомъ, отъ меня освободится и уйдетъ одинъ вождемъ всего «котильона».

Предчувствія эти и оправдались.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Черезъ два или три дня послѣ того, какъ Пизарро сказалъ мнѣ свои дерзости, у насъ на орловской баркѣ обнаружилось оригинальное и дерзкое покушеніе противъ власти: въ стѣнкѣ каюты Петра Семенова была просверлена дырочка и въ нее «вправлена соломинка». Приспособленіе это

сдѣлалъ какой-то «орловскій шельма» для того, чтобы перепускать черезъ соломинку вшей.

Петръ и Дороѳей этимъ страшно оскорбились и захотѣли во что бы то ни стало «отыскать виновныхъ», а какъ никто въ этой винѣ не признавался, то стали грозить «перестегать съ пятаго на десятато», но я этому воспротивился, и тогда къ слѣдующему же утру въ стѣнахъ горенки было открыто уже три пропускныхъ дырки.

Петръ еще сильнѣе требовалъ «перелупцовать» всѣхъ, а я не давалъ, и при такихъ взаимныхъ неудовольствіяхъ мы спустились къ посаду, гдѣ стали на якорь и гдѣ произошло съ нами невѣроятное и удивительное событіе.

Это было вечеромъ подъ какой-то праздникъ, но подъ какой именно, я теперь не припомню. Былъ это праздникъ большой, и Петръ Семеновъ, которому надо было сдѣлать продовольственные запасы, боялся, что завтра онъ ихъ не найдетъ на базарѣ, а потому онъ сейчасъ же отправился на берегъ вмѣстѣ съ сыномъ и съ тремя мужиками, я остался на баркахъ и тутъ-то «народы», не видя между мною и собою никакого средостѣнія, окружили меня и начали мнѣ открывать свои обиды на Петра, который не додавалъ будто имъ и хлѣба и соли, напрасно стѣснялъ ихъ свободу и напрасно же обвинялъ ихъ въ томъ, что они будто просверлили дырки и пускали нечисть.

— Все, молъ, это напраслины, а дырки просверлилъ не кто иной, какъ Петровъ сынъ, Дорошка, по злобѣ на мужика, къ женѣ котораго Дорошка «ластился».

И тотчасъ же вслѣдъ за этимъ я услыхалъ изъ среды «народовъ» вопль единодушный и ужасный: эти люди, братья мои, рыдая, вопили, чтобы я сжалился надъ ихъ страданіемъ и пустилъ ихъ на берегъ въ баню, смыть изъязвляющую ихъ нечисть... Они томились, рвались и галлюцинировали «банькой».

Долженъ или не долженъ былъ я внять этой истомѣ и этому моленію моихъ обовшивѣвшихъ братьевъ?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Не могу сказать, дѣйствительно ли на берегу топились бани или народамъ такъ хотѣлось мыться, что они галлюцинировали, но они увѣряли меня, что тамъ топятся бани на берегу и что въ бани пускаютъ нынче по грошу и что

если ихъ пустятъ, они всѣ вымоются и черезъ часъ назадъ будутъ. Тогда пустить другихъ. Я смотрѣлъ на телѣжника и на Михайлу. Телѣжникъ по своему обыкновенію только улыбался, а Михайло молчалъ, а вопль былъ несносенъ и, въ самомъ дѣлѣ, могъ достигать до Господа. Въ довершеніе картины и для бо́льшаго мученія моихъ чувствъ выскочилъ какой-то мужичонка и началъ тыкать мнѣ въ глаза маленькаго умирающаго мальчика, у котораго во всѣхъ складкахъ тѣла, какъ живой бисеръ, переливали насѣкомыя.

— Вотъ! — кричалъ мужикъ: — вотъ, смотри это!—а потомъ онъ швырнулъ ребенка на полъ, какъ полѣно, и обнажилъ свои покрытыя лохмотьями ребра, и тутъ я увидалъ, что у него подъ мышками и между его запавшими ребрами нѣчто такое, чего не могу изобразить и чего тогда я не могъ стерпѣть, и сказалъ:

— Хорошо!.. На мнѣ будетъ отвѣтъ за васъ, но я вамъ дамъ денегъ на баню: устройтесь какъ надо и ступайте на берегъ, вымойтесь.

Посадили мы сорокъ человѣкъ на лодки и пустили ихъ на берегъ въ бани подъ надежной командой добраго Михайлы, который долженъ былъ этихъ людей высадить и прислать намъ лодки обратно съ гребцами.

На берегу все еще звонили къ вечернѣ или ко всенощной, и какъ всѣмъ намъ казалось—оттуда вѣтеркомъ доносило запахъ пара и баннаго вѣника.

Я стоялъ на баркѣ и смотрѣлъ, какъ наши лодки доплыли до берега, и видѣлъ, какъ люди стали изъ нихъ выходить, — шибко-шибко, одинъ за другимъ, какъ воробьи, выпрыгнули съ живостью, которой трудно было ожидать отъ ихъ неуклюжества, и затѣмъ... лодки стоятъ у берега и назадъ не возвращаются... И намъ туда послать не на чемъ и нѣтъ намъ оттуда ни гласа, ни послушанія...

Это стало удивительно!

Ждемъ полчаса, часъ, наконецъ, становится темно, — никого нѣтъ, а вдругъ въ темнотѣ плескъ веселъ и... является какъ сатана злой и надменный Петръ Семеновъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Я чувствовалъ, что случилось что-то дурное, и не ошибся: случилось вотъ что: отпущенные мною въ баню многостра-

дальные люди, завѣривъ меня, что я за нихъ «не отвѣчу», совсѣмъ не пошли въ баню, а какъ выпрыгнули на берегъ, такъ и *пошли въ орловскую губернію.*

— Они намъ—вшивая братія—хорошо поусердствовали, и вы ихъ хорошо пожалѣли!—заключилъ Петръ Семенычъ, и сейчасъ же, перейдя съ шутливаго тона въ самый серьезный, добавилъ: — Ну-съ, ждать нельзя! извольте брать съ собою довѣренность и поѣдемте на берегъ: я уже упредилъ начальника и онъ готовъ: сейчасъ надо ихъ догнать! Эта баня экономіи дорого обойдется!

Дѣло приняло такой оборотъ, что всѣ были виноваты, а правъ одинъ Петръ Семеновъ, и потому весь преферансъ былъ на его сторонѣ и надо было ему повиноваться, и повиноваться скоро и безъ разсужденій. Пизарро меня побѣдилъ и уже начиналъ торжествовать свою побѣду. Когда мы проходили къ лодкѣ, онъ шелъ впереди меня съ фонаремъ и, остановясь возлѣ одной молодой женщины, кормившей грудью ребенка, съ безстыжею наглостью освѣтилъ ея раскрытую грудь своимъ фонаремъ. По груди что-то сѣрѣло, точно тюль, и эта тюль двигалась, смѣшиваясь у соска съ каплями синяго молока, отъ котораго отпалъ ребенокъ.

Уста Пизарро искривила презрительная улыбка, и онъ отхватилъ фонарь и проговорилъ:

— Какъ не повѣрить, что мой сынъ на этакую прелесть польстится!

Мы плыли въ гордомъ молчаніи, но какъ только вышли на берегъ, Петръ сейчасъ же настойчиво спросилъ у меня мою довѣренность и требовалъ, чтобы я самъ въ дѣло не мѣшался, а подождалъ его въ трактирѣ. Теперь онъ прямо говорилъ мнѣ, что я могу испортить все дѣло.

Я ему повѣрилъ, и онъ поѣхалъ къ чиновнику, урядъ котораго былъ мнѣ не ясенъ: Петръ называлъ его то исправникомъ, то просто начальникомъ, и вскорѣ же съ нимъ и съ его тремя казаками они погнались за бѣглецами, которыхъ безъ труда догнали на пятой верстѣ, оборотили ихъ и погнали назадъ подъ прикрытіемъ тѣхъ же трехъ полицейскихъ казаковъ, изъ которыхъ опять, какъ въ Орлѣ, только у одного была пика.

Несмотря на ночной сумракъ, я видѣлъ какъ ихъ «гнали». Передъ этимъ шелъ дождь, а почва была глинистая, и было

смѣшно и жалко смотрѣть, какъ они шлепали и какъ ноги ихъ волоклись и расползались по мокрой глинѣ, при чемъ гдѣ скользила и падала одна передняя пара—то же самое продѣлывали и всѣ другіе, точно въ самомъ дѣлѣ вели котильонъ съ повтореніемъ фигуръ.

Петръ Семеновъ возвращался съ исправникомъ на дрожкахъ и держалъ себя съ нимъ съ большимъ достоинствомъ. Меня онъ отрекомендовалъ ему короткой фразой:

— Вотъ это на ихъ имя довѣренность,—и больше не сказалъ ни слова.

А завернутый въ шинель исправникъ послѣ этого нагнулся и прошепталъ мнѣ на ухо:

— Прошу васъ поспѣшить ко мнѣ въ домъ... мы должны съ вами переговорить. Пожалуйста, сію минуту!

Онъ опять запахнулся, и я замѣтилъ, что у него была какая-то звѣзда подъ капюшономъ шинели. Онъ поѣхалъ, и я прошелъ къ нему и ждалъ его довольно долго и въ самомъ противномъ душевномъ настроеніи.

«Господи! — думалъ я: — какъ я дурно сдѣлалъ! но могъ ли я ожидать, что эти взрослые люди будутъ такъ безразсудны, что они покинутъ женъ и дѣтей и станутъ убѣгать куда-то, при ясной очевидности, что имъ убѣжать невозможно! Ручного барсука смѣло пускаютъ въ лѣсъ на охоту, оставляя взаперти его самку съ дѣтьми, и барсукъ не убѣгаетъ, а возвращается въ неволю къ своей самкѣ!.. А это вѣдь все-таки люди!»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

У меня было время подумать и о томъ, какъ имъ будетъ стыдно, когда ихъ опять посадятъ на барки... Да, и мнѣ завтра будетъ стыдно на нихъ глядѣть... А исправника все еще нѣтъ, какъ нѣтъ... и мнѣ очень скучно въ его кабинетѣ, а уйти неловко, да притомъ оказалось, что мнѣ и нельзя уйти, потому что солдатъ, проводившій меня сюда, ушелъ и дверь за собою заперъ, такъ что я остался подъ арестомъ.

Въ такомъ непріятномъ положеніи я старался развлечь себя чѣмъ могъ. Къ моему счастію, здѣсь были книги и притомъ такія, которыми въ тогдашнее время интересовались,—напримѣръ, лекціи московскихъ профессоровъ: Кудрявцева, Грановскаго, Геймана и Рулье «О городской ла-

сточкѣ», «Письма» Герцена, «Объ изученіи природы» съ достопамятнымъ вступленіемъ, «Во славу Цереры, Помоны и ихъ сродниковъ» и русская Библія съ казенною сургучною печатью на переплетѣ.

Эта, очевидно, попала сюда по какому-нибудь особому случаю и жила въ исправницкой биліотекѣ не «въ родѣ арестанта».

Такъ какъ эта книга была тогда большою рѣдкостью, то я началъ ее просматривать и не замѣтилъ, какъ явился домой хозяинъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Исправникъ или, какъ оказалось, *неисправникъ* этотъ былъ молодой человѣкъ и, повидимому, принадлежалъ къ числу «образованныхъ дворянъ».

Когда я его видѣлъ на дрожкахъ, завернутымъ въ шинель съ страннымъ орденомъ, сверкавшимъ изъ-подъ капюшона, онъ мнѣ казался человѣкомъ солиднымъ, какъ и надлежитъ быть исправнику, а теперь, когда онъ снялъ шинель, передо мною явилась просто «фитюлька», и вдобавокъ фитюлька эта вела себя чрезвычайно неосновательно. Во-первыхъ, этотъ молодецъ вбѣжалъ къ себѣ запыхавшись и напѣвая: «Услышь меня—полюби меня!»; а во-вторыхъ, онъ удивился моему здѣсь присутствію, а потомъ началъ извиняться и хохотать.

— Что прикажете дѣлать? — заговорилъ онъ: — дѣлаешь то, что можешь, и позабудешься, но зато, слава Богу, все кончено: я всѣхъ выпоролъ!

— Кого выпороли?

— Этихъ вашихъ сорокъ бунтарей... Надо бы, конечно, отобрать зачинщиковъ, да вашъ старикъ такъ просилъ, чтобы не отбирать, а лучше «всѣхъ», да и что въ самомъ дѣлѣ ихъ разбирать!

— Но позвольте... вѣдь это какое-то недоразумѣніе!.. всѣ сорокъ человѣкъ... Куда они побѣжали и такъ безропотно опять вернулись сюда...

Молодой человѣкъ расхохотался.

— О, да! и не говорите! Болваны! Я вамъ откровенно скажу, наши люди—это болваны!.. Представьте вы въ моемъ положеніи англичанина! — вѣдь онъ бы, я увѣренъ, растерялся, но мнѣ настоящее знаніе этого народа даетъ на него

настоящія средства. И это почему-съ? потому что я здѣсь родился и выросъ! Когда вашъ мужикъ пришелъ и говоритъ: «помогите—сорокъ человѣкъ убѣжало», я подумалъ: что дѣлать? Мой начальникъ въ отъѣздѣ, а я самъ вѣдь ничего не значу и не имѣю никакихъ правъ: вѣдь я простой приказный, я секретарь, не болѣе того, но я знаю этотъ народъ; и потому я взялъ трехъ калѣкъ, надѣлъ шинель съ пристегнутой къ ней большой пряжкой, догналъ бѣглецовъ, скомандовалъ имъ: «сволочь, назадъ!» и всѣхъ ихъ привелъ назадъ и перепоролъ. Моя пряжка дѣйствуетъ удивительно: я гоню ихъ назадъ, какъ Фараонъ, привожу и всѣхъ ихъ сѣку; и не забудьте: сѣку ихъ при ихъ же собственномъ великодушномъ и благосклонномъ содѣйствіи: они другъ друга держатъ за ноги и за руки, и сидятъ другъ у друга на головахъ, и потомъ я ихъ отправляю на барку, и все кончено. Они отплываютъ, а я стою на берегу и думаю: «Ахъ, вы, соръ славянскій! Ахъ, вы, дрянь родная!» Пусть бы кто-нибудь самъ-третей продѣлалъ этакую штуку надъ сорока французами!.. Чорта-съ два! А тутъ все прекрасно... И это еще, не забудьте, съ моей простой пряжкой; но если бы у меня былъ настоящій орденъ!.. О, если бы у меня былъ орденъ! Съ настоящимъ орденомъ я бы одинъ цѣлую Россію выпоролъ! А ваши вещи всѣ на пристани... Тамъ ваше все... Васъ нельзя было оставить съ переселенцами... Вашъ Петръ говоритъ, что онъ иначе не отвѣчаетъ за спокойствіе, и я это понимаю: это справедливо; онъ и довѣренность вашу увезъ съ собой, и прекрасно сдѣлалъ, а то надо было бы о васъ доносить.

— Что же такое надо бы обо мнѣ доносить

— Да вотъ, что вы дѣлали всеобщее возмущеніе.

И тутъ онъ объяснилъ мнѣ, что спущенная мною на сушу группа взбунтовавшихся крестьянъ могла вызвать движеніе, за которое, можетъ-быть, пришлось бы множество людей сослать, а теперь, благодаря его находчивости, все окончилось только тѣмъ, что онъ сорокъ человѣкъ перепоролъ и меня отставилъ...

Мнѣ оставалось его поблагодарить.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Съ тѣхъ поръ, какъ происходило описанное приключеніе, уплыло много лѣтъ и многое измѣнилось. Кое-что даже и

серьезно улучшилось, но слухи, доходящіе до столицъ о движеніи переселенцевъ, приносятъ, однако, все старыя, давно знакомыя вѣсти, изъ которыхъ приходится заключать, что тутъ два стимула остаются неизмѣнными: 1) «народы» поднимаются, не зная куда, и возвращаются, не зная зачѣмъ, и 2) «народы», во все время своего слѣдованія, все еще «чухаются» и «ищутся», потому что ихъ «пожираетъ вошь». Послѣднее отвратительно до такой степени, что объ этомъ никто не рѣшается серьезно говорить, а только упоминаютъ вскользь. И вотъ именно поэтому-то, можетъ-быть, дѣло съ «исканіемъ» все и остается въ своемъ прежнемъ, ужасномъ положеніи: а это есть большое народное бѣдствіе, которое промалчивать въ печати стыдно и жестоко. Нечистота противна, пѣсни объ этомъ, за фортепіаномъ сидя, не споешь и баллады на эту тему не напишешь, но надо отложить брезгливость въ сторону и настойчиво говорить о нечисти, чтобы ее уничтожить. Это настоящая *египетская казнь!* Партія переселенцевъ, плывшая въ 1892 г. во Владивостокъ, «обчесалась» въ виду Коломбо, но ей въ этомъ ничѣмъ не помогли и люди такъ поплыли чесаться далѣе!.. Пусть знаютъ нашихъ, каковы мы въ гости ѣдемъ! А въ собраніи Общества для вспомоществованія нуждающимся переселенцамъ въ Петербургѣ, 14-го марта 1893 года, читали и говорили, что средствъ для помощи переселенцамъ мало, что ихъ недостаетъ «на самыя вопіющія нужды», и что «крайнее скопленіе переселенцевъ развиваетъ болѣзни», а вслѣдствіе того «они заражаютъ бараки, въ которыхъ ихъ помѣщаютъ». По этому поводу общество взываетъ къ «участію земствъ». А я считаю умѣстнымъ разсказать здѣсь въ «Переселенческомъ сборникѣ» то, что я видѣлъ на переселенческой баркѣ, чтобы напомнить покровителямъ странныхъ, что *самое большее бѣдствіе для переселенцевъ это есть поѣдающая ихъ нечисть.* Отчего ничье милосердіе не встрѣчаетъ ихъ по дорогѣ и не моетъ ихъ въ баняхъ? Вѣдь они все заразятъ, гдѣ ни приткнутся! Гейне былъ правъ, говоря, что «кто любитъ народъ, тотъ долженъ сводить его въ баню». И это первое, за что надо взяться повсемѣстно, какъ только «продуктъ природы» надвигается.

Но людей я, однако, защитилъ, и они это поняли и оцѣнили.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Такъ мы вышли изъ Оки въ Волгу, и въ Нижнемъ у насъ вшивые народы опять заволновались: они вдругъ приступили къ Петру Семенову съ «неслыханной» просьбой, чтобы онъ сводилъ ихъ въ баню! Онъ, разумѣется, ихъ не повелъ, а тогда оба народа, курскіе и орловскіе, стали кричать, шумѣть, и я опять былъ призванъ для ихъ устрашенія и опять не умѣлъ исполнить этого какъ должно. А когда я сказалъ, что мнѣ людей жалко, то Петръ Семеновъ отвѣтилъ:

— Кому, сударь, людей жалко, тому не нужно браться народъ на сводъ водить.

И онъ отъ меня отвернулся.

Я чувствовалъ, что онъ сказалъ мнѣ правду, и мнѣ въ самомъ дѣлѣ стало совѣстно.

Чтобы облегчить нѣсколько свою душу, я купилъ пудъ мыла, разрѣзалъ его съ Михайлою на кусочки и роздалъ бабамъ-ребятницамъ. Бабы за это мнѣ были очень благодарны и вскорѣ объявили, что «вошь все одно», потому что «надо щелоку», а печей нѣтъ и щелоку нѣтъ!

Въ слѣдующемъ городѣ я купилъ уже два пуда мыла и опять роздалъ его бабамъ съ дѣтьми, но Петръ Семеновъ и за это на меня злился: онъ находилъ, что ежели мыло давать, то надо давать и другое многое, безъ чего обходиться нельзя, а тогда нельзя и конецъ положить надобностямъ.

Я начиналъ чувствовать, что я какъ будто порчу дѣло, и что Петръ Семеновъ, того и гляди, какимъ-то извѣстнымъ ему образомъ, отъ меня освободится и уйдетъ одинъ вождемъ всего «котильона».

Предчувствія эти и оправдались.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Черезъ два или три дня послѣ того, какъ Пизарро сказалъ мнѣ свои дерзости, у насъ на орловской баркѣ обнаружилось оригинальное и дерзкое покушеніе противъ власти: въ стѣнкѣ каюты Петра Семенова была просверлена дырочка и въ нее «вправлена соломинка». Приспособленіе это

сдѣлалъ какой-то «орловскій шельма» для того, чтобы перепускать черезъ соломинку вшей.

Петръ и Дороѳей этимъ страшно оскорбились и захотѣли во что бы то ни стало «отыскать виновныхъ», а какъ никто въ этой винѣ не признавался, то стали грозить «перестегать съ пятаго на десятато», но я этому воспротивился, и тогда къ слѣдующему же утру въ стѣнахъ горенки было открыто уже три пропускныхъ дырки.

Петръ еще сильнѣе требовалъ «перелупцовать» всѣхъ, а я не давалъ, и при такихъ взаимныхъ неудовольствіяхъ мы спустились къ посаду, гдѣ стали на якорь и гдѣ произошло съ нами невѣроятное и удивительное событіе.

Это было вечеромъ подъ какой-то праздникъ, но подъ какой именно, я теперь не припомню. Былъ это праздникъ большой, и Петръ Семеновъ, которому надо было сдѣлать продовольственные запасы, боялся, что завтра онъ ихъ не найдетъ на базарѣ, а потому онъ сейчасъ же отправился на берегъ вмѣстѣ съ сыномъ и съ тремя мужиками, я остался на баркахъ и тутъ-то «народы», не видя между мною и собою никакого средостѣнія, окружили меня и начали мнѣ открывать свои обиды на Петра, который не додавалъ будто имъ и хлѣба и соли, напрасно стѣснялъ ихъ свободу и напрасно же обвинялъ ихъ въ томъ, что они будто просверлили дырки и пускали нечисть.

— Все, молъ, это напраслины, а дырки просверлилъ не кто иной, какъ Петровъ сынъ, Дорошка, по злобѣ на мужика, къ женѣ котораго Дорошка «ластился».

И тотчасъ же вслѣдъ за этимъ я услыхалъ изъ среды «народовъ» вопль единодушный и ужасный: эти люди, братья мои, рыдая, вопили, чтобы я сжалился надъ ихъ страданіемъ и пустилъ ихъ на берегъ въ баню, смыть изъязвляющую ихъ нечисть... Они томились, рвались и галлюцинировали «банькой».

Долженъ или не долженъ былъ я внять этой истомѣ и этому моленію моихъ обовшивѣвшихъ братьевъ?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Не могу сказать, дѣйствительно ли на берегу топились бани или народамъ такъ хотѣлось мыться, что они галлюцинировали, но они увѣряли меня, что тамъ топятся бани на берегу и что въ бани пускаютъ нынче по грошу и что

если ихъ пустятъ, они всѣ вымоются и черезъ часъ назадъ будутъ. Тогда пустить другихъ. Я смотрѣлъ на телѣжника и на Михайлу. Телѣжникъ по своему обыкновенію только улыбался, а Михайло молчалъ, а вопль былъ несносенъ и, въ самомъ дѣлѣ, могъ достигать до Господа. Въ довершеніе картины и для бо́льшаго мученія моихъ чувствъ выскочилъ какой-то мужичонка и началъ тыкать мнѣ въ глаза маленькаго умирающаго мальчика, у котораго во всѣхъ складкахъ тѣла, какъ живой бисеръ, переливали насѣкомыя.

— Вотъ! — кричалъ мужикъ: — вотъ, смотри это!—а потомъ онъ швырнулъ ребенка на полъ, какъ полѣно, и обнажилъ свои покрытыя лохмотьями ребра, и тутъ я увидалъ, что у него подъ мышками и между его запавшими ребрами нѣчто такое, чего не могу изобразить и чего тогда я не могъ стерпѣть, и сказалъ:

— Хорошо!.. На мнѣ будетъ отвѣтъ за васъ, но я вамъ дамъ денегъ на баню: устройтесь какъ надо и ступайте на берегъ, вымойтесь.

Посадили мы сорокъ человѣкъ на лодки и пустили ихъ на берегъ въ бани подъ надежной командой добраго Михайлы, который долженъ былъ этихъ людей высадить и прислать намъ лодки обратно съ гребцами.

На берегу все еще звонили къ вечернѣ или ко всенощной, и какъ всѣмъ намъ казалось—оттуда вѣтеркомъ доносило запахъ пара и баннаго вѣника.

Я стоялъ на баркѣ и смотрѣлъ, какъ наши лодки доплыли до берега, и видѣлъ, какъ люди стали изъ нихъ выходить, — шибко-шибко, одинъ за другимъ, какъ воробьи, выпрыгнули съ живостью, которой трудно было ожидать отъ ихъ неуклюжества, и затѣмъ... лодки стоятъ у берега и назадъ не возвращаются... И намъ туда послать не на чемъ и нѣтъ намъ оттуда ни гласа, ни послушанія...

Это стало удивительно!

Ждемъ полчаса, часъ, наконецъ, становится темно, — никого нѣтъ, а вдругъ въ темнотѣ плескъ весель и... является какъ сатана злой и надменный Петръ Семеновъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Я чувствовалъ, что случилось что-то дурное, и не ошибся: случилось вотъ что: отпущенные мною въ баню многостра-

дальные люди, завѣривъ меня, что я за нихъ «не отвѣчу», совсѣмъ не пошли въ баню, а какъ выпрыгнули на берегъ, такъ и *пошли въ орловскую губернію.*

— Они намъ—вшивая братія—хорошо поусердствовали, и вы ихъ хорошо пожалѣли!—заключилъ Петръ Семенычъ, и сейчасъ же, перейдя съ шутливаго тона въ самый серьезный, добавилъ: — Ну-съ, ждать нельзя! извольте брать съ собою довѣренность и поѣдемте на берегъ: я уже упредилъ начальника и онъ готовъ: сейчасъ надо ихъ догнать! Эта баня экономіи дорого обойдется!

Дѣло приняло такой оборотъ, что всѣ были виноваты, а правъ одинъ Петръ Семеновъ, и потому весь преферансъ былъ на его сторонѣ и надо было ему повиноваться, и повиноваться скоро и безъ разсужденій. Пизарро меня побѣдилъ и уже начиналъ торжествовать свою побѣду. Когда мы проходили къ лодкѣ, онъ шелъ впереди меня съ фонаремъ и, остановясь возлѣ одной молодой женщины, кормившей грудью ребенка, съ безстыжею наглостью освѣтилъ ея раскрытую грудь своимъ фонаремъ. По груди что-то сѣрѣло, точно тюль, и эта тюль двигалась, смѣшиваясь у соска съ каплями синяго молока, отъ котораго отпалъ ребенокъ.

Уста Пизарро искривила презрительная улыбка, и онъ отхватилъ фонарь и проговорилъ:

— Какъ не повѣрить, что мой сынъ на этакую прелесть польстится!

Мы плыли въ гордомъ молчаніи, но какъ только вышли на берегъ, Петръ сейчасъ же настойчиво спросилъ у меня мою довѣренность и требовалъ, чтобы я самъ въ дѣло не мѣшался, а подождалъ его въ трактирѣ. Теперь онъ прямо говорилъ мнѣ, что я могу испортить все дѣло.

Я ему повѣрилъ, и онъ поѣхалъ къ чиновнику, урядъ котораго былъ мнѣ не ясенъ: Петръ называлъ его то исправникомъ, то просто начальникомъ, и вскорѣ же съ нимъ и съ его тремя казаками они погнались за бѣглецами, которыхъ безъ труда догнали на пятой верстѣ, оборотили ихъ и погнали назадъ подъ прикрытіемъ тѣхъ же трехъ полицейскихъ казаковъ, изъ которыхъ опять, какъ въ Орлѣ, только у одного была пика.

Несмотря на ночной сумракъ, я видѣлъ какъ ихъ «гнали». Передъ этимъ шелъ дождь, а почва была глинистая, и было

смѣшно и жалко смотрѣть, какъ они шлепали и какъ ноги ихъ волоклись и расползались по мокрой глинѣ, при чемъ гдѣ скользила и падала одна передняя пара—то же самое продѣлывали и всѣ другіе, точно въ самомъ дѣлѣ вели котильонъ съ повтореніемъ фигуръ.

Петръ Семеновъ возвращался съ исправникомъ на дрожкахъ и держалъ себя съ нимъ съ большимъ достоинствомъ. Меня онъ отрекомендовалъ ему короткой фразой:

— Вотъ это на ихъ имя довѣренность,—и больше не сказалъ ни слова.

А завернутый въ шинель исправникъ послѣ этого нагнулся и прошепталъ мнѣ на ухо:

— Прошу васъ поспѣшить ко мнѣ въ домъ... мы должны съ вами переговорить. Пожалуйста, сію минуту!

Онъ опять запахнулся, и я замѣтилъ, что у него была какая-то звѣзда подъ капюшономъ шинели. Онъ поѣхалъ, и я пошелъ къ нему и ждалъ его довольно долго и въ самомъ противномъ душевномъ настроеніи.

«Господи! — думалъ я: — какъ я дурно сдѣлалъ! но могъ ли я ожидать, что эти взрослые люди будутъ такъ безразсудны, что они покинутъ женъ и дѣтей и станутъ убѣгать куда-то, при ясной очевидности, что имъ убѣжать невозможно! Ручного барсука смѣло пускаютъ въ лѣсъ на охоту, оставляя взаперти его самку съ дѣтьми, и барсукъ не убѣгаетъ, а возвращается въ неволю къ своей самкѣ!.. А это вѣдь все-таки люди!»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

У меня было время подумать и о томъ, какъ имъ будетъ стыдно, когда ихъ опять посадятъ на барки... Да, и мнѣ завтра будетъ стыдно на нихъ глядѣть... А исправника все еще нѣтъ, какъ нѣтъ... и мнѣ очень скучно въ его кабинетѣ, а уйти неловко, да притомъ оказалось, что мнѣ и нельзя уйти, потому что солдатъ, проводившій меня сюда, ушелъ и дверь за собою заперъ, такъ что я остался подъ арестомъ.

Въ такомъ непріятномъ положеніи я старался развлечь себя чѣмъ могъ. Къ моему счастію, здѣсь были книги и притомъ такія, которыми въ тогдашнее время интересовались,—напримѣръ, лекціи московскихъ профессоровъ: Кудрявцева, Грановскаго, Геймана и Рулье «О городской ла-

сточкѣ», «Письма» Герцена, «Объ изученіи природы» съ достопамятнымъ вступленіемъ, «Во славу Цереры, Помоны и ихъ сродниковъ» и русская Библія съ казенною сургучною печатью на переплетѣ.

Эта, очевидно, попала сюда по какому-нибудь особому случаю и жила въ исправницкой биліотекѣ не «въ родѣ арестанта».

Такъ какъ эта книга была тогда большою рѣдкостью, то я началъ ее просматривать и не замѣтилъ, какъ явился домой хозяинъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Исправникъ или, какъ оказалось, *неисправникъ* этотъ былъ молодой человѣкъ и, повидимому, принадлежалъ къ числу «образованныхъ дворянъ».

Когда я его видѣлъ на дрожкахъ, завернутымъ въ шинель съ страннымъ орденомъ, сверкавшимъ изъ-подъ капюшона, онъ мнѣ казался человѣкомъ солиднымъ, какъ и надлежитъ быть исправнику, а теперь, когда онъ снялъ шинель, передо мною явилась просто «фитюлька», и вдобавокъ фитюлька эта вела себя чрезвычайно неосновательно. Во-первыхъ, этотъ молодецъ вбѣжалъ къ себѣ запыхавшись и напѣвая: «Услышь меня—полюби меня!»; а во-вторыхъ, онъ удивился моему здѣсь присутствію, а потомъ началъ извиняться и хохотать.

— Что прикажете дѣлать? — заговорилъ онъ: — дѣлаешь то, что можешь, и позабудешься, но зато, слава Богу, все кончено: я всѣхъ выпоролъ!

— Кого выпороли?

— Этихъ вашихъ сорокъ бунтарей... Надо бы, конечно, отобрать зачинщиковъ, да вашъ старикъ такъ просилъ, чтобы не отбирать, а лучше «всѣхъ», да и что въ самомъ дѣлѣ ихъ разбирать!

— Но позвольте... вѣдь это какое-то недоразумѣніе!.. всѣ сорокъ человѣкъ... Куда они побѣжали и такъ безропотно опять вернулись сюда...

Молодой человѣкъ расхохотался.

— О, да! и не говорите! Болваны! Я вамъ откровенно скажу, наши люди—это болваны!.. Представьте вы въ моемъ положеніи англичанина! — вѣдь онъ бы, я увѣренъ, растерялся, но мнѣ настоящее знаніе этого народа даетъ на него

настоящія средства. И это почему-съ? потому что я здѣсь родился и выросъ! Когда вашъ мужикъ пришелъ и говоритъ: «помогите—сорокъ человѣкъ убѣжало», я подумалъ: что дѣлать? Мой начальникъ въ отъѣздѣ, а я самъ вѣдь ничего не значу и не имѣю никакихъ правъ: вѣдь я простой приказный, я секретарь, не болѣе того, но я знаю этотъ народъ; и потому я взялъ трехъ калѣкъ, надѣлъ шинель съ пристегнутой къ ней большой пряжкой, догналъ бѣглецовъ, скомандовалъ имъ: «сволочь, назадъ!» и всѣхъ ихъ привелъ назадъ и перепоролъ. Моя пряжка дѣйствуетъ удивительно: я гоню ихъ назадъ, какъ Фараонъ, привожу и всѣхъ ихъ сѣку; и не забудьте: сѣку ихъ при ихъ же собственномъ великодушномъ и благосклонномъ содѣйствіи: они другъ друга держатъ за ноги и за руки, и сидятъ другъ у друга на головахъ, и потомъ я ихъ отправляю на барку, и все кончено. Они отплываютъ, а я стою на берегу и думаю: «Ахъ, вы, соръ славянскій! Ахъ, вы, дрянь родная!» Пусть бы кто-нибудь самъ-третей продѣлалъ этакую штуку надъ сорока французами!.. Чорта-съ два! А тутъ все прекрасно... И это еще, не забудьте, съ моей простой пряжкой; но если бы у меня былъ настоящій орденъ!.. О, если бы у меня былъ орденъ! Съ настоящимъ орденомъ я бы одинъ цѣлую Россію выпоролъ! А ваши вещи всѣ на пристани... Тамъ ваше все... Васъ нельзя было оставить съ переселенцами... Вашъ Петръ говоритъ, что онъ иначе не отвѣчаетъ за спокойствіе, и я это понимаю: это справедливо; онъ и довѣренность вашу увезъ съ собой, и прекрасно сдѣлалъ, а то надо было бы о васъ доносить.

— Что же такое надо бы обо мнѣ доносить

— Да вотъ, что вы дѣлали всеобщее возмущеніе.

И тутъ онъ объяснилъ мнѣ, что спущенная мною на сушу группа взбунтовавшихся крестьянъ могла вызвать движеніе, за которое, можетъ-быть, пришлось бы множество людей сослать, а теперь, благодаря его находчивости, все окончилось только тѣмъ, что онъ сорокъ человѣкъ перепоролъ и меня отставилъ...

Мнѣ оставалось его поблагодарить.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Съ тѣхъ поръ, какъ происходило описанное приключеніе, уплыло много лѣтъ и многое измѣнилось. Кое-что даже и

серьезно улучшилось, но слухи, доходящіе до столицъ о движеніи переселенцевъ, приносятъ, однако, все старыя, давно знакомыя вѣсти, изъ которыхъ приходится заключать, что тутъ два стимула остаются неизмѣнными: 1) «народы» поднимаются, не зная куда, и возвращаются, не зная зачѣмъ, и 2) «народы», во все время своего слѣдованія, все еще «чухаются» и «ищутся», потому что ихъ «пожираетъ вошь». Послѣднее отвратительно до такой степени, что объ этомъ никто не рѣшается серьезно говорить, а только упоминаютъ вскользь. И вотъ именно поэтому-то, можетъ-быть, дѣло съ «исканіемъ» все и остается въ своемъ прежнемъ, ужасномъ положеніи: а это есть большое народное бѣдствіе, которое промалчивать въ печати стыдно и жестоко. Нечистота противна, пѣсни объ этомъ, за фортепіаномъ сидя, не споешь и баллады на эту тему не напишешь, но надо отложить брезгливость въ сторону и настойчиво говорить о нечисти, чтобы ее уничтожить. Это настоящая *египетская казнь!* Партія переселенцевъ, плывшая въ 1892 г. во Владивостокъ, «обчесалась» въ виду Коломбо, но ей въ этомъ ничѣмъ не помогли и люди такъ поплыли чесаться далѣе!.. Пусть знаютъ нашихъ, каковы мы въ гости ѣдемъ! А въ собраніи Общества для вспомоществованія нуждающимся переселенцамъ въ Петербургѣ, 14-го марта 1893 года, читали и говорили, что средствъ для помощи переселенцамъ мало, что ихъ недостаетъ «на самыя вопіющія нужды», и что «крайнее скопленіе переселенцевъ развиваетъ болѣзни», а вслѣдствіе того «они заражаютъ бараки, въ которыхъ ихъ помѣщаютъ». По этому поводу общество взываетъ къ «участію земствъ». А я считаю умѣстнымъ разсказать здѣсь въ «Переселенческомъ сборникѣ» то, что я видѣлъ на переселенческой баркѣ, чтобы напомнить покровителямъ странныхъ, что *самое большее бѣдствіе для переселенцевъ это есть поѣдающая ихъ нечисть.* Отчего ничье милосердіе не встрѣчаетъ ихъ по дорогѣ и не моетъ ихъ въ баняхъ? Вѣдь они все заразятъ, гдѣ ни приткнутся! Гейне былъ правъ, говоря, что «кто любитъ народъ, тотъ долженъ сводить его въ баню». И это первое, за что надо взяться повсемѣстно, какъ только «продуктъ природы» надвигается.

ДОМАШНЯЯ ЧЕЛЯДЬ.

ИСТОРИЧЕСКІЯ СПРАВКИ ПО СОВРЕМЕННОМУ ВОПРОСУ.

«Въ приказѣ холопья суда бьютъ челомъ дворяне и дѣти боярскія на своихъ холопей». *Акты историч. II, 115.*

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ послѣднее время въ петербургскихъ газетахъ появилось много горячихъ заявленій о прислугѣ. Общій тонъ ихъ таковъ, что теперь прислуга у насъ совсѣмъ испортилась, а что прежде она, будто, была гораздо лучше. Всѣмъ, кажется, очень неудобно и даже не безопасно жить при нынѣшней распущенной прислугѣ, на которую нѣтъ надежной управы и которая день ото дня еще все болѣе и болѣе становится небрежнѣе, дерзче и безчестнѣе. Газеты замѣчаютъ, что служащіе люди не знаютъ своего мѣста и стремятся стать выше своего положенія. Мужчины и женщины проникаются такими новыми разорительными и дурными навыками, какихъ прежде не было. Кухарки, напримѣръ, пьютъ съ утра до ночи кофей и носятъ широчайшія драповыя тальмы; лакеи и повара расчесываютъ капуль а-ля дуракъ, а горничныя стригутъ чолки, посѣщаютъ театры и маскарады и выходятъ со двора не иначе, какъ въ шляпахъ фикъ-фокъ на одинъ бокъ. Чтобы позволять себѣ такое щегольство и роскошь, имъ, разумѣется, недостаточно заслуженнаго жалованья и потому служащіе люди стремятся имѣть посторонніе доходы, а когда ихъ нѣтъ,—они безъ большой борьбы обращаются къ воровству или «расхищенію довѣреннаго ихъ усмотрѣнію хозяйскаго имущества». Судиться же съ ними непріятно, да и мало пользы, такъ какъ взять съ нихъ по большей части нечего.

Очень понятно, что при такомъ положеніи долго жить

невозможно,—а что положеніе это, дѣйствительно, таково, какъ его представляютъ газеты — въ томъ, къ сожалѣнію, невозможно сомнѣваться. Прислуга очень многимъ дѣлаетъ большія непріятности и всѣ дѣйствительно желаютъ, чтобы противъ безчинства «услуживающихъ людей» какъ можно скорѣе послѣдовали какія-нибудь сильныя правительственныя постановленія. И въ правительственной сферѣ жалобы на нестерпимое безчинство прислуги, говорятъ, будто, услышаны: газеты заявляютъ, что на это дѣло обратилъ вниманіе г. министръ юстиціи и къ удовлетворенію справедливыхъ желаній общества вскорѣ же воспослѣдуютъ цѣлесообразныя распоряженія, въ законодательномъ порядкѣ.

Вмѣшательство властей въ это дѣло вызывается настоятельною необходимостью, а какой отъ этого будетъ результатъ публикѣ, пока ничего не извѣстно. Пишущему эти строки довелось только видѣть нѣкоторые предложенія и проекты, по поводу которыхъ, можетъ статься, не лишнимъ будетъ привести нѣкоторыя историческія справки.

Сочинители проектовъ, равно какъ и нѣкоторые газетные публицисты воздаютъ много похвалъ старинѣ. Всѣ они пишутъ, между прочимъ, будто русская прислуга только теперь испортилась, или что она теперь, по крайней мѣрѣ, «особенно испортилась», а что прежде когда-то она была, будто бы, прекрасна. А какъ въ публикѣ теперь тоже довольно развитъ вкусъ къ старинѣ, то и публика охотно вѣритъ этому указанію. Такимъ образомъ кажется, какъ будто средство поправить всѣ неудовольствія у насъ подъ руками: «стоитъ только поворотить къ старому порядку», и опять у насъ будутъ эти «милыя пушкинскія няни», о которыхъ не разъ вспоминали Маркевичъ и кн. Мещерскій, а за нянями появятся и другіе преданные слуги, раньше Пушкина описанные въ старинныхъ русскихъ романахъ.

Публицисты въ этомъ направленіи достигли своей цѣли: мало начитанная русская публика имъ повѣрила; но если эти публицисты искренни, то о нихъ надо пожалѣть, ибо имъ самимъ, очевидно, недостаетъ знанія дѣла, о которомъ они разсуждаютъ. По счастью, это имъ возможно доказать литературною же справкою, и это сдѣлать необходимо.

Если знать старину и желать говорить правду, то правы

русской прислуги всегда были очень дурны. Пожалуй, встарь они были еще гораздо хуже, чѣмъ нынче.

Указывать на «старинныхъ преданныхъ людей», каковые попадались между «русскими няньками», «вѣрными ключницами» и «преданными камердинерами», нечего. Безспорно, что такіе хорошіе люди, дѣйствительно, бывали, но они встрѣчались не постоянно и не на каждомъ шагу, какъ обыкновенное и заурядное явленіе, а какъ явленія особенныя, исключительныя или, по крайней мѣрѣ, довольно рѣдкія. Все особенно хорошее на свѣтѣ встрѣчалось не часто, но зато, къ счастью, никогда совсѣмъ и не переводится. И нынче тоже есть очень хорошіе слуги и служанки, которые отличаются терпѣливостью, преданностью и даже благородствомъ и великодушіемъ. Есть люди, которые бѣдствуютъ съ своими хозяевами и иногда служатъ безъ платы и даже закладываютъ для хозяевъ свои собственныя вещи. Все это въ своемъ родѣ исключенія или, по крайней мѣрѣ, рѣдкость въ итогѣ случаевъ, характеризующихъ общее положеніе, на которомъ законодатель долженъ основывать свои соображенія и дѣлать выводъ.

Попытаемся принести выясненію этого дѣла посильную пользу тѣмъ, что попробуемъ указать ошибочность ссылокъ на старину.

Мы не станемъ обращаться къ статистикѣ, хотя и она для насъ кое-что подготовила. Такъ, напримѣръ, огромное число побѣговъ дворовыхъ людей и частыя ссылки слугъ на поселеніе по волѣ владѣльцевъ, сѣченіе мужчинъ и женщинъ при съѣзжихъ домахъ и въ становыхъ квартирахъ, и—еще болѣе—убійство господъ ихъ слугами могли бы послужить доказательствами, что въ доброе старое время господа со своими слугами уживались не ладно. Но мы обратимся не къ статистическимъ сочиненіямъ, а къ литературному источнику въ другомъ родѣ. Обратимся къ такой книгѣ, гдѣ безъ всякой предвзятой цѣли, просто и ясно представлено: каковы были нравы прислуги сто шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ.

Рѣчь идетъ о переводной книгѣ, въ которой обстоятельно изложено все тогдашнее жизневѣдѣніе и рядомъ съ тѣмъ преподаны необходимѣйшія правила и опытные совѣты. Универсальная книга эта называется: «Юности честное Зерцало». Она нынче составляетъ большую библіографическую рѣдкость, а потому, вѣроятно, извѣстна очень немно-

гимъ изъ господъ публицистовъ. Большинству же публики она, конечно, и совсѣмъ не извѣстна, а между тѣмъ «Зерцало» прекрасно представляетъ навыки и нравы старинной прислуги и вполнѣ можетъ обличить невѣдѣніе тѣхъ, которые сами вѣрятъ и другихъ убѣждаютъ, будто когда-то прежде сего съ прислугой было прекрасно.

Книга «Юности честное Зерцало или показаніе къ житейскому обхожденію» напечатана въ Петербургѣ въ 1719 г., въ то время, когда общество русское хранило еще старинные навыки, отъ которыхъ Петръ I-й желалъ отучить молодое поколѣніе въ благородномъ классѣ дворянства. «Зерцало» заботится о домашнемъ этикетѣ, а какъ невоспитанныя дѣти того времени были особенно досадительны и портили домъ и прислугу, то черезъ неумѣстное якшательство съ нею, то чрезъ безмѣрную требовательность и грубую жестокость, которою и сами себя повреждали въ нравахъ своихъ, то «Зерцало» рядомъ трактуетъ и о нравахъ дѣтей, и о домашней прислугѣ. Съ первой страницы книга внушаетъ отрокамъ, «которые пріѣхали изъ чужестранныхъ краевъ и языковъ съ великимъ иждивеніемъ научились» или «которые въ иностранныхъ земляхъ не бывали, а изъ школы ко двору приняты»,—чтобы они тщилися «носомъ не храпѣть и глазами не моргать и ниже шею и плечи изъ повадки не трясти, руками не хватать и не колобродить; отъ неравныхъ побратенствъ держаться и дурацкимъ шуткамъ не заобычиваться, и на свадьбы и танцы незвану не приходить, ибо хотя то жены и охотно видятъ, однакожъ свободные люди не всегда тому рады бываютъ». У себя дома воспитанные отроки должны—«отца и матерь въ великой чести содержать, и когда родители ихъ позовутъ, отвѣчать тотчасъ какъ голосъ послышатъ, и потомъ сказать: что изволите, государь батюшка или государыня матушка? а не дерзостно—што? какъ? чево?—и не съ смѣхомъ яко-бы ихъ презирая».—«Слушать ихъ словъ, что имъ приказано отъ родителей бываетъ, шляпу въ рукахъ держать, и предъ ними не вздѣвать и возлѣ нихъ не садиться, и при нихъ въ окно тѣломъ не выглядывать, но все потаеннымъ образомъ съ великимъ почтеніемъ дѣлать—не съ ними въ рядъ, а немножко уступя позади ихъ *стоять подобно яко пажъ нѣкоторый или слуга*».

Отсюда очевиденъ и ясенъ духъ книги—это духъ правоучительный и хотя уже смягченный сравнительно съ Домостроемъ, но все еще довольно строгій. Отроки должны держаться «какъ слуги», но чтобы и сами они съ слугами были не крикливы и не дерзки. Теперь посмотримъ, каковы же тогда были слуги.

Книга, заступающаяся за слугъ, чтобы ихъ не обижали, свидѣтельствуетъ, что слуги тогда были лѣнивы, сварливы и безтолковы.

—

Отроки «должны отъ челядинцевъ *просительнымъ образомъ требовать*, развѣ что (кромѣ тѣхъ случаевъ, если) у кого (изъ дѣтей) особливые слуги (есть), которые одному ему подвержены бываютъ, для того, что *обычно челядинцы не двумъ господамъ и госпожамъ, но токмо одному господину охотно служатъ*». (Сколько дѣтей, столько бывало для нихъ и особыхъ челядинцевъ,—каждому по особому слугѣ). Отъ этого слугамъ было не трудно; но какъ ихъ зато было много, то «часто происходитъ ссоры и великіе бываютъ между ними мятежи въ домѣ такъ, что сами не опознаютъ, что̀ кому дѣлать надлежитъ».

Слѣдовательно, чтобы теперь подражать старинѣ, надо будетъ и въ нынѣшнее время дать каждому господскому отроку по особливому слугѣ, чтобы онъ, какъ говорилось, «за ними ходилъ» и ничего больше не дѣлалъ. Тогда только слуга хорошо уходитъ «за однимъ»; но возможно ли это теперь, когда по газетамъ ищутъ «одну прислугу со стиркою на малое семейство» изъ двухъ или трехъ душъ? А кромѣ того, какъ отъ приставленія ко всякому дѣлу особливаго слуги набиралось много слугъ, а отъ нихъ происходили ссоры и бывали великіе мятежи, то можетъ ли это быть желательно и будетъ ли это теперь удобно?

Черезъ сто шестьдесятъ лѣтъ всѣ положенія сильно измѣнились. Теперь за каждымъ отрокомъ по особливому слугѣ ходить не приставляютъ, и оттого каждому изъ служащихъ въ домѣ людей сдѣлалось больше работы, и стало труднѣе угождать за разъ нѣсколькимъ членамъ хозяйскаго семейства, между членами котораго есть разные характеры и не всегда удовлетворительная воспитанность. «Трудно служить двумъ господамъ». Полтораста лѣтъ назадъ господа входили въ это положеніе и судили о немъ «по писанію». Тогда въ

это вѣрили и притомъ имѣли возможность поступать по вѣрѣ своей, а теперь люди утверждаются на иномъ и судятъ иначе. Теперь хозяева берутъ приклады не отъ писанія, гдѣ сказано, что «неудобно слугѣ служить двумъ господамъ», а ссылаются на то, «какъ дѣлается за границей». Обыкновенно указываютъ, что тамъ «одинъ слуга двадцатерымъ служитъ». И безспорно, что за границею это, дѣйствительно, такъ; но тѣ, которые на это ссылаются, къ сожалѣнію, не вполнѣ объемлютъ все домашнее положеніе за границею. Такъ, напримѣръ, они видятъ, что «за границей одинъ двадцатерымъ служитъ»; но не хотятъ замѣчать или не хотятъ помнить, что всѣ двадцать заграничныхъ господъ дѣлаютъ сами для себя многое, что у насъ поручаютъ прислугѣ. Тамъ очень многіе, между людьми средняго достатка, нанимающими одну bonne pour tout faire, сами оправляютъ свои постели, убираютъ комнаты, сносятъ въ ящикъ свои письма, заправляютъ лампы и даже сами ходятъ за своею провизіею и многіе съ удовольствіемъ растапливаютъ зимою свои камины. Тогда bonne pour tout faire остается довольно время, чтобы сдѣлать все остальное въ домашнемъ обиходѣ; но мы такъ не поступаемъ, а, напротивъ, мы безпрестанно командуемъ: «подай, прими и унеси» то, и другое, и третье, и такимъ образомъ мы затрудняемъ прислугу тѣмъ, что вполнѣ легко было бы и самимъ сдѣлать. А оттого французская bonne pour tout faire и наша женщина, служащая въ соотвѣтственной должности «одной прислуги», находятся совсѣмъ не въ равномъ положеніи...

Не говоря о томъ, что наша женщина, конечно, неуклюжѣе и тяжелѣе француженки,—она и не можетъ успѣть сдѣлать такъ же хорошо и своевременно все то, что дѣлаетъ bonne pour tout faire. Слѣдовательно, пока заграничное положеніе еще не подходитъ къ нашимъ лѣнивымъ привычкамъ, намъ нельзя и ожидать, чтобы у насъ была такая же сообразительная и много успѣвающая прислуга, какъ за границею. Чтобы достичь болѣе удобнаго заграничнаго положенія, надо нѣсколько иначе жить, а начать это могутъ только сами господа, отъ которыхъ зависитъ меньше бариться.

Десятое правило «Честнаго Зерцала» учитъ: оберегаться слугъ, какъ людей дрянныхъ, грубыхъ, нечестныхъ и даже очень опасныхъ по ихъ склонности злословить и клеветать

на хозяевъ. «Съ своими или посторонними слугами гораздо не сообщайся», т.-е. не фамильярничай. «Если они даже и хороши, то и тогда, все-таки, не во всемъ имъ вѣрь, для того, что *они грубы и невѣжи*, не разсудливы будучи, *не знаютъ держать мѣры*, но хотятъ, при случаѣ, выше своего господина вознестися, и на весь свѣтъ разглашаютъ, что имъ повѣрено было. Того ради смотри прилежно, когда что хочешь о другихъ говорить, опасайся, чтобы при томъ слугъ и служанокъ не было. А именъ не упоминай, а обиняками говори, чтобы дознаться было не можно, потому что такіе люди много приложатъ и прибавить искусны».

Въ этомъ отношеніи наши современные слуги совершенно таковы же, какъ и тѣ, которые были за полтораста лѣтъ передъ сими, когда общество наше поучалось изъ «Честнаго Зерцала». И теперь тотъ очень неблагоразумно поступаетъ, кто ихъ выспрашиваетъ о господахъ, у которыхъ они служатъ. Это портитъ слугъ и всегда можетъ ввести распрашивающаго въ большое заблужденіе, ибо слуги наши и теперь еще «невѣжи», «неразсудливы», «не знаютъ мѣры держать» и, притомъ, «много приложатъ и прибавить искусны». Слѣдовательно, полагаться на ихъ сообщенія о хозяевахъ недостойно, — особенно въ вещахъ, превосходящихъ самыя простыя понятія. Между тѣмъ, это, къ сожалѣнію, имѣло большое мѣсто въ нашей жизни, особенно во времена тайной канцеляріи, которыя воспроизведены въ безыскусственныхъ, но интересныхъ разсказахъ Гр. Вас. Есипова.

Неосновательно также думаютъ многіе, что вредъ идетъ, будто, отъ того, что «служанки стали ходить въ тальмахъ и шляпкахъ», а лакеи начали зачесываться «à la дуракъ». Не въ платьѣ дѣло, и не слѣдуетъ забывать, что нынче уже нѣтъ ни шугаевъ, ни шушуновъ, ни тѣлогрѣекъ, и шляпка теперь стоитъ дешевле, чѣмъ порядочный платокъ на голову. А если усматривать въ шляпкахъ и въ тальмахъ «незнаніе мѣры», то-есть желаніе походить на госпожу, то такое же «незнаніе мѣры» и въ старинѣ указано. И тогда было: «съ плечъ госпожи норовили шарфы подцѣплять и земчужинами зашпиляться», а мужчины «одѣвали господскіе штаны, съ прехитрымъ гульфикомъ».

Если читатель сравнитъ это съ тѣмъ, что нынѣ происходитъ съ тальмами и съ шляпками фикъ-фокъ на одинъ

бокъ, то онъ, навѣрное, безъ труда убѣдится, что и встарь, и нынче это было совершенно одно и то же. Непристойный гульфикъ или капуль, тальма или фикъ-фокъ—это все равно: хрѣнъ рѣдьки не слаще. Но ужъ если выбирать между щегольствомъ и неряшествомъ, то фикъ-фокъ и капуль лучше Петрушкина «собственнаго» запаха или вѣчныхъ обновокъ, въ видѣ прорванныхъ локтей.

При семъ еще хвалителямъ старины, сѣтующимъ на несчастную современность, приходится указать, что пѣвецъ Капуль, съ котораго заимствована не одними русскими его прическа,—самъ заимствовалъ эту прическу *изъ Россіи*. По крайней мѣрѣ, помнится, будто г. Капуль разсказывалъ покойному русскому артисту Монахову, что онъ не выдумалъ своей удивительной прически, а взялъ ее съ *старинныхъ русскихъ пословъ*, изображенія которыхъ видѣлъ на старинныхъ гравюрахъ. Русскіе щеголи московскаго періода, дѣйствительно, чесались «съ челышкомъ», о чемъ упоминается съ укоризною въ Кормчей, и это же можно видѣть и на полныхъ изученія картинахъ К. Е. Маковскаго, и на живыхъ головахъ московскихъ банщиковъ и половыхъ. Г. Капуль только немножко изящнѣе уложилъ на своей головѣ это старинное русское «челышко»; ему стали подражать петербургскіе щеголи, — сначала изъ молодыхъ дипломатовъ и правовѣдовъ, а потомъ это усвоили и приказчики, и лакеи; послѣднимъ только удалось усовершенствовать эту прическу и довести ее до крайности во вкусѣ «à la дуракъ». Таково, собственно, историческое происхожденіе «капуля». А что касается женской лошадиной «чолки», то это тоже не новость. «Чолки или постриженіе волосъ на лбу *для красы*» начесывали себѣ еще наши прабабушки и объ этихъ нескромностяхъ съ ихъ стороны тоже упоминается въ «Кормчей» (см. листъ 400, на оборотѣ).

Такъ, вся эта новина совсѣмъ и не выходитъ новиною, а отдаетъ тою самою стародавнею стариною, въ которой инымъ мнится отыскать наилучшее отъ всѣхъ бѣдъ избавленіе.

Старинные слуги были тоже большіе и очень опасные предатели.

Двадцать седьмое правило «Честнаго Зерцала» учитъ «всегда между собою говорить иностранными языками, дабы

когда что тайное говорить случиться, чтобы слуги и служанки дознаться не могли», ибо въ то время, какъ видно изъ разсказовъ Есипова, не пренебрегали, что «можно было отъ оныхъ балвановъ распознать».

Не слѣдуетъ забывать, что большому распространенію среди русскихъ обычая говоритъ по-французски въ своемъ собственномъ семействѣ въ значительной мѣрѣ содѣйствовало постоянное опасеніе «оныхъ болвановъ», черезъ которыхъ «многое было можно распознать».

Сороковое правило учитъ не подавать прислугѣ повода быть нехорошею,—для чего, между прочимъ, надо «не скупиться» и «самимъ не лгать при случаяхъ». «Зерцало» повѣствуетъ:

«Хотя въ нынѣшнее время (1719 годъ) безмѣрная скупость у многихъ за обычай принята и оные хотятъ ее за домодержавство почитать, токмо чтобы денегъ скопить, но такихъ люди не мало не почитаютъ». Представляемый въ «Зерцалѣ» слуга того времени любилъ въ господинѣ «барственную щедрость», а не мелкое «шляхецкое гоношенье». Прислуга «уважала пышность» и, имѣя роскошнаго господина, «сему служила охотнѣе». Далѣе, — тогдашній слуга «за честь ставилъ быть при именитомъ лицѣ и пріобрѣтать отъ него и отъ вхожихъ людей знатныя подачки».

Объ этомъ въ томъ же родѣ свидѣтельствуетъ на литовской Руси Владиславъ Сырокомля (Кондратовичъ). «Кто жилъ по-шляхецки, и скромно, собирая зярко до зярка (зернышко къ зернышку), талярокъ до талярка (талеръ къ талеру) — такихъ домовитыхъ, но скромныхъ шляхтичей прислуга не любила и не уважала».

И на проѣздныхъ трактахъ и въ заѣздахъ прислуживающіе люди были такіе же сребролюбцы и жадники, и имъ надо было давать деньги не «по-шляхетски и скромно», а удивлять ихъ подачками. «Зерцало» говоритъ въ 21 правилѣ: «Проѣзжій отрокъ имѣетъ *податливъ быть*, а особливо къ тѣмъ, которые ему услужили». Если же онъ былъ «неподатливъ» къ услужающимъ, то могъ ожидать обидныхъ «издѣвокъ».

Тѣ, которые ему сначала льстили, — потомъ за неподатливость надъ нимъ же «издѣвались». Тогда доходило до расправы, и хотя «отрокъ долженъ быть не дерзокъ и не драчливъ» (22), но «когда кто чести его коснется или по-

рекать учнетъ, то въ такомъ случаѣ уступки не бываетъ, но по нуждѣ премѣненіе закону дается» (23).

Любопытно бы знать: какой вѣсъ получало это примѣненіе закона для отрока, когда онъ по нуждѣ чинился передъ издѣвочниками драчливъ, но не превозмогалъ ихъ силою?.. Должно быть, ему иногда приходилось плохо...

Вообще, не видно, чтобы старые холопьи нравы отличались почтеніемъ къ скромности и бережливости людей высшаго сословія, а въ своемъ господинѣ, которому служили, холопы любили то, чѣмъ могли бы кичиться, — почему, вѣроятно, еще и теперешніе слуги почти всегда съ гордостью объявляютъ, что они «служили у генераловъ».

«Зерцало» внушаетъ тоже и другія очень хорошія и достойныя пріятія правила, — напр., оно совѣтуетъ «никакой лжи не говорить при прислугѣ», ибо чрезъ это слуги теряютъ къ хозяевамъ уваженіе. «И (какъ замѣтятъ, что господинъ лжетъ), то, конечно, крестьянина лучше почтутъ, нежели дворянина, — отчего и нынѣ (1719 г.) случается, что охотнѣе мужику, нежели дворянину вѣрятъ».

Обученіе же служащихъ лжи и притворству, по замѣчанію извѣстнаго современнаго проповѣдника Берсье, начинается съ простого и мнимо невиннаго обычая приказывать своимъ слугамъ «говорить приходящимъ, что господъ дома нѣтъ, тогда какъ они сидятъ у себя въ покоѣ». Знаменитый проповѣдникъ думаетъ, что «лучше было бы говорить, что господинъ дѣлами занятъ и принять не можетъ, чѣмъ заставлять слугу лгать, а потомъ роптать на его лживость» (49).

«Слугамъ своимъ и челядинцамъ не должно давать злого прикладу, и предъ ними никакого соблазну не чинить (не напиваться и смѣховъ не распущать) и ниже допускать, чтобы они всякими глупостями хозяину подлещались, *какъ обычно таковые люди дѣлаютъ*, но держать ихъ въ страхѣ и больше двухъ кратъ вины ни которому не спущать, ибо *лукавая лисица права своего не перемѣнитъ*» (50). Вообще, «рабы по своему нраву *невѣжливы, упрямы, безстыдливы и горды* бываютъ, и того ради надо ихъ смирять, покорять и унижать» (51). «Не надлежитъ отъ слуги терпѣть, чтобы онъ переговаривалъ или, какъ песъ, не огрызался, ибо *слуги всегда хотятъ больше права имѣть, нежели господинъ*» (52). Это выходитъ то же са-

мое, на что и теперь болѣе всего жалуются хозяева и въ чемъ жалобы ихъ поддерживаютъ газеты. Въ одномъ сатирическомъ журналѣ недавно была картинка, гдѣ служанка обижается, что ея госпожа «совсѣмъ ея нраву не потрафляетъ». «Когда кто межъ своими слугами присматриваетъ одного мятежника и заговорщика (противъ господъ въ то доброе время дѣйствовали и заговорами), то вскорѣ такого надо отослать, ибо отъ одной овцы паршивой все стадо пострадать можетъ». «Зерцало» кончаетъ о слугахъ съ негодованіемъ: «Нѣтъ того мерзостнѣе, какъ *убогій — гордый, нахальный и противный слуга*».

Приходилось, должно быть, господамъ за 150 лѣтъ не слаще нынѣшняго.

Эти выписки изъ книги, написанной съ «живыхъ прикладовъ» и опыта въ наученіе людямъ, начинающимъ свою жизнь, кажется, должны быть достаточно убѣдительны для того, чтобы измѣнить ложное понятіе о мнимо прекрасныхъ свойствахъ старинной прислуги. Сдѣланныя выписки могутъ возстановить истинную характеристику общаго челядинскаго типа, каковъ онъ былъ за сто-шестьдесятъ лѣтъ передъ симъ, когда прислугѣ «вы» не говорили. Узнать это теперь не будетъ излишнимъ при нынѣшнихъ желаніяхъ сравнивать новую прислугу со старинною и воскресить старинныя холопскія добродѣтели. Пусть ничего не знающіе суевѣры и пустохвалы старины, о которой они не имѣютъ нисколько вѣрныхъ понятій, — сообразятъ послѣ того: было ли въ дѣйствительности что-либо достожелательное и достолюбезное въ томъ прошломъ положеніи, о которомъ они тужатъ и къ которому считали бы за счастье вернуться.

Теперь обратимся къ проектамъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Сколько неосновательны стремленія поправить дѣло во вкусѣ той старины, о которой люди, стремящіеся къ ней, не имѣютъ вѣрнаго понятія, столь же непрактичными представляются и нѣкоторые новые прожекты, предлагающіе различныя мѣропріятія въ самоновѣйшемъ стилѣ. Теперь большой урожай на прожекты, и прожекты новыхъ правилъ, какъ «обуздать прислугу», теперь сочиняются различными лицами «съ воли». Они предлагаютъ свои услуги

настоящимъ дѣльцамъ или безъ всякихъ заднихъ мыслей,— собственно по влеченію сердца и по неутомимой жаждѣ принести свою лепту на алтарь отечества, или же съ желаніемъ быть замѣченными и «призванными къ сему дѣлу, съ соотвѣтственнымъ вознагражденіемъ».

Между прожектами, исходящими отъ такихъ лицъ, есть одинъ очень любопытный. Прожектъ отличается оригинальностью и съ перваго раза кажется, какъ будто онъ написанъ дѣльцомъ въ самомъ настоящемъ русскомъ вкусѣ; но, къ сожалѣнію, если его разобрать и обсудить, то онъ весь начинаетъ разваливаться и отъ него не остается ничего.

Извѣстный мнѣ прожектъ предлагаетъ «установить отношенія хозяевъ съ прислугою не на сомнительной почвѣ выгодъ, а на твердой основѣ страха Божія», при чемъ «страхъ Божій» понимается сочинителемъ не такъ, какъ его слѣдуетъ понимать въ широкомъ смыслѣ, а прямо въ смыслѣ устрашенія или запугиванія.

«Бѣднѣйшимъ классамъ общества, откуда берется прислуга, — говоритъ проектъ, — надо внушить такой страхъ земныхъ и загробныхъ наказаній, чтобы люди боялись и подумать поступать противъ выгодъ хозяина». Застращивать прислугъ совѣтуютъ Богомъ, Казанскою Его Матерью, огненными серафимами, также апостоломъ Павломъ, повелѣвшимъ слугамъ повиноваться своимъ господамъ, и Іоанномъ воиномъ, возвращавшимъ владѣльцамъ бѣжавшихъ отъ нихъ рабовъ, а «въ особенности пророкомъ Иліею, котораго простолюдины уважаютъ за грознаго и боятся его до такой степени, что нигдѣ и ни за что въ его день не работаютъ».

Прожектъ этотъ трактуетъ прислугу совершенно какъ дѣтей, которыхъ легко напугать и потомъ удерживать внушеннымъ имъ страхомъ въ опредѣленной рамкѣ. Быть-можетъ, это до извѣстной степени и справедливо: Казанскую и Илью пророка нѣкоторые простолюдины, дѣйствительно, боятся, но про Іоанна воина теперь уже мало знаютъ. Но возможная вещь, что если почаще и пострашнѣе объ этомъ говорить простолюдинамъ, то такія устрашенія не останутся безъ вліянія; только не слѣдуетъ ли опасаться, что прожектъ, написанный исключительно въ пользу хозяевъ, къ удивленію автора, болѣе всего будетъ неудобенъ для самихъ же хозяевъ?

Мы позволимъ себѣ указать, гдѣ намъ видится опасность.

Прожектъ исходитъ изъ того, не совсѣмъ безспорнаго положенія, будто «русскій простолюдинъ воздерживается отъ всего дурного *только* страхомъ Божьяго наказанія, которое ожидаетъ встрѣтить въ сей или въ будущей жизни,—иначе онъ сдѣлался бы страшно наглъ и дерзокъ и съ нимъ невозможно было бы управляться». Это не совсѣмъ вѣрно или, по крайней мѣрѣ, это невѣрно въ отношеніи всѣхъ сектантовъ, извѣстныхъ въ народѣ подъ именемъ «спасеныхъ». Таковы молокане, штундисты и тѣ, которые пошли въ Россіи отъ лорда Редстока и В. А. Пашкова. Людей этихъ довольно много. Всѣ они вѣрятъ, что они «спасены чрезъ свою вѣру во Христа, искупившаго ихъ Своею кровію», и потому нимало не боятся ни ада, ни Ильи пророка. Они вѣрятъ, что Іисусъ Христосъ «ихъ спасъ», а Онъ «больше всѣхъ пророковъ». По этой вѣрѣ они живутъ совсѣмъ, «яко неимущіе страха», однакоже, они не только не впадаютъ въ худшіе пороки, чѣмъ другіе прочіе, но, по многимъ свидѣтельствамъ, отличаются примѣрнымъ поведеніемъ.

Сектантовъ этого духа есть довольно между рабочими и между домашнею прислугою, и хозяева дорожатъ ими, какъ хорошими людьми. Стало-быть, не напрасно ли такъ порочитъ весь русскій народъ, будто съ нимъ *только* и можно управляться не добромъ, а страхомъ?

Съ другой стороны, мы видимъ огромное число русскихъ простолюдиновъ, которые выросли подъ религіознымъ страхомъ и постоянно живутъ въ немъ: они соблюдаютъ все, что имъ внушено, и твердо вѣрятъ въ страшный судъ, и въ сатану, и въ хожденіе по мукамъ, гдѣ дьяволы будутъ предъявлять на нихъ «рукописанія», а между тѣмъ это не безусловно ограждаетъ ихъ отъ уклоненія отъ своихъ христіанскихъ обязанностей. Нерѣдко случается даже, что эти строго наставленные люди совершаютъ самыя гнусныя или самыя звѣрскія преступленія,—и хотя они потомъ въ этомъ каются, но нерѣдко опять скоро падаютъ.

Проектъ говоритъ: «Надо, чтобы церковь какъ можно чаще внушала черни строгія обузданія,—для чего и надлежитъ настоятельно требовать, чтобы хозяева посылали всѣхъ находящихся у нихъ въ услуженіи людей говѣть и исповѣдаться, по крайней мѣрѣ, по однажды въ годъ, и

затѣмъ не только не возбраняли бы имъ ходить по церковнымъ службамъ, но даже сами бы о томъ напоминали и посылали, по крайней мѣрѣ, непремѣнно въ вечеръ субботній ко всенощной и въ день недѣльный къ литургіи, а за хозяевами другихъ исповѣданій, содержащихъ у себя людей православныхъ,—имѣть надзоръ».

Нѣтъ сомнѣнія, что люди, находящіеся въ услуженіи, не откажутся пользоваться еженедѣльно такими отпусками въ субботній вечеръ и въ день недѣльный; но есть ли возможность ручаться, что всѣ слуги, выйдя со двора, придутъ въ церковь, а не пройдутъ мимо церкви и не очутятся въ иныхъ мѣстахъ, не соотвѣтственныхъ для молитвенныхъ цѣлей?

Далѣе, приходится сомнѣваться въ томъ, что нынѣшніе хозяева, у которыхъ «скупость» или разсчетливость теперь гораздо больше, чѣмъ въ 1719 году, найдутъ возможность исполнить такое требованіе. Люди, у которыхъ всего на все одна прислуга и она служитъ на весь домъ и по всѣмъ должностямъ, безъ сомнѣнія, встрѣтятъ большое неудобство отпускать прислугу два раза въ недѣлю къ богослуженіямъ, ибо тогда хозяевамъ съ цѣлыми семьями, а иногда еще и съ гостями, останется самимъ быть своими слугами.

Не слѣдуетъ ли опасаться, что это всего болѣе не понравится самимъ нанимателямъ и породитъ новое, очень странное и неблагопріятное для русскихъ людей положеніе: слуга католикъ, и лютеранинъ, и магометанинъ (изъ татаръ), которыхъ не мало въ самомъ Петербургѣ, и которыхъ проектъ оставляетъ безъ усмотрѣнія,—не окажутся ли болѣе удобными, чѣмъ прислуга изъ людей православнаго исповѣданія, и тогда православныхъ станутъ избѣгать или, по крайней мѣрѣ, будутъ предпочитать имъ инославныхъ и иновѣрцевъ,—а отъ этого цѣна прислугѣ изъ иновѣрцевъ возвысится, а люди изъ православныхъ станутъ дешевле?

Вотъ вопросы, отъ которыхъ невозможно отбиться человѣку, знающему бытъ и нравы своей страны.

А потому-то упомянутый проектъ, кажется, надо считать неудачнымъ, потому что, хотя онъ и благочестивъ, но онъ не благоискусенъ и не благопримѣнителенъ.

Оглавленіе

XXII ТОМА.

стр

Некрещеный попъ. Невѣроятное событіе. (Легендарный случай). Разсказъ 3

Владычный судъ. Быль (Изъ недавнихъ воспоминаній). Pendant къ разсказу «На краю свѣта» 55

Язвительный. Изъ Гостомельскихъ воспоминаній Разсказъ чиновника особыхъ порученій 114

Продуктъ природы. 134

Домашняя челядь. Историческія справки по современному вопросу 150

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ДВАДЦАТЬ ТРЕТІЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСЪ, Пзмайл. пр., № 29.

НА НОЖАХЪ.

РОМАНЪ ВЪ ШЕСТИ ЧАСТЯХЪ.

Часть первая.

БОЛЬ ВРАЧА ИЩЕТЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Отступница.

Въ губернскомъ городѣ N есть довольно большой деревянный домъ, принадлежащій господамъ Висленевымъ, Іосафу Платоновичу, человѣку лѣтъ тридцати пяти, и сестрѣ его, Ларисѣ Платоновнѣ, дѣвушкѣ по двадцатому году. Домъ этотъ, просторный и барскій, былъ бы вовсе бездоходенъ, если бъ его владѣльцы захотѣли жить въ немъ, не стѣсняясь. Въ немъ девять комнатъ, по старорусскому дворянскому обычаю расположенныхъ такъ, что двумъ семействамъ въ нихъ никакъ размѣститься невозможно. Родители нынѣшнихъ владѣльцевъ строили домъ для себя и не предвидѣли никакой нужды извлекать изъ него какіе бы то ни было доходы, а потому и планировали его, что называется, по своей фантазіи. Старикамъ не было и нужды стѣснять себя, потому что у нихъ по старинѣ были хорошіе доходы съ доходнаго мѣста. При извѣстной безпечности, вообще свойственной русской натурѣ, доходамъ этимъ не предвидѣлось конца, а онъ вдругъ и пришелъ: старикъ Платонъ Висленевъ, совѣтникъ одной изъ губернскихъ палатъ, легъ однажды спать и не проснулся. Вдова его нашла въ бюро мужа очень небольшую сумму денегъ и получила тоже очень небольшой пенсіонъ. Всѣмъ этимъ

прожить было невозможно, тѣмъ болѣе, что приходилось воспитывать нынѣшнихъ владѣльцевъ дома, Іосафа Платоновича, бывшаго тогда въ шестомъ классѣ гимназіи, и Ларису Платоновну, оставшуюся въ совершенномъ малолѣтствѣ. Домъ надо было сдѣлать изъ бездоходнаго доходнымъ. Съ этою цѣлью вдова Висленева построила во дворѣ, окнами въ садъ, флигелекъ въ пять небольшихъ комнатъ, и сама съ дѣтьми поселилась въ этомъ флигелькѣ, а большой домъ начала отдавать внаймы. Съ этихъ поръ доходы ея стали таковы, что она могла содержать сына въ гимназіи, а потомъ и въ университетѣ, а дочь добрые люди помогли устроить въ институтъ на казенный счетъ. Вдова Висленева вела жизнь аккуратную и разсчетливую, и съ тяжкою нуждой не зналась, а отсюда въ губернскихъ кружкахъ утвердилось мнѣніе, что доходы ея отнюдь не ограничиваются домомъ да пенсіей, а что у нея, кромѣ того, конечно, есть еще и капиталъ, который она тщательно скрываетъ, приберегая его на приданое Ларисѣ. Доходили такіе слухи и до самой вдовы, и она ихъ, по общему мнѣнію, опровергала очень слабо: старушка имѣла въ виду, что эти толки ей не повредятъ. Семь лѣтъ тому назадъ, подозрѣнія насчетъ таинственнаго ларца вдовы Висленевой получили еще новое и для мѣстныхъ прозорливцевъ неотразимое подтвержденіе. Іосафъ Платоновичъ Висленевъ, тотчасъ по окончаніи университетскаго курса, пріѣхалъ домой, и только что было опредѣлился на службу, какъ вдругъ его ночью внезапно арестовали, обыскали и увезли куда-то по политическому дѣлу. Спасенія и возврата его никто не чаялъ, его считали погибшимъ навѣки, при чемъ губернскому человѣчеству были явлены новыя доказательства человѣческаго, или, собственно говоря, женскаго коварства и предательства, со стороны одной молодой, но, какъ всѣ рѣшили, крайне испорченной и корыстной дѣвушки, Александры Ивановны Гриневичъ. Выручилъ же Іосафа Висленева материнъ заповѣдный ларецъ. Дѣло объ этомъ предательствѣ требуетъ подробнаго объясненія.

Іосафъ Платоновичъ Висленевъ еще чуть не съ пятнадцати лѣтъ былъ влюбленъ въ дочь нанимавшаго ихъ домъ инспектора врачебной управы Гриневича. Близкіе люди считали эту любовь большимъ несчастіемъ для моло-

дого человѣка, подававшаго блестящія надежды. Считали это несчастіемъ, конечно, не потому, чтобы кто-нибудь признавалъ Сашеньку Гриневичъ, тогда еще дѣвочку, недостойною современемъ хорошей партіи, но потому, что взаимное тяготѣніе дѣтей обнаружилось слишкомъ рано, такъ что предусмотрительные люди имѣли основаніе опасаться, чтобы такая ранняя любовь не помѣшала молодому человѣку учиться, окончить курсъ и стать на хорошую дорогу.

Опасенія, и понятныя, и умѣстныя, на этотъ разъ, какъ рѣдкое, быть-можетъ, исключеніе, оказались излишними. Любовь Іосафа Платоновича Висленева къ Александрѣ Ивановнѣ Гриневичъ не помѣшала ему ни окончить съ золотою медалью курсъ въ гимназіи, ни выйти однимъ изъ первыхъ кандидатовъ изъ университета. Пока молодой Висленевъ былъ въ гимназіи, а Александра Ивановна ходила въ пансіонъ, родители не препятствовали ихъ юной привязанности. Когда Висленевъ уѣхалъ въ университетъ, между нимъ и Сашей Гриневичъ, оставившей въ это время пансіонскіе уроки, установилась правильная переписка, которой никто изъ родителей не заботился ни пріостанавливать, ни провѣрять. Все это за обычай стало дѣломъ, имѣющимъ правильное теченіе, которое, какъ всѣ вѣрили, должно завершиться вѣнцомъ.

Родители Сашеньки имѣли про черный день состояньице, правда, очень небольшое, но во всякомъ случаѣ обезпечивавшее ихъ дочери безбѣдное существованіе. Такимъ образомъ Сашенька, которая была недурна собой, очень способна, училась хорошо, нравъ имѣла веселый и кроткій, чѣмъ она не невѣста? Іосафъ Висленевъ молодецъ собой, имѣлъ домъ, университетское образованіе: стало быть, чѣмъ же онъ не женихъ? Матери очень многихъ дѣвицъ, поставленныхъ гораздо лучше, чѣмъ дочь доктора Гриневича, и гораздо положительнѣе ея обезпеченныхъ, не пренебрегли бы такимъ женихомъ, какъ Висленевъ, а Сашенькѣ Гриневичъ партія съ Висленевымъ, по всеобщему приговору, была просто кладъ, за который эта дѣвушка должна была держаться крѣпче.

По общимъ замѣчаніямъ, Сашенька понимала свою пользу и держалась, за что ей слѣдовало держаться, превосходно. Говорили, что надо было дивиться ея такту и уму, твер-

дымъ и разсчетливымъ даже не по лѣтамъ. Съ Іосафомъ Платоновичемъ она не всегда была ровна, и даже подчасъ для самаго ненаблюдательнаго взгляда было замѣтно, что между ними пробѣгали легкія тѣни.

— Наши дѣти дуются,—говорили другъ другу ихъ матушки, бывшія между собою друзьями.

Дѣти дулись, но ихъ никто не мирилъ и никто не уговаривалъ; за ними, однако, наблюдали со вниманіемъ, и очень радовались, когда ссора прекращалась и между ними возстанавливалась дружба и согласіе, а это случалось всегда немедленно послѣ того, какъ Іосафъ Висленевъ, переломивъ свою гордость и изыскавъ удобную минуту уединеннаго свиданія съ Сашей, просилъ у нея прощенія.

Въ чемъ заключались тѣ вины Іосафа Висленева, которыя Александра Ивановна разрѣшала и отпускала ему не иначе какъ послѣ покаянія? Это оставалось тайной, этого никто изъ родныхъ и домашнихъ не зналъ, да и не усливался проникнуть. Однажды лишь одной досужей сосѣдкѣ вдовы Висленевой удалось подслушать, какъ Саша журила Іосафа Платоновича за его опыты въ стихотворствѣ. Это многихъ возмутило и показалось капризомъ со стороны Саши, но Іосафъ Платоновичъ самъ сознался матери, что онъ писалъ въ стихахъ ужасный вздоръ, который, однако, отразился вредно на его учебныхъ занятіяхъ въ классѣ, и что онъ даже очень благодаренъ Сашѣ за то, что она вернула его къ настоящему дѣлу.

Это разъ навсегда примирило мать Висленева съ тѣнями въ отношеніяхъ Саши къ Іосафу Платоновичу, и вдова не преминула, кому только могла, разсказать о Сашенькиной солидности.

Солидности этой, однако, не всѣми была дана одинаковая оцѣнка, и многіе построили на ней заключенія, невыгодныя для характера молодой дѣвушки. Нѣкоторыя молодыя дамы, напримѣръ, называли это излишнею практичностью и жесткостью: по ихъ мнѣнію, Саша, имѣй она душу живую и воспріимчивую, какую предполагаетъ въ себѣ каждая провинціальная дама, не убивала бы поэтическіе порывы юноши, а поддержала бы ихъ: женщина должна вдохновлять, а не убивать вдохновеніе.

Вдова Висленева не внимала этимъ рѣчамъ, ей не легко

было содержать сына въ школѣ и потому она страшно боялась всего, что угрожало его успѣхамъ, и осталась на сторонѣ Саши, которою такимъ образомъ была одержана первая солидная побѣда намъ всѣми желавшими соперничать съ нею въ семьѣ жениха.

Старыя дамы глядѣли на дѣло съ другой стороны, и, прозирая вдаль, предсказывали утвердительно одно, что Саша раньше времени беретъ Іосафа Платоновича подъ башмакъ и отнынѣ будетъ держать цѣлую жизнь подъ башмакомъ.

Мать Висленева явила столько характера, что не смущалась и такими предсказаніями и, махая рукой, отвѣчала, что «Улита ѣдетъ, а когда-то будетъ!»

Мать Александры Ивановны, въ свою очередь, пробовала допрашивать дочь, за что она порой недовольна на Висленева; но Саша обыкновенно кротко отвѣчала:

— Такъ, за пустяки, maman!

— Такъ за пустяки, мой другъ, зачѣмъ же сердиться? Споры во всякомъ случаѣ не красятъ жизнь, а темнятъ ее.

— Ну, мамочка, повѣрьте мнѣ, что я не хочу же, чтобъ его жизнь мрачилась, а, напротивъ, желаю ему счастія и...

Дѣвушка потупилась и замолчала.

— И что, Alexandrine?—допросила ее мать, положивъ на колѣни свое шитье и вскинувъ на лобъ черепаховыя очки.

— И я, maman, сама стыжусь безпрестанныхъ размолвокъ и страдаю отъ нихъ больше, чѣмъ онъ. Вѣрьте, что я тысячу разъ сама охотнѣе просила бы у него извиненія... я сдѣлала бы все, чего бы онъ только захотѣлъ, если бъ я... была виновата!

— Предъ нимъ?

— Нѣтъ, maman, не предъ нимъ... этого я даже не допускаю, но предъ правдой, предъ долгомъ, предъ его матерью, которой онъ такъ обязанъ. Повѣрь, maman, что все, что въ этомъ отношеніи въ немъ для другихъ мелко и ничтожно, то... для меня ужасно видѣть въ немъ. Онъ...—проговорила Саша и снова замялась.

Старая Гриневичъ посмотрѣла на дочь пристальнымъ взглядомъ и тихо поманила ее къ себѣ.

Дѣвушка опустилась колѣнами на скамейку, стоявшую у ногъ матери, и, взявъ ея руки, поцѣловала ихъ.

Старуха откинула набѣжавшія на лобъ дочери каштановые кудри и вперила пристальный взглядъ въ ея большіе глаза.

— Скажи мнѣ, что онъ дѣлаетъ, мой другъ?—прошептала мать.

— Мама, дружокъ мой, не спрашивай меня объ этомъ, это, можетъ-быть, въ самомъ дѣлѣ все пустяки, которые я преувеличиваю; но ихъ... какъ тебѣ, мама, выразить, не знаю. Онъ хочетъ любить то, чего любить не можетъ, онъ вѣритъ тѣмъ, кому не довѣряетъ; онъ слушается всѣхъ и никого... Родная! прости мнѣ, что я тебя встревожила, и забудь о моей болтовнѣ.

Когда пріѣзжалъ на каникулы Іосафъ Висленевъ изъ университета, онъ и Саша встрѣчались другъ съ другомъ каждый разъ чрезвычайно тепло и нѣжно, но въ то же время было замѣчено, что съ каждой побывкою Висленева домой радость свиданія съ Сашей охладѣвала. Тѣней и прежнихъ полудѣтскихъ ссоръ теперь, правда, не было, но зато ихъ въ молодой дѣвушкѣ замѣнили сдержанность и самообладаніе и въ рѣчи, и въ пріемахъ. Впрочемъ, было ясно, что это была только сдержанность, а не измѣна въ чувствахъ. Опытный и зоркій взглядъ, наблюдая молодыхъ людей, могъ замѣтить, что они любили другъ друга попрежнему, а Саша еще и больше прежняго. Чѣмъ дальше Висленевъ уклонялся отъ ея идеала, тѣмъ сильнѣе овладѣвалъ ея сердцемъ, ея волею и ея помыслами. Такъ любятъ въ жизни разъ, далеко предъ тою порой, когда любовь послушна разуму.

Любовь, самая чистая, самая преданная, сказывалась у Саши вниманіемъ ко всѣмъ вѣстямъ, касавшимся Висленева, выливалась въ пространнѣйшихъ письмахъ, которыя она ему писала аккуратно каждую недѣлю.

Но вотъ прекратились и письма. Отчего и какъ? Это опять оставалось ихъ же секретомъ, но корреспонденція прекратилась, и на лбу у Саши между бровями стала набѣгать тонкая морщинка.

Такъ стояли дѣла въ послѣдній годъ пребыванія Висленева въ университетѣ, когда Сашѣ Гриневичъ только-что минуло восемнадцать лѣтъ, а ему исполнилось двадцать четыре года. Окончательно же Висленевъ потерялъ свою невѣсту слѣдующимъ образомъ.

Пріѣхалъ Висленевъ домой, опредѣлился на службу въ губернскую канцелярію; служитъ, сводитъ знакомства. Саша выѣзжаетъ мало, однако и не избѣгаетъ выѣздовъ, показывается съ другими на губернскихъ вечерахъ, раутахъ; и весела она, и спокойна, и не отказывается отъ танцевъ. Съ Висленевымъ холодна. Въ городѣ рѣшили, что дѣло между ними кончено. Разныя лица, то самой Сашѣ, то ея родителямъ начали дѣлать предложенія. Сначала ея руки искалъ генералъ Синтянинъ, если не очень важное, то очень вліятельное лицо въ районѣ губерніи, вдовецъ, съ небольшимъ пятидесяти лѣтъ, имѣющій хорошее содержаніе и двухлѣтнюю глухонѣмую дочь. Предложеніе генерала было отклонено, чему, впрочемъ, никто и не удивился, потому что хотя Синтянинъ еще бодръ, и свѣжъ, и даже ловокъ настолько, что не боялся соперничества молодыхъ людей въ танцахъ, но про него шла ужасная слава. Помнили, что когда онъ, десять лѣтъ тому назадъ, пріѣхалъ сюда изъ Петербурга въ первомъ штабъ-офицерскомъ чинѣ, онъ привезъ съ собою экономку Эльвиру Карловну, чрезвычайно кроткую петербургскую нѣмку. Эльвира Карловна не была принята нигдѣ во всѣ годы, которые она провела въ должности экономки у генерала. Красотою ея, хотя и довольно стереотипною по безпредѣльной кротости выраженія, можно было любоваться только случайно, когда она, глядя въ окно, смаргивала съ глазъ набѣгавшія на нихъ слезы, или когда изъ-за оконной ширмы видно было ея вздрагивающее плечо. Она была всегда если не въ слезахъ, то въ страхѣ,—такъ ее всѣ себѣ и представляли, и связывали это представленіе съ характеромъ генерала Синтянина. А какой это былъ характеръ, про то Богъ одинъ вѣдалъ, хотя по наружности и пріемамъ генералъ былъ человѣкъ очень мягкій, даже черезчуръ мягкій. Для женщинъ Синтянинъ былъ особенно антипатиченъ, потому что онъ на словахъ былъ неумытно строгъ къ нравамъ: трактовалъ женщинъ несовершеннолѣтними, требующими всегдашней опеки, и цинически говорилъ, что «любитъ видѣть, какъ женщина плачетъ». Ко всему же этому у генерала Синтянина, человѣка очень стройнаго и высокаго роста, при правильномъ и блѣдномъ матовомъ лицѣ и при очень красиво-павшихъ сѣдинахъ, были ужасные, леденящіе глаза, неопредѣленнаго, темно-сѣраго цвѣта, безъ малѣйшаго от-

блеска. Такой цвѣтъ имѣетъ пухъ подъ крыльями совъ. Свыкнуться съ этими глазами было невозможно.

Но и этого мало: генералъ Синтянинъ нашелъ еще средство возстановить противъ себя всѣхъ женщинъ города однимъ поступкомъ, котораго неловкость даже самъ сознавалъ и для объясненія котораго снизошелъ до того, что предпослалъ ему нѣкоторыя оправданія, несмотря на небреженіе свое къ общественному мнѣнію.

Дѣло въ томъ, что у Эльвиры Карловны, въ то время, когда она пріѣхала съ Синтянинымъ изъ Петербурга, была десятилѣтняя дочь, Флора, отъ законнаго брака Эльвиры Карловны съ бѣднымъ ювелирнымъ подмастерьемъ изъ нѣмцевъ, покинутымъ женою въ Петербургѣ, неизвѣстно за что и почему! (Конечно, «не сошлись характерами»). Когда дѣвочкѣ минуло одиннадцать лѣтъ, ее стали посылать въ пансіонъ. Генералъ въ качествѣ «благодѣтеля» вносилъ за нее деньги, а черезъ семь лѣтъ неожиданно вздумалъ завершить свои благодѣянія, сдѣлавъ ее своею законною женой «предъ лицомъ неба и людей». Таково было его собственное выраженіе.

Пустыхъ и вздорныхъ людей этотъ бракъ генерала тѣшилъ, а умныхъ и честныхъ, безъ которыхъ, по писанію, не стоитъ ни одинъ городъ, этотъ союзъ возмутилъ; но генералъ сумѣлъ смягчить непріятное впечатлѣніе своего поступка, объявивъ тамъ и сямъ подъ рукой, что онъ женился на Флорѣ единственно для того, чтобы, въ случаѣ своей смерти, закрѣпить за нею и за ея матерью право на казенную пенсію, безъ чего онѣ могли бы умереть съ голоду.

Объясненіе это произвело свое впечатлѣніе и даже пріобрѣло генералу въ губернскомъ обществѣ ретивыхъ защитниковъ, находившихъ бракъ его дѣломъ очень благороднымъ и предусмотрительнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, бѣдная по состоянію, безвѣстная по происхожденію, запуганная Флора едва ли бы могла сдѣлать себѣ партію выше генеральскаго писаря.

Большинство общества рѣшило, что Флорѣ все-таки гораздо лучше быть генеральшею, чѣмъ писаршей, и большинство этимъ удовольствовалось, а меньшинство, содержащее необходимую для стоянія города «праведность трехъ», только покивало головами и пріумолкло.

Дѣло во всякомъ случаѣ совершено, и никто не былъ властенъ въ немъ ничего ни поправлять, ни перерѣшать. Домъ генерала всегда былъ запертъ для всѣхъ. Далѣе генеральскаго кабинета, куда къ нему являлись разные люди по дѣламъ, въ дальнѣйшіе его апартаменты не проникалъ никто. Съ женитьбой генерала ничто не перемѣнилось. Синтянинъ и вѣнчался съ Флорой тихо, безъ всякой помпы, въ походной церкви перехожаго армейскаго полка; визитовъ съ женой никому не дѣлалъ, и ни жена его, ни теща попрежнему не показывались нигдѣ, кромѣ скромной приходской церкви. Онѣ обѣ перемѣнили лютеранство на православіе и были чрезвычайно богомольны, а можетъ-быть даже и религіозны. Пелены, занавѣсы, орари и воздухи приходской церкви—все это было сдѣлано ихъ руками, и приходское духовенство считало Флору и ея мать ревностнѣйшими прихожанками.

Такъ прошло десять лѣтъ. Городъ привыкъ видѣть и не видать скромныхъ представительницъ генеральскаго семейства, и праздным людямъ оставалось одно удовольствіе рѣшать: въ какихъ отношеніяхъ находятся при генералѣ мать и дочь, и нѣтъ ли между ними соперничества? Соперничества между ними, очевидно, не было, и онѣ были очень дружны. Къ концу десятаго года замужества Флорѣ, или по нынѣшнему Аннѣ Ивановнѣ, Богъ далъ глухонѣмую дочку, которую назвали Вѣрой.

Эльвиры Карловны скоро не стало. Густой, черный вуаль Флоры, никогда не открывавшійся на улицѣ и часто спущенный даже въ темномъ углу церкви, былъ поднятъ, когда она стояла посреди храма у изголовья гроба своей матери. На бѣдную Флору смотрѣли жадно и со вниманіемъ, и она, доселѣ по общему признанію считавшаяся некрасивою, къ удивленію, не только никому отнюдь не казалась дурною, но напротивъ, кроткое, блѣдное, съ легкимъ золотистымъ подцвѣтомъ лицо ея, и ея черные, глубокіе глаза, направленные на одну точку открытыхъ вратъ алтаря, были найдены даже прекрасными.

Старый священникъ, отецъ Гермогенъ, духовникъ усопшей Эльвиры Карловны, духовникъ и Флоры, когда ему замѣтили, что послѣдняя такъ неожиданно похорошѣла, отвѣчалъ: «не такъ вы выражаетесь, она просіяла».

Флора не плакала и не убивалась при материномъ гробѣ,

и поцѣловала лобъ и руку покойницы съ такимъ спокойствіемъ, какъ будто здѣсь вовсе и не шло дѣло о разлукѣ. Да оно и въ самомъ дѣлѣ не имѣло для Флоры значенія разлуки: онѣ съ матерью шли другъ за другомъ.

Черезъ мѣсяцъ послѣ похоронъ Эльвиры Карловны въ той же церкви отпѣвали Флору. Быстрая, хотя и очень спокойная кончина ея дала поводъ къ нѣкоторымъ толкамъ, еще болѣе увеличивавшимъ общій страхъ къ характеру генерала Синтянина. Какъ ни замкнутъ былъ для всѣхъ домъ Синтянина, но все-таки изъ него дошли слухи, что генералъ, узнавъ, по чьему-то доносу, что у одного изъ писарей его канцеляріи, мараковавшаго живописью, есть поясной портретъ Флоры, сдѣланный съ большимъ сходствомъ и искусствомъ, потребовалъ этотъ портретъ къ себѣ, долго на него смотрѣлъ, а потомъ тихо и спокойно выкололъ на немъ письменными ножницами глаза и поставилъ его на каминѣ въ комнатѣ своей жены. Что же касается до самого художника, то онъ былъ отчисленъ отъ канцеляріи генерала и отданъ въ другую команду, въ чьи-то суровыя руки; несчастный не вынесъ тяжкой жизни, зачахъ и умеръ. Предъ кончиною онъ не хотѣлъ причащаться изъ рукъ госпитальнаго священника, а просилъ призвать къ нему всегдашняго духовника его, отца Гермогена; исповѣдался ему, причастился и умеръ такъ спокойно, какъ, по замѣчанію нѣкоторыхъ врачей, умѣютъ умирать одни русскіе люди. Черезъ недѣлю этому же отцу Гермогену исповѣдала грѣхи свои и отходившая Флора, а двое сутокъ позже, тотъ же отецъ Гермогенъ, выйдя къ аналою, чтобы сказать надгробное слово Флорѣ, взглянулъ въ тихое лицо покойницы, вздрогнулъ, и, быстро устремивъ взоръ и руки къ стоявшему у изголовья гроба генералу, съ нѣмымъ ужасомъ на лицѣ воскликнулъ: «Отче благій: она молитъ Тебя: молитвъ ея ради ими же вѣси путями спаси его!» и больше онъ не могъ сказать ничего, заплакалъ, замахалъ руками и сталъ совершать отпѣваніе.

Генералъ Синтянинъ овдовѣлъ и остался жить одинъ съ глухонѣмою дочкой;—ему показалось очень скучно: онъ нашелъ, что для него не поздно еще одинъ разъ жениться, и сдѣлалъ предложеніе Александрѣ Ивановнѣ Гриневичъ. Та, какъ выше сказано, предложеніе это отклонила, и генералъ болѣе за нее не сватался; но въ это же время отецъ

Саши, старый инспекторъ Гриневичъ, ни сѣло ни пало, получилъ безъ всякой просьбы чистую отставку. Въ городѣ проговорили, что это не безъ Синтянинской руки, но какъ затѣмъ доктору Гриневичу, неповинному ни въ чемъ, кромѣ мелкихъ взятокъ по должности (что не считалось тогда ни грѣхомъ, ни покоромъ), опасаться за себя не приходилось, то ему и на мысль не вспадало робѣть предъ Синтянинымъ, а тѣмъ болѣе жертвовать для его прихоти счастіемъ дочери. Объ этомъ и рѣчи не было въ семейныхъ совѣтахъ Гриневичей. Они только сократили свои расходы, и продолжали жить тихо и смирно на свои очень умѣренныя средства. Люди ихъ, однако, не позабывали, и женихи къ Alexandrine сватались и бѣдные, и богатые, и не знатные, и для губернскаго города довольно знатные, но Сашенька всѣмъ имъ отказъ и отказъ. Благодаритъ и отвѣчаетъ, что она замужъ не хочетъ, что ей весело съ отцомъ и съ матерью. Ее, наконецъ, и оставили въ покоѣ. Прошелъ другой годъ, какъ уже Висленевъ служилъ, и вдругъ разражается надъ нимъ туча: его арестовываютъ и увозятъ; старуха мать его, съ страшномъ отчаяніи, спѣшитъ въ Петербургъ, ходитъ тамъ, хлопочетъ, обиваетъ пороги, и все безуспѣшно. «Іосафу спасенья нѣтъ», пишетъ она родной сестрѣ, майоршѣ, Катеринѣ Астафьевнѣ Форовой. Вѣсть эта, разумѣется, содержится въ секретѣ, но, однако, Катерина Астафьевна не таитъ ее отъ Гриневичей, потому что это все равно, что одна семья.

Старикъ Гриневичъ, врачъ стараго закала, лѣчившій людей бузиной да ромашкой, и то перекрестясь, и писавшій вверху рецептовъ: «cum Deo», развѣдавъ, въ чемъ заключается вина Іосафа Платоновича, и узнавъ, что съ нимъ и по его винѣ обречены къ страданіямъ многіе, поморщился и сказалъ дочери:

— Ну, знаешь, Саша, воля твоя, я хотя Висленевымъ старый другъ и очень жалѣю Іосафа Платоновича, но хотѣлось бы мнѣ умереть съ увѣренностью, что ты за него замужъ не пойдешь.

— Ваша воля, папа, будетъ исполнена,—спокойно отвѣчала Саша.

Старикъ даже подскочилъ на мѣстѣ: онъ считалъ свою дочь очень доброю, благоразумною, но такого покорнаго отвѣта, такого спокойнаго согласія не ожидалъ отъ нея.

— Я тебя, Саша, совсѣмъ не стѣсняю и не заклинаю... Нѣтъ, нѣтъ! Спаси меня отъ этого, Боже!—продолжалъ онъ, крестясь и поднимая на лобъ очки,—покидать человѣка въ несчастіи недостойно. И пожелай ты за него выйти, я, скрѣпя сердце, дамъ согласіе. Можетъ-быть, даже сами со старухою пойдемъ за тобой, если не отгонишь, но...

— Да полно тебѣ, Иванъ Петровичъ, на старости лѣтъ романическія слова говорить!—остановила его жена.

— Нѣтъ, постой,—продолжалъ докторъ.—Это не романъ, а дѣло серьезное. Но если, другъ мой Сашенька, взвѣсить, какъ ужасно предъ совѣстью и предъ честными людьми это ребячье легкомысліе, которое ничѣмъ нельзя оправдать и отъ котораго теперь плачутъ столько матерей и томятся столько юношей, то...

— Я понимаю, папа, что это грѣхъ и преступленіе.

— И хорошо еще, если онъ глубоко, искренно вѣрилъ тому, что гибель тѣхъ, кого губилъ онъ, нужна, а если же къ тому онъ искренно не вѣрилъ въ то, что дѣлалъ... Нѣтъ, нѣтъ! не дай мнѣ видѣть тебя за нимъ,—вскричалъ онъ, вскочивъ и дѣлая шагъ назадъ.—Нѣтъ, я отрекусь отъ тебя, и если Богъ покинетъ меня силою терпѣнья, то... я вѣдь еще про всякій случай врачъ и своею собственною рукой выпишу pro me acidum borussicum.

Старикъ закрылъ одною рукой глаза, а другою затрясъ въ воздухѣ, какъ будто отгоняя отъ себя страшное видѣніе, и отвернулся.

Саша приблизилась къ отцу, отвела тихо его руку отъ глазъ, прижала его голову къ своей груди и, поцѣловавъ отца въ лобъ, тихо шепнула ему:

— Успокойся, успокойся, мой добрый папа. Чего ты не хочешь, того не будетъ.

Саша въ обыкновенномъ, спокойномъ, житейскомъ разговорѣ съ отцомъ и матерью всегда говорила имъ *вы*; но когда заходила рѣчь отъ сердца, она безнамѣренно устраняла это *вы* и говорила отцу и матери дружеское *ты*.

— Нѣтъ,—заговорилъ опять, успокоившись, старикъ:— ты какъ слѣдуетъ пойми меня, дитя мое. Я вѣдь отнюдь не упрашиваю тебя сдѣлаться эгоисткой! Напротивъ, я заповѣдываю тебѣ, жертвуй собой, дитя мое, жертвуй собой на пользу ближняго и не возносись своей чистотой. Правому нечего гордиться предъ неправыми, ибо неправый

можетъ исправиться, ибо въ живой душѣ всегда возможно обновленіе. Неодолимымъ страстямъ есть извѣстное оправданіе въ ихъ силѣ и неодолимости; но съ человѣкомъ, у котораго нѣтъ... вовсе этого... какъ бы это тебѣ назвать... съ человѣкомъ...

— Безнатурнымъ, ты хочешь сказать?

— Да; вотъ именно ты это прекрасно выразила, съ безнатурнымъ человѣкомъ только измаешься и наконецъ сдѣлаешься тѣмъ, чѣмъ никогда не хотѣла бы сдѣлаться.

Весь слѣдующій день Саша провела въ молитвѣ тревожной и жаркой: она не умѣла молиться тихо и въ спокойствіи; а на другой, на третій, на четвертый день она много ходила, гуляла, думала, и наконецъ въ сумерки пятаго дня вошла въ залу, гдѣ сидѣлъ ея отецъ, и сказала ему:

— Нѣтъ, знаешь что, папа: изъ всѣхъ твоихъ совѣтовъ я способна принять только одинъ.

— Скажи какой, дитя мое?

— Лучше сдѣлать что-нибудь съ расчетомъ и упованіемъ на свои силы, чѣмъ браться за непосильную ношу, которую придется бросить на половинѣ пути. Я положила себѣ предѣлъ самый малый: я пойду замужъ за человѣка благонадежнаго, обезпеченнаго, который не потребуетъ отъ меня ни жертвъ, ни пылкой любви, къ которой я неспособна.

Старикъ щелкнулъ пальцемъ по табакеркѣ, потянулъ носомъ большую понюшку и, обмахнувшись энергически платкомъ, взглянулъ на дочь и спросилъ:

— Ты, Александра, это шутишь? За кого это ты собираешься?

— Папа, я иду за генерала.

Старый Гриневичъ взглянулъ на дочь и тихо шепнулъ:

— Полно, Саша, шутить!—перекрестилъ ее и пошелъ въ свой маленькій кабинетикъ.

Онъ былъ увѣренъ, что весь этотъ разговоръ веденъ его дочерью просто ради шутки; но это была съ его стороны большая ошибка, которая и обнаружилась на другой же день, когда старикъ и старуха Гриневичи сидѣли вмѣстѣ послѣ обѣда въ садовой бесѣдкѣ, и къ нимъ совершенно неожиданно подошла дочь вмѣстѣ съ генераломъ Синтянинымъ и попросила благословенія на бракъ.

— Да-съ, вы насъ благословите-съ!—прибавилъ тихимъ,

но металлическимъ голосомъ генералъ и, немного сморщась, согнулъ свои ноги и опустился рядомъ съ Сашей на колѣни.

Старики растерялись и тутъ же благословили.

Объясненія, которыя послѣ этого послѣдовали у нихъ наединѣ съ дочерью, были по обычаю очень кратки и не выяснили ничего кромѣ того, что Сашѣ бракъ съ Синтянинымъ приходится болѣе всего по мыслямъ и по сердцу. Говорить болѣе было не о чемъ, и дочь Гриневича была обвѣнчана съ генераломъ.

По поводу этой свадьбы пошли самые разнообразные толки. Поступокъ молодой генеральши объясняли алчностью къ деньгамъ и низостью ея характера, и за то предсказывали ей скорую смерть, какъ одной изъ женъ Рауля Синей Бороды; но объясненія остаются и доселѣ въ области догадокъ, а предсказанія не сбылись.

Теперь уже прошло восемь лѣтъ со дня свадьбы, а Александра Ивановна Синтянина жива и здорова, и даже отнюдь не смотритъ надгробною статуей, съ которой сравнивали Флору. Александра Ивановна, напротивъ, и полна, и очень авантажна, и всегда находитъ въ себѣ силу быть въ мѣру веселою и разговорчивою.

Въ чемъ заключается этотъ секретъ полнѣть и не распадаться въ несчастіи? (А что Александра Ивановна была несчастлива, въ томъ не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія. Это было признано всѣми единогласно).

— Она безчувственная деревяжка,—говорили одни, думая все разрѣшить этимъ приговоромъ.

— Она сустна, мелка и фальшива; для нея совершенно довольно того, что она теперь генеральша,—утверждали другіе.

— Да; но отчего же она не шла за Синтянина, когда онъ прежде просилъ ея руки?—ставили вопросъ скептики для поддержанія разговора.

— О, это такъ просто: ей тогда нравился Висленевъ, а когда бѣдный Жозефъ попалъ въ бѣду, она предпочла любви выгодный бракъ. Дѣло простое и понятное.

— Совершенно! Два заключенія здѣсь невозможны.

Что она не любила Висленева или очень мало любила, это вполнѣ доказывается тѣмъ, что даже внезапное извѣстіе объ освобожденіи его и его товарищей съ удаленіемъ на

время въ отдаленныя губерніи вмѣсто Сибири, которую имъ пророчили, Синтянина приняла съ деревяннымъ спокойствіемъ, какъ-будто какую-нибудь самую обыкновенную вѣсть. Она даже вѣнчалась именно въ тотъ самый день, когда отъ Висленева получилось письмо, что онъ на свободѣ, и вѣнчалась (какъ говорятъ), имѣя при себѣ это письмо въ носовомъ платкѣ. Ея безчувственность, впрочемъ, едва ли и потомъ нуждалась въ какихъ-нибудь подтвержденіяхъ, такъ какъ вскорѣ стало извѣстно, что когда ей однажды, по порученію старой Висленевой, своякъ послѣдней, отставной майоръ Филетеръ Ивановичъ Форовъ, прочелъ вслухъ письмо, гдѣ мать несчастнаго Іосафа горько укоряла измѣнницу и называла ее «змѣей предательницей», то молодая генеральша выслушала все это спокойно, и по окончаніи письма сказала майору:

— Филетеръ Ивановичъ, не хотите ли закусить?

Добрыя и искреннія чувства въ молодой генеральшѣ не допускались, хотя лично она никому никакого зла не сдѣлала, и съ первыхъ же дней своего брака не только со вниманіемъ, но и съ любовью занималась своею глухо-нѣмою падчерицей,—дочерью умершей Флоры;—но это ей не вмѣнялось въ заслугу, точно всякая другая на ея мѣстѣ сдѣлала бы несравненно больше. Говорили, что это для нея самой служитъ развлеченіемъ, такъ какъ двое собственныхъ ея дѣтей, которыхъ она имѣла въ первые годы замужества, умерли въ колыбельномъ возрастѣ. Отца и мать своихъ любила Синтянина, но вѣдь они же были и превосходные люди, которыхъ не за что было не любить; да и то, по отношенію къ нимъ, у нея, кажется, былъ на устахъ медокъ, а на сердцѣ ледокъ. По крайней мѣрѣ носились слухи, что будто, вскорѣ послѣ замужества Александры Ивановны, генералъ ея супругъ вызвался исходатайствовать ея отцу сго прежнее служебное мѣсто, но генеральша будто даже отклоняла это, хотѣла погордиться на стариковскій счетъ.

И въ самомъ дѣлѣ, нѣчто въ этомъ родѣ было, но было вотъ какъ: Гриневичъ посовѣтовался съ дочерью, принять или не принять обязательное предложеніе?

Она спокойно отвѣчала отцу, что можно принять и не принять.

— То-то, кажется нѣтъ зазора принять!—резонировалъ старикъ.

— Пожалуй, зазора нѣтъ,—отвѣтила ему дочь.
— А не принять какъ-будто еще достойнѣе?
— А ужъ про это и говорить нечего.
— Такъ я самъ лучше поблагодарю и не приму?
— Сдѣлавши такъ, ты, папа, поступишь, какъ слѣдуетъ.
— Правда: вѣдь я, дитя мое, ужъ старъ.
— Конечно, тебѣ ужъ шестьдесятъ пять лѣтъ!
— Ну да, ужъ не до службы, а денегъ хоть и мало...
— Да не на что тебѣ ихъ больше, папа.
— Совершенная правда! ты пристроилась, а мы стары. Нѣтъ; да мимо меня идетъ чаша сія!—рѣшилъ, махнувъ рукой, старый Гриневичъ и отказался отъ мѣста, сказавъ: что мѣста нужны молодымъ, которые могутъ быть на службѣ гораздо полезнѣе старика, а мнѣ-де пора на покой; и черезъ годъ съ небольшимъ дѣйствительно получилъ покой въ безвѣстныхъ краяхъ и три аршина земли на городскомъ кладбищѣ, куда вслѣдъ за собою призвалъ вскорѣ и жену.

Генеральша осиротѣла.

Нива смерти зрѣетъ быстро. Вслѣдъ за Гриневичами умерла вскорѣ и старуха Висленева. Проживя съ годъ при сынѣ въ одномъ изъ отдаленныхъ городовъ и затѣмъ въ Петербургѣ, она вернулась домой съ окончившею курсъ красавицей дочерью, Ларисою, и не успѣла путемъ осмотрѣться на старомъ пепелищѣ въ своемъ флигелькѣ, какъ тоже скончалась.

Съ Александрой Ивановной старуха вначалѣ избѣгала встрѣчъ и сближенія, но въ послѣднее время своей жизни пламенѣла къ ней благоговѣйною любовью.

Этотъ всѣхъ удивившій переворотъ въ чувствахъ доживавшей свой вѣкъ Висленевой къ молодой генеральшѣ не имѣлъ иныхъ объясненій, кромѣ старушечьей прихоти и фантазіи, тѣмъ болѣе, что произошло это вдругъ и неожиданно.

Старуха въ тяжкой болѣзни однажды спала послѣ обѣда и позвонила. Въ комнатахъ никого не случилось, кромѣ Синтянинной, пришедшей навѣстить Ларису. Генеральша взошла на зовъ старушки и черезъ часъ ихъ застали обнявшихся и плачущихъ.

Съ этихъ поръ собственное имя Александры Ивановны не произносилось устами умиравшей старушки, а всякій разъ, когда она хотѣла увидать генеральшу, она говорила: «пошлите мнѣ мою праведницу».

Умирая, Висленева не только благословила Синтянину, ей же, ея дружбѣ и вниманію поручила и свою дочь, свою ненаглядную красавицу Ларису.

Всѣ знали, что эта дружба не доведетъ Ларису до добра, ибо около Синтяниной все фальшь и ложь.

Нынѣ, то-есть въ тѣ дни, когда начинается нашъ разсказъ, Александрѣ Ивановнѣ Синтяниной отъ роду двадцать восемь лѣтъ, хотя, по привычкѣ ни въ чемъ не довѣрять ей, есть охотники утверждать, что генеральшѣ уже стукнуло тридцать, но она объ этомъ и сама не споритъ. Физическая жизнь ея въ полномъ расцвѣтѣ. Довольно замѣтная полнота стана генеральши нимало не портитъ ея высокой и стройной фигуры, напротивъ, эта полнота идетъ ей. Полныя руки ея съ розовыми ногтями достойны быть моделью ваятеля; шея бѣла какъ алебастръ и чрезвычайно красиво поставлена въ соотношеніи къ бюсту, служащему ей основаніемъ. Густые, свѣтлокаштановые волосы слегка волнуются, образуя на всей головѣ три-четыре волны. Положены они всегда очень просто, безъ особыхъ претензій. Все свѣжее лицо ея дышитъ здоровьемъ, а въ большихъ сѣрыхъ глазахъ ясное спокойствіе души. Она не блондинка, но всѣмъ кажется блондинкою: это тоже какой-то обманъ. Въ лицѣ ея есть постоянно нѣкоторая тѣнь ироніи, но ни одной черты, выражающей злобу. Походка ея плавна, всѣ движенія спокойны, тверды и рѣшительны.

Образъ жизни генеральши въ ея городской квартирѣ и въ загородномъ хуторѣ, гдѣ она проводитъ большую часть своихъ дней въ обществѣ глухонѣмой Вѣры, къ крайнему неудовольствію многихъ, почти совсѣмъ неизвѣстенъ.

Общество видитъ только нѣчто страшное въ этихъ безпрестанныхъ перекочевкахъ генеральши изъ городской квартиры на хуторъ и съ хутора назадъ въ городъ, и полагаетъ, что тутъ что-нибудь да есть; но тутъ же само это общество считаетъ всѣ составляющіяся насчетъ Синтяниной соображенія апокрифическими.

Но чѣмъ же живетъ она, что занимаетъ ее и что даетъ ей эту неодолимую силу души, крѣпость тѣла и спокойную ясность полусокрытаго взора? Какъ и чѣмъ она произвела и производитъ укрощеніе своего строптиваго мужа, который по отношенію къ ней, повидимому, не смѣетъ помыслить о какомъ-либо деспотическомъ притязаніи?

Это долго занимало всѣхъ. Всѣ увѣрены, что здѣсь непремѣнно есть какая-нибудь исторія, даже очень важная и, можетъ-быть, страшная исторія. Но какъ ее проникнуть? Вотъ вопросъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Вся впереди.

Во флигелѣ, построенномъ въ глубинѣ двора Висленевыхъ и выходящемъ одною стороной въ старый, густой садъ, оканчивающійся крутымъ обрывомъ надъ Окою, живетъ сама собственница дома, Лариса Платоновна Висленева, сестра знакомаго намъ Іосафа Платоновича Висленева, отъ котораго такъ отступнически отреклась Александра Ивановна. Флигель построенъ съ большимъ комфортомъ. По довольно высокому крылечку, равному высотѣ нижняго полуэтажа, вы входите въ свѣтлыя, но очень тѣсныя сѣни, въ которыхъ только что можно поворотиться. Отсюда дверь въ переднюю, тоже очень чистую, съ двумя окнами на дворъ; изъ передней налѣво большая комната съ двумя окнами въ одной стѣнѣ и съ итальянскимъ окномъ въ другой. Эта комната называется «Жозефовъ кабинетъ». Несмотря на то, что Іосафъ Платоновичъ здѣсь давно не живетъ, комната его сохраняетъ обстановку кабинета человѣка хотя небогатаго, но и не бѣднаго. Мягкіе диваны кругомъ трехъ стѣнъ, два шкафа съ книгами; большой письменный столъ, покрытый зеленымъ сукномъ съ кистями по угламъ, хорошія шторы на окнахъ, тяжелые занавѣсы на дверяхъ. По стѣнамъ висятъ нѣсколько гравюръ и литографій, между которыми самое видное мѣсто занимаютъ Ревекка съ овцами у колодца; Лаванъ, обыскивающій походный шатеръ Рахили, укравшей его боговъ, и пара замѣчательныхъ по своей красотѣ и статности лошадей въ англійскихъ сѣдлахъ; на одной сидитъ жокей, другая идетъ въ поводу, безъ сѣдока. Объ лошади въ своемъ родѣ совершенство: на нихъ нельзя не заглядѣться послѣ горбатыхъ верблюдовъ, дремлющихъ на библейскихъ картинахъ. Опѣненныя губы перваго коня показываютъ, что онъ грызетъ и сжимаетъ желѣзо удилъ, но идетъ мирно и тихо, потому что знаетъ власть и силу узды; но другой конь... О, ему опытъ еще не знакомъ. Но это сказочный конь, которому только нужно прикосновеніе

руки сказочнаго же царевича, и вихрь-конь взовьется выше лѣса стоячаго.

Чтобы покончить описаніе кабинета отсутствующаго хозяина, должно еще упомянуть о двухъ вещахъ, помѣщающихся въ бѣлой кафельной нишѣ, на каминѣ: здѣсь стоитъ высокая чайная чашка, съ массивною позолотою и съ портретомъ гвардейскаго полковника, въ мундирѣ тридцатыхъ годовъ, и почернѣвшіе бронзовые часы со стрѣлкою, остановившеюся на пятидесяти шести минутахъ двѣнадцатаго часа.

На этой чашкѣ портретъ отца нынѣшнихъ владѣльцевъ дома, Платона Висленева, а часовая стрѣлка стоитъ на моментѣ его смерти. Съ тѣхъ поръ часы эти не идутъ въ теченіе цѣлыхъ восемнадцати лѣтъ.

Вторая комната небольшой залъ, съ окнами, выходящими въ садъ, и стеклянною дверью, ведущею на террасу, съ которой широкими ступенями сходятъ въ садъ. Убранство комнаты не зальное и не гостиное, а и то и другое вмѣстѣ. Здѣсь есть и мягкая мебель, и буковые стулья, и зеркало, и рояль, заваленная нотами. Изъ залы двери ведутъ въ столовую и въ спальню Ларисы. Спальня Ларисы тѣхъ же размѣровъ, какъ и кабинетъ ея брата. Здѣсь также два окна въ одной стѣнѣ и одно широкое, тройное, «итальянское» окно въ другой. Всѣ эти окна выходятъ въ садъ: два справа затѣнены густою зеленью липъ, а надъ итальянскимъ окномъ, предъ которымъ расчищена, разбитая на клумбы площадка, повѣшена широкая бѣлая маркиза съ красными прошвами. Такимъ образомъ въ комнату открытъ доступъ аромату цвѣтовъ, и удалены палящіе лучи солнца, извлекающіе благоуханіе изъ резеды, левкоевъ и геліотроповъ. Мебель обита свѣтлымъ ситцемъ, которымъ драпированы и двери, и окна. Кровать замѣнена диваномъ съ подъемною подушкой, предъ диваномъ у изголовья небольшой круглый столикъ, въ сторонѣ двѣ этажерки съ книгами.

Описавъ домъ, познакомимъ читателей съ его одинокою жилицей.

Разсказъ этотъ будетъ коротокъ, потому что и вся жизнь Ларисы еще впереди.

Она окончила институтскій курсъ семнадцати лѣтъ и по выходѣ изъ заведенія жила съ матерью и братомъ въ Пе-

тербургѣ. Перечитала гибель книгъ, перевидала массы самыхъ разнообразныхъ лицъ и не вошла ни въ какія исключительныя отношенія ни съ кѣмъ.

По смерти матери, она опять было уѣхала въ Петербургъ къ брату, но черезъ мѣсяцъ стала собираться назадъ, и съ тѣхъ поръ въ теченіе трехъ съ половиною лѣтъ брата не видала.

Прибывъ домой, она появилась первой Александрѣ Ивановнѣ Синтяниной и объявила ей, что жизнь брата ей не понравилась, и что она рѣшилась жить у себя въ домѣ одна. Другое лицо, которое увидало Ларису въ первый же часъ ея пріѣзда, была тетка ея, родная сестра ея матери, Катерина Астафьевна Форова, имя которой было уже упомянуто. Катерина Астафьевна, женщина лѣтъ сорока пяти, полная, нервная, порывистая, очень добрая, но горячая и прямая необыкновенно. Узнавъ о внезапномъ возвращеніи племянницы изъ Петербурга, она влетѣла какъ бомба въ комнату, гдѣ сидѣла Лариса, кинулась на шею дрожа и всхлипывая, и наконецъ совсѣмъ разрыдалась. Лариса поцѣловала у тетки руку и съ той же минуты не то полюбила ее, не то привязалась къ ней. Сойдясь близко съ теткой, она сошлась и съ мужемъ ея, пятидесятилѣтнимъ майоромъ изъ военныхъ академистовъ. Майоръ Форовъ, Филстеръ Ивановичъ, толстоватый, полусѣдой, здоровый и очень добрый человѣкъ, ведущій въ отставкѣ самую оригинальную жизнь.

Майоръ Форовъ и самъ очень легко сблизился съ Ларисой и посѣщалъ ее ежедневно. У нихъ были общія точки прикосновенія, и Филетеръ Ивановичъ очень нравился жениной племянницѣ. Впрочемъ, Форовъ нравился всѣмъ, не исключая и тѣхъ, кто его не любилъ. Онъ нравился за свои энциклопедическія познанія, и за характеръ, который самъ называлъ «примитивнымъ». Александра Ивановна употребила всѣ усилія сойтись съ Ларисой какъ можно ближе и дружественнѣе и, кажется, достигла этого, по крайней мѣрѣ по внѣшности. Онѣ видѣлись другъ съ другомъ ежедневно, когда Синтянина была въ городѣ, а не на хуторѣ: и несмотря на неравенство ихъ лѣтъ (гдѣ играла роль цифра 10), были другъ съ другомъ на ты. Чего же больше? Любили ли онѣ одна другую?

Да, Синтянина любила Ларису горячо и искренно.

Лариса высока и очень стройна. Легкая фигура ея имѣетъ свою особенность, и особенность эта заключается именно въ томъ, что у нея не только была *фигура,* но у нея была *линія;* видя ее разъ, ее можно было нарисовать всю одною чертою отъ шляпки до шлейфа. Ея красивая голова кажется, однако, нѣсколько велика, отъ цѣлаго моря черныхъ волосъ. У ней небольшое, продолговатое лицо съ тонкимъ носомъ, слегка подвижными и немного вздутыми ноздрями. При ея привычкѣ меньше говорить и больше слушать, пунцовыя губки ея, влажныя, но безъ блеска, всегда, въ самомъ спокойствіи своемъ, готовы какъ-будто къ шопоту. Можно думать, что она отвѣчаетъ и возражаетъ на все, но только не удостоивая никого сообщеніемъ этихъ возраженій. Она, какъ сказано, брюнетка, жгучая брюнетка. Въ ней мало русскаго, но она и не итальянка, и не испанка, а тѣмъ меньше гречанка, но южнаго въ ней бездна. У нея совершенно особый типъ,—нѣсколько напоминающій что-то еврейское, но непохожее ни на одну еврейку. Еврейскимъ въ ней отдаетъ ея внутренній огонь и сила. Цвѣтъ лица ея блѣдный, но горячо-блѣдный, матовый; глаза большіе, черные, свѣтящіеся электрическимъ блескомъ откуда-то изъ глубины, отчего вся она кажется фарфоровою лампой, освѣщенною жаркимъ внутреннимъ свѣтомъ. Всякое ея движеніе спокойно и даже лѣниво, хотя и въ этой лѣни видимо разлита спящая, но и во снѣ своемъ рдѣющая, неутомимая нѣга. По виду она всегда спокойна; но покой ея видимо полонъ тревоги. Она совсѣмъ не кокетка, она вѣжлива и наблюдательна, и въ ея наблюдательности кроется для нея источникъ ожесточающихъ раздраженій. Она ребенокъ по опытности, и сама ничѣмъ не участвовала въ жизни, но, судя по выраженію ея лица, она всего коснулась въ тишинѣ своего долгаго безмолвія; она отвѣдала горькихъ лѣкарствъ, самою ею составленныхъ для себя по разнымъ рецептамъ, и всѣ эти питья ей не по вкусу. Ее интересуютъ только предѣлы вещей и крайнія положенія. Ей хочется собрать и совмѣстить, какъ въ фокусѣ стекла, то, что вмѣстѣ не собирается и несовмѣстимо.

Настоящее у Ларисы такое: недѣлю тому назадъ нѣкто Подозеровъ, небогатый изъ мѣстныхъ помѣщиковъ, служащій по земству, сдѣлалъ ей предложеніе. Онъ былъ давній ея знакомый; она знала, что онъ любитъ ее...

Лариса, выслушавъ Подозерова, дала ему слово обдумать его предложеніе и отвѣтить ему на-дняхъ положительно и ясно.

Этого отвѣта еще не дано.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Глава, которую можно поставить въ началѣ.

Въ маѣ мѣсяцѣ недавно прошедшаго года, четыре часа спустя послѣ жаркаго полудня, надъ крутымъ обрывомъ, которымъ заканчивался у рѣки садъ Висленевыхъ, собрались всѣ, хотя отчасти, знакомыя намъ лица. Лариса Висленева сидѣла на широкой доскѣ качелей, подвѣшенныхъ на вѣтвяхъ двухъ старыхъ кленовъ. Она держалась обѣими руками за одну веревку и, положивъ на нихъ голову, смотрѣла вдаль за рѣку, на широкую, безпредѣльную зеленую степь, надъ которою въ синевѣ неба дотаивало одинокое облачко. Шагахъ въ трехъ отъ качель, на зеленой деревянной скамейкѣ помѣщались Катерина Астафьевна Форова и генеральша Синтянина. Первая жадно курила папироску изъ довольно плохого табаку, а вторая шила и слушала повѣсть, которую читалъ Форовъ. Майоръ одѣтъ въ черный статскій сюртукъ и военную фуражку съ кокардой, по жилету у него виденъ часовой ремешокъ, на которомъ виситъ въ видѣ брелока тяжелая, массивная золотая лягушка съ изумрудными глазами и рубиновыми лапками. На гладкомъ брюшкѣ лягушки мелкою, искусною вязью выгравировано: «Нигилисту Форову отъ Бодростиной». Дорогая вещь эта находится въ видимомъ противорѣчіи съ прочимъ гардеробомъ майора. Филетеръ Ивановичъ теперь читаетъ: правою рукой онъ придерживаетъ листы лежащей у него на колѣняхъ книги, а лѣвою — машинально дергаетъ толстый, зеленый бумажный шнурокъ, привязанный къ серединѣ доски, на которой сидитъ Лариса. Чтеніе идетъ плавно и непрерывно, качаніе тоже.

Есть здѣсь и еще одинъ человѣкъ: онъ лежитъ въ травѣ надъ самымъ обрывомъ, спиной къ рѣкѣ, лицомъ къ качающейся Ларисѣ. Это Подозеровъ. Ему на видъ лѣтъ тридцать пять; одѣтъ онъ безъ претензіи, но опрятно; лицо у него очень пріятное, но въ немъ, можетъ-быть, слишкомъ много серьезности и нервнаго безпокойства, что придаетъ

ему минутами недоброе выраженіе. Подозеровъ какъ бы постоянно или что-то вспоминаетъ, или ожидаетъ себѣ чего-то непріятнаго, и съ болѣзненнымъ нетерпѣніемъ сдвигаетъ красивыя брови, морщитъ лобъ и шевелитъ рукою свои недлинные, но густые темнорусые волосы съ раннею сѣдиной въ вискахъ.

Чтеніе, начатое назадъ тому съ полчаса, неожиданно прервано было веселымъ и довольно громкимъ смѣхомъ Катерины Астафьевны Форовой, смѣхомъ, который поняла только одна тихо улыбавшаяся Синтянина. Лариса же и Подозеровъ его даже не замѣтили, а чтецъ только поднялъ удивленные глаза и спросилъ баскомъ свою жену:

— Что ты это разсыпалась, Тора?

— Для кого ты читаешь, бѣдный мой Форовъ? Всякій разъ заставятъ его читать и никто его не слушаетъ.

— Ну, и что же такое?—отвѣчалъ майоръ.

— Ничего. Ты читаешь, Лариса гдѣ-то витаетъ; Подозеровъ витаетъ за нею; мы съ Сашей еще надъ первою страницей задумались, а ты все читаешь да читаешь!

— Ну, и что же такое? я же въ прибыли: я, значитъ, начитываюсь и умнѣю, а вы выбалтываетесь.

— И глупѣемъ?

— Сама сказала,— отвѣтилъ, шутя, Форовъ и, доставъ изъ кармана кошелекъ съ табакомъ, началъ крутить папироску.

Жена долго смотрѣла на майора съ улыбкой и наконецъ спросила:

— Вы, господинъ Форовъ, пенсіонъ нынче получили?

— Разумѣется, получилъ-съ,—отвѣчалъ Форовъ и, доставъ изъ кармана конвертикъ, подалъ его женѣ.

— Вотъ вамъ всѣ полностію тридцать одинъ рубль.

— А шестьдесятъ копеекъ?

— Положеніе извѣстное!—отвѣчалъ майоръ, раскуривая толстую папироску.

Синтянина взглянула на майора и разсмѣялась.

— Да чего же она въ самомъ дѣлѣ спрашиваетъ?—заговорилъ Филетеръ Ивановичъ, обращая свои слова къ генеральшѣ:—вѣдь ужъ сколько лѣтъ условлено, что я ей буду отдавать все жалованье за удержаніемъ въ свою пользу въ день полученія капитала шестидесяти копеекъ на тринкгельдъ.

— Нѣтъ, я что-то этого условія не помню! Когда ты за мной ухаживалъ, ты мнѣ ни о какихъ тринкгельдахъ тогда не говорилъ,—возразила майорша.

— Ну, ухаживать за тобой я не ухаживалъ.

— Такъ зачѣмъ же ты на мнѣ женился?

Майоръ тихонько улыбнулся и проговорилъ:

— Что же, женился просто: вижу женщина въ несчастномъ положеніи, дай, думаю себѣ, хоть кого-нибудь въ жизни осчастливлю.

— Да,—проговорила Катерина Астафьевна, ни къ кому особенно не обращаясь:—чему, видно, быть, того не миновать. Нужно же было, чтобъ я рѣшила, что мнѣ замужемъ не быть, и пошла въ сестры милосердія; нужно же было, чтобы Форова въ Крыму мнѣ въ госпиталь полумертваго принесли! Все это судьба!

— Нѣтъ, французская пуля,—отвѣчалъ Форовъ.

— Ты, невѣрующій, молчи, молчи, пока Богъ постучится къ тебѣ въ сердце.

— А я не пущу.

— Пустишь, и самъ позовешь, скажешь: «взойди и сотвори обитель».

Вышла маленькая пауза.

— И Сашина свадьба тоже судьба?—спросила Лариса.

— А еще бы! — отвѣчала живо Форова. — Почемъ ты знаешь... можетъ-быть, она приставлена къ Вѣрѣ за молитвы покойной Флорушки.

— Ахъ, полноте, тетя! — воскликнула Лариса.—Я знаю эти «роковыя опредѣленія»!

— Неправда, ничего ты не знаешь!

— Знаю, что въ нихъ сплошь и рядомъ нѣтъ ничего рокового. Неужто же вы можете ручаться, что не встрѣться дядя Филетеръ Ивановичъ съ вами, онъ никогда не женился бы ни на комъ другомъ?

— Ну, на этотъ разъ, жена, положительно говори, что никогда бы и ни на комъ,—отвѣчалъ Форовъ.

— Ну, не женились бы вы, напримѣръ, на Александринѣ?

— Ни за что на свѣтѣ.

— Браво, браво, Филетеръ Ивановичъ, — воскликнула, смѣясь, Синтянина.

— А почему?—спросила Лариса.

— Вы всегда все хотите знать «почему?» Бойтесь, этакъ скоро состарѣетесь.

— Но я не боюсь и хочу знать, почему бы вы не женились на Сашѣ?

— Говорите, Филетеръ Ивановичъ, мнѣ ужъ замужъ не выходить,—вызвала Синтянина.

— Ну, извольте: Александра Ивановна слишкомъ умна и имѣетъ деспотическій характеръ, а я люблю свободу.

— Не великъ комплиментъ тетѣ Катѣ! Ну, а на мнѣ бы вы развѣ не женились? Я вѣдь не такъ умна, какъ Александрина.

— На васъ?

— Да, на мнѣ.

Форовъ снялъ фуражку, три раза перекрестился, и проговорилъ:

— Боже меня сохрани!

— На мнѣ жениться?

— Да, на васъ жениться: сохрани меня грозный Господь Богъ Израилевъ, карающій сыны сыновъ даже до седьмого колѣна.

— Это отчего?

— Да развѣ мнѣ жизнь надоѣла!

— Значитъ на мнѣ можетъ жениться только тотъ...

— Тотъ, кто хочетъ ада на землѣ, въ надеждѣ встрѣтиться съ вами тамъ, гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыханія.

— Вотъ одолжилъ! — воскликнула, разсмѣявшись, Лариса. — Ну, позвольте, кого бы вамъ еще изъ нашихъ посватать?

— Глафиру Васильевну Бодростину, — подсказалъ, улыбаясь, Подозеровъ.

— Ахъ, въ самомъ дѣлѣ Бодростину! — подхватила Лариса.

— Кого ни сватайте, все будетъ напрасно.

— Но вы ея кавалеръ «лягушки».

— «Золотой лягушки», — отвѣчалъ Форовъ, играя своимъ цѣннымъ брелокомъ. — Глафирѣ Васильевнѣ охота шутить и дарить мнѣ золото, а я философъ и беру сей презрѣнный металлъ въ какомъ угодно видѣ, и особенно доволенъ, получая кусочекъ золота въ видѣ этого невиннаго созданія, напоминающаго мнѣ поколѣніе людей, которыхъ я очень любилъ и съ которыми навсегда желаю сохранить нрав-

ственное единеніе. Но жениться на Бодростиной... ни за что на свѣтѣ!

— На ней почему же нѣтъ?

— А почему? Потому, что мнѣ нравится только особый сортъ женщинъ: умныя дуры, которыя, какъ все хорошее, встрѣчаются необыкновенно рѣдко.

— Такъ это я по-твоему дура?—спросила, напуская на себя строгость, Катерина Астафьевна.

— А ужъ, разумѣется, не умна, когда за меня замужъ пошла,—отвѣчалъ Форовъ. — Вотъ, Бодростина умна, такъ она въ золотомъ терему живетъ, а ты подъ соломкою.

— Ну, а бодростинская золотая лягушка-то что же вамъ такое милое напоминаетъ? — дружески подшучивая надъ майоромъ, спросилъ Подозеровъ.

— Золотая лягушка напоминаетъ мнѣ золотое время и прекрасныхъ умныхъ дураковъ, изъ которыхъ однихъ ужъ нѣтъ, а тѣ далеко.

— Она напоминаетъ ему моего брата Жозефа,—сказала Лариса.

— Ну, ужъ это нѣтъ-съ,—отрекся майоръ.

— Почему же нѣтъ? Братъ мой развѣ не женился по принципу, не любя женщину, для того только, чтобы «освободить ее отъ тягости отцовской власти»,—сказала Лариса, надуто продекламировавъ послѣднія шесть словъ. Надѣюсь, это могъ сдѣлать только «умный дуракъ», которыхъ вы такъ любите.

— Нѣтъ-съ; умные дураки этого не дѣлали, умные дураки, которыхъ я люблю, на такіе вздоры не попадались, а это могъ сдѣлать глупый умникъ, но я съ этимъ асортиментомъ мало знакомъ, а, впрочемъ, вотъ поразглядимъ его!

— Какъ это *поразглядите*? Развѣ вы его надѣетесь скоро видѣть?

— А вы развѣ не надѣетесь дожить до той недѣли?

— Что это за шарада? — спросила въ недоумѣніи Лариса.

— Какъ же, вѣдь онъ на-дняхъ пріѣдетъ.

— Какъ на-дняхъ?

— Разумѣется, — отвѣчалъ Форовъ.—Мой знакомый видѣлъ его въ Москвѣ; онъ ѣдетъ сюда.

Присутствующіе переглянулись.

— Это что-нибудь недоброе!—мелькнуло во взглядѣ Ларисы, брошенномъ на Синтянину; та поняла и, сама немного измѣнясь въ лицѣ, сказала майору:

— Филетеръ Ивановичъ, вы совсѣмъ безтолковы.

— Чѣмъ-съ? Чѣмъ я безтолковъ?

— Да что же это вы намъ открываете новости по каплѣ?

— Чѣмъ же я безтолковѣе васъ, которыя мнѣ и по каплѣ не открыли, что вы этого не знаете?

— Откуда же мы могли это знать?

— А развѣ онъ не писалъ объ этомъ Ларисѣ Платоновнѣ?

— Ничего онъ не писалъ ей.

— Ну, а я почему могъ это знать?

— Но вы, Филетеръ Иванычъ, шутите это или правду говорите, что онъ ѣдетъ сюда?—спросила серьезно Лариса.

По дорожкѣ, часто сѣменя маленькими ногами, шла дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, остриженная въ кружокъ и одѣтая въ опрятное ситцевое платье съ фартучкомъ. Въ рукахъ она держала круглый подносъ, и на немъ запечатанное письмо.

Лариса разорвала конвертъ.

— Вы отгадали, это отъ брата,—сказала она, и пробѣжавъ маленькій листокъ, добавила: — все извѣстіе заключается вотъ въ чемъ (она взяла снова письмо и снова его прочитала): «Сестра, я ѣду къ тебѣ; черезъ недѣлю мы увидимся. Приготовь мнѣ мою комнату, я проживу съ мѣсяцъ. Ѣду не одинъ, а съ Гор...»

— Не могу дальше прочесть, съ кѣмъ онъ ѣдетъ,—заключила она, передавая письмо Синтянинной.

— Не прочтете ли вы, Филетеръ Ивановичъ?

Форовъ посмотрѣлъ на указанную ему строчку и, качнувъ отрицательно головой, передалъ письмо Подозерову.

— «Гордановъ»,—прочелъ Подозеровъ, возвращая письмо Ларисѣ.

— Такъ вотъ онъ какъ будетъ называться вашъ рокъ!—воскликнулъ майоръ.

— Филетеръ Ивановичъ, вы несносны,—замѣтила ему съ неудовольствіемъ Синтянина, кинувъ взглядъ на немного смущеннаго Подозерова.

— А я говорю только то, что бываетъ, — оправдывался

майоръ: — братья всегда привозятъ жениховъ, какъ мужья сами вводятъ любовниковъ...

— А что это за Гордановъ?—сухо спросила Лариса.

— Я, кажется, немножко знаю его, — отвѣчалъ Подозеровъ.—Онъ помѣщикъ здѣшней губерніи и нашъ сверстникъ по университету... Я его часто видѣлъ въ домѣ нѣкіихъ господъ Фигуриныхъ, гдѣ я давалъ уроки, а теперь у него здѣсь есть дѣло съ крестьянами о землѣ.

— Фигуриныхъ!—воскликнула Лариса. — Вы видѣли его тамъ? Онъ ихъ знакомый?

— Кажется, даже родственникъ.

— Интересный господинъ? — полюбопытствовала Синтянина.

— М-ммъ! Какъ вамъ сказать...

Подозеровъ, казалось, что-то хотѣлъ сказать нехорошее о названномъ лицѣ, но перемѣнилъ что-то и отвѣтилъ:

— Не знаю, право, мы съ нимъ какъ-то не сладились.

— А вы кого же у Фигуриныхъ учили?

— Тамъ были мальчикъ Петръ и дѣвочки Наташа и Алина.

— А вы эту Алину учили?

— Да; она уже была великонька, но я ее училъ.

— Хороша она?

— Нѣтъ.

— Умна?

— Не думаю.

— Добра?

— Господь ее знаетъ, дѣвушки, вѣдь, почти всѣ кажутся добрыми. У малороссіянъ есть присловье, что будто даже «всѣ панночки добры».

— «А только откуда-то поганыя жинки берутся?» — докончилъ Форовъ.

— Эта Алина теперь жена моего брата.

— Въ такомъ случаѣ малороссійское присловье прочь.

— Лариса, взгляни, — перебила дрогнувшимъ голосомъ Синтянина, глядя на ту дорожку, по которой недавно дѣвочка принесла письмо отъ Висленева.

Лариса обернулась.

— Что тамъ такое?

Синтянина блѣднѣла и не отвѣчала.

По длинной дорожкѣ отъ входныхъ воротъ шелъ высокій,

статный мужчина. Онъ былъ въ легкомъ, сѣромъ пиджакѣ и маленькой соломенной шляпѣ, а черезъ плечо у него висѣла щегольская дорожная сумочка. Сзади его въ двухъ шагахъ сѣменила давишняя дѣвочка, у которой теперь въ рукахъ былъ большой портфель.

— Братъ!.. Іосафъ!.. Каковъ сюрпризъ!—вскрикнула Лариса, ступая съ качелей на землю.

И съ этимъ она рванулась быстрыми шагами впередъ и побѣжала навстрѣчу брату.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Безъ содержанія.

Въ наружности Іосафа Висленева не было ни малѣйшаго сходства съ сестрой: онъ былъ блондинъ съ голубыми глазами и очень маленькимъ носомъ. Лицо его нельзя было назвать некрасивымъ и непріятнымъ, оно было открыто и даже довольно весело, но на немъ постоянно блуждала неуловимая тѣнь тревоги и печали.

Лариса встрѣтилась съ братомъ на половинѣ дорожки, они обнялись и поцѣловались.

— Ты не ждала меня такъ скоро, Лара?—заговорилъ Висленевъ.

— То-есть я ждала тебя, Жозефъ, но не сегодня; я только сейчасъ получила твое письмо, что ты въ Москвѣ и ѣдешь сюда съ какимъ-то твоимъ товарищемъ.

— Да, съ Гордановымъ.

— Онъ здѣсь съ тобой?

Лариса оглядѣла дорожку.

— Да, онъ здѣсь, то есть здѣсь въ городѣ, мы вмѣстѣ пріѣхали, но онъ остановился въ гостиницѣ. Я самъ не думалъ быть сюда такъ скоро; но случайныя обстоятельства выгнали насъ изъ Москвы раньше, чѣмъ мы собирались. Ты, однако, не будешь на меня сердиться, что я этакъ сюрпризомъ къ тебѣ нагрянулъ?

— Помилуй, что ты!

— Ну да, а я, видишь ли, въ виду этой скоропостижности, расчелъ, что мы застанемъ тебя врасплохъ, и потому не пригласилъ Горданова остановиться у насъ.

— Напрасно, я не бываю врасплохъ, и твоему гостю нашлось бы мѣсто.

— Ну, все равно; онъ не захотѣлъ ни стѣснять насъ, ни

самъ стѣсняться, да тѣмъ и лучше: у него дѣла съ крестьянами... нужно будетъ принимать разныхъ людей... Не удобно это!

— А по крестьянскимъ дѣламъ самый вліятельный человѣкъ теперь здѣсь мой добрый знакомый.

— Кто?

— Подозеровъ, твой товарищъ.

— А-а! Я было совсѣмъ потерялъ его изъ виду, а онъ здѣсь; вотъ что̀ значитъ долго не переписываться.

Висленевъ чуть замѣтно поморщился и отеръ лобъ платкомъ.

— Подозеровъ кстати и теперь у меня,—продолжала Лариса.—Пойдемъ туда или сюда, показала она сначала на домъ, а потомъ на конецъ сада, гдѣ оставались гости.

— Да,—встрепенулся братъ.—У тебя гости, мнѣ это сказала дѣвочка, я потому и не велѣлъ тебя звать, а пошелъ сюда самъ. Я уже умылся въ гостинницѣ и на первый разъ, кажется, настолько опрятенъ, что въ качествѣ дорожнаго человѣка могу представиться твоимъ знакомымъ.

— О, да, конечно! тѣмъ болѣе, что это и не гости, а мои друзья: тутъ Форовы. Сегодня день рожденія дяди.

— Ахъ, здѣсь безцѣнный Филетеръ Иванычъ,—весело перебилъ Висленевъ.—А еще кто?

— Жена его и Alexandrine Синтянина.

— И *она* здѣсь?

Висленевъ вспыхнулъ на минуту и тотчасъ же весело проговорилъ:

— Вотъ еще интереснѣйшая встрѣча!

— Ты долженъ былъ знать, что ты ее здѣсь встрѣтишь.

— Представь, что это-то у меня и изъ ума вонъ вышло. Да, впрочемъ, что же такое!

— Разумѣется, ничего.

— Много немножко сразу: отставная дружба и измѣнившая любовь, но все равно! А еще кто такой здѣсь у тебя?

— Больше никого.

— Ну, и прекрасно. Пойдемъ. Возьми вотъ только мой портфель: здѣсь деньги и бумаги, и потому я не хотѣлъ его тамъ безъ себя оставить.

Лариса приняла изъ рукъ дѣвочки портфель, и они, взявшись съ братомъ подъ руку, пошли къ оставшимся гостямъ.

Здѣсь между тѣмъ хранилось мертвое молчаніе.

Форовъ, жена его, Подозеровъ и Синтянина—всѣ четверо теперь сидѣли рядомъ на скамейкѣ и, за исключеніемъ майора, который снова читалъ, всѣ, не сводя глазъ, смотрѣли на встрѣчу брата съ сестрой. Катерина Астафьевна держала въ своей рукѣ стынущую руку генеральши и постоянно ее пожимала. Синтянина это чувствовала и раза два отвѣчала легкимъ благодарнымъ пожатіемъ.

Братъ и сестра Висленевы подходили.

Катерина Астафьевна въ это время взяла изъ рукъ мужа книгу, кинула ее въ траву, а сама тихо шепнула на ухо Синтяниной: «Саша...»

— Ничего,—проговорила также шопотомъ Синтянина:—теперь все прошло.—Сдѣлавъ надъ собою видимое усиліе, она вызвала на лицо улыбку и весело воскликнула навстрѣчу Висленева:—Здравствуйте, Іосафъ Платоновичъ!

Гость несмѣлно подошелъ, съ достоинствомъ снялъ свою шляпу и поклонился всѣмъ общимъ поклономъ.

— Я васъ первая привѣтствую и первая протягиваю вамъ руку,—проговорила Синтянина.

Форова почувствовала въ эту минуту, что вмѣстѣ съ послѣднимъ словомъ другая рука генеральши мгновенно согрѣлась.

Висленевъ, очевидно, не ждалъ такого привѣтствія; онъ ждалъ чего-нибудь совсѣмъ въ другомъ родѣ: онъ ждалъ со стороны отступницы смущенія, но ничего подобнаго не встрѣтилъ. Конечно, онъ и теперь замѣтилъ въ ней небольшую тревогу, которой Александра Ивановна совсѣмъ скрыть не могла, но эта тревога такъ смѣла, и Александра Ивановна, повидимому, покушается взять надъ нимъ верхъ.

Висленевъ рѣшилъ тотчасъ же отпарировать это покушеніе, но сдѣлалъ неосторожность.

Едва намѣревался онъ, подавъ Синтяниной руку, поразить ее холодностію взгляда, она посмотрѣла ему въ упоръ и весело воскликнула:

— Однако, какъ же вы быстро умѣли перемѣниться. Почти узнать нельзя!

Висленеву это показалось даже смѣшно, и онъ рѣшилъ не сердиться, а отшучиваться.

— Я думаю, я измѣнился какъ и всѣ,—отвѣчалъ онъ.

— Ну, нѣтъ, вы больше всѣхъ другихъ, кого я давно не видала.

— Вамъ незамѣтно, а вы и сами тоже измѣнились и...

— Ну, да,—быстро перебила его на полусловѣ генеральша:—конечно, года идутъ и для меня, но между тѣмъ меня еще до сей поры никто не звалъ старухой, вы развѣ первый будете такъ нелюбезны?

— Помилуй Богъ! — отвѣчалъ, разсмѣявшись, Висленевъ. — Я пораженъ, оставивъ здѣсь васъ скромнымъ ландышемъ и видя васъ теперь на томъ же самомъ мѣстѣ...

— Не скажете ли пышною лиліей?

— Почти. Но вотъ кто совсѣмъ не измѣняется, такъ это Филетеръ Ивановичъ!—обратился Висленевъ къ майору.— Здравствуйте, мой «грубый матеріалистъ»!

Они поцѣловались.

— Ничего не перемѣнился! Только носъ развѣ немножко покраснѣлъ,—воскликнулъ, снова обозрѣвая майора, Висленевъ.

— Носъ красенъ отъ того, что у меня насморкъ вѣчный, какъ вѣчный жидъ,—отвѣчалъ Форовъ.

— А вамъ сегодня сколько стукнуло?

— Да пятьдесятъ два, девять мѣсяцевъ.

— Девять мѣсяцевъ? Ахъ да, у васъ вѣдь особый счетъ.

— Конечно, какъ слѣдуетъ.

— А дѣти у васъ есть?

— Не знаю, но очень можетъ быть, что и есть.

— И опять все вретъ,—замѣтила жена.

Висленевъ подалъ руку Катеринѣ Астафьевнѣ.

— Васъ, тетушка, я думаю, можно и поцѣловать?

— Если тебѣ, милый другъ, не противно, сдѣлай милость, поцѣлуемся.

Висленевъ и Катерина Астафьевна три раза поцѣловались.

— Вы перемѣнились, но немного.

— Какъ видишь, все толстѣю.

Іосафъ Платоновичъ обернулся къ Подозерову, протянулъ и ему руку, и, принявъ серьезную мину, посмотрѣлъ на него молча ласковымъ, снисходительнымъ взглядомъ.

— Вы много измѣнились,—сказалъ Висленевъ, удерживая его руку въ своей рукѣ.

— Да, всѣ старѣемъ,—отвѣчалъ Подозеровъ.

— «Старѣемъ»! Рано бы еще старѣть-то!

— Ну, нѣтъ, пожалуй, и пора.

— Вотъ и пора! чуть стукнетъ тридцать лѣтъ, какъ мы ужъ и считаемъ, что мы старѣемъ. Вамъ вѣдь, я думаю, лѣтъ тридцать пять, не больше?

— Мнѣ тридцать два.

— Изволите ли видѣть, вѣкъ какой! Вонъ у васъ уже виски сѣдые. А у меня будетъ къ вамъ просьба.

— Очень радъ служить.

— То-есть еще и не своя, а пріятеля моего, съ которымъ я пріѣхалъ, Павла Николаевича Горданова: съ нимъ по лѣности его стряслось что-то такое вопіющее. Онъ чортъ знаетъ что̀ съ собой надѣлалъ: онъ, знаете, пока шли всѣ эти пертурбаціи, нигилистничанье и всякая штука, онъ за-глаза надавалъ мужикамъ самыя глупыя согласія на поземельныя разверстки, и такъ разверстался, что имѣніе теперь гроша не сто̀итъ. Вы вѣдь, надѣюсь, не принадлежите къ числу тѣхъ, для которыхъ лапоть всегда правъ предъ ботинкомъ?

— Рѣшительно не принадлежу.

— Вы за крупное землевладѣніе?

— Ни за крупное, ни за дробное, а за законное,—отвѣчалъ Подозеровъ.

— Ну, въ такомъ случаѣ вы наша опора! Вы позволите намъ побывать у васъ на-дняхъ?

— Сдѣлайте милость, я дома каждое утро до одиннадцати часовъ.

— Впрочемъ... сестра!—обратился Висленевъ къ Ларисѣ, удерживая въ своей рукѣ руку Подозерова, — теперь всего вѣдь семь часовъ, не позволишь ли попросить тебя велѣть приготовить что-нибудь часамъ къ одиннадцати?

— Охотно, братъ, охотно.

Въ это время они прошли весь садъ и стояли у террасы.

— Право, — продолжалъ Висленевъ: — что-нибудь такое, что Богъ послалъ, что напомнило бы святой обычай старины. Можно?

Лариса кивнула въ знакъ согласія головою:

— Я очень рада.

— Такъ вотъ, Андрей Иванычъ,—отнесся Висленевъ къ

Подозерову:—теперь часочекъ я приберусь, сдѣлаю кое-какъ мой туалетъ, оправлюсь и привезу съ собой моего пріятеля,—онъ тутъ сирота, а къ десяти часамъ позвольте васъ просить придти побесѣдовать, вспомнить старину и выпить рюмку вина за упокой прошлаго и за многія лѣта грядущаго.

— Отъ такихъ приглашеній, Іосафъ Платоновичъ, не отказываются,—отвѣчалъ Подозеровъ.

— Вашу руку! — и Висленевъ, взявъ руку Подозерова, крѣпко сжалъ ее въ своей рукѣ и сказалъ:—«До свиданія».

Всѣмъ остальнымъ гостямъ онъ поклонился общимъ поклономъ, и тоже отъ всѣхъ взялъ слово вечеромъ придти къ Ларисѣ на ужинъ.

Гости ушли.

Висленевъ, взойдя съ сестрою и теткою въ домъ, направился прямо въ свой кабинетъ, гдѣ еще разъ умылся и переодѣлся, прихлебывая наскоро поданный ему сюда чай,— и послалъ за извозчикомъ.

— Братъ! — сказала ему Лариса, когда онъ вышелъ въ залъ и оправлялся передъ большимъ зеркаломъ: — не дать ли знать Бодростиной, что ты пріѣхалъ?

— Кому это? Глафирѣ Васильевнѣ!

— Да.

— Что ты это! Зачѣмъ?

— Да, можетъ-быть, и она захотѣла бы пріѣхать?

— Богъ съ ней совсѣмъ!

— За что же это?

— Да такъ; на что она здѣсь?

— Она очень умная и пріятная женщина.

— Ну, мнѣ она вовсе не пріятная,—пробурчалъ Висленевъ, обтягивая воротникъ рубашки.

— А непріятна, такъ и не надо, но только какъ бы она сама не заѣхала.

— Будетъ предосадно.

— И еще вотъ что, Жозефъ: ты позвалъ вечеромъ Синтянину?

— Кажется... да.

— Нѣтъ, навѣрное *да*. Такъ зайди же къ нимъ, позови генерала Ивана Демьяныча.

Висленевъ оборотился къ сестрѣ и сморщился.

— Что такое?—проговорила Лариса.

— Такъ, знаешь, тамъ доносомъ пахнетъ,—отвѣчалъ Висленевъ.

Лариса вспыхнула и нетерпѣливо сказала:

— Полно, пожалуйста: мы объ этомъ никогда не говоримъ и не знаемъ; а Александрина... такая прекрасная женщина...

— Но дѣло-то въ томъ, что если вы чего не знаете, то я это знаю!—говорилъ, смѣясь, Висленевъ.—Знаю, дружокъ, Ларушка, все знаю, знаю даже и то, *какая* прекрасная женщина эта Александра Ивановна.

Лариса промолчала.

— Да, сестра,—говорилъ онъ, наклонивъ къ Ларисѣ голову и приподнявъ на вискѣ волосы: — здѣсь тоже въ мои тридцать лѣтъ есть серебряныя нити, и ихъ выпряла эта прекрасная бѣлая ручка этой прекрасной Александры Ивановны... Такъ ужъ предоставь *мнѣ* лучше васъ знать эту Александру Ивановну,—заключилъ онъ, ударяя себя пальцемъ въ грудь, и затѣмъ еще разъ сжалъ сестрину руку и уѣхалъ.

Лариса глядѣла ему вслѣдъ.

«Все тотъ же самый! — подумала она: — даже десять разъ повторяетъ, что ему тридцать лѣтъ, когда ему ужъ тридцать пятый! Бѣдный, бѣдный человѣкъ!»

Она вздохнула и пошла распорядиться своимъ хозяйствомъ и туалетомъ къ встрѣчѣ пріѣзжаго гостя.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

На всѣ ноги кованъ.

Павелъ Николаевичъ Гордановъ, котораго Висленевъ назвалъ «сиротою», не терпѣлъ никакихъ недостатковъ въ своемъ временномъ помѣщеніи. Древняя худая слава губернскихъ пристанищъ для проѣзжающихъ теперь уже почти повсемѣстно напраслина. Въ большинствѣ сколько-нибудь замѣтныхъ русскихъ городовъ почти всегда можно найти не только чистый номеръ, но даже можно получить цѣлый «ложементъ», въ которомъ вполнѣ удобно задать обѣдъ на десять человѣкъ и вечерокъ на нѣсколько карточныхъ столовъ.

Такой ложементъ изъ трехъ комнатъ съ передней и ванной, и съ особымъ ходомъ изъ особыхъ сѣней занялъ и

Павелъ Николаевичъ Гордановъ. Съ него спросили за это десять рублей въ сутки,—онъ не поторговался и взялъ помѣщеніе. Эта щедрость сразу дала Горданову вѣсъ и пріобрѣла ему почтеніе хозяина и слугъ.

Павелъ Николаевичъ на первыхъ же порахъ объявилъ, что онъ будетъ жить здѣсь не менѣе двухъ мѣсяцевъ, договорилъ себѣ у содержателя гостиницы особаго слугу, самаго представительнаго и расторопнаго изо всего гостиничнаго штата, лучшій экипажъ съ кучеромъ и парою лошадей,—однимъ словомъ, сразу сталъ не на обыкновенную ногу дюжиннаго проѣзжающаго, а былъ рѣдкимъ и дорогимъ гостемъ. Его огромные юфтовые чемоданы, строченные цвѣтнымъ шелкомъ и изукрашенные нейзильберными винтами и бляхами съ именемъ Горданова; его гардеробъ, обширный какъ у актрисы; батистовое бѣлье; громадные портфели и несессеры, надъ разборомъ которыхъ отряженный ему слуга хлопоталъ цѣлый часъ, проведенный Висленевымъ у сестры, все это увеличивало обаяніе, произведенное пріѣзжимъ.

Черезъ часъ послѣ своего пріѣзда, Павелъ Николаевичъ, освѣжившись въ прохладной ваннѣ, сидѣлъ въ одномъ бѣльѣ предъ дорожнымъ зеркаломъ въ серебряной рамѣ, и чистилъ костянымъ копьецомъ ногти.

Гордановъ вообще человѣкъ не особенно представительный: онъ не высокъ ростомъ, плечистъ, но не толстъ, ему тридцать лѣтъ отъ роду и столько же и по виду; у него правильный, тонкій носъ; высокій, замѣчательно хорошо развитый смѣлый лобъ; черные глаза, большіе, бархатные, совсѣмъ безъ блеска, очень смышленые и смѣлые. Уста у него свѣжія, очерченныя тонко и обрамленныя небольшими усами, сходящимися у угловъ губъ съ небольшою черною бородкой. Кисти ослѣпительно бѣлыхъ рукъ его малы и находятся въ нѣкоторой дисгармоніи съ крѣпкими и сильно развитыми мышцами верхней части. Говоритъ онъ голосомъ ровнымъ и спокойнымъ, хотя лѣвая щека его слегка подергивается не только при противорѣчіяхъ, но даже при малѣйшемъ обнаруженіи непонятливости со стороны того, къ кому относится его рѣчь.

— Человѣкъ! какъ васъ зовутъ? — спросилъ онъ своего новаго слугу послѣ того, какъ, выкупавшись и умывшись, сѣлъ предъ зеркаломъ.

— Ефимъ Ѳедоровъ, ваше сіятельство, — отвѣчалъ ему лакей, униженно сгибаясь предъ нимъ.

— Во-первыхъ, я васъ совсѣмъ не спрашиваю, Ѳедоровъ вы или Степановъ, а во-вторыхъ, вы не смѣйте меня называть «вашимъ сіятельствомъ». Слышите?

— Слушаю-съ.

— Меня зовутъ Павелъ Николаевичъ.

— Слушаю-съ, Павелъ Николаевичъ.

— Вы всѣхъ знаете здѣсь въ городѣ?

— Какъ вамъ смѣю доложить... городъ большой.

— Вы знаете Бодростиныхъ?

— Помилуйте-съ,—отвѣчалъ, сконфузясь, лакей.

— Что это значитъ?

— Какъ же не знать-съ: предводитель!

— Узнайте мнѣ: Михаилъ Андреевичъ Бодростинъ здѣсь въ городѣ или нѣтъ?

— Навѣрное вамъ смѣю доложить, что ихъ здѣсь нѣтъ,— они вчера уѣхали въ деревню-съ.

— Въ Рыбецкое?

— Такъ точно-съ.

— Вы это навѣрно знаете?

— У насъ здѣсь на дворѣ почтовая станція: вчера они изволили уѣхать на почтовыхъ.

— Все равно: узнайте мнѣ, одинъ онъ уѣхалъ или съ женой?

— Супруга ихъ, Глафира Васильевна, здѣсь-съ. Онѣ, небольше часу тому назадъ, изволили проѣхать здѣсь въ колескѣ.

Гордановъ лѣниво всталъ, подошелъ къ столу, на которомъ былъ разставленъ щегольской письменный приборъ, взялъ листокъ бумаги и написалъ: «Я здѣсь къ твоимъ услугамъ: сообщи, когда и гдѣ могу тебя видѣть».

Запечатавъ это письмо, онъ положилъ его подъ обложку красиво переплетенной маленькой книжечки, завернулъ ее въ бумагу, снова запечаталъ и велѣлъ лакею отнести Бодростиной. Затѣмъ, когда слуга исчезъ, Гордановъ сѣлъ предъ зеркаломъ, развернулъ свой бумажникъ, пересчиталъ деньги и, сморщивъ съ неудовольствіемъ лобъ, долго сидѣлъ, водя въ раздумьи длинною ручкой черепаховой гребенки по чистому, серебристому пробору своихъ волосъ.

Въ это время въ дверь слегка постучали.

Гордановъ отбросилъ въ сторону бумажникъ и, не поворачиваясь на стулѣ, крикнулъ:

— Войдите!

Ему видно было въ зеркало, что вошелъ Висленевъ.

— Фу, фу, фу,—заговорилъ Іосафъ Платоновичъ, бросая на одинъ стулъ пальто, на другой шляпу, на третій палку.— Ты уже совсѣмъ устроился?

— Какъ видишь, сижу на мѣстѣ.

— Въ полномъ нарядѣ и добромъ здоровьи!

— Даже и въ полномъ нарядѣ, если бѣлье по-твоему составляетъ для меня полный нарядъ,—отвѣчалъ Гордановъ.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, я думалъ, что ты не разобрался.

— Разсказывай лучше, что̀ ты засталъ тамъ у себя и что̀ твоя сестра?

— Сестра еще похорошѣла.

— То была хороша, а теперь еще похорошѣла?

— Красавица, братъ, просто волшебная красавица!

— Наше мѣсто свято! Ты меня до крайности интересуешь похвалами ея красотѣ.

— И не забудь, что вѣдь нимало не преувеличиваю.

— Ну, а твоя, или ci-dêvant твоя генеральша... коварная твоя измѣнница?

— Ну, та ужъ видъ вальяжный имѣетъ, но тоже, чортъ ее возьми, хороша о сю пору.

— За что же ты ее чорту-то предлагаешь? Разскажи же, какъ вы увидѣлись, оба были смущены и долго молчали, а потомъ...

— И тѣни ничего подобнаго не было.

— Ну, ты непремѣнно, чай, предъ ней балетъ протанцовалъ, дескать: «ничтожество вамъ имя», а она тебѣ за это стречка по носу?

— Представь, что вѣдь въ самомъ дѣлѣ это было почти такъ.

— Ну, а она что же?

— Вообрази, что ни въ одномъ глазу: шутитъ и смѣется.

— Въ любви клянется и измѣняетъ тутъ же шутя?

— Ну, этого я не сказалъ.

— Да этого и я не сказалъ; а это изъ *Марты*, что ли,— не помню. А ты за которой же намѣренъ прежде прiударить?

Висленевъ взглянулъ на пріятеля недоумѣвающимъ взглядомъ и переспросилъ:

— То-есть какъ за которою?

— То-есть за которою изъ двухъ?

— Позволь, однако, любезный другъ, тебѣ замѣтить, что вѣдь одна изъ этихъ двухъ, о которыхъ ты говоришь, мнѣ родная сестра!

— Тьфу, прости, пожалуйста, — отвѣчалъ Павелъ Николаевичъ: — ты меня съ ума сводишь всѣми твоими разсказами о красотѣ, и я, растерявшись, горожу вздоръ. Извини, пожалуйста: а ужъ эту послѣднюю глупость я ставлю на твой счетъ.

— Можешь ставить ихъ на мой счетъ сколько угодно, а что касается до ухаживанья, то, нѣтъ, братъ, я ни за кѣмъ: я, братецъ, тонъ держалъ, да, серьезный тонъ. Тамъ цѣлое общество я засталъ: тетка, ея мужъ, чудакъ, антикъ, нигилистъ чистой расы...

— Скажи, пожалуйста! а здѣсь и они еще водятся?

Висленевъ посмотрѣлъ на него пристально и спросилъ:

— А отчего же имъ не быть здѣсь? Желѣзныя дороги... Да ты постой... вѣдь ты его долженъ знать

— Откуда и почему я это долженъ?

— А помнишь онъ съ Бодростинымъ-то пріѣзжалъ въ Петербургъ, когда Бодростинъ женился на Глафирѣ? Такой... бурбонъ немножко!

— Носъ съ краснинои?

— Да, на нутро немножко принимаетъ.

— Ну, помню: какъ бишь его фамилія?

— Форовъ.

— Да, Форовъ, Форовъ, — меня всегда удивляла этимологія этой фамиліи. Ну, а еще кто же тамъ у твоей сестры?

— Одинъ очень полезный намъ человѣкъ.

— *Намъ?*—удивился Гордановъ.

— Да; то-есть тебѣ, самый вліятельный членъ по крестьянскимъ дѣламъ, нѣкто Подозеровъ. Этого, я думаю, ты ужъ совсѣмъ живо помнишь?

— Подозеровъ?.. я его помню? Откуда и какъ: разскажи, сдѣлай милость.

— Господи! Что ты за притворщикъ!

— Во-первыхъ, ты знаешь, я все и всѣхъ позабываю. Разсказывай: что, какъ, гдѣ и почему я зналъ его?

— Изволь: я только не хотѣлъ напоминать тебѣ непріятной исторіи: этотъ Подозеровъ, когда всѣ мы были на четвертомъ курсѣ, былъ распорядителемъ въ воскресной школѣ.

Гордановъ спокойно произнесъ вспросительнымъ тономъ:

— Да?

— Ну да, и... ты, конечно, помнишь все остальное?

— Ничего я не помню.

— Исторія въ Ефремовскомъ трактирѣ?

— И никакой такой исторіи не помню, — холодно отвѣчалъ Гордановъ, прибирая волосокъ къ волоску въ своей бородѣ.

— Такъ я тебѣ ее напомню.

— Сдѣлай милость.

— Мы зашли туда всѣ вчетверомъ: ты, я, Подозеровъ и Форовъ, прямо съ Бодростинской свадьбы, и ты хотѣлъ, чтобы былъ выпитъ тостъ за какое-то родимое пятно на плечѣ или подъ плечомъ Глафиры Васильевны.

— Ты, другъ любезный, просто лжешь на меня; я не дуракъ и не могу объявлять такихъ тостовъ.

— Да; ты не объявлялъ, но ты шепнулъ мнѣ на ухо, а я сказалъ:

— Ахъ *ты* сказалъ... это иное дѣло! Ты, вѣдь, тоже тогда на нутро бралъ, тебѣ вѣрно и послышалось, что я шепталъ. Ну, а что же дальше? Онъ, кажется, тебя побилъ, что ли?

— Ну, вотъ ужъ и побилъ! ничего подобнаго не было, но онъ заставилъ меня сознаться, что я не имѣю права поднимать такого тоста.

— Однако, онъ, значитъ, мужчина молодецъ! Ну, ты, конечно, и сознался?

— Да; по твоему же настоянію и сознался: ты же уговорилъ меня, что надо беречь себя для дѣла, а не ссориться изъ-за женщинъ.

— Скажи, пожалуйста: какъ это я ничего этого не помню?

— Ну, полно врать: помнишь! Прекрасно ты все помнишь! Еще по твоему же совѣту... ты же сказалъ, что ты понимаешь одну только такую дуэль, по которой противникъ будетъ навѣрняка убитъ. Что, не твои это слова?

— Ну, безъ допроса,—что же дальше?

— Пустили слухъ, что онъ доносчикъ.

— Ничего подобнаго не помню.

— Ты, Павелъ Николаичъ, лжешь! это всѣ въ мірѣ знаютъ.

— Ну, да, да, Іосафъ Платонычъ, непремѣнно «всѣ въ мірѣ», вы меньшею мѣрой не мѣряете! Ну, и валяй теперь, сыпь весь свой дикціонеръ: «всякую штуку», «батеньку» и «голубушку»... Эхъ, любезный другъ! сколько мнѣ разъ тебѣ повторять: отучайся ты отъ этого поганаго нигилистическаго жаргона. Теперь настало время, что съ порядочными людьми надо знаться.

— Ну, такъ просто: *всѣ знаютъ*.

— Ошибаешься, и далеко не всѣ: вотъ здѣшній лакей, знающій здѣсь всякую тварь, ничего мнѣ не доложилъ объ этакомъ Подозеровѣ, но вотъ въ чемъ дѣло: ты тамъ не того?..

— Что такое?

— Балетъ-то танцовалъ, а, надѣюсь, не раскрывался бутономъ?

— То-есть въ чемъ же, на какой предметъ, и о чемъ я могу откровенничать? Ты, вѣдь, чортъ знаетъ, зачѣмъ меня схватилъ и привезъ сюда; я и самъ путемъ ничего иного не знаю, кромѣ того, что у тебя дѣло съ крестьянами.

— И ты этого, надѣюсь, не сказалъ?

— Нѣтъ, это-то, положимъ, я сказалъ, но сказалъ умно: я закинулъ только слово.

Гордановъ бросилъ на него бархатный взглядъ, обдававшій трауромъ, и внятно, отбивая каждое слово отъ слова, протянулъ:

— Ты это сказалъ? Ты, милый, уменъ какъ дьяконъ Семенъ, который книги продалъ, да карты купилъ. И ты претендуешь, что я съ тобой не откровененъ. Ты досадуешь на свою второстепенную роль. Играй, дружокъ, первую, если умѣешь.

— Паша, я вѣдь не знаю, въ чемъ дѣло?

— Дѣло въ истинѣ, изреченной въ твоей дѣтской прописи: «истинный способъ быть богатымъ состоитъ въ умѣреніи нашихъ желаній». Не желай ничего знать болѣе того, что тебѣ надо дѣлать въ данную минуту.

— Позволь, голубушка, — отвѣчалъ Висленевъ, перека-

тывая въ рукахъ жемчужину булавки Горданова.—Я тебя очень долго слушалъ.

— И всегда на этомъ выигрывалъ.

— Кромѣ одного раза.

— Какого?

— Моей женитьбы.

— Что же такое? и тутъ, кажется, обмана не было: ты бралъ жену во имя принципа. Спасъ женщину отъ родительской власти.

— То-то, что все это вышло вздоръ: не отъ чего ее было спасать.

— Ну, вѣдь, я же не могъ этого знать! Да и что ты отъ этого потерялъ, что походилъ вокругъ аналоя? Гиль!

— Да, очень тебѣ благодаренъ! Я и самъ когда-то такъ разсуждалъ, а теперь не разсуждаю, и знаю, что это содержанія требуетъ.

— Ну, вотъ видишь, зато у тебя есть одинъ лишній опытъ.

— Да, шути-ка ты «опытъ». Запрягся бы ты самъ въ такой опытъ?

— Ты очень добръ ко мнѣ. Я, братъ, всегда сознавался, что я предъ тобою нуль въ такихъ дѣлахъ, гдѣ нужно полное презрѣніе къ преданію: но, вѣдь, зато ты и былъ вождь, и пользовался и уваженіемъ и славой, тобой заслуженными, и я тебѣ не завидовалъ.

— Ахъ, оставь, пожалуйста, Павелъ Николаичъ, мнѣ вовсе не весело.

Гордановъ оборотился къ Висленеву, окинулъ его недовольнымъ взглядомъ и спросилъ:

— Это еще что такое значитъ? Чѣмъ ты недовольна, злополучная тѣнь, и чего еще жаждешь?

— Да что жъ ты шутишь?

— Скажите, пожалуйста! А чего бы мнѣ плакать?

— Не плачь, но и не злорадствуй. Что тамъ за опытъ я получилъ въ моей женитьбѣ? Не новость, положимъ, что моя жена меня не любитъ, а любитъ другого, но... то, что...

— Ну, а что же новость?

— Что?— крикнулъ Висленевъ.—А то, что она любитъ чортъ знаетъ кого, да и его не любитъ.

— А тебѣ какое дѣло?

— Она любитъ ростовщика, процентщика.

— А тебѣ, повторяю, какое до этого дѣло?

— Какое дѣло? такое, что это подлость... тѣмъ болѣе, что она и его не любитъ!

— Такъ что же ты за него, что ли, обижаешься?

— За кого?

— За Тихона Ларіоновича?

— О чортъ бы его побралъ! еще имя этого проклятаго здѣсь нужно.

— Шутъ ты, — сказалъ мягко Гордановъ и, вставъ, началъ одѣваться. — Шутъ и болѣе ничего! Какое тебѣ до всего этого дѣло?

— Ахъ, вотъ покорно васъ благодарю: новый министръ юстиціи явился и разсудилъ! Что мнѣ за дѣло? А имя мое, и вѣдь всѣ знаютъ, а дѣти, чортъ ихъ возьми; а дѣти... Они «Висленевы», а не жиды Кишенскіе.

— Скажите, какая важная фамилія: «Висленевъ!» Фу, чортъ возьми! Да имъ же лучше, что они не будутъ такіе сумасшедшіе, какъ ты! Ты бы еще радовался, что она не на твоей шеѣ, а еще тебѣ же помогала.

Висленевъ не отвѣчалъ и досадливо кусалъ ногти. Гордановъ продолжалъ одѣваться: въ комнатѣ минутъ пять продолжалось молчаніе.

— Ты ему сколько долженъ, Кишенскому-то?

Висленевъ промолчалъ.

— Да что же ты это на меня, значитъ, сердишься за то, что женился не хорошо, или за то, что много долженъ?

Висленевъ опять промолчалъ.

— Вотъ престранная, ей-Богу, порода людей! — заговорилъ, повязывая предъ зеркаломъ галстукъ, Гордановъ: — что только по ихнему желанію ни случится, всѣмъ они сами же первые сейчасъ недовольны. Захотѣлъ Іосафъ Платоновичъ быть вождемъ политической партіи, — былъ, и не доволенъ: подчиненные не слушаются; захотѣлъ показать, что для него бракъ гиль, — и женился для другихъ, то-есть для жены, и объ этомъ теперь скорбитъ; брезговалъ собственностью, коммуны заводилъ, а теперь душа не сноситъ, что карманъ тощъ; взаймы ему человѣкъ тысченокъ десятокъ далъ, теперь, зачѣмъ онъ далъ? поблагородничалъ, сестрѣ свою часть подарилъ, и объ этомъ нынче во всю грудь провздыхалъ: зачѣмъ не на *общее дѣло* отдалъ, зачѣмъ не бѣднымъ роздалъ? зачѣмъ не себѣ взялъ?

— Ну, извини, пожалуйста: послѣдняго я никогда не говорилъ.

— Ну полно, братъ Жозефъ, я вѣдь давно читаю тебя насквозь. А ты скажи, что это у васъ родовое, что ли? И сестра твоя такая?

— Оставь мою сестру; а читать меня не мудрено, потому что въ такихъ каторжныхъ сплетеніяхъ, въ какихъ я, конечно, пожалѣешь о всякомъ грошѣ, который когда нибудь употреблялъ легкомысленно.

— Ну, вотъ то-то и есть!

— Да, но все-таки, я, конечно, ужъ, если за что на себя не сѣтую, такъ это за то, что исполнилъ кое-какъ свой долгъ по отношенію къ сестрѣ. Да и нечего о томъ разговаривать, что уже сдѣлано и не можетъ быть передѣлано.

— Отчего же не можетъ быть передѣлано? даръ дарится и возвращается.

— Какой вздоръ.

— Не смѣй, Іосафушка, закона называть вздоромъ.

— И неужто ты думаешь, что я когда-нибудь прибѣгнулъ бы къ такому средству?

— Ни за что не думаю.

— Очень тебѣ благодаренъ хоть за это. Я нимало не сожалѣю о томъ, что я отдалъ сестрѣ, но только я охотно сбѣжалъ бы со свѣта отъ всѣхъ моихъ дѣлъ.

— Да куда, странничекъ, бѣжать-то? Это очень замысловатая штучка! въ полѣ холодно, въ лѣсу голодно. Нѣтъ, милое дитя мое, Іосафъ Платонычъ, не надо отъ людей отбиваться, а надо къ людямъ прибиваться. Денежка, мой другъ, трудъ любитъ, а мы съ тобой себѣ-то хотя, давай, не будемъ лгать: мы, когда надо было учиться, свистѣли; когда пора была грошъ на маленькомъ мѣстѣ имѣть, сами разными силами начальствовали; а вотъ лѣто-то все пропѣвши къ осени-то и жутко становится.

— Ахъ, жутко, Поль, жутко!

— То-то и есть, но нечего же и головы вѣшать. Съ азбуки намъ уже начинать поздно, служба только на кусокъ хлѣба даетъ, а люди на нашихъ глазахъ милліоны составляютъ; и дураковъ, надо уповать, еще и на нашъ вѣкъ хватитъ. Бабы-то наши вонъ раньше насъ за умъ взялись, и посмотри-ко ты, напримѣръ, теперь на Бодростину... Та ли это Бодростина, что была Глаша Акатова, которая, въ

дни нашей глупости, съ нами ради принципа питалась снятымъ молокомъ? Нѣтъ! это не та!

— И какъ она въ свою роль вошла! говорятъ, совсѣмъ природная дюшесса, герцогиня.

— Да и удивляться нечего; а почему? А потому что есть царь въ головѣ. Чего ей не быть дюшессой? Она всѣмъ сумѣла бы быть. Вотъ это-то и надо имѣть въ умѣ такимъ людямъ, какъ мы съ тобой, которые ворчали, что дѣлать состояніе будто бы «противно природѣ». Кто идетъ въ лѣсъ по малину спустя время, тому одно средство: встрѣтилъ кого съ кузовомъ и отсыпь себѣ въ кузовокъ.

— А что если бы твои эти слова слышалъ бы кто-нибудь посторонній?—спросилъ, щуря глаза и раскачивая ногою, Висленевъ.

— Что-жъ: сказалъ бы, что я подлецъ?

— Навѣрно.

— И навѣрно совралъ бы; потому что самъ точно такъ же, подлецъ, думаетъ. Ты хочешь быть добръ и честенъ?

— Конечно.

— Такъ будь же прежде богатъ, чтобы было изъ чего добрить и щедрить, а для этого... пересыпай, любезный, въ свой кузовъ изъ кузова тѣхъ, отъ кого какъ отъ козла ни шерсти, ни молока. А что скажутъ?.. Мы съ тобой, почтенный коллега, сбившись съ толку въ столицахъ, пріѣхали сюда дѣла свои пристраивать, а не нервничать, и ты, пожалуйста, здѣсь всѣ свои замашки брось и не хандри, и тоже не поучай, а понимаешь... соглашайся. Время, когда изъ Петербурга можно было наѣзжать въ провинціи съ тѣмъ, чтобы здѣсь пропагандировать да развивать свои теоріи, прошло безвозвратно. Вы, господа «передовые», трунили, что въ Россіи желѣзныхъ дорогъ мало, а желѣзныя дороги вамъ первая помѣха; онѣ надѣлали, что Питеръ совсѣмъ перестаетъ быть оракуломъ, и теперь, пріѣхавъ сюда изъ Петербурга, надо устремлять силы не на то, чтобы кого-нибудь развивать, а на то, чтобы кого-нибудь... обирать. Это одно еще пока ново и не заѣзжено.

Висленевъ молчалъ.

— Но только вотъ что худо,—продолжалъ Гордановъ:— когда вы тамъ въ Петербургѣ считали себя разныхъ дѣлъ мастерами, и посылали сюда разныхъ своихъ подмастерьевъ, вы сами позабыли провинцію, а она вѣдь иной разъ по-

хитрѣи Петербурга, и ты этого пожалуйста не забывай. Въ Петербургѣ можно цѣлый вѣкъ, ничего умнаго не сдѣлавши, слыть за умника, а здѣсь... здѣсь тебя всего разберутъ, кожу на тебѣ на живомъ выворотятъ и не поймутъ...

— Да я это сто разъ проводилъ въ моихъ статьяхъ, но ты, съ твоимъ высокимъ о себѣ мнѣніемъ, разумѣется, ничего этого не читалъ.

— Напротивъ, я «читалъ, и духомъ возмутился, зачѣмъ читать учился». Ты все развиваешь тамъ, что въ провинціи тебя не поймутъ. Да, любезный другъ, пожалуй что и не поймутъ; но не забудь, что зато непремѣнно разъяснятъ. Провинція, это—волшебница Всевѣда: она до всего добереться. А вы вотъ этого-то именно и не чаете, и оттого въ Петербургѣ свистите, а здѣсь какъ разъ и заревете. Совѣтую тебѣ прежде всего не объявляться ни подъ какою кличкой, тѣмъ болѣе, что, во-первыхъ, всякая кличка гиль, звукъ пустой, а потомъ, по правдѣ тебѣ сказать, ты вовсе и не *нигилистъ*, а весьма порядочный гилистъ. Гиль заставила тебя фордыбачить и отказываться отъ пособія, которое тебѣ Тихонъ Ларіонычъ предлагалъ для ссудной кассы, гиль заставила тебя метаться и искать судебныхъ мѣстъ, къ которымъ ты неспособенъ; гиль загнала тебя въ литературу, которая вся яйца выѣденнаго не стоитъ, если бы не имѣла одной цѣли — убить литературу; гиль руководитъ тобой, когда ты всѣмъ и каждому отрицаешься отъ нигилизма; однимъ словомъ, что ты ни ступишь, то это все гиль. Держись, пожалуйста, умнѣй, мой благородный вождь, иначе ты будешь свѣшенъ и смѣрянъ здѣсь въ одну недѣлю, и тебя даже подлецомъ не назовутъ, а просто нарядятъ въ шуты и будутъ вышучивать! а тогда ужъ и я не стану тебя утѣшать, а скажу тебѣ: выпроси, другъ Іосафъ Платонычъ, у кого-нибудь сахарную веревочку и подвѣсься минутъ на десять.

— Ты, однако, очень своеобразно утѣшаешь.

— Да, именно очень своеобразно; я не развожу вамъ разводовъ о «силѣ и матеріи», а ищу дѣйствующей силы, которая бы нашу голову на плечи поставила.

Висленевъ въ отчаяніи всплеснулъ руками.

— Да гдѣ же эта сила, Поль? — воскликнулъ онъ почти со слезами на глазахъ.

— Вотъ здѣсь, въ моемъ лбу и въ твоемъ послушаніи

и скромности. Я тебѣ это сказалъ въ Москвѣ, когда уговорилъ сюда ѣхать, и опять тебѣ здѣсь повторяю то же самое. Вѣрь мнѣ; вѣра не гиль, она горы двигаетъ; вѣрь въ меня, какъ я въ тебя вѣрю, и ты будешь обладать и достаткомъ, и счастіемъ.

— Полно, пожалуйста, гдѣ ты тамъ въ меня вѣришь?

— А ужъ я другому навѣрно бы не отдалъ портфеля съ полусотней тысячъ денежныхъ бумагъ.

— А я кстати не знаю, зачѣмъ ты ихъ мнѣ отдалъ? Возьми ихъ, Бога ради.

— Нельзя, мой милый; я живу въ гостиницѣ.

— Да все равно, конечно: ключъ вѣдь у тебя?

Въ это время въ комнату явился слуга, посланный Гордановымъ съ книгою къ Бодростинымъ, и вручилъ ему маленькую записочку, на которую тотъ только взглянулъ и тотчасъ же разорвалъ ее въ мельчайшіе лепесточки. Долго, впрочемъ, въ ней нечего было и читать, потому что на маленькомъ листкѣ была всего одна коротенькая строчка, написанная мелкимъ женскимъ почеркомъ. Строчка эта гласила: «12 chez vous».

Горданова на минуту только смутила цифра 12. Къ какой порѣ сутокъ она относилась? Впрочемъ, онъ сейчасъ же рѣшилъ, что она не можетъ относиться къ полудню; некстати также, чтобъ это касалось какой-нибудь и другой полуночи, а не той, которая наступитъ вслѣдъ за нынѣшнимъ вечеромъ.

«Она всегда толкова, и дѣло здѣсь, очевидно, идетъ о сегодня»,—сказалъ онъ себѣ и, положивъ такое рѣшеніе, вздохнулъ изъ глубины души и, обратясь къ сидѣвшему въ молчаніи Висленеву, добавилъ:—такъ-то, такъ-то, братъ Савушка; все у насъ съ тобой впереди, и деньги прежде всего.

— Ахъ, деньги важная вещь!

— Еще бы! Деньги, дитя мое, большой эффектъ въ жизни. И вотъ разъ, что онѣ у насъ съ тобой явятся въ изобиліи, исцѣлятся даже и всѣ твои язвы сердечныя. Прежде же всего надобно заботиться о томъ, чтобы поправить грѣхъ юности моей съ мужичонками. Для этого я попрошу тебя съѣздить въ деревню съ моею довѣренностью.

— Хорошо; я поѣду.

— Я дамъ тебѣ планъ и инструкціи какъ дѣйствовать,

а самому мнѣ нужно будетъ тѣмъ временемъ остаться здѣсь. А еще прежде того, есть у тебя деньги или нѣтъ?

— Откуда же онѣ, голубчикъ Павелъ? Изъ ста рублей...

— Да полно вычислять!

Гордановъ развернулъ свой портфель, вынулъ изъ него двѣсти рублей и подалъ Висленеву.

— Мнѣ, право, совѣстно, Поль...—заговорилъ Висленевъ, протягивая руку къ деньгамъ.

— Какой же ты послѣ этого нигилистъ, если тебѣ совѣстно деньги брать? Бери, пожалуйста, не совѣстись. Не далеко время, когда у тебя будутъ средства, которыми ты разочтешься со мною за все сразу.

— Ахъ, только будутъ ли они? будутъ ли когда-нибудь?— повторялъ Висленевъ, опуская деньги въ карманъ.

— Будутъ; все будетъ: будутъ деньги, будетъ положеніе въ свѣтѣ; другой жены новой только ужъ не могу тебѣ обѣщать; но кто же въ нашъ вѣкъ изъ порядочныхъ людей живетъ съ женами? А зато, — добавилъ онъ, схватывая Висленева за руку: — зато любовь, любовь... Въ провинціяхъ изъ лоскутковъ шьютъ очень теплыя одѣяла... а ты, каналья, вѣдь охотникъ кутаться!

— Пусти, пожалуйста, съ твоею любовью!—проговорилъ, невольно осклабляясь, Висленевъ.

— Нѣтъ, а ты не шути! — настойчиво сказалъ Гордановъ и, наклонясь къ уху собесѣдника, прошепталъ: — я знаю, кто о тебѣ думаетъ, и не самовольно обѣщаю тебѣ любовь такой женщины, предъ которою у всякаго зарябитъ въ глазахъ. Это вотъ какая женщина, предъ которою и сестра твоя, и твоя генеральша—померкнутъ какъ свѣтляки при свѣтѣ солнца, и которая... сумѣетъ полюбить такъ... какъ сорокъ тысячъ женъ любить не могутъ! — заключилъ онъ, быстро кинувъ руку Висленева.

— Ты это отъ себя фантазируешь?

— Да развѣ такія вещи можно говорить, не имѣя на то полномочія?

— Такъ что жъ она меня знаетъ, что ли?

— Конечно, знаетъ.

Висленевъ подернулъ въ недоумѣніи плечами, а Гордановъ заглянулъ ему въ глаза и, улыбаясь, проговорилъ:

— А! глаза забѣгали!

Висленевъ разсмѣялся.

— Да что же,—отвѣчалъ онъ:—нельзя же все въ самомъ дѣлѣ серьезно слушать, какъ ты интригуешь точно въ маскарадѣ.

— Нечего тебѣ толковать, маскарадъ это или не маскарадъ: довольно съ тебя, что я сдержу всѣ мои слова, а ты будешь и богатъ, и счастливъ, а теперь я вотъ ужъ и одѣтъ, и если ты хочешь меня куда-нибудь везти, то можешь мною располагать.

— Да, я пригласилъ къ себѣ пріятелей сестры поужинать и самъ пріѣхалъ за тобой.

— Прекрасно сдѣлалъ, что пригласилъ ихъ, и я очень радъ познакомиться съ пріятелями твоей сестры, но только два условія: сейчасъ мнѣ дома нужно написать маленькую цедулочку, и потомъ не сердись, что я долѣе половины двѣнадцатаго ни за что у васъ не останусь.

— А мнѣ бы, знаешь... кажется, надо бы забѣжать...

— Куда?

— Да къ этому генералу Синтянину,—заговорилъ, морщась, Висленевъ.—Сестра увѣряетъ, что, по ихъ обычаямъ, будто безъ того и генеральшѣ неловко будетъ придти.

— Ну, разумѣется! А ты не хочешь, что ли, идти къ нему?

— Конечно, не хотѣлось бы.

— Почему?

Висленевъ сдѣлалъ заученную гримасу и проговорилъ:

— Все, знаешь, лучше, какъ подалѣе отъ синяго мундира.

— Ахъ ты, кумъ! — Гордановъ пожалъ плечами и комически проговорилъ:—Вотъ что общество такъ губитъ: предразсудкамъ нѣтъ конца! Нѣтъ лучше поближе, а не подальше! Иди сейчасъ къ генералу, сію же минуту иди, и до моего пріѣзда умѣй снискать его любовь и расположеніе. Льсти, лги, кури ему, — словомъ, дѣлай что знаешь, это все нужно, — добавилъ онъ, пихнувъ тихонько Висленева рукой къ двери.

— Ну, такъ постой же, знаешь еще что? Сестра хотѣла позвать Бодростину.

— Ну, это вздоръ!

— Я ей такъ и сказалъ.

— Да Глафира и сама не поѣдетъ. Ахъ, женщина какая, Іосафъ!

— Кусай, любезный, локти!—проговорилъ, уходя, Іосафъ Платоновичъ.

Висленевъ ушелъ, а Гордановъ заперъ за нимъ двери на ключъ, досталъ изъ дорожной шкатулки два револьвера, осмотрѣлъ ихъ заряды, обтеръ замшей курки и положилъ одинъ пистолетъ на комодъ возлѣ изголовья кровати, другой—въ ящикъ письменнаго стола. Затѣмъ онъ взялъ листокъ бумаги и написалъ большое письмо въ Петербургъ, а потомъ на другомъ клочкѣ бумаги начертилъ:

«Я непремѣнно долженъ былъ отлучиться изъ дому, но къ урочному часу буду назадъ, и если минуту запоздаю, то ты подожди».

Окончивъ это послѣднее писаніе, Гордановъ позвонилъ лакея и велѣлъ ему, если бы кто пришелъ отъ Бодростиныхъ, отдать посланному запечатанную записку, а самъ сѣлъ въ экипажъ и поѣхалъ къ Висленевымъ.

На дворѣ уже совсѣмъ смерклось и тучилось; былъ девятый часъ вечера, въ небѣ далеко рѣяли зарницы и пахло дождемъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Волкъ въ овечьей кожѣ.

Когда экипажъ Горданова остановился у воротъ Висленевскаго дома, Іосафъ Платоновичъ, исполняя завѣтъ Павла Николаевича, былъ у генерала.

Ворота двора были отворены, и Горданову съ улицы были видны освѣщенныя окна флигеля Ларисы, раскрытыя и завѣшенныя ажурными занавѣсками. Гордановъ, по разсказамъ Висленева, зналъ, что ему нужно идти не въ большой домъ, но все-таки затруднялся: сюда ли, въ этотъ ли флигель ему надлежало идти? Онъ не велѣлъ экипажу въѣзжать внутрь двора, сошелъ у воротъ и пошелъ пѣшкомъ. Ни у воротъ, ни на дворѣ не было никого. Изъ флигеля слышались голоса и на занавѣскахъ мелькали тѣни, но отнестись съ вопросомъ было не къ кому.

Гордановъ остановился и оглянулся вокругъ. Въ это время на ступеняхъ крыльца дома, занимаемаго генераломъ, показалась высокая женская фигура въ свѣтломъ платьѣ, безъ шляпы и безъ всякаго выходного убора. Это была генеральша Александра Ивановна. Она тоже замѣтила Горданова съ первой минуты и даже отгадала, что это онъ, отгадала она и его затрудненіе, но, не показавъ ему этого, дернула спокойной рукой за тонкую веревку, которая шла куда-то за

уголъ и гдѣ-то терялась. Послышался мѣрный звонъ колокольчика и громкій откликъ: «сейчасъ!»

— Семенъ, иди подай скорѣе барину одѣваться!—отвѣчала на этотъ откликъ Синтянина и стала сходить по ступенямъ, направляясь къ флигелю Висленевыхъ.

Гордановъ тронулся ей навстрѣчу, и только-что хотѣлъ сдѣлать ей вопросъ объ указаніи ему пути, какъ она сама предупредила его и, остановясь, спросила:

— Вы, вѣрно, не знаете, какъ вамъ пройти къ Висленевымъ?

— Да,—отвѣчалъ, кланяясь, Гордановъ.

— Вы господинъ Гордановъ?

— Вы не ошиблись, это мое имя.

— Не угодно ли вамъ идти за мной, я иду туда же.

Они перешли дворикъ, взошли на крылечко, и Синтянина позвонила. Дверь не отворялась.

Александра Ивановна позвонила еще разъ, громче и нетерпѣливѣе, задвижка отодвинулась и въ растворенной двери предстала легкая фигура Ларисы.

— Какъ у тебя, Лара, никто не слышитъ,—проговорила Синтянина и сейчасъ же добавила:—вотъ къ вамъ гость.

Лариса, смущенная появленіемъ незнакомаго человѣка, подвинулась назадъ и, войдя въ залъ, спросила шопотомъ:

— Кто это?

— Гордановъ,—отвѣчала ей тихо генеральша, и кивнула головой Подозерову по направленію къ передней, гдѣ Гордановъ снималъ съ себя пальто.

Подозеровъ всталъ и быстро подошелъ къ двери какъ разъ въ то время, какъ Гордановъ готовился войти въ залу.

Оба они вѣжливо поклонились, и Гордановъ назвалъ себя по фамиліи.

— Я здѣсь самъ гость,—отвѣчалъ ему Подозеровъ и тотчасъ же, указавъ ему рукой на Ларису, которая стояла съ теткой у балконной двери, добавилъ:—вотъ хозяйка.

— Лариса Платоновна,—заключилъ онъ:—вамъ желаетъ представиться товарищъ Іосафа Платоновича, господинъ Гордановъ.

Лариса сдѣлала шагъ впередъ и проговорила казенное:

— Я очень рада видѣть друзей моего брата.

Павелъ Николаевичъ, со скромностью истиннаго джентль-

мена, отвѣчалъ тонкою любезностью Ларисѣ, и, поручая себя ея снисходительному вниманію, отдалъ общій поклонъ всѣмъ присутствующимъ.

Лариса назвала по именамъ тетку и прочихъ.

Гордановъ еще разъ поклонился дамамъ, пожалъ руки мужчинамъ и затѣмъ, обратясь къ хозяйкѣ, сказалъ:

— Вашъ братъ безпрестанно огорчаетъ меня своею неаккуратностью, и нынче снова поставилъ меня въ затрудненіе. По его милости я являюсь къ вамъ, не имѣя чести быть вамъ никѣмъ представленнымъ, и долженъ самъ рекомендовать себя.

— Братъ здѣсь у нашего жильца и будетъ сюда сію минуту.

И дѣйствительно, въ эту же минуту въ передней, которая оставалась незапертою, послышались шаги и легкій брязгъ шпоръ: это вошли Висленевъ и генералъ Синтянинъ.

Іосафъ Платоновичъ, какъ только появился съ генераломъ, тотчасъ же познакомилъ его съ Гордановымъ и затѣмъ завелъ полушуточный разсказъ о Форовѣ.

Все это время Синтянина зорко наблюдала гостя, но не замѣтила, чтобы Лариса произвела на него впечатлѣніе. Это казалось нѣсколько удивительнымъ, потому что Лариса, прекрасная при дневномъ свѣтѣ, теперь при огнѣ матовой лампы была очаровательна: большіе черные глаза ея горѣли отъ непривычнаго и противнаго ея гордой натурѣ стѣсненія присутствіемъ незнакомаго человѣка, тонкія дуги ея бровей ломались и сдвигались, а строжайшія линіи ея стана блестѣли серебромъ на изломахъ покрывавшаго ее бѣлаго альпага.

По неловкости Висленева, мужчины задержались на нѣкоторое время на срединѣ комнаты и разговаривали между собою. Синтянина рѣшила положить этому конецъ. Ее интересовалъ Гордановъ, и ей хотѣлось съ нимъ говорить, вывѣдать его и понять его.

— Господа! — воскликнула она, направляя свое слово какъ будто исключительно къ Форову и къ своему мужу:— что же вы насъ оставили? Позвольте замѣтить, что намъ это нимало не нравится.

Мужчины повернулись и, сопровождаемые Іосафомъ Платоновичемъ, усѣлись къ столу. Завязался общій разговоръ.

Рѣчь зашла о провинціи и впечатлѣніяхъ провинціальной жизни. Гордановъ говорилъ сдержанно и осторожно.

— Не находите ли вы, что провинція нынче еще болѣе болтлива, чѣмъ встарь?—спросила Синтянина.

— Я еще не успѣлъ вглядѣться въ нынѣшнихъ провинціальныхъ людей,—отвѣчалъ Гордановъ.

— Да, но вы, конечно, знаете, что встарь съ новымъ человѣкомъ заговаривали о погодѣ, а нынче начинаютъ рѣчь съ направленій. Это пріемъ новый, хотя, можетъ-быть, и не самый лучшій: это ведетъ къ риску сразу потерять всякій интересъ для новыхъ знакомыхъ.

— Самое лучшее, конечно, это вести рѣчь такъ, какъ вы изволите вести, то-есть заставлять высказываться другихъ, ничѣмъ не выдавая себя,—отвѣтилъ ей съ улыбкой Гордановъ.

Александра Ивановна слегка покраснѣла и продолжала:

— О, я совсѣмъ не обладаю такими дипломатическими способностями, какія вы во мнѣ заподозрили, я только любопытна какъ женщина стариннаго режима и люблю повѣрять свои догадки соображеніями другихъ. Есть пословица, что человѣка не узнаешь, пока съ нимъ не съѣшь три пуда соли, но мнѣ кажется, что это вздоръ. Такъ называемые нынче «вопросы» очень удобны для того, чтобы при ихъ содѣйствіи узнавать человѣка, даже ни разу не посоливши съ нимъ хлѣба.

Гордановъ усмѣхнулся.

— Вы, кажется, другого мнѣнія?—спросила Синтянина.

— Нѣтъ, совсѣмъ напротивъ!—отвѣчалъ онъ:—мое молчаніе есть только знакъ согласія и удивленія предъ вашею наблюдательностью.

— Вы, однако, тоже, какъ и Іосафъ Платонычъ, не пренебрегаете стариннымъ обычаемъ немножко льстить женской суетности, но я недругъ любезностей, расточаемыхъ женскому уму.

— Не женскому, а вашему, хотя я вообще не малый чтитель женскаго ума.

— Не знаю, какой вы его чтитель, но по-моему все нынѣшнее куреніе женскому уму вообще, это опять не что иное, какъ вѣковѣчная лесть той же самой женской суетности, только положенная на новыя ноты.

— Я съ вами совершенно согласенъ,—отвѣчалъ ей тономъ большой искренности Гордановъ.

— Мой пріятель попъ Евангелъ того убѣжденія, что всякій человѣкъ есть только ветхій Адамъ,—вставилъ Форовъ.

— И вашъ отецъ Евангелъ совершенно правъ,—опять согласился Гордановъ. — Если возьмемъ этотъ вопросъ серьезно и обратимся къ исторіи, къ лѣтописямъ преступленій или къ біографіямъ великихъ людей и друзей человѣчества, вездѣ и повсюду увидимъ одно безконечное ползанье и кружень по зодіакальному кругу: всѣ тѣ же овны, тельцы, раки, львы, дѣвы, скорпіоны, козероги и рыбы, съ маленькими отмѣнами на всякій случай, и только. Ново лишь то, что хорошо забыто.

— Сдаюсь на ваши доводы; вы правы,—согласился Форовъ.

— Теперь, напримѣръ,—продолжалъ Гордановъ: — развѣ не ощутительны новыя тяготѣнія къ старому: Татьяна Пушкина опять скоро будетъ нашимъ идеаломъ; самыя свѣтскія матери не стыдятся знать о здоровьи и воспитаніи своихъ дѣтей; недавно отвергнутый бракъ снова получаетъ важность. Восторги по поводу женскаго труда остыли...

— Нѣтъ-съ, извините меня,—возразилъ Филетеръ Ивановичъ:—вы, я вижу, стародумъ, стоите за старь, за то, что древле было все лучше и дешевле.

— Нимало: я совсѣмъ внѣ времени, но я во всякомъ времени признаю свое хорошее и свое худое.

— Такъ за что же вы противъ женскаго труда?

— Боже меня сохрани! Я не настолько самоотверженъ, чтобы, будучи мужчиной, говорить во вредъ себѣ.

— Я васъ не понимаю,—отозвался генералъ.

— Я стою за самую широкую эмансипацію женщинъ въ отношеніи труда; я даже думаю, что со стороны мужчинъ будетъ очень благоразумно свалить всю работу женщинамъ, но я, конечно, не позволю себѣ называть это эмансипаціей и не могу согласиться, что эта штука впервые выкинута съ женщинами, такъ называемыми, новыми людьми. Привилегія эта принадлежитъ не имъ.

— Она принадлежитъ нашимъ русскимъ мужичкамъ въ промысловыхъ губерніяхъ,—вставилъ Форовъ.

— Да; чтобы не восходить далѣе и не искать указаній

въ странахъ совершенныхъ дикарей, привилегію эту, конечно, можно отдать тѣмъ изъ русскихъ мужиковъ, для которыхъ семья не дорога. Мужикъ Орловской и Курской губерніи, пахарь, не гоняетъ свою бабу ни пахать, ни боронить, ни косить, а исполняетъ эту тягчайшую работу самъ; промысловый же мужикъ, который, конечно, хитрѣе хлѣбопашца, самъ пьетъ чай въ городскомъ трактирѣ, а жену обучилъ править за него мужичью работу на полѣ. Я отдаю справедливость, что все это очень ловко со стороны господъ мужчинъ, но совѣщусь сказать, что все это сдѣлано для женской пользы по великодушію.

— Вы, кажется-съ, играете словами,—промолвилъ генералъ, замѣтивъ общее вниманіе женщинъ къ словамъ Горданова; но тотъ это рѣшительно отвергъ.

— Я дѣлаю самые простые выводы изъ самыхъ простѣйшихъ фактовъ,—сказалъ онъ:—и притомъ изъ общеизвѣстныхъ фактовъ, которые ясно убѣждаютъ, что съ женщиной поступаютъ коварно и что значеніе ея все падаетъ. Какъ самое совершеннѣйшее изъ твореній, она призвана къ господству надъ грубою силою мужчины, а ее смѣщаютъ внизъ съ принадлежащаго ей положенія.

— Позвольте-съ, съ этимъ трудно согласиться!

— Съ этимъ, генералъ, *нельзя не согласиться!*

— А я не соглашусь-съ!

— Непремѣнно согласитесь. Развѣ не упало, не измельчало значеніе любви, преданности женщинамъ? Развѣ любовь не замѣняется холоднымъ сватовствомъ, не становится куплею... Согласитесь, что женитьба стала бременемъ, что распространяется ухаживанье за чужими женами, волокитничество, интрига безъ всякихъ обязательствъ со стороны мужчины. Даже обязанности волокитства кажутся ужъ тяжки,—женщина не стоитъ труда, и начинаются rendez-vous новаго сорта; не мелодраматическія rendez-vous съ замирающимъ сердцемъ на балконѣ «съ гитарою и шпагой», а спокойное свиданіе у себя предъ каминомъ, въ архалукѣ и туфляхъ, съ заученною лекціей сомнительныхъ достоинствъ о принципѣ свободы... Рѣчь о свободѣ съ тою, которая сама властна одушевить на всякую борьбу... Простите меня, но, мнѣ кажется, нѣтъ нужды болѣе доказывать, что значеніе женщины въ такъ-называемый «нашъ вѣкъ едва ли возвеличено тѣмъ, что ей, разжалованной

царицѣ, позволили быть работницей! Есть женщины, которыя уже теперь недовѣрчиво относятся къ такой эмансипаціи.

— Да, это правда,—вставила свое слово Лариса.

Гордановъ взглянулъ на нее и, встрѣтивъ ея взглядъ, закончилъ:

— Какъ вамъ угодно, для живой женщины наѣдаться за трудъ не было, не есть нынѣ и никогда не будетъ задачею существованія, и потому и въ этомъ вопросѣ,—если это вопросъ,—кругъ обойденъ, и просится нѣчто новое, это уже чувствуется.

— Однакоже-съ, законъ этого-съ еще какъ будто не предусматриваетъ, того, что вы изволите говорить,—прозвучалъ генералъ.

— Законъ!.. Вы правы, ваше превосходительство, законъ не предусматриваетъ, но и въ Англіи не отмѣненъ законъ, дозволяющій мужу продать невѣрную жену, а у насъ зато есть учрежденія, которыя всегда доставляли защиту женщинѣ, не стѣсняясь закономъ.

— Ага-съ! ага! поняли наконецъ-то: и извѣстныя учрежденія! Вотъ видите когда поняли!—воскликнулъ генералъ.

— Да этого нельзя и не понимать!

— Ага! ага! «нельзя не понимать!» Нѣтъ-съ, не понимали. Законъ! законъ! твердили: все законъ! А законъ-то-съ хорошъ-съ тѣмъ, кто выросъ на законѣ, какъ европейцы, а калмыцкую лошадь одинъ калмыкъ переупрямитъ.

Лариса бросила взглядъ на Горданова и, видя, что онъ молчитъ, встала и попросила гостей къ столу.

Ужинъ шелъ недолго, хотя состоялъ изъ нѣсколькихъ блюдъ и начался супомъ съ потрохами. Разговоръ десять разъ завязывался, но не клеился, а Гордановъ упорно молчалъ: съ его стороны былъ чистый расчетъ оставлять всѣхъ подъ впечатлѣніемъ его недавнихъ рѣчей. Онъ оставался героемъ вечера.

За столомъ говорилъ только Висленевъ, и говорилъ съ однимъ генераломъ о дѣлахъ, о правительствѣ, о министрахъ. Вмѣшиваться въ этотъ разговоръ охотниковъ не было. Висленевъ попробовалъ было потрунить надъ матеріализмомъ дяди, но тотъ отмолчался; тронулъ онъ было теткину религіозность, посмѣявшись, что она не ѣстъ раковъ, боясь грѣха, но Катерина Астафьевна спокойно отвѣтила:

— Не потому, батюшка, не ѣмъ, чтобы считала это грѣхомъ, а потому, что не столько на этихъ ракахъ мяса наѣшь, сколько зубовъ растеряешь.

Такъ ужинъ и кончился.

Вставъ изъ-за стола, Гордановъ тотчасъ же простился и зашелъ на минуту въ кабинетъ Висленева только для того, чтобы раскурить сигару, но, замѣтивъ старинные эстампы, пріостановился передъ Ѳамарью и Іудою.

— Какъ это хорошо исполнено,—сказалъ онъ.

— Нѣтъ, это ничего, а ты вотъ взгляни-ка на этихъ коней,—позвалъ его къ другой картинѣ Висленевъ.

Гордановъ оглянулся.

— Недурны,—сказалъ онъ сквозь зубы, мелькомъ взглянувъ на картинку.

— А которая тебѣ болѣе нравится?

— Одна другой лучше.

— Ну, этого не бываетъ.

— Почему нѣтъ? твоя сестра и генеральша развѣ не обѣ одинаково прекрасны? Здѣсь больше силы,—она дольше проскачетъ,—сказалъ онъ, показывая головкою тросточки на взнузданнаго бураго коня:—а здѣсь изъ очей пламя бьетъ, изъ ноздрей дымъ валитъ. Прощай, — добавилъ онъ, зѣвнувъ.—Да вотъ еще что. Генералъ-то Синтянинъ, я слышалъ, говорилъ тебѣ за ужиномъ, что онъ ѣдетъ для какихъ-то внушеній въ сторонѣ, гдѣ мое имѣніе, — вотъ тебѣ хорошо бы съ нимъ примазаться! Обдумай-ко это!

— А что жъ, я, если хочешь, это улажу, но ловко ли только съ нимъ-то?

— И прекрасно сдѣлаешь: съ нимъ-то и ловко! а того... что бишь такое я еще хотѣлъ тебѣ сказать?.. Да, вспомнилъ! Приходи ко мнѣ завтра часу въ одиннадцатомъ; съѣздимъ вмѣстѣ къ этому Подозерову.

— Хорошо.

— А что, твоя сестра за него уже просватана или нѣтъ?

— Что тако-ое? моя сестра просватана!.. На чемъ ты это основываешь?

— На гусиной печенкѣ, которую она ловила для него въ суповой чашѣ. Это значитъ, она знаетъ его вкусы и собирается угождать имъ.

— Какой вздоръ! сестра, кажется, такой субъектъ, что она можетъ положить ему на тарелку печенку, а тебѣ сердце.

Гордановъ засмѣялся.

— Чего ты смѣешься?

— Не знаю, право, но мнѣ почему-то всегда смѣшно, когда ты расхваливаешь твою сестру. А что касается до твоей генеральши, то скажу тебѣ, что она прелесть и баба мозговитая.

— А вотъ видишь ли, а вѣдь ты ошибаешься, она совсѣмъ не такъ умна, какъ тебѣ кажется. Она только бойка.

— Ну да; разсказывай ты! Нѣтъ, а ты рта-то съ ней не разѣвай! Прощай, я совсѣмъ сплю.

Пріятели пожали другъ другу руки, и Висленевъ проводилъ Гордановa до коляски, изъ которой тотъ сунулъ Іосафу Платоновичу два пальца и уѣхалъ.

На дворѣ было уже безъ четверти полночь. Гордановъ нетерпѣливо понукалъ кучера, и наконецъ, увидавъ въ окнахъ своего номера чуть замѣтный подслѣповатый свѣтъ, выскочилъ изъ коляски, прежде чѣмъ она остановилась.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Не поняли, но объясняютъ.

Проводивъ Гордановa, Висленевъ возвратился назадъ въ домъ, насвистывая оперетку, и засталъ здѣсь уже все общество наготовѣ разойтись: Подозеровъ, генералъ и Филетеръ Ивановичъ держали въ рукахъ фуражки, Александра Ивановна прощалась съ Ларисой, а Катерина Астафьевна повязывалась предъ зеркаломъ башлыкомъ.

Іосафъ Платоновичъ хотѣлъ показать, что его эти сборы удивили.

— Господа!—воскликнулъ онъ:—куда же вы это?

— Домой-съ, домой, — отвѣчалъ, протягивая ему руку, генералъ.

— Что жъ это такъ рано и притомъ всѣ вдругъ?

— Вамъ спать пора, — отвѣчала ему, подавая на прощанье руку, генеральша Синтянина.

— И даже вы, тетушка, тоже уходите? — обратился онъ къ Форовой, окончившей въ эту минуту свой туалетъ.

— Мужъ меня, батюшка, беретъ, замужъ вышла, не свой человѣкъ.

— Лара, уговори хоть ты,—обратился онъ къ сестрѣ.

— Alexandrine, погоди,—проговорила Лара.

— Мой другъ... ты знаешь, у меня дома есть больная.

Александра Ивановна нагнулась къ уху Ларисы и прошептала:

— Я и такъ поступаю не хорошо: Вѣра весь день очень безпокойна.

— Я больше не прошу,—отвѣтила ей громко Лариса.

— Ну, дѣлать нечего, прощайте, господа, — повторилъ Висленевъ:—но я во всякомъ случаѣ надѣюсь, что мы будемъ часто видѣться. А какъ вамъ, Филетеръ Ивановичъ, показался мой пріятель Гордановъ? Неправда ли, умница?

— Да вы что же сами подсказываете? — возразилъ Форовъ.

— Я не подсказываю, я только такъ...

— Ну, ужъ теперь нечего «такъ»! Прощайте.

— Нѣтъ, а вѣдь вправду уменъ? — допрашивалъ Висленевъ, удерживая за руку майора.

— Ну вотъ, не видала Москва таракана: экая рѣдкость, что уменъ!

— И резоненъ, на вѣтеръ не болтаетъ.

— Это еще того дешевле. Намъ его резоны все равно, что морю дождикъ, мы резоны-то и безъ него съ прописей списывали, а вотъ онъ настоящую *свою суть* покажи!

— Пока вы его провожали, мы на его счетъ по нашей провинціальной привычкѣ уже немножко посплетничали,— сказала почти на порогѣ генеральша. — Знаете, вашъ другъ, — если только онъ другъ вашъ, привелъ насъ всѣхъ къ соглашенію, между тѣмъ какъ всѣ мы чувствуемъ, что съ нимъ мы вовсе не согласны.

Висленевъ засмѣялся и сказалъ:

— Я это ему передамъ.

У своего крыльца Синтянина на минуту остановилась съ Подозеровымъ и, удержавъ въ своей рукѣ руку, которую послѣдній подалъ ей на прощанье,—спросила его:

— Ну, а вамъ, Андрей Ивановичъ, понравился этотъ баринъ?

— Не очень понравился, Александра Ивановна, — коротко отвѣчалъ Подозеровъ.

— Это значитъ, что онъ вамъ совсѣмъ не понравился. Я это, впрочемъ, видѣла и очень сожалѣла, что вы сегодня такъ убійственно скучны и молчаливы. Вы одинъ могли бы ему отвѣчать, и вы-то и не сказали ни слова.

— Къ чему? — отвѣтилъ Подозеровъ. — Онъ говоритъ

красно. Да; они совсѣмъ довоспитался: теперь уже не такъ легко открыть, кто подъ какимъ флагомъ везетъ какую контрабанду.

— Зачѣмъ же вы молчали? И вообще, что значитъ: цѣлый день унылость, а къ ночи сплинъ?

— Не знаю, скучно и сердце болитъ.

— А вы бы вотъ поучились у Гордѣнова владѣть собою! Удивительное самообладаніе!

— Ничего удивительнаго! Самообладаніемъ отличается шулеръ, когда смотритъ всѣмъ въ глаза, чтобы не замѣтили, какъ онъ передѣргиваетъ карту.

— Во всякомъ случаѣ, господинъ Гордановъ мастерски владѣетъ собою.

— И другими даже, — подтвердила Форова, цѣлуя въ лобъ Синтянину. — Это, господа, не человѣкъ, а... кто его знаетъ, кто онъ такой: его въ ступѣ толки, онъ будетъ вокругъ толкача бѣгать.

— А ваше мнѣніе, Филетеръ Ивановичъ, о новомъ гостѣ какое?

— Пока не вложу перста моего—ничего не знаю.

— Вы неисправимы, — промолвила генеральша и добавила: — я рада бы съ вами много говорить, да Вѣра нездорова; но одно вамъ скажу: по-моему, этотъ Гордановъ точно рефлекторъ, онъ все отражалъ и все соединялъ въ фокусѣ, но что же онъ намъ сказалъ?

— А ничего! — отвѣтилъ Форовъ. — Съ пытливыхъ дамъ и этого довольно.

— Ну, прощайте, — произнесла генеральша и, кивнувъ всѣмъ головою, пошла на крыльцо.

Форовъ втроемъ съ женою и Подозеровымъ вышли за калитку и пошли по пустынной улицѣ озареннаго луной и спящаго города.

Іосафъ Платоновичъ, выпроводивъ гостей, счелъ было нужнымъ поговорить съ сестрой по-сердцу и усадилъ ее въ гостиной на диванѣ, но, перекинувшись двумя-тремя фразами, почувствовалъ нежеланіе говорить и ударилъ отбой.

— Ну, и слава Богу, что у тебя все хорошо,— сказалъ онъ. — Ты сколько же берешь нынче въ годъ за домъ съ Синтяниныхъ?

— Столько же, какъ и прежде. Жозефъ.

— То-есть, что же именно? Я вѣдь уже все это позабылъ, сколько за все платилось.

— Они мнѣ платятъ шестьсотъ рублей.

— Фуй, фуй, какъ дешево! Квартиры повсемѣстно ужасно вздорожали.

— Да? я, право, этого не знаю, Жозефъ.

— Какъ же, Ларушка. По крайней мѣрѣ у насъ въ Петербургѣ все стало чортъ знаетъ какъ дорого. Ты напрасно не обратишь на это вниманія.

— Но что же мнѣ до этого?

— Какъ что тебѣ до этого, моя милая? Ихъ превосходительства могли бы тебѣ теперь и подороже...

— Ахъ, полно Бога ради: цѣна, которую они платятъ, мнѣ ровесница. Синтянинъ, съ тѣхъ поръ какъ выѣхали Гриневичи, платитъ за этотъ домъ шестьсотъ рублей, не я же стану набавлять на нихъ... Съ какой стати?

— Какъ съ какой стати? Все дорожаетъ, а деньги дешевѣютъ. Матушка наша, я помню, платила кухаркѣ два рубля серебромъ въ мѣсяцъ, а мы теперь сколько платимъ?

— Пять.

— Ну, вотъ, здравствуй, пожалуйста! Платишь за все втрое, а берешь то же самое, что и сто лѣтъ тому назадъ брала. Это невозможно. Я даже удивляюсь, какъ имъ самимъ это не совѣстно жить за старую цѣну, и если они этого не понимаютъ, то я дамъ имъ это почувствовать.

— Нѣтъ, я прошу тебя, Жозефъ, этого не дѣлать! Во-первыхъ, Синтянины небогаты, а во-вторыхъ, у насъ квартиры втрое и не вздорожали, въ-третьихъ же, я дорожу Синтяниными, какъ хорошими постояльцами, и дружна съ Alexandrine...

— Да; «дружба, это ты!» когда намъ это выгодно,— перебилъ, махнувъ рукой, Висленевъ.

— А въ-четвертыхъ...—проговорила и замялась на словѣ Лариса.

— Въ-четвертыхъ, это не мое дѣло. Я съ тобой согласенъ, часть свою я тебѣ уступилъ, и домъ вполнѣ твоя собственность, но вѣдь тебѣ же надо на что-нибудь и жить.

— Я и живу.

— Да, ты живешь мастерски, живешь чисто и прекрасно,—продолжалъ онъ:—но все-таки... быть посвободнѣе

въ грошѣ никогда не мѣшаетъ. Конечно, я предъ тобой много виноватъ...

— Ты виноватъ? Чѣмъ это? я не знаю.

— Ну, помнишь, вѣдь я обѣщалъ тебѣ, что я буду помогать и даже опредѣлилъ тебѣ триста рублей въ годъ, но мнѣ, дружочекъ Лара, такъ не везетъ, — добавилъ онъ, сжимая руку сестрѣ:—мнѣ такъ не везетъ, что даже одурь подчасъ взять готова! Тяжко наше переходное время! То принципы не идутъ въ согласіе съ выгодами, то... ахъ, да ужъ лучше и не поднимать этого! Вообще тяжело человѣку въ наше переходное время.

— Вообще ты напоминаешь мнѣ о томъ, Жозефъ, о чемъ я давно позабыла.

— То-есть о чемъ же я тебѣ напоминаю?

— О твоемъ обѣщаніи, которое ты исполнять отнюдь не долженъ; потому что имѣешь теперь уже свою семью, и о гомъ, какъ живется человѣку въ наше переходное время. Я его ненавижу.

— Что же, развѣ ты перешла «переходы» и видишь пристанище? — пошутилъ Висленевъ, гладя сестру по рукѣ и смотря ей въ глаза.

— Пристанище въ томъ: жить какъ живется.

— Ой, шутишь, сестренка!

— Нимало.

— Тебѣ всего вѣдь девятнадцать лѣтъ.

— Нѣтъ, черезъ мѣсяцъ двадцать.

— Пора бы тебѣ и замужъ.

Лариса разсмѣялась и отвѣчала:

— Не берутъ.

— Ой, лжешь ты, Лара, лжешь, чтобы тебя не брали! Ты хороша, какъ пери.

— Полно, пожалуйста.

— Ей-Богу! Вѣдь ты ослѣпительно хороша! Погляди-ка на меня! Фу, ты Господи! Что за глазищи: мракъ и пламень, и сердце не камень.

— Камень, Іосафъ,—отвѣчала, улыбаясь, Лара.

— Врешь, Ларка! Я тебя уже изловилъ.

— Ты изловилъ меня?.. На чемъ?

— На гусиной печенкѣ.

Лариса выразила непритворное удивленіе.

— Не понимаешь? Полно, пожалуйста, притворяться!

Намъ, братъ, Питеръ-то уже глаза повытеръ, мы всюду смотримъ и всякую штуку замѣчаемъ. Ты зачѣмъ Подозерову полчаса цѣлыхъ искала въ супѣ печенку?

— Ахъ, это-то... Подозерову!

И Лариса вспыхнула.

— Стыдъ не потерянъ,—сказалъ Іосафъ Платоновичъ:— но выборъ особыхъ похвалъ не заслуживаетъ.

— Выбора нѣтъ.

— Что же это... Такъ?

— Именно такъ... ничего.

— Ну, я такъ и говорилъ.

— Ты *такъ говорилъ?*.. Кому и что такъ ты говорилъ?

— Нѣтъ, это такъ, пустяки. Гордановъ меня спрашивалъ, просватана ты или нѣтъ? а я говорю: «съ какой стати?»

Висленевъ вздохнулъ, выпустилъ клубъ сигарнаго дыма и, потеребя сестру за мизинецъ, проговорилъ:

— Покрѣпись, Ларушка, покрѣпись, подожди! У меня все это настраивается, и прежде Богъ дастъ хорошенько подкуемся, а тогда ужъ для всѣхъ и во всѣхъ отношеніяхъ пойдетъ не та музыка. А теперь, покуда, прощай,— добавилъ онъ, вставая и цѣлуя Ларису въ лобъ, а самъ подумалъ про себя: «Тьфу, чортъ возьми, что это такое выходитъ! Хотѣлъ у ней попросить, а вмѣсто того ей же еще наобѣщалъ».

Лариса молча пожала его руку.

— А мой портфель, который я тебѣ давеча отдалъ, у тебя?—спросилъ, простившись, Висленевъ.

— Нѣтъ; я положила его на твой столъ въ кабинетѣ.

— Ай! зачѣмъ же ты это сдѣлала такъ неосторожно?

— Но вѣдь онъ, слава Богу, цѣлъ?

— Да, это именно слава Богу: въ немъ сорокъ тысячъ денегъ, и не моихъ еще вдобавокъ, а Гордановскихъ.

— Онъ такъ богатъ?

— Н... н... не столько богатъ, какъ тороватъ, онъ далеко пойдетъ. Это человѣкъ какъ разъ по времени, по сезону. Меня, признаюсь, очень интересуетъ, какъ онъ здѣсь понравится ли?

— Я думаю.

— Нѣтъ; вѣдь его, дружокъ, надо знать такъ, какъ я его знаю; вѣдь это голова, это страшная голова!

— Онъ уменъ.

— Страшная голова!.. Прощай, сестра.

И братъ съ сестрой еще разъ простились и разошлись.

Зала стемнѣла, и въ дверяхъ Ларисы щелкнулъ замокъ, повернутый ключомъ изъ ея спальни.

— Ключъ!—прошепталъ, услыхавъ этотъ звукъ, Іосафъ Платоновичъ, стоя въ раздумьи надъ своимъ письменнымъ столомъ, на которомъ горѣли двѣ свѣчи и между ними лежалъ портфель.

— Ключъ! — повторялъ онъ въ раздумьи и, взявъ въ руки портфель, повертѣлъ его, пожалъ, завелъ подъ его крышку костяной ножикъ, поштурфовалъ имъ во всѣ стороны и, бросивъ съ досады и ножикъ, и портфель, вошелъ въ залу и постучалъ въ двери сестриной спальни.

— Что тебѣ нужно, Жозефъ?—отозвалась Лариса.

— Къ тебѣ, Лара, ходитъ какой-нибудь слесарь?

— Да, когда нужно, у Синтяниныхъ есть слесарь-солдатъ,—отвѣчала сквозь двери Лариса.

— Пошли за нимъ, пожалуйста, завтра: онъ мнѣ нуженъ.

— Хорошо. А кстати, Жозефъ, ты завтра дѣлаешь кому-нибудь визиты?

— Кому же, Лара?

— Бодростиной, напримѣръ?

— Бодростиной! Зачѣмъ?

— Мы же съ ней въ родствѣ: она двоюродная сестра твоей жены, и она у меня бываетъ.

— Да, милый другъ, мы съ ней въ родствѣ, но не въ согласіи,—проговорилъ, уходя, братъ.—Прощай, Ларушка.

— Спокойной ночи, братъ.

«Да, да, да,—мысленно проговорилъ себѣ Іосафъ Платоновичъ, остановившись на минуту предъ темными стеклами балконной двери. — Да, и Бодростина, и Гордановъ, это все свойственники... Свойство и дружество!.. Нѣтъ, друзья и вправду видно хуже враговъ. Ну, да еще посмотримъ, кто кого? Старые охотники говорятъ, что въ отчаянную минуту и заяцъ кусается, а я хоть и загнанъ, но еще не заяцъ.»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Изъ балета «Два вора».

Покойная ночь, которую всѣ пожелали Висленеву, была неспокойная. Простясь съ сестрой и возвратясь въ свой

кабинетъ, онъ заперся на ключъ и началъ быстро ходить взадъ и впередъ. Думы его летѣли одна за другою толпами, словно онъ куда-то несся и обгонялъ кого-то на ретивой тройкѣ; ему, очевидно, было сильно не по себѣ: его точилъ незримый червь, отъ котораго нельзя уйти, какъ отъ самого себя.

— Весь я истормошился и изнемогъ, говорилъ онъ себѣ.— Здѣсь какъ будто легче немного, въ отцовскомъ домѣ, но надолго ли?.. Надолго ли они не будутъ знать, что я изъ себя сдѣлалъ?.. Кто я и что я?.. Надо, надо спасаться! Дни ужасно быстро бѣгутъ, сбѣжали безвѣстно куда цѣлые годы, перевалило за полдень, а я еще не доигралъ ни одной... нѣтъ, нужна рѣшимость... квитъ или двойной кушъ!

Висленевъ нетерпѣливо сбросилъ пиджакъ и жилетку и уже хотѣлъ совсѣмъ раздѣваться, но вмѣсто того только завелъ руку за разстегнутый воротъ рубашки и до крови сжалъ себѣ ногтями кожу около сердца. Черезъ нѣсколько секундъ онъ ослабилъ руку, подошелъ въ раздумьи къ столу, взялъ перочинный ножикъ, открылъ его и приставилъ къ крышкѣ портфеля.

«Разъ—и все кончено, и все объяснится», пробѣжало въ его умѣ.

— Но если тутъ дѣйствительно есть такія деньги? Если... Гордановъ не лгалъ, а говорилъ правду? Откуда онъ могъ взять такія цѣнныя бумаги? Это ложь... но, однако, какое же я имѣю право въ немъ сомнѣваться? Вѣдь во всѣхъ случаяхъ до сихъ поръ онъ меня выручалъ, а я его... и что же я выиграю отъ того, если удостовѣрюсь, что онъ меня обманываетъ и хочетъ обмануть другихъ? Я ничего не выигрываю. А если онъ дѣйствительно владѣетъ вѣрнымъ средствомъ выпутаться самъ и меня выпутать, то я, обличивъ предъ нимъ свое невѣріе, послѣднимъ поклономъ всю обѣдню себѣ испорчу. Нѣтъ!

Онъ быстрымъ движеніемъ бросилъ далеко отъ себя ножъ, задулъ свѣчи и, распахнувъ окно въ садъ, свѣсился туда по грудь и сталъ вдыхать свѣжій ночной воздухъ.

Ночь была тихая и теплая, по небу шли грядками слоистыя облака и заслоняли луну. Дождь, не разошедшійся съ вечера, не расходился вовсе. На усыпанной дорожкѣ противъ окна Ларисиной комнаты лежали три полосы слабаго свѣта, пробивавшагося сквозь опущенныя шторы.

«Сестра не спитъ еще, — подумалъ Висленевъ. — Бѣдняжка!.. Славная она, кажется, дѣвушка... только никакого въ ней направленія нѣтъ... а вправду, чортъ возьми, и нужно ли женщинамъ направленіе? Правила, я думаю, нужнѣе. Это такъ и было: прежде цѣнили въ женщинахъ хорошія правила, а нынче направленіе... мнѣ, по правдѣ сказать, въ этомъ случаѣ старина гораздо больше нравится. *Правила*, это нѣчто твердое, вѣрное, само себя берегущее и само за себя отвѣтствующее, а направленіе... это: день мой—вѣкъ мой. Это все колеблется, перемѣняется и мятется, и въ своихъ перебиваніяхъ, и въ своихъ задачахъ. И что такое это наше направленіе?.. Кто мы и что мы? Мы лѣземъ на мѣста, не пренебрегаемъ властью, хлопочемъ о деньгахъ и полагаемъ, что когда заберемъ въ руки и деньги, и власть, тогда сдѣлаемъ и «общее дѣло»... но вѣдь это все вздоръ, все это лукавство, никакъ не болѣе, на самомъ же дѣлѣ теперь о себѣ хлопочетъ каждый... Гордановъ служилъ въ Польшѣ, а развѣ онъ любитъ Россію? Онъ потомъ учредилъ кассу ссудъ на чужое имя, и далъ и съ живого, и съ мертваго, говоря, что это нужно для «общаго дѣла», но развѣ какое-нибудь общее дѣло видало его деньги? Онъ давалъ мнѣ взаймы... но развѣ мое нынѣшнее положеніе при немъ не то же самое, что положеніе нѣмца, котораго Блонденъ носилъ за плечами, хотя по канату? Я долженъ сидѣть у него на закорткахъ, потому что я *долженъ*... Прегадкій каламбуръ! Но мой Блонденъ рано или поздно полетитъ внизъ головой... онъ не сдобруетъ, этотъ чудотворецъ, заживо творящій чудеса, и я съ нимъ вмѣстѣ сломаю себѣ шею... я это знаю, я это чувствую и предвижу. Здѣсь, въ родительскомъ домѣ, мнѣ это ясно до боли въ глазахъ... мнѣ словно кто-то шепчетъ здѣсь: «кинь, брось его и оглянись назадъ... А назади?...»

Ему въ это мгновеніе показалось, что позади его кто-то дышитъ.

Висленевъ быстро восклонился отъ окна и глянулъ назадъ.

По полу, черезъ всю переднюю, лежала чуть замѣтная полоса слабаго свѣта и ползла чрезъ открытую дверь въ темный кабинетъ и здѣсь терялась во тьмѣ.

«Луна за облакомъ, откуда бы могъ быть этотъ свѣтъ?»— подумалъ Висленевъ, тихо вышелъ въ переднюю и вздрогнулъ.

Высокій фасадъ большого дома, занимаемаго семействомъ Синтянина, былъ весь теменъ, но въ одномъ окнѣ стояла легкая, почти воздушная бѣлая фигура, съ лицомъ, ярко освѣщеннымъ двумя свѣчами, которыя горѣли у ней въ обѣихъ рукахъ.

Это не была Александра Ивановна, это легкая, эѳирная, полудѣтская фигура въ бѣломъ, но не въ бѣломъ платьѣ обыкновеннаго покроя, а въ чемъ-то въ родѣ ряски монастырской бѣлицы. Стоячій воротничокъ обхватываетъ тонкую, слабую шейку, дѣтскій станъ словно повитъ пеленой и широкіе рукава до локтей открываютъ тонкія руки, озаренныя трепетнымъ свѣтомъ горящихъ свѣчъ. Съ головы на плечи вьются свѣтлые русые кудри, и два черные острые глаза глядятъ точно не видя, а уста шевелятся.

— И что она дѣлаетъ, стоя со свѣчами у окна? — размышлялъ Висленевъ.—И главное, кто это такой: ребенокъ, женщина или, пожалуй, привидѣніе... духъ!.. Какъ это смѣшно! Кто ты? Мой ангелъ ли спаситель иль темный демонъ искуситель? А вотъ и темно... Какъ странно у нея погасъ огонь! Я не видалъ, чтобъ она задула свѣчи, а она точно сама съ ними исчезла... Что это за явленіе такое? Завтра первымъ дѣломъ спрошу, что это за фея у нихъ мерцаетъ въ ночи? Не призываюсь ли я вправду къ покаянію? О, да, о, да, какая разница, если бъ я пріѣхалъ сюда одинъ, именно для одной сестры, или теперь?.. Мнѣ тяжело здѣсь съ демономъ, на котораго я возложилъ мои надежды. Сколько разъ я думалъ придти сюда какъ блудный сынъ, покаяться и жить какъ всѣ они, ихъ тихою, простою жизнью... Нѣтъ, все не хочется смириться и надежда все лжетъ своимъ лепетомъ, да и нельзя: въ нашъ вѣкъ отсылаютъ къ самопомощи... Самъ себѣ, говорятъ, помогай, то-есть что же, крадь что ли, если не за что взяться? Вотъ отъ этого и мошенниковъ стало очень много. Фу, Господи, откуда и зачѣмъ опять является въ окнѣ это бѣлое привидѣніе! Что это?. Обѣ руки на-крестъ и свѣчи у ушей взмахнула... Нѣтъ ея... и холодъ возлѣ сердца... Ну, однако, мои нервы съ дороги воюютъ. Давно пора спать. Нечего думать о мистеріяхъ блуднаго сына, теперь ужъ настала пора ставить балетъ *Два вора*... Что?..—и онъ вдругъ вздрогнулъ при послѣднемъ словѣ и повторилъ въ умѣ «балетъ *Два вора*».— «Ужасно!.. А вонъ окно-то въ садъ открыто о сю пору...

Какая неосторожность! Садъ кончается неогороженнымъ обрывомъ надъ рѣкою... Вору ничего почти не стоитъ забраться въ садъ и... украсть портфель.—Висленевъ перешелъ назадъ въ свой кабинетъ и остановился.—Такъ ничего невозможно сдѣлать съ такою нерѣшительностью...»— соображалъ онъ:—«оттого мнѣ никогда и не удавалось быть честнымъ, что я всегда хотѣлъ быть честнѣе, чѣмъ слѣдуетъ, я всегда упускалъ хорошіе случаи, а за дрянные брался... Гордановъ бы не раздумывалъ на моемъ мѣстѣ обревизовать этотъ портфель, тѣмъ болѣе, что сюда въ окна, напримѣръ, очень легко могъ влѣзть воръ, взять изъ портфеля цѣнныя бумаги... а портфель... бросить разрѣзанный въ саду... Отчего я не могу этого сдѣлать? Низко?.. Передъ кѣмъ? Кто можетъ это узнать... Гораздо хуже я хотѣлъ звать слесаря. Слесарь свидѣтель... Но самого себя стыдно. Сердце бьется! Но я вѣдь и не хочу ничего взять себѣ, это будетъ только хитрость, чтобы знать: есть у Горданова средства повести какія-то блестящія дѣла или все это вздоръ? Конечно, конечно; это простительно, даже это нравственно разоблачать такое темное мошенничество! Иначе никогда на волю не выберешься... Гдѣ ножъ? Куда я его бросилъ!»— шепталъ онъ, дрожа и блуждая взоромъ по темной комнатѣ.— «Фу, какъ темно! Онъ, кажется, упалъ подъ кровать...»

Висленевъ началъ шарить впотьмахъ руками по полу, но ножа не было.

— Какая глупость! Гдѣ спички?

Онъ началъ осторожно шарить по столу, ища спичекъ, но и спичекъ тоже не было.

— Все не то, все попадается портфель... Вотъ, кажется, и спички... Нѣтъ!.. Однако же какая глупость... съ кѣмъ это я говорю и дрожу... Гдѣ же спички?.. У сестры все такъ въ порядкѣ и нѣтъ спичекъ... Что?.. Съ какой стати я сказалъ: «у сестры...» Да, это правда, я у сестры, и на столѣ нѣтъ спичекъ... Это оттого, что онѣ вѣрно у кровати.

Онъ, чуть касаясь ногами пола, пошелъ къ кровати: здѣсь было еще темнѣе. Опять надо было искать на ощупь, но Висленевъ, проводя руками по маленькому столику, вдругъ неожиданно свалилъ на полъ колокольчикъ, и съ этимъ быстро бросился обутый и въ панталонахъ въ постель, и закрылся съ головой одѣяломъ.

Его обливалъ потъ и въ то же время била лихорадка, въ головѣ все путалось и плясало, сдавалось, что по комнатѣ кто-то тихо ходитъ, стараясь не разбудить его.

— Не лучше ли дать знать, что я не крѣпко сплю и близокъ къ пробужденію?—подумалъ Іосафъ Платоновичъ и притворно вздохнулъ соннымъ вздохомъ и, потянувшись, совлекъ съ головы одѣяло.

Въ жаркое лицо ему пахнула свѣжая струя, но въ комнатѣ было все тихо.

«Сестра притихла, или она вышла,»—подумалъ онъ и ворохнулся посмѣлѣе.

Конецъ спустившагося одѣяла задѣлъ за лежавшій на полу колокольчикъ, и тотъ, медленно дребезжа о края язычкомъ, покатился по полу. Вотъ онъ описалъ полукругъ и все стихло, и снова нигдѣ ни дыханія, ни звука, и только слышно Висленеву, какъ крѣпко ударяетъ сердце въ его груди; онъ слегка разомкнулъ рѣсницы и видитъ — темно.

— Да, можетъ-быть, сестра сюда вовсе и не входила, можетъ все это мнѣ только послышалось... или, можетъ быть, не послышалось... а сюда входила не сестра... а садъ кончается обрывомъ надъ рѣкой... ограды нѣтъ, и воръ... или *онъ самъ* могъ все украсть, чтобы послѣ обвинить меня и погубить!

Висленевъ быстро сорвался съ кровати, потянулъ за собою одѣяло и, кинувшись къ столу, судорожными руками нащупалъ портфель и палъ на него грудью.

Нѣсколько минутъ онъ только тяжело дышалъ и потомъ, медленно распрямляясь, всталъ, прижалъ портфель обѣими руками къ груди и, высунувшись изъ окна, поглядѣлъ въ садъ.

Ночь темнѣла предъ разсвѣтомъ, а на пескѣ дорожки попрежнему мерцали три полоски свѣта, проходящаго сквозь шторы итальянскаго окна Ларисиной спальни.

— Неужто это Лара до сихъ поръ не спитъ? А можетъ быть у нея просто горитъ лампада. Пойти бы къ ней и попросить у нея спички? Что жъ такое? Да и вообще чего я пугаюсь! Вздоръ все это; гиль! Я не только долженъ удостовѣриться, а я долженъ... взять, да, взять, взять... средство, чтобы самому себѣ помогать... Презираю себя, презираю другихъ, презираю то, что меня могутъ презирать, но ужъ кончу же это все разомъ! Прежде всего разбужу сестру и возьму спичекъ, тутъ нѣтъ ничего непозво-

лительнаго? Нездоровится, не спится, а спичекъ не поставлено, или я не могу ихъ найти?

Висленевъ прокрался въ самый темный уголъ къ камину и поставилъ тамъ портфель за часы, а потомъ подошелъ къ запертой двери въ залъ и осторожно повернулъ ключъ. Замочная пружина громко щелкнула и дверь въ залу отворилась.

Ну, ужъ теперь надобно идти!

Онъ подошелъ къ дверямъ сестриной комнаты, но вдругъ спохватился и сталъ.

«Это никуда не годится,—рѣшилъ онъ.—Зачѣмъ мнѣ огонь? Въ саду можетъ кто-нибудь быть, и ему все будетъ видно ко мнѣ въ окно, что̀ я дѣлаю! Теперь ночь, это правда, но самыя неожиданныя случайности часто выдавали самыя вѣрно разсчитанныя предпріятія. Положимъ, я могу опустить штору, но все-таки будетъ извѣстно, что я просыпался и что у меня былъ огонь... тѣнь можетъ все выдать, надо бояться и тѣни.»

Онъ сдѣлалъ два шага назадъ и остановился противъ балконной двери.

«Не лучше ли отворить эту дверь? Это было бы прекрасно... Тогда могло бы все пасть на то, что забыли запереть дверь и ночью взошелъ воръ, но...»

Онъ ужъ хотѣлъ повернуть ключъ и остановился: опять пойдетъ это замочное щелканье, и потомъ... это неловко... могутъ пойти гадкіе толки, вредные для чести сестры...

Висленевъ отмѣнилъ это намѣреніе и тихо возвратился въ свой кабинетъ. Осторожно, какъ можно тише притворилъ онъ за собою дверь изъ залы, пробрался къ камину, на которомъ оставилъ портфель, и вдругъ чуть не свалилъ завѣтныхъ часовъ. Его даже облилъ холодный потъ, но онъ впотьмахъ, не зная самъ какимъ чудеснымъ образомъ, подхватилъ часы налету, взялъ въ руки портфель и, отдохнувъ минуту отъ волненія, началъ хладнокровно шарить руками, ища по полу заброшеннаго ножа.

Хладнокровная работа оказалась далеко успѣшнѣе давишнихъ судорогъ, и ножикъ скоро очутился въ его рукахъ. Взявъ въ руки ножъ, Висленевъ почувствовалъ твердое и неодолимое спокойствіе. Сомнѣнія его сразу покинули,—о страхахъ не было и помину. Теперь ему никто и ничто не помѣшаетъ вскрыть портфель, узнать, дѣйстви-

тельно ли тамъ лежатъ цѣнныя бумаги, и потомъ свалить все это на воровъ. Размышлять больше не о чемъ, да и некогда; ножъ, крѣпко взятый рѣшительною рукой, глубоко вонзился въ спай крышки портфеля, но вдругъ Висленевъ вздрогнулъ, ножъ завизжалъ, вырвался изъ его рукъ, точно отнятый сторонней силой, и упалъ куда-то далеко за окномъ, въ густую траву, а въ комнатѣ, среди глубочайшей ночной тишины, съ рычаньемъ раскатился оглушительный звонъ, трескъ, шипѣніе, свистъ и грохотъ.

Висленевъ схватился за косякъ окна и не дышалъ, а когда онъ пришелъ въ себя, предъ нимъ стояла со свѣчой въ рукахъ Лариса, въ ночномъ пеньюарѣ и кругломъ фламандскомъ чепцѣ на черныхъ кудряхъ.

— Что здѣсь такое, Josephъ?—спросила она голосомъ тихимъ и спокойнымъ, но наморщивъ лобъ и острымъ взглядомъ окидывая комнату.

— А... что такое?

— Зачѣмъ ты пустилъ эти часы! Они уже восемнадцать лѣтъ стояли на минутѣ батюшкиной смерти... а ты ихъ стронулъ.

— Ну, да я испугался и самъ!—заговорилъ, оправляясь, Висленевъ.—Они подняли здѣсь такой содомъ, что мертвый бы впалъ въ ужасъ.

— Ну, да, это не мудрено, у нихъ давно все перержавѣло, и разумѣется, какъ колеса пошли, такъ и скатились всѣ до новаго завода. Тебѣ не надо было ихъ пускать.

— Да я и не пускалъ.

— Помилуй, кто же ихъ пустилъ? Они всегда стояли.

— Я тебѣ говорю, что я ихъ не пускалъ.

— Ты, вѣрно, ихъ толкнулъ или покачнулъ неосторожно. Они стояли безъ четырехъ минутъ двѣнадцать, прошли нѣсколько минутъ и начали бить, пока сошелъ заводъ. Я сама не менѣе тебя встревожилась, хотя я еще и не ложилась спать.

— А я вѣдь,—представь ты, спалъ и очень крѣпко спалъ, и вдругъ здѣсь этотъ шумъ и... кто-то... словно бросился въ окно... я вспрыгнулъ и вижу... портфель... гдѣ онъ?

— Онъ вотъ у тебя, у ногъ.

— Да вотъ... и онъ нагнулся къ портфелю.

Лариса быстро отвернулась и, подойдя къ камину, на которомъ стояли часы, начала поправлять ихъ, а затѣмъ

задула свѣчу и, переходя безъ огня въ переднюю, остановилась у того окна, у котораго незадолго передъ тѣмъ стоялъ Висленевъ.

— Чего ты смотришь?—спросилъ онъ, выходя вслѣдъ за сестрой.

— Смотрю, нѣтъ ли кого на дворѣ.

— Ну и что же: нѣтъ никого?

— Нѣтъ, я вижу, кто-то прошелъ?

— Кто прошелъ? Кто?

— Это вѣрно жандармъ.

— Что? жандармъ! Зачѣмъ жандармъ?—И Висленевъ подвинулся за сестрину спину.

— Здѣсь это часто... Къ Ивану Демьянычу депеша или бумага, и больше ничего.

— А, ну такъ будемъ спать!

Лариса не подала брату руки, но молча подставила ему лобъ, который былъ холоденъ, какъ кусокъ свинца.

Висленевъ ушелъ къ себѣ, заперся со всѣхъ сторонъ и, опуская штору въ окнѣ, подумалъ: «Ну, чортъ возьми совсѣмъ! Хорошо, что это еще такъ кончилось? Конечно, тамъ мой ножъ за окномъ... Но, впрочемъ, кто же знаетъ, что это мой ножъ?.. Да и если я не буду спать, то я на зарѣ пойду и отыщу его...»

И съ этимъ онъ не замѣтилъ, какъ уснулъ.

Лариса между тѣмъ, войдя въ свою комнату, снова заперлась на ключъ, и, ставъ на срединѣ комнаты, окаменѣла.

— Боже! Боже мой!—прошептала она, приходя чрезъ нѣсколько времени въ себя:—да неужто же мои глаза... Неужто онъ!

И она покрылась яркою краской багроваго румянца и перешла изъ спальни въ столовую. Здѣсь она сѣла у окна и, спрятавшись за косякомъ, рѣшилась не спать, пока настанетъ день и проснется Синтянина.

Ждать приходилось недолго, на дворѣ уже замѣтно сѣрѣло, и у сосѣда Висленевыхъ, въ клѣткѣ, на высокомъ шестѣ, перепелъ громко ударилъ свое утреннее «бакъ-ба-бакъ!»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Дока на доку нашелъ.

Чтобъ идти далѣе, надо возвратиться назадъ къ тому полуночному часу, въ который Гордановъ уѣхалъ изъ дома Висленевыхъ къ себѣ въ гостиницу.

Мы знаемъ, что когда Павелъ Николаевичъ пріѣхалъ къ себѣ, было безъ четверти двѣнадцать часовъ. Онъ велѣлъ отпрягать лошадей и, проходя по коридору, кликнулъ своего новаго слугу.

— Ко мнѣ должны сейчасъ пріѣхать мои знакомые: дожидай ихъ внизу и встрѣть ихъ и проведи, — велѣлъ онъ лакею.

— Понимаю-съ.

— Ничего ты не понимаешь, а иди и дожидайся. Подай мнѣ ключъ, я самъ взойду одинъ.

— Ключа у меня нѣтъ-съ, потому что тамъ, въ передней, васъ ожидаютъ съ письмомъ отъ Бодростиныхъ.

— Отъ Бодростиныхъ? — изумился Гордановъ, который ожидалъ совсѣмъ не посланнаго.

— Точно такъ-съ.

— Давно?

— Минуты три не больше, я только проводилъ и шелъ сюда.

— Хорошо, все-таки жди внизу,—приказалъ Гордановъ и побѣжалъ вверхъ, прыгая черезъ двѣ и три ступени.

«Человѣкъ съ письмомъ?—думалъ онъ,—это, конечно, ей помѣшало что-нибудь очень серьезное. Чортъ бы побралъ всѣ эти препятствія въ такую пору, когда все больше чѣмъ когда-нибудь виситъ на волоскѣ».

Съ этимъ онъ подошелъ къ двери своего ложемента, нетерпѣливо распахнулъ ее и остановился.

Коридоръ былъ освѣщенъ, но въ комнатахъ стояла непроглядная темень.

— Кто здѣсь?—громко крикнулъ Гордановъ на порогѣ и мысленно ругнулъ слугу, что въ номерѣ нѣтъ огня, но, замѣтивъ въ эту минуту маленькую гаснущую точку только-что задутой свѣчи, повторилъ гораздо тише: — кто здѣсь такой?

— Это я!—отвѣчалъ ему изъ темноты тихій, но звучный голосъ.

Гордановъ быстро переступилъ порогъ и заперъ за собою дверь.

Въ это мгновеніе плеча его тихо коснулась мягкая, нѣжная рука. Онъ взялъ эту руку и повелъ того, кому она принадлежала, къ окну, въ которое слабо свѣтилъ снизу уличный фонарь.

— Ты здѣсь?—воскликнулъ онъ, взглянувъ въ лицо таинственнаго посѣтителя.

— Какъ видишь... Одинъ ли ты, Павелъ?

— Одинъ, одинъ, и сейчасъ же совсѣмъ отошлю моего слугу.

— Пожалуйста, скорѣй пошли его куда-нибудь далеко... Я такъ боюсь... Вѣдь здѣсь не Петербургъ.

— О, перестань, все знаю и самъ дрожу.

Онъ свѣсился въ окно и позвалъ своего человѣка по имени.

— Куда бы только его послать, откуда бы онъ не скоро воротился?

— Пошли его на извозчикѣ въ нашу оранжерею купить цвѣтовъ. Онъ не успѣетъ воротиться раньше утра.

Гордановъ ударилъ себя въ лобъ и, воскликнувъ: — «отлично!»—выбѣжалъ въ коридоръ. Здѣсь, столкнувшись носъ съ носомъ съ своимъ человѣкомъ, онъ далъ ему двадцать рублей и строго приказалъ сейчасъ же ѣхать въ Бодростинское подгородное имѣніе, купить тамъ у садовника букетъ цвѣтовъ, какой возможно лучше, и привезти его къ утру.

Слуга поклонился и исчезъ.

Гордановъ возвратился въ свой номеръ. Въ его гостиной теплилась стеариновая свѣча, слабый свѣтъ которой былъ заслоненъ темнымъ силуэтомъ человѣка, стоявшаго ко входу спиной.

— Ну, вотъ и совсѣмъ одни съ тобой!—заговорилъ Гордановъ, замкнувъ на ключъ дверь и направляясь къ силуэту.

Фигура молча повернулась и начала нетерпѣливо разстегивать напереди частыя пуговицы черной шинели.

Гордановъ быстро опустилъ занавѣсы на всѣхъ окнахъ, зажегъ свѣчи, и когда кончилъ, предъ нимъ стояла высокая стройная женщина, съ подвитыми въ кружокъ темно-русыми волосами, большими сѣрыми глазами, свѣжимъ пріятнымъ лицомъ, которому небольшой вздернутый носъ и полныя пунцовыя губы придавали выраженіе очень смѣлое и въ то же время пикантное. Гостья Горданова была одѣта въ черной бархатной курточкѣ, въ такихъ же панталонахъ и высокихъ, черныхъ лакированныхъ сапогахъ. Бѣлую, довольно полную шею ея обрамлялъ отложной воротничокъ мужской рубашки, застегнутой на груди брильянтовыми за-

понками, а у ногъ ея на полу лежала широкополая, сѣрая мужская шляпа и шинель. Однимъ словомъ, это была сама Глафира Васильевна Бодростина, жена престарѣлаго губернскаго предводителя дворянства, Михаила Андреевича Бодростина,—та самая Бодростина, которую не разъ вспоминали въ Висленевскомъ саду.

Сбросивъ неуклюжую шинель, она стояла теперь, похлопывая себя тоненькимъ хлыстикомъ по сапогу, и съ легкою тѣнью иронiи, глядя прямо въ лицо Гордановy, спросила его:

— Хороша я, Павелъ Николаевичъ?

— О да, о да! Ты всегда и во всемъ хороша!—отвѣчалъ ей Гордановъ, ловя и цѣлуя ея руки.

— А я тебѣ могу вѣдь, какъ Татьяна, сказать, что «прежде лучше я была и васъ, Онѣгинъ, я любила».

— Тебѣ нѣтъ равной и теперь.

— А затѣмъ мнѣ, знаешь, что надобно сдѣлать?.. Повернуться и уйти, сказавъ тебѣ прощайте, или... даже не сказавъ тебѣ и этого.

— Но ты, разумѣется, такъ не поступишь Глафира?

Она покачала головой и проговорила:

— Ахъ, Павелъ, Павелъ, какой ты гнусный человѣкъ!

— Брани меня, какъ хочешь, но одного прошу: позволь мнѣ прежде всего разсказать тебѣ...

— Зачѣмъ?.. Ты только будешь лгать и сдѣлаешься жалокъ мнѣ и гадокъ, я совсѣмъ не желаю ни плакать о тебѣ, какъ было въ старину, ни брезговать тобой, какъ было послѣ,—отвѣсила съ гримасой Бодростина и, вынувъ изъ бокового кармана своей курточки черепаховый портъ-сигаръ съ серебряной отдѣлкой, достала пахитоску и, отбросивъ ногой въ сторону кресло, прыгнула и полулегла на диванъ.

Гордановъ подвелъ ей подъ локоть подушку. Бодростина приняла эту услугу безо всякой благодарности и, не глядя на него, сказала:

— Подай мнѣ огня!

Глафира Васильевна зажгла пахитоску и откинулась на подушку.

— Что ты смѣешься?—спросила она сухо.

— Я думаю: какой бы это былъ судъ, гдѣ женщины были бы судьями? Ты осуждаешь меня, не позволяя мнѣ даже объясниться.

— Да; объясняться,—это давняя мужская спеціальность, но она уже намъ надоѣла. Въ чемъ ты можешь объясниться? Въ чемъ ты мнѣ не ясенъ? Я знаю все, что̀ говорится въ вашихъ объясненіяхъ. Вашъ мудрый полъ довольно глупъ: вы очень любите разнообразіе; но сами всѣ до утомительности однообразны.

Она подняла вверхъ руку съ дымящеюся пахитоской и продекламировала:

Кто устоитъ противъ разлуки,—
Соблазна новой красоты,
Противъ бездѣйствія и скуки,
И своенравія мечты?

— Не такъ ли?

— Вовсе нѣтъ.

— О, тогда еще хуже!.. Резоны, доводы, примѣры и пара фактовъ изъ подвиговъ какихъ-то дивныхъ, всепрощавшихъ женщинъ, для которыхъ ваша память служитъ синодикомъ, когда настанетъ покаянное время... все это скучно и не нужно, Павелъ Николаевичъ.

— Да, ты позволь же говорить! Быть-можетъ, я и самъ хочу говорить съ тобой совсѣмъ не о чувствахъ, а...

— О принципахъ... Ахъ, пощади и себя, и меня отъ этого шарлатанства! Оставимъ это донашивать нашимъ горничнымъ и лакеямъ. Я пришла къ тебѣ совсѣмъ не для того, чтобъ укорять тебя въ измѣнахъ; я не изъ тѣхъ, которыя рыдаютъ отъ отставокъ; ты мнѣ чужой...

— Позволь тебѣ немножко не повѣрить?

Бодростина тихонько перегнула голову и, взглянувъ черезъ плечо, сказала серьезно:

— А ты еще до сихъ поръ въ этомъ сомнѣвался?

— Признаюсь тебѣ, и нынче сомнѣваюсь.

— Скажите, Бога ради! А я думала всегда, что ты гораздо умнѣе! Пожалуйста же впередъ не сомнѣвайся. Возьмика вотъ и погаси мою пахитосу, чтобъ она не дымила, и перестанемъ говорить о томъ, о чемъ уже давно пора позабыть.

Гордановъ замялъ пахитоску.

Въ то время какъ онъ былъ занятъ такою работой, Бодростина пересѣла въ уголъ дивана и, сложивъ на груди руки, начала спокойнымъ, дѣловымъ тономъ:

— Если ты думалъ, что я тебя выписывала сюда по сер-

дечнымъ дѣламъ, то ты очень ошибался. Я, cher ami, стара для этихъ дѣлъ—мнѣ скоро двадцать восемь лѣтъ, да и потомъ, если бъ ужъ лукавый попуталъ, то какъ бы нибудь и безъ васъ обошлась.

Бодростина завела руку за голову Горданова и поставила ему съ затылка пальцами рожки.

Гордановъ увидалъ это въ зеркало, засмѣялся, поймалъ руку Глафиры Васильевны и поцѣловалъ ея пальцы.

— Ты похожъ на мальчишку, котораго высѣкутъ и потомъ еще велятъ ему цѣловать розгу; но оставь мою руку и слушай. Благодарю тебя, что ты пріѣхалъ по моему письму: у меня есть за тобою долгъ, и мнѣ теперь понадобился платежъ...

Гордановъ сконфузился.

— Что, видишь какая презрѣнная проза насъ сводитъ!

— Истинно презрѣнная, потому что я... годъ какъ турецкій святой, съ тою разницею, что даже лишенъ силы чудотворенія.

— Ты совсѣмъ не о томъ говоришь, — возразила Бодростина: — я очень хорошо знаю, что ты всегда голъ какъ африканская собака, у которой предъ тобой есть явныя преимущества въ ея вѣрности, но мнѣ твоего денежнаго платежа и не нужно. Вотъ, на тебѣ еще!

Она вынула съ этимъ изъ-за жилета пачку новыхъ сторублевыхъ ассигнацій и бросила ихъ на столъ.

— Но я не возьму этого, Глафира!

— Возьмешь, потому что это нужно для моего дѣла, которое ты долженъ сдѣлать, потому что я на одного тебя могу положиться. Ты долженъ мнѣ заплатить одинъ невещественный долгъ.

— Скажи яснѣе. Какой? Ихъ множество.

— Перечти всѣ важнѣшіе случаи въ нашихъ съ тобой столкновеніяхъ. Начинай назадъ тому семь лѣтъ, ты, молодой студентъ, вошелъ «въ хижину бѣдную, Богомъ хранимую», въ качествѣ учителя двѣнадцатилѣтняго мальчика и, встрѣтивъ въ той хижинѣ, «за Невой широкою, дѣву свѣтлоокую», ты занялся развитіемъ сестры болѣе, чѣмъ уроками брата. Кончилось все это тѣмъ, что «дѣва» увлеклась плѣнительною сладостью твоихъ обманчивыхъ рѣчей и, положившись на твои сладкія приманки въ алюминіевыхъ чертогахъ свободы и счастія, въ трудѣ съ беранжеров-

скими шансонетками, бросила отца и мать и пошла жить съ тобою «на разумныхъ началахъ», глупѣе которыхъ ничего невозможно представить. Колоссальная дура эта была я. Подтверди это.

— Что-жъ тутъ подтверждать! Собственное сознаніе лучше свидѣтельства цѣлаго свѣта.

— Какая у тебя холодная натура, Гордановъ! Я еще до сихъ поръ не отвыкла стыдиться, что ты когда-то для меня нѣчто значилъ. Но я все-таки дорисую тебѣ вашей честности портретъ. Я тебѣ скоро надоѣла, потому что вамъ всякій надоѣдаетъ, кому надобно ѣсть. Вы всѣ, господа, очень опрометчиво поступали, склоняя женщинъ жить только плотью и не вѣрить въ душу: вамъ гораздо сподручнѣе были бы безплотныя; но я, къ сожалѣнію, была не безплотная и доказала вамъ это живымъ существомъ, которое вы «во имя принципа» сдали въ Воспитательный домъ. Потомъ вы... хотѣли спустить меня съ рукъ, обратить меня въ карту для игры съ передаточнымъ вистомъ. «Такія, дескать, у насъ правила игры»; но я вамъ плюнула на ваши «правила игры» и стала казаться опасною... Вы боялись, чтобъ я сдуру не повѣсилась, и положили спровадить меня къ отцу и къ матери: «вотъ, дескать, ваша дочка! Не говорите, что мы разбойники и воры, мы ее совсѣмъ не украли, а поводили, поводили, да и назадъ привели». Но я и на такіе курбеты была неспособна: сидѣть съ вашими стрижеными, грязношеими барышнями и слушать ихъ безконечныя сказки «про бѣлаго бычка», да склонять отъ бездѣлья слово «трудъ», мнѣ наскучило; ходить по вашимъ газетнымъ редакціямъ и не выручать тяжелою работой на башмаки я считала глупымъ, и въ томъ не каюсь... Конечно, было средство женить на себѣ принципнаго дурака, сказать, что я стѣснена въ своей свободѣ, и потребовать, чтобы на мнѣ женился кто-нибудь «изъ принципа», въ родѣ Висленева... но мнѣ всѣ «принципные» послѣ васъ омерзѣли... Тогда рѣшились попрактиковать на мнѣ еще одинъ принципъ: пустить меня, какъ красивую женщину, на поиски и привлеченье къ вамъ богатыхъ людей.....и я, ко всеобщему вашему удивленію, на это согласилась; но вы, тогдашніе міровые дѣятели, были всѣ столько глупы, что, вознамѣрясь употребить меня вмѣсто червя на удочку для приманки богатыхъ людей, нужныхъ вамъ для вели-

каго «общаго дѣла», не знали даже, гдѣ водятся эти золотые караси и гдѣ ихъ можно удить... На ваше счастье отыскался какой-то панъ Холявскій, или панъ Молявскій: онъ пронюхалъ, что есть милліонеръ, помѣщикъ трехъ губерній, заводчикъ и фабрикантъ и предводитель благороднаго дворянства Бодростинъ, который желалъ бы имѣть красивую лектрису. Мѣсто это тонкость пана Холявскаго и ваше великодушіе и принципъ приспособили мнѣ, обусловивъ дѣло тѣмъ, что половина изо всего, что за меня будетъ выручено, должна поступить на «общее дѣло», а другая половина на «польское дѣло». Вы это помните?

— Конечно.

— И помните, какъ я жестоко обманула васъ и ихъ, и «общее дѣло»? Ха-ха-ха!.. Послушай, Павелъ Николаевичъ! Ты давеча хотѣлъ цѣловать руки: изволь же ихъ, я позволяю тебѣ, цѣлуй ихъ, цѣлуй — онѣ надѣли на васъ такіе дурацкіе колпаки съ ослиными ушами, это стоитъ благодарности.

Бодростина опять расхохоталась.

— Какъ весело! — сказалъ Гордановъ.

— Ахъ, когда бы ты вправду зналъ, какъ это весело надуть бездѣльниковъ и негодяевъ! Ха-ха-ха... Ой!.. Подайте мнѣ, пожалуйста, воды, а то со мной сдѣлается истерика отъ смѣху.

Гордановъ всталъ, подалъ воды и, сидя въ креслѣ, нагнулся лицомъ къ колѣнамъ. Бодростина жадно глотала воду и все продолжала смѣяться, глядя на Гордановa чрезъ край стакана.

— Возьми прочь, — наконецъ выговорила она сквозь смѣхъ, опуская на полъ недопитый стаканъ, и въ то время какъ Гордановъ нагнулся, чтобы поднять этотъ стаканъ, она, полушутя, полусерьезно, ударила его по спинѣ своимъ хлыстомъ.

Павелъ Николаевичъ вспрыгнулъ и поблѣднѣлъ. Бодростина еще дерзче захохотала.

— Это очень непріятная шутка: отъ нея больно! — весь трясясь отъ злобы, сказалъ Гордановъ.

Бодростина въ одно мгновеніе эластическимъ тигромъ соскочила съ дивана и стала на ноги.

— А-а, — заговорила она съ презрительной улыбкой. — Вамъ больна эта шутка съ хлыстомъ, тогда какъ вы меня

всю искалѣчили... въ лектрисы пристраивали... и я не жаловалась, не кричала «больно». Нѣтъ, я васъ слушала, я васъ терпѣла, потому что знала, что, повѣсившись, надо мотаться, а, оторвавшись, кататься: мнѣ оставалась одна надежда— мой царь въ головѣ, и я васъ осмѣяла... Я пошла въ лектрисы потому... что знала, что не могу быть лектрисой! Я знала, что я хороша, я лучше васъ знала, что красота есть сила, которой не чувствовали только ваши тогдашніе косматые уроды... Я пошла, но я не заняла той роли, которую вы мнѣ подстроили, а я позаботилась о самой себѣ, *о своемъ собственномъ дѣлѣ*, и вотъ я стала «ея превосходительство Глафира Васильевна Бодростина», дѣлающая неслыханную честь своимъ посѣщеніемъ перелетной птицѣ, господину Горданову, аферисту, который поздно спохватился, но жадно гонится за деньгами и играетъ теперь на своей и чужой головкѣ. Но вы такой мнѣ и нужны.

— Я готовъ служить вамъ, чѣмъ могу.

— Вѣрю: я всегда знала, что у васъ есть point d'honneur, своя «каторжная совѣсть».

— Я сдѣлаю все, что могу.

— Женитесь для меня на старухѣ!

— Вы шутите?

— Нимало.

— Я не могу этого принимать иначе какъ въ шутку.

— Да, вы правы, я не хочу васъ мучить: мнѣ не надо, чтобы вы женились на старухѣ. Я фокусовъ не люблю. Нѣтъ, вотъ въ чемъ дѣло...

— Который разъ ты это начинаешь?

Бодростина вмѣсто отвѣта щелкнула себя своимъ хлыстомъ по ногѣ и потомъ, поднявъ этотъ тонкій хлыстъ за оба конца двумя пальцами каждой руки, протянула его между своими глазами и глазами Горданова въ линію и проговорила:

— Старикъ мой очень зажился!

Гордановъ отступилъ шагъ назадъ.

Глафира Васильевна медленно опустила хлыстъ къ своимъ колѣнамъ, медленно сдѣлала два шага впередъ къ собесѣднику и, мѣряя его холоднымъ проницающимъ взглядомъ, спросила:

— Вы, кажется, изумлены?

Въ глазахъ у Бодростиной блеснула тревога, но она тот-

часъ совладѣла съ собой и, оглянувшись въ сторону, гдѣ стояло трюмо, спросила съ улыбкой:

— Чего вы испугались, не своего ли собственнаго отраженія?

— Да; но оно очень преувеличено,—отвѣчалъ Гордановъ.

— Вы очень впечатлительны и нервны, Поль.

— Нѣтъ; я впечатлителенъ, но я не нервенъ.

Съ этими словами онъ взялъ руку Бодростиной и добавилъ:

— Моя рука тепла и суха, а твоя влажна и холодна.

— Да, я нервна, и если у тебя есть стаканъ шампанскаго, то я охотно бы его выпила. Не будемъ ли мы спокойнѣе говорить за виномъ?

— Вино готово,—отвѣчалъ, уходя въ переднюю, Гордановъ, и черезъ минуту вынесъ оттуда бутылку и два стакана.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ органѣ перемѣнили валъ.

— Чокнемся!—сказала Бодростина и, ударивъ свой стаканъ о стаканъ Горданова, выпила залпомъ болѣе половины и поставила на столъ.—Теперь садись со мной рядомъ,—проговорила она, указывая ему на кресло.—Видишь въ чемъ дѣло: весь міръ, то-есть всѣ тѣ, которые меня знаютъ, думаютъ, что я богата: не правда ли?

— Конечно.

— Ну да! А это ложь. На самомъ дѣлѣ я такъ же богата, какъ церковная мышь. Это могло быть иначе, но ты это разстроилъ, а вотъ это и есть твой долгъ, который ты долженъ мнѣ заплатить, и тогда будетъ мнѣ хорошо, а тебѣ въ особенности... Надѣюсь, что могу съ вами говорить, не боясь васъ встревожить?

Гордановъ кивнулъ въ знакъ согласія головой.

— Я тебѣ откровенно скажу: я никогда не думала тянуть эту исторію такъ долго.

Бодростина остановилась, Гордановъ молчалъ. Оба они понимали, что подходятъ къ очень серьезному дѣлу, и очень зорко слѣдили другъ за другомъ.

— Выйдя замужъ за Михаила Андреевича, — продолжала Бодростина: — я надѣялась на первыхъ же порахъ, черезъ годъ или два, быть чѣмъ-нибудь обезпеченною настолько, чтобы покончить мою муку, уѣхать куда-нибудь

и жить, какъ я хочу... и я во всемъ этомъ непремѣнно бы успѣла, но я еще была глупа и, несмотря на всѣ продѣланныя со мною штуки, вѣрила въ любовь... хотѣла жить не для себя... я тогда еще слишкомъ интересовалась тобой... я искала тебя вездѣ и повсюду: мой мужъ съ перваго же дня нашей свадьбы былъ въ положеніи молодого козла, у котораго чешется лобъ, и лобъ у него чесался недаромъ: я тебя отыскала. Ты былъ нелѣпъ. Ты взревновалъ меня къ мужу. Это было съ твоей стороны чрезвычайно пошло, потому что долженъ же ты былъ понимать, что я не могла же не быть женой своего мужа, съ которымъ я только-что обвѣнчалась; но... я была еще глупѣе тебя: мнѣ это казалось увлекательнымъ... я любила видѣть, какъ ты меня ревнуешь, какъ ты, снявши съ себя голову, плачешь по своимъ волосамъ. Что дѣлать? Я была женщина: ваша школа не могла меня вышколить какъ собачку, и это меня погубило; взбѣшенный ревностью, ты оскорбилъ моего мужа, который предъ тобой ни въ чемъ не виноватъ, который старѣе тебя на полстолѣтія и который даже старался и умѣлъ быть тебѣ полезнымъ. Но все еще и не въ этомъ дѣло: но ты выдалъ меня, Павелъ Николаевичъ, и выдалъ головой съ доказательствами продолженія нашихъ тайныхъ свиданій послѣ моего замужества. Глупая кузина моя, эта злая и пошлая Алина, которую ты во имя «принципа» женской свободы съ такимъ мастерствомъ женилъ на дурачкѣ Висленевѣ, по совѣту вашихъ дуръ, вообразила, что я глупа, какъ всѣ онѣ, и измѣнила имъ... выдала ихъ!.. Кого? Кому и въ чемъ могла я выдать? Я могла выдать только одно, что онѣ дуры; но это и безъ того всѣмъ извѣстно; а она, благодаря тебѣ, выдала мою тайну — прислала мужу мои собственноручныя письма къ тебѣ, противъ которыхъ мнѣ, разумѣется, говорить было нечего, а осталось или гордо удалиться, или... смириться и взяться за неветшающее женское орудіе — за слезы и моленія. Обстоятельства уничтожили меня въ конецъ, а у меня ужъ слишкомъ много было проставлено на одну карту, чтобы принять ее съ кона, и я не постояла за свою гордость: я приносила раскаяніе, я плакала, я молила... и я, проклиная тебя, была уже не женой, а одалиской для человѣка, котораго не могла терпѣть. Всѣмъ этимъ я обязана тебѣ!

Бодростина хлебнула глотокъ вина и замолчала.

— Но, Глафира, вѣдь я же во всемъ этомъ не виноватъ!— сказалъ смущенный Гордановъ.

— Нѣтъ, ты виноватъ; мужчина, который не умѣетъ сберечь тайны ввѣрившейся ему женщины, всегда виноватъ и не имѣетъ оправданій...

— У меня украли твои письма.

— Это все равно; зачѣмъ ты дурно ихъ берегъ? но все это уже относится къ архивной пыли прошлаго; печально то лишь, что все, что было такъ легко холодной и нелюбящей женѣ, то оказалось невозможнымъ для самой страстной одалиски: фонды мои стоятъ плохо и мнѣ грозитъ бѣда.

— Какая?

— Большая и неожиданная! Человѣкъ, когда слишкомъ заживется на свѣтѣ, становится глупъ...

— Я слушаю,—промолвилъ глухо Гордановъ.

— Мой мужъ, въ его семьдесятъ четыре года, сталъ легкомысленъ какъ ребенокъ... онъ сталъ страшно самоувѣренъ, онъ кидается во всѣ стороны, рискуетъ, аферируетъ, не слушаетъ никого и слушаетъ всѣхъ... Его окружаютъ разные люди, изъ которыхъ, положимъ, иные мнѣ преданы, но у другихъ я преданности себѣ найти не могу.

— Почему?

— Потому что для нихъ выгоднѣе быть мнѣ не преданными, таковы здѣсь Ропшинъ и Кюлевейнъ.

— Что это за птицы?—спросилъ Гордановъ, поправивъ назадъ рукава: это была его привычка, когда онъ терялъ спокойствіе.

Отъ Бодростиной не укрылось это движеніе.

— Ропшинъ... это бѣлокурый чухонецъ, юноша добраго сердца и небольшой головы, онъ служитъ у моего мужа секретаремъ и находится у всѣхъ благотворительныхъ дамъ въ амишкахъ.

— И у тебя?

— Быть-можетъ; а Кюлевейнъ, это... кавалеристъ, родной племянникъ моего мужа, — ораторъ, агрономъ и мотъ, пріѣхавшій сюда подсиживать дядюшкину кончину; и вотъ тебѣ мое положеніе: или я все могу потерять такъ, или я все могу потерять иначе.

— Это въ томъ случаѣ, если твой мужъ заживется,— проговорилъ Гордановъ, разсматривая внимательно пробку.

Бодростина отвѣчала ему пристальнымъ взглядомъ и молчаніемъ.

— Да,—рѣшилъ онъ черезъ минуту: — ты должна получить все... все, что̀ должно по закону, и все, что̀ можно въ обходъ закону. Тутъ надо дѣйствовать.

— Ты сюда и призванъ совсѣмъ не для того, чтобы спать или развивать въ висленевской Геѳсиманіи твои примирительныя теоріи.

Гордановъ удивился.

— Ты почему это знаешь, что я тамъ былъ? — спросилъ онъ.

— Господи! какое удивленіе!

— Тебя тамъ тоже ждали, но я, конечно, зналъ, что ты не будешь.

— Еще бы! Ты лучше разскажи-ка мнѣ теперь, на чемъ ты самъ здѣсь думалъ зацѣпиться? Я что-то слышала: ты мужикамъ землю, что ли, какую-то подарилъ?

— Какое тамъ «какую-то»? Я просто подарилъ имъ весь надѣлъ.

— Плохо.

— Плохо, да не очень: я за это былъ на виду, обо мнѣ говорили, писали, я имѣлъ мѣсто...

— Имѣлъ и средства?

— Да, имѣлъ.

— И все потерялъ?

— Что жъ повторять напрасно.

— И въ Петербургѣ тебѣ было пришпилили хвостикъ на гвоздикъ?

Гордановъ покраснѣлъ и, заставивъ себя улыбнуться черезъ силу, отвѣчалъ:

— Почему это тебѣ все извѣстно?

— Ахъ, Боже мой, какая непослѣдовательность! часъ тому назадъ ты сомнѣвался въ томъ, что ты мнѣ чужой, а теперь ужъ удивляешься, что ты мнѣ дорогъ и что я тобой интересуюсь!

— Интересуешься, какъ оберъ-полицеймейстеръ.

— Почему же не какъ любимая женщина... по старой привычкѣ?

Она окинула его двусмысленнымъ взглядомъ и произнесла другимъ тономъ:

— Вы, Павелъ Николаевичъ, просто странны.

Гордановъ разсмѣялся, всталъ и, заложивъ большіе пальцы обѣихъ рукъ въ жилетные карманы, прошелъ два раза по комнатѣ.

Бодростина, не трогаясь съ мѣста, продолжала разспросъ.

— Ты что же, вѣрно, хотѣлъ поразмѣняться съ мужиками?

— Да, взять себѣ берегъ...

— И построить заводъ?

— Да.

— На что же строить, на какія средства?.. Ахъ да: Лариса заложитъ для брата домъ?

— Я никогда объ этомъ не думалъ,—отвѣчалъ Гордановъ.

Бодростина ударила его шутя пальцемъ по губамъ и продолжала:

— Это все что-то старо: застроить, не достроить, застраховать, заложить, сжечь и взять страховыя... Я не люблю такихъ стереотипныхъ ходовъ.

— Покажи другіе, мы поучимся.

— Да, надо поучиться. Ты началъ хорошо: квартира эта у тебя для пріѣзжаго хороша, — одобрила она, оглянувъ комнату.

— Лучшей не было.

— Ну да; я знаю. Это по-здѣшнему считается хорошо. Экипажъ, лошадей, прислугу... все это чтобъ было... Необходимо, чтобы твое положеніе било на эффектъ, понимаешь ты: это мнѣ нужно! Планъ мой таковъ, что... общаго плана нѣтъ. Въ общемъ планѣ только одно: что мы оба съ тобой хотимъ быть богаты. Не правда ли?

— Молчу,—отвѣчалъ, улыбаясь, Гордановъ.

— Молчишь, но очень дурное думаешь.—Она прищурила глаза, и послѣ минутной паузы положила свои руки на плечи Горданову и прошептала:—ты очень ошибся, я вовсе не хочу никого посыпать персидскимъ порошкомъ.

— Чего же ты хочешь?

— Прежде всего здѣсь старъ и младъ должны быть увѣрены, что ты богачъ и дѣлецъ, что твоя деревнишка... это такъ, одна кроха съ твоей трапезы.

— Твоими устами пить бы медъ.

— Потомъ... потомъ мнѣ нужно полное съ твоей стороны невниманіе.

Гордановъ беззвучно засмѣялся.

— Потомъ?—спросилъ онъ:—что-жъ далѣе?

— Потомъ: ухаживай, конечно, не за первою встрѣчною и поперечною, — падучихъ звѣздъ здѣсь много, какъ вездѣ, но ихъ паденья ничего не стоятъ: ихъ пятна на пестромъ незамѣтны, — одинъ бѣлый цвѣтъ марокъ, — ударь за Ларой,—она красавица, и, будь я мужчина, я бы сама ее въ себя влюбила.

— Потомъ?

— Потомъ, конечно, соблазни ее, а если не ее — Синтянину, или обѣихъ вмѣстѣ,—это еще лучше. Вотъ ты тогда здѣсь нарасхватъ!

— Да ты напрасно мнѣ объ этомъ и говоришь, мной здѣсь, можетъ-быть, никто и не захочетъ интересоваться.

— О, успокойся, будутъ! У тебя слишкомъ дрянная репутація, чтобы тобой не интересовались.

— Какъ это пріятно слышать! Но кому же извѣстна моя репутація?

— Моему мужу. Онъ сначала будетъ вредить тебѣ, а потомъ, когда увидитъ, что мы съ тобой враги, онъ станетъ тебя защищать, а ты опровергнешь все своимъ прекраснымъ образомъ мыслей, — и въ тебя начнутъ влюбляться.

— Ну, вотъ ужъ и влюбляться.

— Когда же въ провинціи не влюблялись въ новаго человѣка? Встарь это счастье доставалось перехожимъ гусарамъ, а теперь... пока еще влюбляются въ новаторовъ, ну и ты будешь новаторъ.

— Я что же за новаторъ?

— Ты? а развѣ ты уже отмѣнилъ свое рѣшеніе прикладывать къ практикѣ теорію Дарвина?

Гордановъ щипалъ усъ и молчалъ.

— Глотай другихъ, или иначе тебя самого проглотятъ другіе — выводъ, кажется, вѣрный, — произнесла Бодростина:—и ты его когда-то очень отстаивалъ.

— Я и теперь на немъ стою.

— А во время оно, когда я только вышла замужъ, Михаилъ Андреичъ завѣщалъ все состояніе мнѣ, и завѣщаніе это...

— Цѣло?

— Да; но только надо, чтобъ оно было послѣднее, чтобы послѣ него не могло быть никакого другого.

Гордановъ чувствовалъ, что руки Бодростиной, лежавшія на его плечахъ, стыли, а на его вѣкахъ какъ бы что тяготѣло и гнало ихъ книзу.

Вышла минута тягостнѣйшаго раздумья: обѣ фигуры стояли какъ окаменѣвшія другъ противъ друга, и наконецъ Гордановъ съ усиліемъ приподнялъ глаза и прошепталъ: «да!»

Бодростина опустила свои руки съ его плечъ и, взявъ его за кисти, сжала ихъ и спросила его шопотомъ: «союзъ?»

— На жизнь и на смерть,—отвѣчалъ Гордановъ.

— На смерть... и... потомъ... на жизнь,—повторила она, и, встрѣтивъ взглядъ Павла Николаевича, отодвинула его отъ себя подалѣе рукой и сказала:—Я совѣтую тебѣ погасить свѣчи. Съ улицы могутъ замѣтить, что у тебя свѣтилось до зари, и пойдетъ тысяча заключеній, изъ которыхъ невиннѣйшее можетъ повести къ подозрѣнію, что ты разбиралъ и просушивалъ фальшивыя ассигнаціи. Погаси огонь и открой окно. Я вижу, уже брезжитъ заря, мнѣ пора брать свою ливрею и идти домой; сейчасъ можетъ вернуться твой посолъ за цвѣтами. Я ухожу отъ цвѣтовъ къ терніямъ жизни.

Она подошла къ окну, которое раскрылъ Гордановъ, погасивъ сперва свѣчи, и заговорила:

— Вонъ видишь ты тотъ бельведеръ надъ домомъ, вправо, на горѣ? Тотъ нашъ домъ, а въ этомъ бельведерѣ, въ фонарѣ, моя библіотека и мой пріютъ. Оттуда я тебѣ черезъ нѣсколько часовъ дамъ знать, вѣрны ли мои подозрѣнія насчетъ завѣщанія въ пользу Кюлевейна... и если они вѣрны... то... этой бѣлой занавѣсы, которая паруситъ въ открытомъ окнѣ, тамъ не будетъ завтра утромъ, и ты тогда... поймешь, что дѣло наше скверно, что мигъ наступаетъ рѣшительный.

Съ этимъ она сжала руку Горданова и, взявъ со стула свою шинель, начала одѣваться. Гордановъ хотѣлъ ей помочь, но она его устранила.

— Я вовсе не желаю, — сказала она: — чтобы ты меня разсматривалъ въ этомъ уродствѣ.

— Ты, душенька, во всѣхъ нарядахъ хороша.

— Только не въ траурной ливреѣ, а впрочемъ, мнѣ это очень пріятно, что ты такъ веселъ и шутливъ.

— Мѣшай дѣло съ бездѣльемъ: съ ума не сойдешь.

— И прекрасно, — продолжала она, застегивая частыя петли шинели. — Держись же хорошенько, и если ты не сдѣлаешь ошибки, то ты будешь владѣть моимъ мужемъ вполнѣ, а потомъ... обстоятельства покажутъ, что дѣлать. Вообще заставь только, чтобъ отъ тебя здѣсь приходили въ восторгъ, въ восхищеніе, въ ужасъ, и когда вода будетъ возмущена...

— Но ты съ ума сошла!.. Твой мужъ меня не приметъ!

— О, разумѣется, не приметъ!.. если ты самъ къ нему пріѣдешь; но если онъ тебя позоветъ, тогда, надѣюсь, будетъ другое дѣло. Пришли ко мнѣ, пожалуйста, Висленева... его я могу принимать, и заставлю его быть трубой твоей славы.

— Но этотъ шутъ тебя чуждается.

— А пусть онъ разъ придетъ, и тогда онъ больше не будетъ меня чуждаться. Только уже вы, Павелъ, пожалуйста, не ведите регистра моимъ прегрѣшеніямъ, — намъ теперь совсѣмъ не до этого вздора... Висленевъ будетъ нашъ козелъ, на котораго мы сложимъ наши грѣхи.

— Это очень умно; но ты только должна знать, что онъ вѣдь ораторъ и у него правая пола ума слишкомъ заходитъ за лѣвую. Онъ все будетъ путаться и не распахнется.

— Не бойся, онъ распахнется такъ, что его послѣ и не застегнешь.

— Но я тебѣ хочу сказать, что на немъ ужасно трудно что-нибудь сыграть.

— Ну, есть мастера, которые даютъ концерты и на фаготѣ.

— Но зачѣмъ именно онъ тебѣ нуженъ, *онъ* ничтожный мальчишка?

— А видишь, Поль, когда взрослый человѣкъ хочетъ достать плодъ, онъ всегда посылаетъ мальчика трясти дерево.

— Смотри сама: съ нимъ даже и кокетство нужно совершенно особаго рода.

— Милый другъ, не рѣжь льву мяса, ему на это природа зубы дала.

— Беру мои слова назадъ.

— А я иду впередъ. Прощай!.. Ахъ, да! завтра же сдѣлай визитъ губернаторшѣ, и на-дняхъ же найдемъ случай пожертвовать двѣ тысячи рублей въ пользу ея дѣтскихъ пріютовъ. Это первая взятка, которую ты кинешь обществу впередъ за нужную тебѣ индульгенцію. Деньги будутъ, не жалѣй ихъ,—за все Испанія заплатитъ... Видѣться мы съ тобой и не будемъ, пока пріѣдетъ мой мужъ: рисковать изъ-за свиданій непростительно. Висленевъ же долженъ быть у меня до тѣхъ поръ, и чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше. Да вотъ еще что: въ новомъ мѣстѣ людей трудно узнать скоро, какъ ты ни будь уменъ, и потому я должна дать тебѣ нѣсколько совѣтовъ. Ты сразу напалъ на самыхъ нужныхъ намъ людей.

— Я ихъ всѣхъ разглядѣлъ.

— Смотри,—она стала загибать одинъ по одному пальцы на лѣвой рукѣ: — генералъ Синтянинъ предатель, но его опасаться особенно нечего; жена его—это женщина умная и характера стального; майоръ Форовъ—честность и жена его тоже; но майора надо беречься: онъ бываетъ дурацки прямъ и болтливъ; Лариса Висленева... я уже сказала, что если бъ я была мужчина, то я въ нее бы только и влюбилась; затѣмъ Подозеровъ...

— Ну, это...

Гордановъ махнулъ рукой.

— Что «это»? — защуривъ глаза, передразнила его Бодростина. — Нѣтъ, что такое «это», что мой тебѣ совѣтъ, приказъ и просьба—имъ не манкировать.

— Да что имъ не манкировать? Это какой-то испанскій дворянинъ донъ-Сезаръ де-Базаръ.

— Да, да, ты вѣрно его опредѣляешь; но эти господа испанскіе дворяне самый опасный народъ: у нихъ есть дырявые плащи, въ которыхъ имъ все нипочемъ,—ни холодъ, ни голодъ. А ты съ нимъ, я знаю, непремѣнно столкнешься, тѣмъ болѣе, что онъ влюбленъ въ Ларису.

— Да, я это замѣтилъ: она ему печеночку изъ супа выбирала; но не знаю я, что̀ онъ у васъ здѣсь значитъ, а у насъ въ университетѣ его не любили и преблагополучно сорвали ему головенку.

— Все это ничего не значитъ, его и здѣсь не любятъ; но этотъ человѣкъ заковалъ себя крѣпкою броней... А Лара, ты говоришь, ему выбирала печеночку?

— Да, выбирала; но скажи, пожалуйста, что же онъ сталъ что ли хитръ послѣ житейскихъ трепокъ?

— Нимало: онъ даже безтактенъ и неосторожен, но онъ ничѣмъ для себя не дорожитъ, а такіе люди опаснѣй всѣхъ. Помни это, и еще разъ прощай... А ты тонокъ!

— Въ чемъ ты это видишь?

— Даже печеночки не просмотрѣлъ и по ней выслѣдилъ!

— М-да! Теперь все дѣло въ печеняхъ сидитъ, а впрочемъ, я замѣчаю, что и тебя эта печенка интересуетъ? Не разболися сердцемъ: это предъ сраженіемъ не годится.

— О, да, да, какъ разъ разболюся!—отвѣчала, разсмѣявшись, Бодростина.—Нѣтъ, мой милый другъ, я иду въ дѣло, завѣщая тебѣ какъ Ларошжакленъ: si j'avance, suivez moi; si je recule, tuez moi; si je meurs, vangez moi, хотя знаю, что послѣдняго ты ни за что не исполнишь. Ну, наконецъ, прощай! зашла бесѣда наша за ночь. Если ты захочешь меня видѣть, то ты будешь дѣйствовать такъ, какъ я говорю, и если будешь дѣйствовать такъ, то вотъ моя рука тебѣ, что Бодростинъ будетъ у тебя самъ и будетъ всѣмъ хорошо, а *тебѣ въ особенности*... Ну, прощай, до поры до времени. А что мой братъ, Григорій?

— Служитъ.

— Я совсѣмъ и забыла про него спросить. Что онъ теперь: начальникъ отдѣленія?

— Вице-директоръ.

— Вотъ какъ!

Бодростина вздохнула.

— Вы видитесь съ нимъ?

Гордановъ покачалъ отрицательно головой.

— Ну, наконецъ, совсѣмъ прощай, — торопливо сказала Бодростина и, взявъ Горданова рукой за затылокъ, поцѣловала его въ лобъ.

— Ты ужъ идешь, Глафира?

— А что?... Пора... Да и тебѣ, какъ кажется, со мной вдвоемъ быть скучно... Мы люди дѣловые, все кончили, и время отдохнуть передъ предстоящею работой.

Гордановъ протянулъ къ ней свои руки, но она прыг-

нула, подбѣжала къ двери, остановилась на минуту на дорогѣ и исчезла, прошептавъ: «А провожать меня не нужно».

Черезъ минуту внизу засвистѣлъ блокъ и щелкнула дверь, а когда Гордановъ снова подошелъ къ окну, то мальчикъ, въ сѣрой шляпѣ и черной шинели, перешелъ уже черезъ улицу и, зайдя за уголъ, обернулся, погрозилъ пальцемъ и скрылся.

— Что жъ, такъ и быть, когда она будетъ богата, я на ней женюсь,—разсуждалъ, засыпая, Гордановъ:—а не то надо будетъ порѣшить на Ларисѣ... Конечно, здѣсь мало, но... все-таки за что-нибудь зацѣплюсь хоть на время.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Утро, которое хочетъ быть мудренѣе вечера.

Послѣ ночи, которою заключился вчерашній день встрѣчъ, свиданій, знакомствъ, переговоровъ и условій, утро встало неласковое, вѣтреное, суровое и измѣнчивое. Солнце, выглянувшее очень рано, вскорѣ же затѣмъ нырнуло за сѣрую тучу, и то выскакивало на короткое время въ прорѣху облаковъ, то снова завѣшивалось ихъ темною завѣсой. Внизу было тихо, но вверху вѣтеръ быстро гналъ безконечную цѣпь тяжелыхъ, слоистыхъ облаковъ, набѣгавшихъ одно на другое, сгущавшихся и плывшихъ предвѣстниками большой тучи.

На землѣ парило и пахло электрическою сыростью, дышать было тяжело, и нервными людьми овладѣло столь общее имъ предгрозовое безпокойство.

Іосафъ Платоновичъ Висленевъ спалъ, обливаясь потомъ, котораго нимало не освѣжала струя воздуха, достигавшая до него въ открытое окно.

Висленеву снились тяжелые сны съ безпрестанными перерывами, какъ это часто бываетъ съ людьми, уснувшими въ сознаніи совершенной ими неловкости. Висленевъ во снѣ повернулся на другую сторону, лицомъ къ окну: здѣсь было болѣе воздуха и стало дышаться легче. Іосафъ Платоновичъ мало-по-малу освобождался отъ своихъ сновъ и началъ припоминать, что онъ въ отеческомъ домѣ, но съ этимъ вмѣстѣ его кольнуло въ сердце. «Что я здѣсь вчера дѣлалъ?» мелькнуло въ его головѣ. «Гдѣ теперь этотъ ножикъ? Эта улика противъ меня. Надо встать и искать».

Онъ раскрылъ полусонные глаза и видитъ, что сновидѣнье ему не лжетъ: онъ дѣйствительно въ родительскомъ домѣ, лежитъ на кровати и предъ нимъ знакомое, завѣшенное шторой окно. Онъ слышитъ шопотъ дрожащихъ древесныхъ листьевъ и соображаетъ, что солнце не блещетъ, что небо должно-быть въ тучахъ, и точно, вотъ штора приподнялась и отмахнулась, и видны ползущія по небу сѣрыя тучи и звонче слышенъ шопотъ шумящихъ деревьевъ, и вдругъ среди всего этого въ просвѣтѣ рамы какъ будто блеснулъ на мгновеніе туманный контуръ какой-то эѳирной фигуры, и по дорожному песку послышались легкіе и частые шаги. Что бы это такое было? Во снѣ или на яву?

Висленевъ совсѣмъ пробудился, привсталъ на кровати, взглянулъ на окно и оторопѣлъ: его ножъ лежалъ на подоконникѣ.

Іосафъ Платоновичъ сорвался съ кровати, быстро бросился къ окну и высунулся наружу. Ни на террасѣ, ни на балконѣ никого не было, но ему показалось, что влѣво, въ садовой калиткѣ, въ это мгновеніе мелькнулъ и исчезъ клочокъ свѣтло-зеленаго полосатаго платья. Нѣтъ, Іосафу Платоновичу это не показалось: онъ это дѣйствительно видѣлъ, но только видѣлъ сбоку, съ той стороны, куда не глядѣлъ, и видѣлъ смутно, неясно, почти какъ во снѣ, потому что сонъ еще взаправду не успѣлъ разсѣяться.

Висленевъ отступилъ отъ окна и потеръ себѣ лобъ.

«Скверно я начинаю дебютировать дома!»—подумалъ онъ и, оглянувшись на столъ, взялъ съ него портфель, осмотрѣлъ надрѣзъ и царапину, и заперъ его въ бюро.

Повернувъ ключъ въ замкѣ, онъ прислушался: въ залѣ кто-то тихо разговаривалъ шопотомъ.

«Сестра, значитъ, ужъ встала»,—подумалъ Висленевъ и поглядѣлъ на часы. Было десять часовъ.

Іосафъ Платоновичъ тихо подкрался къ двери, ведущей въ залъ, и прицѣлился глазомъ къ замочной скважинѣ.

Лариса въ утреннемъ капотѣ сидѣла за чашкой чая и предъ нею стояла высокая женщина въ коричневомъ ситцевомъ платьѣ.

«Въ этомъ сестриномъ платьѣ нѣтъ ничего похожаго на то, которое мелькнуло въ садовой калиткѣ. Кто же это былъ? Кто нашелъ, поднялъ и положилъ ножикъ? Неужто ея превосходительство, Александра Ивановна... или кто-нибудь

изъ прислуги? Вотъ это былъ бы тогда сюрпризъ, это очень вѣжливо и до подлости догадливо, но это прескверно на всякій случай... Мнѣ просто одно спасеніе можетъ быть въ томъ, чтобы предоставить себя *его* великодушію... сказать ему все, открыть свое недовѣріе, покаяться, признаться... Вотъ, извольте видѣть, проклятая судьба сама руками выдаетъ меня этому человѣку!.. Но надо же явиться, пора дать знать, что я проснулся».

Онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ и остановился.

— Взглянуть въ глаза сестрѣ?.. ужасно!.. Но что же дѣлать?.. Нуженъ куражъ!.. Ну, напусти, Господи, смѣлость!

Онъ надѣлъ шлафрокъ и, отворивъ дверь въ переднюю крикнулъ:

— Лара, ты встала?

— Да; что тебѣ нужно, Joseph?

— О-о! голосъ нѣженъ и ласковъ, — радостно замѣтилъ Висленевъ.— Нѣтъ, да вѣдь мало мудренаго, что она и въ самомъ дѣлѣ, пожалуй, ничего и не поняла... Пришли, дружокъ, дѣвушку дать мнѣ умыться!—воскликнулъ онъ громко и, засвиставъ, смѣло зашлепалъ туфлями по полу.

Въ комнату его предстала двѣнадцатилѣтняя дѣвочка съ блестящимъ мѣднымъ тазомъ и такимъ же кувшиномъ и табуреткою.

Это была та самая дѣвочка, которая ввела его вчера въ садъ. Она одѣта сегодня, какъ и вчера, въ темномъ люстриновомъ платьицѣ, съ зеленымъ шерстянымъ фартукомъ.

«Есть зелень, да совсѣмъ не та»,—подумалъ Висленевъ, засучивая рукава своей рубашки и приготовляясь умываться.

— Васъ какъ зовутъ?—спросилъ онъ дѣвочку.

— Меня-съ?—переспросила она тоненькимъ голосомъ.

— Да-съ, васъ-съ, — передразнилъ ее фистулой Висленевъ.

Дѣвочка покраснѣла и отвѣчала, что ее зовутъ Малашей.

— Прекрасное имя!—Вы имъ довольны или нѣтъ?

Дѣвочка молчала.

— Довольны вы или нѣтъ, что васъ зовутъ Малашей?

Опять молчаніе.

— Что же вы молчите? Не хотѣли бы вы, напримѣръ, чтобы васъ лучше звали Дуней или Сашей?

— Нѣтъ-съ, не хочу-съ.

— Отчего же вы не хотите? Стало-быть, вамъ ваше имя нравится?

— Надо какое Богъ далъ-съ.

— А-а! По-вашему, имена Богъ даетъ; ну, тогда это другое дѣло. А отецъ и мать у васъ живы?

— Папенька въ солдатахъ, а маменька здѣсь.

— Здѣсь въ городѣ?

Дѣвочка раскрыла большіе, до сихъ поръ полуопущенные глаза и отвѣчала не безъ удивленія:

— Моя маменька здѣсь у нашей барышни въ кухаркахъ.

— У какой барышни?

— У Ларисы Платоновны.

— А-а, такъ вы вмѣстѣ съ маменькой?

— Вмѣстѣ-съ.

— Такъ это вамъ чудесно!

Дѣвочка отмолчалась.

— И вамъ тоже моя сестра платитъ жалованье? — приставалъ къ ней Висленевъ.

— Нѣтъ-съ; барышня мнѣ послѣ будетъ платить, а теперь онѣ маменькѣ платятъ, а меня только одѣваютъ.

— Вотъ что!.. И что же, много барышня нашила вамъ платьевъ?

Дѣвочка сконфузилась, улыбнулась и, потупя глаза, отвѣчала:

— Много-съ.

— Небось у васъ, гляди, и розовое платье есть? — шутилъ Висленевъ.

— Есть-съ и розовое.

— А? — переспросилъ Висленевъ, прерывая на минуту свое умыванье.

— Есть-съ и розовое, и голубое есть,—отвѣчала дѣвочка, осмѣливаясь съ быстротой, свойственною ея возрасту.

— И бѣлое есть?

— И бѣлое тоже есть-съ.

— А зеленое?

— Зеленаго нѣту-съ.

— Что же такъ?—это плохо. Зеленое непремѣнно нужно. Вы себѣ изъ маменькинаго по крайней мѣрѣ перешейте, когда она поноситъ его.

— У маменьки настоящаго зеленаго тоже нѣтъ-съ.

— Настоящаго зеленаго тоже нѣтъ!—Скажите, пожалуйста. А ея не настоящее зеленое платье какое же?

— Оно больше какъ коричневое.

— Ну вотъ видите: какое же ужъ это зеленое! Нѣтъ, вамъ къ лѣту надо настоящее зеленое, — какъ травка-муравка. Ну, да погодите, — моргнулъ онъ: — я барышню попрошу, чтобъ она вамъ свое подарила: у нея вѣдь ужъ навѣрное есть зеленое платье?

— У нихъ есть-съ.

«Ага! вотъ оно кто это былъ!» — подумалъ Висленевъ и, взявъ изъ рукъ дѣвочки полотенце, сухо спросилъ:

— А у барышни зеленое платье какое и съ какою отдѣлкой?

— Крепоновое-съ, съ такою же и съ отдѣлкой-съ.

«Опять не то»,—подумалъ Висленевъ и затѣмъ, довольно скоро одѣвшись и сіяя свѣжестью лица и туалета, вышелъ въ залу къ сестрѣ.

Іосафъ Платоновичъ, появясь предъ сестрой, старался имѣть видъ какъ можно болѣе живой, веселый и безпечный.

— Я тебя перепугалъ немножко сегодня ночью, матушка сестрица!—началъ онъ, цѣлуя руку Ларисы.

– Полно, пожалуйста, я ужъ про это забыла.

- Ты выспалась?

– О, какъ нельзя лучше! Я не люблю много спать. — Вотъ чай и вотъ хлѣбъ, — добавила она, подавая брату стаканъ и корзинку съ печеньемъ.

— Постой!.. Но какой же ты разбойникъ, Лара!—отвѣчалъ, весело улыбаясь во все лицо и отступая шагъ назадъ Висленевъ.

— Что такое?

Лариса оглянулась.

— Какъ ты злодѣйски хороша!

— Ахъ, да перестань же наконецъ, Joseph!

— Да что же дѣлать, когда я никакъ не привыкну?

Лариса засмѣялась.

— Этотъ желтый цвѣтъ особенно идетъ къ твоему лицу и волосамъ.

— Онъ идетъ ко всѣмъ брюнеткамъ.

— А кстати о цвѣтахъ! — проговорилъ онъ и, оглянувшись, добавилъ полушопотомъ: — знаешь, какая преуморительная вещь: я, умываясь, разболтался съ твоей маленькой камеръ-фрау.

— Съ Малашей?

— Да, и она мнѣ разсказала всѣ свои платья.

— Да, я знаю, она большая кокетка.

— Что же, вѣдь это ничего: то-есть я хочу сказать, что когда кокетство не выходитъ изъ границъ, такъ это ничего. Я потому на этомъ и остановился, что предѣлъ не нарушенъ: знаешь, все это у нея такъ просто и имѣетъ свой особенный букетъ — букетъ дѣвичьей стараго господскаго дома. Я долженъ тебѣ сознаться, я очень люблю эти старыя патріархальныя черты господской дворни... «зеленаго, говоритъ, только нѣтъ у нел». Я ей сегодня подарю зеленое платье—ты позволишь!

— Сдѣлай милость.

— Да, а то она и въ виду его не имѣетъ: «у барышни, говоритъ, есть одно крепоновое зеленое».

— Я и того никогда не ношу.

— Отчего же не носишь? Тебѣ зеленый цвѣтъ долженъ быть очень къ лицу.

— Такъ, не ношу.

— Почему же *такъ?* — шутилъ Іосафъ Платоновичъ. — Какая же ты странная съ этими своими «таками». Никого не любитъ — «такъ», печенку кладетъ Подозерову—«такъ», зеленое платье сошьетъ и не носитъ — «такъ». А знаешь, нѣтъ дѣйствія безъ причины?

— Ахъ, Боже мой! еще и на это будто нужна причина? Послѣ этого я могу думать, что и ты имѣешь особую причину допрашивать меня о зеленомъ платьѣ?

— Конечно, конечно, есть и на это причина. Безъ причины ничего не дѣлается.

— Ну, такъ мнѣ мое зеленое платье не нравится.

— Ну, вотъ и причина! А вели мнѣ его показать, пожалуйста.

— Вотъ фантазія!

— Ну, фантазія, — потѣшь мою фантазію. Ты такъ хороша, такъ безукоризненно хороша, все, что тобою сдѣлано, все, что принадлежитъ тебѣ, такъ изящно, что я даже горжусь, принадлежа тебѣ въ качествѣ брата. Малаша! — обратился онъ къ дѣвочкѣ, проходившей въ эту минуту чрезъ комнату:—принесите мнѣ сюда барышнино зеленое платье.

— Ну, что за вздоръ, Joseph!—прошептала Лара.

— Ну, я тебя прошу.

— Принеси, — сказала Лариса остановившейся и ожидавшей ея приказанія дѣвочкѣ.

Черезъ минуту та явилась, высоко держа у себя надъ головой лифъ, а черезъ лѣвую ея руку спускались цѣлыя волны легкаго густо-зеленаго крепона.

Висленевъ всталъ, взялъ платье, вывернулъ юбку и, притворно полюбовавшись свѣжими фестонами и уборками изъ той же матеріи, повторилъ нѣсколько разъ: «Прекрасное платье!» и отдалъ его назадъ.

Это опять было не то платье, которое ему было нужно.

— Я ужасно люблю со вкусомъ сдѣланные дамскіе наряды! — заговорилъ онъ съ сестрой. — Въ этомъ, какъ ты хочешь, сказывается вся женщина; и въ этомъ, должно правду сказать, нашъ вѣкъ сдѣлалъ большіе шаги впередъ. Еще я помню, когда каждая наша барышня и барыня въ своихъ манерахъ и въ туалетѣ старались какъ можно болѣе походить на une dame de comptoir, а теперь наши женщины поражаютъ вкусомъ; это значитъ вкусъ получаетъ гражданство въ Россіи.

— Въ такомъ случаѣ ты много у себя отнимаешь, не желая поторопиться видѣть Бодростину.

— А что?

— Ужъ эта женщина, конечно, вся—вкусъ, изящество и прелесть.

— Будто она нынче такъ хороша!

— А будто она когда-нибудь была нехороша?

— Ну, Богъ съ ней: сколько бы она ни была прелестна, я ее видѣть не хочу.

— За что это? позволь тебя спросить, Joseph.

— У насъ есть старые счеты.

— Но все равно,—отвѣчала, подумавъ минуту, Лариса.— Тебѣ видѣться съ ней вѣдь неизбѣжно, потому что, если она еще недѣлю не переѣдетъ въ деревню, то вѣрно сама ко мнѣ заѣдетъ, а Михайло Андреевичъ такой нецеремонливый, что можетъ даже и нарочно завернетъ къ намъ. Тогда, встрѣтясь съ нимъ здѣсь или у Синтяниныхъ, ты долженъ будешь отдать визитъ, и въ барышахъ будетъ только то, что старикъ выйдетъ любезнѣе тебя.

— Ну, хорошо... не сегодня же вѣдь непремѣнно?

— Конечно, можно и не сегодня.

— А что же, наша генеральша дома?

— Да; нѣсколько минутъ тому назадъ была дома: мы съ ней чрезъ окно прощались.

— Какъ, прощались?

— Она уѣхала къ себѣ на хуторъ.

— Чего и зачѣмъ?

— Зачѣмъ? хозяйничать. Она полжизни тамъ проводитъ и лѣтомъ, и зимой.

— Что жъ это за хуторъ? Дребедень какая-нибудь?

— Да; онъ не великъ, но Alexandrine распоряжается имъ съ толкомъ и получаетъ отъ него доходы.

— Вотъ видишь, а ты вчера говорила, что они бѣдны. И что же тамъ домъ есть у нея?

— Каютка въ двѣ крошечныя комнатки: столовая и спальня ея съ дѣвочкой.

— Съ какою дѣвочкой?

— А съ падчерицей, съ Вѣрой, съ дочерью покойной Флоры.

— Ахъ, помню, помню: это, кажется, уродецъ какой-то, идіотка, если я не ошибаюсь?

— Она глухонѣмая, но вовсе не уродъ и ужъ совсѣмъ не идіотка.

— Что же это мнѣ что-то помнится, какъ будто что-то такое странное говорили про это дитя?

— Не знаю, что ты слышалъ: Вѣра очень милая дѣвочка, но слабаго здоровья.

— Нѣтъ; именно я помню, что... ее считали, какъ это говорятъ, испорченною, что ли?

— Какой вздоръ! Она очень нервна и у ней бываетъ что-то въ родѣ ясновидѣнія.

— Вотъ страсти!

— Никакихъ страстей, она прекрасное дитя, и ея волненія бываютъ съ ней не часто, но вчера она чѣмъ-то разгорячилась и плакала до обморока, и потому Alexandrine сегодня увезла ее на хуторъ... Это всегда помогаетъ Вѣрѣ: она не любитъ быть съ отцомъ...

— А мачиху любитъ?

— О, безконечно! Она предчувствуетъ малѣйшую ея непріятность, малѣйшее ея нездоровье и... вообще она ея тѣнь или больше: онѣ двѣ живутъ одною жизнію.

— Александра Ивановна добра къ ней?

— Стóитъ ли объ этомъ спрашивать? Къ кому же Alexandrine не добра?

— Ко мнѣ.

— Оставь, Josephi, я этого не знаю.

— Ну, Богъ съ тобой!.. А какъ же это?.. — заговорилъ онъ, не зная что̀ спросить.—Да!.. Зачѣмъ же онѣ поѣхали въ такую пору?

— А что?

— Да вонъ дождь-то такъ и виситъ.

— Ну, что же за бѣда, это вѣдь недалеко, и у нихъ рѣзвая лошадь.

— Да, впрочемъ, въ крытомъ экипажѣ ничего.

— Онѣ поѣхали не въ крытомъ экипажѣ.

— А въ чемъ онѣ поѣхали?

— Въ сѣромъ платьѣ-съ,—отвѣчала, подавая новый стаканъ чаю, дѣвочка Малаша.

— Ты можешь отвѣчать, когда тебя спрашиваютъ,—остановила ее Лариса и сама добавила брату: — онѣ поѣхали, какъ всегда ѣздятъ: въ тюльбюри.

— Вдвоемъ, безъ кучера?

— Онѣ всегда вдвоемъ ѣздятъ туда, безъ кучера, живутъ тамъ безъ прислуги.

— Совсѣмъ безъ прислуги?

— Работница имъ дѣлаетъ, что̀ нужно.

— Вотъ чѣмъ покончила Александра Ивановна: пустынножительствомъ!

— Ей, кажется, еще далеко до конца. А впрочемъ, я еще скажу: я не люблю судить о ней ни вправо, ни налѣво.

— Да не судить, а разсуждать... И ты тамъ у нея бываешь на хуторѣ?

— И я, и тетушка, и дядя, и отецъ Евангелъ, и Подозеровъ: всѣ мы бываемъ.

— Что жъ, хорошо тамъ у нея?

— Н... н... ничего особеннаго: садикъ, прудокъ, мельница, осиновый лѣсокъ, орѣховый кустарникъ, много скота, да небольшое поле островкомъ, вотъ и все.

— Какъ же это поле «островкомъ» ты сказала?

— То-есть вокругъ, въ одной межѣ, это здѣсь называютъ «островкомъ».

— Да-да; а я думалъ, что это въ самомъ дѣлѣ какой-нибудь островъ Калипсо.

— Мы всѣ шутя называемъ этотъ хуторъ «островомъ».

— Любви?

— Нѣтъ: «забвенія».

— Кто жъ это далъ ему такую романическую кличку? Конечно, Александра Ивановна, которая нуждается въ забвеніи?

— Нѣтъ, — отвѣчала, поморщась, Лара: — это названіе дано Вѣрой.

— Глухонѣмой?

— Да.

— Какъ же она это сказала?

— Она написала.

— А-а! Кто же это здѣсь ее научилъ писать?

— Alexandrine и отецъ Евангелъ.

— Что это за отецъ Евангелъ? Я уже не разъ про него слышу.

— Это ихъ приходскій священникъ, хуторной, прекрасный человѣкъ: онъ Сашинъ и дядинъ другъ.

— Онъ почему же умѣетъ учить глухонѣмыхъ?

— Онъ все на свѣтѣ понемножку умѣетъ, и Вѣру выучилъ читать и писать по собственной методѣ.

— Какое это ужасное несчастіе ничего не слыхать и не имѣть возможности ничего выговорить!

— Да; но ничего не видать это еще хуже. Маленькая Вѣра сравниваетъ себя со слѣпыми и находитъ, что она счастлива.

— Правда, правда, слѣпота гораздо хуже

— А дядя Форовъ находитъ, что боль въ боку и удушье еще хуже.

— Дѣйствительно хуже! А она, эта бѣдная дѣвочка, ни звука не слышитъ и не произноситъ?

— Когда здѣсь, въ проѣздъ государя, были маневры, она говоритъ, что слышала, какъ дрожали стекла отъ пушекъ, но произносить... я не слыхала ни звука, а тетушка говоритъ, что она одинъ разъ слышала, какъ Вѣра грубо крикнула одно слово... но Богъ знаетъ, было ли это слово или просто непонятный звукъ...

— Что же это былъ за звукъ?

— Н... н... не знаю: это было при особомъ какомъ-то обстоятельствѣ, до моего пріѣзда, я объ этомъ не разспрашивала, а тетя говоритъ, что...

— Да; непріятное что-нибудь, конечно, — сказалъ Висленевъ.

— Нѣтъ, не непріятное, а страшное.

— Страшное! Въ какомъ же родѣ?

— Я, право, не умѣю разсказать. Вѣра такая нѣжная и легкая, какъ будто неземная, а голосъ вышелъ будто какой-то басъ. Тетя говоритъ, что точно будто изъ нея совсѣмъ другой человѣкъ, сильный, сильный мужчина закричалъ...

— И какое же это было слово?

— Тетя увѣряетъ, что Вѣра крикнула: «прочь!»

— На кого же она такъ крикнула?

— На отца, за мачиху. Впрочемъ, повторяю тебѣ, это тетя знаетъ, а я не знаю.

— А знаешь что: пока мой Гордановъ теперь еще спитъ, схожу-ка я самый первый визитъ сдѣлаю теткѣ, Катеринѣ Астафьевнѣ и Филетеру Ивановичу.

— Что жъ, и прекрасно.

— Право! Кто что̀ ни говори, а они родные и хорошіе люди.

— Еще бы!

— Такъ, до свиданья, сестра, я пойду.

Лариса молча пожала брату руку, которую тотъ поцѣловалъ, взялъ свою шляпу и трость, и вышелъ.

Лариса посмотрѣла ему вслѣдъ въ окно и ушла въ свою комнату.

За часъ или за полтора до того, какъ Іосафъ Платоновичъ убирался и разговаривалъ съ сестрой у себя въ домѣ, на перемычкѣ предъ небольшою рѣчкой, которою замыкалась пустынная улица загородной солдатской слободы, надъ самымъ бродомъ остановилось довольно простое тюльбюри Синтяниной, запряженное рослою вороною лошадью. Александра Ивановна правила, держа вожжи въ рукахъ, обтянутыхъ шведскими перчатками, а въ ногахъ у нея, вся свернувшись въ комочекъ и положивъ ей голову на колѣни, лежала, закрывшись пестрымъ шотландскимъ пледомъ, Вѣра. Снаружи изъ-подъ пледа виднѣлась только одна ея маленькая, длинная и блѣдная ручка, на которой выше кисти была обмотана черная резиновая тесьма широкополой соломенной бержерки.

Александра Ивановна, выѣзжая изъ города, бросила

взглядъ налѣво, на послѣдній домикъ надъ рѣчкой, и, увидавъ въ одномъ изъ его оконъ полусѣдую голову Катерины Астафьевны, ласково кивнула ей и, подъѣхавъ къ самой рѣкѣ, остановила лошадь.

Майорша Форова была совсѣмъ одѣта, даже въ шляпкѣ и съ зонтикомъ въ рукѣ, и во всемъ этомъ нарядѣ тотчасъ же вышла изъ калитки и подошла къ Синтяниной.

— Здравствуй, голубушка Саша! — сказала она, поставивъ ногу на ступеньку тюльбюри, и пожала руку Синтяниной.—А я не думала, что ты поѣдешь нынче на хуторъ.

— Вѣра нездорова,—отвѣчала мягко Синтянина.—А ты куда рано, Катя?

— Я къ ранней обѣднѣ, хочется помолиться,—отвѣчала Форова, прислоняясь къ щитку тюльбюри. — Что съ Вѣрой такое?

— Не говори, пожалуйста! — отвѣчала Синтянина, бросивъ взглядъ на закрытую головку Вѣры.

Форова легонько приподняла закрывавшій лицо ребенка уголъ пледа и тихо шепнула: «она спитъ?»

— Какъ сѣла, такъ опустилась въ ноги и заснула.

— И какъ она сегодня необыкновенно блѣдна!

— Да; она всю ночь не спала ни минуты.

— Отчего?—шепнула Форова.

— Что ты шепчешь? Она вѣдь не слышитъ.

— И какъ это странно и страшно, что она спитъ и все смотритъ глазами, — проговорила Катерина Астафьевна, и съ этимъ словомъ бережно и тихо покрыла пледомъ блѣдное до синевы лицо дѣвушки, откинувшей головку съ полуоткрытыми глазами на служащее ей изголовьемъ колѣно мачихи.

— Несчастное дитя! — заключила Форова, вздохнувъ и перекрестивъ ее. — Она рукой такъ и держится за твое платье.

— Я не могу себѣ простить, что я вчера ее оставляла одну. Я думала, что она спитъ днемъ, а она не спала, ходила предъ вечеромъ къ отцу, пока мы сидѣли въ саду, и ночью... представь ты... опять было то, что̀ тогда...

— Да?

— Я только вернулась, легла и... ты понимаешь? я все же вчера была немножко тревожна...

— Да, да, понимаю, понимаю.

— Я лежу и никакъ не засну, все Богъ знаетъ что̀ идетъ въ голову, какъ вдругъ она, не касаясь ногами пола, влетаетъ въ мою спальню: вся блѣдная, вся въ бѣломъ, глаза горятъ, въ обѣихъ рукахъ по зажженой свѣчѣ изъ канделябра, бросилась къ окну, открыла занавѣску и вдругъ... Какіе звуки! Какіе тягостные звуки, Катя! Такъ, знаешь: «а-а-а-а!» какъ будто она хочетъ кого-то удержать надъ самою пропастью, и вдругъ... смотрю ужъ свѣчи на полу, и, когда я нагнулась, чтобы поднять ихъ, потому что она не обращала на нихъ вниманія, кажется, я слышала слово...

Форова промолчала.

— Мнѣ показалось, что какъ-будто пронзительно раздалось: «кровь!»

— Господи помилуй! — произнесла, отодвигаясь, Форова и перекрестилась.

— Какое странное дитя!

— И я тебѣ скажу, я не нервна, но очень испугалась.

— Еще бы! Это кого хочешь встревожитъ.

— Я взяла ее сзади и посадила ее въ кресла. Она была холодная какъ ледъ, или лучше тебѣ сказать, что ее совсѣмъ не было, только это бѣдное, больное сердце ея такъ билось, что на груди какъ мышонокъ ворочался подъ блузой, а дыханья нѣтъ.

— Бѣдняжка! какая тяжкая ея жизнь!

— Нѣтъ, ты дослушай же, Катя.

— Знаешь, меня всегда отъ этихъ вещей немножко коробитъ.

— Нѣтъ, это вовсе не страшно. Она вдругъ схватила карандашъ...

— И написала: «кто я?» Не говори мнѣ, я дрожу, когда она объ этомъ спрашиваетъ.

— А вотъ представь, совсѣмъ не то: она взяла карандашъ и написала: «змѣй съ трещоткой».

— Что̀ это значитъ?

Спнтянина пожала плечами.

— А гдѣ же кровь?

— Я ее объ этомъ спросила.

— Ну, и что же?

— Она показала рукой вокругъ и остановила на Висленовскомъ флигелѣ. Конечно, все это вздоръ...

— Почемъ намъ это знать, что это вздоръ, Сашура?

— О, полно, Катя! Что же можетъ угрожать имъ? Нѣтъ, все это вздоръ, пустяки; но Вѣра была такъ тревожна, какъ никогда, и я все это тебѣ къ тому разсказываю, чтобы ты не отнесла моего бѣгства къ чему-нибудь другому,— договорила, слегка краснѣя, Синтянина.

— Ну да, поди-ка ты, стану я относить.

— Не станешь?

— Да, разумѣется, не стану. Легко ли добро: есть отъ кого бѣжать.

Синтянина вздохнула.

— А ты знаешь, Катя,—молвила она: — что порочныхъ дѣтей болѣе жаль, чѣмъ тѣхъ, которыя насъ не огорчаютъ.

— Э, полно, пожалуйста,—отвѣчала Форова, энергически поправляя рукой свои сѣдые волосы, выбившіеся у нея изъ-подъ шляпки. — Я теперь на много лѣтъ совсѣмъ спокойна за всѣхъ хорошихъ женщинъ въ мірѣ: теперь, кромѣ дуры, ни съ кѣмъ ничего не случится. Увлекаться ужъ некѣмъ и нечѣмъ.

— Но, ахъ! смотри!—воскликнула она, взглянувъ на дѣвочку.

Вѣра во снѣ отмахнула съ головы пледъ и, не просыпаясь, глядѣла полуоткрытыми глазами въ лицо Синтяниной.

— Какъ страшно,—сказала Форова:—она точно слѣдитъ за тобой и во снѣ и на яву. Прощай, Господь съ тобой.

— Ты навѣстишь меня?

— Да, непремѣнно.

— Мнѣ надо кое-что тебѣ сказать.

— Скажи сейчасъ.

— Нѣтъ, это долго.

— А что такое? У тебя есть опасенія?

— Да, но теперь прощай.

Съ этими словами Синтянина пустила лошадь вбродъ и уѣхала.

Висленевъ вышелъ со двора, раскрылъ щегольской шелковый зонтъ, но, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ по улицѣ, тотчасъ же закрылъ его и пошелъ быстрымъ ходомъ. Дождя еще не было; городъ Висленевъ зналъ прекрасно и очень скоро дошелъ по разнымъ уличкамъ и переулкамъ до маленькаго, низенькаго домика въ три окошечка. Это былъ опять тотъ же самый домикъ, предъ которымъ за часъ предъ этимъ Синтянина разговаривала съ Форовой.

Висленевъ поглядѣлъ чрезъ окно внутрь домика и, никого не увидавъ тутъ, отворилъ калитку и вошелъ на дворъ. На него сипло залаяла старая черная собака, но тотчасъ же зѣвнула и пошла подъ крыльцо.

Изъ-подъ сарая вылетѣла стая куръ, которыхъ посреди двора поджидалъ голенастый красный пѣтухъ, и вслѣдъ затѣмъ оттуда же вышла бойкая рябая, востроносая баба съ ребенкомъ подъ одною рукой и двумя курицами — подъ другою.

— Милая, Филетеръ Иванычъ дома? — освѣдомился Висленевъ.

— Ахъ, нѣту-ти ихъ, нѣту-ти, ушедши они со двора,— отвѣчала съ сожалѣніемъ баба.

— А Катерина Астафьевна?

— Катерина Астафьевна были въ саду, да нешто не ушли ли... Ступайте въ садъ.

— А ваша собака меня не укуситъ?

— Собака, нѣтъ; она не кусается, не поважена. Вотъ корова буренка... Тпружи, тпружи, дура! тпружи! — закричала баба, махая дитятей и курами.

Висленевъ вдругъ почувствовалъ сзади у своего затылка нѣжное теплое дыханіе, и въ то же мгновеніе шляпа его слетѣла съ головы вмѣстѣ съ нѣсколькими вырванными изъ затылка волосами.

Іосафъ Платоновичъ вскрикнулъ и прыгнулъ впередъ, а баба, бросивъ на землю куръ и ребенка, быстро кинулась защищать гостя отъ коровы, которая спокойно жевала и трясла его соломенную шляпу.

Нѣсколькихъ ударовъ, которые женщина нанесла коровѣ по губамъ, было достаточно, чтобы та освободила Висленевскую шляпу, но, конечно, жестоко помятую и безъ куска полей.

— Это все баринъ, Филетеръ Иванычъ, у насъ такихъ глупостевъ ее научили, — заговорила баба, подавая Висленеву его испорченную шляпу.

— Но она, однако, можетъ-быть, еще и бодается? — освѣдомился Висленевъ, прячась за бабу отъ коровы, которая опять подходила къ нимъ, пережевывая во рту кусокъ шляпы и медленно помахивая головой съ тупыми круглыми глазами.

— Нѣтъ, идите; бодаться она рѣдко бодается... развѣ

только кто ей не понравится,—успокаивала баба, стремясь опять изловить куръ и взять кричащее дитя.

— Ну, однакоже, покорно васъ благодарю. Я вовсе не желаю испытывать, понравился я ей или не понравился; а вы лучше проведите меня до саду.

Баба согласилась, и Висленевъ, подъ ея прикрытіемъ, пошелъ скорыми шагами впередъ, держась рукой за холщевый, вышитый красною бумагой, передникъ своей провожатой.

Переступивъ за порогъ утлой ограды, онъ заперъ за собой на задвижку калитку и разсмѣялся.

— Скажите, пожалуйста, вотъ вамъ и провинціальная простота жизни! А тутъ, чтобы жить, надо еще и коровамъ нравиться! Ну, краекъ! ну, сторонушка!

Онъ снялъ свою изуродованную шляпу, оглядѣлъ ее и, надѣвъ прорѣхой на затылокъ, пошелъ по узенькой, не пробитой, а протоптанной тропинкѣ вглубь небольшого, такъ сказать, однодворческаго сада. Кругомъ растутъ, какъ попало, жимолости, малина, крыжовникъ, корявая яблонька и въ концѣ кустъ густой черемухи; но живой души человѣческой нѣтъ.

Іосафъ Платоновичъ даже плюнулъ: очевидно, баба соврала; очевидно, Катерины Астафьевны здѣсь нѣтъ, а между тѣмъ идти назадъ... тамъ корова и собака... Но въ это самое мгновеніе Висленевъ дошелъ до черемухи и отодвинулся назадъ и покраснѣлъ. Въ пяти шагахъ отъ него, подъ наклонившеюся до земли вѣткой, копошился ворохъ зеленой полосатой матеріи, и одна рука ею обтянутая взрывала ножикомъ землю.

— Такъ вотъ это кто: это была тетушка!... Ну, слава Богу! Испугаю же ее за то, что она меня напугала.

И съ этимъ Висленевъ тихо, на цыпочкахъ подкрался къ кусту и, разведя свои руки въ разныя стороны, кольнулъ сидящую фигуру подъ бока пальцами, и вслѣдъ затѣмъ раздались два разные восклика отчаяннаго перепуга.

Висленевъ очутился лицомъ къ лицу съ бѣлокурымъ, среднихъ лѣтъ мужчиной, одѣтымъ въ вышесказанную полосатую матерію, съ изрядною окладистою бородой и свѣтло-голубыми глазами.

— Что же это такое?—проговорилъ, наконецъ, Висленевъ.

— А ужъ объ этомъ мнѣ бы васъ надлежало спросить,— отвѣчалъ собесѣдникъ.

— Я думалъ, что вы тетушка.

— Между тѣмъ, я своимъ племянникамъ дядя.

— Но позвольте, какъ же это такъ?

— А ужъ это опять мнѣ васъ позвольте спросить: какъ вы это такъ? Я червей копалъ, потому что мы съ Филетеромъ Иванычемъ собираемся рыбу удить, а вы меня подъ ребра, и испугали. Я Евангелъ Минервинъ, священникъ и майора Форова пріятель.

Висленевъ хотѣлъ извиниться, но вмѣсто того не удержался и расхохотался.

— Вотъ какъ у насъ!—проговорилъ Евангелъ, глядя съ улыбкой, какъ заливается Висленевъ. — Чего же это вы такъ ослабѣли?

— Да позвольте!..—началъ-было Висленевъ, и опять расхохотался.

— Вона! Ну, смѣшливы же вы!

— Вы, отецъ Евангелъ, не говорите, пожалуйста... Я васъ принялъ за тетушку, Катерину Астафьевну...

— Для чего такъ? я на нее не похожъ!

— Ну, вотъ подите же! я хотѣлъ съ ней пошутить...

— Ну, и что же: это ничего.

— Это меня вашъ подрясникъ ввелъ въ заблужденіе: мнѣ показалось, что это тетушкино платье.

— А у нея развѣ есть такое платье?

— Кажется... то-есть я думаю...

— Нѣтъ; у вашей тетушки таковаго платья нѣтъ.

— А вы развѣ знаете?

— Разумѣется, знаю: у нея сѣрое лѣтнее, коричневое и черное, что изъ голубого перекрашено, а бѣлое, которое въ прошломъ году вмѣстѣ съ моею женой къ причастью шила, такъ она его не носитъ. Да, вы ничего: не смущайтесь, что пошутили,—вотъ если бы вы меня прибили, надо бы смущаться, а то... да что же это у васъ у самихъ-то чепецъ помятъ?

— Представьте, это корова...

— А, а! буренка! она одинъ разъ пьяному казаку весь хохолъ на кичкѣ съѣла, а животина добрая... питаетъ. Вы изъ Питера?

— Да, изъ Питера.

— Ученый?

Ну, не очень...

Висленевъ разсмѣялся.

— Что такъ? Тамъ будто какъ всѣ ученые. Къ литературѣ привержены?

— Да, я писалъ.

— Статьи или изящныя произведенія?

— Статьи. А вы съ дядюшкой много читаете?

— Одолѣваемъ-таки. Изящную литературу люблю, но только писателей изящныхъ мало встрѣчаю. Поворотъ назадъ чувствую.

— Какъ поворотъ назадъ?

— А какъ же-съ: развѣ вы его не усматриваете? Помните, въ комедіи господина Львова было сказано, что «прежде все сочиняли, а теперь-де описываютъ», а ужъ нынѣ опять все сочиняютъ: людей такихъ вовсе не видимъ, про какихъ пишутъ... А вотъ и отецъ Филетеръ идетъ.

Въ это время на тропинкѣ показался майоръ Форовъ. Онъ былъ въ старомъ, грязномъ-прегрязномъ драповомъ халатѣ, подпоясанномъ засаленными шнурами; за пазухой у него былъ завязанъ ребенокъ, въ лѣвой рукѣ трубка, а въ правой книга, которую онъ читалъ въ то самое время, какъ дитя всячески старалось ее у него вырвать.

— Чье-жъ это у него дитя? — полюбопытствовалъ Висленевъ.

— А это солдатское... работницы Авдотьи. Ее, вѣрно, куда-нибудь послали; впрочемъ, вѣдь Филетеръ Иванычъ дѣтей страшно любятъ. Перестань читать, Филетеръ: вотъ тебя гость ждетъ.

Форовъ взглянулъ, перехватилъ въ одну руку книгу и трубку, а другую протянулъ Висленеву.

— Торочку вы не видали?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, не видалъ.

— А она къ вамъ пошла. Вы по какой улицѣ шли: по Покровской или по Рождественской?

— По Рождественской.

— Ну, значитъ, просмотрѣли.

— А она въ чемъ: въ какомъ платьѣ?

— А ужъ я ея платьевъ не знаю. А журналовъ новыхъ, отецъ Евангелъ, нѣтъ: былъ у Бодростиной, былъ и у Подозерова, а ничего не добылъ. Захватилъ книжонку Диккенса «Изъ семейнаго круга».

— Что жъ, перечитаемъ: тамъ «Габріель и Роза» хороши.

— А теперь пойдемъ закусить, да и въ дорогу. Вы любите закусывать?—отнесся онъ къ Висленеву.

— Не особенно, а впрочемъ, съ вами очень радъ.

— А вамъ развѣ не все равно, съ кѣмъ ѣсть?

— Ну, не все равно. Да, что же вы не спросите, кто мнѣ шляпу обработалъ?

— А что же мнѣ въ этомъ за интересъ? Извѣстно, что если у кого ризы обветшали, такъ значитъ ремонентовъ нѣтъ.

— Чего ремонентовъ! это ваша корова!

— Ну и что жъ? Плохого князя и телята лижутъ.

— Вы, Филетеръ Иванычъ, чудакъ.

— Ну, вотъ и чудакъ! Я чудакъ да не красенъ, а вы не чудакъ да спламенѣли не знай чего. Пойдемте-ка лучше закусывать.

— Только вина, извините, у меня нѣтъ,—объяснилъ Форовъ, подводя гостей къ непокрытому скатертью столу, на которомъ стоялъ горшокъ съ варенымъ картофелемъ, студень на поливеномъ блюдѣ и водочный графинчикъ.

— Да у тебя и въ баклажкѣ-то оскудѣніе израилево,—замѣтилъ Евангелъ, поднимая пустой графинъ.

— Что жъ, нарядимъ сейчасъ посланіе къ евреямъ,—отвѣчалъ Форовъ, вручая работницѣ графинъ и деньги.

— А я вѣдь совсѣмъ водки не пью,—сказалъ Висленевъ.—Вы не обидитесь?

— Чѣмъ это?.. Я издавна солистъ и аккомпанемента не ожидаю, одинъ пью.

— Отецъ Евангелъ развѣ тоже не пьетъ?

— Не пью-съ,—отвѣчалъ отецъ Евангелъ, разбирая себя на ладони разсыпчатую картофелину.

— Мы пошлемъ за виномъ, Филетеръ Иванычъ, если вы позволите?

— А сдѣлайте милость, хоть за шампанскимъ.

— Только если вы меня считаете, то я вѣдь и вина никакого не пью,—отвѣчалъ отецъ Евангелъ.

— Будто никакого?

— Вина рѣшительно никакого.

— Ну, рюмку хересу.

— Ну, такъ и быть: для васъ рюмку хересу выпью.

Работница побѣжала, сдавъ опять своего ребенка Филе-

теру Ивановичу, и черезъ нѣсколько минутъ доставила вино и водку. Форовъ выпилъ водки и началъ ходить по комнатѣ.

— А что же вы, Филетеръ Иванычъ, не закусываете?— заговорилъ Висленевъ.

— Истинные таланты не закусываютъ, — отвѣчалъ, не глядя на него, Форовъ.

Висленеву показалось, что майоръ съ нимъ почему-то сухъ. Онъ ему это замѣтилъ, на что тотъ сейчасъ же отвѣчалъ:

— Я, сознаюсь вамъ, смущенъ, что это вы за птицу привезли, этого господина Горданова?

— А что такое?

— Да онъ мнѣ не нравится.

— Съ какихъ это поръ? Вы, кажется, съ нимъ вчера соглашались?

— Да мало ли что соглашался? Съ инымъ и соглашаешься, да не любишь, а съ другимъ и не согласенъ, да ладишь.

— Такъ вы вотъ какой: вы единомышленниковъ, значитъ, немного цѣните?

— Да вы къ чему мнѣ это говорите? Мыслитъ всякъ для себя.

— А партія?

— Партія? Такъ это значитъ я ся крѣпостной, что ли, что я ради партіи долженъ подлеца въ честь ставить?... А чтобъ она этого не дожидалась сія партія!

— А Гордановъ прекрасный и очень умный человѣкъ.

— Не знаю-съ,—отвѣчалъ майоръ.—Знаю только, что онъ цѣлый вечеръ точно бурлацкую пѣсню тянулъ «а-о-е», а живого слова не выберешь.

— Онъ говорилъ резонно.

— Да что же резонно; всѣ его резоны, это, я говорю, все равно, что дождь на морѣ, ничего не прибавляютъ. Интересно бы знать его дѣла и дѣла... Слышишь, отецъ Евангелъ, этотъ Гордановъ мужиченкамъ землишку подарилъ, да теперь выдурить ее у нихъ на обмѣнъ хочетъ.

— Т-е-е-съ!—сдѣлалъ укоризненно, покачавъ головою, отецъ Евангелъ, у котораго ротъ былъ изобильно наполненъ горячимъ картофелемъ.

— Да это кто же вамъ сказалъ, что таковы Гордановскія намѣренія?

— Да вѣдь вы же Подозерову объ этомъ говорили. И вы сами еще, милостивый государь, за такое дѣло взялись?.. Нехорошо!..

— Вретъ вашъ Подозеровъ.

— Что-о? Подозеровъ вретъ? Ну это, во-первыхъ, въ первый разъ слышу, а во-вторыхъ, Подозеровъ мнѣ и не говорилъ ничего.

— Подозеровъ самъ-то очень хорошъ.

— Человѣкъ рабочій и честный, хотя идеалистъ.

— Очень честный, но никогда ни на что честное и въ университетѣ не умѣлъ откликнуться.

— А на что откликаться-то въ университетѣ, когда тамъ надо учиться?

— Мало ли на что тамъ въ наше время приходилось откликаться! А ему какое дѣло, бывало, ни представь, все разрезонируетъ и выведетъ, что въ немъ содержанія нѣтъ.

— Да вѣдь какое же, въ самомъ дѣлѣ, содержаніе можно найти въ дѣлѣ о бревнѣ, упавшемъ и никого не убившемъ?

— Ну, я вижу, вы совсѣмъ подозеровскій партизанъ здѣсь?

— Напротивъ, я совсѣмъ другихъ убѣжденій, чѣмъ Подозеровъ...

— А не пора ли намъ съ тобой, друже Филетеръ, и въ ходъ,—прервалъ отецъ Евангелъ.

— Идемъ,—отвѣчалъ Форовъ, и накинулъ на себя вмѣсто халата парусинный балахонъ, забралъ на плечи торбу, въ карманъ книгу и протянулъ Висленеву руку.

— Куда вы?—спросилъ Іосафъ Платоновичъ.

— Туда, къ Аленину верху.

— Гдѣ это, далеко?

— А верстъ съ десятокъ отсюда, вотъ гдѣ горы-то видны, между Бодростинкой и Синтянинскимъ хуторомъ.

— Что-жъ вы тамъ будете дѣлать?

— Въ озерѣ карасей половимъ, съ росой травъ порвемъ, а въ солнцепекъ читать будемъ въ лѣсу на прохладѣ.

— Возьмите меня съ собой.

Отецъ Евангелъ промолчалъ, а Форовъ сказалъ:

— Что-жъ, намъ все равно.

— Такъ я иду.

— Идемте.

— А гроза васъ не пугаетъ?

— Насъ—нѣтъ, потому что мы каждый съ своей точки

зрѣнія жизнью не дорожимъ, а вотъ вы-то, пожалуй, лучше останьтесь.

— А что?

— Да гроза непремѣнно будетъ, а кто считаетъ свое существованіе драгоцѣннымъ, тому жутко на полѣ, какъ облака заспорятъ съ землей. Вы не поддавайтесь лучше этой гили, что говорятъ, будто стыдно грозы трусить. Что за стыдъ бояться того, съ кѣмъ сладу нѣтъ!

— Нѣтъ, я хочу побродить съ вами и посмотрѣть, какъ вы ловите карасей, какъ сбираете травы и пр., и пр. Однимъ словомъ, мнѣ хочется побыть съ вами.

— Такъ идемъ.

Они встали и пошли.

Выйдя на улицу, Форовъ и отецъ Евангелъ тотчасъ сѣли на землю, сняли обувь, связали на веревочку, перекинули себѣ черезъ плеча и, закатавъ вверхъ панталоны, пошли въ бродъ черезъ мелкую рѣчку. Висленевъ этого не сдѣлалъ: онъ не сталъ разуваться и сказалъ, что босой идти не можетъ; онъ вошелъ въ рѣку прямо въ обуви и сильно измочился.

Форовъ вытащилъ изъ кармана книжку Диккенса и зачиталъ разсказъ о *Габріэлѣ* и *Розѣ*.

Шли они, шли, и Висленеву показалось, что они уже Богъ знаетъ какъ далеко ушли, а было всего семь верстъ.

— Я усталъ, господа,—сказалъ Висленевъ.

— Что-жъ, сядемъ, отдохнемъ,—отвѣчалъ Евангелъ.

И они сѣли.

— Скажите, неужели вы всегда и дорогой читаете?—спросилъ Висленевъ.

— Ну, это какъ придется,—отвѣчалъ Форовъ.

— И всегда повѣсти?

— По большей части.

— И не надоѣли онѣ вамъ?

— Отчего же? Самая глупая повѣсть все-таки интереснѣе, чѣмъ трактатъ о бревнѣ, упавшемъ и никого не убившемъ.

— Ну, такъ вотъ же я вамъ подарокъ припасъ: это ужъ не о бревнѣ, упавшемъ и никого не убившемъ, а о бревнѣ, упавшемъ и убившемъ свободу.

И съ этимъ Висленевъ вынулъ изъ кармана пальто и преподнесъ Форову книжку изъ числа изданныхъ за границей и въ которой трактовалась сущность христіанства по Фейербаху.

— Благодарю васъ,—отвѣчалъ майоръ:—но я, впрочемъ, этого барона фонъ-Фейербаха не уважаю.

— А вы его развѣ читали?

— Нечего у него читать-то, вотъ горе.

— Онъ разбираетъ сущность христіанства.

— Знаю-съ, и очень люблю эти критики только не его, не господина Фейербаха съ послѣдователями.

— Они это очень грубо дѣлаютъ,—поддержалъ отецъ Евангелъ.—Есть на это мастера гораздо тоньше — филигранью чеканятъ.

— Да, разумѣется, Ренанъ, напримѣръ, я это знаю.

— Нѣтъ; да Ренанъ о духѣ мало и касается, онъ все по критикѣ событій; но и Ренанъ-то въ своихъ положеніяхъ тоже не ахти-мнѣ; онъ шатокъ противъ, напримѣръ, богослововъ современной тюбингенской школы. Вы какъ находите?

— Я, признаться сказать, всѣхъ этихъ господъ не читалъ.

— А-а, не читали, жаль! Ну, да это примѣромъ можно объяснить будетъ, хоть и въ противномъ родѣ, вотъ какъ, напримѣръ, Іоаннъ Златоустъ противъ Василія Великаго, Массильонъ супротивъ Боссюэта, или Иннокентій противъ Филарета московскаго.

— Ничего не понимаю.

— Одни увлекательнѣй и легче, какъ Златоустъ, Массильонъ и Иннокентій, а другіе тверже и опористѣй, какъ Василій Великій, Боссюэтъ и Филаретъ. Ренанъ вѣдь очень легокъ, а вы если критикой духа интересуетесь, такъ Ламене извольте прочитать. Этотъ гораздо позаористѣй.

«Чортъ ихъ знаетъ, сколько они нынче здѣсь, по трущобамъ-то сидя, поначитались!» подумалъ Висленевъ и добавилъ вслухъ:

— Да, можетъ быть. Я мало этихъ вещей читалъ, да на что ихъ? Это роскошь знанія, а нужна польза. Я вѣдь только со стороны критики сущности христіанства согласенъ съ Фейербахомъ, а то я, разумѣется, и его не знаю.

— Да вы съ критикой согласны? Ну, а ея-то у него и нѣтъ. Какая же критика при односторонности взгляда? Это въ нѣкоторыхъ теперешнихъ свѣтскихъ журналахъ ведется подобная критика, такъ вѣдь quod licet bovi, non licet Jovi, что приличествуетъ быку, то не приличествуетъ Юпитеру.

Нѣтъ, вы Ламене почитайте. Онъ хоть нашего брата пробираетъ, христіанство, а онъ лучше послѣдователей Фейербаха понимаетъ. Христіанство это-съ вѣдь дѣло слишкомъ серьезное и великое: его не повалить.

— Оно даже хлѣбомъ кормитъ,—вмѣшался Форовъ.

— Нѣтъ, оно больше дѣлаетъ, Филетеръ Иванычъ, ты это глупо говоришь,—отвѣчалъ Евангелъ.

— А мнѣ кажется, онъ, напротивъ, прекрасно сказалъ, и позвольте мнѣ на этомъ съ нимъ покончить,—сказалъ Висленевъ.—Хлѣбъ, какъ все земное, мнѣ ближе и понятнѣе, чѣмъ всѣ небесныя блага. А какъ же это кормитъ христіанство хлѣбомъ?

— Да вотъ какъ. Во многихъ мѣстахъ десятки тысячъ людей, которые непремѣнно должны умереть въ силу обстоятельствъ съ голоду, всякій день сыты. Петербургъ кормитъ такихъ двадцать тысячъ и все «по сущности христіанства». А уберите вы эту «сущность» на три дня изъ этой сторонушки, вотъ вамъ и голодная смерть, а ваши философы этого не видали и не разъяснили.

— Дѣла милосердія вѣдь возможны и безъ христіанства.

— Возможны, да... не всякъ на нихъ тронется изъ тѣхъ, кто нынче трогается.

— Да, со Христомъ-то это легче,—поддержалъ Евангелъ.

— А то «жестокіе еще, сударь, нравы въ нашемъ городѣ»,—добавилъ Форовъ.

— А со Христомъ жестокое-то дѣлать труднѣй, — опять подкрѣпилъ Евангелъ.

— Скажите же, зачѣмъ вы живете въ такой странѣ, гдѣ по вашему все такъ глупо, гдѣ всѣ добрыя дѣла творятся силой иллюзій и страховъ?

— А гдѣ же мнѣ жить?

— Гдѣ угодно!

— Да мнѣ здѣсь угодно, я здѣсь органическія связи имѣю.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ, пенсіонъ получаю.

— И только?

— Н-н-ну... и не только... Я мужиковъ люблю, солдатъ люблю!

— Что же вамъ въ нихъ нравится?

— Прекрасные люди.

— А неужто же цивилизованный иностранецъ хуже русскаго невѣжды?

— Нѣтъ; а иностранный невѣжда хужо.

— А я, каюсь вамъ, не люблю Россіи.

— Для какой причины?—спросилъ Евангелъ.

— Да что вы въ самомъ дѣлѣ въ ней видите хорошаго? Ни природы, ни людей. Гдѣ лавръ да миртъ, а здѣсь квасъ да спиртъ, вотъ вамъ и Россія.

Отецъ Евангелъ промолчалъ, нарвалъ горсть синей озими и сталъ ею обтирать свои запачканныя ноги.

— Ну, природа,—заговорилъ онъ:—природа наша здоровая. Оглянитесь хоть вокругъ себя, неужто ничего здѣсь не видите достойнаго благодаренія?

— А что же я вижу? Вижу будущій квасъ и спиртъ, и будущее сѣно!

Евангелъ опять замолчалъ и наконецъ всталъ, бросилъ отъ себя траву и, стоя среди поля. съ подоткнутымъ за поясъ подрясникомъ, началъ говорить спокойнымъ и тихимъ голосомъ:

— Сѣно и спиртъ! А вотъ у самыхъ вашихъ ногъ растетъ здѣсь благовонный девясилъ, онъ утоляетъ боли груди; подальше два шага отъ васъ, я вижу огневой жабникъ, который лѣчитъ черную немочь; вонъ тамъ на камняхъ растетъ верхоцвѣтный исопъ, отъ удушья; вонъ ароматная марь, противъ нервовъ; рвотный капытень; сонъ-трава отъ простѣла; кустистый дрокъ; крѣпящая разслабленныхъ аліела; вонъ болдырянъ, отъ дѣтскаго родилища и мадрагары, отъ которыхъ спятъ убитые тоской и страданіемъ. Теперь, тамъ, на полѣ, я вижу траву гулявицу отъ судорогъ; на холмикѣ вонъ Божье деревцо; вонъ львиноустъ отъ трепетанья сердца; дягиль, лютикъ, цѣлебная и смрадная трава омегъ; вонъ курослѣпъ, отъ укушенія бѣшенымъ животнымъ; а тамъ по потовинамъ луга растетъ ручейный гравилатъ отъ кровотока; авранъ и многолѣтній кринъ, возстановляющій безсиліе; медвѣжье ухо отъ перхоты; хрупкая ива, въ которой купаютъ золотушныхъ дѣтей; кувшинчикъ, кукушкинъ ленъ, козлобородъ... Не сѣно здѣсь, мой государь, а Божья аптека.

И съ этимъ отецъ Евангелъ вдругъ оборотился къ Висленеву спиной, прилегъ, свернулся калачикомъ и въ одно мгновеніе уснулъ, рядомъ со спящимъ уже и храпящимъ

майоромъ. Точно порѣшили оба насчетъ Іосафа Платоновича, что съ нимъ больше говорить не о чемъ.

Висленевъ такой выходки никакъ не ожидалъ, потому что онъ не видалъ никакой причины укладываться теперь и спать, и не чувствовалъ ни малѣйшаго позыва ко сну; но помѣшать Форову и отцу Евангелу, когда они ужъ уснули, онъ, разумѣется, не захотѣлъ, и рѣшилъ побродить немножко по кустарникамъ. Походилъ, нашелъ двѣ ягоды земляники и съѣлъ ихъ, и опять вернулся на опушку, а Форовъ и Евангелъ попрежнему спятъ. Висленеву стало скучно, онъ бы пошелъ и домой, но кругомъ тучится и погромыхиваетъ громъ, котораго онъ не любитъ. Дѣлать нечего, онъ снялъ пиджакъ, свернулъ его, подложилъ подъ голову и легъ рядомъ съ крѣпко спящимъ Форовымъ, сорвалъ былинку и, покусывая ее, началъ мечтать. Мечты его были невыспренни, онѣ витали все около его портфеля, около его трудныхъ дѣлъ, около Петербурга, гдѣ у Висленева осталась нелюбимая жена и никакого положенія, и наконецъ около того, какъ онъ появится Гордanову и какъ разскажетъ ему исторію съ портфелемъ.

«Чѣмъ я позже ему это сообщу, тѣмъ лучше, — думалъ онъ,—чего же мнѣ и спѣшить? Я съ этимъ и ушелъ сюда, чтобы затянуть время. Пусть тамъ послѣ Гордановъ потрунитъ надъ моими увлеченіями, а между тѣмъ время большой изобрѣтатель. Подчиняюсь моей судьбѣ и буду спать, какъ они спятъ».

Висленевъ оборотился лицомъ къ Форову и закрылъ глаза на все.

Долго ли онъ спалъ, онъ не помнилъ, но проснулся онъ вдругъ отъ страшнаго шума и проницающей прохлады. Небо было черно, въ воздухѣ рокоталъ громъ и падали крупныя капли дождя. Висленевъ увидалъ въ этомъ достаточный поводъ поднять своихъ спутниковъ и разбудилъ отца Евангела. Дождь усиливался быстро и вдругъ пустился какъ изъ ведра, прежде чѣмъ Форовъ проснулся.

— Побѣжимте куда-нибудь? — упрашивалъ, метаясь на мѣстѣ, Висленевъ.

— Да куда же бѣжать-съ? Кругомъ поле, ни кола, ни двора, въ городъ назадъ семь верстъ, до Бодростинки четыре, а влѣво не больше двухъ верстъ до Синтянина ху-

тора, да вѣдь все равно и туда теперь не добѣжишь. Видите, какой полилъ. Ухъ, за рубашку потекло!

Отецъ Евангелъ сталъ на корточки, нагнулъ голову и выставилъ спину.

— Я говорилъ, что это будетъ, — проворчалъ Форовъ и тоже сталъ на колѣни точно такъ же, какъ и Евангелъ.

Среди ливня, обратившаго весь воздухъ вокругъ въ сплошное мутное море, рѣяли молніи и грохоталъ, не прерывая, громъ, и вотъ, весь мокрый и опустившійся Висленевъ видитъ, что среди этихъ волнъ, погоняемыхъ вѣтромъ, аршина два отъ земли плыветъ блѣдно-огненный шаръ, колеблется, растетъ, перемѣняетъ цвѣта, становится изъ блѣднаго багровымъ, фіолетовымъ, и вдругъ сверкнуло и вздрогнуло, и шара ужъ нѣтъ, но зато на дорогѣ что-то взвилось, затрещало и повалилось.

Форовъ и Евангелъ подняли головы.

Въ трехъ шагахъ предъ ними, въ морѣ волнъ, стоялъ двухмѣстный фаэтонъ, запряженный четверней лошадей, изъ которыхъ одна, оторвавши поводъ, стояла головой къ заднему колесу и въ страхѣ дрожала.

— Помогите, пожалуйста, — кричалъ изъ фаэтона человѣкъ съ большими кудрями à la Beranger.

— Это Михаилъ Андреичъ, — проговорилъ, направляясь къ экипажу, отецъ Евангелъ.

— Кто?—освѣдомился Висленевъ, идучи вслѣдъ за нимъ вмѣстѣ съ Форовымъ.

— Бодростинъ.

Въ фаэтонѣ сидѣлъ бѣлый, чистый, очень красивый старикъ Бодростинъ и возлѣ него молодой кавалеристъ съ нѣсколько надменнымъ и улыбающимся лицомъ.

— А, это вы, странники вѣчные!—заговорилъ, высовываясь изъ экипажа, Бодростинъ, въ то время какъ кучеръ съ отцомъ Евангеломъ выпутывали и выпрягали лошадь, тщетно норовившую подняться.—А это кто жъ съ вами еще!—любопытствовалъ Бодростинъ.

— А это пріѣзжій къ намъ съ сѣвера, Висленевъ,—отвѣтствовалъ майоръ Форовъ.

— Ахъ, это ты, Есафушка! Здорово, дружокъ! Вотъ радъ, да говорить-то некогда... Ты что жъ, куда идешь?

— Пошелъ съ ними, и самъ не знаю, чего и куда,—отозвался Висленевъ.

— Да кинь ты ихъ, бродягъ, и поѣдемъ въ городъ. Вотъ видишь, какъ ты измокъ, какъ куликъ.

— Ужъ просто ни одинъ Язонъ въ Колхидѣ не знавалъ такого душа!

— Ну и садись. Володя, подвигайся, братъ! Возьмемъ сего Язона, — добавилъ онъ, отстраняя кавалериста. — Это мой племянникъ, сестры Агаты сынъ, Кюлевейнъ. Ну, я беру у васъ господина этого городского воробья,—добавилъ онъ, втягивая Висленева за руку къ себѣ въ экипажъ: — онъ вамъ не къ перу и не къ шерсти.

— Съ Богомъ,—отвѣтилъ Евангелъ.

Бодростинъ кивнулъ своею беранжеровскою головой, и фаэтонъ опять понесся подъ моремъ дождя и сѣтью рѣющихъ молній.

Висленевъ дрожалъ отъ холоду и сырости и жался, совѣстясь мочить своимъ смокшимся платьемъ сосѣдей.

— Я просто мокръ, какъ губка, и совсѣмъ никуда не гожусь, — говорилъ онъ, стараясь скрыть свое замѣшательство.

— Ну, вздоръ, ничего, хорошій молодецъ изъ воды долженъ сухъ выходить. Вотъ пріѣдемъ къ женѣ, она задастъ тебѣ такого эрфиксу, что ты высохнешь и зарокъ дашь съ пріѣзда по полямъ не разгуливать, прежде чѣмъ друзей навѣстишь.

— А, нѣтъ! Бога ради! Я не могу показаться Глафирѣ Васильевнѣ.

— Что тако-о-о-е? Не можешь показаться моей женѣ? Полно, пожалуйста, дурить-то.

— Я право, Михаилъ Андреевичъ, не дурю, а не могу же я въ такомъ печальномъ видѣ являться къ Глафирѣ Васильевнѣ,—отпрашивался Висленевъ.

— Все это чистый вздоръ, облечемъ тебя въ сухое бѣлье и теплый халатъ, а тѣмъ временемъ тебѣ и другое платье принесутъ.

— Нѣтъ, воля ваша, я у своего дома сойду, переодѣнусь дома и пріѣду.

— Ну, да, разсказывай, придешь ты, какъ же! Нѣтъ ужъ, братъ, надо было ко мнѣ сюда не садиться, а ужъ какъ сѣлъ, такъ привезу, куда захочу. У насъ на Руси на то и пословица есть: «на чьемъ возу ѣдешь, того и пѣсенку пой».

Отмѣнить этого не предвидѣлось никакой возможности: Бодростинъ неотразимо исполнялъ непостижимый и роковой законъ, по которому мужья столь часто употребляютъ самыя упорныя усилія вводить къ себѣ въ домъ людей, которыхъ бы лучше имъ вѣкъ не подпускать къ своему порогу.

— Сей молодецъ яко старецъ, — проговорилъ Евангелъ, садясь съ майоромъ снова подъ межку.

— Межеумокъ, — отвѣчалъ нехотя Форовъ, и болѣе они о Висленевѣ не говорили.

Подъ третьимъ кровомъ утро это началось еще иначе.

Глафира Васильевна Бодростина возвратилась домой съ небольшимъ черезъ четверть часа послѣ того, какъ она вышла отъ Горданова. Она сама отперла бывшимъ у нея ключомъ небольшую дверь въ оранжерею и черезъ нее прошла по довольно крутой спиральной лѣстницѣ на второй этажъ, въ чистую комнату, гдѣ чуть теплилась лампада подъ низкимъ абажуромъ и дремала въ креслѣ молодая, красивая дѣвушка въ ситцевомъ платьѣ.

Бодростина заперла за собой дверь и, тронувъ дѣвушку слегка за плечо, бросила ей шинель и шляпу, а сама прошла три изящно убранныя комнаты своей половины и остановилась, наконецъ, въ кабинетѣ, оклеенномъ темнозелеными обоями и убранномъ съ большимъ вкусомъ темнозеленымъ бархатомъ и позолотой.

Дѣвушка вошла вслѣдъ за нею и сказала:

— Вамъ есть письмо!

— Откуда такъ поздно?

— Швейцаръ мнѣ прислалъ его, какъ только вы изволили уйти. Я сказала, что вы уже изволили започивать.

— На,—отвѣчала Бодростина, бросая на руки дѣвушкѣ свою бархатную куртку и жилетъ:—сними съ меня сапоги и подай мнѣ письмо, — добавила она, полулегшись на диванъ, глубоко уходящій въ нишу окна.

Дѣвушка вышла и черезъ минуту явилась съ розовыми атласными туфлями и съ серебрянымъ подносомъ, на которомъ лежалъ большой конвертъ.

Глафира Васильевна взяла письмо, взглянула на адресъ и покраснѣла.

«А-а! Наконецъ-то!» шепнула она себѣ.

Дѣвушка разула ее и надѣла на ея ноги туфли.

— Ложись спать!—приказала Бодростина.

Дѣвушка поклонилась и вышла.

Глафира Васильевна встала, тихо обошла нѣсколько разъ вокругъ комнаты, опустила занавѣсы дверей, отдернула занавѣсу окна, въ нишѣ котораго помѣщался диванъ, и снова сѣла здѣсь и наморщила лобъ.

— Игра начинается большая и опасная!—носилось въ ея головѣ.—Рискованнѣе и смѣлѣе я еще не задумывала ничего, и я выиграю... Я должна выиграть ставку, потому что ходы мои разсчитаны вѣрно, и рука, мнѣ повинующаяся, неотразима, но... Гордановъ хитеръ, и съ нимъ нужна вся осторожность, чтобъ онъ ранѣе времени не узналъ, что онъ будетъ работать не для себя. Впрочемъ, я готова встрѣтить все, и намъ пора окончить съ Павломъ Николаевичемъ наши счеты!

Бодростина тихо вздохнула и, взявъ нескѣшною рукой со стола письмо, разорвала конвертъ.

Письмо было на большомъ листѣ почтовой бумаги, исписанномъ вокругъ чистымъ и красивымъ мужскимъ почеркомъ, внизу стояла подпись «Подозеровъ».

«Я получилъ четыре дня тому назадъ ваше письмо,—начиналъ авторъ.—Не нахожу словъ, которыми могъ бы отблагодарить васъ за чувства, выраженныя въ вашихъ строкахъ, которыхъ я никогда не перестану помнить. Я не отвѣчалъ вамъ скоро потому, что хотѣлъ отвѣчать обстоятельно. Прежде всего я отвѣчу на ваше запрещеніе смѣяться надъ вами. Это напрасно. Я не умѣю смѣяться ни надъ кѣмъ и всегда отвѣчаю на всякій вопросъ по совѣсти, точно такъ же поступаю и въ настоящемъ случаѣ.

«Вы напоминаете мнѣ мой долгъ вамъ, напоминаете данное мною вамъ, при одномъ шуточномъ случаѣ, серьезное слово безотговорочно и честно исполнить первое ваше требованіе, и въ силу этого слова дѣлаете для меня обязательнымъ обстоятельный и чистосердечный отвѣтъ на ваше письмо, заключающее въ себѣ и дружескій вопросъ, и совѣтъ, и предостереженіе, и ваше предсказаніе. Вы разрѣшаете мнѣ тоже, взамѣнъ всякихъ отвѣтовъ, отдѣлаться сознаніемъ, что откровенность мнѣ не по силамъ.

«Очень благодарю васъ за дарованіе мнѣ такого легкаго способа отступленія, но, конечно, имъ не воспользуюсь: я буду съ вами совершенно откровененъ.

«Я бы очень прямо отвѣчалъ вамъ, почему держу себя, какъ вы говорите, «такъ странно и двусмысленно», если бъ я видѣлъ въ моемъ поведеніи какую-нибудь двусмысленность и загадочность. Мнѣ даже самому было бы пріятно уяснить себѣ мои странности, но я, къ крайней моей досадѣ, лишенъ способности ихъ видѣть. Мнѣ кажется, что я живу, какъ всѣ, одѣваюсь, какъ всѣ, ложусь спать и встаю въ часы, болѣе или менѣе обычные для всѣхъ, занимаюсь моей службой, посѣщаю моихъ немногочисленныхъ друзей и мало забочусь о моихъ врагахъ, которыхъ, по вашему замѣчанію, у меня очень много. Не смѣю вамъ противорѣчить, но если это и такъ, то что же я долженъ дѣлать, чтобъ уменьшить число моихъ недоброжелателей. Я не употреблялъ никакихъ стараній пріобрѣсть ихъ вражду, и не знаю, за что получилъ ее, не знаю и средства къ умилостивленію ихъ. Помогите мнѣ, пожалуйста, и спросите перваго человѣка, который выскажется ко мнѣ предъ вами враждебно, что я ему сдѣлалъ худого? Этимъ вы мнѣ дадите средство исправиться. Вы относите чувства моихъ недруговъ къ моему безучастію «въ общественныхъ дѣлахъ», и ставите мнѣ въ укоризну мой отказъ отъ продолженія секретарства по человѣколюбивымъ учрежденіямъ, въ которомъ вы принимаете участіе. Мнѣ кажется, что вы правы: я дѣйствительно мало показываюсь въ обществѣ, но это потому, что у меня очень хлопотливая служба, едва оставляющая мнѣ сколько-нибудь времени для того, чтобъ освѣжить мою голову страницей чтенія. Поэтому же я отказался и отъ секретарства, и отъ всякаго участія въ благотворительныхъ учрежденіяхъ, кромѣ посильной ленты моей, которую отдаю охотно. Я не могу дѣйствовать иначе, потому что прямое мое дѣло, которое я ежеминутно дѣлаю, стоя у интересовъ крестьянъ, тоже есть дѣло благотворенія, и оно непремѣнно потерпѣло бы, если бъ я сталъ раздѣлять свое время на стороны. Скажу вамъ болѣе: я бы считалъ очень радостнымъ фактомъ, если бы среди русскихъ мужчинъ, имѣющихъ опредѣленныя занятія, находилось какъ можно менѣе охотниковъ вступаться въ дѣла непосредственнаго благотворенія. Зная характеръ этихъ дѣлъ, и характеръ, и цѣль большинства пристающихъ къ нимъ лицъ, я позволяю себѣ искреннѣйше желать, чтобы благотвореніе и помощь бѣднымъ, какъ прямыя дѣла христіанскаго ми-

лосердія, вѣдались приходами, а не людьми, занимающимися этими дѣлами pour passer le temps. Я увѣренъ, что это къ тому непремѣнно и придетъ, когда умножится число людей, въ самомъ дѣлѣ добрыхъ и въ самомъ дѣлѣ соболѣзнующихъ о нуждающемся братѣ, а не ищущихъ себѣ связей и протекцій насчетъ благотворенія, какъ это дѣлается. Я чувствую ложь въ основѣ нынѣшней благотворительности и не хочу тратить силъ и времени, нужныхъ дѣлу, служить которому я обязанъ присягой и добрымъ моимъ хотѣніемъ. Вотъ вамъ разъясненіе одной моей странности и послѣдней неловкости, «завершившей, по вашимъ словамъ, цѣпь моихъ бестактностей».

«Вторая укоризна въ томъ, что вы называете невниманіемъ къ своей репутаціи, можетъ-быть, еще болѣе справедлива. Вы ставите мнѣ въ вину, что я «кажется» никогда не употребляю никакихъ усилій для того, чтобы смирить зазнающуюся наглость. Слово «кажется» вы поставили напрасно: вы могли бы даже сказать это совершенно утвердительно, и я призналъ бы неопровержимую правоту вашихъ словъ; но вы неправы, приписывая это такъ-называемому «презрительному индифферентизму къ людямъ» или «неспособности ненавидѣть, происходящей отъ неспособности любить». Здѣсь вы погрѣшаете въ вашихъ заключеніяхъ. «Презрительнаго индифферентизма къ людямъ» во мнѣ нѣтъ, и я его даже не понимаю: напротивъ, у меня черезъ мѣру неосторожны и велики тяготѣнія къ однимъ людямъ, и я очень сильно чувствую отвращеніе отъ другихъ, но ненавидѣть я дѣйствительно неспособенъ. Я, какъ человѣкъ очень дурно воспитанный, конечно, не свободенъ отъ злобности, и я даже могу ненавидѣть, но я ненавижу одну мстительную ненависть, и зато ненавижу ее непримиримо. Наше дѣло сберегать себя отъ зла, къ которому, къ сожалѣнію, болѣе или менѣе склонны всѣ люди, но ненавидѣть человѣка и стараться мстить ему... это такая черная работа, отъ которой, конечно, пожелаетъ освободить себя всякій, какъ только онъ захочетъ вдуматься въ существо дѣла. Вотъ вамъ объясненіе моего мнимаго незлобія: я не мстителенъ, больше по недосугу и по эгоизму.

«Вы вообще желаете поднять во мнѣ желаніе защищаться и, указывая на принца Гамлета, какъ на примѣръ, достойный подражанія, совѣтуете усвоить изъ него «то,

что въ немъ есть самаго сильнаго». Принцъ Гамлетъ — образецъ великій, и вы напрасно шутите, что будто бы его душа живетъ теперь во мнѣ. Нѣтъ, къ сожалѣнію, это не такъ; но все-таки я чту и чувствую принца Гамлета, и я знаю, что у него было самое сильное, но это отнюдь вѣдь не желаніе мстить и издѣваться, здѣсь только слабость принца, а сила его въ любви его... въ любви его не къ Офеліи, которую онъ, какъ женщину, любитъ потому, что «любитъ», а въ его любви къ Горація, котораго «избралъ онъ передъ всѣми». Вы, конечно, помните эти прекрасныя слова, за что онъ избранъ:

Страдая, ты, казалось, не страдалъ,
Ты бралъ удары и дары судьбы,
Благодаря за то и за другое,
И ты благословенъ!..
Дай мужа мнѣ, котораго бы страсть
Не дѣлала рабомъ, и я укрою
Его души моей въ святѣйшихъ нѣдрахъ,
Какъ я укрылъ тебя.

«Поистинѣ, я во всей трагедіи не знаю ничего величественнѣе этого, вообще мало замѣчаемаго мѣста; но здѣсь достоинъ подражанія не нерѣшительный принцъ Гамлетъ, а Горація, съ которымъ у меня, къ сожалѣнію, только одно сходство, что я такой же «бѣднякъ», какъ онъ.

«Далѣе вы совѣтуете мнѣ измѣнить мой образъ жизни, но скажите, Бога ради, можно ли не быть самимъ собой ни для чего или, что еще хуже, измѣниться для того, чтобы быть хуже?.. Я это говорю потому, что вы мнѣ совѣтуете «окраситься», потому что «бѣлый цвѣтъ марокъ», вы рѣшительно сказали «интригуйте, какъ большинство, имѣйте всѣ пороки, которые имѣютъ всѣ, не будьте мимозой, свертывающейся отъ всякаго прикосновенія, будьте чѣмъ вы хотите: шулеромъ, взяточникомъ, ханжой, и васъ кто-нибудь да станетъ считать своимъ, между тѣмъ какъ нынѣ, гнушаясь гадости людей, вы всѣмъ не только чужой, но даже ненавистный человѣкъ. Люди не прощаютъ такого поведенія; они не вѣрятъ, что вы отходите для того, чтобы только отойти; нѣтъ, имъ кажется, что это не цѣль, а только средство, чтобы вредить имъ издали. Вредите имъ, и они будутъ гораздо спокойнѣе, чѣмъ находясь въ догадкахъ». Вы очень наблюдательны, Глафира Васильевна! Это все очень вѣрно, но не сами ли же вы говорили, что, чтобъ

угодить на общій вкусъ, надо себя «безобразить». Согласитесь, это очень большая жертва, для которой нужно своего рода геройство. Какъ эгоистъ, я имѣю болѣе близкую мнѣ заботу: прежде чѣмъ нравиться людямъ, я не хочу приходить въ окончательный разладъ съ самимъ собой. Какъ вы хотите, человѣку можно простить эту манкировку и позволить заботиться немножко о своемъ самоусовершенствованіи или, скромнѣе сказать, о собственномъ исправленіи. Надо же немножко держать корректуру надъ самимъ собой, чтобы не дойти въ концѣ концовъ до внутренняго разлада, за чѣмъ, конечно, всегда слѣдуетъ необходимость плясать по чужой дудкѣ, къ чему я совершенно неспособенъ. Вы указываете мнѣ на существующую, будто бы, общую подготовку сразу сложиться въ дружный союзъ противъ меня и предрекаете, что это будутъ силы, которыя сломятъ всякую волю; но, Глафира Васильевна, я никогда и не считалъ себя героемъ, для одолѣнія котораго нужны были бы очень сложныя силы въ родѣ «всеобщаго раздраженія или всеобщаго озлобленія», которыя вы желаете отвратить отъ головы моей. Я гораздо скромнѣе и уступчивѣй, и все, на что я уповаю, это усвоенная мною себѣ привычка отходить отъ зла, творя этимъ благо и себѣ, и тому, кому я досадилъ. Я не претендую ни на какое мѣсто въ обществѣ, ни на какое вліяніе; даже равнодушествую, какъ вы говорите, къ общественному мнѣнію, все потому, что я крайне доволенъ своимъ положеніемъ, въ которомъ никто на свѣтѣ не можетъ заставить меня пожертвовать драгоцѣнною для меня свободой совѣсти, мыслей и поступковъ; я среди людей какъ среди моря: не всѣ валы сердиты и не всѣ и нахлестываютъ, а есть и такіе, которые выносятъ. Я не хвалюсь друзьями, но они у меня есть. Если я, по вашимъ же словамъ, не смѣю разсчитывать на доброжелательство въ обществѣ, то чему же, напримѣръ, я обязанъ за ваше участіе и вниманіе, послѣднимъ доказательствомъ которыхъ мнѣ служитъ лежащій предо мной листокъ, написанный вашею доброжелательною рукой? Неужто въ самомъ дѣлѣ тому, что я не хотѣлъ позволить гдѣ-то и кому-то говорить о васъ вздорныя и пустыя слова, обстоятельство, которое вы помните съ приводящимъ меня въ стыдъ постоянствомъ?.. Глафира Васильевна! я очень люблю Филетера Ивановича, но я го-

товъ разлюбить его за его болтливость, съ которою онъ передалъ вамъ почти трактирную, недостойную сцену мою съ Висленевымъ, который лепеталъ о васъ что-то тогда, отнюдь не по зложелательству, а по тогдашнему, довольно многимъ общему, влеченію къ такъ-называвшейся «очистительной критикѣ». Форовъ не долженъ былъ ничего сообщать объ этомъ случаѣ, незначащемъ и недостойномъ никакого вниманія, какъ и вы, мнѣ кажется, не должны напоминать мнѣ объ этомъ, поселяя тѣмъ непріятное чувство къ добродушному Филетеру Ивановичу. Попросить человѣка перестать говорить несовсѣмъ хорошо о женщинѣ, повѣрьте, самый простой поступокъ, который всякій сдѣлаетъ по такому же естественному побужденію, по какому человѣкъ желаетъ не видать непріятнаго зрѣлища или не слыхать раздирающихъ звуковъ. При извѣстной слабости нервовъ и извѣстной привычкѣ потворствовать имъ, я въ томъ случаѣ, который стараюсь объяснить вамъ, поступилъ бы одинаково, какой бы женщины это ни касалось. И затѣмъ послѣднее: за приглашеніе ваше гостить лѣто у васъ въ Рыбацкомъ, я, разумѣется, безконечно вамъ благодаренъ, но принять его я не могу: какъ ни непріятно оставаться въ городѣ, но я уѣхать отсюда не могу.

«Примите и пр. «Андрей Подозеровъ».

Бодростина сжала письмо въ рукѣ, посидѣла минуту молча, потомъ встала и, шепнувъ: «и ты благословенъ», вздохнула и ушла въ свою спальню.

Черезъ двѣ минуты она снова появилась оттуда въ кабинетѣ въ пышной бѣлой блузѣ и съ распущенными не длинными, но густыми темно-русыми волосами, зажгла пахитоску, открыла окно и, вставъ на колѣни на диванъ, легла грудью на бархатный матрацъ подоконника.

«Онъ бѣжитъ меня и tant mieux!» Она истерически бросила за окно пахитоску и, хрустнувъ пальцами обѣихъ рукъ, соскользнула на диванъ, закрыла глаза и заснула при безпрестанныхъ мельканіяхъ словъ: «Завтра, завтра, не сегодня—такъ лѣнивцы говорятъ: завтра, завтра». И вдругъ пауза, тишь, и на разсвѣтѣ въ комнату является черноглазый мальчикъ въ розовой ситцевой рубашкѣ, барабанитъ и громко поетъ:

Бей, бей, барабанъ,
Маршируй впереди,

А кто спитъ, тотъ болванъ.
Поскорѣе буди!..

У Бодростиной дрожатъ вѣки, грудь подымается, и она хочетъ вскрикнуть: «братъ! Гриша!», но открываетъ глаза... Ея комната освѣщена жаркимъ свѣтомъ измѣнчиваго утра, дѣвушка стоитъ предъ Глафирой Васильевной и настойчиво повторяетъ ей: «Сударыня, васъ ждутъ Генрихъ Ивановичъ Ропшинъ».

Бодростина мгновенно вскочила, спросила мокрое полотенце, обтерла имъ лицо и велѣла привести гостя въ бельведеръ.

— Мнѣ красную шаль, — сказала она возвратившейся дѣвушкѣ и, накинувъ на плечи требуемую шаль, нетерпѣливо вышла изъ комнаты и поднялась въ бельведеръ.

Въ фонарѣ, залитомъ солнцемъ, стоялъ молодой человѣкъ, блондинъ, «нескверный и неблазный», съ свернутымъ въ трубку листомъ бумаги.

Заслышавъ легкіе шаги входившей по лѣстницѣ Бодростиной, онъ всталъ и подбодрился, но при входѣ ея тотчасъ же снова потупилъ глаза.

Глафира Васильевна остановилась предъ нимъ молча; молодой человѣкъ, не сказавъ ей ни слова, подалъ ей свернутый листъ бумаги.

Глафира Васильевна взяла этотъ листъ, пробѣжала его первыя строки и, сдернувъ съ себя красную шаль, сказала:

— Какъ здѣсь сегодня ярко! завѣсьте, пожалуйста, одно окно этимъ платкомъ!

«Нескверный и неблазный» юноша молчаливо и робко исполнилъ ея приказаніе, и, когда оглянулся, увидѣлъ Глафиру Васильевну, стоящую на своемъ мѣстѣ, а свитокъ бумаги у ея ногъ.

Глафира была блѣдна какъ платъ, но Ропшинъ этого не замѣтилъ, потому что на ея лицо падало отраженіе красной шали. Онъ наклонился къ ногамъ окаменѣвшей Глафиры, чтобы поднять листъ. Бодростина въ это мгновеніе встрепенулась и съ подкупающею улыбкой на устахъ приподняла отъ ногъ своихъ этого бѣлаго юношу, взявъ его однимъ пальцемъ подъ его безволосый подбородокъ.

Тотъ истлѣлъ отъ блаженства и зашатался, не зная куда ему двинуться: впередъ или назадъ?

— Оставьте мнѣ это на два часа, — проговорила Бодростина, держа свитокъ и стараясь выговаривать каждый слогъ какъ можно отчетливѣе, между тѣмъ какъ языкъ ея деревянѣлъ и ноги подкашивались.

Рошпинъ, млѣя и колеблясь, поклонился и вышелъ.

Съ этимъ вмѣстѣ Глафира Васильевна воскликнула: «я пищая!» и, пошатнувшись, упала безъ чувствъ на полъ.

Черезъ часъ послѣ этой сцены въ домѣ Бодростиной, вѣтеръ ревѣлъ, хлесталъ дождь и гремѣлъ громъ и рѣяли молніи.

Дурно запертыя рамы распахнулись и въ фонарѣ Бодростинскаго бельведера, и въ комнатѣ Горданова.

Послѣдній, крѣпко заснавшійся, былъ разбуженъ бурей и ливнемъ; онъ позвонилъ нетерпѣливо человѣка и велѣлъ ему открыть занавѣсы и затворить хлопавшую раму.

— Цвѣты!—доложилъ ему лакей, подавая букетъ.

Гордановъ покосился на свѣжія розы, всталъ и подошелъ къ окну.

— Ага! загорѣлась орифлама! — проговорилъ онъ, почесавъ себѣ шею, и, взявъ на столѣ листочекъ бумаги, написалъ: «Дѣла должны идти хорошо. Проси мнѣ у Тихона Ларіоновича льготы всего два мѣсяца: черезъ два мѣсяца я буду богатъ и тогда я вашъ. Занятые у тебя триста рублей посылаю въ особомъ конвертѣ завтра. Мужъ твой пока еще служитъ и его надо поберечь».

Гордановъ запечаталъ это письмо и, надписавъ его «въ Петербургъ, Алинѣ Александровнѣ Висленевой», подалъ конвертъ слугѣ, сказавъ: «сію минуту сдай на почту, ню прежде отнеси эти цвѣты Ларисѣ Платоновнѣ Висленевой».

А огненная орифлама все горѣла надъ городомъ въ одной изъ рамъ бельведера, и вѣтеръ рвалъ ее и хлесталъ ея мокрыя коймы о желѣзныя трубы желѣзныхъ драконовъ, вѣнчавшихъ крышу хрустальной клѣтки, громоздившейся на крутой горѣ и подъ сильнымъ вѣтромъ.

Теперь мы должны покинуть здѣсь подъ бурей всѣхъ нашихъ провинціальныхъ знакомыхъ и ихъ заѣзжихъ гостей и перенестись съ тучнаго и теплаго чернозема къ холоднымъ финскимъ берегамъ, гдѣ заложенъ и выстроенъ на костяхъ и сваяхъ городъ, изъ котораго въ послѣдніе годы, доколѣ не совершился кругъ, шли и думали вѣчно идти

самые разнообразные новаторы. Посмотримъ, скрѣня наши сердца и нервы, въ нѣкоторыя недавно еще столь безобразныя и неряшливыя, а нынѣ столь отмѣнившіяся отъ прошлаго клочья этого гнѣзда, гдѣ въ остромъ уксусѣ «сорока разбойниковъ» отмачиваются и въ вымоченномъ видѣ выбираются въ житейское плаванье новые межеумки, съ которыми надо ликовать или мучиться и многозаботливымъ Марѳамъ, и безвѣстно совершающимъ свое теченіе Маріямъ.

Путь не тяжелъ, срокъ не дологъ,—и мы отточевываемъ въ Петербургъ.

Часть вторая.

БЕЗДНА ПРИЗЫВАЕТЪ БЕЗДНУ

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Entre chien et loup.

Гордановъ не сразу сшилъ себѣ свой нынѣшній мундиръ: было время, когда онъ носилъ другую форму. Принадлежа не къ новому, а къ новѣйшему культу, онъ имѣлъ предъ собою довольно большой выборъ модъ и фасоновъ: предъ нимъ прошли во всемъ своемъ убранствѣ Базаровъ, Раскольниковъ и Маркушка Волоховъ, и Гордановъ всѣхъ ихъ смѣрилъ, свѣсилъ, разобралъ и осудилъ: ни одинъ изъ нихъ не выдержалъ его критики. Базаровъ, по его мнѣнію, былъ неуменъ и слабъ,—неуменъ потому, что ссорился съ людьми и вредилъ себѣ своими рѣзкостями, а слабъ потому, что свихнулся предъ «богатымъ тѣломъ» женщины, что Павелъ Николаевичъ Гордановъ признавалъ слабостью изъ слабостей. Раскольникова Гордановъ сравнивалъ съ курицей, которая не можетъ не кудахтать о снесенномъ ею яйцѣ, и глубоко презиралъ этого героя за его привычку безпрестанно чесать свои душевныя мозоли. Маркушка Волоховъ (котораго Гордановъ зналъ вживѣ) былъ, по его мнѣнію, и посильнѣе, и поумнѣе двухъ первыхъ, но ему, этому алмазу, недоставало шлифовки, чтобы быть брильянтомъ, а Гордановъ хотѣлъ быть брильянтомъ и чувствовалъ, что къ тому уже настало удобное время.

Павелъ Николаевичъ—человѣкъ происхожденія почти безвѣстнаго, но романическаго: онъ сынъ московской цыганки и старшаго брата Михаила Андреевича Бодростина. Отецъ его нѣкогда истратилъ чудовищныя деньги на ухаживаніе за его матерью и еще бо́льшія—на выкупъ ея изъ табора; но, проживъ съ нею одинъ годъ съ-глазу-на-глазъ въ деревнѣ, наскучилъ ея однообразными ласками и вывелъ ее въ особый хуторокъ, а самъ женился на дѣвушкѣ соотвѣтственнаго положенія. Мать Павла Николаевича этого не снесла: какъ за нею ни присматривали на хуторѣ, она обманула своихъ приставниковъ, убѣжала въ прежнее обиталище къ своему измѣннику и пришла какъ разъ во время свадебнаго пира. Ее не пустили, она взобралась на берегъ Оки, не помня себя, въ мукахъ и бѣшенствѣ родила здѣсь ребенка и, можетъ-быть, не помня же себя, бросилась въ воду и утонула. Ребенокъ былъ взятъ; его назвали въ крещеніи Павломъ и записали на имя бѣднаго мелкопомѣстнаго дворянина Горданова, которому подарили за это семью людей. Чтобы Павелъ Гордановъ не мотался на глазахъ, его свезли сначала въ уѣздный городишко и отдали на воспитаніе акушеркѣ; отсюда восьми лѣтъ его перевезли въ губернскій пансіонъ, а изъ пансіона, семнадцати лѣтъ, отправили въ Петербургскій университетъ. Отца своего Гордановъ никогда не помнилъ, судьбами мальчика всегда распоряжался Михаилъ Андреевичъ Бодростинъ, котораго Павелъ Николаевичъ видалъ разъ въ годъ. Къ семнадцатому году своего возраста, Павелъ Николаевичъ освободился отъ всѣхъ своихъ родныхъ, какъ истинныхъ, такъ и нареченныхъ: старшій Бодростинъ умеръ; супруги Гордановы, фамилію которыхъ носилъ Павелъ Николаевичъ, также переселились въ вѣчность, и герой нашъ, предъ отправленіемъ своимъ въ университетъ, получилъ изъ рукъ Михаила Андреевича Бодростина копію съ протокола дворянскаго собранія объ утвержденіи его, Павла Николаевича Горданова, въ дворянствѣ и документъ на принадлежность ему деревни въ восемьдесятъ душъ, завѣщанной ему усопшимъ Петромъ Бодростинымъ. Все остальное большое состояніе бездѣтнаго стараго Бодростина перешло къ его вдовѣ и брату, нынѣшнему мужу Глафиры Васильевны Бодростиной, урожденной Агатовой.

Павелъ Гордановъ былъ отъ природы уменъ и спосо-

бенъ; учился онъ хорошо; нужды никогда не зналъ и не боялся ея: онъ всегда былъ увѣренъ, что бѣдность есть удѣлъ людей глупыхъ. Унижаемъ онъ никогда не былъ, потому что всегда онъ былъ одѣтъ и обутъ хорошо; постоянно имѣлъ у себя карманныя деньги, считался дворяниномъ и умѣлъ не дозволять наступать себѣ на ногу. Въ жизни его было только одно лишеніе: Гордановъ не зналъ родныхъ ласкъ и не видалъ, какъ цвѣтутъ его родныя липы, но онъ объ этомъ и не заботился: онъ съ отроческой своей поры былъ всегда занятъ самыми серьезными мыслями, при которыхъ нѣжныя чувства не получали мѣста. Гордановъ рано дошелъ до убѣжденія, что всѣ эти чувства—роскошь, гиль, путы, безъ которыхъ гораздо легче жить на бѣломъ свѣтѣ, и онъ жилъ безъ нихъ. Базаровцы ему приходились не по обычаю: мы выше сказали, что базаровцы казались ему непрактичными, но сила вещей брала свое, надо было примыкать къ этой силѣ, и Гордановъ числился въ студенческой партіи, которою руководилъ бурнопламенный, суетливый и суетный Висленевъ. Сначала Гордановъ держался этой партіи единственно только для мундира и положенія, и потому, когда на Висленева и его ближайшихъ сотоварищей рухнула туча, удивившая всѣхъ тѣмъ, что изъ нея вышелъ очень маленькій громъ, Гордановъ остался здравъ и невредимъ. Его ничто не задѣло, и онъ во время отсутствія разосланныхъ верховодовъ даже подвинулся немножечко впередъ, получилъ нѣкоторый вѣсъ и значеніе. Наступившая пора entre chien et loup показала Павлу Николаевичу, что изъ бреда, которымъ были полны предъ тѣмъ временемъ отуманенныя головы, можно при самой небольшой ловкости извлекать для себя громадную пользу. Надо было только стать на виду и, если можно, даже явиться во главѣ движенія, но, конечно, такого движенія, которое бы принесло выгоды, а не спровадило вослѣдъ неосторожнаго Висленева и его товарищей. Павелъ Николаевичъ быстро воспользовался положеніемъ. Видя въ кружкѣ «своихъ» амурныя заигрыванья съ поляками, онъ провозгласилъ іезуитизмъ. «Свои» сначала отъ этого осовѣли, но Гордановъ краснорѣчиво представлялъ имъ картины неудачъ въ прошломъ,—неудачъ, прямо происшедшихъ отъ грубости базаровской системы, неизбѣжныхъ и впередъ при сохраненіи старой, такъ-называемой нигилистической системы отношеній къ

обществу, и указалъ на несомнѣнныя преимущества борьбы съ міромъ хитростію и лукавствомъ. Въ средѣ слушателей нашлись нѣсколько человѣкъ, которые на первый разъ немножко смутились этимъ новшествомъ, но Гордановъ налегъ на естественныя науки; указалъ на то, что и заяцъ примѣняется къ средѣ—зимой бѣлѣетъ и лѣтомъ темнѣетъ, а насѣкомыя часто совсѣмъ не отличаются цвѣтомъ отъ предметовъ, среди которыхъ живутъ, и этого было довольно: гордановскіе принципы сначала сдѣлались предметомъ осужденія и потомъ быстро стали проникать въ плоть и кровь его поклонниковъ.

Къ этому времени гордановской жизни относится пріобрѣтеніе имъ себѣ расположенія Глафиры Агатовой, чему онъ не придавалъ большой цѣны, и потомъ потеря ея, съ чѣмъ онъ едва справился, надѣлавъ предварительно нѣсколько глупостей, не отвѣчавшихъ ни его намѣреніямъ, ни его планамъ, ни тѣмъ принципамъ, которые онъ вырабатывалъ для себя и внушалъ другимъ.

Безъ ошибокъ было нельзя, и пригонка нынѣшняго спокойнаго, просторнаго и теплаго мундира Горданову обошлась ему не безъ хлопотъ: надо было выбираться изъ хаоса страшно переплетенныхъ и перепутанныхъ понятій, уставовъ и преданій, въ которыхъ не было ничего стройнаго и безъ которыхъ нельзя было вывести никакого плана и никакой системы для дальнѣйшихъ дѣйствій. Павлу Николаевичу не трудно было доказать, что нигилизмъ сталъ смѣшонъ, что грубостію и сорванечествомъ ничего не возьмешь; что похвальба силой остается лишь похвальбой, а на дѣлѣ бѣдные новаторы, кромѣ нужды и страданій, не видятъ ничего, между тѣмъ какъ сила, очевидно, слагается въ другихъ рукахъ. Это уже давно чувствовали и другіе, но только они не были такъ рѣшительны и не смѣли сказать того, что̀ сказалъ имъ Гордановъ; но зато же Павелъ Николаевичъ нашелъ себѣ готовую большую поддержку. Всѣ, желавшіе снять съ себя власяницу и вериги нигилизма, были за Горданова, и съ ихъ поддержкой Павелъ Николаевичъ доказалъ, что поведеніе отжившихъ свой вѣкъ нигилистовъ не годится никуда и ведетъ къ погибели. Когда Гордановъ представилъ все это въ надлежащемъ положеніи, всѣ поняли, что это дѣйствительно такъ, и что потому, стало-быть, нужно сдѣлать сводъ всему накопившемуся хламу

полурѣчій и недомолвокъ и рѣшить, чѣмъ впередъ руководствоваться.

Кому же было заняться этимъ сводомъ, какъ не Гордanову? Онъ за это и взялся, и въ длинной рѣчи отмѣнилъ грубый нигилизмъ, заявленный нѣкогда Базаровымъ въ его неуклюжемъ сакѣ, а вмѣсто его провозгласилъ *негилизмъ*— гордановское ученіе, въ сути котораго было понятно пока одно, что *негилистамъ* дозволяется жить со всѣми на другую ногу, чѣмъ жили нигилисты. Дружнымъ хоромъ кружокъ рѣшилъ, что Гордановъ великъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Враги г. Гордanова.

Но какъ всякое величіе должно имѣть недоброжелателей и враговъ, то не обошлось безъ нихъ и у Павла Николаевича.

Гордановъ въ своей законодательной дѣятельности встрѣчалъ не мало непріятныхъ противорѣчій со стороны нѣкоторыхъ тяжелыхъ людей, недовольныхъ его новшествами и составившихъ старовѣрческую партію посреди новыхъ людей. Во главѣ этихъ безпокойныхъ старовѣровъ болѣе всѣхъ надоѣдала Гордanову приземистая молоденькая дѣвушка, Анна Александровна Скокова, особа ограниченная, тупая, рьяная и до того скорая, что въ устахъ ея изо всего ея имени, отчества и фамиліи, когда она ихъ произносила, по скорости, выходило только *Ванскокъ*, отчего ее, въ видахъ сокращенія переписки, никогда ея собственнымъ именемъ и не звали, а величали ее въ глаза Ванскокомъ, а за глаза или «Трамбовкой» или «Помадною банкой», съ которыми она имѣла нѣкоторое сходство по наружному виду и крѣпкому сложенію.

Старовѣрка Ванскокъ держалась древняго нигилистическаго благочестія; хотѣла, чтобы общество было прежде уничтожено, а потомъ обобрано, между тѣмъ какъ Гордановъ проповѣдывалъ планъ совершенно противоположный, то-есть, чтобы прежде всего обобрать общество, а потомъ его уничтожить.

— Въ чемъ же преимущество его ученія? — добивалась Ванскокъ.

— Въ томъ, что его игра безпроигрышна; въ томъ, что при его системѣ можно выигрывать при всякомъ распоѳо-

женіи картъ, — внушали Ванскокъ люди, перемигнувшіеся съ Гордановымъ и поддерживавшіе его съ благодарностью за то, что онъ указалъ имъ удобный лазъ въ сторону отъ опостылѣвшихъ имъ бредней.

— Въ такомъ случаѣ это наше новое ученіе будетъ сознательная подлость, а я не хочу имѣть ничего общаго съ подлецами,—сообразила и отвѣтила прямая Ванскокъ.

Она въ эти минуты представляла собою того приснопоминаемаго мольеровскаго мѣщанина, который не зналъ, что онъ всю жизнь говорилъ прозой.

Чтобы покончить съ этой особой и съ другими немногими щекотливыми лицами, стоявшими за старую вѣру, имъ объявили, что новая теорія есть «дарвинизмъ». Этимъ фортелемъ щекотливость была успокоена и старой вѣрѣ нанесенъ окончательный ударъ. Ванскокъ смирилась и примкнула къ хитрымъ нововѣрамъ, но она примкнула къ нимъ только внѣшнею стороной, въ глубинѣ же души она чтила и любила людей стараго порядка, гражданскихъ мучениковъ и страдальцевъ, для которыхъ она готова была срѣзать мясо съ костей своихъ, если бы только это мясо имъ на что-нибудь пригодилось. Такихъ страдальцевъ въ эту пору было очень много, всѣ они были не устроены и всѣ они тяжко нуждались во всякой помощи,—они первые были признаны за гиль, и о нихъ никто не заботился. По новымъ гордановскимъ правиламъ, не слѣдовало дѣлать никакихъ непроизводительныхъ затратъ, и расходы на людей, когда-нибудь компрометтированныхъ, были объявлены расходами непроизводительными. Общительность интересовъ рушилась, всякому предоставлялось вредить обществу по-своему.

Ванскокъ это возмутило до бѣшенства. Она потребовала обстоятельнѣйшихъ объясненій, въ чемъ же заключается «дарвинизмъ» новаго рода?

— Глотай другихъ, чтобы тебя не проглотили,—отвѣчали ей коротко и небрежно.

Но отъ Ванскокъ не такъ легко было отвязаться.

— Это теорія,—сказала она:—но въ чемъ же экспериментальная часть дѣла?

— Въ борьбѣ за существованіе,—было ей тоже коротким отвѣтомъ.

— Но позвольте: прежде я вѣрила въ естественныя науки, теперь во что же я буду вѣрить?

— Не вѣрьте ни во что; все, во что вы вѣрили,—гиль, не будьте никакою гилисткой.

— Но какъ пріучить себя къ этому?—мутилась несчастная Ванскокъ.—Я прежде работала надъ Боклемъ, демонстрировала надъ лягушкой, а теперь... я ничего другого не умѣю: дайте же мнѣ надъ кѣмъ работать, дайте мнѣ надъ чѣмъ демонстрировать.

Ей велѣли работать надъ своими нервами, упражнять ихъ «силу».

— Какъ?

Ей дали въ руки кошку и велѣли задушить ее рукой.

Ванскокъ ни на минуту не подумала, что это шутка: она серьезно взяла кошку за горло, но не совладѣла ни съ нею, ни съ собою: кошка ее оцарапала и убѣжала.

— Изъ этого вы видите,—сказали ей:—что эксперименты съ кошкой гораздо труднѣе экспериментовъ съ лягушкой.

Ванскокъ должна была этому повѣрить. Но сколько она ни работала надъ своими нервами, результаты выходили слабые, между тѣмъ какъ одна ея знакомая, дочь полковника Фигурина, по имени Алина (нынѣшняя жена Іосафа Висленева), при ней же, играя на фортепіано, встала, свернула голову попугаю и, выбросивъ его за окно, снова спокойно сѣла и продолжала доигрывать пьесу.

Эта «сила нервовъ» поражала и занимала скорбную головой дѣвицу, и она проводила время въ упражненіяхъ надъ своею нервною системой, не замѣчая, что дѣлали въ это время другіе, слѣдуя гордановской теоріи; и вдругъ предъ ней открылась ужасная картина неслыханнѣйшихъ злодѣяній.

Во-первыхъ, всѣ члены кружка мужского пола устремились на службу; самъ Гордановъ пошелъ служить въ ополъщенный край и... гордановцы все это оправдали всѣмъ своимъ сонмомъ.

— Это ловко,—сказали они, и болѣе ничего.

Мелкій газетный сотрудникъ, Тихонъ Ларіоновичъ Кишенскій, пошелъ въ полицейскую службу.

— Это очень ловко,—говорили гордановцы:—онъ можетъ быть полезенъ своимъ.

Кишенскій открылъ кассу ссудъ.

— Это чрезвычайно умно,—говорили тѣ же люди:—пусть

онъ выбираетъ деньги у подлецовъ и выручитъ при случаѣ своихъ.

Кишенскій пошелъ строчить въ трехъ разныхъ газетахъ, трехъ противоположныхъ направленій, изъ коихъ два, по мнѣнію Ванскокъ, были безусловно «подлы». Онъ сталъ богатъ; въ годъ его уже нельзя было узнать, и онъ не помогъ никому ни своею полицейскою службой, ни изъ своей кассы ссудъ, а въ печати, если кому и помогалъ одною рукой, то другой зато еще злѣе вредилъ, но съ нимъ никто не прерывалъ никакихъ связей.

— Онъ подлецъ!—вопіяла Ванскокъ.

— Ничуть не бывало,—отвѣчали ей:—онъ только борется за существованіе.

Далѣе... далѣе, жиду Тишкѣ Кишенскому стали кланяться; Ванскокъ попала въ шутихи; надъ ней почти издѣвались въ глаза.

Далѣе... Далѣе страхи!

Коварная красавица Глафира Васильевна Агатова предательски измѣнила принципу безбрачія и вышла замужъ церковнымъ бракомъ за пріѣзжаго богатаго помѣщика Бодростина, котораго ей поручалось только не болѣе какъ обобрать, то-есть стянуть съ него хорошій кушъ «на общее дѣло». Глафира обманула всѣхъ и завершила дѣло ужаснос: она поставила свою красоту на бо́льшую карту и вышла замужъ. Ей за это жестоко мстили всѣ и особенно не очень красивая и никогда не надѣявшаяся найти себѣ мужа Алина Фигурина и Ванскокъ, защищенныя самой природой отъ нарушенія обѣтовъ вѣчнаго дѣвства.

Онѣ выдали Михаилу Андреевичу Бодростину тайну отношеній Горданова къ Глафирѣ и, какъ мы видѣли изъ словъ этой дамы, навсегда испортили ея семейное положеніе.

Съ Бодростиной строго взыскано, и это прекрасно, но зато, что́ же за ужасный случай былъ черезъ годъ!

Нѣкто изъ правовѣрныхъ, Казимира Швернотская, тоже красавица, какъ и Бодростина, никого не спросясь, вышла замужъ за богатаго князя Вахтерминскаго, и что же? Всѣ съ неслыханною дерзостью начали ее поддерживать, что она хорошо сдѣлала. Это говорили и Пасіянсова, и Бурдымовская, и Ципри-Кипри, и другія. Ципри-Кипри, маленькая барышня съ картофельнымъ носомъ, даже до того за-

былась, что начала проводить преступную мысль, будто бы женщинѣ, живущей съ мужчиной, должно быть какое-нибудь названіе, а названіе-де ей одно—«жена», и потому бракъ нужно дозволить, и проч., и проч. Возмутительное вольномысліе это имѣло ужасныя послѣдствія: такъ, красивая армянка Пасіянсова, наслушавшись такихъ сужденій, ни съ того, ни съ сего вдругъ приходитъ разъ и объявляетъ, что она вышла замужъ.

— Какъ, что, за кого?—удивились всѣ хоромъ.

— Мой мужъ путеецъ, Парчевскій,—отвѣчала Пасіянсова.

— Парчевскій! Путеецъ!.. Ну, молодчина вы, Пасіянсова!—воскликнули всѣ снова хоромъ.

Одна Ванскокъ, разумѣется, не похвалила бывшую Пасіянсову и замѣтила ей, что Парчевскій былъ всегда противъ брака.

— Мало ли противъ чего они бываютъ!—небрежно отвѣчала ей бывшая Пасіянсова.—А на что же даны мужчинѣ кровь, а женщинѣ умъ? Товаръ полюбится и умъ разступится!

— Такъ это вы его заставили измѣнить принципу?

— Конечно, я. Неужто я и такого вздора не стою?

— И вы это безъ стыда такъ прямо говорите!

— Да, вотъ такъ прямо и говорю.

— Я на васъ соберу сходку!

Ванскокъ только расхохотались въ глаза.

Наконецъ дошло до того, что сама Алина Фигурина, недавно яростно мстившая Бодростиной за ея замужество пересылкой ея мужу писемъ Глафиры къ Горданову, уже относилась къ браку Пасіянсовой съ возмущавшимъ Ванскокъ равнодушіемъ. Это былъ просто омутъ, ражъ, умопомраченіе. Даже бѣлокурая, голубоглазая Геба комунъ, Данка Бурдымовская, тоже объявилась замужемъ, и все это опять неожиданно, и все это опять нечаянно, негаданно и недуманно.

Опять тѣ же вопросы: какъ, что и за кого? И на все это спокойный разсказъ, что Данка нашла себѣ избранника гдѣ-то совсѣмъ на сторонѣ, какого-то Степана Александровича Головцына, котораго встрѣтила разъ у литератора-ростовщика Тихона Ларіоновича, прошлась съ нимъ до своей квартиры, другой разъ зашла къ нему, увидала,

что онъ тученъ и изобиленъ, и хотя не литераторъ, а просто ростовщикъ, однако гораздо болѣе положительный и солидный, чѣмъ Тихонъ Ларіоновичъ, и Данка обвѣнчалась, никѣмъ незримая, законнымъ бракомъ съ Головцынымъ, котораго плѣнила своими бѣлыми плечами и умѣньемъ дѣлать фрикадельки изъ вчерашняго мяса.

— По крайней мѣрѣ одно хотя, — сказала Ванскокъ Данкѣ:—надѣюсь же по крайней мѣрѣ, что вы, Данка, тряхнете мошну своего ростовщика и поможете теперь своимъ.

— Эхъ, милый другъ,—отвѣтила Данка, едва удостоивая Ванскокъ мимолетнаго взгляда:—Головцынъ такой кремешокъ, что изъ него ничего не выкуешь.

При всей непроницательности Ванскокъ, она хорошо видѣла, что всѣ эти госпожи врутъ и виляютъ, и Ванскокъ отвернулась отъ нихъ и плакала о нихъ, много, горько плакала о своемъ погибшемъ Іерусалимѣ, а между тѣмъ эпидемія новоженства все свирѣпѣла; скоро, казалось, не останется во внѣбрачномъ состояніи никого изъ непріемлющихъ браковъ. Ципри-Кипри съ ея картофельнымъ носомъ, и та уловила въ свои сѣти какого-то содержателя одного изъ увеселительныхъ лѣтнихъ садовъ и сидѣла сама у васисдаса и продавала билеты. Объ этой даже ужъ и вѣсти не приходило, какъ она вышла замужъ, а Ванскокъ только случайно замѣтила ее въ васисдасѣ и, подскочивъ, спросила:

— Сколько вы здѣсь получаете, Ципри-Кипри, и не можете ли устроить сюда еще кого-нибудь изъ нашихъ старинныхъ?..

Но Ципри-Кипри не дала ей окончить и проговорила:

— Я здѣсь, душка, не по найму, я тутъ замужемъ.

Ванскокъ плюнула и убѣжала.

Негодованіе Ванскокъ росло не по днямъ, а по часамъ, и было отъ чего: она узнала, къ какимъ кощунственнымъ мѣрамъ прибѣгаютъ нѣкоторыя лицемѣрки, чтобы наверстать упущенное время и выйти замужъ.

Казимира Шверпотская, какъ оказалось, за поясъ заткнула Глафиру Агатову и отлила такую штуку, что всѣ разинули рты. Двадцатилѣтній князекъ Вахтерминскій, бѣлый, пухлый юноша, ненавидѣлъ бракъ, двадцатипятилѣтняя Казимира тоже, на этомъ они и сошлись. Непризнающей

брака Казимирѣ вдругъ стала *упрожать родительская власть*, и потому, когда Казимира сказала: «князь, сдѣлайте дружбу, женитесь на мнѣ и дайте мнѣ свободу», князь не задумался ни на одну минуту, а Казимира Швернотская сдѣлалась княгиней Казимирой Антоновной Вахтерминской, что уже само по себѣ нѣчто значило, но если къ этому прибавить красоту, умъ, разсчетливость, безстыдство, ловкость и наглость, съ которою Казимира на первыхъ же порахъ сумѣла истребовать съ князя обязательство на значительное годовое содержаніе и вексель во сто тысячъ, «за то, чтобы жить, не марая его имени», то, конечно, надо сказать, что княгиня устроилась недурно.

Литераторъ и ростовщикъ Тихонъ Ларіоновичъ, знавшій толкъ во всѣхъ такихъ дѣлахъ, только языкомъ почмокалъ, узнавъ, какъ учредила себя Казимира.

— Послѣ Бодростиной это положительно второй смѣлый ударъ, нанесенный обществу нашими женщинами,—объявилъ онъ дамамъ и добавилъ, что, соображая объ эти *работы*, онъ все-таки видитъ, что искусство Бодростиной выше, потому что она вела игру съ многоопытнымъ старцемъ, тогда какъ Казимира свершила все съ молокососомъ; но что, конечно, здѣсь въ меньшемъ планѣ больше смѣлости, а главное больше силы въ натурѣ: Бодростина живая, страстная женщина, любившая Горданова сердцемъ горячимъ и неистовымъ, не стерпѣла и склонилась къ нему снова, и на немъ потеряла почти взятую ставку. Княгиня же Казимира Вахтерминская, обезпечась какъ слѣдуетъ насчетъ русскаго князя, сплыла въ Варшаву, а оттуда въ Парижъ, гдѣ, кажется, довольно плохо сдерживаетъ свое обязательство не марать русское княжеское имя. По крайней мѣрѣ такъ были увѣрены всѣ служащіе въ конторѣ банкира К*, откуда княгиня получала содержаніе, опредѣленное ей отъ князя.

И все это оправдывалось, и всему этому слѣдовали съ завистью, съ алчбой, лишь бы только удалось... Но такіе фокусы нельзя часто повторять, и въ этомъ ихъ неудобство. Требуются постоянныя усовершенствованія, а изобрѣтательныя головы родятся не часто, и вотъ дѣло опять очутилось въ заминкѣ: браки попритихли.

Весталка Ванскокъ радовалась и съ язвительною доброжелательностью говорила, что необходимо, чтобы опять

явился назадъ Гордановъ, а онъ вдругъ, какъ по ея слову, и явился удивить собою Петербургъ, или самъ ему удивиться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Свой своего не узналъ.

Возвратясь въ Петербургъ послѣ трехлѣтняго отсутствія, Гордановъ былъ увѣренъ, что здѣсь въ это время весь хаосъ понятій уже поосѣлъ и поулегся,—такъ онъ судилъ по разсказамъ пріѣзжихъ и по тону печати, но стройность, ясность и порядокъ, которые онъ засталъ здѣсь на самомъ дѣлѣ, превзошли его ожиданія и поразили его. Никакой прежней раскольничьей нетерпимости и тѣни не было. Ученики въ три года ушли много дальше своего учителя и представляли силу, которой ужаснулся самъ Гордановъ. Какіе люди! какіе пріемы! просто заглядѣнье! Вотъ одинъ уже замѣтное лицо на государственной службѣ; другой—капиталистъ; третій — извѣстный благотворитель, живущій припѣваючи насчетъ филантропическихъ обществъ; четвертый—спиритъ и сообщаетъ депеши изъ-за могилы отъ Данта и Поэ; пятый—концессіонеръ, наживающійся на казенный счетъ; шестой—адвокатъ и блистательно говорилъ въ защиту правъ мужа, насильно требующаго къ себѣ свою жену; седьмой литераторствуетъ и одною рукой пишетъ панегирики власти, а другою—порицаетъ ее. Все это могло поразить даже Горданова, и поразило. Ясно, что его обогнали, и что ему, чтобы не оставаться за флагомъ, надо было сдѣлать прыжокъ черезъ всѣ головы. Онъ и не сробѣлъ, потому что онъ тоже пріѣхалъ не съ простыми руками и съ непустой головой: у него въ заповѣдной сумкѣ было спрятано мурзамецкое копье, отъ котораго сразу должна была лечь костьми вся несмѣтная рать и сила великая. Богатырю нашему только нужно было къ тому копью доброе древко, и онъ немедленно же пустился поискать его себѣ въ давно знакомомъ чернолѣскѣ.

Павелъ Николаевичъ вытребовалъ Ванскокъ, привѣтилъ ее, далъ ей двадцать пять рублей на бѣдныхъ ея старовѣрческаго прихода (которымъ она благотворила втайнѣ) и узналъ отъ нея, что литераторствующій ростовщикъ Тихонъ Кишенскій развернулъ будто бы огромныя денежныя дѣла. Павелъ Николаевичъ въ этомъ немножко поусомнился.

— На большія дѣла, голубка Ванскокъ, нужны и не малыя деньги,—замѣтилъ онъ своей гостьѣ, нѣжась предъ нею на диванѣ.

— А развѣ же у него ихъ не было?—прозвенѣла въ отвѣтъ Ванскокъ.

— Были? Вы «бѣдная пастушка, вашъ міръ лишь этотъ лугъ» и вамъ простительно не знать, что̀ такое нынче называется порядочныя деньги. Вы вѣдь, небось, думаете, что «порядочныя деньги» это значитъ сто рублей, а тысяча такъ ужъ это на вашъ взглядъ несмѣтная казна.

— Не безпокойтесь, я очень хорошо знаю, что̀ значитъ несмѣтная казна.

— Ну, что же это такое, напримѣръ, по-вашему?

— По-моему, это, напримѣръ, тысячъ двѣсти или триста.

— Ага! браво, браво, Ванскокъ! Хорошо, вы, я вижу, напрактиковались и кое-что постигаете.

Помадная банка сдѣлала ироническую гримаску и отвѣтила:

— Ужа-а-сно! есть что постигать!

— Нѣтъ, право, навострилась дѣвушка хоть куда; теперь васъ можно даже и замужъ выдавать.

— Мнѣ эти шутки противны.

— Ну, хорошо, оставимъ эти шутки и возвратимся къ нашему Кишенскому.

— Онъ больше вашъ, чѣмъ мой, подлый жидъ, котораго я ненавижу.

— Ну, все равно, но дѣло въ томъ, что вѣдь ему сотню тысячъ негдѣ было взять, чтобы развертывать большія дѣла. Это вы, дитя мое, легкомысленностью увлекаетесь.

— Отчего это?

— Оттого, что я оставилъ его два года тому назадъ съ кассой ссудъ въ полтораста рублей, изъ которыхъ онъ давалъ по три цѣлковыхъ Висленеву подъ пальто, да давалъ подъ ваши схимонашескія ряски.

— Ну, и что же такое?

— Да вотъ только и всего, неоткуда ему было, значитъ, такъ разбогатѣть. Я согласенъ, что съ тѣхъ поръ онъ могъ удесятерить свой капиталъ, но усотерить...

— А онъ его утысячерилъ!...

Гордановъ посмотрѣлъ снисходительно на собесѣдницу и, улыбаясь, проговорилъ:

— Не говорите, Ванскокъ, такого вздора.

— Это не вздоръ-съ, а истина.

— Что жъ это, стало-быть, у него, по-вашему, теперь до полутораста тысячъ?

— Если не больше,—спокойно отвѣтила Ванскокъ.

— Вы сходите съ ума, — проговорилъ тихо Гордановъ, снова потягиваясь на диванѣ. — Я вамъ еще готовъ дать пятьдесятъ рублей на вашу богадѣльню, если вы мнѣ докажете, что у Кишенскаго былъ источникъ, изъ котораго онъ хватилъ капиталъ, на который бы могъ такъ развернуться.

— Давайте пятьдесятъ рублей.

— Скажите, тогда и дамъ.

— Нѣтъ, вы обманете.

— Говорю вамъ, что не обману.

— Такъ давайте.

— Нѣтъ, вы прежде скажите, откуда Тишка взялъ большой капиталъ?

— Фигурина дала.

— Кто-о-о?

— Фигурина, Алина Фигурина, дочь полицейскаго полковника, который тогда, помните, арестовалъ Висленева.

Гордановъ наморщилъ брови и съ напряженнымъ вниманіемъ продолжалъ допрашивать:

— Что же эта Алина—вдова или дѣвушка?

— Да, она не замужемъ.

— Сирота, стало-быть, и получила наслѣдство?

— Ничуть не бывало.

— Такъ откуда же у нея деньги? Двѣсти тысячъ, что ли, она выиграла?

— Отецъ ея награбилъ себѣ денегъ.

— Да вѣдь то отецъ, а она-то что же такое?

— Она украла ихъ у отца.

— Украла?

— Что, это васъ удивляетъ? Ну, да, она украла.

— Что жъ она, воровка, что ли?

— Зачѣмъ воровка, она до сихъ поръ честная женщина: отецъ ея былъ взяточникъ и, награбивши сто тысячъ, хотѣлъ все отдать сыну, а Алинѣ назначилъ въ приданое пять тысячъ.

— А она украла все?

— Не все, а она раздѣлила честно: взяла себѣ половину.

— Пятьдесятъ тысячъ?

— Да; а другую такую же половину оставила брату просвистывать съ француженками у Борелей, да у Дононовъ, и, конечно, сдѣлала это очень глупо.

— Вы бы ничего не оставили?

— Разумѣется, у ея брата есть усы и шпоры, онъ можетъ звякнуть шпорами и жениться.

— А отецъ?

— У отца пенсіонъ, да ему пора ужъ и издохнуть; тогда пенсіонъ достанется Алинкѣ, но она робка...

— Да... она робка? Гм!.. вотъ какъ вы нынче рѣжете: она робка!.. то-есть нехорошо ему чай наливаетъ, что ли?

— Понимайте, какъ знаете.

— Ого-го, да вы взаправду здѣсь какія-то отчаянныя стали.

— Когда пропали деньги, виновныхъ не оказалось,—продолжала Ванскокъ послѣ маленькой паузы.

— Да?

— Да; люди, прислуга ихъ, сидѣли болѣе года въ острогѣ, по всѣ выпущены, а виновныхъ все-таки нѣтъ.

— Да вѣдь виновная жъ сама Алина!

— Ну, старалась, конечно, не дать подозрѣнія.

— Какое тутъ, чортъ, подозрѣніе, ужъ не вы одни объ этомъ знаете! А что же ея отецъ и братъ, отчего же имъ это въ носы не шибнуло?

— Можетъ-быть и шибнуло, но на нихъ узда есть—семейная честь. Ихъ дорогой братецъ вѣдь въ первостепенномъ полку служитъ, и нехорошо же для нихъ, если сестрицу за воровство на Мытной площади къ черному столбу привяжутъ; да и что пользы ее преслѣдовать, денегъ вѣдь ужъ все равно назадъ не получить, деньги у Кишенскаго.

— У Кишенскаго!.. Всѣ пятьдесятъ тысячъ у Кишенскаго!—воскликнулъ Гордановъ, раскрывъ глаза такъ, какъ будто онъ проглотилъ ложку сѣрной кислоты и у него отъ нея внутри все загорѣлось.

— Ну, да, не класть же ей было ихъ въ банкъ, чтобы ее поймали, и не играть самой бумагами, чтобы тоже огласилось. Кишенскій ей разрабатываетъ ея деньги—они въ компаніи.

— А-а, въ компаніи,—прошипѣлъ Гордановъ.—Но почему же она такъ ему вѣритъ? Вѣдь онъ ее можетъ надуть какъ дуру.

— Спросите ее, почему она ему вѣритъ? Я этого не знаю.

— Любва, что ли, зашла?

— Даже щепокъ есть.

— Она замужъ за него, можетъ-быть, собирается?

— Онъ женатъ.

Гордановъ задумался и черезъ минуту произнесъ нараспѣвъ:

— Такъ вотъ вы какіе стали, голубчики! А вы, моя умница, знаете ли, что подобныя дѣла-то очень удобно всплываютъ на воду по одной молвѣ?

— Конечно, знаю, только что же значитъ бездоказательная молва, когда старикъ признанъ сумасшедшимъ, и все его показаніе о пропажѣ пятидесяти тысячъ принимается, какъ бредъ сумасшедшаго.

— Бредъ сумасшедшаго! Онъ сумасшедшій?

— Да-а-съ, сумасшедшій, а вы что же меня допрашиваете? Мы вѣдь здѣсь съ вами двое съ-глаза-на-глазъ, безъ свидѣтелей, такъ вы немного съ меня возьмете, если я вамъ скажу, что я этому не вѣрю, и что вѣрить здѣсь нечему, потому что пятьдесятъ тысячъ были, онѣ дѣйствительно украдены, и онѣ въ рукахъ Кишенскаго, и изъ нихъ уже вышло не пятьдесятъ тысячъ, а сто пятьдесятъ, и что же вы, наконецъ, изъ всего этого возьмете?

— Но вы сами можете отсюда что-нибудь взять, любезная Ванскокъ! Вы можете взять, понимаете? Можете взять благородно, и не для себя, а для бѣдныхъ вашего прихода, которымъ нечего лопать!

— Благодарю васъ покорно за добрый совѣтъ; я пока еще не доносчица,—отвѣчала Ванскокъ.

— Но вѣдь васъ же безсовѣстно эксплоатируютъ: себѣ все, а вамъ ничего.

— Что жъ, въ жизни каждый воруетъ для себя. Борьба за существованіе!

— Ишь ты, какая она стала! А вы знаете, что вы могли бы облагодѣтельствовать сотни преданныхъ вамъ людей, а такая цѣль, я думаю, оправдываетъ всякія средства.

— Ну, Гордановъ, вы меня не надуете.

— Я васъ не надую!.. да, конечно, не надую, потому что вы не волынка, чтобы васъ надувать, а я...

— А вы хотѣли бы заиграть на мнѣ, какъ на волынкѣ?— Нѣтъ, прошло то время, теперь мы сами съ усами, и я знаю, чего вамъ отъ меня надобно.

— Чего вы знаете? ничего вы не знаете, и я хочу перевести силу изъ чужихъ рукъ въ ваши.

— Да, да, да, разсказывайте, разводите мнѣ антимонію-то! Вы хотите сорвать куртажъ!

— *Куртажъ*!.. Скажите, пожалуйста, какія она слова узнала!.. Вы меня удивляете, Ванскокъ, это все было всегда чуждо вашимъ чистымъ понятіямъ.

— Да, подобные вамъ добрые люди перевоспитали, полно и мнѣ быть дурой, и я поняла, что, съ волками живучи, надо и выть по-волчьи.

— Такъ войте-жъ! Войте, если вы это понимаете!—сказалъ ей Гордановъ, крѣпко стиснувъ Ванскокъ за руку повыше кисти.

— Что вы это, съ ума, что ли, сошли?—спокойно спросила его, не возвышая голоса, Ванскокъ.

— Живучи съ волками, войте по-волчьи и не пропускайте то, что плыветъ въ руки. Что вамъ далось это глупое слово «доносъ»! всѣ средства хороши, когда они ведутъ къ цѣли. Волки не церемонятся, рѣжьте ихъ, душите ихъ, коверкайте ихъ, подлецовъ, воровъ, разбойниковъ и душегубовъ!

— И потомъ?

— И потомъ... чего вы хотите потомъ? Говорите, говорите, чего вы хотите?.. Или, постойте, вы гнушаетесь доносомъ, ну, не надо доноса...

— Я думаю, что не надо, потому что я ничего не могу доказать и не хочу себѣ за это бѣды.

— Бѣды, положимъ, не могло быть никакой, потому что доносъ можно было сдѣлать безыменный.

— Ну, сдѣлайте.

— Но, я говорю, не надо доноса, а возьмите съ нихъ отсталого, съ Кишенскаго и Фигуриной.

— Покорно васъ благодарю!

— Вы подождите благодарить! Мы съ вами станемъ дѣйствовать заодно, я буду вамъ большой помощникъ, неподозрѣваемый и незримый.

У Горданова зазвенѣло въ ушахъ и въ головѣ зароился хаосъ мыслей.

Ванскокъ замѣтила, что собесѣдникъ ея весь покраснѣлъ и даже пошатнулся.

— Ну, и что далѣе?—спросила она.

— Далѣе,—отвѣчалъ Гордановъ, весь находясь въ какомъ-то туманѣ:—далѣе... *мы* будемъ сила, я поведу вамъ ваши дѣла не такъ, какъ Кишенскій ведетъ дѣла Фигуриной...

— Вы все заберете себѣ?

— Нѣтъ, клянусь вамъ Богомъ... кляпусь вамъ... не знаю, чѣмъ вамъ клясться.

— Намъ нечѣмъ клясться.

— Да, это прескверно, что намъ нечѣмъ клясться, но я васъ не обману, я вамъ дамъ за себя двойныя, тройныя обязательства, наконецъ... чортъ меня возьми, если вы хотите, я женюсь на васъ... А! Что вы? Я это взаправду... Хотите, я женюсь на васъ, Ванскокъ? Хотите?

— Нѣтъ, не хочу.

— Почему? Почему вы этого не хотите?

— Я не люблю ребятишекъ.

— У насъ не будетъ, Ванскокъ, никакихъ ребятишекъ, рѣшительно никакихъ не будетъ, я вамъ даю слово, что у насъ не будетъ ребятишекъ. Хотите, я вамъ дамъ это на бумагѣ?

— Гордановъ, я вамъ говорю, вы сошли съ ума.

— Нѣтъ, нѣтъ, я не сошелъ съ ума, а я берусь за умъ и васъ навожу на умъ,—заговорилъ Гордановъ, чувствуя, что вокругъ него все завертѣлось и съ головы его нахлестываютъ шумящія волны какого-то хаоса.—Нѣтъ; у васъ будетъ пятьдесятъ тысячъ, они вамъ дадутъ пятьдесятъ тысячъ, охотно дадутъ, и ребятишекъ не будетъ... и я женюсь на васъ... и дамъ вамъ на бумагѣ... и буду васъ любить... любить...

И онъ, говоря это слово, неожиданно привлекъ къ себѣ Ванскокъ въ объятія и въ то же мгновеніе... шатаясь, отлетѣлъ отъ нея на три шага въ сторону, упалъ въ кресло и тяжело облокотился обѣими руками на столъ.

Ванскокъ стояла посреди комнаты на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ ее обнялъ Гордановъ; маленькая, коренастая фигура Помадной банки такъ прикипѣла къ полу всѣмъ своимъ

домъ, лицо ея было покрыто яркою краской негодованія, вывороченныя губы широко раскрылись, глаза пылали гнѣвомъ и искрились, а руки, вытянувшись судорожно, замерли въ томъ напряженіи, которымъ она отбросила отъ себя Павла Николаевича.

Гордановымъ овладѣло какое-то истерическое безуміе, въ которомъ онъ самъ себѣ не могъ дать отчета и изъ котораго онъ прямо перешелъ въ безконечную немощь разслабленія. Прелести Ванскокъ здѣсь, разумѣется, были ни при чемъ, и Гордановъ самъ не понималъ, на чемъ именно онъ тутъ вскипѣлъ и сорвался, но онъ былъ внѣ себя и сидѣлъ, тяжело дыша и сжимая руками виски до физической боли, чтобы отрезвиться и опамятоваться подъ ея вліяніемъ.

Онъ чувствовалъ, что онъ становится теперь какой-то припадочный; прежде, когда онъ былъ гораздо бѣднѣе, онъ былъ несравненно спокойнѣе, а теперь, когда онъ уже не безъ нѣкотораго запасца, имъ овладѣваетъ бѣсъ, онъ не можетъ отвѣчать за себя. Такъ, чѣмъ рана ближе къ заживленію, тѣмъ она сильнѣе зудитъ, потому-то Гордановъ и хлопоталъ скорѣе закрыть свою рану, чтобы снова не разодрать ее въ кровь своими собственными руками.

Душа его именно зудѣла, и онъ весь былъ зудъ,—этого состоянія Ванскокъ не понимала. Справедливость требуетъ сказать, что Ванскокъ все-таки была немножко женщина, и если не все, то нѣчто во всей только что происшедшей сценѣ она все-таки приписывала себѣ.

Это ей должно простить, потому что ей былъ уже не первый снѣгъ на голову; на ея житейскомъ пути встрѣчались любители курьезовъ, для которыхъ она успѣла представить собою интересъ, но Ванскокъ была истая весталка,—весталка, у которой недаромъ для своей репутаціи могла бы поучиться твердости восторженная Норма.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Бой тарантула съ ехидной.

Тягостное молчаніе этой сцены могло бы длиться очень долго, если бъ его первая не прервала Ванскокъ. Она подошла къ Гордanову и, желая взять деньги, коснулась его руки, подъ которою до сихъ поръ оставалась ассигнація.

Гордановъ оглянулся.

— Что̀ вамъ отъ меня нужно? — спросилъ онъ. — Ахъ, да... ваши деньги... Ну, извините, вы ихъ не заслужили,— и съ этимъ Павелъ Николаевичъ, едва замѣтно улыбнувшись, сжалъ въ рукѣ билетъ и сунулъ его въ жилетный карманъ.

Ванскокъ повернулась и пошла къ двери, но Гордановъ не допустилъ ее уйти, онъ взялъ ее за руку и остановилъ.

— Скажите, вы этого не ожидали? — заговорилъ онъ съ нею въ шутливомъ тонѣ.

— Чего? Того, что вы захватите мои деньги? Отчего же? Я отъ васъ рѣшительно всего ожидаю.

— И вотъ вы и ошиблись; я, къ сожалѣнію, на очень многое еще неспособенъ.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ! что «напримѣръ»? напримѣръ, нате вамъ ваши деньги.

Ванскокъ протянула руку и взяла скомканную и перекомканную ассигнацію и сказала: «прощайте!»

— Нѣтъ, теперь опять скажите, ожидали вы или нѣтъ, что я вамъ отдамъ деньги? — настаивалъ Гордановъ, удерживая руку Ванскокъ. — Видите, какъ я добръ! Я вѣдь могъ бы выпустить васъ на улицу, да изъ окна опять назадъ поманить, и вы бы вернулись.

— Разумѣется, вернулась бы, деньги нужны.

— Да; ну, да ужъ Богъ съ вами, берите... Что̀ вы на меня остервенились, какъ чортъ на попа? Не опасайтесь, это не фальшивыя деньги, я на это тоже неспособенъ.

— А почему бы?

— Такъ, потому, почему вы не понимаете.

— Я бы то гораздо скорѣй поняла: прямой вредъ правительству.

— Труппа, труппа, дружище Ванскокъ, велика нужна, спеціалисты нужны!

— Ну, такъ что же такое? Людей набрать не трудно всякихъ, и граверовъ, и химиковъ.

— А попасться съ ними еще легче. Нѣтъ, милая дѣвица, я и вамъ на это своего благословенія не даю.

— А между тѣмъ поляки и жиды прекрасно это ведутъ.

— Да; то поляки и жиды, они уже такъ къ этому пріучены цѣлесообразнымъ воспитаніемъ: они возьмутся за дѣло, такъ однимъ дѣломъ тогда и занимаются, и не спо-

рять, какъ вы, что честно и что безчестно, да и они попадаются, а вы рыхлятина, вы на всемъ переспоритесь и перессоритесь, да и потомъ все это вздоръ, который годенъ только въ маломъ хозяйствѣ.

— Я что-то этого не понимаю.

— Такъ ужъ вы, значитъ, устроены, чтобы не понимать. Это, голубь мой сизокрылый, экономическій законъ: въ маломъ хозяйствѣ многое выгодно, что въ большомъ не годится. Вы сами знаете, деревенскій мальчишка продаетъ кошкодаву кошку за пятачокъ, это и ему выгодно, и кошкодаву выгодно; а вы вонъ съ своими кошачьими заводами «на разумныхъ началахъ» въ снѣгъ сѣли. Такъ тоже наши мужичонки изъ навоза селитру дѣлаютъ, деготь садятъ, липу деруть, и все это имъ выгодно, потому что все это дѣло мужичье, а настоящій аферистъ изъ другого круга за это не берется, а возьмется, такъ провалится. И на что, на кого дьявола вамъ фальшивыя деньги, когда экспедиція бумагъ вамъ настоящихъ сколько угодно заготовитъ, только умѣйте забирать. А вотъ вы, вижу, до сихъ поръ брать-то еще не мастерица.

— Нѣтъ, знаете, это хорошо брать, какъ есть гдѣ.

— Да, вотъ вамъ еще хочется, чтобы вамъ разложили деньги! А вы чего вотъ о-сю пору глядите, а не берете, что я вамъ даю?

Онъ бросилъ билетикъ на столъ, и Ванскокъ его подняла.

— У васъ много теперь голодной братіи? — заговорилъ снова Гордановъ.

— Сколько хотите; всѣ голодны.

— И что же, способные люди есть между ними?

— Еще бы!

— Кто же это, напримѣръ, изъ способныхъ?

— Хоть, напримѣръ, Іосафъ Висленевъ.

— Ага! Іосафушка... а онъ способный?

— А вы какъ думаете?

— Да, онъ способный, способный,—отвѣчалъ Гордановъ, думая про себя совсѣмъ иное.

— Но отчего же онъ такъ бѣдствуетъ?

— Оттого, что онъ честенъ.

— Это значитъ:

Милый другъ, я умираю,
Оттого, что я былъ честенъ,
И за то родному краю
Буду, вѣрно, я извѣстенъ.

Что же, это прекрасно! А онъ гдѣ служитъ?

— Висленевъ не можетъ служить.

— Ахъ, да! онъ компрометированъ,—значитъ, дуракъ.

— Нѣтъ, не потому; онъ это считаетъ за подлость.

— Вотъ какъ! и гдѣ же онъ пробавляется! Неужто все еще до сихъ поръ чужое молоко и чужихъ селедокъ ѣстъ?

— Онъ пишетъ.

— Оды въ честь прачекъ, или романы объ устройствѣ школъ?

— Нѣтъ, онъ романовъ не пишетъ.

— Слава Богу; а то я что-то читалъ дурацкое-предурацкое: романъ, гдѣ какой-то компрометированный герой школу въ банѣ заводитъ и потомъ его за то вся деревня будто столь возлюбила, что хочетъ за него «цѣлому міру рожу расквасить», — такъ и думалъ: ужъ это не Ясафушка ли нашъ сочинялъ? Ну, а онъ что же такое пишетъ?

— Обозрѣнія.

— Да, разъясняетъ значеніе фактовъ; ну, это не по немъ. Что жъ, платятъ, что ли, ему не ладно, что онъ такъ раскованъ?

— Все скверно, какая же у насъ теперь литература? Ни съ кѣмъ ужиться нельзя.

— Вѣрно все русское направленіе гадитъ?

— А вы даже и надъ этою мерзостью можете шутить?

— Да отчего же не шутить? Отчего же не шутить-то, Ванскокъ?

— Ну, не знаю: я бы лучше всѣхъ этихъ съ русскимъ направленіемъ передушила.

— А между тѣмъ вѣдь и Пугачовъ, и Разинъ также были русскаго направленія, и Ванька Каинъ тоже, и смоленскій Трошка тоже! Что, какъ вы объ этомъ думаете?.. Эхъ, вы, ягнята, ягнята бѣдные! Хотите быть командирами, силой, а брезгливы какъ старовѣрческая игуменья: изъ одной чашки съ міряшкомъ воды пить не станете! Стыдитесь, господа *сила*,—васъ этакъ всякое безсилье одолѣетъ. Нѣтъ, вы дѣйствуйте *органически* вразсыпную,—всякъ самъ для себя, и тогда вы одолѣете міръ. Понимаете: *всякъ для*

себя. Прежде всего и паче всего прочь всякій принципъ, долой всякое убѣжденіе. Оставьте все это глупымъ идеалистамъ «страдать за вѣру». Повѣрьте, что все это гиль, все гиль, съ которою пропадешь ни за грошъ. Идеалистамъ пропадать, разумѣется, вздоръ; ихъ лупи, а они еще радуются, а вѣдь вы, я полагаю...

— Я, конечно, не хочу, чтобы меня лупили, — перебила живо Ванскокъ.

— Ну, вотъ въ томъ и штука капитана Кука, — надо, чтобы мы ихъ лупили, и будемъ лупить, а они пусть тогда у насъ подъ кнутомъ классически оруть: O, quam est dulce et decorum pro patria mori! Борьба за существованіе, дружокъ, не то что борьба за лягушку. Ага! борясь за существованіе, надо... не останавливаться ни предъ чѣмъ... не только предъ доносомъ, но... даже предъ клеветой! Что, небось, ужасно? А Мазепа такъ не думалъ, тотъ не ужасался и, ведя измѣну, писалъ нашему Петринкѣ:

И видитъ Богъ, не зная свѣта,
Я, бѣдный гетманъ, двадцать лѣтъ,
Служу тебѣ душою вѣрной,

а между тѣмъ и честно, и безчестно «вредилъ всѣмъ недругамъ своимъ». Откуда же у васъ, дружище Ванскокъ, до сихъ поръ еще эта сентиментальность?.. Дивлюсь! Вы когда-то были гораздо смѣлѣе. Когда-то Подозерова вы въ-разъ стерли; ба! вотъ и хорошо, что вспомнилъ, вѣдь вы же на Подозерова клеветали, что онъ шпіонъ?

— Да, я это съ вашихъ словъ говорила.

— Неправда, съ Висленевскихъ, но это все равно: чѣмъ же клевета лучше правдиваго доноса?

— Да, я на такого, какъ Подозеровъ, могу сдѣлать и доносъ.

— Такъ въ чемъ же тутъ разница: стало-быть, въ симпатіи? Одинъ вамъ милѣе другого, да?

— Нѣтъ, вы этого не понимаете: Кишенскій и Липка— это свѣжія раны...

— Что-о тако-о-е?

— Свѣжія раны... Зачѣмъ шевелить свѣжія раны? Подозеровъ всегда былъ противъ насъ, а эти были наши и не отлагались... это свѣжая рана!

Гордановъ посмотрѣлъ ей въ глаза и, сохраняя наруж-

ное спокойствіе, засмѣялся неудержимымъ внутреннимъ смѣхомъ.

Ванскокъ съ своею теоріей «свѣжихъ ранъ» открывала Горданову цѣлую, новую, еще не эксплоатированную область, по которой скачи и несись куда знаешь, твори, что̀ выдумаешь, говори, что̀ хочешь, и у тебя вездѣ со всѣхъ сторонъ будетъ тучный злакъ для коня и дорога скатертью, а вдали на чертѣ горизонта тридцать девять разбойниковъ, всегда готовые въ помощь сороковому.

— Да, да, Ванскокъ, вы побѣдили меня,—сказалъ Гордановъ.—*Свѣжія раны*... вы правы,—все это дѣйствительно свѣжія раны... Дѣйствительно надо все прощать, надо все забывать и свѣжихъ ранъ не трогать... Вы правы, вы правы, я этого не понималъ.

— Да вѣдь этого и всѣ съ перваго раза не понимали, даже и я тоже не понимала. Я тогда гувернанткой жила, и когда мнѣ писали туда, что это здѣсь принято, и я тоже на всѣхъ злилась и не понимала, а потомъ поняла.

— Ну, вотъ видите, это взаправду не такъ просто!

— Да, я говорю, что намъ никакъ нельзя отъ Петербурга отрѣшаться.

— А вы долго были гувернанткой?

— Да, цѣлую зиму.

— И бросили?

— Да, меня сюда вызвали нѣкоторые изъ нашихъ, — писали, что выгодное дѣло есть, но только это вышло вздоръ.

— Надули?

— Да, дѣла не было, — они просто для своихъ выгодъ меня выписали, чтобы посылать меня туда да сюда.

— Вотъ каналья! и вы имъ за это ничего?

— Все, батюшка, свѣжія раны, но главное меня раздосадовало, что подлецъ Кишенскій меня на это мѣсто послалъ, а я пріѣхала и узнала, что онъ себѣ за комиссію взялъ больше половины моего жалованья и не сказалъ мнѣ.

— Ишь, какая тварь! Ну, вы его, разумѣется, отзвонили и деньги отобрали?

— Ничего я не отзвонила, потому что онъ нынче держитъ нѣмца-лакея, ужаснаго болвана, которому онъ только кивнетъ, и тотъ сейчасъ выпроводитъ: уже такіе примѣры были и съ Паливодовой, и съ Ципри-Кипри, а денегъ онъ

мнѣ не отдалъ, потому что, говоритъ, «вамъ больше не слѣдуетъ».

— Да какъ же не слѣдуетъ?

— Такъ, не стоитъ, говоритъ, больше, да еще нагрубилъ мнѣ и надерзилъ.

Гордановъ тронулъ Ванскокъ за руку и, улыбнувшись, покачалъ укоризненно головой.

Ванскокъ не поняла этого киванья и освѣдомилась: въ чемъ дѣло?

— На что же это опять старыя перья показывать! Что это за слово «надерзилъ»?

— А какъ же надо сказать?

— «Наговорилъ дерзостей».

— Зачѣмъ же два слова вмѣсто одного? Впрочемъ, вѣдь вы поняли, такъ, стало-быть, слово хорошо, а что до Кишенскаго, то Висленевъ даже хотѣлъ было его за меня въ газетахъ пропечатать, но я не позволила: зачѣмъ возбуждать!

— Свѣжая рана?

— Конечно, свѣжая рана, — и такъ уже много всякой дряни выплываетъ наружу, а еще какъ если мы сами станемъ себя разоблачать, тогда...

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, какъ это можно! Не надо этого: раны въ самомъ дѣлѣ очень свѣжи.

— То-то и есть; гласность, это такая штука, съ которою надо быть осторожнымъ.

— Именно, Ванскокъ, именно надо быть осторожнымъ, а еще лучше, чтобъ ее совсѣмъ вывесть, чтобъ ея, по-старинному, вовсе не было, чтобы свѣжихъ-то ранъ не будоражить и не шевелить, а всѣхъ бы этихъ и щелкоперовъ-то по-боку, да къ чорту!

— Я тоже и сама такъ думала, и оно бы очень не трудно, да Кишенскій находитъ, что они не вредятъ: онъ самъ издалъ одинъ патріотическій романъ, и самъ его въ одной газетѣ ругалъ, а въ другой — хвалилъ, и нажилъ деньги.

— Пожалуй, что онъ вѣдь и правъ.

— А конечно! а что общество читаетъ, такъ вѣдь оно все читаетъ, какъ помеломъ промететъ и позабудетъ.

— Правъ, правъ каналья Кишенскій, правъ.

— Да, онъ умный и имъ надо дорожить, онъ тоже говорилъ, что глупость совсѣмъ уничтожить уже нельзя, а хо-

рошо вотъ, если бы побольше нашихъ шли въ цензурное вѣдомство. Кишенскій ведетъ дѣло по двойной бухгалтеріи— это такъ и называется «по двойной бухгалтеріи» Онъ приплелся разомъ къ тремъ разнымъ газетамъ и въ каждой строчитъ въ особомъ направленіи, и сводитъ все къ одному; онъ чужимъ поддаетъ, а своимъ сбавитъ гдѣ нужно, а гдѣ нужно—наоборотъ.

— Вотъ какъ ловко!

— Да, это оказалось очень практично.

— Да какъ же-съ не практично. Ахъ, онъ, чортъ его возьми! — воскликнулъ Гордановъ. — Да онъ послѣ этого дѣйствительно дока!

— А я вамъ говорила. Но, впрочемъ, и ему не все удается. У него тоже есть свои жидовскія слабостишки: щенятокъ своихъ любитъ и Алинку хочетъ за кого-нибудь замужъ перевѣнчать, да вотъ не удается.

— Ага! А вѣдь она, выйдя замужъ, и еще получила бы часть?

— Конечно, да не удается-съ, и щенятъ нельзя усыновить. Вотъ женитесь вы на ней, Гордановъ!

— Вы съ ума сошли, Ванскокъ.

— А что же такое? Она вамъ пять тысячъ дастъ.

— Другъ мой, у меня у самого есть пять тысячъ.

— А зачѣмъ же вы на мнѣ хотѣли жениться?

Гордановъ засмѣялся и сказалъ:

— Это par amour.

— Вы врете, Гордановъ.

— Да, вру, вру, именно вру, Ванскокъ, но вы, конечно, не станете никому объ этомъ разсказывать, потому что иначе я отъ всего отрекусь, да и Кишенскому не говорите, какъ я шутилъ, чтобы вывести его на свѣжую воду.

— Къ чему же я это стану говорить?

— Молодецъ вы, благородная Ванскокъ! Давайте вашу лапу!

И Павелъ Николаевичъ съ чувствомъ сжалъ грязноватую руку дѣвушки и добавилъ:

— Я и теперь съ вами шучу, скажите ему все; скажите, какъ Гордановъ одичалъ и оглупѣлъ внѣ Петербурга; я даже и самъ ему все это скажу и не скрою, что вы мнѣ, милая Ванскокъ, открыли великія дѣла, и давайте вмѣстѣ устранвать Висленева.

— Его непремѣнно надо устроить.

— И вотъ вамъ на то моя рука, что это будетъ сдѣлано. Запишите мнѣ его адресъ.

Ванскокъ взяла карандашъ, нацарапала куринымъ почеркомъ маршрутъ, по которому великодушная дружба Гордонова должна была отыскать злополучнаго Висленева, и затѣмъ гостья и хозяинъ начали прощаться, но Гордановъ вдругъ что-то вспомнилъ и пріостановилъ Ванскокъ, когда та уже надѣла на свою скобочку свой форейторскій шлычокъ.

— Вотъ что!—сказалъ онъ въ раздумьи:—не хотите ли съ меня еще взятку. У меня бывали въ рукахъ разныя польскія переписки, и я кое-что списалъ. Вотъ тутъ у меня онѣ всѣ подъ рукой, въ этой шкатулкѣ. Хотите, передайте ихъ Висленеву.

— Зачѣмъ?

— На ихъ основаніи можно построить прекрасныя статьи. За это деньги дадутъ.

— Давайте, я отвезу.

— Только, разумѣется, не говорить отъ кого.

— Еще бы!

— Ну, такъ очень радъ.

И съ этимъ Гордановъ досталъ изъ-подъ дивана большую желтую шкатулку, какія дѣлаютъ для перевоза крахмальныхъ рубашекъ, и вручилъ ее Ванскокъ, которая приняла ее и согнулась.

— Что?

— Тяжело,—отвѣчала Ванскокъ.

— Да, бумага тяжела.

— Ну, да ничего!

И Ванскокъ, перехвативъ половчѣе шкатулку, закинулась всѣмъ тѣломъ назадъ и поплыла внизъ по лѣстницѣ.

Черезъ минуту Гордановъ услыхалъ чрезъ открытое окно, какъ Ванскокъ, напирая на букву ш, выкрикивала:

— Извошшикъ! Извошшикъ!

Павелъ Николаевичъ весело разсмѣялся и, свѣсясь въ окно, смотрѣлъ, какъ къ Ванскокъ, стоявшей на тротуарѣ, подкатила извозчичья линейка.

Ванскокъ сторговалась и потомъ сказала:

— Ну-съ, а теперь вы, извошшикъ, держите хорошенько вотъ этотъ ящшикъ!

Гордановъ такъ и залился самымъ беззаботнымъ, ребяческимъ смѣхомъ, глядя, какъ Ванскокъ ползла, умащивалась и помѣщала свой «яшшикъ».

— Ecoutez!—закричалъ онъ сквозь смѣхъ.—Ecoutez-moi!

— Ну, что тамъ еще? Я уже сѣла.

— Voulez-vous bien répéter?

— Что? Что такое?—сердилась внизу Ванскокъ.

— «Извошшикъ и яшшикъ», — передразнилъ ее Гордановъ и, показавъ ей языкъ, поднялся и затворилъ окно.

Ванскокъ, треща на линейкѣ, укатила.

Павелъ Николаевичъ заперъ дверь и, метнувшись изъ угла въ уголъ, остановился у стола.

«Чортъ возьми! — подумалъ онъ: — и въ словахъ этой дуры есть своя правда. Нѣтъ; нельзя отрѣшаться отъ Петербурга! «Свѣжія раны!» О, какая это чертовски полезная штука! Поусердствуйте, друзья, «свѣжимъ ранамъ», поусердствуйте, пока васъ на это хватитъ!»

И съ этимъ Гордановъ сталъ скоро раздѣваться и, не зажигая свѣчи, легъ въ постель, но не заснулъ, его долго-долго давилъ и терзалъ злой демонъ — его дальновидность. Онъ зналъ, что вѣрны одни лишь прямые ходы и что ихъ только можно повторять, а все фокусное дѣйствуетъ только до тѣхъ поръ, пока оно не разоблачено, и этотъ демонъ шепталъ Павлу Николаевичу, что тутъ ничто не можетъ длиться долго, что весь фейерверкъ скоро вспыхнетъ и зачадитъ, а потому надо быстро сдѣлать ловкій курбетъ, пока еще держатся остатки старыхъ привычекъ къ кучности и «свѣжія раны» даютъ тѣнь, за которою можно предъ одними передернуть карты, а другимъ зажать ротъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Послѣдній изъ Могиканъ.

Висленевъ въ это время жилъ въ одномъ изъ тѣхъ громадныхъ домовъ Невскаго проспекта, гдѣ, какъ говорится, чего хочешь, того проснешь: здѣсь и роскошные магазины, и депо, и мелочная лавка, и французскій ресторанъ, и греческая кухмистерская восточнаго человѣка Трифандоса, и дорогіе ложементы съ парадныхъ входовъ на улицу, и сходныхъ цѣнъ ниццскія стойла въ глубинѣ черныхъ дворовъ. Населеніе здѣсь столь же разнообразно, какъ и помѣщенія подобныхъ домовъ: тутъ живутъ и дипломаты,

и ремесленники, и странствующія монахини, и погибшія созданія, и воры, и несчастнѣйшій классъ петербургскаго общества, мелкіе литераторы, попавшіе на литературную дорогу по неспособности стать ни на какую другую и тянущіе по ней свою горе-горькую жизнь каликъ-перехожихъ.

Житье этихъ несчастныхъ поистинѣ достойно глубочайшаго состраданія. Эти люди бо̀льшею частію не принесли съ собою въ жизнь ничего, кромѣ тупого ожесточенія, воспитаннаго въ нихъ завистію и нуждой, среди которыхъ прошло ихъ печальное дѣтство и сгорѣла, какъ нива въ бездождіе, короткая юность. Въ ихъ душахъ, какъ и въ ихъ наружности, всегда есть что-то напоминающее заморенныхъ въ щенкахъ собакъ, они безсильны и злы, — злы на свое безсиліе и безсильны отъ своей злости. Привычка видѣть себя заброшенными и никому ни на что не нужными развиваетъ въ нихъ алчную, непомѣрную зависть, непостижимо возбуждаемую всѣмъ на свѣтѣ, и къ тому есть, конечно, свои основанія. Та бѣдная дѣвушка, которая, живя о̀-бокъ квартиры такого сосѣда, достаетъ себѣ хлѣбъ позорною продажей своихъ ласкъ, и та, кажется, имѣетъ въ своемъ положеніи нѣчто болѣе прочное: однажды посягнувшая на свой позоръ, она, по крайней мѣрѣ, имѣетъ за собою преимущество готоваго запроса, за нее природа съ ея неумолимыми требованіями и разнузданность общественныхъ страстей. У бѣднаго же писаки, перебивающагося строченіемъ различныхъ мелочей, нѣтъ и этого: въ его положеніи мало быть готовымъ на позорную торговлю совѣстью и словомъ, на его спекуляцію часто нѣтъ спроса, и онъ долженъ постоянно самъ спекулировать на сбытъ своего писанія. Отсюда и идетъ всякое вѣроятіе превосходящая ложь, продаваемая въ самыхъ крупныхъ дозахъ, за самую дешевую цѣну.

Висленевъ въ эту пору своей несчастной жизни былъ рангомъ повыше описанныхъ бѣдныхъ литературныхъ паріевъ и на десять степеней ихъ несчастнѣе. Какъ Гордановa преслѣдовали его призраки, такъ были свои призраки и у Висленева. Онъ не могъ спуститься до самыхъ низменностей того слоя, къ которому пришибли его волны прибоя и отбоя. Сила родныхъ воспоминаній, вліяніе привычекъ дѣтства и власть семейныхъ преданій, сказывав-

шихся въ немъ противъ его воли неодолимою гадливостью къ грязи, въ которой, какъ въ родной имъ средѣ, копошатся другіе, не допускали Висленева до спокойнаго пренебреженія къ доброму имени людей и къ ихъ спокойствію и счастію. Висленевъ могъ быть неразборчивымъ въ вопросахъ теоретическаго свойства, но буржуазной гадости онъ не переносилъ. Онъ по своему воспитанію и образованію былъ гораздо болѣе приспособленъ къ литературнымъ занятіямъ, чѣмъ большинство его собратій по ремеслу. Относительная разборчивость въ средствахъ вредила Висленеву на доступномъ ему литературномъ рынкѣ, онъ не могъ поставлять массы дешеваго базарнаго товара, и за-дешево же заготовлялъ произведенія болѣе крупныя, которыя, въ его, по крайней мѣрѣ, глазахъ, были достойными всеобщаго вниманія. Мы видѣли, что на одно изъ нихъ «о провинціальныхъ правахъ» Висленевъ даже дѣлалъ ссылку предъ Гордановымъ; это было то самое произведеніе, о которомъ послѣдній отозвался извѣстнымъ стихомъ:

Читалъ, и духомъ возмутился.
Зачѣмъ читать учился.

На самомъ же дѣлѣ Гордановъ уже немножко зло выразился о писаніи своего пріятеля: статьи его съ многосоставными заглавіями имѣли свои достоинства. Самъ редакторъ, которому Висленевъ поставлялъ эти свои произведенія, смотрѣлъ на нихъ, какъ на куншткки, но принималъ ихъ и печаталъ, находя, что они годятся.

Продолжительное кривлянье имѣетъ два роковые исхода: для людей искренно заблуждающихся оно грозитъ потерей смысла и способности различать добро отъ зла въ теоріи, а для другихъ—потерей совѣсти. Висленевъ, защищаемый домашними привычками, попалъ въ первую категорію и зато особенно много потерялъ въ житейскихъ интересахъ. Ему, литератору съ университетскимъ образованіемъ, литература давала вдесятеро менѣе, чѣмъ дѣятелямъ, ходившимъ въ редакціи съ карманною книжечкой «объ употребленіи буквы Ѣ». Заработокъ Висленева почти равнялся тому казенному жалованью, котораго, по словамъ Сквозника-Дмухановскаго, едва достаетъ на чай и сахаръ. Висленевъ много добросовѣстнѣйшаго труда полагалъ въ свою недобросовѣстную и тяжкую работу, задача которой всегда со-

стояла въ томъ, чтобы изъ данныхъ, давшихъ одинъ выводъ путемъ правильнаго съ ними обращенія, сдѣлать, посредствомъ теоретической лжи и передержекъ, выводъ свойства противоположнаго.

Къ тому же, на горе Висленева, у него были свои привычки: онъ не могъ ѣсть бараньихъ пилавовъ въ греческой кухмистерской восточнаго человѣка Трифандоса и заходилъ перекусить въ ресторанъ; онъ не могъ спать на продырявленномъ клеенчатомъ диванѣ подъ звуки безконечныхъ споровъ о развѣтвленіяхъ теорій, а чувствовалъ влеченіе къ своей кроваткѣ и къ укромному уголку, въ которомъ можно бы, если не успокоиться, то по крайней мѣрѣ забыться.

Это сибаритство не скрывалось отъ его собратій, и Висленевъ нѣкоторое время терпѣлъ за это опалу, но потомъ, съ быстрымъ, но повсемѣстнымъ развитіемъ практичности, это ему было прощено, и онъ работалъ, и неустанно работалъ, крѣпясь и вѣруя, что литература для него только прелюдія, но что скоро слова его примутъ плоть и кровь, и тогда... при этомъ онъ подпрыгивалъ и, почесавъ затылокъ, хватался за свою работу съ сугубымъ рвеніемъ, за которымъ часто не чувствовалъ жестокой тяжести въ омраченной головѣ и гнетущей боли въ груди.

Къ такому положенію Висленевъ уже привыкъ, да оно вправду не было уже и тяжко въ сравненіи съ тѣмъ, когда онъ, по возвращеніи въ Петербургъ, питался хлѣбами добродѣтельной Ванскокъ. Висленевъ даже могъ улучшить свое положеніе, написавъ сестрѣ, которой онъ уступилъ свою часть, но ему это никогда не приходило въ голову даже въ то время, когда его питала Ванскокъ, а теперь... теперь самый жизнелюбивый человѣкъ могъ бы свободно поручиться головой, что Висленевъ такъ и дойдетъ до гроба по своей прямой линіи, и онъ бы и дошелъ, если бы... если бы онъ не потребовался во всесожженіе другу своему Павлу Николаевичу Горданову.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Гордановъ даетъ шахъ и матъ Іосафу Висленеву.

Черный день подкрался къ Іосафу Платоновичу нежданно и негаданно, и притомъ же день этотъ былъ весь съ на-

чала до конца такъ лучезарно свѣтелъ, что никакая дальнозоркость не могла провидѣть его черноты.

Въ этотъ день Іосафъ Платоновичъ всталъ въ обыкновенное время, полюбовался въ окно горячимъ и искристымъ блескомъ яркаго солнца на колокольномъ крестѣ Владимірской церкви, потомъ вспомнилъ, что это стыдно, потому что любоваться ничѣмъ не слѣдуетъ, а тѣмъ паче крестомъ и солнцемъ, и сѣлъ на софу за преддиванный столикъ, исправляющій должность письменнаго стола въ его чистой и уютной, но очень, очень маленькой комнаткѣ.

Все было въ самомъ успокоительномъ порядкѣ; стаканъ кофе стоялъ на столѣ, дымясь между высокихъ грудъ газетъ, какъ пароходикъ, приставшій на якорь въ бухту, окруженную высокими скалами. И какія это было очаровательныя скалы! Это были груды газетъ съ громаднымъ подборомъ самыхъ разнорѣчивыхъ статей по одному и тому же предмету; направо было тѣ, по которымъ дѣло выходило бѣлымъ, налѣво тѣ, по которымъ оно выходило чернымъ. Висленевъ, помощью крапа и сыпныхъ очковъ, готовился съ чувствомъ и съ любовью доказать, что черное бѣло и бѣлое черно. Это была его спеціальность и его *пассія*.

Но прежде чѣмъ Висленевъ допилъ свой стаканъ кофе и взялся за обработку крапа и очковъ въ колодѣ, предложенной ему на сегодняшнюю игру, ему прыгнулъ въ глаза маленькій, неопрятно задѣланный и небрежно надписанный на его имя пакетикъ.

Висленевъ, грызя сухарь, распечаталъ конвертъ и прочелъ: «Примите къ свѣдѣнію, еще одна подлость: Костька Оболдуевъ, при всемъ своемъ либерализмѣ, онъ женился на Форофонтьевой и взялъ за нею въ приданое восемьдесятъ тысячъ. Пишу вамъ объ этомъ со словъ Роговцова, который заходилъ ко мнѣ ночью нарочно по этому дѣлу. Утромъ иду требовать взносъ на общее дѣло и бѣднымъ полякамъ. Завтра поговоримъ. Анна Скокова».

Висленевъ повернулъ два раза въ рукахъ это письмо Ванскокъ и хотѣлъ уже его бросить, какъ горничная квартирной хозяйки подала ему другой конвертъ, надписанный тою же рукой и только-что сію минуту полученный.

«Я задыхаюсь,—писала отвратительнѣйшимъ почеркомъ Ванскокъ.—Я сама удостовѣрялась обо всемъ: все правда, мнѣ ничего не дали на общее дѣло, но этого мало: знайте

и вѣдайте, что Оболдуевъ обломалъ дѣла, онъ забралъ не только женины деньги, но и деньги свояченицы, и на эти деньги будетъ... издаваться газета съ русскимъ направленіемъ! Бросьте сейчасъ работу, бросьте все и бѣгите ко мнѣ, мы должны говорить! P. S. Кстати, я встрѣтила очень трудное мѣсто въ переводѣ. Кунцевичъ «canonisé par le Pape» я перевела, что Іосафъ Кунцевичъ былъ разстрѣлянъ папой, а въ сегодняшнемъ нумерѣ читаю уже это иначе. Что это за самопроизволъ въ вашей редакціи? Попросите, чтобы моими переводами такъ не распоряжались».

Висленевъ, сложивъ оба письма вмѣстѣ и написавъ Ванскокъ, что онъ не можетъ спѣшить ей на помощь, потому что занятъ работой, сѣлъ и начерталъ въ заголовкѣ: «Васильетемновскія тенденціи современныхъ москворѣцко-застѣнковыхъ философо-сыщиковъ». Но онъ далѣе не продолжалъ, потому что въ двери его съ шумомъ влетѣла маленькая Ванскокъ и зачастила:

— Получили вы оба мои письма? Да?

— Да, получилъ,—отвѣчалъ спокойно Висленевъ.

— Все это отмѣняется! — воскликнула Ванскокъ, бросая въ уголъ маленькій сакъ, съ привязанною къ нему вмѣсто ручекъ веревочкой.

— Ничего не было?

— Нѣтъ, напротивъ, все было; рѣшительно все было, но представлены доказательства, такъ что это надо обсудить здѣсь; знаете о чемъ идетъ дѣло?

Висленевъ качнулъ отрицательно головой.

— Русское направленіе въ модѣ.

— Ну-съ?

— За него буду собирать деньги и обращать ихъ на общее дѣло. Я нахожу, что это честно.

Висленевъ молчалъ.

— И потомъ, — продолжала Ванскокъ: — явится, знаете, кто?

Висленевъ сдѣлалъ опять знакъ, что не знаетъ.

— Не догадываетесь?

— Не догадываюсь же, не догадываюсь.

Ванскокъ подошла къ окну и на потномъ стеклѣ начертала перстомъ: «с-у-п-с-и-д-і-я».

— Буки,—проговорилъ Висленѣвъ.

— Нѣтъ не буки, а это вѣрно.

— Буки, буки, а не покой... понимаете, не суисидія, а субсидія.

— А, вы объ этомъ? Все это вздоръ. Итакъ, будетъ дана субсидія, и мы все это повернемъ въ пользу общаго дѣла, и потому вредить этому не надо.

— Васъ надуваютъ, Ванскокъ.

— Очень можетъ быть, я даже и сама увѣрена, что надуваютъ, но по крайней мѣрѣ такъ говорятъ, и потому надо этому помогать, а къ тому же есть другая новость: возвратился Гордановъ, и онъ теперь здѣсь и кается.

Висленевъ принялъ эту новую вѣсть недружелюбно, но нѣсколько замѣчаній, сдѣланныхъ Ванскокомъ насчетъ необходимости всяческаго снисхожденія къ свѣжимъ ранамъ, и кипа бумагъ, вынутыхъ изъ саквояжа и представленныхъ Ванскокомъ Висленеву, какъ подарокъ въ доказательство дружественнаго расположенія Горданова къ Висленеву, произвели въ умѣ послѣдняго впечатлѣнія миролюбиваго свойства. Висленевъ, освободясь отъ довольно продолжительнаго визита Ванскокъ, тотчасъ же углубился въ чтеніе бумагъ, принесенныхъ ему отъ Горданова. Подарокъ пришелъ Висленеву какъ нельзя болѣе по сердцу, и онъ не могъ отъ него оторваться до самаго вечера. Онъ не оставилъ бы свои занятія и вечеромъ, если бы его часу въ восьмомъ не посѣтилъ жилецъ сосѣдней комнаты, Ѳеоктистъ Меридіановъ, маленькій желтоволосый человѣчекъ, поставляющій своеобразныя беллетристическія бездѣлки для маленькой газеты съ скандальной репутаціей.

Ѳеоктистъ Меридіановъ вошелъ къ Висленеву безъ доклада и безъ сапоговъ: тихо, какъ котъ, подошелъ онъ въ мягкихъ кимрскихъ туфляхъ къ углубленному въ чтеніе Висленеву и произнесъ:

— Здравствуйте, любезный сосѣдъ по имѣнію.

Висленевъ вздрогнулъ и немножко встревоженно спросилъ:

— Что вамъ угодно?

Ѳеоктистъ Меридіановъ хрипло захохоталъ и, плюхнувъ на диванъ противъ Висленева, отвѣчалъ:

— Вотъ какой бонъ-тонъ: «что вамъ угодно?» А мнѣ ничего отъ васъ, сударь мой, не угодно,—продолжалъ онъ, кряхтя, смѣясь и щурясь:—я такъ, совсѣмъ такъ... освѣдо-

миться, все ли въ добромъ здоровьи мой сосѣдъ по имѣнію, Іосафъ Платонычъ Висленевъ, и болѣе ничего.

— А-а, ну спасибо вамъ, а я зачитался и не сообразилъ.

— Что же это вы читаете?

— Очень интересныя бумаги по польскому дѣлу.

— Это «щелчокъ», что ли, вамъ приволокъ?

— Какой щелчокъ? — спросилъ съ нескрываемымъ удовольствіемъ Висленевъ.

— Да вотъ эта стрижка-ерышка, какъ вы ее называете?

— Ванскокъ!

— Ну, Ванскокъ, а я все забываю, да зову ее «щелчокъ», да это все равно. Я все слышалъ, что она тутъ у васъ чекотала, и не шелъ. Эхъ, бросьте вы, сэръ Висленевъ, водиться съ этими нигилисточками.

— Что это васъ безпокоитъ, Ѳеоктистъ Дмитричъ? мнѣ кажется, до васъ это совсѣмъ не касается, съ кѣмъ я вожусь.

— Да, касаться-то оно, пожалуй, что не касается, а по человѣчеству, по-сосѣдски васъ жалко, право жалко.

Висленевъ улыбнулся и, заваривъ чай изъ только-что поданнаго самовара, спросилъ:

— Какія же предвидите для меня опасности отъ «нигилисточекъ»?

— Большія, сэръ, клянусь святымъ Патрикомъ, очень большія—женятъ.

— Ну, вотъ!

— Чего «вотъ», право, клянусь Патрикомъ, женятъ, а мнѣ васъ жалко... каковъ ни есть, все сосѣдъ по имѣнію, вмѣстѣ чай пьемъ!

— Вотъ видите, какъ вы заблуждаетесь! Ванскокъ сама первостатейный врагъ брака.

— Это, отецъ Іосафъ, все равно, врагъ, а къ чему дѣло придетъ, и черезъ нее женитесь; а вы лучше вотъ что: ко мнѣ опять сваха Ѳедориха заходила...

— Ахъ, оставьте, Меридіановъ, это даже и въ шутку глупо!

— Нѣтъ-съ, вы позвольте, она уже теперь не купчиху предлагаетъ, а княжескую фаворитку, танцовщицу... — Меридіановъ сильно сжалъ Висленева за руку и добавилъ: — только перевѣнчаться и не видать ее, и за то одно пят-

надцать тысячъ? Это не худая статья, сэръ, клянусь святымъ Патрикомъ, не худая!

— Ну, вотъ вы и женитесь.

— Не могу, отецъ, радъ бы, да не могу, рыломъ не вышелъ, я изъ простыхъ свиней, изъ кутейниковъ, а нуженъ изъ цуцкихъ, столбовой дворянинъ, какъ вы. Не дремлите, государь мой, берите пятнадцать тысячъ, пока нигилисточки даромъ не окрутили. На пятнадцать тысячъ можно газету завести, да еще какую... у-у-х-ъ!

— Отойди отъ меня, сатана!—отшутился Висленевъ, для котораго мысль о своей собственной газетѣ всегда составляла отраднѣйшую и усладительнѣйшую мечту.

— Чего сатана, а я бы вамъ сталъ какіе фіэтоны строчить, просто bon Dieu оборони! Я вотъ нынче что сорудилъ. Вотъ послушайте-ка, — началъ онъ, вытаскивая изъ кармана переломленную пополамъ четвертушку бумаги. — Хотите слушать?

— Пожалуй,—отвѣчалъ равнодушно Висленевъ.

Ѳеоктистъ Меридіановъ прищурился, тихо крякнулъ и, нетерпѣливо оглянувшись по комнаткѣ, заговорилъ:

— Идетъ, видите ли, экзаменъ, ребятишекъ въ приходское училище принимаютъ и предстоитъ, видите, этакая морда, обрубокъ мальчуганъ Савоська, котораго на каникулахъ приготовилъ медицинскій студентъ Чортовъ.

— Гм! Фамилія недурна!

— Да, и съ направленіемъ, понимаете?

— Понимаю.

— Ну, слушайте же,—и Меридіановъ, кряхтя и щурясь, зачиталъ сквернымъ глухимъ баскомъ.

«— Читать умѣешь! — вопросилъ Савоську лопоухій педагогъ.

«— Ну-ка-ся!—отвѣчалъ съ презрѣніемъ бойкій малецъ.

«— И писать обученъ?

«— Эвося!—еще смѣлѣе отвѣтилъ Савоська.

«— А законъ Божій знаешь?—встрѣлъ попъ.

«— Да коего лиха тамъ знать-то!—гордо, презрительно, гнѣвно, закинувъ вверхъ голову, рыкнулъ мальчуганъ, въ воображеніи котораго въ это время мелькнуло насмѣшливое, иронически-честно-злобное лицо приготовлявшаго его студента Чортова».

— Что, хорошо? Можете вы этакую штуку провести въ своей серьезной статьѣ, или нѣтъ?

Но прежде чѣмъ Висленевъ что-нибудь отвѣтилъ своему собесѣднику, послышался тихій стукъ въ дверь, причемъ Меридіановъ быстро спряталъ въ карманъ рукопись и сказалъ: «вотъ такъ у васъ всегда», а Висленевъ громко крикнулъ: взойдите!

Дверь растворилась, и въ комнату предсталъ довольно скромно, но съ иголочки одѣтый въ чистое платье Гордановъ.

Висленевъ немного смѣшался, но Павелъ Николаевичъ протянулъ ему братски руки и заговорилъ съ нимъ на *ты*. Черезъ минуту онъ уже сидѣлъ мирно за столомъ и велъ съ Висленевымъ дружескій разговоръ о литературѣ и о литературныхъ людяхъ, безпрестанно вовлекая въ бесѣду и Меридіанова, который, впрочемъ, все кряхтѣлъ и старался отмалчиваться. Не теряя напрасно времени, Гордановъ перешелъ и къ содержанію бумагъ, присланныхъ имъ Висленеву чрезъ Ванскокъ.

— Бумажки интересныя, — отвѣчалъ Висленевъ: — и понимъ бы кое-что очень хлесткое можно написать.

— Я затѣмъ ихъ къ тебѣ и прислалъ, — отвѣчалъ Гордановъ. — Я знаю, что у меня онѣ проваляются даромъ, а ты изъ нихъ можешь выкроить пользу и себѣ, и дѣлу.

Висленеву эта похвала очень нравилась, особенно тѣмъ, что была выражена въ присутствіи Меридіанова, но онъ не полагался на успѣхъ по «независящимъ обстоятельствамъ».

— Что же, теперь вѣдь цензуры нѣтъ, — говорилъ простодушно Гордановъ.

— Мало что цензуры нѣтъ, да есть другія, братъ, грозы.

— Зато есть судъ и на грозу.

— Да, ищи того суда, какъ Франклина въ морѣ: по суду-то на сто рублей оштрафуютъ, а безъ суда на пять тысячъ накажутъ, какъ пить дадутъ. Нѣтъ, если бы это написать, да за границей напечатать.

— И то можно, — отвѣтилъ Гордановъ.

— Если только есть способы?

Гордановъ сказалъ, чтобы Висленевъ объ этомъ не заботился, что способы будутъ къ его услугамъ, что онъ, Гордановъ, самъ переведетъ сочиненіе Висленева на поль-

скій языкъ и самъ пристроитъ его въ заграничную польскую газету.

Затѣмъ Павелъ Николаевичъ еще побесѣдовалъ привѣтно съ Висленевымъ и съ Меридіановымъ и простился.

— А ничего это, что я говорилъ при этомъ лоботрясѣ?— спросилъ онъ у Висленева, когда тотъ провожалъ его по коридору.

— Это ты о Меридіановѣ-то?

— Да.

— Полно, пожалуйста, это дремучій семинаристъ, въ которомъ ненависть-то, какъ старый блинъ, зачерствѣла.

— Да, чортъ ихъ нынче разберетъ, они всѣ теперь ненавистники и всѣ мастера на всѣ руки, — отвѣчалъ Гордановъ.

— Нѣтъ, этотъ не такой.

— А мнѣ онъ не нравится; знаешь, слишкомъ молчаливъ и исподлобья смотритъ. А впрочемъ, это твое дѣло, я говорилъ *у тебя*.

— Понимаю и принимаю всю отвѣтственность на себя, будь совершенно покоенъ.

— Ну, и прекрасно.

И съ этимъ Гордановъ ушелъ.

— А мнѣ сей субъектъ препротивенъ, — сказалъ Висленеву въ свою очередь Меридіановъ, когда Висленевъ, проводивъ Горданова, вернулся въ свой дортуаръ.

— Чѣмъ онъ вамъ не хорошъ?

— Очень хорошъ, совсѣмъ даже до самаго дна маслянъ. Зачѣмъ это онъ постучалъ, прежде чѣмъ войти?

— Такъ водится, чтобы не обезпокоить.

— Да; и вамъ вотъ это, небось, нравится, а меня отъ такихъ финти-фантовъ тошнитъ. Прощайте, я пойду къ Трифандосу въ кухмистерскую, съ Бабиневичемъ шары покатаю.

— Прощайте.

— А вы опять сочинять?

— Да.

— А Ѳедорихѣ что же сказать: нужны вамъ пятнадцать тысячъ или не нужны?

— Да вы что же это, не шутите?

— Нимало не шучу.

— Ну, такъ я вамъ скажу, что я вамъ удивляюсь, что

вы мнѣ это говорите, я никогда себя не продавалъ ни за большія деньги, ни за малыя, и на княжескихъ любовницахъ жениться не способенъ.

Меридіановъ «презрительно-гордо» пожалъ плечами и сказалъ: — А я вамъ удивляюсь и говорю вамъ, что будете вы, сэръ, кусать локоть, клянусь Патрикомъ, будете, да не достанете. Бабиневичъ вѣдь, только ему объ этомъ сказать, сейчасъ отхватитъ, а онъ вѣдь тоже изъ дворянъ.

— Сдѣлайте милость и оставьте меня съ этимъ.

— Сдѣлаемъ вамъ эту милость и оставимъ васъ,—отвѣчалъ Меридіановъ и, не прощаясь съ Висленевымъ, зашлепалъ своими кимрскими туфлями.

Оглавленіе.

XXIII ТОМА.

На ножахъ.

Романъ въ 6 частяхъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Боль врача ищетъ.

		стр.
I.	Отступница	5
II.	Вся впереди	22
III.	Глава, которую можно поставить въ началѣ	26
IV.	Безъ содержанія	33
V.	На всѣ ноги кованъ	39
VI.	Волкъ въ овечьей кожѣ	54
VII.	Не поняли, но объясняютъ	62
VIII.	Изъ балета «Два вора»	68
IX.	Дока на доку нашелъ	76
X.	Въ органѣ перемѣнили валъ	85
XI.	Утро, которое хочетъ быть мудренѣе вечера	95

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Бездна призываетъ бездну.

I.	Entre chien et loup	133
II.	Врачи г. Горданова	137
III.	Свой своего не узналъ	144
IV.	Бой тарантула съ ехидной	151
V.	Послѣдній изъ Могиканъ	160
VI.	Гордановъ дастъ шахъ и матъ Іосафу Висленеву	163

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на сгали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

НА НОЖАХЪ.

РОМАНЪ ВЪ ШЕСТИ ЧАСТЯХЪ.

Часть вторая.

БЕЗДНА ПРИЗЫВАЕТЪ БЕЗДНУ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Продолженіе о томъ, какъ Гордановъ далъ шахъ и матъ Іосафу Висленеву.

Читатель можетъ подумать, что авторъ не сдержалъ своего слова и, обѣщавъ показать въ предшествовавшей главѣ, какъ Павелъ Николаевичъ Гордановъ дастъ шахъ и матъ другу своему Іосафу Висленеву, не показалъ этого хода; но это будетъ напрасно: погибельный для Висленева ходъ сдѣланъ, и спасенія Іосафу Платоновичу теперь нѣтъ никакого; но только какъ ходъ этотъ необыченъ, тонокъ и новъ, то его, можетъ-быть, многіе не замѣтили: проникать дѣянія нашего героя не всегда легко и удобно.

Іосафъ Платоновичъ работалъ энергически, и въ пять или въ шесть дней у него созрѣла богатырская статья, въ которой вниманію враговъ Россіи рекомендовались самые смѣлые и неудобоприложимые планы, какъ одолѣть насъ и загнать въ Азію.

Гордановъ не разъ навѣстилъ въ эти шесть дней Висленева и слушалъ его статью въ брульйонахъ съ величайшимъ вниманіемъ, и съ серьезнѣйшимъ видомъ указывалъ, гдѣ припустить сахарцу, гдѣ подбавить перцу, и все это тонко, мягко, деликатно, тщательно храня и оберегая болѣзненное авторское самолюбіе Іосафа Платоновича.

— Я тебя не учу,—говорилъ онъ Висленеву:—и ты потому, пожалуйста, не обижайся; я знаю, что у тебя есть свой талантъ, но у меня есть своя опытность, и я по опыту тебѣ говорю: здѣсь посоли, а здѣсь посахари.

Висленевъ слушался, и произведеніе его принимало характеръ все болѣе лютый, а Гордановъ еще уснащалъ его прибавками и перестановками и все напиралъ на извѣстный ему «ихній вкусъ».

Со времени смѣшенія языковъ въ ихъ нигилистической сектѣ, вмѣстѣ съ потерей сознанія о томъ, что честно и что безчестно, утрачено было и всякое опредѣленное понятіе о томъ, кто ихъ друзья и кто ихъ враги. Принципы растеряны, враги гораздо ревностнѣе стоятъ за то, за что хотѣли ратовать ихъ друзья; земельный надѣлъ народа, равноправіе всѣхъ и каждаго предъ лицомъ закона, свобода совѣсти и слова, — все это уже отстаиваютъ враги, и спорить приходится развѣ только «о бревнѣ, упавшемъ и никого не убившемъ», а между тѣмъ враги нужны, и притомъ не тѣ враги, которые дѣйствительно враждебны честнымъ стремленіямъ къ равноправію и свободѣ, а *они,* какіе-то невѣдомые миѳическіе враги, преступленій которыхъ нигдѣ нѣтъ, и которые просто называются *они.* Противъ этихъ миѳическихъ *ихъ* ведется война, пишутся пасквили, дѣлаются доносы, съ *ними* чувствуютъ безповоротный разрывъ и намѣрены по гробъ жизни съ ними не соглашаться. Во имя этихъ миѳическихъ *ихъ* заигралъ на Висленевѣ и Гордановъ. Онъ говорилъ ему, какъ надо приспособиться, чтобы допекать *ихъ*, такъ чтобы *они* чувствовали; но какъ ни осторожно Гордановъ подходилъ съ своими указаніями къ Висленеву, послѣдняго все-таки непріятно задѣвало, что его учатъ, и онъ даже по поводу указаній Горданова на *ихъ* вкусъ и права отвѣчалъ:

— Ну, и довольно, ты мнѣ скажи, на какой вкусъ, и этого съ меня и довольно, а я уже знаю какъ потрафить.

И онъ потрафлялъ: статья, поправлявшаяся въ теченіе ночи, къ утру становилась змѣя и василиска злѣе, но приходилъ Гордановъ, прослушивалъ ее и находилъ, что опять мягко.

— Не то,—говорилъ онъ:—чтобы чего недоставало, напротивъ, здѣсь все есть, но знаешь... Поясню тебѣ примѣромъ: тебя, положимъ, попросили купить жирную лошадь...

— Я и куплю жирную,—перебилъ Висленевъ.

— Да, но она все-таки можетъ не понравиться, или крупъ недостаточно жиренъ, или шея толста, а я то же самое количество жира да хотѣлъ бы расположить иначе, и тогда она и будетъ отвѣчать требованіямъ. Вотъ для этого берутъ коня и выпотняютъ его, то-есть перекладываютъ жиръ съ шеи на крупъ, съ крупа на ребро и т. п. Это надо подѣлать еще и съ твоею прекрасною статьею,—ее надо выпотнить.

— Я этого даже никогда и не слыхалъ, чтобы по произволу перемѣщали жиръ съ одной части тѣла на другую,— отвѣчалъ Висленевъ.

— Ну, вотъ видишь ли, а между тѣмъ это всякій цыганъ знаетъ: на жирное мѣсто, которое хотятъ облегчить, кладутъ войлочные потники, а тѣ, куда жиръ перевесть хотятъ, водой помачиваютъ, да и гоняютъ коня, пока онъ въ соотвѣтственное положеніе придетъ. Не зналъ ты это?

— Не зналъ.

— Ну, такъ знай, и, если хочешь, дай мнѣ, я твою статью попотню. Согласенъ?

— Бери.

— Нѣтъ, я это тутъ же при тебѣ. Видишь, вотъ тутъ это вонъ вычеркни, а вмѣсто этого вотъ что напиши, а сюда на мѣсто того вотъ это поставь, а тутъ...

И Гордановъ какъ пошелъ выпотнять висленевскую статью, такъ Висленевъ, быстро чертившій то тутъ, то тамъ, подъ его диктовку, и ротъ разинулъ: изъ простого, мясистаго, жирнаго и брыкливаго коня возникъ неодолимый конь Діомеда, готовый растоптать и сожрать всѣхъ и все.

— Молодецко!—воскликнулъ, радуясь, самъ Висленевъ.

— Теперь бы кому-нибудь прочесть, чтобы взглянуть на впечатлѣніе,—посовѣтовалъ Гордановъ.

Висленевъ назвалъ своего «сосѣда по имѣнію», Ѳеоктиста Меридіанова, который пришелъ въ своихъ кимрскихъ туфляхъ и все терпѣливо прослушалъ, и потомъ, по своему обыкновенію, подражая простонародному говору, сказалъ, что какъ все это не при немъ писано, то онъ не хочетъ и лѣзть съ суконнымъ рыломъ въ калачный рядъ, чтобы судить о такой политичной матеріи, а думаетъ лишь только одно, что въ старину за это

Дали бъ въ назиданіе
Такъ ударовъ со сто,

Чтобы помнилъ зданіе
У (имя рекъ) моста.

Гордановъ при этихъ словахъ Меридіанова изловилъ подъ столомъ Висленева за полу сюртука и сильно потянулъ его внизъ, дескать: осторожность, осторожность!

— Этотъ человѣкъ совсѣмъ мнѣ не нравится, — заговорилъ Гордановъ, когда Меридіановъ вышелъ. — Онъ мнѣ очень подозрителенъ, и такъ какъ тебѣ все равно отдавать мнѣ эту статью для перевода на польскій языкъ, то давайка, братъ, я возьму ее лучше теперь же.

— На что же?

— Да такъ, знаешь, про всякій случай отъ грѣха.

Висленевъ безтрепетною рукой вручилъ свое безсмертное твореніе Гордановy.

Да и чего же было, кажется, трепетать? А трепетать было отъ чего.

Если бы Висленевъ послѣдовалъ за Гордановымъ, когда тотъ вышелъ, унося съ собою его выпотненную статью, то онъ не скоро бы догадался, куда Павелъ Николаевичъ держитъ свой путь. Бѣгая изъ улицы въ улицу, изъ переулка въ переулокъ, онъ наконецъ юркнулъ въ подъѣздъ, надъ которымъ красовалась вывѣска, гласившая, что здѣсь «Касса ссудъ подъ залогъ движимостей».

Здѣсь жилъ литераторъ, ростовщикъ, революціонеръ и полиціантъ Тихонъ Ларіоновичъ Кишенскій, о которомъ съ такимъ презрѣніемъ вспоминала Ванскокъ и которому требовался законный мужъ для его фаворитки, Алины Фигуриной.

Къ Кишенскому вела совершенно особенная лѣстница, если не считать двухъ дверей бель-этажа, въ коихъ одна вела въ аптеку, а другая въ сигарный магазинъ. Три же двери, окружающія лѣстничную террасу третьяго этажа, всѣ имѣли разные нумера, и даже двѣ изъ нихъ имѣли разныя таблички, но все это было вздоръ: всѣ три двери вели къ тому же самому Тихону Кишенскому или, какъ его по-просту звали, «жиду Тишкѣ». Три эти двери значились подъ №№ 7-мъ, 8-мъ и 9-мъ. Надъ 8-мъ, приходившимся посрединѣ, была большая бронзовая дощечка съ чернымъ надписаніемъ, объявлявшимъ на трехъ языкахъ, что здѣсь «Касса ссудъ». На правой двери, обитой новою зеленою клеенкой съ мѣдными гвоздями, была подъ стекломъ таб-

личка, на которой красовалось имя Тихона Ларіоновича, и тутъ же былъ прорѣзъ, по которому спускались въ ящикъ письма и газеты; лѣвая же дверь просто была дверь № 9-й. Входя въ среднюю дверь, или дверь № 8-й, вы попадали въ довольно большой залъ, обставленный прилавками и шкафами. За прилавками сидѣла нѣмецкая дама, говорившая раздавленнымъ голосомъ краткія рѣчи, касающіяся залогодательства, и поминутно шнырявшая за всякимъ разрѣшеніемъ въ двери направо, по направленію къ № 7-му. Въ № 7-мъ была хорошая холостая квартира съ дорогою мебелью, золоченою кроватью, массивнымъ буфетомъ, фарфоромъ и бронзой, съ говорящимъ попугаемъ, мраморною ванной и тѣмъ неодолимымъ преизбыткомъ вкуса, благодаря которому меблированныя такимъ образомъ квартиры гораздо болѣе напоминаютъ мебельный магазинъ, чѣмъ человѣческое жилье. Въ № 9-мъ... но объ этомъ послѣ.

Герой нашъ пожалъ электрическую пуговку у двери номера седьмого и послалъ свою карточку чрезъ того самаго лакея, рѣшительный характеръ и исполнительность котораго были извѣстны Ванскокъ. Пока этотъ враждебный геній, съ лицомъ ровнаго розоваго цвѣта и съ рыжими волосами, свернутыми у висковъ въ двѣ котелки, пошелъ доложить Тихону Ларіоновичу о прибывшемъ гостѣ, Гордановъ окинулъ взоромъ рядъ комнатъ, открывавшихся изъ передней, и подумалъ: «однако этотъ ужъ совсѣмъ подковался. Ему уже нечего будетъ сокрушаться и говорить: «здравствуй, безпомощная старость, догорай, безполезная жизнь!» Но нечего бояться этого и мнѣ, — нѣтъ, мой планъ геніаленъ; мой расчетъ вѣренъ, и будь только за что зацѣпиться и на чемъ расправить крылья, я не этою мѣщанскою обстановкой стану себя тѣшить, — я стану считать рубли не сотнями тысячъ, а милліонами... милліонами... и я пойду, вознесусь, попру... и...

И въ эту минуту Павелъ Николаевичъ внезапно почувствовалъ непріятное жженіе въ горлѣ, которымъ обыкновенно начинались у него приступы хорошо знакомыхъ ему спазмодическихъ припадковъ. Онъ взялъ надъ собою власть и пересилилъ начинающійся пароксизмъ какъ разъ вовремя, потому что въ эту самую минуту въ глубинѣ залы показалась худощавая, высокая фигура Кишенскаго, въ которомъ въ самомъ дѣлѣ было еще значительно замѣтно

присутствіе еврейской крови. Лицо его было довольно плоско и не украшалось характернымъ израильскимъ носомъ, но маленькіе каріе глазки его глядѣли совершенно по-еврейски, и движенія его были порывисты. Кишенскій былъ одѣтъ въ роскошномъ шлафорѣ, подпоясанномъ дорогимъ шнуромъ съ кистями, и въ туфляхъ не кимрской работы, а въ дорогихъ, золотомъ шитыхъ, туфляхъ; въ рукахъ онъ держалъ тяжелую трость со слоновою ручкой и довольно острымъ стальнымъ наконечникомъ. Возлѣ Кишенскаго, съ одной стороны, немножко сзади, шелъ его рѣшительный рыжій лакей, а съ другой, у самыхъ ногъ, еще болѣе рѣшительный рыжій бульдогъ.

— Господинъ Гордановъ!—заговорилъ на половинѣ комнаты Кишенскій, пристально и зорко вглядываясь въ лицо Павла Николаевича и произнося каждое слово отчетисто, спокойно и очень серьезно.—Прошу покорно! Давно ли вы къ намъ? А впрочемъ я слышалъ... Да. Иди въ свое мѣсто,— заключилъ онъ, оборотясь къ лакею, и подалъ Горданову жесткую, холодную руку.

Послѣ первыхъ незначащихъ объясненій о времени пріѣзда и о прочемъ, они перешли въ маленькій, также густо меблированный кабинетецъ, гдѣ Кишенскій самъ сѣлъ къ письменному столу и, указавъ противъ себя мѣсто Горданову, не обинуясь спросилъ: чѣмъ онъ можетъ служить ему?

Гордановъ всего менѣе ожидалъ такого пріема.

— Вы меня спрашиваете такъ, какъ-будто я долженъ заключить изъ вашихъ словъ, что безъ дѣла мнѣ не слѣдовало и посѣщать васъ,—отвѣчалъ Гордановъ, въ которомъ шевельнулась дворянская гордость предъ этимъ ломаньемъ жидка, отецъ котораго, по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, продавалъ въ Одессѣ янтарные мундштуки.

— Нѣтъ, не то,—отвѣчалъ, нимало не смущаясь, Кишенскій:—я бы вѣдь могъ васъ и не принять, но я принялъ... Видите, у меня нога болитъ, легонькій ревматизмъ въ колѣнѣ, но я всталъ и, хоть на палку опираясь, вышелъ.

Проговоривъ это тѣмъ же ровнымъ, невозмутимымъ, но возмущающимъ голосомъ, которымъ непремѣнно научаются говорить всѣ разбогатѣвшіе евреи, Кишенскій отвернулся къ драпировкѣ, за которою могла помѣщаться кровать, и хлопнулъ два раза въ ладоши.

Драпировка слегка всколыхнулась, и вслѣдъ затѣмъ че-

резъ залу, по которой хозяинъ провелъ Горданова, появился знакомый намъ рыжій лакей.

— Іоганъ, дайте намъ чаю,—велѣлъ ему Кишенскій, совершенно по-жидовски вертясь и нѣжась въ своемъ халатѣ.

— Откуда вы себѣ достали такого «гайдука Хрызыча»?—спрашивалъ Гордановъ, стараясь говорить какъ можно веселѣе и уловить хотя малѣйшую черту привѣтливости на лицѣ хозяина, но такой черты не было: Кишенскій, не отвѣчая улыбкой на улыбку, сухо сказалъ:

— Іоганъ съ острова Эзеля.

— Какой ужасный ростъ и ужасная сила!

— Да, они неуклюжи, но очень вѣрны,—въ этомъ ихъ достоинство, а нынче вѣрный человѣкъ большая рѣдкость.

«Это ты говоришь!» подумалъ, тщательно скрывая свое презрѣніе, Гордановъ,—но молвилъ спокойно:

— Да, у васъ тутъ много кое-чего поизмѣнилось!

— Будто! Я не замѣчаю; кажется, все то же самое, что и было.

— Ну, нѣтъ!

— А я, постоянно сидя за работой, право ничего не замѣчаю.

Гордановъ нетерпѣливо повернулся на стулѣ и, окинувъ глазами все окружающее, имѣлъ обширный выборъ темъ для возраженія хозяину, но почувствовалъ мгновенное отвращеніе отъ игры въ слова съ этимъ сыномъ продавца янтарей, и сказалъ:

— А вы правы, я зашелъ къ вамъ не для пустого времяпрепровожденія, а по дѣлу.

— Я былъ въ этомъ увѣренъ: времени по пустякамъ и безъ того препровождено очень много.

— Только не вами, надѣюсь,—проговорилъ сквозь улыбку Гордановъ.

Кишенскій волоскомъ не ворохнулся, не моргнулъ и ни звука не отвѣтилъ. Это еще болѣе не понравилось Горданову, но сдѣлало его рѣшительнѣе.

— У меня есть одинъ планъ... или какъ это у насъ въ старину говорилось, одно «предпріятіе», весьма для васъ не безвыгодное.

Кишенскій мѣшалъ ложечкой въ стаканѣ и молчалъ.

— Вы не прочь отъ аферы, или вы аферами пренебрегаете?

— Надо знать, какая афера.

— Разумѣется, выгодная афера и вѣрная.

— Всякій, предлагая свою аферу, представляетъ ее и вѣрною и выгодною, а на дѣлѣ часто выходитъ чортъ знаетъ что. Но я не совсѣмъ понимаю, почему вы съ аферой отнеслись ко мнѣ? Я вѣдь человѣкъ занятой и большими капиталами не ворочаю: есть люди гораздо болѣе меня удобные для этихъ операцій.

— Для той аферы, которую я намѣренъ предложить вамъ, нѣтъ человѣка удобнаго болѣе васъ, потому что она васъ однихъ болѣе другихъ касается.

— Касается меня!

— Да; касается васъ—лично васъ, господинъ Кишенскій.

— Позвольте выслушать.

— Извольте-съ. У меня есть мысль, соображеніе или, лучше сказать, совершенно вѣрный, математически разсчитанный и точный, зрѣло обдуманный планъ въ полгода времени сдѣлать изъ двадцати пяти тысячъ рублей серебромъ громадное состояніе въ нѣсколько десятковъ милліоновъ.

Гордановъ остановился и уставилъ глаза на Кишенскаго, который смотрѣлъ на него неподвижными, остолбенѣвшими глазами и вдругъ неожиданно позвонилъ.

— Вы не думаете ли, что я сумасшедшій? — спросилъ Гордановъ.

— Нѣтъ; это я звоню для того, чтобы мнѣ перемѣнили стаканъ. Что же касается до вашего способа быстраго наживанія милліоновъ, то мы въ послѣднее время отвыкли удивляться подобнымъ предложеніямъ. Начиная съ предложенія Ванскокъ учредить кошачій заводъ, у насъ всѣ приготовили руки къ милліонамъ.

— Но между дурацкою башкой Ванскокъ и моею головой, я думаю, вы допускаете же какую-нибудь разницу.

— О, разумѣется! Я знаю, что вы человѣкъ умный, но только позвольте вамъ по-старому, по-дружески сказать, что вѣдь никто и не дѣластъ такъ легкомысленно самыхъ опрометчивыхъ глупостей, какъ умные люди.

— Это мы увидимъ. Я вамъ не стану нахваливать мой планъ, какъ цыганъ лошадь: мой вѣрный планъ въ этомъ не нуждается, и я не къ тому иду теперь. Кромѣ того, что вы о немъ знаете изъ этихъ словъ, я до времени не открою вамъ ничего и уже, разумѣется, не попрошу у васъ

подъ мои соображенія ни денегъ, ни кредита, ни поручительства.

— Я ни за кого не ручаюсь.

— Я знаю, и мнѣ *для меня* отъ васъ пока ничего не нужно. Но планъ мой вѣренъ: вы знаете, что я служилъ въ западномъ краѣ и, кажется, служилъ не дурно: я получалъ больше двухъ тысячъ содержанія, чего съ меня, одинокаго человѣка, было, конечно, весьма довольно; ужиться я по моему характеру могу рѣшительно со всякимъ начальствомъ, какихъ бы воззрѣній и системъ оно ни держалось.

— Я это знаю.

— И между тѣмъ я бросилъ эту службу.

— Очень сожалѣю.

— Подождите жалѣть. Служить тамъ, это не то, что служить здѣсь, какъ напримѣръ вы служите.

— Я вѣдь служу по найму, — у меня нѣтъ правъ на коронную службу.

— Это все равно, но вы тѣмъ не менѣе человѣкъ не безъ вліянія по службѣ, и вы дѣлаете другія дѣла: вы играете на биржѣ и играете, если только такъ можно выразиться, на трехъ разнохарактерныхъ органахъ, которые могутъ служить вашимъ видамъ.

— Это, знаете, случайность, и на подобную вещь навѣрняка считать нельзя.

— Успокойтесь, любезный Тихонъ Ларіоновичъ: я вамъ не завидую и конкуренціи вамъ не сдѣлаю: мои планы иные, и они, не въ обиду вамъ будь сказано, кажутся мнѣ повѣрнѣе вашихъ. А вы вотъ что... позволяете вы говорить съ вами на-чистоту?

— Въ торговыхъ дѣлахъ чѣмъ кратче, тѣмъ лучше.

— Вы меня не спрашиваете, въ чемъ заключается мой планъ, замѣтьте, несомнѣнный планъ пріобрѣтенія громаднѣйшаго состоянія, и я знаю, почему вы меня о немъ не спрашиваете: вы не спрашиваете не потому, чтобъ онъ васъ не интересовалъ, а потому, что вы знаете, что я вамъ его не скажу, то-есть не скажу въ той полнотѣ, въ которой бы мой вѣрный планъ, изобрѣтеніе человѣка, нуждающагося въ двадцати пяти тысячахъ, сдѣлался вашимъ планомъ,—планомъ человѣка, обладающаго всѣми средствами, нужными для того, чтобы черезъ полгода, не болѣе какъ

черезъ полгода, владѣть состояніемъ, которымъ можно удивить Европу. Вы знаете, что я вамъ этого не скажу.

— Совершенно вѣрно.

— А я не скажу вамъ этого потому, что вы мнѣ двадцати пяти тысячъ въ полное мое распоряженіе не довѣрите.

— Это тоже вѣрно.

— Поэтому я хочу сдѣлать себѣ нужныя мнѣ двадцать пять тысячъ самъ, при вашемъ, однако, посредствѣ, но при такомъ посредствѣ, которое вамъ будетъ не менѣе выгодно, чѣмъ мнѣ.

Кишенскій придавилъ въ столѣ электрическую пуговку и велѣлъ, появившемуся предъ нимъ лакею, никого не принимать.

— Вы меня, стало-быть, слушаете?—спросилъ Гордановъ.

— Съ огромнымъ вниманіемъ,—отвѣчалъ Кишенскій, подавая ему большую сигару.

— И я могу вамъ говорить все?

— Все.

— Касаясь прямо всѣхъ?

— Всѣхъ.

— Ну, такъ извольте же слушать и отвѣчать мнѣ на все прямо.

— Идетъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Финальная ракета.

— Вамъ нуженъ одинъ человѣкъ?—спросилъ, глядя въ упоръ Кишенскому, Гордановъ.

Тотъ смолчалъ, да и въ самомъ дѣлѣ недоумѣвалъ, къ чему клонитъ эта рѣчь.

— Вы ищете имени вашимъ дѣтямъ, которыя у васъ есть и которыя впередъ могутъ быть?

— Это правда.

— Хорошо! Такъ откровенно говоря, мы пойдемъ очень скоро. Вы сами не можете жениться на дорогой вамъ женщинѣ, потому что вы женаты.

— Правда.

— Вы много хлопотали, чтобъ устроить дѣло?

— Не очень много, но довольно.

— Да дѣло это нельзя дѣлать шахъ-матъ: дворянинишку

съ вѣтра взять неудобно; бракъ у насъ предоставляетъ мужу извѣстныя права, которыя хотя и не то, что права мужа во Франціи, Англіи или въ Америкѣ, но и во всякомъ случаѣ все-таки еще довольно широки и могутъ стѣснять женщину, если ея мужъ не дуракъ.

— Вы разсуждаете превосходно.

— Надѣюсь, что я васъ понялъ. Теперь идемъ далѣе: дорогая вамъ женщина не обладаетъ средствами Глафиры Акатовой, чтобы сдѣлаться госпожой Бодростиной; да вамъ это и не нужно: васъ дѣла связываютъ неразлучно и должны удерживать неразлучно навсегда, или по крайней мѣрѣ очень надолго. Я не знаю вашихъ условій, но я такъ думаю.

— Вы знаете столько, сколько вамъ нужно, чтобъ имѣть совершенно правильный взглядъ на это дѣло.

— Тѣмъ хуже и тѣмъ лучше. Найти себѣ мужа по примѣру Казимиры Шверностской, Данки и Ципри-Кипри теперь невозможно, это уже выдохлось и не дѣйствуетъ: изъ принципа нынче болѣе никто не женится.

— Да, мы съ этимъ уже немножко запоздали.

— Вотъ видите: стало-быть, не все идетъ по-старому, какъ вы желали мнѣ давеча доказать... Вы доведены обстоятельствами до готовности пожертвовать на это дѣло десятью тысячами.

— О такой цифрѣ, признаюсь, у насъ еще не думано.

— Будто бы?

— Увѣряю васъ честью.

— Ну, такъ вы скупы.

— Однако... разумѣется... около этого что-нибудь... тысячъ пять — семь, расходовать можно.

— Гдѣ семь, тамъ десять, это ужъ не расчетъ. Вы не подумайте, пожалуйста, что я предлагаю вамъ самоличныя мои услуги, нѣтъ! Я пришелъ къ вамъ какъ плантаторъ къ плантатору: я продаю вамъ другого человѣка.

— Какъ продаете?

— Такъ, очень просто, продаю да и только.

— Безъ его согласія?

— Онъ никогда и ни за что на это не согласится.

Кишенскій вдругъ утратилъ значительную долю своего безучастнаго спокойствія и глядѣлъ на Горданова широко раскрытыми, удивленными глазами. Павелъ Николаевичъ замѣтилъ это и торжествовалъ.

— Да, онъ никогда и никогда, и ни за что на это не согласится, и тѣмъ для него хуже,—сказалъ Гордановъ, не давая своему собесѣднику оправиться.

Кишенскій совсѣмъ выскочилъ изъ колеи и улыбнулся странною улыбкой, которая сверкнула и сгасла.

— Извините, пожалуйста, но вы меня смѣшите, — проговорилъ онъ, и опять улыбнулся.

— Смѣшу васъ? Нимало. Въ чемъ вы тутъ видите смѣшное?

— Вы распоряжаетесь кѣмъ-то на старомъ помѣщичьемъ правѣ и даже еще круче: хотите велѣть человѣку жениться и полагаете, что онъ непремѣнно обязанъ вамъ повиноваться.

— А, конечно обязанъ.

— Позвольте узнать, почему?

— Почему? Потому что я умнѣ, а онъ глупъ.

— Но вы не забываете ли, что свадьбы попы вѣнчаютъ въ церкви, и что при этомъ согласіе жениха столь же необходимо, какъ и согласіе невѣсты?

— Пожалуйста, будьте покойны: будемте говорить о цѣнѣ, а товаръ я вамъ сдамъ честно. Десять тысячъ рублей за мужа, молодого, благовоспитаннаго, честнаго, глупаго, либеральнаго и такого покладистаго, что изъ него хоть веревки вей, это, по чести сказать, не дорого. Берете вы или нѣтъ? Дешевле я не уступлю, а вы другого такого не найдете.

— Но и вы тоже не скоро найдете другого покупщика, да и не ко всякому, надѣюсь, отнесетесь съ такимъ предложеніемъ.

— Вы понимаете дѣло, Тихонъ Ларіоновичъ, и за это я вамъ сразу пятьсотъ рублей сбавляю: угодно вамъ девять тысячъ пятьсотъ рублей?

— Дорого.

— Дорого! Девять тысячъ пятьсотъ рублей за человѣка съ образованіемъ и съ самолюбіемъ!

— Дорого.

— Какая же ваша цѣна?

— Послушайте, Гордановъ, да не смѣшно ли это, что мы съ вами серьезно торгуемся на такую куплю?

— Нимало не смѣшно, да вы объ этомъ, пожалуйста, не заботьтесь: я вамъ продаю не воробья въ небѣ, котораго

еще надо ловить, а здѣсь товаръ налицо: живой человѣкъ, котораго я вамъ прямо передамъ изъ рукъ въ руки.

— Я, право, не могу вамъ вѣрить.

— Я и не прошу вашего довѣрія: я не беру ни одного гроша до тѣхъ поръ, пока вы сами скажете, что дѣло сдѣлано основательно и честно. Говорите только о цѣнѣ, какая ваша послѣдняя цѣна?

— Я право не знаю, какъ объ этомъ говорить... о подобной покупкѣ!

— Да въ чемъ затрудненье-то? Въ чемъ-съ? Въ чемъ?

Кишенскій развелъ руки и улыбнулся.

— Однако я полагалъ, что вы гораздо рѣшительнѣе,— нетерпѣливо сказалъ Гордановъ.

Кишенскій завертѣлся на мѣстѣ и, продолжительно обтирая лицо пестрымъ фуляромъ, отвѣчалъ:

— Да какъ вы хотите... какой рѣшительности?.. Съ одной стороны... такое необыкновенное предложеніе, а съ другой... оно тоже стоитъ денегъ, и опять рискъ.

— Никакого, ни малѣйшаго риска нѣтъ.

— Помилуйте, какъ нѣтъ риска?—Вы что продаете, позвольте васъ спросить?

— Я продаю все, что имѣетъ для кого-нибудь цѣну,— гордо отвѣтилъ, краснѣя отъ досады, Гордановъ.

— Да, «что имѣетъ цѣну», но человѣкъ... независимый человѣкъ въ Россіи... какая же цѣнность? Это скорѣе каламбуръ.

— Очень невысокаго сорта, впрочемъ.

— Согласенъ-съ; я не острякъ; но дѣло въ томъ, что вы вѣдь продаете не имя, а человѣка... какъ есть живого человѣка!

— Со всѣми его потрохами.

— Ну, и позвольте же... не горячитесь... вы продаете человѣка... образованнаго?

— Да, и даже съ нѣкоторымъ именемъ.

— Ну, вотъ сами изволите видѣть еще и съ именемъ! А между тѣмъ вы ему ни отецъ, ни дядя, ни опекунъ.

— Нѣтъ, не отецъ и не опекунъ.

— Долженъ онъ вамъ, что ли?

— Нимало.

— Ну, извините меня, но я васъ не понимаю

— И что же вы отказываетесь, что ли, отъ моего предложенія?

— И отказываюсь.

— Ну, такъ въ такомъ случаѣ намъ нечего больше говорить,—и Гордановъ всталъ и взялся за шляпу.

— Откройте что-нибудь побольше,—заговорилъ, медленно приподнимаясь вслѣдъ за нимъ, Кишенскій.—Покажите что-нибудь осязательное и тогда...

— Что тогда?

— Я, можетъ-быть, тысячъ за семь не постою.

— Нѣтъ; съ вами, я вижу, надо торговаться по-жидовски, а это не въ моей натурѣ: я лишняго не запрашивалъ и еще сразу вамъ пятьсотъ рублей уступилъ.

— Да что-жъ по-жидовски... я вамъ тоже, если хотите, триста рублей набавлю... если...

— Если, если... если еще что такое? — сказалъ, натягивая перчатку и нетерпѣливо морщась, Гордановъ.

— Если всѣ документы въ порядкѣ?

Гордановъ дернулъ перчатку и разорвалъ ее.

— Нѣтъ,—сказалъ онъ:—я вижу, что я ошибся, съ вами пива не сваришь. Я же вамъ вѣдь уже сто разъ повторялъ, что все въ исправности и что я ничего впередъ не беру, а вы все свое. Мнѣ это надоѣло,—прощайте!

И онъ совсѣмъ повернулся къ выходу, но въ это самое мгновеніе драпировка, за которою предполагалась кровать, заколыхалась и изъ-за опущенной портьеры вышла высокая, полная, замѣчательно хорошо сложенная женщина, въ длинной и пышной ситцевой блузѣ, съ густыми огненными рыжими волосами на головѣ и съ некраснвымъ бурымъ лицомъ, усѣяннымъ сплошными веснушками.

— Позвольте, прошу васъ, остаться на минуту,—сказала она голосомъ ровнымъ и спокойнымъ, не напускнымъ спокойствіемъ Кишенскаго, а спокойствіемъ натуры сильной, страстной и самообладающей.

Гордановъ остановился и сдѣлалъ дамѣ приличный поклонъ.

— Дѣло, о которомъ вы здѣсь говорили, ближе всѣхъ касается меня,—заговорила дама, не называя своего имени.

Гордановъ снова ей поклонился.

Дама сѣла на диванъ и указала ему мѣсто возлѣ себя.

— Предложеніе ваше мнѣ почему-то кажется очень осно-

вательнымъ,—молвила она помѣстившемуся возлѣ нея Гордanову, между тѣмъ какъ Кишенскій стоялъ и въ раздумьи перебиралъ косточки счетовъ.

— Я отвѣчаю моей головой, что все, что я сказалъ, совершенно сбыточно,—отвѣчалъ Гордановъ.

— О цѣнѣ спора быть не можетъ.

— Въ такомъ случаѣ не можетъ быть спора ни о чемъ: я вамъ даю человѣка, удобнаго для васъ во всѣхъ отношеніяхъ.

— Да, но видите ли... мнѣ теперь... Я съ вами должна говорить откровенно: мнѣ неудобно откладывать дѣло; свадьба должна быть скоро, чтобы хлопотать объ усыновленіи двухъ, а не трехъ дѣтей.

— На этотъ счетъ будьте покойны, — отвѣчалъ Гордановъ, окинувъ взглядомъ свою собесѣдницу: — во-первыхъ, субъектъ, о которомъ идетъ рѣчь, ничего не замѣтитъ; во-вторыхъ, это не его дѣло; въ-третьихъ, онъ женскій эмансипаторъ и за стѣсняющее васъ положеніе не постоитъ; а въ-четвертыхъ,—и это самое главное,—тотъ способъ, которымъ я вамъ его передамъ, устраняетъ всякія разсужденія съ его стороны и не допускаетъ ни малѣйшаго его произвола.

— Въ такомъ случаѣ мы вѣрно сойдемся.

— Девять тысячъ пятьсотъ рублей?

— Нѣтъ; я вамъ дамъ восемь.

— Извините; это, значитъ, опять надо торговаться, а я позволю себѣ вамъ, сударыня, признаться, что до изнеможенія усталъ съ этимъ торгомъ. Въ старину отцы наши на тысячи душъ короче торговались, чѣмъ мы на одного человѣка.

— Да; отцы-то ваши за душу платили сто, да полтораста рублей, а тутъ девять тысячъ!—замѣтилъ Кишенскій.

— Все дороже стало,—небрежно уронилъ въ его сторону Гордановъ и снова взялся рукой за шляпу.

Дама это замѣтила.

— Да; это все такъ, — сказала она: — но вѣдь надо же дать что-нибудь и ему самому.

— Ни одного гроша,—это не такой человѣкъ, — онъ не возьметъ ничего, и вы однимъ предложеніемъ ему денегъ даже можете все испортить. Я согласенъ вамъ, и собственно вамъ, а не ему (онъ указалъ съ улыбкой на Кишенскаго),

уступить еще пятьсотъ рублей, то-есть я возьму, со всѣми хлопотами, девять тысячъ и уже меньше ничего, но зато я предлагаю вамъ другія выгоды. Позвольте вамъ замѣтить, что я вѣдь понимаю, въ чемъ дѣло, и беру деньги недаромъ: если бы вы перевѣнчались съ какимъ попало, съ самымъ плохенькимъ чиновникомъ, вы бы должны были тотчасъ же, еще до свадьбы, вручить ему всѣ деньги сполна, а тутъ всегда большой рискъ: онъ можетъ взять деньги и отказаться вѣнчаться. Положимъ, вы могли взять съ него векселя, но вѣдь онъ могъ ихъ оспорить, могъ доказывать, что они безденежные: взяты у него обманомъ, или насиліемъ... Возможна цѣлая исторія самаго безотраднаго свойства. Потомъ еслибъ и доказали выдачу денегъ и засадили въ долговое отдѣленіе, ну онъ отсидитъ годъ, и ничего... Съ него какъ съ гуся вода, а деньги пропали...

— Это правда,—отозвался Кишенскій.

— Да, а вѣдь я вамъ даю человѣка вполнѣ честнаго и съ гоноромъ; это человѣкъ великодушный, который самъ своей сестрѣ уступилъ свою часть въ десять тысячъ рублей, стало-быть вы тутъ загарантированы отъ всякой кляузы.

— Кто же это такой? — отнеслась тихо къ Кишенскому невѣста.

Тихонъ Ларіоновичъ только пожалъ въ недоумѣніи плечами.

— Не трудитесь отгадывать, — отвѣчалъ Гордановъ: — потому что, во-первыхъ, вы этого никогда не отгадаете, а во-вторыхъ, операція у меня раздѣлена на два отдѣленія, изъ которыхъ одно не открываетъ другого, а между тѣмъ оба они лишь въ соединеніи дѣйствуютъ неотразимо. Продолжаю далѣе: если бы вы и уладили свадьбу своими средствами съ другимъ лицомъ, то вы только пріобрѣли бы имя... имя для будущихъ дѣтей, да и то съ весьма возможнымъ рискомъ протеста, а вѣдь вамъ нужно и усыновленіе двухъ вашихъ прежнихъ малютокъ.

— Какъ же, это почти самое важное.

— Кто же станетъ объ этомъ заботиться?

— Мы сами.

— Вы сами, — это худо. Нѣтъ, я вамъ передамъ такого человѣка, который *самъ* пуще отца родного будетъ объ этомъ убиваться. Если вы согласны дать мнѣ девять тысячъ рублей, я вамъ сейчасъ же представлю ясныя дока-

зательства, что вы черезъ недѣлю, много черезъ десять дней, можете быть обвѣнчаны съ самымъ удобнѣйшимъ для васъ человѣкомъ и, вдобавокъ, пріобрѣтете отъ этого брака хотя не очень большія, но все-таки относительно довольно значительныя денежныя выгоды, которыя во всякомъ случаѣ далеко съ избыткомъ вознаградятъ васъ за то, что вы мнѣ за этого господина заплатите. Я согласенъ, что это дѣло небывалое, но вы сейчасъ увидите, что все это какъ нельзя болѣе просто и возможно: субъектъ, котораго я вамъ предлагаю, заработываетъ въ годъ около двухъ тысячъ рублей, но онъ немножко привередливъ, — разумѣется, пока онъ одинокъ, а современемъ, когда онъ будетъ женатъ и, находясь въ вашихъ рукахъ, будетъ считаться отцомъ вашихъ малютокъ, то вы его можете подогнать... Вы, не живя съ нимъ, можете потребовать отъ него по закону приличнаго содержанія для васъ и для вашихъ дѣтей; тутъ и Тихонъ Ларіоновичъ можетъ подшпорить его въ газетѣ; онъ человѣкъ чуткій, — гласности испугается, а тогда опредѣлить его на службу, или пристроить его къ какому-нибудь дѣлу, и онъ вамъ быстро выплатитъ заплаченныя за него девять тысячъ.

— Что ты объ этомъ думаешь?—спросила дама Кишенскаго.

Кишенскій ударилъ громко счетною костяшкой и отвѣчалъ:

— Что же! Это вполнѣ возможно.

— Мои планы всѣ тѣмъ и хороши, — сказалъ Гордановъ: — что всѣ они просты и всегда удобоисполнимы. Но идемъ далѣе: для васъ еще въ моемъ предложеніи заключается та огромная выгода, что денегъ, которыя вы мнѣ заплатите за моего человѣка, вы изъ вашей кассы не вынете, а, напротивъ, еще пріобрѣтете себѣ компаньона съ деньгами же и съ головой.

Дама только перевела глаза съ Кишенскаго на Горданова и обратно назадъ на Кишенскаго.

— Когда наступитъ время расчета, — продолжалъ Гордановъ: — я у васъ наличныхъ денегъ не потребую; а вы, почтенный Тихонъ Ларіоновичъ, дадите мнѣ только записку, что мною у васъ куплены такія-то и такія-то бумаги, на сумму девяти тысячъ рублей, и сдѣлаете меня негласнымъ компаньономъ по вашей ссудной кассѣ, на соотвѣтственную

моему капиталу часть, и затѣмъ мы станемъ работать сообща. Планы мои всегда точны, ясны, убѣдительны и неопровержимы, и если вы согласны дать мнѣ за вашу свадьбу съ моимъ субъектомъ девять тысячъ рублей, то этотъ планъ я вамъ сейчасъ открою.

— Тихонъ!—воззвала дама къ Кишенскому.

— Гм!

— Да что же ты мычишь! Вѣдь это надо рѣшать.

— Да; я прошу васъ рѣшать, — отвѣчалъ, взглянувъ на свои часы, Гордановъ.

— Что же?..—простоналъ Кишенскій.

— Что же? Ну, что же «что же»?—передразнила дама:— вѣдь это надо, понимаешь ты, *это надо* кончить.

— Фабій Медлитель, положимъ, выигрывалъ сраженія своею медленностью, но его тактика, однако, не всѣмъ удается, и быстрота и натискъ въ наше скорое время считаются гораздо вѣрнѣйшимъ средствомъ, — проговорилъ, въ видѣ совѣта, Гордановъ.

— Да, въ самомъ дѣлѣ, это безконечный водевильный куплетъ:

Всегда тѣмъ кончится піеса,
Что съ вашимъ вѣчно «поглядимъ»
Вы не увидите бельмеса,
А мы всегда все проглядимъ,

съ нетерпѣливымъ неудовольствіемъ проговорила дама и, непосредственно затѣмъ быстро оборотясь къ Гордановy, сказала:

— Извольте, господинъ Гордановъ, я согласна: вы получите восемь тысячъ пятьсотъ.

— И еще пятьсотъ; я вамъ сказалъ послѣднюю цѣну: девять тысячъ рублей.

— Извольте, девять.

Гордановъ разстегнулъ пиджакъ, досталъ изъ грудного кармана сложенные листы бумаги, на которыхъ была тщательно списанная копія извѣстнаго намъ сочиненія Висленева, и попросилъ взглянуть.

Кишенскій и дама посмотрѣли въ рукопись.

— Что это такое?—вопросилъ Кишенскій.

— Это копія, писанная рукой неизвѣстнаго человѣка съ сохраняющагося у меня дома оригинала, писаннаго человѣкомъ, мнѣ извѣстнымъ.

— Тѣмъ, котораго вы намъ продаете?

— Да, тѣмъ, котораго я вамъ продаю.

Хозяева пріумолкли.

— Теперь извольте прислушать,—попросилъ Гордановъ, и полнымъ, звучнымъ голосомъ, отбивая и подчеркивая сальянтныя мѣста, прочелъ хозяину и хозяйкѣ ярое сочиненіе Іосафа Платоновича.

— Что это за дребедень?—вопросилъ Кишенскій, когда окончилось чтеніе.

Дама, сдвинувъ брови, молчала.

— Это, милостивый государь, не дребедень, — отвѣчалъ Гордановъ: — а это ноты, на которыхъ мы сыграемъ полонезъ для вашего свадебнаго пира и учредимъ на этомъ дворянство и благосостояніе вашихъ милыхъ малютокъ. Прошу васъ слушать: человѣкъ, написавшій все это своею собственною рукой, есть человѣкъ, уже компрометированный въ политическомъ отношеніи, дома у него теперь опять есть цѣлый ворохъ бумагъ, происхожденіе которыхъ сближаетъ его съ самыми подозрительными источниками.

— Понимаю! — воскликнулъ, ударивъ себя ладонью по лбу, Кишенскій.

— Ничего не понимаете,—уронилъ небрежно Гордановъ, и продолжалъ: — прочитанное мною вамъ здѣсь сочиненіе написано по тѣмъ бумагамъ и есть такое свидѣтельство, съ которымъ автору не усидѣть не только въ столицѣ, но и въ Европейской Россіи. Вся жизнь его въ моихъ рукахъ, и я дарую ему эту жизнь, и продаю вамъ шелковый шнурокъ на его шею. Онъ холостъ, и когда вы ему поставите на выборъ ссылку или женитьбу, онъ, конечно, будетъ имѣть такой же нехитрый выборъ, какъ выборъ между домомъ на Англійской набережной или коробочкой спичекъ; онъ, конечно, выберетъ *свадьбу*. Вѣрно ли я вамъ это докладываю?

Кишенскій беззвучно разсмѣялся и, замотавъ головой, отошелъ къ окну, въ которое глядѣлась бѣлая ночь.

— Вѣрно ли?—повторилъ Гордановъ.

— Вѣрно, чортъ возьми, до поразительности вѣрно! И просто, и вѣрно!

Дама молчала.

— Ваше мнѣніе?—вопросилъ ее Гордановъ.

— Дѣло въ томъ,—молвила она послѣ паузы:—какъ же это совершится?

— Тутъ необходимо небольшое содѣйствіе Тихона Ларіоновича: жениха надо попугать слегка обыскомъ.

— Это можно, — отвѣчалъ Кишенскій, улыбнувшись и потухнувъ въ ту же секунду.

— И непремѣнно не одного его обыскать, а и меня, и Ванскокъ, понимаете, чтобъ онъ не видалъ нить интриги, но чтобы зато была видна нить хода бумагъ.

— Хорошо, хорошо,—отозвался Кишенскій.

— У него пусть найдутъ бумаги и приарестуютъ его.

— Да ужъ это такъ и пойдетъ.

— А тогда взять его на поруки и перевѣнчать.

— Да, это такъ; все это въ порядкѣ,—отвѣтилъ Тихонъ Ларіоновичъ.

— Тогда ему будетъ предложено на выборъ: выдать ему назадъ это его сочиненіе или представить его въ подкрѣпленіе къ дѣлу.

— Да.

— И онъ, какъ онъ ни простъ, пойметъ, что бумаги надо выручить. Впрочемъ, это уже будетъ мое дѣло растолковать ему, къ чему могутъ повести эти бумаги, и онъ пойметъ и не постоитъ за себя. А вы, Алина Дмитріевна,— обратился Гордановъ къ дамѣ, безцеремонно отгадывая ея имя: — вы можете тогда поступить по усмотрѣнію: вы можете отдать ему эти бумаги послѣ свадьбы, или можете и никогда ему ихъ не отдавать.

— Къ чему же отдавать?—возразилъ Кишенскій.

— Да, и я то же самое думаю, а, впрочемъ, это ваше дѣло.

— Это мы увидимъ,—молвила невѣста.

И затѣмъ, съ общаго согласія, былъ улаженъ планъ дѣйствій, во исполненіе котораго Кишенскій долженъ былъ «устроить обыскъ». Какъ онъ долженъ былъ это устроивать, про то ничего не говорилось: предполагалось, что это сдѣлается какъ-то такъ, что до этого никому дѣла нѣтъ. Затѣмъ, когда жениха арестуютъ, Гордановъ, котораго тоже подведутъ подъ обыскъ, скажетъ арестованному, что онъ, желая его спасти въ критическую минуту, отдалъ бумаги на сохраненіе Кишенскому, а тотъ — Алинѣ Дмитріевнѣ Фигуриной, и тогда уже, откинувъ всѣ церемоніи прочь,

прямо объявятъ ему, что Алина Дмитріевна бумагъ не отдаетъ безъ того, чтобы субъектъ на ней перевѣнчался.

Для того же, чтобы благородному и благодушному субъекту не было особенной тяжести подчиняться этой необходимости, было положено дать ему въ видѣ реванша утѣшеніе, что Алина Дмитріевна принуждаетъ его къ женитьбѣ на себѣ единственно вслѣдствіе современнаго коварства новѣйшихъ людей, которые, прозрѣвъ завѣты бывшихъ новыхъ людей, или «молодого поколѣнія», не хотятъ вырвать женщину, нуждающуюся въ замужествѣ для освобожденія себя отъ давленія семейнаго деспотизма. Все это было аппробовано Кишенскимъ и Алиной Дмитріевной, и условіе состоялось.

— Теперь,—сказалъ въ заключеніе Гордановъ:—я вамъ сообщу и имя того, кого вы купили: это Іосафъ Платонычъ Висленевъ.

— Іосафъ Висленевъ! — воскликнули съ удивленіемъ въ одинъ голосъ Фигурина и Кишенскій.

— Да, Іосафъ Висленевъ, онъ самъ собственнѣйшею своею персоной.

— Чортъ васъ возьми, Гордановъ, вы неподражаемы!— воскликнулъ Кишенскій.

— Нравится вамъ ваша покупка?

— Лучшаго невозможно было выдумать.

— Ну, и очень радъ, что угодилъ по вкусу. Рукописаніе его у меня, я не понесъ его къ вамъ въ подлинникѣ для того...

— Чтобъ объ половины вашего плана не соединить вмѣстѣ,—началъ шутить развеселившійся Кишенскій.

— Да,—отвѣчалъ, улыбаясь, Гордановъ:—Ванскокъ мнѣ кое-что сообщала насчетъ нѣкоторыхъ свойствъ вашего Іогана съ острова Эзеля. Къ чему же было давать вамъ поводъ заподозрить меня въ легкомыслiи? Прошу васъ завернуть завтра ко мнѣ, и я вамъ предъявлю это рукописаніе во всей его неприкосновенности, а когда все будетъ приведено къ концу, тогда, предъ тѣмъ какъ я повезу Висленева въ церковь вѣнчать съ Алиной Дмитріевной, я вручу вамъ эту узду на ея будущаго законнаго супруга, а вы мнѣ отдадите мою цѣну.

— Вполнѣ согласенъ,—отвѣчалъ Кишенскій и, подавивъ снова пуговку, велѣлъ вошедшему Іогану съ острова Эзеля подать бутылку холоднаго шампанскаго.

За виномъ ударили по рукамъ, и ничего надъ собой не чаявшій Висленевъ былъ проданъ.

Затѣмъ Гордановъ простился и ушелъ, оставя Кишенскому копію, писанную неизвѣстною рукою съ извѣстнаго сочиненія для того, чтобы было по чему наладить обыскъ, а невѣстѣ еще разъ повторилъ добрый совѣтъ: не выдавать Висленеву его рукописанія никогда, или по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока онъ исхлопочетъ усыновленіе и причисленіе къ своему дворянскому роду обоихъ ея старшихъ дѣтей.

— А лучше, — рѣшилъ Гордановъ: — никогда съ него этой узды не снимайте: запасъ бѣды не чинитъ и хлѣба не проситъ.

Впрочемъ, Гордановъ напрасно на этотъ счетъ предупреждалъ госпожу Фигурину. Видясь съ нею послѣ этого въ теченіе нѣсколькихъ дней въ № 7 квартиры Кишенскаго, гдѣ была семейная половина этого почтеннаго джентльмена, Гордановъ убѣдился, что онъ сдаетъ Висленева въ такія ежовыя рукавицы, что даже послѣ того ему самому, Гордановъ, становилось знакомымъ чувство, близкое къ состраданію, когда онъ смотрѣлъ на бодраго и не знавшаго устали Висленева, который корпѣлъ надъ неустанною работой по разрушенію «василетемновскаго направленія», тогда какъ его самого уже затемнили и перетемнили.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Ночь послѣ бала.

Дѣло долженъ былъ начать Кишенскій, ему одному извѣстными способами, или по крайней мѣрѣ способами, о которыхъ другіе какъ будто не хотѣли и знать. Тихонъ Ларіоновичъ и не медлилъ: онъ завелъ пружину, но она, сверхъ всякаго чаянія, не дѣйствовала такъ долго, что Гордановъ уже началъ смущаться и хотѣлъ напрямикъ сказать Кишенскому, что не надо ли повторить?

Но наконецъ пружина потянула и незримая подземная работа Кишенскаго совершилась: въ одну прекрасную ночь Висленева, Горданова и Ванскокъ посѣтили незваные гости. Сначала это, конечно, каждое изъ этихъ трехъ лицъ узнало только само про себя, но на зарѣ Ванскокъ, дрожа до зубного стука отъ смѣшанныхъ чувствъ радости и тревоги,

посѣтила Висленева и застала его сидящимъ посреди комнаты, какъ Марій на развалинахъ Карѳагена.

— У меня забрали бумаги,—лепетала Ванскокъ:—но я ничего не боюсь.

— И у меня забрали, и я ничего не боюсь,— отвѣчалъ Висленевъ и добавилъ, что единственная вещь, которая его могла скомпрометировать, на его счастіе, два дня тому назадъ взята Гордановымъ.

Но этому благополучію, однако, было немедленно представлено очень внушительное опроверженіе: въ комнату Висленева, гдѣ Іосафъ Платоновичъ и Ванскокъ въ тревогѣ пили весьма ранній чай, явился встревоженный Гордановъ и объявилъ, что и его обыскали.

Висленевъ поблѣднѣлъ и зашатался.

— И мою статью нашли?—воскликнулъ онъ въ ужасѣ.

— Нѣтъ; представь, нѣтъ!—успокоилъ его Гордановъ.

— Слава тебѣ, Господи! — проговорилъ Висленевъ и съ радостнымъ лицомъ перекрестился.

Гордановъ разсказалъ счастливое событіе, какъ онъ былъ извѣщенъ намекомъ Кишенскаго, что имъ грозитъ опасность, и передалъ ему Висленевское сочиненіе, отчего Кишенскій будто отбивался и руками, и ногами, но потомъ, наконецъ, махнулъ рукой и, взявъ, сказалъ, что занесетъ и отдастъ его Алинѣ Фигуриной.

— Ну, и спасибо имъ, и тебѣ спасибо, и слава Богу, и слава твоему уму!—проговорилъ совсѣмъ оправившійся Висленевъ, и опять два раза перекрестился на церковь.

Ванскокъ нетерпѣливо ударила Висленева по рукѣ и, заступивъ его, выдвинулась съ вопросомъ: «какъ это было?» но Гордановъ не обнаружилъ никакого намѣренія удовлетворить ея любопытства.

— Есть дѣла важнѣе,—прошепталъ онъ, озираясь какъ волкъ:—скажите скорѣе, гдѣ этотъ вашъ хваленый другъ?

— Какой?—освѣдомился Висленевъ.

— Ну, вотъ твой «сосѣдъ по имѣнію»?

— Меридіановъ?

— Ну, да.

— Онъ вѣрно дома.

— Позови-ка его сюда подъ какимъ-нибудь предлогомъ.

Висленевъ вышелъ въ коридоръ.

— А вы развѣ подозрѣваете Меридіанова? — спросила, подпрыгивая вокругъ Горданова, проворная Ванскокъ.

— Я не подозрѣваю, а я знаю навѣрное.

— Меридіанова нѣтъ дома, и онъ, оказывается, даже не ночевалъ,—объявилъ въ эту минуту возвратившійся въ свою комнату блѣдный Висленевъ.

Гордановъ только ударилъ по столу и воскликнулъ:

— А что-съ!

— Теперь я вижу,—отвѣтилъ Висленевъ.

— Теперь это ясно,—рѣшила Ванскокъ, и вдругъ быстро стала прицѣплять на макушку свою форейторскую шапочку.

— Куда же вы?—остановилъ ее Висленевъ.

— Какъ куда? Я сейчасъ обѣгу всѣхъ своихъ, и Полисадову, и Поливадову, и по крайней мѣрѣ всѣхъ предупрежу насчетъ Меридіанова.

— А, это другое дѣло,—сказалъ Висленевъ.

— Да; а я вамъ даже совѣтую поспѣшить съ этимъ предупрежденіемъ,—поддержалъ Гордановъ.

Ванскокъ бомбой вылетѣла изъ квартиры Висленева и покатилась мячомъ по лѣстницѣ, и вдругъ внизу на послѣдней террасѣ носъ къ носу столкнулась съ Меридіановымъ, который тащился вверхъ невѣрными шагами, съ головой, тяжелою внутри отъ безпардоннаго кутежа и увѣнчанной снаружи былинками соломы и пухомъ.

Дремучій семинаристъ возвращался домой съ пира, заданнаго его пріятелемъ, актеромъ Бабиневичемъ, обвѣнчавшимся вчера на фаворитной княжеской танцовщицѣ, послѣ чего всѣ, кромѣ князя и новобрачной, совершали возліяніе богамъ въ сосновомъ бору Крестовскаго острова, на мыскѣ за Русскимъ трактиромъ.

Меридіановъ былъ пьянъ, тяжелъ и веселъ. Столкнувшись съ Ванскокъ, которая нарочно толкнула его локтемъ, онъ сначала ничего не понялъ и отступилъ, но потомъ, воззрясь ей вслѣдъ красными отъ вина и безсонницы глазами, крикнулъ:

— Эй, вы, госпожа! бритая барышня! Прошу васъ потише, а то я такъ пшшелкану, что ты у меня разсыплешься!

— Я не боюсь васъ, долгогривый шпіонъ! — крикнула ему, остановясь на минуту, Ванскокъ.

— Что-о-о?—переспросилъ изумленный Меридіановъ.

— Шпіонъ!—повторила Ванскокъ и покатила книзу.

— Дура, — отвѣтилъ ей Меридіановъ и поползъ тяжело наверхъ.

На слѣдующей террасѣ вверху Меридіанова догналъ полицейскій офицеръ и спросилъ его, гдѣ здѣсь живетъ Висленевъ?

— Сосѣдъ по имѣнію?—спросилъ Меридіановъ, пока не распозналъ спьяну мундира вопрошавшаго, но вслѣдъ затѣмъ, осѣнясь сознаніемъ, посторонился и, давъ офицеру дорогу, молча указалъ ему на дверь рукой.

Полицейскій офицеръ позвонилъ, и они одновременно вошли въ квартиру: офицеръ впередъ, а Меридіановъ тихонько вползъ за нимъ слѣдомъ и юркнулъ въ свою каморку.

Черезъ пять минутъ полицейскій вывелъ изъ этой квартиры Висленева и увезъ его съ собою въ участокъ, а Меридіановъ, совсѣмъ какъ былъ одѣтый, спалъ мертвымъ сномъ, ворча изрѣдка: «нѣтъ, я пива больше не могу,— убей меня Богъ, не могу!»

Пока ни въ чемъ, кромѣ пьянства, неповинный Меридіановъ спалъ, а Ванскокъ летала по городу, обнося, въ видѣ усладительнаго шербета, новую вѣсть, Висленевъ имѣлъ время прочувствовать нѣсколько весьма разнообразныхъ и тягостныхъ ощущеній, сидя въ четырехъ голыхъ стѣнахъ маленькой, одинокой камеры въ домѣ одной изъ полицейскихъ частей.

Если во всемъ можно находить свою добрую сторону, то добрая сторона такой недоброй вещи, какъ лишеніе свободы, конечно, заключается только въ томъ, что она даетъ человѣку одно лишнее средство одуматься поневолѣ. Одно изъ лицъ извѣстнаго романа Диккенса, содержась въ старой тюрьмѣ, Маршельси, говоритъ, что *въ тюрьмѣ—штиль*. Въ другомъ мѣстѣ люди не знаютъ спокойствія, травятъ другъ друга и жадно стремятся то къ тому, то къ другому: здѣсь нѣтъ ничего подобнаго, здѣсь мы стоимъ внѣ всего этого, *мы узнали худшее въ жизни* и нашли—миръ. *Это свобода*, но, увы! къ сожалѣнію, и это обрѣтеніе мира и свободы выпадаетъ на долю не всѣхъ подвергающихся печальной участи лишенія свободы, или, по крайней мѣрѣ, не въ одной и той же степени и не въ одно и то же время для каждаго. Есть люди, которыхъ тюремное уединеніе обращаетъ въ какую-то дрязгу, и къ числу таковыхъ принадлежалъ мягкосердый Висленевъ.

Іосафъ Платоновичъ не былъ въ порѣ добраго раздумья: тюрьма для него не была «штилемъ», какъ для философа въ Маршельси: она его только пытала томленіемъ страха и мелкимъ чувствомъ трусливой боязни. И сюда-то, на второй день его заключенія, проникли его палачи изъ квартиры съ тремя парадными дверями.

Поличье, отобранное у Висленева, было самаго ничтожнаго свойства и арестъ его былъ очень не строгъ, такъ что Алинѣ Дмитріевнѣ Фигуриной не стоило никакихъ особенныхъ затрудненій устроить свиданіе съ арестантомъ, а потомъ было еще легче ввести его въ суть дѣла и потребовать отъ него услуги за услугу, брака за сбереженіе его сочиненія, которое находится тутъ же, въ части, въ карманѣ Алины, и сейчасъ можетъ быть предъявлено, послѣ чего Висленеву уже не будетъ никакого спасенія.

Висленевъ задрожалъ и, сжимая руки Алины, прошепталъ:

— Бога ради, Бога ради! я сдѣлаю все: я васъ выручу, я женюсь, женюсь... Мнѣ это все равно: вѣдь я не дорожу семейнымъ счастьемъ, но, ради Бога, чтобъ эта бумага осталась между нами!

— Она всегда останется между нами, — обѣщала Фигурина, и сдержала свое обѣщаніе.

Несчастный Висленевъ и въ помышленіи не имѣлъ, что у Фигуриной отнюдь въ ту пору еще и не было его священнаго залога: онъ не подозрѣвалъ Горданова ни въ чемъ, и можно ли было подозрѣвать его? Гордановъ былъ весь густо затушованъ въ этомъ предательствѣ, за которое всю отвѣтственность несъ Меридіановъ. Но зато со многихъ добрыхъ сторонъ Гордановъ заявилъ себя въ это время какъ нельзя лучше: онъ посѣщалъ Висленева въ тюрьмѣ; онъ утѣшалъ его, успокоивалъ; онъ отговаривалъ его отъ пагубной мысли жениться на Фигуриной. Потомъ Гордановъ явилъ бездну мягкости и не только не злословилъ Меридіанова и Фигурину, но даже напоминалъ Висленеву, что это свѣжія раны, которыхъ тревожить не должно. Къ концу своего семидневнаго заключенія Висленевъ успѣлъ совсѣмъ расположиться на Горданова. Павелъ Николаевичъ былъ шаферомъ Висленева при его бракосочетаніи съ Фигуриной.

Тяжкій и ужасный для нашего новобрачнаго обрядъ этотъ былъ совершенъ надъ нимъ и Еленой Фигуриной въ

первый день освобожденія жениха. Оглашеніе и всякія брачныя формальности были выполнены: заботливыхъ людей нашлось вволю. Самъ священникъ, которому надлежало совершить бракъ, былъ обманутъ: ему было сказано, что предстоящій бракъ, конечно, юридически вполнѣ законный, имѣетъ, однако, свою романическую сторону, которая требуетъ нѣкотораго снисхожденія, и священникъ, осторожно обсуждая каждый свой шагъ, сдѣлалъ только самыя возможныя снисхожденія, но при всемъ томъ, перевѣнчавъ Висленева съ Фигуриной, послѣ долго не зналъ покоя: такъ невообразимо страненъ и необъяснимъ вышелъ бракъ ихъ.

Это была картина Пукирева *Неровный бракъ*, только навыворотъ. Полная невѣста Елена Дмитріевна Фигурина, въ бѣломъ платьѣ, стояла прямо и смѣло держала свою свѣчу предъ налоемъ, а женихъ Іосафъ Платоновичъ опустился книзу, колѣна его гнулись, голова падала на грудь и по щекамъ изъ наплаканныхъ и красныхъ глазъ его струились слезы, которыя онъ ловилъ устами и глоталъ въ то время, какъ опустившаяся книзу брачная свѣча его текла и капала на колѣно его черныхъ панталонъ. И Кишенскій, державшій вѣнецъ надъ Фигуриной, и Гордановъ, стоявшій сзади Висленева, оба зорко наблюдали и за женихомъ, и за смятеннымъ священникомъ, не постигавшимъ тайнъ этого страннаго бракосочетанія, и за народомъ, который собрался въ церковь и шептался по случаю такой невиданной свадьбы.

Положеніе было рискованное: женихъ каждую минуту могъ упасть въ обморокъ, и тогда Богъ вѣсть какой все могло принять оборотъ. Этого опасалась даже сама невѣста, скрывавшая, впрочемъ, мастерски свое безпокойство. Но какъ часто бываетъ, что въ большихъ горестяхъ человѣку даетъ силу новый ударъ, такъ случилось и здѣсь: когда священникъ, глядя въ глаза Висленеву, спросилъ его: «имаши ли благое произволеніе поять себѣ сію Елену въ жену?» Іосафъ Платоновичъ выпрямился отъ острой боли въ сердцѣ и далъ робкимъ шопотомъ утвердительный отвѣтъ.

— Не обѣщались ли вы прежде сего кому-нибудь?—продолжалъ священникъ.

— Обѣщался,—отвѣчалъ нѣсколько громче Висленевъ.

Священникъ пріостановился: у свидѣтелей похолодѣло возлѣ сердца.

— Кому?—спросилъ священникъ.

— Ей,—отвѣтилъ Висленевъ, и молча указалъ на стоящую съ нимъ рядомъ Фигурину: — я ей обѣщался прежде.

Кишенскій и Гордановъ ободрились, и обрядъ вѣнчанія окончился, оставивъ по себѣ вѣчныя воспоминанія у причта, совершавшаго обрядъ, и у всѣхъ присутствовавшихъ, видѣвшихъ рыдающаго жениха, привѣнчиваемаго къ непоколебимо твердой невѣстѣ.

Долго воспоминая свадьбу Висленева, священникъ, покусывая концы своей бороды, качалъ въ недоумѣніи головой и, вздыхая, говорилъ: «все хорошо, если это такъ пройдетъ», но веселый дьяконъ и смѣшливый дьячокъ, какъ люди болѣе легкомысленные, забавлялись насчетъ несчастнаго Висленева: дьяконъ говорилъ, что онъ при этомъ бракѣ только вполнѣ уразумѣлъ, что «тайна сія велика есть», а дьячокъ разсказывалъ, что его чуть Богъ сохранилъ, что онъ не расхохотался, возглашая въ концѣ Апостола: «а жена да боится своего мужа».

Но какъ бы кому ни казалась эта исторія, важнѣйшій смыслъ ея для Висленева былъ тотъ, что его женили, и женили настоящимъ, крѣпкимъ манеромъ, послѣ чего онъ имѣлъ полную возможность доказать справедливость словъ, что «жена не рукавица и ее съ бѣлой ручки не стряхнешь, да за поясъ не заткнешь».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Висленевскія дроби приводятся къ одному знаменателю.

Со времени описанной нами женитьбы Висленева до того дня, когда мы встрѣтили его — далеко отъ Петербурга — въ саду сестры его Ларисы, прошло два года, — два года, не только тяжкихъ, но даже ужасныхъ для Іосафа Платоновича. Въ эти два года онъ безпрестанно подвергался такимъ пертурбаціямъ, что, не имѣй онъ своей природной доброты, легкости и покладливости, и не будь при немъ Горданова, мастерски дававшаго ему пріемы хашиша предъ каждою новою операціей, совершаемою надъ нимъ его женой и ея другомъ Кишенскимъ, ему бы давно надо было десять разъ умереть смертью само-

убійцы; но Висленеву, какъ замѣтила Катерина Астафьевна Форова, Богъ за доброту только лица прибавилъ, то-есть Іосафъ Платоновичъ, не состарѣвшись, оплѣшивѣлъ. Его жена не бросила его на произволъ вѣтровъ, какъ поступила танцовщица, присоединившая къ своему имени фамилію Бабиневича, и даже не отпустила его по оброку, какъ пустила своего князя-правовѣда Казимира Швернотская: нѣтъ, Висленевъ былъ оставленъ на барщинѣ. Безсмертное произведеніе его пера, за которое Алина притянула Іосафа Платоновича къ брачному налою, никогда не было ему выдано. Врученное Алинѣ Гордановымъ за два часа до бракосочетанія ея съ Висленевымъ, оно навсегда осталось покоиться въ несгораемомъ желѣзномъ шкафѣ, вмѣстѣ съ банковыми билетами и другими драгоцѣнностями, ключъ отъ котораго никогда не разлучался съ Алиной Дмитріевной. Іосафъ Платоновичъ только былъ обѣщаемъ надеждой, что ему эту роковую бумагу возвратятъ, конечно, современемъ, когда онъ ее заслужитъ. Это была его дѣтская бонбошка, за которую онъ, бѣдный, много старался: онъ въ рукахъ Алины даже превзошелъ всѣ Гордановскія ожиданія. Будучи перевѣнчанъ съ Алиной, но не бывъ никогда ея мужемъ, онъ дѣйствительно усерднѣе всякаго роднаго отца хлопоталъ объ усыновленіи себѣ ея двухъ старшихъ дѣтей, и наконецъ выхлопоталъ это при посредствѣ связей брата Алины и Кишенскаго; онъ присутствовалъ съ веселымъ и открытымъ лицомъ на крестинахъ двухъ другихъ дѣтей, которыхъ щедрая природа послала Алинѣ послѣ ея бракосочетанія, и видѣлъ, какъ эти милыя крошки были вписаны на его имя въ приходскія метрическія книги; онъ свидѣтельствовалъ подъ присягой о сумасшествіи старика Фигурина и отвезъ его въ сумасшедшій домъ, гдѣ потомъ черезъ мѣсяцъ одинъ распоряжался бѣдными похоронами этого старца; онъ потомъ завелъ по довѣренности и приказанію жены тяжбу съ ея братомъ и не мало содѣйствовалъ увеличенію ея доли наслѣдства при законномъ раздѣлѣ неуворованной части богатства стараго Фигурина; онъ исполнялъ все, подчинялся всему, и все это каждый разъ въ надеждѣ получить въ свои руки свое произведеніе, и все въ надеждѣ суетной и тщетной, потому что обѣщанія возврата никогда не исполнялись, и жена Висленева, всякій разъ по исполненіи Іосафомъ Платоновичемъ одной службы,

какъ сказочная царевна Ивану-дурачку, заказывала ему новую, и такъ онъ служилъ ей и ея дѣтямъ вѣрой и правдой, кряхтѣлъ, лысѣлъ, жался и все страстнѣе ждалъ великой и вожделѣнной минуты воздаянія; но она, увы! не приходила. Работа его за всѣми этими заботами, очевидно, много страдала: онъ не могъ уже вырабатывать и половины того, что добывалъ, будучи холостымъ, а между тѣмъ расходы его удесятерились. Алина и до бракосочетанія своего съ Висленевымъ только офиціально числилась въ домѣ своего отца, а жила почти безвыходно въ седьмомъ нумерѣ квартиры съ тремя отдѣленіями Кишенскаго. Три квартиры, №№ 7, 8 и 9, представлявшія своимъ размѣщеніемъ большія удобства для видовъ и цѣлей хозяевъ, были законтрактованы Кишенскимъ на продолжительный срокъ и соединены посредствомъ ходовъ въ одно, съ виду раздѣленное, но de facto одно цѣлое помѣщеніе. Со свадьбой Алины здѣсь не перемѣнилось ничего: Алина только теперь офиціально переписалась по домовымъ книгамъ въ квартиру № 7, да сюда же былъ перевезенъ и переписанъ послѣ свадьбы Іосафъ Висленевъ, гдѣ онъ и имѣлъ пріятное удовольствіе узнать всѣ хитрости размѣщенія нумеровъ 7, 8 и 9. Въ № 7, состоявшемъ изъ четырехъ комнатъ, былъ помѣщенъ въ небольшомъ кабинетикѣ Іосафъ Платоновичъ. Рядомъ съ этимъ же кабинетикомъ, служившимъ въ одно и то же время и спальней Іосафу Платоновичу, была дѣтская, далѣе столовая и за ней будуаръ Алины, изъ котораго была продѣлана дверь, о существованіи которой Висленевъ не подозрѣвалъ до тѣхъ поръ, пока не сталъ доискиваться: куда исчезаетъ изъ дома его жена, не выходя дверьми, а улетая инудѣ. Дверь вела чрезъ кассу ссудъ, помѣщавшуюся въ № 8, въ квартиру, гдѣ обиталъ Тихонъ Ларіоновичъ Кишенскій, управлявшій отсюда всѣми тремя отдѣленіями. Наконецъ Іосафъ Платоновичъ узналъ хорошо и эту дверь; зналъ онъ и все остальное, и все это сносилъ тѣмъ легче, что самъ онъ постоянно увѣрялъ себя, что его женитьба— не настоящая женитьба, что это только такъ себѣ, уступка чему-то. Правда, онъ видѣлъ, что вокругъ него все нечисто: все дышитъ порокомъ, тлѣнью, ложью и предательствомъ, но онъ не считалъ себя жильцомъ этого міра. Жизнь его была теперь настоящая «нощь житія», отъ которой онъ пробуждался только во снѣ, когда ему мерещился и далекій

старый Висленевскій садъ, въ далекомъ губернскомъ городкѣ, и свѣтлый флигель, и сестра, красавица Лара, и русая головка свѣжей миловидной Alexandrine. Такъ это и тянулось, но вотъ и еще грянулъ на голову Висленева новый ударъ: по прошествіи перваго полугодія его женатой жизни, Алина напомнила ему, что онъ, кажется, совсѣмъ позабылъ о нуждахъ семьи, и что счетъ издержкамъ, производимымъ ею изъ ея собственнаго кармана на домашнія нужды и содержаніе дѣтей, составляетъ уже слишкомъ значительную сумму. Висленевъ этого не ожидалъ. Справедливость требуетъ сказать, что онъ неохотно жилъ въ № 7 и подчинялся въ этомъ случаѣ единственно требованію Алины, жилъ какъ женился, — угрожаемый страхомъ представленія извѣстной бумаги; но никакого иного коварства онъ не подозрѣвалъ. Онъ не одинъ разъ намекалъ своей женѣ, что онъ не даромъ ѣстъ за ея столомъ и согрѣваетъ немощную плоть свою подъ ея кровомъ, онъ за все это хотѣлъ разсчитаться: за все это думалъ заплатить по ходячей петербургской таксѣ, чѣмъ и утѣшался, трактуя свою жену не иначе, какъ своею квартирною хозяйкой, до которой ему не было и нѣтъ никакого дѣла. Но та же справедливость, которая обязывала насъ предъявить читателю эти соображенія Висленева, обязываетъ не скрывать и того, что Іосафъ Платоновичъ имѣлъ этотъ расчетъ только *въ теоріи* и о практической его сторонѣ мало думалъ. Полгода прошло, а не заплачено было ни копейки и ни копейки не было въ сбереженіи: расходъ былъ вѣренъ съ приходомъ, и въ запасѣ круглый нуль. Въ такихъ положеніяхъ всѣ благородные и безразсчетливые люди бываютъ очень уступчивы и щедры на обязательства, и Іосафъ Платоновичъ, не возразивъ ни одного слова противъ безчестнаго требованія съ него денегъ на содержаніе многочисленнаго чужого семейства, гордо отвѣчалъ, что онъ теперь, къ сожалѣнію, не можетъ произвесть всего этого, по правдѣ сказать, неожиданнаго платежа, но что онъ готовъ признать долгъ и подписать обязательство.

Алина язвительно просила его разсѣять ея недоумѣнія: въ какихъ соображеніяхъ онъ назвалъ неожиданностью расходъ на семейство? Висленевъ, въ свою очередь, не менѣе язвительно попросилъ уволить его отъ всякихъ объясненій, и, не провѣряя представленнаго счета, взялъ и подписалъ

его, взглянувъ только на послѣдній итогъ въ три тысячи рублей, итогъ, какъ объяснила ему жена, отнюдь небольшой, потому что въ Петербургѣ, живучи прилично, съ семействомъ въ пять душъ, съ тремя прислугами и кормилицей, менѣе шести тысячъ рублей въ годъ издержать невозможно.

Висленевъ на это не отвѣчалъ ни однимъ словомъ: онъ понималъ всю низость совершенной съ нимъ продѣлки и презиралъ ее.

— Три эти тысячи, которыя я обязался ей заплатить, я ей выплачу,—говорилъ онъ Гордановy:—но согласись самъ, что вѣдь это съ ихъ стороны ужасная низость заставлять меня содержать ихъ семью.

— Свинья!—коротко отвѣчалъ ему Гордановъ, которому Іосафъ Платоновичъ единому только слагалъ свои жалобы на семейныя обиды, потому что Ванскокъ совершенно охладѣла къ нему послѣ его женитьбы.

Гордановy Іосафъ Висленевъ сообщалъ и свои надежды, что эти три тысячи зато будутъ для него послѣднимъ урокомъ, что онъ ихъ выплатитъ, какъ наказаніе за свою неумѣстную довѣрчивость, и откланяется; но пока онъ искалъ средства расплатиться и раскланяться, прошло еще полгода, и ему былъ предъявленъ второй счетъ на такую же сумму, отъ признанія которой не было возможности уклоняться послѣ того, какъ эта статья разъ уже была признана, и Висленевъ явился должникомъ своей жены уже не на три, а на шесть тысячъ рублей.

— Вотъ къ чему ведутъ эти Меридіановскія штуки,—говорилъ онъ Гордановy, изъ столь общаго почти всѣмъ людямъ желанія отыскать какого бы то ни было сторонняго виновника своихъ бѣдъ и напастей.

— А, я тебѣ говорилъ! я тебѣ говорилъ! тысячу разъ говорилъ: эй, Іосафъ, мнѣ этотъ Меридіановъ подозрителенъ! Но тебя развѣ можно было увѣрить!—успокаивалъ его Гордановъ.

— Помилуй скажи: вѣдь какъ было не вѣрить? Казалось, такой простой, дремучій семинаристъ...

— Да, да, да, это казалось; а ты вѣрно позабылъ, что *казалось*—это пресквернoе слово: казалось, это козалилось, оба звѣри рѣзвые и оба звѣри рогатые.

— Ну, да чортъ ихъ возьми: я выплачу, и дѣло съ концомъ.

— Да разумѣется: какъ выплачешь, такъ и ну ихъ тогда ко всѣмъ дьяволамъ.

— Я говорю выплочу, а не выплачу,—поправлялъ Висленевъ.

Гордановъ посмотрѣлъ на него пристальнымъ и удивленнымъ взглядомъ, и потомъ, быстро сплюнувъ на сторону, воскликнулъ:

— Фу ты, какая глупость! Извини, пожалуйста, что я тебя не такъ понялъ.

Висленевъ извинялъ, хотя въ умѣ своемъ онъ уже коечто смекалъ и насчетъ Горданова, и говорилъ съ нимъ о своихъ семейныхъ дѣлахъ болѣе по привычкѣ и по неотразимой потребности съ кѣмъ-нибудь говорить, при неимѣніи подъ рукой другого лица, удобнаго для излитія въ душу его своихъ скорбей, а между тѣмъ истекъ третій семестръ, и явился новый трехтысячный счетъ... Висленевъ, подписавъ этотъ счетъ, остолбенѣлъ: долгу было девять тысячъ рублей, въ полтора года! Сколько же его могло накопиться впередъ? Въ десять лѣтъ — шестьдесятъ тысячъ, въ двадцать — сто двадцать... До чего же, наконецъ, дойдетъ? Это значитъ: чѣмъ больше жить, тѣмъ хуже.

Бѣдный Висленевъ не предвидѣлъ еще одного горя: онъ ужасался только того, что на немъ растутъ записи и что такимъ образомъ на немъ лѣтъ черезъ пятьдесятъ причтется триста тысячъ, безъ процентовъ и рекамбій; но другими дѣло было ведено совсѣмъ на иныхъ расчетахъ, и Іосафу Платоновичу въ половинѣ четвертаго полугодія всѣ его три счета были предъявлены къ уплатѣ, сначала домашнимъ, келейнымъ образомъ, а потомъ и чрезъ посредство подлежащей власти.

У Висленева въ груди заколыхались слезы, и онъ бросился къ Горданову.

— Помилуй, Павелъ Николаичъ!—заговорилъ онъ, щипля дрожащими руками свою короткую губу, — на что же это похоже? Ты все знаешь? тебѣ извѣстны и наши дѣла, и мое положеніе: чего же они, разбойники, пристаютъ ко мнѣ съ ножомъ къ горлу? Я заплачу, но дайте же мнѣ срокъ!

— О срокахъ ты, голубушка, Іосафъ Платонычъ, не го-

вори: сроковъ тебѣ было дано много,—отвѣчалъ спокойно Гордановъ.

— Да; много сроковъ, но много и дѣлъ на меня было взвалено: я совсѣмъ не имѣлъ времени работать за хлопотами то объ усыновленіяхъ, то о наслѣдствѣ, а теперь еще, вдобавокъ, требуютъ не девять тысячъ, а гораздо болѣе, потому что насчитали всякіе проценты да рекамбіи...

— Все дѣла законныя.

— Законныя! Ты меня злишь этимъ своимъ равнодушіемъ и законностью. Ты будь человѣкомъ и имѣй сердце съ четырьмя желудочками: вѣдь вонъ смотри, мнѣ суютъ на подпись еще особый счетъ въ шестьсотъ рублей, на двое крестинъ, по триста рублей на каждыя!

— Что же, это, воля твоя, немного.

— Немного! Да за что мнѣ и эту немногость платить? За что, я тебя спрашиваю? за что! Вѣдь надо знать нашу жизнь!

— Ну какъ же ты хочешь, чтобы я зналъ то, чего я не знаю и знать не могу.

— Такъ я тебѣ разскажу, чтобы ты зналъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Бога ради и не думай разсказывать! Я знаю одно, что между мужемъ и женой никакихъ посредниковъ быть не должно, и ни въ чьи семейныя тайны не мѣшаюсь.

— Тайны! тайны!—вскипѣлъ вдругъ Висленевъ. — Нѣтъ же, дружище, если вы хотите называть тайнами всякія разбойничьи мерзости, такъ я сдѣлаю всѣ эти тайны явными: я все это выведу наружу и подамъ просьбу въ судъ!

— Ну вотъ, еще этого недоставало!

— А что же такое? непремѣнно подамъ!

— Полно, пожалуйста, срамиться!

— Чего срамиться? Все это вздоръ, никакого срама нѣтъ: теперь всѣ судятся.

— Ну да, обрадовались уже, что судъ у нихъ есть, такъ и валятъ, и комаръ, и муха. Брось эту мысль, брось! На кого и на что ты будешь жаловаться? Живешь ты съ женой въ одномъ домѣ, ты законный, въ церкви вѣнчанный мужъ, и стало-быть и законный отецъ, и всѣ требованія отъ тебя на содержаніе семейства и на похороны вполнѣ правильны, и судъ разсудитъ тебя точно такъ же, какъ я тебя разсудилъ. А что платить женѣ признанныя тобою

обязательства ты обязанъ, такъ это тоже безспорно. Будь это во Франціи, или въ Англіи, это было бы иное дѣло: тамъ замужняя женщина вся твоя; она принадлежитъ мужу съ тѣломъ, съ душой и, что всего важнѣе, съ состояніемъ, а наши законы, ты знаешь, тянутъ въ этомъ случаѣ на бабью сторону: у насъ что̀ твое, то ея, потому что ты, какъ мужъ, обязанъ содержать семью, а что̀ ея, то не твое; не хочетъ дѣлиться, такъ и не подѣлится, и ничего съ нея не возьмешь.

Висленевъ погрозилъ, что онъ станетъ искать развода, но Гордановъ надъ этимъ только расхохотался.

— Полно тебѣ, пожалуйста, людей смѣшить, — сказалъ онъ пріятелю:—какіе такіе у насъ разводы, и съ чѣмъ ты станешь добиваться развода, и на какихъ основаніяхъ? Только одинъ скандалъ и больше ничего.

— Я на себя приму вину.

— А она великодушно проститъ тебѣ твое прегрѣшеніе, вотъ только и взялъ.

— Это чортъ знаетъ что!

— Именно чортъ знаетъ что̀, но дѣлать нечего: повѣсился и мотайся, у насъ женатый человѣкъ закрѣпощенъ женщинѣ, закрѣпощенъ.

— Пусть же будетъ хоть скандалъ! Пусть хоть все вскрою, все изобличу, что̀ дѣлаютъ новыя женщины.

— Во-первыхъ, не изобличишь, потому что ничего не докажешь; во-вторыхъ, ничего не разоблачишь, потому что эти дѣла производятся не гласно; а въ-третьихъ, сдѣлаешь подлость, потому что тронешь свѣжую рану, и тебя такъ взлупятъ въ каждомъ шелудивомъ листкѣ, что ты станешь притчей во языцѣхъ.

Висленевъ онѣмѣлъ.

Гордановъ это замѣтилъ и налегъ на эту тему.

— Что?— заговорилъ онъ. — Вспомни-ка, какъ ты самъ стегалъ людей и жарилъ за противодѣйствіе женамъ? Вспомни-ка, милый другъ, вспомни все это, да примѣрь на себя. Хорошо тебѣ будетъ, какъ твои прецеденты-то въ судѣ такъ и замрутъ при закрытыхъ дверяхъ, а въ газетахъ пойдутъ тебя жарить? Оправдываться, что ли, станешь?

— А что же такое? И стану. Ты думаешь не стану? Нѣтъ, братъ, меня перепилили: я уже на все пойду.

— И выйдешь тогда уже,—извини, пожалуйста, — круглый дуракъ.

— Отчего-съ?

— Да оттого же.

— Да отчего же, скажи, отчего именно?

— Оттого, что кто же это, какая газета, по твоему мнѣнію, усердно предложитъ тебѣ свои столбцы для твоихъ скандальныхъ жалобъ на жену?

— Не безпокойся, пожалуйста, найду такую.

— Ничего ты не найдешь. Брось, говорю тебѣ, выбрось совсѣмъ вонъ изъ головы эту негодную мысль судиться. Не надо было жениться на-оболмашь, а женился—терпи.

— Да вѣдь надо знать, какъ я женился и почему.

Висленевъ никогда никому не говорилъ настоящей причины, почему онъ женился на Алинѣ Фигуриной, и былъ твердо увѣренъ, что секретную исторію о его рукописномъ аманатѣ знаетъ только онъ да его жена, которой онъ никому не хотѣлъ выдать съ ея гнусною исторіей, и несъ все на себѣ, увѣряя всѣхъ и каждаго, что онъ женился изъ принципа, чтобъ освободить Алину отъ родительской власти, но теперь, въ эту минуту озлобленія, Горданову показалось, что Іосафъ Платоновичъ готовъ сдѣлать его повѣреннымъ своей тайны, и потому Павелъ Николаевичъ, желавшій держать себя отъ всего этого въ сторонѣ, быстро зажалъ себѣ обѣими руками уши и сказалъ:

— Бога ради! Бога ради: я ничего не стану слушать и мнѣ вовсе не надо знать, какъ и почему ты женился? Это опять ваше семейное дѣло, и честно ли, подло ли что тутъ дѣлалось — въ томъ ни я, ни кто другой не судья.

— Но дѣло въ томъ, что это все дѣлалось подло.

— Тѣмъ хуже для тебя,—отвѣчалъ, открывая уши, Гордановъ: — но зато тѣмъ важнѣе твоя заслуга.

— Предъ кѣмъ это?

— А предъ принципомъ: сноси, терпи свѣжую рану и не открывай ея. Что дѣлать, любезный! Некрасовъ прекрасно гдѣ-то сказалъ: «Вѣкъ жертвъ очистительныхъ проситъ».

Висленевъ, выбросивъ за окно только-что закуренную сигару и вскочивъ въ негодованіи со стула, воскликнулъ:

— Что ты мнѣ рацеи-то разводишь объ очистительныхъ жертвахъ? Стань-ка самъ, любезный другъ, жертвой-то!

Нѣтъ, ты, видно, богословъ, да не однословъ: ты когда-то совсѣмъ не то говорилъ, когда я стоялъ за самопожертвованіе, а ты принесъ свой поганый, все перепортившій дарвинизмъ съ его борьбой за существованіе! Я борюсь за мое существованіе; да; чортъ возьми! да... за существованіе! Они или я, кто-нибудь одинъ. Они меня стерли; даже имя мое стерли: меня зовутъ не иначе какъ «Алинкинъ мужъ», мнѣ даже повѣстку прислали: «Мужу Алины Дмитріевны Висленевой»... Нѣтъ! Я не хочу слушать никакихъ вашихъ новыхъ хитростей, да... Не хочу быть «Алинкинымъ мужемъ»!

Висленевъ быстро бросился въ уголъ и закрылъ глаза носовымъ платкомъ, изъ-подъ котораго послышались тихія нервныя всхлипыванья.

Гордановъ молча чистилъ ногти и, наконецъ, тихо проговорилъ:

— Ты больше ничего какъ сумасшедшій, съ которымъ нельзя ни о чемъ разсуждать.

Висленевъ тотчасъ же отпрянулъ изъ угла на средину комнаты и, не скрывая болѣе своихъ слезъ, закричалъ горячимъ нервнымъ голосомъ:

— Что, сумасшедшій? Что такое я сказалъ, что со мною нельзя разсуждать? А! нельзя разсуждать! Знаю я, Павелъ Николаичъ, все я знаю, все знаю, почему со мною нельзя разсуждать.

Онъ сжалъ кулаки и, поднявъ ихъ надъ своею головой, сдѣлалъ къ Горданову шагъ и заговорилъ голосомъ твердымъ и сильнымъ:

— Со мною нельзя разсуждать потому, что я говорю правду, что я вопію къ человѣческому правосудію и состраданію; потому что я убитъ, да, да, убитъ, уничтоженъ; что у меня ничего нѣтъ, и съ меня нечего взять, а съ Алиной Дмитріевной и съ Кишенскимъ можно дѣла дѣлать... Гм! — взглянулъ онъ, заскрипѣвъ зубами и ринувшись впередъ на Горданова: — такъ вотъ же дѣлайте, подлецы, дѣлайте со мною, что вы хотите! Дѣлайте, а я васъ не боюсь.

И съ этимъ Іосафъ Платоновичъ, дойдя до высшей степени раздраженія, пошатнулся, упалъ въ кресло и, легши руками на столъ, заколотилъ ожесточенно лбомъ о доску.

Гордановъ, вскочившій въ то мгновеніе, когда Висленевъ

сдѣлалъ къ нему послѣдній шагъ, и столвшій съ насупленными бровями и со стуломъ въ рукѣ во все время произнесенія Висленевымъ послѣднихъ ожесточенныхъ словъ, при видѣ послѣдующаго припадка, бросилъ стулъ и, наливъ изъ графина стаканъ воды, выплеснулъ его издали на голову несчастнаго мученика.

Висленевъ встрепенулся, обвелъ вокругъ комнату жалкимъ, помутившимся взглядомъ и, вздрогнувъ еще разъ, оперся одною рукой на столъ, а другою досталъ изъ кармана зубочистку и сталъ тщательно чистить ею въ зубахъ.

Выплеснутая на него вода сбѣгала теперь мелкими серебристыми каплями съ его волосъ, съ пальцевъ его дрожащихъ рукъ, съ его платья, съ его сомлѣвшихъ колѣнъ: словно все существо его плакало, и слезы его лились на полъ той самой комнаты, гдѣ за два года предъ этимъ онъ былъ проданъ какъ парія, какъ послѣдній крѣпостной раскрѣпощенной Россіи.

Видъ его былъ страшно печаленъ и жалокъ; жалокъ до такой степени, что онъ опять шевельнулъ если не сердце Гордановa, который сердцемъ никогда никого не пожалѣлъ, то его нервы, такъ какъ отъ этого рода сожалѣнія не свободны и злые люди: видъ безпомощнаго страданія и имъ тяжелъ и непріятенъ.

Гордановъ подошелъ къ своему камину, взялъ съ него два чугунные шара, которыми производилъ домашнюю гимнастику, и, подойдя съ ними къ окну, помахалъ ими взадъ и впередъ и потомъ, кашлянувъ два раза, сказалъ:

— Свидѣтельствуюсь всѣмъ, что мнѣ тебя отъ души жалко, и если бъ я могъ тебѣ помочь,—я бы охотно помогъ тебѣ.

— Благодарю,—отвѣчалъ спокойно Висленевъ.

Гордановъ бросилъ одну пару шаровъ за диванъ и съ другою подошелъ къ графину, налилъ новый стаканъ воды и подалъ его Висленеву.

Тотъ взялъ стаканъ и быстро его выпилъ, жадно глотая воду, такъ что глотокъ нагонялъ глотокъ и звонко щелкалъ въ его взволнованной горячей груди.

— Погоди,—началъ Гордановъ, видя, что больной гость его успокаивается:—погоди, у меня есть планъ, я не скрою отъ тебя, что у меня есть вѣрный планъ, по которому я достигну, чего я хочу: я буду богатъ... я буду очень богатъ.

— Я вѣрю, — отвѣчалъ Висленевъ.

— Мой планъ нерушимъ и неотразимъ: онъ никому не могъ придти въ голову, кромѣ меня, хотя онъ простъ, какъ Колумбово яйцо.

— Что же мнѣ изъ этого?

— Что тебѣ?—странный вопросъ. Я тебѣ скажу болѣе: я работалъ, я эти два года страшно работалъ, и у меня есть деньги...

— Я это знаю,—уронилъ Висленевъ, и самъ всталъ съ своего мѣста, налилъ себѣ самъ стаканъ воды, такъ же жадно выпилъ ее глотками, погонявшими глотокъ, и, вздохнувъ, быстро сбросилъ съ себя пиджакъ, разстегнулъ жилетъ и легъ на диванъ.

— Прошу тебя, положи на мѣсто твои шары, — я съ тобою драться не стану, — проговорилъ онъ, отворачиваясь отъ свѣта.

— Да я это совсѣмъ и не для того...

— Ну, такъ положи ихъ, пожалуйста, на мѣсто: нечего уже бить битаго.

— Такъ что же ты, не хочешь, что ли, и слушать?

— Нѣтъ; говори, мнѣ все равно: я слушаю.

— Я, конечно, могъ бы тебѣ дать десять тысячъ или двѣнадцать... Сколько тамъ они на тебя насчитали?

— Двѣнадцать.

— Но это для меня равнялось бы самоуничтоженію.

— Повѣрь, что я бы никогда и не принялъ ни отъ кого такой жертвы, а тѣмъ болѣе отъ тебя.

— Почему же это тѣмъ болѣе отъ меня?

— Потому что ты самъ небогатый человѣкъ, и деньги для тебя значатъ много: ты хочешь быть богатымъ.

— Да, и прибавь, я у самой цѣли моихъ желаній и спѣшу къ ней жадно, нетерпѣливо, и она близко, моя цѣль, я почти касаюсь ея моими руками, но для этого мнѣ нуженъ каждый мой грошъ: я трясусь надъ каждою копейкой, и если ты видишь, что я кое-какъ живу, что у меня въ домѣ есть бронза и бархатъ, и пара лошадей, то, любезный другъ, это все нужно для того, чтобы поймать, исторгнуть изъ рукъ тысячи тысячъ людей милліоны, которые они накопили и сберегли для моей не-дурацкой головы! Ты думаешь, мнѣ пріятно возиться съ твоимъ Кишенскимъ и съ твоею Алиною Дмитріевной?.. Да я самъ бы

подложилъ подъ нихъ дровъ, если бы ихъ жарили на медленномъ огнѣ! Ты думаешь, что меня тѣшитъ мой экипажъ или сверканье подковъ моихъ рысаковъ? — нѣтъ; каждый стукъ этихъ подковъ отдается въ моемъ сердцѣ: я самъ бы, чортъ ихъ возьми, съ большимъ удовольствіемъ возилъ ихъ на себѣ, этихъ рысаковъ, чтобы только не платить за ихъ кормъ и за ихъ ковку, но это нужно, понимаешь ты, Іосафъ: все это нужно для того же, для того, чтобы быть богачомъ, милліонеромъ...

— И ты увѣренъ, что этого достигнешь?—спросилъ Висленевъ, переворачиваясь къ нему лицомъ.

— Я не могу этого не достигнуть, Висленевъ! Я тебѣ говорю, что планъ мой — это нѣчто совсѣмъ геніальное, — онъ простъ, какъ я не знаю что, и между тѣмъ онъ никому до сихъ поръ еще не пришелъ въ голову и, вѣроятно, никому не придетъ; но во всякомъ случаѣ: на грѣхъ мастера нѣтъ, и потому надо спѣшить.

— Спѣши же, пожалуйста, спѣши.

— Я и спѣшу; я тебѣ говорю, что я готовъ бы возить на самомъ себѣ по городу моихъ собственныхъ лошадей, если бы мнѣ за это что-нибудь дали, чтобы я могъ скорѣе довести мой капиталъ до той относительно ничтожной цифры, съ которою я дамъ вѣрный, неотразимый ударъ моему почтенному отечеству, а потомъ... потомъ и всему міру, ходящему подъ солнцемъ.

— Твой замыселъ гигантскій!

— Да, гигантскій, небывалый: простой и невѣроятный. Его труднѣе не исполнить, чѣмъ исполнить, но мнѣ нужна ничтожная сумма, какія-нибудь гадостныя двадцать пять, тридцать тысячъ рублей.

— И неужто же ты не найдешь на такое вѣрное дѣло компаньона?

— Компаньона? Ты дитя, Іосафъ! Мое великое, громадное предпріятіе совсѣмъ не акціи, не концессіи, — оно столько же не желѣзныя дороги, сколько и воздухоплаваніе.

— И не избіеніе же это человѣческаго рода, не разбойное нападеніе на всѣхъ капиталистовъ?

— Фи, милый мой: оставимъ это дурачество глупымъ мальчишкамъ, играющимъ въ соціалисты! Нѣтъ; я тебѣ повторяю, что все это проще лыковаго лаптя, проще лукошка,

но компаньонъ мнѣ невозможенъ потому, что всякій компаньонъ захочетъ знать, въ чемъ заключается мой замыселъ, а я, понятно, этого не хочу; я хочу самъ сжать ниву, и уже серпъ мой въ рукѣ или почти въ рукѣ. Такого компаньона, который бы мнѣ вѣрилъ на-слово, я не нашелъ въ этой толпѣ биржевыхъ кулаковъ, среди которыхъ я бился и колотился эти два года, терпя отъ нихъ всяческія униженія съ моими ничтожными алтынами. И зато я все вытерпѣлъ, и я буду одинъ.

— Будь у меня деньги, я бы тебѣ, кажется, повѣрилъ.

— Спасибо и за то, давай руку и успокойся. Успокойся, Іосафъ: вотъ тебѣ моя рука, что ты не пропадешь! У меня скоро, скоро будетъ столько... столько золота, что я, зажмурясь, захвачу тебѣ пригоршни, сколько обхватятъ мои руки, и брошу тебѣ на разживу съ моей легкой руки.

— Я буду объ этомъ молчать и ждать.

— Жди, — но молчи или не молчи — это мнѣ все равно: дѣло мое превыше всякаго страха, я внѣ всякой конкуренціи и мнѣ помѣшать не можетъ никто и ничто. Впрочемъ, теперь и недолго уже пождать, пока имя Горданова прогремитъ въ мірѣ...

— А ты здоровъ?

— Не бойся, я въ своемъ умѣ, и вотъ тебѣ тому доказательство: я вижу вдали и вблизи: отъ своего великаго дѣла я перехожу къ твоему безконечно маленькому, — потому что оно таково и есть, и ты его самъ скоро будешь считать таковымъ же. Но какъ тебя эти жадныя, скаредныя, грошовыя твари совсѣмъ пересилили...

— Ахъ, братъ, пересилили, — пересилили и перепилили!

— Ну, вотъ то-то и есть, и ты уже не въ мѣру разпервничался; я вижу, что я, противъ всѣхъ моихъ правилъ и обычаевъ, долженъ вступиться въ твое спасеніе.

— Прошу тебя, если только можешь.

— Конечно настолько, насколько я теперь могу.

— Я невозможнаго и не требую.

— Ну и прекрасно, но, разумѣется, уже зато — чуръ меня слушаться!

— Я никогда не пренебрегалъ твоимъ совѣтомъ, — отвѣчалъ Висленевъ.

— Ну, да, такъ вѣруй же и спасешься: во-первыхъ, вы теперь, я думаю, на ножахъ?

— Я не выхожу изъ своей комнаты и ни съ кѣмъ дома не говорю.

— Глупо.

— Они мнѣ противны.

— Глупо, мой милый, глупо! Bitter Wasser тоже противна, да, однако, ее, вѣдь, глотаютъ, а не дуются на нее. Нѣтъ, ты, я вижу, совсѣмъ античный нигилистъ; тебя хоть въ музей рѣдкостей. Непримиримый, а? Ты непримиримый?

— Хорошо тебѣ смѣяться.

— И ты бы долженъ смѣяться, и тебѣ бы должно быть хорошо, да не умѣешь... Ну, дѣлать нечего: если совѣстливъ, такъ просись пока у жены на оброкъ!

— Куда къ чорту!.. Съ ними ничего не подѣлаешь.

— Ну, успокой ихъ: застрахуй свою жизнь. Что же, если она съ тебя положитъ въ годъ рублей тысячу оброку, можешь же ты еще платить рублей триста въ страховое общество, застраховавши себя въ двѣнадцать тысячъ?

— Покорно васъ благодарю,—отвѣчалъ, иронически улыбнувшись, Висленевъ.

— За что меня благодарить? Я тебѣ даю лучшій совѣтъ, какой только возможно. Плати оброкъ, дай имъ свой страховой полисъ въ обезпеченіе долга и будь снова свободнымъ человѣкомъ, и я возьму тебя къ своему предпріятію.

— Я ни за что себя не застрахую.

— Это почему?

— Почему?.. А ты не догадываешься?

— Умереть, что ли, боишься?

— Да; суевѣренъ немножко.

— Думаешь, что они тебя отравятъ.

— Разумѣется, какъ пить дадутъ. Теперь вѣдь я имъ все попридѣлалъ и Елена Дмитріевна будетъ вдова Висленева, чего же имъ ждать и отчего не взять за меня двѣнадцать тысячъ?

Гордановъ какъ-будто задумался.

— Предупреди ихъ, чортъ ихъ возьми!

Висленевъ посмотрѣлъ на Горданова и тихо отвѣтилъ:

— Повѣрь, мнѣ совсѣмъ не до шутокъ.

Гордановъ отвернулся и закусилъ губу.

— Постой же, — сказалъ онъ. — Если это заходитъ уже такъ далеко, что есть мѣсто и такимъ мрачнымъ подозрѣ-

ніямъ, то я схожу къ нимъ и переговорю, какъ это можно кончить.

— Сдѣлать милость.

— Ты довѣряешь мнѣ?

— Даже прошу.

— Такъ оставайся же здѣсь, а я пойду, и черезъ часъ, много черезъ два, ты будешь имѣть результатъ моего свиданія. Не обѣщаю тебѣ ничего, но надѣюсь, что въ ту ли или въ другую сторону положеніе твое выяснится.

— Только бы выяснилось.

— Ну, и прекрасно! А по оброку идти ты согласенъ?

— Разумѣется! Только ты же поторгуйся. Тысячу рублей это много: вѣдь можно и заболѣть, и всякая штука, а ужъ онъ вѣдь не помилуетъ.

— Ладно, поторгуемся,—отвѣчалъ Гордановъ, выходя за двери.

Висленевъ остался на минуту одинъ, но вдругъ бросился вслѣдъ за Гордановымъ, догналъ его на лѣстницѣ и сказалъ, что онъ согласенъ платить женѣ въ годъ даже и тысячу рублей, но только съ тѣмъ, чтобы съ него не требовали этихъ денегъ въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ его оброчнаго положенія, а взяли бы на эту сумму впередъ за три года вексель.

Гордановъ принялъ это къ свѣдѣнію, молча качнулъ Висленеву головой и уѣхалъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Висленевъ являетъ натуру.

Въ продолженіе двухъ часовъ, которые Іосафъ Платоновичъ провелъ въ квартирѣ Горданова, расхаживая по комнатѣ и кусая себѣ въ волненіи ногти, Павелъ Николаевичъ все велъ переговоры, и наконецъ, возвратился немного разсерженный и на первыхъ же порахъ изругалъ Кишенскаго и Алину самыми энергическими словами.

Висленевъ, видя такое состояніе своего друга, оробѣлъ.

— Что же такое они говорятъ? — приставалъ онъ, юля около Горданова.

— Что, любезный, говорятъ? Подлецы они оба и скареды, и больше ничего.

— Я тебѣ говорю, что это пятакъ-пара!

— Пара! Нѣтъ, жена твоя еще лучше, съ ней бы еще можно ладить.

— Она умнѣе.

— И умнѣе, и разсудительнѣе; а ужъ тотъ — вотъ гадина-то! И что у него за улыбка за подлая! Замѣтилъ ты или нѣтъ, какъ онъ смѣется? Въ устахъ нѣтъ никакого движенія: сейчасъ же хи-хи, и опять все лицо смирно.

— Ну, что же они говорятъ-то? Что?

— Я имъ сказалъ, разумѣется, все...

— Ну?

— И разъяснилъ имъ или, по крайней мѣрѣ, старался имъ разъяснить, что такъ гнести человѣка нельзя, что это нестерпимо, что тебѣ надо дать передышку.

Гордановъ не вралъ, все это онъ за минуту дѣйствительно представлялъ и Кишенскому, и Висленевой.

— Ну, и что же они тебѣ отвѣчали?—нетерпѣливо приставалъ злополучный Висленевъ.

— Отвѣтъ ихъ прямъ какъ шестъ: они тебя отпускаютъ.

Висленевъ благодарственно перекрестился.

— Но отпускаютъ съ условіями: во-первыхъ, переписать долгъ твоей женѣ на вексель, на имя Кишенскаго, въ восемнадцать тысячъ.

— Ну?

— Говорятъ, что полученіе съ тебя сомнительно, могутъ потребоваться расходы и тому подобное, и что потому иначе нельзя, какъ приписать полтину на рубль, что другіе даже пишутъ вдвое и втрое.

— Ну, ну, я слушаю.

— Во-вторыхъ, вексель долженъ быть не срочный, а «по предъявленіи», но они ручаются, что въ теченіе года они тебя не побезпокоятъ.

— Я говорилъ въ теченіе трехъ лѣтъ.

— И я имъ это тоже говорилъ, но они находятъ это неудобнымъ и указываютъ на возможность гораздо скорѣйшаго расчета съ твоей стороны.

— Это любопытно!

— У тебя есть недвижимая собственность?

— Это вздоръ; у меня была часть въ домѣ, принадлежащемъ нынче сестрѣ моей Ларисѣ, но я давно уступилъ ей мою часть по формальному акту.

— По дарственной записи? Что же, дарственная запись документъ поворотный: есть законъ, по которому даръ дарителю возвращается.

Висленевъ побѣднѣлъ.

— Дальше? — спросилъ онъ нетерпѣливо: — что дальше? Говори, пожалуйста, сразу все, чего эти разбойники хотятъ?

— Они думаютъ, что половину долга, то-есть девять тысячъ съ небольшимъ, ты уплатишь имъ своею частью на домѣ, уничтоживъ дарственную твоей сестрѣ.

— Да!

— А половину они будутъ ждать, и ты долженъ будешь платить всего тысячу двѣсти рублей въ годъ женѣ на содержаніе ея съ четырьмя дѣтьми (что, должно сознаться, вовсе не дорого), и только соблюсти всѣ формы по застрахованію своей жизни, полисъ на которое будетъ служить обезпеченіемъ второй половины долга, но премію будетъ за тебя платить твоя жена. Вотъ и всѣ ихъ условія.

— Всѣ! Всѣ? Ты говоришь: всѣ?—крикнулъ, побагровѣвъ, Висленевъ. — Такъ прошу же тебя, доверши мнѣ твои услуги: съѣзди еще разъ на твоихъ рысакахъ къ нимъ, къ этимъ подлецамъ, пока они не уѣхали на своихъ рысакахъ на пуантъ любоваться солнцемъ, и скажи имъ, что дѣло не подается ни на шагъ, что они могутъ дѣлать со мной, что имъ угодно: могутъ сажать меня въ долговую тюрьму, въ рабочій домъ, словомъ, куда только могутъ, но я не припишу на себя болѣе ни одной лишней копейки долга; я не стану себя застраховывать, потому что не хочу дѣлать мою кончину выгодною для моихъ злодѣевъ, и ужъ навѣрное (онъ понизилъ голосъ и, весь побагровѣвъ, прохрипѣлъ)... и ужъ навѣрное никогда не коснуся собственности моей сестры, моей бѣдной Лары, которой я обѣщался матери моей быть опорой и отъ которой самъ удалилъ себя, благодаря... благодаря... окутавшей меня подтасованной разбойничьей шайкѣ... Скажите имъ, скажите имъ, Павелъ Николаевичъ, что я жалѣю о томъ времени, когда я сидѣлъ послѣдній разъ въ тюрьмѣ и не умѣлъ терпѣливо предоставить себя своей судьбѣ, но я это поправлю.

И онъ съ этимъ схватилъ фуражку и быстро бросился къ двери, но Гордановъ удержалъ его за руку, посадилъ на диванъ и, выбѣжавъ вонъ со шляпой на головѣ, заперъ гостя на ключъ.

Путь, на который обратился Гордановъ, былъ тотъ же самый, съ котораго онъ только-что возвратился. Павелъ Николаевичъ дѣйствительно возвратился къ Кишенскому и Алинѣ, и былъ такимъ горячимъ защитникомъ Висленева, что Іосафъ Платоновичъ въ данномъ случаѣ даже и не могъ бы пожелать себѣ лучшаго адвоката предъ его тиранами.

Гордановъ просто ругался за своего кліента, и ругался страстно и спорилъ логично и доказательно. Онъ доказывалъ Кишенскому, что поступки его съ Висленевымъ превосходятъ всякую мѣру человѣческой подлости; что терпѣніе жертвы ихъ, очевидно, перепилено, что это неразсчетливо и глупо доводить человѣка до отчаянія, потому что человѣкъ безъ надежды на спасеніе готовъ на все, и что Висленевъ теперь именно въ такомъ состояніи, что онъ изъ мести и отчаянія можетъ пойти и самъ обвинить себя невѣдомо въ какихъ преступленіяхъ, лишь бы предать себя въ руки правосудія, отомстя тѣмъ и Кишенскому, и женѣ. При этомъ Гордановъ описалъ яркими красками состояніе, въ которомъ онъ оставилъ у себя подъ замкомъ Висленева.

— Я не ручаюсь даже,—добавилъ онъ:—что въ то время, когда мы съ вами разсуждаемъ, онъ, пожалуй, или спустился внизъ изъ окна по водосточной трубѣ, или, что еще хуже, удавился у меня въ спальнѣ на полотенцѣ. Такъ, господа, нельзя.

Кишенскій продолжалъ во время этихъ рѣчей злобно хихикать, непосредственно за смѣхомъ принимая самыя серьезныя мины, но жена Висленева, слушавшая Горданова со вниманіемъ, согласилась съ нимъ во всемъ, и сама сказала:

— Да, такъ нельзя.

— Конечно,—поддержалъ Гордановъ: — вы со своею неумытною жестокостью съ нимъ похожи на хозяина, зарѣзавшаго курицу, которая несла золотыя яйца.

— Не видали мы отъ него до сихъ поръ этихъ золотыхъ яицъ,—отвѣчалъ Кишенскій, мгновенно улыбнувшись и насупясь.

— По крайней мѣрѣ несъ хоть мѣдныя, а все не изъ кармана, а въ карманъ, — возразилъ Гордановъ.

— Да, да; это неправда: онъ намъ былъ полезенъ,—вмѣшалась Алина.

— Полезенъ поневолѣ, — вставилъ Кишенскій.

— Ну, по волѣ ли, или поневолѣ, но все-таки я не хочу его четвертовать заживо, это вовсе не нужно.

— И это вовсе невыгодно, — поддержалъ Гордановъ.

— Да, это совсѣмъ не нужно: ему надо дать передышку.

— Разумѣется! Ничего болѣе и не нужно, какъ передышку. Кто вамъ говоритъ, чтобы вы его выпустили какъ птицу на волю? Ужъ навѣрно не я стану вамъ это предлагать, да и онъ уже такъ загонялся, что самъ этого не требуетъ, но дайте же ему передохнуть, чтобъ онъ опять вамъ пригодился. Пусть онъ станетъ хоть немножко на ноги и тогда мы опять его примахнемъ.

— Конечно, это такъ, — рѣшила Алина и занялась соображеніями относительно того, какъ устроить отпускъ мужа на наилегчайшихъ для него и выгоднѣйшихъ для нея условіяхъ.

Въ этихъ соображеніяхъ Гордановъ принялъ ближайшее участіе, не стѣсняясь нимало молчаніемъ Кишенскаго, и черезъ часъ времени было положено: взять съ Іосафа Платоновича вексель въ пятнадцать тысячъ рублей «по предъявленію» съ тѣмъ, чтобы на словѣ онъ былъ спокоенъ, что этого предъявленія въ теченіе трехъ лѣтъ не послѣдуетъ, и затѣмъ дать ему свободу на всѣ четыре стороны.

Кишенскій имѣлъ что-то возразить противъ этой резолюціи, но Алина ее отстояла, и Гордановъ принялъ ее и привезъ Висленеву, котораго засталъ у себя дома крѣпко спящимъ.

Висленевъ былъ очень доволенъ резолюціей, и сразу на все согласился.

— Однако, знаешь ли: она, значитъ, все-таки безъ сравненія лучше этого подлеца, который такъ расписываетъ о беззаконности собственности, — сказалъ онъ Горданову, когда тотъ передалъ ему весь планъ въ довольно справедливомъ изложеніи.

— О, Господи, есть ли что равнять? — отозвался Гордановъ.—Она игрокъ, а это шушера. Пей вотъ вино!

Вина было выставлено много и ужинъ богатый.

— Скажи, однако, за что же она его любитъ? — любопытствовалъ Висленевъ, сидя на чистой простынѣ застланнаго для него дивана.

— Другъ! Что̀ есть любовь?—отвѣчалъ Павелъ Николаевичъ.—Онъ ей нравится.

— Правда, правда.

— И ты ей тоже, можетъ-быть, нравишься. Даже, можетъ-быть, и болѣе... Чортъ ихъ, братъ, знаетъ: помнишь, какъ это Гейне говоритъ: «не узнаешь, гдѣ у женщинъ ангелъ съ дьяволомъ граничитъ». Во всякомъ случаѣ сегодня она вела себя въ отношеніи тебя прекрасно.

Висленевъ молча каталъ шарикъ изъ хлѣба, улыбался и пилъ, и наконецъ сказалъ:

— Знаешь, Гордановъ: я понимаю въ одномъ мѣстѣ короля Лира.

— Въ какомъ?—вопросилъ Гордановъ.

— Когда онъ при видѣ неблагодарныхъ Реганы и Гонерильи говоритъ: «и злая тварь *мила* въ сравненьи съ тварью злѣйшей».

— И благо тебѣ, и благо тебѣ! — завершилъ Гордановъ, наливая Висленеву много и много вина и терпѣливо выслушивая долгія его сказанія о томъ: какъ онъ нѣкогда любилъ Alexandrine Синтянину и какъ она ему внезапно измѣнила, и о томъ, какъ танцовщица, на которой одновременно съ нимъ женился Бабиневичъ, разссорясь съ своимъ адораторомъ-княземъ, просто-напросто пригласила къ себѣ своего законнаго мужа Бабиневича, и какъ они теперь умилительно счастливы; и наконецъ о томъ, какъ ему, Висленеву, все-таки даже жаль своей жены, во всякомъ случаѣ стоящей гораздо выше такой презрѣнной твари, какъ жидъ Кишенекій, котораго она любитъ.

Гордановъ намекнулъ Висленеву, что и ему ничто не мѣшаетъ довести свои дѣла до того же, до чего довелъ свои брачныя дѣла его товарищъ и современникъ Бабиневичъ.

Пьяный Висленевъ забредилъ на эту ноту, и «злая тварь», которая до сей поры была только немножко мила «въ сравненьи съ тварью злѣйшей», стала уже казаться ему даже совсѣмъ милою, даже очень милою. Ему стала мерещиться даже возможность возстановленія семейнаго счастія.

Гордановъ лилъ вино не жалѣя, и самъ, далеко за полночь, уложилъ Іосафа Платоновича въ постель, а утромъ уѣхалъ по дѣламъ, пока Висленевъ еще спалъ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Гордановъ спотыкается на ровномъ мѣстѣ.

Павелъ Николаевичъ Гордановъ нимало не лгалъ ни себѣ,

ни людямъ, что онъ имѣлъ оригинальный и вѣрный планъ быстраго и громаднаго обогащенія. У него дѣйствительно былъ такой планъ, и въ ту минуту, до которой доведена наша исторія, Гордановъ дѣйствительно былъ уже близокъ къ его осуществленію. Этотъ достойный всеобщаго вниманія планъ, тщательно скрываемый отъ всѣхъ и отъ каждаго геніальнымъ въ своемъ родѣ Павломъ Николаевичемъ, долженъ быть принятъ и читателями до нѣкотораго времени на вѣру. Впрочемъ, личный характеръ солиднаго и дальнозоркаго Горданова, вѣроятно, сдѣлаетъ такое довѣріе со стороны читателя неособенно труднымъ. Гордановъ не могъ увлекаться мыслями вздорными и несбыточными, и онъ дѣйствительно имѣлъ секретъ, который былъ не чета всѣмъ до сихъ поръ распубликованнымъ секретамъ нажить милліонъ трудами да бережливостью. Гордановскій рецептъ совсѣмъ иного свойства: по быстротѣ и вѣрности его дѣйствія несомнѣнно долженъ удивить всѣхъ и, конечно, удивитъ, когда съ развитіемъ нашей исторіи онъ перестанетъ быть секретомъ для міра и сдѣлается общимъ достояніемъ.

У Павла Николаевича теперь, какъ мы видѣли, дѣло шло о полученіи въ свои руки «какихъ-нибудь несчастныхъ двадцати пяти или тридцати тысячъ», и онъ уже былъ близокъ къ обладанію этимъ основнымъ капиталомъ, изъ котораго въ полгода должны были народиться у него милліоны.

Все, что Гордановъ говорилъ Висленеву насчетъ своей готовности возить на себѣ своихъ собственныхъ лошадей, еслибъ онѣ платили, все это была сущая правда. Два года женатой жизни Висленева Гордановъ провелъ въ неусыпнѣйшихъ трудахъ, таская на себѣ скотовъ, гораздо менѣе благородныхъ, чѣмъ его кони. Два года тому назадъ, когда онъ, только слегка намѣтивъ свой планъ, бросилъ службу и пріѣхалъ въ Петербургъ, у него не было ничего, кромѣ небольшого, заложеннаго и перезаложеннаго хуторка, не имѣющаго уже никакой цѣны, да двухъ-трехъ тысячъ наличности, собранной на службѣ изъ жалованья и наградъ, которыя онъ получалъ, благодаря его усердію, рачительности и талантамъ. Продавъ Алинѣ и Кишенскому Висленева, онъ получилъ за него девять тысячъ рублей, итого всего имѣлъ около одиннадцати тысячъ. Для того, чтобы начать

операцію съ милліонами, ему недоставало гораздо болѣе того, что онъ имѣлъ, а время было дорого, надо было наживать быстро, и притомъ нельзя было дозволять себѣ никакого риска. Вслѣдствіе этого Павелъ Николаевичъ не предпринялъ никакихъ аферъ: онъ не искалъ концессій и не игралъ бумагами, а просто сдѣлался компаньономъ Алины по кассѣ ссудъ. Кишенскій, занятый литературой, которая служила ему для поддержки однихъ концессіонеровъ и компаній и для подрыва и униженія другихъ, уже по ссудной кассѣ мало занимался: ею теперь вполнѣ самостоятельно заправляла жена Висленева, и ей-то такой компаньонъ и сотоварищъ, какъ Гордановъ, былъ вполнѣ находкой. Они жили по польской пословицѣ: любяся какъ братья и считаясь какъ жиды, и такимъ образомъ Павелъ Николаевичъ, занимаясь ростовщичествомъ и маскируя это ремесло свѣтскимъ образомъ жизни и постояннымъ вращательствомъ въ средѣ капиталистовъ второй и даже первой руки, къ концу второго года увеличилъ свой капиталъ рубль на рубль. Онъ теперь имѣлъ на свой пай почти какъ разъ столько, сколько ему было нужно, и уже собирался выступить изъ товарищества. Это какъ разъ совпадало съ только что разсказанными происшествіями съ Висленевымъ, и вслѣдъ за тѣмъ, какъ Горданову удалось уладить кое-какъ висленевскія отношенія съ его женой, онъ и самъ приступилъ къ развертькѣ своихъ дѣлъ съ нею. Мирный вечеръ, которымъ заключалась компанейская ростовщичья дѣятельность Горданова съ Алиной, засталъ ихъ вдвоемъ тщательно со всѣхъ сторонъ запертыми въ квартирѣ № 8. Они провѣрили всѣ свои книги и счеты; вычислили барыши, расчислили ихъ по суммѣ оборотныхъ капиталовъ того и другого, и сдѣлали выводъ, по которому на долю Павла Николаевича теперь падало тридцать двѣ тысячи чистагана. Это было даже болѣе того, что Горданову было нужно для таинственной и вѣрной операціи; оставалось только завтра размѣнять бумаги и раскланяться.

Гордановъ былъ очень доволенъ и томился только нетерпѣніемъ: онъ снова чувствовалъ душевный зудъ и плохо смотрѣлъ вокругъ. Впрочемъ, вокругъ его ничего собственно и не происходило. Когда онъ съ Алиной покончилъ счеты, пріѣхалъ домой Кишенскій: онъ привезъ боль-

шой астраханскій арбузъ, и въ самомъ веселомъ расположеніи духа разсказывалъ, какую штуку продѣлала Данка съ Ципри-Кипри. Штука въ самомъ дѣлѣ была преинтересная: Ципри-Кипри закупила у Данкинаго мужа на сроки двадцать какихъ-то акцій, употребивъ на это весь капиталъ, нажитый ею съ мужемъ отъ своего увеселительнаго заведенія. Акціи падали, и пали ужасно; мужъ Ципри-Кипри хотѣлъ отказаться отъ своей покупки, предоставляя Данкиному мужу любоваться его покупной запиской. Дѣло стало было на ножи, но жены игроковъ, старыя подруги, взялись все уладить и уладили: Данка уговорила Ципри-Кипри доплатить, безъ вѣдома мужа, всю убыточную разницу съ тѣмъ, что послѣ, когда такимъ образомъ будетъ доказана честность и стойкость Ципри-Кипри, Данка склонитъ своего мужа оказать еще бо́льшій кредитъ самой Ципри-Кипри, и тогда Данка сама пойдетъ съ нею въ желаемую компанію, и онѣ сами, двѣ женщины, поведутъ дѣло безъ мужей и, заручившись сугубымъ кредитомъ, наконецъ обманутъ мужа Данки. Ципри-Кипри послушалась и внесла Данкиному мужу всю разницу, что̀ равнялось всему капиталу ея мужа, а теперь мужъ ее выгналъ за это вонъ, и когда Ципри-Кипри явилась къ Данкѣ, то Данка тоже выгнала ее вонъ и отреклась, чтобъ она съ ней когда-нибудь о чемъ-нибудь подобномъ говорила.

— Это ловко!—воскликнулъ Кишенскій, закончивъ свой разсказъ, и добавилъ, что непріятно лишь одно, что Ципри-Кипри ведетъ себя ужасною дѣвчонкой и бѣгаетъ по редакціямъ, прося напечатать длиннѣйшую статью, въ которой обличаетъ и Данку, и многихъ другихъ. — Я говорилъ ей,—добавилъ онъ:—что это не годится, что вѣдь все это свѣжая рана, которой нельзя шевелить, но она отвѣчала: «Пусть!» и побѣжала еще куда-то.

— А все это отчего? — сказалъ, кушая арбузъ, Гордановъ:—все это оттого, что давятъ человѣка вдосталь, какъ прессомъ жмутъ, и средствъ поправиться уже никакихъ не оставляютъ. Это никогда ни къ чему хорошему не поведетъ, да и не разсчетливо. Настоящій игрокъ всегда страстному игроку реваншъ даетъ, чтобы на немъ шерсть обрастала и чтобы было опять кого стричь.

Кишенскій согласился.

— Вонъ нашъ плакутка теперь, видите, преспокоенъ, — продолжалъ Гордановъ, намекая на Висленева.—Даже ухаживаетъ издали за Алиной Дмитріевной, и все, бѣднякъ, лепечетъ мнѣ про его знакомаго актера Бабиневича, котораго его законная жена наконецъ приласкала, разойдясь со своимъ княземъ.

— И опять его прогонитъ, когда найдетъ себѣ графа,— сухо поставилъ Кишенскій.

— А ты, кажется, ревнуешь? Алина Дмитріевна, я говорю, Тиша-то васъ уже, кажется, ревнуетъ къ вашему мужу?

— Допросите его, пожалуйста, хорошенько. Мнѣ тоже кажется что-то въ этомъ родѣ,—отвѣчала, слегка улыбаясь и позируя своимъ стройнымъ станомъ, Алина. — А между тѣмъ, я вамъ скажу, господа, что ужъ мнѣ пора и домой, въ Павловскъ: я здѣсь и не обѣдала, да и дѣтей цѣлый день не видала. Не пріѣдете ли и вы къ намъ сегодня, Гордановъ?

— Я?

— Да, посидимъ часокъ на музыкѣ и потомъ поужинаемъ.

— Поздно будетъ, послѣдній поѣздъ уйдетъ.

— Отчего? Теперь восемь часовъ, а мы поужинаемъ въ одиннадцать, а послѣдній поѣздъ пойдетъ въ половинѣ двѣнадцатаго; а если запоздаете, у Висленева, въ его вигвамѣ, въ саду есть диванъ, — останьтесь у насъ переночевать.

— Вы такъ убѣдительно зовете, что...

— Право, право: пріѣзжайте, Гордановъ! Это даже необходимо: мы разсчитались пріятельски, — разопьемте же вмѣстѣ могарычъ. Давайте слово, я васъ жду и непремѣнно хочу, чтобы вы сегодня провели вечеръ съ нами.

— Если вы непремѣнно этого хотите, то будь по-вашему.

Гордановъ далъ Алинѣ слово встрѣтиться съ нею и съ Кишенскимъ на вокзалѣ желѣзной дороги, и уѣхалъ къ себѣ переодѣваться по-дачному.

— Ну, и къ дѣлу!—сказала Алина, замкнувъ за Гордановымъ дверь и быстро возвращаясь къ Кишенскому въ полуопустошенную квартиру.

— Зачѣмъ ты его звала?—спросилъ Тихонъ Ларіоновичъ.

— Такъ нужно,—отвѣчала Алина, и затѣмъ вынувъ изъ несгораемаго шкафа большой сакъ-вояжъ, туго набитый драгоцѣнными вещами залогодателей, подала его Кишенскому и велѣла держать, а сама быстро обѣжала квартиру, взяла еще нѣсколько цѣнныхъ вещей, оставшихся въ небольшомъ количествѣ, свернула все это въ шитую гарусную салфетку; собрала всѣ бумаги съ письменнаго стола Висленева, отнесла ихъ въ темную кладовую, запиравшуюся желѣзною дверью, и разложила ихъ по полкамъ.

Затѣмъ она возвратилась въ кабинетъ, гдѣ сидѣлъ Кишенскій, и сорвавъ толстый бумажный шнурокъ со шторы, начала его поспѣшно вытрепывать и мочить въ полоскательной чашкѣ.

— Что ты это дѣлаешь?—спросилъ ее въ раздумьи Кишенскій.

— А ты какъ думаешь, что я дѣлаю?

— У меня все въ головѣ эта штука Данки съ Ципри-Кипри. Это можно было и тебѣ въ бо́льшемъ, и въ гораздо бо́льшемъ размѣрѣ разыграть съ Гордановымъ.

— То-есть что же это такое: обобрать его наполовину?

— Да.

— Да, это бы хорошо.

— Но время уже упущено,—вздохнулъ Кишенскій.

— Конечно,—уронила Алина, выжимая смоченный шнурокъ.

— Эта Данка далеко пойдетъ.

— И назадъ не воротится.

— Отчего?

— Не прячетъ концовъ. Держи-ка вотъ этотъ шнурокъ.

— Да; но она нынче съ барышомъ, а мы завтра платимъ, и еще какой кушъ платимъ!

— Какой?

— Сама знаешь.

— Я знаю, что я ничего не заплачу. Подай спичку.

— Что это будетъ?—полюбопытствовалъ Кишенскій, подавая зажженную спичку.

Алина поднесла конецъ шнурка къ огню, и вытрепанныя волокна бумаги быстро занялись тлѣющимъ огнемъ.

— Понялъ?—спросила Алина.

— Алина, ты геніальна!—воскликнулъ Кишенскій.—*Онъ* не получитъ ничего?

— Этого мало: онъ не посмѣетъ съ нами разстаться, и его секретъ будетъ мой.

— А ты въ него вѣришь?

— Вѣрю: Гордановъ на вздоръ не расположится.

— Алинка!.. Ты чортъ!

И Кишенскій улыбнулся, схватилъ Алину за подбородокъ и вдругъ засерьезничалъ и молча сталъ помогать Алинѣ укладывать шнурокъ по всему краю полокъ, набитыхъ сочиненіями Іосафа Платоновича. Черезъ часъ всѣ эти пиротехническія затѣи были окончены, шнурокъ съ конца припаленъ, желѣзная дверь замкнута и хозяинъ съ хозяйкой уѣхали, строго-на-строго наказавъ оставленной при квартирѣ бѣдной нѣмецкой женщинѣ беречь все пуще глаза, а главное быть осторожною съ огнемъ.

Гордановъ сдержалъ свое слово и ожидалъ Кишенскаго и Алину въ вокзалѣ: онъ предупредительно усадилъ Алину въ вагонъ и держалъ во всю дорогу на колѣняхъ ея сакъ-вояжъ. Висленевъ встрѣтилъ ихъ на длинной платформѣ въ Павловскѣ: онъ не выѣзжалъ отсюда въ Петербургъ три дня, потому что писалъ въ угоду женѣ большую статью объ угнетеніи женщины, — статью, которою Алина несомнѣнно очень интересовалась и во время сочиненія которой Висленевъ бесѣдовалъ съ своею женой какъ наилучшіе друзья, и даже болѣе. Сегодня вечеромъ Алина еще обѣщала «все обсудить» съ мужемъ въ его статьѣ, и Висленевъ ждалъ ее въ Павловскѣ одну,—потому что она такъ ему говорила, что Кишенскій останется по своимъ дѣламъ въ городѣ, и оттого веселый Висленевъ, увидавъ Кишенскаго и Гордановa, вдругъ смутился и опечалился.

Гордановъ сразу это замѣтилъ и, идя рядомъ съ Висленевымъ, сказалъ ему:

— Что ты дуешься какъ мышь на крупу? Ты этакъ только выдаешь и себя, и жену; будь покоенъ: я его буду занимать.

Алина тоже утѣшила мужа.

— Въ городѣ душно и Тихонъ Ларіонычъ не захотѣлъ оставаться,—сказала она, идучи подъ руку съ мужемъ:—но я нарочно упросила сюда пріѣхать Гордановa: они будутъ заняты, а мы можемъ удалиться въ паркъ и быть совершенно свободны отъ его докуки.

Такъ все и сдѣлалось.

Оркестръ игралъ превосходно; иллюминація задалась какъ нельзя лучше; фонтанъ шумѣлъ, публика гуляла, пила, кушала. Ночь спустилась почти южная; въ сторонѣ за освѣщенною поляной была темень. По длинной галлереѣ, гдѣ стояли чайные столики, пронеслась бѣглая вѣсть, что въ Петербургѣ пожаръ. Нѣсколько лицъ встали и въ небольшой тревогѣ пошли, чтобы взглянуть на зарево, но зарева не было. Пожаръ, конечно, былъ ничтожный. Однако многіе изъ вставшихъ уже не возвращались, и у вагоновъ послѣдняго поѣзда произошла значительная давка. Гордановъ съ Кишенскимъ долго бились, чтобы достать билетъ для Павла Николаевича, но наконецъ плюнули и отошли прочь, порицая порядки желѣзной дороги и неумѣніе публики держать себя съ достоинствомъ, а между тѣмъ прозвонилъ второй и третій звонокъ послѣдняго поѣзда.

— Я сяду безъ билета!—воскликнулъ Гордановъ и бросился къ вагону, но въ это время прозвучалъ третій звонокъ, локомотивъ визгнулъ и поѣздъ покатилъ, разсыпая искры.

Гордановъ остался на платформѣ, какъ рыба на сухомъ берегу.

Онъ оглянулся вокругъ и увидалъ себя среди незнакомыхъ людей: это были дачники, провожавшіе знакомыхъ. Кишенскаго нигдѣ не было видно.

Фонари гасли, и поляна предъ эстрадой и паркъ погружались въ глубокую темень. Гордановъ зашелъ въ вокзалъ, гдѣ сидѣли и допивали вино господа, рѣшившіеся прогулять ночь напролетъ. Кишенскаго здѣсь тоже не было. Гордановъ выпилъ рюмку ананаснаго коньяку, зажегъ сигару и отправился въ паркъ: нигдѣ зги не было видно, и сѣдой туманъ, какъ темный духъ, лѣзъ изъ всѣхъ поръ земли и проницалъ холодомъ ноги и колѣна.

Паркъ былъ почти пустъ и лишь рѣдко гдѣ мелькали романическія пары, но и тѣ сырость гнала по домамъ. Гордановъ повернулъ и пошелъ къ дачѣ Висленевыхъ, но окна дома были темны и горничная сидѣла на крыльцѣ.

— Тихонъ Ларіонычъ дома?—спросилъ Гордановъ.

— Нѣтъ, ихъ нѣтъ,—отвѣчала дѣвушка.

Гордановъ завернулся и снова пошелъ въ паркъ, надѣясь встрѣтить Тихона Ларіоновича, и онъ его встрѣтилъ: на поворотѣ одной аллеи предъ нимъ выросъ человѣкъ,

какъ показалось, громаднаго роста и съ большою дубиной на плечѣ. Онъ было кинулся къ Горданову, но вдругъ отступилъ и сказалъ:

— Извините, я не видалъ, что вы одни.

— Тихонъ Ларіонычъ!—позвалъ Гордановъ.

— А? что?—отвѣчалъ Кишенскій.

— Что вы это носитесь по лѣсу?

— Да помилуйте: гдѣ же они? А? вы ихъ не видали — а? Вѣдь съ нею каналья Висленевъ! — и съ этимъ Кишенскій опять взмахнулъ палкой и бросился впередъ.

Они оба пробѣжали нѣсколько аллей прежде чѣмъ Кишенскій, подскакивавшій къ каждой запоздавшей парѣ, вдругъ ударилъ себя рукой по лбу и бросился домой.

Іосафъ Платоновичъ и жена его были теперь дома: они сидѣли въ маленькой дачной залѣ и ѣли изъ одной общей стеклянной чаши простоквашу.

Кишенскій и Висленевъ окинули другъ друга гордымъ окомъ и несытымъ сердцемъ. Отъ Горданова это не скрылось, и онъ, уловивъ взглядъ внутренно смѣявшейся Алины, отвернулся, вышелъ на балконъ и расхохотался. Алина открыла рояль, и страстные звуки Шопена полились изъ-подъ ея рукъ по спящему воздуху.

«Твердая рука, твердая! — думалъ Гордановъ: — что-то она это мастеритъ, что-то этимъ возьметъ съ Тишки?»

— Препротивный дуракъ этотъ Іосафка! — сказалъ, неожиданно подойдя къ Павлу Николаевичу, Кишенскій.

— Чѣмъ? Вы его просто ревнуете.

— Вовсе не ревную, а просто онъ гадость человѣкъ, и его присутствіе ее безпокоитъ, тревожитъ ее, а она препервная-нервная, и все это на ней отражается.

Когда Гордановъ, раздѣвшись, улегся на диванѣ въ крошечной закуткѣ внутри сада, которую называли «вигвамомъ» и въ которой былъ помѣщенъ Висленевъ, Іосафъ Платоновичъ, въ свою очередь, соскочилъ съ кровати и, подбѣжавъ къ Горданову, заговорилъ:

— А знаешь, Павлюкашка, я тебѣ скажу, братъ, что въ моей женѣ очень еще живы хорошія начала.

— Ну еще бы!—отвѣчалъ Гордановъ.

— Право, право такъ! Ты не знаешь, какъ она меня иногда занимаетъ? Ты знаешь, есть люди, которые не любятъ конфетъ и ананасовъ, а любятъ изюмъ и пряники;

есть люди, которые любятъ купить какую-нибудь испорченную, старую штучку и исправить ее, приспособить...

— Говори, любезный другъ, толковѣе, я тебя не понимаю.

— То-есть я хочу сказать, что есть такіе люди, и что я... я тоже такой человѣкъ.

— Съ чѣмъ тебя и поздравляю; впрочемъ, это теперь въ модѣ дрянью интересоваться.

— Нѣтъ, я люблю...

— Я вижу, что любишь.

— Я люблю воскресить... понимаешь, возвать къ жизни, и потому съ тѣхъ поръ, какъ эта женщина не скрываетъ отъ меня, что она тяготится своимъ прошедшимъ и... и...

— И настоящимъ, что ли?

— Да, и настоящимъ; повѣрь, она меня очень занимаетъ, и я...

— А она это сказала тебѣ, что она тяготится своимъ прошедшимъ и настоящимъ?

— Нѣтъ, сказать она не сказала, но вѣдь это видно, и наконецъ же у меня есть глаза, и я понимаю женщину!

— Ну, а со мной, братъ, объ этомъ не говори: я этими дѣлами не занимался и ничего въ нихъ не смыслю.

— Ахъ, Паша, неужто это правда? Неужто ты никогда, никогда не любилъ?

— Никогда.

— И никогда не полюбишь?

— Никогда.

— Почему, Павлюканъ, дерево ты этакое? Почему?

— Фу! какъ ты сегодня до противности глупо оживленъ! Отстань ты отъ меня, сдѣлай милость!

— Да, я оживленъ; но почему ты не хочешь любить, разскажи мнѣ?

— Потому, что любовь—это роскошь, которая очень дорого стоитъ, а я бережливъ и разсчетливъ.

— Любимая женщина-то дорого стоитъ?

— А какъ же? Приведи-ка въ итогъ потерю времени, потерю на трезвости мысли, потерю въ работѣ, да наконецъ и денежныя потери, такъ какъ съ любовью соединяются почти всѣ имена существительныя, кончающіяся на *ны*, такъ-то: именины, родины, крестины, похороны... все это чрезъ женщинъ, и потому вообще давай лучше спать, чѣмъ говорить про женщинъ.

— И ты никогда не чувствовалъ потребности любить?

— Потребности?

— Да.

— Нѣтъ, не чувствовалъ.

— И когда Глаша Акатова тебя любила, ты не чувствовалъ?

— Не чувствовалъ.

— И послѣ, когда она вышла за Бодростина, ты тоже не чувствовалъ ревности?

— Тоже не чувствовалъ.

— Почему?

— Почему?.. — времени не было, вотъ почему, а впрочемъ, второй и послѣдній разъ говорю: давай спать, а то ужъ утро.

Висленевъ было замолчалъ, но вдругъ круто повернулся лицомъ къ Горданову и сказалъ:

— Нѣтъ, прости меня, Паша, а я не могу... Скажи же ты мнѣ: вѣдь ты все-таки изрядный плутъ?

— Ну, и слава Богу,—пробурчалъ, зѣвая, Гордановъ.

— Нѣтъ, безъ шутокъ: да и порой мнѣ кажется, что уже и всѣ мы стали плуты.

— Съ чѣмъ тебя и поздравляю.

— Да какъ же! вѣдь у насъ теоріи-то нѣтъ! Правду говоря, вѣдь мы и про нашъ дарвинизмъ совсѣмъ позабыли, и если тебя теперь спросить, какому же ты теперь принципу служишь, такъ ты и не отвѣтишь.

— Не отвѣчу, потому что объ этомъ теперь у умныхъ людей и разговоровъ не можетъ быть, и сдѣлай милость и ты оставь меня въ покоѣ и спи.

— Ну, хорошо; но только еще одно слово. Ну, а если къ тебѣ не умный человѣкъ пристанетъ съ этимъ вопросомъ и вотъ, подобно мнѣ, не будетъ отставать, пока ты ему не скажешь, что у тебя за принципъ, ну скажи, голубчикъ, что ты на это скажешь? Я отъ тебя не отстану, скажи: какой у насъ теперь принципъ? Его нѣтъ?

— Врешь, есть, и есть принципъ самый логическій и здоровый, вытекшій естественнымъ путемъ изъ всего историческаго развитія нашей культуры...

— Паша, я слушаю, слушаю, говори!

— Да что же мнѣ тебѣ еще разжевывать? Мы отрицаемъ отрицаніе.

— Мы отрицаемъ отрицаніе! — воскликнулъ Висленевъ, и захлопалъ какъ дитя въ ладоши, но Гордановъ сердито огрызнулся и громко крикнулъ на него:

— Да спи же ты наконецъ, ненавистный чухонецъ!

И съ этимъ Гордановъ повернулся къ стѣнѣ.

Утромъ Павелъ Николаевичъ уѣхалъ въ Петербургъ вмѣстѣ съ Алиной. Кишенскій остался дома въ Павловскѣ, Висленевъ тоже, и Гордановъ, ѣдучи съ Алиной, слегка шутилъ на ихъ счетъ и говорилъ, не покусались бы они.

— Ахъ, они мнѣ оба надоѣли,—отвѣчала Алина, и Гордановъ показалось, что Алина говоритъ правду, и что не надоѣлъ ей... онъ, самъ Гордановъ, но...

Но о всемъ этомъ не время было думать. Въ Петербургѣ Гордановой ждала ужасная вѣсть: всѣ блага жизни, для которыхъ онъ жертвовалъ всѣмъ на свѣтѣ, всѣ эти блага, которыхъ онъ уже касался руками, отпрыгнули и умчались въ пространство, такъ что ихъ не было и слѣда, и гнаться за ними было напрасно. Квартира № 8 сгорѣла. Пока отбивали желѣзную дверь кладовой, въ ней нашли уже одинъ пепелъ. Погибло все, и, главное, залоговъ погибло вдесятеро болѣе, чѣмъ на сумму, въ которой они были заложены.

Гордановъ понялъ, что это штука, но только не зналъ, какъ она сдѣлана. Но это было все равно. Онъ зналъ, что его ограбили, и что на все это негдѣ искать управы, что дѣло сдѣлано чисто, и что вступить въ споръ или тяжбу будетъ значить принять на себя обязанность доказывать, и ничего не доказать, а кромѣ всего этого, теперь еще предстоитъ отвѣтственность за погибшіе залоги...

Гордановъ сидѣлъ, опершись на руки головой, и молчалъ.

Предъ вечеромъ онъ всталъ и пошелъ въ квартиру № 8. Здѣсь была только одна Алина и нѣсколько поденщиковъ, выносившихъ мусоръ.

Павелъ Николаевичъ вошелъ молча и молча сталъ посреди комнаты, гдѣ принимались заклады; здѣсь его и застала Алина; онъ ей поклонился и не сказалъ ни упрека, ни полюбопытствовалъ даже ни однимъ вопросомъ.

Алина сама прервала тяжелое молчаніе.

— Voilà une affaire bien étrange!—сказала она ему при рабочихъ.

— Je n'y vois rien d'impossible, madame,—отвѣчалъ спокойно Гордановъ.

— Monsieur! — крикнула, возвысивъ голосъ и отступая шагъ назадъ, Алина.—Que voulez-vous dire?

— Comment avez-vous fait celà?

Алина окинула его съ головы до ногъ холоднымъ, убійственнымъ взглядомъ и молча вышла въ другую квартиру и заперла за собой дверь. Гордановъ тоже повернулся и ушелъ, ограбленный, уничтоженный и брошенный.

Наступили для Павла Николаевича дни тяжкіе, дни, какихъ онъ давно не зналъ, и дни, которыхъ другому бы не снести съ тою твердостью и спокойствіемъ, съ коимъ переносилъ ихъ Гордановъ. Положеніе Павла Николаевича поистинѣ было трагическое; онъ не только потерялъ состояніе и былъ далече отброшенъ отъ осуществленія завѣтнѣйшей своей мечты,—онъ оставался должнымъ разнымъ лицамъ. Правда, не Богъ вѣсть какія это суммы, около трехъ-четырехъ тысячъ, но и тѣхъ ему отдать было нечѣмъ, а между тѣмъ сроки наступали, и Павелъ Николаевичъ легохонько могъ переселиться изъ своихъ удобныхъ апартаментовъ въ Tarasen Garten (какъ называютъ въ шутку петербургскую долговую тюрьму). Гордановъ понималъ это все и не жаловался никому; онъ зналъ всю безполезность жалобъ и молчалъ, и думалъ думу долгую и крѣпкую, и наконецъ сдѣлалъ неожиданный визитъ въ Павловскъ Кишенскому и Алинѣ.

— Господа!—сказалъ онъ имъ:—то, что со мною сдѣлалось, превыше всякаго описанія, но я не дуракъ, и знаю, что съ воза упало, то пропало. Ни одинъ милліонеръ не махалъ такъ равнодушно рукой на свою потерю, какъ махнулъ я на свое разореніе, но прошу васъ, помогите мнѣ, сдѣлайте милость, стать опять на ноги. Я сдѣлалъ инвентарь моему имуществу—все вздоръ!

— Вещи идутъ ни за что,—сказалъ Кишенскій.

— Да; онѣ дорого стоятъ, а продать ихъ пришлось бы за грошъ. За все, что я имѣю въ квартирѣ, съ экипажемъ и лошадьми, не выручишь и полуторы тысячи.

— Да; и у васъ лѣвый конекъ, я замѣтилъ, сталъ покашливать, вы его запалили.

— Вы это замѣтили, а я и этого не замѣтилъ, но, впрочемъ, все равно, этимъ не выручишься, я долженъ до че-

тырехъ тысячъ, и сроки моимъ векселямъ придутъ на сихъ дняхъ. Помогите, прошу васъ.

— Чѣмъ же-съ?

— Чѣмъ? Разумѣется, деньгами. Не хотите ссудить меня, купите мои векселя и дайте мнѣ срокъ на годъ, на два.

— А почемъ ихъ продадутъ?

— Какъ почемъ? Я васъ прошу меня не ославлять и купить мои векселя рубль за рубль.

Кишенскій улыбнулся и стихъ. Гордановъ зналъ, что это значитъ: «оставь надежду навсегда».

— Вамъ, кажется, лучше всего идти бы опять на службу,— посовѣтовалъ Кишенскій Горданову.

— Это, Тихонъ Ларіонычъ, предоставьте уже мнѣ знать, что мнѣ теперь лучше дѣлать. Нѣтъ, служба мнѣ не поможетъ. На меня представятъ векселя и меня со службы прогонятъ; одно, что нужно прежде всего, — это замедлить срокъ векселей.

— А вашъ планъ?

— Мой планъ въ моей головѣ.

— Вы бы его лучше бросили.

— Вы не знаете, о чемъ говорите.

— Ну, какъ можно на двадцать пять тысячъ похватать милліоны?

— Ну, ужъ это мое дѣло.

— Такъ вамъ бы поискать компаньона.

— Нѣтъ такого компаньона, который бы мнѣ вѣрилъ на слово.

— Что вы хоть примѣромъ, хоть намекомъ, притчей ничего не скажете, что такое это за простое, но вѣрное средство? Кажется, мы знаемъ всѣ простыя средства: выиграть, украсть, убить, ограбить, — вотъ эти средства.

— Нѣтъ, есть другія.

— Напримѣръ? Скажите хоть что-нибудь, чтобъ я хоть видѣлъ, что вы знаете нѣчто такое, что мнѣ не приходило въ голову.

— И это васъ удовлетворитъ? Извольте. Прошу васъ отвѣтить мнѣ: сколько денегъ должно заплатить за проѣздъ изъ Петербурга въ Москву въ вагонѣ второго класса?

— Тринадцать рублей...

— А я вамъ говорю, что не тринадцать, а рубль шесть гривенъ.

— Это какимъ образомъ?

— Самымъ простымъ: вы берете въ Петербургѣ билетъ до Колпина и отдаете его на первой станціи; на полдорогѣ, въ Бологомъ, вы берете опять на одну станцію и отдаете; на предпослѣдней станціи къ Москвѣ берете третій разъ и отдаете. На это вы издерживаете рубль съ копейками, и вы пріѣхали такъ же удобно, какъ и за тринадцать рублей.

— Васъ могутъ изловить.

— Могутъ, но не ловили, и потомъ есть способъ еще вѣрнѣйшій: я попрошу у сосѣда билетъ посмотрѣть и скажу, что это *мой* билетъ.

— Изъ этого начнется ссора.

— Да; но я доѣду; мнѣ не докажутъ, что я завладѣлъ чужимъ билетомъ.

— Что же изъ этого?

— Ничего болѣе какъ то, что я доѣду туда, куда мнѣ было нужно.

— Не понимаю, какое же это отношеніе имѣетъ къ милліонамъ.

— Тогда не я виноватъ, что вы не понимаете, и я ужъ яснѣе до поры до времени ничего не скажу.

И Гордановъ ушелъ отъ Кишенскаго безо всякихъ надеждъ: онъ стоялъ совсѣмъ на краю пропасти и не ждалъ избавленія, а оно его ждало.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Гордановъ встаетъ на краю пропасти.

Избавленіе Горданову шло изъ того прекраснаго далека, гдѣ мы встрѣтили другихъ людей и другіе нравы, имѣющіе столь мало общаго съ самоистребительными нравами гнѣзда сорока разбойниковъ. Гордановъ, возвратясь изъ Павловска отъ Кишенскаго, нашелъ у себя почтовую повѣстку на пятьсотъ рублей и письмо отъ Глафиры Васильевны Бодростиной, въ которомъ разъяснилось значеніе этой присылки.

Бодростина писала, что, довѣряя «каторжной чести» Павла Николаевича, она обращается къ нему за небольшою услугой, для которой проситъ его немедленно пріѣхать въ ея губернскій городъ, прихвативъ съ собою человѣка, ко-

торый бы могъ служить маской для предстоящихъ дѣлъ разнаго рода. Гордановъ не спалъ всю ночь и думалъ: «приглашеніемъ манкировать невозможно: какъ оно ни темно, но все-таки это зацѣпка, когда тутъ вокругъ все изорвалось и исщипалось». Утромъ онъ закрылъ глаза и пролежалъ до полудня въ тягостнѣйшемъ снѣ, и вдругъ былъ разбуженъ Висленевымъ, который явился къ нему въ такомъ непостижимомъ состояніи духа, что Гордановъ, несмотря на все свое разстройство, полюбопытствовалъ узнать, что съ нимъ сдѣлалось.

— Что съ тобою случилось?—спросилъ онъ Висленева.

— Вещь ужасная!—отвѣчалъ Іосафъ Платоновичъ:—мы подрались.

— Кто? Гдѣ? Съ кѣмъ ты подрался?

— Конечно съ нимъ.

— Съ Кишенскимъ?

— Ну, да, разумѣется.

— На чемъ же вы дрались, и что ты, раненъ, или ты его убилъ?

— Никто никого не ранилъ и никто никого не убилъ: мы подрались настоящимъ русскимъ образомъ... я его по мордѣ...

— А онъ тебя?

— Не скрою, досталось и мнѣ... вотъ здѣсь... по воротнику.

— Ну, да, это ужъ всегда такъ приходится по воротнику.

— Но, однакоже, ты понимаешь, что послѣ этого ужъ мнѣ въ ихъ домѣ жить нельзя, потому что все это было и при женѣ, и при дѣтяхъ, и при прислугѣ...

— И за что же это сталось: за жену?

— Да, за жену.

Гордановъ вздохнулъ и плюнулъ.

— Нечего, нечего плевать, а я совсѣмъ къ тебѣ, со всею движимостію,—добавилъ онъ, указывая на свой сакъ-вояжъ:—и ты, пожалуйста, не откажи, прими меня въ вѣчные кровы.

— Да вѣдь не выгнать же тебя, когда тебѣ некуда дѣться.

— Некуда, другъ, ровно некуда. Я хотѣлъ къ Ванскокъ, но она сама теперь разстроилась съ переводами и ищетъ мѣста посыльной, а пока живетъ у кухмистера за печкой.

— Полно, пожалуйста, ты съ этой тромбовкой: время ли теперь еще съ нею разговаривать?

— Нѣтъ, братъ, я о ней другого мнѣнія. Ванскокъ натура честная.

— И пусть ее возьметъ себѣ чортъ на орѣхи; нѣтъ, ужъ видно спасать тебя, такъ спасать: хочешь я тебя увезу?

— Какъ увезешь?

— Такъ, увезу, какъ бородатую Прозерпину, если тебѣ нравятся Герценовскія сравненія. Мы уѣдемъ съ тобой отъ всѣхъ здѣшнихъ напастей—куда бы ты думалъ? Въ тѣ благословенныя мѣста, гдѣ ты впервые позналъ всю сладость бытія; ты тамъ увидишься со своею сестрой, съ твоею генеральшей, которой я не имѣю счастья знать, но у которой, по твоимъ словамъ, во лбу звѣзда, а подъ косой мѣсяцъ, и ты забудешь въ ея объятіяхъ всѣ неудачи бытія и пристроишь оленьи рога своей дражайшей половинѣ. Готовъ ты или нѣтъ на такую выходку?

— Мой другъ, я въ эту минуту на все готовъ.

— А я знаю физіологію любви: клинъ клиномъ выгоняютъ, дорогой дружище. Я теперь имѣю не одинъ, а нѣсколько секретовъ, словомъ сказать, какъ бомба начиненъ секретами, и для себя, и для тебя.

— И для меня!—удивился Висленевъ.

— И для тебя, и для великаго множества людей.

Висленевъ тронулъ его за плечо и сказалъ:

— Да! послушай-ка—ты не пострадалъ?

— Я!.. Отъ чего?

— Ну, вотъ отъ этого пожара, котораго мнѣ, по правдѣ сказать, нимало не жаль.

— Нѣтъ; я нимало не пострадалъ, — отвѣчалъ спокойно Гордановъ.—Я получилъ все, кое-что еще признялъ, и теперь арсеналъ мой въ порядкѣ, и я открываю дѣйствія и беру тебя, если хочешь, въ помощники.

— Я готовъ на все: мнѣ хоть съ мосту въ воду, такъ въ ту же пору.

Съ этой стороны дѣло было рѣшено. Оставалась нерѣшенною другая его сторона: похитить ли Горданову Висленева въ самомъ дѣлѣ какъ Прозерпину или взять его напрокатъ и на подержаніе по договору съ его владѣльцами?

Гордановъ предпочелъ послѣднее: онъ еще разъ вошелъ въ сдѣлку съ Кишенскимъ и съ Алиной; сообщилъ имъ

вкратцѣ свои намѣренія съѣздить въ свои мѣстности и устроить тамъ кое-какія спекуляціи, причемъ могъ бы-де прихватить и Висленева. Здѣсь опять произошли столкновенія: Кишенскій хотѣлъ, чтобы Висленевъ уѣхалъ, но Алина опасалась, не черезчуръ ли ужъ это выгодно для Горданова, но они поторговались и рѣшили на томъ, что Гордановъ повезетъ съ собою Висленева куда захочетъ и употребитъ его къ чему вздумаетъ, и за векселя свои въ четыре тысячи рублей, приторгованные Кишенскимъ за полторы, дастъ вексель на десять тысячъ рублей, со взаимною порукой Висленева за Горданова и Горданова за Висленева.

Переторжка была короткая: не та была пора и не тѣ были обстоятельства, чтобы скупиться, и Гордановъ согласился на всѣ эти требованія, а Висленевъ и подавно: имъ спутали ноги и пустили ихъ обоихъ на одной веревкѣ, о которой Висленевъ минутами позабывалъ, но о которой зато Павелъ Николаевичъ помнилъ постоянно. Онъ не самообольщался: онъ зналъ свое положеніе прекрасно и понималъ, что его, сильнаго и умомъ и волей Горданова, каждую минуту скаредная тварь въ родѣ Кишенскаго можетъ потянуть какъ воробья, привязаннаго за ногу, и онъ ревниво спѣшилъ оборвать этотъ силокъ во что бы то ни стало, хоть бы пришлось содрать мясо съ костей и вывернуть суставы.

Въ такомъ положеніи были два эти героя, когда они явились передъ нашими глазами въ кружкѣ обитателей мирнаго городка, надъ которымъ вихрь распустилъ красную орифламу, призывающую Павла Николаевича къ новому подвигу, требующему всего его ума, всей его ловкости и всей опытности, полученной имъ въ послѣднихъ тяжкихъ столкновеніяхъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Изъ прекраснаго далека.

Прошелъ мѣсяцъ, въ теченіе котораго дѣла въ городѣ, пріютившемъ Горданова съ Висленевымъ, подвинулись впередъ весьма значительно. Первыя вѣсти оттуда читаемъ въ письмѣ, которое департаментскій сторожъ подалъ сегодня на подносикѣ вице-директору Григорію Васильевичу Акатову, родному брату Глафиры Васильевны Бодростиной.

Акатовъ, еще довольно молодой человѣкъ, въ золотыхъ очкахъ и вицмундирѣ со звѣздой, которую онъ изъ скромности закрывалъ лацканомъ, взялъ конвертъ.

И, вплотную усѣвшись въ свое кресло, началъ не безъ удовольствія читать письмо нашего испанскаго дворянина.

«Любезный Григорій!—начиналъ Подозеровъ въ заголовкѣ листа.—Не титулую тебя «превосходительствомъ», какъ потому, что довольно съ тебя этого титула на конвертѣ, такъ и потому, что въ моемъ воображеніи ничто не можетъ превосходить того благородства, которое я зналъ въ тебѣ, и потому пишу тебѣ просто: мой дорогой и любезный Гриша! Очень радъ, что ты, благодаря твоимъ большимъ достоинствамъ и умѣнью жить съ людьми, такъ рано достигъ до степеней извѣстныхъ, и радуюсь этому опять по нѣсколькимъ причинамъ: во-первыхъ, радуюсь за самого тебя, что тебѣ быстрымъ возвышеніемъ отдана справедливость. Это очень важно для поддержанія въ человѣкѣ энергіи, чтобъ онъ могъ бодро идти далѣе, не растрачивая лучшихъ силъ души на успокоиваніе въ себѣ мятущагося чувства оскорбленнаго самолюбія и пр. (можно, конечно, и безъ этого, да то труднѣе). Во-вторыхъ, радуюсь за всѣхъ тѣхъ, кому придется имѣть съ тобою дѣло; потому что благородный жаръ, одушевлявшій тебя, конечно, еще не имѣлъ времени погаснуть подъ пепломъ спаленныхъ надеждъ, вѣрованій и упованій, и наконецъ (да не оскорбится слухъ твой), радуюсь за самого себя, потому что могу прибѣгнуть къ тебѣ съ просьбой, имѣя полную надежду, что ты не откажешься мнѣ попротежировать и попредстательствовать за меня, гдѣ ты самъ найдешь то лучшимъ и умѣстнымъ».

Акатовъ дочиталъ до этого мѣста, сдвинулъ слегка брови, и продолжалъ чтеніе съ сухимъ и дѣловымъ выраженіемъ лица.

«Можетъ-быть, я приступаю къ тебѣ несовсѣмъ ловко, но думаю, что между нами, старыми испытанными друзьями, всякія тонкости совершенно излишни, да и я человѣкъ мало шлифованный, и просить отъ роду моего никогда ничего ни у кого не просилъ, такъ и привычекъ къ этому пригодныхъ себѣ не усвоилъ. Одно то, что я *прошу*, уже сбиваетъ меня немножко съ панталыку. Повѣрь мнѣ, что, если бы дѣло шло о просьбѣ не къ тебѣ, а къ другому лицу, такъ я прежде отрубилъ бы себѣ руку, чѣмъ написалъ бы

хотя одно слово въ просительномъ тонѣ, но ты — дѣло другое, ты человѣкъ, которому мнѣ не тяжко сказать все, а скажу же я тебѣ слѣдующее. Въ теченіе всего времени, которое я провелъ здѣсь за скромнымъ изъ скромнѣйшихъ дѣлъ, я былъ очень доволенъ своимъ положеніемъ, какъ разъ отвѣчающимъ моимъ способностямъ и моему призванію: я сдалъ бывшимъ своимъ крестьянамъ за 300 руб. въ годъ въ аренду мой маленькій хуторишко и служилъ по крестьянскимъ дѣламъ, возлюбя это дѣло и находя въ занятіи имъ безконечный рядъ наслажденій самаго пріятнаго для меня свойства. Я видѣлъ посѣвъ и наблюдаю всходы прекрасныхъ сѣмянъ, о которыхъ всѣ мы такъ восторженно мечтали въ святые годы восторженной юности и ради добытія которыхъ не прочь были иногда отъ предпринятія восторженныхъ же, дѣтскихъ, но благородныхъ глупостей. (Пошли со мною вмѣстѣ миръ и благословеніе этимъ отшедшимъ прекраснымъ днямъ, дающимъ такія сладкія воспоминанія). Ко всему этому, признаюсь тебѣ, я къ концу четвертаго десятка такъ осѣдлился здѣсь, что задумалъ было и жениться, конечно не по расчету и не по прикладнымъ соображеніямъ, однако этому, какъ кажется, не суждено осуществиться, и я эту статью уже выписалъ въ расходъ, но мнѣ, дружище, опротивѣла вдругъ моя служба, и опротивѣла непереносно. Опротивѣла она не сама по себѣ, а по массѣ непріятностей, которыя сыплются на меня оттуда, откуда бы, кажется, я могъ ожидать одного только животворящаго сочувствія. Не могу тебѣ выразить, какъ это нестерпимо для меня, что въ наше время,—хочешь ты или не хочешь,—непремѣнно долженъ быть политикомъ, къ чему я, напримѣръ, не имѣю ни малѣйшаго влеченія. Я бы не хотѣлъ ничего иного, какъ только дѣлать свое дѣло съ неизмѣнною всегдашнею и тебѣ, можетъ-быть, памятною моею увѣренностью, что, дѣлая свое дѣло честно, исполняя ближайшій долгъ свой благородно, человѣкъ самымъ наилучшимъ *органическимъ* образомъ служитъ наилучшимъ интересамъ своей страны, но у насъ въ эту пору повсюду стало не такъ; у насъ теперь думаютъ, что прежде всего надо стать съ кѣмъ-нибудь на ножи, а дѣло уже потомъ; дѣло, это—вещь второстепенная. По-моему, это ужасная гадость, и я этого сколько могъ тщательно избѣгалъ и, представь ты, нашелъ себѣ черезъ «эту подлость» массу не-

доброжелателей, приписывавшихъ мнѣ всяческія дурныя побужденія, безпрестанно ошибавшихся въ своихъ заключеніяхъ, досадовавшихъ на это и наконецъ окончательно на меня разгнѣвавшихся за то, что не могутъ подвести меня подъ свои таблицы, не могутъ сказать: что я такое и что за планы крою я въ коварной душѣ моей? Ты, вѣроятно, улыбаешься этому, но мнѣ отъ этого стало очень невесело. На-дняхъ, то-есть мѣсяцъ, полтора тому назадъ, наши палестины посѣтили два великіе мужа, Гогъ и Магогъ нашего комическаго времени; отставной, но приснопамятный вождь безоружныхъ воителей, Іосафъ Висленевъ, и человѣкъ, имени котораго мы когда-то положили не произносить, драгоцѣнный Пашенька Гордановъ. Что такое они намѣрены здѣсь дѣлать — я разгадать не могу, хотя вижу и чувствую, что они набѣжали сюда за «предпріятіемъ», но за предпріятіемъ, не похожимъ ни на что прежнее, и представь же ты себѣ, что силой судебъ я сталъ этимъ людямъ поперекъ дороги и, вдобавокъ ко всему, не чувствуя ни малѣйшей охоты уступать имъ этой дороги, я буду, кажется, вынужденъ къ такой уступкѣ. Друзья они или враги, и какою веревочкой ихъ лукавый спуталъ, этого я не доискиваюсь, да это и не важно, но они здѣсь очень торопливо начали поправлять свои юношескія ошибки: одинъ, уступивъ нѣкогда сестрѣ часть дома, закладываетъ его теперь весь цѣликомъ въ свою пользу, а другой, уступивъ нѣкогда кое-что своимъ мужичкамъ, тоже нынче обращаетъ это назадъ, достигая этого способомъ самымъ недостойнымъ. Подробности разсказывать нечего, бѣдный народишко нашъ ещё теменъ, подпилъ и невѣдомо что загалдилъ, а я всею маленькой силой моего уряда воспротивился этой сдѣлкѣ и остановилъ ее, за что и обвиненъ чуть ли не во взяточничествѣ. (Акатовъ поторопился и сдвинулъ съ листа бумаги свой мизинецъ). Тебѣ не разсказывать стать, что за персона Гордановъ, ты знаешь, что для него нѣтъ ничего святого: это же, конечно, извѣстно и твоему зятю, Михайлѣ Андреевичу Бодростину, который тоже многіе годы не могъ о немъ слышать и даже теперь, въ первые дни пребыванія здѣсь Павла Николаевича, вездѣ по городу разсказывалъ блѣдные отрывки изъ его черной исторіи. Бѣдный старикъ вовсе и не подозрѣвалъ, что онъ строитъ этимъ Горданову торжество. Это престранное и прехарак-

терное явленіе, какъ у насъ нынѣче повсемѣстно интересуются бездѣльниками и нѣжнѣйше о нихъ заботятся! Можешь быть какимъ тебѣ угодно честнымъ человѣкомъ, и тебя никогда не замѣтятъ, но появись ты только въ предшествіи скандальной репутаціи, и на тебя лорнеты обратятся. Какое-то влеченье, родъ недуга; клевещи, напримѣръ, на честнаго человѣка сколько хочешь, и это ничего: самые добрые люди только плечами пожмутъ и скажутъ: «Таковъ-де ужъ свѣтъ, на Христа прежде насъ клеветали», но скажи правду про негодяя... О! Это преступленіе, котораго тебѣ не простятъ. Это, говорятъ, «жестокость!» У каждаго бездѣльника въ одну минуту отыскивается въ обществѣ столько защитниковъ, сколько честная мать семейства и труженикъ-отецъ не дождутся во всю свою жизнь. Словно это исключительно вѣкъ мошенниковъ, словно это настало ихъ царствіе... Право! Я сужу такъ по тому, что̀ вижу въ своемъ углѣ, и по тому, что, напримѣръ, читаю въ литературѣ. Неразборчивость въ якшательствѣ съ негодяями повсемѣстная. Читай ты, напримѣръ, Теккерея, онъ выводитъ въ «*Базарѣ житейской суеты*» героиню-мошенницу, Ребекку Шарпъ, и говоритъ не обинуясь, что «Ребекка Шарпъ есть лицо собирательное, принадлежащее поколѣнію англичанъ, дѣйствовавшему послѣ 1818 года», и этимъ никто изъ честныхъ англичанъ этой поры не обижался, тогда какъ у насъ за такую вещь Теккерея, конечно, назвали бы по меньшей мѣрѣ инсинуаторомъ и узколобымъ дуракомъ, который «не умѣлъ понять людей, дѣйствовавшихъ послѣ 1818 года». (Нынче мошенники все жалуются, что ихъ «не понимаютъ», словно они какіе мудрецы). Нѣтъ ли здѣсь повода скорбѣть за смыслъ и за совѣсть? Бездѣльничества нашего благороднаго друга Горданова сдѣлались здѣсь милыми анекдотами и, служа въ теченіе нѣсколькихъ дней самою любимою темой для разговоровъ, пріуготовили ему тріумфъ, какого онъ едва ли и ожидалъ: гдѣ онъ ни появлялся, на него смотрѣли какъ на бѣлаго слона и, насмотрѣвшись, пошли его нарасхватъ звать и принимать. Ты не повѣришь, что молодецъ этотъ до того всѣхъ здѣсь очаровалъ, до того всѣхъ обошелъ, что знакомствомъ съ нимъ у насъ стали даже кичиться: стали звать гостей на чай «съ Гордановымъ», на обѣдъ «съ Гордановымъ», подумай, пожалуйста, какая сила есть въ подлости! Самъ заклятый врагъ его, зять твой Бодростинъ, и тотъ, нако-

нецъ, не стерпѣлъ и снова водитъ съ нимъ хлѣбъ и соль, и они вмѣстѣ что-то тоже «предпринимаютъ». Не спросишь ли меня: какое мнѣ до всего этого дѣло? Никакого, но вотъ бѣда: этому мерзавцу есть до меня какое-то дѣло. Я помѣшалъ ему надуть крестьянъ, хотя, впрочемъ, помѣшалъ ненадолго, потому что они, улещенные обѣщаніями и опоенные водкой, опять-таки просятъ вполнѣ невыгодной для нихъ мѣны землей, и вотъ теперь всѣ трубящіе славу Горданова трубятъ, что я его притѣснялъ, что я съ него что-то вымогалъ. (Акатовъ снялъ съ листка и другой мизинецъ). Поддерживается все это мастерскимъ образомъ и вредитъ мнѣ всемѣрно, тѣмъ болѣе, что Гордановъ въ самомъ дѣлѣ, повидимому, располагаетъ очень свободными средствами и вывернулся превосходно: онъ теперь землю, отнимаемую имъ у крестьянъ, обѣщаетъ занять уже не заводомъ, какъ говорилъ мнѣ, когда просилъ моего содѣйствія, а ремесленною школой, которою приводитъ въ восторгъ и Бодростина, и губернатора. Словомъ, я явился въ дуракахъ и съ покоромъ чести. (Акатовъ совсѣмъ выбросилъ письмо изъ рукъ на столъ и продолжалъ читать глазами, переворачивая странички концомъ карандаша). Но Богъ съ нимъ, я бы и это снесъ (писалъ далѣе Подозеровъ), и почестнѣе меня людей порочатъ, но мнѣ, наконецъ, грозятъ иною бѣдой: вина моя, заключающаяся въ защитѣ крестьянъ, не позабывается, а все возрождается какъ сфинксъ въ новомъ видѣ. Пять дней тому назадъ былъ у меня Бодростинъ, и, со свойственною ему прямотой и честностію, сказалъ мнѣ, будто бы ему «сообщено», что я не могу быть терпимъ на службѣ, какъ человѣкъ вреднаго образа мыслей! Можешь себѣ вообразить, какъ это идетъ ко мнѣ! Но, однако, вотъ видно, если не пристало, то прилипло. На вопросъ, сдѣланный мною Бодростину: вѣритъ ли онъ этой нелѣпицѣ? — онъ началъ съ «конечно, хотя и разумѣется» и свелъ на «но» и на «говорятъ», вообще построилъ рѣчь по извѣстному плану, безнадежному для человѣка, требующаго защиты и оправданія. Послѣ этого мы поговорили крупно, и такъ крупно, что, кажется, болѣе не пожелаемъ другъ съ другомъ видѣться и едва ли станемъ говорить. Хотя дерзостей ни съ той, ни съ другой стороны сказано не было, но тѣмъ не менѣе мы, вѣроятно, разошлись навѣки. Онъ мнѣ сказалъ, что онъ не вѣритъ, но допускаетъ возможность, что я, по

странности моего характера, симпатіямъ къ народу, по увлеченіямъ теоріями и поджигательными статьями газетъ, могъ *забыться*, а я... я въ свою очередь указалъ ему на другое, и однимъ словомъ, мы болѣе не друзья. Такова, видно, у насъ роковая судьба путныхъ людей ссориться между собою за мошенниковъ, подъ предлогомъ разномыслія въ теоретическихъ началахъ, до которыхъ мошенникамъ нѣтъ никакого дѣла и къ которымъ они льнутъ только для того, чтобы шарлатанствовать ими. Но извини, что я болтливъ: это слабость людей оскорбленныхъ. Продолжаю мою исторію. Тяжко обиженный взведеннымъ на меня нелѣпымъ обвиненіемъ, я обратился къ губернатору и просилъ его разъяснить: кто и на какихъ основаніяхъ мараетъ меня такою клеветой, но его превосходительство, спустя носъ на усы и потомъ поднявъ усы къ носу и прыгнувъ съ каблуковъ на носки и обратно, коротко и ясно отвѣчалъ мнѣ, что онъ «краснымъ соціалистамъ никакихъ объясненій не даетъ». Я пробовалъ искать разгадки этому еще у двухъ-трехъ лицъ, но со мною не говорятъ, меня чуждаются и, наконецъ, даже меня не принимаютъ. Насилу-насилу чрезъ посредство нѣкоторыхъ дружески расположенныхъ ко мнѣ дамъ (изъ которыхъ объ одной замѣчательной женщинѣ, Александрѣ Ивановнѣ Синтяниной, я нѣкогда много писалъ тебѣ, описывая мои здѣшнія знакомства), я узналъ, что все это построено на основаніяхъ прочныхъ: на моихъ, конечно, самыхъ невинныхъ, разговорахъ съ крестьянами г. Горданова. Фактъ налицо, и дѣлать, стало-быть, нечего: я «красный,—человѣкъ опасный», и мнѣ надо отсюда убираться. Не знаю, чувствуешь ли ты, Григорій, хотя долю того душащаго негодованія, которымъ я въ эту минуту какъ злымъ духомъ одержимъ, доканчивая это несвязное письмо, но ради всяческаго добра, которое ты чтишь, опредѣли меня, другъ мой, братъ и товарищъ, опредѣли меня куда-нибудь на службу ли, къ частному ли дѣлу—мнѣ это все равно; но только скорѣе отсюда! Я пойду спокойно въ помощники столоначальника и даже въ писаря къ тебѣ въ департаментъ, подъ твою команду, или въ любую контору, лишь бы только съ меня требовали работы, труда, дѣла, а не направленій, не мнѣній, которыя я имѣю и хочу имѣть не про господъ, а про свой расходъ, и которыя, кромѣ меня самого, можетъ-быть, никому и ни на что не годятся.

Я ищу одного: укромнаго мѣста, гдѣ бы могъ зарабатывать кусокъ хлѣба внѣ всякой зависимости отъ получившихъ для меня особое значеніе требованій идоложертвеннаго служенія направленіямъ и громкимъ словамъ, во имя которыхъ на глазахъ моихъ почти повсюду совершается профанація священнѣйшихъ для меня идей. Пособи мнѣ, голубчикъ Гриша, въ этомъ случаѣ сколько хочешь и сколько можешь, а главное, отвѣть мнѣ словечко скоро, безъ промедленія, чтобы до крайней степени натянутое терпѣніе мое не столкнулось еще съ чѣмъ-нибудь новымъ и на чемъ-нибудь не оборвалось.

Твой *Андрей Подозеровъ.*

«P. S. Прибавлю тебѣ къ моей длинной сказкѣ смѣшную присказку: у насъ тутъ на сихъ дняхъ случилась престранная исторія, не чуждая мистическаго элемента. Михаилъ Андреевичъ Бодростинъ, послѣ нашихъ съ нимъ объясненій, уѣхалъ въ Москву, а вчера въ сумерки твоя сестра Глафира Васильевна, гуляя по длинной аллеѣ въ задней части своего огромнаго парка въ селѣ Бодростинѣ, встрѣтила лицомъ къ лицу самого его же, Михаила Андреевича, шедшаго къ ней навстрѣчу съ закрытыми глазами и въ его кирасирскомъ мундирѣ, котораго онъ не надѣвалъ двадцать лѣтъ и у котораго на этотъ разъ спина была разрѣзана до самаго воротника. Сестра твоя, при всей ея геройской смѣлости, сробѣла, закричала и упала въ обморокъ на руки Висленева. На крикъ Глафиры Васильевны прибѣжали сестра Іосафа Висленева, молодая дѣвушка Лариса, и Гордановъ, бывшіе въ другой части парка и въ противномъ концѣ той же аллеи. Эта пара тоже лицомъ къ лицу встрѣтилась съ тѣмъ же Бодростинымъ, который этихъ уже не испугалъ, но удивилъ разрѣзанною спиной своего стараго, узкаго и кургузаго мундира. Бросились искать Михаила Андреевича и нигдѣ его не нашли; ни садовники, ни прислуга нигдѣ его не видали. Нашли только падчерицу Синтяниной, глухонѣмую дѣвочку Вѣру: она рвала мать-и-мачеху на опушкѣ парка. Ее тоже спросили, не видала ли она Михаила Андреевича? И представь, она тоже отвѣчала знакомъ, что видѣла. А когда ее спросили, куда онъ пошелъ, то она, улыбаясь, отвѣтила: «повсюду», но это дитя больное и экспансивное. Глафира Васильевна

велѣла принести себѣ кирасирскій мундиръ Михаила Андреевича, и мундиръ былъ весь цѣлъ, а черезъ часъ получена была изъ Москвы депеша отъ Бодростина о томъ, что онъ два часа тому назадъ прибылъ туда благополучно, и затѣмъ вечеръ закончился ужиномъ и музыкой. Такимъ образомъ, вотъ тебѣ у насъ даже и свое «видѣніе шведскаго короля». Но смѣйся или не смѣйся, а всѣ бодростинскіе люди по этому случаю страшно оробѣли, и посолъ, привезшій мнѣ сегодня изъ Бодростинской усадьбы нѣкоторыя мои книги, разсказывая мнѣ «ужасное чудо», съ трепетомъ добавилъ, что это уже не первое, и что пастухъ Панька кссолапый подъ самый Ивановъ день видѣлъ, какъ изъ рѣчки выползли на берегъ два рака, чего этотъ косолапый Панька такъ испугался, что ударился безъ оглядки бѣжать домой, но упалъ и слышалъ, какъ застонала земля, послѣ чего этотъ бѣднякъ чуть не отдалъ Богу свою младенчески-суевѣрную душу. Не замѣнятъ ли меня, наконецъ, въ общественномъ вниманіи хоть эти раки, или не буду ли я, напротивъ, употребленъ на сугубое позорище, дабы оторвать вниманіе людей отъ этихъ раковъ?»

Акатовъ свернулъ листокъ, сунулъ его въ карманъ и во весь обратный путь домой все мысленно писалъ Подозерову отвѣтъ,—отвѣтъ уклончивый, съ безпрестанными «конечно, хотя, разумѣется» и печальнѣйшимъ «но», которымъ въ концѣ всѣ эти «хотя и разумѣется» сводились къ нулю въ квадратѣ. Письмо начиналось товарищескимъ вступленіемъ, затѣмъ развивалось полушуточнымъ сравненіемъ индивидуальнаго характера Подозерова съ коллективнымъ характеромъ Россіи, которая вездѣ хочетъ, чтобы признали благородство ея поведенія, забывая, что въ нашъ вѣкъ надо заставлять знать себя; далѣе въ отвѣтѣ Акатова мелькомъ говорилось о неблагодарности службы вообще «и *хотъ*, молъ, мнѣ будто и везетъ, *но* это досталось такими-то трудами», а что касается до ходатайства за просителя, то, «*конечно*, Подозеровъ можетъ не сомнѣваться въ теплѣйшемъ къ нему расположеніи, *но*, однакоже, *разумѣется* и не можетъ неволить товарища (то-есть Акатова) къ отступленію отъ его правила не предстательствовать нигдѣ и ни за кого изъ *близкихъ* людей, въ числѣ которыхъ онъ всегда считаетъ его, Подозерова».

Таково было письмо, которое Подозеровъ долженъ былъ

получить отъ несомнѣннаго друга своего Акатова, но онъ его не получилъ, потому что «хотя» Акатовъ и имѣлъ несомнѣнное намѣреніе написать своему товарищу таковое письмо, «но» пока доѣхалъ до дому, онъ уже почувствовалъ, что какъ бы еще лучше этого письма совсѣмъ не писать.

«И не странно ли все это?—разсуждалъ, засыпая послѣ обѣда въ креслѣ, Акатовъ. — Положимъ, что Гордановъ всегда и былъ, и есть, и будетъ мерзавецъ, но почему же я знаю теперь, каковъ сталъ и Подозеровъ? Провинція растлѣваетъ нравы... И наконецъ этотъ цинизмъ: «взятки», «вымогательство»... фуй! Почему же на меня этого не скажутъ? Почему ко мнѣ никакой этакій Гордановъ не подкрадется?»

— Подкрадется, ваше превосходительство, клянусь святымъ Патрикомъ, подкрадется,—прогнусилъ въ отвѣтъ Акатову, немножко задыхаясь, дремучій семинаристъ Ѳеоктистъ Меридіановъ, котораго Акатовъ едва ли когда видѣлъ, не зналъ по имени и не пустилъ бы къ себѣ на порогъ ни въ домъ, ни въ департаментъ, но богъ Морфей ничѣмъ этимъ не стѣсняется и сводитъ людей въ такія компаніи, что только ахнешь проснувшись, и Акатовъ ахнулъ, и совсѣмъ позабылъ и о Подозеровѣ, и о его письмѣ, и вотъ причина, почему Подозеровъ ждетъ дружескаго отвѣта «разумѣется» очень нетерпѣливо, «но совершенно напрасно».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Порѣзъ до крови.

Въ этотъ же самый день капиталистъ Тихонъ Ларіоновичъ Кишенскій, засѣдая въ помѣщеніи одной редакціи въ казенномъ домѣ, между массой доставляемыхъ корреспонденцій, прочелъ полуофиціальное извѣщеніе: «На сихъ дняхъ здѣсь получила большую скандальную огласку довольно недостойная исторія, касающаяся здѣшняго члена отъ правительства по крестьянскимъ дѣламъ г. Подозерова. Этого чиновника, вообще довольно нелюдимаго и пользующагося нѣсколько странною репутаціей, теперь всѣ въ одинъ голосъ обвиняютъ въ вымогательствѣ денегъ съ помѣщика Павла Горданова за сдѣлку сего послѣдняго съ крестьянами по размѣнѣ нѣкотораго поземельнаго участка, гдѣ Гордановъ вознамѣрился построить для крестьянъ ремесленную

школу. Встрѣтивъ отпоръ со стороны г. Горданова, чиновникъ Подозеровъ агитировалъ будто бы среди крестьянъ въ пользу идей безпорядка, чему здѣсь знающіе демократическія наклонности г. Подозерова вполнѣ вѣрятъ. По дѣлу этому было произведено секретное дознаніе, и оказалось, что дѣйствительно проживающій здѣсь отставной майоръ Форовъ и священникъ Евангелъ Минервинъ, проходя однажды чрезъ деревушку г. Горданова, подъ предлогомъ ловли въ озерѣ карасей, остановились здѣсь, подъ видомъ напиться квасу, и вели съ нѣкоторыми крестьянами разговоръ, имѣвшій, очевидно, цѣлью возбуждать въ крестьянахъ чувство недовѣрія къ намѣреніямъ г. Горданова. Во избѣжаніе огласки, формальнаго слѣдствія по этому дѣлу не предполагается и начальство намѣрено ограничиться однимъ дознаніемъ съ конфиденціальнымъ сообщеніемъ куда слѣдуетъ о дѣйствіяхъ Подозерова и священника Минервина, а за майоромъ Филетеромъ Форовымъ, издавна извѣстнымъ въ городѣ своимъ вреднымъ образомъ несбыточныхъ мыслей и стремленій, строго вмѣнено мѣстной городской полиціи въ обязанность имѣть неослабленное наблюденіе».

Кишенскій помѣтилъ это сообщеніе «къ свѣдѣнію», сдѣлалъ изъ него вымѣточку себѣ въ записную книжку и, перейдя въ другую редакцію, помѣщавшуюся уже не въ казенномъ домѣ, начерталъ: «*Дѣятель на всѣ руки*». — «До чего, наконецъ, дойдутъ наши маскированные соціалисты, этому, кажется, нѣтъ никакихъ границъ и никакихъ Геркулесовыхъ столбовъ. Намъ пишетъ вполнѣ заслуживающій довѣрія землевладѣлецъ, что у нихъ есть одинъ дѣятель, нѣкто А. И. П—овъ, стяжавшій себѣ въ своемъ муравейникѣ славу страстотерпца за «священныя права хлѣбопашца», наконецъ вымогательствами вещественныхъ знаковъ признательности съ помѣщика П. Н. Гор—ова за право выстроить для крестьянъ ремесленную школу. Вѣроятно, этотъ дѣятель найдетъ себѣ горячую поддержку со стороны органовъ нашей печати, взявшихъ себѣ исключительную привилегію агитировать подъ предлогомъ патріотизма».

Затѣмъ, вечеромъ, редакціи третьей газеты Кишенскій далъ напечатать корреспонденцію, въ которой восхвалялся здравый смыслъ народа, не поддавшагося наущеніямъ попа и двухъ агитаторовъ, изъ которыхъ одинъ, чиновникъ

П—ровъ, даже имѣетъ власть въ крестьянскихъ дѣлахъ. «Какъ жаль,—заключилъ онъ эту замѣтку,—что въ назначеніи къ подобнымъ должностямъ у насъ не соблюдается вся осторожность, которая была бы здѣсь такъ умѣстна».

Все это было напечатано и вышло въ свѣтъ, а на другой день къ Кишенскому влетѣла Ванскокъ и, трепля косицами и раздувая ноздри, потребовала вниманія къ листу бумаги, измаранному ея куриными гіероглифами. Здѣсь она, со словъ только-что полученнаго ею отъ Висленева письма, описывала ужасное событіе съ Гордановскимъ портфелемъ, который неизвѣстно кѣмъ разрѣзанъ и изъ него пропали значительныя деньги, при такихъ обстоятельствахъ, что владѣлецъ этихъ денегъ, по чувству деликатности къ семейной чести домовладѣльца, гдѣ случилось это событіе, даже не можетъ отыскивать этой покражи, такъ какъ здѣсь ложится тѣнь на нѣкоторыхъ изъ семейныхъ друзей домохозяевъ.

Ванскокъ хотѣла, чтобъ это немедленно было напечатано слово въ слово, какъ она сочинила и со всѣми именами, но Кишенскій ей отказалъ.

— За это, матушка игуменья, достается,—сказалъ онъ:— а мы такъ сдѣлаемъ... Онъ взялъ перо и написалъ на полѣ: «*Правда ли*, что нѣкто дѣятель васильетемновскаго направленія, г. По—зеровъ (отчего бы не Позоровъ), будучи въ домѣ нѣкіихъ гг. Вис—выхъ, подъ видомъ ухаживанія за сестрой домохозяина, распоролъ неосторожно чужой портфель съ деньгами, отданными г. В. на сохраненіе другомъ его г. Го—вымъ?»

— Вотъ этакъ, матка, будетъ глаже: такъ и коротко, и узловато,—и комаръ носа не подточитъ, и всѣ, кому надо, уразумѣютъ, яко съ нами Богъ! Прыгай теперь къ Бабиневичу, чтобы завтра напечаталъ у себя подъ «правда ли?»

— Онъ не напечатаетъ.

— Ну, вотъ еще!

— Это фактъ! я къ нему разъ обращалась, и онъ закоробатился и отказалъ.

— Ну, все пустяки; скажите, что я просилъ: онъ не будетъ коробатиться.

— А онъ вамъ долженъ?

— Скажите, скажите только, что я просилъ, — подтвердилъ, вставая, Кишенскій и, услыхавъ легкій стукъ въ

двери изъ № 8, гдѣ снова процвѣтала вновь омеблированная на страховыя деньги «касса ссудъ», — добавилъ полушопотомъ:—ну, а теперь, игуменья, некогда больше, некогда— вонъ люди и за настоящимъ дѣломъ стучатъ.

Съ этимъ онъ полудружески, полупрезрительно толкнулъ Ванскокъ двумя пальцами въ плечо и, свистнувъ могучаго Іогана съ острова Эзеля, крикнулъ ему: «Выпусти госпожу!» повернулся и ушелъ.

Слово Кишенскаго оказалось съ большимъ вѣсомъ, и Ванскокъ на другой же день взяла въ конторѣ Бабиневича на полтинникъ двадцать листиковъ его изданія и послала ихъ въ бандеролькѣ Іосафу Платоновичу Висленеву.

Послѣдуемъ и мы за этою картечью, которою Павелъ Николаевичъ обстрѣливаетъ себѣ позицію, чтобы ничто не стояло предъ прицѣлами сокрытыхъ орудій его тяжелой артиллеріи. Читатель всеусерднѣйше приглашается отрясти прахъ отъ ногъ своихъ въ гнѣздѣ сорока разбойниковъ и перенестись отсюда на поля, гдѣ долженъ быть подвергнутъ ожесточеніямъ, и пыткѣ, и позору нашъ испанскій дворянинъ въ его разодранномъ плащѣ и другіе наши друзья.

Путь намъ теперь лежитъ черезъ хуторный домикъ Александры Ивановны Синтяниной, гдѣ блѣдною ручкой глухонѣмой нимфы Вѣры повѣшены на желтыхъ перевеслахъ золотистой соломы, сохнутъ и валятся пучки душистаго чебра, гулявицы, калуфера и горькой руты.

Часть третья.

КРОВЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Кипятокъ.

Хуторъ Починокъ, любимый пріютъ генеральши Синтянниной, отстоитъ отъ города въ восьми верстахъ. Справа отъ него, въ трехъ верстахъ, богатое Бодростинское подгородное имѣніе, влѣво—торговое село Рыбацкое и Ребровъ хуторъ, куда майоръ Филетеръ Ивановичъ Форовъ постоянно ходилъ къ другу своему, отцу Евангелу. Починокъ стоялъ въ низменности, между двумя плоскогорьями, занятыми селомъ Рыбацкимъ и обширною барскою Бодростинскою усадьбой, старый англійскій паркъ которой достигалъ до самаго рубежа Починскихъ полей. Починокъ, которымъ владѣли Синтянины, и Ребровъ хуторъ, на которомъ жилъ при церкви отецъ Евангелъ, были маленькіе поселки, ихъ почти и не видать было между селами Бодростинымъ и Рыбацкимъ. Весной, когда полевые злаки еще не поднялись надъ землей выше чѣмъ прячется грачъ, хуторки еще чуть-чуть обозначались, словно забытыя копенки прошлогодняго сѣна; но чуть лишь нива забирала силу и шла въ ростъ, отъ ветхаго купола ребровской колокольни только мелькалъ крестикъ. Что же касается до Синтянинскаго хутора, то его и совсѣмъ нельзя было видѣть, пока къ нему не подъѣдешь по неширокой, малопроѣзжей дорожкѣ, кото-

рая отбѣгала въ сторону отъ торной и пыльной дороги, соединяющей два большія села на крайнихъ точкахъ нагорнаго амфитеатра.

Хуторъ Починокъ возникъ потому, что протекающій здѣсь небольшой ручеекъ подалъ одному однодворцу мысль поставить тутъ утлую мельницу, изъ разряда извѣстныхъ въ серединной Россіи «колотовокъ», и въ такомъ видѣ, съ одною мельничною избой, этотъ хуторъ - невидимка былъ купленъ генераломъ Синтянинымъ, жена котораго свила себѣ здѣсь гнѣздышко. Хуторокъ и теперь такой же невидимка, но онъ уже не тотъ бобыльникъ, какимъ былъ въ однодворческихъ рукахъ: на него легла печать раченія и вкуса. Никакихъ затѣй и претензій здѣсь нѣтъ и слѣда, но какъ только вы обогнули маленькій зигзагъ по малопроѣзженной дорожкѣ, предъ вами вырастаютъ исправныя соломенныя крыши очень дружественно расположившихся строеній. Небольшой ручеекъ, бѣгущій съ горы изъ-подъ лѣса по ржавымъ потовинамъ, здѣсь перехваченъ плотинкой и образуетъ чистый, блестящій прудокъ, въ которомъ вода тиха какъ въ чашѣ; на этомъ прудѣ стоитъ однопоставная мелешка съ маленькою толчеей для льна. Это центральное мѣсто, къ которому всѣ другія строенія поселка какъ будто бы чувствуютъ почтеніе: сараи, сарайчики, амбары, амбаружки, хлѣвки и закутки — все это съ разныхъ сторонъ обступило мельницу, поворотилось къ ней лицомъ, смотритъ на ея вращающееся колесо, какъ безграмотные одиосельчане глядятъ на старушку, сотый разъ повторяющую имъ по складамъ старую, тихоструйную повѣсть.

Господскаго домика вовсе не видно и его собственно здѣсь и нѣтъ, потому что небольшая, оштукатуренная пристройка при высокомъ сосновомъ амбарѣ никакъ не имѣетъ права претендовать на званіе самаго скромнаго господскаго домика, но эта пристройка и есть жилье Александры Ивановны Синтяниной. Здѣсь двѣ небольшія комнаты, подъ окнами которыхъ разбитъ маленькій цвѣтникъ, засѣянный неприхотливыми дунистыми цвѣтами. Небольшой плодовый садикъ полонъ густого вишняка и малины; за этимъ садикомъ есть небольшой, очень стройный молодой осинникъ, въ которомъ бьетъ студеный родникъ прекрасной воды и предъ нимъ устроены небольшая деревянная бесѣдочка и качели. Растительность на хуторѣ вообще довольно силь-

ная; все свѣжо, сильно, бодро, зелено, но не высоко: прибрежныя лозы пруда, ракиты, окружающія всѣ пристройки, и владимірскія вишни, и сливы, и груши, и все это какъ будто рѣшилось скрываться и не тянулось вверхъ. Только однѣ осинки выбѣжали немножко повыше и постоянно шепчутъ своими трепещущими листками о томъ, что видятъ за каймой этой маленькой усадьбы.

Стояли послѣдніе жаркіе дни августа, на дворѣ былъ пятый часъ, но солнце, несмотря на свое значительное уклоненіе къ западу, еще жгло и палило немилосердно. Въ небольшой комнаткѣ оштукатуренной пристройки, составлявшей жилье Александры Ивановны Синтяниной, ставни обоихъ оконъ были притворены, а дверь на высокое крыльцо, выходившее на тѣневую сторону, раскрыта настежь. Здѣсь, въ небольшой комнатѣ, уставленной старинною мебелью, помѣщались теперь два знакомыя намъ лица: сама генеральша и другъ ея, майорша Катерина Астафьевна Форова. Александра Ивановна писала предъ стариннымъ овальнымъ столомъ, утвержденнымъ на толстой тумбѣ, служившей маленькимъ книжнымъ шкафомъ, а майорша Катерина Астафьевна Форова, завернутая кое-какъ въ узенькое платье, безъ шейнаго платка и безъ чепца, сидѣла на полу, лицомъ къ открытой двери, и сматывала на клубокъ нитки, натянутыя у нея на выгнутыхъ колѣнахъ. Она, очевидно, была не въ духѣ, постоянно скусывала зубами узелки, сердилась и ворчала.

— Ахъ, чтобы вамъ совсѣмъ пусто было!—повторила она въ двадцатый разъ, бросивъ на полъ клубокъ и принимаясь теребить на колѣнахъ запутанныя нитки.

Этимъ восклицаніемъ нарушилась царствовавшая въ комнатѣ глубокая тишина, и Александра Ивановна остановила свое перо и, приподнявъ лицо, взглянула на майоршу.

— Чего ты на меня смотришь?—спросила Форова, не видя, но чувствуя на себѣ взглядъ своего друга.

— Я все слушаю, съ кѣмъ ты это перебраниваешься?

— Сама съ собою бранюсь, съ кѣмъ же мнѣ больше браниться?

Синтянина замолчала и снова взялась за перо.

Прошла минута и щелканье наматываемой нитки вдругъ опять оборвалась, и опять послышался воскликъ Форовой: «пусто-бъ вамъ было!»

— Перестань, Катя, браниться,—отозвалась Синтянина.— Не стыдно ли тебѣ срывать свою досаду на ниткахъ.

— Я, милая, вѣдь сказала тебѣ, что я на себѣ ее срываю.

— И на себя тебѣ не за что злиться.

— Да вотъ, забыла, о чемъ съ мужемъ послѣ свадьбы говорила, оттого и нитокъ не распутаю. На свою память сержусь, и съ этимъ майорша, отбросивъ клубокъ, схватила жестянку изъ-подъ сардинокъ, въ которой у нея лежали ея самодѣльныя папироски и спички, и закурила.

— А я между тѣмъ, пока ты злилась, кончила письмо,— сказала Синтянина, пробѣгая глазами листокъ.

— Ну, и прекрасно, что кончила, я очень рада: конецъ всему дѣлу вѣнецъ.

— Ты хочешь послушать, что̀ я ему написала?

— М... м... м... это, мой другъ, какъ тебѣ угодно.

— Да полно тебѣ въ самомъ дѣлѣ дуться! Что̀ это за вздоръ такой: дуешься на меня, дуешься на своего мужа и на весь свѣтъ, и все изъ-за посторонняго дѣла. Глупо это, Катя!

— Во-первыхъ, я не дуюсь на весь свѣтъ, потому что хоть я, по твоимъ словамъ, и глупая, но знаю, что весь свѣтъ моего дутья не боится, и во-вторыхъ, я не въ тебя и не въ моего муженька, и дѣлъ близкихъ мнѣ людей чужими не считаю.

Синтянина встала, подошла къ Форовой, опустилась возлѣ нея на полъ, покрывъ половину комнаты волнами своего свѣтлаго ситца, и, обнявъ майоршу, нѣжно поцѣловала ее въ сѣдую голову.

— Катя, — сказала она: — ты сердишься понапрасну, и когда ты одумаешься, ты увидишь, что ты была очень неправа и предо мной, и предъ твоимъ мужемъ.

— Никогда я съ этимъ не соглашусь, — отвѣчала Форова:—никогда не стану такъ думать, я не стану такъ жить, чтобы молчать, видючи, какъ моихъ родныхъ... близкихъ людей мутятъ, путаютъ. Нѣтъ, никогда этого не будетъ; я не перестану говорить, я не замолчу; не стану по вашему хитрить, лукавить и отмалчиваться.

— Но постой же ты, пламень огненный, вѣдь ты же и не молчала, и вѣдь ты не молчишь, ты все говоришь Ларисѣ, а что̀ изъ этого проку?

— Да и не молчу, и не молчу, а говорю!

— И ужъ разссорилась съ ней?

— Да, и разссорилась, и что же такое что разссорилась? И она не велика персона, чтобъ я ея боялась, да и съ меня отъ ея словъ позолота не слиняла: мы свои люди, родные, побранились да и только. Она меня выгнала изъ дома, ну и прекрасно: на что дура-тетка въ домѣ, когда новые друзья есть?

— Ну, и что же изъ этого вышло хорошаго?

— Хорошаго? Ничего не вышло хорошаго, да и быть нечему, потому что я только одна и говорю, всѣ потакаютъ, молчатъ. Что же дѣлать? Одинъ въ полѣ не воинъ. Да; а ты вотъ молчишь... ты, которой поручала ее мать, которою покойница, можно сказать, клялась и божилась въ послѣдніе дни, ты молчишь; Форовъ, этотъ ненавистный человѣкъ, который... все-таки ей по мнѣ приходится дядя, тоже молчитъ, да свои нигилистическія рацеи разводитъ; попъ Евангелъ, эта ваша кротость сердечная, который, по вашимъ словамъ, живой Бога узритъ, съ которымъ Лара бывало обо всемъ говоритъ, и онъ теперь только и знаетъ, что бородой трясетъ, да своими широкими рукавищами размахиваетъ; а этотъ... этотъ Андрей... ахъ, пропади онъ, не помянись мнѣ его ненавистное имя!..

— Боже, Боже, какъ ослѣпляетъ тебя гнѣвливость!

— Не говори! Не уговаривай меня и не говори, а то меня еще хуже злость разбираетъ. Вы бросили мою бѣдную дѣвочку, бросили ее на произволъ ея дѣвичьему разуму и отошли къ сторонкѣ, и любуются: дескать наша хата съ краю, я ничего не знаю, иди себѣ, бѣдняжка, въ болото и заливайся.

Форова быстро сорвала съ колѣней мотокъ нитокъ, швырнула его отъ себя далеко прочь, въ уголъ и, закрывъ руками лицо, начала тихо всхлипывать.

— Катя! перестань плакать, Бога ради, перестань!—начала успокоивать ее Синтянина, отводя ея руки и стараясь заглянуть ей въ глаза.

— Нельзя мнѣ, Саша, перестать, нельзя, нельзя, потому что моя Лара... моя бѣдная дѣвочка... пропала! Моя бѣдная, бѣдная дѣвочка!

— Не преувеличивай; ничего худого съ Ларисой не сталось, и время еще не ушло ее воротить.

— Нѣтъ, нѣтъ; я плачу не напрасно: сталось плохое и

скверное, да, да... я знаю, о чемъ я плачу,—отвѣчала Форова, торопливо обтирая рукой глаза.—Время, Саша, ушло, ушло золотое времечко, когда она была съ нами.

— Ну, и что же съ этимъ дѣлать? Ты, Катя, чудиха, право: вѣдь она дѣвушка, ужъ это такой народъ неблагодарный: какъ ихъ ни люби, а придетъ пора, онѣ не поцеремонятся и отшатнутся, но потомъ и опять вспомнятъ друзей.

— Да я дура, что ли, въ самомъ дѣлѣ, что я этого не понимаю? Нѣтъ, я плачу о томъ, что она точно искра въ соломѣ, такъ и гляжу, что вспыхнетъ. Это все та, все та,— и Форова заколотила по ладони пальцемъ.—Это все оттого, что она предалась этой змѣѣ Бодростинихѣ... Эта подлая Глафирка никогда никого ни до чего добраго не доведетъ.

— Ахъ, Катя! Это даже непріятно! Ну, какъ тебѣ не стыдно такъ браниться!

— А что же мнѣ остается дѣлать, какъ не браниться? Вы вѣдь умныя, воспитанныя, и я не мѣшаю вамъ молчать, а я дура, и вы не мѣшайте мнѣ браниться.

— Ты въ самомъ дѣлѣ говоришь Богъ знаетъ что.

Форова обтерла глаза и, низко поклонясь, сказала смиреннымъ голосомъ:

— Да, я говорю Богъ знаетъ что, простите Христа ради меня, дуру, что я вамъ досаждаю. Я вамъ скоро не стану болѣе докучать. Я вижу, что я точно стала глупа, и я уйду отъ васъ.

И Катерина Астафьевна въ самомъ дѣлѣ встала, подняла изъ-подъ стула свой заброшенный мотокъ и начала его убирать.

— Куда же ты уйдешь?—спросила ее, улыбаясь, Синтянина.

— Это мое дѣло: куда ни пойду, а ужъ мѣшать вамъ не стану; слава Богу, еще на свѣтѣ монастыри есть.

— Но ты замужемъ, тебя въ монастырь не примутъ.

— Я разводъ возьму.

Синтянина разсмѣялась.

— Нечего, нечего потѣшаться! Нынче всѣмъ даютъ разводы, Саша: на себя грѣхъ взведу и разведусь.

— И тебѣ не стыдно нести такой вздоръ?

— Ну, такъ я безъ развода пойду на бѣдныя церкви собирать.

— Вотъ это другое дѣло!

— Да «другое». Нечего, нечего тебѣ на меня смотрѣть да улыбаться.

— Я теперь вовсе не улыбаюсь.

— Это все равно: я вижу, что̀ у тебя на душѣ, да Богъ съ тобой, я тебѣ очень благодарна, ты была ко мнѣ добра, но теперь ты совсѣмъ перемѣнилась. Богъ съ тобой, Саша, Богъ съ тобой!

— Неправда, Катя, неправда!

— Нѣтъ, я все вижу, я все вижу. Я прежде для тебя не была глупа.

— Ты и теперь для меня не глупа. Кто тебѣ сказалъ, что ты глупа? Ты это сама себѣ сочинила.

— Да, я сама сочинила, я все сама себѣ сочиняю. Я сочинительница: «*Петербургскія Трущобы*» это я написала. И я тоже счастливая женщина; очень счастливая, какъ же не счастливая? Всѣ видятъ, что я поперекъ себя шире, это всѣ видятъ, а что̀ дѣлается у меня въ сердцѣ, до этого никому дѣла нѣтъ.

— Да что̀ тамъ дѣлается-то, въ твоемъ сердцѣ? Этого даже не разобрать за твоимъ кипяченьемъ.

— А что̀ дѣлается? Ты думаешь мнѣ легко, что я хожу да ругаюсь, какъ Гаврилка въ распивочной? Нѣтъ, другъ мой, одинъ Богъ видитъ, какъ мнѣ самой это противно, но не могу: какъ вспомню, что это сдѣлалось, что Подозеровъ отказался, что она живетъ у Бодростиной, гдѣ этотъ воръ Гордановъ, и не могу удержаться. Помилуй и сама посуди: жили мы всѣ вмѣстѣ, были друзья-пріятели; годы цѣлые прошли какъ мы иначе и не располагались, что Лариса будетъ за Подозеровымъ, и весь городъ объ этомъ говорилъ, и вдругъ ни съ того, ни съ сего разрывъ, и какой разрывъ: ни сѣло, ни пало и разошлись. Кто это сдѣлалъ? Какъ ты хочешь, а это не само же собой случилось: онъ ее любилъ безъ понятія и всѣ капризы ея зналъ, и самовольство, и все любилъ; всякій, кто его знаетъ, долженъ сказать, что онъ человѣкъ хорошій, она тоже... показывала къ нему расположеніе, и вдругъ поворотъ: она дома не живетъ, а все у Бодростиной; онъ прячется, запирается, говорятъ, уѣхать хочетъ... Что же это такое?

— Ты говорила объ этомъ съ Ларисой?

— Обо всемъ въ подробности. Я ужъ взяла на себя та-

кое терпѣнье, одна въ домѣ недѣлю сидѣла и дождалась ея на минуту. Но что же съ нею говорить: она вся въ себя завернулась, а внутри какъ искра въ соломѣ, вотъ-вотъ да и вспыхнетъ. «Я уважаю, говоритъ, Подозерова, но замужъ за него идти не хочу». Я съ нею сцѣпилась и говорю: какого же еще, какого тебѣ, царевна съ мѣсяцемъ подъ косой, мужа нужно? Вычитываю ей: онъ человѣкъ трудящій, трезвый, честный, образованный, нрава прекраснаго, благородный, всѣмъ нравится, а она вдругъ отвѣчаетъ, что она очень рада, что онъ всѣмъ нравится, и желаетъ ему счастія.

— Она сказала это искренно?

— Совершенно искренно, съ полнымъ спокойствіемъ и даже съ радостью объявила, что Андрей Иванычъ самъ отъ нея отказался. Я просто этому сначала не повѣрила. Помилуй, что же это за скачки такіе? Я пошла къ нему, но онъ три дня запертъ какъ кикимора, и видѣть его нельзя; мужа посылала—нейдетъ, попъ—нейдетъ; тебя просила написать, ты не писала...

— Я написала, вотъ слушай, что я ему написала.

Синтянина вынула изъ незаклееннаго конверта листокъ и прочитала:

«Уважаемый Андрей Ивановичъ! Вы не одинъ разъ говорили мнѣ, что вы дружески расположены ко мнѣ и даже меня уважаете; мнѣ всегда было пріятно этому вѣрить, тѣмъ болѣе, что я и сама питаю къ вамъ и дружбу, и расположеніе, безъ этого я и не рѣшилась бы сказать вамъ того, что пишу вамъ во имя нашей испытанной дружбы. Меня удивляетъ ваше поведеніе по отношенію ко всѣмъ намъ, свыкшимся съ мыслію, что мы друзья. Зачѣмъ вы насъ покинули, заключились подъ замокъ и избѣгаете встрѣчи съ нами, какъ съ злѣйшими своими врагами? Я васъ не понимаю. Я знаю, что вы переносите незаслуженныя непріятности; но развѣ это поводъ оскорблять людей искренно къ вамъ расположенныхъ? Говорятъ, что вы хотите совсѣмъ уйти отъ насъ? и слухи эти, повидимому, имѣютъ основаніе. Катерина Астафьевна Форова узнала, что вы продаете вашу мебель и вашу лошадку...»

— Нѣтъ; этого не нужно ему писать,—перебила Форова.

— Отчего же?

— Такъ; не нужно; я не хочу, чтобъ онъ зналъ, что я имъ интересуюсь: ѣдетъ, и пусть ему скатерью дорожка.

Александра Ивановна пожала плечами и, обмочивъ въ чернила перо, тщательно зачеркнула все, что̀ касалось Форовой, и затѣмъ продолжала:

«Если непріятности, выпадающія здѣсь на вашу долю, такъ велики, или если вы такъ слабы, что не можете долѣе переносить ихъ, то, конечно, все, что̀ мы можемъ сказать, это: дай Богъ вамъ лучшаго. Мое мнѣніе таково, что нѣтъ на свѣтѣ обитаемаго уголка, гдѣ бы не было людей, умѣющихъ и желающихъ досаждать ближнему, и потому я думаю, что въ этомъ отношеніи всѣ перемѣны не стоятъ хлопотъ, но всякій чувствуетъ и переноситъ досаду и горести по-своему, и оттого въ подобныхъ дѣлахъ никто никому не указчикъ. Одно, чего въ правѣ желать отъ васъ и что можетъ себѣ позволить высказать вамъ ваша дружба, это, чтобы вы не огорчали ее сомнѣніями. Прошу васъ прекратить свое заключеніе и пріѣхать ко мнѣ на хуторокъ, гдѣ наша тишь постарается успокоить ваши расходившіеся нервы, а наша скромность, конечно, не станетъ укорять васъ за отчужденіе отъ любящихъ васъ людей. Я васъ жду, потому что у меня есть дѣло, по которому я непремѣнно должна поговорить съ вами».

— Хорошо?—спросила Синтянина, докончивъ чтеніе.

— Прескверно.

— Отчего?

— Да что же тутъ написано?—ничего. Ты его еще и ублажаешь.

— А ты хочешь, чтобъ я его бранила въ письмѣ? Ну, извини меня, милая Катя, я этого не сдѣлаю.

— Я этого и ожидала: я знаю, что онъ тебѣ дороже...

Синтянина слегка смутилась, но тотчасъ поправилась и отвѣчала:

— Да: ты отгадала: я не раздѣляю къ нему твоихъ нынѣшнихъ чувствъ, я его... считаю достойнымъ... полнаго уваженія.

— И любви.

— Да; и любви. Я сейчасъ посылаю это письмо,—посылаю его при тебѣ безъ всякихъ добавокъ, и увѣрена, что не пройдетъ двухъ часовъ, какъ Подозеровъ пріѣдетъ, и я буду говорить съ нимъ обо всемъ, и получу на все отвѣты, самые удовлетворительные.

Съ этимъ Александра Ивановна подошла къ окну и, толкнувъ рукой закрытую ставню, произнесла:

— Ба! вотъ сюрпризъ: онъ здѣсь.

— Кто? гдѣ?

— Подозеровъ! И посмотри ты на него, какъ онъ, бѣдняга, измученъ и блѣденъ!

Форова подошла и стала молча за плечомъ хозяйки. Подозеровъ сидѣлъ на земляной насыпи погреба и, держа въ лѣвой рукѣ своей худую и блѣдную ручку глухонѣмой Вѣры, правою быстро говорилъ съ ней глухонѣмою азбукой. Онъ спрашивалъ Вѣру, какъ она живетъ и что дѣлала въ то время, какъ они не видались.

— Вы учились?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ,—отвѣчала грустно дѣвочка, глядя на него глазами, полными мучительной тоски.

— Отчего?

— Меня оставила память.

Подозеровъ крѣпко сжалъ блѣдную ручку ребенка и, поцѣловавъ ее, остался наклоненнымъ къ нѣжной головкѣ Вѣры.

— Какъ онъ постарѣлъ,—шепнула Форова.

— Ужасно, просто ужасно,—отвѣчала Синтянина и громко позвала гостя по имени.

Подозеровъ поднялъ голову и улыбнулся. На блѣдно-желтомъ лицѣ его лежала печать тяжелаго страданія, только-что осиленнаго мучительною борьбой.

— Пріодѣнься немножко здѣсь, а я выйду къ нему туда, и мы пройдемъ въ осинникъ,—проговорила Синтянина, выходя и пряча въ карманъ ненужное теперь письмо.

Форова быстрымъ движеніемъ остановила ее у двери и съ глазами, полными слезъ, заботливо ее перекрестила.

— Хорошо, хорошо,—отвѣчала Синтянина:—я обо всемъ переговорю.

Форова прижалась горячими губами къ ея щекѣ и прошептала:

— Онъ мнѣ ужасно жалокъ, Саша.

— Всѣ жалки, другъ мой, всѣ, кто живетъ живою душой: такъ суждено;—и съ этими словами Синтянина вышла на крыльцо и привѣтливо протянула обѣ руки Подозерову.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Женскій умъ послѣ многихъ думъ.

Прошло болѣе часа. Александра Ивановна, сидя съ Подозеровымъ вдвоемъ въ своемъ осиновомъ лѣсочкѣ, вела большіе дружескіе переговоры. Она начала съ гостемъ безъ большихъ прелюдій и тономъ дружбы и участія, довольно прямо спросила его, что̀ за слухи носятся, будто онъ оставляетъ городъ.

— Это совершенная правда,—отвѣчалъ Подозеровъ.

— Можно спросить, что̀ же этому за причина?

— Причинъ, Александра Ивановна, цѣлая область и, пожалуй, нѣтъ ни одной: это зависитъ отъ того, какъ кто захочетъ смотрѣть на дѣло.

— А вы какъ на него смотрите?

— Я? я просто усталъ.

— Отъ борьбы?

— Нѣтъ, скорѣе отъ муки. Мучился, мучился и усталъ.

— Это, значитъ, что называется: не справился?

— Какъ хотите называйте: нельзя противъ рожна прать.

— Вы въ самомъ дѣлѣ имѣете очень измученный видъ.

— Да; я не особенно хорошо себя чувствую.

Синтянина вздохнула.

— Я знаю только ваши служебныя столкновенія съ губернаторомъ, съ Бодростинымъ,—начала она послѣ паузы:— и болѣе не вижу предъ вами никакихъ рожновъ, отъ которыхъ бы надо бѣжать. Служба безъ непріятностей никому не обходится, на это ужъ надо быть готовымъ, и честный человѣкъ, если онъ будетъ себя выдерживать, въ концѣ-концовъ, всегда выиграетъ; а въ васъ, я вижу, нѣтъ совсѣмъ выдержки, цѣпкости нѣтъ!

— Какъ во всѣхъ русскихъ людяхъ.

— Не во всѣхъ: люди дурныхъ намѣреній въ наше время очень цѣпки и выдержанны, а вотъ добрые люди, какъ вы, у насъ на наше горе кипятятся и даютъ всякой дряни перевѣсъ надъ собою.

— Это правда.

— Такъ надо исправиться, а не сдаваться безъ боя. Я женщина, но я, признаюсь вамъ, такой уступчивости не понимаю. Вы человѣкъ умный, честный, сердечный, чуткій, но вы фантазеръ. Не нужно забывать, что свѣтъ не

нами начался, не нами и кончится: il faut prendre le monde comme il est.

— Повѣрьте, я, можетъ-быть, меньше всѣхъ на свѣтѣ думаю о передѣлкѣ міра. Скажу вамъ болѣе: мнѣ такъ опостылѣли всѣ эти направленія и настроенія, что я не вспоминаю о нихъ иначе, какъ съ омерзѣніемъ.

— Вѣрю.

— У меня нѣтъ никакихъ пристрастій и я не рабъ никакихъ партій: я уважаю и люблю всѣхъ искреннихъ и честныхъ людей на свѣтѣ, лишь бы они желали счастія ближнимъ и вѣрили въ то, о чемъ говорятъ.

— Знаю; но вы виноваты не предъ міромъ, а прежде всѣхъ предъ самимъ собою и предъ близкими вамъ людьми. Вы сами съ собою очень перемудрили.

Подозеровъ наморщилъ брови.

— Позвольте,—сказалъ онъ:—«самъ предъ собою»—это ничего, но «предъ близкими вамъ людьми...» Передъ кѣмъ же я виноватъ? Это меня очень интересуетъ.

— Я удовлетворяю ваше любопытство; напримѣръ, здѣсь, у меня, мой другъ, Катерина Астафьевна, вы предъ ней виноваты.

— Я, предъ Катериной Астафьевной?

— Да; она на васъ рветъ и мечетъ.

— Я это знаю.

— Знаете?

— Да; мы съ ней недавно встрѣтились, она мнѣ не хотѣла поклониться и отвернулась.

— Да; она уже такая неуемная; а между тѣмъ она васъ очень любитъ.

— Она очень добра ко всѣмъ.

— Нѣтъ; она васъ любитъ больше, чѣмъ другихъ, и знаете, за что и почему?

— Не знаю.

— Ну, такъ я вамъ скажу: потому что она любитъ Ларису.

Произнеся эту фразу, Синтянина потупилась и покраснѣла.

Подозеровъ молчалъ.

Прошла минутная пауза, и Синтянина, разбиравшая въ это время рукой оборки своего платья, вскинула, наконецъ, свои большіе глаза и проговорила ровнымъ, спокойнымъ тономъ:

— Андрей Иванычъ, что вы любите Ларису, это для насъ съ Катей, разумѣется, давно не тайна, на то мы женщины, чтобы разумѣть эти вещи; что ваши намѣренія и желанія честны, и въ этомъ тоже, зная васъ, усомниться невозможно.

— Не сомнѣвайтесь, пожалуйста,—уронилъ Подозеровъ, сбивая щелчками пыль съ своей фуражки.

— Но вы вели себя по отношенію къ любимой вами дѣвушкѣ очень не хорошо.

— Чѣмъ, напримѣръ, Александра Ивановна?

— А хоть бы тѣмъ, Андрей Иванычъ, что вы очень долго медлили.

— Я медлилъ потому, что хотѣлъ удостовѣриться: раздѣляютъ ли хоть мало мою склонность.

— Да; извините меня, я васъ буду допрашивать немножко, какъ слѣдователь.

— Сдѣлайте милость.

— Но не скрою отъ васъ, что дѣлаю это для того, чтобы потомъ, убѣдясь въ правотѣ вашей, стать горячимъ вашимъ адвокатомъ. Дѣло зашло такъ далеко, что близкимъ людямъ молчать долѣе нельзя: всѣмъ тѣмъ, кто имѣетъ какое-нибудь право вмѣшиваться, пора вмѣшаться.

— Нѣтъ, Бога ради, не надо!—вскрикнулъ, вскочивъ на ноги, Подозеровъ. — Это все уже ушло, и не надо этого трогать.

— Вы ошибаетесь,—отвѣтила, сажая его рукой на прежнее мѣсто, Синтянина: — вы говорите: «не надо», думая только о себѣ, но мы имѣемъ въ виду и другую мучающуюся душу, съ которою и я, и Катя связаны большою и долгою привязанностію. Не будьте же эгоистомъ и дозвольте намъ наши заботы.

Подозеровъ молчалъ.

— Лариса вѣдь не счастливѣе васъ; если вы хотите бѣжать куда глаза глядятъ, то она тоже бѣжитъ нивѣсть куда, и вы за это отвѣчаете.

— Я! я за это отвѣчаю?

— А непремѣнно! Конечно, отвѣчаете не суду человѣческому, но суду Божію и суду своей совѣсти. Вы дѣлали ей не такъ давно предложеніе?

— Да, дѣлалъ.

— Значитъ, вы убѣдились, что она раздѣляетъ вашу склонность?

— М... м... не знаю, что̀ вамъ отвѣтить... мнѣ такъ казалось.

— Да, и вы не ошиблись: Лариса, конечно, отличала и отличаетъ васъ, какъ прекраснаго человѣка, вниманіе котораго дѣлаетъ женщинѣ и честь, и удовольствіе; но что же она вамъ отвѣтила на ваши слова?

— Она сначала хотѣла подумать,—проговорилъ, подавляя вздохъ, Подозеровъ.

— Не припомните ли, когда именно это было?

— Очень помню: это было за день до внезапнаго пріѣзда ся брата и Горданова.

— И Горданова,—это такъ; но что же она вамъ сказала, подумавъ?

— Потомъ, подумавъ, она сказала мнѣ... что она готова отдать мнѣ свою руку, но...

— Но что такое *но?*

— Но что она чувствуетъ, или, какъ это вамъ выразить?.. что она не чувствуетъ въ себѣ того, что она хотѣла бы или, лучше сказать, что она считала бы нужнымъ чувствовать, давая человѣку такое согласіе.

Генеральша подумала, сдвинувъ брови, и проговорила:

— Что же это такое ей надо было чувствовать?

— Дѣло очень просто: она меня не любитъ.

— Вы можете и ошибаться.

— Только не на этомъ случаѣ.

— Ну, такъ я повторяю вамъ и даже ручаюсь, что здѣсь возможна большая ошибка, и во всемъ томъ, что̀ случилось, виноваты вы, и вы же виноваты будете, если впередъ случится что-нибудь нежеланное. Вы что ей отвѣтили при этомъ разговорѣ?

— Я тоже просилъ времени подумать.

Синтянина разсмѣялась.

— Да нельзя же было, Александра Ивановна, ничего иного сказать на такой отвѣтъ, какой она дала мнѣ.

— Конечно, конечно! Онъ «сказалъ», «она сказала», и все на разговорахъ и кончили. Что такое въ этихъ случаяхъ значатъ слова? Слова, остроумно кѣмъ-то сказано, даны затѣмъ, чтобы скрывать за ними то, что мы думаемъ,

и женскія слова таковы бываютъ по преимуществу. Добейтесь *чувства* женщины, а не ея словъ.

— Добиться?.. Мнѣ, признаюсь, это слово и не нравится.

— Да, да; добиться, настойчиво добиться. Добиваетесь же вы почестей, вліянія, а женщина одна всего этого стоитъ. Такъ добивайтесь ея.

— Я вѣрю въ одни свободныя, а не внушенныя чувства.

— А я вамъ по секрету сообщу, что это никуда не годится. Если каждый случай требуетъ своей логики отъ человѣка, то тѣмъ болѣе каждый живой человѣкъ требуетъ, чтобъ относились къ нему, какъ именно *къ нему* слѣдуетъ относиться, а не какъ ко всѣмъ на свѣтѣ. Простите, пожалуйста, что я, женщина, позволяю себѣ читать такія наставленія. Вы умнѣе меня, образованнѣе меня, конечно, ужъ безъ сравненія меня ученѣе и вы, наконецъ, мужчина, а я попечительница умственныхъ преимуществъ вашего пола, но есть дѣла, которыя мы, женщины, разбираемъ гораздо васъ терпѣливѣе и тоньше: дѣла сердца по нашему департаменту.

— Пожалуйста, говорите не стѣсняясь, я васъ внимательно слушаю.

— Очень вамъ благодарна за терпѣніе; я вамъ, кромѣ добра, ничего не желаю.

Подозеровъ протянулъ свою руку и пожалъ руку генеральши.

— Позвольте сказать вамъ, что вы много виноваты предъ Ларой своими необыкновенными къ ней отношеніями: я разумѣю: необыкновенно благоразумными, такими благоразумными, что бѣдная дѣвушка, по милости ихъ, свертѣлась и не знаетъ, что ей дѣлать. Вы задались необыкновенно высокою задачей—довести себя до неслыханнаго благородства.

— То-есть, до возможнаго.

— Да; вся ваша жизнь, проходившая здѣсь, на нашихъ глазахъ, была какое-то штудированье себя. Скажите: что до всего этого молодой дѣвушкѣ? Что же вы дѣлали для того, чтобъ обратить къ себѣ ея сердце? Ничего!

— Вы правы... Я, кажется, ничего не дѣлалъ.

— Кажется! Нѣтъ, Андрей Иванычъ, это не кажется, а вы дѣйствительно ничего не дѣлали того, что должны

бы былп дѣлать. Вы были всегда безукоризненно честны, но за это только почитаютъ; всегда были очень умны, но... женщины учителей не любятъ, и... кто развиваетъ женщину, тотъ работаетъ на другихъ, тотъ готовитъ ее другому; вы, наконецъ, не скрывали, или плохо скрывали, что вы живете и дышите однимъ созерцаніемъ ея, дѣйствительно, очаровательной красоты, ея загадочной, какъ Катя Форова говоритъ, *роковой* натуры; вы, кажется, восторгались ея безпрерывными порываніями и тревогами, но...

Тотъ сердце женщинъ знаетъ плохо,
Тотъ вовсе ихъ не могъ понять,
Кто лишь мольбой и силой вздоха
Старался чувства имъ внушать.

До побѣжденныхъ женщинъ нѣтъ дѣла! Видите, какая я предательница для женщинъ; я вамъ напоминаю то, о чемъ должна бы стараться заставить васъ позабыть, потому что Байронъ этими словами, дѣйствительно, говоритъ ужасную правду, и даетъ совѣты противъ женщинъ:

Не рабствуй женщинѣ!
Умѣй сдержать порывы ласки,
Подъ внѣшнимъ льдомъ наружной маски,
Умѣй въ ней чувства разбудить
Тогда она начнетъ любить!

— Это все учитъ хитрости, а я ее ненавижу и не хочу.

— Это учитъ житейскому такту, Андрей Иванычъ. Вы такъ мило боитесь хитрости и рветесь къ прямотѣ... Да кто, какая честная душа не хотѣла бы летѣть къ своимъ цѣлямъ прямо какъ стрѣла? Но на каждомъ шагу есть свое *но*, и стрѣлѣ приходится дѣлать зигзаги, чтобы не воткнуться въ дерево. Кто говоритъ противъ того, что съ полною искренностію жить лучше, но надо знать, съ кѣмъ можно такъ жить и съ кѣмъ нѣтъ? Скажу примѣромъ: если бы дѣло шло между мною и вами, я бы вамъ смѣло сказала о моихъ чувствахъ, какъ бы они ни были глубоки; но я сказала бы это вамъ потому, что въ васъ есть великодушіе и прямая честь, потому что вы не употребили бы потомъ мою искренность въ орудіе противъ меня, чтобы щеголять властью, которую дало вамъ мое сердце; но съ другимъ человѣкомъ, напримѣръ съ Іосафомъ Платоновичемъ, я никогда бы не была такъ прямодушна, какъ бы я его ни любила.

— Вы бы даже кокетничали?

— Если бы любила его и хотѣла удержать? Непремѣнно! Я бы ему дала столько, сколько онъ можетъ взять для своего счастія, и не ввела бы его въ искушеніе промотать остальное.

— Такъ и я долженъ былъ поступать?

— Такъ и вы должны были поступать, и это было бы полезно не для одного вашего, но и для ея счастія.

— Но это мнѣ не было бы легко.

— И очень, на томъ и ловятся мужчины—хорошіе: негодяи гораздо умнѣй, тѣ владѣютъ собой гораздо лучше. Вы позвольте мнѣ васъ дружески спросить въ заключеніе нашей долгой бесѣды: вы знаете ли Ларису?

— Мнѣ кажется.

— Вы ошибаетесь: вы ее любите, но не знаете, и не смущайтесь этимъ: вы въ этомъ случаѣ далеко не исключеніе, большая часть людей любитъ, не зная, за что любитъ, и это слава Богу, потому что если начать разбирать, то поистинѣ некого было бы и любить.

— Сдѣлайте исключеніе хоть для героя или для поэта.

— Богъ съ ними—ни для кого; къ тому же, я терпѣть не могу поэтовъ и героевъ: первые очень прозаичны, докучаютъ самолюбіемъ и во всемъ помнятъ однихъ себя, а вторые... они совсѣмъ не для женщинъ.

— Вы, однакоже, не самолюбивы.

— Напротивъ: я безмѣрно самолюбива, но я прозаична; я люблю тишь и согласіе, и въ нихъ моя поэзія. Что мнѣ въ поэтѣ, который приходитъ домой брюзжать да дуться, или на что мнѣ годенъ герой, которому я нужна какъ забава, который черпаетъ силу въ своихъ, мнѣ чуждыхъ, бореніяхъ? Нѣтъ,—добавила она: — нѣтъ; я простая, мирная женщина; дома немножко деспотка: я не хочу удивлять, но только уже если ты, милый другъ *мой,* если ты выбралъ меня, потому что я тебѣ нужна, потому что тебѣ не благо одному безъ меня, такъ (Александра Ивановна, улыбаясь, показала къ своимъ ногамъ), такъ ты вотъ пожалуй сюда; вотъ здѣсь ищи поэзію и силы, у меня, а не гдѣ-нибудь и не въ чемъ-нибудь другомъ, и тогда у насъ будетъ поэзія безъ поэта и героизмъ безъ Александра Македонскаго.

Подозеровъ молча смотрѣлъ во всѣ глаза на свою собесѣдницу и лицо его выражало: «ого, вотъ ты какая!»

— Вы меня такой никогда себѣ не представляли?—спросила Синтянина.

— Да; но вѣдь слова, по-вашему, даны за тѣмъ, чтобы скрывать за ними чувства.

— Нѣтъ; я серьезно, серьезно, Андрей Иванычъ, такова.

— Вы утверждаете, что за достоинства нельзя любить?

— Нѣтъ, можно, но это рисковано и непрочно.

— Pour rien вѣрнѣй?

— О, несравненно! Въ достоинствахъ можно ошибиться; притомъ,—добавила она вздохнувъ:—одинъ всегда достойнѣе другого, пойдутъ сравненія и выводы, а это смерть любви; тогда какъ тотъ иль та, которые любимы просто потому, что ихъ любятъ, они ничего ужъ не потеряютъ ни отъ какихъ сравненій.

— Итакъ...

— Итакъ,—перебила его, весело глядя, генеральша: — мы любимъ pour rien, и должны добиваться того, что̀ намъ мило.

— А если оно перестанетъ быть мило?

Синтянина зорко посмотрѣла ему въ глаза и отвѣчала:

— Тогда не добиваться; но чѣмъ же будетъ жизнь полна? Нѣтъ, милое, ужъ какъ хотите, будетъ мило.

— Тогда любить... что совершеннѣе, что выше, и любить, какъ любятъ совершенство.

— Только?

— Да.

— Такъ дайте мнѣ такого героя, который бы умѣлъ любить такою любовью.

— Не вѣрите?

— Нѣтъ, вѣрю, но такой герой, быть-можетъ, только... тотъ... кто лучше всѣхъ мужчинъ.

— Да, то есть женщина?

Александра Ивановна кивнула молча головой.

— Итакъ, программа въ томъ: любить pour rien и попросту, что называется, держать человѣка въ рукахъ?

— Непремѣнно! Да вѣдь вы и сами не знаете, къ чему вамъ всѣмъ ваша «постылая свобода», какъ называлъ ее Онѣгинъ? Взять въ руки это вовсе не значитъ убить свободу дѣйствій въ мужчинѣ, или подавить ее капризами.

Взять въ руки просто значитъ *приручить* человѣка, значитъ дать ему у себя дома силу, какой онъ не можетъ найти нигдѣ за домомъ: это иго, которое благо, и бремя, которое легко. На это есть тысячи пріемовъ, тысячи способовъ, и ихъ на словахъ не перечтешь и не передашь,— это дѣло практики,—докончила она и, засмѣявшись, сжала свои руки на колѣняхъ и заключила:—вотъ, если бы вы поняли въ эти сжатыя руки, такъ я бы давно заставила васъ позабыть всѣ ваши муки и сомнѣнія, съ которыми съ однимъ очень легко съ ума сойти.

Подозеровъ всталъ и, бросивъ на землю свою фуражку, воскликнулъ:

— О, умоляю васъ, позвольте же мнѣ за одно это доброе желаніе ваше поцѣловать ваши руки, которыя хотѣли бы снять съ меня муки.

Подозеровъ нагнулся и съ чувствомъ поцѣловалъ обѣ руки Александры Ивановны. Она сдѣлала было движеніе, чтобы поцѣловать его въ голову, но тотчасъ отпрянула и выпрямилась. Предъ нею стояла блѣдная Вѣра и положила обѣ свои руки на голову Подозерова, крѣпко прижала его лицо къ колѣнамъ мачехи и вдругъ тихо перекрестила, закрыла ладонью глаза и засмѣялась.

Александра Ивановна нѣжно прижала падчерицу къ плечу и жарко поцѣловала ее въ обѣ щеки. Она была немножко смущена этою шалостью Вѣры, и яркій румянецъ игралъ на ея свѣжихъ щекахъ. Подозеровъ въ первый разъ видѣлъ ее такою оживленною и молодою, какой она была теперь, словно въ свои восемнадцать лѣтъ.

— Такъ какъ же?—спросила она, не глядя на него, расправляя кудри Вѣры.—Такъ вы побѣждены?

— Да, я немножко разбитъ.

— Вы согласны, что вы дѣйствовали до сихъ поръ непрактично.

— Согласенъ; но иначе дѣйствовать не буду.

— Такъ вы наказаны за это: вы непремѣнно женитесь на Ларѣ.

— Я!

— Да; вы обвѣнчаетесь съ Ларисой.

— Помилуйте! какими же судьбами?

— Женскими! Вы будете ея мужемъ по ея желанію, если только вы этого хотите.

Подозеровъ промолчалъ.

— Держите же себя, какъ я говорила, и я васъ поздравлю съ самою хорошенькою женой.

Съ этимъ Александра Ивановна встала, оправила платье и воскликнула:

— А вотъ и Катя идетъ сюда! Послушай, бранчивое созданье,—отнеслась она къ подходившей Форовой.—Я беру Андрея Иваныча въ нашъ заговоръ противъ Ларисы. Ты разрѣшаешь?

— Разумѣется.

— Но я беру съ условіемъ, чтобъ онъ спряталъ на-время свои чувства въ карманъ.

— Ну да, ну да!—утвердила Форова.—Ни слова ей... А я пришла вамъ сказать, что мнѣ изъ окна показалось, будто рубежомъ ѣдутъ два тюльбюри: это, конечно, Бодростина съ компаніей и наша Лариса Платоновна съ ними

— Не можетъ быть!

Но въ это время послышался трескъ колесъ, и два легкихъ экипажа промелькнули за канавой и частоколомъ.

— Они!—воскликнула Форова.

— Какова наглость! — тихо, закусивъ губу, проронила Синтянина и сейчасъ же добавила: — а впрочемъ, это прекрасно,—и пошла навстрѣчу гостямъ.

Форова тотчасъ же быстро повернулась къ Подозерову и, взявъ его за обѣ руки, торопливо проговорила:

— А ты, Андрей Ивановичъ, на меня, сдѣлай милость, не сердись.

— Нѣтъ, я не сержусь, — отвѣчалъ, не глядя на нее, Подозеровъ.

— Скажи мнѣ: домъ Ларисинъ уже заложенъ?

— И деньги даже взяты нынче.

— Ахъ, Боже мой! И кто же ихъ получалъ?

— Конечно, братъ владѣлицы.

— Разбойникъ!

— Ужъ это какъ хотите?

— На что же, на что все это сдѣлано? зачѣмъ заложенъ домъ?

— Да думаю, что просто Іосафу деньги нужны.

— На что-жъ, голубчикъ, нужны?

— Ну, я въ эти соображенія не входилъ.

— Не входилъ! Гм! очень глупо дѣлалъ. А сколько выдано?

— Немного менѣе пяти тысячъ.

— Господи! и если домъ за это пропадетъ? Вѣдь это послѣднее, Андрюша, послѣднее, что у нея есть.

— Что же дѣлать? Да что вы все о деньгахъ: оставьте это. Ужъ не поправишь ничего. Это все ужасно опротивѣло.

— Ахъ, опротивѣло! Не рада, кажется, и жизни, все это видя.

— Ну такъ скажите мнѣ о чемъ-нибудь другомъ.

— О чемъ?

— О чемъ хотите,—хоть объ Александрѣ Ивановнѣ.

— О Сашѣ? да что о ней... Она святая!—отвѣчала, махнувъ рукой, Форова.

— Какъ она могла выйти такъ странно замужъ?

— Мой милый другъ, не надобно про это говорить,—это большая тайна...

— Однако вы ее знаете?

— Догадываюсь, но не знаю.

— Она несчастлива?

— Была несчастлива превыше всякихъ словъ... А вонъ и гости жалуютъ. Пойду навстрѣчу. Прошу же тебя, пожалуйста, веселое лицо и чтобы не очень съ нею... Не стоитъ она ничьей жалости!..

Подозеровъ не тронулся съ мѣста и, стоя у дерева со сложенными руками, думалъ: «какое ненавистное, тупое состояніе! Я ничего, ровно ничего не чувствую, хотя не хотѣлъ бы быть въ такомъ состояніи за десять часовъ до смерти. Между тѣмъ въ этой глупости чувствую въ себѣ... какой-то переломъ... словомъ, какое-то иго отпадаетъ предъ готовой могилой... Какая разница въ ощущеніяхъ, вносимыхъ въ душу этими двумя женщинами? Какой сладкій покой льетъ въ душу ея трезвое, отъ сердца сказанное слово. Да! я радъ, что я пріѣхалъ къ ней проститься предъ смертью, потому... что иначе... не знаю о комъ бы вздохнулъ я завтра, умирая.»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Положеніе дѣлъ, объясняющее, почему Подозеровъ заговорилъ о близкой смерти.

Крѣпкая броня Горданова оказалась недостаточно прочною: ее пробила красота Ларисы. Эта дѣвушка, съ ея чарующею и характерною красотой, обѣщавшею чрезвычайно

много и, можетъ-быть, невластною дать ничего, понравилась Горданову до того, что онъ не могъ скрыть этого отъ зоркихъ глазъ и тонкаго женскаго чутья. Бодростина видѣла это яснѣе всѣхъ; она видѣла, какъ дѣйствуетъ на Горданова красота Лары. Это было немножко больше того, чѣмъ хотѣла Глафира Васильевна. Читатели благоволятъ вспомнить, что Бодростина не только разрѣшила Горданову волочиться за Ларисой, но что это входило въ данную ему программу, даже болѣе—ему прямо вмѣнялось въ обязанность соблазнить эту дѣвушку, или Синтянину, или, еще лучше, обѣихъ вмѣстѣ. Послѣднее, впрочемъ, было сказано Бодростиной, вѣроятно, лишь для красоты слога, потому что она сама не вѣрила ни въ какія силы соблазна по отношенію къ молодой генеральшѣ. О какомъ-нибудь не только серьезномъ успѣхѣ, но о самомъ легонькомъ волокитствѣ за Синтяниной не могло быть и рѣчи. Гордановъ видѣлъ это и рѣшилъ въ первый же день пріѣзда, въ домѣ Висленевыхъ, тогда же сказавъ себѣ: «ну, объ этой нечего и думать!»

Іосафа онъ шутя подтравливалъ, говоря: прозѣвалъ любчикъ, просвисталъ жену рѣдкую, ужъ эта бы роговъ не прилѣпила.

— А Богъ еще знаетъ,—отвѣчалъ Висленевъ.

— Не велика штука это знать, когда это всякому видно, у кого чердакъ не совсѣмъ пустъ.

— Она, однако, бойкая...

— Ну, это, милый, ничего не значитъ, бойкія-то у насъ часто бываютъ крѣпче тихонь. А только, впрочемъ, она тебѣ бы не годилась, она тебя непремѣнно въ рукахъ бы держала, и даже по оброку бы не пустила, а заставила бы тебя вмѣсто революцій-то юбки кроить.

— Ну, ты наскажешь: ужъ и юбки кроить.

— Да, а что же ты думаешь, да, ей-Богу, заставитъ. Но я, знаешь, все-таки теперь на твоемъ мѣстѣ маленечко бы пошатался: какъ она отзовется? Право, съ этого Гибралтара хоть одинъ камушекъ оторвать, и то, чортъ возьми, лестно.

— Нимало мнѣ это не лестно,—отвѣчалъ Висленевъ.

— Ну, какъ же, — разсказывай ты: «нимало». Врешь, другъ мой, лестно и очень лестно, а ты трусишь на Гибралтары-то ходить, тебѣ бы что полегче, вотъ въ чемъ

дѣло! Приступить къ ней не умѣешь и боишься, а не то что нимало не лестно. Вотъ она на балѣ-то скоро будетъ у губернатора: ты у нея хоть цвѣточекъ, хоть бантикъ, хоть какой-нибудь трофейчикъ выпроси, да покажи мнѣ, и я тогда повѣрю, что ты не трусъ, и даже скажу, что ты мальчикъ не безъ опасности для нѣжнаго пола.

— И что же: ты думаешь не выпрошу?

— Ну, да выпроси!

— И выпрошу.

Взявшись за это дѣло, Висленевъ сильно былъ имъ озабоченъ: онъ не хотѣлъ ударить себя лицомъ въ грязь, а между тѣмъ, по мѣрѣ того какъ день губернаторскаго бала приближался, Іосафа Платоновича все болѣе и болѣе покидала рѣшимость.

— Чортъ знаетъ, что она отвѣтитъ? — думалъ. — А ну, какъ расхохочется?.. Вишь она стала какая находчивая и острая! Да и не вижу я ея почти совсѣмъ, а если говорить когда приходится, такъ все о пустякахъ... Точно чужіе совсѣмъ...

А балъ все приближался и наконецъ наступилъ. Вотъ освѣщенный залъ, толпа гостей, и генеральша входитъ подъ руку съ мужемъ. Ея платье убрано букетами изъ васильковъ.

— Василекъ,—шепчетъ Гордановъ на ухо Висленеву:—и за мной пара шампанскаго.

— Непремѣнно, — отвѣчаетъ Висленевъ и, выпросивъ у Александры Ивановны третью кадриль, тихонько, робко и неловко спустилъ руку къ юбкѣ ея платья и началъ отщипывать цвѣтокъ. Александра Ивановна, слава Богу, не слышитъ, она даже подозвала къ себѣ мужа и шепчетъ ему что-то на ухо. Тотъ уходитъ. Но проклятая проволока искусственнаго цвѣтка крѣпка неимовѣрно. Висленевъ уже безъ церемоніи теребитъ его на-удалую, но нѣтъ... Между тѣмъ генералъ возвращается къ женѣ, и скоро надо опять начинать фигуру, а цвѣтокъ все не поддается.

— Позвольте я вамъ помогу,—говоритъ ему въ эту роковую минуту Александра Ивановна и, взявъ изъ рукъ мужа тайкомъ принесенныя имъ ножницы, отрѣзала съ боку своей юбки большой букетъ и ловко приколола его къ фраку смущеннаго Висленева, межъ тѣмъ какъ генералъ подъ самый носъ ему говорилъ:

— Не забудь этого, мой свѣтъ!

Висленевъ не зналъ, какъ онъ дотанцовалъ кадриль съ мотавшимся у него на груди букетомъ, и даже не поѣхалъ домой, а ночевалъ у Горданова, который напоилъ его, по обѣщанію, шампанскимъ и, помирая со смѣху, говорилъ:

— А все-таки ты молодецъ! Сказалъ: «выпрошу» и выпросилъ.

Это несчастье Висленева чуть съ ума не свело, но уже зато съ тѣхъ поръ о побѣдахъ надъ Александрой Ивановной они даже и въ шутку не шутили, а Висленевъ никогда не произносилъ ея имени, а называлъ свою прежнюю любовь просто: «эта проклятая баба».

Лариса же была иная статья: ея неровный, неясный и неопредѣлившійся характеръ, ея недовольство всѣмъ и вѣрно опредѣленная Форовымъ дѣтская порывчивость то въ пустынники, то въ гусары, давали Бодростиной основанія допускать, что ловкій, умный, разсчетливый и безсердечный Гордановъ могъ тутъ недаромъ поработать. Притомъ же Бодростина, если не знала сердца Ларисы больше, чѣмъ знаемъ мы до сего времени, то отлично знала ея голову и характеръ, и называла ее «пустышкой». Но тутъ опять была задача: по малосодержательности Ларисы, защищенной отъ наблюдателей ея многоговорящею красотой, Бодростина сама не знала, какой бы планъ можно было порекомендовать Горданову для обхожденія съ нею съ большимъ успѣхомъ. Одному плану мѣшала гордость Ларисы, другому— ея непредвидимые капризы, третьему — ея иногда быстрая сообразительность и непреклонность ея рѣшеній. Но Бодростина надѣялась, что Гордановъ самъ найдетъ дорогу къ сердцу Ларисы, и вдругъ ей показалось, что она ошиблась: Гордановъ сталъ и стоялъ упорно на одномъ мѣстѣ. Красота Лары ошеломила его; хмель обаянія туманилъ его голову, но не лишилъ ее силы надъ страстью. Онъ подходилъ разсчетливо, всматривался, соображалъ и только нервно содрогался при видѣ Ларисы. Бодростиной даже мелькнуло въ умѣ: не зашло бы дѣло до свадьбы! Ларису оберегали двѣ женщины: Синтянина и Форова, изъ которыхъ каждую обмануть трудно. Но Гордановъ не могъ жениться: Бодростина знала, что ему былъ одинъ путь къ спасенію: устроить ея обезпеченное вдовство и жениться на ней. Гордановъ и самъ дѣйствительно такъ думалъ и держалъ этотъ

планъ на первомъ мѣстѣ, но это была его ошибка: Бодростина и въ помышленіи не имѣла быть когда-нибудь его женой. Она хотѣла отблагодарить его, когда будетъ свободна, и потомъ распорядиться своею дальнѣйшею судьбой, не стѣсняясь никакими обязанностями въ прошломъ. Бодростина отдыхала на другой сладкой мечтѣ, которая невѣдомо когда и какъ вперилась въ ея голову: она хотѣла быть женой человѣка, повидимому, самаго ей неподходящаго. Она мечтала о мужѣ, вполнѣ добромъ и честномъ: она мечтала, какъ бы ей было пріятно осчастливить такого человѣка, скрывъ и забывъ прошлое. Въ натурѣ Глафиры Васильевны была своего рода честность: она была бы честна и даже великодушна, если бы видѣла себя самовластною царицей; но она интриговала бы и боролась, и честно и безчестно, со всѣми, если бы царственная власть ея не была полною и независимою въ ея рукахъ. «Страстямъ поработивъ души своей достоинства», она была безсильна, когда страсть диктовала ей безчестныя мысли, но она не любила зла для зла: она только не пренебрегала имъ какъ орудіемъ, и не могла остановиться. Прошлое ея ей самой представлялось чрезмѣрною, непростительною глупостью, изъ которой она выдѣляла только свое замужество. Тутъ она немножко одобряла свои дѣйствія, но все затѣмъ происходившее опять, въ собственныхъ ея глазахъ, было рядомъ ошибокъ, жертвой страстямъ и увлеченіямъ. Продолжительное пассивное выжиданіе послѣднихъ лѣтъ было, положимъ, сообразно положенію дѣлъ, но оно было не въ характерѣ Глафиры, живомъ и предпріимчивомъ, и притомъ оно до сихъ поръ ни къ чему не привело и даже грозило ей бѣдой: Михаилъ Андреевичъ Бодростинъ болѣе не вѣрилъ ей, и новымъ его распоряженіемъ она лишалась мужниная имѣнія въ полномъ его составѣ, а наслѣдовала одну только свою законную вдовью часть. Этого Глафира Васильевна не могла перенести. Она опять призвала весь свой умъ и рѣшилась ниспровергнуть такое посягательство на ея благосостояніе. Съ этою цѣлію, какъ мы помнимъ, былъ вызванъ изъ Петербурга Гордановъ, дѣла котораго тоже въ это время находились въ положеніи отчаянномъ. Глафира Васильевна знала, что Павелъ Николаевичъ человѣкъ коварный и трусъ, но трусъ, который такъ дальновидно разсчетливъ, что обдумаетъ все и пойдетъ на все, а ея планъ былъ столько же простъ, сколько

отчаянъ. Онъ заключался въ томъ, чтобъ уничтожить новое завѣщаніе, лишавшее ее полнаго наслѣдованія имѣній мужа, и затѣмъ не дать Бодростину времени оставить иного завѣщанія, кромѣ того, которымъ онъ въ первую минуту старческаго увлеченія, за обладаніе свѣжею красотой ловкой Глафиры, отдалъ ей все. Гордановъ былъ человѣкъ, которому не нужно было много разсказывать, что ему нужно дѣлать. У Глафиры тоже вся партитура была расписана; обстоятельства имъ помогали. Мы видѣли, какъ Михаилъ Андреевичъ Бодростинъ взялъ и увезъ къ себѣ съ поля смоченнаго дождемъ Висленева. Глафирѣ Васильевнѣ не стоило никакого труда завертѣть эту верченую голову; она безъ труда забрала въ свои руки его волю, въ чужихъ рукахъ побывалую. Она обласкала Жозефа, сдѣлалась жаркою его сторонницей, говорила съ нимъ же самимъ о его честности, которая будто бы устояла противъ всѣхъ искушеній и будто бы не шла ни на какіе компромиссы. Красивая и хотя уже не очень молодая, но побѣдоносная женщина эта говорила съ Висленевымъ такимъ сладкимъ языкомъ, отъ котораго этотъ бѣднякъ, тершійся въ петербургскомъ вертепѣ сорока разбойниковъ, давно отвыкъ и словно обрѣлъ потерянный рай. Висленевъ ожилъ. Бодростинъ его тоже ласкалъ. Въ ихъ домѣ Іосафъ Платоновичъ пріютился, какъ въ тихой каюткѣ во время всеобщаго штурма, а штурмъ, большой штурмъ заходилъ вокругъ. Едва Висленевъ сталъ, по легкомысленности своей, забывать о своемъ оброчномъ положеніи и о другихъ своихъ петербургскихъ обязательствахъ, какъ его ударила новая волна: гордановскій портфель, который Висленевъ не могъ представить своему другу иначе какъ съ извѣстнымъ намъ надрѣзомъ. Это была тоже очень тяжкая минута въ жизни Іосафа Платоновича, минута, которую онъ тщетно старался облегчить всякимъ лебезеньемъ и вызовомъ пополнить все, если хоть капля изъ цѣнностей, хранящихся въ портфелѣ, пропала.

Гордановъ только засмѣялся и, отбросивъ въ сторону портфель, сказалъ Висленеву:

— Молодецъ мальчикъ, и впередъ такъ старайся.

— Что же, ты думаешь, можетъ-быть, что это я?..

— Ничего я не думаю,—сухо отвѣчалъ Гордановъ, отходя и запирая портфель въ комодъ.

— Нѣтъ, если ты что подозрѣваешь, такъ ты лучше скажи. Вѣдь я тебѣ говорилъ, я говорилъ тебѣ...

— Что такое ты мнѣ говорилъ? Я всего говореннаго тобою въ памятную книжку не записываю.

— Я говорилъ тебѣ въ ту ночь, или въ тотъ вечеръ: возьми, Паша, отъ меня свой портфель! А ты не взялъ. Зачѣмъ ты его не взялъ? Я вѣдь былъ тогда съ дороги, уставши, какъ и ты, и потомъ...

— Продолжайте, Іосафъ Платоновичъ.

— Потомъ я не знаю образа жизни сестры.

Гордановъ обернулся, посмотрѣлъ на него пристальнымъ взглядомъ.

— Чортъ его знаетъ, кто это могъ сдѣлать?—продолжалъ, оправдываясь, Висленевъ.—Мнѣ кажется, я утромъ видѣлъ платье въ саду... Не сестрино, а чье-то другое, зеленое платье. Портфель лежалъ на столѣ у самаго окна, и я производилъ дознаніе...

— Ну, такъ и поди же ты къ чорту со своимъ дознаніемъ! Ты готовъ сказать, что твоей сестрѣ кто-нибудь дѣлаетъ ночные визиты.

— Неправда, я этого не скажу.

— Неправда?.. Полно другъ, я тебя знаю и, отдавая тебѣ портфель, хотѣлъ нарочно еще разъ поиспытать тебя: можно ли на тебя хоть въ чемъ-нибудь положиться?

— И что же—ни въ чемъ?

— Рѣшительно ни въ чемъ.

— Ну, послѣ этого, Павелъ Николаевичъ...

— Намъ съ вами остается раскланяться?

— Да, предварительно разсчитавшись, разумѣется. Не безпокойся, я мои долги всегда помню и плачу. Я во время моихъ нуждъ забралъ у тебя до девятисотъ рублей.

— Не помню, не считалъ.

— Что-жъ, ты развѣ думаешь что больше?

— Я говорю тебѣ: не помню, не считалъ.

— Ну, такъ я тебя увѣряю, что всего девятьсотъ, у меня каждый грошъ записанъ, и вотъ тебѣ расписка.

Висленевъ схватилъ перо, оторвалъ полулистъ бумаги и написалъ расписку въ тысячу восемьсотъ рублей.

— Это зачѣмъ же вдвое? — спросилъ Гордановъ, когда тотъ приподнесъ emv листокъ.

— Да такъ ужъ и бери, пожалуйста, я не знаю, когда я тебѣ отдамъ...

— Полно, милый другъ! Гдѣ тебѣ отдавать?

— Павелъ Николаевичъ, не говори этого. Я безчестнаго дѣла сдѣлать не хочу, я пишу вдвое, потому что... такъ писалъ, такъ и привыкъ; но я отдамъ тебѣ все, что перехватилъ.

— Перехватилъ!—засмѣялся Гордановъ.

— Да, перехватилъ и еще перехвачу и разочтусь.

— Нѣтъ, ужъ негдѣ тебѣ, братъ, перехватывать, всѣ перехваты пересохли.

— Негдѣ! Ошибаешься, я у сестры перехвачу и вывернусь.

Гордановъ снова разсмѣялся и проговорилъ:

— Ты бы себѣ и фамилію у кого-нибудь перехватилъ. Тебѣ такъ бы и зваться не Висленевъ, а Перехватаевъ.

— А вотъ увидишь ты: перехвачу.

— Перехвати, съ моей стороны препятствій не будетъ, а ужъ самъ я тебѣ не дамъ болѣе ни одного гроша,—и Гордановъ взялъ шляпу и собирался выйти.—Ну выходи, любезный другъ,—сказалъ онъ Висленеву:—а то тебя рискованно оставить.

— Паша!

Гордановъ засмѣялся.

— Тебѣ не грѣхъ меня такъ обижать?

— Да пропади ты совсѣмъ съ грѣхами и со спасеньемъ: мнѣ некогда. Идемъ. Сестра твоя дома?

— Да, кажется, дома.

— Надѣюсь, она про эту гадость не знаетъ?

— Не знаетъ, не знаетъ!

— Очень радъ за нее.

— Она тебѣ нравится?

— Да, она не тебѣ чета. Сестра красавица, а братъ...

— Ну врешь, я недуренъ.

— Недуренъ, да типъ у тебя совсѣмъ не тотъ; ты совсѣмъ японецъ.

— А вѣдь, братъ, любили насъ, и очень любили!

— Да, я самъ тебя люблю: гдѣ же еще такого шута найдешь.

— И ты на меня не сердишься?

— Нимало, нимало. Чего на тебя сердиться: ты невмѣняемъ.

— Ну, и миръ.

— Миръ,—отвѣчалъ Гордановъ, лѣниво подавая ему руку и въ то же время отдавая пустыя распоряженія остающемуся слугѣ.

Висленевъ былъ какъ нельзя болѣе доволенъ такимъ исходомъ дѣла и тотчасъ же направился къ Бодростинымъ, съ рѣшимостью пріютиться у нихъ еще плотнѣе; но онъ хотѣлъ превзойти себя въ благородствѣ и усиливался славить Горданова и въ струнахъ, и въ органѣ, и въ гласѣхъ, и въ восклицаніяхъ. Заставъ Глафиру Васильевну за ея утреннимъ кофе, онъ сейчасъ же началъ осуществлять свои намѣренія и заговорилъ о Гордановѣ, хваля его умъ, находчивость, таланты и даже честность. Бодростина насупила брови и возразила. Висленевъ спорилъ жарко и фразисто. Въ это время въ будуаръ жены вошелъ Михаилъ Андреевичъ Бодростинъ. Разговоръ было на минуту прервался, но Висленевъ постарался возобновить его и отнесся къ старику съ вопросомъ о его мнѣніи.

— Я объ этомъ человѣкѣ имѣлъ множество различныхъ мнѣній,—отвѣчалъ Бодростинъ, играя своею золотою табакеркой: — теперь не хочу высказать о немъ никакого мнѣнія.

— Но вотъ Глафира Васильевна отрицаетъ въ немъ честность. Можно ли такъ жестоко?

— Что же, можетъ-быть, она о немъ что-нибудь больше насъ съ вами знаетъ,—сказалъ Бодростинъ.

Глафира Васильевна не шевельнула волоскомъ и продолжала сосать своими полными коралловыми губами смоченный сливками кусочекъ сахара, который держала между двумя пальцами по локоть обнаженной руки.

— А я говорю то,—продолжалъ Михаилъ Андреевичъ:— что я только не желалъ бы дожить до того времени, когда женщины будутъ судьями.

— Вы до этого и не доживете,—весело отвѣчала своимъ густымъ контральтомъ Глафира.

— Право! У женщины какой судъ? сдѣлалъ разъ человѣкъ что-нибудь нехорошее, и уже это ему никогда не позабудутъ, или опять, согрѣши разъ праведникъ,—не помянутся всѣ его правды.

— Гордановъ и праведники... это оригинально!—воскли-

нула Глафира Васильевна и, расхохотавшись, вышла въ другую комнату.

— А я столкнулся сейчасъ съ Гордановымъ у губернатора,—продолжалъ Бодростинъ, не обращая вниманія на выходъ жены:—и знаете, я не люблю руководиться чужими мнѣніями, и я самъ Горданова бранилъ и бранилъ жестоко, но какъ вы хотите, у этого человѣка еще очень много сердца.

— И ума, онъ очень уменъ,—поддержалъ Висленевъ.

— Объ умѣ ужъ ни слова: какъ онъ, каналья, третируетъ нашихъ дворянъ и особенно нашего вице-губернаторишку, это просто слушаешь и не наслушаешься. Заговорилъ онъ намъ о своихъ намѣреніяхъ насчетъ ремесленной школы, которую хочетъ устроить въ своемъ имѣньишкѣ. Дѣльная мысль. Знаете, это человѣкъ-съ, который не химеры, да направленія показываетъ.

— Да; онъ очень уменъ!

— Кромѣ того говорю и о сердцѣ. Мы съ нимъ вѣдь старые знакомые и между нами были кое-какіе счетцы. Что же вы думаете? Вѣдь онъ въ глаза мнѣ не могъ взглянуть. А когда губернаторъ рекомендовалъ ему обратиться ко мнѣ, какъ предводителю, и разсказать затрудненія, которыя онъ встрѣтилъ въ столкновеніяхъ съ Подозеровымъ, такъ онъ-съ не зналъ, какъ со мной заговорить!

— И вы его великодушно ободрили?—спросила снова вошедшая Глафира Васильевна.

— Да, представьте, ободрилъ, — продолжалъ Бодростинъ.—Подозеровъ честный, честный человѣкъ, но онъ въ самомъ дѣлѣ какой-то маньякъ. Я его всегда уважалъ, но я ему всегда твердилъ: перестаньте вы, Бога ради, настраиваться этими газетными подуськиваніями. Что за болѣзненная мысль такая, что все крестьянъ обижаютъ. Вздоръ! А между тѣмъ, задавшись такими мыслями, въ самомъ дѣлѣ станешь видѣть невѣдомо что, и вотъ оно такъ и вышло. Гордановъ хлопочетъ о школѣ для самихъ же крестьянъ, а тотъ противодѣйствуетъ. Потомъ агитаторъ этотъ вашъ Форовъ является и съ нимъ попъ Евангелъ, и возмущаютъ крестьянъ... Вѣдь это-съ... вѣдь это же нетерпимо! Я сейчасъ заѣхалъ къ Подозерову и говорю: мой милый другъ, vous êtes entièrement hors du chemin, и что же-съ?—кончилось тѣмъ, что мы съ нимъ совсѣмъ разошлись?

— Вы разошлись съ Подозеровымъ?—воскликнулъ, не скрывая своей радости, Висленевъ.

— Даже жалѣю, что я съ нимъ когда-нибудь сходился. Этотъ человѣкъ спокоенъ и скроменъ только по внѣшности; бросьте искру, онъ и дымитъ и пламенѣетъ: готовъ на укоризны цѣлому обществу, зачѣмъ принимаютъ того, зачѣмъ не такъ ласкаютъ другого. Позвольте же, наконецъ, милостивый государь, всякому самому про себя знать, кого ему какъ принимать въ своемъ домѣ! Всѣ люди грѣшны и я самъ грѣшенъ, такъ и меня не будутъ принимать. Да это надо инквизицію послѣ этого установить! Общество должно исправлять людей, а не отлучать ихъ.

— О, вы совершенно правы, — поддержалъ Висленевъ, натягивая на руку перчатку.

— По крайней мѣрѣ я никого не отлучаю отъ общенія съ людьми, и знаю, что человѣкъ не вѣчно коснѣетъ въ своихъ порокахъ, и для каждаго настаетъ своя минута исправиться.

— Михаилъ Андреевичъ, вы божественно говорите, — воскликнулъ Висленевъ и началъ прощаться. Его немножко удерживали, но онъ сказалъ, что ему необходимо нужно, и улетѣлъ домой, засталъ тамъ Горданова съ сестрой, которая была какъ-то смѣшана, и тутъ же разсказалъ новости объ обращеніи Бодростина на сторону Павла Николаевича.

Межъ тѣмъ Глафира Васильевна тотчасъ же, по выходѣ Висленева, спросила мужа:

— И неужто это дойдетъ до того, что Гордановъ снова будетъ принятъ у насъ въ домѣ?

— Да; я полагаю,—отвѣчалъ Бодростинъ.—Онъ имѣетъ во мнѣ нужду, да и самъ интересуетъ меня своею предпріимчивостью. Развѣ ты не хочешь, чтобъ онъ былъ принятъ?

— Мнѣ все равно.

— О чемъ же и говорить! Мнѣ тоже все равно, —произнесъ онъ и, взявъ Глафиру за обнаженный локоть, добавилъ:—я совершенно обезпеченъ: за моей женой столько ухаживателей, что они другъ за другомъ смотрятъ лучше всякихъ аргусовъ.

— Что же вы этимъ хотите сказать?—спросила Глафира,

но Бодростинъ, вмѣсто отвѣта, поцѣловалъ нѣсколько разъ кряду ея руку и проговорилъ:

— Какая у васъ сегодня свѣжая и ароматная кожа. А впрочемъ, чортъ возьми! — добавилъ онъ, взглянувъ на часы:—j'ai plusieurs visites à faire!

Съ этимъ онъ повернулся и вышелъ, часто скрипя своими сіяющими сапожками,

«Ароматная кожа!» подумала Глафира, прислонясь устами къ своей собственной рукѣ. И предъ ней вдругъ пронеслась вся ея прошлая жизнь. Въ дѣтствѣ ее любили и рядили; въ юности выставляли какъ куколку; Гордановъ нуждался въ ея красотѣ; ею хотѣли орудовать, какъ красавицей! Вышла замужъ она черезъ красоту; по своей винѣ пренебрежена какъ человѣкъ, но еще и теперь цѣнима въ мѣру своей красоты. И между тѣмъ никто никогда не остановился на душѣ ея, никто не полюбилъ ее за ея сердце, не сказалъ ей, что онъ ей вѣритъ и хочетъ слиться съ нею не въ одномъ узкомъ объемѣ чувственной любви!

Бодростина насупилась, и въ большихъ глазахъ ея сверкнули досада и презрѣніе.

— Неужто же такъ будетъ вѣчно? Нѣтъ, еще одно послѣднее сказанье, и я начну новую лѣтопись. Я хочу и я буду любима!

Между тѣмъ Гордановъ въ ожиданіи дѣла съ Бодростиной сдѣлалъ для себя очень важныя открытія въ Ларисѣ. Онъ изучилъ и понялъ ее основательно, и результаты его изученія были яснѣе результатовъ долгихъ размышленій о ней Форовой, Синтяниной и Бодростиной. У Горданова Лариса выходила ни умна, ни глупа, но это была, по его точному выводу, прекрасная «собака и ея тѣнь». Вся суть ея характера заключалась въ томъ, что все то, что ей принадлежитъ, ей не нужно. Гордановъ такъ рѣшилъ и не ошибся. Теперь надо было дѣйствовать сообразно этому опредѣленію. Онъ ходилъ къ Ларисѣ въ домъ, но, повидимому, вовсе не для нея; онъ говорилъ съ нею мало, небрежно и неохотно. Онъ видѣлъ ея разрывъ съ Подозеровымъ, предъ которымъ Гордановъ постоянно обнаруживалъ къ Ларисѣ полнѣйшее невниманіе, и не уставалъ хвалить достоинства Андрея Ивановича. Это дѣйствовало прекрасно: Лариса едва преодолѣвала зѣвоту при имени Подозерова.

Городская сплетня между тѣмъ утверждала, что Лариса не идетъ за Подозерова, что ему не везетъ, что онъ въ отставкѣ, а занята она Гордановымъ, но ей тоже не везетъ, потому что Гордановъ не удостоиваетъ ее вниманія, а занятъ, кажется, красивою купчихой Волдевановой, въ домѣ которой Гордановъ дѣйствительно бывалъ недаромъ и не скрывалъ этого, умышленно пренебрегая общественнымъ мнѣніемъ. Горданову, съ его понятіями о Ларисѣ, нужно было совсѣмъ не то, что думала Бодростина, онъ не былъ на то, чтобы поиграть Ларисой и бросить ее. Онъ, правда, смотрѣлъ на нее, какъ на прекрасный и нужный ему комфортъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ хотѣлъ, чтобъ эта прекрасная, красивая дѣвушка принадлежала ему на самомъ нерушимомъ крѣпостномъ правѣ, противъ котораго она никогда не смѣла бы и подумать возмутиться. Но что же могло ему дать такое право? Бракъ; но бракъ не сдержитъ такихъ какъ Лариса; да и къ тому же онъ не могъ жениться на Ларисѣ: у него на плечахъ было большое дѣло Бодростиной, которую надо было сдѣлать богатою вдовой и жениться на ней, чтобы самому быть богатымъ; но Ларису надо было закрѣпить за собой, потому что она очень ему нравится и нужна для полнаго комфорта.

— Съ точки зрѣнія дураковъ—это вздоръ, но съ моей точки это не вздоръ,—размышлялъ Гордановъ:—женщина, которая мнѣ нравится, должна быть моею, потому что безъ этого мнѣ не будетъ хорошо. Но мнѣ нужна и одна, и другая, я гонюсь за двумя зайцами и, по глупой пословицѣ, я долженъ не поймать ни одного. Но это вздоръ!

И у Павла Николаевича созрѣлъ планъ, по которому онъ смѣло надѣялся закрѣпить за собою Ларису еще крѣпче, чѣмъ Глафиру Васильевну, и былъ вполнѣ увѣренъ, что ни Бодростина и никто на свѣтѣ этого плана не проникнутъ.

Такимъ образомъ у него предпріятіе нагромождалось на предпріятіе, и духъ его кипѣлъ и волновался. Надо было помирить петербургскіе долги; упрочить здѣсь за собою репутацію человѣка, крайне интереснаго и страшнаго; добыть большія деньги, сживя со свѣта Бодростина и женившись на его вдовѣ, и закабалить себѣ Ларису такъ, чтобъ она была ему до гроба крѣпка, крѣпче всякихъ законныхъ узъ. Всего этого онъ надѣялся достигнуть безъ риска и опасностей. На долги онъ выслалъ проценты и

былъ увѣренъ, что Кишенскій и его разсчетливая подруга не станутъ на него налегать въ виду заяснившейся для него возможности поправиться и расплатиться; губернское общество онъ уже успѣлъ собою заинтересовать безъ малѣйшаго труда и даже самъ нерѣдко дивовался своему успѣху. Еще недавно ненавидѣвшій его втайнѣ Ропшинъ позвалъ его на именинный вечеръ, гдѣ былъ весь сокъ губернской молодежи, и Гордановъ, войдя, едва кивнулъ всѣмъ головой, и тотчасъ же, отведя на два шага въ сторону хозяина, сказалъ ему почти вслухъ: «однакоже какая сволочь у васъ, мой милый Ропшинъ». Хозяинъ сконфузился, гости присмирѣли; потомъ выходка эта съ хохотомъ была разнесена по городу. Добыть большія деньги Гордановъ давно зналъ какимъ образомъ: дѣло это стояло за сорока тысячами, которыя нужны были для расчета съ долгами и начала милліонной операціи; надо было только освободить отъ мужа Бодростину и жениться на ней, но изъ этихъ двухъ дѣлъ послѣднее несомнѣнно устраивалось само собою, какъ только устроилось бы первое. Гордановъ въ этомъ былъ увѣренъ. Бодростина говорила правду, что у него была своя каторжная совѣсть: у него даже былъ свой каторжный point d'honneur, не дозволявшій ему сомнѣваться въ существованіи такой совѣсти въ Глафирѣ Васильевнѣ, женщинѣ умной, которую онъ, какъ ему казалось, зналъ въ совершенствѣ. Затѣмъ оставалось прикрѣпить къ себѣ Ларису. Это дѣло было не легкое: жениться на Ларисѣ, повторимъ еще разъ, Гордановъ не думалъ, а любовницей его она не могла быть по своему гордому характеру. Онъ очень просто и ясно предвидѣлъ съ ея стороны такую логику: если онъ меня любитъ — пусть на мнѣ женится; если же не хочетъ жениться, значитъ не любитъ. Притомъ же около Ларисы стояли Синтянины, Форова, Подозеровъ; всѣ эти люди не могли благопріятствовать планамъ Горданова. Еще онъ могъ, можетъ-быть, увлечь Ларису, но рисковалъ не удержать ее надолго въ своей власти. Могла настать минута разочарованія, а Гордановъ былъ дальнозорокъ; онъ хотѣлъ, чтобы Лариса была неотдалима отъ него нигдѣ, ни при какихъ обстоятельствахъ, не исключая даже тѣхъ, при которыхъ законъ освобождаетъ жену отъ слѣдованія за мужемъ. Но понятно, что всѣ эти сложные планы требовали времени, и Горда-

— Вы разошлись съ Подозеровымъ?—воскликнулъ, не скрывая своей радости, Висленевъ.

— Даже жалѣю, что я съ нимъ когда-нибудь сходился. Этотъ человѣкъ спокоенъ и скроменъ только по внѣшности; бросьте искру, онъ и дымитъ и пламенѣетъ: готовъ на укоризны цѣлому обществу, зачѣмъ принимаютъ того, зачѣмъ не такъ ласкаютъ другого. Позвольте же, наконецъ, милостивый государь, всякому самому про себя знать, кого ему какъ принимать въ своемъ домѣ! Всѣ люди грѣшны и я самъ грѣшенъ, такъ и меня не будутъ принимать. Да это надо инквизицію послѣ этого установить! Общество должно исправлять людей, а не отлучать ихъ.

— О, вы совершенно правы, — поддержалъ Висленевъ, натягивая на руку перчатку.

— По крайней мѣрѣ я никого не отлучаю отъ общенія съ людьми, и знаю, что человѣкъ не вѣчно коснѣетъ въ своихъ порокахъ, и для каждаго настаетъ своя минута исправиться.

— Михаилъ Андреевичъ, вы божественно говорите, — воскликнулъ Висленевъ и началъ прощаться. Его немножко удерживали, но онъ сказалъ, что ему необходимо нужно, и улетѣлъ домой, засталъ тамъ Горданова съ сестрой, которая была какъ-то смѣшана, и тутъ же разсказалъ новости объ обращеніи Бодростина на сторону Павла Николаевича.

Межъ тѣмъ Глафира Васильевна тотчасъ же, по выходѣ Висленева, спросила мужа:

— И неужто это дойдетъ до того, что Гордановъ снова будетъ принятъ у насъ въ домѣ?

— Да; я полагаю,—отвѣчалъ Бодростинъ.—Онъ имѣетъ во мнѣ нужду, да и самъ интересуетъ меня своею предпріимчивостью. Развѣ ты не хочешь, чтобъ онъ былъ принятъ?

— Мнѣ все равно.

— О чемъ же и говорить! Мнѣ тоже все равно, —произнесъ онъ и, взявъ Глафиру за обнаженный локоть, добавилъ:—я совершенно обезпеченъ: за моей женой столько ухаживателей, что они другъ за другомъ смотрятъ лучше всякихъ аргусовъ.

— Что же вы этимъ хотите сказать?—спросила Глафира,

но Бодростинъ, вмѣсто отвѣта, поцѣловалъ нѣсколько разъ кряду ея руку и проговорилъ:

— Какая у васъ сегодня свѣжая и ароматная кожа. А впрочемъ, чортъ возьми! — добавилъ онъ, взглянувъ на часы:—j'ai plusieurs visites à faire!

Съ этимъ онъ повернулся и вышелъ, часто скрипя своими сіяющими сапожками,

«Ароматная кожа!» подумала Глафира, прислонясь устами къ своей собственной рукѣ. И предъ ней вдругъ пронеслась вся ея прошлая жизнь. Въ дѣтствѣ ее любили и рядили; въ юности выставляли какъ куколку; Гордановъ нуждался въ ея красотѣ; ею хотѣли орудовать, какъ красавицей! Вышла замужъ она черезъ красоту; по своей винѣ пренебрежена какъ человѣкъ, но еще и теперь цѣнима въ мѣру своей красоты. И между тѣмъ никто никогда не остановился на душѣ ея, никто не полюбилъ ее за ея сердце, не сказалъ ей, что онъ ей вѣритъ, что онъ ей вѣритъ и хочетъ слиться съ нею не въ одномъ узкомъ объемѣ чувственной любви!

Бодростина насупилась, и въ большихъ глазахъ ея сверкнули досада и презрѣніе.

— Неужто же такъ будетъ вѣчно? Нѣтъ, еще одно послѣднее сказанье, и я начну новую лѣтопись. Я хочу и я буду любима!

Между тѣмъ Гордановъ въ ожиданіи дѣла съ Бодростиной сдѣлалъ для себя очень важныя открытія въ Ларисѣ. Онъ изучилъ и понялъ ее основательно, и результаты его изученія были яснѣе результатовъ долгихъ размышленій о ней Форовой, Синтяниной и Бодростиной. У Горданова Лариса выходила ни умна, ни глупа, но это была, по его точному выводу, прекрасная «собака и ея тѣнь». Вся суть ея характера заключалась въ томъ, что все то, что ей принадлежитъ, ей не нужно. Гордановъ такъ рѣшилъ и не ошибся. Теперь надо было дѣйствовать сообразно этому опредѣленію. Онъ ходилъ къ Ларисѣ въ домъ, но, повидимому, вовсе не для нея; онъ говорилъ съ нею мало, небрежно и неохотно. Онъ видѣлъ ея разрывъ съ Подозеровымъ, предъ которымъ Гордановъ постоянно обнаруживалъ къ Ларисѣ полнѣйшее невниманіе, и не уставалъ хвалить достоинства Андрея Ивановича. Это дѣйствовало прекрасно: Лариса едва преодолѣвала зѣвоту при имени Подозерова.

Городская сплетня между тѣмъ утверждала, что Лариса не идетъ за Подозерова, что ему не везетъ, что онъ въ отставкѣ, а занята она Гордановымъ, но ей тоже не везетъ, потому что Гордановъ не удостоиваетъ ее вниманія, а занятъ, кажется, красивою купчихой Волдевановой, въ домѣ которой Гордановъ дѣйствительно бывалъ недаромъ и не скрывалъ этого, умышленно пренебрегая общественнымъ мнѣніемъ. Гордanову, съ его понятіями о Ларисѣ, нужно было совсѣмъ не то, что думала Бодростина, онъ не былъ на то, чтобы поиграть Ларисой и бросить ее. Онъ, правда, смотрѣлъ на нее, какъ на прекрасный и нужный ему комфортъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ хотѣлъ, чтобъ эта прекрасная, красивая дѣвушка принадлежала ему на самомъ нерушимомъ крѣпостномъ правѣ, противъ котораго она никогда не смѣла бы и подумать возмутиться. Но что же могло ему дать такое право? Бракъ; но бракъ не сдержитъ такихъ какъ Лариса; да и къ тому же онъ не могъ жениться на Ларисѣ: у него на плечахъ было большое дѣло Бодростиной, которую надо было сдѣлать богатою вдовой и жениться на ней, чтобы самому быть богатымъ; но Ларису надо было закрѣпить за собой, потому что она очень ему нравится и нужна для полнаго комфорта.

— Съ точки зрѣнія дураковъ—это вздоръ, но съ моей точки это не вздоръ,—размышлялъ Гордановъ:—женщина, которая мнѣ нравится, должна быть моею, потому что безъ этого мнѣ не будетъ хорошо. Но мнѣ нужна и одна, и другая, я гонюсь за двумя зайцами и, по глупой пословицѣ, я долженъ не поймать ни одного. Но это вздоръ!

И у Павла Николаевича созрѣлъ планъ, по которому онъ смѣло надѣялся закрѣпить за собою Ларису еще крѣпче, чѣмъ Глафиру Васильевну, и былъ вполнѣ увѣренъ, что ни Бодростина и никто на свѣтѣ этого плана не проникнутъ.

Такимъ образомъ у него предпріятіе нагромождалось на предпріятіе, и духъ его кипѣлъ и волновался. Надо было помирить петербургскіе долги; упрочить здѣсь за собою репутацію человѣка, крайне интереснаго и страшнаго; добыть большія деньги, сживя со свѣта Бодростина и женившись на его вдовѣ, и закабалить себѣ Ларису такъ, чтобъ она была ему до гроба крѣпка, крѣпче всякихъ законныхъ узъ. Всего этого онъ надѣялся достигнуть безъ риска и опасностей. На долги онъ выслалъ проценты и

былъ увѣренъ, что Кишенскій и его разсчетливая подруга не станутъ на него налегать въ виду заяснившейся для него возможности поправиться и расплатиться; губернское общество онъ уже успѣлъ собою заинтересовать безъ малѣйшаго труда и даже самъ нерѣдко дивовался своему успѣху. Еще недавно ненавидѣвшій его втайнѣ Ропшинъ позвалъ его на именинный вечеръ, гдѣ былъ весь сокъ губернской молодежи, и Гордановъ, войдя, едва кивнулъ всѣмъ головой, и тотчасъ же, отведя на два шага въ сторону хозяина, сказалъ ему почти вслухъ: «однакоже какая сволочь у васъ, мой милый Ропшинъ». Хозяинъ сконфузился, гости присмирѣли; потомъ выходка эта съ хохотомъ была разнесена по городу. Добыть большія деньги Гордановъ давно зналъ какимъ образомъ: дѣло это стояло за сорока тысячами, которыя нужны были для расчета съ долгами и начала милліонной операціи; надо было только освободить отъ мужа Бодростину и жениться на ней, но изъ этихъ двухъ дѣлъ послѣднее несомнѣнно устраивалось само собою, какъ только устроилось бы первое. Гордановъ въ этомъ былъ увѣренъ. Бодростина говорила правду, что у него была своя каторжная совѣсть: у него даже былъ свой каторжный point d'honneur, не дозволявшій ему сомнѣваться въ существованіи такой совѣсти въ Глафирѣ Васильевнѣ, женщинѣ умной, которую онъ, какъ ему казалось, зналъ въ совершенствѣ. Затѣмъ оставалось прикрѣпить къ себѣ Ларису. Это дѣло было не легкое: жениться на Ларисѣ, повторимъ еще разъ, Гордановъ не думалъ, а любовницей его она не могла быть по своему гордому характеру. Онъ очень просто и ясно предвидѣлъ съ ея стороны такую логику: если онъ меня любитъ — пусть на мнѣ женится; если же не хочетъ жениться, значитъ не любитъ. Притомъ же около Ларисы стояли Синтянины, Форова, Подозеровъ; всѣ эти люди не могли благопріятствовать планамъ Горданова. Еще онъ могъ, можетъ-быть, увлечь Ларису, но рисковалъ не удержать ее надолго въ своей власти. Могла настать минута разочарованія, а Гордановъ былъ дальнозорокъ; онъ хотѣлъ, чтобы Лариса была неотдалима отъ него нигдѣ, ни при какихъ обстоятельствахъ, не исключая даже тѣхъ, при которыхъ законъ освобождаетъ жену отъ слѣдованія за мужемъ. Но понятно, что всѣ эти сложные планы требовали времени, и Горда-

новъ, сдѣлавшись снова вхожъ въ домъ Бодростиныхъ, въ удобную минуту сказалъ Глафирѣ, что онъ не истратилъ одной минуты даромъ, но что при всемъ этомъ ему еще нужно много времени.

— Не торопи меня, — говорилъ онъ ей: — дай мнѣ годъ времени, годъ — не вѣкъ, и я тебѣ за то ручаюсь, что къ концу этого года ты будешь и свободна, и богата.

— Но завѣщаніе написано!

— Оставь ты эти письмена.

Глафира Васильевна сама знала, что нужно время, нужно оно было не для нея, а для Павла Николаевича, который хотѣлъ дѣйствовать осторожно и, раздувъ огонь, собрать жаръ чужими руками. На это и былъ здѣсь Висленевъ.

Въ такомъ положеніи находились дѣла, когда Михаилъ Андреевичъ Бодростинъ, разссорясь съ Подозеровымъ, ввелъ къ себѣ снова въ домъ Горданова и, плѣнясь его умомъ, его предпріимчивостью и сообразительностью, вдругъ задумалъ ѣхать въ Москву и оттуда въ Петербургъ, чтобъ уладить кое-что по земству и вступить въ большія компанейскія торговыя дѣла, къ которымъ его тянуло и которыхъ такъ опасалась Глафира Васильевна. При этомъ кстати Бодростинъ везъ въ Москву и духовное завѣщаніе, съ тѣмъ чтобы положить его на храненіе въ опекунскій совѣтъ. Бодростину сопутствовали въ его поѣздкѣ: его наслѣдникъ племянникъ, уланъ Владиміръ Кюлевейнъ и секретарь Ропшинъ. День отъѣзда былъ назначенъ. Молодой, рослый камердинеръ Михаила Андреевича и два лакея укладывали чемоданы и несессеры. Ропшинъ вмѣстѣ съ самимъ Бодростинымъ собиралъ въ кабинетѣ дорожный портфель. Дѣло было послѣ обѣда предъ вечернимъ чаемъ: осталось провести дома послѣдній прощальный вечеръ и завтра ѣхать.

— Подай мнѣ завѣщаніе! — спросилъ, сидя за столомъ, Бодростинъ у стоявшаго съ другой стороны стола Ропшина.

Секретарь порылся и поднесъ листъ, исписанный красивымъ французскимъ почеркомъ Михаила Андреевича.

Бодростинъ пробѣжалъ нѣсколько строкъ этого документа, взглянулъ на свидѣтельскія подписи Подозерова и Ропшина и сказалъ:

— Не худо бы сюда еще одну подпись священника.

— Какъ вамъ угодно,—отвѣчалъ Ропшинъ.

— Но, впрочемъ, кажется, довольно по закону и двухъ.

— Совершенно довольно, и, вдобавокъ, завѣщаніе писано вашею собственною рукой и, вѣроятно, самими вами будетъ подано на храненіе?

— А разумѣется самимъ.

— Въ такомъ случаѣ оно болѣе чѣмъ гарантировано отъ всякихъ оспариваній.

— Ты правъ, нечего тутъ вмѣшивать поповъ: еще все разблаговѣстятъ. Ты вѣдь, конечно, никому ни звука не подалъ.

— Можете ли вы въ этомъ сомнѣваться,—отвѣчалъ краснѣя Ропшинъ.

— Я, братъ, всѣмъ вѣрю и во всѣхъ сомнѣваюсь.

— Я не знаю, какъ господинъ Подозеровъ,—началъ было Ропшинъ, но Бодростинъ перебилъ его:

— Ну, въ Подозеровѣ-то я не сомнѣваюсь.

Ропшинъ еще покраснѣлъ, такъ что багрецъ пробилъ сквозь его жиденькіе, тщательно причесанные чухонскіе бакенбарды, но Бодростинъ, укладывавшій въ это время бумагу въ конвертъ, не замѣтилъ его краски.

— Надпиши, — сказалъ онъ секретарю, и, продиктовавъ ему надпись, велѣлъ запечатать конвертъ гербовою печатью и уложить въ портфель.

Позже вечеромъ Бодростина не было дома: онъ былъ у губернатора, потомъ у Горданова и вернулся за полночь. Глафира Васильевна безъ него въ сумерки приняла только Висленева, но рано сказалась больною и рано ушла къ себѣ на половину. Дѣла ея съ Висленевымъ шли вяло. Іосафъ Платоновичъ сдѣлался ея адъютантомъ, но только разводилъ ей рацеи о женщинѣ, о женскихъ правахъ и т. п. Гордановъ, наблюдавшій все это, находилъ, что вокругъ удалой Бодростиной какъ-будто становилось старо и вяло, но врядъ ли онъ въ этомъ не ошибался. По крайней мѣрѣ, если бы Гордановъ видѣлъ Глафиру Васильевну въ сумерки того дня, когда Бодростинъ запечаталъ свое завѣщаніе, онъ не сказалъ бы, что около нея стало старо. Она была вся оживлена: черныя брови ея то поднимались, то опускались, взоръ то щурился и угасалъ, то быстро сверкалъ и пронизывалъ; античныя ея руки горѣли и щипали въ лепестки мягкую шемахинскую кисть отъ пояса распашного капота изъ букетной матеріи азіатскаго рисунка.

Въ организмѣ ея было какое-то лихорадочное безпокойство, и потому, несмотря на едва замѣтную свѣжесть лѣтняго вечера, въ кабинетѣ ея были опущены густые суконные занавѣсы, и въ каминѣ пылали бѣловатымъ огнемъ сухія березовыя дрова.

Глафира Васильевна помѣщалась полусидя на низкомъ мягкомъ табуретѣ и упиралась въ бѣлый мраморный откосъ камина ногой, обутой въ простую, но изящную туфлю изъ алаго сафьяна.

Онъ ей былъ не лишній: она въ самомъ дѣлѣ зябла; но вдругъ чуть только всколыхнулась дверная портьера и вошедшая дѣвушка произнесла: «Генрихъ Иванычъ», Бодростина сейчасъ же вскочила, велѣла просить того, о комъ было доложено, и пошла по комнатѣ, высоко поднявъ голову, со взглядомъ ободряющей и смущающей ласки.

Въ портьерѣ показался секретарь Ропшинъ: бѣдный и блѣдный, нескверный и неблазный молодой человѣкъ, предки котораго, происходя отъ ревельскихъ чухонъ, напрашивались въ нѣмецкіе бароны, но ко дню рожденія этого Генриха не приготовили ему ничего, кромѣ имени Ропшкюль, которое онъ самъ перемѣнилъ на Ропшинъ, чтобы не походить на чухонца. Онъ былъ воспитанъ пристойно и съ удовольствіемъ несъ свои секретарскія обязанности при Бодростинѣ, который его отыскалъ гдѣ-то въ петербургской завали, и въ угоду одной изъ сердобольныхъ дамъ, не знавшихъ, куда пристроить этого бѣлобрысаго юношу, взялъ его къ себѣ въ секретари.

Очутившись въ этомъ старомъ, богатомъ и барскомъ домѣ, Ропшинъ немедленно впалъ въ силки, которые стояли здѣсь по всѣмъ угламъ и закоулкамъ. У Глафиры Васильевны была своя партія и свои агенты повсюду: въ конторѣ, въ оранжереяхъ, въ поварскихъ, на застольной и въ прачечной. Глафира Васильевна не пренебрегала ни сплетней, ни доносомъ. Ропшинъ, въ качествѣ лица, поставленнаго однимъ рангомъ выше камердинера и дворецкаго, тоже былъ взятъ на барынину сторону, и онъ самъ вначалѣ едва зналъ, какъ это случилось, но потомъ... потомъ, когда онъ увидалъ себя на ея сторонѣ, онъ проникся благоговѣйнымъ восторгомъ къ Глафирѣ Васильевнѣ: онъ началъ тушить взоры при встрѣчѣ съ нею, краснѣть,

конфузиться и худѣть. Глафира Васильевна не пренебрегала и этимъ: мальчикъ могъ быть полезенъ, и ему былъ брошенъ крючокъ. Годъ тому назадъ этотъ двадцатидвухлѣтній молодой человѣкъ впервые взошелъ въ кабинетъ Глафиры для передачи какого-то незначащаго порученія ея мужа. Въ кабинетѣ на ту пору сидѣли Лариса Васильевна и генеральша Синтянина. Юноша пришелъ въ смущеніе при видѣ трехъ красивыхъ женщинъ: онъ замялся, сталъ говорить, ничего не выговорилъ, поперхнулся, чихнулъ, и его маленькій галстучекъ papillon сорвался съ пуговки и улетѣлъ въ невѣдомыя страны. У Ропшина задрожали колѣна и навернулись слезы. Синтяниной и Ларисѣ стало и смѣшно, и жалко, но Глафирѣ Васильевнѣ это дало поводъ бросить крючокъ. Она, секунду не думая, оторвала одинъ изъ бантиковъ своего капота и, подавая его Ропшину, сказала: «прекрасно! съ этихъ поръ вы за это будете мой цвѣтъ!»

Юноша поцѣловалъ ея руку и вылетѣлъ бомбой, зацѣпившись за нѣсколько стульевъ...

По прошествіи десяти мѣсяцевъ, Ропшинъ доставилъ Глафирѣ Васильевнѣ копію съ завѣщанія Бодростина, ввѣреннаго его скромности, и былъ награжденъ за это прикосновеніемъ бѣлаго пальца Глафиры Васильевны къ его подбородку.

Теперь онъ предсталъ къ ней съ другимъ докладомъ.

Онъ вошелъ, поклонился и застѣнчиво пролепеталъ банальную, французскую привѣтственную фразу. Она окинула его бровью, ласково улыбнулась и, взявъ его за руку, подвела къ стулу.

— Садитесь, Генрихъ,—сказала она, выпуская его руку и проходя далѣе по ковру своею развалистою походкой.— Что новаго у насъ?

— Михаилъ Андреевичъ везетъ завѣщаніе въ Москву.

— Да-а?

— Онъ запечаталъ его въ конвертъ и сдалъ мнѣ.

— Вамъ? какъ это мило съ его стороны.

Ропшинъ всталъ и хотѣлъ раскланяться.

— Куда же вы?—остановила его Бодростина.

— Я все сказалъ вамъ,—отвѣчалъ Ропшинъ и отозвался, что у него много дѣлъ.

— Ахъ, полноте, пожалуйста, съ вашими дѣлами: всѣхъ

дѣлъ вовѣкъ не передѣлаешь. Скажите лучше мнѣ: вы можете меня удостовѣрить, что эта бумага дѣйствительно приготовлена и везется въ Москву?

— О, къ сожалѣнію, ничего нѣтъ легче: она со мной, въ моемъ портфелѣ. Вы, можетъ-быть, желали бы ее видѣть... я нарочно взялъ съ собою.

— Да; я даже прошу васъ объ этомъ.

Ропшинъ вышелъ и, явясь черезъ минуту, засталъ Глафиру Васильевну снова предъ каминомъ: ее опять, кажется, знобило, и она грѣлась въ той же позѣ и на томъ же табуретѣ, на которомъ сидѣла до прихода Ропшина.

— Вы нездоровы? — робко спросилъ молодой человѣкъ, кинувъ на нее влюбленный, участливый взглядъ.

— Немножко зябну.

— Вечеръ свѣжъ, — отвѣчалъ секретарь, доставая конвертъ изъ портфеля.

— Oui; le feu est un bon compagnon ce soir,—уронила она, зѣвая.

Глафира Васильевна взяла конвертъ, внимательно прочла надпись и замѣтила, что она никогда не знала, какъ подобные документы надписываются.

— Вотъ тамъ, на столѣ, есть карандашъ,—прошу васъ, спишите мнѣ эту надпись.

Ропшинъ всталъ и хотѣлъ взять конвертъ.

— Нѣтъ, вы пишите, я продиктую вамъ,—сказала Бодростина, и когда секретарь взялъ карандашъ и бумагу, Глафира Васильевна прочитала ему надпись и затѣмъ бросила конвертъ въ огонь и, вставъ, заслонила собою пылающій каминъ.

Ропшинъ остолбенѣлъ, но потомъ быстро бросился къ ней, но былъ остановленъ тихимъ, таинственнымъ «т-ссъ», между тѣмъ какъ въ то же самое время правая рука ея схватила его за руку, а бѣлый мизинецъ лѣвой руки во всю свою длину легъ на его испуганныя уста.

— Вы не употребите же противъ меня силы, да и это теперь было бы безполезно, вы видите, конвертъ сгорѣлъ. Берите скорѣе точно такой другой и дѣлайте на немъ ту же надпись. Онѣ должны быть похожи какъ двѣ капли воды.

— Что же я положу въ другой конвертъ?

— Вы положите въ него... листъ чистой бумаги.

— Великій Боже!

— Не ужасайтесь, бываютъ дѣла гораздо страшнѣе, и ихъ люди безтрепетно дѣлаютъ для женщинъ и за женщинъ,—это, надѣюсь, еще далеко не тотъ кубокъ, который пили юноша, царь и пастухъ въ замкѣ Тамары.

— Вы можете еще шутить!

— Нимало, вамъ не грозитъ никакая опасность! что бы ни случилось, вы можете отвѣчать, что это ошибка и только.

— Я потеряю мое мѣсто.

— Очень можетъ-быть, но о такихъ вещахъ предъ женщиной не говорятъ.

И съ этимъ Бодростина, не давая опомниться Ропшину, достала изъ его портфеля пачку конвертовъ и сунула въ одинъ изъ нихъ загодя приготовленный, исписанный листъ,—этотъ листъ было старое завѣщаніе.

— Не стойте посреди пути: минуты дороги. Гдѣ печать?—спросила она живо.

Ропшинъ молча вынулъ изъ кармана гербовую печать, которою Глафира Васильевна собственною рукою запечатала конвертъ и сказала: «надпишите!»

Секретарь сѣлъ и взялъ перо, но рука его тряслась и измѣняла ему.

— Прежде немножко успокойтесь, — вы очень взволнованы, васъ надо вылѣчить, бѣдный ребенокъ,—и съ этимъ она обняла его и поцѣловала.

Ропшинъ закрылъ рукой глаза и зашатался.

Бодростина отвела его руку и взглянула ему въ глаза спокойнымъ, ничего не говорящимъ взглядомъ.

— Comptez-vous cela pour rien? — спросила она его строго и твердо.

— О, я давно, давно люблю васъ, — воскликнулъ Ропшинъ:—и я готовъ на все!

— Вы любите! Tant mieux pour vous et tant pis pour les autres, берегите же мою тайну. Вамъ поцѣлуй данъ только въ задатокъ, но щедрый расчетъ впереди.—И съ этимъ она сжала ему руку и, подавъ портфель, тихонько *направила* его къ двери, въ которую онъ и вышелъ.

Бодростинъ вернулся домой за полночь и засталъ своего молодого секретаря сидящимъ за работой въ его кабинетѣ.

— Иди спать,—сказалъ онъ Ропшину:—чего ты сидѣлъ? Я запоздалъ, а мы завтра утромъ ѣдемъ.

— Мнѣ что-то не хотѣлось спать,—отвѣтилъ Ропшинъ.

— Не хочешь спать? Соскучился, и тянетъ въ Питеръ. Что же, погоди, братъ, покутишь: но ты въ какомъ-то восторженномъ состояніи! Отчего это?

— Вамъ это кажется,—я тотъ, что и всегда.

— Ты не плѣненъ ли горничной Настей?.. А хороша! хоть бы и не тебѣ, ревельской килькѣ. Да ты, братецъ, не скромничай, — я самъ былъ молодъ, а теперь все-таки иди спать.

И предводитель съ своимъ секретаремъ разошлись. Бодростинскій домъ весь погрузился въ спокойный сонъ, не исключая даже самой Глафиры, уснувшей съ увѣренностію, что послѣдніе шаги ея сдѣланы блистательно. Бодростинъ самъ лично отдастъ на храненіе завѣщаніе, которымъ предоставлялось все ей и одной ей; это не можетъ никому придти въ голову; этого не узнаетъ и Гордановъ, а Ропшинъ... онъ не выдастъ никогда того, что онъ знаетъ, не выдастъ потому, что онъ замѣшанъ въ этомъ самъ и еще болѣе потому, что... Глафира Васильевна знала юношескую натуру.

Такъ уѣхалъ Бодростинъ, увѣренный, что ему нечего безпокоиться ни за что: что даже супружеская честь его въ полной безопасности, ибо у жены его такъ много поклонниковъ, что они сами уберегутъ ее другъ отъ друга. Ему и въ голову не приходило, что онъ самое свѣжее свое безчестіе везъ съ самимъ собою, да и кто бы рѣшился заподозрѣть въ этомъ влаственную красоту Глафиры, взглянувъ на прилизаннаго Ропшина, въ душѣ котораго теперь было столько живой, трепещущей радости, столько юношеской гордости и тайной, злорадной насмѣшки надъ Висленевымъ, надъ Гордановымъ и надъ всѣми смѣлыми и ловкими людьми, чья развязность такъ долго и такъ мучительно терзала его юное, безъ правъ ревновавшее сердце. Теперь онъ, по своей юношеской неопытности, считалъ себя связаннымъ *съ нею* крѣпчайшими узами, и удивлялся только одному, какъ его счастье не просвѣчиваетъ наружу, и никто не видитъ, гдѣ скрытъ высшій счастливецъ. «Tant mieux pour vous, tant pis pour les autres», шепчутъ ему полныя пунцовыя губы, дыханія которыхъ ему не забыть никогда, никогда! И воспоминанія эти порхаютъ роемъ въ головѣ и сердцѣ счастливца, помѣщающагося въ вагонѣ желѣзной дороги возлѣ блаженнаго Бодростина, и мчатся они вдаль

къ сѣверу. А въ то же время Глафира Васильевна покинула свой городской домъ и сокрылась въ цвѣтущихъ садахъ и темныхъ паркахъ села Бодростина, гдѣ ее въ первый же день ея переѣзда не замедлили навѣстить Висленевъ съ сестрой и Гордановъ. И въ тотъ же день вечеромъ, въ позднія сумерки, совершенно некстати, нежданно и нескладно, появился Михаилъ Андреевичъ въ коротком кирасирскомъ мундирѣ съ распоротою спинкой, и столь же внезапно, нежданно и нескладно исчезъ.

Странный, пустой, но непріятный случай этотъ подѣйствовалъ на Глафиру Васильевну очень непріятно, — она тяготилась мертвымъ безмолвіемъ залъ, гдѣ тревожному уху ея съ пустынныхъ хоръ слышалась тихая рѣчь и таинственный шорохъ; ее пугалъ сумракъ сонныхъ кленовъ, кряхтящихъ подъ вѣтеръ надъ соннымъ, далекимъ прудкомъ стариннаго парка; ее пугалъ даже всплескъ золотистаго карася на поверхности этой сонной воды. Ея состояніе было созерцательное и болѣзненное; она опять перебирала не совѣсть свою, но свои поступки, и была недовольна собою. Даже недавно казавшійся ей столь необходимымъ вызовъ Горданова представлялся ей теперь въ иномъ свѣтѣ. По ея мнѣнію, все ея прошлое было ошибка на ошибкѣ. Ей, выйдя замужъ, нужно было держать себя строго, и тогда... она, конечно, могла бы овдовѣть безъ всякой сторонней помощи, какъ безъ помощи Горданова она овладѣла завѣщаніемъ и даже болѣе: подмѣнила его другимъ. Надо было выдержать себя, какъ выдерживаетъ Синтянина, и тогда ни на что не нужны были бы никакіе помощники... Да; Гордановъ ей дорого стоитъ, и зато теперь, послѣ исторіи съ завѣщаніемъ, цѣна ему сильно упала, но онъ все-таки еще нуженъ... Глафира не могла ни на кого, кромѣ него, положиться; но теперь она видѣла необходимость сдѣлать нѣчто и съ самою собою: надо было поправить свою репутацію, такъ чтобы ко времени, когда ударитъ роковой часъ, на нее не могло пасть даже и тѣни подозрѣнія въ искусственномъ устройствѣ вдовства. Надо было *поправить свою репутацію.*

— Начать молиться?—но кто же мнѣ повѣритъ. За что же, за что же взяться, чтобы меня забыли во мнѣ самой?

Это ее занимало постоянно, и она, оставаясь сама съ собою, не могла отрѣшиться отъ этой мысли.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Сумасшедшій Бедуинъ.

Верстахъ въ тридцати отъ села Бодростина въ большихъ имѣніяхъ одного изъ князей древняго русскаго рода жилъ оригинальный человѣкъ, Свѣтозаръ Владеновичъ Водопьяновъ. Крестьяне въ окружности называли его «чернымъ баріномъ», а сосѣди-помѣщики — «Сумасшедшимъ Бедуиномъ». Онъ происходилъ откуда-то изъ южныхъ славянъ; служилъ когда-то безъ году недѣлю въ русской артиллеріи и, выйдя въ отставку, управлялъ съ очень давнихъ поръ княжескими имѣніями. Послѣднее было нѣсколько удивительно. Водопьяновъ, казалось бы, не могъ управлять ничѣмъ, но между тѣмъ онъ управлялъ очень обширными землями и заводами, и владѣтель этихъ большихъ мѣстностей не искалъ случая разстаться съ Свѣтозаромъ Владеновичемъ. Напротивъ, всѣмъ было извѣстно, что князь, занимавшій въ Петербургѣ важную государственную должность, дорожитъ безалабернымъ Водопьяновымъ и, каждый годъ выписывая его къ себѣ съ отчетами, удерживалъ его при себѣ долго и ласкалъ, и дарилъ его. Сановникъ любилъ Водопьянова, и въ этой любви его было что-то нѣжное и даже почтительное. Управитель былъ человѣкъ честный и даже очень честный: это знали всѣ; но главная черта характера, привязывавшая къ нему людей, заключалась въ непосредственности его натуры и въ оригинальности его характера. Названіе «черный баринъ» очень ясно выражало внѣшность Водопьянова: онъ былъ великъ ростомъ, неуклюжъ, массивенъ, темень лицомъ, съ весьма крупными чертами лица; толстыми черными съ просѣдью волосами, поросшими мхомъ ушами и яркими, сверкающими, карими глазами. Ноги и руки его были просто ужасны по своимъ громаднымъ размѣрамъ, и притомъ руки всегда были красны, какъ окунутыя въ свекольный разсолъ, а ноги до того костисты, что суставы словно были покрыты наростами, выпиравшими подъ кожей сапога наружу. Ко всему этому Водопьяновъ постоянно смазывался чѣмъ-то камфарнымъ, носилъ въ карманѣ коробку съ камфарными шариками, глоталъ камфару, посыпалъ камфарой постель, курилъ камфарныя сигаретки и вообще весь былъ пропитанъ камфарой. Это была его гигіена по Распайлю, — единственному

врачу, которому онъ вѣрилъ. Ходилъ онъ и двигался быстро, говорилъ голосомъ необыкновенно кроткимъ и мягкимъ и находился въ постоянной задумчивости. Нравъ и образъ жизни Водопьянова были до крайней степени причудливы: къ нему очень шли слова поэта:

Онъ страненъ, исполненъ несбыточныхъ думъ,
Бываетъ онъ веселъ ошибкой;
Онъ къ людямъ на праздникъ приходитъ угрюмъ,
Къ гробамъ ихъ подходитъ съ улыбкой.
Всеобщій кумиръ ихъ ему не кумиръ,
Недаромъ безумцемъ зовутъ его міръ.

Водопьяновъ былъ безконечно добръ и участливъ: онъ былъ готовъ служить всѣмъ и каждому чѣмъ только могъ, но всѣ горести людскія при этомъ его не поражали и не тревожили. Отъ этого многимъ казалось, что онъ лишенъ чувства и поступаетъ добро и благородно только по принципу. Самъ онъ тоже всякую скорбь переносилъ, не удостоивая ее ни малѣйшаго вниманія — не смущался ничѣмъ и не боялся ничего. Онъ былъ холостъ, но имѣлъ на своихъ рукахъ женатаго брата съ дѣтьми и замужнюю сестру съ ея потомствомъ. Все это были люди плохіе, нагло сѣвшіе на шею Водопьянова и не помышлявшіе сойти съ нея, какъ онъ не помышлялъ ихъ спугивать.

Есть или, по крайней мѣрѣ, были у насъ на Руси сострадательныя барышни, одну изъ каковыхъ авторъ вспоминаетъ въ эту минуту: въ ея дѣвической комнатѣ постоянно можно было найти какую-нибудь калѣчку; на окнѣ, напримѣръ, сидѣлъ цыпленокъ съ переломленною, перевязанною въ лубокъ ногой; въ шляпной коробкѣ помѣщался гадостный больной котенокъ; подъ комодомъ прыгалъ на ниткѣ упавшій изъ гнѣзда желтоносый галченокъ: все это подбиралось сюда откуда попало и воспитывалось здѣсь до поправленія силъ, безъ всякаго расчета на чью бы то ни было благодарность. Домъ Свѣтозара Владеновича въ своемъ родѣ былъ совершенно то самое, что описанная комната, съ тою единственною разницей, что вмѣсто галчатъ, котятъ и цыплятъ здѣсь обитали калѣки и уродцы человѣческой породы. Помимо лѣниваго и тупого брата и его злой жены, съ ихъ малоумнымъ и злымъ потомствомъ, и сестры съ ея пьянымъ мужемъ и золотушными дѣтьми, у Водопьянова былъ кучеръ, нигдѣ нетерпимый пьяница, кухарка, забитая

мужемъ, идіотка, комнатный мальчикъ-калѣка, у котораго ноги стояли иксомъ въ разныя стороны: все это придавало всему дому характеръ какого-то нестроенія. Почти то же самое было и въ сельскомъ хозяйствѣ, которымъ управлялъ Водопьяновъ; но, ко всеобщему удивленію, и домъ «чернаго барина» не оскудѣвалъ, и полевое и фабричное хозяйство у него шло часто даже удачнѣе, чѣмъ у многихъ, самыхъ рачительныхъ, сосѣдей. Отъ этого въ народѣ ходила молва, что «черный баринъ что-то знаетъ»,—и онъ дѣйствительно нѣчто зналъ: онъ зналъ агрономію, химію, механику, зналъ силы природы въ многоразличныхъ ихъ проявленіяхъ, наблюдалъ ихъ и даже умѣлъ немножко прозрѣвать ихъ тайны. Кромѣ того, онъ зналъ нѣчто такое, что, по общераспространенному мнѣнію, даже и нельзя знать: онъ зналъ (не вѣрилъ, а зналъ), что есть міръ живыхъ существъ, не нуждающихся ни въ пищѣ, ни въ питіи, ни въ одеждѣ,—міръ, чуждый низменныхъ страстей и всѣхъ треволненій міра земного. Водопьяновъ былъ спиритъ и медіумъ, хотя не давалъ никакихъ медіумическихъ сеансовъ. Рука его не писала, но ухо что-то слышало, и это слышаніе было поводомъ ко множеству странностей, по которымъ образованные сосѣди не въ шутку признавали его немножко помѣшаннымъ и назвали «Сумасшедшимъ Бедуиномъ». Заподозрѣть въ Водопьяновѣ нѣкоторую ненормальность душевныхъ отправленій было весьма возможно: въ его поступкахъ была бездна странностей: онъ часто говорилъ, повидимому, совершенную нескладицу, и нерѣдко вдругъ останавливался посреди рѣчи, прислушивался къ чему-то такому, чего никто не слыхалъ, иногда онъ даже быстро кому-то отвѣчалъ и вдругъ внезапно вскакивалъ и внезапно уходилъ или уѣзжалъ. Нерѣдко онъ вдругъ появлялся, прежде невхожій, въ домахъ людей, очень мало ему знакомыхъ и отдаленныхъ: появлялся Богъ знаетъ для чего, а черезъ короткое время снова уѣзжалъ. Словомъ, носился какъ сумасшедшій бедуинъ по пустынѣ, почти не замѣчая живыхъ людей и говоря съ призраками.

Мѣсяцъ спустя послѣ отъѣзда Михаила Андреевича въ столицу, въ одинъ августовскій темный вечеръ, прерывистый звонъ поддужнаго колокольчика возвѣстилъ гостя обитателямъ села Бодростина, и лакеи, отворившіе дверь парадnаго подъѣзда, встрѣтили «чернаго барина».

Водопьяновъ пользовался за свою оригинальность и честность расположеніемъ Михаила Андреевича, но Глафира Васильевна, прежде очень интересовавшаяся этимъ оригиналомъ, вдругъ разжаловала его изъ своихъ милостей. Сумасшедшій Бедуинъ, по ея словамъ, тяжело дѣйствовалъ ей на нервы. Водопьяновъ бывалъ у Бодростиныхъ очень рѣдко и предъ симъ не показывалъ къ нимъ глазъ болѣе года; но такъ какъ подобныя странности были въ его натурѣ, то внезапный пріѣздъ его не удивилъ Глафиру. Она, напротивъ, въ этотъ разъ, страдая немножко скукой, была даже рада посѣщенію Водопьянова и, отдавъ приказаніе слугѣ просить пріѣзжаго въ гостиную, живо обратилась къ находившимся у нея гостямъ: Ларисѣ, Висленеву и Гордановy, и сказала: рекомендую вамъ, господа, сейчасъ войдетъ оригиналъ, подобнаго которому едва ли кто-нибудь изъ васъ видѣлъ: онъ мистикъ и спиритъ.

— И даже медіумъ, мнѣ кажется,—дополнила Лариса.

— И натурально шарлатанъ,—прибавилъ Гордановъ.

— Нимало,—отвѣтила Бодростина.

По залѣ между тѣмъ уже раздавались тяжелые шаги Свѣтозара Владеновича.

Водопьяновъ былъ одѣтъ очень хорошо, даже немножко щеголевато для деревни, держался скромно, но развязно и съ самоувѣренностью, но черные огненные глаза его вмѣстѣ съ непостижимою блѣдностью щекъ дѣлали его и съ виду человѣкомъ, выходящимъ изъ ряду вонъ.

Глафира Васильевна встрѣтила его очень радушно, отрекомендовала его своимъ гостямъ и назвала ему гостей. Водопьяновъ изо всѣхъ трехъ зналъ одну Ларису, но, подавъ всѣмъ руку и обмѣнявшись привѣтствіями съ послѣднимъ по очереди, Висленевымъ, сказалъ:

— Васъ зовутъ Іосафъ, очень рѣдкое имя. Впрочемъ, всѣ имена прекрасны, но не сообщаютъ человѣку своего значенія.

— Это хорошо или дурно?—заговорила съ нимъ Бодростина.

— Ни то, ни другое: человѣкъ значитъ только то, что онъ значитъ, все остальное къ нему не пристаетъ. Я сегодня цѣлый день мучусь, заставляя мою память сказать мнѣ имя того нѣмого, который въ одну изъ персскихъ

воинъ заговорилъ, когда его отцу угрожала опасность. Ѣду мимо васъ и вздумалъ...

— Что у насъ объ этомъ знаютъ?

— Да! Я думаю здѣсь непремѣнно есть люди, которые должны это знать.

— Господа!—обратилась съ вопросомъ Бодростина.

Всѣ молчали.

— Я каюсь въ моемъ невѣжествѣ, — продолжала она: — я не знаю ни этого факта, ни этого имени.

— Фактъ несомнѣненъ,—утвердилъ Водопьяновъ.

— Онъ есть въ исторіи: это было въ одну изъ войнъ Кира, мнѣ помнится,—замѣтилъ Гордановъ.

— Ахъ, вамъ это помнится! Я очень радъ, очень радъ, что вы это помните. Не правда ли, странный случай? Мнѣ одинъ медикъ говорилъ, что это совсѣмъ невозможно, почему же? не правда ли?

— Не знаю, какъ вамъ отвѣтить: почему?

— Да; это смѣшно, въ какомъ младенчествѣ еще естественныя науки. Я предлагалъ премію тому, кто скажетъ, почему пѣтухъ въ полночь поетъ; никто до сихъ поръ не взялъ ея. Поэтому я вѣрю, что нѣмой могъ заговорить. Въ природѣ все возможно!

— Но возможно, чтобы курица ходила по улицѣ, но чтобы улица ходила по курицѣ, это невозможно!

— Кто знаетъ? А какъ вы полагаете: возможно ли, чтобы щука выскочила сама изъ рѣки, вспрыгнула человѣку въ ротъ и задушила его?

— Не думаю.

— А между тѣмъ въ тысяча восемьсотъ шестьдесятъ восьмомъ году, двадцать третьяго іюля, на Днѣпрѣ, подъ Кіевомъ, щука выпрыгнула изъ воды, воткнулась въ ротъ хохлу, который плевалъ въ рѣку, и пока ее вытащили, бѣднякъ задохнулся. И слѣдствіе было, и въ газетахъ писали. Что? отнесся онъ и, не дождавшись отвѣта, продолжалъ: — Ужасны странности природы, и намъ, докуда мы сидимъ въ этомъ кожаномъ футлярѣ, нельзя никакъ утвердительно говорить, что возможно и что невозможно. У меня есть сильнодѣйствующее средство отъ зубной боли, мнѣ далъ его въ Выборгѣ одинъ шведъ, когда я ѣздилъ туда искать комнату, гдѣ Державинъ дописалъ двѣ послѣднія строфы оды «*Богъ*», то-есть: «Въ безмѣрной радости те-

ряться и благодарны слезы лить...» Я хотѣлъ видѣть эти стѣны, но не нашелъ комнаты: у насъ этимъ не дорожатъ... Да; но я говорю о лѣкарствѣ. Это сильное средство уничтожаетъ нервъ, и его можно капнуть только на нижній зубъ, а для верхняго считалось невозможнымъ; но я взялъ одну бабу, у которой болѣлъ верхній зубъ, обвязалъ ей ноги платкомъ и поставилъ ее въ углу кверху ногами и капнулъ, и она потомъ меня благословляла. Я сообщалъ этотъ способъ въ газеты, — не печатаютъ, тоже говорятъ «невозможно». Въ нашихъ понятіяхъ невозможное смѣшано съ тѣмъ, что мы считаемъ невозможнымъ. Есть люди, которые увѣрены, что человѣкъ есть кожаный мѣшокъ, а имъ, однако, кажется невозможнымъ допустить, что даровитый человѣкъ, царствовавшій въ Россіи подъ именемъ Димитрія, былъ совсѣмъ не Лжедимитрій, хотя кожаный мѣшокъ былъ похожъ какъ двѣ капли воды.

— Вы, кажется, къ Лжедимитрію неравнодушны?—молвила Бодростина.

— Да; бѣдный духъ до сей поры безпокоится такою клеветой.

Бодростина переглянулась съ гостями.

— Онъ кто-жъ такой?

— Когда онъ былъ духомъ, онъ не хотѣлъ этого ясно сказать, теперь же онъ опять воплощенъ,—отвѣчалъ спокойно Водопьяновъ.

— Вы не скрываете, что вы спиритъ?—отнесся къ нему Висленевъ.

— Нѣтъ, не скрываю, для чего-жъ скрывать?

— Я тоже не скрываю, что не вѣрю въ спиритизмъ.

— Вы прекрасно дѣлаете, но вы вѣдь спиритизма не знаете.

— Положимъ; но я знаю то, что въ немъ есть смѣшного: его таинственная сторона. Вы вѣрите въ переселеніе душъ?

— Да, въ перевоплощеніе духа.

— И въ чудеса?

— Да, если чудесами называть все то, чего мы не научились еще понимать, или не можемъ понимать по несовершенству нашего понимательнаго аппарата.

— А чему вы приписываете его несовершенства?

— Природѣ этой плохой планеты. Плохая планета, очень

плохая, но что дѣлать: надо потерпѣть, на это была, конечно, высшая воля.

— Вы, стало-быть, изъ недовольныхъ міромъ?

— Какъ вѣчный житель лучшихъ сферъ, я, разумѣется, не могу восхищаться темницей, но зная, что я по заслугамъ посаженъ въ карцеръ, я не ропщу.

— И вы видали сами чудеса?—тихо вопросила его Лариса.

— О, очень много!

— Какія, напримѣръ? Не можете ли вы намъ что-нибудь разсказать?

— Могу охотно: я видѣлъ болѣе всего нежданныя побѣды духа злобы надъ чувствами добрѣйшихъ смертныхъ.

— Но тутъ ничего нѣтъ чудеснаго.

— Вы думаете?

— Да.

— О, ошибаетесь! Зло такъ гадко и противно, что духъ не могъ бы самъ идти его путемъ, если бы не велъ его сильнѣйшій и злѣйшій.

— Нѣтъ, вы скажите видимое чудо.

— Я видѣлъ Русь расшатанную, неученую, неопытную и неискусную, преданную ученьямъ злымъ и коварнымъ, и устоявшую!

— Ну, что это опять за чудо?

— Какихъ же вы желаете чудесъ?

— Видимыхъ воочію, слышимыхъ, ощущаемыхъ.

— О, имъ числа нѣтъ: они и въ Библіи, и въ сказаніяхъ, въ семейныхъ хроникахъ и всюду, гдѣ хотите. Если это васъ интересуетъ, въ англійской литературѣ есть очень хорошая книжка Кроу, прочтите.

— Но вы сами ничего не видали, не слышали, не обоняли и не осязали?

— Видѣлъ, слышалъ, обонялъ и осязалъ.

— Скажите, что?

— Я въ дѣтствѣ видалъ много свѣтлыхъ бабочекъ зимой.

— Галлюцинація!—воскликнулъ Висленевъ.

— Ну, понятно,—поддержалъ Гордановъ.

— Это въ пору дѣтства; нѣтъ, вы скажите, не видали ли вы чего-нибудь въ зрѣлые годы?—спросила Лариса.

— И, главное, чего-нибудь страшнаго,—добавила Бодростина.

— Да, видѣлъ-съ, видѣлъ; я видѣлъ, золотой пухъ и огненный летали въ воздухѣ, видѣлъ, какъ разъ черная туча упала въ крапиву.

— Это все не страшно.

— Я видѣлъ... я видѣлъ на хромомъ зайцѣ ѣхалъ бородатый старикъ безъ макушки, шибко, шибко, шибко, оставилъ свою гору, оставилъ чужую, оставилъ сорочью гору, оставилъ снѣжную и переѣхалъ за ледяную, и тутъ сидѣлъ другой старикъ съ бѣлою бородой и сшивалъ ремнями дорогу, а съ мѣсяца свѣтъ ему капалъ въ желѣзный кувшинъ.

— Это нелѣпости!—замѣтила Бодростина.—Скажите что-нибудь попроще.

— Проще? Это все просто. Я спалъ предъ окномъ въ Москвѣ, и въ пукѣ луннаго луча ко мнѣ сходилъ мой братъ, который былъ въ то время на Кавказѣ. Я всталъ и записалъ тотъ часъ, и это былъ...

— Конечно, часъ его кончины,—перебилъ Висленевъ.

— Да, вы именно отгадали: онъ въ этотъ часъ умеръ.

— Это всегда такъ говорятъ.

— Но что вы слышали? — добивалась Лара, которой Водопьяновъ отвѣчалъ охотнѣе всѣхъ прочихъ.

— Я слышу много, много, много.

— И, виновата, вы и слышите все въ такомъ же безтолковомъ родѣ, какъ видите,—отвѣчала Бодростина.

— А? Да, да, да, все такъ. Вода спитъ слышно. Ходитъ *нѣкто*, кто самъ съ собою говоритъ, говоря, въ ладоши хлопаетъ, и, хлопая, пляшетъ, а за нимъ идетъ говорящее, хлопающее и пляшущее. Всѣ рѣчистые глупцы и всѣ умники безъ разсудка идутъ на мѣсто, о которое скользятъ ноги. Я слышу, скользятъ, но у меня медвѣжье ухо.

Онъ покачалъ свое густо-обросшее волосами ухо и добавилъ:

— Мнѣ не надо слышать ясно, но Гоголь слышалъ часъ своей смерти.

— Гоголь, вѣдь, какъ извѣстно, помѣшался предъ смертью,—замѣтилъ Гордановъ.

Водопьяновъ улыбнулся.

— Вамъ это извѣстно, что онъ помѣшался?

— Говорятъ.

— Однако, все сбылось такъ, какъ онъ слышалъ.

— Случай.

— Но этимъ случаямъ числа нѣтъ. Іезекіиль съ Исаіей пророкомъ слышали, когда придетъ Христово царство.

— Оно же пришло: мы христіане.

— Нѣтъ, нѣтъ, тогда «всѣ раскуютъ мечи на орала и копья на серпы». Нѣтъ, это не пришло еще.

— И не придетъ.

— Придетъ, придетъ, придетъ, люди станутъ умнѣе и будутъ добрѣе, и это придетъ.

— А что вы обоняли?

— Я обоняю... даже здѣсь теперь запахъ свѣже-распиленной сосны...

— Какіе вздоры! Это я купаюсь въ смоляномъ экстрактѣ,—отвѣчала Бодростина и, приближая къ его лицу свою руку, добавила:—Понюхайте, не это ли?

— Нѣтъ, я слышу запахъ новыхъ досокъ, ихъ гдѣ-то строгаютъ.

— Что за гиль! Гробъ готовятъ, что-ли? Нѣтъ, мы вамъ чудо гораздо получше разскажемъ, — воскликнула она, и разсказала о странномъ и непонятномъ появленіи ея мужа въ распоротомъ мундирѣ. — Скажите-ка, что это можетъ значить?

— Надо молиться о немъ.

— О чемъ же молиться? Вѣдь смерть по вашему — блаженство.

— Да, смерти нѣтъ, нѣтъ Бога мертвыхъ, нѣтъ и смерти, есть только Богъ живыхъ.

— Простите, я позабыла, что вы безсмертны.

— Какъ всѣ съ превѣчнаго начала: «Я рабъ, я царь, я червь, я Богъ».

— Каково!—воскликнула Бодростина, обращаясь къ гостямъ, и затѣмъ добавила: — allez droit devant vous, cher Свѣтозаръ Владеновичъ, мы не устанемъ васъ слушать!

Водопьяновъ промолчалъ.

Бодростина подумала, не оскорбился ли онъ, и спросила его объ этомъ, но «Сумасшедшій Бедуинъ» отвѣчалъ, что его обидѣть невозможно, — всякій, обижая другого — обижаетъ себя и деморализуется.

— Ну, прочь морали! Я не моральна! Скажите-ка намъ что-нибудь о переходѣ душъ. Мнѣ очень нравится ваша теорія внесенія въ жизнь готовыхъ способностей и я ее

часто припоминаю: мнѣ часто кажется, что во мнѣ шевелится что-то чужое, но только вовсе не лестное,—добавила она съ улыбкой къ гостямъ.—Не была ли я, Свѣтозаръ Владеновичъ, Аспазіей или Фриной,—во мнѣ прегадкіе инстинкты.

— Что вы за вздоры говорите? — воскликнулъ слегка шокированный Висленевъ и, вставши, началъ ходить.

Но Водопьяновъ отвѣчалъ Бодростиной, что все это очень возможно, и что онъ самъ былъ воръ и безжалостный злодѣй.

— Во мнѣ тоже,—отвѣчалъ онъ:—нѣтъ нимало врожденнаго добра.

— А между тѣмъ вѣдь вы добрякъ.

— Нѣтъ, я очень золъ, но не хочу быть злымъ, — мнѣ это стоило работы.

— А вы, конечно, знаете такихъ, которые перевоплощаются изъ честныхъ душъ и все честнѣютъ?

— Да, я знаю одинъ такой духъ.

— Скажите, скажите о немъ,—кто это такой?

— Его здѣсь звали на землѣ донъ Цезарь де-Базанъ.

— Испанскій дворянинъ! — воскликнули всѣ, не исключая лѣниво дремавшаго Горданова.

— Да; онъ былъ испанскій дворянинъ и онъ сдѣлалъ это слово кличкой. Вы помните его, разумѣется, по театральной пьесѣ.

— Да; помнимъ, помнимъ; благороденъ, бѣденъ, гордъ и честенъ.

— И ко всему тому изрядно глупъ,—подсказалъ Висленевъ.

— Оставимъ, господа, кому онъ чѣмъ кажется. Пусть лучше Свѣтозаръ Владеновичъ разскажетъ намъ, какъ испанскій дворянинъ переселялся и въ комъ онъ жилъ.

— Онъ жилъ въ студентѣ Спиридоновѣ, который въ свою очередь жилъ въ Москвѣ, въ маленькомъ переулкѣ возлѣ Цвѣтного бульвара. По крайней мѣрѣ я тамъ его узналъ.

— И пусть отсюда вашъ разсказъ начнется уже безъ перерыва.

— Разсказывать я долженъ, начиная съ дней давнихъ.

— Мы слушаемъ. Я люблю всякій мистическій бредъ,— заключила Бодростина, обращаясь къ гостямъ. — Въ немъ есть очень пріятная сторона: онъ молодитъ насъ, перено-

сить на минуту въ дѣтство. Сидишь, слушаешь, не вѣришь, и между тѣмъ невольно ноги подъ себя подбираешь.

Водопьяновъ началъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Разсказъ Водопьянова.

— Студентъ Спиридоновъ, по множеству пороковъ, былъ неспособенъ къ семейной жизни, а между тѣмъ онъ былъ женатъ, и женатъ по собственному побужденію и противъ своей воли, и съ этихъ поръ...

— Позвольте! съ этихъ поръ, конечно, не начнется безтолковщина?

— Зачѣмъ же? и съ этихъ поръ въ студентѣ Спиридоновѣ сказался его хозяинъ, но, впрочемъ, его надо было бы узнать гораздо прежде. Спиридоновъ мнѣ разъ все разсказалъ и самъ надъ собой смѣялся, хотя въ его словахъ не было никакого смѣха. Испанскій дворянинъ ему являлся много разъ.

— И въявь?

— Конечно, въявь, и въ старомъ своемъ видѣ: съ безвременною сѣдиной въ черныхъ кудряхъ, съ безцечнѣйшимъ лицомъ, отмѣченнымъ печатью доброты и кротости, съ глазами пылкими, но кроткими, въ плащѣ изъ бархата, забывшаго свой цвѣтъ, и съ тонкою длинною шпагой въ протертыхъ ножнахъ. Являлся такъ, какъ Спиридоновъ видѣлъ его на балаганной сценѣ, когда ярмарочная труппа давала свои представленія.

— Ну, слава Богу,—это обѣщаетъ, кажется, быть интереснымъ, и если исторія эта не кончится въ пяти словахъ, то надо приказать дать свѣчу, чтобы послѣ насъ не прерывали.

— Исторія довольно велика,—отвѣтилъ Водопьяновъ.

Бодростина позвонила и велѣла дать огонь, хоть на дворѣ едва лишь смеркалось. Когда люди поставили лампы и вышли, опустя шторы у оконъ, Водопьяновъ продолжалъ:

— У студента Спиридонова былъ отецъ,—бѣднякъ, какихъ не мало на этой планетѣ, гдѣ такая бездна потребностей; но ему, наконецъ, улыбнулось счастье. Онъ служилъ въ гусарахъ на счетъ богатой тетки,—это, конечно, не особенно честно, но она этого хотѣла, и онъ это дѣлалъ для поддержанія ея фамильной гордости. Онъ, говорятъ, былъ красивъ: я его не видалъ, — когда я познакомился съ его сыномъ, его уже не было на этомъ свѣтѣ.

Въ него влюбилась красавица-помѣщица одного села, гдѣ онъ стоялъ. Она была богата, молода, и годъ какъ овдовѣла послѣ мужа-старика, которому ее продали ради выгодъ и который безумно ревновалъ ее ко всѣмъ. Вдова, хотя имѣла дѣтей, пошла за Спиридонова. Ее прокляли. За что и почему,—не знаю, но проклялъ ее родной отецъ, а за нимъ и мать. Потомъ ее, бѣдняжку, начали клясть всѣ родные. По общему мнѣнію, она была не въ правѣ ни любить, ни называть супругомъ кого любила, но она все-таки вышла замужъ и родила моего пріятеля, студента Спиридонова, и потомъ жила пять лѣтъ и хворала. Спиридоновъ говорилъ, что его мать съ отцомъ жили душа въ душу, отецъ его боготворилъ жену, но, несмотря на то, она сохла и хирѣла. Отецъ его тоже часто былъ смущенъ и угрюмъ. Спиридоновъ тогда не зналъ, чему это приписывать. Жили они довольно уединенно въ городѣ, куда однажды заѣхали ярмарочные актеры...

— И дали здѣсь «*Испанскаго Дворянина*»?—подсказала Бодростина.

— Вы отгадали: актеры объявили, что они сыграютъ здѣсь «*Испанскаго Дворянина*». Мать Спиридонова, желая развлечь и позабавить сына, взяла ложу и повезла его въ театръ. И вотъ въ то время, когда донъ Цезарь де-Базанъ въ отчаянной бѣдѣ воскликнулъ: «пусть гибнетъ все, кромѣ моей чести и счастья женщины!» и театръ зарыдалъ и захлопалъ плохому актеру, который, однако, могъ быть прекрасенъ, мать Спиридонова тоже заплакала, и сынъ...

— Тоже заплакалъ,—сострилъ Висленевъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ, нимало этимъ не возмущаясь, Водопьяновъ:—сынъ не заплакалъ. Сынъ нѣчто почувствовалъ, и сжавъ материны руки, шепнулъ ей: — пускай живетъ у насъ бѣднякъ, Испанскій Дворянинъ.

— Прекрасно, дитя мое,—мы позовемъ его, пускай живетъ.

И тѣмъ актъ кончился, но дитя и завтра и послѣзавтра все докучало матери своею просьбой принять въ домъ бездомнаго Цезаря де-Базана, и мать ему на это отвѣчала:

— Да, хорошо, дитя мое, онъ къ намъ придетъ, придетъ.

— И будетъ жить?

— И будетъ жить.

— Когда же, мама? когда же онъ придетъ и будетъ жить у насъ?—тосковало дитя.—А какъ же звать его? Я позову.

А дѣло было въ сумерки, осеннимъ вечеромъ. Мать любовалась сыномъ и пошутила:

— Нагнись, говоритъ,—къ печкѣ, и позови его чрезъ трубу—онъ будетъ слышать.

Спиридоновъ прыгнулъ и крикнулъ:

— Донъ Цезарь де-Базанъ, идите сюда!

— Гу-гу-гу-иду!—загудѣло въ трубѣ, такъ что мальчикъ въ испугѣ отскочилъ.

Но прошелъ день-другой, и онъ опять пристаетъ: когда же?

— А вотъ теперь ужъ скоро: я за нимъ схожу и приведу его,—отвѣчала мать и вслѣдъ затѣмъ умерла.

— Умерла?—воскликнула Лариса.

— Да; то-есть ушла отсюда, переселилась, народъ это прекрасно выражаетъ словомъ «побывшилась на землѣ». Она кончила экзаменъ и ея не стало.

— А что же Испанскій Дворянинъ, котораго она обѣщала прислать?

— О, она сдержала слово! Она его послала, вы это сейчасъ увидите. Дѣло было въ томъ же маленькомъ городѣ на крещенскія святки. Гробъ съ тѣломъ матери стоялъ въ нетопленой залѣ, у гроба горѣли свѣчи, и не было ни одного человѣка. Отецъ Спиридонова долженъ былъ выслать даже чтеца, потому что въ смежной комнатѣ собрались родные перваго мужа покойной и укоряли Спиридонова въ присвоеніи себѣ принадлежащихъ имъ достатковъ. Былъ часъ девятый. Мой другъ, студентъ Спиридоновъ, тогда маленькій мальчикъ, въ черной траурной рубашкѣ, пришелъ къ отцу, чтобы поцѣловать его руку и взять на сонъ его благословеніе, но отецъ его былъ гнѣвенъ и суровъ; онъ говорилъ съ одушевленіемъ ему: «будь тамъ», и указалъ ему вмѣсто дверей въ спальню — на двери въ залу. Дитя вошло въ холодную залу и, оробѣвъ при видѣ всѣми брошеннаго гроба, прилало въ уголокъ мягкаго дивана ближе къ двери той гостиной, гдѣ шла обидная и тягостная сцена. Онъ мнѣ отъ слова и до слова повторялъ кипучія рѣчи его отца; я ихъ теперь забылъ, но смыслъ ихъ тотъ, что укоризны ихъ самимъ имъ принесутъ позоръ; что онъ любилъ жену не состоянья ради, и что для одного того, чтобы ихъ рѣчи не возмущали покоя ея новой жизни, онъ отрекается отъ всего, что могъ

по ней наслѣдовать, и онъ, и сынъ его, онъ отдаетъ свое, что нажито его трудомъ при ней, и... Тутъ далѣе мой пріятель не слышалъ ничего, кромѣ слитнаго гула, потому что вниманіе его отвлекъ очень странный предметъ: сначала въ отпертой передней послышался легкій шорохъ и мягкая неровная поступь, а затѣмъ въ темной двери передней заколебалась и стала фигура ясная, опредѣленная во всѣхъ чертахъ; лицо веселое и доброе съ оттѣнкомъ легкой грусти, въ плащѣ изъ бархата, забывшаго свой цвѣтъ, въ широкихъ шелковыхъ панталонахъ, въ огромныхъ сапогахъ съ раструбами изъ полинявшей желтой кожи и съ широчайшею шляпою съ перомъ, которое было изломано въ стеблѣ и, шевелясь, какъ будто перемигивало съ бѣдностью, глядѣвшей изъ всѣхъ прорѣхъ одежды и изъ самыхъ глазъ незнакомца. Однимъ словомъ, это пришелъ...

— Пьяный святочный ряженый,—рѣшилъ Висленевъ.

— Испанскій Дворянинъ! — возразилъ строгимъ тономъ Водопьяновъ.—Онъ плохъ былъ на ногахъ, но подошелъ къ стоявшей у стѣны крышкѣ гроба и осязалъ ее. Тщательно осязалъ, вотъ такъ.

И Сумасшедшій Бедуинъ всталъ на ноги, разставилъ руки и, медленно обозначая ими опредѣленное пространство на стѣнѣ подъ портретомъ Бодростина. показалъ какъ ощупывалъ гробовую крышку Испанскій Дворянинъ.

— Потомъ онъ подошелъ къ трупу и сталъ у изголовья гроба, и въ это время вдругъ отецъ Спиридонова вбѣжалъ, рыдая, въ залъ, упалъ предъ гробомъ на колѣни и закричалъ: «О, кто же имъ отвѣтитъ за тебя, что я тебя любилъ, а не твое богатство». И тихій голосъ отвѣчалъ скромно: «Я».

— И это былъ Испанскій Дворянинъ?

— Нѣтъ, пьяный святочный ряженый, — отвѣтилъ почти гнѣвно Водопьяновъ. Взять его вонъ! Кто пустилъ сюда этого пьянаго святочнаго ряженаго? Неужели ужъ до того дошло, что и у ея гроба нѣтъ раченія и присмотра? Вонъ, вонъ выгнать сейчасъ этого пьянаго ряженаго! — кричалъ огорченный вдовецъ и рванулся къ *тому*, но его не было.

— Удралъ?

— Да; такъ всѣ думали, и Спиридоновъ очень разсердился на слугъ и сталъ взыскивать, зачѣмъ такъ долго не запираютъ калитки.

— И выходитъ очень простая исторія, — сказалъ Висленевъ.

— Да простая и есть, только оказалось, что калитка была заперта, и отецъ Спиридонова вернулся и вдругъ увидалъ, что родные хотятъ проститься съ покойницей.

— Нѣтъ!—закричалъ онъ:—нѣтъ, вы ее такъ обижали, что вамъ съ нею не нужно прощаться!—и схватилъ крышу и хотѣлъ закрыть гробъ, а крыша сдѣлалась такъ легка, какъ будто ее кто-нибудь еще другой несъ впереди, и сама упала на гробъ, и мой пріятель Саша Спиридоновъ видѣлъ, что Испанскій Дворянинъ вскочилъ и сѣлъ на крышѣ гроба.

— И только? Онъ это видѣлъ во снѣ и болѣе ничего.

— Да, болѣе ничего.

— Испанскій Дворянинъ болѣе не являлся?

— Да, въ это время не являлся. Послѣ они очень бѣдно гдѣ-то жили въ Москвѣ, въ холодномъ домѣ. Однажды, оставивъ сына съ нянькой въ комнатѣ потеплѣе, Спиридоновъ самъ легъ въ залѣ на стульяхъ. Утромъ пришли, а тамъ лежитъ одинъ трупъ: видъ покойный, и пальцы правой руки сложены въ крестъ. Женины родные хотѣли его схоронить съ парадомъ, но Испанскій Дворянинъ этого не позволилъ.

— Какимъ же образомъ?

— Онъ приснился молодому Спиридонову и сказалъ: «тамъ, подъ клеенкой», и Спиридоновъ нашелъ подъ клеенкой завѣщаніе отца, ничего ни отъ кого на погребеніе его не принимать, а схоронить его въ четырехъ доскахъ на тѣ деньги, какія дадутъ за его золотую медаль, да за Георгіевскій крестъ.

— И это все!

— А вы ничего здѣсь не видите особеннаго?

— Признаемся, ничего не видимъ: случайности да сны, сны да случайности, и больше ничего.

— Конечно. Что же можетъ быть проще того, что всѣ люди по случайностямъ не доживаютъ на землѣ своего времени! Вѣкъ человѣческій здѣсь, по библейскому указанію, семьдесятъ лѣтъ и даже восемьдесятъ, а по случайностямъ человѣчество въ общемъ итогѣ не доживаетъ одной половины этого срока, и васъ нимало не поражаетъ эта ужасная случайность? Я желалъ бы, чтобы мнѣ указали естественный законъ, по которому человѣческому земному организму

естественно такъ скоро портиться и разрушаться. Я полагаю, что случайности имѣютъ законъ.

— Но этотъ сумасшедшій бредъ несносно долго слушать,—шепнулъ на ухо Бодростиной Висленевъ.

— Нѣтъ, я люблю,—отвѣчала она тоже тихо: — въ его нескладныхъ словахъ всегда есть какіе-то штришки, дѣлающіе картину, это меня занимаетъ... Свѣтозаръ Владеновичъ,—отнеслась она громко:—а гдѣ же вашъ Испанскій Дворянинъ?

— Онъ продолжаетъ-съ дебютировать. Студентъ Спиридоновъ жилъ въ ужасной бѣдности, на мезонинчикѣ, у чиновника Знаменосцева, разумѣется, платилъ дешево и то неаккуратно, потому что, учась, самъ содержалъ себя уроками, а ни роду, ни племени до него не было дѣла. При этомъ же студентъ Спиридоновъ былъ добрякъ превыше описанія, истинно рубашку послѣднюю готовъ былъ отдать, и не разъ отдавалъ, и, вдобавокъ, былъ не прочь покутить и приволокнуться. Онъ былъ медикъ. Не знаю, какъ онъ учился, но думаю, что плохо, потому что больше всего онъ тратилъ времени на кутежи съ веселыми людьми, однако, окончилъ курсъ и получилъ степень лѣкаря, да все забывалъ хлопотать о мѣстѣ. Судьба, впрочемъ, была къ нему такъ милостива, что онъ безъ всякихъ собственныхъ хлопотъ получалъ два раза назначеніе, но всякій разъ онъ находилъ кого-нибудь изъ товарищей, который, по его мнѣнію, гораздо болѣе его нуждался въ должности. Въ Спиридоновѣ пробуждался Испанскій Дворянинъ, и онъ оба свои назначенія уступалъ другимъ, а самъ кутилъ да гулялъ и догулялся до того, что остались у него рыжій плащъ, гитара да трубка съ чубукомъ. У хозяина же его, Знаменосцева, была восемнадцатилѣтняя дочь Валентина, дѣвочка съ мудренымъ характеромъ. Много читала и начиталась до того, что она очень умна, а это было, кажется, совсѣмъ наоборотъ. Спиридоновъ съ Валентиной былъ и знакомъ, и нѣтъ: онъ съ нею, случалось, разговаривалъ, но никогда долго не говорилъ. Прислужится ей книжкой, она прочитаетъ и отдастъ ее назадъ, а онъ спроситъ: «хорошо?», она отвѣтитъ: «хорошо». Спиридоновъ, разумѣется, о другой спроситъ: «дрянь книга?» она отвѣтитъ: «эта мнѣ не нравится», онъ опять разсмѣется. «Вы, Летушка,— говоритъ онъ ей,—лучше бы не читали книгъ, а то труднѣе

жить станетъ». Она, однако, не слушала и читала. Жизнь этой дѣвушки была обыкновенная жизнь въ домѣ мелкаго чиновника, пробивающагося въ Москвѣ на девятнадцать рублей мѣсячнаго жалованья и рублей пять - шесть какихъ-нибудь срывковъ съ просителей. Отецъ ходилъ утромъ на службу, послѣ обѣда спалъ, въ сумерки, для моціона, голубей пугалъ, а вечеромъ пилъ; мать сплетничала да кропотала и сварилась то съ сосѣдями, то съ работницей; дѣвушка скучала. Она была ни хороша, ни дурна: остролицая, черненькая, быстрая и характерная, говорила много, домашнимъ ничѣмъ не занималась, сплетенъ не слушала и къ нарядамъ обнаруживала полнѣйшее равнодушіе. Вдругъ этого Знаменосцева выгнали со службы за какую-то маленькую плутню. Семья такъ и взвыла, а дѣтей у нихъ, кромѣ Летушки, была еще цѣлая куча и все малъ-мала меньше. Въ домикѣ у нихъ всего было двѣ квартиры, съ которыхъ съ обѣихъ выходило доходца въ мѣсяцъ рублей двѣнадцать, да и то одна подъ эту пору пустовала, а за другую Спиридоновъ мѣсяца три уже не платилъ. Пришлось семьѣ хоть послѣдній домикъ продавать, проѣсть деньги, а потомъ идти по-міру или стать у Иверской. Въ такихъ случаяхъ люди всегда ищутъ виноватыхъ, и у Знаменосцева нашлась виноватою старшая дочь: зачѣмъ она о сію пору замужъ не вышла? Показывали ей, что и тотъ-то приказный хорошъ, а того-то заловить бы можно, и начались черезъ это дѣвушкѣ страшныя огорченія, а какъ бѣда никогда не ходитъ одна, то явилось ей и подспорье. Приказному Знаменосцеву, время отъ времени, помогалъ помѣщикъ Поталѣевъ, изъ одной изъ далекихъ губерній. Такіе благодѣтели встарь наживались у московскихъ сенатскихъ приказныхъ. Знаменосцевъ сообщалъ Поталѣеву справочки по опекунскому совѣту, по сенату, дѣлалъ закупки, высылалъ книги, а Поталѣевъ за то давалъ ему рублей сто денегъ въ годъ, да пришлетъ, бывало, къ Рождеству провизіи да живности, и считался онъ у нихъ благодѣтелемъ. Какой это человѣкъ былъ по правиламъ и по характеру, вы скоро увидите, а имѣлъ онъ въ ту пору состояніе большое, а на плечахъ лѣтъ подъ пятьдесятъ, и былъ такъ дуренъ, такъ дуренъ собою, что и разсказать нельзя: маленькій, толстый, голова какъ пивной котелъ, сѣдой съ рыжиною, глаза какъ у кролика, и рябъ отъ

оспы до того, что даже ни усы, ни бакенбарды у него совсѣмъ не росли, а такъ только щетинка между желтыхъ рябинъ кое-гдѣ торчала; простыя женщины-крестьянки и тѣ его ужасались...

— Какая прелесть!—прошептала Бодростина.

— Да; но онъ, впрочемъ, и самъ боялся женщинъ и бѣгалъ отъ нихъ.

— Чудо! чудо! Гдѣ онъ, этотъ рѣдкій смертный.

— Онъ умеръ! — отвѣчалъ, сконфузясь, Водопьяновъ, и тотчасъ продолжалъ.—Вотъ онъ и пріѣхалъ въ ту пору въ Москву и сталъ у Знаменосцевыхъ на ихъ пустую квартиру, которую они для него прибрали и обрядили, и началъ онъ давать имъ деньги на столъ и самъ у нихъ сталъ кушать, приглашая всю ихъ семью, и вдругъ при этихъ обѣдахъ приглянулась ему Валентина; онъ взялъ да за нее и посватался. Знаменосцевы отъ радости чуть съ ума не сошли, что будутъ имѣть такого зятя—и богатаго, и родовитаго; онъ ихъ возьметъ въ деревню, сдѣлаетъ стараго приказнаго управителемъ, и начнется имъ не житье, а колыванье. Сразу они и слово дали, и всѣмъ людямъ свою радость объявили, забыли только дочь объ этомъ спросить, а въ этомъ-то и была вся штука. Летушка спокойно, но твердо наотрѣзъ объявила, что она за Поталѣева замужъ не пойдетъ. Ее побили, и больно побили, а она и сбѣжала, и пропадала дня съ три. Родители, разумѣется, страшно перепугались, не сдѣлала бы она чего съ собою, да и отъ Поталѣева этого нельзя было скрыть, онъ самъ отгадалъ въ чемъ дѣло и, надо отдать ему честь, не похвалилъ ихъ, онъ прямо сказалъ имъ, что ни въ какомъ случаѣ не хочетъ, чтобы дѣвушку неволили идти за него замужъ. У семьи явилось новое горе: всѣ надежды сразу оборвались и рухнули. А тѣмъ временемъ Валентина вдругъ къ исходу третьяго дня вечеркомъ и является. Вернулась она домой никѣмъ незамѣченная въ сумерки и сѣла у окошка. Ее ужъ не бранили, куда тутъ до брани! Ее начинаютъ просить, да вѣдь какъ просить: отецъ съ матерью и со всею мелкотой на колѣни передъ нею становятся. «Мы, говорятъ, всѣ тебя, Летушка, любимъ, пожалѣй же и ты насъ», а она имъ въ отвѣтъ: «какая же, говоритъ, ваша любовь, когда вы хотите моего несчастія? Нѣтъ, я васъ не должна жалѣть послѣ этого». А тутъ Поталѣева пригласили, и тотъ

говоритъ: «Бога ради не думайте, я никакого насилія не хочу, но я богатъ, я хотѣлъ бы на васъ жениться, чтобы такимъ образомъ васъ обезпечить. Я любви отъ васъ не потребую, но я самъ люблю васъ». Но Летушка вдругъ встала и что же сдѣлала: «Любите, говоритъ, меня? Не вѣрю вамъ, что вы меня любите, но такъ и быть, пойду за васъ, а только знайте же, впередъ вамъ говорю, что я дурно себя вела и честною дѣвушкой назваться не могу». Отецъ съ матерью такъ и грохнули на полъ, а Поталѣевъ назадъ, но затѣмъ съ выдержкой, прикрывая свою ретираду великодушіемъ: «Во всякомъ случаѣ, говоритъ, чтобы доказать вамъ, что я васъ любилъ и жалѣю, скажите вашему обольстителю, чтобъ онъ на васъ женился, и я буду о немъ хлопотать, если онъ нуждается, и я всегда буду помогать вамъ». А Лета отвѣчаетъ: «Нѣтъ моего обольстителя, онъ меня бросилъ». Ну, такъ и дѣлать было нечего, и старикъ-отецъ сказалъ: «Иди же ты, проклятая, иди откуда ты сегодня пришла, теперь на тебѣ никто не женится, а сраму я съ тобою не хочу». И повернулъ онъ дочь къ двери, и она пошла, но на порогѣ вдругъ предъ всѣми Спиридоновъ въ своемъ рыжемъ плащѣ: онъ былъ пьянъ, качался на ногахъ и, разставивъ руки въ притолки, засмѣялся и закричалъ:

— Кто смѣетъ гнать изъ дому дѣвушку? Ха-ха-ха! Не смѣть! Я этого не позволю.

— Я васъ самихъ выгоню!—отвѣчалъ приказный.

— Тс-съ! Ха-ха-ха! Что такое выгонк?.. Не смѣть!.. тсъ!..

Ему пригрозили полиціей.

— Не смѣть!—отвѣчалъ, шатаясь, Спиридоновъ:—полицію?.. Сокрушу полицію! Вотъ!— и онъ хлопнулъ кулакомъ по столу и отбилъ уголъ.—Да! За все заплачу, а дѣвушку гнать не смѣете! Я ей покровительствую... да! Чѣмъ вы, Лета, проштрафились, а? Да; я все слышалъ, я ключъ подъ окномъ уронилъ и искалъ и все слышалъ... Обольститель!.. Негодяй... онъ виновенъ, а не вы... васъ нельзя, вонъ, *онъ*...—продолжалъ Спиридоновъ, указывая на Поталѣева, и, подумавъ съ минуту, добавилъ:—онъ тоже негодяй... Тссъ? никто ни слова не смѣть: я на ней женюсь, да! У меня есть чести на двухъ; и на свою и на ея долю. Хотите, Лета, быть моей женой, а? Я васъ серьезно спрашиваю: хотите?

— Хочу,—вдругъ неожиданно отвѣчала Валентина.

— Руку вашу! Давайте мнѣ вашу бѣдную руку.

Валентина смѣло подошла и, не глядя на Спиридонова, подала ему обѣ свои руки.

— Браво!—закричалъ Спиридоновъ: — браво! Вотъ вы... какъ васъ...—обратился онъ къ Поталѣеву.—Ха-ха-ха, не умѣли сдѣлать, а теперь... теперь эта невѣста моя. Да, чортъ возьми, моя! Мы съ нею будемъ пѣть дуэтомъ: «у меня всего три су, у жены моей четыре: семь су, семь су, что намъ дѣлать на семь су»? Но ничего, моя Лета, не робѣй, будемъ живы и будемъ пить и веселиться, вино на радость намъ дано. Не робѣй! Александръ Спиридоновъ, Испанскій Дворянинъ, онъ уважаетъ женщину, хотя у него двадцать тысячъ пороковъ. Забудется онъ, ты скажи ему: «Сашка, стой!» и все опять будетъ въ порядкѣ. Родители, я оставляю вамъ дочь вашу на три дня подъ сохраненіе, и черезъ три дня буду съ нею вѣнчаться! Да! Беречь ее! Я строгъ: беречь, ни въ чемъ ей не смѣть отказывать, пусть ходитъ, куда хочетъ, пусть дѣлаетъ, что хочетъ, потому что я такъ хочу, я ея будущій мужъ, глава и повелитель! Ха-ха-ха, слышишь, Лета, я твой повелитель; да! А приданаго не смѣть... Боже сохрани, а то... ха-ха-ха... а то прибью, если кто подумаетъ о приданомъ. Ну и все теперь, спите, добрые граждане, ужъ одиннадцать часовъ, и я хочу спать. Аминь.

И съ этимъ онъ поцѣловалъ при всѣхъ невѣсту въ голову, еще разъ велѣлъ ей не робѣть и ушелъ.

Поталѣевъ тоже отправился въ свое помѣщеніе и раздѣлся, но еще не гасилъ огня и, сидя у открытаго окна, курилъ трубку. Въ закрытыя ставнями окна хозяевъ ничего не было видно, но мезонинная канура Спиридонова была освѣщена свѣчкой, воткнутой въ пустую бутылку. Изъ этого мезонина неслись по двору звуки гитары, и звучный баритонъ пѣлъ пѣсню за пѣсней.

«Вотъ оно настоящій-то сорви-голова! — думалъ Поталѣевъ. — Такъ вотъ оно на комъ она споткнулась? да и ничего нѣтъ мудренаго живучи на одномъ дворѣ. Мудрено только одно, что мнѣ это прежде не пришло въ голову. Да полно, и женится ли онъ на ней вправду? Вѣдь онъ сегодня совсѣмъ пьянъ, а мало ли что спьяна говорится.»

И Поталѣевъ опять взглянулъ въ мезонинное окно и

видитъ, что Спиридоновъ стоитъ въ просвѣтѣ рамы, головой доставая до низенькаго потолка, и, держа предъ собою гитару, поетъ. Слова звучныя, мотивъ пловучій и страстный, не похожій на новыя шансонетки:

Самъ умѣю я пѣть, Хладныхъ сердцу отравъ...
Мнѣ не нужно октавъ, Одного жажду я: поцѣлуя!
Мнѣ не нужно руки,

но тутъ лѣкарь быстро подвинулся къ окну и, взявъ другой аккордъ, запѣлъ грустную и разудалую:

Что-бъ мы были безъ вина? Все грозитъ бѣдой и зломъ,
Жизнь печалями полна; Но если есть стаканъ съ виномъ...

Онъ опять не докончилъ пѣсни и быстро исчезъ отъ окна, и комната его осталась пустою, по ней только мерцало пламя свѣчи, колеблемое легкимъ ночнымъ вѣтромъ; но зато по двору какъ-будто прошла темная фигура, и черезъ минуту въ двери Поталѣева послышался легкій стукъ.

— Кто тамъ стучитъ?—освѣдомился Поталѣевъ, бывшій въ своемъ помѣщеніи безъ прислуги, которая ночевала отдѣльно.

Но вмѣсто отвѣта за дверью раздался звукъ гитары и знакомый голосъ запѣлъ:

Кто тамъ стучится смѣло? «Согрѣй обмерзло тѣло»,
Со гнѣвомъ я вскричалъ. Сквозь дверь онъ отвѣчалъ.

— Испанскій Дворянинъ дѣлаетъ вамъ честь своимъ посѣщеніемъ,—добавилъ Спиридоновъ.

Поталѣевъ былъ въ нѣкоторомъ затрудненіи, что ему сдѣлать, и не отвѣчалъ.

— Что же?—отозвался Спиридоновъ. — Дайте отвѣтъ. Я

Исполненъ отваги, закутанъ плащомъ,
Съ гитарой и шпагой стою подъ окномъ.

— Войдите, прошу васъ,—отвѣчалъ совсѣмъ смѣшавшійся Поталѣевъ, и отперъ двери.

На порогѣ показался Спиридоновъ въ туфляхъ, накинутомъ на плечи фланелевомъ одѣялѣ и съ гитарой въ рукахъ.

— Ха-ха-ха,—началъ онъ:—я васъ обезпокоилъ, но простите, пожалуйста, бываютъ гораздо худшія безпокойства: напримѣръ очень многихъ голодъ безпокоитъ...

— Ничего-съ,—отвѣтилъ Поталѣевъ и хотѣлъ попросить Спиридонова садиться, но тотъ уже самъ предупредилъ его.

— Не безпокойтесь,—говоритъ:—я самъ сяду, а я вотъ что... помогите мнѣ, пожалуйста, допѣть мою пѣсню, а то я совсѣмъ спать не могу.

Поталѣевъ выразилъ недоумѣніе.

— Вы меня не понимаете, я это вижу.

Все грозитъ бѣдой и зломъ,
Но если есть стаканъ съ виномъ...

а стакана-то съ виномъ и нѣтъ. Все спущено, все... кромѣ чести и аппетита.

— Очень радъ, что могу вамъ служить,—отвѣтилъ Поталѣевъ, вынимая изъ шкафа откупоренную бутылку хереса.

— У васъ, я вижу, благородное сердце. Вино хересъ... это благородное вино моей благородной родины, оно соединяетъ крѣпость съ ароматомъ. Пью, милостивый государь, за ваше здоровье, пью за ваше благородное здоровье.

— Да! это настоящій хересъ!—продолжалъ онъ, выпивъ рюмку, и громко стукнулъ по столу.

Все грозитъ бѣдой и зломъ,
Но если есть стаканъ съ виномъ,
Выпьемъ, выпьемъ, все забыто!
Выпьемъ, выпьемъ, все забыто!

Да; я пью теперь за забвеніе... за забвеніе всего, что было тамъ. Понимаете, тамъ... Не тамъ, гдѣ море вѣчно плещетъ, а вотъ тамъ, у нашего приказнаго.

— Вы, кажется, не должны и не имѣете права забыть всего, что тамъ было?

— Тсъ! Не смѣть! Ни слова! Кто сказалъ, что я хочу забыть? Спиридоновъ, Испанскій Дворянинъ... онъ ничѣмъ не дорожитъ, кромѣ чести, но его честь... тсъ!.. Онъ женится, да... Кто смѣетъ обижать женщину? Мы всѣ хуже женщинъ, да... непремѣнно хуже... А пришелъ я къ вамъ вотъ зачѣмъ: я вамъ, кажется, тамъ что-то сказалъ?

— Право, не помню.

— Тсъ!.. ни слова!.. Не выношу хитростей и становлюсь дерзокъ. Нѣтъ; я васъ обидѣлъ, это подло, и я оттого не могъ пѣть; и я, Испанскій Дворянинъ, не гнущій шеи предъ рокомъ, склоняю ее предъ вами и говорю: простите мнѣ, синьоръ, я васъ обидѣлъ.

И съ этимъ онъ низко поклонился Поталѣеву и протянулъ ему руку и вдругъ крайне ему понравился. Чѣмъ Поталѣевъ болѣе въ него всматривался и вникалъ, тѣмъ болѣе и болѣе онъ располагался въ пользу веселаго, безпечнаго, искренняго и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко чувствующаго Спиридонова.

— Послушайте,—сказалъ онъ:—будемъ говорить откровенно.

— Всегда радъ и готовъ, и иначе не умѣю.

— У васъ вѣдь, должно-быть, никакихъ нѣтъ опредѣленныхъ плановъ насчетъ вашего самаго ближайшаго будущаго?

— Никакѣйшихъ!—отвѣчалъ Спиридоновъ, смакуя во рту хересъ.

— Что же вы будете дѣлать?

— А бисъ его знаетъ!—и съ этимъ Спиридоновъ всталъ и, хлопнувъ по плечу Поталѣева, проговорилъ:—а несте ли чли: «не пецытеся объ утреннемъ, утреннее бо само о себѣ печется». Тсъ! ни слова мнѣ, я одного терпѣть не могу, знаете чего? Я терпѣть не могу знать, что я бѣденъ!

И съ этимъ онъ еще выпилъ рюмку хереса и ушелъ.

На другой день Поталѣевъ заходитъ къ Спиридонову и сообщаетъ ему, что у нихъ въ городѣ есть вакантное мѣсто врача, причемъ онъ ему предлагаетъ шестьсотъ рублей жалованья за свое лѣченіе и лѣченіе его крестьянъ.

— Что же, и брависсимо!—отвѣчалъ Спиридоновъ.—Если Лета согласна, такъ и я согласенъ.

— Она согласна.

— Ну и валяйте, опредѣляйте меня, я ѣду.

Черезъ два дня была свадьба Спиридонова съ Летушкой, а черезъ недѣлю они поѣхали въ крытомъ рогожномъ тарантасикѣ въ черноземную глушь, въ уѣздный городокъ, къ которому прилегали большія владѣнія Поталѣева.

— Не наскучилъ ли я вамъ съ моею исторіей Испанскаго Дворянина? — спросилъ, остановясь, Водопьяновъ.

— Нимало, нимало! Это теперь именно только и становится интересно, и я хочу знать, какъ этотъ буфонъ уживается съ женой?—отвѣчала Бодростина.

— Въ такомъ случаѣ я продолжаю.

Супруги эти съ первой же поѣздки показали, какъ они заживутъ. На триста рублей, подаренныхъ Поталѣевымъ молодой, они накупили подарковъ всѣмъ, начиная съ самихъ приказныхъ и кончая стряпухой, рублей пятьдесятъ выдали на вспомоществованіе какому-то семейству, остальное истратили въ Москвѣ и остались совсѣмъ безъ денегъ.

Поталѣевъ ужъ самъ нанялъ имъ лошадей и снабдилъ ихъ деньгами черезъ Летушку. Спиридонова нимало не занимало, откуда берутся у жены деньги, — онъ объ этомъ даже не полюбопытствовалъ узнать у нея. Дорогой они опять пожуировали, и извозчикъ везъ-везъ ихъ, да надокучило

ему, наконецъ, съ ними путаться, а деньги забраны, онъ завернулъ въ поле во время грозы, сталъ на паринѣ, да выпрягъ потихоньку коней и удралъ. Такъ гроза прошла, а они стоятъ въ кибиткѣ и помираютъ-хохочутъ. Ѣдетъ дорогой исправникъ и смотритъ, что за кибитка такая безъ лошадей посреди поля стоитъ? Свернулъ къ нимъ, спрашиваетъ, они ему и говорятъ кто они такіе: новый докторъ съ женой. Пріѣхалъ исправникъ въ городъ, выслалъ за ними земскихъ лошадей, ихъ и перевезли, и перевезли прямо на постоялый дворъ, а они тутъ и расположились. Говорятъ Спиридонову: «Вы бы къ кому-нибудь явились», а онъ только рукой машетъ. «Да ну ихъ,—говоритъ:—захотятъ, сами ко мнѣ явятся». И точно, что же вы думаете, ждали, ждали его къ себѣ различныя городскія власти, и сами стали къ нему являться, а онъ преспокойно всѣхъ угоститъ, всѣхъ разсмѣшитъ, и всѣ его полюбили.

— Ищите же,—говорятъ:—себѣ квартиры,—и тотъ указываетъ на одно, другой—на другое помѣщеніе, а онъ на все рукой машетъ: «успѣемъ,—говоритъ:—еще и на квартирѣ нажиться».

И тутъ опять спѣшитъ ему въ подмогу случай: городского головы теща захворала. Сто лѣтъ прожила и никогда не болѣла и не лѣчилась, а вдругъ хворьба пристигла. Позвали нѣмца-доктора, тотъ ощупалъ ее и говоритъ: «издохни разъ», а она ему: «самъ,—говоритъ:—нехристь, издохни, а я умирать хочу». Вотъ и послали за новымъ лѣкаремъ. Спиридоновъ посмотрѣлъ на больную и говоритъ:

— Вы, бабушка, сколько пожили?

Та отвѣчаетъ:

— Сто лѣтъ.

— Чудесно,—похвалилъ ее Спиридоновъ:—вы вѣрно родителей своихъ почитали?

Старуха посмотрѣла на него и говоритъ своимъ окружающимъ:

— Вотъ умный человѣкъ! Перваго такого вижу!—А потомъ обратилась къ нему:—именно, говоритъ,—почитала, меня тятенька тридцатилѣтнюю разъ веревкой съ ушата хлесталъ.

— И вамъ еще сколько лѣтъ хочется жить? — спросилъ ее Спиридоновъ.

— Да нисколько мнѣ не хочется, мнѣ ужъ это совсѣмъ надоѣло.

— Вотъ и чудесно,—отвѣчаетъ Спиридоновъ:—мнѣ и самому надоѣло?

Старуха даже заинтересовалась: отчего это человѣку такъ рано жить надоѣло?

— Жена, что ли, у тебя лиха?

— Нѣтъ, жена хорошая, а я самъ плохъ.

Старуха раздивовалась, что такое за человѣкъ, который только пріѣхалъ и самъ себя на первыхъ же порахъ порочитъ.

— Не выпьешь ли,—говоритъ:—батюшка, водочки и не закусишь ли ты? Ты мнѣ что-то по-сердцу пришелъ.

— Извольте,—отвѣчалъ Спиридоновъ:—и закушу, и выпью.

И точно, и закусилъ, и выпилъ, и старуха ему сама серебряный рубль дала.

— Еще,—говоритъ:—и завтра приходи ко мнѣ, если доживу. Пока жива, все всякій день ко мнѣ приходи, мнѣ съ тобой очень занятно.

И опять пришелъ Спиридоновъ, и опять старуха его запотчивала, и опять ему рубль дала, и пошло такимъ образомъ съ мѣсяцъ, каждый день кряду, и повалила Спиридонову практика, заговорили о немъ, что онъ чуть не чудотворецъ, столѣтнихъ полумертвыхъ старухъ и тѣхъ на ноги ставитъ! Лѣчилъ онъ пресчастливо, да и не диво: человѣкъ былъ умный и талантливый, а такому все дается. Не щупавши и не слушавши узналъ болѣзнь, что даже другихъ сердило. Разъ жандармскій офицеръ проѣздомъ заболѣлъ и позвалъ его. Спиридоновъ ему сейчасъ рецептъ. Тотъ обидѣлся, «что это,—говоритъ:—за невниманіе, что вы даже языкъ не попросили меня вамъ показать?» А Спиридоновъ отвѣчаетъ: «что же мнѣ вашъ языкъ смотрѣть? Я и безъ того знаю, что языкъ у васъ скверный». Однимъ словомъ, все видѣлъ. Пьяненькъ иногда прихаживалъ, и то не бѣда. Напротивъ, слава такая прошла, что лѣкарь какъ пьянъ, такъ вдвое видитъ, и куда Спиридоновъ ни придетъ, его все подпаиваютъ: все двойной удали добиваются. Такимъ манеромъ и прослылъ онъ гулякой, и даже пріятельница его, Головина теща, ему сказала:

— Вижу, говоритъ,—я, чѣмъ ты, отецъ лѣкарь, плохо-то называешься! Ты совсѣмъ пить не умѣешь.

— Истинно,—говоритъ:—вы это вправду сказали: совсѣмъ пить не умѣю.

— То-то, ты вина-то не любишь, все это сразу выпить хочешь. А ты бы лучше его совсѣмъ бросилъ.

— Да какъ,—отвѣчаетъ:—бросить-то? А не равно какъ хорошій человѣкъ подниметъ, за что онъ тогда будетъ за меня мучиться?

Старуха расхохоталась.

— Охъ, пусто тебѣ будь, говоритъ, — пей ужъ, пей, да только дѣло разумѣй.

Но Спиридоновъ, пивши такимъ образомъ, конечно, скоро пересталъ разумѣть и дѣло. Однако, ему все-таки везло. Головина теща передъ смертію такъ его полюбила, что отказала домикъ на провальѣ, въ который онъ наконецъ и переѣхалъ съ постоялаго двора, а Поталѣевъ какъ только прибылъ, такъ началъ производить Спиридонову жалованье и помогалъ ему печенымъ и варенымъ, даже прислуга, и та вся была Поталѣевская, лошади—и тѣ Поталѣевскія, и все это поистинѣ предлагалось въ высшей степени деликатно и совершенно безкорыстно. Поталѣевъ оберегалъ Летушку и любилъ Спиридонова, какъ прекраснѣйшаго человѣка. Въ городѣ и всѣ, впрочемъ, его любили, да и нельзя было не любить его: доброта безмѣрная, веселость постоянная и ничѣмъ несмущаемая; безкорыстіе полное; «есть — носитъ, нѣтъ—сброситъ», и ни о чемъ не тужитъ. Жена ему тоже вышла подъ пару. Никто ей надивиться не могъ; никто даже не зналъ, страдаетъ она или нѣтъ отъ мужниныхъ кутежей. Всегда она чистенькая, опрятная, спокойная. Про несогласія у нихъ и не слыхивано; хозяйка во всемъ она была полновластная, но хозяйства-то никакого не было: сядутъ обѣдать, съѣдятъ одинъ супъ, кухарка имъ щи подаетъ.

— Это что же такое,—воскликнетъ Спиридоновъ: — зачѣмъ два горячихъ?

— А барыня, молъ,—такъ приказала.

А Лета и расхохочется.

— Извини, скажетъ,—Саша, это я книги зачиталась.

И хохочутъ оба какъ сумасшедшіе, и ѣдятъ щи послѣ супа.

Гости у Леты были вѣчные, и всѣ были отъ нея безъ ума, и старики, и молодые. Обо всемъ она имѣла понятіе, обо всемъ говорила и оригинально, и смѣло. У нея завелись и поклонники: инвалидный начальникъ ей объяснялся въ прозѣ и предлагалъ ей свое «сердце, которое можетъ замѣнить милліоны», протопоповскій сынъ, пріѣзжавшій на

каникулы, сочинялъ ей стихи, въ которыхъ плакалъ, что во все между-каникулярное время онъ

Повсюду бросалъ жаждущій взоръ,
Но нигдѣ не встрѣчалъ свой небесный метеоръ.

Соборный дьяконъ, вдовецъ, весь ея дворъ собственною рукой взрылъ заступомъ, подѣлалъ клумбы и насажалъ левкоевъ; но это все далекіе обожатели, а то и Поталѣевъ сидѣлъ у нея по цѣлымъ днямъ и все назывался въ крестные отцы, только крестить было некого. Такъ прошелъ годъ, два и три: Летушка выросла, выровнялась и расцвѣла, а мужъ ея подъувялъ: въ наружности его и въ одеждѣ, во всемъ уже виденъ былъ пьяница. Отъ общества онъ сталъ удаляться и началъ вести компанію съ однимъ дьякономъ, съ которымъ они пѣли дуэтомъ: «Нелюдимо наше море» и крѣпко напивались. Въ это время и случись происшествіе: ѣхала черезъ ихъ городъ почтовая карета, лопнулъ въ ней съ горы тормозъ, помчало ее внизъ, лошадей передушило, и двухъ пассажировъ искалѣчило: одному ногу переломило, другому—руку. Были это люди молодые, только что окончившіе университетскій курсъ и ѣхавшіе въ губернскій городъ на службу, одинъ—товарищемъ предсѣдателя, другой—чиновникомъ особыхъ порученій къ губернатору. Спиридоновъ забралъ ихъ обоихъ къ себѣ въ домъ и началъ лѣчить и вылѣчилъ, и пока они были опасны, самъ не пилъ, а какъ тѣ стали обмогаться, онъ опять за свое. «Теперь Летѣ, говоритъ,—не скучно, ее есть кому забавлять», и точно нарочно отъ нея сталъ отдаляться; а изъ паціентовъ богатый молодой человѣкъ, по фамиліи Рупышевъ, этимъ временемъ страстно влюбился въ Летушку. Уже оба эти больные и выздоровѣли, а все не ѣдутъ; одного магнитъ держитъ, другой для товарища сидитъ, да и самъ тоже неравнодушенъ. Но, наконецъ, стали они собираться ѣхать и захотѣли поблагодарить хозяина, а его нѣтъ, нѣтъ и день, и два, и три, и ночевать домой не ходитъ, все сидитъ у дьякона. Ну, просто самъ наводитъ руками жену Богъ вѣсть на что.

— На что же онъ ее наводилъ?—перебила Бодростина, смѣясь и тихо дернувъ подъ столомъ за полу сюртука Висленева. Но Водопьяновъ словно не слыхалъ этого вопроса и продолжалъ:

— Въ городѣ давно уже это такъ и положили, что Лета мужа не любитъ и потому ей все равно, а онъ ее радъ бы

кому-нибудь съ рукъ сбыть. Чѣмъ же онъ занимался у дьякона? Рупышевъ, уѣзжая, пошелъ къ нимъ, чтобы посмотрѣть, проститься и денегъ ему дать за лѣченіе и за хлѣбъ за соль. Приходитъ; на дворѣ никого, въ сѣняхъ никого и въ комнатахъ никого, все вокругъ отперто, а живой души нѣтъ. Но только вдругъ слышитъ онъ тупые шаги, какъ босикомъ ходятъ, и видитъ идетъ лѣкарь, какъ мать родила, на плечѣ держитъ палку отъ щетки, а на ней наверху трезубецъ изъ хворостинки. Идетъ и не смотритъ на гостя, и обошелъ вокругъ печки и скрылся въ другую комнату, а черезъ двѣ минуты опять идетъ сзади и опять проходитъ такимъ же манеромъ. «Докторъ!—зоветъ Рупышевъ,—докторъ! Александръ Иванычъ!» а Спиридоновъ знай совершаетъ свое теченіе. Рупышевъ опять къ нему, да ужъ съ докукой, а тотъ, не останавливаясь и не оборачиваясь въ его сторону, отвѣчаетъ: «Оставьте меня, я Нибелунгъ», и пошелъ далѣе. «Фу ты, чортъ возьми, до чего человѣкъ допился!» думаетъ гость, а между тѣмъ изъ-подъ стола кто-то дергъ его за ногу. Смотритъ Рупышевъ, а подъ столомъ сидитъ дьяконъ.

— Дразните, говоритъ,—меня, я медвѣдь.

Гость-то его и утѣшь, и подразни.

— «Р-р-р-р-ръ!» говоритъ,—да ногой и мотнулъ, а дьяконъ его какъ хватитъ за ногу, да до кости прокусилъ, и стало опять его нужно лѣчить отъ дьяконова укушенія. Тутъ-то Рупышевъ съ Летушкой и объяснился. Она его выслушала спокойно и говоритъ: «Не ожидала, чтобы вы это сдѣлали».

— Да будто говоритъ,—вы вашего мужа любите?—«А я, отвѣчаетъ Летушка,—развѣ вамъ про это позволяла что-нибудь говорить?» — И при этомъ попросила, чтобъ онъ объ этомъ больше никогда и рѣчи не заводилъ. Вотъ этотъ Рупышевъ и поѣхалъ, да ненадолго: сталъ онъ часто наѣзжать и угожденіямъ его Летушкѣ и конца не было. Чего онъ ей ни дарилъ, чего ни присылалъ, и наконецъ въ отставку вышелъ и переѣхалъ жить къ нимъ въ городъ, и всѣ знали, что это для Летушки. Спиридоновъ его принималъ радушно и самъ къ нему хаживалъ, и жизнь шла опять по-старому. Придетъ Спиридоновъ ночью домой, прокрадется тихонько, чтобы не разбудить Летушку, и уснетъ въ кабинетикѣ, та и не знаетъ, каковъ онъ вернулся.

Но вдругъ Лета заподозрѣла, что Рупышевъ ея мужа нарочно спаиваетъ, потому что Спиридоновъ ужъ до того сталъ пить, что началъ себя забывать, и разъ приходитъ при всѣхъ въ почтовую контору къ почтмейстеру и проситъ: «У меня, говоритъ,—сердце очень болитъ, пропишите мнѣ какую-нибудь микстуру». Рупышевъ дѣйствительно нарочно его спаивалъ, и Лета въ этомъ не ошибалась. Пошелъ разъ лѣкарь къ Рупышеву, и нѣтъ его, и нѣтъ, а ночь морозная и по улицамъ носится поземная мятель. Не въ рѣдкость это случалось, но только у Леты вдругъ стала душа не на мѣстѣ. Цѣлую ночь она и спитъ и не спитъ: то кто-то стучитъ, то кто-то царапается и вдругъ тяжелый-претяжелый человѣкъ вошелъ и прямо повалился въ кресло у ея кровати и захрапѣлъ. Летушка такъ и обмерла, проснулась, а возлѣ постели никого нѣтъ, но зато на порогѣ стоитъ человѣкъ въ плащѣ, весь насквозь, какъ туманъ, свѣтится и весело кланяется. Она его впросоньи спросила: «Кто вы и что вамъ нужно?» А онъ ей покивалъ и говоритъ: «Не робѣй, я поправился!» Это было передъ разсвѣтомъ, а на зарѣ пришли люди и говорятъ: «Лѣкаря неживого нашли, заблудился и въ канавѣ замерзъ».

— Ну-съ,—подогнала разсказчика Бодростина.

— Ну-съ, тутъ и увидѣли Лету, какая она. Она окаменѣла: «Нѣтъ, говоритъ, — нѣтъ, это благородство не могло умереть,—оно живо. Саша, мой Саша! приди ко мнѣ, мой честный Саша!»

Схоронили-съ Спиридонова. Лета осталась безъ всякихъ средствъ; Поталѣевъ ее, впрочемъ, не допускалъ до нужды, отъ него она брала, а Рупышеву и всѣ его прежніе подарки отослала назадъ. Рупышевъ долго выбиралъ время, какъ ей сдѣлать предложеніе, и наконецъ сдѣлалъ, но сдѣлалъ его письменно. Летушка что же ему отвѣтила? «Было время, написала она,—что вы мнѣ нравились, и я способна была увлечься вами, а увлеченіямъ моимъ я не знаю мѣры, но вы не умѣли уважать благороднѣйшаго моего мужа, и я никогда не пойду за васъ. Не возвращайтесь ко мнѣ ни съ какимъ предложеніемъ: я вѣчно его, я исполню мой долгъ, если только въ силахъ буду сравняться съ его мнѣ одной извѣстнымъ, безконечнымъ великодушіемъ и благородствомъ».

Послѣ этого Летушка ни самого Рупышева не приняла,

ни одного его письма не распечатала и вскорѣ же, при содѣйствіи Поталѣева, уѣхала къ своимъ въ Москву. А въ Москвѣ все та же нужда, да нужда, и всѣ только и живы, что Поталѣевскими подаяніями. Поталѣевъ ѣздитъ, останавливается и благодѣтельствуетъ. Проходитъ годъ-другой, Лета все вдовѣетъ. Вотъ Поталѣевъ ей и дѣлаетъ вновь предложеніе. Лета только усмѣхнулась. А Поталѣевъ и говоритъ:

– Что это значитъ, какъ я долженъ понимать вашу улыбку?

— Да вѣдь мнѣ вамъ отказать нельзя,—отвѣчаетъ Лета:— вы всѣмъ намъ помогали... да... вы моего Сашу любили...

— Именно-съ любилъ.

Лета повѣсила голову и проговорила:

— Саша мой, научи меня, что я сдѣлаю, чтобы быть достойною тебя?

И съ этимъ она вдругъ вздрогнула, какъ будто кого увидала, и рука ея, точно брошенная чужою рукою, упала въ руку Поталѣева.

— Иду!—прошептала она:—вы меня купили!—Да такъ-съ и вышла за Поталѣева и стала госпожей Поталѣевой, да тѣмъ и самого Поталѣева перепугала.

Онъ жилъ съ нею не радовался, а плакалъ, да служилъ панихиды по Спиридоновѣ и говорилъ: «какъ могло это статься! Нѣтъ, съ нимъ нельзя бороться, онъ мертвый побѣждаетъ».

— Летушка! Лета! — допрашивалъ онъ жену: — кто же онъ былъ для васъ? Гдѣ же тотъ вашъ проступокъ, о которомъ вы дѣвушкой сказали въ Москвѣ?

— Старину вспомнилъ! Напрасно тогда не женился на ней, на дѣвушкѣ!—вставилъ Висленевъ.

— Нѣтъ-съ, дѣло-то именно въ томъ, что онъ женился на *дѣвушкѣ-съ!* — отвѣтилъ съ удареніемъ Водопьяновъ.— Скоро Лета нагнала ужасъ на весь деревенскій домъ своего второго мужа: она все ходила, ломала руки, искала и шептала: «Саша! Пустите меня къ Сашѣ!» Есть у Летушки кофточки шитыя и шубки дорогія, всего много, но ничто ее не тѣшитъ. Ночью встанетъ, сидитъ на постели и шепчетъ: «Здравствуй, милый мой, здравствуй!» Поталѣевъ не знаетъ, что и дѣлать! Прошло такъ съ годъ. Вотъ и съѣхались разъ къ Поталѣеву званые гости. Летушку къ нимъ, разумѣется, не выпустили, но она вдругъ является и всѣмъ кланяется. «Здравствуйте, говоритъ,—не видали ли вы моего Сашу?»

Гости, понятно, смутились.

— Впрочемъ, Саша идетъ ужъ, идетъ, идетъ,—лепетала, тоскуя, Лета.

— Поди къ себѣ наверхъ!—сказалъ ей строго мужъ, но она отворотилась отъ него и, подойдя къ одному старому гостю, который въ это время нюхалъ табакъ, говоритъ:

— Дайте табаку!

Тотъ ей подалъ.

— Вы богаты?

— Богатъ,—отвѣчаетъ гость.

— Такъ купите себѣ жену и...

— Но нѣтъ-съ, — заключилъ разсказчикъ: — я эту послѣднюю сцену долженъ пояснить вамъ примѣромъ.

При этомъ Водопьяновъ всталъ, вынулъ изъ бокового кармана большую четырехугольную табакерку краснова-таго золота и сказалъ: «это было такъ: она стояла, какъ я теперь стою, а гости отъ нея въ такомъ же разстояніи, какъ вы отъ меня. Поталѣевъ, который хотѣлъ взять ее за руку, былъ ближе всѣхъ, вотъ какъ отъ меня г. Висленевъ. Старикъ-гость держалъ въ рукѣ открытую табакерку... Теперь Лета смотритъ туда... въ окно... тамъ ничего не видно, кромѣ неба, потому что это было наверху въ павильонѣ. Ровно ничего не видно. Смотрите, Лариса Платоновна, вонъ туда... въ темную дверь гостиной... Вы не боитесь глядѣть въ темноту? Есть люди, которые этого боятся, оно немножко и понятно... Впрочемъ, вы ничего не видите?

— Ничего не вижу,—отвѣчала, улыбаясь, Лариса.

— Она точно такъ же ничего не видала, и вдругъ Лета рукой щелкъ по рукѣ старика,—и съ этимъ «Сумасшедшій Бедуинъ» неожиданно ударилъ Висленева по рукѣ, въ которой была табакерка, табакъ взлетѣлъ; всѣ, кромѣ отворотившейся Ларисы, невольно закрыли глаза. Водопьяновъ же въ эту минуту пронзительно свистнулъ и сумасшедшимъ голосомъ крикнулъ: «Сюда, малютка! здѣсь Испанскій Дворянинъ!»—и съ этимъ онъ сверкнулъ на Ларису безумными глазами, сорвалъ ее за руку съ мѣста и бросилъ къ раскрытой двери, на порогѣ которой стоялъ Подозеровъ.

Лариса задрожала и бросилась опрометью вонъ, а Водопьяновъ спокойно закончилъ:

— Вотъ какъ все это было! — и съ этимъ вышелъ въ гостиную, оттуда на балконъ и исчезъ въ саду.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Не передъ добромъ.

Андрей Ивановичъ Подозеровъ, войдя черезъ балконъ и заставъ все общество въ наугольной Бодростинскаго дома, среди общаго безпорядочнаго и непонятнаго движенія, произведеннаго табакомъ «Сумасшедшаго Бедуина», довольно долгое время ничего не могъ понять, что̀ здѣсь случилось. Лариса кинулась къ нему на самомъ порогѣ и убѣжала назадъ съ воплемъ и испугомъ. Гордановъ, Висленевъ и Бодростина, въ разныхъ позахъ, терли себѣ глаза, и изъ нихъ Гордановъ дѣлалъ это спокойно, вытираясь бѣлымъ фуляромъ, Висленевъ вертѣлся и бранился, а Бодростина хохотала.

— Это чортъ знаетъ что!—воскликнулъ Висленевъ, первый открывъ глаза, и, увидѣвъ Подозерова, тотчасъ же отступилъ назадъ.

— Я вамъ говорила, что покажу вамъ настоящій антикъ,—замѣтила Бодростина:—надѣюсь, вы не скажете, что я васъ обманула,—и съ этимъ она тоже открыла глаза и, увидавъ гостя, воскликнула: — Кого я вижу, Андрей Иванычъ! Давно ли?

— Я только вошелъ,—отвѣчалъ Подозеровъ, подавая ей руку и сухо кланяясь Висленеву и Горданову, который при этомъ сію же минуту всталъ и вышелъ въ другую комнату.

— Вы видѣли, въ какомъ мы были положеніи? Это «Сумасшедшій Бедуинъ» все разсказывалъ намъ какую-то исторію и въ заключеніе засыпалъ насъ табакомъ. Но гдѣ же онъ? Гдѣ Водопьяновъ?

— Чортъ его знаетъ, онъ куда-то ушелъ!—отвѣчалъ Висленевъ.

— Ахъ, сдѣлайте милость, найдите его, а то онъ, пожалуй, исчезнетъ.

— Прекрасно бы сдѣлалъ.

— Ну, нѣтъ: я расположена его дослушать, исторія не кончена, и я прошу васъ найти его и удержать.

Висленевъ пожалъ плечами и вышелъ.

— Старѣюсь, Андрей Ивановичъ, и начинаю чувствовать влеченіе къ мистицизму, — обратилась Бодростина къ Подозерову.

— Что дѣлать! платить когда-нибудь дань удивленія неразрѣшимымъ тайнамъ—удѣлъ почти всеобщій.

— Да; но Богъ съ ними, эти тайны, онѣ не уйдутъ, между тѣмъ какъ vous devenez rare comme le beau jour. Мы съ вами, вѣдь, не видались сто лѣтъ и сто зимъ!

— Да; почти не видались все лѣто.

— Почти! по-вашему, это, вѣрно, очень мало, а по-моему, очень много. Впрочемъ, счеты въ сторону: je suis ravie, что васъ вижу, — и съ этимъ Бодростина протянула Подозерову руку.

— Я думала или, лучше скажу, я была даже увѣрена, что мы съ вами болѣе уже не увидимся въ нашемъ домѣ, и это мнѣ было очень тяжело, но вы, конечно, и тогда были бы какъ нельзя болѣе правы. Да! обидѣли человѣка, наврали на него съ три короба и еще ему же реприманды ѣдутъ дѣлать. Я была возмущена за васъ до глубины души, и зато изъ той же глубины вызываю искреннюю вамъ признательность, что вы ко мнѣ пріѣхали.

Она опять протянула ему свою руку и, удерживая въ своей рукѣ руку Подозерова, продолжала:

— Вы вознаградили меня этимъ за многое.

— Я вознагражденъ ужъ больше мѣры этими словами, которыя слышу, но,—добавилъ онъ, оглянувшись:—я здѣсь у васъ по дѣлу.

— Безъ *но*, безъ *но*: вы сегодня мой милый гость,—добавила она, лаская его своими бархатными глазами:—а я, конечно, буду не милою хозяйкой и овладѣю вами. — Она порывисто двинулась впередъ и, вставъ съ мѣста, сказала:— я боюсь, что Висленевъ лукавитъ и не пойдетъ искать моего Бедуина. Дайте мнѣ вашу руку и пройдемтесь по парку, онъ долженъ быть тамъ.

Въ это время Бодростина, случайно оборотясь, замѣтила мелькнувшую въ коридорѣ юбку Ларисинаго платья, но не обратила на это, повидимому, никакого вниманія.

— У меня, по-деревенски, ранній ужинъ, но не ранняя ночь: хлѣбъ-соль никогда не мѣшаетъ, а сонъ, какъ и смерть, моя антипатія. Но вы, мнѣ кажется, намѣрены молчать... какъ сонъ, который я припомнила. Если такъ, я буду смерть.

— Вы смерть!.. полноте, Бога ради!

— А что?

— Вы жизнь!

— Нѣтъ, смерть! Но вы меня не бойтесь; я — смерть

легкая, съ прекрасными видѣньями, съ экстазомъ жизни. Дайте вашу руку, идемъ.

Съ этимъ она облокотилась на руку гостя и пошла съ нимъ своею бойкою развалистою походкой чрезъ гостиную въ залъ. Здѣсь она остановилась на одну минуту и отдала дворецкому приказаніе накрыть столъ въ маленькой портретной.

— Мы будемъ ужинать en petit comité, — сказала она, и, держа подъ руку Подозерова, вернулась съ нимъ въ большую темную гостиную, откуда былъ выходъ на просторный, полукруглый балконъ съ двумя лѣстницами, спускавшимися въ паркъ. Въ наугольной опять мелькнуло платье Ларисы.

— Ахъ, écoute, дружочекъ Лара! — позвала ее Бодростина:—j'ai un petit mot à vous dire; у меня разболѣлась немножко голова и мы пройдемся по парку, а ты, пожалуйста, похозяйничай, и если гдѣ-нибудь покажется Водопьяновъ, удержи его, чтобъ онъ не исчезъ. Онъ очень забавенъ. Allons,—дернула она Подозерова и, круто поворотивъ назадъ, быстрыми шагами сбѣжала съ нимъ по лѣстницѣ и скрылась въ темнотѣ парка.

Лариса все это видѣла и была этимъ поражена. Эта рѣшительность и смѣлость пріема ее смущала, и вовсе незнакомое ей до сихъ поръ чувство по отношенію къ Подозерову щипнуло ее за сердце; это чувство было ревность. Онъ принадлежалъ ей, онъ ея давній рыцарь, онъ былъ ея женихъ, которому она, правда, отказала, но... зачѣмъ же онъ съ Бодростиной?.. И такъ явно. Въ Ларисѣ заиграла «собака и ея тѣнь», Притомъ ей стало вдругъ странно; она никогда не гостила такъ долго у Бодростиной; ее выгнали сюда домашніе нелады съ теткой, и теперь ей казалось, что она гдѣ-то въ плѣну, въ зломъ плѣну. Собственный домъ ей представлялся давно покинутымъ раемъ, въ который уже нельзя вернуться, и бѣдная дѣвушка, прислонясь лбомъ къ холодному стеклу окна, съ замирающимъ сердцемъ думала: «пусть вернется Подозеровъ, и я скажу ему, чтобъ онъ взялъ меня съ собой, и уѣду въ городъ».

— Гдѣ вы и съ кѣмъ вы?—произнесъ въ это мгновеніе за нею тихій и вкрадчивый голосъ.

Она вздрогнула и, обернувшись, увидала предъ собою Горданова.

— Вы меня, кажется, избѣгаете? — говорилъ онъ, ловко заступая ей дорогу собою и стуломъ, который взялъ за спинку и наклонилъ предъ Ларисой.

— Нимало,—отвѣчала Лариса, но голосъ ея обличалъ сильное безпокойство; она жалась всѣмъ тѣломъ, высматривая какой-нибудь выходъ изъ-за устроенной ей баррикады.

— Мнѣ необходимо съ вами говорить. Послѣ того, что было вчера вечеромъ въ паркѣ...

— Послѣ того, что было вчера между нами, ни нынче и никогда не можетъ быть ни о чемъ никакого разговора.

— Оставьте этотъ тонъ; я знаю, что вы говорите то, чего не чувствуете. Сдѣлайте милость, ради васъ самой, не шутите со мною.

Лариса поблѣднѣла и отвѣчала:

— Оставьте меня, Павелъ Николаевичъ, примите стулъ и дайте мнѣ дорогу.

— А-а! Я вижу, вы въ самомъ дѣлѣ меня не понимаете!

— Я не желаю васъ понимать; пропустите меня, или я позову брата!—сказала Лариса.

— Вашъ братъ волочится за госпожой дома, которая въ свою очередь волочится за вашимъ отставнымъ женихомъ, но это все равно, оставимъ ихъ прогуливаться. Мы одни, и я долженъ вамъ сказать, что мы должны объясниться...

— Чего же вы требуете отъ меня?—продолжала Лариса съ упрекомъ. — Не стыдно ли вамъ не давать покоя дѣвушкѣ, которая васъ избѣгаетъ и знать не хочетъ.

— Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! вы меня не избѣгаете, вы лжете.

— Гордановъ! — воскликнула гнѣвно обиженная Лариса.

— Что вы?... я васъ не оскорбилъ: я говорю, что вы лжете самимъ себѣ. Не вѣрите? Я представлю на это доказательства.

— Если бы вы не хотѣли меня знать, вы бы уѣхали вчера и не остались на сегодня. Бросьте притворство. Наша встрѣча — роковая встрѣча. Нѣтъ силы, которая могла бы сдержать страсть, объемлющую все существо мое. Она не можетъ остаться безъ отвѣта. Лариса, ты такъ мнѣ нравишься, что я не могу съ тобой разстаться, но и не могу на тебѣ жениться... Ты должна меня выслушать!

Лариса остолбенѣла.

Гордановъ не понялъ ея и продолжалъ, что онъ не мо-

жетъ жениться только въ теченіе нѣкотораго времени и опять употребилъ слово «ты».

Лариса этого не вынесла.

— «Ты!»—произнесла она, вся вспыхнувъ, и, рванувшись впередъ, прошептала задыхаясь:—пустите!—Но одна рука Горданова крѣпко сжала ея руку, а другая обвила ея станъ.

— Ты спрашиваешь, что̀ хочу я отъ тебя: тебя самой!

— Нѣтъ, нѣтъ! — отрицала съ закрытымъ лицомъ Лариса. — Но, Бога ради! Какъ милости, какъ благодѣянія, прошу васъ: прекратите эту сцену. Умоляю васъ: не обнимайте же меня по крайней мѣрѣ, не обнимайте, я вамъ говорю! Всѣ двери отперты...

— Вы мнѣ смѣшны... дверей боитесь!—отвѣтилъ Гордановъ и, сжавъ Ларису, хотѣлъ поцѣловать ее.

Но въ эту же минуту чья-то сильная рука откинула его въ сторону. Онъ даже не могъ вдругъ сообразить, какъ это случилось, и понялъ все только, оглянувшись назадъ и видя предъ собою Подозерова.

— Послушайте!—прошипѣлъ Гордановъ, глядя въ горящіе глаза Андрея Ивановича.—Вы знаете, съ кѣмъ шутите?

— Во всякомъ случаѣ, съ мерзавцемъ, — спокойно молвилъ Подозеровъ.

Лариса вскрикнула и, пользуясь суматохой, убѣжала.

— Вы это смѣете сказать?—подступилъ Гордановъ.

— Смѣю ли я?

— Вы знаете?.. вы знаете!..—шепталъ Гордановъ.

— Что вы подлецъ? о, давно знаю,—произнесъ Подозеровъ.

— Это вамъ не пройдетъ такъ. Я не кто-нибудь... Я...

— Прахъ, ходящій на двухъ лапкахъ!— произнесъ за нимъ голосъ Водопьянова, и колоссальная фигура «Сумасшедшаго Бедуина» стала между противниками съ распростертыми руками. Подозеровъ повернулся и вышелъ.

Павелъ Николаевичъ постоялъ съ минуту, закусивъ губу. Фонды его заколебались въ его дальновидномъ воображеніи.

«Скандалъ! во всякомъ разѣ гадость... Дуэль... пошлое и опасное средство... Отказаться, какъ это дѣлаютъ въ Петербургѣ... но здѣсь не Петербургъ, и прослывешь трусомъ... Что же дѣлать? Неужто принимать... дуэль на равныхъ шансахъ для обоихъ?.. нѣтъ; я разочтусь иначе»,—рѣшилъ Гордановъ.

Оглавленіе

XXIV ТОМА.

На ножахъ.

Романъ въ 6 частяхъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

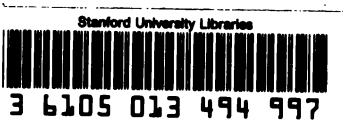
Бездна призываетъ бездну.

		стр.
VII.	Продолженіе о томъ, какъ Гордановъ дастъ шахъ и матъ Іосафу Висленеву	5
VIII.	Финальная ракета	14
IX.	Ночь послѣ бала	26
X.	Висленевскія дроби приводятся къ одному знаменателю	32
XI.	Висленевъ являетъ натуру	47
XII.	Гордановъ спотыкается на ровномъ мѣстѣ	52
XIII.	Гордановъ встаетъ на краю пропасти	66
XIV.	Изъ прекраснаго далека	69
XV.	Порѣзъ до крови	78

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Кровь.

I.	Кипятокъ	82
II.	Женскій умъ послѣ многихъ думъ	92
III.	Положеніе дѣлъ, объясняющее, почему Подозеровъ заговорилъ о близкой смерти	102
IV.	Сумасшедшій Бедуинъ	124
V.	Разсказъ Водопьянова	134
VI.	Не передъ добромъ	155



Stanford University Libraries
3 6105 013 494 997

891.73
L711
ed.3a
v.21-21

JUL -3 1962

JUL 26

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.